

Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

© ИЗ ©
ЖИЗНИ
ИДЕЙ



Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

ИЗ ЖИЗНИ ИДЕЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ТОМА ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЛАДОМИР»
МОСКВА
1995

Оформление
И. Цапко

ЗЕЛИНСКИЙ Ф.Ф.

Из жизни идей. В 2 т. Т.1./Репринт с изд. 1911, 1916 гг.
— М.: Ладомир, 1995. — 900 с.

З $\frac{4703010100 - 015}{593(03) - 95}$ Без объявл. © И.И. Цапко. Оформление
1995.

ISBN 5-86218-182-2 (т.1)

ISBN 5-86218-181-4

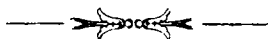
ИЗЪ ЖИЗНИ ИДЕЙ.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. ПЕТРОГРАДСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

В. ЗЪДИНСКАГО

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.



ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.
1916.



4092

Изъ предисловія къ первому изданію.

Давая своему сборнику заглавіе „Изъ жизни идей“, я имѣлъ въ виду опредѣлить его отношеніе къ тому, въ чемъ я вижу задачу своей жизни какъ ученаго, учителя и писателя. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ мои занятія античнымъ міромъ приняли сознательный и самостоятельный характеръ, онъ былъ для меня не тихимъ и отвлекающимъ отъ современной жизни музеемъ, а живою частью новѣйшей культуры; я видѣлъ преимущественное значеніе античности въ томъ, что она была *родоначальницей тѣхъ идей, которыми мы и нынѣ живемъ*. Изучая, такимъ образомъ, античность, если можно такъ выразиться, съ наклономъ къ современности, я намѣтилъ планъ гигантскаго научнаго зданія, которое бы обнимало и біографію и біологію тѣхъ идей, совокупность которыхъ составляетъ современную умственную культуру. Конечно, мнѣ было ясно, что выполненіе этой задачи превышаетъ силы отдѣльной личности; все же я черпалъ энергію и бодрость для своихъ научныхъ изслѣдованій въ созерцаніи моего пока еще чисто призрочнаго зданія, и убѣжденъ, что оно можетъ сослужить такую же службу и другимъ.

Всѣ вошедшія въ этотъ сборникъ статьи—кромѣ одной—задуманы мною какъ составныя части этого зданія; не вездѣ

эта связь ясна для посторонняго наблюдателя, тѣмъ не менѣе
я смѣю увѣрить, что имѣется она вездѣ...

Эти статьи были раньше напечатаны въ слѣдующихъ жур-
налахъ, отчасти уже прекратившихъ свое существованіе:

- I. Идея нравств. оправданія — „Міръ Божій“ 1899 н.
- II. Ифигенія — „Сѣверный Курьеръ“ 16 ш 1900.
- III. Воскресшіе поэты:
 - 1) Вакхилидъ — „Космополисъ“ 1898 v—vi.
 - 2) Геродъ — „Филологическое Обозрѣніе“ 1892.
 - 3) Менандръ — „Сѣв. Курьеръ“ 30 ix 1900.
- IV. Антигона. — „Сѣв. Курьеръ“ 1 i 1900.
- V. Первое свѣтопреставленіе. — „Вѣстн. Всем. Ист.“ 1899 хн.
- VI. Про нечистую силу — „Сѣв. Курьеръ“ 29 x 1900.
- VII. Античный міръ въ поэзіи Майкова — „Р. Вѣстникъ“ 1899 vii.
- VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ — „Сѣв. Курьеръ“ 29 vii 1900.
- IX. Новый памятникъ древнеримскаго быта — „Міръ Божій“ 1904 vi.
- X. Остракологія — „Сѣв. Курьеръ“ 16 iv 1900.
- XI. Рабочая пѣсенка — „Міръ Божій“ 1901 v.
- XII. Нищѣ и античность — „Сѣв. Курьеръ“ 2 ix 1900.
- XIII. Происхожденіе комедіи — „Научн. Обзоръ“ 1903 i—ii.
- XIV. Гейдельбергъ — „Сѣв. Курьеръ“ 13 viii 1900
- XV. Золотой вѣкъ — „Вѣстн. Самообразованія“ 1903 № 2.

Θ. Эллинскій.

Предисловіе ко второму изданію.

Измѣненія, внесенныя въ это изданіе, вызваны отчасти сдѣланными за послѣднее время находками. Такъ статья о Геродѣ подверглась довольно крупной переработкѣ въ зависимости отъ увеличившагося числа отрывковъ, вслѣдствіе чего двѣ новыя сценки предстали передъ нами въ неожиданномъ, хотя пока еще нѣсколько туманномъ свѣтѣ. По той же причинѣ пришлось совсѣмъ выкинуть статью о Менандрѣ: нельзя было ее перепечатывать, въ то время какъ ученый міръ знаетъ, что уже не сценки, а цѣлые акты изъ четырехъ комедій великаго поэта найдены въ Египтѣ и не сегодня-завтра должны появиться. Я получилъ ихъ уже послѣ того, какъ большая часть книги была напечатана.

Взамѣнъ пропущенной статьи въ настоящее изданіе включены три новыя, а именно:

1) Античная Ленора (№ VII; впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1906 III).

2) Еврипидъ въ переводѣ И. Θ. Анненскаго (№ XIII; впервые въ „Перевалѣ“ 1907 X—XI).

3) Мотивъ разлуки (№ XVI; впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1903 X).

Θ. Зѣлинскій.

Предисловіе къ третьему изданію.

Печатая это третье изданіе въ удвоенномъ противъ прежняго числѣ экземпляровъ, я имѣю основаніе считать его окончательнымъ. Съ этой точки зрѣнія я и просмотрѣлъ и исправилъ всѣ входящія въ его составъ статьи. Къ „Менандру“ я уже не возвращался, такъ какъ этотъ воскресшій поэтъ былъ образцово обработанъ проф. Г. Ф. Церетели въ книгѣ, одинаково интересной какъ для специалистовъ, такъ и для широкой публики. Зато статьи о Воскресшихъ поэтахъ обогатились очеркомъ о новонайденной „Ипсирилъ“ Еврипида, впервые напечатанномъ въ „Вѣстникѣ Европы“ (1901 VII—VIII). Статью „Нитцше и античность“ я пропустилъ, такъ какъ эта тема была мною обработана обстоятельнѣе въ очеркѣ, напечатанномъ въ редактированномъ мною I томѣ полного перевода сочиненій этого философа („Моск. Книгоиздательство“ 1912); его я приберегъ для предполагаемаго IV тома настоящаго сборника, имѣющаго современемъ появиться подъ особымъ заглавіемъ „Возрожденцы“. А такъ какъ туда же тяготѣла и статья „Древній міръ въ поэзіи А. Н. Майкова“ то и ее я изъ этого тома исключилъ. Зато я прибавилъ статейку „Земля и война“, напечатанную раньше въ сборникѣ „Невскій Альманахъ“, такъ какъ по содержанію она подходитъ къ общему характеру этого тома. Не могу сказать того же про статью „Уральскія впечатлѣнія“ (нигдѣ раньше не печатавшуюся); если бы читатель нашелъ эти странички изъ дневника туриста излишними, то я затруднился бы что либо сказать въ ихъ оправданіе.

Ө. Эмлинскій.

Петроградъ.
Декабрь 1915.

ИДЕЯ ПРАВСТВЕННОГО ОПРАВДАНИЯ,

ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.

(1899).

Великія нравственныя идеи въ своемъ распространеніи среди людей раздѣляютъ участь великихъ научныхъ истинъ: переходя изъ рукъ генія, впервые сдѣлавшаго ихъ доступными, въ руки посредственностей, онѣ на видъ остаются тѣмъ же, чѣмъ были въ началѣ, но теряютъ то, что въ нихъ было самымъ дорогимъ для насъ—ту незримую магнетическую силу, которая притягивала къ нимъ сердца. Въ настоящее время—не безъ гордости замѣчаютъ друзья прогресса—любой школьникъ знаетъ то, что нѣкогда стоило Копернику тридцатитрехлѣтнихъ трудовъ; это вѣрно, и эта гордость справедлива. Все же астрономъ-мыслитель предпочтетъ книгу *de revolutionibus orbium coelestium* великаго гуманиста самому изящному изъ новѣйшихъ изложеній коперниковской системы. Правда, осилить ее будетъ стоить немалого труда; правда и то, что ея читатель не обезпеченъ отъ многочисленныхъ ошибокъ, которыя еще раздѣлялъ Коперникъ и которыя исправила позднѣйшая наука. Но эти неудобства искупаются однимъ громаднымъ, незамѣнимымъ преимуществомъ: читая ее, мы дѣлаемся свидѣтелями гигантскихъ усилій человѣческаго духа, отъ которыхъ не сохранилось болѣе слѣда въ ходячихъ изложеніяхъ того, что было ихъ результатомъ; мы видимъ въ полной дѣятельности вулканъ, по давно потухшей лавѣ котораго теперь безопасно гуляютъ прохожіе.

То же отнесется и къ нравственнымъ идеямъ; разница лишь въ томъ, что, будучи именно только идеями, а не истинами, научно доказанными и неопровержимыми, ояѣ гораздо болѣе страдаютъ отъ того, что аромать оригинальности въ нихъ выдохся, и его смѣнилъ тотъ не всѣмъ пріятный запахъ жилого помѣщенія, которымъ посредственность неизбѣжно заражаетъ все, чего она касается. Пускай геліоцентрическая система составляетъ достояніе всякаго школьника, пускай она развивается въ скучныхъ произведеніяхъ убогихъ компиляторовъ—никто вслѣдствіе этого отъ нея не отвернется, не назоветъ ее „избитой“, „заѣзженной“, „пошлой“, не обратится отъ нея къ другой, болѣе новой и интересной системѣ. Здѣсь не то. Эпитетъ пошлости, безвредный для научной истины, убійственъ для нравственной идеи;—и вотъ начинается скитаніе мыслей и чувствъ. Жажда новизны, желаніе во что бы то ни стало избѣгнуть пошлости—заставляетъ людей отъ здороваго обращаться къ болѣзненному и вымученному, отъ простаго къ замысловатому, отъ яснаго къ туманному; все хорошо, лишь бы оно было новымъ или, по крайней мѣрѣ, казалось таковымъ. Придетъ время — и это новое станетъ старымъ, избитымъ, пошлымъ и подвергнется двойному осужденію, и за болѣзненность, и за пошлость; и то забытое старое воскреснетъ и найдетъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ. Такъ было, такъ будетъ всегда.

И дурного тутъ нѣтъ ничего: всякая эпоха живетъ своей жизнью, и всякая жизнь интересна. Все же обреченному жить въ эпоху скитанія мыслей и чувствъ пріятно и отрадно обращаться къ тому времени, когда здоровое не было еще пошлымъ, а интересное—болѣзненнымъ; когда идеи, ставшія позднѣе ходячею монетою, еще только вырабатывались и, появляясь на свѣтъ, были насыщены той магнетической силой, которую создаетъ соединеніе двухъ элементовъ: здоровья и новизны. Въ этомъ именно и заключается прелесть античности для тѣхъ, кто умѣетъ ее понимать. Конечно, и античность не была той сплошной и однородной массой, какой ее себѣ представляютъ многіе у насъ; и она жила и развивалась, и въ ея предѣлахъ здоровое могло состариться и вызвать жажду новаго, хотя бы и болѣзненнаго. Все же въ своей совокупности она была сво-

домъ здоровыхъ темъ, повторявшихся съ тѣхъ поръ въ неисчислимыхъ варіаціяхъ до нашихъ временъ и имѣющихъ повторяться, пока живъ будетъ міръ.

Съ одной изъ этихъ темъ я намѣренъ познакомить читателя въ нижеслѣдующихъ главахъ.

I.

Когда у насъ ставили „Орестею“ Танѣва, либретто которой цѣликомъ заимствовано изъ трилогіи того же имени Эсхила, наша публика отнеслась довольно-таки холодно къ творенію великаго греческаго трагика; нашлись даже наивные люди, порицавшіе родоначальника европейской драмы за „избитость“ обработаннаго имъ сюжета. Невѣрная жена боится возвращенія съ похода своего царственного мужа; когда же онъ возвращается, она убиваетъ его съ помощью своего новаго друга. Сынъ убитаго мститъ за его гибель; но проклетія его матери, воплощенныя въ богиняхъ-мстительницахъ Эриніяхъ, изгоняютъ его изъ родины, и онъ обрѣтаетъ покой лишь послѣ того, какъ его оправдываетъ учрежденный божествомъ строгій и правый судъ. Какъ все это просто, ясно, здорово, т.-е., выражаясь на современномъ языкѣ, какъ шаблонно, избито, неинтересно!.. Конечно, отъ либреттиста нельзя было и требовать, чтобы онъ въ своей скромной передѣлкѣ сохранилъ тѣ черты подлинника, которыми болѣе всего дорожитъ мыслящій читатель, чтобы онъ сохранилъ слѣды усилій гиганта-пахаря, впервые работающаго на дѣвственной нивѣ человѣческой мысли. Онъ сдѣлалъ, что могъ: оставилъ и въ общемъ, и въ частностяхъ развитіе Эсхиловой фабулы, прибавилъ отъ себя нѣсколько сценъ и ради ясности и ради эффекта,—и вышло то, что могло и должно было выйти.

Наша точка зрѣнія однако другая. Намъ преданіе объ Орестѣ-матереубійцѣ интересуетъ не какъ преданіе и не какъ сюжетъ трагедіи или оперы, а исключительно какъ „носитель“ одной изъ важнѣйшихъ и величайшихъ нравственныхъ идей—идеи оправданія преступника. Дѣйствительно, что такое нравственное оправданіе? Оправданіе, это—возстановленіе душевнаго

равновѣсія, утраченнаго при совершеніи грѣха или преступленія, это — выздоровленіе заболѣвшей души. Подобно идеѣ выздоровленія, и идея оправданія—идея вѣчная и не старѣющая; она такъ же дѣйствительна для насъ, какъ дѣйствительна небесная Лира, ласкающая насъ по ночамъ тѣмъ же тихимъ, таинственнымъ свѣтомъ, какимъ много вѣковъ назадъ она ласкала болѣе воспримчивые глаза современниковъ Перикла. И если читатель при чтеніи нижеслѣдующихъ страницъ не почувствуетъ, что рѣчь идетъ о непосредственно близкихъ его сердцу интересахъ, что передъ нимъ раскрывается книга его собственной души,—то пусть онъ винитъ лишь неумѣлость толкователя, не справившагося со своею задачей, не смогшаго правильно передать то, что онъ правильно вычиталъ и уразумѣлъ.

Само собою понятно, что, говоря о происхожденіи и развитіи идеи оправданія, мы должны перенестись въ тѣ времена, когда вообще зарождались и развивались нравственные идеи, т.-е. въ античность; но, быть можетъ, покажется страннымъ, что авторъ, собираясь прослѣдить происхожденіе и развитіе нравственной идеи, обращается не къ философамъ-моралистамъ, а къ міеологіи, что онъ беретъ ее не въ отвлеченномъ видѣ, а въ оболочкѣ ея міеа-носителя. Чтобы выяснить это, необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое эта античная, т.-е. греческая міеологія, и какъ ее слѣдуетъ понимать.

Греческая „міеологія“, какъ ее обыкновенно называютъ, т.-е. повѣствовательная часть греческой религіи, представляетъ удивительное, единственное въ своемъ родѣ явленіе; плохо о ней судятъ тѣ, которые видятъ въ ней нѣчто единое, установившееся, недвижимое. Въ ней все живетъ, все движется, все растетъ, расцвѣтаетъ и вянетъ; отъ величавыхъ концепцій Эсхила до изящныхъ арабесокъ Овидія очень далеко, едва ли не дальше, чѣмъ отъ Овидія до опереточной міеологіи Оффенбаха. Былъ у древнихъ народовъ красивый обычай, перешедшій позднѣе и къ христіанскимъ,—посвящать трофеи своихъ побѣдъ надъ врагами въ храмъ своего родного божества, такъ что этотъ храмъ давалъ въ вещественныхъ свидѣтельствахъ внѣшнюю исторію своего народа. Но кромѣ этихъ каменныхъ

храмовъ, былъ у нихъ и храмъ незримый, нерукотворный, въ который они посвящали трофеи не вѣшнихъ, а внутреннихъ побѣдъ, живыя свидѣтельства своего нравственнаго и умственнаго прогресса; этимъ храмомъ была ихъ родная миѳологія. Миѳъ—естественная, необходимая форма, въ которую облакалась идея, не находившая еще для выраженія самой себя готоваго отвлеченнаго языка; всякое измѣненіе въ міросозерцаніи имѣло послѣдствіемъ органическое измѣненіе миѳовъ; кто сдумалъ бы представить намъ греческую миѳологію въ ея историческомъ развитіи, тотъ далъ бы этимъ самымъ—въ инсказательной формѣ—исторію эволюціи греческой народной души. Въ нижеслѣдующемъ сдѣланъ опытъ такого развитія на одномъ изъ многочисленныхъ миѳовъ греческой религіи — на миѳѣ объ Орестѣ-матереубійцѣ. Правда, работа, которую я имѣю въ виду, должна быть изслѣдованіемъ, изслѣдованіемъ, филологическимъ; здѣсь же дано, для удобства читателей-нефилологовъ, не изслѣдованіе, а повѣствованіе. Изслѣдователь отъ извѣстнаго переходитъ къ менѣе извѣстному, руководясь въ нашей области данными этимологіи, исторіи литературы и культуры, сравнительной миѳологіи; повѣствователь переходитъ отъ болѣе ранняго къ болѣе позднему, пользуясь результатами трудовъ изслѣдователя. Въ данномъ же случаѣ именно болѣе позднее является болѣе извѣстнымъ и наоборотъ; нашъ путь, поэтому, прямо противоположенъ тому, котораго долженъ былъ бы держаться изслѣдователь. Прошу это помнить при чтеніи нижеслѣдующихъ страницъ.

II.

Первой идеей, представившейся младенческому уму ребенка, когда для него, наконецъ, занялась заря сознательной жизни, была идея его зависимости отъ силъ природы; эти послѣднія, въ сумеркахъ зарождающагося сознанія, стояли передъ нимъ туманными великанами со сверхчеловѣческой мощью, но съ человѣческими страстями и стремленіями. Таковы были боги первобытнаго человѣчества. Ихъ могло быть много; но особенно близкими были ему тѣ, дѣйствія которыхъ, вслѣдствіе

своей повторяемости, болѣе всего вліяли на его жизнь, власть которыхъ онъ чувствовалъ надъ собой съ особенной силой. Ежедневно ночь убиваетъ день, ежегодно зима убиваетъ лѣто; ежедневно человѣкъ долженъ былъ искать убѣжища отъ страховъ ночи, ежегодно отъ страданій зимы; онъ дѣлалъ это съ твердой надеждой, что царство обоихъ этихъ жизневраждебныхъ началъ будетъ непродолжительно: придетъ Солнце-богатырь и сорветъ сверкающіе доспѣхи побѣжденной ночи, придетъ Солнце-богатырь и разрушитъ туманную твердыню побѣжденной зимы. Таковы были главные мифы первобытнаго человечества; мы встрѣчаемъ ихъ на всемъ протяженіи земного шара.

Новая эра началась тогда, когда человечество, оставивъ колею чисто животной, физической эволюціи, вступило на путь сознательнаго умственнаго прогресса; началась только для тѣхъ народовъ, которымъ, по неисповѣдимымъ законамъ природы, былъ назначенъ этотъ путь.

Соотвѣтствующая новой эрѣ новая идея была послѣдовательнымъ развитіемъ тѣхъ двухъ старыхъ идей, перенесеніемъ ихъ въ болѣе высокую, умственную сферу; и здѣсь мы имѣемъ ту же борьбу житнетворнаго и жизневраждебнаго начала, дня и ночи, лѣта и зимы, только еще ступенью выше. Временной единицей новой идеи были уже не сутки и не годъ, а болѣе крупный періодъ, относящійся къ году приблизительно такъ же, какъ годъ относится къ суткамъ. *Все, что имѣло начало, будетъ имѣть и конецъ; но за концомъ будетъ новое начало;* эта великая идея, на которую навела человѣка гибель дня подъ натискомъ ночи и гибель лѣта подъ натискомъ зимы съ ожидаемымъ въ обоихъ случаяхъ торжествомъ Солнца-богатыря—эта идея была перенесена на великое лѣто жизни человечества. И оно имѣло свое начало: было время, когда и люди, подобно всѣмъ прочимъ животнымъ, жили по законамъ своей родительницы Земли; она ихъ одѣвала, она ихъ кормила, она ихъ надѣляла всѣмъ тѣмъ знаніемъ, въ которомъ они нуждались для того, чтобы, проживъ положенный имъ вѣкъ, передать „свѣточъ жизни“ другому поколѣнію,—тѣмъ загадочнымъ для біолога, чудеснымъ для простаго мыслящаго человѣка знаніемъ, которое мы называемъ инстинктомъ. Такъ было нѣкогда, но

уже давно, очень давно; то былъ „золотой вѣкъ“, царство Земли и ея силъ. Теперь не то: остальные твари живутъ еще по законамъ Земли, за что и вкушаютъ ея дары и пользуются исходящимъ отъ нея знаніемъ, но человѣкъ ихъ нарушаетъ. Человѣкъ живетъ въ открытой враждѣ съ Землей: онъ остриемъ заступа и плуга разрываетъ широкую грудь Земли, заставляя ее производить посѣянные имъ плоды; онъ остриемъ сѣкиры разрушаетъ ея вѣковой зеленый плащъ; онъ остриемъ кирпичи пробиваетъ себѣ доступъ въ ея внутренности — in viscera Tergae. Не Земля научила его такъ насиловать ее; это было дѣломъ мятежнаго духа, возставшаго противъ Земли и ея силъ. Побѣда Духа надъ Землей и ея силами положила начало человѣческой культурѣ; тогда разгнѣванная вѣщная Земля скрыла свое знаніе. Ощупью ищи вѣрнаго пути; страдай, чтобы твой мучительный опытъ пошелъ тебѣ впрокъ; погибай, чтобы твоя смерть послужила урокомъ другимъ, — таковъ былъ новый законъ Духа, за которымъ послѣдовалъ человѣкъ. Этого Духа древніе греки называли Зевсомъ или, вѣрнѣе, возвели въ роль этого. Духа своего древнѣйшаго бога неба и дня, могучаго (выражаясь мифологически) супруга вѣчной Земли. „Это ты, — говоритъ Эсхилъ въ своей глубокомысленной молитвѣ Зевсу, — повелъ человѣка по пути сознанія; ты повелѣлъ, чтобы слово *страданіемъ* *учись* стало закономъ“.

Итакъ, Зевсъ во главѣ своихъ силъ одержалъ побѣду надъ Землей и ея силами — Титанами; Земля смирилась, но не навсегда. Она знаетъ, что великое лѣто человѣческой культуры, имѣя начало, должно имѣть и конецъ; зная это, она „задумала славное дѣло“ предательства и убійства противъ своего побѣдоноснаго супруга. Онъ вѣдь не знаетъ, что онъ „обреченъ“; свое знаніе она оставила при себѣ; и вотъ она тайно лелѣетъ своего Змѣя — змѣй былъ у древнихъ символомъ гибельной силы Земли — или своихъ Змѣевъ (число безразлично), своихъ Гигантовъ. Придетъ время, и Зевсъ со своими силами падетъ подъ натискомъ Гигантовъ, наступитъ великая зима въ жизни человѣчества. Но и она не будетъ вѣчной; предсказывая неизбежную гибель человѣческой культуры, древняя мудрость и тутъ, какъ это было естественно, открывала ей надежду на возро-

ждение: придетъ Солнце-богатырь, придетъ сынъ того убитаго Духа; онъ отмститъ за отца, онъ поразитъ Землю и взлелѣяннаго ею Змѣя—и наступитъ новое свѣтлое царство духа, новое великое лѣто.

Такова общая мысль древнѣйшей германской и греческой мифологій; несмотря на открывавшуюся въ далекой перспективѣ надежду, ихъ характеръ былъ грустный, такъ какъ гибель представлялась болѣе близкой, чѣмъ возрожденіе, и эта гибель была неотвратима. Да, неотвратима; для выраженія этой неотвратимости былъ созданъ—тоже общій обѣимъ мифологіямъ—миѳъ о Гераклѣ-Сигурдѣ, намѣченномъ рокомъ спасителѣ боговъ, который гибнетъ, не успѣвъ совершить своего подвига, гибнетъ не отъ руки враговъ, а отъ руки той Дѣвы, для которой онъ дороже всего на свѣтѣ. Германцы покорились неотвратимости своихъ „сумерекъ боговъ“, своей Götterdämmerung; но греки преодолѣли ее путемъ новаго прогресса, наступившаго много времени послѣ ихъ отдѣленія отъ остальныхъ вѣтвей аріійскаго племени и принадлежащаго поэтому имъ однимъ. Объ этомъ будетъ рѣчь тотчасъ; теперь же окинемъ еще разъ взоромъ только-что развитый нами главный миѳъ религіи Зевса, общій германскому и греческому племени.

Земля, „задумавшая славное дѣло“ (по-гречески: Клитемнестра), живетъ усмиреной, но въ душѣ мятежной супругой Зевса, „обреченнаго“ (по-гречески Агамемнона). Задумала она свое дѣло при помощи Змѣя-Эгисѳа; придетъ время, когда Агамемнонъ подъ ихъ ударами погибнетъ, и Клитемнестра съ Эгисѳомъ будутъ царствовать надъ людьми. Но и этому царству наступитъ конецъ; придетъ сынъ Агамемнона, Солнце-богатырь, мститель за убитаго; отъ его руки падутъ и Эгисѳъ и Клитемнестра, и онъ унаслѣдуетъ царство своего отца.—Уже въ этой формѣ мифа мы имѣемъ и мужеубійство, и матереубійство; но оба они еще не ощущаются, какъ нарушенія нравственнаго закона. Пока названныя лица, хотя смутно, сознавались какъ олицетворенія физическихъ началъ, нравственная сторона дѣла оставалась подъ порогомъ сознанія. Нуженъ былъ великій религіозный переворотъ въ жизни греческаго народа для того, чтобы физическая сторона была предана забвенію, и нравственная, въ силу которой нашъ миѳъ сдѣлался носителемъ

идеи оправданія, выступила на первый планъ; этимъ переворотомъ была *реформа религіи Зевса подъ вліяніемъ религіи Аполлона*.

III.

Всякая религія, содержащая ученіе о мессіи, содержитъ именно въ немъ зародышъ своего собственнаго разрушенія; рано ли, поздно ли, но обѣщанный мессія долженъ явиться и увлечь за собою сердца. Мессіанскіе элементы древнегерманской религіи подготовили почву для торжества христіанства; для греческой же религіи Зевса необходимость реформы, соотвѣтственно болѣе быстрому росту греческой культуры, явилась много ранѣе. Въ неопредѣлимое точнѣе время, въ эпоху возникновенія древнѣйшихъ гомерическихъ поэмъ, культъ свѣтлой божественной четы Аполлона и Артемиды (Діаны) сталъ распространяться по Греціи. Проникъ онъ туда съ Востока: для Гомера Аполлонъ еще—троянскій богъ. Быть можетъ, его родина еще восточнѣе; по крайней мѣрѣ, персы, вторгаясь въ Элладу, оказывали уваженіе Аполлону и Артемидѣ, признавая, въ нихъ своихъ родныхъ боговъ. Но какъ бы тамъ ни было, древнѣйшіе слѣды указываютъ на Трою; тамъ за неприступными утесами Иды есть блаженная страна вѣчнаго „свѣта“; Ликія (Lucia=Lucia), населенная благочестивымъ „загорнымъ“ народомъ — гиперборейцами. Тамъ обычное мѣстопробываніе Аполлона; съ этой своей святой горы онъ спускается къ смертнымъ.

Оттуда его культъ распространился на западъ; въ греческую территорію онъ проникъ черезъ ту же историческую тѣснину, чрезъ которую и позже вторгались побѣдоносные враги — черезъ Термопилы. Эта мѣстность была полна воспоминаній о Гераклѣ, безвременно погибшемъ спасителѣ боговъ: воспоминанія эти были отличной почвой для воспріятія новой религіи: гдѣ погибъ Гераклъ, тамъ торжествовалъ Аполлонъ. Изъ Термопилъ культъ новаго бога двинулся далѣе на юго-западъ, въ срединную часть Греціи; здѣсь была гора Парнасъ и на ней самое древнее святилище Земли. Его-то и занялъ Аполлонъ, являясь во всѣхъ смыслахъ обѣщаннымъ религіей Зевса мессіей; здѣсь онъ убилъ

Змѣя, взлелѣянная Землей, исторгъ у ней знаніе, которое она скрывала, и основалъ свой древнѣйшій Дельфійскій храмъ и оракулъ. Парнасъ сталъ святой горой Аполлона, главнымъ центромъ его культа. Связь между нимъ и Термопилами существовала и въ историческое время: всегда собранія такъ называемыхъ амфиктіоновъ (т.-е. представителей отъ государствъ, обязавшихся защищать Дельфійскій храмъ) начинались въ Термопилахъ или, какъ ихъ проще называли, въ Пилахъ, но продолжались на святой горѣ въ Дельфахъ. Эта же связь получила и мифологическое выраженіе, довольно своеобразное, — въ раздвоеніи личности Аполлона на Аполлона-представителя Пилъ и Аполлона-представителя горы: первый былъ нареченъ Пиладомъ, второй (отъ греческаго *oros* — „гора“) Орестомъ. Такъ-то возникла въ фантазіи грековъ эта знаменитая и понынѣ чета.

Подъ вліяніемъ культа Аполлона древнѣйшая религія Зевса была реформирована. Аполлонъ убилъ Змѣя, взлелѣяннаго Землей, Змѣя, грозившаго гибелью Зевсу, — стало быть, этой гибели не будетъ: вѣчность царству Зевса обезпечена. Но все, что началось, должно и кончиться; царство Зевса кончиться не должно, — значитъ, оно не могло имѣть и начала, Зевсъ предвѣченъ и вѣченъ. Нѣтъ ему гибели; нѣтъ и причинъ гибели, нѣтъ и вражды между нимъ и Землей; когда религія Аполлона проникла въ древнѣйшій центръ культа Зевса, въ Додону, она устами вдохновенной жрицы-пророчицы новаго бога провозгласила въ двухъ стихахъ сущность происшедшей реформы:

Есть Зевсъ, былъ онъ и будетъ; воистину молвлю, великъ Зевсъ!
Зиждетъ плоды вамъ Земля: величайте же матерью Земаю!

Конечно, дореформенная религія, имѣвшая въ своемъ основаніи борьбу Духа и Земли, была глубокомысленнѣе новой, но зато новая была жизнерадостнѣе: можно было свободнѣе вздохнуть, не чувствуя близъ себя пасти Змѣя, не думая о тяготящей надъ богами и надъ культурой человѣчества гибели.

Что же касается стариннаго мифа религіи Зевса, мифа о Зевсѣ-Агамемнонѣ и Землѣ-Клитемнестрѣ, то и онъ былъ дополненъ подъ вліяніемъ новой религіи. Обѣщанный Солнцебогатырь сталъ, конечно, Аполлономъ, а именно Аполлономъ

святой горы, гдѣ былъ убитъ Змѣй, — Орестомъ; Аполлонъ же привелъ съ собою и свою сестру „лучезарную“ Артемиду-Электру. Все же роль этой послѣдней была довольно неопредѣленной, такъ какъ она не была органической, первоначальной частью міоа. Но со всѣми этими дополненіями нашъ міоъ не могъ долѣе оставаться богословскимъ міоомъ: Зевсъ-Агамемнонъ вѣдь погибаетъ отъ руки Земли-Клитемнестры; по религіи же Аполлона, Зевсъ былъ вѣченъ и жилъ въ мирѣ съ Землей. И вотъ божественные элементы міоа мало-по-малу предаются забвенію: передъ нами уже не Зевсъ-Агамемнонъ, не Земля-Клитемнестра, а просто Агамемнонъ, Клитемнестра, Эгисѣй, Орестъ, Электра; — къ счастью, въ Спартѣ сохранился до историческихъ временъ культъ „Зевса-Агамемнона“, какъ живое доказательство первоначально богословскаго характера всего міоа. Вмѣстѣ съ Зевсомъ и царство его спустилось съ неба на землю: тотъ Асгардъ греческой религіи — „бѣлый“ городъ боговъ, въ которомъ былъ царемъ Зевсъ-Агамемнонъ, — былъ локализованъ въ Греціи то какъ пелазгическій, то какъ ахейскій „Аргосъ“.

Весь масштабъ измѣнился: разъ гигантскіе и туманные образы сѣдой старины были низведены до человѣческой нормы и стали ясны и пластичны, — къ ихъ дѣяніямъ стала приложима и человѣческая оцѣнка: съ утратою богословскаго элемента выдвинулся на первый планъ элементъ нравственный. Клитемнестра стала просто невѣрной женой, замыслившей вмѣстѣ со своимъ любовникомъ убійство своего супруга; Орестъ сталъ вѣрнымъ сыномъ, отомстившимъ за смерть своего отца... Кстати: онъ сдѣлалъ это по приказанію Аполлона, подъ святой горой котораго онъ воспитывался; въ этомъ сохранился слѣдъ первоначальнаго тождества Ореста съ Аполлономъ святой горы. Всѣ эти человѣческія дѣйствія требовали человѣческой мотивировки; ее далъ первый поэтъ, обработавшій нашъ міоъ — авторъ такъ называемой киклической поэмы „о возвращеніи богатырей“ (Nostoi), приписывавшейся въ древности Гомеру. Человѣческая же мотивировка рассчитана на возбужденіе человѣческихъ же чувствъ симпатіи и антипатіи. Весь міоъ построенъ такъ, чтобы наши симпатіи были на сторонѣ предательски убитаго царя и его мстителя, юнаго богатыря Ореста;

но матереубійцѣ мы симпатизировать не можемъ — вотъ почему въ поэзіи замѣчается тенденція выдвинуть убійство Орестомъ Эгисѣа, безчестнаго обольстителя супруги своего царя, и предать забвенію убійство имъ самой Клитемнестры. „Иль ты не слышалъ“, говорить въ Одиссеѣ Аѳина Телемаху, —

Славу какую стяжалъ среди смертныхъ Орестъ богоравный
Тѣмъ, что Эгисѣа сразилъ нечестивца, — того, что коварно
Смерти Атрида предать? За отца своего отомстилъ онъ;
Такъ же и ты, дорогой, — ты не даромъ могучъ и прекрасенъ —
Мужественъ будь, дабы добрымъ тебя также словомъ почтили.

И мы можемъ быть увѣрены, что современемъ нравственность взяла бы свое. Клитемнестра была бы устранена изъ міаа и какъ непосредственная исполнительница казни надъ своимъ супругомъ, и какъ жертва мести со стороны своего сына; и тутъ, и тамъ ея мѣсто занялъ бы Эгисѣа, а ей досталась бы второстепенная роль — роль каюшейся грѣшницы, которую не трудно было бы простить побѣдоносному сыну. Это, повторяю, несомнѣнно случилось бы, — если бы не религіозная реакція восьмого и седьмого вѣковъ. Нашъ міаа имѣлъ счастье или несчастье попасть въ это реакціонное теченіе, и оно, сохраняя его въ его первоначальной формѣ, придало ему новое содержаніе, такое, о которомъ до тѣхъ поръ и рѣчи не было.

Центромъ этой религіозной реакціи былъ тотъ же дельфійскій оракулъ на святой горѣ Аполлона.

IV.

Въ гомерическомъ гимнѣ въ честь Аполлона-делосскаго богиня острова Делоса, которому суждено было сдѣлаться мѣстомъ рожденія новаго бога, говорить по этому поводу роженіцѣ:

Властолюбивъ, говорятъ, будетъ сынъ Аполлонъ твой, Латона;
Первымъ онъ быть пожелаетъ боговъ среди сонма безсмертныхъ,
Первымъ средь смертныхъ людей.

Властолюбіе было отличительной чертой культа Аполлона въ Греціи или, говоря правильнѣе, той небольшой кучки жрецовъ и жрицъ, которая вѣдала этотъ культъ въ Дельфахъ.

Исторія не сохранила памяти объ индивидуальных дѣяніяхъ каждаго и каждой изъ нихъ, и это жаль; она этимъ лишила насъ знакомства съ цѣлымъ рядомъ выдающихся своимъ умомъ и силой, беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу и вѣрующихъ людей... Подлинно ли вѣрующихъ? Прошли, къ счастью, тѣ времена, когда передовые люди могли представлять себѣ умныхъ руководителей религіозной силы человѣчества только лицемѣрами; мы знаемъ теперь (или, по крайней мѣрѣ, могли бы знать), что искренней вѣрѣ легко поддержать въ человѣкѣ тотъ священный огонь, благодаря которому его жизнь становится сплошнымъ подвигомъ на благо человѣчества, но что выдержанное въ теченіе цѣлой жизни (не говоря уже о цѣломъ рядѣ поколѣній) лицемѣріе есть нѣчто чудовищное, превосходящее человѣческія силы. И если бы дельфійскій храмъ сохранилъ портреты своихъ верховныхъ жрецовъ, мы безъ труда признали бы въ одномъ изъ нихъ—Григорія Великаго, въ другомъ—Григорія VII, въ третьемъ—Иннокентія III. Святая гора въ Дельфахъ и святой престолъ въ Римѣ—поразительно схожія явленія; объ этомъ сходствѣ намъ не разъ придется вспоминать.

Но, какъ я сказалъ, индивидуальные дѣянія дельфійскихъ жрецовъ забыты; мы можемъ судить только о коллективныхъ дѣяніяхъ дельфійскаго бога. Ихъ цѣлью была, съ одной стороны, духовная гегемонія надъ эллинами и, если возможно, также и надъ другими народами (поскольку тутъ роль играла политика, о ней рѣчь будетъ ниже); съ другой стороны, сочетаніе нравственного элемента съ религіознымъ, чуждое древней дореформенной религіи Зевса. Положимъ, въ этомъ отношеніи религія Аполлона не стоитъ особнякомъ—ту же цѣль поставили себѣ и обѣ другія новыя религіи, религія Деметры (Цереры) и Діониса (Вакха). Разница состоитъ, однако, въ томъ, что эти двѣ религіи старались достигнуть своей цѣли путемъ тайныхъ обществъ; ихъ адепты должны были дать посвятить себя въ элевсинскія или орфическія таинства. Напротивъ, религія Аполлона стремилась въ своей цѣли явно, не зная никакихъ таинствъ; дельфійскій храмъ былъ открытъ для всѣхъ, всѣхъ одинаково встрѣчалъ вырѣзанный надъ его дверьми глубоко-мысленный девизъ: „познай самого себя“.

Радостной вѣстью новой религіи былъ, какъ мы видѣли, миръ Зевса и Земли. Самый дельфійскій храмъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда находилось самое славное святилище вѣщей богини; умиловленіе Земли стало главнымъ требованіемъ Аполлоновой религіи. Но земля была не только кормилицей смертныхъ, той, которая „зиздетъ имъ плоды“: она же принимала ихъ души, когда наступала ихъ смерть. Вотъ почему *культъ души* сдѣлался главнымъ предметомъ вниманія Аполлона. Удивительна была въ этомъ отношеніи безпечность въ эпоху паденія религіи Зевса, изображенную въ гомеровскихъ поэмахъ. Ея главное правило—„мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій“, пока очередь не дойдетъ и до тебя; а тамъ и тебя приметъ обитель Аида, и ты будешь навѣки отдѣленъ отъ міра живыхъ. Убьютъ у тебя сына или близкаго родственника—это причинить тебѣ извѣстное огорченіе или ущербъ, въ возмѣщеніе котораго ты можешь требовать отъ убійцы соотвѣтственной суммы наслажденій, другими словами—виры; но онъ имѣетъ дѣло исключительно съ тобой и съ твоимъ огорченіемъ, а не съ убитымъ. Убитый самъ по себѣ никакихъ правъ не имѣетъ, онъ „въ гробѣ мирно спи“.

Теперь не то. Подъ легкимъ покровомъ гомеровской безпечности въ народѣ сохранились смутныя представленія первобытной эпохи анимизма, согласно которымъ мертвый не спитъ мирно во гробѣ, а требуетъ себѣ дани отъ живущихъ, страшно карая тѣхъ, которые ему въ ней отказываютъ; согласно которымъ онъ въ случаѣ убійства не довольствуется ролью простого объекта сдѣлки между убійцей и своимъ ближайшимъ родственникомъ, а требуетъ крови убійцы, страшно карая тѣхъ, которые ему въ ней отказываютъ. Вотъ эти-то представленія (мы встречаемъ ихъ въ видѣ непонятыхъ пережитковъ даже въ гомеровскихъ поэмахъ) дали религіи Аполлона точку опоры для реформы, которую мы, именно по этой причинѣ, можемъ называть религиозною реакціею. *Право души* было объявлено священнымъ, независимо отъ правъ пережившихъ покойнаго родственниковъ; принимать виру стало безнравственнымъ. Если гдѣ-нибудь въ Греціи приключалось какое-либо несчастье, будь то чума, или неурожай, или какое-нибудь страшное преступленіе, и люди обращались съ запросомъ въ дельфійскій храмъ,—то это

несчастье объявлялось карой со стороны души какого-нибудь погибшаго мужа, разгнѣванной тѣмъ, что ей отказывали въ уходѣ, или что ея убійцы остались безнаказанными. Въ теченіе ближайшихъ за реформой столѣтій вся Греція покрылась могилами такихъ „героевъ“, какъ ихъ называли, культъ которыхъ былъ государственнымъ дѣломъ. Спѣшу прибавить, что въ этой примѣси къ новой религіи не было ничего мрачнаго. Правда, живущіе должны были удѣлять часть своихъ заботъ мертвымъ; но зато они сами съ большимъ спокойствіемъ могли думать о своей собственной смерти, зная, что и о нихъ не забудутъ. Этого было для начала достаточно; дальнѣйшіе шаги были сдѣланы религіями Деметры и Діониса, провозгласившими безсмертіе души и вѣчное блаженство добрыхъ и передавшими эти свѣтлые догматы Платону, а черезъ Платона—намъ.

Въ культѣ душъ, повторяю, ничего мрачнаго не было; но вотъ гдѣ была опасность возникновенія мрачнаго, анти-соціального института. Вѣдь если убитый могъ быть умилоствованъ только кровью убійцы, пролитой своимъ мстителемъ, — то это значило, что теперь мститель долженъ былъ сдѣлаться убійцей, крови котораго въ правѣ требовать убитый имъ первый убійца, и такъ далѣе; это значило, что каждое убійство должно сдѣлаться первымъ звеномъ цѣпи убійствъ, имѣющихъ прекратиться лишь съ уничтоженіемъ всего племени, гдѣ оно произошло. А между тѣмъ какой же другой исходъ оставался, разъ принятіе виры считалось безнравственнымъ? — Исходъ былъ придуманъ Аполлономъ: онъ былъ такого рода, что, благодаря ему, Аполлонъ дѣйствительно сталъ первымъ среди сонма безсмертныхъ боговъ, руководителемъ совѣсти смертныхъ. Исходъ этотъ гласилъ такъ: *„Нельзя откупиться деньгами отъ пролитой крови; одинъ только Аполлонъ можетъ отпустить человеку совершенное имъ убійство, очищая его отъ его грѣха“*. Самъ Аполлонъ убилъ взлелѣяннаго Землей Змѣя, спустился къ царю преисподней и несъ у него рабскую службу въ теченіе одного „великаго года“. Этой службой онъ очистилъ себя и приобрѣлъ право очищать другихъ. Такимъ образомъ, религія устами Аполлона объявляла себя посредницей между человѣкомъ и его совѣстью; чистъ тотъ, кому Аполлонъ отпустилъ его грѣхъ; преступенъ тотъ, кому онъ его не отпустилъ.

Таковы были двѣ новыя истины Аполлоновой религіи. Первая объявляла священнымъ право убитаго на кровавую месть; вторая обѣщала убійцѣ прощеніе при посредничествѣ дельфійскаго бога. Или, говоря правильнѣе, таково отвлеченное выраженіе этихъ истинъ; но въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь, люди не были еще приучены думать отвлеченно — они думали мифологически. Новыя истины требовали для своего выраженія мифологической формы.

V.

Шло ли на встрѣчу этому требованію преданіе, которому посвященъ настоящій очеркъ, — преданіе объ Орестѣ-матереубійцѣ?

У грековъ, какъ это естественно, мать считалась самымъ священнымъ для человѣка существомъ. Когда въ „Облакахъ“ Аристофана сынъ, нравственно развинченный новомоднымъ софистическимъ воспитаніемъ, доказываетъ отцу, что съ точки зрѣнія разума онъ, сынъ, имѣетъ полное право наставлять своего отца побоями, отецъ его внимательно слушаетъ и даже, не будучи въ состояніи справиться съ его софистикою, соглашается съ нимъ; но когда молодой человѣкъ пытается доказать то же самое и по отношенію къ своей матери, чаша терпѣнія переполняется: отецъ его проклинаетъ и въ отчаяніи отправляется поджечь домъ его учителя. Матереубійство было, поэтому, изъ всѣхъ физически возможныхъ преступленій самымъ страшнымъ, самымъ возмутительнымъ. И вотъ причина, почему мифъ объ Орестѣ, имѣющій своимъ центромъ матереубійство, былъ какъ нельзя болѣе пригоднымъ для выраженія новыхъ истинъ Аполлоновой религіи.

Роковая непреложность какого-нибудь требованія выступаетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ непреодолимѣе представляется то препятствіе, надъ которымъ оно въ концѣ концовъ торжествуетъ. Въ данномъ случаѣ первое требованіе гласитъ такъ: „сынъ убитаго долженъ умиловистить его справедливый гнѣвъ кровью его убійцы“. Возникалъ вопросъ: безусловно ли? „Да, — отвѣчалъ Аполлонъ, — безусловно“. Даже если убійцей была родная мать мстителя? „Да“. — Второе требованіе гласитъ такъ: „если убійца хочетъ,

чтобы его грѣхъ былъ отпущенъ, пусть онъ обратится къ Аполлону; кого очистить Аполлонъ, тому нечего бояться гнѣва убитаго“. Опять возникаетъ вопросъ: безусловно ли? И опять Аполлонъ долженъ былъ отвѣтить: „да, безусловно“. Даже если убитой была родная мать? „Да“.—Эти два отвѣта долженъ былъ заключать міоѣ-носитель новыхъ истинъ Аполлоновой религіи. Первый изъ нихъ уже былъ данъ міоомъ объ Орестѣ, но только въ его первоначальной формѣ, а не въ той, которую, подъ вліяніемъ нравственно-поэтическихъ соображеній, придали ему пѣвцы гомеровской школы. Что касается второго отвѣта, то въ самомъ міоѣ его еще не было, но онъ очень легко могъ быть внесенъ въ него; для этого Дельфамъ нужно было только подвергнуть его соотвѣтственной редакціи, что они и сдѣлали.—Вотъ какимъ образомъ міоѣ объ Орестѣ-матереубійцѣ попалъ въ реакціонно-реформенное теченіе восьмого вѣка, исходившее изъ дельфійскаго храма; выборъ Дельфовъ долженъ былъ остановиться на немъ тѣмъ болѣе, что онъ уже и безъ того, въ послѣднемъ развитіи своей богословской формы, содержалъ въ себѣ аполлоновскій элементъ въ лицѣ Ореста и его сестры Электры, изъ которыхъ первый былъ, какъ мы видѣли, первоначально самимъ Аполлономъ святой горы, а вторая—сестрой его, Артемидой.

Отношеніе другъ къ другу обѣихъ редакцій нашего міоа, гомеровской и дельфійской, лучше всякихъ отвлеченныхъ разсужденій покажетъ намъ существенность религіозной реформы, состоявшейся между той и другой; будетъ, поэтому, полезнымъ представить читателю ту и другую. Первую мы можемъ разсказать словами самого Гомера въ „Одиссеѣ“; вторая намъ не сохранилась, но такъ какъ подъ ея вліяніемъ находились и нѣкоторыя позднѣйшія поэмы, и въ особенности изобразительные памятники, то мы имѣемъ и о ней довольно точное представленіе.

Что касается, прежде всего, гомеровской редакціи, то она состоитъ въ слѣдующемъ. Отправляясь подъ Трою, Агамемнонъ оставилъ своего младенца-сына Ореста и свое царство, Аргосъ, подъ властью своей жены Клитемнестры. Воспользовавшись его отсутствіемъ, его двоюродный братъ Эгисфъ сталъ склонять ее къ измѣнѣ. Она долго сопротивлялась ему: „сердцемъ она

одарена была добрымъ“, говорятъ Гомеръ, явно стремящійся ее выгородить; къ тому же ея мужъ, уѣзжая, оставилъ ее подъ охраной пѣвца — да, именно пѣвца: въ этой маленькой подробности сказывается гордость эпическихъ поэтовъ, чувствовавшихъ себя нравственной силой до тѣхъ поръ, пока этой роли не потребовала для себя религія. — Но вотъ неизбежное свершилось: пѣвецъ-хранитель былъ удаленъ на пустынный островъ, гдѣ онъ сталъ добычею хищныхъ птицъ, а Клитемнестра стала супругой Эгисѣа. Нѣкоторое время спустя Троя пала; Агамемнонъ съ добычей, среди которой находилась троянская царевна Кассандра, вернулся въ свой родной Аргосъ. Эгисѣа, увѣдомленный объ его прибытіи, вышелъ къ нему на встрѣчу и пригласилъ его на пиръ; и вотъ, за дружеской трапезой, онъ убилъ его, „какъ быка убиваютъ за яслями“. Умирая, Агамемнонъ услышалъ жалобный голосъ — голосъ Кассандры, пораженной на смерть ударомъ Клитемнестры; долго метался онъ на землѣ, Клитемнестра же ушла, не закрывъ даже глазъ убитому мужу. Вотъ, значитъ, въ чемъ ея преступленіе; убійцей мужа она по этой редакціи не была. — Семь лѣтъ царствовалъ Эгисѣа надъ Аргосомъ; на восьмой годъ Орестъ вернулся изъ Аѣинъ (какъ онъ туда попалъ, объ этомъ ниже, стр. 27), убилъ Эгисѣа и торжественно со всѣми аргосцами отпраздновалъ тризну по „преступной матери и трусливомъ Эгисѣа“. — Это послѣднее мѣсто очень характерно. Лишь вскользь упоминаетъ пѣвецъ о томъ, что и Клитемнестра погибла, онъ не хочетъ дѣлать изъ нея предмета вниманія; главное — Эгисѣа, онъ былъ и убійцей Агамемнона, и жертвой мести со стороны его сына. Итакъ, тризна отпразднована; что же дальше? — Что дальше? Орестъ сталъ царемъ и прославился какъ мститель за своего отца; его ставили въ примѣръ и другимъ, какъ добраго и вѣрнаго сына. — А Клитемнестра съ Эгисѣомъ? — О нихъ даже и рѣчи нѣтъ; „спящій въ гробѣ мирно спи“. — Такова гомеровская редакція; рассмотримъ теперь вслѣдъ за ней редакцію дельфійскую.

Клитемнестра дала себя обольстить Эгисѣу и съ нимъ вмѣстѣ задумала убійство Агамемнона, живя въ Лаконикѣ, въ городѣ Амиклахъ, близъ Спарты (эта новая локализція была введена подъ вліяніемъ политической эволюціи, о которой рѣчь будетъ

ниже). У Эгисѣа, однако, главнымъ побужденіемъ была не любовь и не жажда власти: на немъ лежалъ долгъ кровавой мести за своихъ маленькихъ братьевъ, варварски убитыхъ отцомъ Агамемнона. Ихъ тѣни требуютъ возмездія; за убійцу, котораго уже нѣтъ, долженъ пасть его сынъ. Преступленіе было совершено непосредственно послѣ того, какъ Агамемнонъ со своимъ вѣрнымъ глашатаемъ Талѣбіемъ вернулся изъ-подъ Трои; когда онъ вошелъ въ купель, чтобы омыться послѣ долгаго путешествія, Клитемнестра надѣла на него длинный плащъ, на подобіе рубашки безъ рукавовъ, чтобы онъ не могъ защищаться, а затѣмъ сѣкирой убила его; Эгисѣе же непосредственнаго участія въ преступленіи не принималъ. Онъ дѣйствовалъ черезъ Клитемнестру; поэтъ дельфійской Орестей нарочно выдвигаетъ на первый планъ ее, чтобы объектомъ кровавой мести для сына была родная мать—мы видѣли, почему именно этотъ пунктъ былъ драгоцѣненъ для Дельфовъ. Сынъ этотъ былъ тогда еще малолѣтнимъ. Разумѣется, Эгисѣе бы его не пощадилъ, его, въ которомъ онъ долженъ былъ видѣть будущаго мстителя за смерть отца и постоянную угрозу для себя самого. Къ счастью, кормилица мальчика въ-время тайно увела его и передала Талѣбію, а этотъ увезъ его изъ страны къ давнишнему кунаку Агамемнона, царю фокейской Крисы у подножія святой горы Аполлона; тотъ и воспиталъ его вмѣстѣ съ собственнымъ сыномъ, Пиладомъ. Когда онъ выросъ, онъ обратился къ дельфійскому богу съ вопросомъ, что ему дѣлать; богъ пригрозилъ ему страшнымъ наказаніемъ въ случаѣ, если бы онъ уклонился отъ долга кровавой мести, и велѣлъ ему хитростью бороться съ силой. Послѣ этого отвѣта Орестъ съ Пиладомъ и Талѣбіемъ отправились въ Амиклы.—Въ то же время и Клитемнестрѣ приснился страшный сонъ: ей привидѣлся змѣй съ окровавленной головой, и этотъ змѣй внезапно превратился въ царя Агамемнона. Встревоженная сномъ, виновникомъ котораго она считаетъ своего покойнаго мужа, она посылаетъ свою дочь Электру вмѣстѣ со старой кормилицей принести умиловительныя возліянія на его могилу. И вотъ, у могилы Агамемнона, гнѣвная тѣнь котораго незримо стоитъ въ центрѣ событій, происходитъ тайный разговоръ между братомъ и сестрой; цѣль его—открыть троемъ посланцамъ дель-

фійскаго бога доступъ въ царскія палаты. Это удается; увидѣвъ Эгисеа на престолѣ своего отца, Орестъ бросается на него съ мечомъ въ руку. Тщетно царскіе тѣлохранители спѣшать на помощь: Пиладъ не даетъ имъ приблизиться къ царю. Тогда Клитемнестра, съ сѣкирой въ рукахъ,—той самой, которой она раньше убила мужа—заступается за Эгисеа; но Талеибій вырываетъ ее изъ ея руки, а Орестъ, покончивъ съ Эгисеомъ, тутъ же убиваетъ и свою мать.

А дальше?.. Въ этомъ и заключается характерная черта дельфійской редакціи, что она ставитъ этотъ вопросъ, не существующій для гомеровской эпохи. Убіеніе матери сыномъ вызываетъ изъ преисподней богинь-мстительницъ Эриній; онѣ преслѣдуютъ убійцу, не давая ему покоя; онъ не можетъ оставаться въ Амивлахъ, онъ бѣжитъ на сѣверъ, къ храму того бога, который руководилъ его душой. И Аполлонъ не оставилъ его: очистивъ его, онъ далъ ему лукъ и стрѣлы, чтобы защищаться отъ преслѣдованія Эриній. Преисподняя безсильна противъ стрѣлъ, отъ которыхъ нѣкогда погибъ великій Змѣй: Эриніи вернулись въ свою мрачную обитель, и Орестъ окончательно занялъ престолъ своего отца.

VI.

Съ точки зрѣнія Аполлоновой религіи преданіе объ Орестѣ было установлено навсегда въ только-что представленной формѣ и болѣе развиваться не могло: вся Греція, видѣвшая въ Аполлонѣ «бога» вообще, приняла его въ этомъ видѣ. Дальнѣйшее видоизмѣненіе нашего преданія было послѣдствіемъ дальнѣйшей эволюціи нравственныхъ идей, которая состоялась, однако, не на почвѣ Аполлоновой религіи, а какъ протестъ противъ нея. Исходнымъ пунктомъ для этого протеста были Аѣины; такъ какъ ему способствовала политическая эволюція ближайшихъ за дельфійской реакціей столѣтій, то мы должны здѣсь прежде всего поговорить о ней, и въ связи съ ней—о *политическомъ значеніи преданія объ Орестѣ вообще*.

Подъ вліяніемъ эпической поэзіи Агамемнонъ давно успѣлъ превратиться для грековъ въ историческое лицо; это былъ тотъ

царь, который, въ силу унаслѣдованной отъ предковъ власти, созвалъ прочихъ греческихъ царей въ общій походъ противъ варваровъ. Всѣ они тогда послушно явились на его зовъ: и престарѣлый владыка мессенскаго Пилоса, и ретивый вождь еессалийскихъ мирмидонянъ, и юные начальники аѳинскаго народа, и царь сосѣдней, братской Спарты, и хитроумный князь далекой Иоави. Иначе и быть не могло: на то у Агамемнона былъ священный, богоданный жезлъ, происхожденіе котораго было прекрасно извѣстно пѣвцамъ-гомеридамъ:

Тотъ жезлъ былъ Гефеста работой;
 Мастеръ Гефестъ его Зевсу поднесъ, повелителю неба;
 Зевсъ же Гермесу вручилъ, своему быстроногому сыну;
 Тотъ его Пелопу-князю, наѣзднику отдалъ лихому;
 Пелопъ Атрею оставилъ, народовъ чтобъ былъ властелиномъ;
 Царь же Атрей, умирая, богатому отдалъ Фіесту;
 Тотъ, наконецъ, Агамемнону далъ, дабы правилъ державно,
Многихъ царемъ острововъ и всего его Аргоса ставя.

Такъ-то Агамемнонъ сталъ царемъ надъ царями, управляя «всѣмъ Аргосомъ», т.-е. всей Греціей, земнымъ отраженіемъ небеснаго Аргоса-Асгарда, «бѣлаго города» боговъ. По смерти Агамемнона богоданный жезлъ захватилъ Эгисей, и народы съ ропотомъ повиновались ему; послѣ Эгисея онъ достался законному наслѣднику Оресту, освободившему отъ позора отчій домъ; но что же съ нимъ случилось дальше? Кому послѣ Ореста достался богоданный жезлъ, „многихъ царемъ острововъ и всего его Аргоса ставя“?—Этого никто не зналъ; по изложеннымъ выше причинамъ имя Ореста было первоначально послѣднимъ именемъ въ генеалогіи Атридовъ.

Греческая исторія начинается съ переселенія племенъ, разрушившихъ доисторическую героическую культуру, о которой намъ дали представленіе раскопки въ Микенахъ и Критѣ — точно такъ же, какъ исторія новой Европы начинается съ великаго переселенія народовъ, разрушившихъ римскую имперію. И здѣсь, и тамъ за эпохой переселенія послѣдовала долгая эпоха броженія, во время которой о главенствѣ одного народа или царя надъ другимъ не могло быть и рѣчи; но мало-помалу изъ числа племенъ выдѣлилось одно, самое сильное и могущественное, и выставило требованіе, чтобы другія подчи-

нились ему. Это требованіе поддерживалось прежде всего силою, какъ это и естественно; но не менѣе естественнымъ было и желаніе къ силѣ присоединить право. Право состояло въ возстановленіи связи между новой гегемоніей и старой; чѣмъ для королей франковъ была римская корона, дѣлавшая ихъ наслѣдниками Цезарей и Августовъ, тѣмъ для новыхъ властителей Греціи былъ богоданный жезлъ Агамемнона и Ореста, послѣднихъ царей надъ царями, послѣднихъ носителей гегемоніи въ героической Греціи. Тутъ переходъ совершился даже еще естественнѣе; вѣдь замокъ Агамемнона, по рассказамъ поэтовъ, стоялъ въ «золотомъ обильныхъ Микенахъ», на восточномъ полуостровѣ Пелопоннеса — немудрено, что ореолъ его славы озарилъ тотъ народъ, который занялъ этотъ полуостровъ. Здѣсь, недалеко отъ разрушенныхъ Микенъ, былъ построенъ городъ Аргосъ, одно имя котораго дѣлало его наслѣдникомъ власти надъ гомеровскимъ Аргосомъ, т. е. Греціей; первый періодъ греческой исторіи былъ періодомъ преобладанія Аргоса надъ другими племенами — по крайней мѣрѣ, въ Пелопоннесѣ. Оно продолжалось до седьмого вѣка, когда аргивскій царь Фидонъ въ послѣдній разъ воплотилъ въ своей особѣ величіе Аргоса, какъ перваго среди пелопоннесскихъ государствъ; но уже при его ближайшихъ потомкахъ Аргосъ потерялъ гегемонію. Она никогда болѣе къ нему не вернулась; отъ всего минувшаго величія ему ничего не осталось, кромѣ воспоминаній и звучаваго горькой ироніей славнаго имени «бѣлаго города» боговъ.

Паденіе Аргоса было возвышеніемъ Спарты; оно состоялось въ послѣднюю половину седьмого вѣка. Будучи политически единой (а не раздѣленной на удѣлы, подобно Аргосу), завладѣвъ, къ тому же, сосѣдней Мессеніей, — она была, безъ всякаго сомнѣнія, самымъ могущественнымъ въ Греціи государствомъ и могла помышлять о гегемоніи. Сила для этого у нея была: но было ли право? Нѣтъ, право было тамъ, гдѣ стояли развалины древняго города Атридовъ, въ Аргосѣ... Въ этомъ затруднительномъ положеніи Спарта поступила точно такъ же, какъ въ средніе вѣка поступали саксонскіе и швабскіе герцоги, мечтавшіе объ императорской коронѣ. Тѣ обращались въ Римъ; Спарта обратилась въ Дельфы. Соперниче-

ство германскихъ князей доставило святому престолу въ Римѣ, кромѣ духовной, и свѣтскую власть; соперничество греческихъ племенъ доставило святой горѣ Аполлона, кромѣ духовной гегемоніи, о которой рѣчь была выше, и гегемонію свѣтскую. Спарта стала на два безъ малаго столѣтія мечомъ Эллады; но рука, поднимавшая этотъ мечъ, находилась въ Дельфахъ.

Дѣйствительно, гегемонія Спарты была гораздо болѣе на руку Дельфамъ, нежели гегемонія Аргоса, который, сильный своимъ правомъ, могъ прекрасно обходиться безъ нихъ. Право это имѣло основаніемъ не допускающую никакого сомнѣнія гомеровскую традицію, согласно которой Агамемнонъ, вождь эллиновъ, царствовалъ именно въ Аргосѣ и Микенахъ; недвусмысленность этой традиціи позволяла аргосцамъ признать въ древнѣйшихъ героическихъ гробницахъ Микенъ гробницы Агамемнона, Клитемнестры и Кассандры. Всему этому съ помощью Дельфовъ былъ созданъ противовѣсъ. Прежде всего была сочинена, въ противовѣсъ гомеровской традиціи, та *дельфійская Орестея*, о которой рѣчь была выше; главная цѣль ея, какъ мы видѣли, была нравственно-религіозная, но не трудно было заодно удовлетворить и политическимъ требованіямъ минуты, что и было сдѣлано: вопреки Гомеру, не Аргосъ и не Микены, а спартанскія Амиклы были объявлены столицей Агамемнона (стр. 18). Именно Амиклы были очень удобны для этой цѣли; это былъ очень древній городъ, въ немъ были старинныя героическія гробницы, которыя современемъ могли пригодиться. Все же Дельфы дѣйствовали медленно, исподволь. Въ Амиклахъ правился древній культъ богини Александры: ее-то отождествили съ пророчицей Кассандрой, которая была убита вмѣстѣ съ Агамемнономъ. Спартанскій культъ Зевса-Агамемнона, восходившій еще къ космогонической формѣ міеа, тоже долженъ былъ сослужить свою службу, хотя мы объ этомъ ничего точнаго не знаемъ. Все это было хорошо, но недостаточно: вѣдь богоданный жезлъ Агамемнона по праву перешелъ къ Оресту, онъ былъ послѣднимъ носителемъ эллинской гегемоніи; что же случилось съ Орестомъ? Мы видѣли, что именно въ дельфійской традиціи Орестъ, какъ носитель дельфійской идеи оправданія, игралъ первенствующую роль; его очистилъ Аполлонъ—въ чемъ же состояло это очищеніе? Знать это могли одни

только Дельфы, и они это знали: онъ велѣлъ ему привести изъ Таврической земли кумиръ своей божественной сестры, Артемиды. Теперь дѣло обстояло очень просто; гдѣ находился этотъ кумиръ, тамъ и Орестъ провелъ свои послѣдніе дни. Гдѣ же онъ находился? Въ Греціи было нѣсколько древнѣйшихъ кумировъ этой богини; который изъ нихъ былъ Таврическимъ? Рѣшить этотъ вопросъ могли одни Дельфы, какъ высшій авторитетъ въ духовныхъ дѣлахъ, и они рѣшили его въ пользу Спарты. Спартанскій кумиръ былъ объявленъ тѣмъ, который нѣкогда былъ привезенъ Орестомъ; въ подтвержденіе этого новаго откровенія была пущена въ оборотъ благочестивая легенда. Кумиръ этотъ, вѣщали Дельфы, былъ забытъ во время всеобщаго смятенія, послѣдовавшаго за переселеніемъ племенъ, но вотъ (въ IX в.) нѣкто Астрабакъ со своимъ братомъ его открыли и, неосторожно его коснувшись, сошли съ ума: учредите же культъ «героу» Астрабаку! Культъ былъ учрежденъ, и подлинность спартанскаго кумира этимъ всенародно засвидѣтельствована. Орестъ привезъ кумиръ Таврической Артемиды въ Спарту — значить, онъ царствовалъ здѣсь; любители Гомера могли построить себѣ золотой мостъ предположеніемъ, что онъ здѣсь женился на дочери спартанскаго царя Менелая. Теперь недоставало только одного, самаго главнаго, — недоставало самого Ореста. Гдѣ находились останки послѣдняго носителя всеэллинской гегемоніи? Знать и указать это могъ только Аполлонъ, которому было извѣстно все; онъ долго медлилъ, но, наконецъ, въ VI вѣкѣ рѣшился выдать Спартѣ великую тайну: по указаніямъ Дельфовъ состоялось «перенесеніе останковъ» Ореста въ Спарту, рассказъ о которомъ, интересный не одной только своей наивностью, сохранился у Геродота.

Такъ то Дельфы и покровительствуемая ими Спарта шествовали все дальше по наклонной плоскости, первымъ шагомъ по которой была замѣна Микенъ Амиклами въ дельфійской Орестѣ; все болѣе и болѣе вѣчные интересы вѣры и нравственности скрывались съ преходящими интересами политики. Дельфійская Орестея облетѣла всю Элладу, находя себѣ распространителей въ лицѣ первостепенныхъ поэтовъ шестого и пятого вв. Стесихора, Симонида, Пиндара, не говоря о художникахъ; въ

рукахъ Спарты находились оба палладія всеэллинской гегемоніи, кумиръ Таврической Артемиды и останки Ореста,—что значило противъ такихъ вѣскихъ доказательствъ свидѣтельство свѣтскихъ пѣвцовъ, прославлявшихъ Аргось и Микены! И вотъ священное право Спарты, какъ законной наслѣдницы Агамемнона и Ореста, становится догматомъ въ Элладѣ; когда, въ виду персидскаго погрома, сиракузскій царь Гелонъ условіемъ помощи, о которой его просили, поставилъ требованіе, чтобы его избрали начальникомъ греческихъ войскъ, — спартанскій посоль гордо отвѣтилъ ему: „застонетъ же Пелопидъ Агамемнонъ, узнавъ, что спартанцы дали отнять у себя гегемонію Гелону и сиракузянамъ!“ Такова была неизбежная опора священнаго права Спарты.

Со Спартой торжествовали и Дельфы; ихъ духовная гегемонія въ Элладѣ была неоспорима, мало того: въ качествѣ главнаго распорядителя греческой колонизаціи они въ значительной мѣрѣ руководили внѣшней политикой Греціи. Одно было нехорошо, и дельфійскіе жрецы при своей политической мудрости врядъ ли могли ошибаться на этотъ счетъ: отдавъ Спартѣ Ореста, Дельфы навѣки связали себя съ ней и лишили себя возможности, на случай, если бы этотъ ихъ мечъ притупился, прибѣгнуть къ другому.

VII.

Притупился онъ въ началѣ пятаго вѣка, въ эпоху персидскаго погрома, когда Спарта была вынуждена подѣлиться своей гегемоніей съ новымъ и маловліятельнымъ до тѣхъ поръ государствомъ — Аѣинами. Легко было понять, что этотъ дѣлежъ не болѣе, какъ временная мѣра, что Аѣины, гордясь своими заслугами и сознаніемъ своей физической и интеллектуальной силы, будутъ стремиться къ тому, чтобы весь богоданный жезлъ Агамемнона перешелъ въ ихъ руки. При такомъ положеніи дѣлъ ихъ отношеніе къ Дельфамъ не могло быть дружелюбнымъ: къ нравственному антагонизму, о которомъ рѣчь будетъ въ слѣдующей главѣ, прибавился антагонизмъ политическій.

Въ этомъ отношеніи роль Аѳинъ сильно напоминаетъ роль Венеціи къ исходу среднихъ вѣковъ. Какъ извѣстно, Венеція во всемъ, что касается религіи, была вѣрной дочерью католической церкви—врядъ ли гдѣ-либо можно было найти такое обиліе и богатство храмовъ, такую глубокую и щепетильную набожность, какъ въ городѣ св. Марка; это, однако, не мѣшало ему быть самымъ яркимъ противникомъ расширенія свѣтской власти папъ. Не иначе и „богобоязненные Аѳины“, какъ ихъ называли, относились къ святой горѣ Аполлона. Нигдѣ не было такого количества храмовъ, нигдѣ праздники не обходились съ такимъ благолѣпіемъ, какъ въ городѣ Паллады; мало того—врядъ ли гдѣ-либо такъ часто обращались въ религіозныхъ дѣлахъ къ дельфійскому богу, новый храмъ котораго былъ отстроенъ въ значительной мѣрѣ на аѳинскія деньги. И все это ничуть не мѣшало Аѳинамъ въ политическихъ вопросахъ выступать противъ интересовъ Дельфовъ. Ничто не характеризуетъ лучше оригинальности этого двойственного положенія, какъ счастливый для Аѳинъ исходъ „священной войны“ пятаго вѣка: этимъ исходомъ, съ одной стороны, уничтожалась свѣтская власть Дельфовъ, т.-е. независимость ихъ территории отъ окружающаго ее фокидскаго государства, — съ другой стороны, аѳинскимъ посламъ выговаривалось право въ первую очередь быть допускаемыми къ оракулу.

Нечего говорить, что Аѳинамъ въ ихъ стремленіяхъ къ гегемоніи нельзя было рассчитывать на поддержку Дельфовъ; а все же было желательно узаконить эти стремленія возстановленіемъ связи между древней гегемоніей Атридовъ и новой, о которой мечтали Аѳины. Было желательно; да, но не болѣе: время брало свое, и политическая міеологія начинала терять кредитъ. Все же нѣкоторые шаги въ этомъ направленіи были сдѣланы, хотя, насколько мы можемъ судить, не государствомъ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ со Спартой все еще стоялъ поруганный ею царственный Аргось, увѣнчанный ореоломъ своихъ великихъ воспоминаній; стали помышлять о томъ, чтобы по возможности ближе связать его съ Аѳинами. Первый, въ головѣ котораго возникла эта мысль, былъ въ то же время первый аѳинянинъ, задумавшій осуществить идею аѳинской гегемоніи — тиранъ Писистратъ: имѣя уже власть въ своихъ ру-

кахъ, онъ женился на аргивянкѣ и далъ сыну, котораго она ему родила, гордое имя „начальникъ войска“ (Гегесистратъ), воскрешая этимъ память о героическомъ начальникѣ греческаго войска Агамемнонѣ; а что эта аргивянка была изъ царскаго рода, видно изъ того, что вслѣдствіе ихъ брака аргосцы стали союзниками аѳинянъ. Правда, гомеровская традиція, на которой Аргосъ основывалъ свои права, была вытѣснена дельфійской; тѣмъ желательнѣе было для Писистрата водворить первую во всѣхъ ея правахъ. Его заботы объ очищеніи и расширеніи гомеровскихъ поэмъ извѣстны; взаимно ихъ онъ могъ требовать, чтобы слѣпой пѣвецъ подтвердилъ своимъ свидѣтельствомъ нѣкоторыя, не вполне достовѣрныя, но любезныя аѳинянамъ вѣрованія. Мы знаемъ о нѣкоторыхъ „поправкахъ“, введенныхъ въ текстъ Гомера именно въ Аѳинахъ и въ правленіе Писистрата, и врядъ ли ошибемся, относя къ нимъ и затронутое выше (стр. 18) загадочное мѣсто, согласно которому Орестъ вернулся въ Аргосъ не изъ Дельфовъ, а изъ Аѳинъ. А если Аѳины вскормили юнаго птенца убитаго микенскаго орла, то не естественно ли, что, покинувъ Аргосъ послѣ убійства матери и давъ себя очистить Аполлону, онъ *вернулся въ Аѳины?* Такъ-то въ Аѳинахъ зарождается вѣрованіе: не въ Аргосъ и подавно не въ Спарту вернулся очищенный богомъ Орестъ, носитель идеи всеэллинской гегемоніи, а въ Аѳины; въ Аѳинахъ богоданный жезль Атридовъ пустилъ новые отпрыски. Вернулся же онъ, какъ мы видѣли выше (стр. 24), съ древнимъ кумиромъ Таврической Артемиды: и вотъ такой кумиръ, которымъ обладала одна аттическая деревня, былъ объявленъ тождественнымъ съ тѣмъ, который Орестъ привезъ изъ Тавриды; для вѣщей вразумительности Писистратъ учредилъ этому кумиру культъ въ аѳинскомъ кремлѣ.

Случилось это въ VI вѣкѣ, когда политическая міеологія еще пользовалась кредитомъ. Дельфы были встревожены; очень вѣроятно, что упомянутое выше „перенесеніе останковъ“ Ореста въ Спарту, состоявшееся именно въ эпоху Писистрата, было отвѣтомъ Дельфовъ на его новшества. Но этого было мало. Писистратъ и его родъ сталъ ненавистенъ Дельфамъ, и они настояли на его изгнаніи изъ Аѳинъ. А когда, съ благословенія дельфійскаго бога, состоялся походъ персовъ на Элладу,

то среди добычи, увезенной персами изъ разоренной Аттики, находился и мнимо-таврической кумиръ Артемиды. Ясно, что безобразный чурбанъ ничѣмъ не могъ прельщать царя золотой Персіи; но зато его устраненіе изъ Аттики было очень желательно для Дельфовъ, дѣйствовавшихъ тогда заодно съ персами.

Но и удаленіе кумира не могло ослабить вѣру въ событіе, о которомъ онъ нѣкогда свидѣтельствовалъ; пускай Таврическая Артемида теперь вторично попала къ варварамъ— все же до тѣхъ поръ она была въ Атикѣ, будучи оставлена въ ней Орестомъ. Аѳинская трагедія пятаго вѣка охотно занималась Орестомъ, намѣренно подчеркивая его связь съ Аѳинянами на зло Дельфамъ и Спартѣ— въ этомъ состоялъ для Аѳинъ *политическій* интересъ преданія объ Орестѣ-матерубійцѣ, независимо отъ *нравственнаго*, къ которому мы перейдемъ вскорѣ. Понятно, что интересъ этотъ увеличился въ ту войну, которая должна была рѣшить споръ о гегемоніи между Аѳинянами и Спартой,—въ войну пелопоннесскую. Спарта все еще владѣла останками, которые она съ согласія Дельфовъ выдавала за останки Ореста; это беспокоило набожную часть аѳинскаго населенія. Могъ ли Орестъ доставить побѣду тому городу, который до сихъ поръ еще не учредилъ культа въ его честь? И вотъ требованіе объ учрежденіи культа героя Оресту стало раздаваться все настоятельнѣе; мотивировалось оно тѣмъ, чѣмъ обыкновенно мотивировались такіа требованія: гнѣвомъ героя, отъ котораго терпѣли въ глухую полночь запоздалые прохожіе по пустыннымъ, неосвѣщеннымъ улицамъ Аѳинъ. Но времена были уже не тѣ: просвѣщеніе свило себѣ прочное гнѣздо въ Аѳинахъ конца V вѣка, и то, что столѣтіемъ раньше показалось бы важнымъ дѣломъ, теперь возбуждало только смѣхъ; къ сильному огорченію набожныхъ людей, слово «герой Орестъ» стало кличкой ночныхъ безобразниковъ, надѣлявшихъ робкихъ обывателей боями съ очень матеріальною цѣлью—стянуть у нихъ хитонъ или плащъ.

Со всѣмъ тѣмъ страна Паллады чувствовала себя дочерью повелителя эллиновъ Агамемнона и законной наслѣдницей его власти. Отчаянно боролась она за нее, но успѣхъ не былъ на ея сторонѣ. Тотъ самый Геллеспонтъ, который видѣлъ нѣ-

когда торжество Агамемнона, былъ свидѣтелемъ уничтоженія послѣднихъ аѳинскихъ силъ; вскорѣ городъ сдался спартанскому военачальнику Лисандру и его союзникамъ, отдавая въ его руки свою судьбу. Жестокія предложенія дѣлались тогда въ палатѣ Лисандра—и на военномъ совѣтѣ, и за товарищеской трапезой: чѣмъ болѣе кто раньше дрожалъ передъ могуществомъ Аѳинъ, тѣмъ болѣе желалъ онъ теперь стереть ненавистный городъ съ лица земли, жителей продать въ рабство, а страну обратить въ пастбища. Тогда, говоритъ Плутархъ, одинъ изъ сотрапезниковъ заплѣ первую хорическую пѣснь изъ Еврипидовой «Электры»:

Агамемнона славная дочь!
Мы приходимъ, Электра, къ тебѣ,
Въ твой убогій, нецарственный домъ...

Намекъ былъ понять; онъ тронулъ присутствующихъ до слезъ. Аѳины не были разрушены, но гегемонію онѣ потеряли: жезлъ Агамемнона перешелъ къ тому городу, въ которомъ находилась признанная могила его сына.

Вторично Спарта стала мечомъ Эллады; подъ ея предводительствомъ возобновилась война съ вѣковымъ восточнымъ врагомъ. Чтобы засвидѣтельствовать передъ всѣми историческую связь спартанской гегемоніи съ героической гегемоніей Атридовъ, спартанскій царь Агесилай задумалъ открыть походъ, по примѣру Агамемнона, жертвоприношеніемъ въ Авлидѣ. Но Авлида была на беотійской территоріи; Фивы, которымъ было суждено пожать плоды раздора между обоими могущественными греческими государствами, воспротивились затѣѣ Агесилая, и она не удалась. Это авлидское жертвоприношеніе—послѣдняя попытка использовать обаяніе легенды о гегемоніи Атридовъ, о которой мы знаемъ; въ послѣдовавшее время она окончательно отошла въ область поэзіи. Мифотворная сила греческаго народа изсякла, и кредитъ политической мифологіи былъ подорванъ навсегда.

VIII.

Изложеніе наше зашло впередъ, чтобы до конца прослѣдить вліяніе политической эволюціи на развитіе интересующаго насъ міа; теперь прошу читателя вернуться къ тому мѣсту, гдѣ у насъ оборвалась нить развитія нравственныхъ идей въ связи съ развитіемъ того же міа. Дельфійская Орестея должна была возвѣстить міру двѣ новыя истины: во-первыхъ, что право души на кровавую месть есть право священное и неукоснительное, чѣмъ бы ни приходился убійца мстителю; во-вторыхъ, что Аполлонъ можетъ очистить преступника во всякомъ случаѣ, какимъ бы грѣхомъ онъ себя ни запятналъ. Опасныя послѣдствія первой истины предупреждались второй: мститель терялъ право на кровавую месть, если убійца былъ очищенъ Аполлономъ; но вторая истина дѣлала Аполлона и его дельфійскихъ замѣстителей руководителями совѣсти всѣхъ вѣрующихъ эллиновъ. Не встрѣтъ дельфійскій богъ отпора этимъ своимъ притязаніямъ, — вся исторія греческой культуры получила бы сакральный, теократическій характеръ; политикой Греціи стала бы воля дельфійской коллегіи, ея философіей — дельфійскія славословія въ честь побѣды свѣтлокудраго бога надъ великимъ Змѣемъ, взлелѣяннымъ Землей.

Но онъ встрѣтилъ отпоръ; встрѣтилъ его со стороны Аѳинъ. Аѳиняне по-своему справились съ пережитками анимизма въ своихъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ. Съ одной стороны, врожденная ихъ вдумчивость не позволяла имъ одобрить исходъ, найденный безпечной и легкомысленной Іоніей Гомера, — исходъ, при которомъ душа убитаго являлась только объектомъ сдѣлки между его убійцей и его ближайшимъ родственникомъ, и причиненное послѣднему огорченіе уравнивалось соотвѣтственной суммой наслажденій: принимать виру считалось въ Аѳинахъ такимъ же безнравственнымъ поступкомъ, какъ и въ Дельфахъ. Но, съ другой стороны, и найденный въ Дельфахъ исходъ не соотвѣтствовалъ аѳинскому міросозерпанію, такъ какъ онъ оставлялъ безъ вниманія одно изъ важнѣйшихъ началъ аѳинской души, то самое, которое сдѣлало Аѳины источникомъ человѣческой культуры — *гражданственность*. При

всемъ своемъ коренномъ различіи, іонійское и дельфійское рѣшеніе задачи сходились въ одномъ: согласно имъ, человѣкъ былъ въ принципѣ чѣмъ-то обособленнымъ и самодовлѣющимъ. У іонійцевъ убійца имѣлъ дѣло исключительно съ ближайшимъ родственникомъ убитаго; по дельфійскому ученію, къ этимъ двумъ сторонамъ прибавлялась третья—душа убитаго, требовательная и мстительная; но ни тамъ, ни здѣсь не принималась во вниманіе община, къ которой принадлежалъ и убитый, и убійца, и мститель. Въ Аѣинахъ именно эта община заявляла о своихъ правахъ. Она говорила убійцѣ: „человѣкъ, котораго ты убилъ, былъ моимъ гражданиномъ; убивая его, ты оскорбилъ меня“; она же говорила и мстителю: „человѣкъ, котораго ты преслѣдуешь, мой гражданинъ и стоитъ подъ моимъ покровительствомъ; прежде чѣмъ допустить его преслѣдованіе, я должна убѣдиться, что онъ виновенъ. Поэтому, я намѣрена быть судьей между тобой и имъ; если я признаю его виновнымъ, то онъ мною же будетъ наказанъ, но если я его оправдаю, то ты долженъ его пощадить“. Этимъ въ древнюю этику вводилось новое начало; вопреки притязаніямъ дельфійскаго бога, община себѣ присваивала отомщеніе и право воздать.

Вещественнымъ символомъ этого права былъ аѣинскій *Ареопагъ*; великое значеніе этого стариннаго судилища состояло въ томъ, что оно, творя строгій и правый судъ по убійствамъ, дѣлало невозможнымъ и взаимное истребленіе гражданъ, требуемое древнѣйшимъ анимизмомъ, и нравственное ихъ растлѣніе приниманіемъ виру у свѣжей могилы убитаго, дозволяемое іонійскимъ раціонализмомъ, и, наконецъ, униженіе человѣческой совѣсти передъ волей бога и его замѣстителя-жреца, проповѣдываемое въ Дельфахъ. Произошло убійство, — убійца и мститель являлись на Аресовъ холмъ; убійца становился на „камень Обиды“, мститель на „камень Непримируемости“; оба излагали дѣло кратко, сухо, безъ всякихъ попытокъ выставить себя въ хорошемъ свѣтѣ и разжалобить судей — такъ требовалъ обычай. Выслушавъ обоихъ, коллегія судей-ареопагитовъ постановляла свой приговоръ по большинству голосовъ; если голоса раздѣлялись, то полагали, что незримо присутствующая богиня-покровительница города, Паллада-Аѣина, присоединяла свой голосъ къ тѣмъ, которые были поданы въ пользу обви-

няемаго, и этотъ „голосъ Аѳины“ его спасалъ. Вообще же, предвидя осужденіе, преступникъ могъ еще до конца слѣдствія оставить городъ: жалкая участь изгнанника была почти равносильна смерти. Но если онъ былъ оправданъ, то онъ возвращался къ своему очагу и продолжалъ состоять подъ покровительствомъ законовъ.

А душа убитаго? Неужели аѳинскій исходъ былъ возвращеніемъ къ іонійскому рационализму? — Нѣтъ; душа убитаго или, вѣрнѣе, ея замѣстительницы и заступницы Эриніи предполагались присутствующими тутъ же въ мрачной пещерѣ подъ Аресовымъ холмомъ. Вырывая у нихъ убійцу, община признавала, что она навлекаетъ на себя ихъ гнѣвъ, что процессъ между убійцей и мстителемъ еще не конченъ, а лишь возведенъ на болѣе высокую ступень, на которой сторонами будутъ — она, сама община, и „благосклонныя богини“ (Евмениды“), какъ ихъ изъ уваженія называли. Чтобы умиловить ихъ, имъ учредили культъ, и этотъ культъ былъ дѣломъ государства; отъ оправданнаго обычай требовалъ только скромнаго жертвоприношенія въ пещерѣ Евменидъ, послѣ чего онъ могъ спокойно вернуться домой, въ увѣренности, что государство, оправдывая его, беретъ на себя его отвѣтственность передъ грозными силами преисподней.

Таковъ былъ исходъ, найденный въ Аѳинахъ: гуманность, гражданственность и религіозность были имъ одинаково удовлетворены. Зато же и гордились Аѳины своимъ Ареопагомъ. Казалось невозможнымъ, чтобы такое великое, благотѣльное учрежденіе было создано людьми ради людей; сама Аѳина, гласило преданіе, учредила въ своемъ любимомъ городѣ этотъ судъ, чтобы разсудить двухъ боговъ, Посидона и Ареса, изъ которыхъ первый обвинялъ второго въ убійствѣ своего смертнаго сына. Такъ-то Аресь согласился предстать передъ судомъ; оттого-то, заключали далѣе, и само мѣсто суда получило имя „Аресова холма“ — Ареопага.

Сознавали ли благочестивые аѳиняне VII и VI вѣковъ, что, прославляя свой Ареопагъ, они подкапывались подъ самое основаніе могущества всѣми чтимаго дельфійскаго бога? Очень вѣроятно, что нѣтъ: совмѣстимость противорѣчащихъ другъ другу религіозныхъ понятій свойственна человѣку въ эпоху юности

его умственной культуры. Но долго она существовать не могла; при тщательности и глубинѣ аѳинскаго мышленія должна была наступить пора, когда противорѣчіе сдѣлалось очевиднымъ, когда совѣсти аѳинянъ былъ предоставленъ выборъ между двумя исходами—либо отказаться отъ суда Паллады, либо, удерживая его, вступить въ открытую борьбу съ дельфійскимъ богомъ. Пора эта наступила тогда, когда нравственный антагонизмъ между Аѳинами и Дельфами обострился антагонизмомъ политическимъ. Послѣ всего, что было сказано выше, намъ не покажется удивительнымъ, что сраженіе было дано на почвѣ все того же преданія объ Орестѣ матереубійцѣ; знаменосцемъ Паллады былъ въ этомъ сраженіи родоначальникъ трагедіи *Эсхилъ*.

IX.

Нѣтъ надобности пересказывать содержаніе всей эсхиловой Орестей. Само собою разумѣется, что права царственнаго Аргоса были восстановлены аѳинскимъ поэтомъ: не лаконскія Амиклы, какъ твердили Дельфы въ угоду своей союзницѣ Спартѣ, а аргосскія Микены были признаны столицей вождя эллиновъ. Но въ остальномъ Эсхилъ старался держаться, гдѣ только можно было, дельфійской Орестей, чтобы тѣмъ рѣзче отбѣнить различіе въ основномъ пунктѣ. Ради этой своей главной цѣли онъ пожертвовалъ даже невинной передержкой, внесенной Писистратомъ въ гомеровскую Орестею: не въ Аѳинахъ, а у подножія святой горы Аполлона воспитывался Орестъ. Нужно было представить его любимцемъ и ставленникомъ дельфійскаго бога для того, чтобы немощь этого бога выступила потомъ тѣмъ разительнѣе.

Душа убитаго Агамемнона взываетъ о мщеніи; Аполлонъ возлагаетъ эту обязанность на его сына. Узнавъ о волѣ бога, чистый юноша безропотно идетъ исполнить свой тяжелый подвигъ; на него, на своего владыку и покровителя, уповаешь онъ въ минуту сомнѣній и душевной борьбы:

Не выдастъ насъ державный Аполлонъ!
Его глаголь, раскатамъ грома равный,
Святую месть изгнаннику внушилъ.

Ему внималъ я; въ сердцѣ леденѣла
 Живая кровь; и онъ мнѣ такъ вѣщалъ:
 „За казнь отца убійцѣ казнить ты долженъ
 И жизнь за жизнь, и кровь за кровь взыскать:
 Не то—своей отвѣтишь ты душою
 И тяжкихъ бѣдъ обузу понесешь“.
 Онъ мнѣ сказалъ какъ родичей караетъ
 Убитого разгнѣванная тѣнь;
 Я знаю все: таинственный недугъ
 Ожесточенной челюстью сѣбѣдаетъ
 Всю кожу ихъ; лишаи покроетъ блѣдный
 Повисшую, изорванную плоть,
 И запѣтетъ все тѣло въ язвахъ гнусныхъ.
 Другую мечь Эриніи наплотъ,
 За кровь отца ослушника терзая:
 Нѣтъ болѣ сна мнѣ; рой видѣній страшныхъ
 Въ полночной тѣмѣ предстанетъ предо мной,
 На ложѣ думъ покой мнѣ отравляя.

И все-таки онъ не увѣренъ въ себѣ; вернувшись тайно со своимъ другомъ на родину, онъ хочетъ прежде всего помолиться на могилѣ своего отца,—этимъ начинается дѣйствіе средней драмы эсхиловой трилогіи, вся первая часть которой, происходя у гробницы Агамемнона, насвѣзъ проникнута тяжелымъ, могильнымъ воздухомъ. Но и убитый почувалъ приближеніе мстителя: изъ своей подземной обители онъ наславъ страшный сонъ на невѣрную жену, и она въ первый разъ рѣшается умиловать его душу: по ея приказанію, ея дочь Электра съ прислужницами отправляется почтить возліяніями прахъ покойнаго.

Все это мы знаемъ уже изъ дельфійской Орестей. Но тамъ роль Электры могла оставаться неопредѣленной, такъ какъ она служила лишь внѣшнимъ рычагомъ дѣйствія; здѣсь же мы имѣемъ передъ собою драму, а драма нуждается въ характеристикѣ, въ психологическомъ обоснованіи того, что въ ней происходитъ. Характеристику Электры можно дать въ немногихъ словахъ: въ ней живетъ душа ея убитого отца. Только въ одномъ чувствуетъ она себя дочерью своей матери: „Точно волкъ кровожадный,—говоритъ она,—неумолима моя душа: въ этомъ мое материнское наслѣдіе“. Она знаетъ за собой эту черту и боится ея; трогательна ея молитва на могилѣ отца: „Родитель мой! Не дай мнѣ сдѣлаться такой, какова моя мать; сохрани

въ смиреніи мое сердце, въ чистотѣ мои руки“. Да, это трагическая фигура; читая ея слова, мы чувствуемъ, что она имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы современемъ самой сдѣлаться героиней трагедіи. Но здѣсь ея роль второстепенная; герой—Орестъ, отъ него зависитъ все. Покорный волѣ бога, онъ рѣшился исполнить возложенный на него подвигъ; но устоятъ ли эта рѣшимость противъ впечатлѣній родной земли, противъ вида дворца, въ которомъ живетъ его мать? Опять сомнѣнія овладѣли его душой; чтобы побороть ихъ, онъ пошелъ помолиться на могилѣ отца. И отецъ внялъ его мольбѣ и выслалъ ему на встрѣчу ту, въ которой живетъ его душа, — Электру. Встрѣча брата и сестры обставлена нѣсколько сложнѣе, чѣмъ въ дельфійской Орестеѣ; подробности этой обстановки вызвали позднѣе насмѣшку Еврипида, но на современниковъ Эсхила онѣ произвели сильное впечатлѣніе. Электра не знаетъ ни сомнѣній, ни колебаній; жажда мести за отца—основная черта ея характера, она наполняетъ все ея существо. Она рада прибытію брата, но лишь постольку, поскольку она видитъ въ немъ „возстановителя дома ея отца“; она не чуждается и дѣвичьихъ мечтаній о замужествѣ, о собственномъ домѣ, но потому только, что надѣется въ день своей свадьбы принести на могилу отца обильныя жертвованія изъ того отцовскаго наслѣдія, котораго ей теперь не выдаютъ. Такъ-то теперь у гробницы Агамемнона происходитъ свиданіе Ореста и Электры; она (вмѣстѣ со старшей прислужницей) рассказываетъ брату объ участи отца, о своей собственной жалкой жизни, наконецъ, о снѣ, навѣянномъ убитымъ на ихъ мать; подъ вліяніемъ этихъ рассказовъ прежняя рѣшимость возвращается къ Оресту.

Этимъ роль Эсхиловой Электры кончена; исполнивъ то, чего отъ нея требовалъ отецъ, она возвращается въ домъ матери. На сценѣ остается Орестъ со своимъ другомъ. Планъ ихъ простъ: вызвать изъ чертоговъ царя и царицу, сообщить имъ лживую вѣсть о смерти мстителя и, обманувъ этимъ ихъ подозрительность, добиться возможности исполнить волю бога и убитаго. Но Эгисеа нѣтъ; къ пришельцамъ выходитъ Клитемнестра, высокая и блѣдная, горделивая въ сознаніи того неслыханнаго, неизгладимаго позора, которымъ она окружила

себя. Не радостна ей сообщенная вѣсть; и мы сознаемъ, что не одно только материнское чувство въ ней зашевелилось. Жизнь научила ее гордо носить передъ чужими бремя своего грѣха, но въ уединеніи оно тяготило ее, и къ страху, съ которымъ она вспоминала о Дельфахъ и растущемъ въ нихъ мстителѣ, примѣшивалась нѣкоторая слабая надежда. Вѣдь этотъ мститель — то самое дитя, которое она нѣкогда родила, будучи честной супругой славнаго мужа; онъ былъ единственнымъ символомъ ея потерянной чистоты, онъ одинъ не былъ забрызганъ той „кровавой грязью“, въ которую ея новый бракъ втянулъ и ее, и ея дочь, и весь ея домъ. Пока живъ былъ Орестъ, жила надежда на конечное примиреніе съ міромъ чести и добра; его смерть увѣковѣчила ея позоръ.

Все же она не забываетъ и о долгѣ гостепріимства; солнце зашло, пора путникамъ на покой. Посылаютъ за Эгисеемъ; тѣмъ временемъ сумерки усиливаются; когда онъ приходитъ, густой мракъ покрылъ всю сцену — самая подходящая обстановка для того, что имѣетъ теперь свершиться. Полный радостнаго нетерпѣнія, Эгисей спѣшитъ во дворецъ къ чужестранцамъ, чтобы услышать подтвержденіе пріятной вѣсти; тамъ его и настигаетъ смерть. Все это происходитъ быстро, какъ нѣчто побочное и маловажное; главное — вперед. Вызванная поднявшимся крикомъ, Клитемнестра выходитъ на сцену: „Что случилось?“ — „Мертвые убиваютъ живыхъ!“ слышитъ она въ отвѣтъ. Слова эти объясняютъ ей все; рѣшившись защищаться до послѣдней возможности, она посылаетъ слугу за сѣкирой — той проклятой сѣкирой, которой она нѣкогда убила мужа. Поэтъ нарочно упоминаетъ объ этой чертѣ дельфійской Орестей, чтобы отгнать свое отступленіе отъ нея въ слѣдующемъ. Еще до возвращенія слуги Орестъ выходитъ изъ мужской половины дворца; въ рукахъ у него мечъ, обогранный кровью Эгисея, предъ нимъ — безоружная мать.

Безоружная, да, — но зато мать. Она знаетъ это. „Остановись!“ кричитъ она изступленному сыну, разрывая одежду, покрывающую ея грудь; „пощади лоно, на которомъ я такъ часто тебя убаюкивала, пощади грудь, молокомъ которой я тебя вскормила!“ Передъ этимъ видомъ рѣшимость вторично оставляетъ Ореста: „Что дѣлать, Пиладъ? — спрашиваетъ онъ: — могу я

пощадить свою мать?“ Пиладь стоитъ тутъ же при немъ; онъ неотступно и молчаливо сопровождалъ его, какъ нѣмой свидѣтель того, о чемъ знали только они, да святая гора Аполлона; здѣсь онъ въ первый и единственный разъ нарушаетъ свое молчаніе. „А воля Феба? — говоритъ онъ: — а клятва твоя? Всякую вражду предпочти враждѣ бога“. Вотъ; значить, что даетъ рукъ Ореста рѣшительный толчекъ: не голосъ сердца, не воспоминаніе объ отцѣ, не увѣщанія сестры — все это пересилилъ видъ обнаженной материнской груди; первымъ и послѣднимъ двигателемъ кроваваго дѣла остается воля дельфійскаго бога.

Наконецъ, все свершено. При первомъ свѣтѣ утренней зари мы опять видимъ Ореста, передъ нимъ съ одной стороны — трупы казненныхъ, съ другой — роковой плащъ, въ которомъ былъ убитъ Агамемнонъ. Кругомъ народъ; прежде чѣмъ занять престолъ отца, Орестъ долженъ оправдать передъ аргосцами свой поступокъ. Взволнованнымъ голосомъ произносить онъ краткое, но сильное слово; народъ его одобряетъ. Да, убійство царя было возмутительнымъ дѣломъ; да, убійца постигла поздняя, но справедливая кара. Итакъ, всѣ сочувствуютъ Оресту; что же онъ не сходитъ съ амвона, не возвращается въ свой дворецъ?.. Онъ продолжаетъ стоять на томъ же мѣстѣ, неувѣренно смотря то на убитую мать, то на окровавленный плащъ отца; точно не сознавая, гдѣ онъ находится, отдается онъ влеченію своей блуждающей мысли:

Виновна ты? Или нѣтъ? Но вотъ свидѣтели,
Кровавый плащъ изобличить тебя:
Эгисса мечъ оставилъ слѣдъ на ткани,
И бурое, старинное пятно
Понимѣ блескъ порфиры разрушаетъ.
Въ чужой землѣ изгнанныкомъ я выросъ,
Но этотъ день сознанье мнѣ вернулъ.
Твою, отецъ, оплакалъ я кончину,
Ты отомщенъ; но горю нѣтъ конца,
И въ траурѣ стоятъ передо мною
Сестра и мать и весь мой родъ.—и вашъ
Побѣдный кликъ терзаетъ сердце мнѣ!

Напрасно голоса изъ народа стараются успокоить юношу, — что значать ихъ блѣдныя утѣшенія! Да, всякая жизнь полна

печалей, никто не вышел чистымъ изъ ея омута, но при чемъ все это здѣсь?

Нѣтъ, нѣтъ, постоите, дайте досказать!
 Чѣмъ кончится все это,—я не знаю;
 Внѣ колеи умчался конь ретивый
 Души моей, поводья ускользаютъ
 Изъ рукъ, умою не въ силахъ управлять я.
 Я слышу: Ужасъ пѣснь свою играетъ,
 И сердце пляшетъ подъ ея напѣвъ...
 Пока въ умѣ сознанья искры тлѣютъ,
 Зываю къ вамъ; я въ правѣ былъ, друзья,
 Ею убить, противную богамъ
 Преступницу, чѣмъ мнѣ отца сгубила.
 Самъ *Аполлонъ* отвагу мнѣ внушилъ;
 „*Послушавшись, грѣха не сотворишь ты*“,
 Сказалъ онъ мнѣ; „ослушавшись...“, но нѣтъ!
 Тѣхъ ужасовъ языкъ не перескажетъ.
 Смотрите же: паломникомъ иду я,
 Святую вѣтвь десницею поднимая,
 Въ срединный храмъ, на очагѣ гдѣ Феба
 Его огонь горитъ неугасимый.
 Васъ я прошу—все видѣнное вами
 Въ своей душѣ, друзья, запечатлѣть
 И разказать въ тотъ день, когда со странствій
 На родину вернется Менелай.
 Простите-жъ всѣ; оставьте васъ я долженъ:
 И мать свою своею убилъ рукою—
 Ни жизнь, ни смерть той славы не сотрутъ!

Вотъ гдѣ впервые изъ-подъ дельфійской концепціи мелькаетъ новое, невѣдомое доселѣ начало. Самъ богъ внушилъ юношѣ, что онъ не сотворитъ грѣха, исполняя его волю, и юноша повѣрилъ ему; всѣ одобряютъ его: и сестра, и другъ, и весь народъ; всѣ признаютъ волю бога непогрѣшимой,—и все же онъ не чувствуетъ себя спокойнымъ. Тщетно старается онъ опереться о тотъ свой посохъ, который до тѣхъ поръ служилъ ему столь надежной опорой,—посохъ выскользаетъ у него изъ рукъ; какая-то таинственная сила говоритъ ему, что онъ все-таки неправъ, что есть нѣчто, противъ чего самъ богъ безсиленъ.

Еще одно мгновеніе — и распатанный умъ Ореста уступить напору этой новой силы; овладѣвающее имъ *безуміе*

поэтъ, слѣдуя народнымъ представленіямъ, воплотилъ въ образѣ ужасныхъ богинь-мстительницъ подземной тьмы. Не паломникомъ, нѣтъ,—точно звѣрь, преслѣдуемый стаей псовъ, мчится Орестъ къ храму-средоточію Земли, гдѣ надъ останками сраженнаго Змѣя горитъ неугасимый огонь на очагѣ Феба.

X.

И все-таки до сихъ поръ протестъ противъ дельфійской Орестей заключался въ одномъ только настроеніи, вызванномъ поэтомъ; сама фабула измѣнена не была. И тамъ Орестъ оставялъ свою родину, гонимый Эриніями; спасаясь отъ нихъ, онъ бѣжалъ въ Дельфы, и Аполлонъ, очистивъ его, далъ ему свои стрѣлы, съ помощью которыхъ онъ отогналъ отъ себя своихъ мучительницъ. Согласится ли Эсхилъ увѣковѣчить въ своей поэмѣ торжество дельфійскаго бога надъ силами Земли и смутной совѣстью человѣка? Согласится ли онъ подтвердить дельфійскій догматъ, что Аполлонъ властенъ отпускать человѣку его грѣхъ?

Орестъ въ Дельфахъ, но Эриніи съ нимъ; Аполлонъ очистилъ своего просителя, но Эриніи не удаляются; онѣ только заснули и дали преступнику нѣсколько вздохнуть и опомниться, но онѣ не оставляютъ его и готовы вновь его преслѣдовать, лишь только онъ покинетъ священную обитель. И Аполлонъ сознаетъ свое безсиліе. „Бѣги,—говоритъ онъ Оресту,—и не давай усталости побѣдить тебя; онѣ не отстанутъ отъ тебя, будешь ли ты держать путь по матеріку или чрезъ море. Но *иди къ городу Паллады и, подойдя къ ея храму, ухватись руками за ея старинный кумирь. Тамъ найдемъ мы судей надъ тобой и ими; властвуя надъ убѣдительнымъ словомъ, мы обратимъ спасеніе для тебя*“.

Вся дальнѣйшая драма—только развитіе этой новой исторической мысли, благодаря которой аѳинская гражданственность восторжествовала надъ дельфійскимъ теократизмомъ. Не повластнымъ господиномъ совѣсти, нѣтъ,—защитникомъ преслѣдуемаго преступника является Аполлонъ въ Аѳины, передъ судъ Паллады. Вняла Паллада рѣчамъ обѣихъ сторонъ; но и

она не рѣшается произнести приговоръ, который явился бы закономъ, извнѣ навязаннымъ человѣческой совѣсти. *Пушкой человеческая личность ищетъ себя опоры и оправданія во мнѣннй совокупности лучшихъ изъ равныхъ себя*,—вотъ завѣтъ Паллады грядущимъ временамъ — *всѣмъ временамъ*, какъ она сама объявляетъ. Учреждается судъ на „Аресовомъ холмѣ“; сходятся двѣнадцать ареопагитовъ, избранныхъ изъ числа лучшихъ аѣинскихъ гражданъ; выслушавъ увѣщанія обѣихъ сторонъ—Эриній и Аполлона,—они молча подають свои голоса. При счетѣ голосовъ число оказывается равнымъ за и противъ Ореста; но Паллада присоединила свой голосъ къ тѣмъ, которые были поданы въ его пользу, и онъ признается оправданнымъ. Остается одно: умиловитъ гнѣвъ Эриній. Онѣ собираются проклясть страну, которая пріютила и оправдала матеревубійцу; но сама Паллада ихъ умиловляетъ учрежденіемъ имъ культа подъ тѣмъ же Аресовымъ холмомъ.

Орестъ чувствуетъ, что грѣхъ ему отпущенъ: съ жаромъ благодаритъ онъ богиню, спасшую его и его домъ, и общается ей и ея городу на вѣки вѣчные дружбу и помощь своихъ потомковъ, т.-е. аргосцевъ. Оставимъ политическій характеръ этихъ послѣднихъ общаній; для насъ достаточно одного: что, будучи оправданъ судомъ Ареопага, Орестъ чувствуетъ себя свободнымъ отъ грѣха; оправданъ же онъ былъ даже не большинствомъ, а только равенствомъ голосовъ. Для чего понадобилось поэту эта послѣдняя фикція? Почему, желая представить въ своей драмѣ оправданіе Ореста, не представилъ онъ его единогласнымъ? Потому, что онъ хотѣлъ противопоставить рѣзкой и безусловной аксіомѣ дельфійскаго теократизма столь же рѣзкую и безусловную аксіому аѣинской гражданственности. „Ты найдешь себя опору и оправданіе во мнѣннй совокупности лучшихъ изъ равныхъ тебѣ“, гласилъ завѣтъ Паллады. И тутъ возникалъ вопросъ: безусловно ли? И Паллада отвѣчала: „Да, безусловно“.—Даже если это мнѣніе выразится только большинствомъ, даже—если только равенствомъ голосовъ?—„Да“.

Итакъ, одинъ голосъ рѣшаетъ участь подсудимаго и, что важнѣе, сомнѣнія совѣсти грѣшника въ ту или другую сторону. Но если это такъ, то гдѣ же совокупность? Сознавалъ ли поэтъ это затрудненіе? О да, признавалъ. „Честно ведите счетъ голо-

самъ, чужестранцы,—говорить Аполлонъ ареопагитамъ,—тщательно слѣдя, чтобы при разборѣ не случилось ошибки. Отсутствіе одного голоса можетъ причинить великое горе: прибавленіе одного голоса можетъ вновь поднять пошатнувшійся домъ“. Но, говоря такъ, онъ только подчеркиваетъ затрудненіе, а не разрѣшаетъ его. И снова возникаетъ томительный, проклятый вопросъ: „могу ли я считать, что нашелъ себѣ опору и оправданіе во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ мнѣ, если эта совокупность сводится къ одному лишь голосу?“ И на этотъ вопросъ Эсхиль отвѣта не нашелъ.

Но поэтъ Паллады можетъ утѣшить себя сознаніемъ, что и тѣ двадцать слишкомъ вѣковъ, которые прошли со времени постановки его трагедіи, искомага отвѣта не нашли. Пока процвѣтала античная культура, идея афинской гражданственности росла и крѣпла, заслоняя собой потухающій ореолъ святой горы Аполлона и не давая ожить тлѣющимъ подъ золой искрамъ іонійскаго индивидуализма. Пришло время,—пала и она. Данный на вѣчныя времена завѣтъ Паллады былъ забытъ: возникъ новый принципъ, который мы, такъ какъ онъ сознательно отдѣлилъ правосудіе отъ нравственности, имѣемъ полное право, именемъ исторіи, назвать безнравственнымъ: принципъ, что правосудіе должно блюсти исключительно интересы государства и его главы и имѣть поэтому своимъ единственнымъ органомъ чиновника, получающаго свою власть отъ главы государства. Возникъ, говоря проще, инквизиціонный судъ императорской эпохи.

Въ сравненіи съ нимъ даже іонійскій индивидуализмъ могъ быть названъ прогрессомъ; гнѣвно стучался онъ въ расшатанныя стѣны римскаго государства, въ лицѣ сѣверныхъ племенъ съ ихъ правомъ сильнаго, съ ихъ вирой. Когда эти стѣны рушились, когда германскіе варвары наводнили всю область римской культуры отъ Каледонскихъ горъ до Сахары, тогда первый циклъ въ исторіи цивилизаціи былъ завершенъ. Человѣчество вернулось на ту ступень своего развитія, на которой мы застали его въ эпоху гомеровскихъ поэмъ. Начинается новый циклъ, новый кругъ; несмотря на значительное различіе въ радіусахъ, эти два круга концентричны.

Затронутое здѣсь мнѣніе объ отношеніи новой культуры къ древней находится въ полномъ согласіи съ теоріями новѣйшей исторической науки; но оно самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчитъ взглядамъ, усердно распространяемымъ тѣми, которые привыкли черпать свои историческія свѣдѣнія изъ третьихъ и десятыхъ рукъ: согласно этимъ взглядамъ, культура древняго міра представляется какъ бы дѣтствомъ, культура среднихъ вѣковъ—какъ бы юностью, культура новыхъ временъ—какъ бы возмужалостью человѣчества. Взглядъ этотъ однако ошибоченъ; а такъ какъ ошибка, которую онъ содержитъ, ошибка въ высшей степени вредная, дѣлающая невозможнымъ самое пониманіе исторіи развитія человѣчества, то онъ долженъ быть опровергаемъ самымъ энергичнымъ образомъ. Нѣтъ, древняя культура обнимаетъ всю жизнь южнаго человѣчества, его дѣтство, юность, возмужалость и старость; именно въ этой завершенности заключается ея цѣнность для насъ—и еще въ томъ, что она не стоитъ отдѣльно отъ нашей культуры, а заключается въ ней, какъ изъ двухъ концентрическихъ круговъ меньшій заключается въ большемъ. Впрочемъ, указанный выше ошибочный взглядъ, какъ уже было замѣчено, давно оставленъ историками; онъ держится среди экономистовъ, но исключительно вслѣдствіе ихъ недостаточнаго знакомства съ культурой древняго міра. Несомнѣнно правильное мнѣніе, что экономическое развитіе античной эпохи прошло чрезъ всѣ стадіи, которыя суждено было пройти и экономическому развитію новой Европы, уже нашло себѣ авторитетныхъ и энергичныхъ поборниковъ и вскорѣ, надѣюсь, окончательно восторжествуетъ.

Что въ области нравственности дѣло обстоитъ не иначе, на это указываетъ уже самый фактъ связи и взаимодѣйствія культурныхъ силъ. И если бы кто взялся прослѣдить развитіе идеи нравственнаго оправданія въ исторіи культуры сѣвернаго человѣчества, начавшейся съ эпохи переселенія народовъ,—онъ нашелъ бы, конечно, большое число варіацій, подчасъ очень замысловатыхъ, обусловливаемыхъ множествомъ и разнообразіемъ боровшихся между собою въ различныя времена теченій. И если онъ въ этомъ множествѣ и разнообразіи потеряетъ прямую нить органическаго развитія, то вотъ ему нашъ совѣтъ—обратиться отъ новаго міра къ древнему, гдѣ онъ

найдетъ, вмѣсто несмѣтнаго числа смущающихъ и утомляющихъ зрѣніе узоровъ—простые и отчетливые контуры рисунка; если онъ, твердо запечатлѣвъ въ своей памяти этотъ рисунокъ, затѣмъ вернется къ новому міру, ему такъ же легко будетъ разобраться въ его замысловатыхъ узорахъ, какъ мы въ музыкальныхъ композиціяхъ, помня основную тему, легко разбираемся въ самыхъ трудныхъ и сложныхъ ея варіаціяхъ.

Позволимъ же себѣ, прежде чѣмъ окончательно разстаться съ нашей темой, прослѣдить ее среди того лабиринта узоровъ, которымъ новый міръ покрылъ унаслѣдованныя отъ античности простыя и ясныя нравственныя идеи.

Въ началѣ его развитія, повторяемъ, мы опять встрѣчаемъ идею оправданія въ той безпечной и неглубокомысленной формѣ, которую мы знаемъ еще по гомеровской Іоніи: согласно ей, оправданіе сводится къ простому возмѣщенію причиненнаго ущерба, къ вирѣ. И трудно сказать, сколько времени продержалась бы эта примитивная форма, если бы германцы продолжали сидѣть за рубежомъ романскаго міра; но, вступивъ на почву романизма, они вступили въ область, озаряемую солнцемъ культуры. Подъ лучами этого солнца и развитіе нравственныхъ идей новыхъ властелиновъ міра пошло быстрее; успѣхъ, выпавшій на долю первобытному германскому индивидуализму, оказался непрочнымъ. Дельфійскій ореолъ, потухшій на Парнасѣ, вновь засіялъ на Ватиканской горѣ; снова раздался давнишній кличъ, такъ сладко убаюкивающій человѣческую совѣсть: „чистъ тотъ, кому я отпускаю его грѣхъ, грѣшенъ тотъ, кому я его не отпускаю“. И мірады паломниковъ, потянувшихся въ Римъ съ единственной цѣлью получить отпущеніе грѣховъ и вновь обрѣсти утерянную чистоту, дали ясное и непреложное свидѣтельство о могуществѣ нравственной силы, живущей въ сердцѣ человѣка.

Ореолъ этотъ сіяетъ и понынѣ, но блескъ его уже не тотъ; разладъ, внесенный эпохой Возрожденія въ единство средневѣковаго міросозерцанія, далъ свои плоды и тутъ. Правда, понадобилось не мало времени, чтобы слабое деревцо, взошедшее въ туманахъ крайняго сѣвера, но подкрѣпленное жизне-творнымъ сокомъ возродившейся античной культуры, могло вырасти и осѣнить весь цивилизованный міръ — для насъ это

время наступило всего лѣтъ сорокъ тому назадъ. Но, какъ бы тамъ ни было, это наше время; послѣ двухъ слишкомъ тысячелѣтій мы встрѣчаемъ величайшій изъ всѣхъ нравственныхъ вопросовъ на томъ же мѣстѣ, на которомъ его оставилъ Эсхилъ. И мы повинемся данному на вѣчныя времена завѣту Паллады: „Ищи себѣ опоры и оправданія, человѣческая личность, во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ тебѣ!“ Даже, робко спрашиваетъ наша совѣсть, даже если эта совокупность сводится къ одному только голосу, давшему перевѣсъ тому или другому мнѣнію?— „Что дѣлать—да!

ИФИГЕНІЯ.

(1900).

I.

Два упрека не переставали раздаваться по адресу Еврипида въ теченіе всей его — не очень долгой для тѣхъ здоровыхъ временъ—жизни: его обвиняли въ неуваженіи къ родной вѣрѣ и въ ненависти къ женщинѣ. Въ обоихъ упрекахъ заключалась часть истины, но именно только часть. Правда, что поэтъ-мыслитель, въ умѣ котораго жилъ, дѣйствовалъ и страдалъ духъ Зевса, подчасъ пренебрежительно судилъ о томъ, что исходитъ отъ Земли и льнетъ къ Землѣ, о религіи и женщинѣ... о взаимной симпатіи которыхъ прошу вспомнить рѣзкія, но мѣткія слова Мефистофеля; но толпа, въ силу неизмѣнно присущаго ей симплизма, слишкомъ поторопилась сдѣлать свои обобщенія. Привыкшая создавать по своему подобію образъ своихъ великихъ людей, она не сумѣла понять и оцѣнить того, что ея противникъ былъ и поэтомъ, и мыслителемъ; что, какъ мыслитель, онъ умѣлъ терпѣливо собирать частицы Голубиной книги истины, разбившейся при своемъ паденіи на землю, и не довольствовался какимъ-нибудь случайно найденнымъ ея осколкомъ; а какъ поэтъ, умѣлъ воплощать борющіяся мысли и превращать логическую антиномію въ трагическій конфликтъ.

Толпа не понимала Еврипида; зато онъ ее прекрасно понималъ, а потому и не старался быть понятымъ ею: лишь послѣ его смерти Аѣины увидѣли тѣ двѣ трагедіи, въ которыхъ онъ

отвѣтилъ на оба вышеупомянутыхъ упрека и разъяснилъ своимъ современникамъ свое отношеніе и къ религіи, и къ женщинѣ. Трагедію вѣры онъ воплотилъ въ своихъ «Вакханкахъ», трагедію женственности—въ своей «Ифигеніи Авлидской».

II.

Мы видимъ въ «Вакханкахъ» трагедію вѣры, въ «Ифигеніи» трагедію женственности; надъ обѣими поэтъ работалъ, можно сказать, одновременно, а потому и неудивительно, что главная тема одной трагедіи звучитъ, въ качествѣ побочной, также и въ другой. Въ «Вакханкахъ» женщина избрана носительницей и религіознаго экстаза, и протеста противъ него; равнымъ образомъ въ «Ифигеніи» сосудомъ идеи избранъ самый соблазнительный для религіознаго человѣка разсказъ изъ священнаго преданія эллиновъ—тотъ самый, на который почти четыре вѣка спустя ссылается римскій поэтъ-вольнодумецъ Луверекій, стараясь разубѣдить своего друга Меммія въ нечестивомъ характерѣ своей антирелигіозной поэмы:

Вотъ я чего опасаясь: ты можешь подумать, мой Меммій,
 Что нечестиваго знанья ты вкусилъ начала и вступишь
 На преступленія путь. О, не бойся: *религія* чаще
 Людямъ явила примѣръ нечестивыхъ, преступныхъ дѣяній.
 Плъ ты не знаешь, въ Авлидѣ какъ жертвенникъ дѣвы Діаны
 Дѣвичья кровь осквернила? какъ Ифигенію заклали
 Олліанской рати вожди, наилучшіе, первые мужи?..
 Столькихъ совѣтчицей золь могла быть религія людямъ!

И нѣтъ сомнѣнія, что и нашъ поэтъ могъ бы выдвинуть этотъ благодарный мотивъ: оскорбленная въ своихъ самыхъ священныхъ чувствахъ Клитемнестра, мать героини, могла бы точно такъ же потребовать къ отвѣту жестокое божество, какъ это дѣлаетъ въ «Вакханкахъ» другая мать, невольная дѣтоубійца Агава. Но, быть можетъ, именно по этой послѣдней причинѣ этого не случилось; лишь изрѣдка слышимъ мы сдержанный ропотъ побочной темы, въ словахъ хора, напри-
 мѣръ (пер. И. Ѳ. Анненскаго):

Твой духъ высокъ, царевна-голубица.
 Но злы онѣ—богиня и судьба.

Вообще же грозная прихоть богини оставлена вдали какъ необъяснимое, но и не подлежащее объясненію рѣшеніе рока. Греческое войско собралось въ Авлидѣ, готовое къ отплытію въ Трою; но нѣтъ ему попутныхъ вѣтровъ и не будетъ, пока *Агамемнонъ*, общій вожь соединенныхъ греческихъ племенъ, не принесетъ въ жертву богинѣ авлидскаго побережья *Артемидѣ* (Діанѣ) свою старшую дочь *Ифигенію*. Прямого приказанія тутъ нѣтъ: Ифигенія можетъ оставаться въ чертогахъ отца, никакой кары за это не будетъ; придется только, по необходимости, распустить войско, отказаться отъ похода, проститься съ мечтами о побѣдѣ и славѣ.

III.

Въ этомъ завязка трагедіи; и въ этомъ также причина, почему она, несмотря на варварскій мотивъ человѣческаго жертвоприношенія, не перестаетъ быть близкой и нашему сердцу. Власть и дѣятельность, побѣда и слава не даромъ даются человѣку: кто къ нимъ стремится, тотъ долженъ быть способенъ принести имъ въ жертву кроткіе и нѣжные идеалы, ютящіеся въ глубинѣ его сердца; несмѣтное число разъ повторялась необходимость жестокаго выбора, поведшаго къ жертвоприношенію Ифигеніи... Разумѣется, читатель не долженъ думать, что въ этихъ словахъ заключается вся „идея“ Ифигеніи; они высказаны лишь для того, чтобы ему легче было признать родственныя черты въ грандіозномъ обликѣ героической старины. Идея не заключается въ миѳѣ, какъ ядро въ скорлупѣ; она живетъ въ немъ, какъ душа живетъ въ тѣлѣ. Одухотворенный идеей миѳъ—особый психическій организмъ, развивающійся по своимъ собственнымъ законамъ; въ возможности созиданія такихъ организмовъ состоитъ преимущество философской поэзіи передъ отвлеченной философійей.

Власть и дѣятельность, слава и побѣда зовутъ Агамемнона въ долину Скамандра, подъ стѣны Трои; этимъ самымъ они требуютъ смерти Ифигеніи. Послѣ упорной борьбы, онъ рѣшилъ исполнить это требованіе: его гонцы скачутъ въ Аргось, чтобы вернуться оттуда съ царевной. Все ли рѣшено теперь?

Съ точки зрѣнія *древнѣйшей* трагедіи—все. Эсхиль представилъ намъ въ своемъ „Агамемнонѣ“ и борьбу въ сердцѣ царя и ея исходъ; какъ ни показалось ему ужаснымъ поставленное богиней условіе—онъ смирился, „склонилъ выю подъ ярмомъ Необходимости“; по его приказанію, мужи подняли дѣву надъ жертвенникомъ, сдерживая повязкою ея миловидныя уста, чтобы они въ минуту предсмертнаго ужаса не изрекли проклятія его дому... Это—преступленіе, и поэтъ это сознаетъ; а между тѣмъ, „смерть пожинается на нивѣ грѣха“. За убитую женщину-голубицу отомстила женщина-змѣя. Ею Клитемнестра въ началѣ не была; она стала ею послѣ того, какъ ея дочь была принесена въ жертву власти и славѣ ея супруга.

Иного рода исходъ даетъ намъ посмертная трагедія Еврипида.

IV.

Гонцы помчались въ Аргосъ; скоро они вернутся оттуда вмѣстѣ съ царевной, которую имъ, несомнѣнно, выдала довѣрчивая царица Клитемнестра. Да и какъ было не выдать? Царь писалъ ей въ своемъ письмѣ, что ихъ дочери предстоитъ свадьба съ самымъ славнымъ изъ эллиновъ, съ Ахилломъ... Но въ теченіе ночи мучительная борьба вновь разгорѣлась въ душѣ царя, и этотъ разъ побѣдило сердце: онъ пишетъ женѣ новое письмо съ приказомъ оставить дочь въ Аргосѣ, и передаетъ это письмо вѣрному старику-рабу Клитемнестры. Письмо перехватываетъ Менелай. Менелай болѣе прочихъ пострадалъ бы, если бы не состоялся походъ, предпринятый ради него; происходитъ горячая сцена между нимъ и братомъ. Доводы Менелая внушены себялюбіемъ, и опровергнуть ихъ не трудно: стоитъ ли ради Елены жертвовать Ифигеніей? Дѣло вовсе не въ немъ:

Но Эллада, царь, Эллада! Ей за что-жъ терпѣть обиды?
Иль въ угоду царской дочкѣ намъ отдать на посмѣянье
Наши славныя угрозы?..

Такъ-то власть и дѣятельность, побѣда и слава являются намъ въ другомъ обликѣ: это уже не награда, отъ которой можно и отказаться, это *долгъ*—долгъ воина передъ соратни-

ками, долгъ царя передъ подданными. Конфликтъ обостряется: этотъ мужской, воинскій, царскій долгъ встаетъ передъ нами въ такомъ грозномъ, всеподавляющемъ величіи, что его торжество надъ женскимъ чувствомъ любви и нѣжности кажется намъ неизбѣжнымъ.

Сама судьба приходитъ ему на помощь: Ифигенія уже здѣсь, въ греческомъ станѣ, и сопровождаетъ ее Клитемнестра, не пожелавшая отказаться отъ своего материнскаго права—самой выдать свою дочь замужъ, самой нести передъ нею брачный факель. Даже Менелай смягченъ предстоящимъ горемъ; онъ мирится съ братомъ, совѣтуетъ ему пощадить дочь, но—Эллада, Эллада! Призракъ долга, разъ будучи вызванъ, уже не удаляется; ярмо Необходимости плотно сидитъ на плечахъ, его не страхнешь.

V.

Но и на другой сторонѣ силы не меньше. Тайна раскрыта: Клитемнестра узнала, зачѣмъ ее съ дочерью вызвали изъ Аргоса. Она заручилась могущественнымъ средствомъ спасенія; но прежде чѣмъ имъ воспользоваться, она хочетъ просьбами склонить царя. Ей «Эллада» ничего не говоритъ; она стоитъ за свои женскія права, а эти права ясны, несомнѣнны, непреоборимы. Подобно большинству гречанокъ, она вышла за своего мужа не по любви, а по волѣ родителей; но, разъ ставъ его женой, она была ему покорна и вѣрна, свято охраняя честь его и его дѣтей—тѣхъ четверыхъ дѣтей, которыхъ она ему родила. А онъ какъ ей намѣренъ отплатить?

...Скажи, подумалъ ли, когда
Въ походъ уйдешь надолго ты, что будетъ,
Что будетъ съ сердцемъ *матери* ребенка,
Котораго зарѣжешь ты, Атридъ?
Какъ эта мать на ложе мертвой птицы
Осуждена глядѣть, и на гнѣздо
Пустое, дни за днями, одиноко
Глядѣть, и плакать, и припоминать...

„Подумалъ ли?“ — О да, разумѣется, подумалъ; но эти думы не въ силахъ сорвать ярмо Необходимости, отъ нихъ

только больнѣе становится разрываемому на части родительскому сердцу... Нечего дѣлать, нужно прибѣгнуть къ послѣднему, крайнему средству.

VI.

Это средство—Ахиллъ. Славный сынъ nereиды, воспитанный въ одиночествѣ горъ мудрымъ кентавромъ, чуждъ всякаго—какъ мы сказали бы теперь—«соціального инстинкта». И ему «Эллада» ничего не говоритъ: онъ видитъ въ ней лишь надоѣдливую помѣху для своей личной воли, а его воля страстна, могуча и чиста, точно вихрь съ Пеліонскихъ высотъ. Онъ возмущенъ тѣмъ, что Агамемнонъ воспользовался его именемъ для своего коварнаго замысла. О бракѣ онъ не помышляетъ—Ифигеніи онъ никогда не видѣлъ и въ первый разъ о ней слышитъ,—но это все равно: дѣвушка, которая разъ была названа «невѣстой Ахилла», онъ въ обиду не дастъ. Правда, онъ одинъ; вся «Эллада» противъ него, даже его собственная дружина почти вся его оставила, не желая жертвовать общимъ благомъ ради красивой мечты. Но зато онъ—первый въ войскѣ богатырь, непобѣдимый сынъ морской богини; онъ придетъ, станетъ рядомъ съ жертвенникомъ, вооруженный съ головы до ногъ, во главѣ оставшихся ему вѣрными воиновъ,—и горе тому, кто подыметъ ножъ на его названную невѣсту. Въ войскѣ это знаютъ, и всеобщее возмущеніе растетъ; Одиссей, представитель соціальной силы, разжигаетъ страсти воиновъ противъ молодого безумца. Видно, быть жаркому бою; эллинская кровь въ изобиліи ороситъ алтарь дѣвственной богини.

...Не Ахиллъ герой нашей драмы; но справедливость требуетъ, чтобы мы мимоходомъ указали на эту замѣчательную личность, предвоплотившую въ себѣ весь средневѣковый рыцарскій романтизмъ, съ его безразсудной отвагой, съ его беззаветнымъ благородствомъ, съ его преданностью женщинѣ и ея правамъ.

VII.

Не Ахиллъ герой нашей драмы; ея героиня—представительница женственности, Ифигенія. Что такое Ифигенія? Это—преlestный вѣжнѣй цвѣтокъ, выросшій подъ прохладной сѣнью терема, при благосклонномъ покровительствѣ той же богини-дѣвы, Артемиды. Будучи гордостью своего отца и сама гордясь имъ, этимъ образцомъ всѣхъ совершенствъ въ ея глазахъ, она мирно росла навстрѣчу тому времени, при мысли о которомъ ей дѣлалось и сладко и жутко—времени, когда ей придется назвать другого человѣка своимъ супругомъ, быть хозяйкой и царицей въ другомъ домѣ, въ другой странѣ. И вотъ, это время явилось, для ея дѣвичьихъ грезъ нашелся, вѣрнѣе—былъ ей названъ опредѣленный предметъ. Слово «свадьба» прозвучало въ ея ушахъ, призывая къ полному расплыву все ея юное существо... и вдругъ этотъ прекрасный миражъ исчезъ, другое слово коснулось ея слуха страшное слово: смерть, смерть отъ руки того, кого она боготворила,—ея отца. Вся ея молодость возмущается противъ этой угрозы; протестъ—вѣчный, раздражающій протестъ жизни противъ уничтоженія—внушаетъ ей ея первые слова:

О, не губи безвременно меня!
Глядѣть на свѣтъ такъ сладко, а спуститься
Въ подземный мракъ такъ странно — пощади!

Она говоритъ это отцу, и отецъ ей отвѣчаетъ:

... Эллада мнѣ велитъ
Тебя убить, ей смерть твоя угодна...
Но если кровь, вся наша кровь, дитя,
Нужна ея свободѣ, чтобы варваръ
Въ ней не царилъ и не безчестилъ женъ —
Атрида и дочь Атрида не откажутъ.

Эллада! Что ей Эллада? Что она тутъ понимаетъ? Но она *любитъ* того, отъ кого она слышитъ эти слова, и эта любовь ей замѣняетъ всѣ объясненія, всѣ доказательства; цѣпи жизни слабѣютъ, она различаетъ гдѣ-то, въ туманной дали, какой-то новый идеалъ, который она любитъ на вѣру, такъ какъ ему служить любимый ею человѣкъ. Все же ея рѣшеніе еще не

принято; она безпомощно плачетъ на рукахъ матери: зачѣмъ, зачѣмъ все это!

Является Ахиллъ. Она хочетъ скрыться отъ него, съ именемъ котораго она породнила свои дѣвичьи грезы, но скрыться негдѣ; она видитъ его, блистающаго красотой и отвагой, готоваго пролить свою кровь за ту, которую безъ его вѣдома нарекли его невѣстой—видно, смерть не такъ ужъ страшна. Это—второй урокъ любви. Пусть правда на ея сторонѣ—она видитъ и вѣрить, что и ея отецъ правъ, и что эти двѣ правды вступать другъ съ другомъ въ убійственный бой, если ихъ не примирить любовь. Отецъ указалъ ей цѣль, женихъ указалъ ей и путь: теперь она болѣе не колеблется. Не подъ гнетомъ насилія, нѣтъ—добровольно отдаетъ она себя въ жертву за отца, за жениха, за войско, за ту «Элладу», любить которую ее научили любимыя уста; ея свободная, вдохновляемая любовью воля разобьетъ ярмо Необходимости.

Такова сила голубицы. Ей не дана творческая отвага, созидающая идеалы жизни; ей даны любовь и вѣрность, а съ ними—способность воспринимать и беречь сѣмя идеала, зароняемое въ ея душу любимымъ человекомъ, беречь его до самозабвенія, до жертвы... Такъ, видно, понималъ женщину Еврипидъ.

ВОСКРЕСШИЕ ПОЭТЫ.

I.

Вакхилидъ.

(1898).

1.

Вскрылась еще одна давно забытая могила греческой, т.-е. общечеловѣческой поэзіи; еще разъ дана намъ возможность внимать рѣчи, замолвшей болѣе чѣмъ пятнадцать вѣковъ тому назадъ. Вскрылась эта могила, какъ и прежнія, въ классической странѣ могилъ, въ Египтѣ, святыя пустыни котораго понынѣ обладаютъ силой, признанной за ними еще Платономъ—силой сохранять въ своей неприкосновенности слѣды культуръ, которыя на сѣверѣ періодически уносятъ и стираютъ съ лица земли повторяющіеся на немъ въ опредѣленные промежутки времени перевороты; рѣчь же, вновь проснувшаяся послѣ пятнадцативѣкового молчанія, принадлежитъ лирическому поэту пятого вѣка до Р. Х. *Вакхилиду* кеосскому, одному изъ числа девяти «каноническихъ» представителей греческой лирики, пользовавшемуся во время процвѣтанія античной культуры сравнительно умѣреннымъ успѣхомъ у грековъ, почти никакимъ у римлянъ и совсѣмъ заброшенному съ тѣхъ поръ, какъ умеръ тотъ императоръ, любимецъ котораго онъ былъ—Юліанъ Отступникъ.

Высокій интересъ, внушаемый трагической личностью послѣдняго язычника на римскомъ престолѣ, невольно сообщается

и поэту, котораго онъ такъ охотно читалъ; при всемъ томъ, нельзя не сознаться, что если бы намъ предоставили по собственному выбору воскресить одного изъ лирическихъ поэтовъ Эллады, то мы всякому другому отдали бы предпочтеніе передъ Вакхилидомъ. Объ этомъ поэтѣ и древніе были не очень высокога мнѣнія; что же касается насъ, то мы не имѣли достаточныхъ данныхъ для того, чтобы этому—сравнительно—не особенно одобрительному отзыву древности противопоставить свой; все же изъ скудныхъ отрывковъ, дошедшихъ до насъ благодаря цитатамъ позднѣйшихъ писателей, особенно выдавались два. Первый, самый крупный, прославляетъ миръ и его блага; это, насколько мы можемъ судить, первый по времени вздохъ тоски и надежды, вырвавшійся изъ груди вѣчно раздираемой кантональными войнами и междоусобицами Эллады; въ прозаическомъ переводѣ онъ гласитъ такъ:

Великая эта богиня даруетъ смертнымъ и достатокъ и цвѣты сладкозвучныхъ пѣсенъ. По ея волѣ, въ честь боговъ багровое пламя на украшенныхъ жертвенникахъ пожираетъ бедра быковъ и длинношерстныхъ овецъ; по ея волѣ молодежь рѣзвится въ палестрахъ и наслаждается игрой флейтъ и вечерними пирушками. Тѣмъ временемъ желѣзныя рукоятки щитовъ покрываются тканями черныхъ пауковъ; острія копій и лезвія мечей разѣдаетъ ржавчина; не слышенъ сигналъ мѣдной трубы, не вынужденъ внезапно покидать наши вѣки сонъ, усаждающій наше сердце. Зато улицы запружены гостями, спѣвавшими на веселый пиръ; зато благодарственные пѣсни дѣтей возносятся къ небу.

Другой сравнительно крупный отрывокъ въ игривой формѣ застольной пѣсни рисуетъ дѣйствіе вина на душу людей, эту „сладкую пытку“, какъ поэтъ выражается, заставляющую человѣка раскрыть свое сердце и обнаружить свои самые за- таенные помыслы.

Сладкая пытка гуляющей чарки согрѣваетъ сердце не менѣ любви; умъ воспаляетъ надежда, скрытая въ Діонисовыхъ дарахъ. И вотъ одинъ изъ гостей срываетъ стѣны городовъ и воображаетъ себя царемъ надъ всѣмъ народомъ; золотомъ и слоновой костью сверкаетъ его дворецъ; въ гавань входятъ тяжелыя суда, везущія изъ Египта благодатный хлѣбъ, высшее изъ богатствъ... вотъ какія думы вознужаютъ сердце пирующаго!

Это, повторяю, самые крупные изъ отрывковъ Вакхилида, сохранныхъ намъ въ выдержкахъ позднѣйшихъ писателей; есть и другіе, поменьше объемомъ, но едва ли не болѣе ха-

ракетные своимъ содержаніемъ. Изъ нихъ особое вниманіе обращалъ на себя одинъ коротенькій отрывокъ, гласящій— съ сохраненіемъ въ переводѣ сжатости и нѣкоторой намѣренной темноты подлинника—такъ: „одинъ отъ другого мудръ, и въ старину, и теперь; не такъ-то, вѣдь, легко отыскать ворота несказаннаго еще“. Слова эти были поняты какъ защита подражательности; ихъ полемическій тонъ заставлялъ догадываться, что поэтъ имѣетъ въ виду обвиненіе со стороны какого-нибудь противника; такое обвиненіе не трудно было найти въ слѣдующихъ словахъ Пиндара: „мудръ тотъ, кто своимъ богатымъ знаніемъ обязанъ своей природѣ; напрасно съ нимъ стараются сравниться тѣ, что мудры ученіемъ — такъ вороны усердно кричатъ на божественную птицу Зевса“. Кстати и древніе говорятъ намъ о нѣкоторомъ антагонизмѣ между Пиндаромъ и Вакхилидомъ; кстати мы знали, что Вакхилидъ былъ племянникомъ глубокомысленнаго Симонида кеосскаго и могли предположить, что онъ и какъ поэтъ пошелъ по его слѣдамъ. Все это наводило само собой на представленіе о Вакхилидѣ какъ о поэтѣ-подражателѣ въ противоположность къ самобытному таланту Пиндара, и сужденіе о немъ въ новѣйшей литературѣ было не особенно лестное.

Теперь впервые намъ дана возможность судить о нашемъ поэтѣ не съ чужихъ словъ и не на основаніи скудныхъ отрывковъ и шаткихъ комбинацій, а собственнымъ умомъ и на основаніи цѣлаго ряда крупныхъ поэмъ: найденный въ Египтѣ неизвѣстно гдѣ и препровожденный въ Лондонъ неизвѣстно кѣмъ папирусъ содержитъ двадцать его стихотвореній, объемомъ въ тысячу слишкомъ стиховъ, которыя теперь можно удобно читать въ чистенькомъ изданіи Кеньона (the poems of Bacchylides, from a papyrus in the British museum edited by Fred. Kenyon. Лондонъ. 1897) ¹⁾. Поэмы эти распадаются на двѣ категоріи: четырнадцать эпиникій, шесть балладъ.

Оба термина требуютъ объясненія. Что такое, прежде всего, *эпиникія*?

¹⁾ Изъ позднѣйшихъ самое удобное—изданіе Blass'a (Лейпцигъ, у Teubner'a). Оно даетъ, однако, одинъ текстъ; изъ комментированныхъ изданій заслуживаютъ быть упомянутыми — изданія Jurenka (нѣмецкое) и Jebb'a (англійское).

2.

Бѣдкое четверостишіе Вольтера на Пиндара:

Divin Pindare.
Toi qui célébras autrefois
Les chevaux de quelques bourgeois
Et de Corinthe et de Mégare...

могло бы остаться совершенно неизмѣненнымъ и по отношенію къ Вакхилиду: и его эпиникии имѣютъ своею *внѣшнюю* цѣлью (отчасти) прославленіе бѣговыхъ коней—положимъ, не мегарскихъ и коринескихъ мѣщанъ, а сиракузскаго царя Іерона, но все-таки коней. Правда, только внѣшнюю цѣлью, и даже не столько цѣлью, сколько поводомъ; главнымъ содержаніемъ эпиникии будетъ все-таки нѣчто другое, а именно увлекательный рассказъ изъ сѣдой, легендарной старины, а затѣмъ—болѣе или менѣе глубокомысленныя размышленія философско-нравственнаго характера. Все это такъ; тѣмъ не менѣе фактъ тотъ, что если бы гнѣдой жеребецъ Іерона Ференикъ (дѣйствительно, поэтъ сообщаетъ намъ и его кличку и его масть) остался за флагомъ, то и первая олимпійская ода Пиндара, и пятая эпиникия Вакхилида остались бы ненаписанными, и можно не безъ основанія возразить, что безсловесной твари такая честь не по чину. Вольтеръ, повторяю, со своей точки зрѣнія вполнѣ правъ, и его насмѣшка свидѣтельствуетъ о большей вдумчивости, чѣмъ неосмысленные восторги его предшественниковъ: видно, онъ привелъ объектъ своего мышленія въ непосредственную связь со своей личностью, между тѣмъ какъ тѣ безъ собственного чувства повторяли традиціонныя хвалебныя слова.

Большаго отъ той эпохи нельзя было и требовать. Но вотъ восемнадцатый вѣкъ, *saeculum philosophicum*, прошелъ и его смѣнилъ девятнадцатый, *saeculum historicum*; онъ открылъ то, что мы можемъ назвать исторической перспективой въ восприниманіи образовъ прошлаго. И если теперь историкъ—какъ это случилось не такъ давно—говоря о Пиндарѣ, проводитъ слѣдующую параллель: „Это похоже на то, какъ если бы какой-нибудь Теннисонъ воспѣлъ лорда Розбери за его по-

бѣду на скачкахъ Дерби, причѣмъ восхваляли бы лошадь, жокея, шотландскую церковь, предковъ благороднаго лорда, городъ Эдинбургъ въ частности и всю Шотландію вообще, и упомянулъ бы о блестящемъ пиршествѣ, которымъ лордъ послѣ побѣды почтилъ своихъ друзей и особенно поэта“, то это пахнетъ уже анахронизмомъ. Остроумный историкъ оставилъ безъ вниманія одну довольно-таки существенную разницу: Теннисонъ подобнаго рода одой возбудилъ бы смѣхъ, между тѣмъ какъ Пиндаръ и Вакхилидъ не только никакого смѣха не возбуждали, но и прославились какъ «мудрые» поэты.— Уже давно было выставлено требованіе, чтобы каждая литература служила предметомъ историческаго изслѣдованія не иначе, какъ въ связи съ тѣмъ обществомъ, для котораго она была назначена; постараемся удовлетворить этому требованію въ отношеніи Вакхилида и его эпикией.

Для этого мы должны первымъ дѣломъ забыть о вольтеровскихъ буржуа; наше общество—общество аристократическое. И не оно только, но и все его время, — время аристократическое; аристократическій складъ ума повсюду или парить, или, по крайней мѣрѣ, преобладаетъ. Это послѣднее обстоятельство выясняетъ намъ причину, почему поэтовъ, подобныхъ Пиндару и Вакхилиду, не было и не могло быть послѣ первой половины V-го вѣка: когда въ Элладѣ возобладали Аѣины, а въ Аѣинахъ — демократія, тогда и поэты аристократическаго міросозерцанія перевелись. Разумѣется, мы не можемъ отрицать, что и побѣдители конца V-го вѣка находили поэтовъ для прославленія своихъ побѣдъ; но это были поэты посредственные, въ родѣ того нелѣпаго панегириста, котораго осмѣялъ Аристофанъ въ своихъ «Птицахъ». Впрочемъ, объ этомъ потомъ.

Оставляя въ сторонѣ политическія симпатіи и антипатіи и становясь на чисто человѣческую точку зрѣнія, мы должны признать, что люди о которыхъ мы говоримъ—люди во многихъ отношеніяхъ прекрасные, здоровые тѣломъ и душой. Въ ихъ жилахъ, прежде всего, обязательно течетъ божеская кровь; надъ этимъ позволительно смѣяться теперь, но тогда въ это вѣрили. Въ тѣ два-три столѣтія, которыя предшествовали времени ихъ жизни, генеалогическая поэзія была великимъ

дѣломъ эпохи; вдохновенный пѣвецъ, черпавшій свою творческую силу, а съ ней и знаніе, непосредственно у Аполлона, ясно доказалъ каждому изъ нашихъ аристократовъ его божественное происхожденіе. Скептики могли справиться въ поэтическихъ «Каталогахъ» и «Θεογονίᾳ» Гесиода, составлявшихъ вмѣстѣ золотую книгу греческаго рыцарства; съ ихъ помощью можно было прослѣдить каждую родословную вплоть до исконнаго Хаоса. Будучи потомками боговъ, они и въ своей жизни старались уподобиться своимъ родоначальникамъ; они старались быть «легкоживущими», подобно имъ. Необходимымъ средствомъ для этого было богатство; наши аристократы — люди богатые, очень богатые для своего времени и своего народа. Впрочемъ, нашъ терминъ «богатство» тутъ не особенно удаченъ; отъ него несетъ затхлой атмосферой капитализма, между тѣмъ какъ отъ того богатства вѣетъ свѣжимъ запахомъ земли; это — сила, непосредственно отъ земли исходящая и, послѣ сравнительно небольшого круговорота, къ землѣ возвращающаяся. Нашъ аристократъ — не капиталистъ; какъ таковой, онъ сталъ бы предметомъ презрѣнія для собратьевъ и пѣвцовъ — тогдашнихъ творцовъ и представителей общественнаго мнѣнія. Чтò ему даетъ земля, то онъ немедленно пускаетъ въ оборотъ, въ живую жизнь.

Что же это была за жизнь? Ея идеаль опредѣлили Солонъ въ своемъ двустишіи:

Счастливъ, даны кому дѣти прекрасныя, — кони лихіе,

(Своры охотничьихъ псовъ, — гость изъ далекой страны.

Первыя сами собою понятны, какъ условіе продолженія рода, какъ дальнѣйшіе носители исходящаго отъ боговъ-родоначальниковъ благословенія. Конь — живой символъ рыцарства всѣхъ временъ. Собаки необходимы аристократу для его излюбленной утѣхи, охоты. Гость же — нѣтъ, его значеніе не можетъ быть передано въ нѣсколькихъ словахъ, о немъ нужно сказать подробнѣе.

Гость изъ далекой страны — это, во-первыхъ, свѣдущій и словоохотливый (на то онъ эллинъ) рассказчикъ о томъ, что происходитъ на разныхъ концахъ греческаго міра, того міра, который, какъ никакая другая страна въ свѣтѣ, сѣумѣлъ со-вмѣстить въ себѣ самые различные типы людей и государствъ.

Врядъ ли существовалъ когда-нибудь народъ, столь охочій до такихъ разсказовъ, какъ греки; но это еще далеко не все. Во-вторыхъ, гость—живой органъ народной молвы; какъ теперь онъ за столомъ своего хозяина разсказываетъ ему о томъ, что видѣлъ и слышалъ на бѣломъ свѣтѣ, такъ точно онъ въ другое время, у другихъ людей, разскажетъ и про теперешняго своего хозяина: нужно, чтобы онъ видѣлъ его домъ въ полномъ блескѣ. Угощенія, поэтому, — лучшее употребленіе, которое человѣкъ можетъ сдѣлать изъ своего богатства; они обезпечиваютъ ему славу, выше которой нѣтъ ничего на свѣтѣ. Если же гость къ тому же и пѣвецъ, подобно Пиндару или Вакхилиду, то всѣ двери предъ нимъ настѣжь открыты; нѣтъ во всей Греціи владыки, который бы сталъ гнушаться его. И пѣвецъ сознаетъ это; онъ понимаетъ, что даетъ своему царственному хозяину не менѣе того, что получаетъ отъ него; его рѣчь, поэтому, прямодушна и полна достоинства. „Человѣку“, говоритъ Вакхилидъ Іерону сиракузскому, старому и больному, наканунѣ его смерти (эпиникия 3):

Человѣку не дано, отбросивъ сѣдую старость, вернуть себѣ цвѣтущую молодость; но свѣтъ доблести не угасаетъ съ тѣломъ—муза его растить. Ты, Іеронъ, явилъ смертнымъ прекраснѣйшіе цвѣты богатства; добрымъ же дѣламъ не служить украшеніемъ молчаніе. Придетъ время—и люди по справедливости прославятъ благодарность медорѣчиваго кеоскаго соловья.

Но и это еще не все. Помимо всего сказаннаго, гость, въ-третьихъ, часто самъ аристократъ, болѣе или менѣе вліятельный членъ правительства своей страны. Онъ дастъ убѣжище своему теперешнему хозяину, если бы тому, — послѣ одного изъ тѣхъ переворотовъ, которыми такъ богата исторія каждаго греческаго государства, — пришлось оставить свою родину; онъ и самъ, при такихъ же условіяхъ въ своей родинѣ, воспользуется его гостепріимствомъ. Такіе «союзы гостепріимства» были поэтому важнѣйшимъ элементомъ политической жизни аристократической Греціи, которая вся была покрыта незримой сѣтью, или, вѣрнѣе, большимъ множествомъ сѣтей такихъ союзовъ. И это были часто настоящія сѣти, въ которыя сплошь и рядомъ попадала политическая свобода отдѣльных государствъ: полагаясь, кромѣ приверженцевъ изъ народной массы своего

города, и на могущество своихъ загородныхъ «гостепріимцевъ», вчерашній аристократъ захватывалъ въ свои руки бразды правленія и превращался въ тирана. Разумѣется, это была измѣна аристократическому принципу, которой не одобрялъ покровитель аристократической Греціи, дельфійскій Аполлонъ, и вдохновляемые имъ пѣвцы; все же соблазнъ былъ великъ, и устоять противъ него было трудно. Не одна только «сладкая пытка» Діониса вызывала со стороны нашихъ бояръ такіа признанія, какъ приведенное выше въ застольной пѣсни Вакхилида; многіе и въ трезвомъ состояніи склонны были думать такъ, какъ думаетъ одинъ изъ нихъ въ стихотвореніи Солонъ: „О, одинъ только день дайте мнѣ быть тираномъ Аѣинъ, а затѣмъ хоть шкуру съ меня дерите, хоть уничтожьте меня со всѣмъ моимъ родомъ!“ Ибо, поясняетъ тотъ же Солонъ, „если слишкомъ большое богатство достается въ удѣлъ человѣку съ неводержной душой, то пресыщеніе имъ рождаетъ въ немъ спесь (hybris), а спесь вводитъ въ грѣхъ“. Итакъ, нужно было уловить критическій моментъ, не дать возникнуть чувству пресыщенія, приводящему въ движеніе колесо бѣдствія; такова была главная задача нравственной философіи дельфійскаго Аполлона, — не даромъ cadaго, обращающагося къ его оракулу, встрѣчало наставленіе „познай самого себя!“, вырѣзанное на дверяхъ его храма.

Такимъ критическимъ моментомъ была побѣда на одномъ изъ всеэллинскихъ празднествъ, и, главнымъ образомъ, *побѣда въ Олимпіи*. Здѣсь богатство вельможи выступало въ своемъ полномъ блескѣ, не въ присутствіи однихъ только домочадцевъ и гостей, а передъ всѣми, можно сказать, эллинами, вселяя бодрость въ доброжелателей и страхъ въ недруговъ и завистниковъ; здѣсь сказывались, затѣмъ, результаты заключенныхъ союзовъ гостепріимства: по множеству людей, тѣснившихся вокругъ нашего вельможи, можно было воочию убѣдиться въ его могуществѣ и величіи. Все это вмѣстѣ составляло его реальную силу; прибавьте теперь къ ней идеальный невѣсомый элементъ — слова, провозглашенныя глашатаемъ при самой торжественной изъ всѣхъ возможныхъ въ Греціи обстановокъ: „побѣдилъ Іеронъ, сынъ Диномена, сиракузянинъ“; прибавьте, при извѣстной крайней впечатлительности эллиновъ, эту увѣренность въ томъ, что богиня Побѣда сочувствуетъ нашему

герою—мудрено ли, что у него при этомъ голова начинаетъ кружиться, что «пытка Побѣды» оказывается не менѣе дѣйствительной, чѣмъ «сладкая пытка» Діониса? Спѣшу присовокупить, что все это—вовсе не моя конструкція; какъ многозначительны, при всей своей простотѣ, слова, съ которыхъ Геродотъ начинаетъ свой рассказъ о Килоновомъ преступленіи: „Быль въ Аѣинахъ нѣкто Килонъ, человекъ, побѣдившій въ Олимпіи; онъ, возгордившись, возмечталъ о томъ, чтобы стать тираномъ своей родины“... Да что Килонъ, человекъ VII-го столѣтія! Два вѣка спустя, во время полного торжества демократіи, Алкивиаду пришлось защищаться въ народномъ собраніи по поводу побѣды, одержанной имъ въ Олимпіи.

Вотъ почему олимпійская побѣда какого-нибудь Килона далеко не одно и то же, что побѣда лорда Розбери на скачкахъ Дерби; вотъ почему поэтъ, призванный говорить передъ побѣдителемъ въ этотъ критическій моментъ его жизни отъ имени того бога, который его вдохновлялъ, бога-покровителя всей аристократической Греціи,—вызывалъ не смѣхъ, а очень внимательное и напряженное настроеніе. Такимъ поэтомъ былъ и Вакхилидъ; посмотримъ, какъ онъ отнесся къ своей задачѣ въ тѣхъ своихъ эпиникияхъ, которыя намъ вернула невѣдомая египетская гробница.

3.

Разобьемъ для этого эпиникию на ея двѣ составныя части—часть, такъ сказать, официальную и часть неофициальную. Этого дѣленія требуетъ, какъ мы увидимъ тотчасъ, справедливость.

Официальная часть содержитъ то, что поэтъ *долженъ* былъ сказать по желанію побѣдителя. Тутъ только форма принадлежала ему, содержаніе было предписано, и уклониться отъ этого предписанія поэтъ не имѣлъ права. Вотъ малолѣтній Алексидамъ изъ Метапонта побѣдилъ въ Дельфахъ въ борьбѣ; немного ранѣе онъ состязался также въ Олимпіи и, по мнѣнію своего отца, получалъ бы награду, если бы не интриги со стороны судей. Это убѣжденіе обиженного отца было закономъ для поэта, которому пришлось, такимъ образомъ, въ

официальной части своей поэмы, говоря о побѣдителяхъ, его отца, его родинѣ и т. д., коснуться также и этого пункта. И вотъ онъ начинается (эпигр. 11):

Благодатная Побѣда, подруга людей! Отецъ твой—возсѣдающій на высокомъ престолѣ владыка небожителей; ты же, стоя рядомъ съ Зевсомъ на золотомъ Олимпѣ, вѣдаешь исходъ доблести для безсмертныхъ и смертныхъ. Будь же милостива, прекраснокудрая дочь справедливаго Зевса! Благодаря тебѣ, вѣдь, и нынѣ праздничныя собранія удалыхъ юношей прославляютъ богочтимый градъ *Метапонтъ*, восхваляютъ и дельфійскаго побѣдителя, красиваго сына *Фаиска*. Благосклоннымъ взоромъ встрѣтилъ его рожденный на Делосѣ сынъ полногрудой Латоны: много вѣнковъ пало вокругъ *Алексиды* на равнину Кирры, въ награду за его могучую побѣдоносную борьбу. Не видѣло солнце въ тотъ день, чтобы онъ хоть разъ упалъ на землю. Скажу даже, что онъ и на божественномъ ристалищѣ благочестиваго Нелона у прекраснаго Алфея (т. е. въ Олимпіи) увѣнчалъ бы свои кудри гостеприимной вѣтвью зеленой маслины и, счастливый, вернулся бы въ свою богатую стадами родину—если бы кто-то не измѣнилъ прямого пути правосудія. Много ловкости обнаружилъ тогда нашъ смѣлый отрокъ: но богъ ли тутъ виноватъ, или блуждающее сужденіе людей, а только высшая награда была исторгнута у него изъ рукъ. Зато теперь ласковая Артемида даровала ему побѣду, и т. д.

Или вотъ—Пиоей, тоже малолѣтній, сынъ Лампона эгинскаго, побѣждаетъ въ немейскихъ играхъ, въ такъ называемомъ панкратіи (соединеніе борьбы съ кулачнымъ боемъ); отецъ желаетъ, чтобы въ эпиникии была, между прочимъ, выражена благодарность и учителю мальчика въ атлетическомъ искусствѣ. Менандру афинскому; исполняя его желаніе, Ваххилидъ поетъ (эпигр. 13):

Прославляйте, юноши, славную побѣду Пиоея и полезное ученіе Менандра. Его и у волнъ Алфея (т. е. въ Олимпіи) много разъ почтила свята великодушная Аоина (намекъ на родину Менандра), и вообще на всеэллинскихъ состязаніяхъ увѣнчала головы премногихъ мужей (учениковъ Менандра). Кого не подчинила себѣ дерзновенная Зависть, тотъ долженъ хвалить по справедливости этого умнаго человѣка. Конечно, нѣтъ у смертныхъ дѣла, котораго не коснулось бы злословіе: но правда призывала побѣждать, и всепокоряющее время всегда возвеличиваетъ хорошее дѣланіе.

Что мы здѣсь дѣйствительно должны говорить о желаніи заказчика, а не о доброй волѣ поэта, видно, помимо всего прочаго, изъ того, что и Пиндаръ, сочинившій эпиникию (5-ю немейскую) въ честь той же побѣды того же Пиоея, тоже

не забываетъ учителя; „знай, говоритъ онъ побѣдителю, что счастье Менандра доставило тебѣ сладкую награду за твои труды; нѣтъ города лучше Аѳинъ, чтобы рождать зодчихъ для атлетовъ“.

Или вотъ еще—Іеронъ побѣждаетъ на конскихъ скачкахъ въ Олимпіи; нужно съ честью помянуть коня, доставившаго побѣду своему господину. И тутъ желаніе побѣдителя одинаково обязательно для обоихъ поэтовъ, прославившихъ это торжество, и для Пиндара, посвятившаго ему свою знаменитую первую олимпійскую оду, и для Вакхилида, написавшаго по поводу его свою пятую эпиникию. Вакхилидъ отнесся къ своей задачѣ очень добросовѣстно:

Гнѣдого Ференика, бурноногаго жеребца, видѣла златорукая Заря побѣждающимъ и у широкаго Алфея, и въ божественной Писонѣ (т.е. въ Дельфахъ); касаясь Земли рукою, свидѣтельствую, что въ него ни разу, въ состязаніи, когда онъ стремился къ цѣли, не попала пыль отъ переднихъ коней; быстрый, какъ Борей, но оберегая своего наѣзника, рвался онъ впередъ, добывая новую побѣду гостепріимному Іерону.

Пиндаръ и здѣсь короче: „сними китару съ гвоздѣ“, говоритъ онъ самъ себѣ, „если тебя наводитъ на пріятныя мечты красота Олимпіи и Ференика, когда онъ бѣжалъ вдоль Алфея, не нуждаясь въ бичѣ, и доставлялъ побѣду своему господину“—и только. Здѣсь, впрочемъ, благородная кличка жеребца (Рнегеникосъ — „побѣдоносецъ“) нѣсколько облегчала дѣло поэта; не всегда находился онъ въ столь счастливомъ положеніи, и Вакхилиду пришлось однажды (въ 14 эпиникии), вмѣстѣ съ побѣдителемъ, Клеоптолемомъ вессалійскимъ, воспѣть и его „славнаго коня Бурку“ (Ρυττhichos)—дѣлать было нечего.

Такова та часть эпиникии, которую я назвалъ выше „официальной“. Намъ вспоминаются художники итальянскаго Возрожденія, которымъ игумены монастырей или богатые жертвователи заказывали картины тоже съ неперемѣннымъ условіемъ, чтобы были изображены тѣ-то и тѣ-то, въ такомъ именно, а не въ другомъ видѣ, все равно, совмѣстимо ли это требованіе съ требованіями художественности, или нѣтъ. При видѣ этихъ картинъ намъ становится жалко художника, который долженъ былъ цѣною такихъ уступокъ покупать себѣ право свободного художественнаго творчества: съ такими же точно чувствами

должны мы относиться и къ поэтамъ эпиникій, имѣя въ виду заказные элементы ихъ поэмъ. Покладистый іоніецъ Вахилидъ еще сравнительно легко уступалъ обычаю и волѣ вельможъ; но гордый Пиндаръ, ѳиванецъ родомъ и доріецъ душой, возмущался противъ цѣпей, сковывавшихъ его свободный творческій духъ. Мы видѣли, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ его можно сопоставить съ Вахилидомъ, онъ значительно короче его; въ небольшой по объему фразѣ, какъ бы нехотя и мимоходомъ, касается онъ тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыя Вахилидъ послушно развиваетъ въ цѣлыхъ строфахъ. Но у него есть и гораздо болѣе характерныя мѣста, показывающія, до какой степени ему было непріятно, когда отъ него требовали, чтобы вмѣстѣ съ побѣдителемъ была прославлена и его родня, чтобы были упомянуты братья, чтобы остался доволенъ отецъ, чтобы былъ польщенъ дѣдъ, а если у него есть и дядя, такъ чтобы не былъ забытъ и дядя. Въ одной одѣ (6 истмійской) онъ, послѣ роскошнаго описанія встрѣчи Геракла съ Теламономъ, слѣдующимъ образомъ продолжаетъ: „но я не могу долѣе прославлять ихъ доблести: я, вѣдь, пришелъ сюда, Муза, руководителемъ праздничныхъ хоровъ для Филадельфа, Писея и Евтимена; пусть же, по аргосскому обычаю (т.-е., какъ мы сказали бы, „лаконически“), все будетъ высказано въ немногихъ словахъ. Они одержали три побѣды въ панкратіи, изъ нихъ одну на Истмѣ, остальные въ тѣнистой Немеѣ, какъ славные отроки, такъ и ихъ дядя“. Еще недвусмысленнѣе этого насмѣшливаго лаконизма другое мѣсто, повергшее въ недоумѣніе и древнихъ и новыхъ толкователей (въ 11 пивійской одѣ); сказавъ объ убійствѣ Агамемнона и его послѣдствіяхъ, поэтъ самъ себя обрываетъ и говоритъ: „Вспомни, однако, Муза, о своемъ дѣлѣ: ты, вѣдь, согласилась за плату уступить свой наемный голосъ — собирай же отовсюду свои напѣвы, прославляя и отца, пивійскаго побѣдителя, и самого Ѳрасидея...“ Не всегда такая фамиллярность была допустима; нерѣдко личность побѣдителя требовала серьезнаго отношенія къ его волѣ — тогда являлись на сцену мнимо-вдохновенныя гиперболы, дѣланые восторги и всѣ особенности выпяченнаго „пиндарическаго“ стиля, отъ которыхъ вѣетъ такимъ холодомъ на современнаго читателя. Положимъ, не всѣ мѣста въ этомъ

родѣ заслуживаютъ осужденія; духъ поэта, могучій по природѣ, могучъ и въ оковахъ, и внимательный читатель не разъ и въ официальныхъ частяхъ эпиникій найдетъ перлы поэтического творчества—чаще у Пиндара, но изрѣдка и у Вакхилида. Сюда относится, въ особенности, одно мѣсто изъ пятой эпиникии послѣдняго, „Вашъ гость“, говоритъ онъ тутъ Иерону, „служитель (музы) Ураніи о золотомъ вѣнкѣ, плетъ свой гимнъ въ вашъ славный городъ...

Такъ орелъ, вѣстникъ державнаго Зевса, высоко въ эфирѣ разсѣкаетъ воздухъ своими быстрыми крыльями, смѣлый въ сознаніи своей неутомимой силы. Въ страхѣ спасаются отъ него сладкозвучныя птички; его же не удерживаютъ ни вершины просторной земли, ни вздымающіяся волны вѣчно движущагося моря; онъ витаетъ въ безпредѣльномъ хаосѣ ¹⁾, порывы Зефира ласкаютъ его тонкія перья, и люди, легко узнавъ его, указываютъ на него другъ другу.

Можно бы привести изъ Вакхилида еще два три такихъ удачныхъ описанія; вообще же слѣдуетъ помнить, что не по такимъ мѣстамъ должно судить объ эпиникияхъ и ихъ поэтахъ; они — не болѣе какъ дань чужой, обязательной волѣ, которою поэтъ покупалъ право быть полнымъ хозяиномъ своего творчества въ другой, „неофициальной“ части эпиникии.

4.

У Вакхилида, какъ и у Пиндара, эта часть является и наиболѣе крупной по объему, и наиболѣе интересной по содержанию; состоитъ она изъ двухъ элементовъ, лирическаго и эпическаго. Второй обыкновенно въ поэмахъ предшествуетъ первому; все же мы, для удобства изложенія, займемся сначала первымъ.

Вотъ тутъ-то и нужно представить себѣ какъ можно нагляднѣе обстановку, при которой исполнялась поэма. Богамъ отдана честь, шумитъ торжественный пиръ, вино льется рѣкой; на видномъ мѣстѣ, во всемъ блескѣ своего богатства, окру-

¹⁾ Хаосъ (буквально „пасть“) по первоначальному представленію—пустое пространство между землею и твердымъ сводомъ усеяннымъ звѣздами неба.

женный множествомъ гостей, такихъ же вельможъ, какъ и онъ самъ,—пируетъ хозяинъ, любимецъ Побѣды. Какія думы волнуютъ его сердце подъ двойнымъ опьяняющимъ воздѣйствіемъ успѣха и вина? Для какого дѣла воспользуется онъ явнымъ расположеніемъ къ нему боговъ?... И вотъ, передъ нимъ поэтъ, „пророкъ“ (такъ онъ самъ себя называетъ) того бога, который для всей аристократической Греціи былъ высшимъ авторитетомъ не только въ религиозныхъ и нравственныхъ, но и въ политическихъ вопросахъ; что-то скажетъ онъ ему устами всѣхъ этихъ юношей, исполняющихъ его эпиникию? Съ довольной улыбкой прослушалъ побѣдитель вступленіе, прославляющее его побѣду; затѣмъ эта улыбка сошла съ его устъ, когда началась эпическая часть пѣсни, посвященная поэтическому пересказу какого-нибудь мифа, выборъ котораго не сразу понятенъ. Впрочемъ, нѣтъ и надобности понимать его сразу: эпиникия—подарокъ на всю жизнь. Побѣдитель откладываетъ свое сужденіе, и мы послѣдуемъ его примѣру; но вотъ поэтъ снимаетъ личину мифа и прямо отъ себя говоритъ нашему вельможѣ слѣдующее (эпин. 1):

И утверждаю я всегда буду утверждать, что зародыши величайшей славы содержать въ себѣ *доблесть*; богатство же сопутствуетъ и низкимъ людямъ, оно лишь увеличиваетъ гордыню мужа... Если кто, будучи смертнымъ, получилъ въ удѣлъ здоровье, если онъ въ собственномъ имуществѣ находитъ средства къ жизни, то онъ можетъ поспорить съ первымъ; всякой человѣческой долѣ доступна радость, если ея не отравляютъ болѣзни, не придавливаютъ безнадежная бѣдность. Одинаково страстно и вельможа стремится къ высокой и низкопоставленный къ скромной цѣли; успѣхъ во всѣхъ дѣлахъ не приноситъ радости смертнымъ, всегда преслѣдуютъ они то, что ускользаетъ отъ нихъ. Чей умъ волнуютъ легковѣсныя заботы, тотъ можетъ рассчитывать только на ту жизнь, которая ему дана; доблестъ многотрудна, но, будучи осуществлена какъ должно, она оставляетъ и по смерти мужа вожделѣнный памятникъ неуявляющей славы.

Призадуматься тутъ есть надъ чѣмъ: поэтъ говоритъ о самой цѣли о самомъ смыслѣ человѣческой жизни. Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, слѣдуетъ стремиться? Очень вѣроятно, что многіе изъ современныхъ Вахилиду вельможъ про себя отвѣтили бы на этотъ вопросъ: „къ богатству“—но именно только про себя; открыто они бы этого не высказали, но все-таки признали бы богатство очень желательнымъ средствомъ для другой цѣли.

Поэтъ и этого не допускаетъ: не богатство человѣку нужно, а только достатокъ, т.-е. свобода отъ угнетающей и порабащивающей человѣка бѣдности. Разъ у насъ есть достатокъ и здоровье—всякая радость намъ доступна, и мы не уступаемъ въ счастіѣ ни одному богачу. И онъ вѣдь, этотъ богачъ, не удовлетворенъ, и онъ видитъ передъ собою предметъ новыхъ стремленій; положимъ, этотъ предметъ значительнѣе нашего, но его стремленіе къ нему, а слѣдовательно и чувство неудовлетворенности — такое же, какъ у насъ. А если такъ, то ясно, что не въ этомъ направленіи должны мы искать цѣли своей жизни.

Цѣль эта—*aretê*; у Платона мы переводимъ это слово черезъ „добродѣтель“, но тому смыслу, который оно имѣетъ у Вакхилида, болѣе соотвѣтствуетъ наше слово „доблесть“, которыми я его и перевелъ. Все же намъ не такъ-то легко опредѣлить, въ чемъ она состоитъ, такъ какъ мы должны при этомъ оставить въ сторонѣ не только христіанскую, но и сократовскую мораль. Насъ смущаетъ выраженіе: „если доблесть *осуществлена*, какъ должно...“; что это такое, это осуществленіе (или завершеніе) доблести?

Возьмемъ, какъ подспорье, другое мѣсто — начало 14-ой эпиникии.

Счастливый удѣлъ, ниспосланный богами,—лучшее, чего можетъ желать для себя человѣкъ. Тяжкое несчастье угнетаетъ и добраго, но, будучи побороно, какъ слѣдуетъ, оно же его дѣлаетъ сильнымъ и виднымъ среди всѣхъ. Не одно и то же равно почетно для всѣхъ; много доблестей у людей, но одна, дѣйствительно счастливая, впереди всѣхъ, это—доблесть мужа, который во всякомъ дѣлѣ руководится правильнымъ разсудкомъ. Не приличествуетъ многострадальнымъ битвамъ игра лиры и звучные хоры; не приличествуетъ веселымъ пиршествамъ шумъ мѣдныхъ доспѣховъ. Въ каждомъ человѣческомъ дѣлѣ чувство приличія (*Kairos*) выше всего; поступай какъ должно, и самъ богъ возвеличитъ тебя.

Вдумавшись немного, мы поймемъ мысль поэта: *вездѣ всегда быть на высотѣ положенія*—вотъ лучшая „доблесть“.

Идеаль этотъ совмѣстимъ со всякимъ направленіемъ человѣческой жизни; безъ него всѣ эти направленія безцѣльны. „Каждый“, говоритъ поэтъ въ 10-й эпиникии,

держится своей дороги, чтобы по ней достигнуть возвеличивающей человѣка славы; много у людей различнаго умѣнья. У одного—мудрость, у

другого—дары Харитъ (т.-е. физическія достоинства) вызываютъ расцвѣтъ золотыхъ надеждъ; третій стремится къ знанію божьей воли; для четвертаго—дѣти предметъ его разнообразныхъ мечтаній; пятому—воздѣланныя поля, стада коровъ радуютъ сердце. Всему этому будущее даетъ неопредѣлимый исходъ; неизвѣстно, куда насъ направить судьба. Самое же лучшее—жить такъ, чтобы какъ можно болѣе добрыхъ прославляло тебя.

Теперь мы догадываемся и о томъ, что такое „осуществленіе“, или „завершеніе“, доблести; это — то, что, помимо нашей доблести, нужно для того, чтобы какъ можно болѣе добрыхъ людей прославляло насъ: почетная извѣстность доблести, рожденная ею *добрая слава*. Вспомнимъ приведенныя выше слова поэта къ Герону: „доброму дѣлу не приноситъ украшенія молчаніе“. И вотъ почему вакхилидовой *aretâ* болѣе всего соответствуетъ наше слово „доблестъ“: *aretâ* должна „блестѣть“, иначе она не „осуществлена“, не „завершена“. Геронъ побѣждаетъ въ Олимпіи; „тутъ“, говоритъ Вакхилидъ (3-я эпиникія),

весь народъ воззвалъ: о трижды блаженный мужъ! Получивъ отъ Зевса въ удѣлъ державнѣйшую почесть въ Элладѣ, онъ знаетъ, что не должно хоронить груду богатствъ подъ чернымъ покровомъ мрака—

такъ-то и богатство можетъ быть превращено въ доблестъ. По другой дорогѣ и малолѣтній Писей эгинскій достигъ той же цѣли; „всевидная доблестъ“, говоритъ ему поэтъ (13-ая эпиникія),

не даетъ себя уничтожить непросвѣтнымъ мракомъ ночи; окружая себя неустанной славой, она странствуетъ и по землѣ, и по вѣчно-движущемуся морю; она любитъ и многочтимый островъ Эака (Эгину).

Да, всевидная доблестъ! въ этомъ вся суть. А тому, чтобы она стала всевидною, можетъ содѣйствовать и поэзія; „прекрасное дѣяніе“, говоритъ поэтъ (9-ая эпиникія), „удостоившись подobaющей ему пѣсни, восходить въ высокую обитель боговъ“.

Вотъ какого рода мысли внушаетъ Вакхилидъ столпамъ аристократической Греціи въ минуту, которая была для нихъ кульминаціоннымъ пунктомъ въ ихъ жизни, но могла сдѣлаться и поворотнымъ пунктомъ. Не стремись къ болѣе полному

счастью—ты ужъ достигъ всего, чего можетъ требовать для себя челоуѣкъ. Вся Эллада познала твою доблесть; она стала предметомъ пѣсни, увѣковѣчившей ее; чего же еще болѣе?

5.

Но не въ одной только лирической части своихъ одъ проводить Ваккилидъ эти и родственныя имъ мысли; онѣ же подъ легкимъ, прозрачнымъ покровомъ міѦа составляютъ содержаніе и эпической части. Правда, не всегда: иногда для нея служили темой воспоминанія, связанныя съ родиной или родомъ побѣдителя. Наслѣдственность — ядро аристократической идеи. Наслѣдственна и доблесть; и она переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, какъ благословеніе героевъ-родоначальниковъ. Вполнѣ естественно, поэтому, чтобы при случаѣ явнаго проявленія доблести на всеэллинскомъ состязаніи воздавалась честь и этимъ героямъ-родоначальникамъ, отъ которыхъ она перешла къ побѣдителю. Но кромѣ нихъ предполагалось содѣйствовавшимъ побѣдѣ и родное божество того города, изъ котораго происходилъ побѣдитель; и оно, поэтому, могло требовать себѣ дани уваженія въ побѣдной пѣсни. Мы были уже знакомы съ этимъ благочестивымъ обычаемъ поэтовъ благодаря Пиндару; новая находка увеличила нашъ запасъ примѣровъ. Для первой изъ двухъ упомянутыхъ разновидностей мы можемъ теперь сослаться на 13-ю, для второй—на 11-ю эпиникию Вакхилида.

Героємъ 13-й эпиникии былъ тотъ Пиеей эгинскій, о которомъ рѣчь была не разъ. Островъ Эгина игралъ въ міѦахъ славную роль, какъ родина справедливаго Эака, отца Пелея и Теламона и, слѣдовательно, дѣда Ахилла и Аянта, самыхъ могучихъ изъ сражавшихся подъ Троей богатырей. Зато и гордилась же Эгина этими своими «Эакидами»; нѣжность, съ которою эгинеты обходили ихъ память, могла считаться чѣмъ-то особеннымъ, даже и въ очень благочестивой на этотъ счетъ Греціи. Геродотъ рассказываетъ, что когда еиванцы, воюя съ аэинянами, попросили помощи у эгинетовъ, то тѣ пресерьезно отвѣтили имъ, что отправятъ имъ на помощь Эакидовъ. Пона-

дѣявшись на ихъ содѣйствіе, еиванцы дали битву, но были разбиты; тогда они вторично обратились къ своимъ союзникамъ и попросили ихъ, чтобы они Эакидовъ оставили себѣ, а имъ бы послали воиновъ.—При такой живой и искренней вѣрѣ въ этихъ родныхъ героев не удивительно, что они упоминались на каждомъ мало-мальски значительномъ эгинскомъ празднествѣ; „не вкусны пѣсни моему сердцу, если въ нихъ нѣтъ Эакидовъ“, говоритъ Пиндаръ въ подобномъ случаѣ, съ той добродушной ироніей, которую мы уже знаемъ за нимъ. И Ваххилидъ въ указанной эпиникіи прославляетъ Эакидовъ, Ахилла и Аянта; но онъ дѣлаетъ это безо всякой ироніи, послушно слѣдуя Гомеру; его повѣствованіе, поэтому, для насъ и не особенно интересно.

Вторая изъ намѣченныхъ эпиникій — счетомъ 11-ая — посвящена Алексиду метапонтскому. Роднымъ божествомъ Метапонта были Артемида (Діана); поэтъ не сомнѣвается въ томъ, что именно она, эта «кроткая» богиня, доставила побѣду мальчику, обиженному (какъ мы видѣли выше) въ Олимпіи. Ее, поэтому, и прославляетъ онъ въ главной, эпической части своей пѣсни; она и кроткая и могучая богиня и любитъ помогать обиженнымъ, обращающимся къ ея помощи.

Ей зато нѣкогда и сынъ Абанта (тириноскій князь Претъ) воздвигъ жертвенникъ, свидѣтель многихъ молитвъ—онъ самъ и его красивоодѣтыя дочери, которыхъ передъ тѣмъ державная Гера изгнала изъ роскошныхъ чертоговъ ихъ отца, подвергнувъ ихъ умъ непреоборимой пыткѣ изступленія. Онѣ шли съ дѣвичьими думами въ святилище порфиросной богини и говорили промежъ себя, что ихъ отецъ много богаче, чѣмъ свѣтлокудрая сопрестольница святого всесильнаго Зевса. Вскипѣла богиня и вселила разладъ мыслей въ ихъ души; онѣ бросились бѣжать въ густолиственные горы, издавая страшный крикъ, и оставили богозданный городъ Тириноу.

Затѣмъ поэтъ обстоятельно поясняетъ, почему Претъ, будучи сыномъ аргивскаго царя Абанта, жилъ не въ Аргосѣ, а въ Тиринѣ; послѣ этого экскурса онъ возвращается къ его дочерямъ.

Оттуда-то бѣжали онѣ, непорочныя темнокудрыя дочери Прета; его же сердце омрачилось, невѣдомая дотола скорбь постигла его. Онъ пытался вонзить себѣ въ сердце двуострый мечъ, но соратники удержали его ласковыми рѣчами и силою рукъ. Тринадцать полныхъ мѣсяцевъ скитались онѣ по тѣнистымъ лѣсамъ, бѣжа по направленію къ кормилицѣ овецъ Аркадіи; но когда ихъ отецъ дошелъ до прекраснотекущей рѣки Луса—

Прошу обратить вниманіе на своеобразную недомоловку: вѣдъ поэтъ вовсе не сказалъ намъ раньше, что Претъ отправился искать своихъ дочерей! Съ этой особенностью повѣствовательнаго стиля Вакхилида мы встрѣтимся еще не разъ.

...то онъ омылъ въ ней свое тѣло и затѣмъ, простиралъ руки къ яснымъ лучамъ быстроконой колесницы солнца, сталъ призывать прекрасную дочь Латона о пурпуровомъ покрывалѣ, чтобы она освободила его дочерей отъ ихъ несчастнаго изступленія: „Я принесу тебѣ въ жертву двадцать непорочныхъ бурыхъ телокъ!“ Услышала его молитвы охотница-дочь, могучаго отца, уговоривъ Геру, она прекратила богомерзкое бѣшенство увѣнчанныхъ цвѣтами дѣвъ. И тотчасъ ей отмежевали участокъ земли, воздвигли алтарь, обогрили его кровью овецъ и учредили хороводъ женщинъ. Оттуда ты послѣдовала за любителями брани ахейцами въ рыцарскій городъ и, на счастье имъ, обитаешь въ Метапонтѣ, золотая владычица народовъ; и мои предки—разрушивъ, наконецъ, по волѣ безсмертныхъ боговъ съ мѣднобронными Атридами прекрасный городъ Пріама,—вырослили тебѣ роскошную рощу у чистыхъ волнъ Каса (повидимому, рѣка близъ Метапонта). Кто обладаетъ справедливымъ умомъ, тотъ во всякое время найдетъ безчисленное множество храбрыхъ дѣлъ ахейцевъ.

Этими словами кончается не только эпическая часть эпиникии, но и вся эпиникия; конецъ, надобно сознаться, нѣсколько неожиданный, но только въ формальномъ отношеніи,—въ отношеніи содержанія рассказъ конченъ, и мы ничего болѣе отъ поэта не ждемъ.

Что же сказать о немъ, какъ о таковомъ? Я говорю здѣсь, разумѣется, не объ его филологическомъ интересѣ—это особая статья: мнѣ о безуміи дочерей Прета былъ намъ извѣстенъ до сихъ поръ лишь въ немногихъ чертахъ, связь метапонтскаго культа Артемиды съ аркадскимъ на рѣкѣ Лусѣ не была извѣстна вообще, такъ что съ этой точки зрѣнія новонайденная эпиникия сохранить свое значеніе. Но это, разумѣется, не заслуга поэта; если же говорить только о послѣдней, то сказать остается очень мало. Передъ нами положительно образчикъ довольно посредственной поэзіи; кто знаетъ эпическія части въ одахъ Пиндара—эти внезапно появляющіяся, ярко освѣщенные картины, на которыхъ нашъ взоръ покоится всего нѣсколько мгновений, но которыя надолго запечатлѣваются въ нашемъ сердцѣ,—тотъ къ повѣствованію Вакхилида снисходительно не отнесется. Въ немъ недостаетъ непосредственнаго чувства, непосредственнаго участія поэта въ описываемыхъ

сценахъ; сила и оригинальность творчества замѣнена манеризмомъ, исправно снабжающимъ каждое вводимое представление какимъ-нибудь стоячимъ эпитетомъ; въ результатъ получается впечатлѣніе сѣрвовой добропорядочности, отъ которой ни глазамъ не весело, ни душѣ не тепло. Будь всѣ повѣствованія Ваххилида въ томъ же родѣ, намъ пришлось бы только повторить сожалѣніе о томъ, что судьба вернула намъ именно его, а не кого-нибудь изъ остальныхъ восьми или семи лириковъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что не всѣ они въ этомъ родѣ. Оба разсмотрѣнныхъ только-что рассказа представляютъ ту общую черту, что поводъ къ ихъ приведенію былъ чисто внѣшній. Почему прославляются Эакиды? Потому, что побѣдитель былъ эгинетомъ, а Эакиды — родные герои Эгины. Почему прославляется Артемида? Потому, что побѣдитель былъ метапонтицемъ, а Артемида — родная богиня Метапонта. Роль этихъ мионическихъ личностей, такимъ образомъ, такая же официальная, какъ роль бурноногаго жеребца Побѣдоносца или славнаго коня Бурки. А мы уже видѣли, что хотя Ваххилидъ и подчинялся безропотно требованіямъ этикета, но источникомъ поэтическаго вдохновенія этикетъ для него не служилъ. Оставимъ поэтому эти полуофициальные рассказы и перейдемъ къ тѣмъ, въ которыхъ поэтъ является полнымъ хозяиномъ своего предмета; сюда относятся обѣ крупныя оды въ честь Іерона сиракузскаго.

Начнемъ съ пятой эпиникии; ея предметъ — побѣда только-что упомянутаго жеребца. Посвященные послѣднему прочувствованные слова приведены были выше (стр. 63); отъ нихъ поэтъ вотъ такимъ образомъ переходитъ къ эпической части своей оды:

Счастливъ, кому богъ удѣлилъ часть того, что есть прекраснаго на свѣтѣ, и далъ провести въ достаткѣ завидную для другихъ жизнь; полное же блаженство не досталось на долю ни одному изъ обитателей земли. Такъ нѣкогда и сокрушитель городовъ, непобѣдимый сынъ громовержца Зевса...

Ясное дѣло, что поэтъ говоритъ о Гераклѣ; онъ долженъ собственной жизнью подтвердить правило, что полного счастья смертному не дано. Положимъ, мысль эта не блещетъ оригинальностью — со временъ Гомера она встрѣчается въ греческой литературѣ очень часто. Но она была дорога и поэту, и богу,

отъ имени котораго онъ говорить, и была прилична случаю; а разъ есть сердечное участіе творца — мы можемъ ожидать, что онъ выкажетъ свою силу въ своемъ твореніи. Выслушаемъ же его разсказъ.

... сынъ Зевса спустился въ обитель легконогой Персефоны, чтобы увести на свѣтъ изъ Анда злобнаго пса, отродье страшной Ехидны (т.-е. Кербера). Много душъ несчастныхъ смертныхъ увидѣлъ онъ тутъ у волнъ Кокита, точно листья, которые вѣтеръ крутитъ на отрогахъ Иды, кормилицы овецъ; среди нихъ выдавалась тѣнь смѣлаго копыеносца, Пореаонова внука (т.-е. Мелеагра). Когда его увидѣлъ дивный герой, Алкменинъ сынъ (Геракль), въ блескѣ его доспѣховъ, онъ навелъ звонкую тетиву на крючокъ своего лука и, открывъ колчанъ, вынулъ изъ него стрѣлу съ мѣдной оконечностью. Но душа Мелеагра приблизилась къ нему и, ясно его узнавъ, произнесла: „Сынъ великаго Зевса! Остановись на мѣстѣ, проясни свой духъ и не мечи бесполезно жестокой стрѣлы противъ душъ умершихъ: онѣ не боятся ея“. Такъ молвила она; удивился владыка, Амфитріоновъ сынъ, и возразилъ: „Какой богъ, какой смертный вырастилъ такой отпрыскъ, и въ какой странѣ? И кто убилъ его? Навѣрное полногрудая Гера пошлетъ его убійцу и противъ моей головы; но это уже будетъ заботой свѣтлокудрой Паллады...

И вотъ, пока беззаботный богатырь, отогнавъ мысли о своей собственной гибели и поручивъ себя своей великодушной заступницѣ Палладѣ, молча любитъ на могучую тѣнь Мелеагра, послѣдняя подробно разсказываетъ ему о своей смерти: какъ разгнѣванная его царственнымъ отцомъ Артемида наслала свирѣпаго вепря на его землю, охота на котораго — славная на всю Грецію калидонская охота — собрала самыхъ знаменитыхъ витязей тогдашней Эллады; какъ затѣмъ изъ-за шкуры убитаго звѣря Мелеагръ поссорился съ родней своей матери Алоеи, и въ происшедшей изъ этой ссоры битвѣ два брата Алоеи пали отъ его руки; какъ, наконецъ, послѣдняя, видѣвъ себя отъ горя, бросила въ огонь роковую головню, заключавшую въ себѣ, по опредѣленію рока, силу самого Мелеагра.

Въ это время и убивалъ Климена, храбраго сына Демпила, встрѣтивъ его передъ баннями стѣны, между тѣмъ какъ другіе спасались въ древнюю твердыню Плевронъ; не надолго хватило мнѣ сладкой жизни. Я почувствовалъ, что силы оставляютъ меня; о горе! съ плачемъ испустилъ я послѣднее дыханіе, несчастный, оставляя мою свѣтлую молодую жизнь“. Говорить, что непреклонный въ бою сынъ Амфитріона тогда въ первый и послѣдній разъ увлажнилъ слезой свои вѣки, сожалѣя объ участи несчастнаго мужа; отвѣчая ему, онъ сказалъ: „Самое лучшее для смертныхъ — не родиться

на свѣтъ, не видѣть лучей солнца; но вѣдь нѣтъ помощи отъ такихъ жалобъ. Нужно говорить о томъ, что возможно исполнить. Есть ли въ чертогахъ воинственнаго Энея (Оeneus, отца Мелеагра) незамужняя дочь, похожая ростомъ на тебя? Ея я бы охотно сдѣлалъ своей милой супругой“. Ему отвѣтила душа безстрашнаго Мелеагра: „Я оставилъ въ нашемъ дворцѣ Деяниру о нѣжной шеѣ, не извѣдавшую еще дѣлъ золотой волшебницы-Афродиты“.

Здѣсь—конецъ эпической части поэмы: не далека и конецъ поэмы вообще. Намъ онъ кажется неожиданнымъ, но не таковымъ является онъ знакомому съ греческой былинной читателю. Онъ зналъ, что Деянира — дѣйствительно будущая супруга Геракла и въ то же время, хотя и противъ своей воли, его будущая убійца: для него разсказъ былъ законченъ съ произнесениемъ этого имени—законченъ не только со стороны техники, но и со стороны идеи. „Смертному не дано полное счастье“—такова была идея лирической части; „думая завершить его, онъ готовить себѣ гибель“—вотъ логическій выводъ, данный въ нашемъ разсказѣ. Его герой—«непобѣдимый» Гераклъ. При встрѣчѣ съ тѣнью могучаго богатыря онъ вздрагиваетъ; ему страшно подумать, что есть на землѣ существо достаточно сильное для того, чтобы убить этого исполина. Мысль „убійца Мелеагра можетъ стать и моимъ убійцей“, осѣняетъ его на минуту, но только на минуту; онъ быстро прогоняетъ ее, поручая себя своей всегдашней защитницѣ Палладѣ, и съ восхищеніемъ всматривается въ призракъ своего собесѣдника, сохранившій, согласно представленіямъ грековъ, всю внѣшность живого Мелеагра. Все болѣе и болѣе плѣняетъ его мысль породниться съ нимъ, взять за себя его сестру—если у него такая есть, и если она похожа на него. Разсказъ Мелеагра о своей гибели трогаетъ его до слезъ—онъ уже смотритъ на него какъ на своего брата; но предостереженіе, которое этотъ разсказъ содержитъ, онъ пропускаетъ мимо ушей. Съ такою же беззаботностью, какъ и раньше, онъ отгоняетъ отъ себя мрачныя мысли и тотчасъ проситъ себѣ въ жены его сестру, забывая о томъ, что сестра Мелеагра въ то же время дочь Алоеи, его убійцы. Такимъ-то образомъ онъ готовить себѣ гибель въ ту самую минуту, въ которую мечтаетъ завершить свое счастье женитьбой на сестрѣ перваго въ Элладѣ богатыря.

Стоить ли послѣ этого разсказа о Гераклѣ и Мелеагрѣ вспоминать о тѣхъ, о которыхъ мы говорили выше — про Артемиду и про Эакидовъ? Развѣ только для того, чтобы лишній разъ подчеркнуть разницу между свободнымъ полетомъ ничѣмъ не связаннаго духа и его послушнымъ движеніемъ по предначертанной колеѣ. Не этотъ ли свободный полетъ и разумѣлъ поэтъ, когда онъ — въ приведенномъ выше (стр. 65) отрывкѣ изъ той же пятой эпиникии — сравнивалъ свою пѣснь съ орломъ, котораго не „удерживаютъ ни вершины просторной земли, ни вздымающіяся волны вѣчно движущагося моря?“

Закончу эту часть своего очерка третьей эпиникией Вакхилида, написанной въ честь того же Герона; это — во многихъ отношеніяхъ самая замѣчательная изъ всѣхъ.

Она застала могучаго сиракузскаго владыку уже на одрѣ смерти. Въ послѣдній разъ проявилъ онъ свою „всевидную доблесть“ своей побѣдой на колесницѣ въ Олимпіи; чтобы увѣковѣчить память о ней, онъ посвятилъ нѣсколько золотыхъ треножниковъ въ храмъ того бога, который, будучи покровителемъ аристократической формы правленія, все-таки милостиво отнесся къ нему, хотя тревожныя для всей Сициліи обстоятельства и заставили его управлять Сиракузами на началахъ единовластія. Ясно было, что обыкновенный тонъ эпиникій былъ тутъ неумѣстенъ; нечего было призывать къ умѣренности человека, покончившаго свои счеты съ землей и ея надеждами и имѣвшаго передъ собой вѣчность. Вакхилидъ понималъ это; въ немногихъ словахъ касается онъ самой побѣды и вызванныхъ ею привѣтственныхъ возгласовъ въ честь побѣдителя, который „знаетъ, что не должно хоронить богатство подъ чернымъ покровомъ мрака“; вспомнивъ о богатомъ дарѣ, отправленномъ Герономъ въ Дельфы, онъ продолжаетъ:

Да, бога, бога должно возвеличивать; въ этомъ — самое прочное счастье. Зато нѣкогда и владыку укротительницы коней Лидіи, Креза, спасъ Аполлонъ, когда — во исполненіе непреложной воли Зевса — Сарды были взяты войскомъ персовъ. Доживъ до многослезнаго дня, до котораго онъ не разсчитывалъ дожить, Крезъ не хотѣлъ дожидаться рабства; приказавъ воздвигнуть костеръ передъ своимъ мѣдностѣннымъ дворцомъ, онъ возшелъ на него вмѣстѣ со своей благородной женой и своими прекраснокудрыми дочерьми. Плакали навзрыдъ дѣвы; онъ же, простирая свои руки

къ высокому ээиру, воскликнулъ: „Непреоборимый рокъ! гдѣ же благодарность боговъ? гдѣ владыка Аполлонъ? Вотъ несмѣтныя полчища враговъ надвигаются на домъ Аліатта (отца Креза); огнемъ истребляется нашъ городъ; кровь обагрила волны золотоноснаго Пактола; въ безчестіи уводятъ женщинъ изъ прекрасныхъ чертоговъ. Что прежде было ненавистно, то теперь мило; смерть—самая желанная участь“. Такъ сказалъ онъ и велѣлъ любимому рабу зажечь его деревянный домъ. Вскрикнули дѣвы и обвили руками шею милой матери; вѣдь явная смерть — самая горькая для смертныхъ.—Но когда уже забѣгалъ по костру сверкающими змѣйками страшный огонь, Зевсъ наслалъ черную тучу и потушилъ бурное пламя. Не бываетъ невѣроятнымъ то, что создаетъ забота боговъ: Аполлонъ тогда унесъ къ гиперборейцамъ старца и поселилъ его тамъ съ его легконогими дочерью за его благочестіе, за то, что онъ болѣе даровъ, чѣмъ кто-либо изъ смертныхъ, посвятилъ въ божественныя Дельфы.

Можно быть очень хорошимъ знатокомъ античнаго міра и все-таки остаться пораженнымъ этимъ рассказомъ. Что это? Мнѣ? Нѣтъ, это—*легенда*; ея смыслъ—оправданіе божества, *теодицея*. Не забудемъ, что гиперборейцы и ихъ страна, это—рай Аполлоновой религіи; есть даже основанія полагать, что гора гиперборейцевъ была Монсальватомъ греческихъ вѣрованій. „Ни на кораблѣ, ни пѣшкомъ“, говоритъ Пиндаръ, „не найдешь ты чудеснаго пути къ сборищу гиперборейцевъ... Радуется Аполлонъ ихъ вѣчному веселью и славословіямъ... И муза не чуждается ихъ нравовъ: всюду кружатся хоробы дѣвъ, всюду раздается голосъ лиры и шумныя напѣвы флейтъ; увѣнчавъ волосы золотистой лавровой вѣтвью, они благодушно пируютъ. Ни болѣзни, ни гибельная страсть не нависли надъ благословеннымъ пламенемъ; они живутъ, не зная ни трудовъ, ни раздоровъ, не боясь гнѣва сверхсправедливой Немесиды“—той Немесиды, которая караетъ, какъ нѣчто преступное, стремленіе человѣка къ слишкомъ полному счастью. И вотъ къ ихъ-то сонму приобщаетъ Аполлонъ старца Креза съ его семьей, чтобы и онъ благодушно пировалъ, увѣнчавъ голову золотистой лавровою вѣтвью, чтобы и его дочери кружились въ хорахъ блаженныхъ дѣвъ; за что? Былъ ли онъ въ родствѣ съ богами, подобно Менелая, которому вѣщая дочь морского царя говорить (въ Одиссеѣ):

Ты-жъ, Менелай, не умрешь: на окраинѣ міра земного

Боги тебя поселятъ, въ Елисейской блаженной долині;

Сладостно жизнь тамъ течетъ, какъ нигдѣ, для людей земнородныхъ.

Ихъ тамъ не мучать ни снѣгъ, ни порывы Борей, ни ливень;
Нѣтъ; океана тамъ волны прохлагою вѣчною дышатъ,
Вѣчно тамъ съ шепотомъ нѣжнымъ ласкаеть Зефиръ человѣка.
Это—за то, что Елены супругъ ты и зять Громовержца.

Или былъ онъ посвященъ въ элевсинскія и орфическія мистеріи, сулившія вѣчное блаженство своимъ адептамъ и кромѣ нихъ—никому? Нѣтъ; за что Крезъ былъ удостоенъ рая, это намъ говоритъ самъ поэтъ: „за благочестіе“. Это—единичное свидѣтельство; никто не считалъ бы раньше возможной такую мысль для пятаго вѣка, для доплатоновскаго міросозерцанія. Положимъ, поэтъ самъ тутъ же и поясняетъ: „за то, что онъ болѣе даровъ, чѣмъ кто-либо изъ другихъ, посвятилъ въ божественныя Дельфы“, и по этому поясненію мы сразу узнаемъ пропасть между чистой эсхатологіей Платона и грубоватой жреческой, которой слѣдуетъ Вакхилидъ; но при всемъ томъ мысль, что человѣкъ награждается раемъ за добрыя дѣла, за личные заслуги—явленіе поразительное для той эпохи, о которой мы говоримъ.

Интересъ нашей эпикіи не исчерпывается, однако, этой сакрально-нравственной стороною; въ ней есть и сакрально-политическая, пожалуй, еще болѣе интересная.

Чтобы понять ее, нужно представить себѣ во всей его соблазнительной красотѣ золотой сонъ дельфійской коллегіи середины VI вѣка. Духовная ея гегемонія въ Элладѣ была общепризнана; многочисленныя греческія колоніи распространили ея славу и на окраины цивилизованнаго міра; и вотъ Крезъ, владѣтель золотой Лидіи, самый могущественный изъ извѣстныхъ эллинамъ царей, обращается въ Дельфы съ богатыми приношеніями, прося совѣта для задуманной имъ войны. Въ случаѣ утвердительнаго отвѣта со стороны Дельфовъ, благополучный исходъ войны сулилъ имъ не болѣе и не менѣе, какъ всемірную духовную гегемонію; но былъ ли онъ вѣроятенъ? По-видимому, да. Во всякомъ случаѣ, Дельфамъ онъ показался таковымъ; съ благословенія Аполлона Крезъ двинулся въ походъ противъ Кира. Результатомъ было разрушеніе лидійской державы и плѣненіе самого Креза; золотой сонъ Дельфовъ исчезъ, оставивъ послѣ себя горькое сознаніе роковой политической ошибки, грозившей въ корень подорвать обаяніе

дельфійскаго бога. „Смотри“, говоритъ Гермесъ Харону у Лукіана, „вотъ Крезъ посвящаетъ Аполлону Пивійскому золотые кирпичи, въ благодарность за оракулъ, отъ котораго онъ и погибнетъ немного спустя“—страшныя слова, но болѣе чѣмъ естественныя послѣ того, что произошло. Все же они были произнесены лишь скептикомъ эпохи упадка античнаго міра; въ нашу эпоху народъ былъ еще довѣрчивъ, и концомъ всего случившагося былъ новый отпрыскъ на волшебномъ деревѣ греческой саги — легенда, о которой я только-что говорилъ, и которую мы имѣемъ полное право назвать *дельфійской* легендой. „Аполлонъ“ — таковъ ея смыслъ — „далъ Крезу не меньше, а больше того, чего тотъ требовалъ: онъ требовалъ удачи на землѣ, Аполлонъ же далъ ему въ награду за его благочестіе вѣчное блаженство въ раю“. А посему—продолжаемъ словами поэта — „бога, бога должно возвеличивать; въ этомъ самое прочное счастье“.

Какъ легко узнаемъ мы во всемъ этомъ ту—какъ ее называетъ Гейне — „колыбельную пѣсню о небесахъ, которой всегда убаюкивали большое дитя, именуемое народомъ“; но кто бы могъ подумать, что она слышалась на землѣ въ столь раннюю эпоху?

6.

Что же, однако, сказать о томъ цѣломъ, отдѣльныя части котораго мы разобрали въ трехъ предыдущихъ главахъ? Что она въ своей совокупности, эпиникия первой половины 5-го вѣка?

Мы легче поймемъ это, перенесши мысли въ болѣе позднее время—такъ поколѣнія на два. На аѳинской сценѣ исполняется комедія Аристофана „Птицы“. Смѣлый аѳинянинъ Пиеетеръ основалъ городъ Тучекукуевскъ, могучую столицу птичьяго царства, и совершаетъ по этому поводу обычное жертвоприношеніе. Священнодѣйствіе, однако, прерывается приходомъ непрошеннаго гостя—поэта.

Поэтъ (*восторженно*).

Сей градъ блаженный и святой,
Тучекукуевскъ, Муза, днесь
Въ хвалебной пѣсни ты воспой..

Плѣетеръ.

Что за напасть? Ты кто? Скажи, любезный!

Поэтъ.

Я—любящій медовыхъ потоки рѣчей,
Божественныхъ Музъ легконогій служитель,—
Глаголомъ Омира вѣщаю.

Плѣетеръ.

Вотъ оно что! ты—рабъ. Но какъ же, братецъ,
Себѣ ты гриву отропилъ такую?

Поэтъ.

О, итъ, человѣче! Пить предъ тобой,
Божественныхъ Музъ легконогій служитель,—
Глаголомъ Омира вѣщаю.

Плѣетеръ *(косясь на дырявый плащъ поэта)*

Что налегкѣ ты—это я, братъ, вижу.
А все-жъ, пить, скажи мнѣ: чего ради
Нелегка сюда тебѣ несеть?

Поэтъ.

Тучекукуевскъ, градъ вашъ, я воспѣлъ
Въ зѣло прекрасныхъ хороводныхъ одахъ,
Въ киклическихъ и въ Симонида стилѣ.

Плѣетеръ.

Когда же ихъ ты сочинить успѣлъ?

Поэтъ.

Давно, давно сей градъ я прославляю.

Плѣетеръ.

Вотъ диво-то! А я его рожденья
Десятодневъ сегодня лишь справляю,
Сегодня лишь младенцу имя далъ!

Поэтъ *(улыбаясь)*.

Мгновенна-бо вѣсть сладкозвучныя Музы,
Что быстрая прыть вѣтроногихъ коней.

(вдохновенно).

Се ты, владыка Теронъ,
Дѣтейска града повелитель!

Ты, іереевъ наречень
 Священнымъ именемъ, родитель!
 Рабу смиренну твоему
 Даруй, о вождь отчизны славной,
 Что пожелаешь дать ему,
 Кивкомъ главы твоей державной!

Пиѳетеръ ¹ (*обращаясь къ своимъ*).

Намъ вѣкъ съ нимъ, господа, не развязаться.
 Коли не дать чего-нибудь. Вотъ, ты:
 Въ плащъ небось, въ фуфайкѣ цеголяешь;
 Сними-жъ фуфайку и пінту дай
 Премудрому (*поэту*):

Бери фуфайку! Грѣйся!
 И то морозомъ вѣть отъ тебя.

Поэтъ (*беретъ фуфайку*).

Охотно Муза сладкогласа
 Твою, о царь, пріемлетъ мзду;
 Но внемли се, съ высотъ Парнаса
 Къ тебѣ я съ Пиндаромъ иду.

Пиѳетеръ (*въ отчаяніи*).

Боги! Когда-жъ отстанетъ онъ отъ насъ?

Поэтъ.

Въ равнинахъ Скиѳи пустынной
 Дрожа скитается Стратонъ,
 Зане, глупецъ, тулупъ овчинный
 Стяжать не умудрился онъ.

(*Показывая фуфайку*).

Безславно риза невелика
 Ко плоти отопла моей,
 Плаща лишившись. Владыка,
 Ты мой глаголь уразумѣй.

Пиѳетеръ.

Уразумѣлъ: фуфайки, значить, мало,
 Подай и плащъ. Ужъ такъ и быть!

(*Одному изъ своихъ*)

Сними;

Пінту радъ я прислужиться. (*Поэту*)

Другъ мой:

Бери и—уленетьвай.

Поэтъ.

Теку.

А дома оду сочини такую:

Обитель мразовъ, дрожи градъ,
Златопрестольная, воспой!
Въ небесну ширь, гдѣ снѣгъ и хладъ,
Проникъ я смѣлою стопой.
Ура! (*Уходитъ*).

Пиетеръ (*ворчитъ*).

Отъ мразовъ ты, положимъ, обезпеченъ,
Въ чужой одѣвшись плащъ. Да богъ съ тобой!
А все-жъ не думалъ я, что эта сволочь
Про городъ нашъ проникхаетъ такъ скоро.

Что это за поэтъ? Опреѣленное лицо или типъ? Мы этого не знаемъ, да оно и не важно; и въ томъ и въ другомъ случаѣ это—прямой потомокъ Пиндаровъ и Вакхилидовъ. Переведенная сцена изъ Аристофана даетъ намъ вѣрное понятіе о вырожденіи эпиникіи и всей родственной ей такъ называемой энкоміастической (т.-е. хвалебной) лирики и объ ея безпочвенности въ Аѣинахъ конца V-го вѣка.

Что же измѣнилось? Все, или почти все.

Прежде всего мы не встрѣчаемъ того политическаго строя, которымъ обуславливалась жизнеспособность эпиникіи. Мы знаемъ уже, что строй этотъ—строй аристократическій; въ Аѣинахъ же Аристофановой эпохи торжествовала демократія, чѣмъ дальше, тѣмъ больше. — Во-вторыхъ, и религиозный складъ умовъ—если можно такъ выразиться—сталъ нѣсколько инымъ. Поэтъ эпиникіи былъ пророкомъ Аполлона; обаяніе же Аполлона было въ Аѣинахъ Аристофана уже не тѣмъ, что раньше въ аристократической Греціи Пиндара и Вакхилида. Положительно, дельфійскому богу не везло въ политикѣ послѣ неудачи съ Крезомъ, которую онъ такъ мило прикрылъ рассказанной Вакхилидомъ легендой. Не Аполлонъ, а Діонисъ былъ въ Аѣинахъ богомъ-покровителемъ поэзіи; драма и диѣрамбъ возобладали надъ пѣаномъ и эпиникіей.

Но главное то, что нравственный идеалъ, выработанный въ эпоху эпиникіи, потерпѣлъ крушеніе. Какъ хорошо въ

своемъ родѣ, какъ законченно было то міросозерцаніе, выставившее «всеидную доблесть», *pasiphanès agetà*, высшею цѣлью человѣческихъ стремленій! И поэія находила при немъ свое законное мѣсто, свое неотъемлемое право на существованіе. Она содѣйствовала «завершенію доблести», она дѣлала ее «всеидной», прославляя имя и дѣянія доблестнаго мужа. Мы въ правѣ увлекаться этимъ идеаломъ и эпохой, его выработавшей; это была счастливая, жизнерадостная эпоха. Но она носила въ себѣ зародышъ своей гибели; есть мысли, которыя достаточно ясно выразить для того, чтобы ихъ опровергнуть. Этика Вакхилида ставила завершеніе доблести въ зависимость отъ внѣшнихъ условий; съ этимъ отвѣтомъ человѣку примириться нельзя. Началась долгая, суровая работа мысли, результатомъ которой было превращеніе внѣшней *agetà* во внутреннюю, доблести въ добродѣтель, идеала эпиникии въ идеалъ философіи Сократа и Платона. Софисты первые уронили идеалъ эпиникии, уронили именно тѣмъ, что высказались за него, но, поступая со строгой послѣдовательностью, дали ему такое толкованіе, которое привело бы въ ужасъ благочестивыхъ «пророковъ» Аполлона, Пиндара, Симонида—и племянника и подражателя послѣдняго, нашего Вакхилида. Въ «Государствѣ» Платона софистъ Θрасимахъ съ жаромъ отстаиваетъ положеніе, что человѣкъ несправедливый, но пользующійся славой справедливости, гораздо счастливѣе мужа справедливаго, но въ этомъ качествѣ непризнаннаго. Могъ бы Вакхилидъ его опровергнуть? Нѣтъ; вѣдь ясно, что «всеидная доблесть» на сторонѣ перваго. Вотъ почему Платонъ въ своемъ боевомъ діалогѣ, написанномъ противъ софистовъ, въ «Протагорѣ», выставляетъ отца греческой софистики союзникомъ и сподвижникомъ Симонида: онъ выступаетъ тамъ защитникомъ и толкователемъ одной эпиникии послѣдняго и терпитъ крушеніе вмѣстѣ съ ней.

Да, идеалъ эпиникии долженъ былъ погибнуть для того, чтобы надъ нимъ восторжествовалъ идеалъ философіи; но это не уменьшаетъ ни его поэтическаго, ни его культурно-историческаго значенія и интереса. Намъ нравятся эти сильные тѣломъ и душою герои Пиндара и Вакхилида, прерывающіе свои шумныя застольныя бесѣды для того, чтобы выслушать пѣвца,

говорящаго имъ о ложномъ и объ истинномъ счастьѣ, о достоинствѣ различныхъ стремленій человѣка, о смыслѣ и о цѣли его жизни. Намъ нравится ихъ интересъ къ высшимъ вопросамъ бытія; мы видимъ, это тѣ самые люди, къ которымъ чрезъ два поколѣнія и вѣчно ищущій Сократъ будетъ обращаться со своими вопросами, чтобы узнать, наконецъ, какъ человѣкъ себя понимаетъ. Намъ нравится и данный отвѣтъ, «всевидная доблесть», этотъ душистый и пышный цвѣтокъ, выросшій на нивѣ ихъ мысли; мы знаемъ, что это не пустоцвѣтъ, что когда онъ завянетъ и засохнетъ, то изъ него вырастетъ здоровый и спасительный плодъ—идея добра.

А поэтому намъ нравится и эпиникия Вакхилида. Читая ее, мы создаемъ, что мы не на какой-нибудь болѣе или менѣе интересной отдаленной тропинкѣ, нѣтъ, что мы остаемся на столбовой дорогѣ умственного и нравственного прогресса человечества. Но именно то, что составляетъ главный интересъ Вакхилидовой эпиникии, затрудняетъ въ то же время и ея пониманіе; чтобы ее понять, мы должны были перенестись въ то общество, изъ котораго и для котораго она возникла.

7.

Иное дѣло—*баллады* того же поэта, вторая и меньшая часть его наслѣдія, выданнаго намъ, наконецъ, таинственной египетской могилой. Терминъ этотъ, выбранный мною для обозначенія шести послѣднихъ поэмъ Вакхилида, происхожденія новѣйшаго; въ сочиненіяхъ самого Вакхилида соотвѣтственный сборникъ—какъ это доказала позднѣйшая находка—носилъ заглавіе «диопрамбы». Но такъ какъ это заглавіе само нуждается въ объясненіи, а съ другой стороны, онѣ, по своему содержанію, болѣе всего приближаются къ тому типу лирико-эпической поэзіи, который мы называемъ балладой,—то позволительно будетъ удержать предложенный мною терминъ.

Подобно эпиникиямъ, и баллады Вакхилида назначены не для чтенія, а для исполненія. Одна изъ нихъ, третья, кончается словами: „Возрадуйся, Аполлонъ, пѣснамъ хора кеосцевъ и ниспошли имъ богоданную счастливую судьбу“, изъ

которыхъ мы заключаемъ, что она была назначена къ исполненію на празднествѣ кеосцевъ, земляковъ поэта, въ честь Аполлона. Изъ сильно пострадавшаго начала второй баллады можно вывести заключеніе, что она должна была быть исполнена дельфійцами на праздникъ того же бога. Пятая озаглавлена „Іо. Для аеинянъ“, шестая: „Идасъ. Для лакедемонянъ“, что наводитъ насъ на такого же рода предположенія относительно ихъ назначенія; и мы имѣемъ, разумѣется, полное право распространить эту аналогію также и на оставшіяся баллады, первую и четвертую. Но, кромѣ этихъ преимущественно виѣшнихъ примѣтъ, ничто не связываетъ балладу съ ея назначеніемъ; она понятна и безъ него, понятна теперь такъ же, какъ и тогда. Этимъ она рѣзко отличается отъ эпиникии.

Впрочемъ, одного требуетъ и она: знанія міеологіи. Дѣйствительно, всѣ баллады—міеологическаго содержанія и, кромѣ того, рассчитаны на людей, до нѣкоторой степени свѣдущихъ въ міеахъ. Вахилидъ, поэтому, не представляетъ читателю своихъ героевъ, полагаясь на то, что они и такъ извѣстны; но это не все. Гораздо замѣчательнѣе слѣдующая черта. Законченность не обязательна для балладъ Вахилида; онѣ могутъ не имѣть начала, могутъ не имѣть конца. Мы встрѣтились уже съ этой особенностью въ эпиникиахъ; но тамъ эпическая часть была лишь арабеской, болѣе или менѣе искусно вpleтенной въ лирическую поэму. Гораздо разительнѣе она въ балладахъ, при ихъ исключительно эпическомъ содержаніи. Поясню сказанное на примѣрахъ.

Первая баллада озаглавлена: „Аntenориды, или посольство объ Еленѣ“; изъ перваго слова мы догадываемся, что главную роль въ ней играли сыновья того Антенора, который, будучи троянцемъ, сочувствовалъ грекамъ, за что и далъ свое имя одной части послѣдняго круга Дантова ада, назначенной предателямъ своего отечества. Говорю: догадываемся; такъ какъ начало баллады намъ не сохранено, то мы и объ его композиціи судить не можемъ. Въ сохранившейся же части рассказано, какъ греческихъ пословъ, въ томъ числѣ Менелая, ввели въ совѣтъ царя Пріама. Менелай первый начинаетъ говорить: „Друзья брани, троянцы“, сказалъ онъ,

высокодержавный, всевидящій Зевсъ не виновенъ въ великихъ бѣдствіяхъ, постигающихъ смертныхъ; всѣмъ доступна, для всѣхъ достижима прямая Правда, подруга священной Законности и мудрой Ѳемиды; блаженны тѣ люди, которые ее избираютъ своей правительницей. Напротивъ, ни передъ чѣмъ не останавливающаяся Кривда (hybris), распѣтающая въ хитрой лжи, въ неразумныхъ излишествахъ—она быстро можетъ дать человѣку чужое богатство и силу, но столь же быстро низвергаетъ его въ глубокую пропасть гибели; она погубила и гордыхъ гигантовъ, сыновъ Земли.

Здѣсь—конецъ баллады: даже продолженіе рѣчи Менелая не сообщено. Въ этомъ—спѣшу это замѣтить—сомнѣнія быть не можетъ; нельзя предположить, что конецъ баллады намъ только не сохраненъ, такъ какъ въ метрическомъ отношеніи поэма закончена.

Такую же странность встрѣчаемъ мы во второй балладѣ, посвященной послѣднему жертвоприношенію Геракла. Начинается она словами: „Мы поемъ, какъ нѣкогда смѣлый сынъ Амфитріона оставилъ городъ Эхалию добычею пламени...“; затѣмъ идетъ разсказъ о благодарственномъ жертвоприношеніи Геракла по случаю взятія этого города. „Тогда“, продолжаетъ поэтъ,

непреоборимый рокъ подсказалъ Деянирѣ многослезную хитрость когда она узнала горькую вѣсть о томъ, что безстрашный сынъ Зевса ведетъ бѣлорукою Іолу женой въ свой богатый домъ. О несчастная, о горемычная, что задумала она! Погубила ее могучая ревность и мрачная завѣса передъ тѣмъ, чему суждено было исполниться, когда на цвѣтистой рѣкѣ Ликормѣ она приняла отъ Несса роковой, чудесный даръ.

И опять конецъ; въ чемъ состояла хитрость Деяниры и какой она имѣла исходъ—объ этомъ ничего не сказано.

Темноты тутъ, разумѣется, нѣтъ никакой. Слушатели Вакхилида знали—да и мы это знаемъ—что Менелай въ главной части своей рѣчи требовалъ возвращенія ему Елены, и что это его требованіе уважено не было; они знали, что Деянира, чувствуя себя оставленной своимъ мужемъ Геракломъ, прибѣгла къ мнимо-любовному средству, подаренному ей нѣкогда коварнымъ кентавромъ Нессомъ, и противъ своей воли отравила имъ своего мужа во время его благодарственного жертвоприношенія. Очевидно, Вакхилидъ отнесся къ своему дѣлу иначе, чѣмъ къ нему отнесся бы современный поэтъ. Мы

требуемъ отъ поэмъ законченной композиціи независимо отъ того, предполагаетъ ли авторъ свой сюжетъ извѣстнымъ читателямъ или нѣтъ; и нѣтъ надобности доказывать, что наше требованіе справедливо. Точно такъ же понимали свою задачу и древніе поэты, писавшіе поэмы родственнаго характера, начиная, приблизительно, съ Теокрита — о болѣе раннихъ мы представленія не имѣемъ. У Вахилида не то. Греческая сага—это рѣка, текущая вдоль лѣса по равнинѣ. Вотъ черезъ просѣку заглянуло солнце и ярко освѣтило небольшое пространство этой рѣки. Ему дѣла нѣтъ до того, что освѣщенное имъ пространство не имѣетъ ни начала, ни конца; и мы любимся игрою лучей на поверхности волнъ, ничуть не смущаясь незаконченностью этой картины. Такъ, повидимому, и современники Вахилида охотно мирились съ тѣмъ, что ихъ поэтъ освѣщалъ своимъ талантомъ лишь произвольно выбранный имъ уголокъ всѣмъ знакомой саги.

Съ историко-литературной точки зрѣнія это явленіе интересно. Не Вахилидъ былъ изобрѣтателемъ баллады; таковымъ должны мы считать Стесихора, отъ поэмъ котораго сохранились лишь отрывки. Если законченность не обязательна для Вахилида, то она подавно не обязательна и для этого гораздо болѣе древняго поэта. Такимъ образомъ наша находка освѣщаетъ намъ цѣлую область ранней греческой лирики, о которой мы до сихъ поръ ничего сказать не могли.

Но если законченность и не обязательна для балладъ Вахилида, то это не значить еще, чтобы она въ нихъ отсутствовала совсѣмъ. Мы познакомились до сихъ поръ лишь съ двумя его балладами; всѣхъ же шесть. Правда, о шестой, въ виду незначительности сохранившагося отрывка, ничего сказать нельзя; но уже въ пятой—въ Іо—мы имѣемъ если не законченный, то, по крайней мѣрѣ, цѣльный рассказъ. Приключенія Іо доведены до конца; недостаетъ, однако, объединяющей идеи, фокуса, такъ сказать, композиціи, а потому и законченности за этой балладой признать нельзя. А такъ какъ по своимъ поэтическимъ достоинствамъ она стоитъ не выше рассказа о дочеряхъ Прета въ 11-ой эпипикии, то мы ее можемъ оставить въ сторонѣ. Остаются, такимъ образомъ, двѣ: третья и четвертая; изъ нихъ послѣдняя законченна, если не по формѣ,

то по идеѣ, первая же—и въ томъ, и въ другомъ отношеніи. Начнемъ, однако, съ той, т.-е. съ четвертой баллады.

По преданію, аѳинскій царь Эгей, приживъ отъ трезенской царевны сына Тесея, оставилъ его у матери. Прощаясь съ ней, онъ приподнялъ огромный камень и, положивъ подъ него свой мечъ, опустилъ обратно; женѣ же сказалъ, чтобы она тогда только отправила сына къ нему, когда онъ будетъ настолько силенъ, чтобы добыть изъ-подъ камня его мечъ. Затѣмъ потекли годы; Эгей состарился, и его душой овладѣла (послѣ расправы съ Ясономъ) злая волшебница Медея. Но вотъ намѣченный Эгеемъ и затѣмъ забытый имъ срокъ наступилъ: Тесей явился. Никто его не узналъ, кромѣ Медеи; предчувствуя, что этотъ юноша положить конецъ ея власти, она возбудила подозрѣніе стараго царя противъ него и уговорила его поднести ему ядъ въ привѣтственномъ кубкѣ. Принимая кубокъ изъ рукъ отца, Тесей, согласно обычаю, отстегнулъ свой мечъ и положилъ его на столъ; по этому мечу отецъ его призналъ и еще въ-время успѣлъ вышибить у него изъ рукъ отравленный кубокъ. Медея убѣдилась, что ея дѣло проиграно, и спаслась бѣгствомъ.

Все это поэтъ предполагаетъ извѣстнымъ своимъ слушателямъ; онъ переноситъ насъ въ тотъ моментъ, когда вѣсть о приближеніи таинственнаго юнаго богатыря была принесена въ Аѳины. Вся баллада состоитъ изъ разговора между Эгеемъ и ...неизвѣстно кѣмъ: быть можетъ, Медеей, но возможно также, что это былъ своего рода хоръ, царскіе ратники; начинается она въ истинно-былинномъ стилѣ такъ:

Царь священныхъ Аѳинъ, властитель веселыхъ іонійцевъ! Отчего недавно мѣднозвонная труба запѣла воинственную пѣснь? Недругъ ли во главѣ войска переступаетъ границы нашей земли? Или злодѣи-разбойники силой уводятъ стада овецъ, обижая пастуховъ? Или что другое озабочиваетъ твое сердце? Говори; я полагаю, что если какой-либо смертный располагалъ силой отважныхъ юношей, то располагаешь ею и ты, сынъ Пандіона и Креусы!

Эгей объясняетъ въ чемъ дѣло, рассказываетъ о подвигахъ юнаго незнакомца, о томъ, какъ онъ истребилъ разбойниковъ; „боюсь,—заключаетъ онъ свой рассказъ,— что это кончится чѣмъ-то недобрымъ“. Тревога растеть:

А кто этотъ человѣкъ, по твоимъ извѣстіямъ, и откуда? Съ какой свитой приходитъ онъ? Ведетъ ли большую рать съ браннымъ оружіемъ? Или шествуетъ въ однихъ только своихъ доспѣхахъ, точно купецъ-скиталецъ по чужой землѣ,—онъ, столь стойкій, могучій и смѣлый, что смогъ усмирить великую силу тѣхъ мужей? Видно, самъ богъ его посылаетъ для суда надъ дурными людьми. Трудно вѣдъ человѣку, всегда творящему зло, избѣгнуть зла самому; все можетъ совершиться въ долгомъ времени.

Отвѣтъ Эгея не особенно успокоителенъ; онъ описываетъ осанку и вооруженіе юноши и заключаетъ словами:

Въ глазахъ его сверкаетъ багровое пламя вулкана; онъ—отрокъ на порогѣ юности, но знающій утѣху Ареса, войну и мѣдный шумъ битвъ; направляется же онъ въ царство доблести—Аеины.

Этимъ знаменательнымъ словомъ кончается баллада. Поэтъ описалъ одинъ только моментъ—возникновеніе тревоги, но это описаніе едино и закончено.

Но эта четвертая баллада при всѣхъ своихъ неоспоримыхъ достоинствахъ не выдерживаетъ сравненія съ *третьей*, озаглавленной „Молодежь и Тесей“; такъ какъ эта послѣдняя должна быть признана вѣнцомъ не только балладъ, но и всѣхъ поэмъ Вахилида, то мы имѣемъ право заняться ею обстоятельнѣе.

8.

Корабль о черной кормѣ, увозившій храбраго Тесея и съ нимъ двѣ седмицы прекрасной іонійской молодежи, уже разсѣкалъ волны Критскаго моря; мощно надували бѣлый парусъ сѣверные вѣтры, по волѣ славной владычицы брани, эгидоносицы Аеины.

Такова обстановка, въ которую поэтъ прямо переноситъ своихъ слушателей; остальное они знали сами. Явившись въ Аеины, Тесей, сынъ Эгея—который, однако, былъ только его земнымъ отцомъ, между тѣмъ какъ его мистическимъ, божественнымъ отцомъ былъ, по вѣрованіямъ грековъ, владыка моря Посидонъ—засталъ этотъ городъ данникомъ царя Миноса; въ видѣ дани онъ долженъ былъ посылать ему ежегодно семь отроковъ и семь дѣвушекъ на съѣденіе заключенному въ лабиринтъ чудовищу Минотавру. Желая или освободить свое отечество отъ этого позора, или погибнуть, Тесей взялся со-

проводить тѣхъ отроковъ и дѣвушекъ, которымъ въ томъ году выпалъ печальный жребій; среди послѣднихъ находилась и красавица Эрибея. Миносъ лично явился за своей добычей; и вотъ они вмѣстѣ отправляются въ Критъ.

Ранили сердце Миносу лютые дары Киприды, нѣгой увѣчанной богини; не смогъ онъ долѣе удержать своей руки отъ дѣвушки, коснулся ея блага лица. Вскрикнула Эрибея, призвала мѣдноброннаго Пандіонова внука; взглянулъ на нихъ Өесей—грозно сверкнули черные зрачки подъ его бровями, страшная боль взволновала ему душу. И онъ сказалъ:

„Сынъ великаго Зевса! нечестно управляешь ты сердцемъ въ своей груди; удержи, герой, свою гордую силу. Что намъ назначила всеисильная воля боговъ, что намъ приносить опустившаяся чашка вѣсовъ справедливости—рокъ свой мы выполнимъ, когда наступитъ часъ; ты же не давай хода своимъ обиднымъ помысламъ. Пускай тебя зачала на ложѣ Зевса подъ отрогами Иды благородная красавица, дочь Феникса — вѣдь и меня дочь богатаго Питоея родила морскому Посидону, а темнокудрые Нерейды даровали ей золотую фату. Поэтому я прошу тебя, вождь кносійцевъ, воздержаться отъ многослезной гордыни; не хочу я видѣть веселаго свѣта безсмертной Зари, если ты кого-либо изъ моихъ молодыхъ спутницъ подчинишь себѣ противъ ея воли. Нѣтъ! прежде мы испытаетъ силу своихъ рукъ, а что будетъ дальше—рѣшитъ богъ“.

Такъ сказалъ мужъ о доблестномъ копѣѣ, удивляя пловцовъ своей гордой отвагой. Вскипѣлъ зять Солнца (Миносъ); сталъ онъ думать новую, коварную думу.

„Сильный отецъ мой Зевсъ“, сказалъ онъ, „услышь меня! Если правда, что тебѣ меня родила бѣлорукая финикіянка, то ниспошли съ неба, какъ ясное знаменіе, быструю огневолосую молнію. (*Къ Өесей:*) Если же и тебя трезенская Этра родила сотрясателю земли Посидону, то (*снимая кольцо съ руки*), бросившись смѣло въ обитель твоего отца, принеси мнѣ съ глубины моря вотъ это прекрасное золотое украшеніе моей руки. А слышитъ ли мою просьбу всѣмъ управляющій владыка молніи Кронидъ—это ты узнаешь тотчасъ“.

Услышалъ могучій Зевсъ безмѣрную молитву; великую славу подарилъ онъ Миносу, желая сдѣлать всевидной честь своего милаго сына. Сверкнула молнія; Миносъ, увидѣвъ вождедѣльное чудо, простеръ руки къ святому зѣиру, воинственный мужъ, и сказалъ:

„Ты видишь, Өесей, этотъ ясный даръ Зевса? Бросься же и ты въ шумящее море; а отецъ твой, Кронидъ Посидонъ, доставитъ тебѣ высшую славу на зеленой землѣ“.

Такъ сказалъ онъ: у того же не содрогнулась душа. Ставъ на плотную палубу, онъ прыгнулъ; мирно приняла его морская пучина. Возликовалъ въ душѣ своей сынъ Зевса и—*велѣлъ пустить по вѣтру прекрасный корабль*; но судьба готовила другой исходъ. Быстро пронеслось судно; съверный вѣтеръ изъ всей силы дулъ позади него. Вздогнули всѣ дѣти

авинянтъ, когда герой бросился въ море, и слезы полились по ихъ нѣжнымъ щекамъ; они ждали горькой участи для него.

Тѣмъ временемъ морскіе дельфины быстро понесли великаго Ѳесея къ дому его отца; онъ вошелъ въ чертогъ боговъ. Съ трепетомъ увидѣлъ онъ святыхъ дочерей блаженнаго Нерее; отъ ихъ дивныхъ тѣлъ исходила заря, точно отъ пламени, золотыя тесьмы обвивали ихъ волосы; весело выступали онѣ въ хороводѣ своими гибкими ногами. Онъ увидѣлъ, затѣмъ, и дорогую супругу своего отца, прекрасную Амфитриту; она облачила его въ пурпуровый плащъ и возложила на его кудри драгоценный вѣнецъ—тотъ вѣнецъ съ алыми розами, который ей нѣкогда подарила на ея свадьбѣ коварная Афродита.

Нѣтъ для разумныхъ людей ничего невѣроятнаго въ томъ, что творится по волѣ боговъ: онъ появился у корабля о красивой кормѣ. О, въ какихъ помыслахъ застигъ онъ кносскаго вождя, когда онъ вышелъ невредимымъ изъ моря, на удивленіе всѣмъ, съ дарами боговъ, блиставшими вокругъ его членовъ! Тутъ дѣвушки въ новомъ весельи съ радостнымъ крикомъ привѣтствовали его; далеко огласилось море; а вблизи юноши своимъ мягкимъ голосомъ запѣли пѣснь.

Аполлонъ делосскій! Возрадуйся пѣснямъ хора кеосцевъ и ниспошли имъ богоданную счастливую судьбу.

* * *

Какъ было сказано выше, наша баллада имѣетъ въ рукописи два заглавія: „Молодежь“ и „Ѳесей“. Я желалъ бы предложить третье: „Медовый мѣсяцъ делосскаго союза“.

Читатель догадывается, что я хочу завести рѣчь объ аллегорическомъ толкованіи нашей баллады, и, пожалуй, будетъ склоненъ отнестись недовѣрчиво къ этой попыткѣ. Замѣчу, поэтому, тутъ же, что вопросъ о допустимости или недопустимости аллегорическаго толкованія долженъ быть рѣшаемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отдѣльно: будучи, напр., недопустимымъ у Шекспира, оно не только допустимо, но и прямо необходимо у Данте. Что же касается возникшихъ въ V-мъ вѣкѣ до Р. Х. мифовъ—а мы имѣемъ полное основаніе полагать, что нашъ принадлежитъ къ ихъ числу—то они всѣ могутъ быть названы небесными проекціями земныхъ явленій; особенно же это касается тѣхъ, героемъ которыхъ мы видимъ Ѳесея. Будучи первоначально довольно темнымъ мѣстнымъ героемъ, какихъ было въ Греціи множество, онъ въ эпоху тираниа Писистрата входитъ въ славу какъ идеальный царь-объ-

единитель Аттики. Но полный расцвѣтъ его почитанія состоялся лишь въ V-мъ вѣкѣ и связанъ съ именемъ того человѣка, который былъ завершителемъ „делосскаго“ союза іонійскихъ морскихъ государствъ подъ главенствомъ Аѣинъ — Кимона. Въ 469 г. Кимонъ съ благословенія дельфійскаго бога — который былъ расположенъ къ нему за его аристократическую и спартанофильскую политику — перенесъ (мнимые) останки Тесея въ Аѣины, учредилъ ему культъ и выстроилъ храмъ, носившій его имя. Стѣны этого храма были расписаны современными художниками, Полигнотомъ и Миконъ; объ одной изъ картинъ этого послѣдняго позднѣйшій очевидецъ, Павсаній, говоритъ слѣдующее: „Роспись третьей стѣны для незнакомыхъ съ преданіемъ неясна, отчасти по винѣ времени, отчасти же потому, что Миконъ изобразилъ не все. Отвезя въ Критъ Тесея, а съ нимъ и остальныхъ отроковъ и дѣвушекъ, Миносъ воспылалъ страстью къ Перибей (sic). Когда же Тесей ему воспротивился, онъ въ гнѣвѣ среди другихъ оскорбительныхъ рѣчей сказалъ ему и то, что онъ не сынъ Посидона, такъ какъ не въ состояніи принести ему обратно его перстень, если онъ броситъ его въ море. Сказавъ это, Миносъ, говорятъ, бросилъ перстень; Тесей же вышелъ изъ моря съ этимъ перстнемъ и съ золотымъ вѣнкомъ, подаркомъ Амфитриты“.

Нѣтъ надобности доказывать, что картина Микона — точная иллюстрація къ балладѣ Вакхилида. А такъ какъ объ онѣ — и картина и баллада — приблизительно одновременны, связь же картины съ политикой Кимона засвидѣтельствована, то позволительно догадываться о такой же связи также и для баллады. Теперь вспомнимъ, что баллада была написана для хора города Кеоса, который былъ однимъ изъ іонійскихъ государствъ, вошедшихъ въ составъ делосскаго союза; прибавимъ къ этому, что она была исполнена въ честь „делосскаго“ Аполлона, покровителя этого союза; все это не можетъ не навести насъ на мысль, что прославляемый поэтомъ Тесей — олицетвореніе главенства Аѣинъ надъ делосскимъ союзомъ іонійскихъ государствъ.

А теперь посмотримся ближе къ содержанію баллады. Она сводится къ двумъ дѣйствіямъ: заступничеству за Эрибею и приключенію съ кольцомъ. Въ обоихъ противникомъ Тесея

былъ критскій царь Миносъ; если Өесей—представитель Аѣинъ, какъ главы делосскаго союза, то что такое Миносъ? Отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: представитель Спарты, какъ главы всѣхъ греческихъ государствъ, не исключая и Аѣинъ, до сравнительно недавняго времени. Для этой роли онъ годился какъ нельзя лучше: Критъ былъ уже въ эпоху Гомера дорическимъ государствомъ, отца же Миноса Зевса и спартанцы называли своимъ родоначальникомъ. А если такъ, то и смыслъ приключенія съ кольцомъ выясняется сразу. Миносъ бросаетъ въ море свое кольцо; Өесей добываетъ его, доказывая этимъ свое происхожденіе отъ владыки моря Посидона. Спарта теряетъ главенство надъ морскими государствами (гегемонію на морѣ, какъ говорили проще) и оно переходитъ къ Аѣинамъ, какъ первостепенной въ Греціи морской державѣ. До какой степени этотъ символизмъ удобопонятенъ, показываетъ всѣмъ извѣстный родственный обрядъ обрученія венеціанскаго дожа съ Адриатикой.

Переходъ морской гегемоніи отъ Спарты къ Аѣинамъ былъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ дальновидной политики Өемистокла и Саламинской побѣды; но въ тѣ времена люди во всѣхъ историческихъ событіяхъ доискивались личныхъ мотивовъ, и причиной утраты Спартой гегемоніи была выставлена гордость (*hybris*) спартанскаго царя Павсанія и оскорбленія, которыя отъ него претерпѣвали союзники-іонійцы. Именно эти оскорбленія повели къ тому, что іонійцы отложились отъ спартанцевъ и стали искать заступничества у Аѣинъ—такъ повѣствуютъ всѣ греческіе историки, начиная Геродотомъ, продолжая Өукидидомъ и Исократомъ и кончая Плутархомъ. Такъ представляетъ дѣло и Ваххилидъ; Миносъ оскорбляетъ Эрибею, одну изъ «іонійскихъ» дѣвушекъ-спутницъ Өесея (прошу замѣтить, что Ваххилидъ не безъ умысла называетъ отроковъ и дѣвушекъ, сопутствующихъ Өесею, «іонійской молодежью», хотя это были, разумѣется, аѣиняне и аѣинянки); Өесей заступаетъ за нее, вступаетъ въ споръ съ Миносомъ и въ этомъ спорѣ побѣждаетъ.

Интереснѣе всего то, что аллегорія Ваххилида, у котораго дѣвушка является символической представительницей оскорбленныхъ Павсаніемъ союзниковъ, была современемъ облечена

въ плоть и кровь и превратилась въ настоящую легенду; эту легенду, какъ нельзя лучше подтверждающую правильность нашего толкованія, мы читаемъ у Плутарха въ біографіи Кимона. „Видя, что Павсаній обращается съ союзниками грубо и своевольно и допускаетъ много безчинствъ вслѣдствіе своего необузданнаго нрава и своей безразсудной спѣси, Кимонъ сталъ ласково принимать обижаемыхъ и человѣколюбиво съ ними обращаться; такъ-то онъ незамѣтно, не съ помощью оружія, а обходительностью и добрымъ словомъ завоевалъ гегемонію надъ Элладой: большинство союзниковъ обратилось къ нему и къ Аристиду, не будучи въ состояніи выносить тяжелый нравъ и высокомеріе Павсанія. Говорятъ, между прочимъ, что Павсаній однажды велѣлъ привести къ себѣ, для любовныхъ наслажденій, византійскую дѣвушку, дочь знатныхъ родителей, по имени Клеонику; запуганные родители, за невозможностью сопротивленія, отправили дѣвушку; она же, попросивъ спальниковъ убрать огонь, стала молча въ темнотѣ подходить къ ложу Павсанія, который уже спалъ. При этомъ она наткнулась на свѣтильникъ и нечаянно опрокинула его; Павсаній, услышавъ шумъ, испугался, схватилъ лежащій тутъ же кинжалъ—воображая, что къ нему приближается какой-то недругъ—и ударилъ имъ дѣвушку. Она упала и тотчасъ отъ удара умерла; но съ тѣхъ поръ и Павсанія оставилъ покой. Ночью, во время сна, ея тѣнь являлась ему и гнѣвно шептала ему стихъ:

Близокъ возмездія часъ! человѣку на гибель надменность.

Это и было главной причиной того, что возмущенные союзники съ Кимономъ во главѣ, осадили его и заставили уйти изъ Византіи“.

Разумѣется, наша баллада не нуждается въ этомъ толкованіи для того, чтобы быть понятной—я самъ сказалъ выше, что она понятна и такъ для всѣхъ, кто мало-мальски знакомъ съ греческой міеологіей. Нѣтъ; второй ея смыслъ существуетъ параллельно съ первымъ, ничуть не подчиняя его себѣ. Главный его интересъ—историческій; онъ живѣе, чѣмъ какое бы то ни было историческое повѣствованіе свидѣтельствуетъ о довѣріи іонійскихъ союзниковъ къ Аѣинамъ въ пер-

вые годы афинской морской гегемоніи. Вотъ почему я выше предложилъ озаглавить нашу балладу: «Медовый мѣсяцъ делосскаго союза».

9.

Успѣхъ Вакхилида, сказалъ я выше, былъ сравнительно умѣреннымъ у грековъ и почти ничтожнымъ у римлянъ. Последнее неудивительно и неважно; ни Пиндаръ, ни Симонидъ, въ силу характера своей поэзіи, не могли пользоваться успѣхомъ у другого народа, кромѣ своего. Важно первое обстоятельство; оно повліяло на оцѣнку Вакхилида въ новѣйшей литературѣ, причемъ, какъ это бываетъ часто, сравнительное пренебреженіе было замѣнено абсолютнымъ. Вотъ, ради примѣра, отзывъ о Вакхилидѣ въ наиболѣе распространенномъ изъ руководствъ греческой словесности—въ руководствѣ Криста (Christ): „Его поэзія была только отзвукомъ величавой геніальности Симонида; ему недоставало самородной силы оригинальнаго творчества. Равнымъ образомъ и въ стилѣ онъ пошелъ не дальше опрятной гладкости“. Мнѣ думается, что теперь, послѣ открытія подлинныхъ поэмъ Вакхилида, этотъ приговоръ долженъ быть признанъ несправедливымъ. Никто не поставитъ новонайденнаго представителя греческой лирики выше того, который до послѣдняго времени былъ для насъ ея единственнымъ представителемъ, выше Пиндара: сравнительная оцѣнка древнихъ останется въ силѣ. Но онъ займетъ почетное мѣсто въ пантеонѣ древней поэзіи, немного ниже своего старшаго собесѣдника.

„Великъ буду я среди великихъ, малъ среди малыхъ“, гордо сказалъ про себя однажды этотъ послѣдній. И онъ былъ правъ; нужно умѣть возвыситься душою до надгорныхъ сферъ мысли, чтобы оцѣнить суровыя красоты Пиндаровой музыки. Кто на это неспособенъ, для того Пиндаръ останется первообразомъ выпрежняго пѣтическаго паренія и болѣе ничѣмъ. Вакхилидъ этихъ словъ про себя повторить бы не могъ. Онъ—поэтъ *общедоступный*; въ этомъ его главное отличіе отъ Пиндара. Древніе говорятъ намъ, что царь Іеронъ предпочиталъ

его этому послѣднему, и что это предпочтеніе, оказываемое его сопернику, возмущало гордую душу еванскаго поэта. Тщетно искали мы подтвержденія этому извѣстію въ новонайденныхъ поэмѣхъ; но, допуская его достовѣрность, мы безъ труда его поймемъ.

Вакхилидъ доступнѣе Пиндара, прежде всего, по своей внѣшней формѣ. Какъ легко и плавно льется его стихъ, какъ естественны и незамысловаты его конструкціи! Все у него ясно, все удобопонятно; можно прочесть много его стиховъ одинъ за другимъ, не испытывая непріятнаго чувства, что то или другое мѣсто лишь наполовину понято, что слѣдовало бы прервать чтеніе, чтобы тщательнѣе вникнуть въ его смыслъ. Это, безъ сомнѣнія, заслуга, и заслуга немалая—тѣмъ болѣе, если подумать о тѣхъ трудностяхъ въ самой technikѣ стихосложенія лирическихъ поэмъ, которыя приходилось ему преодолевать, о тѣхъ мудреныхъ лирическихъ схемахъ, отъ которыхъ рябитъ въ глазахъ у непривычнаго читателя, и которыя поэтъ долженъ былъ неуклонно соблюдать въ строгомъ соотвѣтствіи строфъ и эподовъ. Надобно признать, Вакхилидъ съ замѣчательной легкостью владѣлъ стихомъ; это—Овидій греческой лирики.

Доступнѣе онъ Пиндара, во-вторыхъ, и по идейному содержанію своихъ поэмъ: Врядъ ли онъ когда-либо ощущалъ ту трагическую неудовлетворенность истиннаго поэта-творца, не находящаго выраженія тому, что волнуетъ его грудь,—ту неудовлетворенность, въ сознаніи которой Мицкевичъ однажды сказалъ, что „мысль извращаетъ чувство, а слово извращаетъ мысль“. Мы чувствуемъ ее не разъ у Пиндара, когда онъ, гнѣвно отбрасывая мысль, не желающую укладываться въ словъ, прибѣгаетъ къ образу, или, наоборотъ, разрушаетъ образъ мыслью; но Вакхилидъ—совершенно другая натура. Мягкій и податливый, онъ жилъ въ полномъ мирѣ со своими мыслями; свѣтлое, безмятежное настроеніе господствуетъ въ его поэмѣхъ. Онъ глубоко вѣруетъ въ свой идеалъ «всеидной доблести» и говорить о немъ въ сознаніи, что и всѣ окружающіе въ него вѣруютъ.

Эпиникия, послѣднимъ поэтомъ которой онъ былъ, умерла вмѣстѣ съ нимъ, но умерла по-гречески: съ улыбкой на устахъ.

II.

Геродъ

И ЕГО БЫТОВЫЯ СЦЕНКИ.

(1892).

1.

Истекшій 1891 годъ надолго останется памятнымъ въ исторіи классической филологіи; онъ принесъ намъ, не говоря о мелкихъ новинкахъ, два крупныхъ и драгоцѣнныхъ дара—книгу Аристотеля о государствѣ аѣинскомъ и бытовыя сценки Герода. Какой счастливой случайности обязаны мы этими двумя находками—объ этомъ соблюдается тѣми, кому знать надлежитъ, упорное и знаменательное молчаніе; лишь самый фактъ случайности остается несомнѣннымъ, а съ установленіемъ этого факта устраняется всякая надобность задавать себѣ вопросъ о связи между обоими крупными приращеніями греческой письменности. Тѣмъ не менѣе, благодаря второй случайности, связь эта существуетъ; историкъ греческой словесности, желающій опредѣлить мѣсто Герода въ интересующей его наукѣ, долженъ будетъ избрать исходной точкой Аристотеля и новонайденный его трактатъ; солидный и серьезный опытъ ученѣйшаго изъ греческихъ философовъ и игривыя картинки одного изъ наименѣе серьезныхъ греческихъ поэтовъ находятся въ довольно тѣсной причинной связи другъ съ другомъ, и только установленіе этой связи дастъ намъ возможность правильно судить о послѣднемъ.

Въ третью четверть четвертаго вѣка до Р. Х. родительница нашей культуры представляла довольно безотрадную картину—безотрадную не потому, что ея содержаніемъ была отчаянная и безнадежная борьба лучшихъ греческихъ государствъ за свою независимость, а потому, что въ этихъ самыхъ государствахъ люди измелъчали и не были болѣе въ силахъ нести тяжелое бремя геройства, завѣщанное имъ предками. Все же въ этой мрачной картинѣ мы находимъ одно мѣсто, освѣщенное самими

яркими лучами солнца,—мѣсто, гдѣ нашелъ себѣ убѣжище геній прогресса, давно уже покинувшій народное вѣче и поле брани. Это мѣсто—роща Аполлона Ликейскаго въ Аѣинахъ, гдѣ училъ и бесѣдовалъ Аристотель. Никогда до этого и никогда послѣ этого опытъ организаціи и централизаціи науки не былъ сдѣланъ въ столь широкихъ размѣрахъ и съ такой надеждой на успѣхъ. Я не буду говорить здѣсь о самомъ руководителѣ, этомъ единственномъ человѣкѣ, знавшемъ рѣшительно все, что было доступно знанію въ тѣ времена,—а этого было гораздо болѣе, чѣмъ склонны думать люди, незнакомые съ греческой наукой; едва ли не важнѣе учености Аристотеля, которой онъ никому завѣщать не могъ, была его организаторская дѣятельность. Онъ назначалъ каждому изъ своихъ учениковъ соотвѣтствующую его таланту работу; подъ его руководствомъ и при его непосредственномъ участіи образовался тотъ кладъ учености, который остался послѣ смерти учителя достояніемъ его школы и продолжалъ носить имя того, кто былъ душой общества и наложилъ на общее дѣло печать своего духа. Кладъ этотъ состоялъ, какъ извѣстно, изъ трехъ категорій сочиненій: 1) сочиненій, дающихъ *эмпирическіе матеріалы* къ отдѣльнымъ наукамъ; 2) сочиненій, имѣющихъ содержаніемъ *философско-теоретическое изложеніе* этихъ наукъ, и 3) сочиненій популярныхъ, назначенныхъ для болѣе широкаго круга читателей. О послѣднемъ разрядѣ мы ничего почти не знаемъ; ко второму принадлежатъ всѣ сохранившіеся намъ подлинныя сочиненія Аристотеля, кромѣ одного—именно трактата «о государствѣ Аѣинскомъ», единственнаго представителя перваго разряда.

Этотъ трактатъ содержитъ довольно пространное изложеніе какъ исторіи, такъ и системы аѣинской конституціи и былъ частью очень обширнаго сочиненія, носившаго заглавіе *Πολιτεία* и имѣвшаго содержаніемъ систему и, повидимому, исторію конституцій 158-ми почти исключительно греческихъ государствъ. Вотъ какихъ исполинскихъ размѣровъ былъ субстратъ, на которомъ Аристотель воздвигъ небольшое по объему зданіе своей «Политики». Мы знаемъ, что и для другихъ философско-теоретическихъ сочиненій Аристотеля существовали въ древности такіе субстраты: намъ они не сохранены.

Но родной сестрой политики, по мнѣнію Аристотеля, была этика. Обѣ эти науки превосходятъ важностью всѣ остальные, обѣ онѣ имѣютъ практическую и притомъ общую цѣль; эта цѣль—осуществленіе идеи добра. Нельзя думать, чтобы философъ, построившій свою «Политику» на такомъ огромномъ фундаментѣ, какъ 158 книгъ Πολιτεῖων, свою «Этику» создалъ апіорнымъ путемъ; другими словами, мы должны допустить сочиненіе, относившееся къ «Этикѣ» Аристотеля точно такъ же, какъ его 158 книгъ Πολιτεῖων относятся къ его «Политикѣ». Ставя вопросъ такимъ образомъ, мы почти что рѣшаемъ его; дѣйствительно, мы получаемъ пропорцію, три члена которой извѣстны, а при такихъ условіяхъ неизвѣстный четвертый членъ можетъ быть опредѣленъ безъ всякихъ затрудненій. Этотъ неизвѣстный членъ будетъ имѣть содержаніемъ описаніе опредѣленнаго числа человѣческихъ характеровъ, подобно тому, какъ Πολιτεῖαι имѣли содержаніемъ описаніе опредѣленнаго числа государственныхъ конституцій; но, конечно, характеры эти не будутъ характерами опредѣленныхъ лицъ-современниковъ Аристотеля, что было бы нескончаемо и бессмысленно. Въ этомъ отношеніи методъ автора нашего *x*'а долженъ былъ существенно отличаться отъ метода «Политій». Чтобы воздвигнуть прочное основаніе эмпирической этики, недостаточно было копировать характеры встрѣчныхъ лицъ; надобно было предварительно, путемъ наблюденія и психологическаго анализа, видѣлить въ сложномъ механизмѣ характера данной личности существенное среди случайнаго, дать этому существенному наименованіе, прослѣдить его въ характерахъ другихъ лицъ, у которыхъ оно проявляется съ большей силой, и такимъ образомъ найти типическаго представителя того существеннаго, о которомъ идетъ рѣчь; его-то портретъ необходимъ для эмпирической этики, и собраніе такихъ портретовъ будетъ именно сочиненіемъ, котораго мы доискиваемся, *x*'омъ нашей пропорціи. Другими словами: субстратомъ Аристотелевой этики была обширная *эτολογία*, построенная на тѣхъ же началахъ и по тому же методу, какъ и медицинская патологія; это послѣднее сравненіе мы будемъ имѣть въ виду и въ дальнѣйшемъ ходѣ нашего разсужденія.

2.

Сочиненіе, о которомъ идетъ рѣчь, дѣйствительно существовало въ древности; оно ходило подъ именемъ *Θεοφράστα*, лучшаго друга и ученика Аристотеля, и носило заглавіе *Περὶ ἡθῶν*. Намъ оно извѣстно довольно точно благодаря сохранившимся тремъ извлеченіямъ, содержащимъ описанія тридцати характеровъ. Конечно, извлеченіе никогда не можетъ замѣнить подлинника; къ тому же въ данномъ случаѣ эксцерпторы не только тщательно пропустили все, что было сказано *Θεοφράстомъ* о цѣли его сочиненія, но одинъ изъ нихъ еще прибавилъ отъ себя предисловіе, долго вводившее въ заблужденіе читателей. Очевидно, эксцерпторъ самъ заблуждался; онъ дѣлалъ извлеченіе изъ сочиненій, въ которомъ было описано много дурныхъ и смѣшныхъ сторонъ человѣческаго характера; не мудрено, что онъ приписалъ этому сочиненію цѣль моралистическую: „дабы наши сыновья стали лучше, видя по оставленнымъ имъ въ назиданіе примѣрамъ, какіе люди наиболѣе достойны того, чтобы съ ними поддерживать сношенія“, какъ онъ самъ выражается въ предисловіи. Не такъ давно *Θεοφράстъ* попалъ даже въ сатирики. Одинъ нашъ современникъ пожелалъ подарить русской публикѣ переводъ одного извлеченія изъ его *Περὶ ἡθῶν*, но по незнанію пересолитъ и—очевидно изъ желанія сдѣлать свой переводъ интереснѣе—написалъ его такимъ крѣпкимъ слогомъ, какой навѣрное никогда не грезился даже эксцерптору, не говоря уже о тонкомъ и благовоспитанномъ *Θεοφράстѣ*; на основаніи-то этого перевода одинъ критикъ—не филологъ, впрочемъ,—сначала произвелъ *Θεοφράста* въ сатирики, а затѣмъ выбранилъ его за его блѣдность и отсутствіе сатирической соли. На самомъ же дѣлѣ сочиненіе *Θεοφράста* имѣетъ не моралистическій и уже, конечно, не сатирический, а исключительно этологическій характеръ. Моралистъ *Сенека* и сатирикъ *Ювеналъ* описываютъ человѣческіе пороки съ цѣлью возбудить отвращеніе къ нимъ,—этологъ *Θεοφράстъ* описываетъ тѣ же пороки съ цѣлью ихъ изученія; первые пишутъ страстнымъ и гнѣвнымъ, послѣдній—спокойнымъ и дѣловымъ тономъ. Насколько *Θεοφράстъ* отличается

отъ моралистовъ и сатириковъ, настолько онъ приближается къ медикамъ, изучающимъ болѣзни человѣческаго тѣла и объясняющимъ намъ, по какимъ симптомамъ можно узнать какую болѣзнь. Возьмемъ, ради примѣра, начало десятой характеристики: „о скаредности (*μικρολογία*): подъ скаредностью мы понимаемъ превосходящую разумную мѣру бережливости по отношенію къ деньгамъ; скареднымъ мы называемъ человѣка, который, напримѣръ, уступая свой домъ друзьямъ для собранія, взыскиваетъ по $\frac{1}{2}$ обола съ человѣка; или, видя, что его рабъ разбилъ горшокъ или сковороду, дѣлаетъ ему соответствующій вычетъ изъ его порціи; или не позволяетъ поднять упавшую съ его дерева маслину или финикъ, и т. д.“. Таковы всѣ тридцать характеристикъ; сперва идетъ опредѣленіе болѣзни души, затѣмъ симптомы, по которымъ она узнается. Не трудно представить себѣ, какую важность должно было имѣть обширное сочиненіе, изъ котораго извлечены сохранившіеся намъ жалкіе экскерпты, для такой этики, какой была этика Аристотеля, въ которой проводилось ученіе о *virtus in medio*, о томъ, что каждая добродѣтель есть качество среднее между двумя пороками. — бережливость, напримѣръ, качество среднее между скаредностью и расточительностью. А если такъ, то, мы, конечно, не ошибемся, признавая Аристотеля вдохновителемъ этого столь необходимаго для его всенаучной лабораторіи сочиненія.

Постараемся представить себѣ этотъ фактъ во всей его важности. Аристотелю понадобилось, въ числѣ другихъ сочиненій, образующихъ его стройную энциклопедію человѣческихъ знаній, также и этика, разборъ нравственныхъ свойствъ человѣческой души. Каждый изъ его предшественниковъ, имѣя дѣло съ подобнаго рода задачей, просто изложилъ бы то, до чего онъ додумался своимъ умомъ, основываясь на томъ, чему научила его жизнь. Аристотель поступаетъ иначе; онъ говоритъ своимъ ученикамъ: „идите въ народъ и наблюдайте всѣхъ; не гнушайтесь неприглядныхъ чертъ людей, съ которыми вы будете имѣть дѣло; онѣ для васъ важнѣе ихъ свѣтлыхъ сторонъ, подобно тому какъ для медиковъ больные люди важнѣе, чѣмъ здоровые. Не пренебрегайте мелочами; онѣ легче всего ускользаютъ отъ наблюдателя, а между тѣмъ именно онѣ

составляют характеры тѣхъ людей, которые, въ свою очередь, составляютъ общество. Не увлекайтесь; вы должны постоянно помнить, что вы—естествоиспытатели, и что единственное чувство, которое вы должны ощущать при видѣ предмета вашихъ наблюденій,—любопытность“. Такъ приблизительно долженъ былъ выразиться Аристотель. Его устами наука устранила преграду, отдѣлявшую ее до тѣхъ поръ отъ жизни. Про Сократа Цицеронъ говоритъ, что онъ свелъ философію съ неба и поселилъ ее въ хижинахъ людей; Аристотель сдѣлалъ то же самое съ наукой: онъ объявилъ весь окружающій насъ міръ ея предметомъ.

Послѣдствія этого слова были чрезвычайно замѣчательны. До тѣхъ поръ эллины, можно сказать, не знали реализма въ полномъ смыслѣ слова: въ высокомъ искусствѣ, включая туда и поэзію, онъ подчинялся идеализму, въ низменномъ былъ низведенъ до карикатуры: произведеніе искусства должно было или облагораживать человѣка своей красотой, или веселить его своею уродливостью; чувство простой и безпристрастной любопытности не предполагалось существующимъ у публики. Теперь все это мѣняется; вся окружающая насъ пустая и мелочная жизнь была объявлена интересной—и вотъ реализмъ широкой струей вливается въ искусство и поэзію. Скульптура ощущаетъ на себѣ его вліяніе; ваятели изображаютъ, рядомъ съ богами и героями, обыкновенныя и грубыя фізіономіи пастуховъ, рыбаковъ, деревенскихъ бабъ и мальчишекъ; живопись слѣдуетъ примѣру скульптуры,—создается жанръ. Въ поэзіи комедія прежде всего поддается новому теченію; она изгоняетъ карикатуру и пасквиль и превращается въ ту картину нравовъ, которая и понынѣ до нѣкоторой степени плѣняетъ насъ въ твореніяхъ Мольера—до нѣкоторой степени, такъ какъ то, что было естественнымъ и реальнымъ у Менандра, сдѣлалось условнымъ у его французскаго подражателя.

Вообще поэзія благодаря своимъ твердо выработаннымъ формамъ мало годилась для воспріятія новаго содержанія; тѣмъ не менѣе теченіе реализма было столь мощно, что эти формы не устояли. Если не считать трагедіи, о судьбѣ которой въ тѣ времена мы слишкомъ мало знаемъ, то всѣ отрасли поэзіи, продолжавшія свое существованіе, прониклись реализмомъ. Въ

этомъ отношеніи первое мѣсто принадлежитъ человѣку, котораго мы привыкли считать творцомъ такъ называемой александрийской поэзіи—*Каллимаху*. Какой родъ поэзіи, казалось бы, менѣе доступенъ реализму, чѣмъ гимны въ честь боговъ? Тѣмъ не менѣе реализмъ проникаетъ и туда; въ гимнѣ Каллимаха въ честь Артемиды мы находимъ очень интересную въ этомъ отношеніи картинку. Описывается, какъ малолѣтняя Артемида отправилась къ Киклопамъ добывать себѣ вооруженіе; поэтъ рисуетъ намъ жилище Киклоповъ, ихъ страшный видъ, ихъ работу. Подруги Артемиды—всѣ онѣ были девятилѣтними дѣвочками—перепугались при видѣ этихъ чудовищъ; поэтъ ихъ извиняетъ (ст. 64): „Имъ не грѣшно было испугаться ихъ; даже тѣ дочери блаженныхъ, которыя не очень маленькія, не могутъ безъ страха видѣть Киклоповъ; и если кто-либо изъ дѣвочекъ не слушается своей матери, то мать страшаетъ свою дочку Киклопомъ,—и вслѣдъ затѣмъ изъ угла дома вылѣзаетъ Гермесъ, выпачкавъ все тѣло сажей, и пугаетъ дѣвочку; она же, закрывъ личико руками, бросается на лоно матери“. Все это могло произойти и, безъ сомнѣнія, часто происходило въ семейной жизни современниковъ Каллимаха. Гермесъ здѣсь просто—проказникъ-старшій братъ, приходящій на помощь матери не столько съ педагогическою цѣлью, сколько для своего удовольствія, чтобы самому посмѣяться на счетъ трусихи-сестры. Конечно, поэтъ не постарался объяснить намъ, какимъ образомъ у небожителей завелась вся эта дѣтвора; онъ прекрасно зналъ, что никто изъ его современниковъ не задастъ ему такого вопроса. Читая такіе гимны, невольно вспоминаешь религіозную живопись временъ Возрожденія, когда художники такъ же мало стѣснялись со своими сюжетами и вводили обстановку обыденной жизни въ изображеніе священныхъ сценъ.

Послѣ гимновъ сдалась и эпическая поэзія; тотъ же Каллимахъ посвятилъ прекрасный эпосъ «Гекалу» описанію угоненія аѳинскаго царевича Тесея деревенскою старушкой Гекалой, при чемъ были описаны съ большимъ реализмомъ, какъ сама хозяйка, такъ и убранство ея убогой хижинны и скромныя блюда, которыми она потчевала своего высокаго гостя. Этотъ примѣръ нашелъ себѣ подражателей. Тѣмъ не менѣе надобно

сознаться, что это проникновеніе старыхъ формъ новымъ содержаніемъ было само по себѣ противно духу реализма,—по крайней мѣрѣ того реализма, котораго требовалъ Аристотель. Въ комедіи нашъ интересъ сосредоточивается на фабулѣ, а фабула въ слишкомъ широкихъ размѣрахъ пользуется моментомъ случайности, чтобы быть вполне реалистичной. Въ гимнахъ и эпосахъ выступаютъ боги и герои,—реализмъ играетъ второстепенную роль. Новое содержаніе требовало новой формы; это прекрасно понималъ современникъ Каллимаха, одинъ изъ лучшихъ поэтовъ Эллады — *Теокритъ*. Спѣшу замѣтить, что Теокритъ не былъ реалистомъ; онъ былъ скорѣе романтикомъ, можно даже сказать, что въ этомъ заключается его главная сила. Но въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ онъ уступаетъ новымъ вѣяніямъ и приближается къ Каллимаху, а въ одномъ даже заходитъ значительно далѣе его. Это стихотвореніе—«Праздникъ Адониса»; его ядро—гимнъ въ честь этого несчастнаго любимца Афродиты. Итакъ, мы опять имѣемъ дѣло съ гимнической поэзіей; дана возможность, стало быть, сравнить Теокрита съ Каллимахомъ, и результатъ сравненія рѣшительно въ пользу Теокрита. Реалистическій элементъ не внесенъ Теокритомъ въ самый гимнъ, какъ это было сдѣлано Каллимахомъ; ему посвящена особая бытовая сценка, внѣшнимъ образомъ соединенная съ гимномъ. Одна женщина-мѣщанка навѣщаетъ другую; поболтавъ другъ съ дружкой всласть главнымъ образомъ о своихъ мужьяхъ, онѣ отправляются на праздникъ Адониса, слушаютъ гимнъ въ его честь и затѣмъ возвращаются домой. Фабула, стало быть, самая простая; не она привлекаетъ къ себѣ нашъ интересъ. Для самого поэта главнымъ былъ, повидимому, гимнъ, но насъ плѣняетъ не онъ, а именно обѣ собесѣдницы-мѣщанки и ихъ пустыя рѣчи, дышущія естественностью и жизненной правдой. Повидимому, авторъ этого стихотворенія изучалъ людей именно такъ, какъ этого требовалъ Аристотель; онъ почти что уже нашелъ форму, въ которой нуждалась поэзія, съ тѣхъ поръ какъ къ ней было предъявлено требованіе чистаго реализма—форму этологической поэмы. Я говорю «почти что», такъ какъ Теокритъ, все-таки, сдѣлалъ гимнъ въ честь Адониса ядромъ всего стихотворенія. Чтобы осуществить форму этологической поэмы,

оставалось сдѣлать еще одинъ шагъ впередъ — отбросить совсѣмъ это ядро и оставить одну только сценку. Теокрытъ этого шага не сдѣлалъ очевидно потому, что онъ былъ въ душѣ не реалистомъ, а романтикомъ.

3.

До 1891 года мы должны были предполагать, что этотъ шагъ вовсе не былъ сдѣланъ: Теокрытъ оставался для насъ самымъ реалистическимъ поэтомъ такъ называемаго эллинистическаго періода. Нынѣ же, благодаря счастливой находкѣ, мы знаемъ, что этотъ дробль былъ восполненъ послѣдователемъ и почитателемъ Теокрита — именно тѣмъ поэтомъ, которому посвященъ настоящій очеркъ. *Геродъ* представляетъ собою предѣльную точку въ томъ направленіи греческой мысли, исходной точкой котораго было поставленное Аристотелемъ требованіе, чтобы путемъ изученія характеровъ окружающихъ насъ людей былъ заложенъ фундаментъ достаточно солидный для того, чтобы нести на себѣ зданіе эмпирической этики; чего достигъ въ дѣловой, ученой прозѣ Теофрастъ, къ чему стремились, каждый въ своей области, Менаандръ, Каллимахъ, Теокрытъ, то осуществилъ Геродъ. Его мы должны считать творцомъ этологической поэмы, всецѣло посвященной изображенію нравовъ окружающихъ насъ людей, безъ всякихъ побочных соображеній, притомъ изображенію ихъ ради одной только любознательности, а не въ видахъ проповѣди или сатиры. Еще разъ подчеркиваю эту послѣднюю разницу: Геродъ, подобно Теофрасту, быть этологомъ, а не моралистомъ или сатирикомъ. Этимъ онъ, къ слову сказать, отличается отъ того болѣе ранняго поэта, съ которымъ его часто сближаютъ — отъ Софрона сиракузскаго, бытовая сценка котораго такъ правилась Платону.

Въ этомъ его значеніе: онъ понималъ, въ чемъ состояло требованіе его времени, и создалъ тотъ родъ поэзіи, который наиболѣе соотвѣтствовалъ этому требованію. Отсюда слѣдуетъ, что онъ былъ замѣчательнымъ человѣкомъ, но далеко еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ великимъ поэтомъ. Напротивъ; Теокрытъ, какъ поэтъ, стоитъ выше его, и если мы затрудняемся

произнести то же сужденіе относительно Каллимаха, то виною тому, по всей вѣроятности, несчастная случайность, лишившая насъ возможности читать его Гекалу и Этии. Не всегда реформаторы бываютъ великими людьми; очень часто человѣкъ дѣлается реформаторомъ не столько благодаря своимъ положительнымъ качествамъ, сколько благодаря одному отрицательному—отсутствію сердечной теплоты, привязывающей насъ къ традиціи, хотя бы мы и сто разъ признали ее отжившею свой вѣкъ. Но, какъ я уже сказалъ, Геродъ, во всякомъ случаѣ, поэтъ замѣчательный и заслуживающій того, чтобы мы познакомились съ нимъ ближе—т.-е., говоря точнѣе, съ его стихотвореніями, такъ какъ объ его *жизни* мы почти ничего не знаемъ. Въ первой его сценкѣ читается восторженная похвала Египту и его „доброму царю“; отсюда мы можемъ заключить, что Геродъ жилъ при дворѣ египетскаго царя или, по крайней мѣрѣ, намѣревался посѣтить этотъ дворъ, подобно Эокриту. Тамъ же упоминается „святыня обоготворенной четы брата-сестры“, изъ чего мы заключаемъ, что сценка написана послѣ смерти „сестры“, т.-е. Арсинои Филадельфы, въ 270 г. Двѣ другія сценки имѣютъ театромъ дѣйствія островъ Косъ, но такъ какъ герои этихъ сценокъ представлены чужестранцами, то ясно, что самъ поэтъ не былъ оттуда родомъ. Въ одной изъ этихъ сценокъ, именно въ четвертой, одна изъ собесѣдницъ съ апломбомъ называетъ Апелла эфесцемъ, хотя не было никакой надобности называть его родину, да къ тому же Апеллъ родился не въ Эфесѣ, а въ Колофонѣ, и только впоследствии получилъ гражданскія права въ Эфесѣ. Это наводитъ на мысль, что герои нашего поэта, а съ ними и онъ самъ, были эфесцами. Заключеніе это подтверждается однимъ мѣстомъ въ первой сценкѣ, именно выраженіемъ „хоромы нашей богини“ въ смыслѣ „рай земной“; отсюда видно, что городъ, о которомъ идетъ рѣчь, славился культомъ одной богини, а это какъ нельзя лучше подходитъ къ Эфесу, обладавшему именно въ тѣ времена роскошнымъ храмомъ Артемиды. Вотъ и все, что мы знаемъ о личности нашего поэта.

Зато мы должны быть благодарны судьбѣ, возвратившей намъ недавно семь полныхъ его стихотвореній, каждое длиною среднимъ числомъ въ 100 стиховъ. Это—законченныя сценки

изъ быта маленькихъ людей—современниковъ и, повидимому, земляковъ Герода. Фабула, какъ и слѣдовало ожидать, вездѣ отличается простотой и обыденностью; высокаго полета мыслей и красоты слога мы требовать не въ правѣ; точно такъ же естественность и, такъ сказать, безнамѣренность подбора исключали нравоучительную или сатирическую тенденцію. Поэтъ пишетъ безо всякой задней мысли; онъ какъ бы говоритъ читателю: „кому интересно послушать рѣчи кумушекъ и богомолокъ, самодурокъ-барынь и сердитыхъ матушекъ, строгихъ учителей и проказниковъ-мальчугановъ, ремесленниковъ и людей неопрятной профессіи,—тотъ можетъ взять въ руки мою книжку; но пусть онъ ничего не требуетъ, кромѣ голой правды. Мои герои говорятъ стихами, а не прозой, но во всемъ остальномъ они—точные снимки съ тѣхъ, которыхъ вы ежедневно можете найти на улицахъ и у прилавка, на папертахъ храмовъ и въ засѣданіяхъ суда, въ убогихъ хижинахъ и еще болѣе убогихъ квартиркахъ третьяго этажа; кому не интересны подлинники, тому не совѣтую заниматься и этими моими портретами“. Въ этомъ существенная разница между Геродомъ и Менаандромъ, даже совершенно независимо отъ фабулы: Менаандръ при всемъ своемъ реализмѣ остается художникомъ, Геродъ не болѣе какъ добросовѣстный копистъ.

Въ нашъ вѣкъ фотографической живописи и экспериментальнаго романа такое отношеніе автора къ своему сюжету является вполнѣ естественнымъ; съ этой точки зрѣнія можно сказать, что Геродъ избралъ для своего воскресенія очень удобный моментъ. Но отсюда еще далеко не слѣдуетъ, чтобы Геродъ былъ въ наши дни писателемъ вполнѣ понятнымъ также и для тѣхъ, кто можетъ завести съ нимъ знакомство только при посредничествѣ переводчика. Всѣмъ извѣстно, какъ трудно передать на чужомъ языкѣ особенности народной рѣчи: именно то, что въ подлинникѣ сразу поражаетъ насъ своей жизненной правдой, въ переводѣ выходитъ безцвѣтнымъ и даже книжнымъ. И все-таки переводъ остается, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, единственнымъ средствомъ, которымъ мы располагаемъ для того, чтобы дать представление о Геродѣ лицамъ, не имѣющимъ возможности читать его въ подлинникѣ; необходимо только, чтобы они прониклись убѣжденіемъ, что это очень

недостаточное средство, и что въ подлинникѣ они нашли бы навѣрное превосходнымъ то, что въ переводѣ имъ покажется только сноснымъ.

4.

Возьмемъ, ради примѣра, третью сценку. Метротима, женщина преклонныхъ лѣтъ, входитъ, въ крайнемъ волненіи, въ домъ своего ближайшаго родственника, учителя Ламприска, ведя за руку своего сына Коттала, здороваго мальчугана приблизительно 12—14 лѣтъ. Слишкомъ много у нея накипѣло на душѣ; ея рѣчь льется какъ потокъ, и по всему видно, что она кончитъ не скоро, хотя цѣль своего посѣщенія она высказала уже съ первыхъ словъ. „Да благословяте тебя, Ламприскъ, любезныя музы и дадутъ тебѣ испытать всякую радость и насладиться жизнью! Вели рабу поднять этого негодяя себѣ на плечи и дай ему такую порку, чтобы его скверная душа осталась у него на однѣхъ губахъ. Онъ совершенно разорилъ меня бѣдную своей игрой въ орлянку; да, бабокъ ему теперь уже мало, онъ придумалъ для меня еще болѣе тяжкое наказаніе. Спроси-ка его, гдѣ квартира его учителя — куда мнѣ каждое тридцатое число (охъ, ужъ эти мнѣ тридцатые числа!) приходится идти съ платой, хотя бы я навзрыдъ плакала — не скоро найдется онъ отвѣтить тебѣ; зато вертепъ, гдѣ живутъ носильщики и бѣглые рабы — этотъ онъ твердо знаетъ и другому показать можетъ. Бѣдная доска, которую я исправно натираю воскомъ каждый мѣсяцъ, лежитъ сиротой у ножки его кровати — той, что ближе къ стѣнѣ; онъ ненавидитъ ее пуще смерти, а если и возьметъ когда-нибудь въ руки, то и тогда ничего путнаго не напишетъ, а только весь воскъ соскоблить. Бабки (нетронутыя) валяются во всѣхъ мѣшкахъ и сѣткахъ; онѣ лоснятся точно наша бутылочка съ масломъ, которой мы постоянно пользуемся. Въ грамотѣ онъ ни аза не разберетъ, если ему не твердить пять разъ одно и то же; намереніи отецъ заставилъ его разбирать по складамъ слово „Маронъ“ — такъ этотъ грамотей Марона превратилъ въ Симона, такъ что я сама себя прозвала душой за то, что вмѣсто того, чтобы учить его пасти ословъ, даю ему хорошее

воспитаніе, думая найти въ немъ подспорье на черный день. Другой разъ, когда мы—или я, или его отецъ, подслуховатый и подслѣповатый старикъ — велимъ ему сказать какое-нибудь мѣсто изъ трагедіи, приличное его возрасту, такъ онъ цѣдитъ, какъ сквозь дырявый мѣшокъ: „Аполлонъ... ловець...“. „Да вѣдь это“, говорю я, „сумѣетъ сказать тебѣ, несчастный, даже твоя бабушка, никогда не обучавшаяся грамотѣ, да и любой фригіецъ“. А попробуй-ка посильнѣе постращать его — такъ онъ три дня не знаетъ порога нашего дома и тѣмъ временемъ разоряетъ свою бабу, бѣдную старуху, или взберется на крышу и сидитъ тамъ, вытянувъ ноги и опустивъ голову, точно мартышка. А мнѣ-то каково видѣть его тогда, какъ ты думаешь! И не столько его самого жалко, сколько черепицъ, которыя крошатся точно хворостъ, такъ что при приближеніи зимы меня заставляютъ платить по три полушки за каждую. Плачешь, да ничего не подѣлаешь: всѣ жильцы въ одинъ голосъ твердятъ, что это сдѣлалъ Метротиминъ сынъ Котталъ — и чувствуешь, что это правда, такъ что даже раскрыть ротъ совѣстно... Ужъ пожалуйста, Ламприскъ, если хочешь, чтобы вотъ эти богини дали тебѣ счастье и удачу для твоей дальнѣйшей жизни, дай ты ему не менѣе... — „Не безпокойся, Метротима“, утѣшаетъ ее учитель, „онъ останется доволенъ“. Слѣдуетъ жестокая расправа, очень подробно описанная Геродомъ. Подъ конецъ проказникъ дѣлается „пестрѣ змія“, но Метротимъ кажется, что все еще недостаточно; Ламприскъ обѣщаетъ ей продержатъ ея сына нѣсколько времени у себя, подъ домашнимъ арестомъ, и познакомить его въ это время основательно, подъ аккомпаниментъ розги, съ книгой; это обѣщаніе ее успокоиваетъ, и она уходитъ рассказать обо всемъ мужу.

Я нарочно привелъ in extenso жалобу Метротимы; въ ней заключается главный интересъ нашей сценки съ бытовой точки зрѣнія. Нѣтъ надобности доказывать, что эта женщина отнюдь не комическій персонажъ. Она уже наклонѣ лѣтъ, она почти-что вдова, такъ какъ ея старый мужъ, „страдающій глазами и ушами“, къ работѣ очевидно неспособенъ. Она—глава семьи; ея сына сосѣди называютъ „сыномъ Метротимы“, а не по отчеству: отца, стало быть, какъ бы не существуетъ. Она очень

бѣдна: ей трудно платить учителю грамоты его ничтожное мѣсячное жалованье, трудно отдать нѣсколько полушекъ за разбитыя черепицы. За свои трудовые гроши она рѣшила дать сыну хорошее воспитаніе, надѣясь на будущее; но этотъ сынъ развивается такъ, какъ часто развиваются мальчики, не чувствующіе надъ собой авторитета отца; наука ему не по вкусу, зато онъ дружится съ людьми самой сомнительной нравственности и играетъ съ ними въ азартныя игры на деньги, взятыя у матери, или—что еще вѣроятнѣе—вырученныя за проданную домашнюю утварь. Таково горе этой маленькой семьи. Все же поэтъ постарался о томъ, чтобъ портретъ его героини вышелъ не слишкомъ идеальнымъ; онъ внесъ въ ея горе тотъ диссонансъ, который присущъ неподдѣльному горю, по крайней мѣрѣ тѣхъ людей, которые не приобрѣли путемъ строгаго самоизученія и самовоспитанія нѣкоторой, можно сказать, гладиаторской выправки. Здѣсь, прежде всего, комическая нотка: нескончаемость рѣчи бѣдной женщины, приводящей не только всякіе пустяки изъ жизни ея сына, но и сдѣланныя ею по поводу этихъ пустяковъ тоже довольно пустыя замѣчанія. Здѣсь, во-вторыхъ, добрая доля наивнаго эгоизма; можно не придавать значенія словамъ Метротимы, что ей жаль не сына, который можетъ полетѣть съ крыши и сломать шею, а черепицъ—эти слова она могла сказать въ сердцахъ. Но она открыто сознается, что, давая сыну хорошее воспитаніе, она думаетъ о себѣ; это очень тонкая и правдивая черта. Материнская любовь, такимъ образомъ, не особенно велика; мнѣ думается, что современный реалистъ остался бы вполне доволенъ характеромъ этой матери.

5.

Послѣ матери займемся типомъ супруги; мы встрѣчаемъ его въ первой сценкѣ. Метриха, хорошенькая молодка, вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ оставлена своимъ мужемъ Мандрисомъ; онъ уѣхалъ, —ну, разумѣется, туда, куда уѣзжали тогда предпріимчивые люди, въ Египетъ, къ „доброму царю“ Птолемею (Филадельфу или Еввергету); о тонкомъ панегирикѣ этому послѣднему была рѣчь выше. Въ это-то скучное время отсутствія мужа ее

посѣщаетъ ласковая старушка Гиллида, „тетка Гиллида“, какъ ее называетъ Метриха; судя по всему, она врядъ ли могла свободно навѣщать свою молодую подругу въ бытность ея мужа. Метриха ей рада: есть съ кѣмъ поболтать; а чтобы болтать можно было безъ стѣсненій, прислуга высылается изъ комнаты. Предосторожность оказывается умѣстной: старушка „рѣчь ведетъ обинякомъ“, но цѣль, къ которой она стремится, довольно ясна. „Давно ты уже вдовой сидишь, дитятко мое? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ Мандрисъ уѣхалъ въ Египетъ, уже десять мѣсяцевъ прошло, а написалъ ли онъ тебѣ хоть одну букву съ тѣхъ поръ? Позабылъ онъ тебя, вотъ что: полюбилось ему вино изъ новой чарки. А въ Египтѣ живетъ хорошо — охъ, какъ хорошо! Чего тамъ только нѣтъ! и богатство, и слава, и зрѣлища, и царская милость. А женщинъ тамъ столько, сколько звѣздъ на небесномъ сводѣ; и всѣ онѣ первыя красавицы, не хуже тѣхъ трехъ богинь, что нѣкогда предстали передъ Парисомъ на горѣ Идѣ“. Сравненіе это для этихъ богинь вовсе не лестно; набожная Гиллида сознаетъ это и бормочетъ про себя: „авось онѣ не разслышали, что я про нихъ сказала“, а затѣмъ снова обращается къ своей собесѣдницѣ. „Такъ зачѣмъ же ты, бѣдняжка, сидишь дома? («кресло грѣешь» какъ она картинно выражается). Сама не успѣешь оглянуться, какъ наступитъ старость, и пропадетъ твоя красота. Перестань тосковать, повеселись денька два или три съ новымъ другомъ. Нехорошо кораблю стоять на одномъ якорѣ. Неровенъ часъ, нагрянетъ буря... ну, не пугайся, дитятко, да хранить тебя боги отъ нея—но вѣдь буря можетъ разразиться хоть сейчасъ; такъ вотъ тогда-то онъ, этотъ другъ, спасетъ тебя и не дастъ вѣтрамъ увести тебя въ море. Всяко бываетъ“. — „Чего же тебѣ надо?“—спрашиваетъ ошеломленная Метриха. — „А насъ никто не подслушиваетъ?“ — „Нѣтъ, никто“. — „Такъ вотъ слушай“. Тутъ Гиллида рисуетъ своей подругѣ портретъ идеальнаго юноши, который разъ увидалъ ее на одномъ празднествѣ и съ тѣхъ поръ забыть не можетъ; если вѣрить Гиллидѣ, онъ внѣ себя, онъ изнываетъ, но все-таки обнаруживаетъ достаточно здраваго смысла, какъ видно изъ того, что онъ обратился со своими жалобами къ опытной Гиллидѣ, и притомъ, какъ показываетъ слѣдующее, не съ пустыми руками. Зато та

описываетъ его въ самыхъ яркихъ краскахъ. Какъ подобаесть благородному эллину, онъ нѣсколько разъ былъ побѣдителемъ на пивескихъ и истмическихъ играхъ—не чета Мандрису, стало быть. Онъ невѣроятно богатъ; при этомъ онъ человѣкъ смирный и добрый, мухи не обидитъ; онъ—алмазъ непорочный. Онъ сверхъ того щедръ и подаритъ подругѣ такую вещь, о которой она даже мечтать не смѣла. „Послушайся меня“, заключаетъ искусительница свою рѣчь, „клянусь богами, я говорю это изъ любви къ тебѣ“. Но это увѣреніе не помогаетъ; Метриха, при всей своей неопытности, поняла, чего отъ нея требуютъ. Она строго и не безъ скрытой угрозы замѣчаетъ: „Недаромъ, Гиллида, слово молвится: волосъ бѣлѣетъ, и умъ тупѣетъ. Клянусь возвращеніемъ Мандриса и милой Деметрой, другой бы я этихъ рѣчей не простила; я проучила бы ее такъ, что она запѣла бы у меня другимъ голосомъ, и впредь считала бы порогъ своего дома своимъ врагомъ. Да и тебя я прошу обращаться съ такими рѣчами къ уличнымъ щеголихамъ, а не ко мнѣ. Пускай уже Писіева дочь Метриха грѣетъ себѣ кресло; не будутъ, по крайней мѣрѣ, люди смѣяться въ глаза Мандрису“. Итакъ, соблазнительница потерпѣла полную неудачу; но Метриха прекрасно понимаетъ, что такихъ людей, какъ Гиллида, надобно или не знать вовсе, или—завязавъ съ ними знакомство—беречь. Она призываетъ прислугу, чѣмъ заодно заставляетъ старуху дать разговору другое направленіе, и велитъ ей принести для гостя чарку добраго вина. Гиллида сначала ворчитъ, но пить не отказывается; видя, что дѣло проиграно, она притворно хвалитъ хозяйку за ея вѣрность и про себя желаетъ долгой юности двумъ другимъ кліенткамъ, которыми она, очевидно, имѣетъ основаніе быть довольной.

Сценка съ Метротимой стояла особнякомъ въ древней литературѣ; настоящую мы въ состояніи сопоставить съ тремя аналогичными произведеніями: во-первыхъ, съ одной сценой въ комедіи Плавта «*Mostellaria*» (ст. 177 сл.), встрѣчавшейся, вѣроятно, и въ греческомъ подлинникѣ, — въ комедіи Филемона, современника Менандра; во-вторыхъ, съ элегіей Овидія (*Amores* I 7); въ-третьихъ, съ сценкой Лукіана («Разговоры гетеръ» 7). Главный мотивъ вездѣ одинъ и тотъ же:

пожилая женщина предлагает молодой красавицѣ, ради богатыхъ подарковъ и обезпеченія въ будущемъ, измѣнить обѣту вѣрности. Второстепенныя различія въ фабулѣ мы можемъ оставить безъ вниманія, такъ какъ не въ фабулѣ заключается главный интересъ сценокъ Герода; ограничимся одной этимологій.

Въ этомъ отношеніи самый сильный недочетъ оказывается на сторонѣ Овидія; красавица не охарактеризована вовсе, или почти что вовсе; про нее сказано только, что она краснѣетъ. Что же касается старухи, то она является у Овидія вѣдьмой въ буквальномъ смыслѣ слова: она своими чарами стягиваетъ луну съ небосклона, вызываетъ тѣни умершихъ, летаетъ по воздуху и т. д.; подобно Геродовой Гиллидѣ, и она любитъ выпить, но у нея эта страсть, по которой она и названа Дипсадой, превосходитъ всякую разумную мѣру: поэтъ насъ увѣряетъ, что она никогда не встрѣчаетъ утренней зари въ трезвомъ видѣ. Новый другъ, котораго она рекомендуетъ красавицѣ, обладаетъ только однимъ качествомъ: онъ неизмѣримо богатъ. Она пускается въ длинное разсужденіе о томъ, что это качество замѣняетъ всѣ остальные. Присмотрѣвшись ближе, мы замѣчаемъ, что въ этомъ разсужденіи и заключается главный интересъ элегій, что все остальное—не болѣе какъ рамка къ нему. Другими словами—поэтъ преслѣдовалъ не этимологическую, а моралистическую цѣль; а если такъ, то несправедливо и сравнивать его съ Геродомъ.—Гораздо ближе къ Героду въ этомъ отношеніи Плавтъ, *alias* Филемонъ. Филолахетъ, милый юноша, выкупилъ на отцовскія деньги прекрасную невольницу Филематию, и ему угрожаетъ поэтому жестокой нагоняй со стороны строгаго родителя; въ ожиданіи этого послѣдняго онъ пришелъ полюбоваться на свое новое счастье и случайно дѣлается свидѣтелемъ разговора Филематіи съ ея старой прислужницей Скафой. Скафа говоритъ Филематіи приблизительно то же, что Гиллида Метрихѣ. Но странное дѣло! Сопоставляя Плавта съ Геродомъ, мы находимъ, что у Герода все просто, естественно, у Плавта шаржированно и шаблонно. Шаржъ мы можемъ оставить на совѣсти римскаго поэта, допуская, что подлинникъ этимъ грѣхомъ грѣшенъ не былъ; но и тогда перевѣсъ окажется на сторонѣ Герода. Почему это? Потому,

что у Филемона эта сцена существует ради фабулы, у Герода — ради себя самой. Фабула требует, чтобы Филематия была изображена идеалом душевной чистоты; это необходимо для того, чтобы наши симпатии оставались на сторонѣ юноши, пренебрегшаго ради нея отцовской волей. Во имя этой цѣли поэтъ нѣсколько поступился полной естественностью, между тѣмъ какъ Геродъ ничѣмъ связанъ не былъ. Этотъ примѣръ очень поучителенъ: онъ какъ нельзя лучше доказываетъ, что только бытовая сценка, а не комедія, могла быть той формой, въ которой нуждалась этологическая поэма.

А если такъ, то мы заранее должны будемъ отнестись съ особеннымъ интересомъ къ тому автору, у котораго мы заимствовали нашу третью параллель — Лукіану. Дѣйствительно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ бытовой сценкой, такой же, какъ и сценка Герода, только написанной прозой, а не стихами, отъ чего естественность, разумѣется, можетъ только выиграть. Но, къ сожалѣнію, это только такъ кажется; при болѣе внимательномъ изученіи сборника, къ которому принадлежитъ и наша сценка, именно «Разговоровъ гетеръ», дѣлается очень вѣроятнымъ, что его сценки представляютъ собою переложеніе прозой сценъ, заимствованныхъ изъ комедій Менандра и его сподвижниковъ, при чемъ главная задача автора состояла, разумѣется, въ томъ, чтобы избѣжать характера отрывочности, осторожно порвать нити, связывавшія избранныя имъ сцены съ фабулой всей комедіи, такъ, чтобы онѣ являлись цѣльными и законченными. Это ему прекрасно удалось въ нашей сценкѣ. Этотъ разъ искусительница — родная мать; она недовольна тѣмъ, что ея дочь отталкиваетъ отъ себя всѣхъ богатыхъ и щедрыхъ юношей, которые желали бы ухаживать за нею, и ладить только съ однимъ невзрачнымъ молодымъ человѣкомъ низкаго происхожденія и безъ всякаго состоянія. Дочь защищаетъ свой поступокъ, но не такъ, какъ это дѣлаетъ Филематія Плавта. Она не говоритъ: „Я его одного люблю, я хочу быть ему вѣрной“. Въ той бѣдной средѣ, въ которую насъ вводитъ авторъ, любовь и вѣрность составляютъ лишь часть пышнаго наряда гетеры. Въ немъ блистаютъ лишь на улицѣ и въ кругу веселящейся молодежи; дома его не носятъ, такъ какъ онъ плохо уживался бы съ реализмомъ голыхъ стѣнъ и битой

утвари. Дѣвушка говоритъ, что ея бѣдный другъ общалъ ей то, чего не привыкли общать, и подавно не привыкли исполнять богатые юноши — общалъ жениться на ней. „Общалъ!“ вздыхаетъ мать; но дочь тоже понимаетъ, что она играетъ съ большимъ рискомъ для себя — съ рискомъ потерять свою молодость и все-таки остаться ни съ чѣмъ. Она дѣлаетъ такъ не потому, чтобы была увѣрена въ успѣхѣ, а потому, что не видитъ для себя другой возможности пристроиться; съ этимъ должна согласиться и мать. — Какъ видно изъ этого эскиза, по части реализма Лукіанъ не уступаетъ Героду, въ чемъ, впрочемъ, нѣтъ большой заслуги, если припомнить, что онъ жилъ четырьмя столѣтіями позже его. За Геродомъ остается лишь одно преимущество, — неподражаемая прелесть народной рѣчи.

6.

Познакомимся теперь съ третьимъ изъ женскихъ типовъ Герода — съ самодуркой-барыней. Имя ей — Битинна. Если бы я имѣлъ возможность привести въ точномъ переводѣ всѣ ея рѣчи — мнѣ не трудно было бы выставить ее настоящей родоначальницей героинь «Пошехонской старины». Ноточность переводчика имѣетъ свои предѣлы; познакомиться съ грубымъ цинизмомъ, который характеризуетъ эту женщину въ ея сношеніяхъ со своей челядью, можно только въ подлинникѣ. Относительно содержанія я долженъ ограничиться краткимъ намекомъ: рѣчь идетъ о Гастронѣ, красавцѣ-рабѣ Битинны, котораго та приревновала къ какой-то другой женщинѣ, Амфитеѣ. Наша барыня изображена вообще женщиной съ необузданными страстями и склонной къ насилию; а тутъ еще предметъ ея ревнивой ненависти является вмѣстѣ съ тѣмъ ея рабомъ, ея полной собственностью. Нечего и говорить, что происходитъ сцена, достойная самыхъ темныхъ временъ крѣпостного права. Битинна велитъ другому рабу, Пиррію, связать «лакомку» Гастрона, да потуже, и отвести въ мельницу, служившую въ то же время и застѣнкомъ для провинившихся рабовъ. Запечнымъ мастеромъ состоялъ нѣкто Гермонтъ; ему Битинна велитъ передать Гастрона, чтобы онъ наградилъ ея бывшаго любимца кнутомъ, давъ ему

тысячу ударовъ въ спину и тысячу въ животъ; „смотри, не забудь“, говоритъ она Пиррію: „тысячу сюда и тысячу сюда; слышалъ?“ Пиррій уходитъ, уводя съ собой Гастрона на вѣрную смерть. Тутъ поэтъ прибавилъ новую интересную черту: повидимому, прочимъ рабамъ приходилось не мало терпѣть отъ прихотей Гастрона, пока онъ пользовался милостями барыни; зато съ какой радостью набросился на него теперь этотъ самый Пиррій, съ какимъ наслажденіемъ влечетъ онъ его на пытку, поскорѣе, чтобы Битинна не успѣла опомниться! Но Битинна все-таки опомнилась; въ самомъ дѣлѣ, что она сдѣлала? Убьютъ въ ея отсутствіе ея раба, не давъ ему и сотни ударовъ, пропадутъ даромъ три мины, которыя она заплатила за него и, главное—не надъ кѣмъ ей будетъ болѣе измываться. „Скорѣе, скорѣе, раба“, говоритъ она прислужницѣ, „зови ихъ обратно, пока они еще недалеко“. Эта прислужница, Кидилла, играетъ интересную роль въ этомъ гадкомъ хозяйствѣ. Она, дѣвушка съ добрымъ сердцемъ, имѣетъ большую власть надъ своей въ корень испорченной госпожей; послѣдняя—неизвѣстно какими судьбами—вскормила ее, какъ она сама выражается, на своихъ собственныхъ рукахъ и любить не менѣе родной дочери. Кидилла рада; она пускается въ догонку за удаляющимися. „Пиррій, остановись! Или ты оглохъ? Тебя зовутъ! Господи, что это такое! Подумаютъ, что ты тащишь какого-то гробокрада, а не товарища-раба! Не совѣстно ли тебѣ съ такой силой волочить его на пытку? Смотри, Пиррій, не пройдетъ пяти дней, какъ я увижу твои собственные ноги въ тѣхъ же кандалахъ, которыя ты приготовилъ для него“. Пиррій волей-неволей возвращается. Тѣмъ временемъ Битинна успѣла придумать другое наказаніе. „Его ты введи сюда и оставь связаннымъ“, говоритъ она Пиррію, „а самъ пойди за Косіемъ—тѣмъ, что клеймилъ рабовъ,—и вели ему придти сюда съ иглами и чернилами. Будешь ты у меня пестрымъ“, говоритъ она съ злорадствомъ Гастрону, „не такъ, такъ иначе“. Но тутъ Кидилла вступаетъ за несчастнаго. „Прости его“, говоритъ она жестокой госпожѣ, „если хочешь, чтобы твоя дочь осталась живой, если хочешь выдать ее замужъ и ласкать малютокъ-внучатъ“. Но Битинна слишкомъ оскорблена; ея честь, о которой она имѣетъ очень своеобраз-

ныя понятія, слишкомъ глубоко ранена. „Не мучьте меня, Кидилла“, говоритъ она, „а то я убѣгу изъ дома. Какъ! мнѣ отпустить этого негоднаго раба? Да вѣдь послѣ этого первая встрѣчная можетъ по праву плюнуть мнѣ въ лицо. Нѣтъ! коль скоро онъ не умѣетъ вести себя по-человѣчески, пускай хоть клеймо на его лбу научить его знать, кто онъ“. „Но вѣдь черезъ пять дней двадцатое число и праздниѣ Гереніѣ“, замѣчаетъ Кидилла. Это въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ на барыню: она отпускаетъ раба, но только на время. „Дай намъ только справиться съ чествованіемъ мертвыхъ, и будетъ тебѣ праздниѣ послѣ праздниѣ“. Такимъ образомъ сцена кончается угрозой, но мы ей болѣе не вѣримъ: черезъ пять дней гнѣвъ Битинны успѣетъ остыть, Гастронъ опять понравится ей тѣмъ, чѣмъ нравился раньше, и предсказаніе Кидиллы относительно Пирріа сбудетъ. Дѣйствіе нашей сценки, такимъ образомъ, закончено.

7.

Перейдемъ къ болѣе отрадной картинѣ. Четвертая сценка вводитъ насъ въ храмъ Асклепія, повидимому въ Косѣ. Нѣкая Фила со своей подругой Киннѣ пришла помолиться богу и принести ему пѣтуха въ жертву за исцѣленіе отъ болѣзни; она творитъ молитву, а затѣмъ, вмѣстѣ съ подругой, разсматриваетъ художественныя произведенія, которыми наполненъ храмъ. Эта тема сразу вызываетъ сравненіе съ идилліей Теоокрита «Праздниѣ Адониса», о которой рѣчь была выше. Результатъ сравненія можетъ быть высказанъ въ немногихъ словахъ: идиллія Теоокрита живѣе и поэтичнѣе, сценка его подражателя однообразнѣе и реалистичнѣе. Начнемъ съ самой молитвы. У Теоокрита она сплошь написана торжественнымъ и поэтичнымъ слогомъ и изобилуетъ прекрасными картинами: „Владыѣца, возлюбившая Гольги, Идалій и высокій Эриксъ, золотомъ играющая Афродита! сколь прекраснымъ привели тебѣ Адониса отъ вѣчно текущаго Ахеронта, на двѣнадцатый мѣсяцъ, нѣжноногія Горы (Нѳгаі); самыя медленныя среди блаженныхъ любезныя Горы, но съ радостью встрѣчаютъ ихъ всѣ смертныя, такъ какъ онѣ всегда что-либо съ собою приносятъ. Киприда, Діонина

дочь! ты, какъ гласить преданіе среди людей, сдѣлала безсмертною изъ смертной Веренику, вливъ амбросіи въ грудь женщинѣ; въ благодарность тебѣ, многоименная и многотимая, Вереникина дочь, Арсиноя, чудной красоты, какъ Елена, всѣмъ, что только есть прекраснаго, украшаетъ Адониса“ и т. д. Въ молитвѣ героини нашего Гериода тоже встрѣчается нѣсколько гомерическихъ словъ, но они производятъ у нея такое же впечатлѣніе, какъ церковнославянскія словеса въ устахъ нашихъ богадѣленокъ. „Слава тебѣ, владыка Пѣанъ, хранящій Трикку, обитающій въ миломъ Косѣ и Эпидаврѣ; слава и твоей родительницѣ Коронидѣ и Аполлону; слава и Гигіеѣ, которой ты касаешься своей десницей; слава и тѣмъ, кому посвящены эти жертвенники, Панацеѣ и Эпіонѣ и Іасо; слава и Подалирію и Махаону, исцѣлителямъ отъ жестокихъ болѣзней, разрушившимъ домъ и стѣны Лаомедонта; слава всѣмъ богамъ и богинямъ, поселившимся у твоего очага, отецъ Пѣанъ! Примите милостиво отъ меня на ужинъ этого пѣтуха, глашатая моей хижины, котораго я приношу вамъ въ жертву. Наша жизнь—жизнь бѣдная и трудная, а то мы принесли бы тебѣ быка или жирную свинью ради болѣзней, которыя ты снялъ съ насъ, коснувшись насъ, владыка, своими цѣлительными руками“. Служитель принялъ отъ нихъ пѣтуха, и богомолки, въ ожиданіи его отвѣта, остаются однѣ на паперти, среди чудныхъ статуй. Киннѣ, повидимому, уже раньше бывала въ Косѣ; она объясняетъ своей подругѣ то, что она видитъ; та приходитъ ото всего въ восторгъ. Нечего и говорить, что на нее болѣе всего дѣйствуютъ изображенія реалистическія. „Смотри, душенька, на эту дѣвочку, съ какой жадностью она глядитъ вверхъ на яблоко; такъ и кажется, что она тутъ же духъ испуститъ, если ей его не дадутъ! Нѣтъ, ты смотри, Киннѣ, ради Миръ, какъ этотъ мальчишка душитъ стараго гуся! Если бы я не знала, что онъ изъ камня, я бы подумала, что онъ вотъ-вотъ у моихъ ногъ загогочетъ! Право, современемъ люди сумѣютъ и въ камни вливать жизнь“. Последнее замѣчаніе Филы намъ особенно интересно, такъ какъ группа, къ которой оно относится—мальчикъ, душащій гуся—намъ сохранена. Ея подруга, Киннѣ, какъ женщина, выдавая виды, не выражаетъ особаго энтузіазма; она знаетъ, что самое лучшее онѣ увидятъ въ самомъ

храмѣ, куда, однако, еще не пускаютъ. Не пускаютъ другихъ, но Киннѣ увѣрена, что ее и Филу, благодаря ея протекціи, впустятъ. „Иди за мной, душенька“, говоритъ она подругѣ, „и я покажу тебѣ такую вещь, какой ты еще отъ роду не видывала. Эй, Кидилла“, зоветъ она прислужницу, „поди-ка кликни служителя“. Но Кидилла сама поглощена окружающей ее невиданной роскошью; она, какъ бы очнувшись, удивленно смотритъ на госпожу. Та вѣѣ себя. „Тебѣ говорятъ“, кричитъ она въ сердцахъ, „чего ты зазѣвлась? А она и вниманія не обратила на мои слова и стоитъ, выпучивъ глаза пуще рака! Говорятъ тебѣ: иди и позови служителя!—Что за тварь! Ни въ праздникъ, ни въ будни нельзя похвалить тебя; вездѣ ты меня бѣсишь. Зато клянусь тебѣ, Кидилла, вотъ этимъ самымъ богомъ—хоть и не хочется мнѣ сердиться, но ты заставляешь меня—клянусь, повторяю: придетъ тотъ день, когда ты почешешь свою глущую башку!“ Подруга старается успокоить расходившуюся Киннѣ. „Не давай во всемъ воли своему сердцу, Киннѣ; она вѣдь раба, а у рабы уши тупостью законопачены“. Между тѣмъ народу стало прибывать; двери храма отворяются, поднимаютъ занавѣсы. У Филы глаза разбѣгаются; въ храмѣ картинная галлерей, и какихъ только картинъ тамъ нѣтъ! „Смотри, Киннѣ, что за чудныя вещи! Ну, кто бы не подумалъ, что это написала какая-нибудь новая Аѳина? Слава ей, владычицѣ! Мнѣ кажется, если уколоть этого самаго мальчика—у него ранка будетъ; а куски говядины у него на скорородѣ—они какъ будто прыгаютъ, точно горячіе! А серебряный ухватъ! Вотъ вытаращили бы глаза Міелль и Патекискъ, Лампріоновъ сынъ (ювелиры, повидимому)! они подумали бы, что онъ и взаправду серебряный. А вотъ этотъ быкъ съ проводникомъ и женщиной, идущей вслѣдъ, и вотъ этотъ носастый, и этотъ курносый—тихая жизнь у нихъ такъ и смотреть изъ глазъ! Право, если бы это мнѣ, какъ женщинѣ, не было неловко, я завизжала бы, какъ бы быкъ меня не забодалъ—смотри, какъ онъ косится другимъ глазомъ!“ Киннѣ гордо улыбается: „Да, милая моя, счастливыя руки у эфесца Апелла на всякія картины; про него нельзя сказать, что онъ одно умѣетъ, а другого нѣтъ; случится ему приняться за бога—онъ и бога съумѣетъ изобразить. Такъ-то, душенька: кто не

смотреть съ восторгомъ на него и на его работы, того слѣдуетъ повѣсить внизъ головой въ мастерской скорняка!“ Здѣсь разговоръ обѣихъ пріятельницъ прерываетъ приходъ служителя, который объявляетъ имъ, что богъ милостиво принялъ ихъ приношеніе; послѣ краткихъ хозяйственныхъ распоряженій со стороны Филы подруги удаляются.

Такова наша сценка; въ ней молитвы чередуются съ созерцаніемъ предметовъ искусства, послѣднее опять прерывается бранью по адресу рабы; все вмѣстѣ составляетъ живую картину дѣйствительности. Только одно мѣсто нашей поэмы производитъ впечатлѣніе чего-то дѣланнаго; это — панегирикъ Апеллу; оно и навело меня на мысль, что поэтъ былъ самъ эфесцемъ и хотѣлъ почтить память своего великаго земляка. Но—чтобы вернуться къ составнымъ частямъ нашей сценки—молитвы встрѣчаются у Герода только здѣсь; онѣ интересны съ сакральной точки зрѣнія и найдутъ себѣ мѣсто рядомъ съ другими молитвами, въ особенности съ однородными пѣснями-пѣанами въ честь Асклепія, которыя обнаружили раскопки послѣднихъ лѣтъ. Художественные восторги тоже встрѣчаются только здѣсь; мѣсто имъ отвынѣ въ сборникѣ археологическихъ свидѣтельствъ изъ древности—Schriftquellen Овербека. Ни въ какой сборникъ не войдетъ интересная развѣ только съ культурно-исторической точки зрѣнія перебранка съ рабыней; между тѣмъ она является излюбленной темой Герода. Не беремся рѣшать вопроса, была ли въ Греціи тупость рабынь больше или сварливость хозяекъ; какъ бы то ни было, но въ древнѣйшемъ греческомъ памятникѣ, въ которомъ выступаетъ современная хозяйка со своей рабыней—въ «Лисистратѣ» Аристофана (ст. 184) обращеніе первой къ послѣдней имѣетъ слѣдующую гуманную форму: „Гдѣ Скиоена? Ты чего зазѣвалась? Дай-ка намъ читать“, и т. д. У Герода это—неизбѣжный тонъ; даже добродѣтельная Метриха прогоняетъ прислугу фразой, которую можно передать такъ: „ну, поворачивайся, раба!“ Во второй и третьей сценкахъ рабынь нѣтъ, четвертая—наша; о героинѣ пятой сценки, самодуркѣ Битинѣ, рѣчь была выше; шестая—имѣющая содержаніемъ «интимный разговоръ» двухъ подругъ, въ сущность котораго мы вникать не будемъ—начинается со слѣдующей картины. Къ мѣщанкѣ Кориттѣ прихо-

дить ея подруга Метро; она вѣжливо приглашаетъ ее присѣсть, но оказывается, что и присѣсть некуда; прислуга не догадалась принести кресло посѣтительницѣ. Вспыльчивая Коритто выходитъ изъ себя: „Обо всемъ должна я сама распорядиться; ты же, дура, ничего не сумѣешь сдѣлать отъ себя. Что это, право! глыбой какой-то, а не рабой, торчишь ты въ домѣ; зато, когда тебѣ отсыпаютъ крупу, ты всѣ крупинки считаешь, и если хоть чуточку просыпать, ты цѣлый день ворчишь и кипятишься, даже стѣнамъ тошно становится“. Тѣмъ временемъ раба пошла за кресломъ, но видя, что оно все въ пыли, считаетъ своимъ долгомъ предварительно почистить его. Это еще болѣе бѣситъ хозяйку. „Это ты теперь вздумала его гладить и чистить, когда въ немъ потребность? Злодѣйка, кланяйся этой моей подругѣ; не будь ея, дала бы я тебѣ отвѣдать моей ладони“. Подруга тоже не изъ благодушныхъ; она не успокаиваетъ хозяйку, какъ это дѣлаетъ богомолка Фила, а только соболѣзнуетъ ей. „Ахъ, милая Коритто, ты несешь такое же ярмо, какъ и я; и мнѣ, точно собакѣ, приходится лаять и скалить зубы на этихъ проклятыхъ; однако, о чемъ я пришла поговорить съ тобою...“ Недогадливая раба опять не замѣчаетъ, что подруги желаютъ быть наединѣ. „Убирайтесь вы отсюда“, кричитъ Коритто, сопровождая свое приказаніе непонятнымъ для насъ ругательствомъ, „только уши да языкъ у васъ есть, всего другого какъ бы не бывало“. Раба, разумѣется, уходитъ и возвращается только къ концу сценки провожать уходящую гостью; конецъ, къ сожалѣнію, сильно пострадалъ въ рукописи, все же изъ отрывковъ видно, что ей и тутъ достается отъ ея неугомонной госпожи.

Отъ восьмой сценки были обнародованы сначала только первые три стиха; далѣе рукопись обрывается. Въ послѣдующихъ изданіяхъ, благодаря удачному сложенію и дополненію лоскутковъ, число стиховъ стало расти и къ 1907 г. уже достигло восьмидесяти. Особенно хорошо восстановлено начало — новая варіація на излюбленную тему Герода. Просыпается хозяйка (?) и начинается содомъ. „Вставай, раба Псилла; будетъ тебѣ храпѣть! Наша свинья, чего добраго, издохнетъ отъ жажды. Ужъ не ждешь ли ты, пока солнце тебя не прожарить? И какъ это у тебя, безчувственной, бока не болятъ отъ этого

спанья! А ночи нынче девятичасовыя! Вставай, говорятъ, зажги свѣтильникъ, если хочешь, и пусти свинью пасться. Ты еще ворчишь? Видно, у тебя затылокъ чешется и будетъ чесаться до тѣхъ поръ, покуда я не приглажу его палкой. Мегаллида, глупая, и ты спишь сномъ Эндиміона? Твоя работа, видно, не очень тревожитъ тебя; а у насъ нѣтъ даже повязки на праздникъ, и на весь домъ не найдется даже одной маленькой шкурки шерсти. Вставай, дура“. И такъ далѣе.

8.

Какъ видно, служанкамъ не очень хорошо жилось въ изображаемомъ Геродомъ обществѣ; о положеніи рабовъ—кромѣ совершенно особаго типа, Гастрона въ пятой сценкѣ—мы узнаемъ гораздо меньше. Виною тому то обстоятельство, что почти всѣ сценки Герода имѣютъ содержаніемъ женскую жизнь. Мужчины выступаютъ на первый планъ—если не считать сомнительной восьмой, о которой рѣчь впереди—только въ двухъ, *второй* которую я пропускаю съ умысломъ, и *седьмой*.

Эта послѣдняя озаглавлена «Сапожникъ»; дѣйствіе происходитъ въ мастерской самого героя, сапожника Кердона; къ нему является покупательницей нѣкая Метрò, повидимому, мѣщанка, и съ ней двѣ подруги; третья почему-то не рѣшается войти и останавливается у дверей. „Вотъ, Кердонъ“, говоритъ Метрò, „я привела къ тебѣ своихъ подругъ; авось у тебя найдется показать имъ хорошую работу, достойную твоихъ рукъ“. „Не даромъ, Метрò, я такъ люблю тебя“; любезно отвѣчаетъ сапожникъ, и тотчасъ зоветъ раба: „Дримиль, вынеси женщинамъ большую скамейку. У, тебя зовутъ! Опять заснулъ? Эй, Пистъ, дай ему хорошенько въ морду, чтобы онъ стряхнулъ эту свою спячку. А то лучше шиломъ“... Порча текста не даетъ перевести дословно продолженія этой рѣчи; все же видно, что Дримиль скамейку наконецъ приносить. Затѣмъ второй рабъ, Пистъ, по приказанію хозяина, отпираетъ шкафы одинъ за другимъ. Сначала разсматриваются сандаліи; Кердонъ восклавляетъ свой товаръ: „Любуйся, Метрò: вотъ подошва, самая первѣйшая изъ всѣхъ подошвъ. Посмотрите и вы, женщины;

каблукъ какъ придѣланъ, точно мѣдными гвоздями прибитъ. Никакого изъяна тутъ нѣтъ; никто не скажетъ, что въ этой сандалии одно хорошо, а другое нехорошо, нѣтъ, вся она чудо какъ хороша. А цвѣтъ какой!“ и т. д. Нѣсколько далѣе онъ приснашиваетъ свою рѣчь обычными у торговцевъ его гильдіи завѣреніями: „Да откажутъ мнѣ боги во всѣхъ радостяхъ жизни, если я лгу. Я вѣдь не то, что другіе; тѣ только и норовятъ, чтобы содрать съ покупателей крупный барышъ, а по части искусства куда имъ до меня!“ Затѣмъ онъ распространяется о своей горемычной жизни, но видя, что покупательницъ эти подробности не интересуютъ, переходитъ къ дѣлу. „А впрочемъ“, говоритъ онъ, „не въ словахъ нуждается коммерція, а въ деньгахъ: если эта пара тебѣ не нравится, МетрѸ, то мальчикъ принесетъ другую, затѣмъ еще одну, пока вы не убѣдитесь сами, что Кердонъ сказалъ вамъ сущую правду“. Дѣйствительно, приносятъ столько разнаго товара, что отъ однихъ названій голова кругомъ идетъ; МетрѸ, однако, возвращается къ той парѣ, которая была показана первой. Наступаетъ психологическій моментъ. „Сколько возьмешь за ту первую пару?“ спрашиваетъ МетрѸ, „только смотри, не слишкомъ громко греми, а то мы убѣжимъ“. Кердонъ отвѣчаетъ уклончиво: „Нѣтъ, ты сначала вникни во всѣ достоинства этой работы, а затѣмъ уже сама назначь цѣну; коли будешь знать товаръ, никакого подвоха тебѣ отъ меня не будетъ. А затѣмъ я уже знаю, коли тебѣ нужна настоящая сапожничья работа, ты и цѣну назовешь такую—клянусь тебѣ моей сѣдой головой, изъ которой уже и волосы вылѣзаютъ,—чтобы искусному мастеру было чѣмъ закусить“. Храбрится Кердонъ, а самъ про себя молитву творить: „Ой, не оставьте меня, Гермесъ и Убѣда, благодѣтели мои! Если и теперь неводъ вернется пустымъ, я право не знаю, чѣмъ намъ посолить похлебку“. „Ты что бормочешь?“ спрашиваетъ МетрѸ; „говори ясно, какая цѣна этой парѣ“. „Ужъ право“, отвѣчаетъ Кердонъ, „какой бы сторонной ни показать ее, меньше, чѣмъ за мину ее уступить нельзя; даже если бы сама Аѳина ее покупала, она не выторговала бы ни одной полушки“. МетрѸ только смѣется. „Не даромъ въ твоей лавчонкѣ“, говоритъ она, „такъ много всякаго добра. Береги тщательно свой товаръ; къ двадцатому числу Тавреона

мѣсяца Геката справляетъ свадьбу Артакены, тутъ-то ей башмаки и понадобятся; тогда-то, можетъ быть, онѣ и принесутъ тебѣ то, что ты запросилъ, навѣрное принесутъ: только спей себѣ мѣшокъ, а то твои мины ласки растащутъ“. — „Ужъ какъ хочешь“, говоритъ Кердонъ, „а только сама Геката не получить этой пары за меньше, чѣмъ за мину, и Артакена не получить“. Такъ дѣло и разстраивается; къ счастью, подружки Метрд оказываются болѣе сговорчивыми, въ особенности одна молодая женщина, которую Кердонъ осыпаетъ своими любезностями, такъ что въ концѣ концовъ обѣ стороны остаются довольны другъ другомъ.

Вернемся, однако, къ *восьмой* сценкѣ, къ «Сновидѣнію» изъ котораго мы заимствовали выше перебранку хозяйки (?) съ рабынями. Новыя находки послѣднихъ лѣтъ (1907) увеличили, какъ было сказано, число стиховъ этой сценки до восьмидесяти — и эти-то новые стихи значительно измѣнили нашъ взглядъ на нее и заставили между прочимъ прибавить вопросительный знакъ къ слову „хозяйки“. Къ сожалѣнію, греческія глагольныя формы нигдѣ не обнаруживаютъ пола рассказчика; русская передача, поэтому, въ этомъ пунктѣ будетъ по-неволѣ гадательна.

„...А ты, Анна (мужчина или женщина, неизвѣстно), послушай, если хочешь — въ умѣ у тебя, вѣдь, недостатка нѣтъ — какой я видѣлъ сонъ. Показалось мнѣ, что я тащу въ гору козла, большущаго и бородатаго. Недалеко отъ вершины я въ изнеможеніи сѣлъ...“ Затѣмъ описаніе вслѣдствіе плохой сохранности текста становится отрывочнымъ; передъ нами, точно въ настоящемъ сновидѣніи, мелькаютъ туманные призраки: какіе-то юноши-козопасы что-то страшное дѣлаютъ надъ козломъ, затѣмъ происходятъ какія-то игры, точно на Діонисіяхъ, затѣмъ появляется какой-то сердитый старикъ и прогоняетъ рассказчика, угрожая его прибить въ случаѣ упорства. „Спасите, люди!“ — кричитъ рассказчикъ, — „я умру, если старикъ меня ударитъ. Но да будетъ мнѣ свидѣтелемъ этотъ юноша...“ Тутъ сновидѣнію конецъ. — Его толкованіе прибавляетъ самъ поэтъ; обѣ Аннѣ съ его или ея умомъ нѣтъ болѣе и рѣчи. Козелъ — это задача поэта; пастухи — это тѣ, которые растерзаютъ его трудъ (критики? плагиаторы?). — Но

кто такое старикъ? И кто такое заступникъ-юноша?... Тутъ издатели вспомнили о другомъ отрывкѣ, который былъ извѣстенъ еще раньше, но казался заимствованнымъ изъ пролога или эпилога всего сборника, такъ какъ поэтъ говорилъ въ немъ о себѣ и о томъ, что онъ свою технику «хромого ямба» заимствовалъ у древняго іонійскаго поэта Гиппонакта. Итакъ, старикомъ будетъ Гиппонактъ; это правдоподобно; ну, а юноша? Здѣсь слѣды окончательно теряются.

Такъ-то, къ удивленію всѣхъ филологовъ, сонъ получилъ аллегорическое значеніе; маска хозяйки, бранившей своихъ рабынь, была приподнята, и изъ-подъ нея насмѣшливо выглянуло лицо самого поэта. Довольны мы этой метаморфозой? Боюсь, что нѣтъ. Мы аллегорій вообще не любимъ, предпочитая имъ сценки живой, безнасмѣренной жизни, а эта аллегорія, къ тому же, такъ мудрена, что намъ ея и не разрѣшить. Но, быть можетъ, виною этому отрывочность текста; вооружимся же терпѣніемъ въ ожиданіи новыхъ находокъ.

Была ли наша сценка по крайней мѣрѣ эпилогомъ?— Нѣтъ. За «Сновидѣніемъ» появилась новая, числомъ девятая, сценка, «Розговини», переносищая насъ опять въ женскую обстановку. Какъ видно по сохранившимся неполнымъ 13 стихамъ, дѣло происходитъ на женскомъ праздникѣ *Θεσμοφορίῳ*, столь хорошо извѣстномъ намъ благодаря гениальной комедіи Аристофана. Но днемъ «*Θεσμοφορίазуs*» была Нестія, праздникъ Деметрина поста; здѣсь постъ считается конченнымъ, женщины разговляются, другими словами—наступаетъ послѣдній день *Θεσμοφορίῳ*, веселый праздникъ Каллигеніи. Чтò это послѣднее имя означаетъ,—это мы узнали только нынѣ: женщины устраиваютъ *ἐπιπαιγίης ἀγῶνα*, состязаніе, у кого самыя прекрасныя дѣти... Какъ видно, есть за что благодарить и эту новѣйшую находку.

9.

Таково сочиненіе, которому лишь теперь, послѣ двухъ слишкомъ тысячелѣтій, было суждено занять вновь подобающее ему мѣсто во всемірной литературѣ. Само собою разумѣется, что его научный интересъ далеко не исчерпывается вышеска-

заннымъ. Для филолога драгоцѣнна между прочимъ и его форма; Геродъ пользуется, повторяемъ, т. н. «хромымъ ямбомъ», — вполне сознательно, какъ это обнаружила послѣдняя находка, подражая древнему Гиппонакту, отъ котораго намъ сохранились лишь жалкіе отрывки; а такъ какъ слѣдующій поэтъ, писавшій этимъ стихомъ — баснописецъ Бабрій — жилъ около пятисотъ лѣтъ позже Герода, то легко понять, какой интересъ должны представлять, съ чисто филологической точки зрѣнія, стихи Герода. Загадочное «вступленіе» римскаго сатирика Персія, написанное тѣмъ же ямбомъ, дѣлается для насъ понятнѣе благодаря Героду: при естественномъ родствѣ этимологическаго направленія съ сатирическимъ представляется очень вѣроятнымъ, что Персій просто ему подражалъ. Лингвистика тоже не осталась въ проигрышѣ: сценки Герода написаны тѣмъ же іоническимъ діалектомъ, какъ и исторія Геродота, но вслѣдствіе своего драматическаго характера и предпочтенія, которое въ нихъ оказывается низменной, вульгарной рѣчи, доставляютъ намъ очень много новаго по части языка. Къ тому же рѣчь Герода испещрена всякими пословицами и поговорками; любители древняго folk-lore'a и спеціально пословицъ найдутъ здѣсь обильную жатву. О реаліяхъ я и не говорю; громадная важность нашей находки для этой области классической филологіи достаточно явствуетъ изъ ея содержанія.

Обо всемъ этомъ я упоминаю лишь вскользь: въ видахъ единства я рѣшилъ ограничиться одной только историко-литературной стороною интересующаго насъ сочиненія. Обыкновенно тотъ, кто разсматриваетъ съ особенной обстоятельностью одно какое-нибудь литературное явленіе, дѣлается склоннымъ преувеличивать его значеніе. Постараемся избѣжать этой ошибки: бросимъ издали прощальный взглядъ на Герода, представляя себѣ его въ обществѣ прочихъ греческихъ поэтовъ, которые никогда не переставали быть учителями человѣчества; тогда правильная перспектива возстановится сама собой. Впрочемъ, и тутъ выясненные выше факты помогутъ намъ вѣрно оцѣнить интересное литературное явленіе, о которомъ идетъ рѣчь, въ ряду другихъ явленій.

Мы видимъ, что реализмъ въ греческой поэзіи явился тогда, когда окружающая человѣка среда обыденности была

объявлена интересной; мы видѣли также, что это послѣднее событіе, если его можно такъ назвать, было дѣломъ науки. Отсюда слѣдуетъ, что Геродъ и родственные ему поэты, если таковые были, принадлежать болѣе греческой наукѣ, чѣмъ греческой поэзіи; терминъ «ученой поэзіи», примѣняемый обыкновенно къ поэзіи александрійскаго періода, является въ данномъ случаѣ совершенно умѣстнымъ, хотя и въ нѣсколько особомъ смыслѣ. Каково же наше отношеніе къ греческой наукѣ?

Ее, прежде всего, мало кто знаетъ, по весьма естественнымъ причинамъ, но мнѣнія большинство людей о ней довольно невысокаго; греки предполагали движеніе солнца вокругъ земли, не знали о существованіи Америки, считали воду элементомъ, не имѣли понятія объ электричествѣ, и т. д. Затѣмъ, если кто беретъ на себя трудъ ознакомиться съ греческой наукой, то въ результатъ получается обыкновенно очень пріятное разочарованіе; оказывается, что греки знали очень много такихъ научныхъ истинъ, которыя мы склонны принимать за открытія новѣйшаго времени, что они умѣли строить довольно сложныя машины, и т. д. Чѣмъ болѣе изслѣдователь углубляется въ свой предметъ, тѣмъ болѣе исполняется онъ уваженія къ нему. На этомъ-то и слѣдуетъ остановиться трезвому человѣку; фантасты, правда, идутъ нерѣдко далѣе и доказываютъ, смотря по своей специальности, что древніе предвосхитили у новѣйшихъ ученыхъ бактериологію и антисептическое лѣченіе, что они знали электричество и радіактивность, хотя и въ формѣ тайнаго ученія, что имъ были извѣстны взрывчатые вещества, не уступающія по своей силѣ пороху, и т. д. Конечно, относительно Герода такія крайности невозможны уже потому, что онъ слишкомъ доступенъ. Мы можемъ требовать для него только нѣкоторой доли того уваженія, которое люди свѣдущіе воздаютъ греческой наукѣ, какъ необыкновенно раннему и сравнительно очень мощному проявленію наблюдательной силы человѣческаго ума. На этомъ мы останавливаемся; нѣтъ причины опасаться, чтобы кто-нибудь не вздумалъ ставить поэта Метротимы и Кердона въ одинъ рядъ съ знаменитыми писателями-реалистами новѣйшихъ временъ.

Не таково наше отношеніе къ великимъ поэтамъ Эллады, начиная Гомеромъ и кончая Еврипидомъ; ихъ никто не ста-

нѣтъ читать съ той снисходительной и поощрительной улыбкой, съ которой выдавшій виды человѣкъ привѣтствуетъ первый успѣхъ сильнаго, но еще незрѣлаго таланта. Всякій, кто имѣлъ счастье прочесть и понять ихъ произведенія въ подлинникѣ—переводъ показываетъ лишь изнанку узора—знаетъ, что онъ имѣлъ передъ собой не первую, слабую попытку молодого еще человѣчества, возобновленную съ тѣхъ поръ съ гораздо болѣе серьезнымъ успѣхомъ, а нѣчто единственное въ своемъ родѣ, чего не превзошли и не могутъ превзойти всѣ послѣдовавшіе поэты всѣхъ временъ. Таковы преимущества идеалистической поэзіи; ея представители не чужіе лучи отражаютъ, а свѣтятъ своимъ свѣтомъ и согрѣваютъ насъ теплотой своего сердца; они сообщаютъ намъ не то, что подслушали, а то, что почувствовали и до чего додумались.

А со всѣмъ тѣмъ ничто не мѣшаетъ намъ отнестись съ интересомъ къ новонайденному предшественнику новѣйшихъ изъ новыхъ писателей; слѣдуетъ только помнить, что не онъ и не кто-либо изъ его сподвижниковъ стараго и новаго времени, а пѣвецъ «Прометея» былъ Прометеемъ нашей культуры.

III.

Царица-прислужница.

(Новонайденная «Ипсипила» Еврипида).

(1909).

I.

Египетская сказка пока еще продолжается. Чистые пески бездождной страны выдали намъ еще одно твореніе античной музыки, вѣренное ихъ охранѣ безъ малаго двадцать вѣковъ назадъ—крупные отрывки трагедіи Еврипида. Подобно пѣанамъ Пиндара и нѣкоторымъ другимъ находкамъ, и эта послѣдняя

принадлежить къ ряду важныхъ литературныхъ текстовъ, найденныхъ въ 1906-мъ году неутомимыми англійскими изслѣдователями, Гренфеллемъ и Гентомъ, въ свалочномъ мѣстѣ древняго Оксирина. — Въ свалочномъ мѣстѣ... Уже это одно наводитъ на мысль, что самая рукопись для своего древняго владѣльца особой цѣнности не представляла. Дѣйствительно, текстъ трагедіи написанъ не очень заботливой рукой на оборотной сторонѣ папируса, лицевая сторона котораго содержала какой-то счетъ. Это значить, что папирусъ былъ купленъ именно для этого счета, какъ видно изъ формы письменъ, еще въ I вѣкѣ по Р. Х. Неизмѣнная судьба такихъ счетовъ та, что они имѣютъ извѣстную важность въ ближайшее по своему возникновенію время, а по истеченіи этого времени ихъ интересъ сводится къ нулю. Такъ и нашъ папирусъ, съ записаннымъ на лицевой сторонѣ счетомъ, по минованіи надобности былъ проданъ или отданъ, какъ малоцѣнный писчий матеріалъ, невзыскательному человѣку, которому могла пригодиться его неиспользованная оборотная сторона. Это былъ скорѣе всего какой-нибудь школьный учитель, человѣкъ небогатый, не имѣвшій возможности пользоваться для своихъ записей совершенно чистыми папирусами. Для нуждъ преподаванія онъ и записалъ на оборотной сторонѣ своего счета ту трагедію Еврипида, которую онъ проходилъ со своими учениками, отмѣчая на поляхъ, кромѣ чередованія дѣйствующихъ лицъ, также и число стиховъ по сотнямъ. Затѣмъ онъ пересталъ нуждаться въ своемъ свиткѣ или умеръ; свитокъ съ другимъ хламомъ былъ брошенъ въ свалочное мѣсто, гдѣ и пролежалъ вплоть до нашихъ дней. Онъ не истлѣлъ, но искрошился, и его счастливымъ находчикамъ стоило немалого труда составить тѣ триста болѣе или менѣе цѣльныхъ стиховъ, которые мы теперь читаемъ въ только-что (1908 г.) появившемся VI-мъ томѣ ихъ капитальнаго изданія.

Да, египетская сказка еще продолжается, мертвые еще воскресаютъ. Только надолго ли ея хватить? Говорятъ, тѣ оригинальные пріиски, которымъ мы обязаны находками послѣднихъ лѣтъ, въ скоромъ времени будутъ истощены. Это бы еще не обезкуражило филологовъ, оптимизмъ которыхъ, приподнятый чудесными воскресеніями ближайшаго прошлаго, не такъ

скоро откажется от своих надежд: ну, что же, эти прииски изсякнутъ, зато будутъ обнаружены новые. Нѣтъ, говорятъ о болѣе грозной опасности; предполагается съ помощью плотинъ поднять уровень Нила. Тогда вода зальетъ невѣдомые тайники, гдѣ еще покоится, быть можетъ, столько необнаруженныхъ памятниковъ старины; въ нѣсколько дней размякнетъ и разрушится то, что столько вѣковъ оставалось нетлѣннымъ. Вотъ это дѣйствительно мысль, при которой болѣзненно сжимается сердце филолога—и не одного только филолога. Подумать, что тамъ, подъ легкой оболочкой земли, покоятся Саффо, Эпихармъ, Каллимахъ, Менаандръ, что одинъ счастливый ударъ заступа можетъ раскрыть имъ уста, что ихъ воскресеніе близко, такъ близко—и что вдругъ ихъ затопитъ безжалостная стихія, что они будутъ уничтожены навсегда... Конечно, поднятіе производительныхъ силъ страны—великое дѣло; но неужели его нельзя отложить, пока она не выдастъ намъ покоящихся въ ней памятниковъ? Столько одинаково важныхъ меліоративныхъ задачъ ждутъ своего разрѣшенія въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ разрѣшеніе не грозитъ никакой опасностью сокровищницѣ нашей умственной культуры; неужели нельзя съ нихъ начать, оставляя пока неприкосновеннымъ Египетъ и давая возможность этой чудесной странѣ могилъ исполнить до конца свою роль, какъ чудесной страны воскресеній?

II.

Я назвалъ новонайденную трагедію Еврипида „Царица-прислужница“, чтобы дать читателю представленіе о ея содержаніи. Въ древности, благодаря знакомству всего народа со сказаніями родной мифологіи, для этого достаточно было озглавить драму именемъ ея героя или героини. Такъ и поступилъ Еврипидъ въ данномъ случаѣ. Его трагедія называлась „Ипсипила“ (Hypsipyle). Это—женское имя, очень благозвучное для греческаго уха: его значеніе—„высоковратная“. Какъ будто не совсѣмъ подходящее для женщины; но объ этомъ рѣчь впереди. Кто такая эта Ипсипила?

Былевая поэзія древней Греціи дважды имѣла поводъ заниматься ею въ связи съ двумя центральными событіями ска-

зочной старины: походомъ Аргонавтовъ въ Колхиду и походомъ Семи вождей противъ Фивъ. Тамъ мы имѣемъ дѣло съ Ипсипилой-царицей, здѣсь — съ Ипсипилой-прислужницей. Трагедія Еврипида имѣетъ героиней прислужницу; но такъ какъ прежняя участь царицы и у него является яркимъ фономъ воспоминаній для жалкой доли прислужницы, то и мы должны сначала заняться ею. Итакъ, передъ нами Ипсипила-царица; гдѣ же ея царство?

Ея царство — суровый островъ Лемнось, въ сѣверной части греческаго архипелага, недалеко отъ оракійскихъ береговъ. Здѣсь еще въ историческую эпоху горѣли какіе-то таинственные подземные огни, свидѣтельствовавшіе о дѣятельности вулканическихъ силъ — знаменитые на всю Грецію „лемноскіе огни“. Гефестъ былъ, поэтому, однимъ изъ главныхъ боговъ страны; въ честь его былъ названъ одинъ изъ ея двухъ городовъ, Гефестія. Ея старинныхъ жителей Гомеръ называетъ „синтіями“, т. - е. разбойниками; дѣйствительно, положеніе острова на пути въ Мраморное и Черное моря дѣлало морской разбой очень соблазнительнымъ для его населенія. То же положеніе недалеко отъ оракійскихъ береговъ позволяетъ думать, что и эти синтіи принадлежали къ обширному оракійскому племени; и дѣйствительно, мы встрѣчаемъ у нихъ въ качествѣ второго главнаго, уже не мѣстнаго, а племенного бога — главнаго бога оракійцевъ, Діониса. Отъ него вела свое происхожденіе царствовавшая въ доисторическую эпоху династія; царя Феоанта считали сыномъ Діониса и Ариадны, а дочерью Феоанта была Ипсипила.

Тамъ же, однако, на томъ же суровомъ и загадочномъ островѣ завоеватели-греки (о нихъ вскорѣ) встрѣтились еще съ однимъ, сильно заинтересовавшимъ ихъ явленіемъ — съ женскимъ царствомъ амазонокъ. Ихъ существованіе было общеизвѣстно: второй городъ лемносцевъ, Мирина, былъ названъ такъ въ честь славной царицы амазонокъ и хранилъ память о ней въ теченіе всей исторической эпохи древней Греціи; Мириной же была названа жена царя Феоанта, мать нашей Ипсипилы. Все это заставляетъ отнести древнѣйшія лемноскія сказанія къ обширному и увлекательному циклу мифовъ объ амазонкахъ.

Ютились эти миѣны повсюду вдоль черноморскаго побережья—и во Фракіи, и въ Малой Азіи, и у подножія Кавказа. Греки охотно представляли себѣ своихъ любимыхъ героевъ въ бою съ отважными полянниками сѣвера, причемъ то эти герои—какъ это сдѣлалъ Гераклъ—отправлялись на подвиги въ ихъ сказочную страну, то сами амазонки—какъ повѣствуетъ сага о Тесеѣ—совершали смѣлые набѣги на греческую землю, то, наконецъ, ихъ великодушная и необузданная рать являлась внезапно къ какому-нибудь царю Пріаму, тѣснимому врагами послѣ смерти героя-сына Гектора, и ихъ царица Пенеесилея гибла въ поединкѣ съ Ахилломъ, влюбляя его въ себя въ минуту смерти. Все это были прекрасныя, поэтическія сказанія; счастьемъ тѣхъ амазонокъ было то, что ихъ предполагаемая родина находилась далеко, внѣ кругозора греческихъ интересовъ, и поэзія могла гулять по ней вволю, не встрѣчая препятствій со стороны политики.

Лемность—не то. Онъ на порогѣ историческаго времени былъ завоеванъ греками; это завоеваніе должно было быть нравственно оправдано. Вѣщее слово Данте—

La colpa seguirà la parte offesa—

подтвердилось и здѣсь: „вина послѣдовала за обиженной стороной“, пострадавшіе были признаны преступниками. Пострадали синтіи, жители Гефестіи—на то они были синтіи, т.-е. разбойники. Пострадали амазонки Мирины—онѣ совершили еще гораздо болѣе страшное преступленіе, знаменитый на всю Грецію „лемносскій грѣхъ“. Этотъ лемносскій грѣхъ долженъ былъ объяснить также и происхожденіе женскаго царства на Лемносі; рассказъ о немъ гласилъ такъ.

Было это тогда, когда Феоантъ, сынъ Діониса, былъ царемъ Мирины; лемніане вели тогда постоянныя войны съ жителями фракійскаго материка. Во время одной изъ этихъ войнъ лемніанокъ постигъ гнѣвъ Афродиты—объясняемый, какъ обыкновенно, упущеніемъ установленныхъ для богини почестей,—вслѣдствіе котораго мужья ихъ возненавидѣли и стали жить со своими фракійскими плѣнниками. Лемніанки нѣкоторое время терпѣли, но затѣмъ, не будучи въ силахъ выносить оскорбленіе, сговорились въ одну ночь перебить и своихъ разлучницъ,

и невѣрныхъ мужей, и заодно—изъ опасенія мести—все мужское населеніе. Это и былъ „лемносскій грѣхъ, первенствующій среди грѣховъ“, какъ его называетъ Эсхиль.

Юная Ипсипила ему причастна не была: не имѣя мужа и вѣрно любя своего отца, Ѳоанта, она пожелала его спасти. Пользуясь мракомъ ночи, она уложила его въ ларець и, полагаясь на милость его божественнаго родителя, Діониса, довѣрила морскимъ волнамъ, которыми его и прибило къ острову Сикину. Какъ видно отсюда, греческій миѳъ, клеймя лемносскихъ амазонокъ, въ то же время выгораживалъ Ипсипилу; эта симпатія должна была имѣть свои причины, въ которыхъ мы и постараемся разобраться впослѣдствіи. Какъ бы то ни было, лемносскія женщины, оставшись однѣ, должны были собственными силами устроить свое государство. Царицей надъ собой онѣ естественно поставили Ипсипилу, полевая работы подѣлили между собой, а враговъ стали ждать, полагаясь на кованныя доспѣхи своихъ мужей. Враги, однако, объявились не сразу; зима прошла благополучно, наступило лѣто...

Лѣто же принесло имъ аргонавтовъ.

III.

Аргонавты своимъ сплетеніемъ съ лемносскими амазонками были обязаны двумъ соображеніямъ: одно было политическаго, другое—религіозно-миѳологическаго характера. Политика миѳовъ не создаетъ: она лишь группируетъ миѳологическіе элементы, измѣняя имена и отношенія, переименовывая тѣ или другія частности, перенося и подтасовывая факты. То же случилось и здѣсь.

Къ особенностямъ политической миѳологіи принадлежитъ такъ называемая „миѳологическая проекція“, т.-е. перенесеніе политическихъ отношеній или ихъ правовой подкладки въ отдаленную эпоху сказочной старины; ее-то и имѣемъ мы здѣсь. На зарѣ греческой исторіи дикій варварскій островъ Лемносъ былъ завоеванъ греческимъ племенемъ миніевъ (Μινυαε)—племенемъ, погибшимъ въ этнографическомъ водоворотѣ въ концѣ ахейской эпохи греческой исторіи, но славнымъ въ ея дале-

комъ прошломъ. А между тѣмъ это племя и было носителемъ мифа объ аргонавтахъ. И вотъ, чтобы узаконить захватъ острова, они рѣшили, что еще аргонавты и ихъ вождь Ясонъ на пути въ далекую Колхиду заѣхали на Лемнось и получили его въ законное владѣніе отъ тамошнихъ амазонокъ, съ которыми они сочетались бракомъ... Конечно, можно было спросить: хватило ли кучки смѣлыхъ пловцовъ, наполнившихъ чудесную „Аргѳ“, на всѣхъ молодыхъ вдовъ и невѣстъ Мирины? Но не будемъ слишкомъ требовательны; для понятій той ранней, аристократической Греціи было вполне достаточно, если удалось хоть сотню знатнѣйшихъ женщинъ связать съ аргонавтами и черезъ нихъ съ минійскими завоевателями — и прежде всего, разумеется, царицу женскаго царства Ипсипилу, которой пришлось выйти за вождя своихъ гостей, за Ясона.

Таково было политическое соображеніе; но, какъ я замѣтилъ выше, политика не создаетъ, а только соединяетъ. Она могла перенести на Лемнось бракъ Ясона и Ипсипилы; его самого она не создала, а воспользовалась готовымъ уже элементомъ саги. Къ его разбору мы и переходимъ теперь — и этотъ разборъ выяснитъ намъ, между прочимъ, и загадочное имя „высоковратной“ царицы, необъяснимое на почвѣ чисто лемноскихъ преданій. Заведетъ же онъ насъ въ самую сердцевину греческой мифологіи — въ мифъ о спасителѣ царства боговъ.

Его мы однако во всемъ его объемѣ развивать не можемъ; для нашихъ цѣлей будетъ вполне достаточно сообщить и пояснить его краткую формулу. Эта формула, добытая методами исторической мифологіи на греческой почвѣ и проверенная методами сравнительной мифологіи на индоевропейской, гласитъ такъ. Царству боговъ грозитъ гибель отъ сыновъ Земли — гигантовъ. Чтобы отвратить эту гибель, Зевсъ создаетъ, въ соотвѣтствіи съ рѣшеніемъ рока, челоуѣка божественнаго сѣмени. Угадывая его намѣренія, его дочь, жертвуя своей божественностью, спускается на землю, чтобы стать подругой его сына и руководить имъ на его земномъ пути. Но и сыны Земли принимаютъ свои мѣры: желая погубить намѣченнаго рокомъ спасителя, они приводятъ къ нему прекрасную дѣву земного или подземнаго происхожденія, въ объятіяхъ которой онъ за-

бываетъ о своей небесной покровительницѣ и, измѣнивъ ей, падаетъ жертвой ея ревности.—Какъ видитъ читатель, это—тотъ же миѳъ, который является центральнымъ и въ германской миѳологіи — миѳъ о Сигурдѣ-Зигфридѣ. Въ Греціи, въ силу ея племенного дробленія, и спаситель расщепился на нѣсколько миѳологическихъ образовъ: его называютъ то Геракломъ, то Ахилломъ, то Мелеагромъ, то Ясономъ. Вслѣдствіе странствованій и скитаній племень, а также и вслѣдствіе перемѣнъ, происшедшихъ съ исконной религіей Зевса, и миѳы объ этихъ спасителяхъ видоизмѣнились: первая дѣва (германская Брунгильда) утратила свой характеръ небесной валькиріи, вторая (германская Гутруна или Кримгильда)—свое родство съ подземнымъ царствомъ. Остались, однако, слѣды и примѣты того и другого; остался, затѣмъ, коренной мотивъ — сплетеніе героя съ двумя женщинами и его гибель, какъ послѣдствіе этой измѣны. Такъ Гераклъ, супругъ Деяниры, увлекается Юлой; такъ Ахилла, намѣченный спасителя Елены, соблазняетъ Поликсена; такъ Мелеагръ колеблется между Аталантой и Клеопатрой; такъ, наконецъ, Ясонъ измѣняетъ своей великодушной спасительницѣ Медеѣ, ради Ипсипилы... Это еще не совсѣмъ то, что намъ даетъ лемноская сага, но вооружимся терпѣніемъ; а пока отмѣтимъ попутно, что Ипсипила дѣйствительно носить въ своемъ имени примѣту своего родства съ подземнымъ царствомъ: „Высоковратнымъ“ было именно оно, какъ видно изъ многихъ именъ и эпитетовъ греческой миѳологіи, да не только ея — врата ада извѣстны и изъ христіанской эсхатологіи, до Данте включительно. Такъ и роковая невѣста Ахилла носить совсѣмъ неподходящее для дѣвушки имя Поликсены — „принимающей многихъ гостей“: „многопріемлющей“ была обитель Аида. Такъ и Гераклова Юла названа царицей Эхалии, т. е. „страны исчезновенія“: все это — родственныя, взаимно подтверждающія другъ друга примѣты.

Но мы увлеклись частностями; пора представить читателю въ его главныхъ чертахъ миѳъ о Ясонѣ, на мрачномъ фонѣ котораго возникъ поэтический образъ Ипсипилы.

Онъ построенъ на мотивѣ, встрѣчающемся также въ другихъ родственныхъ греческихъ миѳахъ и, что особенно важно, въ параллельномъ германскомъ миѳѣ о спасителѣ — на мотивѣ

„проклятаго золота“, приносящаго гибель своему владѣльцу. Это золото—знаменитое „золотое руно“. Оно находится на краю свѣта, въ Колхидѣ, подъ охраной неусыпнаго змѣя; туда отправляется молодой герой Ясонъ со своими товарищами на кораблѣ Арго. Зачѣмъ? Его посылаетъ злой царь Пелій, захватившій престолъ его отца Эсона въ ессалийскомъ Іолкѣ... Все это—образы очеловѣченнаго міа. Но имя Эсона явно происходитъ отъ слова, означающаго по-гречески „рокъ“ (Aisôn отъ aisa) и напоминаетъ намъ этимъ о „роковомъ“ спасителѣ. Дѣло было бы еще яснѣе, если бы мы могли признать правильной этимологию, очень распространенную между учеными, имени Ясона отъ глагола, означающаго по-гречески „исцѣлять“ (Iasôn отъ iâsthai). Все же эта этимологія сомнительна (ей противорѣчитъ количество звука *i*, долгаго въ одномъ, краткаго—въ другомъ словѣ), и какъ будто естественнѣе связывать имя героя съ именемъ его родины (древняя форма Iaôlkos, „іонійскій волокъ“) и тѣхъ іонійцевъ (древняя форма Iaones), которые за нимъ двинулись черезъ Босфоръ по суровымъ волнамъ Евксина. Тогда пришлось бы признать Ясона просто племеннымъ героемъ іонійцевъ, какъ Ахилла—ахейцевъ; мы имѣли бы въ обоихъ случаяхъ племенной атрибутъ героя-спасителя, результатъ племеннаго дробленія греческаго народа.

Со своими аргонавтами Ясонъ благополучно достигаетъ Колхиды, является къ царю Ээту, излагаетъ свое порученіе. Царь ставитъ условіемъ исполненіе трехъ гибельныхъ подвиговъ—другими словами, отправляетъ юношу на вѣрную смерть. Но ему помогаетъ любовь—любовь царской дочери, царевны Медеи (это имя значитъ „мудрая“; наша Василиса Премудрая, выступающая въ такой же роли—прямой переводъ греческаго basilissa Mèdeia). Съ помощью Медеи онъ покидаетъ золотое руно, спасается на свой вѣрный корабль, ѣдетъ на родину. Царь мчится за нимъ; чтобы замедлить погоню, Медея убиваетъ своего малолѣтняго брата, котораго она захватила съ собою... страшное дѣйствіе золотого руна начинается. Разсчетъ оказывается вѣрнымъ; пока царь хоронитъ сына, бѣглецы спасаются на родину. Золотое руно вручается Пелію; но онъ отказывается уступить царство и гибнетъ отъ коварнаго замысла Медеи... роковое золото потребовало новой

жертвы. Возмущеніе народа изгоняетъ изъ Іолка волшебницу и ея мужа; они—бездомные скитальцы при дворѣ коринескаго царя: Ясонъ, Медея и тѣ двое дѣтей, которыхъ она успѣла ему родить. У царя дочь, которую онъ не прочь бы выдать за смѣлаго и прекраснаго гостя, если бы не Медея. Разыгрывается трагедія—недаромъ Медея захватила проклятое золото съ собою. Жертвою ея ревности падаетъ и соперница съ отцомъ, и ея собственныя дѣти, которыхъ она родила мужу,—и тогда она добровольно его покидаетъ, разрушивъ и его прежній, и его будущій домъ.

IV.

Во всемъ этомъ пока Ипсипилы нѣтъ. Да, но зато нѣтъ и имени у той коринеской царевны, которая вызвала измѣну и гибель Ясона. Въ мифахъ ея отецъ называется Креонтомъ, она сама — Креусой, но это не имена, а нарицательныя — „царь“ и „царица“ — часто встрѣчающіяся какъ имена-затычки для безыменныхъ личностей мифа. Мнѣ думается, именно ее и звали первоначально Ипсипилой: она вѣдь открыла Ясонову дому „высокія врата“ подземнаго царства. Потеряла же она это имя тогда, когда мифъ объ аргонавтахъ, по вышеизложеннымъ политическимъ расчетамъ, былъ связанъ съ Лемносомъ. Ипсипила стала царицей лемносскихъ амазонокъ; этимъ самымъ мотивъ Ясоновой измѣны былъ удвоенъ. Можно заключить и наоборотъ: удвоеніе мотива измѣны доказываетъ позднѣйшую формацию того мифа, который его допускаетъ. Но кромѣ удвоенія получилась еще другая неловкость: такъ какъ приключеніе на Лемносѣ пришлось помѣстить передъ приключеніемъ въ Колхидѣ, то вышло, что Ясонъ не Медеѣ измѣнилъ ради Ипсипилы, а наоборотъ, Ипсипилѣ ради Медеи. Это — полнѣйшая несообразность: вся трагедія Медеи теряетъ смыслъ, если Ясонъ уже раньше имѣлъ жену, которой онъ ради нея измѣнилъ. Вотъ почему Еврипидъ въ своей знаменитой „Медеѣ“ совершенно оставляетъ въ сторонѣ лемносскую Ипсипилу.

Итакъ, благодаря совершившейся перестановкѣ, весь мифъ объ Ясонѣ расщепился на два варианта: вариантъ, предполагающій лемносское приключеніе, и вариантъ, не предполагаю-

щій его. Мы здѣсь, разумѣется, должны прослѣдить первый вариантъ. Перенесемъ же Ипсипилу на Лемнось, хотя здѣсь ея имя уже не имѣетъ болѣе никакого смысла, и будемъ продолжать нашъ рассказъ съ того мѣста, гдѣ мы прервали его въ концѣ второй главы.

Лѣто того года, которое послѣдовало за „лемносскимъ грѣхомъ“, принесло лемніянкамъ аргонавтовъ. При видѣ смѣлой дружины, приближавшейся къ ихъ острову, лемніянки собрались на совѣщаніе ко дворцу царицы. Ипсипила предложила послать гостямъ подарки и упросить ихъ уѣхать; ее тяготила мысль о совершенномъ грѣхѣ. Но ея старая совѣтница Поликсѣ взглянула на дѣло глубже: какая участь предстоитъ имъ? Ее, старуху, похоронять молодыя; но кто похоронитъ молодыхъ, когда онѣ, состарившись, умрутъ? И вотъ, боги посылаютъ имъ аргонавтовъ; здѣсь — женщины безъ мужей, тамъ — мужчины безъ женъ... Не ясно ли, какъ слѣдуетъ поступить? Сказано — сдѣлано; къ аргонавтамъ отправляется посланница съ „душерадостной“ вѣстью: „поживите съ нами, а затѣмъ, — счастливаго пути“. Рисуется картина безпечнаго амазонскаго веселья; аргонавты не были бы тѣми смѣлыми юношами, какими ихъ изображаетъ преданіе, если бы эта картина имъ не понравилась. Заключаются легкіе, краткосрочные, амазонскіе браки; два года остаются аргонавты на Лемнось.

Это пока — идиллія: трагедіи еще нѣтъ. Не было бы и зародыша таковой, если бы Ипсипила была настоящей амазонкой, подобно другимъ. Но она ею не была тогда, когда, вопреки всеобщему рѣшенію, спасла своего отца Феоанта; не стала она ею и теперь. Ясона она полюбила какъ мужа, не на время, а навсегда; въ немъ она видѣла царя своего острова, прекратителя ненавистнаго ей женскаго царства. Она отпустила его на подвигъ въ Колхиду, но съ тѣмъ, чтобы послѣ этого подвига онъ вмѣстѣ съ золотымъ руномъ вернулся съ аргонавтами на Лемнось. И вотъ аргонавты уплыли... Ипсипила осталась, но не одна, а со сладкой материнской надеждой под сердцемъ. Въ отсутствіе мужа она родила близнецовъ-мальчиковъ: одного она назвала Евнеемъ („о прекрасномъ кораблѣ“), въ честь владѣльца чудесной „Арго“, другого — въ память о

своемъ отцѣ — Феоантомъ. Съ этимъ двойнымъ драгоценнымъ даромъ счастливая мать стала ожидать своего мужа.

Стоить ли досказывать? Ясонъ въ Колхидѣ, подвиги, Медея... Везя Медею, „Аргò“ уже не могла захватить на Лемнось. Картину тревоги и отчаянія вѣроломно повинутой Ипсипилы изобразилъ Овидій въ своихъ „Героиняхъ“ (Эл. VI); къ его красочному описанію я и отсылаю читателя ¹⁾.

V.

Ипсипила не коснулась золотого руна: оно пронеслось мимо ея береговъ на боязливо ускользающей отъ нея „Аргò“. Но она была подругой его похитителя, Ясона, и несчастье обреченнаго мужа не могло не задѣть и ея. Послѣ вѣроломства Ясона царству Ипсипилы наступаетъ конецъ.

Здѣсь — шовъ нашей трагедіи, самое трудное для ея рассказчика мѣсто. Очень красиво и эффектно бываетъ, сосредоточась мыслями на одной ея половинѣ, посылать взоры на другую, отбѣняя настоящее либо прошлымъ, либо будущимъ. Такъ Овидій въ послѣдней части своего посланія представляетъ намъ Ипсипилу предвкушающей трагическій исходъ счастья своей соперницы, гибель послѣднихъ жертвъ золотого руна. Это можно сдѣлать въ быстромъ и смутномъ видѣніи; но поэтъ очень затруднился бы связать трагедію Ипсипилы и Медеи въ одно гармоническое цѣлое. Вѣдь весь смыслъ Медеиной мести — въ томъ, что, убивая и невѣсту Ясона, и своихъ отъ него дѣтей, она разрушаетъ и настоящій, и будущій „домъ“ своего мужа, между тѣмъ какъ этотъ мужъ только о томъ и думаетъ, чтобы создать и укрѣпить свой домъ. Представимъ себѣ теперь, что у него есть на Лемнось и жена, и дѣти, и царство: все значеніе мести пропадаетъ. Ужъ конечно не Ипсипила отвергнетъ разбитаго жизнью мужа — не даромъ она гречанка. Это прекрасно понималъ и самъ Овидій: въ другомъ своемъ посланіи, написанномъ отъ имени Медеи, онъ объ Ипсипилѣ умалчиваетъ; тамъ лемносское приключеніе даже не упоминается.

¹⁾ Овидій, Баллады-посланія, пер. О. Зѣлинскаго, стр. 97 сл.

Такъ равно и у Еврипида, какъ мы увидимъ, передъ глазами Ипсипилы-прислужницы только и носится время ея царскаго величія, ея любовнаго счастья—Аргѣ и ея герои, и бѣлѣющія волны, убѣгающія изъ-подъ кили чудеснаго корабля; эту картину она видитъ еще въ минуту близкой смерти. Но какъ связалъ поэтъ обѣ половины трагической жизни своей героини?

Я только что сказалъ, что здѣсь „шовъ“ нашей трагедіи. Въ настоящихъ разсказахъ, составляющихъ умственную собственность ихъ творцовъ, такіе швы свидѣлствуютъ о неловкости послѣднихъ и поѣтому справедливо вѣняются имъ въ вину. Но въ мифахъ дѣло обстоитъ иначе: здѣсь швы естественно возникаютъ при всякой попыткѣ соединить въ одно цѣлое самобытно происшедшія разнородныя части. Будучи досадными въ эстетическомъ отношеніи, они для изслѣдователя происхожденія мифа служатъ драгоцѣнной уликой, значительно облегчая ему его задачу. Отсюда слѣдуетъ специально для нашего мифа выводъ: обѣ половины мифа обѣ Ипсипилѣ возникли самостоятельно. Или другими словами: *лемносскій* мифъ обѣ Ипсипилѣ-царицѣ первоначально не имѣлъ ничего общаго съ *немейскимъ* мифомъ обѣ Ипсипилѣ-прислужницѣ. Выводъ этотъ подтвердится въ дальнѣйшемъ, когда мы будемъ разбирать специально немейскій мифъ; но уже теперь полезно будетъ имѣть его въ виду.

Итакъ: необходимость соединить въ одно цѣлое обѣихъ Ипсипилъ—первая и главная причина образованія упомянутаго шва. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ хотя бы овидіевскую Ипсипилу: гдѣ тутъ будущая прислужница? Она обманута Ясономъ, да; но точно также ея подданныя-амазонки обмануты прочими аргонавтами. Главная цѣль все-таки достигнута: онѣ—матери, будущность маленькаго народца обезпечена. Можно допустить, что, ставъ матерями, онѣ откажутся отъ своего мужененавистничества; тогда старшій изъ сыновей Ипсипилы, Евней, унаслѣдуетъ царство матери и будетъ въ мирѣ управлять островомъ Діониса. Такой исходъ имѣетъ повидимому въ виду Гомеръ (Иліада VII 467 ст. Гн.):

Тою порой корабли, нагруженные винами Лемна,
 Многіе къ берегу пристали; Евней Ясонидъ прислалъ ихъ,
 Сынъ Ипсипилы, рожденный съ Ясономъ, владыкой народа.

Здѣсь онъ, какъ расчетливый царь-коммерсантъ, доставляетъ осаждающимъ Трою ахейцамъ главный продуктъ своего острова— вино. Еще лучше свидѣтельствуемъ о династической непрерывности Діонисова рода на Лемнось другое мѣсто изъ того же Гомера — описаніе чаши, которую Ахиллъ предложилъ какъ призъ ристателямъ на Патрокловой тризнѣ (XXIII 744 ст.):

Мужи ее финикійцы, по мгlistому плавая Понту,
Въ Лемнось продать привезли, но какъ даръ предложили Феоанту.
Царь же Евней Ясонидъ, выкупая Пріамова сына,
Надшаго въ плѣнъ Ликаона, отдалъ Менетиду Патроклу.

Итакъ, искусная финикійская чаша, полученная въ даръ Феоантомъ, по наслѣдству переходитъ отъ него къ его дочери Ипсирилѣ, отъ Ипсирилы—къ ея сыну Евнею.

И ничто не доказываетъ намъ, что Эсхилъ и Софоклъ, въ трагедіяхъ о *царицѣ* Ипсирилѣ, понимали свою тему иначе. Отъ Эскила древность знала три относящіяся сюда трагедіи, образовавшія, повидимому, трилогію— „Аргò“, „Ипсирилу“ и „Кабиоровъ“. Дошли отъ нихъ только жалкіе отрывки; все же кое-что можно извлечь и изъ нихъ. А именно намъ говорятъ, что въ послѣдней изъ перечисленныхъ трагедій Кабиры (таинственные божества сосѣдней и родственной Лемносу Самоѳракіи) благословляли Лемнось, предвѣщая ему его будущее обиліе виномъ. Такъ точно и въ „Евменидахъ“ того же Эскила, заканчивающихъ кровавую трилогію „Орестею“, Евмениды благословляютъ аттическую почву. Аналогія позволяетъ намъ догадываться, что и религіозная идея въ лемноской трилогіи была выражена одинаково. Какъ въ „Орестѣ“ учрежденіе культа Евменидамъ исцѣляетъ родъ Атридовъ отъ послѣдствій мужеубійства Клитемнестры, такъ и въ лемноской трилогіи учрежденіе культа Кабиромъ было искупленіемъ „лемносскаго грѣха“. Не даромъ Эсхилъ во второй драмѣ „Орестей“ сравниваетъ преступленіе Агамемноновой жены съ „лемноскимъ грѣхомъ“. Итакъ — счастливый, благоговѣйный конецъ; а этимъ, повидимому, исключается всякая мысль о дальнѣйшихъ несчастіяхъ благочестивой Ипсирилы. Держался ли той же традиціи и Софоклъ въ своихъ „Лемніянкахъ“ ¹⁾—этого мы, за

¹⁾ См. Софоклъ въ пер. О. Зѣлинскаго III, стр. 216 сл.

отсутствіемъ свидѣтельствъ, сказать не можемъ; но во всякомъ случаѣ ничто не доказываетъ противоположнаго.

Кто же впервые отождествилъ лемносскую Ипсипилу съ немейской и сталъ такимъ образомъ творцомъ мѣа о царицѣ-прислужницѣ? Конечно, рискованно давать опредѣленные отвѣты на такого рода вопросы, тѣмъ болѣе, когда мы знаемъ, что Ипсипилѣ-прислужницѣ была посвящена потерянная трагедія Эсхила „Немея“; судить мы можемъ только о фабулѣ *Еврипида*. Каковъ былъ у него переходъ отъ одного мѣа къ другому — объ этомъ раньше возможны были только догадки. Теперь отвѣтъ намъ данъ самой новонайденной трагедіей, и притомъ отвѣтъ такой смѣлый и сложный, что никакая догадка не могла бы его предвосхитить.

Прежде всего и главнымъ образомъ Еврипидъ имѣлъ рѣшимость совершенно оставить въ сторонѣ Ясона, какъ супруга Медеи. Дѣйствительно, идиллія Ипсипилы съ трагедіей Медеи не уживалась — мы видѣли выше, почему. Это такъ, но все же не вѣрилось, что Еврипидъ, творецъ „Медеи“, черезъ двадцать лѣтъ послѣ постановки этой самой сильной своей трагедіи могъ бы совершенно отъ нея отречься, могъ бы обречь на забвеніе знаменитый типъ „вѣроломнаго“ Ясона и, въ угоду роману Ипсипилы, представить намъ своего героя вѣрнымъ супругомъ лемносской амазонки.

Продолжаемъ еще разъ рассказъ съ того мѣста въ нашей IV-ой главѣ, гдѣ онъ уклонился въ сторону Медеи и картины Овидія. Мы — на Лемносѣ съ Ипсипилой, счастливой матерью обоихъ младенцевъ-близнецовъ, Евнея и Феоанта; Ясонъ съ аргонавтами далеко, въ сказочной Колхидѣ. Вдругъ среди лемніянокъ распространяется вѣсть, что ихъ царица не участвовала въ общемъ грѣхѣ, что она спасла жизнь своему отцу Феоанту. Всѣ возмущены; жизни ослушницы грозитъ опасность. Спасаясь отъ убійцъ, она бѣжитъ на пустынный морской берегъ. Ей удастся скрыть свой побѣгъ отъ лемніянокъ, но зато она становится добычей морскихъ разбойниковъ, которые увозятъ ее на своемъ кораблѣ въ аргосскую гавань Навплию и продаютъ ее въ рабство немейскому царю Ликургу. Переходъ совершенъ: передъ нами Ипсипила-прислужница.

Тѣмъ временемъ Ясонъ, исполнивъ свой подвигъ, плыветъ

со своими аргонавтами обратно. По уговору онъ заѣзжаетъ въ лемносскую Мирину, но жены не находитъ; не находитъ и того, кто могъ бы ему сказать, гдѣ она. Онъ находитъ только обоихъ дѣтей, сыновей своей Ипсипилы и правнуковъ Діониса, носящихъ неизгладимую печать своего происхожденія отъ бога — золотое изображеніе виноградной лозы на плечѣ. Съ грустью въ душѣ онъ забираетъ обоихъ дѣтей съ собой на родину, въ Іолкѣ; тамъ онъ вскорѣ умираетъ. Дѣтей тогда беретъ его товарищъ, одинъ изъ аргонавтовъ, Орфей, и отвозитъ ихъ къ себѣ во Фракію. Онъ старательно занимается ихъ воспитаніемъ и обучаетъ одного, Евнея, искусству музъ, а другого, Феоанта, всякаго рода физической ловкости.

Но какова же была за все это время судьба Лемноса? На этотъ вопросъ и новонайденная трагедія намъ отвѣта не даетъ: быть можетъ, отвѣтъ былъ данъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя намъ не сохранились, а быть-можетъ Еврипидъ оставилъ этотъ пунктъ, какъ побочный, въ сторонѣ. Трудно допустить, чтобы Ясонъ, вернувшись на Лемносъ, оставилъ его во власти тѣхъ амазонокъ, отъ которыхъ погибла Ипсипила. Что старый Феоантъ былъ спасенъ Ипсипилой—это онъ могъ узнать теперь, если не зналъ раньше отъ самой спасительницы. Было естественно послать людей искать его, а тѣмъ временемъ учредить на Лемносѣ нѣчто въ родѣ регентства... Какъ бы то ни было, одно трагедія говорить ясно: въ концѣ концовъ старый Феоантъ, спасенный промысломъ Діониса, вновь занялъ свой престолъ въ Миринѣ. Узнавъ, гдѣ его внуки, онъ пожелалъ имѣть ихъ при себѣ. Ясониды вернулись на Лемносъ, но не надолго; при первой возможности они отправились на поиски своей матери.

Теперь всѣ элементы романа налицо—романа поисковъ и приключеній, съ преднамѣченной счастливой развязкой, какихъ намъ не мало завѣщала позднѣйшая античность. Прежде, однако, чѣмъ прослѣдить его частности въ новонайденной трагедіи Еврипида, бросимъ еще одинъ взглядъ на самый переходъ. Нужна ли была эта сложность? Къ чему было удалять обоихъ мальчиковъ изъ Лемноса, если имъ все равно черезъ Іолкѣ и Фракію предстояло вернуться на Лемносъ?

Къ счастью, мы можемъ выяснитъ эти вопросы вполне удовлетворительно и при этомъ представить еще одинъ образъ

чикъ органическаго вырастанія греческихъ мифовъ изъ элементовъ традиціи и обязательности этой традиціи даже для творческаго ума поэтовъ.

Дѣло въ томъ, что въ Аѳинахъ исторической эпохи существовалъ родъ, называвшій себя Евнидами и считавшій своимъ родоначальникомъ Евнея, сына Ипсипилы. Въ этомъ родѣ была наслѣдственная игра на китарѣ и пляска; онъ привлекался къ культовой музыкѣ и чтилъ своего божественнаго родоначальника Діониса подъ именемъ Діониса Мельпомена („Поющаго“). Теперь намъ понятна фикція, что Орфей обучилъ Евнея мусическому искусству: онъ вѣдь самъ былъ великимъ китаристомъ сказочной древности, и Евнидамъ было лестно именно отъ него производить свои занятія. Итакъ, одного изъ обоихъ братьевъ Орфей обучилъ музыкѣ; но почему же онъ обучилъ другого физической ловкости? Имѣетъ ли и эта черта генеалогическую основу? Намъ о родѣ Фоконидовъ ничего неизвѣстно. Можно предположить, что Еврипидъ просто повторилъ на Ясонидахъ извѣстный педагогическій контрастъ: такъ точно вѣдь и ѳиванскіе Діоскуры, Амфіонъ и Зетъ, отличались первый—мусическимъ дарованіемъ (своей игрой на лирѣ онъ создалъ ѳиванскія стѣны), а второй—склонностью къ тѣлеснымъ упражненіямъ, и Еврипидъ въ очень эффектной и знаменитой сценѣ своей „Антиопы“ изобразилъ этотъ контрастъ. А впрочемъ мы къ этому вопросу еще вернемся по поводу развязки „Ипсипилы“.—Какъ бы то ни было, отдать Евнея на воспитаніе Орфею было необходимо, а получить его Орфей могъ только отъ Ясона, своего товарища по плаванію. Этимъ обходъ вполне объясненъ.

Мы теперь—у самаго преддверія трагедіи Еврипида. Всѣ препятствія устранимы и ничто не мѣшаетъ войти въ храмъ.

VI.

Трагедія начиналась съ появленія „прологиста“; это—спеціально Еврипидовскій обычай, не очень цѣнный съ эстетической точки зрѣнія, но практически удобный въ ту эпоху, когда опредѣленность и четкость мифологической трагедіи была

затемнена множествомъ вариантовъ, введенныхъ трагическими поэтами за сто слишкомъ лѣтъ существованія трагедіи. Прологистомъ выступаетъ, повидимому, сама Ипсицила. Первые стихи ея пролога были извѣстны и раньше:

Тотъ Діонисъ, что съ тиреомъ и въ небридѣ
Средь свѣточей въ ущелин Парнасса
Дельфійскихъ дѣвъ влетаетъ въ хороводъ,
Родилъ Ѳеанта ¹⁾...

Начало суховатой родословной, какъ это бываетъ часто у Еврипида: Діонисъ—Ѳеантъ—Ипсицила, ея бракъ съ Ясономъ, ея дѣти, ея несчастье. Бывшая лемноская царица, проданная въ рабство, служить немейскому царю Ликургу и его женѣ Евридикѣ, и они приставили ее теперь, въ награду за ея долголѣтнюю вѣрную службу, няней къ ихъ младенцу-сыну Офелту. И она привязалась къ этому малюткѣ и въ немъ нашла утѣшеніе взаимѣнъ отнятыхъ отъ нея собственныхъ ея дѣтей. Гдѣ-то они теперь?.. Досказавъ свою грустную думку, она входитъ обратно во дворецъ: ребенокъ требуетъ ухода.

Являются два странника; по ихъ разговору зрители узнаютъ, что это—оба сына Ипсицилы, Евней и Ѳеантъ, отправившіеся отыскивать свою мать и забредшіе случайно въ Немею. Какъ царевичи, они рѣшаются просить гостепріимства у самого царя; одинъ изъ нихъ стучится въ дверь.

Остановимся здѣсь на минуту. Читатель видитъ, что предстоить *узнаніе* матери сыновьями. Этотъ мотивъ узнанія (*agnōgismos*, какъ его называютъ технически) принадлежитъ къ излюбленнымъ мотивамъ и въ еврипидовской трагедіи, и въ потекшей отъ нея эротической комедіи Менандра и его сообщниковъ; но для его эффектности требуется, чтобы онъ былъ обставленъ посложнѣе. Здѣсь же постановка грѣшитъ, на первый взглядъ, чрезмѣрной простотой. Ипсицила знаетъ, что у нея есть двое сыновей, и не можетъ не знать ихъ именъ—если не обоихъ, то хоть Ѳеанта, унаслѣдовавшаго имя ея отца. Сама она извѣстна въ Немеѣ подъ своимъ собственнымъ именемъ, и даже ея прошлое знаютъ всѣ, какъ показываетъ сцена съ хоромъ. Наконецъ, и сыновья должны были узнать

¹⁾ Курсивомъ печатаются дополненія-- и моп, и чужія.

отъ своего дѣда, если не отъ Орфея, и имя, и прежнюю судьбу своей матери. Итакъ, никакихъ затрудненій нѣтъ: стоитъ юношамъ въ разговорѣ назвать другъ друга по имени, или кому-нибудь изъ домочадцевъ произнести имя Ипсипилы—и трагедія кончена. Между тѣмъ поэту ничего не стоило осложнить интригу и затруднить развязку, допустивъ, напр., что Ипсипила—а это было бы такъ естественно—скрываетъ отъ окружающихъ свое царское имя. Онъ этого не сдѣлалъ; значить, для него суть была не въ „узнаніи“, а въ другомъ.

На ступѣ изъ дворца выходитъ Ипсипила съ ребенкомъ на рукахъ. Ребенокъ вскрикиваетъ при видѣ чужихъ людей; вѣрная няня прежде всего его успокаиваетъ. Здѣсь начинаются новонайденные отрывки:

Не плачь, Офельтъ родимый, успокойся.

Вотъ, вотъ отецъ придетъ, онъ игрушекъ

Намъ привезетъ и личико твое

Отъ этихъ слезокъ живо прояснится.

(Юношамъ, невольно любуясь на нихъ).

Вы-ль это, юноши, къ намъ постучались?

Счастлива та, что родила васъ! Все-жъ

Скажите, чѣмъ нашъ домъ служить вамъ можетъ?

Θοανтъ.

Пріюта просимъ мы на ночь одну.

Припасы всѣ у насъ съ собой; не будемъ

Мы въ тягость дому вашему, не будемъ

Тебя отъ дѣла отвлекать, жена.

Ипсипила.

Въ отсутствіи хозяинъ дома, гости,

Ликургъ; но ждемъ его мы съ каждымъ часомъ,

Пока же всѣмъ царица управляетъ.

Θοανтъ.

Итакъ, гостямъ чертогъ вашъ недоступенъ,

И намъ къ другимъ умъстный обратиться?

Ипсипила.

О, нѣтъ. Не въ кравахъ нашего царя

Гостямъ отказывать. Насъ не боятся,

Всегда подъ кровомъ нашимъ кто-нибудь;

Войдите-жъ *смыло, и найдете все вы,*
Что улаживаетъ странниковъ, друзья!

Θοαντῆς.

Ну что-жъ, войдемъ. Тебѣ же благодарность
За указанье и пріѣтъ, жена.

Съ этими словами оба юноши удаляются во дворецъ, въ мужскую половину. Быстро промелькнуло первое свиданіе матери съ обоими сыновьями; они не узнали другъ друга. Все-таки что-то кольнуло Ипсипилу при видѣ стройныхъ и прекрасныхъ Ясонидовъ и вырвало у нея невольный возгласъ: „Счастлива та, что родила васъ!“ Послѣ ихъ ухода ея мысли съ удвоенной силой возвращаются къ своему излюбленному предмету—далекой лемносской родинѣ. Она осталась одна на сценѣ съ ребенкомъ на рукахъ; она садится на ступеньку подъ колонной, беретъ погремушку и поетъ про себя, тѣша малютку ея игрой...

Нѣсколько словъ объ этой погремушкѣ. Нравы древней трагедіи были строгіе, каждое смягченіе традиціи Фриниха и Эсхила возбуждало неудовольствіе людей староаѳинскаго закала. Что Еврипиду его погремушка не сошла безнаказанно, это намъ доказываетъ одно любопытное мѣсто изъ „Лягушекъ“ Аристофана — знаменитаго посмертнаго суда Эсхила и Еврипида. Суровый Эсхилъ намѣренъ жестоко пародировать лирическую технику своего противника; онъ говорить (ст. 1304 сл.).

Давайте лиру! Впрочемъ, что нужды
 Мнѣ въ ней? Эй, ты, что погремушкой тѣшишь,
 Сюда пожалуй, муза Еврипида!
 Для этихъ пѣсенъ ты одна пригодна.

Но мы, конечно, не раздѣлимъ этой суровости и будемъ благодарны судьбѣ, что она возвратила намъ хоть отчасти эту „арію погремушки“, которая такъ возмущала Аристофана и его единомышленниковъ. Это — красивая и трогательная картина, и „Муза Еврипида“ поступила, думается намъ, вполнѣ правильно, найдя ее достойной трагедіи

.....

Греми, погремушка, греми.

Какъ въ зеркалѣ ясномъ, въ ребенка очая
Былую я жизнь воскрешаю.

Расту же въ сіяніи бѣлой зари,
 Расту, мой малютка; я дѣтство твое
 Молитвой и пѣсней взлелѣю.

Греми, погремушка, греми.

Тамъ въ Лѣмносѣ дивномъ, за ткацкимъ станкомъ
 Иныя я пѣсни пѣвала.

Прости меня, Муза: малюткѣ теперь
 Твой ласковый даръ посвящаю, его
 Баюкать и холить должна я.

Греми, погремушка, греми.

Тутъ, по неукоснительному обычаю трагедіи, къ замечтавшейся Ипсирилѣ долженъ выйти *хоръ*. Этотъ нѣкогда центральный и преобладающій элементъ трагедіи, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе терялъ свое значеніе, по мѣрѣ того, какъ въ ущербъ лиризму развивался драматическій ея характеръ; поэты одно время старались связать его съ дѣйствіемъ, мотивируя его появленіе и удѣляя ему нѣкоторую роль въ происшедшихъ событіяхъ, но затѣмъ отказались отъ этихъ попытокъ и примирились съ представленіемъ о хорѣ, какъ о чемъ-то отвлеченномъ, ненужномъ для дѣйствія, но и не мѣшающемъ ему. Наша трагедія—одна изъ послѣднихъ Еврипида; ко времени ея возникновенія эта точка зрѣнія на хоръ уже успѣла установиться.

Изъ кого состоитъ хоръ „Ипсирилы“? Изъ немейскихъ женщинъ. Чтó связываетъ свободныхъ гражданокъ Неменъ съ рабой царскаго дома? Ничто; но обычай требуетъ, чтобы хоръ сочувствовалъ героинѣ, утѣшалъ ее въ горѣ и давалъ ей совѣты. Зачѣмъ онѣ появляются именно теперь? Сообщить ей о надвигающейся рати аргивянъ, ведомой Адрастомъ и остальными изъ „семи вождей“. Какое до этого дѣло Офельтовой нянѣ? Ничаго; но было полезно напомнить объ этомъ зрителямъ и, вообще, принято, чтобы послѣ пролога являлся хоръ. Вотъ и вся мотивировка.

Хоръ.

Ты у входа, дорогая?
 Домъ мела, иль полъ водою
 Окропляла, покоряясь
 Рабской участи своей?

Иль, какъ прежде, неустанно
Стругъ чудесный воспѣваешь,
 Стовесельную Аргѳ?
Иль сверкаетъ предъ очами,
Дубъ старинный обвивая
Подъ стальной зѣнпцей змѣи
 Неприступное руно?
Иль о Лемнось мечтаешь,
Гдѣ Эгейскими волнами
 Гулкій берегъ оглашенъ?
И не знаешь, что безстрашно
По полимъ святой Немен,
Миновавъ предѣлъ аргосскій,
Къ Амфіонову творенью
Рать свою Адрасть могучій
 Мѣднобронную ведетъ?
Онъ созвалъ всю мощь *Элады*,
Нѣтъ числа считамъ блестящимъ,
Нѣтъ числа звенящимъ лукамъ;
Рвутся въ бой лихіе кони,
И чудитъ земля сырал
 Подъ ударами копытъ.

ИПСИПИЛА.

*Вы правы, подруги. Стоитъ предо мной
Недвижно Аргѳ дорогая.*
Готовится прыгнуть чрезъ синюю гладь
Съ причаломъ въ рукахъ легконогій Пелей,
 Рожденный Эгиною витязь.

А дальше -подъ мачтой стоитъ на мосту
Владѣлецъ киноары чудесной,
Орфей-сладкопѣвецъ, любимецъ боговъ;
Подъ дивными пальцами струны звучать
И льется волшебная пѣсня.

Не онъ игралъ средь колышущихъ волнъ,
Усиля гребцовъ умѣряя.
Мнѣ въ дупу западъ незабвенный напѣвъ;
Труды же данайцевъ и грозный походъ
 Другимъ прославлять предоставляю.

ХОРЪ.

Отъ пѣвцовъ я вѣсть слыхала,
Какъ паревна въ дни былые,

Финикиянка Европа.

Уплыла въ далекій край;
Отчій домъ и градъ покинувъ,
Зевсовъ Критъ она отчизной
Богоданной обрѣла.
Тамъ, въ странѣ Куретовъ древнихъ,
Родинѣ своей исконной,
Ей престолъ и власть царицы
Олимпіецъ даровалъ,
И счастливую державу
Она мирно завѣщала
Тремъ могучимъ сыновьямъ.

И еще я вѣсть слыхала,
Какъ аргивянка-царевна
Въ изступленіи умчалась
Изъ отчизны—я проклятье
Облегченная сложила

Многославная Го.
Взвѣсь ты рѣчь мою, подруга:
За несчастьемъ счастью мѣсто.
Не покинетъ *угнетенной*
Твоего отца родитель,
Прекратитъ твои страданья
Благодатный Діонисъ.

Исципила.

Слыхала и я многослезную вѣсть
Про участь михую Прокриды.
Съ ней мужъ примирился, повелъ ее въ лѣсъ
И тамъ безразсудно стрѣлой умертвилъ
И горько оплакалъ подругу.

И мнѣ лишь страданья отъ Бога даны,
И мнѣ лишь въ могилѣ отрада;
Но гдѣ тотъ пѣвецъ, тотъ питомецъ богинь,
Чью чуткую душу слеза вдохновить,
Чья пѣснь мое горе взлелѣетъ?

Здѣсь кончается вступленіе, первое лирическое интермеццо трагедіи. Грусть нашла себѣ облегченіе въ пѣснѣ; волны страданія улеглись, дѣйствіе можетъ начаться.

VII.

Дѣйствіе трагедіи начинается съ приходомъ того, кто былъ лучшимъ среди „семи вождей“, выступившихъ въ нечестивый походъ противъ Амфіоновыхъ Оивъ.

Дѣйствительно, знаменитый походъ „семи вождей“ служить фономъ для Ипсипилы-прислужницы, точно также какъ походъ аргонавтовъ — для Ипсипилы-царицы. Обѣ половины жизни героини принадлежатъ двумъ различнымъ мифологическимъ цикламъ — лишнее доказательство ихъ первоначальной самобытности.

Напомнимъ главные черты этого похода. Проклятіе, произнесенное Эдипомъ противъ его непочтительныхъ сыновей, исполнилось быстро по ихъ воцареніи въ Оивахъ: Этеоклъ изгналъ Полиника и сталъ править единолично. Полиникъ обратился за помощью къ Адрасту аргосскому; войдя ночью въ царскій станъ, онъ встрѣтилъ у входа другого изгнанника, этолійца Тидея. По недоразумѣнію между ними завязался бой; прибѣжавшій на звукъ оружія Адрастъ разнялъ ихъ и при этомъ, увидѣвъ ихъ гербы на щитахъ — у одного вепря, у другого — льва, вспомнилъ о темномъ оракулѣ, приказавшемъ ему выдать своихъ дочерей именно за этихъ чудовищъ. Исполнивъ волю бога, онъ рѣшилъ прежде всего Полиника водворить обратно въ изгнавшей его родинѣ. Для этого онъ снарядилъ походъ, созвавъ лучшихъ вождей Эллады; особенно драгоцѣнна была помощь его вассала Амфіарая, мудраго правителя, храбраго воина и любимаго богами прорицателя.

У этого Амфіарая была давнишняя вражда съ Адрастомъ, прекращенная женитьбою на его сестрѣ Эрифилѣ и обоюднымъ обязательствомъ, въ случаѣ возникновенія новаго спора, повиноваться ея рѣшенію. Именно теперь этотъ споръ возникъ. Амфіарай наотрѣзъ отказался принять участіе въ братоубійственномъ походѣ; такимъ образомъ, Эрифилѣ пришлось произнести рѣшающее слово. И тутъ опять — какъ въ походѣ аргонавтовъ — вступаетъ въ дѣйствіе мотивъ проклятаго золота. Такое золото находилось среди драгоцѣнностей

рода Кадмидовъ—роскошное ожерелье, полученное нѣкогда Кадмомъ за своей женой Гармоніей отъ ея матери Афродиты (а по исконной формѣ мифа—добытое имъ отъ умерщвленнаго имъ Аресова змѣя, что уже совершенно сближаетъ это ожерелье съ „кольцомъ Нибелунговъ“). Оно по наслѣдству досталось Эдипу; Полиникъ успѣлъ захватить его, прежде чѣмъ бѣжать изъ Фивъ; теперь онъ воспользовался имъ для того, чтобы подкупить Эрифилу. Призванная рѣшить споръ, Эрифила опредѣлила, чтобы ея мужъ повиновался ея брату; такъ-то Амфіарай сталъ однимъ изъ „семи вождей“ и отправился въ походъ, изъ котораго ему не суждено было вернуться.

Вожди двинулись изъ Аргоса черезъ фліунтскую Немену на сѣверъ; предстоялъ переходъ въ сосѣднюю область. Для этого требовалось жертвоприношеніе, а для жертвоприношенія—ключевая вода, которая въ «многожаждущемъ Аргосѣ» была рѣдкостью. Этотъ мотивъ и приводитъ Амфіарая, естественнаго руководителя жертвоприношенія, во дворецъ царя Ликурга. Съ его появленіемъ начинается *первое дѣйствіе* нашей трагедіи.

КОРИФЕЙКА.

О Зевсѣ, промыслитель Немен святой!
 Какихъ ты гостей посылаешь къ намъ въ домъ?
 Дорическій плащъ украшаетъ ихъ станъ;
 Какая нужда по пустыннымъ полямъ
 Ихъ въ область чужую заводить?

АМФІАРАЙ (*про себя*).

Нѣтъ радости въ отлучкѣ человѣку.
 Случится быть нуждѣ—кругомъ тебѣ
 Пустынная, безлюдная равнина.
 Нѣтъ друга, не съ кѣмъ словомъ обмѣняться,
 Не знаешь, что и дѣлать. Былъ и я
 Въ бѣдѣ такой—и съ облегченнымъ сердцемъ
 Увидѣлъ здѣсь, въ святой Немейской рощѣ
 Отца Зевеса—царственный дворецъ.

(*Замѣчаетъ Иппитилу*).

Тебя прошу—невольницей ли ты
 Дворъ охраняешь, или въ свободной должѣ,—
 Повѣдай мнѣ, кто изъ земли фліунтской
 Владѣлецъ дома и богатствъ его?

Ипсипила.

Счастливый домъ Ликурга предъ тобою.
Онъ, ставленникъ страны приасопійской,
Святыню Зевса мѣстную блюдетъ.

Амфіарай.

Скажи-жъ ему, чтобъ далъ воды текучей
Намъ зачерпнуть и совершить обрядъ
Напутственный. Мутна вода въ запрудахъ,
Загрязнена безчисленною ратью.

Ипсипила.

А кто вы и откуда къ намъ приплыли?

Амфіарай.

Аргосцы, изъ Микенъ мы собрались;
Переходя земли родной предѣлы,
Должны за рать мы жертву принести.
А путь мы держимъ къ Кадмовымъ воротамъ—
Пусть только богъ походъ благословить.

Ипсипила.

Дозволь спросить: зачѣмъ вы рать создали?

Амфіарай.

Чтобъ Полинику возвратить престолъ.

Ипсипила.

А самъ ты кто, чужихъ печальникъ бѣдствій?

Амфіарай.

Амфіарай, Оикловъ сынъ, вѣщатель.

Ипсипила.

О славный мужъ! Ты-ль здѣсь, передо мной?

Амфіарай.

Да, славный. И въ безславномъ дѣлѣ гибну.

Ипсипила.

Кто-жъ гибели тебя обрекъ? Скажи!

АМФІАРАЙ.

Жена велѣла, миръ творя намъ въ спорѣ.

ИПСИПИЛА.

Жена на мужа посягнуть дерзнула?

АМФІАРАЙ.

Принявъ златое ожерелье въ даръ.

Какъ видно изъ дальнѣйшаго отрывка, Амфіарай, отвѣчая на вопросы собесѣдницы, рассказываетъ ей всю исторію ожерелья въ связи съ родословной Кадмидовъ. Это такъ называемая „эпическая стихоміеія“, своего рода драматургическій фокусъ (надлежало вести рассказъ въ формѣ діалога такъ, чтобы собесѣдники чередовались стихъ за стихомъ), одна изъ техническихъ условностей древней трагедіи, которая насъ оставляетъ холодными. Мы, поэтому, не очень ропщемъ на судьбу, которая сохранила намъ только начало стихоміеіи. Изъ дальнѣйшихъ ключевъ видно, что и Амфіарай спрашиваетъ свою собесѣдницу о ея участи, что она назвала ему свое имя. Объ этомъ можно догадаться. Но какъ дѣйствіе развивалось дальше?

При отрывочномъ состояніи новонайденной трагедіи вполне естественно, что интересъ критика, судящаго о поэтическихъ достоинствахъ того или другого мѣста, ступевывается передъ любопытствомъ изслѣдователя, желающаго прежде всего возстановить подробности дѣйствія. Разговоръ Амфіарая и Ипсипилы особенныхъ красотъ не представляетъ: это—обычный спокойный приступъ къ завязкѣ. Теперь моментъ завязки приближается—и наши отрывки ничего намъ не даютъ. Что-жъ, попытаемся обойтись безъ нихъ.

Одно ясно: Амфіарай попроситъ Ипсипилу указать ему родникъ чистой воды для жертвоприношенія. Она исполнитъ его просьбу—и ея маленькій питомецъ Офельтъ погибнетъ жертвою стерегущаго родникъ змѣя. Это—магистраль преданія объ Ипсипилѣ-прислужницѣ; къ тому же отрывки изъ прочихъ дѣйствій трагедіи показываютъ намъ, что такъ дѣйствительно происходило дѣло у Еврипида. Но частности?

Раньше при восстановленіи Еврипидовой фабулы пользовались самымъ широкимъ образомъ рассказомъ поздняго римскаго поэта, о которомъ предполагали, что онъ во всемъ вдохновлялся трагедіей Еврипида. Это — *Стацій*, авторъ нѣкогда знаменитой, теперь забытой „*Оиванды*“. Пользуясь всѣмъ аппаратомъ псевдоклассической бутафоріи, этотъ талантливый, но холодный эпикъ, виртуозъ языка и стиха, слѣдующимъ образомъ описываетъ эпизодъ съ Ипсипилой-прислужницей.

Когда войско Адраста вступаетъ въ предѣлы Немеи, Діонисъ, желая оградить отъ враговъ свою оиванскую родину, убѣждаетъ всѣ немейскіе рѣки и ручьи скрыть подъ землей свое теченіе. Всѣ повинуются, кромѣ укромной Лангіи. Войско терпитъ страшную жажду; къ счастью, Адрастъ находитъ Ипсипилу и упрашиваетъ ее показать ему какую-нибудь струю воды. Она повинуется и, чтобы не быть стѣсненной въ своихъ движеніяхъ, оставляетъ ребенка на лугу среди цвѣтовъ. Она ведетъ войско къ Лангіи; пока всѣ утоляютъ свою жажду, она рассказываетъ царю про лемносскій грѣхъ и свое несчастье. Затѣмъ она возвращается на прежнее мѣсто—и находитъ ребенка убитымъ.—Теперь намъ ясно, что Стацій если и пользовался Еврипидомъ, то значительно измѣнилъ его фабулу. Никакой засухи нѣтъ, нѣтъ и жажды войска. Амфіараю нужна проточная вода для жертвоприношенія; торопиться, поэтому, нечего. Оба собесѣдника рассказываютъ другъ другу свою исторію, поскольку это было нужно, еще передъ отправленіемъ на поиски воды; а такъ какъ торопиться нечего, то и для Ипсипилы отпадаетъ мотивъ оставленія ребенка: она беретъ его съ собой. Нѣтъ, повидимому, Стація придется оставить въ сторонѣ. Но чего же намъ собственно недостаетъ?

Недостаетъ того элемента, который превратилъ бы простое и случайное событіе въ драматическую завязку. Представимъ себѣ происходящее на сценѣ съ возможной наглядностью. Ипсипила—женщина подневольная, она приставлена беречь малолѣтняго царевича. И вотъ къ ней подходитъ чужой чело-вѣкъ и проситъ ее пойти съ нимъ за водой; она беретъ ребенка и идетъ съ нимъ. Согласитесь, тутъ есть нѣкоторая неловкость... Не будемъ говорить о хорѣ. Конечно, становясь на почву реализма, можно бы сказать, что было бы естественнѣе

послать за водой любую изъ этихъ пятнадцати свободныхъ бездѣльницъ, чѣмъ занятую своимъ дѣломъ прислужницу. Но именно этого реализма въ отношеніи хора не было: зрители свѣклись съ условностью его роли, и идея отправить за водой хоревтку показалась бы имъ не менѣе дивой, чѣмъ если-бы Ипсипила обратилась съ этимъ предложеніемъ къ кому-нибудь изъ публики. Повторяю, оставимъ хоръ; неловкость и помимо его несомнѣнна, и сохраненный намъ, благодаря случайной цитатѣ, стихъ Ипсипилы:

Что-жъ, покажу аргивянамъ источникъ;
Но...

своей формулировкой свидѣтельствуетъ, что и она эту неловкость чувствовала. Къ ней мы, однако, еще вернемся; идемъ дальше.

Ипсипила съ Амфіараемъ уходятъ; на сценѣ одинъ хоръ. Его мысли естественно витаютъ около рассказанныхъ событій, у начала того похода „семи вождей“, который втянулъ въ въ свои круги и мирную Немею. Намъ сохранился искалѣченный лирическій отрывокъ стиховъ въ десять, въ которомъ явно говорится о ночной схваткѣ Тидея съ Полиникомъ и о судѣ Адраста; повидимому, онъ относится именно къ той хорической пѣснѣ, которая завершила собою покойное и мирное первое дѣйствіе. Затѣмъ звуки пѣсни умолкаютъ, наступаетъ *дѣйствіе второе*.

VIII.

Его открываетъ Ипсипила, въ крайнемъ испугѣ и отчаяніи примчавшаяся съ того мѣста, гдѣ она указала Амфіарая родникъ. Несчастіе совершилось: малютка Офелтъ сталъ жертвою змѣя. Нѣсколько искалѣченныхъ отрывковъ, описывавшихъ страшное появленіе чудовища и рисующихъ горе Ипсипилы, повидимому, относятся къ этому мѣсту трагедіи; къ сожалѣнію, они не разрѣшаютъ намъ нѣкоторыхъ серьезныхъ затрудненій. Во-первыхъ, какимъ образомъ могъ ребенокъ достаться змѣю? У Стація неблагоразумная няня оставляетъ

своего питомца на лугу, чтобы тотъ ея не замедлялъ, а затѣмъ долго разговариваетъ съ Адрастомъ; у Еврипида, напротивъ, она беретъ дитя съ собой. Приходится придумывать такой моментъ, который могъ заставить ее разстаться съ нимъ. Затѣмъ: куда дѣвался Офельтъ? У Станція змѣй его убиваетъ, и онъ остается на лугу „весь превращенный въ рану“; но какъ изобразилъ дѣло Еврипидъ? Вопросъ опять остается открытымъ.

Во всякомъ случаѣ, ребенокъ погибъ, ему уже не помочь; Ипсипилѣ приходится подумать о себѣ. Во дворцѣ—царица Евридика, ничего еще не знающая о смерти своего единственного сына; Ипсипила—ея раба; что будетъ съ ней, когда все станетъ извѣстно? Не пожелаетъ ли Евридика выместить на ней свое материнское горе? Да, это слишкомъ даже понятно. Объ этомъ и идетъ рѣчь тамъ, гдѣ для насъ возобновляется связанная часть трагедіи; мѣсто это небольшое, но интересное.

Ипсипила.

Подруги милыя, одно мгновеніе
Рѣшить судьбу мою. Конецъ позорный
Мнѣ угрожаетъ; о, какъ страшно мнѣ!

Корифейка.

Неужли нѣтъ надежды на спасенье?

Ипсипила.

Одно спасенье—бросить этотъ домъ.

Корифейка.

Что-жъ возмущаетъ такъ тебя, скажи?

Ипсипила.

Смерть мальчика и мнѣ готовить гибель.

Корифейка.

Ахъ, съ давнихъ поръ сроднилась съ горемъ ты.

Ипсипила.

Да, съ давнихъ—и бороться съ нимъ съумѣю.

КОРИФЕЙКА.

Но средства гдѣ? Куда направишь путь свой?

ИПСИПИЛА.

Куда душа и ноги понесутъ.

КОРИФЕЙКА.

Ты не уйдешь: кругомъ вездѣ заставы.

ИПСИПИЛА.

Ужель?—Ну, что-жъ; придумаемъ другое.

КОРИФЕЙКА.

О, не скрывай: мы все тебѣ друзья.

ИПСИПИЛА.

Не попросить ли, чтобъ увелъ съ собою...

КОРИФЕЙКА.

Кто-жъ уводитъ чужихъ рабовъ согласенъ?

Здѣсь возвращенная намъ часть діалога обрывается; будемъ благодарны судьбѣ, что это не случилось двумя стихами раньше. Дѣйствительно, именно этими двумя стихами дальнѣйшій ходъ дѣйствій предначертанъ. Кто будетъ согласенъ увести рабыню Ипсипилу? Только одинъ человѣкъ въ мірѣ: тотъ, кому она оказала услугу, тотъ, изъ-за кого она навлекла на себя всю эту бѣду. И кто знаетъ, быть-можетъ онъ даже обязался это сдѣлать? Мы вѣдь видѣли: Ипсипила не сразу его послушалась, она колебалась, какъ бы чуя недоброе. Припомнимъ загадочный стихъ:

Что-жъ, покажу аргивянамъ источникъ;
Но...

Не продолжала ли она:

Но если гнѣвъ царицы заслужу я,
Не выдадутъ аргивяне меня?

Правда, ни онъ, ни она не могли предвидѣть такого несчастья; но не все ли равно? Обязательство есть, есть для Ипсипилы

вѣрная опора. Въ свѣтѣ Амфіарая неудачница-няня повинетъ постылую Немею и...

...И оставить въ постылой Немеѣ убитую горемъ Евридику, оплакивающую смерть своего единственного ребенка. Это ли сдѣлаетъ Ипсипила? Забыла она, что сама когда-то была матерью, что и ее заставили въ Лемносѣ покинуть обоихъ малютокъ-Ясонидовъ?

Нѣтъ, Ипсипила этого не сдѣлаетъ. Правда, дальнѣйшій ходъ ея разсужденій, какъ мы видѣли, намъ не сохраненъ, но фактъ тѣмъ не менѣе ясенъ. Она не ищетъ заступничества у Амфіарая, она отдаетъ себя во власть царицы: въ третьемъ дѣйствіи мы находимъ ее въ рукахъ Евридики. А чтобы мы не думали, что внѣшняя сила помѣшаетъ осуществленію ея первоначального плана, еще первоиздатели обратили вниманіе на ея трогательный возгласъ, въ послѣдней сценѣ съ царицей: „Напрасно было мое благородство!“ Да, очевидно, дѣло происходило именно такъ: все было готово къ спасенію, но въ послѣднюю минуту образъ убитой горемъ матери предсталъ передъ глазами Ипсипилы, и у нея не хватило духу искать заступничества противъ нея. Она добровольно пойдетъ къ ней, съ повинной головой, оно бросится къ ея ногамъ, заклиная ее именемъ ея ребенка, котораго вѣдь и она, Ипсипила, любила больше всего на свѣтѣ.

Благо ей, что она не бѣжала къ Амфіарая. Бросая домъ Евридики, она этимъ самымъ бросила бы и его гостей—тѣхъ двухъ юношей, которыхъ она сама недавно въ него ввела, не признавъ въ нихъ своихъ сыновей-Ясонидовъ.

Не правда ли, какъ теперь выясняется замыселъ поэта, о чрезмѣрной простотѣ котораго мы говорили раньше, въ шестой главѣ? Да, конечно, Фортуна все приготовила наилучшимъ образомъ, „узнаніе“ не стоитъ болѣе никакого труда; и все-таки оно не состоится, если на помощь Фортунѣ не придетъ нравственная сила. И именно она, эта нравственная сила, и становится главнымъ предметомъ нашего вниманія, и рядомъ съ ней игра фортуны ступевывается, низведенная до уровня внѣшней обстановки. Въ этомъ—достоинство „Ипсипилы“ въ сравненіи съ болѣе раннимъ „Іономъ“, въ которомъ этотъ „мотивъ знанія“ господствуетъ при отсутствіи нравственныхъ силъ.

Остановимся здѣсь на минуту; намъ представляется случай покончить съ однимъ стариннымъ предрассудкомъ.

Еврипидъ написалъ „Ифигенію Таврическую“; написалъ таковую, слѣдуя его почину, и Гёте. Сравненіе обѣихъ трагедій—излюбленная тема нѣмецкихъ теоретиковъ и эстетиковъ и на кафедрѣ, и на школьной скамьѣ—причемъ всѣ плюсы оказываются на сторонѣ новѣйшаго поэта. Онъ превратилъ греческую героиню въ „германскую дѣву“ главнымъ образомъ тѣмъ, что замѣнилъ мотивъ хитрости, посредствомъ которой еврипидовская героиня торжествуетъ надъ царемъ Тавриды, мотивомъ нравственной побѣды надъ нимъ. Еврипидовская Ифигенія замышляетъ тайный побѣгъ изъ Тавриды, пользуясь для этого легковѣріемъ простака-варвара; Гётевская отдаетъ себя въ его руки и уходитъ, напутствуемая благословеніемъ тронутаго царя. Прогрессъ несомнѣненъ—поскольку онъ касается обѣихъ трагедій; но не слѣдуетъ еврипидовскую трагедію, о которой идетъ рѣчь, отождествлять съ Еврипидомъ вообще. Дѣйствительно, когда Еврипидъ писалъ „Ифигенію Таврическую“, онъ увлекался еще элементомъ интриги, которую онъ довелъ до такого совершенства, что можетъ считаться ея представителемъ въ трагедіи; специально интрига побѣга была имъ развита съ такою виртуозностью, что его умнѣйшій противникъ Аристофанъ жестоко осмѣялъ его за нее въ поставленныхъ въ 412 г. „Θεσμοφορίζουσαι“. Слѣдуетъ ли допустить, что Еврипидъ послѣдовалъ мудрому греческому правилу: „учись у враговъ“? Не знаемъ; но фактъ тотъ, что въ поставленныхъ послѣ этого года трагедіяхъ у Еврипида наблюдается стремленіе, выражаясь кратко, побѣдить интригу. Такова его „Ифигенія Авлидская“. Ифигенія должна быть принесена въ жертву для благополучія похода; ея молодая жизнь возмущается противъ этого приговора; она находитъ заступника, она можетъ спастись—но вотъ въ рѣшающую минуту она отказывается ото всякой помощи и добровольно жертвуетъ собой ради благополучія похода. Тогда суровость разгнѣванной богини смягчается, и она сама спасаетъ великодушную дѣву.

Такою же побѣду надъ интригой имѣемъ мы здѣсь, и вотъ причина, почему элементы самой интриги отступаютъ, какъ мы видѣли, на задній планъ. Имѣя всѣ средства спасенія въ ру-

кахъ, Ипсипила отъ нихъ отказывается и отдаетъ повинную голову на судъ гнѣвной матери-царицы.

Этимъ, надобно полагать, кончалось второе дѣйствіе. Были ли въ немъ и другія сцены, кромѣ упомянутыхъ—мы не знаемъ. Не знаемъ также, каково было содержаніе хорической пѣсни, отдѣлявшей второе дѣйствіе отъ третьяго.

IX.

Въ чемъ состояла главная сцена *третьяго дѣйствія*—это всякій знатокъ трагической техники Еврипида можетъ предугадать заранѣе. Предстоятъ упреки доведенной до отчаянія Евридики, защита Ипсипилы, рѣчи, проникнутыя страстью и волненіемъ—для нихъ у древнихъ трагиковъ, и особенно у Еврипида, имѣлись особыя сцены со строго опредѣленной композиціей: такъ называемыя *агоны*. Соображенія обоихъ противниковъ поэтъ сосредоточиваетъ въ двухъ связанныхъ, направленныхъ другъ противъ друга рѣчахъ; за каждою слѣдовало обыкновенно двустипіе хора, которому въ этихъ агонахъ принадлежитъ роль не всегда безстрастнаго судьи. Можно быть какого угодно мнѣнія объ этой условности Еврипидовой трагедіи; нѣтъ спора, насъ эти почти судебныя рѣчи, съ ихъ логически выдержанной аргументаціей, подчасъ расхолаживаютъ. Но тогда люди увлекались искусствомъ слова; специально объ Еврипидѣ мы знаемъ, что всѣ молодыя Аѣины были въ восторгѣ отъ его „судебныхъ рѣчей“.

Итакъ, предстоитъ „агонъ“ Евридики и Ипсипилы. Что скажетъ няня погибшаго Офелты? Что она любила это дитя; что она сама когда-то была матерью; что она безъ злого умысла положила его туда, гдѣ онъ сталъ жертвой змѣя; что не должно рѣшать важныя дѣла подъ вліяніемъ гнѣва... Дѣйствительно, среди отрывковъ есть одинъ, очевидно сюда подходящій; сохранены только начала строкъ, но съ ними—что очень цѣнно—и имена дѣйствующихъ лицъ. Всматриваясь пристально въ уцѣлѣвшія слова, мы мало-по-малу получаемъ картину, позволяющую намъ съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ дополнить и недостающее. Повидимому Ипсипила кончаетъ свою рѣчь:

Не заглушай въ себѣ завѣта правды
 И взвѣсь значеніе слова моего.
 Зачѣмъ порывамъ гнѣва отдаваться?
 Пусть время умудритъ тебя—и ты
 Хулы избытнешь женскаго сужденія.
 Почтить ты сына хочешь? Подожди:
 Рядъ дней дитяти чести не убавитъ.
 А согрѣшишь—возврата нѣтъ тебѣ.

КОРНЕЙКА.

Твое достойно слово, Ипсила;
 Одобрять всѣ разумные его.

ЕВРИДИКА.

Къ чему тутъ словъ красивыхъ вереницы?

Нѣтъ, гнѣвъ матери не такъ легко умиловить: тѣнь безвременно погибшаго Офелъта требуетъ себѣ искупительной жертвы. Мы имѣемъ тутъ дѣло съ исконнымъ, почти рефлексорнымъ чувствомъ, выразителемъ котораго явился Цицеронъ въ одной своей рѣчи (прот. Катил. IV, 12): „Въ самомъ дѣлѣ, позвольте васъ спросить; если бы отецъ семейства, видя, что какой-нибудь его рабъ умертвилъ его дѣтей, зарѣзалъ его жену, истребилъ огнемъ его домъ, не захотѣлъ бы предать этого раба жестокой смерти—сочли бы вы его кроткимъ и милосерднымъ или, наоборотъ, безчувственнымъ и безчеловѣчнымъ? По-моему—жестокое и каменное сердце у того, кто въ такомъ положеніи отказался бы смягчить собственное горе и страданіе — горемъ и страданіемъ преступника“. Конечно, здѣсь говорится о зломъ умыслѣ, о преступленіи—но Евридика увѣрена, что такое имѣется и здѣсь. Почему? Какой расчетъ могла она предполагать у Ипсиилы? Мы этого не знаемъ—отвѣтная рѣчь Евридики пропала—но что она дѣйствительно считала Ипсиилу убійцей своего дитяти, это доказываетъ ея послѣдняя сцена съ нею.

Евридика не намѣрена отказать себѣ въ единственномъ, мрачномъ утѣшеніи своего горя. Она—въ то же время и сторука, и судья. Ипсила — ея раба; она присуждаетъ ее къ смерти.

И, къ нашему крайнему сожалѣнію, здѣсь начинается крупный пробѣлъ въ нашей трагедіи: ни о содержаніи хорической пѣсни, слѣдовавшей за третьимъ дѣйствіемъ, ни о развитіи фабулы во всемъ *четвертомъ дѣйствіи* мы ничего опредѣленнаго сказать не можемъ. Тщетно всматриваемся мы въ десятки папирусныхъ клочковъ, въ эти разрозненныя частицы словъ и предложеній: они ничего намъ не дають. А между тѣмъ, это дѣйствіе должно было быть ареной интересныхъ и захватывающихъ событій. Мы вѣдь видѣли, что оба сына Ипсипилы еще въ прологѣ вошли въ домъ Евридики; между тѣмъ въ концѣ трагедіи они — съ Амфіараемъ, и онъ говоритъ о себѣ, что, въ благодарность за оказанную ему Ипсипилой услугу, онъ возвратилъ ей ея сыновей. Итакъ, въ этомъ четвертомъ дѣйствіи юноши уходятъ къ Амфіараю. Но зачѣмъ? Кто ихъ послалъ? Ипсипила? Но если бы она съ ними еще разъ встрѣтилась, то узнаніе было бы неминуемо. А между тѣмъ оно теперь еще произойти не могло; въ своихъ предсмертныхъ вопляхъ въ пятомъ дѣйствіи Ипсипила вспоминаетъ о своихъ двухъ сыновьяхъ какъ о видѣніи прошлаго, наравнѣ съ Аргѳомъ. Итакъ, ихъ послала Евридика? Это вполнѣ возможно. Она была ихъ хозяйкой и имѣла право рассчитывать на нѣкоторое вниманіе съ ихъ стороны. Но зачѣмъ могла она ихъ въ нему или за нимъ посылать?

Положеніе изслѣдователя въ случаяхъ, подобныхъ нашему, не лишено нѣкотораго трагикомизма. Хочется, мучительно хочется разобрать пружину дѣйствія; и вотъ всматриваешься въ этотъ мракъ, всматриваешься въ него до тѣхъ поръ, пока въ немъ не начнутъ показываться смутныя контуры фигуръ... которыя, быть можетъ, не что иное какъ плодъ нашей собственной разстроенной фантазіи. Но вотъ, все-таки, нѣкоторая улика. Намъ сохранился довольно длинный, хотя и искалѣченный съ правой стороны отрывокъ (№ 58); по его размѣру видно, что это — хорическая пѣснь, по содержанію — что она прославляла чудесное появленіе Діониса: Это бы еще ничего: мало ли въ этой трагедіи пропало хорическихъ пѣсень. Но вотъ что любопытно: съ лѣвой стороны сохранилась цифра, обозначающая счетъ стиховъ, а именно 1100. Эта цифра опредѣляетъ мѣсто нашей хорической пѣсни въ трагедіи — она, очевидно,

стояла послѣ четвертаго дѣйствія. Но если послѣ четвертаго дѣйствія прославляютъ Діониса, то, видно, опъ далъ къ этому поводъ... и онъ имѣлъ полное основаніе для этого: вѣдь его внучка была присуждена къ смерти. Не то, чтобъ онъ явился самъ—у Еврипида боги являются только къ концу трагедіи, какъ *dei ex machina* — но онъ могъ послать знаменіе, испугавшее Евридику; Амфіарай, какъ вѣщатель, былъ призваннымъ толкователемъ знаменія; не естественно ли было Евридикѣ за нимъ послать, а хору—воспѣть чудеса грознаго бога?

Перестанемъ, однако, всматриваться въ мракъ. Предложенная догадка указываетъ возможность, не болѣе. Мы стояли бы на гораздо болѣе прочной почвѣ, еслибы могли положиться на Стація; но мы видѣли уже, что римскій поэтъ не слѣдовалъ Еврипиду въ изображеніи гибели ребенка — не слѣдуетъ онъ ему и въ изображеніи развязки. У него, прежде всего, не Евридика, а самъ свирѣпый Ликургъ угрожаетъ Ипсипилѣ. За нее, спасительницу войска, вступается Адрасть и всѣ вожди. Ликургъ не можетъ отбить у нихъ своей невольницы; ему самому грозитъ гибель. Тогда онъ обращается къ своимъ гостямъ, обоимъ юношамъ. Они готовы вступить въ бой за своего хозяина; но въ замѣшательствѣ раздается имя Ипсипилы — они узнаютъ свою мать, и битва прекращается.—Еврипидъ ли это? Нѣтъ, конечно; но знатоки древней трагедіи охотно признаютъ, что это—до-еврипидовская форма преданія. Нашъ поэтъ не любилъ бряцанія оружіемъ; какъ онъ въ „Вакханкахъ“ замѣнилъ битву вакханокъ съ еиванцами нравственной побѣдой Діониса надъ ихъ вождемъ, такъ и здѣсь имъ устранено дѣйствіе физической силы ради болѣе полного торжества нравственнаго начала. Какъ тамъ его предшественникомъ былъ воинственный Эсхиль, такъ и здѣсь это предположеніе будетъ наиболѣе вѣроятнымъ... Къ счастью намъ говорятъ, что Эсхиль написалъ трагедію подъ заглавіемъ „Немея“, въ которой было описано учрежденіе немейскихъ игръ въ честь погибшаго сына Немей Архемора — т.-е., какъ читатель увидитъ, именно нашего Офелты. И любопытно посмотрѣть, какъ систематически Еврипидъ устранялъ и замѣнялъ все, что обуславливало воинственный характеръ драмы его предшественника. Тамъ вступалъ въ дѣйствіе самъ грозный Ликургъ — здѣсь онъ отсут-

ствуешь, его замѣняетъ его жена Евридика, оскорбленная мать, противъ которой натискъ оружія былъ бы совсѣмъ неумѣстнымъ. Тамъ за спасительницу заступаетъ полководецъ Адрасть—здѣсь кроткій и благочестивый Амфіарай. И въ довершеніе всего, этотъ Амфіарай, какъ мы увидимъ, прямо и ясно говоритъ Ипсипилъ:

. . . заступиться за тебя пришелъ я
Не съ силой, нѣтъ, а съ правдою въ рукахъ.

Таковъ былъ обычай у древнихъ поэтовъ—они не просто оставляли въ сторонѣ отвергнутые ими мотивы своихъ предшественниковъ, а любили, отклоняя, указывать на нихъ.

Какъ бы то ни было, сравненіе со Стаціемъ ничѣмъ не обогатило трагедіи Еврипида, не заполнило зіяющаго пробѣла четвертаго дѣйствія. Нѣтъ; но зато оно дало намъ возможность не безъ вѣроятности возстановить ходъ дѣйствія у его предшественника (Эсхила?) и этимъ лишній разъ оттъннить поэтическую технику нашего поэта. Итакъ результатъ есть, хотя и не тотъ, который насъ ближайшимъ образомъ интересуетъ.

Хоромъ въ честь Діониса кончалось четвертое дѣйствіе; наступало пятое.

X.

Въ этомъ *пятомъ дѣйствіи* мы опять чувствуемъ твердую почву подъ ногами. Передъ нами жалостная картина. Ипсипилу, связанную, ведутъ на казнь; тутъ же та, по чьему приказанію она умираетъ, нѣмая въ своемъ горѣ и своемъ гнѣвѣ Евридика. Къ ней въ послѣдній разъ взмаливается осужденная (№ 60):

.
. И такъ, рѣшила ты
Слѣпому гнѣву слѣпо подчиниться,
И даже знать не хочешь, что случилось?

(Евридика молчитъ).

Что-жъ ты молчишь, презрѣвъ мои слова?
Да, я виновна въ гибели ребенка,

Но не убила я его. Онъ былъ
 Питомецъ мой; его я на рукахъ
 Своихъ носила; всѣмъ, oprичъ рожденія,
 Былъ онъ обязанъ мнѣ—любимецъ мой,
 Надежда жизни будущей моей.

(Евридика молчитъ).

О бортъ Арго! о бѣды разливы
 Лазурныхъ волнъ! О дѣти! Смерть настала.
 О ты, Оякловъ сынъ, пророкъ почтенный,
 О, заступись, приди, спаси отъ смерти
 Позорной—все изъ-за тебя терплю!
 Приди, свидѣтель непреложный—слова
 Царица не отвергнетъ твоего!

(Евридика молчитъ).

Ведите; нѣтъ мнѣ друга, нѣтъ спасенья.
 Ошиблась въ благородствѣ я своемъ.

(Входитъ Амфіарай, сопровождаемый обоими Ясонидами. Эти послѣдніе останавливаются поодаль отъ женщины. Амфіарай быстро подходитъ къ Евридикѣ, которая, при его приближеніи, опускаетъ покрывало на лицо. Иппиила бросается къ его ногамъ).

АМФІАРАЙ (Евридикѣ).

Остановись, не посылай на плаху
 Те, царица; красота твоя
 Великодушія быть должна залогомъ.

ИППИЛА.

Къ твоимъ колѣнямъ припадаю, вождь,
 Святымъ искусствомъ бога заклинаю.
 Ты во-время пришелъ. Отъ лютыхъ бѣдъ
 Освободи: изъ-за тебя я гибну.
 Мнѣ смерть близка: ты видишь, я въ оковахъ
 У ногъ твоихъ—я, проводница ваша.
 О мужъ святой, сверши святое дѣло.
 Не допусти, чтобъ эллиновъ молва
 Тебя въ измѣнѣ уличить дерзнула.
 О ты, чей взоръ въ пылающихъ скрижаляхъ
 Читаетъ Аргоса судьбу—скажи ей,
 Какъ сынъ ея погибъ: ты видѣлъ все.
 Она же мнитъ, что съ умысломъ я злымъ
 Дити сгубила, чтобы домъ разрушить.

АМФІАРАЙ (Иппилѣ, поднимая ее).

Да, все я знаю; я предугадалъ
 Твою судьбу, несчастная пѣстунья,

И заступиться за тебя пришелъ я
 Не съ силой, нѣтъ, а съ правдою въ рукахъ.
 Безбоженъ, кто, принявши благостыню,
 За благостыню не счумѣлъ воздать.

(Еврипидъ).

Открой мнѣ смѣло ликъ твой, чужестранка.
 Мой строгій нравъ вездѣ молва Эллады
 Прославила; природа мнѣ велитъ
 Себя блюсти и почитать тѣ грани,
 Чтò междъ людьми воздвигъ обычай древній.

(Еврипидка поднимаетъ покрывало).

Спасибо. А теперь спокойно слушай.
 Во всемъ ошибку извинить мы можемъ,
 Въ судѣ-жъ о жизни человѣка—нѣтъ.

Еврипидка.

Мой гость, аргосской родины сосѣдъ!
 Чтò нѣтъ святѣй тебя—давно я знаю,
 И очи предъ тобой не побоюсь
 Открыть. Чтò скажешь, все готова слышать,
 На все отвѣтить: ты всего достоинъ.

Амфіарай.

Послушай же. Неелаю я смягчить
 Твой гнѣвъ жестокій на бѣдняжку эту..
 Ради нея? Нѣтъ, ради правды божьей.
 Лжи не скажу; Фебъ видитъ, чтò меня
 Пророческой наукѣ вразумляетъ.
 Я упросилъ ее воды текучей
 Мнѣ указать струю; желалъ я жертву
 Богамъ за войско принести, предъль
 Аргосскій преступая. *Неохотно*
Пошла она. И вотъ, вблизи ключа,
Ущелье путь намъ преградило. Няня,
Чтòбы ловчѣй перескочить, ребенка
На мигъ одинъ доверила травѣ.
 За ней мы всѣ слѣдомъ пошли, желая
 Скорѣй воды въ кувшины зачерпнуть.
Вдругъ грива змѣя мимо глазъ сверкнула—
 Онъ бросился на мальчика. Тотъ бѣгствомъ
 Спасаться сталъ; но змѣй его настигъ
 И кольцами чудовищнаго тѣла
 Его обнялъ; мы ринулись за нимъ.
 Я дротъ метнулъ—свершилась гибель наша.

Да, наша. Многихъ бѣдъ починомъ сталъ намъ
 „Начатокъ рока“, Археморъ-*Офельтъ*.
 Не ты одна *убита этимъ горемъ*:
 Око Аргосу предвѣщаетъ *смерть*.
Не для победы мы двинемся *подъ Фивы*,
Не намъ добычу города дѣлать.
Взойдетъ у многихъ *страстное желанье*,
Оставивъ Кадма *бранныя поля*,
 На родину вернуться—*но вотще*.
 Адрастъ *одинъ* увидитъ *отчій городъ*,
 Семи вождей *последнихъ* *одинокій*.

Теперь ты знаешь, какъ свершился рокъ твой;
 Запомни-жъ наставленіе мое.

Счастливецъ не видалъ я между смертныхъ:
 Дѣтей хоронимъ мы, рожаемъ новыхъ
 И умираемъ сами. Неизбѣжно
 Должны землѣ мы землю возвращать,
 Жизнь пожинать, какъ колосъ плодоносный,
 И съ мракомъ свѣтъ чередовать; не должно
 Стенать о томъ, что требуетъ природа.
Твою-жъ утрату Аргосъ возмѣститъ;
 Мы похоронимъ твоего малютку
И не на день, иль два, а навсегда
Твое отрадой *будетъ горе* смертнымъ:
Его могила слава осѣнитъ;
 Онъ данъ получить *состязаній шумныхъ*,
Вѣнчая побѣдителя чело.
Пивцы прославятъ *доблестнаго мужа*,
 И не забудетъ счастья во вѣкъ—
Кто разъ на тризнь славной Архемора
Побѣды баловнемъ провозглашенъ
 Въ Немейской рощѣ.

А ее отъ кары
Освободи: она невинна. *Горе*
Съумный сплести съ *нелѣпной* красотой—
 И ей ты сына и себя *прославишь*.

ЕВРПИДА.

Дитя мое, твоя *свершилась доля*,
 И лучше мести *отчюй славы блескъ*.
 Я вижу: нравъ даетъ печать дѣяніямъ,
 Добра и зла вершаетъ онъ предѣлъ.
 Довѣрься смѣло праведному мужу,
 И не вступай въ общеніе со злымъ.

Здѣсь обрывается тотъ крупный отрывокъ папируса, которому мы обязаны почти полнымъ восстановленіемъ этой патетической сцены. Должно ли признать и сцену оконченной? Это было бы замѣчательнымъ совпаденіемъ. Правда, сентенціозный характеръ послѣднихъ словъ Евридики говоритъ въ пользу того предположенія, что она, произнеся ихъ, уходитъ: древніе трагики любили такіа нравоучительныя заключенія рѣчи. Но съ другой стороны все-таки многого недостаетъ. Участь Ипсипилы не рѣшена: разумѣтся, она будетъ помилована — хотя и это еще не сказано, — но что же дальше? „Помиловать ее я согласна, но жить подъ одной кровлей съ виновницей смерти моего дитяти не могу. А потому...“ — этой мысли мы ждемъ отъ дальнѣйшаго.

Равнымъ образомъ и о похоронахъ „Архемора“ — какъ отнынѣ будетъ называться „начатокъ рока“, младенецъ-герой Офельтъ — ничего опредѣленнаго еще не сказано. Итакъ, есть еще матеріалъ для дальнѣйшаго обмѣна мыслей между Евридикой и Амфіараемъ; но затѣмъ она уходитъ. Вѣроятно, съ ея уходомъ кончалось и пятое дѣйствіе, и хоръ пѣлъ свою установленную пѣсню неизвѣстнаго намъ содержанія.

Шестое и послѣднее дѣйствіе происходитъ между остальными героями трагедіи — Ипсипилой, Амфіараемъ и Ясонидами. Не подлежитъ сомнѣнію, что оно давало „узнаніе“ матерью сыновей и сыновьями матери. Такое узнаніе жило еще долго въ памяти эллиновъ, какъ объ этомъ свидѣлствуетъ одна сохранившаяся намъ эпиграмма („Антологія“ III 10), стоявшая первоначально подъ картиной, изображающей нашу сцену:

О, обнаружь, мой Фоантъ, золотую лозу Діониса:

Мать Ипсипилу-рабу ей ты отъ смерти спасешь.

Гнѣвъ Евридики ее осудилъ, когда змѣй земнородный,

Рока являя починъ, въ адъ Архемора увлекъ.

Вскорѣ затѣмъ ты оставишь ограду Асоновой дщери

И уведешь свою мать снова на Лемносъ святой.

„Нашу сцену“, конечно; только изъ нашей ли трагедіи? Если да, то поэтъ эпиграммы выразился не совсѣмъ точно: Ясонидамъ уже нечего спасать Ипсипилу отъ смерти — это сдѣлалъ еще раньше Амфіарай. Но какъ бы то ни было, сценой въ этомъ родѣ должно было начаться шестое дѣйствіе. Амфіарай

остался съ Ипсипилой; нужно какъ-нибудь ее пристроить. Есть у нея родственники? О, да, есть: два сына, если только они живы. Можно допустить, что оба Ясониды обратили вниманіе на эти слова: совпаденіе именъ должно было ихъ убѣдить, что царица-прислужница и есть та ихъ мать, которую они отправились отыскивать. Но какъ имъ убѣдить Ипсипилу, испытанную горемъ и поѣтому недовѣрчивую къ счастью? Золотой знакъ Діониса на плечѣ юношей рѣшаетъ дѣло. Послѣ двадцатилѣтней разлуки мать нашла своихъ дѣтей: тамъ, гдѣ вновь начинается связанный текстъ—сохранившійся здѣсь счетъ стиховъ (1600) доказываетъ, что мы близки къ развязкѣ трагедіи—мы находимъ счастливую Ипсипилу въ объятіяхъ обоихъ Ясонидовъ, Амфіарая же стоящимъ тутъ же съ доброй улыбкой на устахъ (№ 64).

Ипсипила.

Свершило вращенье Судьбы колесо!
 Свершило, и въ ласковомъ бѣгѣ
 Мнѣ жизни надежду вернуло
 И съ жизнью дѣтей ненаглядныхъ оно.
 То ужасъ, то радость сулило его путь;
 Но нынѣ ояъ счастье упрочило намъ вѣкъ.

Амфіарай.

Итакъ, жена, я сдѣлалъ все, что могъ,
 За добрую услугу и усердіе
 Усердіемъ я равнымъ оплатилъ,
 Тебѣ дѣтей неожиданныхъ возвращая.
 Храни же ихъ, храните мать, друзья,
 И будьте счастливы. А мы въ походъ свой
 Задуманный на Оивы двинемъ рать.
 (Уходитъ).

Ипсипила.

Будь счастливъ, гость! Ты счастья достоинъ.

Ясониды.

Да, счастливъ будь!

Евней.

Какой же богъ, родная,
Такъ страстно жаждалъ горя твоего?

Ипсипила.

Про жалкое бѣгство
Узнаешь, мой сынъ!
О Лемносъ надводный,
За что на чужбину
Изгналъ ты меня?
За то-ль, что я нѣжно
Отца пощадилъ
Сѣдую главу?

Евней.

Они отца убить тебѣ велѣли?

Ипсипила.

Мнѣ страшно и вспомнить
Объ ужасѣ томъ.
О дѣти родныя!
Не женщины—нѣтъ—
Лихія Горгоны
Товарицей ложа
Кинжаломъ сразили
Въ объятіяхъ сна.

Евней.

Но какъ же ты отъ смерти ускользнула?

Ипсипила.

Есть берегъ пустынный—
Раскатамъ онъ вторить
Бушующихъ волнъ:
Только птицы морскія
Гнѣздятся на немъ.

Евней.

Но кто-жъ сюда изгнаннику направилъ?

Ипсипила.

Повольники злые
По жалкимъ путямъ

Въ Навплійскую гавань
На рабскую службу
Меня отвезли
И сбыли данайцамъ
Несчастный товаръ.

Евней.

О мать моя! Какъ много ты страдала!

Ипсипила.

Не сѣтуй—страданьямъ
Конецъ наступилъ.
Но самъ ты какъ выросъ
И чьею рукою
Былъ вскормленъ, о сынъ мой?
Скажи своей матери,
Все Расскажи.

Евней.

Въ Іолкѣ обоихъ отвезла Аргѳ.

Ипсипила.

О да, удаливъ васъ
Отъ груди моей!

Евней.

Когда же смерть похитила Ясона—

Ипсипила.

Онъ умеръ? О сынъ мой!
Ахъ, новое горе
И новыя слезы
Приносишь ты мнѣ.

Евней.

Орфей обоихъ въ Фракію увелъ.

Ипсипила.

Какую утѣху
Отцу-горемыкѣ
Готовилъ онъ этимъ?
Скажи мнѣ, дитя.

ЕВНЕЙ.

Меня кнѣзья научилъ ладамъ,
Его же къ бранной битвѣ приспособилъ.

ИПСИПИЛА.

Но какъ же вернулись
Вы, дѣти, чрезъ волны
Эгейскія снова
На Лемносъ родной?

ЕВНЕЙ.

Θεοαντή, отецъ твой, перевезъ внучатъ.

ИПСИПИЛА.

Θεοанτή! Онъ живъ?

ЕВНЕЙ.

Благословенъѣмъ Вакха.

Здѣсь связный текстъ прекращается; изъ сохранившихся въ дальнѣйшемъ группъ буквъ видно, однако, что названный въ послѣднемъ стихѣ богъ остается темой разговора еще нѣкоторое время — это подготавливаетъ зрителей къ его личному появленію въ послѣдней сценѣ. Дѣйствительно, Еврипидъ любилъ такіа богоявленія въ концѣ своихъ трагедій — знаменитаго *deus ex machina*; что онъ и въ нашей трагедіи остался вѣренъ своему обычаю, доказываетъ сохранившійся клочокъ папируса. Клочокъ жалкій — только начальныя буквы восьми строкъ — но съ именемъ Діониса передъ второй изъ нихъ. Итакъ, Діонисъ давалъ окончательную развязку трагедіи; что же говорилъ онъ своей внучкѣ и обоимъ правнукамъ? Первымъ дѣломъ, конечно, онъ приказывалъ братьямъ вернуться съ матерью на Лемносъ и — надо полагать — оставаться тамъ до ея кончины. Затѣмъ онъ предсказалъ Евнею его — быть-можетъ вынужденный — уходить изъ Лемноса и переходъ къ аеинянамъ; имъ онъ передастъ свои права на островъ, которыя будутъ со временемъ осуществлены, и въ лицѣ своихъ потомковъ — Евнидовъ получить отъ нихъ въ награду наслѣдственный культъ своего родоначальника, Діониса - Мельпомена. Младшему же,

Θоанту... мы тутъ слегка фантазируемъ, но его дальнѣйшая судьба не могла быть пропущена, и поэтъ, думается, не даромъ подчеркнул его воинственность—итакъ, Θоанту онъ предвѣщаетъ, что онъ тоже оставитъ Лемносъ, но въ другомъ направленіи и, перейдя въ Тавриду, станетъ царемъ воинственныхъ и винолюбивыхъ скиѳовъ и пріютитъ у себя дочь Агамемнона Ифигенію, перенесенную къ нему неисповѣдимой волею Артемиды. Дѣйствительно, того царя Тавриды тоже звали Θоантомъ, и позднѣйшіе поэты отождествляли его съ нашимъ... правда, съ дѣдомъ, а не съ внукомъ. Но съ дѣдомъ его невозможно отождествить по хронологическимъ соображеніямъ; отождествляя же его съ Θоантомъ-внукомъ, мы получаемъ въ лицѣ нашей Ипсипилы звено, соединяющее походъ Аргонавтовъ и съ походомъ Семи противъ Θивъ, и съ походомъ Агамемнона подъ Трою.

Такъ-то въ этой заключительной рѣчи Діониса страстность трагедіи постепенно переходитъ въ объективное спокойствіе эпоса; когда его послѣднее слово прозвучало, всѣ участвующіе въ трагедіи со знаками нѣмого благоговѣнія расходятся.

XI.

Трагедія прошла передъ нами. Быть можетъ, остроумію ученыхъ удастся еще добыть новые факты изъ тѣхъ многочисленныхъ клочковъ, которые теперь лишь подзадориваютъ наше любопытство полуосмысленными группами своихъ писемъ; быть можетъ, продолжающаяся египетская сказка добровольно предоставитъ въ наше распоряженіе новые матеріалы. Пока же приходится довольствоваться тѣмъ, что въ предыдущемъ нами установлено.

Итакъ, что же мы скажемъ объ Ипсипилѣ-прислужницѣ?

Прежде всего—что поэтъ прекрасно поступилъ, удержавъ допущенное его предшественникомъ—будь то Эсхиль или кто-нибудь другой—ея отождествленіе съ Ипсипилой-царицей.

Дѣйствительно, первоначально это были двѣ различныя и самобытныя героини саги. Что мнѣ объ Ипсипилѣ Лемносской не былъ расчитанъ на это продолженіе въ роцѣ Немей-

скаго Зевса—это мы уже видѣли; точно также можно, однако, утверждать, что и мнѣ объ Ипсипилѣ-прислужницѣ не было разсчитано на то лемносское начало. Весь смыслъ этой Ипсипилы исчерпывается тѣмъ, что она открыла своему питомцу, Архемору-Офельту, „высоковратную“ обитель смерти и этимъ символически предрѣшила несчастный конецъ похода Семи. Вообще, что это за прозрачныя, говорящія имена! Амфіарай—„отовсюду окруженный проклятіемъ“; Адрасть—„не могущій избѣгнуть своей участи“; Археморъ—„начатокъ рока“, наконецъ, Ипсипила „высоковратная“ въ выясненномъ выше смыслѣ. Можно ли сомнѣваться, что они были созданы, такъ сказать, съ нахлономъ другъ къ другу?..

Но это было когда-то; для аттической трагедіи Ипсипила-прислужница неразрывно связана съ Ипсипилой-царицей—уже начиная съ Эсхила. Все же для Эсхила эта женская фигура была вообще второстепеннымъ лицомъ; даже не зная содержания его „Немеи“, даже независимо отъ того, правильно ли наше предположеніе о вліяніи ея на разсказъ Стація, мы можемъ утверждать, что для благочестиваго поэта главнымъ предметомъ интереса было учрежденіе немейскихъ игръ въ воздаяніе за преждевременную смерть Архемора и символически—за несчастный конецъ похода Семи. Понятно ли намъ это? Способны ли мы видѣть въ земнородномъ змѣѣ, погубившемъ младенца Евридики, того стариннаго Аресова змѣя, блюдущаго основанныя на мѣстѣ его логовища Оивы и губящаго въ зародышѣ враждебную имъ рать аргосскаго орла? Способны ли мы видѣть въ огромномъ несчастіи, постигшемъ народъ, огромное, болѣзненное напряженіе его жизненной энергіи, требующее себѣ разрѣшенія въ славѣ посмертныхъ игръ? Говорить ли что-либо нашему сердцу эта своеобразная нравственная энтропія?.. Если нѣтъ, то лучше оставимъ Эсхила; перейдемъ къ Еврипиду.

Эсхиль назвалъ свою трагедію „Немеей“, Еврипидъ „Ипсипилой“; этимъ многое сказано. Тотъ мотивъ, который у Эсхила былъ второстепеннымъ, у Еврипида становится главнымъ—мотивъ страдальцы-женщины. Она была царицей и стала прислужницей; всѣ мечты, соединенныя съ ея давнишнимъ царскимъ величіемъ, сопровождаютъ ее въ ея рабскую долю, со-

ставляя трогательный, патетическій контрастъ съ ея безотрад-
ной дѣйствительностью. Гдѣ имѣемъ мы еще этотъ контрастъ?
Въ патетической VI-ой рапсодіи Иліады. Предвидя будущее,
Гекторъ говоритъ своей женѣ Андромахѣ (VI 454 сл. Гн.):

...какъ тебя аргивянинъ мѣдью покрытый
Слезы лющую въ плѣнъ повлечетъ и похититъ свободу.
И, невольница, въ Аргосѣ будешь ты ткать чужеземкѣ,
Воду носить отъ ключей Месеиды иль Гиперей
Съ ропотомъ горькимъ въ душѣ, но заставитъ жестокая нужда.
Лющую слезы тебя кто-нибудь тамъ увидитъ и скажетъ:
Гектора это жена, превышавшаго храбростью въ битвахъ
Всѣхъ конеборцевъ-троянъ, какъ сражались вокругъ Иліона.
Скажетъ, и въ сердцѣ твоёмъ пробудится новая горестъ.

Но это—мимолетное видѣніе будущаго; въ настоящее его превратилъ все тотъ же Еврипидъ, давшій въ своей „Андро-
махѣ“ именно трагедію Андромахи-прислужницы. То было лѣтъ
пятнадцать назадъ; что же намъ даетъ „Ипсипила“? Повто-
реніе? Нѣтъ; Еврипидъ не повторяется.

Не о своемъ царствѣ мечтаетъ Ипсипила въ неволѣ—не
свой дворецъ въ высокой Миринѣ видитъ она предъ собою,
не своихъ богоотверженныхъ амазонокъ, запятнанныхъ „лем-
носкимъ грѣхомъ“ и вдобавокъ ее изгнавшихъ. При видѣ ея
подруги заранѣе знаютъ, что она,

какъ прежде, неустанно
Стругъ чудесный воспѣваетъ,
Стовесельную Аргò.

И когда ее волочатъ на смерть, она съ отчаяніемъ взываетъ:

О бортъ Аргò! О бѣлые разливы
Лазурныхъ волнъ!

Да; все счастье ея прошлаго сосредоточено въ моментѣ, когда
къ лемноскому берегу стала подплывать Аргò. Она величаво
разсѣкаетъ волны съ устремленными впередъ гребнями, обли-
вающими бѣлой, kloкочущей пѣной морскую лазурь; высоко
на борту стоитъ Пелей съ причаломъ въ рукахъ, готовящійся
прыгнуть на берегъ, какъ только судно подойдетъ; а дальше,
на среднемъ мосту, прислонившись къ мачтѣ, виднѣется Орфей,

дающій своей игрой сигналы дружнымъ усиліямъ гребцовъ; еще дальше... Да, эта картина незабвенна. Аргò—это больше, чѣмъ царство; Аргò—это чудо.

Такой же униженной и въ атмосферѣ такого же чуда изобразилъ Рихардъ Вагнеръ свою Эльзу въ ея ясновидческой пѣсни перваго акта; другой параллели я не знаю.

Это—новый образъ, новая цѣнность; слава вѣчно подвижной, вѣчно изобрѣтательной музѣ Еврипида, что она могла его создать! Слава также египетскимъ пескамъ, что они намъ его возвратили!—Но сколько несчастья въ счастья! Какъ нестерпимо больно бываетъ читателю новонайденныхъ фрагментовъ, когда они то-и-дѣло обрываются именно тамъ, гдѣ развитіе дѣйствія возбуждаетъ самый живой его интересъ!

„Ужъ слишкомъ мечтательна тщеславная дѣва“ (Traumselig ist die eitle Magd) —говоритъ про Эльзу ея обвинитель. Слишкомъ мечтательна и наша Ипсипила. Вначалѣ, слыша о походѣ Семи, она остается къ нему вполне равнодушна. Но вотъ этотъ походъ мало-по-малу вытягиваетъ ее въ свои круги. Является Амфіарай, лучший изъ Семи; онъ знаетъ и видитъ въ ней бывшую царицу, а не прислужницу, онъ проситъ ее о важномъ, богоугодномъ дѣлѣ. Такъ точно и Ясонъ нѣкогда во главѣ своихъ аргонатовъ являлся къ ней—тамъ, на Лемносѣ. Долгъ прислужницы велитъ ей обратиться къ ея господамъ, чтобы она или ее отпустила, или другую послала. Она такъ и хочетъ сдѣлать, но—Аргò, Аргò! Нѣтъ, въ присутствіи этого челоуѣка она себя прислужницей не чувствуетъ. Долгъ нарушенъ; грѣхъ и кара налицо.

Да, красиво и ясно вырисовывается характеръ героини на туманномъ фонѣ разрушенной трагедіи. Къ сожалѣнію, онъ—единственный: Амфіарай, Евридика, Ясониды погибли въ развалинахъ. Тѣмъ сильнѣе запечатлѣвается онъ въ памяти, и читатель охотно уноситъ съ собой это новое обогащеніе музея женскихъ типовъ Еврипида—образъ царицы-прислужницы, тѣшашей погремушкою вѣренное ея заботамъ дитя въ то время, какъ чудесная Аргò стоитъ неподвижно передъ очами ея души.

АНТИГОНА.

(1900).

I.

Мы любимъ узнавать именно въ женскихъ образахъ, созданныхъ лучшими поэтами великихъ европейскихъ литературъ, олицетворенія національнаго характера—скажу болѣе, національной идеи даннаго народа; Татьяна, Зося, Гретхенъ—это нѣчто болѣе, чѣмъ типы русской, польской, нѣмецкой женщины, это живые символы трехъ націй, красу и гордость которыхъ онѣ составляютъ. Почему такими символами являются именно женскіе образы, догадаться не трудно: очевидно, по той же причинѣ, по которой сами понятія народовъ и земель—Россія, Польша, Германія,—выражаются словами женскаго рода и изображаются, гдѣ это нужно, въ видѣ идеальныхъ женщинъ; по той же причинѣ, наконецъ, по которой и слово «земля» во всѣхъ языкахъ удерживаетъ свой первоначальный женскій родъ.

Женщина по самой природѣ своей ближе къ землѣ, чѣмъ мужчина; въ ней, несущей главную долю заботъ и трудовъ въ дѣлѣ продолженія породы, живетъ чуткой, хотя и безсознательной силой сама совѣсть, сама душа *породы*. Пока чело-вѣчество, въ ранній періодъ его существованія, вело блаженно-безцѣльную жизнь на лонѣ природы, женщинѣ естественно принадлежала преобладающая роль: она представляла охранительное начало, въ то время, какъ духъ мужчины, вольный, безпокойный, революціонный, трудился надъ измышленіемъ искусственныхъ условій, которыя обезпечивали бы ему возмож-

ность не блаженно-безцѣльнаго бытія, а томительно цѣлесообразной дѣятельности. Совокупность этихъ условій мы называемъ *государствомъ*. Представительница породы признала власть надъ собой представителя государства; она, которой, по грубому слову народной мудрости, «законъ не писанъ» (не писанъ потому, что въ ней живетъ другой, болѣе могучій законъ—совѣсть породы)—она, повторяю, молча смирилась передъ этимъ навязаннымъ ей закономъ. Есть, однако, предѣлъ и ея смиренію и безпрепятственной власти государственнаго закона: вездѣ тамъ, гдѣ государственная власть затрогиваетъ и насилуетъ совѣсть породы—вездѣ тамъ послѣдняя, въ лицѣ своей представительницы-женщины, заявляетъ свой протестъ. Женщина изъ охранительнаго начала превращается въ начало революціонное, и успѣхъ ея революціи зависитъ отъ живучести той породы, совѣсть которой она представляетъ.

Не требуйте сознанія этого конфликта отъ новыхъ народовъ, у которыхъ даже само слово «законъ» безразлично означаетъ и естественную силу, исходящую отъ земли, и искусственное установленіе, исходящее отъ человѣка; но античность, хранившая память о борьбѣ человѣка съ землей, античность, которой суждено было послѣ многихъ вѣковъ условности вернуть современное человѣчество къ природѣ—его глубоко знавала. И тѣ же греки, которые были творцами той идеи государственности, которой мы живемъ понынѣ—они же воплотили и протестъ противъ нея въ своей Антигонѣ.

Антигона—не только типъ греческой женщины, не только живой символъ своей націи, наравнѣ съ Татьяной, Зосей, Гретхенъ: ея значеніе—сверхнаціональное, міровое: она—олицетвореніе женскаго принципа любви въ борьбѣ съ мужскимъ принципомъ власти.

II.

Антигона всецѣло принадлежитъ Аѣинамъ, будучи создана, можно сказать, аттической трагедіей. Всѣ три великихъ трагика вдохновлялись ея образомъ: Эсхиль его только намѣтилъ въ эпилогѣ своихъ «Семи вождей»; Софокль его развилъ и закончилъ; Еврипидъ, насколько мы можемъ судить—его тра-

гедія намъ не сохранена—и по отношенію къ нему проявилъ свою роковую страсть разбивать кумиры своего народа и свои. Наша Антигона—Антигона Софокла.

Два брата-царевича враждуютъ изъ-за престолонаслѣдія въ *Θивахъ*; слабѣйшій, будучи изгнанъ, ведетъ чужеземную рать противъ родного города; *ѳиванцы* побѣдоносно отражаютъ приступъ, но въ битвѣ гибнутъ оба брата, падая одинъ отъ руки другого. Смерть сравняла участь и защитника и врага своей родины; стремясь возстановить поправленную—какъ ему казалось—справедливость, новый царь страны, *Креонтъ*, приказываетъ оставить безъ погребенія трупъ послѣдняго, чтобы его душа, обезчещенная, блуждала по туманнымъ пропастямъ ада, не находя себѣ успокоенія даже послѣ смерти. Царское слово—законъ въ монархически управляемыхъ *Θивахъ*; къ быстро разлагающемуся трупу приставлена стража; нарушителю закона грозить смерть... „Какъ все это далеко отъ насъ!“—воскликнетъ читатель. Ужъ будто въ самомъ дѣлѣ такъ далеко? Во времена сказочной старины законъ запрещалъ вамъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, хоронить вашего убитаго брата; много вѣковъ спустя такой же законъ запрещаетъ вамъ признавать своимъ сыномъ рожденнаго вамъ любимой женщиной ребенка, или воспитывать вашихъ дѣтей въ вашей вѣрѣ, или напутствовать умирающаго на его родномъ языкѣ... въ извѣстныхъ случаяхъ. Внѣшнія формы мѣняются, сущность—насилованіе совѣсти закономъ—остается неизмѣнной.

Да; запрещено хоронить *брата*; дѣло въ томъ, что послѣ убитыхъ остались двѣ сестры, Антигона и *Исмена*. Съ ихъ появленія начинается дѣйствіе трагедіи; еще до разсвѣта старшая вызвала младшую для переговоровъ. Характеръ смиренной *Исмены* извѣстенъ героинѣ и такъ, но она—единственный кромѣ нея представитель семьи, нельзя не предоставить ей возможности почтить погибшаго брата. Замыселъ Антигоны приводитъ *Исмену* въ ужасъ; „ты хочешь идти противъ закона?“—„Я хочу похоронить своего брата“. Никакія убѣжденія на нее не дѣйствуютъ—и всего менѣе страхъ передъ смертью. Робкая *Исмена* подавлена ея величіемъ: „ты безумна“, говорить она ей, „но зато ты умѣешь быть другомъ своихъ друзей“. И Антигона уходить.

III.

Ночныя тѣни исчезли; восходящее солнце застаётъ въ Ойвахъ радость и ликование. Врагъ прогнанъ, опасность миновала: граждане вспоминаютъ съ гордостью и благодарностью пережитые трудные дни. Къ нимъ выходитъ ихъ новый царь Креонтъ. Онъ мудро и стойко, не отступая ни передъ какой личной жертвой, вывелъ свою отчизну изъ бѣдствія; зато онъ вѣрить въ себя и въ оказываемое ему богами покровительство, сознаетъ себя царемъ божьею милостью, не допускаетъ сомнѣнія въ томъ, что его слово — законъ. Свое слово относительно обоихъ братьевъ онъ тутъ же сообщаетъ старшимъ изъ гражданъ (младшимъ, т.-е. войску, оно было уже извѣстно); ни въ комъ не встрѣчаетъ оно отпора—врагъ своей отчизны одинаково ненавистенъ всѣмъ. Но вотъ является одинъ изъ представленныхъ къ трупѣ стражей и сообщаетъ тревожную вѣсть: оказывается, царское слово уже нарушено, въ предразсвѣтныя сумерки кто-то уже успѣлъ совершить надъ убитымъ символическій, но дѣйствительный обрядъ погребенія. Креонту ясно, что это—дѣло интригъ недовольной его воцареніемъ партіи; подъ страхомъ смерти приказываетъ онъ стражу доставить ему виновнаго, кто бы онъ ни былъ.

Граждане-представители общины всецѣло на сторонѣ своего царя; въ замѣчательной по своей философской глубинѣ пѣснѣ прославляютъ они «величайшее изъ чудесъ—человѣка», подчинившаго себѣ стихіи, восторжествовавшаго надъ всякой живой тварью на сушѣ, на морѣ и въ поднебесѣхъ, создавшаго гражданскую общину и управляющій ею законъ. Да, законъ—это вѣнецъ человѣческихъ стремленій, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ предѣлъ; благословенъ, кто соблюдаетъ законъ, подчиняя ему стремленія своей души; проклятъ кто его нарушаетъ!.. Итакъ, законъ — предѣлъ всему; ему же, повидимому, предѣла нѣтъ.

IV.

Не успѣло раздаться послѣднее слово этого ученія, какъ уже появляется его послушница въ лицѣ пойманной стражемъ и ведомой къ царю Антигоны. Старцы ошеломлены ея прихо-

домъ; самъ Креонтъ недоумѣваетъ: „Ты совершила это дѣло?“ ... „Ты знала, что оно было запрещено?“ ... Да, совершила; да, знала; она не хочетъ прибѣгать къ уверткамъ, которыя бы ослабили значеніе ея протеста. „Не Зевсъ былъ тотъ, кто мнѣ объявилъ этотъ запретъ, и не божественная Правда издала для смертныхъ такіе законы; твои указы бессильны противъ предвѣчныхъ началъ, вложенныхъ богами въ сердце человѣка“ ... Тщетно старается Креонтъ ей доказать—онъ вѣдь не тирань, а представитель разумнаго принципа власти—что его указъ былъ справедливъ, карая заслуженной враждой врага своей родины; смерть унесла врага, оставляя лишь брата, и „не участіе во враждѣ—участіе въ любви мой удѣлъ“. Въ этихъ бессмертныхъ словахъ женскій принципъ любви провозглашенъ какъ протестъ противъ мужского принципа закона и опирающейся на законъ власти.

Призывается, какъ заподозрѣнная соучастница, Исмена; она готова раздѣлить участь сестры, но та отъ нея отрекается: „Ты избрала жизнь, я—смерть“. Ревниво оберегая полноту и исключительность своихъ правъ, молодая мученица требуетъ кары для себя одной, насмѣшливо, хотя и съ болью въ сердцѣ, осуждая на жизнь нерѣшительную сестру. Креонтъ велитъ пока увести обѣихъ и остается одинъ среди своихъ совѣтниковъ-старцевъ. Тѣ не могутъ найти исхода изъ сомнѣній, въ которыя ихъ повергло все видѣнное ими; не рѣшаясь отказаться отъ своей вѣры во вседержавіе закона, они склонны приписать мятежный поступокъ Антигоны дѣйствию старинной вины, помутившей ясный разумъ ея рода, и смиренно преклоняются передъ мощью Зевса, которая одна не обуревается гибельнымъ напоромъ враждебныхъ силъ.

У.

Не бездушнымъ деспотомъ изобразилъ поэтъ своего Креонта: въ его лицѣ онъ далъ своей героинѣ достойнаго противника. Его образъ мыслей покоится на разумномъ основаніи, и его послѣдовательность не лишена героизма. Антигона была ему дорога, какъ невѣста его единственнаго оставшагося въ живыхъ сына—второго онъ уже принесъ въ жертву за свою

родину въ самый разгаръ войны; тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ и ея пожертвовать, чтобы только остался неизблемымъ принципъ законной власти, который онъ олицетворяетъ. Съ этимъ рѣшеніемъ онъ встрѣчаетъ и сына, когда тотъ, взволнованный, приходитъ просить его за осужденную невѣсту.

Приходитъ онъ, впрочемъ, не только съ просьбой, но и съ извѣстіемъ—извѣстіемъ тревожнымъ и внушительнымъ. Оказывается, что царь уже не пользуется единодушнымъ сочувствіемъ своихъ подданныхъ; въ общинѣ произошелъ расколъ, самоотверженная дѣвушка увлекла за собою сердца, обаяніе закона поблекло, его затмило какое-то другое начало, но какое—этого онъ самъ хорошенько сказать не умѣетъ. Креонтъ непреклоненъ. Община! развѣ общинѣ его учить, его, царя божіею милостью? И его собственный сынъ заодно съ тѣми, которымъ бы хотѣлось расшатать его престолъ? Значить, и его обольстилъ женскій принципъ, и онъ слуга женщины? Нѣтъ; „Антигона умретъ“—таково его безповоротное рѣшеніе.—„Хорошо!“—воскликаетъ его сынъ:—„она умретъ и—своей смертью еще кого-то погубить“. Въ отчаяніи онъ уходитъ, оставляя отца и старцевъ. Тѣ потрясены происшедшимъ: ихъ сердце болитъ, но ихъ умъ прояснился. Они извѣрились во вседержавіи закона; „Любовь, непобѣдимую въ борьбѣ“, прославляетъ ихъ пѣснь, „Любовь, возсѣдающую участницей во власти среди великихъ нравственныхъ началъ“. Да, любовь должна побѣдить, но современемъ; а пока ведутъ на смерть ея великодушную заступницу и проповѣдницу.

VI.

Какъ затѣмъ въ героинѣ при мысли объ ожидающей ее въ мрачномъ подземельѣ голодной смерти пробуждается дѣвушка, какъ въ ней, непосредственно передъ вѣчной разлукой, звучитъ струна жизни, напѣвающая ей про милый свѣтъ солнца, про ручей и рошу родной Оивы—этого здѣсь не пересказать. Героизмъ Антигоны отъ этихъ трогательныхъ жалобъ не страдаетъ; „за то принимаю я смерть, что воздала честь благочестію“—ея послѣднее слово. Но и героизмъ Креонта

не сломленъ: пусть отъ него отшатнулись и община, и собственная семья—зато онъ царь божьею милостью, зато Зевсъ, источникъ и покровитель власти, за него.

...Подлинно ли за него? Приходить вѣстникъ и толкователь его замысловъ на землѣ, вѣщій старецъ Тиресій; передъ нами первообразъ знаменательной сцены, много разъ впоследствии повторенной—столкновенія жреца и царя, представителя духовной и представителя свѣтской власти. Нѣтъ, Зевсъ не за Креонта; „ты дважды нарушилъ его заповѣдь: ты отнялъ у земли того, кто принадлежалъ ей; ты отправилъ подъ покровъ земли живую, которой мѣсто было среди живыхъ“. Еще минуту сопротивляется несчастный, всѣми оставленный царь: это вѣдь не Зевсъ говоритъ, а жрецъ, человѣкъ, подкупленный, вѣроятно, его врагами... Но онъ самъ уже не вѣрить своимъ словамъ; усталый и одинокій, онъ отказывается отъ дальнѣйшаго сопротивленія, идетъ исправить свою двойную вину. Уже поздно: Антигона сама себя умертвила; ея женихъ умираетъ на глазахъ своего отца; смерть послѣдняго сына сводитъ въ могилу и его преданную, безотвѣтную мать; сила власти погребена подъ развалинами счастья!

VII.

Конфликтъ власти и совѣсти, закона и любви не былъ раньше изображаемъ въ поэзіи; Антигона, какъ первая мученица, имѣетъ право соединить свое имя съ идеей, которую она осватила своей смертью. Въ древности она достигла хоть того, что въ человѣческой мысли окрѣпло сознаніе предѣловъ государственной власти и государственнаго закона; если, согласно опредѣленію лучшихъ мыслителей древности, „законъ есть высшій разумъ (*ratio summa*), приказывающій дѣлать правильное и запрещающій дѣлать противоположное“, то великая нравственная проблема не была этимъ рѣшена практически, но были, по крайней мѣрѣ, пресѣчены пути къ неправильному и безнравственному ея рѣшенію. Въ новыя времена и этотъ успѣхъ былъ потерянъ; Антигона много и много разъ была ведена на смерть, не только на городскихъ площадяхъ

и въ государственныхъ темницахъ, но—что еще хуже—и въ тихихъ умственныхъ лабораторіяхъ мыслителей и писателей. И можемъ ли мы утверждать, что ея мартирологъ уже кончился? Если припомнить, какъ недавно, сравнительно, она получила право возвысить свой голосъ, вновь произносить тѣ святыя слова, которыя она, болѣе чѣмъ двадцать вѣковъ назадъ, безпрепятственно произносила съ аѳинской сцены, то не весело становится на душѣ, и не безъ сомнѣнія спрашиваешь себя: будетъ ли хоть наступающій двадцатый вѣкъ принадлежать Антигонѣ?

ПЕРВОЕ СВѢТОПРЕСТАВЛЕНІЕ.

(Дек. 1899).

Досужей головѣ угодно было предсказать намъ кончину нашего брэннаго міра къ первымъ числамъ благополучно истекшаго нынѣ ноября. Хотя такіа прорицанія повторяются періодически и ихъ исходъ неизмѣнно одинъ и тотъ же, тѣмъ не менѣе праздная выдумка, о которой идетъ рѣчь, не осталась безъ вреднаго вліянія: благодаря безсовѣстной спекуляціи, не постыдившейся обратиться въ источникъ наживы безпросвѣтлую тьму, въ которой понынѣ пребываетъ пугливая душа нашего народа, вѣсть о предстоящемъ свѣтопреставленіи получила широкое распространеніе среди деревенскаго люда. Угнетенные повторяющимися недородами крестьяне приняли ее, какъ нѣчто естественное; она шла навстрѣчу той мрачной теодицеѣ, на которую наводила ихъ умы жестокость мачехи-земли за послѣдніе годы. „Оттого-то“, покорно говорили они, „Богъ и не далъ намъ хлѣба, что и жить-то осталось недолго“. Но мѣстами теорія переходила и въ практику; бывали примѣры, что люди отказывались убирать урожай со своихъ полей, ссылаясь на то, что пользоваться имъ все равно не придется. Хватилась, наконецъ, кое-гдѣ и мѣстная администрація; по ея настоянію книгопродавцы обязались не продавать болѣе смущающихъ народъ вздорныхъ брошюрокъ. Теперь, когда страхъ прошелъ, явилась возможность подвести итоги совершившемуся.

Какъ-никакъ, а мысль объ ожидавшейся 1 ноября 1899 г. кончинѣ міра представляетъ собою идею—нелѣпую, не спорю,

но все-таки идею. Такія идеи, полезныя и вредныя, ежедневно массами рождаются, массами уносятся вѣтромъ общественнаго мнѣнія, подобно тому, какъ настоящій вѣтеръ массами уноситъ сѣмена ели и омелы, земляники и крапивы; въ обоихъ случаяхъ природа чрезмѣрно плодovита, заранее рассчитывая на гибель 99⁰/₁₀₀ своихъ дѣтищъ. Требуется совпаденіе пѣлаго ряда благопріятныхъ условій для того, чтобы этой гибели не было, чтобы сѣмя полезной или сорной травы могло взойти и развиться; только тамъ, гдѣ всѣ эти условія налицо — только тамъ это развитіе будетъ полнымъ. При наличности лишь нѣкоторыхъ условій сѣмя, быть можетъ, взойдетъ, но дастъ жалкую, тщедушную былинку, неспособную къ дальнѣйшему развитію; тѣмъ не менѣе, и эта былинка, и то крѣпкое, обильное благотворными или ядовитыми соками дерево — одно и то же растеніе: ботаникъ не дѣлаетъ между ними существеннаго различія, хотя бы глазъ обыкновеннаго человѣка и затруднился признать въ первой подобіе послѣдняго. — У насъ имѣлись именно только нѣкоторыя изъ требовавшихся условій, вслѣдствіе чего и результатъ получился, слава Богу, довольно жалкій. Имѣлось, во-первыхъ, основаніе для ожидаемаго событія въ народной вѣрѣ; имѣлся, во-вторыхъ, глубокой умственный мракъ съ его неизмѣннымъ спутникомъ — суевѣрнымъ страхомъ; имѣлось, въ-третьихъ, угнетенное настроеніе, вызванное повторяющимися неурожаями въ нашей преимущественно земледѣльской странѣ; имѣлось, наконецъ, въ-четвертыхъ, она сама, эта вздорная идея, какъ разъ тогда пущенная въ оборотъ гдѣ-то на западѣ и жадно подхваченная беззащитными барышниками у насъ. Благодаря всему этому и получился тотъ сравнительно скромный успѣхъ. Но представимъ себѣ, что къ этимъ условіямъ присоединились бы другія, при томъ не только наводненія, пожары, повѣтрія, войны, но и такія событія, о которыхъ и говорить страшно — и кто можетъ опредѣлить, какой результатъ получился бы тогда?

О такомъ-то случаѣ я и хотѣлъ бы побесѣдовать съ читателемъ въ настоящемъ очеркѣ. Я озаглавилъ его «Первое свѣтопреставленіе» — дѣйствительно, тотъ случай, который я имѣю въ виду, является первымъ, о которомъ исторія повѣствуетъ. О болѣе раннихъ не имѣлось опредѣленныхъ свѣ-

дѣвій. Правда, ходили слухи о томъ, что земля не разъ и въ прежнее время подвергалась періодическимъ катастрофамъ, всякій разъ уничтожавшимъ культуру ея жителей; Платонъ въ знаменитомъ мѣстѣ своего «Тимея» объясняетъ сравнительную юность греческой цивилизаціи тѣмъ, что благодаря этимъ катастрофамъ именно образованные жители визменностей уносились въ море разбушевавшимися стихіями, и только дикіе обитатели горъ оставались въ живыхъ. Но преданіе не сохранило памяти о нихъ, если не считать одной—всемірнаго потопа Девкаліона и Пирры; да и тутъ одно только голое событіе признавалось историческимъ фактомъ, а не его подробности, всецѣло потекшія изъ богатой фантазіи даровитыхъ поэтовъ. Та эпоха, напротивъ, о которой говорю я, пришлась въ ясный полдень исторической жизни человѣчества; оно не только пользовалось всѣми благами культуры, но и достигло въ ней такого высокаго уровня, какого не знало впослѣдствіи въ теченіе многихъ вѣковъ; его пытливая мысль сѣумѣла освободиться отъ всѣхъ оковъ, которыми вѣковая традиція сдерживала раньше свободу ея движеній; и тѣмъ не менѣе совпаденіе всѣхъ вышеупомянутыхъ условій было такъ чудесно, такъ подавляюще, что не только слѣпая чернь, но и лучшіе, просвѣщеннѣйшіе люди тогдашняго времени подчинились его силѣ, увѣровали въ недалекій конецъ міра и сдѣлались распространителями этой вѣры среди своихъ соотечественниковъ. Эпоха эта—та (и это совпаденіе далеко не случайно), которая непосредственно предшествовала началу нашей эры.

I.

Первымъ и важнѣйшимъ условіемъ была и здѣсь религія и та опора, которую въ ней находила вѣра въ предстоящій конецъ міра. Это условіе мало кому извѣстно; насколько знамениты мессіанскіе элементы іудаизма и ихъ роль въ исторіи возникновенія и распространенія христіанской вѣры, настолько забыты аналогичныя явленія въ области античнаго язычества. Старинная церковь объ этомъ судила иначе: въ третьемъ стихѣ своей заупокойной пѣсни:

Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla
Teste David cum Sibylla—

она рядомъ съ благочестивымъ царемъ Израиля называетъ вѣщую дѣву-язычницу какъ пророчицу того дня гнѣва, который развѣтъ по пространству пепель истребленнаго мірозданія.

Образъ Сивиллы выросъ на почвѣ религіи Аполлона, которая въ свою очередь была развитіемъ и реформой еще болѣе древней и глубокомысленной религіи Зевса. Послѣдняя исходила изъ представленія о царившемъ нѣкогда на землѣ «золотомъ вѣкѣ», когда не было еще ни труда, ни войны, ни грѣха, когда мать-Земля съ материнской нѣжностью заботилась о человѣкѣ, давая ему и пищу, и одежду, и знаніе—да, и знаніе въ той, къ счастью, незначительной долѣ, въ которой оно было ему нужно для блаженнаго, хотя и безцѣльнаго бытія. Изъ этого состоянія вырвалъ людей Зевсъ; возмутившись противъ Земли и ея силъ-Титановъ и поборовъ ихъ, онъ повелъ чело-вѣчество по новому пути. Трудъ былъ провозглашенъ условіемъ и знанія, и жизни; но трудъ повелъ за собою частную собственность; частная собственность — споры изъ-за нея, насиліе, войну; насиліе съ войной породили неправду, преступленіе, грѣхъ. Это постепенное ухудшеніе условій жизни и нравовъ чело-вѣчества древніе изображали картинно въ рядѣ послѣдовательныхъ «вѣковъ» — серебрянаго, мѣднаго и желѣзнаго—имена которыхъ были подсказаны, кромѣ сравнительной оцѣнки металловъ, также и смутными воспоминаніями о давно-прошедшихъ до-историческихъ эпохахъ. Важнѣйшимъ «событіемъ» въ этомъ постепенномъ паденіи чело-вѣчества было послѣднее, появленіе среди него «неправды». Уже раньше легкоживущіе боги почти всѣ оставили многослезную обитель людей; теперь ее покинула и послѣдняя изъ небожительницъ, божественная Правда. Оскорбленная преступностью чело-вѣческаго рода, святая дѣва поднялась на небо, гдѣ и пребываетъ — какъ позже учили — понынѣ, витая среди небесныхъ свѣтилъ подъ видомъ созвѣздія Дѣвы. Что же касается покинутого ею людскаго рода, то, разъ отдавъ себя во власть неправды, онъ этимъ самымъ обрекъ себя на гибель; такъ-то предстоящее въ отдаленномъ будущемъ истребленіе чело-вѣческаго рода, какъ

нравственная необходимость, подтвердило *метафизическую* необходимость гибели царства Зевса и боговъ. Метафизическая же необходимость основывалась на неоспоримомъ законѣ, что все имѣвшее начало должно имѣть и конецъ; царство Зевса основанное на развалинахъ царства Земли путемъ побѣды надъ ея силами-Титанами, погибнетъ отъ Земли же и ея силъ-Гигантовъ; несчастный исходъ боя Гигантовъ долженъ положить конецъ тому, чему положилъ начало счастливый исходъ боя Титановъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ содержаніе мрачной религіи Зевса, древнѣйшей религіи не только грековъ, но и германцевъ, и вѣроятно другихъ арійскихъ племенъ, включая и славянское. Правда, въ отдаленной перспективѣ за гибелью открывалась возможность новаго начала, новой чистой жизни, но эта перспектива именно вслѣдствіе своей отдаленности врядъ-ли могла служить дѣйствительнымъ утѣшеніемъ. Человѣчество чѣмъ дальше, тѣмъ страстнѣе стало ждать спасителя и искупителя, который бы отвратилъ тяготѣющую надъ богами и человечествомъ гибель, истребилъ сѣмя грѣха, вернулъ дѣву-Правду съ эмпирея на землю. Такое ожиданіе никогда не бываетъ тщетнымъ; желанный спаситель и искупитель явился, наконецъ, въ образѣ Аполлона. Новая религія Аполлона принесла богамъ миръ съ Землею и обезпеченіе дальнѣйшаго ихъ царства.—Зевсъ, говорила она, уже сразился съ Гигантами, покорилъ ихъ и съ тѣхъ поръ царствуетъ безбоязненно навѣки; людямъ же она принесла очищеніе отъ грѣховъ, устраняя такимъ образомъ, нравственную необходимость ихъ истребленія. Такова была реформа Зевсовой религіи религіей Аполлона.

Но реформы и реформаціи по самому существу элементовъ, съ которыми имъ приходится считаться, не бываютъ полными. Старыя вѣрованія въ той или другой формѣ продолжаютъ тлѣть подъ золой, изрѣдка вспыхивая зловѣщимъ пламенемъ; компромиссы, извращающіе въ теоріи чистоту новаго ученія, оказываются на практикѣ необходимыми. Пусть Аполлонъ принесъ людямъ очищеніе отъ грѣха; глядя другъ на друга и на себя, они безъ труда убѣждались, что неправда продолжаетъ жить среди нихъ, что лучезарная дѣва попрежнему пребываетъ въ безстрастномъ, безгрѣшномъ эфирѣ. Это убѣжденіе не могло не отразиться и на догматахъ Аполло-

новой религіи; да, Аполлонъ принесъ людямъ очищеніе,—въ этомъ сомнѣваться было нечестиво, — но гибель человѣчества была имъ лишь отсрочена: хорошо и то, что у стараго змѣя не вырастаютъ новыхъ головъ. Самъ же онъ не сраженъ; тому грѣху, который когда-то запятналъ человѣчество и изгналъ дѣву-Правду, искупленія нѣтъ. Придетъ время—и онъ поглотитъ родъ людской; но затѣмъ онъ самъ погибнетъ отъ свѣтлоликаго бога, вернется дѣва-Правда, вернется золотой вѣкъ. Когда же это будетъ? Не скоро... такъ, по истеченіи «великаго года»; до этого дня ни мы, ни наши дѣти, ни внуки не доживутъ.—Ну и отлично; значить можно быть спокойнымъ.

Но кто же были пророки и проповѣдники этой новой религіи? Въ точности мы себѣ не можемъ составить представленія объ организаціи ея пропаганды; знаемъ, однако, что не послѣднюю роль играли въ ней женщины-пророчицы. Женщина ближе къ природѣ, т.-е. къ Землѣ, чѣмъ мужчина; у нея эмоціональное начало болѣе подчиняетъ себѣ интеллектъ, чѣмъ у него; ее преимущественно фантазія всѣхъ народовъ надѣляетъ даромъ вѣщей мысли, исходящей отъ Земли. Вотъ почему мы встрѣчаемъ вѣщихъ дѣвъ постоянными спутницами религіи Аполлона въ ея побѣдоносномъ шествіи съ востока на западъ. Зовутся онѣ *Сивиллами*—темное, не поддающееся объясненію имя, быть можетъ, даже не греческаго, а восточнаго происхожденія. Древнѣйшая изъ нихъ это — троянская Сивилла, она же и Кассандра. Преданіе, предваряя ея роль, какъ пророчицы гибели человѣчества, представляетъ ее вдохновенной дѣвой, предсказавшей Пріаму паденіе его царства. Но рассказъ о троянской войнѣ несовмѣстимъ съ представленіемъ, что троянцамъ ихъ участь была извѣстна заранѣе; видно имъ было о ней сказано, но они пророчицѣ не повѣрили. Но почему же не повѣрили? И этому миеотворная фантазія грековъ нашла объясненіе; вотъ слова, въ которыхъ она сама у Эсхила повѣствуетъ хору аргосскихъ старцевъ о своемъ несчастіи (Агам. 1198 сл., пер. Майкова):

Хоръ.

Мы дивимся,

Какъ ты пришла изъ-за моря—и знаешь,

Какъ будто видѣла все, что здѣсь было.

Касс. Мнѣ даръ всевидѣнія данъ Аполлономъ.

Хоръ. Онъ благосклоненъ былъ къ тебѣ? Любилъ?

Касс. Донныи стыдъ мнѣ былъ бы въ томъ сознаться.

Хоръ. Достоинство хранимъ мы въ счастье строже!

Касс. Любилъ... и требовалъ моей любви.

Хоръ. И ты его порывамъ уступила?

Касс. Дала обѣтъ, но не сдержала слова.

Хоръ. Ужъ получивъ сперва даръ прощанья?

Касс. Ужъ гибель я предсказывала Тротъ.

Хоръ. И гнѣвъ его тебя не поразилъ?

Касс. Ужасный гнѣвъ: никто не сталъ мнѣ вѣрить!

Родственнаго характера былъ миѳъ, рассказываемый про самую знаменитую изъ Сивиллъ — если не считать дельфійской Пифи, которая, въ сущности, была той же Сивиллой — про эриерейскую (изъ гор. Erythrae въ Малой Азій). Когда Аполлонъ требовалъ ея любви, она, въ свою очередь, потребовала, чтобъ онъ даровалъ ей столько лѣтъ жизни, сколько песчинокъ на эриерейскомъ взморьѣ. Аполлонъ исполнилъ ея желаніе, но подъ условіемъ, чтобы она никогда не видѣла болѣе родной земли. Тогда она поселилась въ италійскихъ Кумахъ, граждане которыхъ окружили ее большимъ почетомъ, какъ пророчицу и любимицу ихъ главнаго бога. Годы проходили за годами, поколѣнія умирали за поколѣніями, одна только Сивилла не знала смерти; но, состарившись и одряхлѣвъ до послѣднихъ предѣловъ, она сама стала тосковать по ней; — слишкомъ поздно убѣдилась она въ своей роковой ошибкѣ, что, прося бога о дарованіи долгой жизни, она забыла попросить его продолжить также ея молодость. Наконецъ, куманцы сжалились надъ нею и, зная объ условіи, подъ которымъ ей дана была долговѣчность, послали ей письмо, запечатанное, по старому обычаю, глиной. Глина была изъ эриерейской земли; увидѣвъ ее, Сивилла испустила духъ. Но ея вѣщій голосъ не умеръ вмѣстѣ съ нею; и послѣ ея смерти онъ продолжалъ слышаться въ пещерахъ вулканической куманской земли, одна изъ которыхъ извѣстна и нынѣ подъ именемъ «грота Сивиллы». И еще въ позднія времена память о Сивиллѣ жила въ нѣсколько странной игрѣ куманскихъ дѣтей, — если только это была игра, — о которой намъ рассказываетъ современникъ императора Нерона, Петроній. Посреди комнаты (повидимому) свѣшивалась бутылка; дѣти, окружая

бутылку, спрашивали: „Сивилла, чего хочешь?“ — голосъ изъ бутылки отвѣчалъ: „умереть хочу“.

Эта эриерейско-куманская Сивилла представляетъ для насъ особый интересъ: благодаря ей вѣра въ предстоящую, черезъ опредѣленное число лѣтъ, гибель человѣческаго рода была перенесена изъ Греціи въ Римъ. Да, въ Римъ; объ этомъ существовало особое, небезызвѣстное и нынѣ преданіе. Къ царю Тарквинію Гордому явилась однажды таинственная старуха и предложила ему купить, за очень высокую цѣну, девять книгъ загадочнаго содержанія. Царь разсмѣялся; тогда она бросила въ горѣвшій тутъ же огонь три книги изъ девяти и потребовала за остальные шесть ту же цѣну. Тотъ же пріемъ она повторила еще разъ; тогда озадаченный царь купилъ у нея послѣднія три книги за требуемую цѣну и, сложивъ ихъ въ подземельѣ Капитолійской горы, назначилъ особыхъ жрецовъ-толкователей ихъ мудренаго содержанія. Таинственная старуха была именно куманская Сивилла, а купленные царемъ три книги—знаменитыя впослѣдствіи «Сивиллины книги». Смыслъ всего преданія заключается, разумѣется, въ фактѣ, что вѣщія книги Сивиллы были изъ Кумъ перенесены въ Римъ. Перенесены же онѣ могли быть только вмѣстѣ съ культомъ того бога, который былъ залогомъ ихъ достовѣрности—съ культомъ Аполлона. Такимъ образомъ религія лучезарнаго бога, родиной которой была давно разрушенная Троя, нашла себѣ, наконецъ, пріютъ въ Римѣ; на этомъ преемствѣ основывается, не говоря о прочемъ, и столь знаменательное вѣрованіе: «Римъ — вторая Троя».

Сивиллины книги стали скрижалями судьбы римскаго государства; къ нимъ обращались въ тревожныя и тяжелыя минуты, чтобы узнать, какими священнодѣйствіями можно умиловить угрожающій Риму или уже разразившійся надъ нимъ гнѣвъ боговъ. Конечно, предсказанія Сивиллы были даны въ самой общей формѣ, безъ именъ; дѣломъ жрецовъ было рѣшать, какое прорицаніе соотвѣтствуетъ данному случаю. Намъ теперь легко смѣяться надъ этимъ способомъ предотвращенія катастрофъ: въ Римѣ тоже наступила своя просвѣтительная эпоха, когда надъ нимъ стали смѣяться. Но смѣхъ—смѣхомъ, а заведенные предками обряды должны были быть исполняемы;

на этотъ счетъ даже между просвѣщеннѣйшими людьми сомнѣній быть не могло. Тотъ самый вельможа, который въ разговорѣ съ Цицерономъ подъ прохладной сѣнью тускуланскихъ чинаръ, промѣнявъ торжественную римскую тогу на удобный греческій плащъ, вышучивалъ Сивиллу и ея причудливыя пророчества,—онъ, какъ *quindecimvir sacrorum*, очень серьезно, развернувъ старинныя книги, въ спорѣ со своими коллегами рѣшалъ важный вопросъ, сколько овецъ заклать Діанѣ по поводу замѣченнаго и доложеннаго ариційской бабой тревожнаго знаменія, а именно, что сидѣвшая на священномъ деревѣ ворона заговорила человѣческимъ голосомъ. И въ этомъ даже не было никакого лицемѣрія; любовь къ родному городу и его величію естественно переносилась и на его вѣрованія и все прочее. Сколько Скавровъ, Мессалъ, Пизоновъ, Марцелловъ на этомъ самомъ стулѣ занималось рѣшеніемъ тѣхъ же или такихъ же вопросовъ! Итакъ, квириты, смѣйтесь сколько угодно въ Тускулѣ, но на Капитоліи сохраняйте степенный и сосредоточенный видъ.

А впрочемъ... пришло время, когда и въ Тускулѣ стало не до смѣха.

II.

Кончина міра была предсказана Сивиллой къ исходу «великаго года». Срокъ этотъ былъ такой отдаленный, что на первыхъ порахъ никто имъ не интересовался. Когда же, по истеченіи многихъ столѣтій, вопросъ о немъ получилъ научный, хронологическій интересъ, то оказалось, что беспокоиться о немъ было уже поздно. Научный интересъ... да; только наука, методы которой были пущены въ ходъ при рѣшеніи нашего вопроса, была довольно своеобразна, представляя собой странную смѣсь метафизики и эмпиріи, міеологіи и астрономіи. А именно: было рѣшено, что «великій годъ» равенъ совокупности четырехъ вѣковъ, золотого, серебрянаго, мѣднаго и желѣзнаго. Ближайшей задачей было опредѣлить продолжительность такого «вѣка»; рѣшили, что таковымъ должна считаться максимальная продолжительность человѣческой жизни (на это рѣшеніе наводило самое значеніе греческаго слова, соотвѣт-

ствующаго русскому «вѣкъ»). Итакъ, спрашивалось, какова же максимальная продолжительность человѣческой жизни; на основаніи довольно недостаточной, повидимому, статистики ее опредѣлили въ 110 лѣтъ. Такимъ образомъ, «великій годъ» оказался равнымъ 440 годамъ; астрономы подтвердили этотъ результатъ указаніемъ на то, что какъ разъ въ этотъ періодъ времени всѣ планеты возвращаются къ своему первоначальному положенію. Все это было въ высшей степени утѣшительно. Вѣдь Сивилла была современницей троянской войны: ея жизнь, такимъ образомъ, совпадала съ началомъ XII вѣка до Р. Х.; къ эпохѣ, о которой мы говоримъ—эпохѣ александрійской учености, III-му и II-му вѣку до Р. Х.—назначенный ею 440-лѣтній срокъ давно уже истекъ. Стало быть, волноваться было нечего.

Такимъ-то образомъ легкомысленная, жизнерадостная Греція освободилась отъ кошмара, которымъ предсказаніе Сивиллы ей угрожало; не такъ легко отнестся къ этому дѣлу Римъ. Происходило это, безъ сомнѣнія, оттого что Сивиллины книги были національной его святыней, а Троя, родина Сивиллы, считалась какъ бы пра-Римомъ. Непогрѣшимость приписываемыхъ вѣщей дѣвъ оракуловъ была краеугольнымъ камнемъ религіозной жизни римскаго народа; нѣтъ, ужъ если кто-нибудь ошибся, то не она, а скорѣе ея хитроумные толкователи-александрійцы. Откуда взяли они, что подъ «великимъ годомъ» слѣдуетъ разумѣть четыре вѣка? Изъ Гесіода. Прекрасно. Но Гесіодъ самъ жилъ приблизительно четырьмя вѣками позже троянской войны и поэтому бѣльшаго числа вѣковъ знать не могъ; какъ же можно было на него ссылаться? А ужъ если «великій годъ» представлялъ изъ себя круглую сумму вѣковъ, то скорѣе всего десять... Мы не можемъ поручиться, что люди разсуждали именно такъ; но фактъ тотъ, что римскими жрецами-толкователями Сивиллиныхъ книгъ «великій годъ» былъ признанъ равнымъ десяти «вѣкамъ», т.-е. 1100 лѣтамъ. А если такъ, то, принимая во вниманіе время жизни Сивиллы, *слѣдовало ждать кончины міра въ теченіе перваго вѣка до Р. Х.*

И дѣйствительно, съ этого времени пугало свѣтопреставленія нависло надъ Римомъ. Правда, предсказанія Сивиллы

хранились въ тайнѣ; только коллегія 15 толкователей (квиндецимвировъ) имѣла доступъ къ нимъ, да и то только съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія сената. Но *этотъ* оравулъ слишкомъ близко затрогивалъ интересы всѣхъ, слишкомъ сильно дѣйствовалъ на воображеніе людей, видѣвшихъ тогда въ окружающемъ ихъ мірѣ гораздо болѣе загадокъ, чѣмъ видимъ ихъ мы теперь. Товарищамъ ли сенаторамъ, женѣ ли, вѣрному ли отпущеннику разболталъ свою тайну неосторожный жрецъ - квиндецимвиръ, мы не знаемъ; знаемъ только, что около середины перваго вѣка до Р. Х. сѣмя грозной идеи отдѣлилось отъ произведшаго его дерева и, гонимое вѣтромъ молвы, пошло летать по бѣлу-свѣту, въ поискахъ удобной къ его воспріятію почвы. Успѣхъ былъ обезпеченъ заранѣе; почва была воспріимчива уже тогда и съ каждымъ годомъ становилась воспріимчивѣе, и наше сѣмя не преминуло выказать ту свою замѣчательную всхожесть, которая не оставила его и понынѣ.

Что же это была за почва?

III.

...Такъ-то съ теченіемъ дней и великіи стѣны вселенной Рухнуть, и тлѣющій прахъ ихъ развалинъ наполнить пространство.

Пища обмѣномъ веществъ обновляетъ живыя созданья,

Пища имъ силу даетъ, ихъ отъ гибели *пища* спасаетъ.

Тщетное рвеніе! Живительный сокъ въ ослабѣвшія жили

Ужъ не течетъ, ужъ его не вливаетъ скупая Природа.

Да, ея старость настала; Земля, утомившись родами,

Лишь мелкоту создаетъ—да, Земля, всего сушаго мать,

Та, что животныхъ породъ родила исполнскія туши...

Какъ? иль ты думаешь, другъ, что съ поднебесья цѣпь золотая

Всѣхъ ихъ, одну за другой, потихоньку на землю спустила?

Иль что на берегъ скалистый морскія ихъ вынесли волны?

Нѣтъ: родила ихъ все та же Земля, что и нынѣ питаетъ,

Та, что и желтыя нивы, и сочныя винныя лозы

Собственной силой тогда создала намъ, смертнымъ, на пользу.

Ихъ и растимъ мы и ходимъ, и что же? Весь трудъ свой влагая,

Даромъ изводимъ воловъ мы, крестьянскую силу изводимъ,

Даромъ нашъ плугъ раздѣдаетъ земля; ужъ не кормить насъ поле:

Меньше становится жито, растетъ лишь лихая работа.

Чаще ужъ нахарь-старикъ, головою сѣдою качая,
 Стонетъ, что злая година весь трудъ его рукъ погубила;
 Прошлые дни вспоминая, что нѣкогда было, и нынѣ
 Что наступило,—онъ славить отповъ благодатные годы.
 Стонетъ предъ чахлой лозой виноградарь, и дни проклинаетъ
 Жизнь своей, и въ молитвѣ напрасной богамъ досаждастъ:
 „Да“, говоритъ, „въ старину благочестія болѣе было;
 „Такъ-то на мелкихъ надѣлахъ привольнѣе жили крестьяне,
 Нежели нынѣ, когда и земли, и скота стало больше“.

Вотъ—почва.

Приведенные стихи принадлежать одному изъ самыхъ талантливыхъ поэтовъ республиканскаго Рима — Лукрецію; ими кончается вторая книга его замѣчательной поэмы «О природѣ». Мы видимъ, италійская земля истощена; надѣлъ уже не въ состояніи прокормить сидящей на немъ семьи; набожный виноградарь видитъ въ повторяющихся недородахъ признаки гнѣва божія, вызваннаго упадкомъ благочестія среди людей—видно, голосъ Сивиллы до него еще не дошелъ. Въ лицѣ Лукреція наука идетъ его поучать; скажетъ ли она ему слово утѣшенія, разсѣетъ нависшія тучи унынія, подниметъ упавшій духъ? Нѣтъ. При міросозерцаніи виноградаря исходъ еще возможенъ: если боги гнѣваются на насъ за наше нечестіе—что-жъ, будемъ опять благочестивы, будемъ набожно обходить праздники, соблюдать посты, исправно умиловивлять Ларовъ омііаіомъ, полбою и кровью поросенка; вы увидите, всѣ дѣла пойдутъ лучше. Но наука безжалостно отрѣзала этотъ исходъ. „Бѣдный“, говоритъ Лукрецій,

...того онъ не знаетъ, что все постепенно дрихлѣетъ,
 Все совершаетъ свой путь,—путь къ тихой и мрачной могилѣ.

Научный детерминизмъ въ данномъ случаѣ сходилъ съ религіознымъ. Мы не можемъ сказать, зналъ ли Лукрецій о предсказаніяхъ Сивиллы, или нѣтъ: онъ былъ послѣдователемъ эпикурейской философіи, которая хотя и признавала боговъ, но не допускала никакого вмѣшательства съ ихъ стороны въ человѣческія дѣла, а стало быть—и предсказаній. Но важно было то, что эпикурейское ученіе о предстоящемъ разложеніи мірозданія было подтверждено симптомами изъ земледѣльческой жизни тогдашней Италіи, и что оно въ своемъ результатѣ

совершенно сходило съ пророчествомъ Сивиллы; отнынѣ уже не стыдно будетъ поэтамъ, воспитаннымъ въ тѣхъ же философскихъ традиціяхъ, какъ и Лукрецій, но менѣе рѣзкимъ и прямолинейнымъ, чѣмъ онъ,—преклониться передъ авторитетомъ мистической троянской пророчицы и сдѣлать свою поэзію носительницей ея идей. Но это случилось много позже, и Риму было суждено испытать не мало ужасовъ, прежде чѣмъ дѣло до этого дошло.

И теперь, впрочемъ,—мы ведемъ свой рассказъ съ начала, шестидесятихъ годовъ, — признаки были довольно тревожные. Италійская земля туго награждала за потраченный на нее трудъ; недороды сдѣлались періодическимъ явленіемъ. Они повели, какъ это бываетъ всегда, къ оскудѣнію деревни; обнищавые крестьяне стекались въ городъ Римъ. Тамъ они представляли изъ себя силу: не обладая даже ничѣмъ другимъ, римскій гражданинъ сохранялъ за собою одно сокровище, изъ-за котораго предъ нимъ должны были заискивать сильные того времени—свое право голоса. Только такой кандидатъ могъ рассчитывать на успѣхъ, который счумѣлъ заручиться поддержкой этого голоднаго и полунагого крестьянина-пролетарія. И дѣйствительно, онъ не замедлилъ постоять за себя: „помощь голодающимъ“ явилась быстро и внушительно, въ видѣ такъ называемыхъ „хлѣбныхъ законовъ“. Эти хлѣбные законы обязывали годовичныхъ магистратовъ производить въ хлѣбородныхъ провинціяхъ — Сардиніи, Сициліи, Африкѣ — закупки на казенный счетъ хлѣба для продажи по дешевой цѣнѣ, а то и для даровой раздачи обѣднѣвшимъ римскимъ гражданамъ. Но эти законы были легче издать, чѣмъ исполнить. Какъ свезти закупленный хлѣбъ въ Римъ, когда моря кишѣли пиратами, когда даже италійскія гавани и побережья страдали отъ ихъ нападений? И на какія средства его закупать, когда самыя доходныя провинціи, весь благодатный Востокъ находился въ рукахъ самаго опаснаго врага Рима, царя Митридата? Такъ-то законы оставались законами, а хлѣбъ былъ дорогъ, и народъ голодалъ. Онъ безъ труда понялъ, что требованія чести римскаго знамени тождественны съ его собственными насущными интересами и, поэтому, всей душой отдался человѣку, котораго онъ считалъ способнымъ позаботиться и о тѣхъ, и о другихъ; а

этимъ человѣкомъ былъ Помпей. Онъ общалъ народу освободить его и отъ пиратовъ, и отъ Митридата, если его облекутъ съ этой цѣлью сверхзаконными, исключительными полномочіями; онъ, — что было много труднѣе, — сумѣлъ заставить народъ повѣрить его обѣщаніямъ, увѣровать въ него и его счастье; онъ, наконецъ — что было труднѣе всего — исполнилъ данное народу слово, притомъ въ столь короткій срокъ, что и друзья его были удивлены, и враги ошеломлены. Обо всемъ этомъ говорится въ извѣстной рѣчи Цицерона „Объ избраніи Помпея полководцемъ“. Многіе ее читали, но многіе ли догадывались о томъ, какъ она интересна, если ее разсматривать на фонѣ всей римской жизни тѣхъ временъ?

Слово было сдержано: хлѣбъ разомъ подешевѣлъ. Римъ свободнѣе вздохнулъ; можно было пока не думать о пророчествѣ Сивиллы. Одно было тревожно во всемъ этомъ дѣлѣ — само условіе оказанной Помпеемъ помощи, данныя ему сверхзаконныя, исключительныя полномочія. Благодаря имъ, въ близкой перспективѣ показался призракъ единовластія; а этотъ призракъ, подобно всему, что происходило и готовилось въ жуткую эпоху пятидесятихъ годовъ, былъ на-руку Сивиллѣ.

IV.

Сивилла жила (или предполагалась жившей) въ тѣ времена, когда не было другой формы правленія, кромѣ царской; не удивительно, поэтому, что у нея царь, какъ представитель общины, встрѣчался нерѣдко. На первый взглядъ могло бы показаться, что это одно должно было повредить ей, какъ первой пророчицѣ судебъ республиканскаго Рима; на дѣлѣ же неудобства были гораздо меньше. Обычныя прорицанія Сивиллы касались умиловиственій, очищеній и т. д. и требовали, такимъ образомъ, отъ царя исполненія чисто-религіозныхъ обрядовъ; а для такого рода дѣлъ у римлянъ во всѣ времена былъ свой „царь“ — почтенный, но совершенно устраненный отъ политики *rex sacrificulus*. Имя было сохранено, сущность измѣнена; таковъ былъ благочестивый обманъ, совершенный римскимъ народомъ по отношенію къ своимъ богамъ, — въ жи-

даніи того времени, когда Августъ пустилъ въ ходъ ту же хитрость противъ самого римскаго народа.

Наличность этого номинальнаго „царя“ позволяла римлянамъ въ обыкновенное время приводить въ исполненіе указанія Сивиллы безо всякой опасности для республиканскаго строя государства; но ея предсказаніе о концѣ міра было таково, что это предохранительное средство оказалось недостаточнымъ. Свѣтопреставленію должны были предшествовать не одни только грозныя знаменія, ниспосланныя богами, но и тяжелыя, кровопролитныя войны; пророчица видѣла свой народъ въ борьбѣ съ разрушительнымъ натискомъ вражеской рати, видѣла какъ онъ, то побѣждая, то отступая, отбивался отъ варваровъ, — и вездѣ *царь* побѣждалъ, *царь* отступалъ, *царь* собиралъ вокругъ себя своихъ вѣрныхъ воиновъ, чтобы отсрочить до послѣдней возможности печальное рѣшеніе рока. Что было дѣлать съ этимъ предсказаніемъ? Было болѣе чѣмъ ясно, что оно было совершенно непримѣнимо къ невоинственному и безсильному царю-жрецу, поставленному предками, чтобы отвести глаза богамъ; нѣтъ, тотъ царь, о которомъ говорила Сивилла, былъ настоящимъ царемъ, вождемъ и властителемъ своего народа. Оставалось одно: скрывать отъ гражданъ антиреспубликанскій образъ мыслей Сивиллы. Его и скрывали; къ счастью, засѣданія коллегіи квиндецимвировъ были и безъ того закрытыми. Но правда, какъ это и естественно, то и дѣло просачивалась черезъ искусственную плотину тайны. Итакъ, кончинѣ міра должно предшествовать разрушеніе республиканскаго строя; Римъ подпадетъ сначала власти царя, а затѣмъ, подъ его предводительствомъ, пойдетъ навстрѣчу войнамъ и ужасамъ послѣднихъ дней; отнынѣ у людей той эпохи имѣется въ болѣе или менѣе близкой перспективѣ не одно только свѣтопреставленіе, но, какъ подготовленіе къ нему, и своего рода „появленіе антихриста“.

Кто же имъ будетъ?

Понятно, что этотъ вопросъ многихъ волновалъ; понятна также, что онъ долженъ былъ возбуждать очень противорѣчивыя чувства. Большинство римлянъ содрогалось при одномъ звукѣ имени гех, при чемъ наслѣдственная политическая антипатія въ нашу эпоху, вѣроятно, была приправлена и большей

или меньшей примѣсю суевѣрнаго страха. Но не забудемъ, что эта эпоха была въ то же время и просвѣтительной эпохой въ римской исторіи; я уже сказалъ, что многіе изъ образованныхъ людей были склонны смѣяться втихомолку надо всѣми вообще предсказаніями, не исключая и книги судебъ римскаго государства. Быть ли, или не быть свѣтопреставленію, это—вопросъ, рѣшеніе котораго можно было предоставить будущему; а вотъ вопросъ о царской власти—это дѣло другое. Пускай народъ узнаетъ, что царь намѣченъ рокомъ; это скорѣе заставитъ его примириться съ фактомъ, когда онъ совершится. Можно быть очень просвѣщеннымъ человѣкомъ и все-таки, ради высшихъ соображеній, охотно играть на суевѣрной стрункѣ народной души: это проявленіе политической мудрости было извѣстно древнимъ римлянамъ такъ же хорошо, какъ и намъ.

Первымъ замечтался Помпей. Онъ былъ уже облеченъ сверхзаконными полномочіями; усмиренный Востокъ, повергнувъ свои сокровища къ его ногамъ, уже встрѣчалъ его какъ царя надъ царями; въ его рукахъ была очень внушительная военная сила, между тѣмъ какъ безоружный Римъ не имѣлъ другого оплота, кромѣ чувства законности въ сердцахъ его гражданъ. Съ трепетомъ ждала Италія, чѣмъ кончится борьба въ душѣ ея могущественнаго военачальника; но въ концѣ концовъ исходъ борьбы оказался благополучнымъ. Помпей распустилъ свое войско и вернулся въ Римъ частнымъ человѣкомъ—вернулся для того, чтобы испытать одно разочарованіе, одно униженіе за другимъ. Ему не простили того, что призракъ царскаго вѣнца разъ показался надъ его головой, окружая ее яркимъ, хотя и непродолжительнымъ блескомъ.

Пришлось покорителю Востока искать союзниковъ для того, чтобы удержать хоть нѣкоторое значеніе въ государствѣ; и тутъ начинается то чудесное совпаденіе обстоятельствъ, которое, разрушая плоды просвѣтительной эпохи, открыло суевѣрію доступъ въ умы даже такихъ людей, которыхъ школа Эпикура должна была, кажется, предохранить отъ всякаго страха передъ таинственными силами и сверхъестественными явленіями. Дѣло въ томъ, что тотъ союзникъ, къ которому поневолѣ долженъ былъ обратиться Помпей, былъ не только самымъ способнымъ политикомъ и полководцемъ тогдашняго Рима, — онъ и по своему

происхожденію имѣлъ всѣ данныя для того, чтобы обратить въ свою пользу предсказаніе Сивиллы о римскомъ царѣ. Юлій Цезарь велъ свой родъ отъ древнихъ троянскихъ царей, потомковъ Ила, основателя Иліона; эта генеалогія, будучи много древнѣе самого Цезаря, возбуждала въ тѣ времена такъ же мало сомнѣній, какъ и этимологія, на которую она отчасти опиралась; Plus — Iulus — Julius; отъ Ила происходилъ Эней, отецъ Асканія-Іула, отъ Іула — Юліи Цезари. Мы видѣли, что вѣра въ троянское происхожденіе Рима была естественнымъ послѣдствіемъ переселенія троянской Сивиллы въ Римъ; но въ такомъ случаѣ было ясно, что благословеніе Сивиллы могло быть дано только Энею, перешедшему изъ Трои въ Италію и перенесшему туда троянскихъ боговъ; а если такъ, то оно по наслѣдству перешло къ его потомкамъ, къ Юліямъ. Если по слову Сивиллы Римъ долженъ былъ имѣть царя, то кто былъ къ этому сану болѣе приспособленъ, чѣмъ мужъ изъ крови Іула, потомокъ Ромула, основателя царственного города, столицы міра?

Цезарь предоставилъ народной молвѣ совершать свою тихую и вѣрную работу, а самъ сталъ заботиться о томъ, чтобы въ рѣшающій моментъ въ его рукахъ была достаточная фактическая сила. Съ этой цѣлью онъ отправился воевать въ Галлію; но война затягивалась, срокъ управленія этой провинціей близился къ концу, надо было добиться продолженія власти, а съ этой цѣлью расположить въ свою пользу какъ можно болѣе вліятельныхъ лицъ. И вотъ онъ для переговоровъ приглашаетъ въ Луку всѣхъ своихъ приверженцевъ; ихъ оказалось столько, что друзья республики ужаснулись. Ихъ голосъ слышится въ предостереженіи, которое вѣщатели въ эту самую минуту сочли полезнымъ дать растерявшейся римской знати по поводу одного изъ многочисленныхъ знаменій, кѣмъ-то гдѣ-то усмотрѣннаго. „Есть опасность“, — говорили они, — „что благодаря раздорамъ среди знати руководители государства поплатятся жизнью, что вслѣдствіе этого экономическія и военныя силы государства достанутся во власть одного человѣка, а затѣмъ послѣдуетъ... *deminutio*“. Это послѣднее слово не однихъ насъ озадачиваетъ; древніе часто пользовались скромными, мягкими словами для обозначенія страшнаго предмета. Въ данномъ случаѣ вѣщатели

избрали слово, означавшее «убыль, утрата, уменьшеніе», но разумѣли, повидимому, «конецъ».

Въ первый разъ предметъ всеобщей боязни получилъ такое ясное, можно сказать, официальное наименованіе. Цицеронъ, которому осложненія государственныхъ дѣлъ не давали высказывать свое мнѣніе вполнѣ открыто, ухватился, однако, за эту часть предсказанія вѣщателей, призывая сенатскую партію къ единенію и согласію. „Пусть эта взаимная вражда“, — говоритъ онъ въ своей рѣчи «Объ отвѣтѣ вѣщателей», — „исчезнетъ изъ нашего государства; тогда исчезнуть и всѣ эти страхи, которыми насъ пугаютъ. *Тогда этотъ змѣй, который то скрывается здѣсь, то, взвившись, бросается туда, разбитый и раздавленный погибнетъ*“... Что это за змѣй?—Увидимъ.

Напрасны были и предостереженія вѣщателей, и красно-рѣчивые призывы оратора; событія шли своимъ путемъ, медленно, но неумолимо. Черезъ нѣсколько лѣтъ вся Галлія была у ногъ Цезаря, а съ нею ему досталась и громадная денежная и военная сила; вскорѣ затѣмъ его легіоны перешли черезъ Рубиконъ, и поля Фессалии, Африки, Испаніи покрылись костями защитниковъ римской республики. Цезарь сталъ консуломъ, сталъ диктаторомъ; онъ фактически имѣлъ въ своихъ рукахъ всю силу царской власти; недоставало только ея имени и вѣшнихъ признаковъ.

Съ давнихъ поръ стремился онъ и къ нимъ. Болѣе двадцати лѣтъ назадъ развивалъ онъ народу, по поводу смерти одной родственницы, происхожденіе своего рода отъ древнихъ троянскихъ царей; основываясь на немъ, онъ ходилъ подчасъ, изъ уваженія къ старинѣ, въ красныхъ башмакахъ, ваковая обувь считалась царской. Послѣ его побѣды надъ врагами его статуя была поставлена на Капитоліи рядомъ со статуями царей. Такъ-то онъ мало-по-малу приучалъ своихъ согражданъ къ той роли, которую онъ рассчитывалъ играть среди нихъ; но они туго поддавались этой наукѣ, и когда консулъ Антоній въ 44 г. въ праздникъ Луперкалій осмѣлился, якобы отъ имени народа, предложить Цезарю царскій вѣнецъ, народъ встрѣтилъ это предложеніе ропотомъ и стономъ, и лишь торжественный отказъ чествуемаго вернулъ ему его прежнее благодушное настроеніе. Тогда рѣшились испытать крайнее средство: уговорили

квиндецимвировъ обнародовать предсказаніе Сивиллы—конечно, въ возможно благонамѣренной формѣ, безо всякаго намека на предстоящую послѣ избранія царя *deminutio*. „*Римъ нуждается въ царѣ для того, чтобы восторжествовать надъ своимъ главнымъ, вѣковымъ врагомъ — пареянами*“ — вотъ форма, въ которой слово Сивиллы могло быть пущено въ оборотъ безо всякихъ вредныхъ послѣдствій.

Да, надъ пареянами. Римъ заблуждался относительно враговъ, отъ которыхъ ему грозила опасность: не придавая важности сильнымъ и смѣлымъ племенамъ германцевъ, вѣчно враждовавшимъ между собою и призывавшимъ другъ противъ друга римскую власть, онъ съ тревогой обращалъ свои взоры на Востокъ, преувеличивая въ своемъ воображеніи могущество и выносливость сосѣдняго парейскаго государства. Дѣйствительно, смѣлые наѣзтники-стрѣлки парейскаго царя нанесли римской державѣ десять лѣтъ назадъ чувствительное пораженіе и все еще не были за это наказаны: смерть полководца Красса оставалась неотомщенной, взятые въ плѣнъ легіонеры, поженившись на пареянкахъ, воздѣлывали чужія поля на далекомъ Евфратѣ, римскіе орлы украшали дворецъ парейскаго царя. Мысль объ этомъ глубоко оскорбляла національную гордость Рима; но къ чувству негодованія примѣшивался и извѣстнаго рода суевѣрный страхъ. Если Риму суждено было погибнуть, какъ это говорила Сивилла, то, очевидно, пареянамъ въ этомъ дѣлѣ была предоставлена не послѣдняя роль; очевидно, они-то и представляли собой ту дикую, варварскую силу, которой предстояло восторжествовать надъ обреченной на смерть тысячелѣтней культурой. Да, Римъ погибнетъ, падутъ храмы Капитолія и форума, обрушатся дворцы Палатина и Каринъ, и дикій наѣзникъ-пареянинъ промчится по опустошенной площади царственного города, попирая священный прахъ Ромула звенящими копытами своего коня. Вотъ картина, мерещившаяся отнынѣ римлянамъ, когда они, вспоминая о вѣщемъ словѣ Сивиллы, старались облечь въ болѣе опредѣленные формы образъ предстоящаго въ близкомъ будущемъ разрушенія.

При этихъ условіяхъ планъ Цезаря былъ задуманъ недурно: пожалуй, римскій народъ не отказалъ бы въ царскомъ вѣнцѣ тому, кто освободилъ бы его отъ этого кошмара. И тутъ предпола-

галось соблюсти мудрую послѣдовательность: сначала властитель Рима хотѣлъ выступить царемъ только въ провинціяхъ, чтобы такимъ образомъ возвысить обаяніе свое и своего государства въ глазахъ враговъ; а затѣмъ, когда царскій вѣнецъ перестанетъ рѣзать глаза римскому солдату, можно было надѣяться, что этотъ солдатъ и въ гражданской тогѣ откажется отъ чрезвычайной чувствительности — тѣмъ болѣе, если первый римскій царь принесетъ своему городу въ даръ триумфъ надъ побѣжденнымъ и покореннымъ Востокомъ.

Вотъ какія мысли волновали диктатора и подвластный ему народъ въ весенніе мѣсяцы 44 года; будучи усердно распускаемы, онѣ произвели довольно важное дѣйствіе, подготавливая метаморфозу, имѣвшую совершиться лишь 10—20 лѣтъ спустя. Роль «царя» въ предстоящихъ событіяхъ раздвоилась: онъ былъ съ одной стороны предвѣстникомъ ожидаемой катастрофы, антихристомъ языческаго свѣтопреставленія, но, съ другой стороны, — освободителемъ своего народа, побѣдителемъ надъ лютымъ врагомъ. Кто знаетъ, быть можетъ, ему удастся, съ благословенія боговъ, вывести свой народъ невредимымъ изъ бѣдствія, подобно тому, какъ его родоначальникъ Эней вывелъ довѣрившихся ему людей и боговъ невредимыми изъ пламени горящей Трои?..

Мартовскія иды положили конецъ всѣмъ этимъ мечтаніямъ; призвавъ царскаго вѣнца оказался и этотъ разъ роковымъ для человѣка, чью голову онъ осынялъ. Цезарь палъ подъ ударами убійцъ: не стало царя изъ рода Іула, но не стало и намѣченнаго рокомъ освободителя римскаго народа.

V.

Событія, наступившія непосредственно послѣ убійства Цезаря, были таковы, что только очень крѣпкіе духомъ люди могли побороть въ себѣ увѣренность въ близости предстоящей гибели міра.

„Въ теченіе всего года, послѣдовавшаго за убійствомъ Цезаря“, говоритъ Плутархъ, „солнце было блѣдно и безъ лучей; тепло, отъ него исходящее, было незначительно и безсильно, въ воздухѣ чувствовалась какая-то мгла и тяжесть,

вслѣдствіе недостатка очищающаго теплорода; хлѣбъ, отцвѣтши, преждевременно вялъ и гибъ отъ холода окружающей среды“. Въ древнихъ разсказахъ о гигантахъ упоминалось и о томъ, что солнце должно потухнуть и исчезнуть въ пасти рокового змѣя, имѣющаго поглотить вселенную: народъ это помнилъ и съ тревогой смотрѣлъ на небесный сводъ въ ожиданіи новыхъ страшныхъ знаменій.

Его ожиданія не были обмануты. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда наслѣдники убитаго диктатора давали народу завѣщанныя имъ игры въ честь его божественной родоначальницы Венеры, съ наступленіемъ вечера на восточномъ небосклонѣ показалась непривычная «звѣзда-мечъ». Тотчасъ по рядамъ зрителей прошелъ крикъ «комета!»; тотчасъ появились вѣщатели, напомнившіе народу о страшномъ значеніи этого знаменія. „Дважды“, говорили они, „видѣлъ его Римъ: въ первый разъ междоусобная война Марія и Суллы, во второй разъ—Помпея и Цезаря послѣдовала за его появленіемъ. Оба раза должны мы были искупить его потоками римской крови“. Теперь комета появилась въ третій разъ, а число три имѣетъ роковое значеніе въ ударахъ судьбы. — Къ счастью, наслѣдникъ имени и славы убитаго, молодой Цезарь Октавіанъ, не растерялся: обращая въ свою пользу общераспространенныя вѣрованія, касавшіяся небесныхъ свѣтилъ и такъ называемыхъ катастеризмовъ (т.-е. перехода въ звѣзды душъ обоготворяемыхъ людей), онъ объявилъ новоявленную звѣзду душою самого Цезаря, который, такимъ образомъ, оказывался принятымъ въ сонмъ небожителей. Это заявленіе нѣсколько успокоило народъ, и онъ могъ съ большимъ спокойствіемъ смотрѣть на загадочное свѣтило, продолжавшее сіять еще въ теченіе шести дней; но разгорѣвшаяся вскорѣ затѣмъ третья междоусобная война подтвердила правильность первоначальнаго толкованія смысла «звѣзды-меча».

Еще тревожило было приключившееся въ томъ же году опустошительное наводненіе Тибра. Сильными западными вѣтрами воды славной римской рѣки были задержаны у ея устья, лежавшаго всего на 15 футовъ ниже ея уровня въ Римѣ; поднявшись, она пошла затоплять низменную часть своего лѣваго берега, которая была въ то же время самой оживленной и населенной частью Рима. Сначала она покрыла своими вол-

нами овощный и мясной рынки, лежавшіе на самомъ берегу: затѣмъ, вливаясь черезъ густо застроенную Тусскую улицу, что между Капитолійскимъ и Палатинскимъ холмами, она наводнила форумъ, подмывал его храмы и базилики, и остановилась не раньше, чѣмъ разрушила самый очагъ Рима, храмъ Весты. Если даже общественныя зданія не устояли противъ напора воды, то легко можно себѣ представить, что случилось съ многоэтажными ветхими домами Тусской, Новой и другихъ улицъ, по которымъ себѣ прокладывала путь разъяренная стихія. Несмѣтная толпа народа осталась безъ крова; она могла на досугъ, смотря съ римскихъ холмовъ на водное пространство у ихъ подножія, разсуждать о причинахъ и смыслѣ разразившагося бѣдствія. Установить его связь съ убійствомъ диктатора было не трудно; сама мифологія, преподносившаяся народу съ подмостковъ сцены, давала всѣ требуемыя разъясненія. Всѣ знали, что весталка Илія, она же и Рея Сильвія, мать Ромула и Рема, была въ то же время и родоначальницей Юліевъ Цезарей; что будучи впослѣдствіи брошена въ Тибръ, она стала супругой бога рѣки и съ тѣхъ поръ живетъ безсмертной нимфой въ его чертогахъ. Мудрено ли, что она вспылала гнѣвомъ при убійствѣ своего славнаго потомка? что Тибръ, ея преданный супругъ, уступая ея настойчивымъ просьбамъ, вызвался быть мстителемъ за убитаго?.. Не скоро забылъ римскій народъ это наводненіе, которое мы—и по его причинамъ, и по силѣ, и по произведенной имъ паникѣ—можемъ смѣло сравнить съ тѣмъ, жертвою котораго сдѣлалась наша столица въ ноябрѣ 1824 года; много лѣтъ спустя о немъ воспоминаетъ Горацій, говоря:

Мы видѣли какъ Тибръ, обороти течение
 Съ этрусскихъ береговъ, желтѣющей волной
 На памятникъ царя направилъ разрушенье,
 На Весты храмъ святой.
 Стенаньемъ Иліи на мщенье ополченный,
 Онъ лѣвымъ берегомъ волнуясь потекъ,
 Потекъ наперекоръ властителю вселенной,
 Услуживый потокъ ¹⁾).

¹⁾ Оды I 2. Выдержки изъ Горація приводятся въ (мѣстами исправленномъ) переводѣ Фета; выдержки изъ остальныхъ поэтовъ—въ моемъ.

Эти слова стоятъ у него въ очень интересной для насъ одѣ, имѣющей своимъ предметомъ именно ожидавшійся въ тѣ годы конецъ вселенной; наводненіе Тибра упоминается на-ряду съ другими знаменіями, заставлявшими опасаться второго всемірнаго потопа, повторенія того, который много вѣковъ назадъ истребилъ и обновилъ людской родъ при Девкаліонѣ и Пиррѣ:

Довольно ужъ отецъ и градомъ и снѣгами
 Всю землю покрывать, ничѣмъ не умолимъ;
 Ужъ подъ его рукой, краснѣющей громами,
 Треницетъ древній Римъ;
 Треницетъ и народъ, чтобъ Пиррину годину,
 Исполненную чудъ, опять не встрѣтилъ взоръ,
 Тотъ вѣкъ, когда Протей погналъ свою скотину
 Смотрѣть вершины горъ.
 И рыба втерлась тамъ въ визовыя вершины,
 Гдѣ горлицѣ лѣсной была знакома сѣнь,
 И плавать посреди нахлынувшей пучины
 Испуганный олень.

Темный народъ допускалъ возможность этого потопа, основываясь на ниспосланныхъ ему тревожныхъ знаменіяхъ; люди образованные обращались за совѣтомъ къ наукѣ. Отвѣтъ науки намъ сохраненъ въ очень любопытномъ мѣстѣ «изслѣдованій о природѣ» Сенеки (III 27). „Зададимъ себѣ вопросъ, какимъ образомъ, *когда наступитъ намѣченный рокомъ день всемірнаго потопа*, большая часть земли будетъ погребена подъ волнами: дѣйствующими ли въ океанѣ силами отдѣленнѣйшія моря будутъ подняты на насъ,—или пойдутъ непрерывные дожди и упорная зима, раздавивъ лѣто, выльетъ безконечное множество воды изъ разорванныхъ тучъ,—или земля, открывая все новые источники, обнаружитъ все большее и большее число рѣкъ,—или, наконецъ, будетъ не одна только причина зла, а всѣ пути одновременно къ нему поведутъ: вмѣстѣ и дожди пойдутъ, и рѣки станутъ расти, и моря, оставивъ свои мѣста, надвинутся на сушу, и всѣ силы соединятся для уничтоженія рода человѣческаго.—Справедливо послѣднее мнѣніе; нѣтъ ничего труднаго для природы, особенно если она работаетъ для собственной гибели. Въ началѣ жизни она бережетъ свои силы и проявляетъ себя въ медленномъ, ускользающемъ отъ взора ростѣ, но дѣло разрушенія творить быстро, напоромъ всей своей мощи...

Прежде всего будутъ лить непрекращающіеся дожди; безпросвѣтныя тучи покроютъ небо унылой пеленой, надъ землею будетъ стоять вѣчный туманъ и какая-то густая, влажная мгла вслѣдствіе отсутствія осушающихъ вѣтровъ. Отсюда болѣзни посѣвамъ; хлѣбъ, выколосившись до налива, сгніетъ на корню, а послѣ гибели того, что посѣяла рука человѣческая, болотныя травы заполнятъ всѣ поля. Вскорѣ затѣмъ и болѣе крѣпкія растенія уступаютъ злу: ложатся деревья, корни которыхъ размыло водой, не держатся ни лозы, ни кусты на топкой и размякшей почвѣ. И вотъ не стало ни хлѣба, ни травъ; наступаетъ голодъ, люди ищутъ своей первобытной пищи. Напрасно! падаютъ и дубы и всѣ другія деревья; до тѣхъ поръ ихъ на высокихъ мѣстахъ сдерживали скалы, въ разсѣлинахъ которыхъ они росли — теперь же и онѣ уже размыты, да и крыши, насквозь промокшія, сползаютъ со стропиль, фундаменты, до дна пропитанные водой, осѣдаютъ, вся почва превращается въ болото. Тщетно стараются подпереть шатающіеся зданія: вѣдъ и подпорки приходится прикрѣплять къ скользкимъ мѣстамъ, такъ какъ прочныхъ не осталось въ той грязи, изъ которой состоитъ почва. А тучи все гуще и гуще сплочиваются надъ землею, таетъ снѣгъ ледниковъ, выросшій въ теченіе столѣтій — и вотъ бурный потокъ, стекая съ высокихъ горъ, уноситъ и безъ того слабо державшіеся лѣса, скатываетъ расшатанныя въ своихъ основаніяхъ скалы, срываетъ хижины, а съ ними и ихъ хозяевъ, сплавляетъ стада; онъ уже разрушилъ меньшія строенія и унесъ то, что было на его пути, и теперь съ удесятеренной силой устремляется на болѣе значительныя преграды. Онъ опустошаетъ города, топить заключенныхъ въ свои стѣны жителей, не знающихъ, на что имъ жаловаться, на потопъ ли, или на разрушеніе — столь одновременны оба бѣдствія, и то, которое ихъ топить, и то, которое ихъ давитъ. А затѣмъ, принявъ въ себя еще нѣсколько другихъ потоковъ, онъ уже на далекое пространство заливаешь равнину. Въ то же время и рѣки, по природѣ своей широкія, задержанныя ливнями, выступаютъ изъ своихъ береговъ... А дожди, между тѣмъ, льютъ и льютъ, небо все гуще заволакиваетъ; прежде оно было облачно, теперь его покрыла сплошная ночь, ночь тревожная и страшная, прерываемая зло-

вѣщими огнями: часто сверкають молніи, бури бичуютъ море, теперь впервые увеличенное отъ прилива рѣкъ и не находящее себѣ мѣста. Оно надвигается на берега; потоки пробуютъ воспрепятствовать его выступленію и погнать обратно его приливъ, но въ большинствѣ случаевъ уступаютъ ему, точно задержанные неудобствомъ устья, и превращаютъ поля въ одно сплошное озеро. И вотъ уже все пространство залито водой, всѣ холмы погребены подъ волнами, всюду неизмѣримая глубина, лишь самые высокіе хребты горъ представляютъ возможность брода. Туда-то и бѣжали несчастные, взявъ съ собою женъ и дѣтей и стада; нѣтъ у нихъ средствъ сноситься между собой, такъ какъ вода наполнила всю низменность; лишь къ вершинамъ жмутся остатки рода человѣческаго, облегченнаго въ своемъ крайнемъ положеніи лишь тѣмъ, что его страхъ уже перешелъ въ какое-то тупое безчувствіе“.

Вотъ отзвуки наводненія, которое испыталъ Римъ въ 44 году, непосредственно послѣ смерти Цезаря. Оно, къ слову сказать, не ограничилось Римомъ: если Горацій, римлянинъ по воспитанію и связямъ, вспоминаетъ преимущественно о немъ, то транспаданецъ Virgilій сообщаетъ то же самое о своей родной рѣкѣ По. Его описаніе тоже интересно: положимъ, въ немъ много баснословнаго, но для занимающаго насъ вопроса и легенда имѣетъ свое значеніе. Богъ солнца, говоритъ этотъ поэтъ въ своей поэмѣ «О земледѣліи», тоже бываетъ предвѣстникомъ грядущихъ бѣдъ:

Часто онъ намъ предвѣщаетъ глухія волненія въ народѣ,
Скрытыхъ злодѣевъ обманъ и зародыши войнъ многокровныхъ.
Въ годъ, когда Цезарь погибъ, онъ изъ жалости къ падшему Риму
Мглою непросвѣтной покрылъ свой божественный ликъ лучезарный;
И ужаснулось людей нечестивое племя, и вопли
Всюду среди нихъ раздалися: *«То вѣчная ночь наступаетъ!»*

Поэма «О земледѣліи» была сочинена Virgilіемъ много спустя, когда страхъ уже прошелъ; вотъ почему онъ даетъ другое, болѣе безобидное толкованіе грозному знаменію, о которомъ, какъ мы видѣли выше, свидѣтельствуетъ и Плутархъ. «Солнце скорбитъ о смерти Цезаря»—это и есть то позднѣйшее, благочестивое толкованіе; но непосредственное, народное толкованіе было другое:—«то вѣчная ночь наступаетъ!»

Впрочемъ, въ тотъ сумрачный годъ и земля, и морская пучина
 Знаменья злыя давали, и псы-духовидцы, и птицы.
 Часто, разрушивъ Циклоповъ очагъ, сотрясенная Этна
 Жидкаго рѣки огня и расплавленныхъ камней потоки
 Съ гуломъ глухимъ извергала; Германія бранному крику
 Съ неба ночного внимала и шуму доспѣховъ желѣзныхъ;
 Землетрясеніе въ Альпахъ народъ напугало; повсюду
 Голосъ послышался грозный изъ чащи лѣсовъ молчаливыхъ;
 Блѣдныя тѣни блуждали во мракѣ ночномъ, и—о ужасъ!—
 Голосомъ съ нами людскимъ безсловесная тварь говорила.
 Мало того: разверзалась земля; прекращали теченье
 Рѣки; въ святыняхъ кумиры боговъ обливались слезами;
 Рѣкъ властелинъ Эриданъ, охвативъ разъяренной пучиной
 Горныя роцц, понесъ на поля ихъ, срывая попутно
 Стойла и скотъ хороня. И зловѣщія жилы являлись
 Въ чревѣ закланныхъ овецъ, и колодцевъ студеныя воды
 Кровь обаграла, и жалобный голосъ волковъ кровавадныхъ
 Всѣ города оглашалъ въ безпокойное время ночное.

Быстро и вѣрно исполнялась программа предсказанной
 Сивиллой катастрофы. За небесными страхами — наводненія;
 за наводненіями—голодъ. Хлѣбъ не уродился; подъ вліяніемъ
 упорнаго ненастья колосыя сгнили на корню. Надежды на
 подвозъ изъ хлѣбородныхъ провинцій не было и быть не могло;
 въ началѣ было не до того, а впослѣдствіи стало поздно: моря
 были во власти Секста Помпея, сына бывшаго триумвира, ко-
 торый, собравъ флотъ и вооруживъ сицилійскихъ рабовъ,
 воскресилъ память корсарскихъ и невольническихъ войнъ ми-
 нувшаго поколѣнія. Кое-какъ провели лѣто 44 г. и слѣдующую
 зиму, а затѣмъ положеніе стало ухудшаться съ каждымъ мѣ-
 сяцемъ. Народъ голодалъ и въ деревняхъ, и въ городахъ, и
 въ Римѣ; но только въ Римѣ онъ могъ оказывать давленіе на
 правителей и требовать улучшенія своей участи. Онъ и сте-
 жался въ Римъ все въ большемъ и большемъ числѣ, ютятся,
 гдѣ попало, питаются, чѣмъ кто могъ; политическіе лозунги были
 забыты, всѣ партійныя требованія слились въ одномъ протяж-
 номъ, зловѣщемъ воплѣ, который отнынѣ преслѣдовалъ прави-
 телей на каждомъ ихъ шагѣ—въ воплѣ «хлѣба!» Но хлѣба взять
 было негдѣ; тѣмъ временемъ голодъ и скученность довершали
 свое дѣло; и вотъ, подъ возрастающимъ вліяніемъ этихъ двухъ
 бѣдствій появилось третье, еще болѣе ужасное—чума.

Наводненія, — голодъ, — чума... теперь дѣло было за послѣднимъ изъ великихъ враговъ и истребителей рода человѣческаго, за войной. Но и война была недалеко, и при томъ самая разрушительная изъ всѣхъ возможныхъ войнъ, — война междоусобная. Царскій вѣнецъ убитаго диктатора былъ разорванъ на мелкія части; тотъ, кто хотѣлъ имъ владѣть, долженъ былъ его собрать по лоскутамъ, а каждый лоскутъ долженъ былъ стоять жизни своему владѣльцу. Началась война въ Италіи — началась сравнительно тихо и скромно и съ надеждой на быстрое окончаніе; но ея результатомъ былъ, вмѣсто ожидавшагося объединенія, грозный и кровавый триумvirатъ. Наступило время жестокихъ проскрипцій: рознь между триумвирами и «освободителями» была непримирима, при Филиппахъ пали послѣдніе бойцы за римскую республику. Но и эта жертва не дала желаннаго успокоенія: уже въ ближайшіе послѣ гибели Брута мѣсяцы обнаружился въ самой Италіи разладъ между членами триумvirата, зародышъ долгихъ смутъ и войнъ; а въ то же время Секстъ Помпей, «сынъ Нептуна», какъ онъ себя называлъ, одновременно пускалъ въ ходъ и обаяніе своего дѣйствительнаго, и силы своего названнаго отца, чтобы морить народъ голодомъ и этимъ подрывать власть своихъ враговъ-триумvirовъ.

Теперь всѣ бичи, когда-либо терзавшіе людей, одновременно дѣйствовали; не могло быть сомнѣнія, что именно теперь должна была наступить предсказанная Сивиллой година гнѣва, теперь или — никогда.

VI.

Мы желали бы, въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, знать нѣсколько подробнѣе сущность предсказанія Сивиллы. Къ сожалѣнію, наши источники въ отношеніи этого пункта очень немногословны; все же путемъ комбинаціи разрозненныхъ данныхъ можно составить себѣ представленіе о немъ, быть можетъ, не во всѣхъ его частяхъ одинаково неоспоримое, но въ совокупности достаточно близкое къ истинѣ.

Сивилла предсказала обновленіе міра послѣ истеченія «великаго года». — Мы видѣли уже, что этотъ великій годъ иными

опредѣлялся въ четыре, другими въ десять «вѣковъ», въ 110 лѣтъ каждый. Для нашего свѣтопреставленія только последнее опредѣленіе имѣло смыслъ, но и первое не было вполнѣ отброшено; какъ-никакъ, а оно должно было быть довольно знаменательнымъ моментомъ. Если допустить — что было наиболѣе естественнымъ — что пророчество Сивиллы-Кассандры было дано въ началѣ троянской войны, т.-е. въ 1193 г., то конецъ четвертаго «вѣка» приходился въ 753 г.; приблизительно въ это время — какъ это доказывали другія хронологическія соображенія — должно было прійтись основаніе Рима. И дѣйствительно, мы имѣемъ поводъ предполагать, что закрѣпленіе основанія Рима за 753 г. — т.-наз. Варронова эра — состоялось именно подъ вліяніемъ указаннаго уравненія $1193 - 440 = 753$. Правда, согласно тому же счету, конецъ десятаго вѣка долженъ былъ совпасть съ 93 г. — а между тѣмъ этотъ годъ давно уже прошелъ; и, разумѣется, имѣй мы дѣло съ научной теоріей — это возраженіе было бы убійственнымъ. Но, во-первыхъ, въ дѣлѣ суевѣрія человѣческій умъ удивительно растяжимъ; вспомнимъ, сколько разъ наши раскольники въ XVII вѣкѣ, на основаніи каждый разъ «исправленныхъ» расчисловъ, отодвигали срокъ ожидаемаго ими свѣтопреставленія. Во-вторыхъ, теорія, о которой мы говоримъ, не претендуетъ не только на научность, но даже и на единство: иные примѣняли ее такъ, другіе иначе, народъ же прислушивался одинаково ко всѣмъ, не замѣчая допускаемаго имъ при этомъ противорѣчія. Въ-третьихъ, Сивилла вѣдь не сказала, что гибель міра состоится въ одинъ день — достаточно, если она началась съ 93 г.

Второй вопросъ имѣлъ своимъ предметомъ тотъ первородный грѣхъ, которымъ человѣчество навлекло на себя эту страшную кару. Въ легендѣ о четырехъ поколѣніяхъ, легендѣ умной и глубокомысленной, этотъ грѣхъ, изгнавшій дѣву-Правду изъ нашей юдоли въ заоблачныя пространства, поименованъ не былъ; понятно, однако, что народная фантазія этимъ не удовольствовалась. Стали размышлять; въ греческой мифологіи Сисифъ рано прослылъ за перваго великаго грѣшника; но для Рима этотъ мифологическій персонажъ никакого интереса не представлялъ. На римской почвѣ рѣшеніе вопроса за-

висѣло отъ того, признавать ли четырехвѣковый великій годъ и, слѣдовательно, такъ сказать, малое искупленіе въ годъ основанія Рима, или нѣтъ. Если нѣтъ, то римская исторія была прямымъ продолженіемъ троянской; тяготѣвшее надъ Римомъ проклятіе было то же самое, отъ котораго нѣкогда погибла Троя; а въ такомъ случаѣ дѣло было совершенно ясно... Прошу тутъ читателя отнестись снисходительно къ странной легендѣ, которую я имѣю сообщить, и помнитъ, что дѣло идетъ о первородномъ грѣхѣ. Троянскія стѣны были воздвигнуты при Лаомедонтѣ, отцѣ Пріама; по его просьбѣ, двое боговъ, Нептунъ и Аполлонъ, взялись — за плату — ихъ соорудить и обезпечить, такимъ образомъ, вѣчность защищенному ими городу. Но Лаомедонтъ, воспользовавшись услугами боговъ, не пожелалъ выдать имъ впослѣдствіи условленной платы. Вотъ это «клятвopеступленіе Лаомедонта» и сдѣлалось источникомъ проклятія; оно навлекло гибель на Трою, а послѣ ея разрушенія перешло на тотъ городъ, который былъ ея продолженіемъ — на Римъ... Но возможно ли допустить, чтобы въ образованную эпоху *Виргилія* и *Горация* люди серьезно смущались этимъ мнѣйшескимъ преступленіемъ, самая грубость котораго должна была казаться несомнѣстимой съ идеальными обликами тогдашнихъ боговъ? Въ той области, о которой идетъ рѣчь, всѣ противорѣчія уживаются; тотъ самый сенаторъ, который ставилъ въ своей божницѣ прекрасную статую работы *Праксителя*, въ государственномъ храмѣ воскурялъ оиміамъ передъ безобразнымъ чурбаномъ, наслѣдіемъ грубой старины. Не кто иной, а самъ *Виргилій* кончаетъ первую книгу своей поэмы «О земледѣліи» слѣдующей молитвой, прося боговъ объ ихъ покровительствѣ новому искупителю Рима — императору *Августу*.

Боги родные, ты, Ромуль-отецъ, ты, древняя мать
Веста, что Тибръ нашъ блюдешь и священный хребетъ Палатина,
Гибнущій вѣкъ нашъ спасти вы хоть этому юношѣ дайте!
Сжальтесь! Довольно въ бояхъ непрестанныхъ мы пролили крови,
Лаомедонтовой Трои преступный обѣтъ искупая!
(*Laomedonteanae luimus perjuriam Trojae*).

Согласно другой теоріи, признающей четырехвѣковый «великій годъ», троянскій грѣхъ не былъ перенесенъ на почву Рима; годъ основанія города былъ въ то же время и годомъ

обновленія имѣющаго признать его власть человѣчества. Эту теорію въ послѣдствіи развилъ Гораций въ красивой фикціи, которую мы даемъ ниже въ переводѣ Фета, — переводѣ, къ сожалѣнію, не вездѣ достаточно правильномъ (оды III 3).

Рѣчью пріятною Гера промовила
 Сонму боговъ; „Иліонъ, Иліонъ святой
 „Въ прахъ обращенъ отъ судьи беззаконнаго,
 „Гибель навлекшаго, и отъ жены чужой.
 „Троя съ тѣхъ поръ, какъ въ уплатѣ условленной
 „Лаомедонтъ отказалъ небожителямъ,
 „Проклята мной и Минервою чистою
 „Съ племенемъ всѣмъ и лукавымъ правителемъ...
 „Нашей враждою война продолженна
 „Отбуживала. *И нынѣ смиреннаго*
 „*Марса прошу и души ненавистнаго*
 „*Внука троянскою жрицей рожденнаго—*

т.-е. Ромула, сына весталки Реи Сильвіи. Итакъ, Римъ былъ чистъ въ день своего основанія, въ тотъ знаменательный день, когда оба брата, питомцы волчицы, совершили первыя «ауспиціи» на мѣстѣ, гдѣ позднѣе выросъ Римъ, — славное на всѣ времена *augurium augustum*. А если такъ, то это значить, что первородный грѣхъ былъ сотворенъ тамъ же, на римской почвѣ. Относительно дальнѣйшаго не могло быть сомнѣнія: древнее преданіе шло на встрѣчу встревоженной фантазіи людей. Когда Ромулъ, гордый благословеніемъ боговъ, сталъ сооружать стѣну новаго города, его обиженный братъ въ поруганье ему перепрыгнулъ черезъ нее; тогда основатель, разгнѣвавшись, убилъ его, сказавъ: „такова да будетъ участь каждаго, кто задумаетъ перескочить черезъ мои стѣны“. Легенда эта была, повторяю, старинная, и первоначальный ея смыслъ былъ ясенъ: основатель Рима до того любилъ свой городъ, что не пожалѣлъ даже брата, опорочившаго дурнымъ знаменіемъ его основаніе; онъ убилъ его точно такъ же, какъ позднѣе основатель республики Брутъ убилъ своихъ сыновей, злоумышлявшихъ противъ нея. Такъ думали въ старину; но теперь, съ наступленіемъ всѣхъ описанныхъ въ предыдущей главѣ страховъ, и отношеніе угнетенныхъ римлянъ къ древней легендѣ измѣнилось. Какъ его ни объясняй, а поступокъ Ромула былъ братоубійствомъ; не слѣдуетъ ли допустить, что и

братоубійственная война, отъ которой Римъ погибалъ, была наказаніемъ за него? Тогда древнѣйшая стѣна Рима была осквернена пролитой кровью брата: можно ли ожидать искупленія раньше, чѣмъ не будетъ разрушена она сама, эта оскверненная и проклятая стѣна? Вотъ онъ, значить, этотъ первородный грѣхъ Рима; когда, послѣ непродолжительнаго мира, Октавіанъ и Помпей вторично обратили свое оружіе другъ противъ друга, Горацій напутствовалъ ихъ слѣдующимъ стихотвореніемъ (эподъ 7):

Куда, куда, преступные?
И для чего мечи свои
Вы изъ ноженъ хватаете?
Иль по землѣ и по морю
Латинской крови пролито
Все мало—вы считаете?
Не съ тѣмъ, чтобъ ненавистный намъ
И гордый Кароагенъ предсталъ
Твердынею сожженной,
Не съ тѣмъ, чтобъ неподатливый
Британецъ, весь закованный,
Дорогой шелъ Священною.
Нѣтъ,—чтобы, какъ желательно
Пареннамъ, этотъ городъ нашъ
Погибнулъ самъ отъ рукъ своихъ...
Слѣпое ли безуміе
Излечетъ, иль сила мощная,
Иль *грѣхъ* вась? Отвѣчайте мнѣ!—
Молчать, и блѣдность томная
На лицахъ появилась,
И мысли отнялись вполнѣ.
Да, римлянъ гонять подлинно
Судьбы, и злодѣяніемъ
Ихъ жизнь еще объята,
Когда на землю камула
Кровь Рема неповинная,
Но правнукамъ заклята.

Третій вопросъ касался самой катастрофы. Сивилла говорила собственно не объ истребленіи, а объ обновленіи рода человѣческаго. Десять вѣковъ, изъ которыхъ состоитъ «великій годъ», исчерпали его исторію; по ихъ истеченіи она должна начаться вновь. Каждый изъ этихъ вѣковъ — и здѣсь мы

имѣемъ, вѣроятно, смѣшеніе греческихъ вѣрованій съ восточными—имѣлъ своего бога-покровителя: такъ первый, золотой вѣкъ, имѣлъ своимъ покровителемъ Сатурна; покровителемъ десятаго, послѣдняго, былъ Аполлонъ. Дѣломъ Аполлона было слѣдовательно, произвести великій переворотъ; когда онъ убьетъ великаго змѣя, тогда дѣва-Правда вернется къ людямъ и вновь наступитъ царство Сатурна. Но какъ произойдетъ этотъ переворотъ? Предполагаетъ ли обновленіе человѣческаго рода его предварительное истребленіе, или нѣтъ? Долженъ ли великій змѣй сначала поглотить человѣчество, или же стрѣла далекоразящаго бога убьетъ его прежде, чѣмъ онъ исполнитъ свое гибельное дѣло? Таковы были вопросы, и не мудро, что на нихъ отвѣчали различно, смотря по настроенію времени. Въ пятидесятыхъ годахъ Цицеронъ, какъ мы видѣли выше (гл. IV), считалъ возможнымъ благополучный исходъ борьбы съ великимъ змѣемъ—котораго, онъ, разумѣется, толковалъ аллегорически—подъ условіемъ согласія въ правительствующей партіи; но междоусобная война разрушила эту иллюзію. Съ установленіемъ единовластія Цезаря надежда воскресла вновь; стали видѣть въ Цезарѣ избранника судьбы, искупителя Рима, подъ побѣдоноснымъ предводительствомъ котораго вѣчный городъ восторжествуетъ надъ пареянами и надъ раздоромъ у собственнаго очага; но убійство диктатора положило конецъ и этимъ мечтаніямъ. Теперь все государство было объято войной; мракъ былъ чернѣе и гуще, чѣмъ когда-либо, и требовалась большая смѣлость для того, чтобы при всеобщемъ разложеніи надѣяться на мирное обновленіе человѣческаго рода, встревоженнаго и небесными знаменіями, и отвѣтами науки, страдающаго и отъ голода, и отъ чумы, и отъ нескончаемой, безнадежной войны.

VII.

Время, о которомъ идетъ рѣчь, т.-е. главнымъ образомъ тридцатые годы, съ прибавленіемъ къ нимъ конца сороковыхъ—было временемъ расцвѣта обоихъ лучшихъ поэтовъ, которыхъ когда-либо имѣлъ Римъ,—тѣхъ самыхъ, къ стихотвореніямъ

которыхъ мы уже не разъ обращались въ предыдущихъ главахъ. Они и въ дальнѣйшихъ останутся нашими главными источниками. Къ нашему крайнему сожалѣнію, мы не имѣемъ другихъ современныхъ нашей эпохѣ памятниковъ; что же касается позднѣйшихъ, то вполне понятно, что они не говорятъ болѣе «о свѣтопреставленіи», страхъ передъ которымъ уже успѣлъ пройти. Пророчествами интересуются только тогда, когда они сбылись или еще могутъ сбыться; что касается несбывшихся пророчествъ, то они быстро предаются забвенію, согласно любопытному и важному закону индивидуальной и народной психологіи—тому закону, безъ котораго и вѣра въ пророчества никогда не могла бы возникнуть и удержаться среди людей.

Въ этомъ заключается также, къ слову сказать, причина, почему изложенные въ настоящей статьѣ факты такъ мало извѣстны историкамъ: разъ имѣешь дѣло съ поэтами, является невольно нѣкоторая подозрительность и желаніе все затрудняющее насъ сваливать на пресловутую «пѣтическую вольность». Но изслѣдованія новѣйшихъ временъ значительно сѣзуили область этой пѣтической вольности, подводя подъ опредѣленные законы то, что раньше казалось дѣломъ произвола, и приучая насъ считаться и съ различнымъ отъ нашего міросозерцаніемъ; что же касается настоящей статьи, то я для того и постарался группировать поэтическія свидѣтельства съ прозаическими, чтобы показать ихъ полную гармонію и, стало быть, одинаковую достовѣрность.

Вернемся, однако, къ нашимъ поэтамъ.

Обоихъ родила деревня; на обоихъ наложила свою печать природа, въ ближайшемъ общеніи съ которой протекло ихъ дѣтство. Отсюда не только ихъ любовь къ природѣ, столь художественно изображенной ими въ ихъ стихотвореніяхъ, но и неизмѣнная спутница деревни и деревенской жизни—извѣстная мечтательная религіозность, скрывающаяся глубоко въ тайникахъ души, часто помимо и даже противъ нашей воли. Дальнѣйшее воспитаніе не особенно благоприятствовало развитію этой религіозности: оба поэта подпали вліянію школы Эпикура и даже съ нѣкоторымъ энтузіазмомъ примкнули къ ученію этого героя мысли, устранившаго въ своей философіи всякое

вмѣшательство боговъ въ человѣческія дѣла и поставившаго законъ природы на мѣсто свергнутаго божества. Но вліяніе эпикуреизма было неполнымъ: религіозность, какъ окраска темперамента, не дала себя стереть доводами разума, и въ результатѣ получилась лишь извѣстная двойственность. Вполнѣ соглашаясь съ Эпикуромъ, Виргилій воспѣваетъ происхождение міра изъ атомовъ и пустоты; Горацій въ обществѣ Мецената и того же Виргилія весело смѣялся надъ благочестивыми обывателями захоластной Гнатіи, увѣрявшими его, что въ ихъ храмѣ ладанъ сгораетъ безъ огня (сат. I 5):

еврей пусть вѣрнѣ Анелла,
А не я; я учился, что боги живутъ безмятежно,
И если диво какое проявитъ природа—не боги-жъ
Въ гнѣвѣ съ высокаго неба его посылають на землю.

Но тотъ же Горацій наединѣ съ величіемъ грозной природы былъ способенъ испытывать совершенно инныя чувства; тогда доводы разума умолкали, тогда вновь звучали въ глубинѣ его души таинственные аккорды, отголоски шума дубовыхъ рощъ его апулійской родины. Онъ самъ, чуткій къ голосу своей души, описалъ намъ такое обращеніе въ интересной одѣ (I 34; переводъ здѣсь, къ сожалѣнію, особенно неудовлетворителенъ):

Скудный боговъ почитатель и вѣтранный,
Мудростію заблужденный безумною,
Нынѣ задумалъ вѣтрила поставить и
Вспять и, разставшись съ пучиною шумною,
Истинный путь отыскать; вѣдь Діеспитеръ,
Вѣчно огнемъ потрясавшій надъ тучею,
Съ громомъ промчалъ по лазури безоблачной
Звучныхъ коней, съ колесницей летучею...

Въ силу этой двойственности своего міросозерцанія Горацій могъ совершенно серьезно внимать тревожнымъ голосамъ, предвѣщавшимъ близкую кончину міра. Для этого ему даже не нужно было измѣнять философіи; мы видѣли уже, что эпикуреецъ Лукрецій признавалъ свою эпоху старостью матери-земли, за которой не замедлитъ послѣдовать разложеніе; если же Горацій отъ эпикурейской философіи обращался къ стоицизму, то и тутъ онъ встрѣчалъ „намѣченный рокомъ

день всемірнаго потопа“, описаніе котораго мы дали выше словами Сенеки. Трудно было при такихъ обстоятельствахъ не увѣровать въ предстоящее свѣтопреставленіе; религія его предвѣщала, наука допускала. А тутъ еще наступила смерть диктатора и всѣ ужасы, которые были ея послѣдствіями.

Горацій находился тогда въ Аѳинахъ. Какъ римскій гражданинъ, онъ былъ зачисленъ въ войско Брута, послѣдній оплотъ свободной республики. Какъ извѣстно, надежды, возлагавшіяся на восстановление этой республики, были жестоко обмануты; съ „подрѣзанными крыльями“, какъ онъ выражается самъ, вернулся Горацій въ Италію. Пролитая при Филиппахъ кровь не утолила жажды гибельнаго змѣя; триумвиры, соединенные на время обязанностью отомстить за Цезаря, теперь обратили ужъ другъ противъ друга братоубійственные мечи. Видно, первородный грѣхъ требуетъ быстрого и полного искупленія; кровь убитаго Рема, взывающаго о мщеніи, не успокоится, пока будутъ стоять стѣны Рима и пока прахъ его убійцы, Ромула, не будетъ развѣянъ по всѣмъ вѣтрамъ.

Таково было настроеніе, подъ вліяніемъ котораго поэтъ написалъ свое самое замѣчательное изъ входящихъ въ нашу область стихотвореній—шестнадцатый эподъ.

Вотъ второй уже вѣкъ потрясаютъ гражданскія войны,
И разрушается Римъ собственной силой своей...

Тотъ Римъ, котораго никакіе внѣшніе враги не могли побѣдить, его мы,

Племя той проклятой крови, своими руками погубимъ
И звѣрями опять будетъ земля занята.
Варваръ, увы, побѣдитель на пенелъ наступить и въ Римѣ,
Громкимъ копытомъ стуча, всадникъ промчится чужой,
Ромула царственный прахъ, защищенный отъ вѣтра и солнца,—
Не доведись увидать!—дерзкой развѣтъ рукой.

Это точное толкованіе словъ Сивиллы; если Цезарь былъ намѣченный рокомъ спаситель Рима отъ пареянъ, то теперь побѣда пареянъ надъ Римомъ — рѣшенное дѣло; они будутъ орудіемъ божіей воли, исполнителями суда надъ оскверненнымъ братской кровью городомъ.

Итакъ, на спасеніе Рима разсчитывать нельзя; остается для отважнаго человѣка одно—порвать узы, связывающія его съ проклятымъ городомъ. Планъ этотъ тогда далеко не казался такимъ фантастическимъ, какимъ онъ представляется намъ нынѣ; совпаденіе цѣлаго ряда условій заставляло вѣрить въ его осуществимость.

На первомъ планѣ стоитъ и тутъ религія, въ которой сохранилась память о какомъ-то земномъ раѣ—«Елисейскихъ поляхъ», или «островахъ Блаженныхъ», находящихся гдѣ-то далеко, за океаномъ. О первыхъ повѣствуетъ Гомеръ:

Ты-жъ, Менелай, не умрешь: на окраинѣ міра земного
 Боги тебя поселятъ, въ Елисейской блаженной долині.
 Сладостно жизнь тутъ течетъ, какъ нигдѣ, для людей земнородныхъ;
 Не изнуряетъ ихъ зной, ни порывы Борей, ни ливень,
 Нѣтъ; Океана тамъ волны прохладой вѣчною дышать,
 Вѣчно тамъ съ шепотомъ нѣжнымъ ласкаетъ зефиръ человѣка.

объ островахъ же Блаженныхъ свидѣтельствуетъ Гесіодъ, говоря объ избранныхъ богатыряхъ миѳическихъ войнъ:

Имъ многославный Зевесъ на окраинѣ міра земного
 Чудную землю назначилъ, вдали отъ обители смертныхъ,
 Но и вдали отъ боговъ, и подъ власть ихъ Сатурнову отдалъ.
 На островахъ тамъ Блаженныхъ живутъ съ беззаботной душою
 Въ счастіи вѣчномъ герои у водъ океана глубокихъ.
 Трижды въ году пожиная дары благодатной природы.

Схожесть—очень естественная—этихъ описаній съ ходячими описаніями золотого вѣка породила мнѣніе, что Елисейскія поля (или острова Блаженныхъ)—та же земная обитель, но нетронутая гнѣвомъ Земли и первороднымъ грѣхомъ, изгнавшимъ дѣву-Правду изъ среды людей. Здѣсь продолжается, поэтому, золотой вѣкъ; сюда иногда Юпитеръ, за ихъ заслуги, переселяетъ доблестныхъ людей.

Таковъ первый факторъ; вторымъ была локализациа фантастическихъ гомеровскихъ мѣстностей, которой дѣятельно занимались греческіе географы. Такъ баснословная земля Феаковъ была отождествлена съ Коркирой, земля циклоповъ—съ Сициліей и т. д.; что касается рѣки-океана, то ее естественнѣе

всего было признать въ великомъ морѣ, омывавшемъ западные берега Европы и Африки.

Третьимъ факторомъ были рассказы путешественниковъ о замѣчательномъ плодородіи нынѣшнихъ Канарскихъ острововъ. Картегеняне, гласило преданіе, знали ихъ мѣстоположеніе, но никого къ нимъ не допускали—во-первыхъ, изъ боязни, какъ бы весь ихъ народъ туда не переселился, а во-вторыхъ, чтобъ имѣть убѣжище на случай, если бы ихъ владычеству наступилъ конецъ. За Канарскими островами это имя—острова Блаженныхъ—и осталось; подъ этимъ именемъ они были извѣстны древнимъ географамъ.

Четвертымъ факторомъ были извѣстія объ общинахъ, бросавшихъ подъ неотразимымъ натискомъ врага свои города и переселявшихся въ другіе, болѣе благодатные края. Самымъ славнымъ былъ подвигъ гражданъ малоазіатской Фокеи: спасаясь отъ ига персовъ, эти храбрые люди оставили свою родину и, проклявъ торжественно отщепенцевъ изъ своей среды, сѣли на корабли; выѣхавъ въ открытое море, они бросили въ пучину громадную желѣзную гирию и дали клятву, что тогда только вернуться въ родную Фокею, когда эта гирия всплыветъ на поверхность. Затѣмъ они отправились на западъ и, послѣ многихъ приключеній, основали городъ Массилію (нынѣ Марсель).—Такъ точно и послѣ разгрома Италіи Аннибаломъ часть римской молодежи помышляла о переселеніи въ другіе края. Тогда Сципіонъ воспрепятствовалъ осуществленію этого плана; но въ эпоху террора Суллы его осуществилъ вождь римской эмиграціи, Серторій. Онъ основалъ новый Римъ въ Испаніи; но Испанія, какъ часть римскаго государства, его не удовлетворяла, и онъ мечталъ о томъ, чтобъ отвести колонию за океанъ, на острова Блаженныхъ.

Теперь вновь настали тяжелыя времена, много тяжелѣе тѣхъ, что были при Суллѣ; теперь мысль Серторія была умѣстнѣе, чѣмъ когда-либо раньше. Бя проповѣдникомъ и сдѣлался Горацій; подражая примѣру старыхъ пѣвцовъ, пѣснями вдохновлявшихъ своихъ согражданъ на трудные подвиги, онъ всю свою поэтическую силу, весь свой молодой пылъ вложилъ въ святое—какъ ему казалось—дѣло спасенія лучшей части Рима отъ тяготящаго надъ городомъ проклятія:

Можетъ быть, спросите вы—сообща, или лучшіе люди—

Чѣмъ бы на помощь придти Риму въ тотъ гибельный часъ?

Лучшаго пѣтъ вамъ совѣта; какъ нѣкогда, молвятъ, Фокейцы,

Давши великій зарокъ, всѣ уплыли на судахъ,

Нивы оставивъ и храмы и хижинъ прохладныя сѣни

На житіе кабанамъ, да кровожаднымъ волкамъ—

Такъ отправляться и намъ. куда ноги помчатъ, или куда насъ

Нотъ понесетъ по воднамъ, или же Африкъ лихой...

Но поклянемся мы въ томъ: лишь тогда, когда камней громады

Съ дна на поверхность всплывутъ, не возбраненъ намъ возвратъ...

Въ цѣломъ рядѣ эффектныхъ варіацій проводится эта мысль—навсегда безо всякой надежды на возвращеніе оставить обреченный на гибель городъ. Но куда идти?.. До сихъ поръ поэтъ выражался неопредѣленно—„куда умчатъ ноги, куда понесутъ вѣтры“—желая исподволь подготовить слушателей къ своему чудесному замыслу; теперь онъ обнаруживаетъ свое намѣреніе. Русскій читатель безъ труда признаетъ въ немъ популярный у насъ мотивъ: „тамъ за далью непогоды есть блаженная страна“—этотъ вѣчный мотивъ тоски и желанія.

Насъ кругосвѣтныи ждетъ океанъ; тамъ прибьемся мы къ нивамъ

Благословеннымъ, найдемъ пышные тамъ острова,

Гдѣ возвращаетъ посѣвъ ежегодный безъ пахоты поле,

И безъ подчистки лоза все продолжаетъ цвѣсти.

Гдѣ никогда безъ плодовыхъ вѣтвей не бываетъ олива,

И на родимомъ дичкъ фигъ дозрѣваетъ краса.

Медъ тамъ течетъ изъ дупла дубового, тамъ съ горныхъ утесовъ

‘Легкій стремится потокъ тихо журчащей струей...

И такъ далѣе; все яснѣе и яснѣе вырисовывается передъ слушателями картина золотого вѣка. Золотой вѣкъ! Да, онъ сужденъ, по вѣщему слову Сивиллы, тому поколѣнію, которое вновь населитъ искупленную землю; но возможно ли увидѣть его уже теперь? Возможно; тѣ острова не испытали скверны—пусть только тѣ, кто собирается ихъ занять, будутъ чисты и стойки душой, подобно тѣмъ героямъ, которыхъ боги тамъ поселили.

Зевсъ берега тѣ назначилъ лишь благочестивому люду,

Въ день, какъ испортить рѣшилъ мѣдью онъ вѣкъ золотой;

Мѣдью за ней и желѣзомъ вѣка закалилъ онъ; отъ нихъ-то,

Благочестивые, вамъ мною указанъ уходъ.

VIII.

Нашла ли пылкая проповѣдь поэта отголосокъ въ сердцахъ его современниковъ? У насъ нѣтъ объ этомъ никакихъ извѣстій. Горацій не былъ единственнымъ солдатомъ Брута, вернувшимся въ Италію послѣ пораженія при Филиппахъ; не ему одному подвластная триумвирамъ Италія была мечехой. Но время не ждало; вскорѣ назрѣли другіе вопросы, другіе конфликты: сонъ о римской республикѣ быстро отошелъ въ прошлое.

Положеніе дѣлъ продолжало быть очень неустойчивымъ; триумвиры то соединялись для общихъ дѣйствій противъ Секста Помпея и его рабовъ-корсаровъ, то враждовали между собой; но во всѣхъ перипетіяхъ этой двойной борьбы выдѣлялась все ярче и ярче личность молодого Цезаря Октавіана. Своей умѣлостью, равно какъ и своей воздержностью и милосердіемъ онъ заставилъ римлянъ простить себѣ и участіе въ проскрипціяхъ 43 года, и жестокое дѣло мести за убитаго диктатора; о его планахъ ничего не было извѣстно, а ужъ если выбирать между нимъ и Антоніемъ, или между нимъ и Секстомъ Помпеемъ, то выборъ для республиканца не могъ быть сомнительнымъ. Вскорѣ мы видимъ Горація въ его свитѣ, точнѣе говоря, въ кружкѣ его приближеннаго Мецената, къ которому его приобщилъ Виргилій. Побѣда надъ Секстомъ Помпеемъ въ 35 году открыла заморскому хлѣбу доступъ въ Италію: народъ вздохнулъ свободнѣе, самое тяжелое время могло считаться прожитымъ. Все съ большей и большей любовью останавливался взоръ на царственномъ юношѣ, съумѣвшемъ влить новую надежду въ сердца отчаявшихся римлянъ; быть можетъ, обновленіе вселенной состоится мирнымъ путемъ, безъ истребленія рода человѣческаго? Быть можетъ, молодой Цезарь окажется тѣмъ искупителемъ своего народа, которому суждено отворить тяготящую надъ нимъ гибель? Дѣйствительно, общественное мнѣніе все болѣе склонялось къ этому взгляду на дѣло; когда вскорѣ послѣ побѣды надъ С. Помпеемъ начался окончательный разладъ между Цезаремъ и Антоніемъ и стала угрожать опасность новой гражданской войны, чувства Горація

были уже другія. Онъ не требуетъ болѣе бѣгства изъ стѣнъ обреченнаго города, онъ желаетъ только, чтобы государствен- ный корабль былъ спасенъ отъ надвигающейся грозной бури. „Недавно еще“, говоритъ онъ въ своемъ обращеніи къ этому кораблю съ явнымъ намекомъ на разсмотрѣнный въ предыду- щей главѣ эподъ, „ты внушалъ мнѣ чувство безпокойнаго отвращенія; зато теперь ты мнѣ внушаешь одну лишь тоску, одну тяжелую заботу; о, не ввѣрай себя полному утесовъ морю!“ (оды I 14). Но и это воззваніе не достигло своей цѣли; корабль пошелъ на встрѣчу грозной бурѣ и, управляемый своимъ искуснымъ кормчимъ, благополучно ее поборолъ.

Въ этой новой войнѣ симпатіи болѣе чѣмъ когда-либо были на сторонѣ Цезаря: Антоній, правитель Востока, не по- лагаясь на собственные силы, повелъ противъ своей родины иноземное, египетское войско. Битва была дана у Актійскаго мыса, украшеннаго храмомъ Аполлона. Это обстоятельство еще увеличило всеобщее упоеніе. Аполлонъ, тотъ самый Аполлонъ, которому, по прорицанію Сивиллы, слѣдовало, какъ богу-по- кровителю послѣдняго вѣка, обновить вселенную—онъ даро- валь побѣду Цезарю! Не ясно ли было, что именно его онъ назначилъ искупителемъ человѣчества? Другимъ и этого было мало. Время было страстное; велики были невзгоды пережи- тыхъ лѣтъ, велика и благодарность тому, кто счумѣлъ ихъ превозмочь. Обновитель-богъ, искупитель-человѣкъ... а что, если оба они были тождественны? А что, если богъ Апол- лонъ принялъ на себя образъ человѣка, чтобы искупить грѣхъ и обновить міръ? И вотъ пронесся по вселенной радостный крикъ о совершившемся чудѣ... Это началось лѣтъ 20—30 до Рождества Христова.

Позволю себѣ по этому поводу маленькое отступленіе. Давно былъ замѣченъ разительный контрастъ между настроеніемъ обѣихъ лучшихъ эпохъ римской литературы — эпохой Цице- рона, какъ ее принято называть, и вѣкомъ Августа. Тамъ вольнодумство, смѣлая пытливость мысли, не признающей предѣловъ себѣ и своей силѣ, все рѣшительно дѣлающей пред- метомъ своей работы—здѣсь какое-то смиренное преклоненіе передъ высшей волей, какая-то жажда пьедесталовъ и куми- ровъ, и особенно—неслыханный дотолѣ въ Римѣ, столь не-

пріятно насъ поражающій апоѳеозъ человѣка. Было время, когда въ происшедшей перемѣнѣ винили почти исключительно честолюбіе Августа и раболѣпіе его свиты, включая туда и поэтовъ: онъ, дескать, пожелалъ быть царемъ, но видя, что это трудно, рѣшилъ сдѣлаться богомъ, что было гораздо легче. Нынѣ такое объясненіе одного изъ интереснѣйшихъ явленій всемірной исторіи уже невозможно; изученіе надписей доказало повсемѣстность того упоенія, результатомъ котораго былъ апоѳеозъ императора, а при слабой въ сущности администраціи римскаго государства—имѣвшей какой угодно характеръ, но только не полицейскій—такая повсемѣстность не можетъ быть выведена изъ воли правителя. Нѣтъ, правителю ничего не оставалось, какъ регулировать движеніе, которое было создано не имъ; создано же было оно самимъ народомъ подъ вліяніемъ послыханныхъ бѣдствій и неожиданнаго, прямо чудеснаго избавленія отъ нихъ. Предсказаніе Сивиллы играетъ во всемъ этомъ первенствующую роль; оно съ самаго начала придало всему происходящему религіозный характеръ, оно было виною тому, что и благодарность избавителю выразилась въ религіозной формѣ.

Что касается поэтовъ, то они шли не впереди движенія, а медленно и нехотя уступали ему. Стоитъ обратить вниманіе, какъ осторожно и туманно выражается Горацій въ той одѣ, которая является для насъ первымъ вздохомъ облегченія послѣ пережитыхъ невзгодъ—именно только вздохомъ облегченія, а не радостнымъ крикомъ освобожденія. Описавъ ужасы минувшихъ лѣтъ, — мы привели выше (стр. 206) соотвѣтствующія строфы,—поэтъ продолжаетъ:

Какое божество молить? И кто поможетъ
Народу изъ всѣхъ въ превратностяхъ судьбы?
Какая пѣсня жрицъ заставитъ Весту можетъ
Дѣвичьи внять мольбы?
Гдѣ очиститель намъ Юпитеромъ избранный?
Ты, наконецъ, приди, моленіемъ смягченъ,
Увидши рамена одеждою туманной,
Вѣщатель Аполлонъ!
Сойди, блестящая улыбкой Эрицина (т.-е. Венера);
Тебя Амуръ и Смѣхъ сопровождаютъ въ путь;
Иль удостой на чадъ возлюбленнаго сына (т.-е. Ромула)
Ты, праотецъ, взглянуть (т.-е. Марсъ)...

Склонись, сынъ Мая (т.-е. Меркурій), стань съ проворными крылами
На образъ юноши земной перемѣнить:

Мы будемъ признавать, что избранъ ты богами

За Цезаря отмстить.

Надолго ослѣдствуй избранный градъ Квирина;

Да не смутитъ тебя гражданъ его порокъ!

И поздно ужъ отъ насъ подыметь властелина

Легучій вѣтерокъ.

Тріумфы громкіе и славное прозванье

Владыки и отца принять не откажи,

И мѣда (т.-е. пароянина) коннаго строптивое возстанье

Ты, Цезарь, накажи!

Аполлонъ приглашается лишь присутствовать при дѣлѣ
искупленія — очевидно потому, что отъ него исходить объ-
явленное его пророчицей Сивиллой вѣщее слово о предсто-
ящемъ обновленіи вселенной; не даромъ онъ названъ «вѣща-
телемъ» (augur). Венера и Марсъ приглашаются какъ боги-родо-
начальники — Венера, какъ мать Энея, Марсъ, какъ отецъ Ро-
мула. Что касается императора, то онъ не отождествляется ни съ
Аполлономъ, ни съ Марсомъ: лишь вскользь высказывается пред-
положеніе, что онъ — Меркурій, принявшій на себя образъ
юноши. Онъ сдѣлалъ это уже разъ, по приглашенію Зевса:

Тебѣ изъ боговъ наипаче пріятно

Съ сыномъ земли сообщаться: ты внимлешь кому пожелаешь ¹⁾,

чтобы безопасно проводить Пріама въ греческій станъ: тогда
онъ предсталъ передъ нимъ

благородному юношѣ видомъ подобный,

Первой брадой опушенный, коего младость прелестна.

Но Меркурій не принадлежитъ къ великимъ богамъ; съ
нимъ сыны земли общались скорѣе запросто — а у молодого
императора былъ дѣйствительно прекрасный царственной станъ
и благородный обликъ, дышавшій одухотворенной отвагой и
силой. Послѣдняя же строфа напоминаетъ императору объ-
условіи, подъ которымъ Римъ, повинувся Сивиллѣ, признаетъ
его своимъ владыкой, — о побѣдѣ надъ пароянами, все еще

¹⁾ Илиада (XXIV 334 сл. пер. Гнѣдича).

не искупившими кровь Красса и легионовъ, все еще продолжающими угрожать едва окрѣпшему тѣлу римскаго государства.

Императоръ не отказывался отъ этой задачи, но откладывалъ ея исполненіе до болѣе удобнаго времени; а пока онъ, уступая теченію, старался извлечь возможную пользу изъ обаянія, которымъ побѣда надъ Антоніемъ у мыса Актійскаго Аполлона окружила его имя. Былъ основанъ храмъ въ честь этого бога на Палатинской горѣ, по сосѣдству съ дворцомъ самого императора; но и помимо того онъ всячески выставлялъ себя любимцемъ свѣтлаго бога, покровителя послѣдняго вѣка великаго года, предоставляя народу и, особенно, провинціямъ идти въ этомъ отношеніи много дальше его самого. Будучи фактически владыкою объединеннаго имъ римскаго государства, онъ долго не рѣшался остановиться на опредѣленной внѣшней формулѣ, которая бы выражала эту фактическую власть; колебался также между двумя возможностями, либо удержать эту власть въ своихъ рукахъ, либо сдѣлать сенатъ правительствующимъ органомъ, передавъ ему часть своихъ полномочій. Годъ 27-й положилъ конецъ колебаніямъ. Императоръ призвалъ къ власти сенатъ, предоставляя, однако, себѣ самому наиболѣе значительную ея часть; взамѣнъ этого, онъ считалъ себя въ правѣ требовать отъ сената титула, который бы выражалъ внѣшнимъ образомъ его исключительное положеніе въ государствѣ. Пріятнѣе всего былъ бы ему титулъ Ромула; въ немъ заключалось бы ясное указаніе на начало новой эры для Рима, на исполненіе пророчанія Сивиллы. Но Ромулъ былъ царемъ, а царское имя продолжало внушать Риму непреодолимое отвращеніе; императоръ долженъ былъ, поэтому, отказаться отъ этой мысли и найти другой путь, ведущій къ той же цѣли. Какъ было сказано выше, началомъ римскаго государства считался религіозный обрядъ, посредствомъ котораго было испрошено благословеніе боговъ прелестящему акту основанія города. Этотъ обрядъ (*augurium*), какъ положившій начало городу, давно уже назывался «взростившимъ» Римъ (*augurium augustum*, отъ *augere*). Вотъ этотъ-то эпитетъ императоръ и присвоилъ себѣ, какъ титулъ; называя себя *Augustus*, онъ давалъ понять, что его правленіе будетъ вторымъ основаніемъ нѣкогда оскверненнаго, нынѣ же искупленнаго города.

Оставалось торжественнымъ образомъ совершить актъ этого искупленія и второго основанія города; но тутъ мы касаемся самаго больного мѣста въ счастливой жизни императора Цезаря Августа.

IX.

У второго основателя римскаго государства не было сыновей; его бракъ со Скрибоніей, свояченицей Секста Помпея, заключенный по политическимъ расчетамъ, сдѣлалъ его отцомъ лишь одной дочери, легкомысленной Юліи. Братьевъ у него тоже не было; самымъ близкимъ ему лицомъ, послѣ его дочери, была его сестра Октавія, у которой былъ сынъ отъ перваго брака, молодой Марцеллъ. Этотъ его родной племянникъ былъ, такимъ образомъ, единственнымъ близкимъ ему по крови мужчиной; прекрасный собой, даровитый и скромный, онъ былъ естественнымъ наслѣдникомъ власти императора, который и отличалъ его всячески передъ его сверстниками. Все же въ жилахъ Марцелла текла не его кровь; благословеніе боговъ, дарованное Августу, не перешло бы на сына его сестры; продолжатель *династіи* Цезарей долженъ былъ происходить по крови отъ него. Августъ это сознавалъ; лишь только Марцеллъ достигъ требуемаго возраста, онъ женилъ его на своей родной дочери, Юліи. Теперь народъ съ нетерпѣливой надеждой взиралъ на этотъ бракъ Марцелла и Юліи: имѣющій родиться сынъ обоихъ, сынъ изъ крови Цезарей, истинный наслѣдникъ осѣняющаго Августа божіаго благословенія, будетъ несомнѣнно залогомъ благоденствія римскаго народа; со дня его рожденія потекутъ счастливыя годы, съ этимъ днемъ будетъ всего естественнѣе связать и торжество искупленія и обновленія вселенной.

До сихъ поръ счастье сопутствовало Августу во всѣхъ его начинаніяхъ: казалось невозможнымъ, чтобы оно отказало ему въ исполненіи этого его пламеннаго желанія. Самъ Августъ не слагалъ съ себя консульства, желая въ этомъ санѣ встрѣтить рожденіе своего внука. Народъ съ волненіемъ, да, но съ волненіемъ радостнымъ, ждалъ наступленія желаннаго дня, и Виргилій былъ только выразителемъ всеобщаго настроенія, когда онъ напутствовалъ молодую чету слѣдующимъ стихотво-

реніемъ — стихотвореніемъ очень замѣчательнымъ, которому суждено было пріобрѣсть громкую, рѣдкостную славу. Оно стоитъ въ сборникѣ его „пастушескихъ стихотвореній“, по-дражній сацилійскому поэту Теоокриту; согласно этому онъ во вступленіи обращается къ вдохновлявшей этого поэта музѣ:

Муза земли Сицилійской, внуши мнѣ иные напѣвы;
 Всѣхъ же плѣнить мурава, да приземистый кустъ тамариска;
 Ужъ если пѣть про лѣса—пусть лѣса будутъ консула славой.
 Вотъ ужъ послѣднее время настало Сивиллиной пѣсни,
 Новое зяжля начало великой вѣковъ вереницъ;
 Вскорѣ вернется и Дѣва, вернется Сатурново царство,
 Вскорѣ съ небесныхъ высотъ снизойдетъ вождельный младенецъ.
 Ты лишь, роженицъ отрада, пречистая дѣва Діана,
 Тайной заботой взлелѣй намъ сулимага рокомъ малютку;
 Онъ вѣдь положить конецъ ненавистному вѣку желѣза,
 Онъ до предѣловъ вселенной намъ племя взроститъ золотое;
 Ты лишь лелѣй его, дѣва: вѣдь Фебъ уже властвуетъ, братъ твой.
 Да, и родится онъ въ Твой консулатъ, эта гордость столѣтъя,
 Года великаго дни съ Твоего потекутъ консулата!
 Ты, о нашъ вождь, уничтожишь грѣха рокового остатки,
 Отдыхъ даруя землѣ отъ мученій гнетущаго страха.

Время придетъ—и небесная жизнь его приметъ, и узритъ
 Въ сонмѣ боговъ онъ героевъ и самъ пріобщится ихъ лику,
 Миръ укрьпляетъ вселенной, отцовскою доблестью данный.
 Время придетъ; а пока, прислужиться желая малюткѣ,
 Плющемъ ползучимъ земля и душнымъ покроется народомъ,
 Въ лотоса пышный уборъ и въ веселый аканонъ нарядится.
 Козочки сами домой понесутъ отягченное вымя,
 Станутъ на львовъ-исполиновъ безъ страха коровы дивиться;
 Сами собою цвѣты окружаютъ колыбельку малютки;
Сгинетъ предательскій змѣй, ядовитое всякое зелье
 Сгинетъ: сирійскій амомъ обновленную землю покроетъ.

Годы текутъ; ужъ читаешь ты, отрокъ, про славу героевъ,
 Славу отца познаешь и великую доблести силу.
 Косаюсъ межъ тѣмъ золотистый унылую степь украшаетъ,
 Сочная гроздь винограда средь терній колючихъ алѣетъ,
 Меда янтарнаго влага съ суроваго дуба стекаетъ.
 Правда, воскреснетъ и сонъ первобытной вины незабытый:
 Въ море помчится ладья; вокругъ города вырастутъ стѣны;
 Плугъ бороздой оскорбитъ благодатной кормилицы лоно:
 Новый корабль. Аргонавтовъ, по новаго кормчаго мысли,
 Горсть храбрецовъ увезетъ; вотъ и новыя битвы настали,
 Новый Ахиллъ-богатырь противъ новой отпирался Тронъ.

Пылкая юность пройдетъ; возмужалости время наступитъ.
 Броситъ торговецъ ладью, перестанетъ обмѣну товаровъ
 Судно служить; повсемѣстно сама ихъ земля производить.
 Почвы не рѣжетъ соха, уже не рѣжетъ лозы виноградари;
 Снявъ ужъ и пахарь ярмо съ изстрадавшейся выи бычачьей;
 Мягкая шерсть позабыла облыжной обманывать красой:
 Нѣтъ, на лугу ужъ баранъ то пріятною блещетъ порфирой,
 То золотистымъ шафраномъ, то яркимъ огнемъ багряницы.

Столь благодатную пѣснь по несмѣнному рока рѣшенью,
 Нити судебъ выводы, затанули согласныя Парки.

Ты-жъ, когда время придетъ, многославный вѣнецъ свой пріемли,
 Милый потомокъ боговъ, вседержавнымъ ниспосланный Зевсомъ!
 Видишь? Отъ тверди небесной до дна безпредѣльнаго моря
 Сладкая дрожь пробѣжала по тѣлу великому міра;
 Видишь? Природа ликуетъ, грядущее счастье почуя.

О, еслибъ боги продлили мнѣ жизнь и мой духъ сохранили,
 Чтобъ о дѣяніяхъ твоихъ могъ я пѣсню сложить для потомства!
 Пѣсню бы той побѣдилъ я тогда и оракійца Орфея,
 И сладкозвучнаго Лина, хотя-бъ вдохновляли ихъ боги
 (Мать Калліопы—Орфея, а Лина—отецъ сребролукій);
 Даже и Панъ, предъ Аркадіи судъ мною вызванный смѣло—
 Даже и Панъ предъ Аркадіи судомъ побѣжденный отступитъ.

Милый! Начни-жъ узнавать по улыбкѣ ликъ матери ясный;
 Мало ли мать настрадалась въ томительный срокъ ожиданія!
 Милый младенецъ, начни; кого мать не встрѣчала улыбкой,
 Богъ съ тѣмъ стола не дѣлилъ, не дѣлила и ложа богиня.

Въ 25 году была отпразднована свадьба Марцелла и Юліи;
 на 24 годъ ждали рожденія младенца. Тотчасъ бы по всему
 подвластному Августу міру помчались гонцы приглашать на-
 роды въ Римъ на великое, искупительное торжество, которое
 состоялось бы въ слѣдующемъ 23 году. И Гораций предпола-
 галъ украсить это торжество своей поэзіей; ода I 21

Цану—нѣжныя хвалите хоромъ дѣвы,
 Хвалите, отроки, вы Цинтія съ мольбой, и т. д.

была, по всей вѣроятности, написана въ ожиданіи его. Такъ
 велика была повсемѣстная увѣренность, что Фортуна не отка-
 жетъ Цезарю въ этомъ новомъ драгоценномъ подаркѣ.

И все-таки она ему въ немъ отказала. Двадцать четвер-
 тый годъ не принесъ наслѣдника императорскому дому, а слѣ-
 дующій унесъ даже надежду на его появленіе. Марцеллъ за-
 немогъ; отправленный лѣчиться въ знаменитыя своими мор-

скими купаньями Баи, онъ тамъ и скончался въ одинъ изъ послѣднихъ мѣсяцевъ того года, который долженъ былъ быть годомъ искупительнаго торжества. Велико было горе, причиненное смертью этого свѣтлаго, ласковаго юноши; Августъ, не оставлявшій надежды до послѣднихъ дней, отказался отъ званія консула, въ которомъ онъ рассчитывалъ встрѣтить зарю золотого вѣка. Проперцій почтилъ элегіей смерть юноши и горе его семьи (III 18); но самый прекрасный памятникъ поставилъ ему все тотъ же Виргилій. Эней навѣстилъ своего отца Анхиса въ преисподней; тотъ показываетъ ему души тѣхъ, которымъ суждено съ теченіемъ времени украсить своими именами лѣтопись римской исторіи, души еще вероужденныя, но уже чующія радость или горечь ожидающихъ ихъ судебъ. Среди прочихъ онъ показываетъ ему героя Аннибаловой войны, того Марцелла, который былъ прозванъ «мечемъ Рима»; рядомъ съ нимъ Эней замѣчаетъ юношу:

Весь красотой онъ сіяетъ и блескомъ сверкающихъ латъ, но Грусть омрачаетъ чело и потуплены ясныя очи.

„Кто, мой отецъ, этотъ спутникъ идущаго грознаго мужа?

„Сынъ ли его? Иль далекій великаго рода потомокъ?

„Какъ его шумно привѣтствуютъ всѣ! И какъ самъ онъ прекрасенъ!

„Жаль лишь, что грустною мглой его мрачная ночь осѣняетъ“.

Тутъ прослезился Анхисъ и въ печальной отвѣтствовалъ рѣчи:

„Сынъ мой, оставь подъ покровомъ твоихъ несказанное горе!

„Рокъ лишь *покажетъ* народамъ его, но гостить средь народовъ

„Долго не дастъ; чрезмѣрнымъ, о боги! знать, блескомъ державу

„Римскую онъ бы покрылъ, кабы долѣе жилъ между нами.

„Сколько, ахъ, жалобныхъ стоновъ подъ городомъ Марса великимъ

„Лугъ прибрежный услышитъ! и, свѣжій курганъ огибая,

„Сколь безконечную встрѣтишь, о Тибръ! ты печальную свиту!..

„Отрокъ злосчастный! О, если бы могъ ты жестокое рока

„Слово нарушить! *Ты будешь—Марцелъ!* О, лиліей бѣлой,

„Алою розой мнѣ дайте почтить омраченную душу

„Внука; услугой напрасной хоть сердца печаль облегчу и!“

Таковъ былъ исходъ тѣхъ свѣтлыхъ надеждъ, съ которыми тотъ же народъ два года назадъ отпраздновалъ веселую свадьбу Марцелла и Юліи.

X.

Марцелла не стало; но народъ продолжалъ жить, продолжалъ требовать, чтобы его правитель торжественнымъ искупительнымъ обрядомъ освободилъ его отъ «мученій гнетущаго страха». Печаль императорскаго дома могла отсрочить исполненіе этого требованія, но не предать его забвенію.

Правда, если относиться къ дѣлу строго, то отсрочка была равносильна полному отказу отъ торжества. Оно должно было быть приурочено къ моменту истеченія десятаго вѣка и новаго начала «великой вереницы вѣковъ», а назначеніе этого момента зависѣло, понятно, не отъ воли правителя—послѣднему оставалось только уловить его, рассчитавъ его наступленіе по непреложнымъ хронологическимъ даннымъ. Но мы знаемъ уже, какъ растяжима хронологія суевѣрія; въ данномъ случаѣ не было опредѣленнаго начальнаго года для счета вѣковъ, не было и несомнѣннаго опредѣленія того, что такое вѣкъ. Относительно этого послѣдняго существовали три теоріи: по однѣмъ, вѣкъ (saeculum) равнялся 110 годамъ, по другимъ — 100 (это—принятое у насъ опредѣленіе), по третьимъ—вѣкъ кончался тогда, когда умиралъ послѣдній изъ жившихъ или родившихся въ день его начала людей, а такъ какъ знать это было невозможно, то боги разными чудесными знаменіями доводятъ объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія. Наблюденіе такихъ знаменій подало нѣкогда, въ первую пуническую войну, поводъ къ учрежденію «вѣковыхъ игръ» (ludi saeculares). Память объ этомъ событіи была очень жива; она была связана, можно сказать, съ возникновеніемъ самой римской литературы.

Учрежденіе этихъ игръ состоялось по непосредственному внушенію Сивиллиныхъ книгъ. Въ Тарентѣ съ давнихъ поръ праздновались трехдневныя игры въ честь Аполлона-Гіакинѳа; это былъ умиловителный и искупительный праздникъ. Теперь, около 250 года до Р. Х., толкователи Сивиллиныхъ книгъ, усматривая во множествѣ тревожныхъ знаменій указаніе на приближающійся конецъ вѣка, рѣшили, что эти «тарентинскія игры» должны быть перенесены въ Римъ и отпразд-

нованы какъ «вѣковыя», съ тѣмъ чтобы повторяться къ концу каждаго вѣка, но не чаще. Для этого нужно было пригласить въ Римъ образованнаго тарентинца, который хорошо бы зналъ и обряды празднества, и латинскій языкъ, и сдѣлать его римскимъ гражданиномъ, чтобы онъ „умилостивилъ боговъ по иноземному обряду, но съ римскою душою“. Удобнымъ для этого лицомъ оказался тарентинецъ Андроникъ; получивъ римское гражданство подъ именемъ М. Ливіа Андроника, онъ научилъ своихъ новыхъ согражданъ обходить по уставу празднество «тарентинскихъ игръ». Оставшись затѣмъ въ Римѣ, онъ перевелъ по-латыни Одиссею, насадилъ путемъ переводовъ или подражаній греческимъ образцамъ другіе роды поэзіи—все это было, разумѣется, очень грубо и аляповато, но вызвало соревнованіе, и въ результатѣ вышло, что нашъ тарентинецъ, вызванный въ Римъ ради «вѣковыхъ игръ», сдѣлался родоначальникомъ римской литературы. Услужливая легенда тотчасъ явилась на помощь Сивиллѣ, вселяя въ римлянъ убѣжденіе, что ихъ «вѣковыя игры» были не нововведеніемъ, а лишь возобновленіемъ обряда, правившагося съ самаго начала существованія города къ концу каждаго «вѣка».

Легко себѣ представить, съ какою готовностью Августъ взялся воскресить этотъ забытый обрядъ. «Тарентинскія игры» имѣли всѣ требуемыя данныя для того, чтобы сдѣлать изъ нихъ то грандіозное искупительное торжество, котораго народъ требовалъ въ видахъ избавленія отъ кошмара угрожающаго свѣтопреставленія: онѣ сами по себѣ были искупительнымъ торжествомъ, онѣ были уже приурочены къ истеченію отдѣльныхъ вѣковъ Сивиллиной пѣсни, онѣ правились, наконецъ, въ честь того же Аполлона, который былъ покровителемъ и Августа, и истекающаго десятаго вѣка. Оставалось опредѣлить въ точности годъ истеченія этого вѣка; толкователи Сивиллиныхъ книгъ, по неизвѣстнымъ намъ соображеніямъ, рѣшили, что таковымъ будетъ 23 годъ. На этотъ годъ игры и были назначены; очень вѣроятно, что Августъ потому поторопился свадьбу Марцелла и Юліи—жениху было всего 17 лѣтъ—чтобы, по развитымъ въ предыдущей главѣ причинамъ, приурочить вѣковыя игры ко времени рожденія ожидаемаго наслѣдника. Когда же эта послѣдняя на-

дежда не оправдалась, когда вмѣсто обѣщанной народу радости послѣдовала болѣзнь и смерть императорскаго зятя, — мысль объ 'искупительномъ торжествѣ была оставлена.

Навсегда или только на время? На этотъ вопросъ трудно дать опредѣленный отвѣтъ; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что черезъ нѣсколько лѣтъ о ней заговорили опять. Юлія, по истеченіи предписаннаго обычаемъ времени вдовства, была выдана императоромъ за энергичнаго М. Агриппу, которому она вскорѣ — въ 19 г. до Р. Х. — родила сына; съ другой стороны, парѣе безъ войны признали себя побѣжденными и выдали Августу орловъ Крассовыхъ легионовъ, такъ что и съ этой точки зрѣнія пророчество Сивиллы могло считаться исполнившимся. Непріятно, разумѣется, было то, что срокъ вѣковыхъ игръ былъ, собственно говоря, упущенъ; но этому горю можно было пособить. Квиндецимвиры, провѣривъ сложные (м. пр. и астрологическіе) расчеты, на основаніи которыхъ конецъ десятаго вѣка былъ приуроченъ къ 23 году, нашли въ нихъ ошибку; по исправленіи этой ошибки оказалось, что началомъ новой эры долженъ быть признанъ не 23, а 17 годъ. Къ этому году и стали готовить неслыханные по своей пышности «вѣковыя игры».

Объ этихъ играхъ мы имѣемъ довольно опредѣленное представленіе: о нихъ упоминаютъ не разъ позднѣйшіе авторы, къ тому же въ 1890 году, при регулировкѣ Тибра, были найдены официальные документы, сюда относящіеся — указъ императора квиндецимвирамъ и два постановленія — съ точнымъ описаніемъ ритуала. Вѣстники приглашали народъ къ участію въ торжествѣ, „котораго никто никогда еще не видѣлъ и никто никогда болѣе не увидитъ“; съ 31 мая до 3 іюня длились празднества, происходившія непрерывно днемъ и ночью, при чемъ чередовались жертвоприношенія различнымъ богамъ, драматическія представленія въ театрахъ, угощенія, процессіи подъ звуки торжественныхъ славословій, и т. д. Изъ боговъ особое почтеніе было оказано Землѣ и Паркамъ, что объясняется искупительнымъ характеромъ праздника: имъ принадлежалъ запятанный грѣхомъ родъ человѣческій, ихъ слѣдовало вознаградить за то, что они милостиво отпустили его изъ-подъ своей власти; но кромѣ того были почтены боги-по-

кровители римской державы, Юпитеръ съ Юноной, затѣмъ—покровитель истекающаго вѣка, Аполлонъ съ Діаной, и наконецъ—богини-заступницы роженицъ. Можно себѣ представить съ какой благодарностью помолился бы народъ этимъ богинямъ, если бы торжество состоялось въ 23 г. послѣ благополучнаго рожденія „вождемънаго младенца“!

Съ особымъ интересомъ прочли мы въ новонайденныхъ документахъ слова: „По окончанія жертвоприношенія двадцать семь отроковъ, сыновья живыхъ отцовъ и матерей, и столько же дѣвъ исполнили кантату; кантату написалъ Кв. Горацій Флаккъ“. Эта кантата намъ сохранена; она издается въ собраніяхъ стихотвореній нашего поэта особо подъ заглавіемъ сагмен саесуларе. Не будучи вполне свободной отъ недостатковъ, обыкновенно присущихъ такимъ кантатамъ, эта пѣснь тѣмъ не менѣе производитъ пріятное впечатлѣніе своимъ радостнымъ, праздничнымъ настроеніемъ. Имъ дышитъ уже первый привѣтъ—привѣтъ солнцу:

Солнце-кормилецъ, что день съ колесницей намъ ясной
Кажешь и причесъ, инымъ возрождаясь и тѣмъ же,
Пусть ничего на пути ты не узришь могучей
Города Рима!

Оно же царить во всей остальной одѣ. Всѣмъ богамъ праздника воздана честь; съ народа сложена томящая обуза. Смѣлѣе смотря участники торжества на встрѣчу грядущимъ временамъ:

„Боги!“ зываютъ они,

Боги! возвысьте въ понятливой юности нравы!
Боги! вы старость святой тишиной окружите!
Ромула внукамъ—потомства, богатства и славы
Громкой поплите!..
Съ древней стыдливостью, съ Миромъ и Правдой дерзаетъ
Доблесть забытая вновь появляться межъ нами;
Снова Довольство отрадное всѣмъ разсыпаетъ
Рогъ свой съ дарами...

Это, хотя и въ болѣе сдержанныхъ выраженіяхъ, то же чаяніе приближающагося золотого вѣка, какъ и въ вышеприведенной эклогѣ Virgilia: возвращается Сатурново царство съ

его довольствомъ, возвращается и дѣва-Правда со свитою своихъ ясныхъ сестеръ. Исполнилось ли это предсказаніе?.. Было бы странно и спрашивать объ этомъ. Дѣва-Правда осталась въ небесной лазури, гдѣ она пребываетъ и понынѣ; что же касается человѣчества, то хорошо было и то, что, благодаря радостному искупительному торжеству, оно надолго освободилось отъ того пугала, передъ которымъ оно трепетало до тѣхъ поръ—отъ перваго въ лѣтописяхъ исторіи «свѣтопреставленія».

ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ.

(1888).

I.

Счастливъ тотъ, кто, доживъ до преклонныхъ лѣтъ, угасаетъ тихой и безболной «естественной» смертью: его душа, состарившись вмѣстѣ съ тѣломъ, спокойно улетаетъ отъ міра живущихъ, она рада вкусить вѣчный покой на блѣдномъ лугу подземной обители. Но горе тому, кто въ цвѣтъ лѣтъ, не утоливъ своей жажды жизни, палъ жертвой вражьяго кинжала или вражьей болѣзни; горе ему и—горе намъ, его односельчанамъ или согражданамъ. Нѣтъ мира его душѣ: не хочется ей, сильной и здоровой, удалиться къ туманнымъ берегамъ Ахеронта, ее непреодолимо тянетъ къ намъ, къ той чашѣ жизни, отъ которой ее насильно оттолкнули; она пребываетъ среди насъ, оскорбленная и озлобленная, завистливая и мстительная, и будетъ пребывать до тѣхъ поръ, пока не исполнить положеннаго ей рокомъ числа лѣтъ, или пока мы путемъ сильныхъ чаръ не заставимъ ее отъ насъ удалиться. Днемъ она, заключенная въ своей гробницѣ, тихо сторожитъ прахъ своего бывшаго тѣла; но пусть только Луна, царица тѣней, взойдетъ надъ опустѣвшими дорогами съ ихъ курганами и памятниками — и освобожденные души въ ночномъ вѣтрѣ мчатся къ обители живыхъ. Собаки издали чуютъ ихъ приближеніе и даютъ знать о немъ зловѣщимъ воемъ; обыватели боязливо жмутся въ своихъ жилищахъ, боязливо хватаются за припасенный на всякій случай серебряный амулетъ „отъ вся-

каго повѣтрія и всякой напасти“. Теперь небезопасно выйти на улицу, небезопасно и произнести имя—свое или близкаго человѣка; окружающій воздухъ насыщенъ немилой и неласковой «нечистой» чилой. Она и хочетъ, и можетъ вредить: лучше не возбуждать ея вниманія, показываясь ей или произнося имя, которое могло бы дать направленіе ея злой волѣ и злой мощи. Пусть себѣ тихо бродитъ въ ночной мглѣ, пока утренняя заря не загонитъ ее обратно туда, откуда она пришла.

Не бойтесь: другъ не произнесетъ вашего имени въ присутствіи нечистой силы, но—не произнесетъ ли его *врагъ* именно съ тѣмъ, чтобы вамъ повредить? Опасность тутъ несомнѣнно есть, но небольшая: могутъ не услышать, могутъ не запомнить, —наконецъ, отъ слабой напасти и амулетъ спасетъ. Есть средства подѣйствительнѣе: знаютъ ихъ люди свѣдущіе, колдуны и колдуньи. Эти средства, очень разнообразныя, имѣютъ всѣ одну цѣль: подчинить нечистую силу волѣ человѣка, заставить ее дѣйствовать по его указаніямъ. Письмена сильнѣе словъ, формула закліятія сильнѣе вольной просьбы, металлъ сильнѣе лоскутка бумаги; изъ металловъ же наиболѣе родственныи умершимъ —свинецъ, этотъ мертвецъ среди металловъ, нѣмой, тяжелый и безжизненный (т.-е. не эластичный). А чтобы лихая молитва навѣрное была прочитана кѣмъ слѣдуетъ, ее нужно зарыть туда, гдѣ обыкновенно пребываетъ зловредная душа. Когда, въ правленіе Тиберія, благородный Германикъ умиралъ отъ таинственной болѣзни, его друзья приписывали его смерть чарамъ его враговъ и въ числѣ доказательствъ приводили—какъ рассказываетъ Тацитъ—найденныя ими „зловѣщія формулы и закліятія съ именемъ Германика, написанныя на свинцовыхъ пластинкахъ“.

Не всегда, впрочемъ, закліятіе было направлено противъ *жизни* врага. Проснется человѣкъ съ какой-то непонятной тяжестью въ рукахъ или ногахъ, съ какой-то противной усталостью, разлитой по всему тѣлу, чувствуетъ, что у него память отшибло, языкъ заплетается, поджилки дрожать—а ему предстоитъ бѣгъ въ ипподромъ, или свиданіе съ любимой женщиной, или рѣчь передъ судомъ. И вотъ для него ясно, что его немощъ—слѣдствіе прикосновенія «безвременно погибшаго» (aóros), котораго на него наслалъ его соперникъ или против-

никъ: ужъ навѣрное его имя стоитъ на свинцовой пластинкѣ, зарытой въ прахѣ могилы или брошенной въ колодезь къ утопленнику...

II.

Такія свинцовыя пластинки въ количествѣ нѣсколькихъ сотенъ экземпляровъ сохранились и до нашихъ временъ, составляя прелюбопытный классъ эпиграфическихъ памятниковъ. Были онѣ обнаруживаемы исподволь уже со среднихъ десятилѣтій истекшаго вѣка; но лишь за послѣдніе годы, благодаря главнымъ образомъ трудамъ Вюнша, Цибарта и Одолляна (Audollent), составила достаточно богатая коллекція, дающая надлежащее представленіе объ указанной сторонѣ античной жизни. Большинство свинцовыхъ пластинокъ найдено въ Аттікѣ, горы которой содержали довольно обильныя свинцовыя залежи; все же онѣ попадаются и въ другихъ мѣстностяхъ обширнаго района греческой культуры, между прочимъ, и въ южной Россіи. Найденныя здѣсь пластинки были изданы не такъ давно г. Придикомъ; современемъ онѣ войдутъ въ составъ богатаго сборника южно-русскихъ надписей, издаваемыхъ акад. В. В. Латышевымъ.

Интересна тутъ, прежде всего, внѣшняя сторона дѣла: символизмъ, столь умѣстный въ сношеніяхъ съ нечистой силой, даетъ себя знать и здѣсь. Желая своему врагу всякаго рода «превратностей», проклинаящій часто считалъ нужнымъ выразить эту идею особымъ «превратнымъ» способомъ письма: онъ ставилъ буквы не слѣва направо, какъ писали тогда и какъ пишемъ мы нынѣ, а справа налево. Инымъ и это казалось еще недостаточно дѣйствительнымъ: нужно было, чтобы и цѣлыя строки читались не сверху внизъ, а снизу вверхъ. Но и эту тщательность можно было превзойти: особенно опытные въ чернокнижій люди писали буквы своего заклія въ совершенно произвольномъ порядкѣ, такъ чтобы именно только нечистая сила и могла ихъ прочесть. Сдѣлавъ требуемую запись, пластинку складывали или свертывали, на подобіе тогдашнихъ писемъ, и затѣмъ пробивали однимъ или нѣсколькими мѣдными гвоздями: гвоздь — символъ принужденія,

почему и сама богиня принужденія у древнихъ, Ананка, изображалась съ гвоздями въ рукѣ. Готовое письмо отправляли туда, гдѣ жила душа злого покойника,—самымъ удобнымъ для этого временемъ считалось новолуніе—и ждали того, что будетъ далѣе.

III.

Но главное, разумѣется, не эти внѣшности, а самое содержаніе заклія. Интересно оно первымъ дѣломъ, конечно, для исторіи суевѣрія, этого великаго, хотя и отрицательнаго фактора нашей культуры. Интересно оно, во-вторыхъ, и помимо того для исторіи нравовъ: не забудемъ, что суевѣріе гнѣздилось преимущественно въ бѣдныхъ и необразованныхъ классахъ населенія, т.-е. такихъ, которые почти не оставили сами другихъ непосредственныхъ памятниковъ своей жизни. Но едва ли не самой драгоценной стороной нашихъ заклій является въ нашихъ глазахъ та близость аффекта, то дыханіе жизни, которое мы чувствуемъ, разбирая эти кривыя и ломанныя письма, невѣжественно надарапанная невѣжественной рукой. Сатирикъ Персій гдѣ-то смѣется надъ молитвами, „которыя нельзя повѣрить богамъ иначе, какъ отведя ихъ въ сторону“; именно такого рода молитвы имѣемъ мы здѣсь,—молитвы, которыя молящійся ни за что бы не повѣрилъ постороннему человѣку, страстные, часто преступныя желанія его оскорбленной или запуганной души.

Въ самомъ дѣлѣ, прошу прочесть хотя бы слѣдующій разговоръ: „Я связываю Θεодору и отдаю ее связанной той богинѣ, что у Персефоны (т.-е. Гекатѣ, владычицѣ привидѣній) и тѣмъ, что умерли безъ цѣли (т.-е. до брака): безъ цѣли (т.-е. успѣха) быть и ей, и всему, что она намѣрена сказать Каллію, и всему, что она намѣрена сказать Харію, и всѣмъ ея дѣламъ, словамъ и работамъ... Я связываю Θεодору, чтобы не имѣла успѣха у Харія, и чтобы забылъ Харій Θεодору, и чтобы забылъ Харій ребенка Θεодоры, и ложе, которое онъ дѣлилъ съ Θεодорой. И какъ этотъ трупъ лежитъ безъ цѣли (т.-е. безъ сознанія или воли), такъ же безцѣльнымъ быть всѣмъ словамъ и дѣламъ Θεодоры... Я связываю Θεодору... и ложе,

которое она дѣлила съ Харіемъ, чтобы забылъ объ ея ложѣ Харій, чтобы забылъ Харій и о ребенкѣ Θεодоры, въ которую онъ влюбленъ“.

Нужно ли объяснять этотъ грустный романъ, единственнымъ слѣдомъ котораго осталась исписанная рукой колдуньи свинцовая пластинка? „Ты хочешь жениться, Памфилъ“, читаемъ мы въ одномъ изъ самыхъ интересныхъ діалоговъ Лукіана, „хочешь взять за себя дочь судовщика Фидона... гдѣ же твои клятвы, гдѣ же слезы, которыя ты проливалъ? Забылъ ты о своей Миртіи, забылъ какъ разъ теперь, когда у меня твой ребенокъ вотъ уже восьмой мѣсяцъ подъ сердцемъ“. То же самое, приблизительно, имѣемъ мы и здѣсь. Но Θεодора несогласна молча отказаться отъ своихъ правъ; она хочетъ переговорить съ молодымъ Харіемъ—онъ вѣдь ее любитъ,—хочетъ переговорить и съ Калліемъ, его отцомъ: онъ долженъ понять, образумиться. Узнала объ этомъ намѣреніи невѣста, испугалась—видно, и ей полюбилися обольстители Θεодоры. Тутъ человѣческой силой не поможешь; и вотъ она обращается къ колдунѣ, и онѣ рѣшаютъ «связать» ненавистную соперницу. Заклятiе написано; но каково будетъ невѣстѣ въ темную, безлунную ночь отнести его къ могилѣ покойника?

А вотъ, наоборотъ, заговоры разлучницъ, желающихъ отвлечь мужей отъ ихъ законныхъ женъ: „Отдаю Гермесу подземному эретріянку Зоилу, жену Кабира, ея пищу, ея питье, ея ночи, ея улыбку...“ или: „Демоны и духи, обитающіе въ этомъ мѣстѣ, мужчинъ ли или женщинъ, заклинаю васъ священнымъ именемъ (слѣдуетъ страшный, но невразумительный наборъ буквъ). Дайте, чтобы Витрувій Феликсъ возненавидѣлъ Валерію Квадратиллу, чтобы онъ забылъ о ея любви: предайте ее жестокой карѣ за то, что она первая нарушила обѣтъ вѣрности, который она дала своему мужу Феликсу“. Этотъ послѣдній заговоръ на нѣсколько вѣковъ позднѣе того перваго; это видно не только изъ встрѣчающихся въ немъ римскихъ именъ, но изъ измѣнившагося характера самихъ заклинаній. Геката и Персефона отошли на задній планъ, ихъ смѣнили неудобопроизносимыя для грека, но тѣмъ болѣе внушительныя «абрайскія» (т.-е. еврейскія) имена.

IV.

Слѣдуетъ, однако, сознаться, что заговоры съ романической подкладкой (среди которыхъ встрѣчаются и совершенно неудобопереводимые) составляютъ меньшинство. Вообще, если раздѣлить заговоры на категоріи, оставляя непонятные для насъ въ сторонѣ, то придется выдѣлить, какъ самую численную и самую неутѣшительную категорію, тѣ пластинки, которыя даютъ только имя (или рядъ именъ), иногда съ глаголомъ «связываю». Въ другихъ указывается въ самыхъ общихъ чертахъ на обиду, которую проклинаемые лица причинили пишущему: „Связываю Евриптолема и Ксенофонта, ихъ языки, ихъ слова, ихъ дѣла; все, что они замышляютъ и дѣлаютъ, да будетъ безуспѣшно! Милая Земля, наложи руки на Евриптолема и Ксенофонта, сдѣлай ихъ немощными и ихъ дѣянія безуспѣшными; нашли чахотку на Евриптолема и Ксенофонта. Милая Земля, помоги мнѣ: будучи обиженъ Евриптолемомъ и Ксенофонтомъ, я связываю ихъ“. Земля призывается здѣсь, какъ владычица усопшихъ: кромѣ того, читателю навѣрное бросилась въ глаза, какъ особенность этихъ заклинаній, страсть ихъ авторовъ къ повтореніямъ: особенно часто повторяются имена собственные—чтобы нечистая сила ихъ хорошенько запомнила и не наслала, по недоразумѣнію, требуемыхъ бѣдъ на кого-нибудь другого. Но и мысли повторяются, при томъ въ почти тождественныхъ, лишь слегка измѣненныхъ словахъ (прошу сравнить заговоръ противъ Θεοδορύ). Такое повтореніе въ древнемъ краснорѣчій считалось непозволительнымъ; напротивъ, оно составляетъ характерный признакъ современнаго краснорѣчія: „repetitio“,—говаривалъ Наполеонъ—„единственная серьезная риторическая фигура“. Это сближеніе интересно; оно показываетъ, что современные рѣчи имѣютъ скорѣе характеръ заговоровъ, чѣмъ рѣчей... Но не будемъ отвлекаться...

Другая особенность состоитъ въ томъ, что связываются не только самыя лица, но и отдѣльныя части ихъ тѣла или души. Правда, выбранные примѣры для этой особенности мало ха-

рактены; есть другіе, гораздо болѣе полныя, содержащія цѣлую анатомію. Связывается языкъ, руки, ноги, грудь и т. д., но чаще всего языкъ, какъ самая опасная и зловредная часть человѣческаго тѣла. Вредить можетъ онъ вездѣ и всегда, но болѣе всего — на *судѣ*; неудивительно, что довольно значительная часть заговоровъ имѣетъ непосредственное отношеніе къ судебному дѣлу. „Владыка чаръ“, читаемъ мы въ одной особенно безграмотной надписи, „я связываю Діокла, моего противника по суду, связываю языкъ и разумъ какъ его самого, такъ и всѣхъ его помощниковъ, связываю его рѣчь, связываю заготовленные имъ свидѣтельскія показанія, связываю всѣ судебныя доказательства, которыя онъ собираетъ противъ меня. Наложу руку на него, чтобы всѣ судебныя доказательства, которыя собираетъ противъ меня Діоклъ, были напрасны, чтобы помощники Діокла не принесли ему никакой пользы, чтобы Діоклъ былъ разбитъ мною во всѣхъ инстанціяхъ, чтобы Діоклъ нигдѣ ничего доказать не могъ“. Чего ожидалъ заклинаящій отъ нечистой силы? Мы это можемъ сказать довольно точно: чтобы Діоклъ, представъ передъ судьями, внезапно лишился способности произнести свою рѣчь, чтобы у него или языкъ оцѣпенѣлъ, или память отшибло... «Отъ волненія» и «страха» — сказали бы мы; но люди суевѣрные и то, и другое склонны были приписывать вліянію нечистой силы. Интересную иллюстрацію къ только-что сказанному даетъ рассказъ Цицерона объ одномъ казусѣ, приключившемся когда-то его коллегѣ по адвокатурѣ, Куріону. „Однажды“, говоритъ онъ, „были мы противниками въ одномъ очень важномъ гражданскомъ процессѣ; я только-что кончилъ свою рѣчь за Титинію, ему предстояло говорить отъ имени Невія. Вдругъ оказалось, что у него все дѣло вылетѣло изъ памяти; это онъ приписалъ чарамъ и заговорамъ Титиніи“. Цицеронъ, какъ человѣкъ просвѣщенный, объясняетъ этотъ казусъ не вмѣшательствомъ нечистой силы, а отвратительной памятью Куріона; все же заслуживаетъ вниманія, что Куріонъ, римскій сенаторъ, бывшій консулъ и полководецъ, могъ быть въ то же время такимъ суевѣрнымъ человѣкомъ.

V.

Особнякомъ стоитъ рядъ заговоровъ, прочитанныхъ и изслѣдованныхъ лишь въ самое послѣднее время вышеназваннымъ филологомъ Вюншемъ. Принадлежать они послѣднему вѣку существованія Западной Имперіи, когда Римъ сталъ великой клоакой, куда стекались суевѣрія со всѣхъ концовъ цивилизованнаго міра. Умственная его жизнь была довольно слаба; предметомъ всеобщаго интереса были скачки въ ипподромѣ, героями дня были счастливые или искусные возницы и ихъ лошади. Всѣ политическія партіи ступали передъ партіями цирка; кто побѣдитъ, «бѣлый» или «красный», «зеленый» или «синій»?—вотъ каковъ былъ самый жгучій, самый томительный вопросъ. При такомъ положеніи дѣлъ было бы очень странно, если бы возницы, люди сугубо необразованные, не обратились бы за помощью и къ нечистой силѣ. Но греческіе и римскіе боги уже потеряли свою власть надъ нею; гораздо болѣе могущественной признавалась варварская, еврейско-египетская смѣсь, а въ ней—уродливый ослоголовый Тифонъ-Сетъ (или Сиѣ). Къ нему-то и къ его свитѣ и обращались въ критическую минуту „...наложите руку на тѣхъ коней, что записаны на этой пластинкѣ, сдѣлайте ихъ безсильными, безногими, безпомощными, наложите руку на нихъ съ нынѣшняго же дня и часа, теперь, теперь, теперечко, скоро, скоро. Наложите руку на Артемія, сына Сапиды, и Евѳимія, сына Пасхалии, и Евгенія, сына Венеріи, и Домнина, сына Фортунны (матери вмѣсто отцовъ по правилу: *mater semper certa, pater incertus*) съ нынѣшняго же часа, а съ ними и на коней зеленого, которые записаны на этой пластинкѣ, и т. д.“. Интересную параллель къ этимъ заклятіямъ представляетъ случай изъ жизни св. Иларіона, рассказанный бл. Іеронимомъ. Пришелъ къ нему однажды въ Газѣ возница и попросилъ дать ему средство противъ чаръ его конкурента—а былъ этотъ конкурентъ почитателемъ бога Марны. Св. Иларіонъ, послѣ нѣкотораго колебанія, согласился и далъ просителю святой воды, сила которой разрушила чары противника.

Христіанинъ побѣдилъ; тогда народъ убѣдился, что христіанскій Богъ сильнѣе Марны, и согласился принять христіанство.

Отмѣчу вкратцѣ, что заговоры возницъ представляютъ огромный интересъ и для исторіи религій—не только языческихъ, но и христіанской въ ея зачаточномъ періодѣ; но объ этомъ интересѣ здѣсь говорить не приходится.

VI.

...»И тотъ, кто вамъ спѣлъ эту пѣсню, — онъ самъ всю ту рухлядь перерылъ, и въ виду найденныхъ памятниковъ съ гордостью почувствовалъ себя членомъ культурнаго общества“ — этими юмористическими словами заканчиваетъ нѣмецкій поэтъ Шеффель одно изъ своихъ забавныхъ палеэтнологическихъ стихотвореній. Авторъ настоящаго очерка былъ бы очень радъ, если бы могъ примѣнить эти слова и къ себѣ. Нечистая сила, исчадіе мрака невѣжества, испаряющаяся и исчезающая подъ лучами солнца просвѣщенія—что за восхитительная картина! Соотвѣтствуетъ ли она только дѣйствительности? Я не говорю здѣсь о томъ что очень многочисленный классъ людей и нынѣ одержимъ суевѣріемъ,—это вопросъ времени, и до пришествія антихриста еще далеко. Нѣтъ, останемся въ предѣлахъ нашего культурнаго общества. Вѣдь если бы оказалось, что нечистая сила вовсе не исчезла, а только переселилась изъ внѣшняго міра во внутренній — согласитесь, прогрессъ былъ бы не великъ. Или если бы—мѣняя метафору—оказалось, что исчезла-то она исчезла, но не подъ вліяніемъ просвѣщенія и науки, а вслѣдствіе конкуренціи другой, еще болѣе нечистой, чѣмъ она сама, силы—то и тутъ утѣшительнаго было бы мало. Какъ же обстоятъ дѣла?

Конечно, влюбленная интеллигентка нашихъ дней не станетъ обращаться къ могучей Персефонѣ, поручая ей пищу и питье, румянецъ и улыбку своей соперницы. Равнымъ образомъ и мой противникъ-интеллигентъ не станетъ молиться подземному Гермесу, чтобы онъ связалъ мой языкъ и мое перо, мою память и мою сообразительность, чтобы мнѣ быть имъ разбиту передъ всякимъ слушателемъ и всякимъ читате-

лемъ. Въ этомъ мы признали бы несомнѣнный прогрессъ,—если бы въ томъ и другомъ случаѣ дѣйствовала любовь къ свѣту и правдѣ, отвращеніе къ кривымъ и темнымъ путямъ, къ коварству и подножкамъ; но такъ ли это? Вникнемъ въ дѣло глубже—и тотчасъ всплывутъ наружу побужденія и соображенія совершенно другого рода.

Въ самомъ дѣлѣ, на что нашей красавицѣ Персефона, когда къ ея услугамъ гораздо болѣе могучая и въ то же время болѣе податливая богиня—Сплетня? И на что моему противнику Гермесъ, когда къ его услугамъ страшные въ нашемъ оппортунистически настроенномъ обществѣ демоны — Доносъ, Подвохъ, Клевета и пр.? Нѣтъ, читатель, воля ваша; лучше темная ночь, чѣмъ пасмурный день; и лучше нечистая, чѣмъ—неопрятная сила.

АНТИЧНАЯ ЛЕНОРА.

(1906).

I.

Скоро исполнится сто лѣтъ съ тѣхъ поръ, когда на страницахъ «Вѣстника Европы» появилась русская баллада, впервые познакомившая русскую публику съ романтическимъ мотивомъ Бюргеровской невѣсты смерти, Леноры — знаменитая въ свое время «Людмила» Жуковского (1808). Какъ извѣстно, этимъ починомъ поэта-романтика и русская интеллигенція была приобщена къ тому спору за народническій романтизмъ, который загорѣлся много раньше въ Германіи по поводу оригинальной баллады-знаменосицы Бюргера. Съ тѣхъ поръ много воды утекло: романтизмъ отшумѣлъ, но народничество осталось, и именно у насъ, въ Россіи, оно наиболее окрѣпло и дало міру свои самыя могучія и прекрасныя произведенія. Безспорно, много жемчужинъ вынесло оно на поверхность изъ глубины народнаго сознанія, но и много ила и тины; часто горькое разочарованіе постигало тѣхъ энтузіастовъ, которые смѣло бросались въ пучину народнаго моря, надѣясь найти на его днѣ прочныя и вѣчныя устои тѣхъ коралловыхъ острововъ добра и красоты, которые такъ заманчиво разнообразяютъ его поверхность. И чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе увеличивается у насъ число тѣхъ, чье „злобою сердце питаться устало“; чѣмъ далѣе, тѣмъ напряженнѣе прислушиваются они къ новымъ голосамъ, раздающимся опять-таки съ Запада, и къ нарождающейся новой пѣснѣ, которой только наши потомки сумѣютъ дать имя.

Но пока народнической романтизмъ переживалъ фазисы своей естественной эволюціи въ литературѣ, его значеніе въ наукѣ, какъ важнаго культурно-историческаго фактора, оставалось непоколебимымъ: «мотивъ Лены» — понынѣ одна изъ любимѣйшихъ темъ для фольклористовъ и историковъ литературы, причемъ первые собираютъ варианты этого мотива въ народной поэзіи всѣхъ временъ и странъ, а вторые изучаютъ движеніе, вызванное въ европейской литературѣ балладой Бюргера. И та, и другая тема оказалась очень благодарной, и «литература о Ленѣ» росла съ каждымъ десятилѣтіемъ; специально русская наука обладаетъ обстоятельнымъ руководствомъ въ этой области въ трудѣ проф. Созоновича, подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о западномъ вліяніи на славянскую и русскую поэзію“ (Варшава 1898).

Былъ ли «мотивъ Лены» созданъ народной поэзіей новой Европы, или же перешелъ онъ къ ней отъ народовъ древности, т. е., черезъ посредство Рима, отъ Греціи? Вопросъ этотъ, разумѣется независимъ отъ вопроса о томъ, имѣлся ли у древнихъ нашъ мотивъ: объ этомъ послѣднемъ и спорить нечего, такъ какъ факты налицо и они достаточно извѣстны изслѣдователямъ. Нѣтъ; но можно, признавая наличность этихъ фактовъ, тѣмъ не менѣе отрицать прямую преемственность между античной и романтической Леной. Я долженъ, однако, замѣтить, что проф. Созоновичъ, говоря на стр. 99 — 104 своего труда объ античныхъ сказаніяхъ, родственныхъ сказаніямъ о Ленѣ, склоненъ признать эту преемственность; я полагаю, что онъ правъ, и надѣюсь, что настоящій очеркъ еще болѣе подтвердитъ вѣроятность этого мнѣнія. Все же не въ этомъ состоитъ его главная задача: составляя его, я хотѣлъ, прежде всего, представить въ болѣе полныхъ и наглядныхъ чертахъ, чѣмъ это дѣлалось доселѣ, исторію развитія античной Лены.

II.

При всемъ томъ мы, чтобы отнестись сознательно къ историко-литературному значенію античной родоначальницы романтической Лены, должны взять за точку исхода эту по-

слѣднюю, и я прошу позволенія напомнить читателю вкратцѣ содержаніе Бюргеровской баллады—ея точный переводъ, Жуковский, какъ извѣстно. далъ русской публикѣ черезъ двадцать слишкомъ лѣтъ послѣ своего вольнаго подражанія въ «Людмилѣ» («Ленора», баллада изъ Бюргера, 1831—Стихотворенія подъ ред. Ефремова, 9-е изд., т. II, стр. 468 и сл.).

Встревоженная страшными сновидѣніями, молодая Ленора ждетъ съ душевнымъ трепетомъ возвращенія своего жениха, отправившагося съ войскомъ Фридриха въ силезійскую войну. Ея предчувствія оправдываются: среди возвращающихся воиновъ ея милого нѣтъ. Тогда она проклинаетъ и свою жизнь, и Бога, и святыя тайны, и надежду на вѣчное блаженство; тщетно ея мать старается ее успокоить,—въ отчаянныхъ вопляхъ и жалобахъ проходитъ весь день, наступаетъ ночь. Слышится топотъ коня, дверь отворяется: въ вошедшемъ она узнаетъ жениха. Тотъ ее торопитъ въ путь, на новоселье, устраняя ея сомнѣнія зловѣще-двусмысленными успокоеніями. Не долго думая, она садится на его коня; они ѣдутъ. „Мѣсяцъ свѣтитъ намъ, гладка дорога мертвецамъ“. Поля и луга, села и рощи летятъ мимо нихъ; чѣмъ дальше, тѣмъ страшнѣе: вотъ погребальное шествіе, вотъ рой привидѣній у висѣлицы. Наконецъ, они прискакали: кругомъ могилы, сама она въ объятіяхъ мертвеца, и духи поютъ ей предсмертную пѣснь: „Терпи, терпи, хоть ноетъ грудь, Творцу въ бѣдахъ покорна будь!“

Эти послѣднія слова особенно ярко оттѣняютъ нравоучительный характеръ баллады, который, впрочемъ, и безъ нихъ очевиденъ. Свиданіе съ милымъ понимается не какъ награда Ленорѣ за ея любовь и вѣрность, а какъ кара. Радость совершенно отсутствуетъ; не успѣла невѣста, при появленіи жениха, стряхнуть бремя долгаго горя, какъ его странное требованіе отъѣзда въ ненастную ночь ввергаетъ ее въ новую тревогу. Описаніе страшной ночной скачки съ мертвецомъ занимаетъ въ балладѣ преобладающее положеніе; рядомъ съ этимъ впечатлѣніемъ меркнутъ всѣ остальные.

Повторяю, участь Леноры представлена сплошнымъ ужасомъ, представлена карой; а причину кары благочестивый поэтъ-христианинъ усмотрѣлъ въ богохульственномъ отчаяніи, которымъ она отвѣтила на ниспосланное ей Господомъ испытаніе.

Конечно, религиозная мотивировка кары остается собственностью поэта; въ народной легендѣ мотивировка могла быть иная или отсутствовать совсѣмъ. Зато одно несомнѣнно: вездѣ тамъ, гдѣ ночная скачка съ мертвецомъ стоитъ въ центрѣ баллады, представленіе о свиданіи какъ о карѣ напрашивается само собою, и представленіе о немъ какъ о наградѣ исключается. Съ этой точки зрѣнія прямой противоположностью къ Бюргеровской Ленорѣ и ея народнымъ первообразамъ является другая, тоже народная, обработка мотива; она записана въ нѣсколькихъ вариантахъ въ разныхъ областяхъ Германіи (одинъ изъ этихъ вариантовъ, нѣмецко-моравскій, приведенъ проф. Соконовичемъ, стр. 138). Въ виду ея важности для нашего вопроса я позволю себѣ привести ее въ переводѣ, синтетически примиряющемъ отдѣльные варианты; оговариваюсь, что мой переводъ точно приноровленъ къ напѣву, но не къ размѣру нѣмецкой народной пѣсни:

Тихо другъ бредетъ къ подругѣ
И въ окно стучится къ ней:
„—Дома-ль ты, моя зазноба?
Встань, выusti меня скорѣй!“

„—Нѣтъ съ тобой для насъ бесѣды,
Не могу тебя впустишь:
Я давно люблю другого,
За тобою мнѣ не быть“.

„—Тотъ, кого давно ты любишь.
Милый другъ мой, это я;
Ручку дай: меня узнаешь
Ручка бѣлая твоя“.

„—Отъ тебя землею пахнетъ,
Самъ ты смерти холоднѣй!“
„—Какъ не пахнуть мнѣ землею?
Восемь лѣтъ лежу я въ ней!“

Разбуди отца родного,
Разбуди родную ты:
Данъ вѣнокъ тебѣ зеленый
До небесной высоты!“

Первый благовѣстъ раздался—
Помертвѣлъ невѣсты ликъ:

Благовѣсть второй раздался—
Смертный хладъ ее проникъ;
Третій благовѣсть раздался—
Испустила духъ она;
Такъ-то ночь двоихъ влюбленныхъ
Упокоила одна.

Въ ночь, одну для двухъ влюбленныхъ
Вѣчной жизни часъ насталъ;
Самъ Господь съ небесной выси
Другъ ихъ съ другомъ обвинчалъ.

Нельзя сказать, чтобы страхъ вовсе отсутствовалъ въ этой обработкѣ: онъ ясно слышится въ четвертой строфѣ. Но дальше ея онъ не проникаетъ; затѣмъ идетъ описаніе свиданія влюбленныхъ и медленнаго, счастливаго умиранія невѣсты въ объятіяхъ жениха подъ торжественный звонъ утренняго благовѣста, которымъ самъ Богъ какъ бы освящаетъ ихъ бракъ. О ночной скачкѣ не только не говорится—она прямо исключается всей обстановкой разсказа. Итакъ, мотивъ кары отсутствуетъ; его замѣняетъ мотивъ награды, звучащій особенно сильно въ послѣднихъ словахъ жениха съ ихъ красивой загадочностью: „данъ вѣнокъ тебѣ зеленый до небесной высоты“ (Grün Kränzlein sollst du tragen—Bis in den Himmel' nein). Награды—за что? И въ этомъ пѣсня не оставляетъ никакого сомнѣнія: за вѣрность, съ которой невѣста хранила свою любовь для жениха за все время его долгаго отсутствія, вѣрность, о которой свидѣтельствуетъ ея отказъ вступить даже въ бесѣду съ чужимъ человѣкомъ въ ночное время. Именно ею она заслужила зеленый вѣнокъ.

Я ограничиваюсь этими двумя обработками, такъ какъ онѣ знаменуютъ собою оба полюса въ нравственной оцѣнкѣ мотива Леныры. А теперь переходимъ къ ея античной родоначальницѣ.

Это—ѳессалійская царица *Лаодамія*.

III.

Упоминается она впервые — хотя и безыменно — въ томъ мѣстѣ Иліады, гдѣ перечисляются по городамъ дружины ахейцевъ, выступившія въ походъ противъ Трои. Среди прочихъ.

называются и жители нѣкоторыхъ ѳессалійскихъ городовъ, между прочимъ и Филаки (II 698):

Всѣхъ ихъ при жизни своей велъ въ поле питомецъ Ареса
Протесилай; но тогда онъ въ землѣ ужъ покоился черной.
Тамъ онъ, въ Филакѣ, жену неутѣшной вдовою оставилъ
И полуоконченный домъ; уложилъ же дарданецъ героя
Въ мигъ, когда первымъ изъ всѣхъ съ корабля соскочилъ онъ на
берегъ.

И только. Зналъ ли Протесилай, что, соскакивая первымъ на берегъ, онъ обрекалъ себя смерти? Это, собственно, не сказано, но понятно, что если бы позднѣйшій поэтъ позанимался спеціально его участіемъ, то такое предположеніе было бы для него очень заманчиво: простая случайность превратилась бы въ обдуманнѣйшій планъ, несчастье — въ самоотверженіе. Такое развитіе, повторяю, было бы вполне естественно. Но зато для вдовы Протесилая краткое упоминаніе Илиады никакихъ зачатковъ дальнѣйшаго развитія не заключало; ея неутѣшная скорбь — общій удѣлъ всѣхъ вдовъ.

Но мы давно отказались отъ мысли видѣть въ Гомерѣ первичную ячейку всей греческой міеологіи; были мѣстные традиціи, память о которыхъ поддерживалась мѣстными культами. Будучи значительно древнѣе Гомера, онѣ, тѣмъ не менѣе, могли значительно позже его попасть въ литературу. Въ литературу — т.-е., прежде всего, въ послѣ-гомеровскій эпосъ. Дѣйствительно, тотъ эпосъ, въ которомъ были описаны первыя событія троянской войны — такъ называемая «Кипрія», — долженъ былъ поневолѣ заняться и подвигомъ Протесилая. Но мы объ этомъ знаемъ очень мало. Знаемъ, что въ немъ самоотверженный герой палъ отъ руки Гектора; очевидно, авторъ хотѣлъ почтить Протесилая, давая ему въ противники лучшаго троянскаго героя, но онъ этимъ противорѣчилъ Гомеру, который строго отличалъ дарданцевъ отъ троянцевъ съ Гекторомъ во главѣ. Знаемъ, далѣе, что здѣсь жена Протесилая была названа «Полидорой», но былъ ли къ ней приуроченъ «мотивъ Лены» — неизвѣстно. Скорѣе — нѣтъ: этотъ мотивъ неразрывно связанъ съ именемъ Лаодаміи.

Итакъ, гдѣ впервые встрѣчается Лаодамія? Для насъ — въ трагедіи Еврипида подъ заглавіемъ «Протесилай», но именно

только для насъ. Хотя эта трагедія и потеряна, но ея фабула можетъ быть до нѣкоторой степени возстановлена по литературнымъ и археологическимъ свидѣтельствамъ; и вотъ тутъ-то оказывается, что Еврипидъ, ради разнообразія дѣйствія, соединилъ два параллельныхъ мотива, которые раньше существовали отдѣльно. Существовали; но гдѣ? Промежуточное мѣсто между эпосомъ и трагедіей занимала лирика; и дѣйствительно, мы увидимъ, что ей придется поставить въ счетъ если не оба параллельныхъ мотива, то по крайней мѣрѣ одинъ изъ нихъ.

Но что же это за параллельные мотивы? Они извѣстны намъ изъ позднѣйшихъ свидѣтельствъ, изъ которыхъ я— ради ясности — приведу самое позднее, византійскаго грамматика Цедиса (Хилиады II 52). Конечно, Цедисъ въ оригинальные источники не заглядывалъ; но такъ какъ александрійская и римская ученость, изъ которыхъ онъ черпалъ свою эрудицію, намъ не сохранена, то приходится поневолѣ имъ пользоваться. Итакъ, вотъ его свидѣтельство, если перевести откровенной прозой его прозаическую поэзію: „Этотъ Протесилай былъ сыномъ Ификла. Оставивъ свою молодую жену Лаодамію, онъ вмѣстѣ съ прочими эллинами отправился въ походъ противъ троянцевъ и, первымъ соскочивъ на берегъ, первымъ изъ всѣхъ былъ убитъ. А затѣмъ міоографы говорятъ, что Персефона, увидѣвъ его красоту и его скорбь о разлукѣ съ Лаодаміей, упросила Плутона вернуть ему жизнь и отправила его изъ обители Аида къ женѣ. Такъ говорятъ міоны; правдивая же исторія разсказывается вотъ какъ. Когда выше-названная супруга Протесилая узнала о случившемся съ мужемъ несчастіи, а именно объ его смерти, она изготовила себѣ деревянное подобіе Протесилая и изъ тоски по супругу ложилась спать съ нимъ, не будучи въ состояніи вынести его отсутствіе. А другіе тогда стали говорить, что ночью его призракъ всегда является его женѣ; такъ-то и было сочинено то сказаніе“.

Здѣсь дѣло ясно: мы имѣемъ, повторяю, два параллельныхъ мотива. Согласно первому, убитый Протесилай, съ соизволенія подземныхъ боговъ, возвращается къ нѣжно любимой женѣ; это и есть то, что мы называемъ «мотивомъ Леноры». Согласно второму, Лаодамія, по смерти мужа, изготовляетъ его изваяніе, съ которымъ и ночуетъ, точно съ живымъ чело-

вѣкомъ. Это подсмотрѣли, и люди, не зная, въ чемъ дѣло, пустили въ ходъ басню, что ее по ночамъ навѣщаетъ призракъ ея мужа. Что это такое? Въ этомъ никакого сомнѣнія быть не можетъ: это — рационалистическая обработка мотива Лены. Ея авторъ плохо вѣрилъ въ чудеса, но относился до вѣрчиво къ мифологической традиціи; тамъ, гдѣ она была неприемлема, онъ старался объяснить ее путемъ недоразумѣнія: „дѣло обстояло слѣдующимъ естественнымъ образомъ; но люди, по ошибкѣ и невѣжеству, пустили въ ходъ слѣдующую басню, которая и удержалась“. Повторяю: «мотивъ статуи» — мотивъ искусственный, книжный; но онъ имѣетъ своимъ основаніемъ «мотивъ призрака», т. е. мотивъ Лены, являясь его рационалистическимъ толкованіемъ.

Можно ли приписать этотъ книжный мотивъ, это толкованіе народнаго мифа индивидуальной фикціей, — эпохѣ, которая насъ здѣсь интересуетъ, эпохѣ греческой лирики, около 500 г. до Р. Х.? Я думаю, вполне; но пусть читатель посудитъ самъ. Пиндаръ въ первой олимпійской одѣ предлагалъ новую форму преданія о Пелопѣ: „сынъ Тантала, — говоритъ онъ, — о тебѣ я скажу иначе, чѣмъ мои предшественники“. Тѣ давали старую, грубую, каннибалистическую версію, согласно которой Танталъ, чтобы испытать боговъ, пригласилъ ихъ на пиръ и угостилъ мясомъ собственнаго сына Пелопа; но Пиндару противна мысль о такомъ „обжорствѣ боговъ“. Нѣтъ, дѣло произошло вотъ какъ. Пиръ, дѣйствительно, состоялся; на немъ Посидонъ, плѣнившись красотой отрока-Пелопа, похитилъ его. „А когда ты исчезъ, тогда кто-то изъ завистливыхъ сосѣдей распустилъ молву, что ты былъ съѣденъ богами“. Это — не единственный примѣръ; но мы удовольствуемся имъ.

Да, рефлексія дала знать о себѣ въ лирическую эпоху греческой мифологіи; мы ей смѣло можемъ приписать и «мотивъ статуи», придуманный для объясненія «мотива призрака». Мало того; мы должны это сдѣлать, такъ какъ трагедія Еврипида — мы это увидимъ тотчасъ — предполагаетъ оба мотива не только существующими, но и достаточно вкоренившимися въ народное сознаніе. Но объ этомъ будетъ сказано тотчасъ; теперь же остановлю вниманіе читателей на самой идеѣ параллелизаціи призрака и статуи. Она у грековъ была тѣмъ болѣе

естественна, что у нихъ одно и то же слово (eidôlon) означало и то, и другое; но я могу подтвердить ее интереснымъ, незамѣченнымъ до сихъ поръ примѣромъ. Спасая честь Елены, лирический поэтъ Стесихоръ допускаетъ идею, что не она сама, а ея призракъ былъ увезенъ Парисомъ въ Трою. Послѣдователемъ Стесихора былъ Эсхиль. Идея предшественника была для него данной, съ которой слѣдовало считаться; съ другой стороны онъ, не чувствуя надобности спасать честь Елены, держался исконной традиціи, согласно которой она сама дала себя увести троянскому похитителю. А если такъ, то, значить, ея призракъ остался у Менелая. Съ этимъ онъ считается; но, находя эту идею въ этой формѣ непріемлемой, онъ толкуетъ ее по-своему — и притомъ точъ-въ-точъ такъ же, какъ и тотъ нашъ анонимъ идею о призракѣ Протесилая. Менелай искалъ утѣшенія въ созерцаніи статуи Елены, но тщетно: „ненавистна мужу ласка прекраснаго изваянія: въ его пустыхъ глазахъ нѣтъ мѣста Афродитѣ“ („Агамемнонъ“, ст. 416). Но и это будетъ превратно понято, „и люди скажутъ, что ея призракъ властвуетъ въ домѣ“. Сходство полное: статуя замѣняетъ призракъ. И дальше, и дальше тянется параллелизація: она переходитъ къ народамъ новой Европы, и, много столѣтій спустя, статуя — этотъ разъ уже самого новаго Менелая — вернется съ кладбища въ опозоренный домъ, чтобы увлечь съ собой въ царство мертвыхъ дерзновеннаго обольстителя его молодой жены.

IV.

Возвращаемся къ нашимъ параллельнымъ мотивамъ: отъ вниманія читателя не ускользнуло, что въ нихъ пока нѣтъ развязки. По одному — самъ Протесилай изъ преисподней возвращается къ женѣ; по другому — она нѣжится съ его изваяніемъ. Прекрасно; но какова же, въ концѣ концовъ, ея участь? Цепись намъ на этотъ вопросъ отвѣта не даетъ: онъ придумываетъ — какъ онъ заявляетъ самъ — свою собственную развязку, которая именно поэтому для насъ неинтересна. Промотрѣвъ, однако, внимательно прочіе разрозненные отрывки мифографической традиціи, мы находимъ искомую развязку, или,

вѣрнѣе, двѣ, по одной для каждаго мотива — а это, въ свою очередь, доказываетъ ихъ первоначальную самостоятельность.

Развязку перваго мотива даетъ намъ древній комментаторъ Виргиліа, Сервій; комментируя то мѣсто своего автора, гдѣ тотъ, въ числѣ прочихъ тѣней преисподней, упоминаетъ и Лаодамію (Энеида II 447), онъ поясняетъ: „Лаодамія была женой Протесилая; получивъ извѣстіе, что ея мужъ погибъ первымъ въ троянской войнѣ, она возымѣла желаніе увидѣть его призракъ; когда ей это было дозволено, она уже не могла оторваться отъ него и погибла въ его объятіяхъ“. Стоитъ сравнить этотъ краткій рассказъ съ той народной пѣсенкой, переводъ которой я помѣстилъ выше (стр. 250). Сходство прямо поразительное: то же блаженное умираніе въ объятіяхъ милаго, явившагося на кратковременное свиданіе изъ могилы. Здѣсь все понятно: царство умершихъ прочно держитъ того, кто разъ въ него вступилъ, и если даетъ ему отпускъ, то ненадолго: съ исчезновеніемъ ночного мрака — „при звукѣ утренняго благовѣста“, какъ сказалъ бы поэтъ-христіанинъ, — долженъ исчезнуть и тотъ, кто отнынѣ принадлежитъ ночи. Но эта вторая разлука еще тяжелѣе первой; ея влюбленная уже не можетъ пережить. Таковъ нашъ мотивъ, общій рассказу Сервіа и нѣмецкой народной пѣсенкѣ; какъ объяснить это сходство? Хотѣлось бы думать, что и въ древности существовала такая пѣсня о Лаодаміи, что она, перейдя въ средніе вѣка, вызвала появленіе той нѣмецкой... А впрочемъ, нужна ли тутъ пѣсня? Виргилій былъ самымъ популярнымъ и любимымъ поэтомъ средневѣковья, а вмѣстѣ съ нимъ жилъ и его толкователь Сервій; то мѣсто, гдѣ упоминается Лаодамія, стоитъ въ непосредственномъ со-сѣдствѣ съ однимъ изъ знаменитѣйшихъ эпизодовъ всей Энеиды — свиданіемъ Энея съ Дидоной въ царствѣ тѣней. Нѣтъ сомнѣнія, что молодые «схолары», насущнымъ хлѣбомъ которыхъ былъ Виргилій, знали это мѣсто особенно хорошо, а эти схолары были, въ свою очередь, создателями средневѣковой поэзіи западной Европы. Я думаю, если вообще признать прямую зависимость новѣйшей Лены отъ античной, то предположенный нами здѣсь переходъ представляется наиболѣе вѣроятнымъ.

Еще одна частность. По свидѣтельству Сервіа, тоска Лаодаміи заставляетъ боговъ преисподней отпустить къ ней ея

мужа; по вышеприведенному свидѣтельству Цеписа, напротивъ, починъ принадлежитъ Протесилаю — эту сцену, просьбу Протесилая и заступничество Персефоны, изображаетъ Лукіанъ въ одной изъ своихъ знаменитыхъ «бесѣдъ мертвыхъ» (23). Понятно, что по этому побочному вопросу прочной традиціи быть не могло; была и примирительная версія, согласно которой совпаденіе желаній обѣихъ сторонъ склонило Плутона дать Протесилаю отпускъ.

Переходимъ, однако, отъ мотива призрака ко второму варианту, къ мотиву статуи. Узнавъ о смерти Протесилая — или, по другимъ, тотчасъ по его отправленіи подъ Трою — Лаодамія изготавляетъ его деревянное (или восковое) изображение и проводитъ съ нимъ ночи, точно съ живымъ. Развязка пока не предвидится: статуя не связана, подобно призраку, кратковременностью отпуска. Чтобы сдѣлать развязку возможной, нужно предположить, что кто-нибудь отнялъ у Лаодаміи то, что составляло ея единственное утѣшеніе; но кто могъ это сдѣлать? Отвѣтъ одинъ: тотъ, въ чьей власти она была послѣ ухода и смерти мужа, ея отецъ Акастъ. Но чѣмъ объяснить эту жестокость Акаста? Отвѣтить можно было различно. При скудости фантазіи, ее можно было мотивировать просто желаніемъ стараго царя, чтобы его дочь не убивалась понапрасну; такова традиція, сохраненная намъ въ краткомъ пересказѣ мифографа Гигина (гл. 104): „Лаодамія, потерявъ мужа, велѣла изготавить восковое изображение его, поставила его, точно святой кумиръ, въ своей спальнѣ и стала ему воздавать почести. Однажды слугитель, въ утреннее время, принося ей плоды для жертвоприношенія, заглянулъ въ щель и увидѣлъ, что она держитъ въ объятіяхъ статую Протесилая и цѣлуетъ ее. Вообразивъ, что у нея любовникъ, онъ разсказалъ увидѣнное ея отцу Акасту. Тотъ пришелъ, внезапно отворилъ дверь спальни и узналъ статую Протесилая. Не желая, чтобы его дочь долѣе мучилась, онъ приказалъ воздвигнуть костеръ и сжечь на немъ и статую, и священную утварь; тогда Лаодамія, не будучи въ состояніи вынести горе, сама бросилась въ огонь и погибла“.

Это, повторяю, при скудости фантазіи; при нѣсколькой большей ея плодovitости и мотивировка могла быть найдена

болѣе богатая и убѣдительная. Отчего не хочетъ Акастъ, чтобы его дочь отдавалась воспоминаніямъ о своей прежней любви? Оттого, что у него насчетъ ея особые планы. Дѣтей у Лаодаміи не было; она ничѣмъ не была привязана къ дому и семьѣ своего покойнаго мужа. Если даже Пенелопу, мать почти взрослого Телемаха, ея отецъ Икарій, отчаявшись въ возвращеніи Одиссея, торопилъ въ новый бракъ, то это тѣмъ болѣе простительно для отца совѣтъ молоденькой Лаодаміи. Итакъ, его дочь, юная вдова, опять невѣста: женихъ найденъ, день свадьбы назначенъ. Но Лаодамія упорно отказывается промѣнять покойнаго на живого. Откуда такая настойчивость? Служитель сообщаетъ ему свое открытіе: Лаодамію по ночамъ навѣщаетъ любовникъ. Теперь все ясно: разгнѣванный отецъ вламывается въ теремъ мнимой грѣшницы—и находитъ въ ея объятіяхъ статую. Она оправдана; но вмѣстѣ съ тѣмъ найденъ и предметъ, приковывающий ея къ памяти Протесилая; теперь развязка Гигина понятна.

Кто былъ авторомъ этого мотива новаго брака, столь эффектно обогатившаго мотивъ статуи? Отвѣта на этотъ вопросъ мы дать не можемъ; самый мотивъ мы находимъ тамъ и сямъ въ позднѣйшей миеографической традиціи, и я думаю, что его происхожденіе естественнѣе всего объяснить такъ, какъ это сдѣлано здѣсь. А теперь пора перейти къ тому, у кого сюжетъ античной Леныры получилъ свою классическую обработку—къ *Еврипиду* и его «Протесилаю».

V.

Поставимъ, однако, еще одинъ вопросъ—тотъ самый, который мы поставили выше по поводу новѣйшей Леныры. Слѣдуетъ ли видѣть въ развязкѣ драмы награду или кару? И если послѣднее, то за что?

Относительно „мотива призрака“ отвѣтъ не можетъ быть сомнителенъ: умершаго Протесилая отпускаютъ изъ преисподней для того, чтобы утѣшить вѣрную вдову—здѣсь идея награды подчеркнута даже еще сильнѣе, чѣмъ въ новѣйшей народной пѣсенкѣ. Другое дѣло—мотивъ статуи; божьей милости нѣтъ

никакой, и если собрать воедино всѣ черты варіанта—безвременную смерть молодого мужа, скорбь вдовы, жалкое утѣшеніе, которое она находитъ въ своей любви къ статуѣ, ея гибель—то героиня представится несомнѣнно несчастной и, стало быть, наказанной. Кѣмъ и за что? Что касается перваго вопроса, то если кому угодно было видѣть въ привязанности героини къ статуѣ извращеніе половой чувственности, подъ вліяніемъ утраты прямого предмета любви, то онъ виновницей кары долженъ былъ признать Афродиту. Что же касается второго вопроса, то мы прямого отвѣта дать не можемъ, но у древнихъ поэтовъ имѣлось въ такихъ случаяхъ нѣсколько трафаретное объясненіе: герой наказанъ за то, что не воздалъ божеству при такомъ-то случаѣ такой-то почести. Возможно, что оно было пущено въ ходъ и здѣсь.

Какъ бы то ни было, вотъ содержаніе трагедіи Еврипида, насколько его можно возстановить на основаніи отрывковъ и всей позднѣйшей традиціи.

Въ прологѣ выступаетъ, какъ это часто бываетъ у нашего поэта, божество—а именно Афродита. Она разгнѣвана на Лаодамію; жертвой ея гнѣва палъ—быть можетъ, отъ руки ея сына Энея—молодой мужъ виновной, разставшійся съ нею въ первый же день послѣ брачной ночи. Теперь царь Акастъ готовитъ для нея новую свадьбу, но ей не бывать: она внушила невѣстѣ-вдовѣ неестественную любовь, которая будетъ причиной ея гибели.

Сходятся филикійскія жены, подруги Лаодаміи (это—хоръ трагедіи); онѣ хотятъ уговорить ее, въ виду предстоящей свадьбы, отказаться отъ траура и надѣтъ приличествующій случаю нарядъ. Лаодамія выходитъ къ нимъ; къ ихъ утѣшеніямъ и совѣтамъ она глуха; видно, что ея мысли гдѣ-то далеко и всего менѣе съ ея новымъ женихомъ. Иногда странная, загадочная улыбка скользитъ по ея устамъ; съ нетерпѣніемъ ждетъ она наступленія ночи. Подругамъ она говоритъ, что хочетъ очиститься вакхическими обрядами, которые должны быть недоступны непосвященнымъ; удаляясь, она проситъ ихъ сѣсть вакхическую пѣсню въ честь бога, чтѣ онѣ и дѣлаютъ.

Слѣдующее происходитъ за сценой, въ терему Лаодаміи, и дѣлается извѣстнымъ зрителю позднѣе, черезъ очевидца—

какъ это принято въ греческой трагедіи. Съ немногими наперсницами Лаодамія вошла въ заповѣдную комнату своего терема; здѣсь, въ крытой зелены бесѣдкѣ, увѣнчанный плющемъ, стоитъ восковой кумиръ Протесилая, преобразованный въ Діониса. Флейты играютъ, кимвалы гудятъ; подъ звуки этой оглушительной музыки вдова-вакханка справляетъ свою мистическую свадьбу съ новымъ Діонисомъ — подобіе той, которую ежегодно справляла въ древнѣйшемъ аѳинскомъ святилищѣ на Лимнахъ супруга архонта-царя съ тѣмъ же Діонисомъ, въ память аѳинской царицы Аріадны...

Знала ли Лаодамія, что она дѣлала, воздавая такія почести восковому кумиру? знала ли она о таинственной, магической связи между восковымъ изображеніемъ и изображаемымъ? Страстные, восторженные призывы, обращенные къ бездушному подобію Протесилая, проникли къ нему самому; врата смерти слабѣютъ передъ силою чаръ; царь подземныхъ отпускаетъ вызванную душу; Гермесъ провожаетъ ее обратно въ міръ живыхъ. Въ изступленіи діонисовой пляски Лаодамія упала, изнуренная, къ подножію своего кумира; внезапно передъ нею предсталъ самъ Протесилай, молодой и прекрасный, — какимъ онъ былъ, когда прощался съ нею, отправляясь въ роковой походъ. — Этотъ моментъ трагедіи изображенъ на знаменитомъ саркофагѣ, хранящимся въ церкви св. Клары въ Неаполѣ.

Ночь прошла; стало свѣтать. Къ терему Лаодаміи приближается слуга съ плодами для жертвоприношенія. Обыкновенно она бываетъ готова въ это время; теперь же все тихо, домъ молчитъ. Что бы это могло значить? онъ смотритъ сквозь щель — и въ ужасѣ отшатывается. Такъ вотъ она значить, эта прославленная вѣрность его молодой госпожи! вотъ зачѣмъ она такъ упорно отказывается онъ новаго брака! А впрочемъ, развѣ не всѣ женщины таковы? Съ проклятіями по адресу слабаго пола идетъ онъ разсказать царю Акасту о своемъ открытіи.

Приходитъ, въ изступленіи гнѣва, Акастъ. Онъ хочетъ вломиться въ спальню дочери, захватить на мѣстѣ преступленія ея любовника — но, прежде чѣмъ онъ могъ исполнить свою угрозу, дверь сама отворяется, изъ терема выходитъ, вмѣсто незнакомаго прелюбодѣя, его зять, Протесилай. Гнѣвъ

смѣняется ужасомъ, ужасъ — новымъ гнѣвомъ. Зачѣмъ онъ здѣсь? Зачѣмъ простираетъ изъ мрака преисподней свои ненасытныя руки на ту, которой мѣсто еще долго среди живыхъ? Начинается споръ — странный, тягостный споръ: о правахъ жизни и правахъ смерти, о любви, побѣждающей адъ, и объ убогихъ разчетахъ земного благополучія. На этотъ разъ побѣждаетъ жизнь: является вторично Гермесъ и напоминаетъ Протесилаю, что дарованное ему время прошло, что преисподняя ждетъ своего жителя. Протесилай исчезаетъ; Акастъ входитъ въ покои своей дочери.

Онъ застаётъ ее въ забытїи, обнимающей кумиръ мнимаго Діониса. Теперь причина происшедшаго для Акаста очевидна: эти притворныя вакхическія таинства, которыя якобы для очищенія, справляла его дочь—это были чары, преступныя, нечестивыя чары, направленныя къ разрушенію преграды между жизнью и смертью, къ распространенію власти смерти на міръ живыхъ. И этотъ восковой кумиръ Протесилая — главное орудіе этихъ чаръ, главное звено между его домомъ и обителью мертвыхъ. Но онъ разрушить это звено, онъ вернетъ свою дочь тому міру, который имѣетъ всѣ права на нее. По его приказанію сооружаютъ костеръ; онъ хватается кумиръ. Тщетно сопротивляется Лаодамія, обвивъ руками единственный залогъ возвращенія своего мужа: „не выдамъ, хоть онъ и бездушенъ, моего друга!“ Его вырываютъ, съ нимъ—вѣнки и кимвалы и всѣ символы притворныхъ Діонисій. Вотъ уже все охвачено пламенемъ; вторично смерть осѣняетъ Протесилая, и на этотъ разъ окончательно и безъ возврата. Да, Акастъ былъ правъ: восковой кумиръ былъ звеномъ между царствомъ смерти и его дочерью; теперь, охваченный смертью, онъ и ее увлекаетъ съ собою. Лаодамія, „еще украшенная символами вакхическихъ таинствъ“¹⁾, бросается въ пламя, поглотившее ея друга; теперь они вновь соединились,—соединились навсегда.

¹⁾ Эту черту сохранилъ Филостратъ въ своихъ „Картинахъ“, II 9.

VI.

Такова эта странная трагедія — одно из самых безумных творений прихотливой музы Еврипида. Какъ видно съ перваго взгляда, поэтъ достигъ разнообразія и обилія дѣйствія тѣмъ, что соединилъ оба параллельныхъ мотива мифа о Лаодаміи — исконный мотивъ призрака и придуманный для его рационалистическаго истолкованія мотивъ статуи. Отъ ихъ соединенія получился, путемъ своего рода творческаго синтеза, новый благодарный мотивъ — мотивъ чаръ. Магическое значеніе воскового изображенія извѣстно изъ символическихъ обрядовъ греческаго любовнаго колдовства: такъ, Симета топить въ огнѣ восковое подобіе своего невѣрнаго жениха, чтобы заставить его испытать муки любви. Фикція вышла очень убѣдительною и еще болѣе эффектною.

Эффектною, да; но для кого? Насколько мы можемъ судить, современники Еврипида отнеслись холодно къ этой его трагедіи съ ея смѣсю небывалаго эротизма и романтической эсхатологіи; по крайней мѣрѣ, Аристофанъ, столь усердно высмѣивавшій всѣ сколько-нибудь замѣчательныя драмы этого антипатичнаго ему поэта, совершенно обходитъ своимъ вниманіемъ его „Протесилая“. Повидимому, Еврипидъ, создавая его, опередилъ настроеніе своихъ соотечественниковъ на добрыхъ полтора столѣтія: когда наступила эпоха александрійскаго романтизма, тогда только народилась публика, способная понять и оцѣнить эту трагедію.

Зато этой публикѣ она прилась по вкусу цѣликомъ, какова она была. Мы знаемъ, что александрійскіе поэты подвергли мифъ старинной родины новой переоцѣнкѣ и переработкѣ, всюду выдвигая или вводя тѣ элементы, которые мы нынѣ называемъ романтическими; Лаодамію они быстро приобщили къ каталогу своихъ любимицъ, но, сколько ни перерабатывали ее, ничего существенно новаго къ ея еврипидовской фабулѣ прибавить не могли. Мы судимъ объ этомъ не столько по оригинальной александрійской поэзіи — отъ нея намъ ничего сюда относящагося не сохранилось, —

сколько по ея подражательницѣ, римской поэзіи перваго вѣка до Р. Х.

Начнемъ съ *Катулла*. Говоря объ услугѣ, оказанной ему другомъ,—этотъ другъ предложилъ ему свой домъ для свиданій съ Лезбіей,—онъ вспоминаетъ схожую сцену изъ мифологіи, а именно тайныя свиданія, до брака, Лаодаміи съ Протесилаемъ (68, ст. 73 и сл.):

Такъ въ отдаленные дни, нетерпѣніемъ страсти пылая,
Въ Протесилая чертогъ Лаодаміи вошла,
Тщетно основанный, прежде чѣмъ кровью священной своею
Жертва могла обогрѣть вышнихъ владыкъ алтари.
Да не полюбится мнѣ, Немесида, суровая дѣва,
Дѣло, что нашихъ господъ волѣ перечить святой!
Жаждетъ голодный алтарь благочестія даки кровавой!
Это признать и ее опытъ лихой научилъ.
Вывалъ несчастную рокъ изъ объятій желаннаго мужа
Прежде, чѣмъ въ сладкой дѣпи идя, зима за зимой
Нѣгою долгихъ ночей утолила любовную жажду,
И одинокая жизнь стала возможна женѣ.

Роль Лаодаміи здѣсь чисто эпизодическая, а это, въ свою очередь, исключаетъ всякую возможность новаторства въ области мифа о ней; врядъ ли можно сомнѣваться, что Катуллъ слѣдуетъ здѣсь своему образцу, александрійской поэзіи. Даетъ ли она что-либо новое въ сравненіи съ Еврипидомъ? Одну маленькую, но интересную подробность. Очевидно, и нашъ неизвѣстный авторъ представлялъ себѣ участь Лаодаміи какъ кару: кара предполагаетъ прегрѣшеніе, но противъ кого? Еврипидъ, поставившій себѣ тотъ же вопросъ, отвѣчалъ на него: противъ Афродиты; вотъ въ этомъ отношеніи нашъ поэтъ и разошелся съ нимъ... Позволю себѣ замѣтить—если бы кто нашелъ неяснымъ въ моемъ переводѣ отношеніе оборота: „прежде чѣмъ и т. д.“,—что я тутъ воспроизвожу намѣренную туманность самого подлинника: александрійскіе поэты, а съ ними и ихъ римскіе подражатели, требовали очень внимательнаго и вдумчиваго къ себѣ отношенія. Все же, при болѣе тщательномъ размышленіи, становится несомнѣннымъ, что поэтъ хотѣлъ сказать слѣдующее: вина Лаодаміи заключалась въ томъ, что она, не дожидаясь свадьбы съ ея жертвоприношеніями, ускорила свое счастье тайными свиданіями съ Протесилаемъ въ

его неоконченномъ домѣ. Этимъ она возбудила противъ себя гнѣвъ—не Афродиты, конечно, которую бракъ, какъ таковой, не интересовалъ, а строгой покровительницы этого учрежденія, Геры. Свадебныя жертвоприношенія имѣютъ цѣлью расположить эту богиню въ пользу брачующихся; въ нашемъ случаѣ Гера, почувствовавъ себя оскорбленной, отомстила Лаодаміи тѣмъ, что разорвала ея бракъ тотчасъ послѣ его заключенія и предоставила молодую жену всѣмъ пыткамъ возбужденной, но не утоленной страсти... Въ этомъ послѣднемъ заключается, къ слову сказать, характерная особенность Катулловой версии; мы не называемъ ее, однако, новшествомъ, такъ какъ считаемъ очень вѣроятнымъ, что она имѣлась уже у Еврипида.

Но при чемъ здѣсь „тщетно основанный“ (*inceptam frustra*) чертогъ Протесилая? Александрійскіе поэты любили намеки и писали для читателей, умѣющихъ ихъ понимать. Въ данномъ случаѣ намекъ обнаруживаетъ намъ и происхожденіе всей идеи оскорбленія Геры. Авторъ постарался вдуматься въ смыслъ гомеровскихъ стиховъ о Протесилаѣ (выше, стр. 252).

Тамъ онъ въ Филакѣ жену неутѣшной вдовою оставилъ
И полуконченный домъ...

Почему „полуконченный“ (*hémiteles*)? Конечно, отвѣтимъ мы, не въ томъ смыслѣ, что самое зданіе не было достроено, а либо въ болѣе широкомъ (младожены не успѣли вполне устроиться), либо въ символическомъ (домъ, какъ семья, завершается рожденіемъ дѣтей). Но мы знаемъ въ то же время, что древніе иногда—напр., Лукіанъ—понимали нашъ оборотъ именно въ его прямомъ смыслѣ; и вотъ рождался дальнѣйшій вопросъ: какимъ образомъ домъ Протесилая могъ оказаться недостроеннымъ? Невѣсту вводили, разумѣется, въ готовый домъ жениха; итакъ, мы въ данномъ случаѣ имѣемъ фактическое ускореніе или предвареніе свадьбы... Отсюда—дальнѣйшее.

Нѣсколько старше Катулла былъ малоизвѣстный поэтъ *Levii*, отъ поэмъ котораго намъ сохранились только заглавія да отрывки; среди нихъ была также посвященная нашему сюжету баллада подъ вычурнымъ заглавіемъ „Протесилаодаміа“. Это была, судя по отрывкамъ, настоящая баллада въ нашемъ смыслѣ слова, написанная короткими ямбическими стихами, точъ-въ-

точь какъ и сама „Ленора“; переводя ея отрывки, я только рѣшму прибавилъ отъ себя. Лаодамія тоскуеть по пропавшемъ безъ вѣсти супругѣ; что онъ умеръ, этого она не знаетъ, и въ ея душѣ со страхомъ за жизнь милаго борются и другія заботы:

„Затмилъ, боюсь, въ краю богатомъ
Красавицъ Иліона рой,
Сверкая жемчугомъ и златомъ,
Подруги память молодой;
Его плѣнила чужестранка—
О, еслибъ ложенъ былъ мой страхъ!—
Краса Востока, сардіянка
Съ лидійской нѣгою въ очахъ!“

Съ этимъ мотивомъ мы до сихъ поръ еще не встрѣчались— и не встрѣтимся даже въ подробной психологической картинѣ, которую начертало перо Овидія; какъ это ни странно, но римскій поэтъ предварилъ имъ мысль новѣйшей баллады, и даже не столько „Леноры“ сколько „Людмилы“, которая именно съ нея и начинается:

„Гдѣ ты, милый? Что съ тобою?
Съ чужеземною красою,
Знать, въ далекой сторонѣ,
Измѣнилъ, невѣрный, мнѣ?“

Вѣроятно, и у Левіевой Лаодаміи ревнивыя опасенія уступили мѣсто болѣе реальному страху; мы этого не знаемъ. Какъ бы то ни было, но реальный страхъ оправдывается: получено извѣстіе о смерти Протесилая, и ея отецъ не намѣренъ долѣе ждать. Онъ приискалъ для дочери новаго жениха; ея сопротивленія напрасны, справляется свадьба. Эта свадьба описывается подробно: тутъ и священнодѣйствія, и пиръ, и чествованія боговъ и веселье смертныхъ:

И вдругъ смятенье, стукъ и грохотъ:
То ворвалась толпа шутовъ,
И льется пѣснь, и слышенъ хохотъ
Шумитъ потокъ нескромныхъ словъ—

обычная приправа греческой и римской свадьбы; *Fescennina jocatio*. Наконецъ торжество кончилось, молодые уходятъ къ себѣ:

Вотъ надо всей землею сонной
 Ужъ Ночь покровъ сомкнула свой,
 И по природѣ утомленной
 Разлился сладостный покой...

Чѣмъ-то зловѣщимъ вѣетъ отъ этой ночной тишины, смѣившей
 пумный день; мы знаемъ этотъ мотивъ изъ „Леноры“.

До той поры, какъ ночь пришла,
 И темный сводъ надъ нами
 Усыпался звѣздами...

И вотъ какъ будто легкій скокъ
 Коня въ тиши раздался..

Повидимому, и у римскаго поэта здѣсь слѣдовало появленіе призрака. Вопли уведенной насильно невѣсты достигли слуха ея любимаго перваго мужа, нарушили его чуткій сонъ подъ покровомъ земли; онъ приходитъ къ ней—приходить за ней.

Вотъ какъ мы, руководясь отрывками и общими чертами фабулы, можемъ возстановить балладу Левія. Конечно, этихъ отрывковъ слишкомъ мало для того, чтобы мы могли ручаться за полноту нашей реконструкціи. О статуѣ Протесилая въ нихъ не упоминается вовсе; конечно, это могло быть дѣломъ случая, но съ другой стороны, можно сослаться на то, что версія, очень схожая съ только-что возстановленной, предполагается въ краткомъ резюме Евстаѳія въ его комментаріи къ *Иліадѣ* (II 315, и 41, сл.): „А другіе говорятъ, что Лаодамія, вслѣдствіе гнѣва Афродиты, и послѣ смерти Протесилая пылала любовью къ нему; по полученіи извѣстія о его гибели она не только стала горевать о немъ, но и будучи заставляема отцомъ вступить во второй бракъ, не отказалась отъ своей любви; насильно заключенная, она все-таки проводила ночи съ мужемъ, предпочитая союзъ съ мертвымъ общенію съ живымъ, пока не умерла отъ тоски“.

О популярности нашего мифа въ александрійскую и римскую эпоху свидѣтельствуетъ и краткій намекъ у *Проперція* (I 19); но такъ какъ онъ никакой новой черты не прибавляетъ къ тому, что намъ уже извѣстно, то мы, не останавливаясь на немъ, прямо переходимъ къ тому поэту, отъ котораго намъ осталось единственное цѣльное произведеніе, посвященное сюжету античной Леноры—къ *Овидію*.

VII.

«Лаодамія» Овидія — не просто баллада: это баллада-послание. Она принадлежит къ циклу любовныхъ посланій мифическихъ героинь, сохраненному намъ подъ двойнымъ заглавіемъ *epistulae* или *heroides*, и занимаетъ въ немъ тринадцатое мѣсто ¹⁾. Общая всѣмъ поэмамъ этого цикла форма такова: героиня, по какой бы то ни было причинѣ разлученная со своимъ милымъ, пишетъ ему письмо. Понятно, что самый фактъ такого письма былъ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ вымысломъ самого поэта, а потому и выборъ момента для него всецѣло зависѣлъ отъ него. Онъ выбиралъ его съ такимъ расчетомъ, чтобы ему можно было ввести въ сочиняемое письмо какъ можно болѣе эффектнаго балладическаго матеріала; но иногда при этомъ встрѣчались особаго рода трудности, и между прочимъ въ нашемъ случаѣ. Собственно балладическій характеръ участь Лаодаміи принимаетъ лишь послѣ полученія извѣстія о смерти Протесилая; но именно тогда не было уже никакого основанія писать ему письмо. Онъ долженъ былъ, поэтому, избрать болѣе ранній моментъ; а если такъ, то трагедія Лаодаміи могла быть затронута лишь въ формѣ невольныхъ намековъ или предчувствій. Разумѣется, поэзія отъ этого ничуть не потеряла — совершенно напротивъ; исполненная зловѣщихъ чаяній, «Лаодамія» принадлежитъ къ лучшимъ поэмамъ всего цикла «Героинь».

Попытаемся, прежде всего, возстановить эпическую фавулу, предполагаемую нашимъ поэтомъ; зная объ его стремленіи исчерпать эпическій матеріалъ съ возможной полнотой, мы будемъ имѣть полное право исключить изъ этой фавулы все то, на чтѣ въ нашей балладѣ не встрѣтится никакого намека. А потому мы заключаемъ: ничего такого, что могло бы вызвать гнѣвъ боговъ, въ Овидіевой «Лаодаміи» не предполагается: ни упущеннаго жертвоприношенія, ни предваренной свадьбы въ по-

¹⁾ Переводъ читатель найдетъ въ моей книгѣ: Овидій, баллады-послания, пер. О. Зѣлинскаго (изд. М. и С. Сабашниковыхъ, Москва 1913) стр. 171 сл.

луготовомъ домѣ. Лаодамія вышла за Протесилая по всѣмъ правиламъ греческой обрядности; она живетъ царицей въ его домѣ — теперь, въ его отсутствіе, подъ властью его стараго отца, своего свекра Ификла, въ ближайшемъ общеніи со своимъ отцемъ Акастомъ и своей матерью и почетно навѣщаемая женами филакійскихъ вельможъ. Правда, ея медовый мѣсяцъ съ молодымъ мужемъ былъ прерванъ въ самомъ началѣ: этотъ еврипидовскій мотивъ мы должны предположить и у Овидія, хотя опредѣленнаго указанія на это нѣтъ. Этимъ объясняется та своеобразная чувственность, которою баллада проникнута; такъ и видно, что брачная жизнь еще не успѣла, говоря словами Катутла,

Нѣгою долгихъ ночей утолить ея жажды любовной.

Она еще молода: этимъ объясняется наивность совѣтовъ, которые она даетъ своему мужу, наивность, усугубляемую въ нашемъ случаѣ контрастомъ. Вѣдь тотъ человѣкъ, которому она такъ настоятельно совѣтуетъ всячески беречь свою жизнь и видѣть свою единственную цѣль въ томъ, чтобы, уйдя отъ смерти, какъ можно скорѣй вернуться въ ея объятія — его знало преданіе какъ самаго храбраго и самоотверженнаго въ ахейскомъ войскѣ, какъ того, который не задумался идти на встрѣчу вѣрной смерти, чтобы, принеся себя въ жертву, обезпечить своей родинѣ успѣхъ на войнѣ.

Итакъ, Протесилай уплылъ отъ своей молодой жены послѣ первыхъ же дней ихъ брачной жизни; по уговору, онъ соединилъ свои силы съ прочимъ греческимъ флотомъ въ беотійской гавани Авлидѣ, и здѣсь его съ прочими задержали неблагоприятныя вѣтры. Объ этой задержкѣ узнала Лаодамія; и вотъ она пишетъ ему туда же, въ Авлиду. Это избранный поэтомъ моментъ; все дальнѣйшее могло быть сообщено лишь въ видѣ чаяній и вѣщаній.

Протесилая суждено погибнуть; въ этомъ сомнѣнія нѣтъ. Уже при его уходѣ изъ дому произошла пустая, но зловѣщая случайность: переступая за порогъ, онъ задѣлъ его ногой. Лаодамія замѣтила это тревожное знаменіе и поспѣшила, въ тихой молитвѣ, дать ему хорошее толкованіе. Но ея душа неспокойна, и она все-таки рѣшается написать мужу объ этой

нехорошей примѣтѣ, чтобы онъ былъ остороженъ въ бою. Но это не все. Ее беспокоятъ сновидѣнія: она видитъ своего мужа по ночамъ съ грустнымъ выраженіемъ лица и слышитъ отъ него, вмѣсто ожидаемыхъ нѣжностей, одни только печальныя, зловѣщія слова. Да, онъ несомнѣнно погибнетъ, и мы знаемъ даже, какъ онъ погибнетъ: онъ будетъ убитъ, первымъ прыгнувъ на троянскій берегъ. Вѣщаніе о томъ, что первый гость вражьей земли будетъ первой жертвой войны, уже распространилось въ греческомъ войскѣ; оно дошло и до Лаодаміи, и ей страшно, какъ бы оно не сбылось на ея мужѣ: съ наивною настойчивостью проситъ она его не гоняться за призракомъ пустой славы. Мы знаемъ также, отъ кого онъ погибнетъ: имя Гектора запало въ сердце его жены и наполняетъ ее безотчетнымъ страхомъ. Какъ она узнала о немъ? Это вполне естественно: похищеніе Елены, ближайшій поводъ войны, было темой повсемѣстныхъ разговоровъ, всѣ интересовались личностью искусителя и его рѣчами; такъ и Лаодаміи были извѣстно, что онъ, въ виду предстоящей войны, особенно рассчитывалъ на помощь своего доблестнаго брата, перваго изъ троянскихъ богатырей.

Итакъ, Протесилаю суждено пасть отъ руки Гектора въ первой же схваткѣ на троянскомъ побережьи; какова же будетъ участь Лаодаміи? Какому мотиву отдастъ Овидій предпочтеніе — мотиву статуи или мотиву призрака? Или, быть можетъ, онъ, подобно Еврипиду, комбинируетъ оба? — Несомнѣнно послѣднее; въ этомъ насъ убѣждаетъ конецъ посланія. Лаодамія говоритъ о восковомъ изображеніи, замѣняющемъ ей Протесилая; она описываетъ его въ странныхъ, загадочныхъ выраженіяхъ; видно, что душа обреченнаго уже наполовину переселилась въ его изваяніе. Правда, въ одномъ онъ расходится съ Еврипидомъ: у того Лаодамія велитъ изготовить себѣ изображеніе мужа уже послѣ того, какъ она узнала о его смерти. Но это уклоненіе было необходимо, если вообще Овидій дорожилъ этой чертой и хотѣлъ упомянуть о ней. А съ другой стороны и «мотивъ призрака» затронутъ въ послѣднихъ стихахъ, въ торжественномъ обѣтѣ молодой жены „послѣдовать спутницей за мужемъ, куда бы онъ ее ни позвалъ, случится ли то, чего она, увы, боится, или же онъ останется

невредимъ“. Очевидно, сбудется первое: убитый, онъ придетъ за нею, и она вмѣстѣ съ нимъ покинетъ этотъ міръ. О возможности новой свадьбы не упоминается вовсе.

Такова эпическая канва Овидіевой баллады; но читателя интересуетъ не столько она, сколько лирическіе узоры, которыми поэтъ ее разукрасилъ. Въ нихъ онъ и здѣсь проявилъ свое обычное мастерство. Передъ нами совершенно опредѣленный женскій типъ, отличный отъ другихъ, соединенныя характеристики которыхъ составляютъ нашъ сборникъ. Его формула можетъ быть выражена въ немногихъ словахъ: это — влюбленная молодая жена, счастье которой было прервано въ самомъ началѣ. Всѣ ея мечты направлены къ его возстановленію, всѣ ея чувства—волнующееся море между послѣднимъ поцѣлуемъ разлуки и первымъ поцѣлуемъ свиданія. Интересно прослѣдить, какъ во всѣ ея мысли вплетается алой лентой это представленіе любовной ласки. Она слышитъ о задержкѣ флота въ Авлидѣ—ей досадно, что даромъ пропадаютъ дни, отнятые у ея поцѣлуевъ; она завидуетъ троянкамъ, что онѣ, снаряжая мужей въ бой, будутъ и провожать, и встрѣчать ихъ лобзаніями; она со жгучей страстностью представляетъ себѣ сцену возвращенія своего мужа и заранѣе вкушаетъ тѣ ласки, которыми она намѣрена прерывать его рассказы о своихъ подвигахъ. Эти подвиги для нея ничуть не интересны,—она желаетъ, чтобы ихъ было меньше. Изъ всѣхъ ахейцевъ подѣ Иліономъ только Менелай имѣетъ основаніе быть храбрымъ, такъ какъ только его въ осажденномъ городѣ ждетъ ласка уведенной жены. У другихъ нѣтъ повода совершать отважные подвиги, и менѣе всего у Протесилая. Ей больно при одной мысли, что любимый ею человекъ терпитъ невзгоды отъ жесткаго шлема или брони; совершенно отождествляя себя съ нимъ, она хочетъ по мѣрѣ возможности раздѣлить эти невзгоды. Представленіе же, что онъ можетъ получить рану, для нея прямо невыносимо: она чувствуетъ, въ силу того же отождествленія, что изъ этой его раны ея собственная кровь брызнетъ навстрѣчу обидчику.

Но эти цвѣты любовнаго счастья преждевременно поблекли и завяли; до нихъ заранѣе дотронулась холодная рука смерти, и мы вездѣ чувствуемъ ея леденящее прикосновеніе. Я уже говорилъ о тѣхъ предчувствіяхъ, которыми наполнена наша

баллада; но я указалъ только на объективныя между ними, а между тѣмъ Лаодамія сама, точно влекомая роковой силой, ихъ увеличиваетъ своей неосторожностью. Тогда, когда съ ея мужемъ при его уходѣ случилось то маленькое несчастье, она хотѣла отозвать его, но въ-время удержалась, зная, что отзываніе уходящаго какъ бы заранѣе обрекаетъ его путь на неудачу; и все-таки она, увлекаясь своими страхами вслѣдствіе задержки въ Авлидѣ, настоятельно проситъ мужа вернуться домой и слишкомъ поздно замѣчаетъ, что этимъ страстнымъ отзываніемъ она увеличиваетъ число дурныхъ примѣтъ. Любовь Менелая къ женѣ она съ его точки зрѣнія одобряетъ, но со своей — осуждаетъ: ей страшно при мысли объ ея послѣдствіяхъ. Страхъ и здѣсь увлекаетъ ее, и она заранѣе скорбитъ о тѣхъ многихъ вдовахъ, которымъ придется оплакать его мечь,—забывая, что говорить заранѣе объ этомъ вдовствѣ значитъ способствовать его осуществленію, и что вызванная ею злая сила скорѣе всего можетъ осуществить его на ней самой. Въ обоихъ случаяхъ она спохватывается—и этимъ лишь усиливаетъ тяжелое впечатлѣніе, производимое ея увлеченіемъ.

VIII.

Память о Протесилаѣ и Лаодаміи хранилась не только въ литературѣ; она была связана и съ культами, которые правилась въ честь перваго изъ нихъ, какъ „героя“ въ сакральномъ значеніи слова. Культъ героевъ, представляющій столько сходства съ культомъ святыхъ въ христіанской церкви, получилъ особое развитіе, благодаря религіи дельфійскаго Аполлона; благодаря ей вся Греція покрылась могилами героевъ, чествованіе которыхъ было религіознымъ долгомъ соотвѣтственныхъ общинъ; возникли и преданія о явленіи людямъ героевъ и совершаемыхъ ими чудесахъ. Ихъ представляли себѣ исполинскаго роста—десяти локтей и болѣе—и столь же сверхчеловѣческой красоты; они карали тѣхъ, кто имъ отказывалъ въ уваженіи, но и помогали вѣрующимъ, даруя имъ исцѣленія отъ болѣзней и вѣщанія объ ожидающей ихъ въ будущемъ судьбѣ.

Всѣ славные участники троянской войны имѣли свои культы, какъ герои, въ различныхъ частяхъ греческаго міра; имѣлъ таковой и Протесилай. Онъ имѣлъ даже два: одинъ на родинѣ, въ ѳессалійской Филакѣ, другой — въ ѳракійскомъ городѣ Элеунтѣ на Геллеспонтѣ, противъ троянскаго побережья. О первомъ упоминаетъ Пиндаръ: тамъ въ честь героя происходили конныя ристанія съ призами для побѣдителей. Въ Элеунтѣ находилась его могила, окруженная вязами; объ этихъ вязахъ ходило преданіе, что тѣ ихъ вѣтви, которыя были обращены къ Троѣ, рано теряли свои листья, — символъ безвременной смерти героя. Тамъ же находился и его храмъ съ прорицалищемъ, настолько богатый, что онъ соблазнилъ персидекаго намѣстника во время ухода персидскихъ войскъ послѣ платейскаго пораженія и былъ имъ разграбленъ. Это рассказываетъ Геродотъ; но еще болѣе, чѣмъ шесть вѣковъ спустя, поздній греческій писатель Филостратъ подробно говоритъ объ элеунтскомъ культѣ Протесилая въ своемъ діалогѣ подъ заглавіемъ Негоісис. Одинъ финикіянинъ, высадившись въ Элеунтѣ, вступаетъ въ разговоръ съ тамошнимъ виноградаремъ; послѣдній пользуется особымъ покровительствомъ героя Протесилая — „того ѳессалійскаго“, какъ онъ поясняетъ, „мужа Лаодаміи, — это обозначеніе онъ особенно любитъ“. Обо многомъ спрашиваетъ его финикіянинъ, касающемся чудесной посмертной жизни его покровителя, — и мы съ удовольствіемъ читаемъ эту интересную религіозную идиллію, напоминающую помпейскіе ландшафты, въ которыхъ прислоненный къ дереву тирсъ и привѣщенный кимвалъ напоминаютъ о присутствіи божества въ охраняемой имъ природѣ; съ тѣмъ болѣшимъ интересомъ читаемъ мы ее, что она написана уже въ эпоху борьбы язычества съ христіанствомъ, и то одухотвореніе и обоготвореніе прекрасной природы, которымъ она дышитъ, уже запечатлѣно печатью смерти. И вотъ, между прочимъ, гость виноградаря спрашиваетъ его о любви его героя къ Лаодаміи; какова она теперь? „Онъ любитъ ее, чужестранецъ, — отвѣчаетъ виноградарь, — и ею любимъ, и они живутъ другъ съ другомъ, какъ самые нѣжные молодые супруги“.

Это — послѣднее, что мы слышимъ изъ древности о Протесилаѣ и Лаодаміи и объ ихъ любви, поборовшей смерть.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМЪ ВЪ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКѢ.

(1900).

I.

„Совершенно напрасно воображаютъ, что парламентскій режимъ былъ изобрѣтенъ во всѣхъ своихъ частяхъ англійской націей въ сравнительно недавнюю эпоху; мы увидимъ, что онъ былъ въ силѣ уже у римлянъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ“. Такъ читаемъ мы въ появившейся не такъ давно книгѣ подъ заглавіемъ „La vie parlementaire à Rome sous la république“. Ея авторъ, Ж. Б. Миспуле (Mispoulet), хорошо извѣстенъ въ ученomъ мѣрѣ своими серьезными, отчасти даже капитальными изслѣдованіями въ области древне-римскаго—государственнаго и частнаго—права: находясь въ настоящее время, какъ секретарь-редакторъ французской палаты депутатовъ, въ близкихъ отношеніяхъ также и къ современному парламентаризму, онъ обладаетъ всѣми данными для того, чтобы не только со всей научной полнотой и добросовѣстностью изложить свою матерію, но и вдохнуть въ нее духъ живой дѣйствительности.

И въ самомъ дѣлѣ, передъ нами и ученая, и живая,—а, стало быть, полезная и интересная книга подъ выписаннымъ выше заглавіемъ. Она составляетъ двѣнадцатый выпускъ издаваемой извѣстной парижской фирмой Thorin et fils „Библиотеки истории права и государственныхъ учрежденій“.

Само собою разумѣется, что такое преимущественно современное понятіе, какъ парламентаризмъ, можетъ быть примѣ-

нено къ римской старинѣ: только подѣ условіемъ его растяжимости—полнаго соотвѣтствія не будетъ: оно и не требуется. Наличие характерныхъ общихъ чертъ здѣсь и тамъ вполне оправдываютъ выборъ слова и выборъ темы, доказывая правильность перваго и поучительность второй; эти общія черты мы и отмѣтимъ, слѣдуя указаніямъ автора, который ихъ выдвинулъ въ своей книгѣ вполне удовлетворительнымъ и исчерпывающимъ образомъ. А затѣмъ займемся и не менѣе поучительнымъ вопросомъ, почему парламентаризмъ въ полномъ, современномъ значеніи этого слова былъ въ древнемъ Римѣ невозможенъ.

II.

Органомъ парламентскаго режима былъ въ Римѣ, разумѣется, сенатъ, члены котораго, числомъ около 600, косвенно избирались народомъ и засѣдали обыкновенно подѣ предсѣдательствомъ одного изъ обоихъ консуловъ. Правда, законодательныхъ полномочій эта корпорація, въ отличіе отъ современныхъ парламентовъ, не имѣла; но это различіе, важное въ государственно-правовомъ отношеніи, не имѣло вліянія на характеръ преній. Главное то, что мы находимъ въ Римѣ „представителей правительства, хотя и болѣе могущественныхъ, чѣмъ наши министры, но въ сущности поставленныхъ, подобно имъ, въ зависимость отъ собранія, избраннаго—косвенно—народомъ, съ волею котораго они должны постоянно считаться“. Это по части идеи; по части же формы „читатель“, говоритъ тотъ же нашъ авторъ, „не замедлитъ убѣдиться, что парламентскіе обычаи совсѣмъ не измѣнились съ того времени и сумѣетъ безъ труда вставить современные имена въ тотъ или другой громкій инцидентъ, а также подмѣтитъ и то, что мы не совсѣмъ почтительно называемъ парламентской китаищиной“.

Желая представить своимъ читателямъ все это, авторъ раздѣлилъ свою книгу на три части; въ первой онъ разсказалъ общій ходъ развитія римской конституціи, вторая содержитъ теоретическій разборъ парламентской машины, третья—возстановленіе историческихъ засѣданій римскаго сената за то двадцатилѣтіе, о которомъ сохранилось наиболѣе свѣдѣній на-

чиная дѣломъ Катилины (63 г. до Р. Х.) и кончая убійствомъ Цезаря (44 г.).

Нечего говорить, что эта третья часть представляетъ самый живой интересъ для современнаго читателя.

III.

Дѣйствительно, передъ нами развертывается очень пестрая и очень ясная картина.

Какъ во всякомъ парламентѣ, условіемъ страстности и, быть можетъ, плодотворности преній является наличность двухъ партій: одной — правительственной, другой — оппозиціонной. Называютъ онѣ себя *optimates* и *populares*. Первые, несомнѣнно, консерваторы, вторые, если угодно, либералы; слѣдуетъ, однако, помнить, что въ Римѣ, какъ и въ Англіи, консерваторъ не былъ реакціонеромъ и, равнымъ образомъ, либерализмъ не имѣлъ революціоннаго привкуса. Само собою разумѣется, затѣмъ, что кромѣ этихъ двухъ крупныхъ партій были „ультра“ въ томъ и другомъ направленіи, были среднія группы различныхъ отѣнковъ, были, наконецъ, и такія, которыя объединялись не столько идеями, сколько личнымъ обаяніемъ или вліяніемъ своихъ руководителей.

Таковы элементы „парламентской жизни“ римскаго сената.

Что касается, затѣмъ, ея самой, то слѣдуетъ прежде всего признать, что парламентскихъ скандаловъ въ современномъ вкусѣ римскій сенатъ не зналъ. Даже появленіе такого предмета всеобщей ненависти, какъ Катилина, въ памятномъ засѣданіи 7 ноября 63 года скандала не вызвало. Произошла гораздо болѣе достойная и въ то же время гораздо болѣе внушительная демонстрація: сидѣвшіе по сосѣдству сенаторы покинули свои мѣста, оставляя заговорщика одинокимъ среди опустѣвшихъ скамеекъ. Но, при всемъ томъ, разнообразіе и страстность преній не заставляли желать ничего лучшаго.

Обыкновенно предсѣдатель-консулъ самъ излагалъ дѣло и затѣмъ, соблюдая порядокъ старшинства, предоставлялъ слово отдѣльнымъ сенаторамъ. Свобода и равенство были *de jure* полныя, но фактически только самые вліятельные или свѣдущіе

сенаторы пользовались своимъ правомъ, да и тѣ выражались кратко, такъ какъ до захода солнца должно было состояться голосованіе. Въ другихъ случаяхъ консулъ подвергалъ обсужденію докладъ какой-нибудь комиссіи; тогда слово предоставлялось первымъ дѣломъ ея главѣ. Дѣло осложнялось, когда при подачѣ мнѣній возникало рѣзкое разногласіе между двумя сенаторами; въ такихъ случаяхъ обычай разрѣшалъ непосредственный споръ между ними, въ которомъ парламентская свобода была доведена иногда до очень далекихъ предѣловъ. Равнымъ образомъ, и предсѣдатель могъ путемъ непосредственнаго обращенія къ тому или другому сенатору вызвать его на открытость; вообще его права были очень значительны, особенно при голосованіи, порядокъ котораго онъ всецѣло держалъ въ своихъ рукахъ. Вотъ почему въ случаѣ конфликта между предсѣдателемъ-консуломъ и сенатомъ положеніе послѣдняго было довольно невыгодное, и ему оставалось только, если онъ желалъ настоять на своемъ, прибѣгнуть къ одному изъ обоихъ крайнихъ средствъ: или обратиться къ заступничеству трибуновъ, или заявить, что онъ не будетъ заниматься никакими другими дѣлами до тѣхъ поръ, пока его требованіе не будетъ уважено; первое является особенностью римской конституціи, второе же находитъ себѣ параллель въ „отказѣ“ современныхъ парламентовъ, въ случаѣ столкновенія съ правительствомъ, „вотировать бюджетъ“. Еще болѣе пахнетъ современностью сцена, которую нашъ авторъ (стр. 282) описываетъ слѣдующимъ образомъ: „Очередь доходить до Клодія... Онъ пытается произвести обструкцію, сохраняя слово до конца засѣданія; но, по прошествіи трехъ часовъ, онъ долженъ былъ кончить, не будучи въ состояніи устоять противъ криковъ и враждебныхъ манифестацій собранія“.

IV.

Но, при всемъ томъ, римскій сенатъ не былъ парламентомъ въ современномъ смыслѣ этого слова: не былъ потому, что его члены не были депутатами. Депутаты избираются на опредѣленное время гражданами опредѣленнаго округа—т.-е., говоря точнѣе, той партіей, къ которой въ данномъ округѣ при-

надлежить большинству; ихъ обязанность — сообразоваться съ желаніями и программой этой партіи. Римскіе сенаторы, напротивъ, въ теченіе всей своей жизни удерживаютъ тѣ полномочія, которыя были имъ вручены, хотя и косвенно, всѣмъ римскимъ народомъ.

Всѣмъ народомъ! Это гордое слово соотвѣтствовало дѣйствительности въ тѣ далекія времена римской исторіи, когда этотъ народъ жилъ на семи холмахъ или въ ближайшихъ ихъ окрестностяхъ; но чѣмъ шире распространялось римское гражданство, тѣмъ болѣе это соотвѣтствіе было нарушаемо. Особенно острый переломъ наступилъ къ началу перваго вѣка до Р. Х.: когда послѣ великой италійской войны все свободное населеніе Италіи до рѣки По получило римскія гражданскія права; тогда собиравшаяся на Марсовомъ полѣ толпа избирателей и количественно, и качественно перестала соотвѣтствовать „всему римскому народу“.

Тогда, казалось бы, и наступилъ удобный моментъ для пересмотра римской конституціи въ духѣ современнаго парламентаризма. Надлежало раздѣлить смѣнившую Римъ Италію на избирательные округа, съ тѣмъ, чтобы каждый отправлялъ въ Римъ, на опредѣленное время, по одному депутату; надлежало, затѣмъ, собранію этихъ депутатовъ предоставить законодательныя права, которыми до тѣхъ поръ пользовался „весь народъ“, а ради этого—или слить его, такъ или иначе, съ сенатомъ или поставить рядомъ съ нимъ, въ качествѣ своего рода „палаты общинъ“.

Подобно Моммзену, и нашъ авторъ считаетъ такое представительство единственнымъ правильнымъ и спасительнымъ для Рима исходомъ и не падить упрековъ демократической партіи, что она этого исхода не нашла. „Организовать демократію“, продолжаетъ онъ (стр. 47), „согласовать ея режимъ съ принципомъ свободы—это и есть та задача, надъ которой мы трудимся вотъ уже цѣлое столѣтіе... Римская республика въ этомъ дѣлѣ не можетъ намъ служить примѣромъ; но она можетъ служить намъ урокомъ, указывая намъ на подводный камень, о который она разбилась: цезаризмъ“.

V.

Почему, однако, этотъ столь естественный для современнаго человѣчества исходъ не былъ найденъ римской демократіей? И почему—что еще изумительнѣе—никому изъ тогдашнихъ дѣятелей не пришла въ голову даже возможность такого исхода, хотя бы въ формѣ предположенія, утопіи?.. Историкъ, обыкновенно, берется за столь же легкую, сколь и бесплодную задачу, доказывая, что несовершенство не совершилось потому, что оно совершиться не могло; все же бываютъ случаи, когда именно такого рода задачи раскрываютъ передъ нами интересныя стороны народной психологіи, и нашъ случай, кажется одинъ изъ нихъ.

Вспомнимъ небезызвѣстныя слова стараго англійскаго парламентарія: „изо всѣхъ рѣчей, выслушанныхъ мною въ парламентѣ, очень немногія заставили меня измѣнить свое убѣжденіе и ни одна—своего голоса“. Не будемъ останавливаться на томъ, что въ упоминаемыхъ „очень немногихъ“ случаяхъ почтенный депутатъ, очевидно, подавалъ голосъ противъ своего убѣжденія; важно не это, а вообще та незначительная роль, которую играетъ вольная, личная совѣсть человѣка въ сравненіи съ наказной совѣстью — если можно такъ выразиться — депутата. Не трудно убѣдиться, что эта наказная совѣсть — необходимое условіе современнаго парламентаризма. Депутатъ — ставленникъ своей партіи; избирательный комитетъ поставилъ его кандидатуру, имѣя въ виду, конечно, его талантъ, его знанія, его нравственную безупречность (все это — драгоцѣнное оружіе въ партійной борьбѣ), но прежде всего и главнымъ образомъ его благонадежность съ точки зрѣнія партіи, его стойкость, его неперубѣдимость. Отнынѣ его путь предначертанъ; программа партіи — это и есть та наказная совѣсть, которая въ парламентской жизни должна замѣнить его вольную, личную совѣсть. Цѣлый рядъ вопросовъ ею предрѣшенъ; что же касается остальныхъ, связь которыхъ съ партійной программой не сразу ясна, то его отношеніе къ нимъ будетъ ему предписано рѣшеніемъ фракціи. Послѣ этого пусть его противники изошраютъ сколько угодно свое краснорѣчіе на парламентской трибунѣ; erit sicut cadaver.

VI.

Вотъ это и есть то условіе, которое было невыполнимо для римлянина. Нѣтъ надобности вдаваться въ сравнительную оцѣнку античнаго и современнаго человѣка, ставить наивный вопросъ, который „лучше“; немислимость для гражданина античной общины наказной совѣсти вытекаетъ изъ центральнаго свойства античной души — индивидуализма. Античность и индивидуализмъ — понятія родственныя; до того родственныя, что одна и та же эпоха новѣйшей исторіи — эпоха гуманизма — разсматривается одними, какъ эпоха возрожденія античности, другими, какъ эпоха пробужденія индивидуализма, при чемъ тѣ и другіе одинаково правы. Среди римскихъ сенаторовъ масса самыхъ разнообразныхъ характеровъ; есть сильные и слабые, благородные и низменные. Вотъ Стаіенъ, вотъ Бульбъ, вотъ Тальна: эти господа съ большимъ удовольствіемъ продадутъ свой голосъ за золото или статую, за улыбку вельможи или за веселую ночь. Но, поступая такъ, они сознаютъ, что проданное принадлежало имъ, и что по совершеніи акта продажи они безличныя, безчестныя люди — а если они этого не сознаютъ, то тѣмъ лучше это сознаютъ другіе. Считать же себя свободными, честными людьми, отдавая свою личную совѣсть въ кабалу партіи, кружку, направленію — на это они совершенно неспособны.

И въ этомъ заключается главное различіе между древнеримской и современной парламентской жизнью. Все политическое краснорѣчіе древняго Рима имѣетъ своимъ предположеніемъ полную свободу выбора, полную переубѣдимость каждаго слушателя. Конечно, партіи есть; но принадлежность сенатора къ партіи обуславливается его личнымъ убѣжденіемъ, или по крайней мѣрѣ его личнымъ желаніемъ, а не его зависимостью отъ своихъ избирателей. Неудивительно, что привыкшему къ современной парламентской жизни человѣку многія явленія той жизни кажутся непонятными. Вотъ, напримѣръ, сцена изъ за-сѣданія, посвященнаго вопросу о возвращеніи Цицерона изъ изгнанія. Весь сенатъ этого желалъ; но консуломъ былъ Ме-

теллъ Непотъ, врагъ Цицерона, а безъ согласія консула дѣло состояться не могло. Тогда старшій сенаторъ, Сервилій Изаврійскій, обратился къ нему съ пламенной рѣчью; онъ заклиналъ его именемъ его предковъ, славныхъ въ римской исторіи Метелловъ, и умолялъ его не измѣнять традиціямъ своего рода. Непотъ былъ тронутъ до слезъ: отвѣчая Сервилію, онъ далъ формальное обѣщаніе не противиться возвращенію изгнанника. — Возможно ли такое быстрое, непосредственное обращеніе въ современномъ парламентѣ? Нѣтъ; и вотъ нашъ авторъ считаетъ его невозможнымъ также и въ римскомъ сенатѣ. „Вѣроятно“, говоритъ онъ (стр. 277), „что консулъ только воспользовался этимъ случаемъ, чтобы нѣсколько театральнымъ образомъ сдѣлать извѣстнымъ свое заранѣе принятое рѣшеніе“. Увы! не одна только эта сцена—весь характеръ римскаго сенатскаго краснорѣчія остается непонятнымъ для того, кто на него смотритъ черезъ очки современнаго стойкаго и непереубѣдимаго парламентарія.

VII.

Сравнительная оцѣнка современной и античной души, повторяю, не входитъ въ нашу задачу: очень возможно, что новѣйшее человѣчество съ его сильнымъ социальнымъ инстинктомъ сдѣлало больше, чѣмъ античное съ его развитымъ индивидуализмомъ. Но болѣе чѣмъ вѣроятно, съ другой стороны, что оно не устояло бы противъ крайностей, къ которымъ его влечетъ эта сила—противъ стадности, ремесленности, застоя—если бы не воспринятыя имъ элементы античной культуры, уже много разъ содѣйствовавшіе пробужденію личной совѣсти и личнаго свободнаго творчества.

НОВЫЙ ПАМЯТНИКЪ ДРЕВНЕРИМСКАГО БЫТА.

(1904).

I.

Памятникъ, который мы имѣемъ въ виду, съ внѣшней стороны весьма неказистъ. Пусть читатель представитъ себѣ грудѹ „кругляшекъ“, чернаго или, по крайней мѣрѣ, темнаго цвѣта, величиною отъ мѣдной полушки до трехкопѣечной монеты, съ неровной, шероховатой поверхностью. Взявъ кругляшку въ руку, вы по вѣсу узнаете, что она свинцовая; всматриваясь пристальнѣе въ шероховатости ея поверхности, вы не безъ труда замѣчаете, что то, что вы по первому впечатлѣнію склонны были принять за случайныя поврежденія подѣ влияніемъ времени и дурнаго обращенія, на самомъ дѣлѣ является изображеніемъ. Вы различаете — гдѣ человѣческую голову, гдѣ всего человѣка, гдѣ животное, гдѣ дерево, гдѣ чашу, четверикъ, кресло, жертвенникъ, гдѣ нѣсколько буквъ. Да, въ вашихъ рукахъ „памятникъ искусства“; все же не торопитесь радоваться: искусство это довольно скромнаго и низкопробнаго характера—это вы замѣчаете уже по тѣмъ усиліямъ, которыхъ вамъ стоитъ опредѣленіе изображаемыхъ предметовъ. Вотъ—животное, о которомъ филологи вмѣстѣ съ зоологами будутъ спорить, къ какой породѣ млекопитающихъ его причислить: не то собака, не то кошка, не то мышь. Вотъ—человѣческая фигура; только мужская или женская, этого намъ уже не разобрать. Вотъ двѣ фигуры, другъ противъ друга:

быть можетъ, божественная чета Діоскуровъ, а можетъ быть и два дерущихся гладіатора. Вотъ—муха... если только это не простая буква. Вотъ — орелъ; на это толкованіе насъ наводитъ оборотная сторона, представляющая, повидимому, Юпитера, а то мы могли бы его принять за пѣтуха. И такъ далѣе. Конечно въ этой неопредѣленности виновато также и время, не пощадившее нашихъ скромныхъ памятниковъ, но далеко не оно одно: съ самаго начала это были, по всей видимости, издѣлія грубой ремесленной техники, рассчитанныя на массовый сбытъ среди невзыскательной публики.

При этой невразумительности и, какъ казалось, неинтересности изображеній, при малоцѣнности самого матеріала—свинца—понятно, что нумизматы, къ области которыхъ наши памятники естественно были огнесены, обращались съ ними довольно пренебрежительно. Съ точки зрѣнія коллекціонеровъ-любителей эти „пломбы“ были какъ бы придачей нумизматическихъ коллекцій, покупаемой и сбываемой за оптовую цѣну: не для нихъ заводили дорогіе футляры и витрины, гдѣ на суконной или бархатной подкладкѣ красуются статеры и тетрадрахмы, аугеі и динары; ихъ рѣдко каталогизировали, а если случалось, то нехотя и небрежно, какъ предметъ нестоющій вниманія. При всемъ томъ вопросъ о назначеніи загадочныхъ кругляшекъ ставился, но опять-таки ставился, если можно такъ выразиться, оптомъ; отвѣты получались поэтому несогласные, произвольные и неубѣдительные, и наука о древнемъ Римѣ сочла болѣе благоразумнымъ обходиться вовсе безъ помощи столь ненадежнаго источника. Такимъ образомъ памятники, о которыхъ идетъ рѣчь, сами по себѣ существовали уже давно и были извѣстны кое-кому въ ученomъ мірѣ; но памятниками древнеримскаго быта они не служили и служить не могли до тѣхъ поръ, пока ихъ отношеніе къ этому быту оставалось неопредѣленнымъ.

Рѣшить эту нелегкую задачу и этимъ обогатить науку о древнеримскомъ бытѣ новымъ источникомъ взялся нашъ молодой ученый, проф. М. И. Ростовцевъ. Приступая къ дѣлу не съ прихотливымъ подчасъ интересомъ любителя, а съ методической выдержкой свѣдущаго филолога, онъ понялъ, что при болѣе чѣмъ лаконической несловоохотливости cadaго па-

мятника въ отдѣльности только ихъ масса можетъ дать отвѣтъ на поставленный вопросъ; что ему, потому, необходимо собрать съ возможной полнотою всѣ относящіеся сюда матеріалы. Это-то онъ и имѣлъ въ виду въ своихъ заграничныхъ путешествіяхъ, предпринятыхъ имъ, впрочемъ, не съ одной этой, а съ общенаучной цѣлью. Завели они его далеко — не только во всѣ почти европейскія государства, но также и въ сѣверную Африку и Малую Азію, всюду, однимъ словомъ, гдѣ можно было разсчитывать найти болѣе или менѣе значительныя коллекціи нашихъ пломбъ, въ общественныхъ ли музеяхъ или частныхъ рукахъ. Но недостаточно было изучить и катологизировать ихъ на мѣстѣ: никакая опись не могла сохранить полного представленія, необходимаго, однако, при сравнительномъ анализѣ всей совокупности однородныхъ памятниковъ. Кое-что изслѣдователю удалось пріобрѣсть въ свою собственность — антиквары, какъ уже было замѣчено, цѣнили этихъ пасынковъ нумизматики не особенно дорого — но понятно, что это было лишь незначительное меньшинство. Для прочихъ пришлось заказывать гипсовые слѣпки; лишь по ихъ полученіи г. Ростовцевъ могъ считать первую часть своей задачи — собраніе матеріаловъ — на первыхъ порахъ оконченной.

Но, разумѣется, это было лишь началомъ всего труда: собравъ памятники, надлежало въ нихъ разобраться, прочесть и классифицировать ихъ. Эти двѣ работы должны были идти параллельно: неполно или неправильно прочитанный памятникъ могъ быть прочитанъ лучше при помощи другого, тождественнаго, но лучше сохраненнаго, или же родственнаго. Человѣку, далеко стоящему отъ дѣла, не легко представить себѣ, сколько при этой двойной работѣ получается мелкихъ, но приятныхъ и бодрящихъ успѣховъ. Возьмемъ самый обыкновенный случай: часть изображенія на пломбѣ разобрана, другая, вслѣдствіе чрезвычайъ плохой сохранности, нѣтъ. Вдругъ найденъ другой экземпляръ, на которомъ, наоборотъ, сохраненная на первомъ часть изображенія пострадала, но зато оставшаяся тамъ не разгаданной выдѣляется вполне отчетливо — и вотъ при помощи этой находки рѣшеніе всей загадки найдено. Или другой случай: на одной пломбѣ изображеніе, рядомъ съ нимъ двѣ непонятныя буквы-иниціалы —

очевидно съ ними ничего не подѣлаешь. Но вотъ еще одна пломба, съ такимъ же изображеніемъ, но буквѣ нѣсколько больше—опять рѣшеніе найдено. Важно, однако, слѣдующее. На пломбахъ, конечно, двѣ стороны, съ различными изображеніями на каждой: очевидно, оба они имѣли какое-нибудь отношеніе къ назначенію пломбы. Они, стало-быть, „родственны“ между собою. Такъ, скажемъ, на пломбѣ № 1 имѣются изображенія *a* и *b*; но вотъ другая № 2, на ней изображеніе *b* повторяется, но вмѣсто *a* она даетъ новое, *c*—и такъ вотъ уже три „родственныхъ“ изображенія. Понятно, что эта игра можетъ продолжаться; на № 3 мы можемъ найти *a + d*, на № 4 *b + c* и т. д. А то и такъ: на № 5 можетъ оказаться изображеніе не тождественное, но все же схожее съ № 1—та же фигура тамъ стоитъ, здѣсь сидитъ—не *a*, стало быть, а *a'*. И такъ далѣе въ томъ же родѣ. Въ результатѣ мы получимъ болѣе или менѣе замкнутый кругъ изображеній—другими словами, *однородную серію* памятниковъ съ достаточно большимъ числомъ изображеній и легендъ, чтобы отвѣтить на вопросъ о своемъ назначеніи. Дѣйствительно, эта счастливая мысль „выдѣленія однородныхъ серій“ была для г. Ростовцева той аriadниной нитью, которая вывела его изъ лабиринта. Онъ имѣлъ благоразуміе ставить вопросъ о назначеніи и смыслѣ не для всѣхъ пломбъ вмѣстѣ взятыхъ, а для каждой однородной ихъ серіи въ отдѣльности; благодаря этому рѣшеніе загадки было найдено, нѣмые до него памятники въ его рукахъ заговорили.

Что они ему рассказали—это я постараюсь пересказать читателямъ въ слѣдующихъ главахъ; здѣсь замѣчу еще, что онъ изложилъ результаты своихъ трудовъ въ трехъ одновременно выпущенныхъ книгахъ, а именно: 1) латинской описи всѣхъ ставшихъ ему извѣстными пломбъ подъ заглавіемъ: *Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum sylloge*—всѣхъ ихъ 3.600 номеровъ, не считая повтореній; 2) фототипическомъ атласѣ къ этой *sylloge*, въ которомъ на 12 таблицахъ воспроизведено около 800 пломбъ; наконецъ, 3) русскомъ изслѣдованіи подъ заглавіемъ: „Римскія свинцовыя тессеры“ (всѣ три въ С.-Петербургѣ въ 1903 г.). Какъ видитъ читатель, нашъ авторъ свои пломбы называетъ „тессерами“;

этотъ не сразу вразумительный терминъ стоитъ въ связи съ тѣмъ отвѣтомъ, который онъ далъ на вопросъ о ихъ назначеніи. Подобно этому назначенію, и самый терминъ будетъ объясненъ въ дальнѣйшемъ.

II.

Panem et circenses — таковы были, по словамъ римскаго сатирика, обѣ оси, вокругъ которыхъ вращались всѣ колеса мыслей и чувствъ обыкновеннаго римскаго гражданина... и его ли одного? Другой сатирикъ, писавшій сатиру уже не на одинъ только Римъ, а на человѣчество и даже міръ, — Шопенгауеръ, — видѣлъ въ этихъ двухъ словахъ символъ всей жизни человѣка, поочередно бичуемаго обоими врагами своего существованія, нуждой и скукой. Вернемся, однако, къ Риму.

Отвѣтъ на первое, самое насущное требованіе послѣдовалъ уже къ концу второго вѣка до Р. Х. въ формѣ, поражающей насъ на первый взглядъ, а именно, что всякій римскій гражданинъ, какъ таковой, имѣетъ право на извѣстный минимумъ хлѣба; доставлять ему таковой обязана была казна, т.-е., другими словами, провинціалы, такъ какъ поборами съ нихъ пополнялась казна. Стали появляться одинъ за другимъ такъ называемые *фрументарные* законы, имѣвшіе цѣлью регулировать то, что позднѣе стали называть *фрументациями*, т.-е. обезпеченіе хлѣбомъ римской городской толпы. Не намъ осуждать это скороспѣлое рѣшеніе соціальнаго вопроса: его осудила исторія, свидѣтельствующая о вредномъ вліяніи вскормленнаго и развращеннаго даровымъ хлѣбомъ городского пролетаріата на римскую жизнь послѣднихъ временъ республики. Ея наслѣдіе досталось принципату, а съ нимъ и вопросъ, что дѣлать съ привыкшей къ государственной помощи столичной толпой. Отвѣтъ вышелъ не особенно героическій, не особенно гуманный, но умный и ласковый, какъ и все, что выходило изъ рукъ Августа: было рѣшено, что государственную помощь по части пропитанія будутъ получать не римскіе граждане вообще, и наиболѣе бѣдные среди нихъ, число которыхъ достигало, впрочемъ, почтенной цифры 200.000. Это были знаменитые

отнынѣ *aere incisi*, счастливые обладатели пенсіоннаго билета—по-римски „фрументарной тессеры“ — обеспечивающаго имъ право на полученіе извѣстной мѣрки зерна въ мѣсяцъ, билета, который они, впрочемъ, имѣли право не только завѣщать, но и продать. Несмотря на эту послѣднюю льготу, подрывающую практическую цѣлесообразность нововведенія, но послѣдовательно вытекающую изъ либеральнаго характера римскихъ политико-экономическихъ институтовъ — можно будетъ сказать, что съ императорской реформой фрументаций элементъ благотворительности былъ введенъ въ государственную администрацію; отсюда былъ только одинъ шагъ до того разумнаго и гуманнаго принципа, который впервые провозгласила христіанская община и далѣе котораго и современная культурная жизнь не пошла — принципа: „трудоспособному — трудъ, нетрудоспособному — подаваніе“ (*τελὶκτῇ ἔργον, ἄδραναι ἔλεος*), какъ гласитъ одно, очень замѣчательное мѣсто въ восьмомъ изъ приписываемыхъ Кліменту Римскому посланій.

Все это было, разумѣется, извѣстно и раньше; не была извѣстна детальная организація этого дѣла, и вотъ се-то выяснили скромные памятники г. Ростовцева.

Представимъ себѣ прежде всего эпоху Августа или Тиберія. Нашъ пенсіонеръ желаетъ получить свою ежемѣсячную порцію; получить онъ ее въ опредѣленномъ мѣстѣ города, по какъ? Нужно передать завѣдующему чиновнику какой-нибудь документъ взамѣнъ получаемой порціи — не можетъ же онъ, по предъявляемымъ для удостовѣренія свидѣтельствамъ, записывать имя, родъ и трибу cadaго, въ то время какъ тысячи другихъ ждуть очереди! И вотъ пенсіонеръ отправляется предварительно—по нашему, къ участковому приставу, а по-римски—къ викомагистру; тамъ онъ получаетъ мѣдную монету, носящую на лицевой сторонѣ изображеніе головы императора, а на оборотѣ—цифру (отъ I до XIX) въ лавровомъ вѣнкѣ. И то и другое подобрано съ умысломъ: голова императора говоритъ нашему пролетарію, что то, что онъ имѣетъ получить, есть подарокъ ему отъ императора — пусть онъ знаетъ, что онъ на изживеніи у главы государства, это сознаніе поведетъ къ укрѣпленію его вѣрноподданническихъ чувствъ, а стало быть, и къ упроченію монархіи и специально правящей династіи. Что ка-

сается цифры, то ея значеніе, если не считать лавроваго вѣнка, менѣе идеологическое: это просто номеръ того магазина, гдѣ будетъ производиться раздача. Понятно, что при значительномъ количествѣ пенсіонеровъ—вспомнимъ, что ихъ было 200.000—одного магазина было мало: вѣроятно же всего, ихъ было одно время 20, по одному на каждыя 10.000. Разумѣется, былъ возможенъ и другой способъ: прикрѣпить каждаго обитателя данной части заранѣе къ данному магазину и выдать ему марки за годъ впередъ, по одной на каждый мѣсяцъ; тогда на оборотѣ вмѣсто непужной цифры придется изобразить имя каждаго мѣсяца... Нѣтъ, не имя, какъ это принято у насъ, а соотвѣтственно болѣе конкретному мышленію античнаго человѣка, символъ, т.-е. знаки зодіака, соотвѣтствующіе отдѣльнымъ мѣсяцамъ. При широкой популярности астрологіи эти знаки были извѣстны всѣмъ грамотнымъ людямъ: разъ на оборотѣ знакъ Рыбъ—ясно, что это февральская марка.

Перенесемся въ правленіе Нерона: продовольственное дѣло централизовано, каждому пенсіонеру приходится ежемѣсячно въ опредѣленный день отправляться въ хлѣбную биржу (т. наз. porticus Minucia). Но въ прочемъ перемѣнъ не произошло: только марки въ участкѣ выдаются уже не бронзовыя, а ради дешевизны свинцовыя—видно, императоръ уже не такъ интересуется хлѣбнымъ дѣломъ.

Спустимся еще на полъ-столѣтія ниже: та же хлѣбная биржа, тѣ же свинцовыя марки, но только головы императора на нихъ уже нѣтъ. Дѣло сдѣлано, ученіе принесло свои плоды. Пролетаріатъ настолько свылся съ мыслью, что его кормилецъ—императоръ, что уже нѣтъ надобности постоянно ему о ней напоминать; скорѣе могло показаться профанаціей отливать голову императора на такой презрѣнной вещи, какъ свинцовая кругляшка. Ее замѣнили другія эмблемы, довольно интересныя: то колосья или хлѣбная мѣрка, на содержаніе которой указываютъ торчащіе изъ нея колосья, то взамѣнъ этихъ разчитанныхъ на аппетитъ проголодавшихся пролетаріевъ изображеній, или же противъ нихъ, на оборотѣ—символы хлѣбородныхъ провинцій; змѣя, какъ намекъ на Египетъ, носорогъ, какъ символъ Африки, кроликъ, какъ представитель Испаніи; то увѣщаніе бережно обращаться съ императорскимъ хлѣбомъ въ

видѣ изображенія добродѣтельнаго и домовитаго звѣрька, какъ улитки или муравья... на ряду съ ними г. Ростовцевъ (стр. 75) называетъ и кузнечика, но эзоповская басня, передѣланная Крыловымъ, этого толкованія не рекомендуетъ, и я думаю скорѣе, что кузнечикъ имѣетъ здѣсь другое символическое значеніе, напоминая получателю лѣтнее время, когда солнце печетъ и хлѣбъ наливаясь. Ну, а затѣмъ, разумѣется, боги-покровители удачи и достатка, *Abundantia*, *Bonus Eventus*, *Felicitas* и другіе.

Кстати: теперь читатель знаетъ, что такое эти тессеры, которымъ г. Ростовцевъ удѣлилъ столько вниманія; „тессерами“ назывались въ Римѣ именно наши контрольные марки или билеты. Вообще, одной изъ главныхъ причинъ различія матеріальной культуры въ древности и у насъ была сравнительная дороговизна тамъ такихъ матеріаловъ, которые у насъ принадлежатъ къ самымъ малоцѣннымъ. Такъ, дороговизной стекла объясняется тотъ особый видъ частныхъ домовъ въ древнемъ мірѣ, который насъ поражаетъ въ Помпеяхъ. Такъ и въ нашемъ случаѣ дороговизной бумаги объясняется употребленіе иныхъ—къ счастью для насъ, болѣе прочныхъ матеріаловъ для свидѣтельствъ и тому подобныхъ документовъ. Египетъ сохранилъ намъ сотнями податныя и другія росписки на глиняныхъ черепкахъ („остракахъ“) и далъ намъ этимъ возможность возстановить точную картину податного дѣла по крайней мѣрѣ для одной провинціи Римской Имперіи: такую же службу сослужили намъ свинцовыя тессеры для фрументационнаго дѣла, а также для иныхъ сторонъ римской жизни, о которыхъ рѣчь будетъ впослѣдствіи. Но что значитъ слово *tessera*? Его первоначальное значеніе—повидимому отъ греческаго *τέσσαρα*—прямоугольная табличка. При заключеніи союза гостепріимства хозяинъ и гость ломали такую табличку пополамъ; каждая сторона оставляла себѣ свою половину, какъ наслѣдственный „символъ“ союза, по которому даже потомки могли признать въ себѣ „гостепріимцевъ“, прилаживая обѣ половины одну къ другой по пролому. То была *tessera hospitalis*; отсюда слово *tessera* распространилось и на другія удостовѣренія, безотносительно къ ихъ внѣшней (круглой или овальной) формѣ.

III.

Послѣ средства отъ голода — средство отъ скуки, послѣ panis—circenses, а съ ними и другія зрѣлища и увеселенія. Уже съ давнихъ поръ римскій сенатъ въ лицѣ своихъ эдиловъ и преторовъ окупалъ имъ довольство римской черни, а съ нимъ и безопасность свою и безоружной Италиі отъ вспышекъ народнаго гнѣва; римскіе цезари, какъ правительствующій органъ, въ этомъ отношеніи стали сначала рядомъ съ сенатомъ, а затѣмъ и на его мѣсто. Они не жалѣли средствъ для того, чтобы заставить столичную толпу долго говорить о блескѣ своихъ игръ; положимъ, въ этомъ отношеніи эдилы и преторы эпохи сенатскаго режима были ихъ достойными предшественниками, но императорская пышность превзошла республиканскую настолько, насколько огромный и въ своемъ разрушеніи Колоссей превзошелъ сравнительно скромныя постройки временъ Суллы и Помпея.

Игры были различныхъ родовъ: выше всѣхъ по своему культурному вліянію стояли игры въ театрѣ, сценическія представленія трагедій и комедій; атлетическій характеръ носили игры въ стадіи, перенесенныя въ Римъ изъ Греціи и никогда особенно не привившіяся; зато широкой популярностью пользовались игры въ амфитеатрѣ, т.-е. гладіаторскія представленія, и въ циркѣ, т.-е. ристанія колесницъ. Эти двѣ послѣднихъ категоріи преимущественно имѣются въ виду тамъ, гдѣ говорится объ увеселеніяхъ римской толпы; гладіаторы-побѣдители и возницы-побѣдители, — таковы были любимые герои Рима. Впрочемъ, въ амфитеатръ приходили не только для того, чтобы видѣть бой гладіаторовъ между собою: особой приманкой были т. наз. venationes, т.-е. бой звѣрей, преимущественно дикихъ, какъ между собой, такъ и съ людьми. А иногда съ помощью особыхъ приспособленій вся арена погружалась въ воду: въ образовавшійся такимъ образомъ бассейнъ вѣзжали корабли съ командой и десантомъ, на глазахъ зрителей происходило подобіе морскаго сраженія (naumachia). Все это вмѣстѣ взятое образовало одну изъ самыхъ блестящихъ и захватывающихъ —

но, конечно, далеко не самыхъ почетныхъ страницъ исторіи императорскаго Рима; интересная для историка-моралиста, она еще болѣе интересна для историка-психолога,—для того, кто выяснилъ себѣ, что все это соединеніе пышности и жестокости было не прихотью высшей власти, а необходимымъ двигателемъ общественнаго организма.

Разъ игры были императорской милостью, подобно фрументациямъ, то и каналы, посредствомъ которыхъ эта милость могла проникать въ народъ, должны были быть аналогичны; другими словами, марочная система, умѣстная тамъ, была умѣстна и здѣсь. И дѣйствительно, намъ сохранено очень много тессеръ, отношеніе которыхъ къ зрѣлищамъ очевидно по вылитымъ на нихъ изображеніямъ... Да, изображеніямъ; любовь античнаго человѣка ко всему конкретному сказалась и здѣсь. Нынѣшніе театральные билеты, безъ сомнѣнія, очень цѣлесообразный и полезный институтъ; но можно ли представить себѣ болѣе тоскливую коллекцію, чѣмъ коллекцію старыхъ театральныхъ билетовъ? Про тессеры, напротивъ, никто этого не скажетъ; какъ ни грубы ихъ изображенія, а все же это нѣчто большее, чѣмъ сухое удостовѣреніе: это—символъ также и въ нашемъ смыслѣ слова. Можно даже сказать: въ качествѣ удостовѣренія онѣ уступали нашимъ. Получившая ихъ бѣднота знала, что мѣсто въ театрѣ или амфитеатрѣ ей обезпечено, но какое—это будетъ зависѣть отъ ея собственной выносливости. И вотъ за много часовъ до спектакля, вѣроятно даже съ вечера, она осаждаеть зданіе; у cadaго входа—ихъ же было множество—толпятся жаждущіе зрѣлищъ квириты; вновь прибывающій сначала обходитъ зданіе, чтобы убѣдиться, въ какой „клинь“ ему легче будетъ попасть, и, облюбовавъ ту или другую кучку, пристаетъ къ ней и терпѣливо ждетъ очереди. Начинается впускъ; приставленный ко входу „диссигнаторъ“ отбираетъ у посѣтителей ихъ тессеры—онъ знаетъ, сколько ему можно впустить народу. Положенное число онъ впускаетъ, остальнымъ отказываетъ, предоставляя имъ искать себѣ пристанища въ другомъ „клинь“. И, конечно, они его найдутъ—вѣдь тессеръ выдано не больше, чѣмъ зданіе можетъ вмѣстить публики—но только придется поискать, и мѣста имъ достанутся уже не изъ лучшихъ: тѣ давнымъ давно уже заняты болѣе предусмотрительными людьми.

Всей этой процедурѣ насъ научили сохраненныя тессеры.. не столько, впрочемъ, тѣмъ, что на нихъ изображено, сколько тѣмъ, чего на нихъ нѣтъ. Нѣтъ же на нихъ того, что мы сочли бы главнымъ: обозначенія мѣста, или, по крайней мѣрѣ, „клина“ (читатель, конечно, догадался, что подъ клиномъ, *синеус*, римляне разумѣли клинообразное отдѣленіе амфитеатрально расположенныхъ мѣстъ, т.-е. промежутокъ между двумя радіусами, соотвѣтствующій одному входу). А разъ этого обозначенія нѣтъ—описанный порядокъ является единственно возможнымъ.

По самимъ же изображеніямъ мы узнаемъ гораздо больше.

Прежде всего, голова императора играетъ на нашихъ тессерахъ приблизительно такую же роль, какъ и на фрументационныхъ: другими словами, городскую толпу сначала нужно было приучить къ мысли, что и *рапем* и *сирсенса* даритъ имъ императоръ, а затѣмъ, когда урокъ былъ надлежащимъ образомъ затверженъ, его повторять перестали.

Затѣмъ: изъ трехсотъ свыше типовъ зрѣлищныхъ марокъ только четыре можно было отнести къ театральнымъ представленіямъ, остальные почти всѣ относятся къ амфитеатру или цирку, т.-е. либо къ кровавымъ боямъ на аренѣ, либо къ бѣгамъ колесницъ. Результатъ этотъ никакъ нельзя назвать отраднымъ: видно, въ театрахъ особенной тѣсноты не было. Тщетно Сенека громилъ жестокія зрѣлища въ амфитеатрахъ, съ которыхъ „люди возвращаются безчеловѣчнѣе вслѣдствіе того, что были среди людей“; тщетно Плиній Младшій издѣвался надъ бессмысленностью цирковыхъ ристалищъ съ ихъ партіями и партійными симпатіями—публика болѣе жаждала опыненія, вызываемаго видомъ крови или игрой фортуны, чѣмъ умственныхъ наслажденій. Это знали и изготовители тессеръ: эти послѣднія также должны были возбуждать въ обладателяхъ сладкое предчувствіе того, что имъ предстояло увидѣть. На многихъ изображены гладіаторы; но, конечно, при маломъ калибрѣ тессеры и грубости работы нельзя было передать того, что было всего дороже для публики—индивидуальныхъ чертъ любимцевъ. На другихъ красуется корабль—это значить, что предстоитъ „навмахія“, морское сраженіе. Но особенно много мотивовъ дали *venationes*... въ буквальномъ переводѣ—„охоты“,

а на дѣлѣ—не совсѣмъ. „Изображенія“, говоритъ нашъ авторъ (стр. 104), „распадаются на двѣ серіи: изображаются либо „охотники“ въ схваткѣ съ различными звѣрями (львомъ, кабаномъ, медвѣдемъ), либо бои звѣрей между собою. Особого вниманія заслуживаетъ изъ первой серіи тессера № 580: на одной сторонѣ ея изображенъ бой охотника со львомъ, на другой—съ кабаномъ. На лицевой сторонѣ находится контрамарка: SOT θ...“ надобно знать, что это θ, какъ инициаль греческаго слова ΘΑΝΑΤΟΣ („смерть“), у именъ собственныхъ соотвѣтствовало нашему знаку †; такимъ образомъ выписанныя буквы означали: „Сотіонъ умеръ“ или, вѣрнѣе, „убить“. „Тессера“, продолжаетъ авторъ, „очевидно дважды служила маркой: во второй разъ выпускался вторично левъ, отъ котораго погибъ небезызвѣстный, повидимому, охотникъ. Такъ то входной билетъ служилъ до нѣкоторой степени и программой, указывая на *pièce de résistance* даннаго дня игръ“.

Такъ представляется дѣло, если взглянуть на него глазами публики; къ счастью, мы для дополненія картины можемъ взглянуть на нее также и глазами ея героевъ, т.-е. «охотниковъ»—на нее и заодно на самую публику: она вѣдь не послѣдняя часть картины. „Но Тотъ, кто сказалъ; просите и дастся вамъ—далъ просящимъ тотъ исходъ, котораго каждый желалъ. Вѣдь когда они говорили между собой о своемъ вождѣленномъ мученичествѣ, Сатурнинъ высказалъ желаніе, чтобы его ставили противъ всѣхъ звѣрей, дабы ему достался самый славный вѣнецъ; согласно этому, въ самомъ началѣ зрѣлища онъ и Ревокатъ подверглись укушеніямъ леопарда, а потомъ ихъ на подмосткахъ ломалъ медвѣдь. Сатуру же медвѣдь былъ противнѣе всѣхъ, онъ надѣялся, что его прикончитъ леопардъ однимъ укушеніемъ. Когда онъ, поэтому, былъ сопоставленъ съ кабаномъ, то не онъ, а тотъ охотникъ, который его привязывалъ, былъ заколотъ этимъ звѣремъ и скончался на слѣдующій день, Сатуръ же былъ только спибленъ съ ногъ. Когда же его привязали къ подмосткамъ для встрѣчи съ медвѣдемъ, медвѣдь не пожелалъ выйти изъ клѣтки, такъ что онъ вторично остался невредимъ.“

„Молодымъ же женщинамъ (патриціанкѣ Перпетуѣ и рабынѣ Фелицитатѣ) дьяволъ приготовилъ свирѣпую корову, вы-

державъ для посмѣшища соотвѣтствіе и въ отношеніи пола; ихъ раздѣли и въ сѣтчатыхъ накидкахъ привели на арену. Возропталъ народъ, видя, что одна — нѣжная дѣвушка, другая — родильница съ капающимъ изъ груди молока. Ихъ увели и въ рубашкахъ привели опять. Первой была спиблена Перпетуя; упавъ, она прикрыла туникой обнаженное бедро, болѣе заботясь о стыдѣ, чѣмъ о боли; затѣмъ, найдя свою шпильку, она приколола волосы: не подобало, вѣдь, мученицѣ принять смерть съ распущенной косой, чтобы не казаться скорбящей въ минуту своей славы. Послѣ этого она встала и, увидѣвъ, что Фелицитата спибленная лежитъ на землѣ, подошла къ ней, протянула ей руку и подняла ее. Обѣ стояли рядомъ; но тутъ жестокость народа была побѣждена, и ихъ увели. Оставался Сатуръ; когда къ нему, ужъ къ концу зрѣлища, выпустили леопарда, онъ отъ одного его укушенія былъ облитъ такимъ обильнымъ потокомъ крови, что это было какъ бы вторымъ крещеніемъ ему: такъ, хотя и по-своему, понялъ это и народъ, второй сталъ ему кричать: „съ легкой банькой, съ легкой банькой!“ (*salvum lotum, salivum lotum. Passio S. Perpetuae 19 сл.*)

Да, картина интересна во всѣхъ своихъ частяхъ: небезполезно помнить ее, перебирая относящіеся сюда свинцовыя тессеры г. Ростовцева, описанныя начиная съ № 579 его Sylloge и изображенные на таб. IV атласа: это сопоставленіе человѣка со львомъ или кабаномъ заранѣе настраивало фантазію обладателя, предваряя жестоко-сладострастное опьяненіе при видѣ алой крови, ключемъ бьющей изъ бѣлаго тѣла живого человѣка.

IV.

Будетъ, однако, о *ranem et circenses*; обратимся къ другимъ сторонамъ императорской политики, болѣе безобиднымъ съ точки зрѣнія политической нравственности, на которыя тоже свинцовыя тессеры проливаютъ новый свѣтъ. Дѣло идетъ, выражаясь по современному, объ учрежденіи пажескаго корпуса.

Италія была безповоротно аристократической страной. Не даромъ институтъ кліентелы получилъ здѣсь наибольшее рас-

пространеніе и вылился въ самыя характерныя, самыя отчетливыя формы: немногіе сравнительно роды держали въ своихъ рукахъ и муниципальную землю, и населеніе, преуспѣяніе котораго тысячею нитей было соединено съ преуспѣяніемъ его синьоровъ. И таковой Италія, какъ извѣстно, осталась и въ средніе вѣка, и въ новыя времена почти до нашихъ дней, когда обѣдѣніе синьории силою наталкиваетъ націю на новыя пути.

Намъ не совсѣмъ понятно то обаяніе, та святость, можно сказать, которой древнее имя окружало своего носителя въ глазахъ римлянъ и италійцевъ вообще. „Я, все же, почтеннѣ моего коллеги-отпущенника“; говорить одна личность у Горация. „Ну и что же?“ насмѣшливо ему отвѣчаетъ *народъ*, „ужъ не вообразилъ ли ты, чего добраго, что сталъ Павломъ или Мессалой?“. Немного спустя друзья порядка попрекали мятежные легіоны именами ихъ главарей. „Что это? какіе-нибудь Перценніи или Вибулены будутъ править Римомъ вмѣсто Нероновъ и Друзовъ?“ Да, Эмилии Павлы, Валеріи Мессалы, Клавдіи Нероны, Ливіи Друзы — изъ этихъ именъ состоитъ вѣнецъ славы римскаго народа; чтобы удержать его въ своихъ рукахъ, нужно было завладѣть ихъ носителями.

И вотъ для этой цѣли учреждается корпоративная организація римской знатной молодежи. Каждый сенаторскій сынъ поступаетъ въ эту корпорацію, во главѣ которой стоитъ самъ предполагаемый престолонаслѣдникъ, какъ „начальникъ молодежи“ *princeps juventutis*... Не такъ давно этотъ титулъ былъ присвоенъ знаменитому Бруту до его сенаторства, но теперь времена уже не тѣ, и ужъ, конечно, не Брутовъ должна была воспитывать организація, имѣющая престолонаслѣдника своимъ главой. Воспитательнымъ средствомъ должны были служить всякаго рода физическія упражненія, дѣлающія человека крѣпкимъ и выносливымъ; это — школа для будущихъ побѣдителей страшнаго врага на евфратской границѣ, парянъ. А пока наши юнцы рѣзвятся на Марсовомъ полѣ и въ опредѣленные дни приглашаютъ весь Римъ любоваться на свою ловкость, исполняя передъ приглашенными свойственную ихъ возрасту игру. Такъ нѣкогда и сынъ основателя императорскаго рода, Іуль, во главѣ троянской молодежи исполнялъ передъ своимъ

родителемъ игру, описанную Виргиліємъ въ V книгѣ Энеиды; оттого-то—говоритъ услужливая легенда—эти игры и понынѣ носятъ имя троянскихъ. Напрасно Горацій, сынъ земли и питомецъ греческой философіи, предостерегалъ своего государя противъ возстановленія древней Трои: она возстановлялась сама собою, императорская Италія готовилась стать такой же аристократической, какой была и республиканская; нужно было только превратить нобилитетъ въ дворянство. Такъ-то монархическая идея заключаетъ союзъ съ древнѣйшей сакральной легендой Рима: молодая гвардія императора группируется вокругъ троянскихъ святынь.

Это, положимъ, было намъ извѣстно и помимо тессеръ: эти послѣднія лишь иллюстрируютъ сказанное, да дополняютъ нѣкоторыя подробности организаціи. Такъ мы изъ нихъ узнаемъ, что отдѣльные отряды юношества стояли подъ начальствомъ особыхъ магистровъ, коихъ онѣ намъ называютъ нѣсколько; но главное, что на игры «юношей» народъ приглашался съ помощью тѣхъ же марокъ. Что же касается иллюстрацій... какъ-ни-какъ, а интересно на тессерѣ, вокругъ увѣнчанной головы Нерона, прочесть надпись: „непобѣдимаго Нерона“ (Neronis invicti) съ именами магистровъ на оборотѣ. Непобѣдимымъ былъ онъ, увы, не на войнѣ, которой онъ никогда не видалъ, а въ тѣхъ же играхъ, на которыхъ онъ командовалъ своей молодой ратью, какъ *princeps juventutis*, причеъ побѣждать его, понятно, нельзя было. Страстное увлеченіе этими состязаніями легко объясняется тѣмъ, что Неронъ еще въ возрастѣ исполнителя «троянскихъ игръ» сталъ римскимъ императоромъ; твореніе Августа было по злой ироніи судьбы жестоко извращено этимъ его праправнукомъ, послѣднимъ потомкомъ Іула на римскомъ престолѣ.

Но вотъ мы всецѣло поручаемъ себя тессерамъ, и онѣ уводятъ насъ за предѣлы города Рима, въ Ланувій, Тускулъ, Тибуръ и другіе муниципіи ближней и дальней Италіи. Интересны надписи, еще интереснѣе порой изображенія. Вотъ, для примѣра, ланувинскія тессеры: на лицевой сторонѣ голова грозной „Юноны ланувинской“, вокругъ приписъ: „ланувинскіе товарищи“, а на оборотѣ — взвизгивающійся змѣй, рядомъ съ нимъ кормящая его дѣвушка. Смыслъ изображенія не сразу

понятенъ; его поясняетъ свидѣтельство писателя 3 вѣка, Эліана. „Въ роцѣ ланувинской Юоны есть широкая и глубокая пещера; это—логовище змѣя. Туда въ опредѣленные дни отправляются священныя дѣвы, неся въ рукахъ хлѣбъ, съ завязанными глазами; ведетъ же ихъ прямымъ путемъ къ логовищу змѣя божій духъ, и онѣ шествуютъ не спотыкаясь, шагъ за шагомъ и спокойно, точно видя, куда онѣ идутъ. И если онѣ—дѣвственницы, то змѣй принимаетъ отъ нихъ пищу, какъ чистую и подобающую звѣрю-любимцу боговъ; если же нѣтъ, то онъ, зная своимъ вѣщимъ духомъ объ ихъ паденіи, оставляетъ приношеніе нетронутымъ, и муравьи, раскрошивъ предварительно для своего удобства хлѣбъ совращенной, выносятъ его изъ рощи, очищая святое мѣсто. По этой примѣтѣ жители узнаютъ о случившемся, дѣвушки допрашиваются, и та, что опозорила свою дѣвственность, подвергается установленной карѣ (Hist. anim. XI 16).

Слѣдуетъ прибавить, что этихъ муравьевъ ланувинскій змѣй завелъ лишь сравнительно поздно, какъ своихъ помощниковъ въ дѣлѣ нравственнаго оздоровленія своего муниципія: первоначально онъ со своей задачей справлялся самъ. Какъ—на это мы имѣемъ намекъ въ зловѣще краткихъ стихахъ Проперція, записавшаго ланувинскую легенду двумя столѣтіями раньше Эліана (IV 8, 3 сл.).

Издравле змѣй долговѣчный святой охраняетъ Ланувій;

Будетъ доволенъ судьбой, кто этотъ край навѣститъ.

Тамъ въ безпросвѣтномъ ущельи глубокая пропасть зияетъ;

Дѣва нисходитъ туда (охъ, ненадеженъ ей путь!)

Въ день, когда змѣй многотимый годичнаго ждетъ приношенія

И коношится, крутятся съ шипомъ годовымъ на днѣ.

Страшно дѣвицѣ въ пещеру къ такому обряду спускаться,

Страшно ей, нѣжную длань пасти змѣиной ввѣрять...

Вотъ онъ взвился, вотъ изъ рукъ принесенную выхватилъ нищу...

Коробъ трясется, дрожитъ въ бѣдной дѣвичьей рукѣ...

Та, что себя соблюла, возвратится къ своимъ невредимой;

„Быть урожаю!“ кричитъ вслѣдъ ей, ликуя, народъ.

Таково ланувинское чудо; какое отношеніе, однако, имѣютъ къ нему „ланувинскіе товарищи“, о которыхъ говоритъ припись тессеры? Отвѣтъ одинъ: сакральнымъ центромъ союза былъ древній культъ ланувинской Юоны. А принимая во вни-

маніе другіе моменты, которые у нашего автора тщательно перечислены и взвѣшены—мы ихъ повторять не будемъ—мы приходимъ къ убѣжденію, что этими «ланувинскими товарищами» были именно юноши, праздновавшіе ежегодныя игры (Juvenalia) въ честь и своей богини и императора, и что они набирались изъ лучшихъ семей муниципія; то же самое приходится допустить и о другихъ муниципальных и провинціальныхъ городахъ. Повсюду знатная молодежь корпоративно организуется; организація преслѣдуетъ троякую цѣль: воспитательную, религіозную, политическую. Воспитательная состоитъ въ томъ, чтобы развить въ молодежи физическую силу и нравственную выдержку, религіозная—въ томъ, чтобы воскресить интересъ къ роднымъ культамъ; политическая—въ томъ, чтобы вездѣ насадить питомники будущихъ слугъ императора, проникнутыхъ вѣрноподданическимъ духомъ. Образцомъ служили, какъ видно, столичные пажи; какъ они, чтобы придать себѣ обаяніе религіознаго института, воскресили старинныя троянскія преданія, связанныя съ легендой объ основаніи Рима; такъ точно и ихъ муниципальные собратья группировались вокругъ старинныхъ муниципальных культовъ. Цѣль была достигнута: италійская аристократія, смолоду воспитанная въ монархическихъ чувствахъ, сохранила ихъ навсегда.

Нельзя не преклониться передъ умомъ императора, создавшего эту столь развѣтвленную, столь дѣйствительную организацію; и было бы очень интересно узнать, какими средствами онъ воспользовался для ея осуществленія. Онъ былъ, быть можетъ, не первымъ, и ужъ во всякомъ случаѣ не послѣднимъ, задумавшимъ создать, путемъ воспитанія, „новую породу людей“; но во всякомъ случаѣ—едва ли не единственнымъ, которому эта смѣлая мысль удалась.

Вспоминая о новыхъ и новѣйшихъ неудачахъ этой мысли, мы съ тѣмъ большимъ недоумѣніемъ возвращаемся къ дѣлу Августа: передъ нами—чудо, гораздо чуднѣе того ланувинскаго. Какъ сохранилъ онъ свою молодежь невредимой отъ древняго змѣя республиканской крамолы? Какъ приворожилъ онъ на ниву монархизма тотъ пышный урожай, о которомъ свидѣлствуютъ послѣдующія столѣтія?—Къ сожалѣнію, наши тессеры даютъ намъ только доказательства вѣшнихъ успѣховъ

идеи; объ интимныхъ причинахъ этихъ успѣховъ свидѣтельствъ у насъ нѣтъ... если не считать презрительнаго намека не-исправимаго республиканца Тацита, его знаменитаго укора: *et Romae uere in seruitium consules, patres, eques*. Видно, Италія пошла за Римомъ, имперія за Италіей; видно, главѣ государства пришлось не столько вызывать волну, сколько направлять ее въ заранѣе уготованное русло... что онъ и исполнилъ съ тѣмъ яснымъ умомъ и трезвою расчетливостью, которая была ему всегда свойственна.

Много интереснаго даютъ намъ наши тессеры также и по этой части; но вотъ, перебирая ихъ одну за другой, мы на-талкиваемся на очень оригинальный типъ. Происходилъ онъ изъ Тускула, т.-е. изъ римскаго Версаля или Царскаго Села; его надпись гласитъ: *sodales Tusculanae*—т.-е., какъ поясняетъ авторъ: *Tusculanae*; прошу обратить вниманіе на окончаніе— „около головы юноши, по всей вѣроятности, императора или члена императорскаго дома I в., на оборотѣ орелъ въ вѣнкѣ“ (стр. 134). Эмблемы, такимъ образомъ, самыя монархическія; тѣмъ болѣе насъ озадачиваетъ припись. Откуда взялись эти тускуланскія пажихи? Съ перваго взгляда хотѣлось бы допустить ошибку въ толкованіи надписи; но, быть можетъ, авторъ правъ, настаивая на своемъ. Дѣйствительно, Гораций свои пѣсни объ обновленномъ Римѣ—тѣ же, въ которыхъ онъ привѣтствуетъ организацію молодежи, протестуя, однако, противъ ея аристократическаго характера—посвящаетъ и отрокамъ, и дѣвамъ: *virginibus puerisque canto*; дѣйствительно, политика дельфійскаго Аполлона, выдвинутаго Августомъ, состояла, между прочимъ, въ организаціи молодежи обоего пола въ отдѣльные «сіасы», какъ по-гречески назывались эти кружки... Да, это возможно; къ сожалѣнію, для болѣе прочныхъ комбинацій у насъ матеріала не хватаетъ. Что дѣлать, будемъ ждать дальнѣйшихъ открытій.

V.

Передъ нами прошли три интересныхъ и важныхъ картины изъ жизни императорскаго Рима; фрументациі—императорскія игры—организація молодежи. Объединялись эти кар-

тины прежде всего—и для насъ это единство имѣло рѣшающее значеніе, находясь въ ближайшемъ отношеніи къ нашей темѣ—однимъ внѣшнимъ признакомъ: тѣмъ, что онѣ подали поводъ всѣ три къ выпуску свинцовыхъ тессеръ, которыя были въ первомъ случаѣ контрольными марками, регулировавшими раздачу дарового хлѣба, во второмъ и въ третьемъ—входными билетами на императорскіе или „юношескіе“ спектакли. Но кромѣ этого внѣшняго критерія, о важности котораго никто въ тѣ времена не думалъ, указанные три института объединялись также и общей идеей: всѣ три были въ рукахъ императоровъ средствомъ воспитанія Рима и римскаго гражданства въ монархическомъ духѣ. Отсюда и официальный характеръ относящихся сюда тессеръ: голова императора или вообще высочайшихъ особъ украшаетъ, хотя бы на первыя времена, ихъ лицевыя стороны—на первыя времена, т.-е. до тѣхъ поръ, пока воспитаніе въ монархическомъ духѣ не могло считаться законченнымъ. А закончено оно было именно при Флавіяхъ, къ концу I вѣка: дѣйствительно, послѣднимъ проблескомъ республиканскихъ идей была междоусобная война послѣ смерти Нерона, насколько она была связана съ личностью Вергинія Руфа; съ нимъ и она была похоронена навсегда.

Но официальные и полуофициальные тессеры составляютъ только меньшую часть среди всѣхъ сохранившихся; значительное большинство ихъ заводятъ насъ въ другія области, открываютъ передъ нами другія картины. Изъ массы этихъ „частныхъ тессеръ“, какъ ихъ называетъ авторъ, первое мѣсто принадлежитъ тѣмъ, которыя связаны съ дѣятельностью такъ назыв. *коллеій*.

Коллегія—это преинтересная единица древне-римской общественной жизни, зародышъ средневѣковаго корпораціоннаго строя—не то братство, не то артель, не то клубъ. Съ братствомъ ее сближало то, что ея идейнымъ центромъ былъ обыкновенно, а можетъ быть и всегда, культъ какого-нибудь божества, и ея члены гарантировали другъ другу приличное погребеніе; съ артелью или, правильнѣе, цехомъ—то, что сплошь и рядомъ членами были люди, занимавшіеся однимъ и тѣмъ же ремесломъ, по которому они и давали себѣ имя; съ клубомъ, наконецъ то, что очень часто первый и второй смыслъ ея

существованія ступевывался передъ третьимъ—вмѣстѣ попировать и повеселиться. Въ сущности, тѣ корпораціи юношей, о которыхъ рѣчь была въ предыдущей главѣ, были тоже своего рода коллегіями; но то были коллегіи аристократическія, состоявшія подъ особымъ покровительствомъ самого императора; здѣсь же мы имѣемъ дѣло чаще всего съ пролетаріатомъ, съ отпущенниками и даже рабами. Характерное для италійской жизни меценатство давало себя знать и здѣсь: кто поважнѣе да потароватѣе, тѣхъ охотно избирали въ „магистры“ коллегіи; если же благодѣтель не считалъ это магистерство достаточнымъ удовлетвореніемъ своего честолюбія, а по своей щедрости такового заслуживалъ, то его провозглашали «отцомъ» или, если это была женщина, «матерью» коллегіи. А случаевъ проявить свою щедрость было не мало. Благодѣтель могъ, напр., построить или подарить коллегіи зданіе для ея собраній: тогда коллегія опредѣляла поставить въ этомъ зданіи на видномъ мѣстѣ его статую, и польщенный благодѣтель бралъ расходы на эту статую на свой счетъ—*honore contentus impensam remisit*, какъ значится въ соотвѣтственныхъ надписяхъ. Или онъ, умирая, оставлялъ коллегіи сумму денегъ на торжественное обхожденіе его годовщинъ и другихъ заупокойныхъ пирушекъ: и ему почетно, и коллегіаламъ пріятно. А впрочемъ, къ чему было ждать непременно смерти? Коллегіалы рады были и живыхъ чествовать, только бы не на свой счетъ. Такъ-то коллегія стала одной изъ формъ, въ которую вылилась исконно-италійская кліентела; она прекрасно иллюстрируетъ сказанное выше о естественномъ аристократизмѣ италійскаго общественнаго строя.

Къ этой-то коллегіальной жизни нашъ авторъ справедливо относитъ значительное число изданныхъ имъ тессеръ. Для нѣкоторыхъ это отношеніе засвидѣтельствовано надписями, но это—ничтожное меньшинство: тѣ маленькіе люди, о которыхъ идетъ рѣчь, предпочитали абстрактнымъ письменамъ конкретный символъ. Коллегіи чисто сакральнаго характера могли пользоваться, какъ символомъ, изображеніемъ своего божества. Но памъ отъ этого не легче: мало ли какое значеніе можетъ имѣть на тессерахъ изображеніе Меркурія или Фортуны! Другое дѣло—ремесленные коллегіи: эмблема ремесла прозрачна

и удобопонятна. А такихъ эмблемъ много. Вотъ тессеры съ фигурой человѣка, несущаго на спинѣ полный кулъ: это—эмблема коллегіи носильщиковъ, *bajuli et catabolenses*. Они играли важную роль при выгрузкѣ кораблей съ зерномъ, слѣдовавшихъ вверхъ по Тибру въ Римъ, и благодарный Тибръ сохранилъ намъ много ихъ тессеръ. Вотъ пастухъ, окруженный своимъ стадомъ—какимъ, объ этомъ при зоологической туманности изображенія лучше не спрашивать; это—тессеры римскихъ мясниковъ. Вотъ—рыба, а на оборотѣ якорь; ясно, что передъ нами тессера рыбацкой артели. Такъ, затѣмъ, молотъ и щипцы характеризуютъ кузнецовъ, лѣстница—плотниковъ, стулъ—столяровъ, гребень и зеркало—цирюльниковъ или людей родственныхъ профессій и т. д. Положительно, пріятно бываетъ перебирать эти тессеры. Намъ такъ много говорятъ о праздной лѣни, въ которой жители столицы міра проводили свой вѣкъ, объ ихъ пренебреженіи къ работѣ и т. д.; а тутъ мы не только видимъ свидѣтельства кипучей трудовой жизни императорскаго Рима—мы видимъ также уваженіе къ этому труду, символы котораго красуются въ качествѣ гербовъ коллегіи на ихъ тессерахъ.

На ихъ тессерахъ, да; но на что имъ были эти тессеры? Какую роль играли онѣ въ ихъ жизни?

Послѣ сказаннаго выше отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: аналогія оффиціальныхъ тессеръ напрашивается сама собою. Тѣ служили для регулировки императорскихъ и другихъ щедротъ; такія же щедроты встрѣчаются и въ коллегіальной жизни—все равно, исходили ли онѣ отъ самой коллегіи, или отъ ея магистровъ, или отъ ея „отца“ или „матери“. Нами сохранена любопытная надпись—правда, не столичная, а муниципальная, но предполагающая обстановку, которая и въ столицѣ не могла быть иной; гласитъ она такъ: „Меланѣъ, рабъ Публия Деція, и его коллеги-магистры возвели вновь трибуналъ Геракла, перестроили театръ со сценой и освятили его двухдневными сценическими играми за собственный счетъ“. А впрочемъ, чтобы не было сомнѣнія, писатель эпохи первыхъ императоровъ Асконій намъ ясно свидѣтельствуется, что „магистры коллегій нерѣдко давали игры“. Коллегія, магистромъ которой былъ рабъ, безъ сомнѣнія, и

сама состояла въ значительной степени изъ рабовъ: ея особое благоговѣніе передъ Геракломъ понятно—этотъ человѣкъ-богъ и самъ при жизни былъ человѣкомъ подневольнымъ, будучи посылаемъ на подвиги своимъ повелителемъ Еврисеемъ, а одно время и взаправду служилъ рабомъ у лидіянки Омфалы. И вотъ нашъ разбогатѣвшій рабъ (таковыхъ было не мало), польщенный въ своемъ честолюбіи избраніемъ въ магистры коллегіи „почитателей Геракла“ своего муниципія, жертвуетъ сумму на перестройку нѣкоторыхъ частей коллегіальнаго зданія и, сверхъ этого, справляетъ въ ознаменованіе своихъ щедротъ „двухдневныя сценическія игры“, т.-е. приглашаетъ пріѣзжую труппу поставить нѣсколько разсчитанныхъ на вкусъ невзыскательной публики фарсовъ въ родѣ тѣхъ, которые у нынѣшнихъ итальянцевъ называются пультинеллатами. Входъ для членовъ коллегіи былъ, разумѣется, даровой—а такихъ въ людныхъ коллегіяхъ могло быть по нѣскольку тысячъ; и вотъ, чтобы не затеря какой-нибудь посторонній человѣкъ, имъ раздавались заблаговременно входные билеты, т.-е. именно наши тессеры, съ изображеніемъ коллегіальныхъ эмблемъ: статуи Геракла, если игры устраивала коллегія его „почитателей“, или какихъ-нибудь другихъ.

Но это не все, и даже, повидимому, не главное. Главное—это раздачи и угощенія, регулярныя и иррегулярныя, о которыхъ мы освѣдомлены очень хорошо благодаря сохранившимся коллегіальнымъ уставамъ—уставу коллегіи „почитателей Эскулапа и Гигіен“ и др. Такія раздачи происходили въ день рожденія императора, но также и въ день рожденія (т.-е. годовщину учрежденія) коллегіи; затѣмъ—въ Новый Годъ и въ поминальные дни. Средства на эти раздачи выдаются иногда изъ процентовъ на тѣ капиталы, которые имѣются у коллегіи; такъ одна интересная надпись постановляетъ „...чтобы изъ доходовъ съ вышеозначенныхъ имѣній происходили жертвоприношенія въ день Новаго Года, 12 февр. въ день рожденія императрицы Домиціи, 18 іюня въ храмовой праздникъ Сильвана, 21 іюля въ день розы (заупокойный праздникъ) и 25 октября въ день рожденія императора Домиціана, и чтобы въ эти дни члены коллегіи сходились для совмѣстной пирушки“. Теперь понятны приписи коллегіальныхъ тессеръ въ родѣ

„да здравствует императрица Сабина“ (*Sabinae Augustae feliciter*) и т. под.; но понятны также и тѣ тессеры, которыя упоминають окраинныя мѣстности Рима, въ родѣ „у храма Марса“, „у орѣха“ и т. д. Вышеупомянутая коллегія почитателей Эскулапа и Гигіеи устраиваетъ свои угощенія въ своемъ „коллегіальномъ зданіи у храма Марса“ — очевидно, руководясь тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь, внѣ таможенной черты, продукты были дешевле. „И теперь“, продолжаетъ авторъ (стр. 163), „Римъ въ этомъ отношеніи остался все тѣмъ же. Въ воскресный день при хорошей погодѣ въ многочисленныхъ загородныхъ тракторіяхъ *fuori porta*, гдѣ воздухъ чистъ и благодаря отсутствію *dazio consumo* вино дешево, непременно пируютъ *de suo* члены какой-нибудь ремесленной ассоціаціи или кружка. Вся картина интимной жизни римскихъ коллегій становится ясной и рельефной для каждаго, кто хоть разъ побывалъ на одномъ изъ такихъ *banchetti*.

А теперь оглянемся назадъ: какую цѣль имѣли наши коллегіальныя тессеры? Да все ту же: *panem et circenses*. Оно и неудивительно. Императорскія щедроты касались только бѣдныхъ римскихъ гражданъ: они были „вписаны на казенный хлѣбъ“, какъ гласила официальная формула, имъ же выдавались даровыя марки на посѣщеніе театровъ. Но эта бѣдность все же въ силу своего гражданства составляла аристократію въ населеніи не только римской имперіи, но и города Рима: гордое *civis Romanus sum* не потеряло своего значенія даже и въ эпоху императоровъ. Ниже этой бѣдности было настоящее дно римскаго общества, глубокое и мрачное, недоступное для лучей императорской милости: здѣсь жили, работали, страдали и умирали бѣдные „пегрегрини“ и бѣдные рабы. Оно не входитъ въ государственную организацію: но зато для него есть организація общественная, единицей которой была, согласно сказанному, коллегія. И вотъ коллегія, будучи по своему устройству сколкомъ съ государства, подражаетъ ему также и въ его каритативномъ началѣ: вводятся, по аналогіи государственныхъ, и коллегіальныя щедроты, раздачи хлѣба, вина, денегъ, игры. А въ качествѣ вещественныхъ свидѣтельствъ этой коллегіальной благотворительности, дополнявшей государственную, намъ остались опять-таки наши скромные памят-

ники, свинцовыя тессеры, съ ихъ коллегіальными эмблемами и не всегда вразумительными приписями.

А впрочемъ, насмѣшливое слово римскаго сатирика мелькнуло передъ нами въ послѣдній разъ; тѣ картины, которыми мы займемся на слѣдующихъ страницахъ, введутъ насъ уже въ настоящую трудовую жизнь римскаго населенія. А потому, прощаясь съ *panem et circenses*, нелишнимъ будетъ и здѣсь сослаться на очень удачную аналогію, приведенную авторомъ на стр. 169 изъ новыхъ временъ для тессеръ римскихъ коллегій. Это—бронзовыя и свинцовыя марки, *megeaux* и *jetoins* Парижа и *penningen* голландскихъ городовъ, идущія съ XV в. и до XVIII и регулировавшія внутреннюю жизнь городскихъ корпорацій. И здѣсь мы имѣемъ эмблемы ремесла, или же изображеніе того святого, который въ корпораціи пользовался особымъ почтеніемъ—полнѣйшая аналогія къ „почитателямъ Геракла“ или „почитателямъ Эскулапа и Гигіеи“. И здѣсь свинцовыя марки были перѣдко средствомъ контроля; „изъ серіи послѣднихъ“, говоритъ авторъ, „особенно любопытна серія пригласительныхъ билетовъ (1599 въ Утрехтѣ) на *vinum honorigium*, украшенная изображеніемъ виноградной кисти“. Такъ то по необходимости участіе однихъ и тѣхъ же элементовъ производить время отъ времени однѣ и тѣ же фигуры въ пестромъ калейдоскопѣ общественной жизни.

VI.

Изъ предыдущаго выяснилось, что тессера по своему значенію и своей роли въ римскомъ бытѣ скорѣе всего можетъ быть сопоставлена съ нашимъ билетомъ. Что такое билетъ? Суррогатъ денегъ, точно такъ же какъ деньги—суррогатъ мѣнового товара въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. При переходѣ отъ мѣновой торговли къ денежной деньги играютъ первоначально лишь роль посредствующаго элемента, необходимость котораго вызвана тѣмъ, что обмѣнъ происходитъ уже не между двумя лицами, а между тремя или большимъ числомъ. Пока каждая изъ торгующихъ сторонъ была продавцемъ и покупателемъ въ одномъ и томъ же лицѣ, деньги

были ненужны: если А, имѣвшій лишняго барана, нуждался въ хлѣбѣ, а В, изобиловавшій хлѣбомъ, желалъ приобрѣсть барана, то обмѣнъ между ними совершался непосредственно. Но если у В хлѣба не было, а былъ таковой у С, который въ баранѣ не нуждался, то былъ необходимъ какой-нибудь посредствующій знакъ, символъ извѣстной платежной силы, соотвѣтствующей цѣнности барана, который, переходя отъ В къ А при продажѣ послѣдняго первому барана, могъ въ свою очередь дать А возможность приобрѣсть отъ С соотвѣтственное количество хлѣба. Этимъ символомъ и стали деньги. А при развитіи денежной торговли деньги стали и сами товаромъ: вмѣсто первоначальной символической цѣнности онѣ получили цѣнность абсолютную. Пусть дѣтямъ значеніе рубля выясняется уравненіемъ, согласно которому онъ соотвѣтствуетъ двадцати французскимъ булкамъ — для взрослага человѣка рубль есть рубль, вызывающій въ немъ совершенно опредѣленную интенсивность чувства независимо отъ всякихъ булокъ или другихъ побочныхъ представленій.

А разъ деньги стали товаромъ, то и всякій торгъ на деньги сталъ мѣной; и въ тѣхъ случаяхъ, когда одна изъ торгующихъ сторонъ, В, раздваивается на В—получающую деньги, и С—выдающую товаръ, сталъ необходимымъ посредствующій знакъ, символъ, имѣющій опредѣленную, условную цѣнность для сношеній между В и С, но не далѣе: вотъ этимъ-то символомъ и сталъ билетъ, или, по-римски, тессера. Въ театрѣ товаромъ является мѣсто, съ котораго можно смотрѣть представленіе; выдаетъ это мѣсто капельдинеръ, или, по-римски, диссигнаторъ. Если это въ то же время и владѣлецъ театра, и уплата денегъ не сопряжена ни съ какой потерей времени, то ни въ какихъ тессерахъ надобности нѣтъ. При менѣе патриархальной обстановкѣ, однако, желаніе избѣгнуть проводочки, обычной при уплатѣ денегъ, а также и недовѣріе къ честности диссигнатора должны были повести къ раздвоенію этой послѣдней личности на личность кассира, принимающаго деньги, и диссигнатора, назначающаго мѣсто; а результатомъ этого раздвоенія явилась необходимость учредить символическій знакъ, цѣнный только для сношеній между кассиромъ и диссигнаторомъ. Этимъ знакомъ и была древняя тессера; она

была, такимъ образомъ, суррогатомъ монеты, цѣннымъ исключительно въ предѣлахъ того предпріятія, для котораго она была выпущена.

А разъ это такъ, то встрѣчаемость тессеры въ промышленно-торговыхъ предпріятіяхъ можетъ быть опредѣлена чисто апріорнымъ путемъ: мы можемъ предполагать ее вездѣ тамъ, гдѣ полученіе денегъ и выдача товара не совмѣщены въ одномъ и томъ же лицѣ. Сюда относятся, согласно замѣченному только что, театры и т. п.; мы говорили о нихъ выше съ точки зрѣнія благотворительности, но несомнѣнно, что были и платныя билеты-тессеры, которые, однако, по внѣшнему виду не отличались отъ даровыхъ. А затѣмъ, вторую крупную категорію должны были составить, какъ и у насъ, пассажирскіе билеты, и притомъ двухъ родовъ, для сухонутныхъ и водныхъ сообщеній. Тессеры первого рода несомнѣнно существовали, и очень вѣроятно, что извѣстное ихъ число сохраниено и намъ, но какъ ихъ отличить отъ тессеръ состязаній въ циркѣ—сказать трудно. У нашего автора подъ рубрикой *circus* собрана масса тессеръ съ изображеніемъ лошади; конечно, если на оборотѣ изображена пальма, символъ побѣды, то никто не станетъ спорить, что передъ нами тессера цирковая. Но если, какъ въ № 771 и сл., оборотъ представляетъ фигуру Меркурія съ его характернымъ жезломъ и кошелькомъ, то, пожалуй, болѣе вѣроятнымъ явится предположеніе, что тессера была посвящена торгово-промышленному предпріятію, т.-е. провозу пассажировъ по большимъ дорогамъ, ведущимъ отъ Рима во всѣ четыре стороны. То же самое касается и тессеръ, дающихъ на лицевой сторонѣ лошадь, а на оборотѣ какое-нибудь имя собственное—*Clemens* или *Rusticus*. Кто эти Клименты и Рустики? Быть можетъ, возницы въ циркѣ, быть можетъ—лошади, но можетъ быть и хозяева предпріятій, о которыхъ идетъ рѣчь. Подъ №№ 821 и 828 авторъ описываетъ тессеры, представляющія на лицевой сторонѣ изображеніе лошади, на оборотѣ—имена собственные *Helpis* (=надежда) и *Turanis*. Что это за имена? По автору, имена собственные лошадей, что вполне правдоподобно—первое могло символизировать надежду на побѣду, которую собственникъ возлагалъ на свою кобылку, второе—«тираническій» нравъ этой послѣдней. Но вотъ, идя

дальше, мы на тессерѣ № 1138, не дающей никакого изображенія, находимъ имя *Asinia Tyranis*, на №№ 1424 и 1425 дважды имя *Helpis* съ изображеніемъ Меркурія или Фортуны — не правильнѣ ли будетъ допустить, что передъ нами — хозяйки такихъ же почтово-извозныхъ предпріятій? Какъ бы то ни было, несомнѣнныхъ признаковъ пока не обнаружено.

Другое дѣло — тессеры водныхъ сообщеній; тутъ у насъ подъ ногами, благодаря счастливой находкѣ и остроумному толкованію автора, вполне твердая почва. Я уже выше, въ самомъ началѣ статьи, говорилъ о тѣхъ мелкихъ, но пріятныхъ и бодрящихъ успѣхахъ, которые достаются на долю изслѣдователя при работѣ надъ такимъ матеріаломъ, какъ нашъ: быть можетъ, читателю будетъ интересно, благо представился удобный случай, послѣдовать за нами въ лабораторію изслѣдователя и пережить съ нимъ вмѣстѣ одну изъ такихъ пріятныхъ минутъ. Уже раньше были извѣстны тессеры, имѣющія на лицевой сторонѣ изображеніе барки, а на оборотѣ буквы *C A*; къ нимъ примыкали другія, дающія только барку или родственное гребное или парусное судно и нѣсколько буквъ, представлявшихъ, вѣроятно, сокращеніе имени собственнаго. Ихъ знали, но дѣлать съ ними было нечего, пока матеріалъ не былъ собранъ г. Ростовцевымъ: да и послѣ его трудовъ мы, вѣроятно, приурочили бы ихъ либо къ коллегіи грузовщиковъ или лодочниковъ, либо къ «навмахіямъ» въ амфитеатрѣ. Но вотъ автору достается тессера, неизвѣстная прежнимъ изслѣдователямъ, съ изображеніемъ опять-таки барки, но уже съ болѣе полною приписью вмѣсто загадочныхъ *C A*, а именно: *CYD AES*. Теперь рѣшеніе загадки было найдено: съ буквъ суд... начинается только одно латинское слово (вѣрнѣе: греко-латинское), а именно: *cydagus* — «лодка, барка». Итакъ, получается припись: «плата за лодку». Этимъ назначеніе этой тессеры, а стало быть и однородныхъ, было сразу опредѣлено. За иллюстраціей дѣло не стало: автору припомнилось мѣсто изъ юмористическаго описанія путешествія въ Брундизій у Горация (*Sat. I 5* пер. Фета: рѣчь идетъ о галерѣ, перевозившей пассажировъ по каналу черезъ помптинскія болота, причемъ гребцамъ помогаль мулъ, тащившій галеру съ берега).

Тутъ наши слуги съ гребцами, гребцы со слугами вступили въ споры.—„Причаливай тутъ!“—„Ты триста готовъ напихать ихъ!“
 „Стой, довольно!“ Пока разошлись, да мула прилѣпили,
 Цѣлый часъ прошелъ.

„Пока разошлись“ —точнѣе: „пока была собрана плата“, *dum aes exigitur*. Замѣтите, «плата» называется *aes*, точно такъ же, какъ и на тессерѣ. Плату требуютъ еще до плаванія — стало-быть, требуетъ ее кассиръ, а не кондукторъ; а если такъ, то вѣроятно, что пассажиры получали отъ него тессеру, въ родѣ нашей съ надписью *sydagi aes*.

Итакъ, билеты театральные, билеты пассажирскіе — вотъ уже двѣ категоріи. Можно прибавить и третью: билеты для входа въ бани, безъ которыхъ и у насъ не обходятся этого рода заведенія. У насъ бумажки или бляхи, у римлянъ свинцовыя тессеры, часто съ надписями, не оставляющими никакого сомнѣнія относительно ихъ назначенія: *Balineum Germani* («бани Германа»), *balineum novum* и т. д. Ну, а затѣмъ, разумѣется, эмблемы: Меркурій на своемъ баранѣ, съ жезломъ и мошной — на то это «торговыя бани». Труднѣе сказать, на что владѣльцу Субуранскихъ бань понадобилась Викторія, которая къ банному промыслу, повидимому, никакого касательства не имѣетъ; но это уже дѣло личнаго вкуса или благочестія хозяина. Символомъ же Викторіи была пальма, которая тоже появляется на несомнѣнно банныхъ тессерахъ... настаиваемъ на этомъ символическомъ значеніи, чтобы читатель не подумалъ, что эта пальма соотвѣтствуетъ нашему вѣрнику. Естественнѣе было привлечь Нептуна, стихіей котораго жили бани; и его мы встрѣчаемъ на двухъ тессерахъ съ его трезубцемъ и дельфиномъ. Очень соблазнительнымъ было тоже изображеніе раздѣтаго мужчины, прыгающаго въ воду: это значило, что въ баняхъ имѣлась такъ назыв. писцина, т.-е. бассейнъ для плаванья.—И такъ далѣе; страсть античнаго человѣка къ конкретнымъ представленіямъ, къ наглядности и символизму сказалась и здѣсь; — благодаря ей даже коллекція банныхъ тессеръ представляетъ интересъ для коллекціонера и изслѣдователя. Представьте себѣ для сравненія соотвѣтствующую коллекцію нашихъ банныхъ бляхъ — и вы оцѣните это свойство античнаго человѣка.

Такова третья категория; сказать ли и о четвертой, тоже несомненно установленной автором? Она относится къ такимъ домамъ, о которыхъ принято говорить подъ дымкой; но разъ эти заведенія пользовались тессерами, и ихъ тессеры намъ сохранились, обойти ихъ молчаніемъ нельзя. Отсутствіемъ откровенности эти тессеры не грѣшатъ: символы то соблазнительно грубые, то просто грубые, приписи въ родѣ amor, amica отвѣчаютъ со всей желательной ясностью на вопросъ объ ихъ назначеніи. Но вотъ изображеніе, приковывающее наше вниманіе: на оборотѣ тессеры, дающей на лицевой сторонѣ слово amor, совершенно явственно изображена рука, держащая большимъ и указательнымъ пальцами человѣческое ухо. Что бы это могло значить? Былъ у римлянъ символическій обычай: призывая человѣка въ свидѣтели видѣннаго и услышаннаго (antestari), его брали за ухо; это значило «помни!». А теперь позволительно будетъ сослаться на конецъ прекраснаго юношескаго стихотвореньица Virgilія «Трактирщица» (сора), посвященнаго—къ слову сказать—особѣ, которой уже не далеко до нашихъ тессеръ:

Кубокъ и кости сюда—и да прокляты будутъ заботы!

За ухо щиплетъ насъ смерть, молви: «живи! я иду».

Лучъ красоты попалъ въ лужу и озарилъ ее. Что дѣлать—таковъ античный міръ.

VII.

Теоретическое разсужденіе въ началѣ предыдущей главы дало намъ возможность опредѣлить экономическое значеніе тессеры; согласно сказанному тамъ, тессера — суррогатъ монеты, имѣющій цѣнность исключительно въ предѣлахъ того предпріятія, для котораго она выпущена. Таковымъ было, однако, въ античномъ мірѣ не только торгово-промышленное предпріятіе въ родѣ названныхъ только-что: имъ былъ каждый болѣе или менѣе значительный частный домъ. Мы приближаемся тутъ къ очень любопытной теоріи, которую ярче всѣхъ развилъ извѣстный экономистъ Бюхеръ въ своей надѣлавшей

столько шуму книжкѣ *Die Entstehung der Volkswirtschaft*: теоріи о самодовлѣющемъ домѣ, какъ основной единицѣ античнаго хозяйства. Бюхеру возражалъ въ то время Эд. Мейеръ въ своей брошюрѣ *Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums*; у насъ споръ этотъ возобновился между И. М. Гревсомъ (Очерки изъ исторіи римскаго землевладѣнія I), принявшимъ съ нѣкоторыми ограниченіями экономическую теорію Бюхера, и Н. И. Карѣвымъ, оспаривавшимъ эту теорію въ своей рецензіи на только-что упомянутую книгу (Русское Богатство 1900). Полагаю, что и тессерамъ г. Ростовцева суждено сказать свое слово въ этомъ спорѣ, который никакъ не можетъ еще считаться рѣшеннымъ; все же продолжать его здѣсь я не буду. Самъ я скорѣе стою на сторонѣ Эд. Мейера и Н. И. Карѣва; все же считаю несомнѣннымъ, что частный домъ былъ въ древности гораздо болѣе самодовлѣющей единицей, чѣмъ когда-либо въ новое время: прекрасно иллюстрируютъ это положеніе дѣла между прочимъ и наши тессеры.

Дѣйствительно, вникнемъ, ради примѣра, въ домовое хозяйство того крупнаго кулака-помѣщика, котораго намъ такъ неподобно изобразилъ римскій сатирикъ Петроній — Трималхиона; домъ ли это, или государство? „Ничего онъ не покупаетъ“, говорили про него его добрые знакомые, „а все растетъ у него дома (*domi*): и шерсть, и апельсины, и перецъ — захочешь птичьяго молока, такъ и того найдешь“; на то у него помѣстья и въ Италіи, и въ Сициліи, и въ Африкѣ, и еще гдѣ угодно. Огромности хозяйства соотвѣтствуютъ штаты прислуги: „не наберется и десятой части, которая бы знала своего господина“. А прислуга — это все маленькія хозяйства: мужъ, жена, дѣти; и всѣ эти хозяйства находятся въ экономической зависимости отъ центральнаго очага дома и въ экономическихъ сношеніяхъ между собой. Допустимъ, что рабы получали свое пропитаніе и прочіе предметы потребленія натурой — бережливые охотно уменьшали свою порцію, чтобы изъ такихъ маленькихъ экономій составлять себѣ свое частное состояніе, свое *residium*... Впрочемъ, это еще довольно примитивный способъ, практиковавшійся въ эпоху Теренція, но въ нашу только въ очень скромныхъ хозяйствахъ: тотъ Меланѣъ, рабъ Публия Деція, который, какъ мы видѣли выше, былъ ма-

гистромъ коллегіи и перестроилъ на свой счетъ ея зданіе—нажилъ свое *rescilium*, конечно, не такимъ образомъ. Духъ спекуляціи и барышничества отъ господъ перешелъ къ рабамъ: денежное хозяйство было въ ходу внутри каждаго отдѣльнаго, болѣе или менѣе крупнаго дома. А для такового требовались деньги—и притомъ, для внутреннихъ оборотовъ, деньги свои, домовыя, но такія, которыя можно бы было во всякую минуту размѣнять на государственныя въ центральной домовой кассѣ. Такими деньгами были именно наши тессеры, выпускаемыя отъ имени хозяина и такъ или иначе имъ гарантированныя. Теперь намъ понятно, почему въ императорскую эпоху такъ мало чеканилось мелкой размѣнной монеты: римскіе маленькіе люди, будь то рабы или кліенты, естественно группировались вокругъ крупныхъ богатыхъ домовъ и пользовались поэтому ихъ денежными знаками. Конечно эти знаки юридически имѣли цѣнность только въ частномъ хозяйствѣ того дома, который ихъ выпускалъ; но само собою разумѣется, что ихъ принимали и во всемъ томъ районѣ, который охватывала его слава. Отчего было торговцу мясного или овощнаго ряда не принимать отъ рабовъ и кліентовъ хорошо аккредитованнаго дома его тессеры, которыя онъ могъ во всякую минуту размѣнять въ домовой конторѣ на государственную монету? Откажется—тѣмъ хуже для него; онѣ перейдутъ къ его конкурренту. Конечно, дѣло было сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ: стоятъ хорошо аккредитованному дому прогорѣть—и его тессеры придется продавать на вѣсъ. Но такъ какъ ихъ цѣнность какъ монеты была и такъ не Богъ вѣсть какая, то кризисы могли быть лишь самые незначительные; можно быть увѣреннымъ, что наши тессеры никого по міру не пустили.

Да, это очень интересная страница изъ экономическаго быта древняго Рима, которую намъ раскрываютъ наши тессеры—и притомъ замѣтите, только онѣ: здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ предыдущей главѣ, тессеры являются нашимъ основнымъ и исключительнымъ источникомъ.—Но какъ же распознать наши частныя домовыя тессеры и выдѣлить ихъ изъ числа прочихъ? Вполнѣ естественно, прежде всего, что, будучи выпущены отъ имени частнаго лица, онѣ должны носить на себѣ его имя; вотъ это-то имя, при отсутствіи всего, что могло бы указы-

вать на какое-нибудь другое назначеніе, и будетъ характеризовать наши тессеры, какъ таковыя. Стоитъ пробѣжать эту очень многочисленную серію, описаніе которой начинается у автора съ № 1103 и идетъ до 1572; не думайте, что насъ тутъ встрѣтятъ одни только голыя имена. Конечно, есть и такія: если упомянутая уже выше Азинія Тираннида сочла свое выписанное полностью имя достаточнымъ украшеніемъ своей тессеры, то это вполне простительно. Когда то, будучи еще просто Тираннидой и, слѣдовательно, рабой, она была хозяйкой извознаго предпріятія и имѣла эмблемой свою кормилицу, лошадь; теперь, разбогатѣвъ и получивъ со свободой гражданство, она болѣе всего дорожить тѣмъ, чтобы ее знали какъ Азинію Тиранниду, благородную римскую гражданку, «гентилку» знаменитыхъ Азиніевъ Полліоновъ и Азиніевъ Галловъ. У другихъ фантазія болѣе плодovitа. Такъ нерѣдко встрѣчающіяся имена Fortunatus, Fortunata такъ и напрашивались на символъ: ихъ носители охотно изображаютъ Фортуну на оборотѣ своихъ тессеръ. По такой же причинѣ и нѣкто Аквилій изобразилъ на своихъ тессерахъ орла; положимъ, онъ имѣлъ бы такое же точно право производить свое имя отъ aqua, какъ и отъ aquila, но мы вполне понимаемъ, что онъ предпочелъ послѣднее. Хорошаго знатока греческой мифологіи должны мы признать въ Лихасѣ, хотя онъ былъ повидимому рабомъ: онъ читалъ или видѣлъ на сценѣ «Геракла Этейскаго» Сенеки и зналъ поэтому, что его героическій тезка былъ нѣкогда брошенъ Геракломъ объ еврейскую скалу; на этомъ основаніи онъ и воспроизвелъ голову этого популярнаго героя на оборотѣ своей тессеры. Публий Глитій Галлъ далъ намъ свой собственный портретъ, которымъ теперь можно любоваться на табл. IV атласа подъ № 33 (нельзя сказать, чтобы онъ вышелъ въ особенно авантажномъ видѣ), а затѣмъ, на оборотѣ, свой символъ: пѣтуха съ вѣнкомъ въ клювѣ; видно, онъ предпочиталъ производить себя отъ пѣтуха (gallus), чѣмъ отъ галловъ. Но особенно отличился Г. Юлій Катъ: обладая однимъ изъ самыхъ древнихъ и аристократическихъ римскихъ прозвищъ, онъ позорно забылъ объ его прекрасномъ значеніи (catus «умный») и, сблизивъ его невпопадъ съ простонароднымъ catus — «котъ», изобразилъ на оборотѣ своей тессеры,

вмѣсто Минервы, это четвероногое съ характерно поднятымъ хвостомъ.

А впрочемъ, такъ какъ во главѣ хозяйства стоятъ двое, мужъ и жена, *Gaius et Gaia*, то и тессеры издаются иногда отъ имени обоихъ; особенно ясна тутъ описанная подъ № 1195, дающая на лицевой сторонѣ женскій портретъ съ приписью *Curtia Flacci* (т.-е. Курція, жена Флакка), а на оборотѣ— мужской портретъ съ приписью *Flaccus*. Впрочемъ, читатель не долженъ видѣть признака особой галантности Флакка въ томъ, что его супругѣ предоставлена «лицевая» сторона; это— фантазія не то г. Ростовцева, не то безыменнаго перваго издателя тессеры, описаніемъ котораго онъ воспользовался. „Мужа и жену“, продолжаетъ нашъ авторъ (стр. 193), «имѣютъ въ виду и тессеры съ изображеніемъ двухъ змѣй на одной сторонѣ», причемъ я долженъ замѣтить, что для знакомаго съ древнимъ міромъ человѣка это замѣчаніе звучитъ не такъ дико, какъ для обыкновеннаго читателя: змѣй былъ дѣйствительно у древнихъ римлянъ символомъ «генія» человѣка, того загадочнаго божественнаго начала въ его натурѣ, о значеніи котораго я прошу сравнить свою статью о римской религіи («Изъ жизни идей» т. III стр. 17). А съ этимъ мы приближаемся къ довольно обширной категоріи частныхъ тессеръ, дающихъ, вмѣстѣ съ невразумительными для насъ буквами, изображеніе этого генія, либо въ видѣ змѣя, согласно только что сказанному, либо въ человѣческомъ видѣ.

Но это еще не все. Можно было ограничиться именемъ хозяина, можно было снабдить его извлеченнымъ изъ имени символомъ, этимъ зародышемъ нашего герба, можно было изобразить хозяйскаго генія,—но можно было также, и это было самое лучшее, отдать тессеры подъ покровительство того божества, которое пользовалось особымъ почитаніемъ хозяина, и, стало быть, его челяди. Такихъ тессеръ намъ сохранилось довольно много; но наше уваженіе къ благочестію ихъ эмиссіонеровъ нѣсколько расхолаживается при обзорѣнн тѣхъ божествъ, которыя на нихъ изображены. Нѣтъ или почти нѣтъ тѣхъ старинныхъ римскихъ боговъ, которые взростили молодое государство — Марса, Яна, Цереры, Юноны; самъ Юпитеръ почти что забытъ — что дѣлать, громовержецъ въ столицѣ не

очень страшень; нѣсколько популярнѣе Аполлонъ и Діана, культъ которыхъ былъ особенно выдвинутъ Августомъ, но и ихъ затмили боги матеріальной удачи, Меркурій и Викторія, особенно же — коллективное божество позднѣйшей римской религіи, Фортуна, встрѣчающаяся такъ же часто, какъ всѣ другія божества вмѣстѣ взятія. Не будемъ, однако, несправедливы: должно принять въ расчетъ также и назначеніе тессеръ. Онѣ были суррогатомъ денегъ, а деньги сами по себѣ—вещь матеріальная. Неудивительно, что и божества къ этому дѣлу подбирались такія же матеріальныя: Юпитеръ съ высоты Капитолія охранялъ величіе римской державы,—въ покровители крупнаго и мелкаго барышничества онъ бы не пошелъ и, пожалуй, послалъ бы *infortunium* на тѣхъ, кто сталъ бы призывать его всуе.

Такимъ образомъ, наши частныя тессеры, помимо своего экономического значенія, знакомятъ насъ также и съ нѣкоторыми интимными сторонами домашней жизни древнихъ римлянъ: та же откровенность, что и выше, проявляется и здѣсь. Но главное ихъ значеніе все-таки экономическое, и то, чему онѣ насъ здѣсь учатъ, это — гораздо бѣльшая важность частнаго почина въ древности сравнительно съ нашей эпохой. Это явленіе вполне аналогично тѣмъ, которыя давно уже были извѣстны: домъ-государство, такъ рельефно обрисовывающійся въ своей религіозной, административной, судебной, воспитательной и т. д. роли, вполне естественно представляется намъ теперь самобытной единицей и въ области денежнаго хозяйства—открытіе г. Ростовцева вполне вяжется со всей прочей фیزیономіей древне-римскаго дома. и въ этомъ заключается, разумѣется, лишній залогъ его убѣдительности. Но онъ имъ не удовольствовался, или вѣрнѣе: онъ искалъ подтвержденія не въ прочихъ чертахъ древне-римскаго дома, а въ аналогичныхъ институтахъ болѣе новыхъ временъ. Какъ въ древнемъ Римѣ, такъ и въ Парижѣ и Лондонѣ XV и XVI в. недостатокъ государственной размѣнной монеты повелъ къ тому, что частныя дома стали издавать серіи свинцовыхъ и другихъ *mereaux* или *tokens*, снабжая ихъ, для удостовѣренія подлинности, своими гербами или портретами своихъ главъ. „Такимъ образомъ“, говоритъ нашъ авторъ (стр. 200), „наши тессеры привели насъ

абсолютно къ тѣмъ же результатамъ, къ которымъ привела цѣлый рядъ ученыхъ несравненно болѣе богатая серія памятниковъ, относящаяся къ временамъ, внутренняя жизнь которыхъ извѣстна намъ гораздо лучше, чѣмъ жизнь I—II вв. по Р. Х.“. Конечно, этому сближенію можно только порадоваться; оно лишній разъ подтверждаетъ то, что было выведено изъ вполне надежныхъ основаній.

VIII.

Дальнѣйшее насъ не касается. Вполнѣ естественно, что авторъ, желая всесторонне использовать свой матеріалъ, занялся въ слѣдующей главѣ своей книги изображеніями на тессерахъ съ художественной точки зрѣнія (стр. 201 сл.), изучая зависимость тессерныхъ типовъ отъ монетъ, съ одной стороны, и рѣзныхъ камней—съ другой; естественно также, что онъ, посвящая свою *Sylloge* почти исключительно столичнымъ тессерамъ, пожелалъ дать въ видѣ приложенія къ своему изслѣдованію описъ италійскихъ и провинціальныхъ тессеръ (стр. 241—302). Все это будетъ съ благодарностью принято специалистами, но къ нашей темѣ отношенія не имѣетъ: насъ интересовали тессеры исключительно какъ источникъ древне-римскаго быта.

Скорѣе насъ могли бы касаться тѣ многочисленныя тессеры, которыя у автора въ *Sylloge* помѣщены подъ унылымъ заголовкомъ *tesserae incertae*; составляютъ онѣ, къ сожалѣнію, большую половину всего числа. Содержаніе ихъ довольно разнообразное: изображенія боговъ, листья, вѣнки, пальмовыя вѣтви, масса непонятныхъ для насъ сокращеній—но о назначеніи невозможно сказать что-либо опредѣленное. Положимъ, авторъ смотритъ на дѣло не очень пессимистически: его успѣхъ внушаетъ ему надежду, что другимъ удастся, пользуясь его методомъ, выдѣлить еще нѣсколько однородныхъ серій. Присоединяемся къ этой надеждѣ; но, пока дѣло не сдѣлано, источникомъ древне-римскаго быта эти тессеры служить не могутъ. Такъ-то и съ этой точки зрѣнія нашъ обзоръ пока конченъ.

Многому ли онъ насъ научилъ? Передъ читателемъ прошло нѣсколько картинъ, охватывающихъ, въ своей совокупности, не малую часть римской общественной жизни: даровая раздача хлѣба бѣднымъ римскимъ гражданамъ, даровые билеты имъ же на игры и зрѣлища, организація римской знатной молодежи, какъ столичной, такъ и муниципальной, жизнь римскихъ коллегій маленькихъ людей съ ихъ спектаклями и пирушками, торгово-промышленныя предпріятія, наконецъ, сложное хозяйство крупныхъ частныхъ домовъ... Но, можно спросить, могутъ ли наши тессеры считаться единственнымъ источникомъ для всего этого? Нѣтъ, конечно. За исключеніемъ послѣдней картины, матеріалъ которой мы, слѣдуя примѣру автора, цѣликомъ заимствовали у тессеръ,—онѣ какъ источники конкурируютъ съ другими источниками какъ литературнаго, такъ и эпиграфическаго и другого характера. Но и тамъ онѣ сохраняютъ свое значеніе какъ самостоятельный, хотя и не самодовлѣющій источникъ: нигдѣ онѣ не ограничиваются повтореніемъ того, что намъ и такъ уже было извѣстно—вездѣ онѣ дополняютъ наши свѣдѣнія, помогаютъ намъ дорисовывать свои картины то въ болѣе, то въ менѣе существенныхъ частяхъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, притворимъ на минуту окно, которое онѣ намъ открыли въ римское прошлое; насколько съузится нашъ горизонтъ! Конечно, о римскихъ фрументаціяхъ и играхъ, о *panis et circenses* мы знали бы и такъ; но пропали бы не только наглядныя свѣдѣнія объ организаціи этого дѣла, которыми мы обязаны имъ, но и то тонкое оттѣненіе императорской политики по отношенію къ нему, которое сказывается въ большемъ или меньшемъ привлеченіи къ нему личности правящаго императора. Равнымъ образомъ мы не изъ тессеръ узнали объ организаціи римской молодежи; но безъ нихъ мы не знали бы объ ея участіи во всенародныхъ играхъ и о покровительствѣ этому дѣлу императоровъ, а главное—не знали бы о томъ, насколько примѣръ столицы нашель себѣ подражаніе со стороны муниципальной и провинціальной знати. Дѣятельность коллегій намъ извѣстна почти исключительно по надписямъ: тессеры дополняютъ лишь нѣкоторыя частности, восстанавливая, главнымъ образомъ, параллель между государственной и общественной благотворительностью.

Гораздо самостоятельнѣе ихъ роль по отношенію къ торгово-промышленнымъ предпріятіямъ,—прошу вспомнить хотя бы сказанное о пассажирскихъ билетахъ для легкаго судоходства по Тибру,—не говоря уже о частныхъ хозяйствахъ, которыя только благодаря имъ намъ стали извѣстны въ своей финансовой самобытности. Этого, полагаю я, достаточно для выясненія важности новаго памятника,—тѣмъ болѣе, если сообразить, что г. Ростовцевъ имѣетъ полное право называть себя его первымъ изслѣдователемъ, и что его преемники, пользуясь собраннымъ имъ матеріаломъ, несомнѣнно прибавятъ не мало новаго къ тому, чтò нашелъ онъ.

ОСТРАКОЛОГІЯ.

(1900).

I.

Слова, стоящаго въ заголовкѣ этой статьи, читатель ни въ одномъ словарѣ не найдетъ: все же мы смѣемъ надѣяться, что его звукъ будетъ не вполне чуждъ его уху. Не говоря уже о томъ, что оно — точнѣе, его корень — понынѣ живетъ въ русскомъ словѣ «устрица» (этимологическая связь будетъ ясна изъ дальнѣйшаго) — всякій образованный человѣкъ слыхалъ объ «остракизмѣ», и многіе, вѣроятно, помнятъ анекдотъ объ Аристидѣ, которому пришлось самому, по просьбѣ неграмотнаго гражданина, написать свое имя на черепкѣ («остр-кѣ»), осуждающемъ его на изгнаніе. — „Да развѣ ты знаешь Аристиду?“ — „Нѣтъ“. — „За что же ты его изгоняешь?“ — „Да мнѣ надоѣло, что всѣ называютъ его справедливымъ“. — Въ этомъ анекдотѣ много психологической глубины, но насъ здѣсь интересуетъ не нравственный обликъ почтеннаго Стримодора (или какъ тамъ его), а исключительно его черепокъ. Къ чему такой неудобный способъ баллотировки? — Онъ перестанетъ казаться таковымъ, если припомнить: 1) что бумаги тогда не было и 2) что аѳинскія фабрики глиняныхъ издѣлій славились на всю Грецію и даже внѣ ея предѣловъ. А на глиняномъ черепкѣ — достаточно свѣтломъ, достаточно тонкомъ, достаточно гладкомъ — можно было безъ особеннаго неудобства писать не только имена добрыхъ друзей, но и болѣе интересныя вещи, и, между прочимъ, — таможенныя и другія рос-

писки. Такъ-то посуда древнихъ, проживъ свой вѣкъ въ качествѣ цѣльной и два вѣка въ качествѣ битой, просуществовала еще двадцать вѣковъ въ качествѣ очень цѣннаго научнаго источника.

Случилось это, впрочемъ, не въ Греціи, отъ которой намъ, по климатическимъ условіямъ, сохранено очень немного исписанныхъ черепковъ, а въ греческомъ Египтѣ птолемеевской и римской эпохъ. Глиняная посуда изготовлялась въ Египтѣ съ давнихъ поръ, но обычай пользоваться глиняными черепками для росписокъ былъ введенъ, повидимому, лишь греками по завоеваніи этой страны Александромъ Великимъ. Начиная съ этого времени, мы располагаемъ множествомъ исписанныхъ черепковъ; съ четвертаго вѣка по Р. Х., однако, ихъ дѣлается значительно меньше. Объясняютъ это тѣмъ, что состоявшіяся къ началу этого вѣка коренныя реформы Діоклетіана измѣнили практиковавшійся раньше обычай.

II.

Поистинѣ чудесна, судя по описаніямъ очевидцевъ, сохранность этихъ двухтысячелѣтнихъ грамотъ. „Письмена такъ ясны и отчетливы, чернила такъ свѣжи, какъ будто запись была сдѣлана сегодня“. Но этой сохранностью мы обязаны исключительно египетскому песку, покрывавшему наши черепки все это промежуточное время; лишь только ихъ переносятъ въ Европу, какъ начинается разрушительная работа атмосферической влаги. Проникая черезъ поры глины, она соединяется съ входящими въ ея составъ солями, вслѣдствіе чего по всей поверхности черепка вырастаетъ какой-то мохъ соляныхъ кристалловъ, легкій точно пухъ одуванчика, разбухая и разрушая поверхность, а съ нею и драгоцѣнныя письмена. Въ послѣднее время, правда, найденъ способъ путемъ прощелачиванія черепковъ противодействовать этой губительной кристаллизаци; но оправдаются ли возлагаемыя на это изобрѣтеніе надежды—покажетъ будущее, и всякій обладатель черепковъ поступитъ благоразумнѣе, если, немедля, предастъ гласности содержаніе своихъ сокровищъ.

А такихъ обладателей не мало. Начиная съ того самаго времени, когда интересы археологовъ впервые обратились на Египетъ, раскопки не переставали обнаруживать, среди другихъ памятниковъ, также и исписанные черепки, и болѣе или менѣе крупныя ихъ коллекціи имѣются и въ музеяхъ, и у частныхъ лицъ. Не очень незначительна и остракологическая литература; списокъ публикацій занимаетъ почти двѣ страницы, и первая изъ нихъ по времени помѣчена великимъ именемъ,—именемъ Б. Г. Нибура. Но всѣ онѣ носятъ случайный и отрывочный характеръ; лишь нынѣ историкъ древняго міра дана возможность извлечь серьезную пользу для своей науки изъ сохраненнаго египетскими песками богатаго матеріала. Этой возможностью онъ обязанъ замѣчательному труду бреславльскаго профессора У. Вилькена (U. Wilcken) подъ загл. «Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien». Трудъ этотъ появился въ Лейпцигѣ въ 1899 г.; вотъ почему мы имѣемъ право называть остракологию «новымъ» источникомъ экономической исторіи древняго міра. Состоитъ онъ изъ двухъ томовъ: текстъ самихъ черепковъ — всего 1624 номера — сообщенъ во второмъ, меньшемъ томѣ; что же касается перваго, то онъ на 823 стр. даетъ рядъ изслѣдованій о тѣхъ различныхъ вопросахъ, на которые наши черепки проливаютъ новый свѣтъ. Уже одни размѣры этого труда, который авторъ *печаталъ* въ теченіе десяти лѣтъ, даютъ намъ представленіе о значеніи новыхъ текстовъ для исторической науки.

Въ чемъ же, однако, состоитъ это значеніе?

III.

Не совѣтую читателю — даже знакомому съ греческимъ языкомъ — сдѣлать попытку убѣдиться въ немъ непосредственно путемъ чтенія соединенныхъ во второмъ томѣ Вилькена документовъ. Трудно представить себѣ болѣе скучное времяпровожденіе. „Внесъ Змеиной, сынъ Пахнубія подушной подати въ пятый годъ Тиберія Цезаря Августа 27-го Фармуѳи восемь (8) драхмъ серебра“. „Отъ податного инспектора Пахомпатенефота: внесъ Пахнубій, сынъ Фанофія, матери Та-

хонтбекія, въ пользу рѣчной полиціи ассигнаціями 8 драхмъ, десять оболовъ, въ восьмой годъ государя Адріана 11 Фармуѳа, „Мимнъ съ компаньонами, откупщики податей острова, кланяются Памонѳу. Получили отъ тебя въ счетъ твоей недоимки въ восемь драхмъ—четыре драхмы въ 5 годъ государя Нерона. 2 Фаменѳова“. И такъ далѣе, на протяженіи 429 стр.

А впрочемъ,—терпѣніе и здѣсь не остается безъ награды; мало-по-малу на общемъ сѣромъ фонѣ датъ и цифръ выдѣляются болѣе или менѣе свѣтлыя точки. Прежде всего бросаются въ глаза—отмѣченныя, вѣроятно, и читателями—имена собственныя. Нельзя сказать, чтобы они были особенно благозвучны. Мы не знаемъ, существовало ли въ Александріи распоряженіе, чтобы лица египетскаго происхожденія выписывали полностью свои имена и отчества на вывѣскахъ своихъ лавокъ; но если да, то мы легко можемъ представить себѣ, при извѣстной въ древности насмѣшливости греческаго населенія этого города, повсемѣстные взрывы дешеваго, но вполне гигиеничнаго смѣха. Для серьезнаго человѣка болѣе интересно слѣдующее. Всѣ эти люди, имена которыхъ выписаны выше и въ интересахъ наборщика и корректора повторены не будутъ,—египтяне, говорившіе между собой несомнѣнно по-египетски; а между тѣмъ въ своихъ роспискахъ они пользуются греческимъ языкомъ, и пользуются настолько хорошо, что ошибки противъ правописанія встрѣчаются довольно рѣдко, да и встрѣчающіяся болѣею частью таковы, что новѣйшая педагогика отнесла бы ихъ къ разряду „психическихъ“ ошибокъ. Какъ это объяснить? Скажутъ: властью завоевателей. Прекрасно. Но вѣдь до грековъ персы въ теченіе двухъ столѣтій владѣли Египтомъ по праву завоевателей; власть ихъ была даже гораздо сильнѣе, такъ какъ Египетъ былъ для нихъ лишь провинціею, между тѣмъ какъ у греческихъ завоевателей—Птолемеевъ не было силы внѣ завоеванной ими страны. И все-таки отъ персидскаго языка и слѣда не осталось послѣ Александра Великаго, между тѣмъ какъ греческій языкъ и послѣ своихъ насадителей продолжалъ прочно держаться въ странѣ, сохраняя свое положеніе „языка интеллигенціи“ въ теченіе всего періода римскаго и византійскаго владычества; дѣйствительно, его уничтожилъ лишь самумъ, поднявшійся съ аравійской пустыни, но уничтожилъ

вмѣстѣ съ культурой, носителемъ которой онъ былъ. Тутъ есть надъ чѣмъ призадуматься — и думы эти будутъ довольно отрадны.

IV.

Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что среди этихъ неудобопроизносимыхъ именъ встрѣчаются и нѣкоторыя очень знакомыя намъ — Паисій, Пахомій, Оннофрій; удивительнаго тутъ ничего нѣтъ, такъ какъ соотвѣтственные имена православнаго календаря — имена египетскія, попавшія туда, благодаря духовнымъ подвигамъ египетскихъ монаховъ и отшельниковъ. Съ установленіемъ этого факта исчерпанъ интересъ, представляемый именами — по крайней мѣрѣ для неегиптолога; но сказанное о знаніи ихъ носителями греческаго языка требуетъ оговорки.

Дѣло въ томъ, что во многихъ роспискахъ встрѣчаются прибавленія „писалъ я, такой-то“, часто съ обозначеніемъ должности „податной инспекторъ“, „секретарь“ — но это только скрѣпы, гарантирующія подлинность документа.

Есть другія, болѣе недвусмысленныя. Такъ, въ роспискѣ, выданной откупщикомъ Симономъ, сыномъ Іазара, значится: „писалъ Деллусъ, по просьбѣ Симона, такъ какъ послѣдній не умѣетъ писать“. Въ другой такая приписка: писалъ вмѣсто него Евмень, по его просьбѣ, такъ какъ онъ не очень ловко пишетъ“. Значитъ ли это „по неграмотности росписался...“? И въ этомъ не было бы ничего страннаго: вѣдь и тотъ недругъ Аристиды, съ котораго мы начали, находился въ томъ же положеніи. Но нѣтъ; на третьемъ черепкѣ, гдѣ мы читаемъ совершенно такую же приписку, другимъ почеркомъ прибавлено: „я, Дамонъ, согласенъ съ вышеозначеннымъ“. Итакъ Дамонъ не былъ неграмотнымъ, а только писалъ „не очень ловко“, то-есть, повидимому, не зналъ сложнаго и отвѣтственнаго канцелярскаго стиля. А если въ случаѣ несобственноручной росписки требуется оговорка, то значитъ росписка, гдѣ такой оговорки нѣтъ, написаны собственноручно, т.-е. всѣ эти Пахнубіи и т. д. знали грамотъ — и именно *греческой* грамотъ. Это опять-таки результатъ утѣшительный.

Мимоходомъ можно отмѣтить и другія бытовыя подробности. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сборщики податей начинали текстъ своей росписки съ поклона плательщику — образчикъ приведенъ выше: плательщику было отъ этого, разумѣется, не легче, все же существованіе этого обычая свидѣлствуетъ объ извѣстной гуманности въ отношеніяхъ между обѣими сторонами. — Въ другихъ роспискахъ мы читаемъ приписку: „прежде написаннымъ ты пользоваться не долженъ“, т.-е., выражаясь по-нашему, „прежнюю росписку считать недѣйствительной“; причину выясняетъ намъ сохраненная на одномъ черепкѣ мотивировка: „вслѣдствіе того, что въ нее вкралась ошибка“ — лишнее доказательство тр дности и отвѣтственности канцелярскаго стиля.

Само собой разумѣется, что всѣ росписки тщательно датированы. Въ этомъ пессимисты могутъ усмотрѣть иронію судьбы: не обидно ли, въ самомъ дѣлѣ, что мы, не знающіе въ точности года Рождества Христова, знаемъ въ то же время очень опредѣленно, что Спукай, сынъ Пмуи, уплатилъ свои двѣ драхмы банной пошлины именно 26 Паини въ 22 годъ Тиберія, т.-е. 20 июня 35 г. нашей эры? Но оптимисты отвѣтятъ: что же, спасибо и на этомъ. Во-первыхъ, эти точныя датировки помогутъ намъ возстановить всю эволюцію глиняной промышленности Египта за шесть вѣковъ... ну, это, положимъ, не для всѣхъ интересно. Во-вторыхъ, они за тотъ же періодъ даютъ намъ эволюцію греческаго курсивнаго шрифта, а съ нею и возможность датировать другіе, болѣе интересные памятники. А въ третьихъ — благодаря имъ, мы получаемъ возможность приурочивать къ опредѣленному времени и тѣ *экономическіе институты*, о которыхъ говорится въ текстѣ росписокъ.

V.

Въ этомъ послѣднемъ, разумѣется, главная суть. Какъ ни лаконичны наши черепки, — полторы слишкомъ тысячи экземпляровъ составляютъ достаточно почтенный статистическій матеріалъ; группируя его въ систематическомъ порядкѣ, сопоставляя однородные документы, объясняя одинъ при помощи

другого, мы мало-по-малу возсоздаемъ тотъ фондъ, на которомъ они дѣлаются понятными — податную организацію Египта въ птолемеевскую и римскую эпохи. Правда, черепки являются тутъ не единственнымъ нашимъ источникомъ; есть у насъ и отрывочныя литературныя свидѣтельства въ сочиненіяхъ древнихъ историковъ, есть затѣмъ, и это особенно цѣнно, папирусы, сохраненные тѣми же вѣрными песками страны фараоновъ. Изъ этихъ послѣднихъ мы узнаемъ въ общихъ чертахъ систему податного обложенія Египта указанныхъ эпохъ; черепки относятся къ нимъ, какъ практика относится къ теоріи, какъ иллюстраціи относятся къ текстамъ. Они и оживляютъ теоретическія данныя, и разнообразятъ ихъ, и вносятъ въ нихъ тѣ поправки, которыя вызваны временемъ или мѣстными условіями.

Передъ нами проходитъ длинный рядъ разнообразныхъ пошлинъ: подушный оброкъ, ремесленный налогъ, соляной акцизъ, пошлины на хлѣбъ, на плоды, на орѣхи, на растительное масло и т. д., сборы въ пользу различныхъ учрежденій, на статую императору... увы! и на нее взымалась подушная подать въ 3—4 оболъ съ человѣка, а когда императоровъ было одновременно двое, то и подать была двойная. Передъ нами проходитъ, затѣмъ, и не менѣе длинный рядъ учреждений и должностей, созданныхъ съ цѣлью взиманія пошлинъ. Изъ него мы узнаемъ, что всѣ пошлины, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, отдавались на откупъ съ публичнаго торга: кто предлагалъ самую крупную сумму, тотъ и получалъ право собирать въ свою пользу опредѣленные пошлины опредѣленнаго округа. Это не значитъ, однако, что государство предоставляло откупщикамъ право хозяйничать въ приобрѣтенномъ округѣ: оно приставляло къ нимъ своихъ контролеровъ, а дѣятельность этихъ послѣднихъ была такъ стѣснительна, что надежды на перевыручку было мало для привлеченія откупщиковъ: пришлось прибѣгнуть къ особаго рода десятипроцентному вознагражденію. Все это требовало тщательной и сложной отчетности, и вотъ тутъ-то папирусы конкурируютъ съ черепками: приходныя книги, разумѣется, папирусныя, и съ начальствомъ полагается сноситься на папирусу, но росписки центрального банка откупщикамъ и откупщиковъ плательщикамъ — глиняныя. И вотъ почему онѣ сохранились намъ въ такомъ множествѣ

VI.

Но, можетъ спросить читатель, какое намъ дѣло до всего этого? Дѣло есть, и выяснить его даже легче, чѣмъ это кажется многимъ. Учрежденія развиваются органически, подобно растеніямъ; настоящее создано прошлымъ и объясняется, поэтому, на основаніи прошлаго. Правда, не всякое прошлое объясняетъ *наше* настоящее; для этого нужно, чтобы оно состояло съ нимъ въ причинной и генеалогической связи. Въ царствѣ аzteковъ тоже была, надо полагать, какая-нибудь податная система; но если бы намъ и удалось ее обнаружить—она не имѣла бы для насъ особеннаго интереса, такъ какъ нѣтъ нитей, которыя бы соединяли культуру аzteковъ съ нашей. Другое дѣло — пtoлемеевскій и римскій Египетъ. Въ настоящее время установлено, что монархія Пtoлемеевъ была въ экономическомъ и финансово-административномъ отношеніи мостомъ между Греціей и Римомъ: здѣсь институты греческихъ республикъ получили то широкое, великодержавное развитіе, которое сдѣлало ихъ способными войти въ составъ испoлинскаго государственнаго организма — императорскаго Рима. А императорскій Римъ — это громадный культурный бассейнъ, западный рукавъ котораго цивилизовалъ романскія и германскія государства новой Европы, а восточный, именуемый Византіей—Россію.

Это — фактъ, игнорировать который опасно, такъ какъ кара за это игнорированіе — невѣжество со всѣми его умственными и нравственными послѣдствіями. Не можетъ быть національных и хронологическихъ перегородокъ тамъ, гдѣ имѣется стройная, непрерывная, хотя и не прямолинейная эволюція; въ выясненіи цѣльности этой эволюціи и заключается главная заслуга молодой экономической исторіи цивилизованнаго міра, при чемъ нѣкоторая доля этой заслуги приходится также и на новорожденную „остракологию“.

РАБОЧАЯ ПѢСЕНКА.

(1901).

Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется...
Некрасовъ.

I.

Да, этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется, — и не у насъ однихъ, а вездѣ тамъ, гдѣ руками и вообще силами человѣка совершается тяжелая физическая работа; именно работа, а не одна только регулировка производимаго силами природы труда. Когда-то признакомъ каждаго поселенія людей была „пѣсня, подобная стону“, раздававшаяся изъ устъ мукомола, или, чаще, мукомолки; признакъ этотъ былъ столь характеренъ и разителенъ, что у пророка Іереміи его прекращеніе является равносильнымъ опустѣнію земли. Это было то время, когда не было другой мельницы, кромѣ ручной: мукомолка упиралась руками и грудью въ шестъ, приводившій въ движеніе верхній жерновъ, и начиналось утомительное, однообразное круженіе, сопровождаемое монотоннымъ скрежетомъ мельницы и столь же монотонной пѣсней работницы. Экземпляръ такой пѣсни изъ древняго міра намъ случайно сохранился; его родина — Лезбось, его время — эпоха процвѣтанія этого острова подъ главенствомъ города Митилены и его правителя, мудраго Питтака, который, происходя изъ низкаго рода, достигъ высшаго въ своемъ государствѣ сана. Его-то и поминали въ своей пѣснѣ лезбосскія мукомолки:

Мели, мельница, мели:
Вѣдь и Питтакъ нашъ молодецъ,
Что великой Митиленой нимфѣ править.

Если принять во вниманіе, что работа шла очень медленно, и что поэтому число участницъ было, сравнительно, большое, то можно будетъ представить себѣ роль „мукомольной пѣсни“ въ акустической физиономіи, если можно такъ выразиться, античной деревни. Но вотъ послѣдовало открытіе, кореннымъ образомъ, хотя и не сразу, измѣнившее эту физиономію: была изобрѣтена водяная мельница. Съ какимъ вздохомъ облегченія ее привѣтствовалъ древній міръ,—объ этомъ мы можемъ судить по одной, тоже случайно сохранившейся въ греческой антологіи эпиграммѣ:

Дайте рукамъ отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите,
Хоть бы про близкій разсвѣтъ громко пѣтухъ голосилъ:
Нимфамъ пучины рѣчной вашъ трудъ поручила Церера;
Какъ зарѣзвились онѣ, ободъ крутя колеса!
Видите? Ось завертѣлась, а оси крученныя спицы
Съ рокотомъ движутъ глухимъ тяжесть двухъ паръ жернововъ!
Снова намъ вѣкъ наступилъ золотой: безъ труда и усилий
Начала снова вкушать даръ мы Цереры святой.

Чья работа, того и пѣсня; пѣсню мукомолки смѣнила пѣсня Нимфѣ рѣчной пучины. Мы любимъ эту пѣсню и понимаемъ Шуберта, который взялъ ее въ аккомпаниментъ своихъ прелестныхъ Müllerlieder; со всѣмъ тѣмъ приходится признать, что мукомольная пѣсенка отошла въ вѣчность. Та же участь постигаетъ на нашихъ глазахъ и ту бурлацкую пѣсню, которая еще недавно носилась „надъ великою русской рѣкой“; и ее уже смѣняетъ другая пѣсня, гораздо менѣе пріятная нашему слуху, чѣмъ та пѣсня Нимфѣ,—тяжелое, сердитое пыхтѣніе парохода-буксира. То же самое вездѣ: съ расцвѣтомъ техники въ ея различныхъ отрасляхъ повелительно-безстрастный шумъ машины убиваетъ скромную и участливую рабочую пѣсенку; еще нѣсколько десятилѣтій—и отъ пѣсни-стона останется одно только воспоминаніе.

II.

Слѣдуетъ ли желать наступленія этого времени, или опасаться его? И то, и другое одинаково бесполезно. Какими чувствами мы бы ни сопровождали совершающуюся на нашихъ глазахъ эволюцію, мы ея не остановимъ, не удержимъ въ живыхъ того, чтò осуждено на смерть. Рабочая пѣсенка осуждена; съ ней и обращаются, какъ съ осужденной, — холятъ, балуютъ. Цѣлые отряды „фолклористовъ“ заняты ея выслѣживаніемъ и записываніемъ; ее издають въ опрятныхъ сборникахъ, въ подлинныхъ текстахъ, съ нотами подлинныхъ напѣвовъ и даже, прости Господи, съ аккомпаниментомъ. Мало того: ее переносятъ въ концертныя залы, свои и заграничныя; специально ту некрасовскую навѣрное большее число людей слышало въ исполненіи мужскихъ хоровъ, чѣмъ при ея первоначальной обстановкѣ, изъ многострадальной груди волжскихъ бурлаковъ.

Не мало чести выпало на долю рабочей пѣсенки; ласкаетъ ее мода, но уважаетъ и наука. Участіе этой послѣдней называется менѣе шумнымъ и замѣтнымъ образомъ, но зато оно, смѣемъ думать, надежнѣе и долговѣчнѣе; о немъ и будетъ рѣчь въ нижеслѣдующихъ строкахъ.

Дѣло въ томъ, что, по теоріи извѣстнаго нѣмецкаго экономиста Карла Бюхера, рабочая пѣсенка представляется не болѣе, не менѣе, какъ родоначальницей поэзіи и музыки вообще. Свои изслѣдованія, заведшія его далеко внѣ области его специальной науки, Бюхеръ обнародовалъ въ 1897 г. въ трудахъ саксонской „Gesellschaft der Wissenschaften“ — не какъ нѣчто законченное, а лишь для того, чтобы обратить вниманіе специалистовъ на затронутые имъ вопросы. И дѣйствительно, вниманіе было обращено; отовсюду — какъ это часто случается въ Германіи, при той завидной коопераціи наукъ и ученыхъ, о которой мы здѣсь и понятія не имѣемъ, — посыпались новыя матеріалы, возраженія, поправки, указанія; въ результатъ вышло, что уже черезъ два года авторъ могъ выпустить второе изданіе ¹⁾ своего труда въ видѣ солидной самодовлѣющей книги

¹⁾ Нынѣ имѣется уже третье, еще болѣе увеличенное.

(Arbeit und Rhythmus. Лейпцигъ, 1899 г.). Эта книга была встрѣчена съ еще большимъ сочувствіемъ представителями самыхъ разнообразныхъ наукъ: даже классическая филологія, столь ревниво оберегающая свой участокъ отъ набѣговъ искаателей приключеній изъ смежныхъ областей, — даже она принуждена была объявить устами одного изъ своихъ корифеевъ, У. ф.-Виламовица, что автору удалось обнаружить „если не корень вообще, то одинъ изъ корней поэзіи“.

Какъ это понимать?

Прежде всего спрашивается, что такое рабочая пѣсня? Отвѣтъ „пѣсня, исполняемая за работой“, ничего не объясняетъ, такъ какъ вызываетъ со своей стороны вопросъ, что такое работа? Экономисты это прекрасно знаютъ... или, по крайней мѣрѣ, говорятъ, что знаютъ; но ихъ отвѣты, каковы бы они ни были, для нашей цѣли не годятся, такъ какъ всякое, претендующее на полноту опредѣленіе нашего понятія должно включить въ себя также и умственную работу, которая, однако, не была и не могла быть стимуломъ къ пѣснѣ. Ограничиваясь, поэтому, физическою работою, — какъ это и дѣлалъ Бюхеръ, — можно будетъ сказать, что работа есть движеніе мышцъ, направленное на достиженіе лежащей внѣ его самого полезной цѣли. Опредѣленіе это не сразу, быть можетъ, покажется вразумительнымъ; но достаточно будетъ напомнить объ игрѣ, цѣль которой заключается въ ней самой, и оно станетъ понятнымъ. Конечно, придирки остаются возможными, такъ, „моціонъ“ никто не назоветъ работою, а между тѣмъ онъ подъ наше опредѣленіе подходитъ; съ другой стороны, слово „полезной“ надо замѣнить „сознаваемой, какъ полезная“, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, рабочіе, соорудившіе костеръ для Яна Гуса, останутся за рубежомъ. Всѣ эти придирки ступше-вываются передъ кореннымъ недостаткомъ опредѣленія, который дѣлаетъ его негоднымъ для всякаго историческаго изслѣдованія о работѣ: мы стараемся провести различіе между работою и игрою, а между тѣмъ въ первобытномъ состояніи чело-вѣка оба эти понятія совпадаютъ. Работа дикаря вызвана столько же стремленіемъ дать исходъ накопившемуся запасу энергіи, сколько и желаніемъ достигнуть лежащей внѣ его работы полезной цѣли; это — не чистая работа, а *работа-игра*

и это обстоятельство не осталось безъ вліянія на характеръ рабочей пѣсенки.

Итакъ, спросить: работа-игра создала пѣсню-стонъ?

Нѣтъ, не она; для того, чтобы рабочая пѣсенка стала пѣсней-стономъ — для этого первобытная работа-игра сама должна была превратиться въ работу-пытку.

III.

Всѣ растительныя отправленія человѣческаго организма подчинены ритму; въ равномѣрныхъ интервалахъ подымается и опускается наша грудь, въ равномѣрныхъ интервалахъ бьется нашъ пульсъ, этотъ живой метрономъ, регулирующий игру жизни въ нашихъ жилахъ. Устраните мысленно сознаніе изъ нашего организма, — и всѣ отправленія этой жизни будутъ строго соблюдать опредѣленный ритмъ вплоть до той великой паузы, которую мы называемъ смертью. Сознаніемъ нарушается ритмъ; не зная его для своихъ собственныхъ функцій, оно прерываетъ его также и въ тѣхъ растительныхъ отправленіяхъ нашего тѣла, на которыя оно можетъ распространить свою власть; ему мы обязаны всѣми ускореніями и замедленіями ритма въ работѣ какъ легкихъ, такъ и кровообращенія. Въ связи съ этимъ различіемъ стоитъ другое. Неритмическія функціи сознанія утомляютъ нашъ организмъ; онъ требуетъ отдыха отъ нихъ въ видѣ сна. Напротивъ, ритмическія функціи дыханія и кровообращенія насъ не утомляютъ: онѣ поэтому и не прерываются, продолжаясь и во время сна.

Отсюда слѣдуетъ, что всякая физическая работа будетъ насъ тѣмъ болѣе утомлять, чѣмъ болѣе она будетъ находиться въ зависимости отъ сознанія, и тѣмъ менѣе, чѣмъ тѣснѣе будетъ ея связь съ растительными отправленіями нашего организма; естественно стремясь дѣлать свою работу менѣе утомительной, человѣкъ этимъ самымъ стремится превращать ее изъ сознательной въ *автоматическую*. А это, въ свою очередь, имѣетъ послѣдствіемъ *ритмичность* работы: будучи поставлена въ связь съ растительными отправленіями организма, она естественно подчиняется ихъ ритму. Итакъ, чѣмъ ритмичнѣе ра-

бота, тѣмъ менѣе она утомляетъ насъ; первый шагъ къ облегченію физической работы, это—подчиненіе ея ритму.

Въ этомъ заключается фізіологическое значеніе ритма; въ этомъ также — поскольку рабочая сила является главнымъ факторомъ политической экономіи — и его экономическое значеніе. И вотъ почему, говоритъ Бюхеръ (стр. 366), „мы не должны вторить современнымъ экономистамъ, признающимъ всякій однообразный трудъ притупляющимъ и въ высшей степени изнуряющимъ. Именно однообразіе работы является величайшимъ благодѣяніемъ для человѣка, пока онъ самъ можетъ *опредѣлять темпъ своихъ движеній и можетъ ихъ прекращать по своему желанію*; только оно допускаетъ ту ритмичность и автоматичность работы, которая сама по себѣ доставляетъ намъ удовлетвореніе тѣмъ, что освобождаетъ нашъ духъ и даетъ просторъ фантазіи... Изнуряетъ человѣка только такая однообразная работа, которая не допускаетъ ритма и требуетъ при каждой новой операціи новаго, хотя бы и однороднаго дѣйствія нашего сознанія, въ родѣ сложенія цѣлыхъ колоннъ чиселъ, переписыванія текстовъ и т. д.“. И тутъ же — да будетъ намъ дозволено это отмѣтить — нашъ авторъ дѣлаетъ выписку: „Очень тонкія наблюденія о вліяніи автоматичности на душевное настроеніе работающаго и на качество работы, а также о дѣйствіи препятствій, нарушающихъ ритмическій ходъ работы и требующихъ новаго размышленія, см. у Л. Толстого, „Анна Каренина“, т. I, ч. 3, гл. 4 и 5“.

Къ этому фізіологическому и экономическому значенію ритма присоединяется третье, которое, если угодно, можно назвать соціологическимъ; оно вступаетъ въ силу каждый разъ, когда въ одной и той же работѣ участвуютъ многіе. Всякій наблюдалъ, какъ рабочіе при постройкѣ каменнаго дома перебрасываютъ кирпичи изъ нижняго этажа въ верхніе. Это — положительно красивое зрѣлище; красиво оно благодаря строгому ритму, съ которымъ каждый рабочій, нагибаясь, ловитъ кирпичъ и, выпрямляясь, бросаетъ его товарищу. Здѣсь, однако, ритмъ соблюдается не ради красоты и равнымъ образомъ не исключительно въ видахъ сбереженія силъ: попробуй рабочій нарушить ритмъ — и кирпичъ попадетъ ему въ голову или пролетитъ мимо него.

Вотъ какія обстоятельства содѣйствовали возникновенію ритма въ работѣ; ритмъ этотъ, однако, помимо самой мѣрности движеній работающаго, будучи направленъ на какой нибудь внѣшній предметъ, сопровождается звукомъ; сюда относятся не только такіе громкіе звуки, какъ ударъ молотка или „бабы“, плескъ веселъ и т. д., но и такіе менѣе слышныя, какъ свистъ косы или треніе кирпича о мозолистую руку рабочаго. Такимъ образомъ, всякая работа сопровождается своей *пѣсней*, состоящей пока изъ одного только ритмическаго шума; это — пѣсня работы, но еще не рабочая пѣсня.

IV.

„Занятый тяжелой физической работой, человѣкъ въ моментъ крайняго напряженія мышцъ дѣлаетъ такъ наз. инспираціонную паузу, стягивая мускулы голосовой щели и не давая такимъ образомъ выхода сдавленному въ легкихъ воздуху. Съ ослабленіемъ мышцъ спирающій язычекъ выдавливается такъ наз. экспираціоннымъ толчкомъ, причемъ дрожаніе голосовыхъ связокъ имѣетъ послѣдствіемъ громкое выдыханіе, выражающееся, смотря по обстоятельствамъ, либо открытымъ гласнымъ *а, о*, либо глухимъ согласнымъ, *уфъ, унъ* и т. д.“. Такъ объясняетъ одинъ изъ многочисленныхъ совѣтчиковъ и помощниковъ Бюхера, медикъ Оппенгеймъ (стр. 301) физическую потребность человѣка — въ извѣстные моменты своей работы „ухнуть“.

Повторяемая въ извѣстныхъ промежуткахъ, равномерность которыхъ обуславливается ритмомъ самой работы, это „уханье“ стало зародышемъ рабочей пѣсни. Первоначальная рабочая пѣсенка не знаетъ словъ, или состоитъ изъ однихъ только междометій, характеръ которыхъ опредѣляется характеромъ самой работы. Равнымъ образомъ эта пѣсенка не знаетъ или почти не знаетъ напѣва; она состоитъ изъ одного только ритма, совпадающаго съ ритмомъ самой работы, причемъ, однако, ослабленіе напряженія естественно выражается не только ослабленіемъ, но и пониженіемъ звука.

Таково фізіологическое происхожденіе рабочей пѣсенки; надобно только помнить, что сами по себѣ фізіологическіе

факторы дали бы лишь зародышъ таковой, но не ее самоё. Все же и въ этомъ своемъ примитивномъ видѣ она — реальная величина, а не плодъ конструкціи; многія изъ сообщаемыхъ Бюхеромъ рабочихъ пѣсенокъ финскихъ народовъ состоятъ изъ однихъ только ритмическихъ звуковъ, безъ напѣва и словъ: да и въ значительной части вполне развитыхъ и, если можно такъ выразиться, литературныхъ пѣсенъ междометія образуютъ прочное ядро, вокругъ котораго группируются мѣняющіяся, смотря по обстоятельствамъ, слова. Такова та древне-греческая „дубинушка“ которую мы читаемъ у Аристофана въ его комедіи „Ирина“ (требуется съ помощью канатовъ сдвинуть камень съ отверстія подземелья, въ которое заключена богиня мира Ирина).

Ну-те дружно, ну-те всѣ!
Сейчасъ, сейчасъ конецъ!
Натужьтесь, не слабѣйте,
Тините молодцомъ!
Вотъ, вотъ сейчасъ конецъ!
О эя дружно, эя всѣ!
О эя, эя, эя, эя, эя, эя!
О эя, эя, эя, эя, эя, всѣ!

Но какъ же объяснить происхожденіе тѣхъ двухъ элементовъ, которыхъ недоставало рабочей пѣсенкѣ въ ея первоначальной формѣ — напѣва и словъ?

Первый вопросъ заводитъ насъ въ темную область музыко-медицины; какъ бы мы ни объясняли это явленіе, но фактъ тотъ, что, кромѣ ритма, и напѣвъ имѣетъ *возбуждающее* вліяніе на человѣка. Многочисленные опыты, произведенные психологами-эксперименталистами, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ оживляющемъ дѣйствіи мелодіи на утомленный организмъ. Вотъ почему изъ барабаннаго боя, свойственнаго (въ томъ или другомъ видѣ) первобытнымъ народамъ, развился мелодичный маршъ; та же эволюція можетъ быть прослѣжена и въ другихъ сферахъ физической работы. Сначала положеніе мелодіи было непрочно; она подвержена частымъ измѣненіямъ въ сравненіи съ постояннымъ и не мѣняющимся ритмомъ; мало-по малу она крѣпнеть и вмѣстѣ съ ритмомъ опредѣляетъ акустическую фізіономію рабочей пѣсенки.

Что же касается словъ, то ихъ возникновеніе было гораздо болѣе сложнымъ процессомъ.

Первое по старшинству (но отнюдь не по интересу) мѣсто занимаютъ *слова-сигналы*. Они обязательно должны были явиться при дружной работѣ, особенно при такой, которая требовала возможнаго сосредоточенія рабочей силы для удара, толчка и т. д. Эти слова-сигналы немногимъ отличаются отъ самихъ междометій, тѣмъ болѣе, что и эти междометія, ведущія свое происхожденіе отъ одинокихъ усилій каждаго, при дружномъ характерѣ работы могли и должны были также служить сигналами.

Оба эти элемента вмѣстѣ взятые образуютъ остовъ рабочей пѣсенки; ея плоть создавалась другимъ путемъ.

V.

Этотъ путь намъ будетъ понятенъ, если мы припомнимъ важный для возникновенія рабочей пѣсенки фактъ, что первоначальная работа человѣка имѣла характеръ *работы-игры*. Въ этомъ элементѣ игры, приправляющемъ работу, заключается зародышъ всякаго искусства; между прочимъ, и поэзіи.

Участіе сознанія, необходимое при началѣ каждой работы, слабѣетъ по мѣрѣ того, какъ сама работа получаетъ автоматическій характеръ. Чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе занимается оно тѣлодвиженіями, ставшими механическими; но въ то же время возбужденіе, порожденное ритмомъ, сообщается и сознанію, оно живѣе, энергичнѣе, чѣмъ въ обыкновенное время. Приливающая и не расходуемая на работу сила ищетъ себѣ примѣненія; она естественно находитъ это примѣненіе въ *игрѣ*. Рабочая пѣсенка въ своей лучшей, поэтически-музыкальной части — игра сознанія, освобожденнаго отъ обязанности контролировать работу мускуловъ и возбужденнаго сопровождающимъ эту работу ритмомъ.

А разъ имѣется потребность творчества — за объектами творчества ходить недалеко. Они имѣются въ достаточномъ подборѣ, начиная объектомъ самой работы, продолжая участвующими и присутствующими, затѣмъ — чувствами работающаго и кончая его воспоминаніями.

Объектъ работы естественно возбуждаетъ участіе работаю-

шаго, если только онъ заинтересованъ въ его благополучіи, что бываетъ чаще всего при свободной, а не подневольной работѣ. Зависитъ это благополучіе не только отъ доброй воли работающаго, но и отъ цѣлаго ряда случайностей, которыя первобытный человѣкъ склоненъ приписывать вліянію таинственныхъ силъ. Эти таинственные силы надлежитъ умиловить или запугать теперь же, во время возникновенія предмета, которому онѣ могутъ вредить; такимъ образомъ къ работѣ примѣшивается ворожба, изъ рабочей пѣсни вырастаетъ пѣсня-заговоръ, *carmen* превращается въ *charme*.

Но это — слишкомъ важная статья, чтобы къ ней относиться легкомысленно. Не всякій рабочій владѣетъ тайнами ворожбы; пожалуй, надежнѣе будетъ за деньги пригласить свѣдущаго человѣка, чтобы онъ пѣлъ за работой. Такъ-то рабочая пѣсенка отдѣляется отъ самого работающаго, порождается новое сословіе — сословіе пѣвцовъ; изъ античнаго міра намъ сохранена среди т.-наз. „гомерическихъ эпиграммъ“ внушительная пѣсня этого рода:

Если вы денегъ дадите, спую, гончары, и вамъ пѣсню.
Внемли молитвамъ, Аоина; десницею печь охраняя,
Дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки и миски,
Чтобъ обожглись хорошенько и прибыли дали довольно,
Чтобъ продавались бойко на рынкѣ, на улицахъ бойко,
Чтобъ отъ той прибыли жирной за пѣсню и насъ наградили.

Если-жъ, безстыжее племя, пѣвца обмануть вы хотите,
Тотчасъ же всѣхъ созову супостатовъ и печи гончарной:
Эй, Разбивака, Трескунъ, Горшколопъ, Сыроглинпкъ коварный,
Эй, Нетушимъ, что искусству тому столько бѣдъ ужъ надѣлалъ!
Бей и жаровню, и домъ, вверхъ дномъ опрокидывай печку,
Все разноси, гончары же пусть крикомъ избу оглашаютъ!
Какъ лошадиная челюсть скрежещетъ, такъ печь да скрежещетъ,
Въ дребезги всѣ разбивал горшки и бутылки, и миски!
Также и ты, дочь Солнца, царица колдуній, Цирцея,
Зелья подбрось имъ лихого, чтобъ съ мастеромъ дѣло погибло!
Также и Хиронъ-владыка своихъ пусть приводитъ кентавровъ
(Тѣхъ, что избѣгли десницы Геракла, и тѣхъ, что побиты);
Все истопчите кругомъ, пусть съ трескомъ обрушится печка,
Пусть они съ жалобнымъ стономъ на лютое бѣдствіе смотреть!
Буду, смѣясь, любоваться на долю лихую злодѣевъ!
Если-жъ спасать кто захочетъ—тому пусть голову пламя
Всю обожжетъ, и послужить другимъ его участь наукой!

Таково соприкосновеніе чародѣйства съ рабочей пѣсней. Мы не можемъ, конечно, утверждать, что пѣсня-заговоръ и пѣсня-молитва непремѣнно развились изъ нея, что они не имѣли своего самостоятельнаго корня; достаточно того, что доказана возможность такого развитія.

Кромѣ объекта работы, возбужденная и творческая мысль работающаго могла остановиться и на работающихъ, и на присутствующихъ. Если присутствуетъ хозяинъ и работодатель, то его особа оттѣсняла всѣ прочія; его славили, если онъ этого заслуживалъ, но и стыдили и поносили, если онъ своею скупостью давалъ къ этому поводъ. Товарищей обыкновенно дразнили — товарокъ, разумѣется, еще больше. Это могло происходить поочередно; тогда получалась пѣсня-діалогъ. А пѣсня-діалогъ — это зародышъ драмы.

Нерѣдко, однако, характеръ работы или настроеніе работающихъ было таково, что внѣшній міръ не привлекалъ ихъ вниманія; тогда творческой потребности давалъ пищу внутренний міръ. То, что полусознательно скрывалось въ тайникахъ души въ качествѣ ли радостнаго или грустнаго чувства, то теперь, подъ вліяніемъ возбуждающаго ритма, облекалось въ слова и звуки, переходило въ пѣсню. Такъ возникла любовная пѣсенка, но и пѣсня-думка; послѣдняя, будучи посвящена воспоминаніямъ, естественно имѣетъ лирико-элегическій характеръ. Все сказанное здѣсь подтверждается массой примѣровъ; несомнѣнно, всѣ отрасли поэзіи могли возникнуть изъ рабочей пѣсни.

Но, чтобы это могло случиться, для этого былъ нуженъ дальнѣйшій шагъ — эманципація рабочей пѣсни.

VI.

Если мы, исходя отъ развитыхъ типовъ поэзіи, зададимся цѣлью прослѣдить въ восходящемъ порядкѣ ихъ развитіе и, поскольку это возможно, ихъ возникновеніе, то мы неизбежно всякій разъ натолкнемся на единую и неразлучную тріаду, составляющую зерно всякой поэзіи: эта тріада — сочетаніе словъ, напѣва и пляски. Чѣмъ древнѣе поэзія, тѣмъ болѣе въ ней

музыка преобладаетъ надъ текстомъ и пляска надъ обоими; эта послѣдняя — самый старинный элементъ триады. Она же первая была отброшена; освобожденная отъ этого громоздкаго элемента, пѣсня, какъ таковая, т.-е. какъ рядъ пѣтыхъ стиховъ, начала новую, болѣе вольную жизнь. Второй отпала музыка, сначала какъ аккомпаниментъ, а потомъ и какъ пѣніе; пѣсня превратилась въ стихотвореніе, которое можно было распространять не только устно, но и письменно. Но характерный элементъ стихотворенія, размѣръ, былъ только пережиткомъ музыки и пляски; съ ихъ паденіемъ онъ пересталъ быть нужнымъ — стихотворная форма переходитъ въ прозаическую.

Итакъ, если мы желаемъ доискаться происхожденія поэзіи, мы должны держаться ея соединенія съ пляской. Теперь спрашивается, что такое пляска? Если исходить, какъ это требуется темой, отъ древнѣйшей и первобытной ея формы, то придется сказать, что пляска — это ритмическія движенія тѣла, а не однѣхъ только ногъ. Изъ этого опредѣленія ясно, что пляска непосредственно родственна физической работѣ; она отличается отъ нея только отсутствіемъ объекта, на который она была направлена, т.-е. смысломъ, а не формой. Сѣятель во время работы равномерно, въ опредѣленномъ ритмѣ переступаетъ съ ноги на ногу, запускаетъ руку въ мѣшокъ, затѣмъ, быстрее ее выпрямляя, бросаетъ зерна. Это — работа, такъ какъ цѣль всѣхъ описанныхъ движеній — обсеменить поле. Устраните эту цѣль, отнимите у сѣятеля мѣшокъ, но заставьте его продѣлывать тѣ же движенія — и передъ вами будетъ не работа, а пляска. Эту пляску мы называемъ мимической, такъ какъ мысль о сѣяніи сопровождаетъ пляшущаго и насъ, его зрителей; но не трудно представить себѣ постепенное исчезновеніе этой сопровождающей мысли. Послѣдствіемъ будетъ постепенное измѣненіе и упрощеніе характерныхъ именно для сѣянія движеній, ихъ такъ называемая стилизація, совершенно аналогичная той, которой подвергаются въ орнаментикѣ растительные мотивы; мимическая пляска превращается въ простую, лишенную сопровождающей мысли, а слѣдовательно, содержанія.

Есть основаніе предполагать, что всѣ пляски произошли именно такимъ путемъ; а если это такъ, то мы намѣтили также путь перехода рабочей пѣсни въ „хорическую“. Правда, не-

подготовленному читателю этотъ путь можетъ показаться довольно страннымъ; съ какой стати сѣятель будетъ производить всѣ движенія сѣянія, кромѣ какъ съ цѣлью обсѣмененія нивы? Казалось бы, разумная работа достаточно утомительна; къ чему повторять ее безъ цѣли? Это соображеніе было бы вполнѣ правильно, если бы не то обстоятельство, о которомъ была рѣчь выше: характеръ игры, присущій работѣ первобытнаго человѣка, въ силу котораго она, помимо своей цѣли, представляется ему самоинтересной; вотъ этотъ-то непосредственный интересъ и побуждалъ къ повторенію. Съ одной стороны, пріятное возбужденіе, обусловленное ритмомъ работы, служило стимуломъ и наградой людямъ, исполняющимъ также и работу-пляску; съ другой стороны, такое же чувство удовлетворенія предполагалось и у боговъ-хранителей работы. Ихъ-то и было всего естественнѣе чествовать мимическими плясками, изображающими состоящія подъ ихъ охраной работы.

Въ этомъ и заключалось то, что мы назвали выше эманципаціей рабочей пѣсни; съ ея превращеніемъ въ хорическую для нея было открыто широкое поле, на которомъ она могла расти и развиваться вполнѣ. Игра ради игры создала поэзію ради поэзіи—создала то „излишнее“, необходимость котораго, признанная извѣстной французской поговоркой, никогда не оспаривалась людьми, имѣющими хоть какое-нибудь представленіе объ этнологическихъ и культурно-историческихъ фактахъ.

VII.

Эманципація рабочей пѣсенки была однако лишь однимъ изъ обоихъ направленій, въ которомъ происходило ея развитіе; другимъ направленіемъ было, напротивъ, ея *закабаленіе*.

Работа-игра была лишь фазисомъ въ развитіи человѣчества. Дикіе народы на этомъ фазисѣ остановились; но для культурныхъ долженъ былъ наступить прогрессъ, поведшій—хотя и не во всѣхъ областяхъ равномѣрно и одновременно—къ дифференціаціи. И вотъ „порвалась цѣпь старинная“: работа-игра выдѣлила изъ себя, съ одной стороны—чистую игру, взявшую отнынѣ подъ свою охрану поэзію, съ другой стороны,

работу-кабалу. А вмѣстѣ съ работой была закабалена и ея товарка и утѣшительница, рабочая пѣсенка.

Я уже сказалъ, что этотъ процессъ совершался неравномѣрно. Въ иныхъ областяхъ труда метаморфоза, о которой мы говоримъ, наступила очень рано. Говоря, напримѣръ, о работѣ мукомоловъ, мы не можемъ указать фазиса, въ которомъ эта работа не была бы подневольной; вотъ почему она вездѣ или почти вездѣ исполняется жевщинами или рабами. Но въ другихъ областяхъ добροхотный трудъ можетъ быть указанъ рядомъ съ кабалнымъ; и тутъ-то стоитъ обратить вниманіе на различный характеръ рабочей пѣсенки въ томъ и другомъ случаѣ. Въ удостовѣреніи этого различнаго характера и заключается одна изъ главныхъ заслугъ Бюхера; касается это, главнымъ образомъ, полевой работы.

Ясный и несомнѣнный фактъ, что нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ могутъ при одинаковой затратѣ времени и труда производить большую массу физической работы, чѣмъ если бы каждый работалъ отдѣльно, повелъ къ ассоціаціи труда. Въ области полевыхъ работъ этотъ принципъ выражался двояко: либо въ видѣ доброхотной ассоціаціи, либо въ видѣ подневольной, причемъ подъ послѣдней мы должны разумѣть и рабскій трудъ, и барщину, и наемную работу, такъ какъ, при всемъ своемъ различіи въ остальномъ, эти три разновидности съ той точки зрѣнія, которая насъ интересуетъ, равносильны.

Доброхотная ассоціація съ цѣлью помочь крестьянину скорѣе убрать хлѣбъ существуетъ главнымъ образомъ въ славянскихъ земляхъ; у насъ она называется *помочью* или *толокой*. Участвующие—молодежь обоего пола; платы не полагается, но само собою разумѣется, что хозяинъ долженъ расщедриться на угощеніе. Характеръ толоки, вслѣдствіе этого, праздничный; какъ парни, такъ и дѣвушки надѣваютъ свои лучшіе наряды; у кого такого нѣтъ, тому остается только повторять жалобу украинской дивчины:

На тымъ боци, на толоци
Вси хороши хлопци;
Мене-жъ маты не пускае,
Бо въ черной сороци.

Неудивительно поэтому, что и рабочая пѣсня, сопровождающая этотъ родъ работы, носить веселый, праздничный характеръ. При непринужденности труда, помимо ритма, и совмѣстное участіе обоихъ половъ дѣйствуетъ возбуждающе; фантазія охотно гуляетъ по запретнымъ, но соблазнительнымъ тропинкамъ вольной и беззаботной любви. Рабочія пѣсни „помочанъ“ полны намековъ и картинокъ въ этомъ родѣ.

Подневольная работа тоже имѣетъ свою пѣсню, только напѣвъ ея иной. „Трудъ нашихъ рукъ, пшеница, наша пища, идетъ къ другому; жена и дѣти дома голодаютъ, некому о нихъ заботиться. Ихъ пищу беретъ другой, слезы проливаетъ молодая мать; ея грудь вянетъ отъ голода, и плачетъ слабый младенецъ“, — такъ поется въ грузинской пѣснѣ. „Я — бѣдная раба, — поетъ эстонка, — за плату служу, цѣпями скованная невольница. Всегда я должна идти, всегда быть первой, хотя бы небо дышало огнемъ, хотя бы дождь меня молотилъ“. Такихъ примѣровъ можно подобрать много. Свое оживляющее дѣйствіе пѣсня проявляетъ и здѣсь, она даетъ исходъ полусознательному чувству, которое безъ нея продолжало бы глухо вить въ тайникахъ души. Но характеръ чувства сообщается и ей; выросшая подъ гнетомъ насилія, — политическаго или экономическаго, все равно — она стала хилой и безцвѣтной, подобно ползущему подъ камнемъ растенію. Нѣтъ игры, нѣтъ и веселья; работа-пытка родила пѣсню-стонъ.

VIII.

Хронологическій подсчетъ тутъ невозможенъ; если бы даже удалось экономической исторіи установить время возникновенія подневольности въ каждой области труда, все же мы не имѣли бы достаточно надежныхъ данныхъ для интересующаго насъ здѣсь вопроса, такъ какъ намъ не удалось бы пріурочить сохранившіяся рабочія пѣсенки къ тому или другому времени. Одно можно сказать съ увѣренностью: что та работа, которая сама въ себѣ носить характеръ пытки и въ позднѣйшемъ времени служила наказаніемъ, никогда добродотной не была. „Среди всѣхъ работъ, которыхъ требуетъ хозяйство первобытныхъ на-

родовъ, нѣтъ тяжелѣе и скучнѣе работы мукомола“, говоритъ Бюхеръ: здѣсь, поэтому, пѣсня-стонъ слышится вездѣ и всегда, „Работайте, мелите живо!“ поютъ работницы въ восточномъ Суданѣ; „Джеллабахи сильны; если мы не будемъ работать, они побьютъ насъ палками“. На то они дикари; въ сооовѣтственныхъ пѣсняхъ цивилизованныхъ народовъ палка не такъ откровенно даетъ о себѣ знать. Тѣмъ не менѣе ея присутствіе чувствуется; перечитывая рабочія пѣсни мукомоловъ, мы легко понимаемъ, что вызвавшая ихъ работа—работа изъ-подъ палки.

Но, странное дѣло! Почему этотъ привкусъ совершенно не слышится въ той лезбосской пѣсенкѣ, съ которой мы начали свой очеркъ?

Мели, мельница, мели:
Вѣдь и Питтакъ нашъ молодецъ,
Что великой Митиленой нынѣ править!

„Онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ мы теперь — значить, и мы можемъ стать тѣмъ же, чѣмъ сталъ теперь онъ“ — вотъ что хочетъ намъ сказать эта древнѣйшая изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ рабочихъ пѣсенокъ. И намъ вспоминается утѣшительное вѣрованіе древнихъ грековъ, согласно которому

Всѣ на Олимпѣ удалились блаженные, землю покинувъ;
Только Надежда живетъ духомъ добра средь людей.

Только надежда можетъ облегчить бремя тяжелого подневольнаго труда; какъ бы ни былъ густъ окружающій насъ мракъ—онъ перестаетъ быть невыносимымъ, если виднѣется свѣтлая точка, обѣщающая намъ выходъ изъ него на свѣтъ, на свободу. Пусть она — очень далеко, пусть ея достиженіе для насъ такъ же невѣроятно, какъ была невѣроятна для лезбосскихъ мукомоловъ царская участь; ничто не мѣшаетъ намъ, если только мы умѣемъ надѣяться, представлять себѣ нашъ идеалъ и близкимъ, и достижимымъ. На завтра счастье, скажемъ мы себѣ, а пока — „мели, мельница, мели“.

ЕВРИПИДЪ ВЪ ПЕРЕВОДЪ И. Θ. АННЕНСКАГО.

АЛКЕСТА и МЕДЕЯ ¹⁾).

(1907).

I.

Прошу понимать это шаблонное заглавіе не въ шаблонномъ его смыслѣ: не передача русскими стихами шести трагедій Еврипида составить содержаніе моей статьи, хотя, конечно, рѣчь будетъ и о ней: И. Θ. Анненскій — вовсе не переводчикъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова, не толмачъ, старающийся только своими словами передать непонятную для его среды рѣчь подлинника. Еврипидъ для него — часть его собственной жизни, существо, родственное ему самому, и притомъ родственное какъ схожими, такъ и контрастирующими чертами своего естества. Его онъ воспринялъ, въ него онъ вчувствовался всею своей душой; и этого усвоеннаго имъ Еврипида онъ передаетъ своимъ читателямъ. Для этой полной передачи одного только „перевода“ въ тѣсномъ смыслѣ слова было мало: никакое искусство толмача не можетъ передать той борьбы

¹⁾ „Театръ Еврипида. Полный стихотворный переводъ съ греческаго всѣхъ пьесъ и отрывковъ, дошедшихъ до насъ подъ этимъ именемъ. Въ трехъ томахъ, съ двумя введеніями, статьями объ отдѣльныхъ пьесахъ и объяснительнымъ указателемъ И. Θ. Анненскаго“. Т. I (сод. введеніе п. з. „античная трагедія“, переводъ драмъ „Алкеста“, „Медея“, „Ипполитъ“, „Гераклъ“, „Іонъ“ и „Киклопъ“, и статья объ этихъ шести драмахъ. 628 стр. 8^о).

постигающаго ума съ постигаемымъ предметомъ, тѣхъ перипетій вчувствованія, результатомъ которыхъ является воскрешеніе переводимаго въ душѣ переводчика. За каждой изъ переведенныхъ драмъ слѣдуетъ, какъ дополненіе къ ней, объяснительная статья; лишь вмѣстѣ взятыя онѣ даютъ намъ въ полной мѣрѣ „Еврипида въ переводѣ И. Θ. Анненскаго“.

Но, могутъ спросить, не содержится ли въ этомъ пониманіи умаленія цѣнности книги? Вѣдь, въ сущности, читатель требуетъ отъ переводчика „настоящаго“, а не предомленного автора. И, дѣйствительно стоятъ гдѣ бы то ни было появиться оригинальному, колоритному, однимъ словомъ—художественному переводу, какъ тотчасъ же выступаетъ на сцену критикъ съ заявленіемъ, что переводчикъ далъ намъ своего собственнаго, а не „настоящаго“ автора. А настоящій авторъ—если спросить критика, —получится, если провести подлинникъ черезъ механическій аппаратъ словаря и грамматики... Нѣтъ плачевнѣе ошибки: никогда безжизненное не будетъ передачей жизни. Субъективизмъ въ художественномъ переводѣ неизбѣженъ; его же право на вниманіе читателей стоитъ въ прямой пропорціи съ интересностью самого „субъекта“.

Въ сущности, называя переводъ И. Θ. художественнымъ, мы этимъ самымъ называемъ его субъективнымъ; въ чемъ оправданіе этого субъективизма—на это я намекнулъ только что. Душа у переводчика—тонкая, изящная, нѣжная; кто читалъ хотя бы его „книгу отраженій“, всецѣло посвященную эстетической критикѣ произведеній новой русской литературы, тотъ знаетъ, что онъ всего менѣе—узкій специалистъ. Самъ художникъ формы въ широкомъ и глубокомъ значеніи этого слова, онъ и у другихъ любитъ и цѣнитъ изысканность; ему дорогъ оттѣнокъ, дорога прихотливость, запечатлѣнная печатью живой, желающей и выбирающей души. Стоитъ ли послѣ этого говорить, насколько интересно „отраженіе“ въ этой душѣ такого нюансированнаго и прихотливаго поэта, какъ Еврипидъ?—Но въ чемъ же тогда задача критики? Я не могу критиковать Еврипида И. Θ. иначе, чѣмъ противопоставляя ему того, который отразился въ моей собственной душѣ: то-есть, разумѣется, такого же субъективнаго. Это—условіе неизбѣжное, *lex operis*. Но въ данномъ случаѣ оно вмѣстѣ съ тѣмъ и выгодно; кто бы

изъ насъ ни былъ правъ—несомнѣнно, что концепція И. Θ. будетъ наилучшимъ образомъ оттѣнена благодаря такому сопоставленію или противопоставленію, а это и есть задача настоящей статьи.

Сначала, однако, нѣсколько словъ о самомъ переводѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Я назвалъ его художественнымъ; это не значитъ, однако, что строгій къ требованіямъ формы читатель нигдѣ не встрѣтитъ пищи для критики. Нашъ переводчикъ—художникъ, да, но художникъ прихотливый и нетерпѣливый, повинующійся своему настроенію, творящій неравномѣрно, сообразно съ чередованіемъ прилива и отлива вдохновенія—и это чередованіе оставило свои слѣды на самомъ переводѣ. Кромѣ того, на немъ сказалось также, думается мнѣ, влияніе одной иллюзіи, которой переводчики часто бываютъ подвержены: творя въ полномъ, интимнѣйшемъ знакомствѣ съ подлинникомъ, они нерѣдко бываютъ склонны допускать такіе обороты, которые именно при этомъ знакомствѣ непосредственно понятны и поэтому остаются темными для неподготовленнаго читателя. Есть, затѣмъ, и такія мѣста, относительно которыхъ критикъ, какъ филологъ, могъ бы поспорить съ переводчикомъ. Но, конечно, не о нихъ буду я говорить въ этой статьѣ, да и вообще не объ особенностяхъ перевода, какъ такового: о немъ достаточно сказаннаго, съ прибавленіемъ, что при всемъ томъ переводъ И. Θ. остается переводомъ художественнымъ и занимаетъ очень почетное мѣсто въ русской переводной литературѣ. Спѣшимъ перейти отъ частныхъ къ цѣлому—къ отраженію Еврипида въ душѣ переводчика.

Впрочемъ, и это цѣлое можетъ быть постигнуто лишь въ частностяхъ; къ тому же послѣднія далеко не всѣ еще налицо. Но дѣло не въ числѣ; среди переведенныхъ трагедій находятся такія замѣчательныя, такія характерныя для генія Еврипида, какъ Алкеста и Медея. Въ то же время онѣ—наиболѣе раннія изъ сохранившихся и въ книгѣ помѣщены первыми; естественно, что и въ объяснительныхъ къ нимъ статьяхъ переводчику пришлось особенно часто касаться принципиальныхъ вопросовъ. Послѣдуемъ же за нимъ въ эту вѣчно живую, вѣчно интересную область.

Но тутъ мы съ первыхъ же шаговъ встрѣчаемъ заставу.

„Цѣнность поэтического объективированія и даже его психологическая правда,—говорить И. Ѳ., стр. 237,—еще очень сомнительны. Красота поэзіи заключается, прежде всего, въ свободномъ и широкомъ проявленіи поэтической индивидуальности, и узы натуралистической школы нисколько не менѣе стѣснительны и условны, чѣмъ какія-нибудь наивныя единства Пьера Корнеля“. Съ послѣднимъ отрицательнымъ сужденіемъ я не прочь согласиться; но положительное? Такъ и видно, что его даетъ поэтъ и немножко, думается мнѣ, *pro domo sua*. Читатель же скажетъ: это—не рѣшеніе вопроса, а лишь отсрочка рѣшенія. Въ „Гамлетѣ“ свободно и широко проявляется поэтическая индивидуальность его автора; но, право же, въ „Пѣтухѣ“ нашего общаго знакомаго Ивана Ивановича она проявляется ничуть не хуже. Почему же мы первого славимъ, а второго нѣтъ? Очевидно, потому, что цѣнность обѣихъ индивидуальностей неодинакова. Итакъ, споръ переносится только на другую почву. Мы выпустили птичку изъ клѣтки въ комнату; сомнѣваюсь, чтобы здѣсь было легче ее поймать.

Но этотъ споръ, пожалуй, слишкомъ крупнаго калибра для небольшой статьи; вернемся къ „Алкестѣ“ и „Медее“.

II.

Что такое „Алкеста“? Молодому ѳессалійскому царю Адмету рокомъ дарована милость, чтобы онъ могъ, когда приспѣтъ день его безвременной кончины, вмѣсто себя отправить охотника въ царство мертвыхъ. День наступаетъ; но никто изъ близкихъ, ни старикъ-отецъ, ни старуха-мать не согласны умереть за Адмета, соглашается лишь его молодая жена, Алкеста. Она умираетъ. Въ омраченный домъ является скиталецъ—Гераклъ: долгъ гостепріимства велитъ Адмету принять его и—чтобы гость не отказался отъ приглашенія—скрыть отъ него свое несчастье. Все же Гераклъ узнаетъ о немъ случайно; чтобъ услужить другу, онъ отбиваетъ Алкесту у бога смерти и возвращаетъ ее въ домъ ея мужа.

Что такое „Медее“? Ясонъ отправился къ царю Эету добывать золотое руно; онъ исполняетъ свою задачу и спасаетъ

свою жизнь благодаря любви къ нему дочери Ээта, царевны Медеи, которую онъ и увозить домой. Вскорѣ они, — Ясонъ, Медея и ихъ два маленькихъ сына — изгнанные изъ родины, принуждены искать убѣжища у коринѣскаго царя Креонта. Здѣсь въ молодого героя влюбляется единственная дочь царя, наслѣдница царства; помѣхой ихъ браку является Медея — она должна уступить. Но она не согласна уступить — и жертвами ея козней гибнуть не только Креонтъ съ дочерью, но и оба сына Ясона.

Есть ли въ этихъ двухъ трагедіяхъ сходство? Да, есть: оно заключается въ центральной мужской личности. Адметъ и Ясонъ — въ сущности одинъ и тотъ же характеръ. Таково мнѣніе переводчика: „Этотъ златокудрый эллинъ — одинъ изъ тѣхъ людей, славу и счастье которыхъ оберегаютъ или даже создаютъ влюбленные въ нихъ женщины. Ихъ много: Адметъ, Ясонъ“ ... (стр. 220). Въ чемъ же основная черта ихъ характера? Въ томъ, что они „эгоисты“. Нашъ переводчикъ много разъ ихъ такъ называетъ, и притомъ не въ эристическомъ тонѣ, а со спокойной, самопонятной увѣренностью, очевидно не ожидая встрѣтить возраженій со стороны своихъ читателей.

И дѣйствительно, какія тутъ возраженія возможны? Одинъ идетъ къ своему отцу, Ферету, и говоритъ ему: „умри за меня, чтобы я могъ начать новую жизнь“; отвергнутый имъ, онъ обращается съ тѣмъ же требованіемъ къ женѣ, безсовѣстно злоупотребляя ею молодой, самоотверженной любовью. Другой говоритъ женѣ: „Оставь мой домъ, чтобы я могъ начать новую жизнь“. Это ли не эгоизмъ? Конечно; только если Адметъ — эгоистъ, то и жертва за него Алкесты теряетъ всякую нравственную цѣнность; несомнѣнно правой въ своей ненависти и мести оказывается Медея. И вотъ, кажется, причина, почему новѣйшая драма, усыновивъ Медею, отвергла Алкесту. Современная Алкеста сказала бы мужу. „Я бы съ радостью отдала свою жизнь за тебя; но разъ ты этой жертвы требуешь, или желаешь, или ждешь — ты становишься недостойнымъ и ея и меня“. А изъ этой концепціи трагедіи не сдѣлаешь.

Да, повидимому, приговоръ безповоротенъ. Одинъ только человѣкъ протестуетъ противъ него, и этотъ одинъ — самъ Еврипидъ.

Прочтите внимательно сцену прощанія Адмета съ Алкестой, сцену его возвращенія съ ея похоронъ—да вѣдь этому человеку сто разъ легче было бы умереть самому, чѣмъ отправлять на смерть жену, продолжая жить въ опустѣвшемъ и опостылѣвшемъ дворцѣ!

И прочтите внимательно сцену Ясона съ дѣтьми... Но и помимо ея: вникните въ его отношенія къ этой самой ненавидящей и проклинающей его Медеѣ! Она изгнана—ну, и съ глазъ долой; что можетъ быть лучше для эгоиста? Такъ нѣтъ же: онъ всячески ублажаетъ царскій гнѣвъ, стараясь сохранить ее въ Коринѣѣ, и когда она своими угрозами добилаcь изгнанія—онъ предлагаетъ ей свою помощь, ищетъ для нея убѣжища у своихъ близкихъ, и, конечно, когда его старый слуга увѣряетъ Медею, что ея изгнаніе только временное—мы чувствуемъ, что онъ этимъ выражаетъ мысли своего хозяина. Да и сама Медея знаетъ, что ея супругъ не эгоистъ: оттого-то она и оставляетъ ему жизнь, это высшее благо всѣхъ эгоистовъ.

Положительно, мы путаемся въ противорѣчіяхъ—и я сильно подозреваю, что именно эти противорѣчія и имъ подобныя и навели нашего переводчика на его отрицательное отношеніе къ „психологической правдѣ“. Посмотримъ, однако, нѣтъ ли другого исхода.

III.

Очень часто противорѣчія—психологическія и другія—получаются вслѣдствіе того, что критикъ, сознательно или безсознательно, навязываетъ изслѣдуемому автору свою манеру мыслить и чувствовать, точно она—единственно возможная и допустимая. Въ данномъ случаѣ мы молчаливо навязали Еврипиду свою *концепцію человека*—единственную, которую мы знаемъ, которая намъ непосредственно понятна. А между тѣмъ въ эпоху Еврипида другая концепція была въ ходу—до того въ ходу, что поэтъ даже не оговаривается, а считается съ нею, какъ съ общимъ, самопонятнымъ фономъ. Разница между этими двумя концепціями еще не замѣчена—что и понятно, такъ какъ мы еще не додумались до біологической этики; но она на очереди. Назовемъ пока одну—*онтономической*, дру-

гую—*филономической* (phyl-) концепціей; первая—наша, вторая—та, которую предполагаетъ Еврипидъ. Пробный камень для обѣихъ—представленіе о Богѣ, карающемъ преступленія людей въ третьемъ и четвертомъ поколѣніи, представленіе, которое древній Израиль раздѣлялъ съ древней Элладой. Съ онтономической точки зрѣнія это—верхъ несправедливости; съ филономической—высшая правда. Когда Цицеронъ, говоря объ этомъ представленіи („о природѣ боговъ“ III 90), гнѣвно восклицаетъ: „какое же государство потерпѣло бы законодателя, который за вину отца или дѣда сталъ бы наказывать сына или внука?“—то мы убѣждаемся, что къ его эпохѣ онтономическая концепція въ сознаніи образованныхъ людей окончательно вытѣснила филономическую. Въ эпоху Еврипида дѣла обстоиали иначе.

Возьмите дерево—скажемъ, сосну. Изъ ея ствола въ стройномъ порядкѣ вырастаютъ, постепенно уменьшаясь, вѣтви. Каждая изъ нихъ живетъ своею собственною жизнью, растетъ и гибнетъ сама по себѣ; но все же всѣ онѣ объединены общимъ стволомъ, и ядъ, который провикъ бы въ одну вѣтвь, не преминулъ бы современемъ заразить и остальные. Представимъ себѣ теперь эти вѣтви одаренными сознаниемъ: если это сознание будетъ ограничиваться каждой вѣтвью въ отдѣльности, то мы получимъ онтономическую концепцію. Но если каждая вѣтвь будетъ, сверхъ того, еще *непосредственно* сознавать и свою связь съ остальными, то ея сознание будетъ филономическимъ. Отсюда видно, что послѣднее сознание полнѣе и совершеннѣе первого.

При чтеніи Эсхила, Пиндара, Геродота мы убѣждаемся, что въ тѣ времена люди дѣйствительно еще сознавали филономически. Человѣкъ чувствовалъ себя заодно съ предками и потомками; нынѣ живущія особи—по красивому сравненію Эсхила—точно поплавки погруженной сѣти: онѣ на плоскости современности даютъ свидѣтельство о тѣхъ своихъ предкахъ, которые уже погрузились въ глубь прошлаго; черезъ нихъ эти послѣдніе живутъ, безъ нихъ ихъ уничтоженіе было бы полнымъ. И это біологическое безсмертіе было для эллина нашей эпохи куда важнѣе того эсхатологическаго, которое обуславливало вѣру въ обитель Аида. Говоря о томъ, какъ боги наказали вѣроломство Главка, Эпикидова сына, Геродотъ съ осо-

бымъ удареніемъ заявляетъ, что нѣтъ теперь его потомковъ, нѣтъ его „очага“ на землѣ: ничто не можетъ сравниться съ горемъ той души, у которой отрѣзали поплавокъ, соединявшій ее съ міромъ свѣта и жизни.

Понятно, что эта непосредственно сознаваемая связь и солидарность поколѣній не могла не создать особой этики, отличной отъ той онтономической, которую исповѣдуемъ мы. Чтобы понять ее, вернемся къ нашему дереву и его вѣтвямъ; сведемъ число послѣднихъ, ради схематическаго упрощенія, къ тремъ.

Во-первыхъ, нижняя. Она уже потемнѣла, отчасти даже пожелтѣла; она еще гибка, но вы чувствуете, что этой гибкости хватить не надолго. Для экономіи дерева она уже не нужна; вы можете уже теперь ее сломать, предупреждая осеннія бури, и остальное дерево ничуть отъ этого не пострадаетъ. Мы не знаемъ остальныхъ ея нравственныхъ принциповъ, но съ біологической точки зрѣнія она по истинѣ имѣетъ „право на смерть“.

Во-вторыхъ, средняя. Она распустилась на солнцѣ самой богатой, самой яркой зеленью; претвореніемъ сока, производимымъ реакціей свѣта, она питаетъ не только себя, но и все дерево, являясь носительницей его жизненныхъ силъ, залогомъ его существованія. Имѣетъ ли эта вѣть „право на смерть“? Нѣтъ, конечно: природа, равнодушная къ судьбѣ вѣтвей, но ревнивая къ сохраненію дерева, возложила на нее тяжелый подчасъ долгъ: „долгъ жизни“.

Наконецъ, верхняя. Ея нѣжная, мягкая хвоя еще неспособна питать дерево; она сама питается имъ. Ея потеря еще не грозитъ дереву скорой гибелью—быть можетъ, оно даже вовсе не погибнетъ. Быть можетъ, преобладающая сила средней вѣтви создастъ новые отпрыски, которые обезпечатъ дальнѣйшую его жизнь. Но его ростъ во всякомъ случаѣ будетъ задержанъ: „долгъ жизни“, поэтому, лежитъ отчасти и на ней.

IV.

Все сказанное относится къ героямъ „Алкесты“: имя нижней вѣтви—Феретъ, средней—Адметъ, верхней—Евмелъ. Мы раньше неправильно выразились: „Умри за меня“—никогда

Адметъ этого отцу не говорилъ. Его молчаливое ожиданіе сводилось къ словамъ: „Умри за нашъ домъ. Ты можешь это сдѣлать, я—нѣтъ: у тебя есть право на смерть, на мнѣ лежитъ долгъ жизни“. И, конечно, чувствуя такъ, онъ не эгоистъ — это слово совершенно неумѣстно тамъ, гдѣ часть говорить отъ имени того цѣлаго, носительницей котораго она является. И, конечно, онъ правъ.

Да, правъ, но только съ точки зрѣнія филономической морали. Пусть въ обществѣ подъ вліяніемъ индивидуализма филономическое сознаніе ослабнетъ—и дѣло Адмета предстанетъ въ иномъ свѣтѣ. Именно эпоха Еврипида была эпохой возникновенія онтономического сознанія: конфликтъ, немыслимый раньше, сталъ возможенъ теперь. Носителемъ онтономической идеи Еврипидъ выставилъ старца Ферета. Всѣмъ грекамъ было памятно циническое слово, которое онъ говорилъ сыну:

Самъ любишь жизнь ты, кажется; въ отцѣ
Зачѣмъ признать любви не хочешь той же?

„Той же“—съ онтономической точки зрѣнія, да. Но стоитъ взглянуть на дѣло съ филономической точки зрѣнія—и неправда этого заявленія станетъ очевидной. Нѣтъ, не той же любовью любить жизнь тотъ, кто наполняетъ ею лишь свои собственные вянушія жилы, и тотъ, кто черезъ себя переливаетъ ее въ своихъ дѣтей и ихъ дѣтей, въ весь этотъ потокъ будущаго, смутно сознаваемый въ самыхъ сокровенныхъ нѣдрахъ человѣческой души. Феретъ не чувствуетъ этой разницы; Адметъ ее чувствуетъ, но выразить не можетъ—какъ не можетъ ее выразить и самъ Еврипидъ: сила абстракціи до этого еще не дошла. Одно для него ясно: человѣкъ, который бы отказался пожертвовать послѣдними каплями своей жизни для того, чтобы купить себѣ біологическое безсмертіе — невозможенъ. Если Феретъ пренебрегъ тѣмъ залогомъ безсмертія, тѣмъ поплавромъ на поверхности временъ, который онъ имѣетъ въ лицѣ Адмета—то потому только, что Адметъ въ дѣйствительности для него такимъ поплавромъ не былъ. Другими словами: Феретъ въ дѣйствительности ему не отецъ. Отсюда его слово:

Когда

Надъ головой висѣла смерть моею,
Ты не пришелъ, старикъ. Ты пожалѣлъ

Остаткомъ дней пожертвовать. Зачѣмъ же
 Надъ юностью, загубленной тобою,
 Теперь приходишь плакать? Обличень
 Передъ людьми достаточно; едва ли
 Ты даже былъ отцомъ моимъ, старикъ.

—справедливо остановившее на себѣ вниманіе переводчика. И можно поручиться, что слушатели Адмета чувствовали съ нимъ заодно; въ этомъ насъ убѣждаютъ надгробныя надписи отцовъ на могилахъ сыновей съ ихъ постоянно варьируемымъ припѣвомъ; „я похоронилъ здѣсь того, которому слѣдовало бы меня похоронить“.

Но при чемъ же здѣсь Алкеста, героиня трагедіи? Она и словомъ и дѣломъ за филономическую концепцію жизни. Она жертвуетъ собой за Адмета вовсе не потому, чтобы она соглашалась съ той сравнительной оцѣнкой мужской и женской жизни, которую мы потомъ услышимъ изъ устъ Ифигеніи (ст. 125).

Вѣдь одинъ ахейскій воинъ стоитъ насъ десятковъ тысячъ.

Тѣ слова были сказаны передъ походомъ, а война дѣйствительно обезцѣниваетъ женщину въ сравненіи съ мужчиной-воиномъ. Нѣтъ; но Алкеста чувствуетъ, что для дома Адмета она менѣе нужна, чѣмъ Адметъ: ея смерть будетъ раной для дома, смерть Адмета—его гибелью. И вотъ почему, умирая, она за-прещаетъ—это слово здѣсь уместно—Адмету вступать во второй бракъ. Дѣло тутъ вовсе не въ посмертной женской ревности: совершенно напротивъ. Тамъ, гдѣ Алкеста прощается съ брачнымъ ложемъ, тамъ, гдѣ она думаетъ исключительно о своей любви къ своему молодому мужу—тамъ она находитъ мысль о преемницѣ вполне естественной: пусть бы только эта преемница такъ же любила Адмета, какъ она!

О ложе, ты, что брачный поясъ мой
 Распущеннымъ увидѣло,—прости!
 Я не сержусь, хоть только ты сгубило
 Меня; тебѣ и мужу измѣнить
 Боялась я и, видишь,—умираю.
 Другой женѣ послужишь ты; она
 Вѣрнѣй меня не будетъ... развѣ только
 Счастливѣе.

Но стоитъ ей вспомнить о дѣтяхъ—и ея мнѣніе мѣняется. Къ преемницѣ она равнодушна, но мачехи своихъ дѣтей не допускаетъ. Почему? Именно потому, что она умираетъ не за Адмета, а за его домъ, и даже не за его домъ, а за ихъ общій домъ, залогъ также и ея біологическаго безсмертія. Она желаетъ, чтобы волна жизни перелилась черезъ Адмета въ его потомство, но она желаетъ также, чтобы каналами были ея дѣти. А при мачехѣ это невозможно: она, конечно, постарается, чтобы соки жизни Адметова дома потекли черезъ ея съ нимъ дѣтей, и чтобы дѣти Алкесты завяли и засохли, какъ преждевременный, бесплодный отпрыскъ. Прочтите ея предсмертное обращеніе къ мужу: какъ здѣсь каждое слово дышитъ этой безотчетно чувствуемой филономической концепціей жизни!

Отцомъ и матерью ты преданъ... Смерть
И такъ надъ ними ужъ нависла; ты же,
Ты былъ одинъ у нихъ. И умереть
Они могли бы честно, уступивши
Тебѣ сіянье солнца: на другихъ
Дѣтей у стариковъ вѣдь нѣтъ надежды...
И я могла бы жить, да и тебѣ
Оплакивать жены-бъ не приходилось,
Съ сиротами вдовѣя... Видно такъ
Кто изъ боговъ судилъ... Да будетъ воля
Его... А мнѣ одно ты общай.
О мздѣ прошу—не равной: вѣдь цѣннѣ
Чѣмъ жизни даръ, у человѣка нѣтъ...
Ты скажешь самъ Адметъ, что справедливо
Желаніе мое... Люби дѣтей,
Какъ я люблю ихъ! Ты-жъ ихъ любишь? Правда?
Вѣдь не безумецъ ты... О, сохрани
Для нихъ мой домъ! Ты мачехи къ сиротамъ
Не приводитъ, чтобъ въ зависти дѣтей
Моихъ она, Адметъ, не затолкала,
Не запугала слабыхъ... И змѣя
Для пасынковъ ея не будетъ злѣе.

Да, на этой почвѣ возможенъ конфликтъ; а гдѣ конфликтъ, тамъ и трагедія. Одно только нехорошо: для этой трагедіи развязки нѣтъ. Для развязки пришлось ввести новое лицо, Геракла, и новый мотивъ, гостепріимство, и этимъ раздвоить трагедію; конфликтъ разыгрывается между отцомъ и сыномъ,

сама же героиня остается въ сторонѣ. Для полной и единой трагедіи пришлось бы *сдѣлать героиню носительницей той другой, онтономической концепціи жизни*; другими словами—замѣнить проблему Алкесты проблемою *Медеи*.

V.

Дѣйствительно, въ наличности *этого* конфликта—главная разница между Медеей Еврипида и всѣми позднѣйшими. Всѣ позднѣйшіе поэты перевели проблему Медеи на онтономическую почву; при этомъ Медея получилась правильная — она и у Еврипида была онтономисткой—но Ясонъ пропалъ. *Male gratus Iason*—вотъ формула для его характера у Овидія, да и раньше.

Для насъ, согласно сказанному, проблема Медеи вырастаетъ изъ проблемы Алкесты. Ясонъ — тотъ же Адметъ, черта въ черту. Ферета пѣтъ — онъ и не нуженъ, такъ какъ представляемая имъ идея обрѣла носительницу въ героинѣ. Зато та преемница, о которой думаетъ Алкеста, введена въ драму: за нее на сценѣ говорить ея отецъ, Креонтъ. Дѣти героя, какъ эмблема дома, нужны: они тутъ же на нашихъ глазахъ. Ну, а Алкесту смѣнила Медея.

Чтобы понять значеніе этой перемѣны, прочтемъ внимательно ту сцену, въ которой Ясонъ отвѣчаетъ на упреки Медеи (д. II сц. 7):

Отвѣчу

По поводу женитьбы. Поступилъ,
Во-первыхъ, я умно, затѣмъ и скромно ¹⁾
И, наконецъ, на пользу и тебѣ,
И нашимъ дѣтямъ. Только ты дослушай.

Когда изъ Иолка цѣпью за собою
Сюда одни несчастія принесъ я,—
Изгнаннику какой удѣлъ счастливѣй
Пригрезиться могъ даже, чѣмъ союзъ
Съ царвною? И ты напрасно колени
Насъ тѣмъ, жена, что ненавистно ложе

¹⁾ Т.-е. не руководимый побужденіями чувственности, не подъ влияніемъ новой любви, какъ представляла себѣ дѣло Медея.

Меден мнѣ, и новою сраженъ
Я страстию.

Женился

И, чтобъ себя устроить, чтобъ нужды
Не видѣть намъ—по опыту я знаю,
Что бѣднаго чуждается и другъ.

(Задумчиво).

Твоихъ же я хотѣлъ достойно рода
Поднять дѣтей, на счастье себѣ,
Черезъ братьевъ ихъ, которые родятся.

(Замѣчу между скобокъ, что я тутъ измѣнилъ смыслъ переводчика: у него къ послѣднимъ тремъ стихамъ стоитъ ремарка: „стараясь придать голосу задумчивость“. При моемъ пониманіи Ясона, какъ представителя филономической морали, я не нуждаюсь въ гипотезѣ притворства, которая въ данномъ случаѣ исключается также и сценой съ дѣтьми, о которой см. ниже. Не притворяется тотъ, кто чувствуетъ *свою* правду за собой).

Характеренъ отвѣтъ Медеи:

Честный

Уговорилъ бы близкихъ и потомъ
Вступилъ бы въ бракъ, а ты сперва женился...

Ясонъ.

Скажи тебѣ заранее—сейчасъ
Ты такъ бы и послушалась!

А вотъ Алкестѣ Адметъ сказалъ все заранее, и она послушалась. Будь здѣсь вмѣсто Медеи Алкеста — Ясонъ сказалъ бы ей: „*Нашъ домъ* требуетъ отъ насъ жертвы—и ты прекрасно знаешь, что для меня эта жертва много тяжелѣе, чѣмъ для тебя. Теперь онъ разрушенъ, іолкское царство потеряно, мы — изгнанники, живемъ чужою милостью, у нашихъ дѣтей нѣтъ надежды на будущее, нѣтъ для нихъ равнаго брака; они заглохнутъ на чужбинѣ, и скорѣе не будетъ въ Элладѣ того, который хранилъ бы память о домѣ Эсонидовъ. Чтобы поднять его, есть одно средство: тотъ бракъ, который мнѣ предлагаютъ съ дочерью коринесскаго царя Креонта, не имѣющаго сыновей. Конечно, его царства наши съ тобой дѣти не унаследуютъ—оно принадлежитъ по праву тому сыну, которому

предстоит родиться отъ новаго брака, будущему внуку царя Креонта. Но зато, какъ сыновья правителя страны, а затѣмъ какъ старшіе братья будущаго царя, они будутъ первыми въ Коринѣ вельможами, а вмѣстѣ съ ними будешь возведена и ты“. И, конечно, Алкеста поняла бы его. Искренность же этихъ соображеній достаточно доказывается обращеніемъ Ясона къ дѣтямъ, на которое я уже не разъ ссылаясь:

Вамъ же, дѣти,
При помощи боговъ я доказать
Свои заботы долгія надѣюсь.
Когда-нибудь межъ первыми людьми
Увижу васъ въ Коринѣ—черезъ братьевъ,
Которые родятся. А пока
Растите, дѣтки,—дальше-жъ дѣло бога,
Коль есть такой, что любитъ насъ и наше.
Дастъ богъ, сюда вернетесь въ цвѣтѣ силъ.
И юности, и недругамъ моимъ
Покажете, что расцвѣли не даромъ...

Но, конечно, не Медеѣ понять эту инстинктивную заботу о домѣ Эсонидовъ, живущую въ сердцѣ теперешняго носителя его жизненныхъ силъ. Что ей этотъ домъ? Она безжалостно разрушила домъ своего отца ради Ясона; она знаетъ только одно чувство—любовь къ этому человѣку:

Все, что имѣла я, слилось въ одномъ.
И это былъ мой мужъ.

Мѣря также и его на свою собственную, онтономическую мѣрку, она не можетъ себѣ объяснить его поступка иначе, какъ предположеніемъ, что онъ разлюбилъ ее ради соперницы. Отсюда и первоначальный планъ ея мести:

Чтобы отца и дочь, и мужа съ нею
Мы въ трупы обратили... (д. I сц. 6).

О дѣтяхъ ни слова; правда, она мѣстами и имъ грозитъ, но просто потому, что они ей опостылѣли, какъ дѣти Ясона, а не для того, чтобы ихъ убійствомъ уничтожить его. Эта послѣдняя мысль вырабатывается у нея мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ она *разсудочно* убѣждается въ неправильности своего первоначальнаго предположенія о причинахъ Ясоновой измѣны...

Я нарочно подчеркнулъ слово «разсудочно»; Медея не была бы Медеей, если бы она когда-либо могла сердцемъ и инстинктомъ постигнуть Ясона и его филономическую мораль — тогда вся идея мести, какъ безпричинной, отпала бы сама собой. Но нѣтъ: она продолжаетъ чувствовать и волить онтономически, она попрежнему дышитъ местью, и новое откровеніе дѣйствуетъ на нее лишь постольку, поскольку оно опредѣляетъ собой выборъ средствъ и орудій мести. А, ты не о собственномъ счастьѣ мечталъ? Тогда и убивать тебя нечего. Ты мною пожертвовалъ за свой домъ? Разрушимъ же этотъ домъ, и настоящій и будущій, оставляя въ живыхъ Ясона, чтобы онъ видѣлъ и чувствовалъ крушеніе своихъ надеждъ.

Новое откровеніе... она слышитъ его впервые изъ устъ Ясона (выписанныя выше слова), и оно на минуту озадачиваетъ ее: отсюда ея на первый взглядъ странное возраженіе: „отчего же ты мнѣ этого раньше не сказалъ?“, которое Ясонъ разбиваетъ тотчасъ безусловно правильнымъ отвѣтомъ: „да разве ты была бы въ состояніи меня понять?“ Но это — впечатлѣніе минутное, и она тотчасъ же заглушаетъ его онтономическими соображеніями, вызывающими справедливое презрѣніе ея мужа. Но вотъ новый факторъ дѣйствія — сцена съ Эгеемъ... Я не согласенъ съ переводчикомъ въ его пониманіи Эгея: „это — полный контрастъ Ясону и по натурѣ, и по характеру ума, и по положенію въ драмѣ“ (стр. 230); по-моему, это — тотъ же Ясонъ, такой же филономистъ. Если онъ порицаетъ Ясона, то потому только, что Медея представила его поступокъ въ неправильномъ, онтономическомъ свѣтѣ:

Да сдѣлалъ что жъ Ясонъ? Скажи мнѣ прямо.

Медея.

Онъ взялъ жену — хозяйку надо мной.

Эгей.

Онъ не посмѣлъ бы, нѣтъ. Постыдно слишкомъ.

Медея.

Вотъ именно онъ такъ и поступилъ.

Эгей.

Влюбился, что-ль, или ты ему постыла?

Медея.

Должно быть, страсть,—измѣна-жъ налицо.

Эгей.

Такъ богъ же съ нимъ. коль сердцемъ онъ такъ низокъ.

Зато значеніе всей сцены съ Эгеемъ для дальнѣйшаго дѣйствія И. О. оцѣнилъ совершенно правильно. Пока Эгей говорить о своемъ горячемъ желаніи имѣть дѣтей, онъ заставляетъ Медею думать о томъ, какъ Ясону должны быть дороги его сыновья. Мысль о томъ, чтобы лишить его этой радости, изъ области бессознательной потребности переходитъ у Медеи, подъ влияніемъ словъ и настроенія Эгея, въ форму сознательную, и, когда афинскій царь уходитъ, Медея даетъ не только себѣ, но и хору отчетъ въ этомъ преступномъ желаніи (стр. 230). Только выраженія подобраны онтономически, мысль же совершенно правильная. Дѣйствительно, посмотримъ въ слова Эгея, гдѣ онъ обѣщаетъ Медеѣ гостепріимство въ Афинахъ:

Намъ

Заманчиво и обѣщанье (Медеи) сдѣлать.

Меня отцомъ. Я весь ушелъ душой

Въ желанье это, имъ я весь захваченъ.

Вѣдь, право же, они, по крайней мѣрѣ, двусмысленны. Какія у молодой, красивой Медеи имѣются средства, чтобы сдѣлать женатаго Эгея отцомъ? Различныя... и въ томъ числѣ то, которое на языкѣ Медеи называется «измѣной». Эгей не боялся этой двусмысленности; почему? Да потому, что ему, дѣйствительно, все равно: онъ „весь ушелъ душою“ въ одно желаніе—имѣть дѣтей, продолжить родъ Пандіона далѣе той особи, которой имя—Эгей.

Сравните съ этой исповѣдью филономизма исповѣдь Медеи:

Все, что имѣла я, слилось въ одномъ,

И это былъ мой мужъ—

и разница станетъ очевидной. Да, положительно, такіе оригиналы есть, и Ясонъ одинъ изъ нихъ. Теперь онъ сталъ ей понятенъ, когда она увидѣла его нравственный обликъ въ зеркальной душѣ Эгея, и яснымъ стало для нея ея рѣшеніе:

Сама Ясоновъ съ корнемъ
Я вырву домъ.

(Д. III сц. 9). Совершенно вѣрно: такъ она и должна была выразиться.

VI.

И она побѣдила—и притомъ не въ одной только трагедіи. Филономическая концепція человѣка и жизни, филономическая мораль никогда, даже въ древности, не развились въ систему. Оно и понятно: для однихъ онѣ не нуждались въ доказательствахъ, для другихъ были недоказуемы. Одни — это „люди“ въ полномъ смыслѣ слова: они чувствуютъ, сами не отдавая себѣ въ этомъ отчета, что они теперь несутъ факелъ жизни, переданный имъ ихъ предками, и что ихъ долгъ — передать этотъ факелъ своимъ потомкамъ такъ, чтобы онъ пылалъ не съ уменьшенной, а съ увеличенной силой; они чувствуютъ, что въ нихъ сосредоточено будущее всей ихъ породы, и что отъ нихъ зависитъ повести эту породу по восходящей или же по нисходящей вѣтви. Это — ни съ чѣмъ несравнимое, гордое сознаніе; аристократизмъ, если хотите, но аристократизмъ біологическій, существенно отличный отъ сословнаго.

„Другіе“ — это люди-одиночки, люди-атомы. Они не будутъ непременно эгоистами, о нѣтъ: они способны любить отца, мать, друга, жену, дѣтей — но это будетъ любовь къ непосредственно видимому, а не та мистическая къ далекому претворенію своего естества въ непознаваемомъ будущемъ, къ его безсмертію на землѣ.

Филономическая мораль недоказуема — отъ того-то она и пошла на убыль тогда, когда люди стали интересоваться доказательствомъ морали, что случилось именно въ эпоху Еврипида. Это бы ее еще не погубило — кругъ людей, доступныхъ

доказательству, даже у грековъ не составлялъ всего народа. Она погибла тогда, когда ея идеалъ—біологическое безсмертіе—былъ замѣненъ другимъ, безсмертіемъ эсхатологическимъ. Это послѣднее проповѣдывалось уже въ древнюю эпоху ревнителями разныхъ мистическихъ культовъ, но восторжествовало оно благодаря христіанству. Оно повсюду провозгласило „безконечную цѣнность“ одинокой человѣческой души; оно окончательно вытравило изъ сознанія людей восходящую вѣтвь породы и ея безсмертіе на землѣ. Оно не прочь было даже самую породу обречь на исчезновеніе: „брачушіеся поступаютъ хорошо, небрачушіеся—лучше“. Надо было явиться антихристу, питомцу античности, для того, чтобы „любовь къ землѣ нашихъ дѣтей“ стала вновь понятна людямъ...

Однако, мы увлеклись основательно — и это по поводу двухъ только трагедій. Полагаю, впрочемъ, что это увлеченіе раздѣляютъ всѣ читатели новой книги: ужъ таковъ Еврипидъ... и таковъ его переводчикъ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМЕДИИ

(1903).

I.

Въ исторіи комедіи еще сильнѣе, чѣмъ въ исторіи ея серьезной старшей сестры, сказывается зависимость новѣйшаго творчества отъ античности. Если мы постараемся прослѣдить въ восходящей линіи развитіе современнаго комическаго репертуара — мы безъ труда замѣтимъ, что онъ произошелъ отъ сліянія двухъ раздѣльныхъ струй, изъ коихъ одна ведетъ свое начало отъ Мольера, другая отъ Шекспира. Но Шекспиръ въ своей первой комедіи, той, на которой онъ самъ изучилъ приемы комической техники, въ „Комедіи ошибокъ“, воспроизвелъ фабулу и мотивы комедіи Плавта „Менехмы“; еще яснѣе зависимость Мольера отъ его римскихъ образцовъ Плавта и Теренція, которымъ онъ сознательно подражалъ, измѣняя и осложняя ихъ интригу въ духѣ болѣе требовательныхъ по части *esprit* временъ Людовика XIV. Такимъ образомъ Плавтъ и Теренцій по справедливости могутъ быть названы отцами новѣйшей комедіи.

Но и Плавтъ съ Теренціемъ не были оригинальными поэтами; ихъ образцомъ была шутливая комедія нравовъ, расцвѣтшая въ Аѳинахъ въ реалистическую эпоху греческой поэзіи, въ IV—III в. до Р. Х., и связанная съ именами Менандра и Филемона. Эта такъ называемая новоаттическая комедія, разумѣется, тоже не была вполнѣ самобытнымъ литературнымъ явленіемъ: она органически развилась изъ среднеаттической

комедіи IV в., которая въ свою очередь была дѣтищемъ древне-аттической, процвѣтавшей въ 2-ую пол. V-го вѣка. Ея главный представитель, Аристофанъ, въ то же время—самый древній поэтъ, отъ котораго намъ сохранились цѣльныя комедіи; со времени постановки самой ранней изъ нихъ, съ 425 г. до Р. Х., начинается для насъ исторія этой литературной отрасли. Это не значитъ еще, что мы лишены возможности отвѣтить на вопросъ, откуда произошла и какъ развивалась та комедія, которая достигла своего расцвѣта въ поэтическомъ творествѣ Аристофана; только этотъ отвѣтъ будетъ, въ силу естественныхъ условій самого дѣла, болѣе или менѣе гадателенъ.

Развитой только-что схемой содержаніе моего настоящаго очерка предначертано. Такъ какъ родоначальницей всѣхъ нашихъ комедій была поставленная въ 425 г. комедія Аристофана подъ не сразу вразумительнымъ заглавіемъ „Ахарняне“, то я прежде всего считаю полезнымъ познакомить читателей съ этимъ очень своеобразнымъ произведеніемъ греческаго генія. Моей второй задачей будетъ прослѣдить происхожденіе того рода комедіи, представительницей котораго является эта пьеса; третьей—развить дальнѣйшую ея исторію черезъ средній и новоаттический періоды вплоть до того ея фазиса, въ которомъ она стала образцомъ для новѣйшихъ временъ, т.-е. до Плавта и Теренція.

II.

Комедія „Ахарняне“ представляетъ, какъ я сказалъ только-что, очень много своеобразныхъ чертъ; одна изъ самыхъ своеобразныхъ состоитъ въ томъ, что я не могу приступить къ изложенію ея содержанія, не изобразивъ предварительно хоть въ краткомъ эскизѣ политическаго положенія Аѣинъ въ ту минуту, когда она была поставлена.

Это было, согласно сказанному, въ 425 г., въ первые годы великой войны Аѣинъ со Спартой за первенство въ Греціи. Положеніе въ Аѣинахъ было тяжелое: рѣшившись опираться на море и не тратить своихъ силъ на безнадежную защиту страны, городъ Паллады созвалъ въ свои стѣны всѣхъ жителей своихъ деревень; ежегодно врагъ опустошалъ поля

и виноградники, для осужденных же на бездѣйствіе крестьянъ приходилось придумывать искусственную дѣятельность отчасти военнаго, отчасти административно-судебнаго характера, чтобы примирить ихъ съ идеей продолженія войны. Главою этой воинственной политики былъ демагогъ Клеонъ, ея самымъ ревностнымъ приверженцемъ—полководецъ Ламахъ; что касается крестьянъ, то часть ихъ съ нею мирилась, кто подъ соблазномъ легкаго и сравнительно хорошо оплачиваемаго труда, кто изъ ненависти къ опустошителямъ своей родины; другая же часть—спеціально крестьянская партія—тяготилась войной и ея невзгодами и постоянно требовала заключенія мира, который далъ бы ей возможность вернуться на свои поля и къ привычной деревенской работѣ. Вотъ къ этой-то крестьянской партіи и примкнулъ комическій поэтъ Аристофанъ; въ его комедіи „Ахарняне“ много смѣху, но смѣхъ этотъ—смѣхъ сквозь слезы о потерянномъ мирѣ, потерянной связи съ природой и матерью-землей.

Представителемъ своихъ идей поэтъ выводитъ крестьянина съ прозрачнымъ именемъ „Дикеополь“ (т.-е. „справедливый гражданинъ“); по гражданскому долгу онъ является къ разсвѣту въ народное собраніе, но его цѣль, о которой онъ насъ поучаетъ въ своемъ первомъ монологѣ, очень опредѣленна: производить посильную обструкцію противъ воинствующей партіи и всячески добиваться заключенія мира. Народное собраніе открывается; оно посвящено прежде всего выслушанію отчета пословъ, отправленныхъ въ Персію и Фракію для заключенія союзовъ въ видахъ продолженія войны. Дикеополь вздыхаетъ. Изъ отчета видно, что послы потерпѣли полнѣйшее фіаско, но желаютъ скрыть его; съ этой цѣлью они привели съ собою вещественныя доказательства своего мнимаго успѣха: первый—знатнаго персидскаго сановника, „око царя“ по торжественной восточной титулатурѣ (причемъ комическій поэтъ не устоялъ противъ соблазна вывести на сцену это „око царя“ въ видѣ настоящаго чудовищныхъ размѣровъ глаза), а другой—воинственную фракійскую рать. Хитрость не удалась: сановникъ говоритъ совсѣмъ не то, что ему внушено, фракійская же рать оказывается чистѣйшею швалью, умѣющей только воровать; но собраніе настроено до того воинственно, что не замѣчаетъ

даже обнаруженного обмана и утверждает отчетъ пословъ. Дикеополь въ отчаяніи; когда же наконецъ заговорять о мирѣ? Его желаніе исполняется: на трибунѣ появляется какой-то юродивый изъ аристократовъ и рассказываетъ о порученіи, данномъ ему богами, заключить миръ со Спартой—порученіи, исполненію котораго мѣшаетъ только одно обстоятельство: ему прогоновъ не выдаютъ. Шансы его и теперь очень плохи: едва услышавъ слово „миръ“, начальство велитъ его увести съ трибуны. Но это уже слишкомъ; Дикеополь жадно хватается за эту соломинку и поручаетъ юродивому заключить сепаратный миръ для него и его семьи. Нечего говорить, что эта идея частнаго мира—идея чисто фантастическая, вполне приличествующая комедіи древнеаттическаго періода, которая не останавливалась передъ самыми неудобноисполнимыми затѣями.

Сцена мѣняется; до сихъ поръ мы были на площади собранія, теперь гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. Юродивый возвращается, и приноситъ съ собою миръ въ видѣ трехъ пробъ вина—пятилѣтняго, десятилѣтняго и тридцатилѣтняго. Дикеополь, разумѣется, выбираетъ послѣднюю. Но тотъ же юродивый рассказываетъ ему о новой бѣдѣ. Къ наиболѣе пострадавшимъ отъ войны деревнямъ принадлежали Ахарны; такъ вотъ ея-то крестьяне, провѣдавъ о приносимомъ изъ Спарты мирѣ, побѣжали вслѣдъ за посломъ, чтобы побить его камнями, какъ измѣнника. Дикеополу теперь море по колено; онъ благодаритъ юродиваго за его услуги, и они расстаются.

Опять мѣняется сцена: мы въ деревнѣ, передъ хижиною Дикеополя. Счастливый герой впервые послѣ шести лѣтъ войны справляетъ сельскій праздникъ Діонисій; къ сожалѣнію, его разстраиваютъ ахарняне, напавшіе на слѣдъ принесеннаго мира. Съ трудомъ удастся Дикеополу избѣгнуть смерти; ему разрѣшаютъ, наконецъ, сказать рѣчь въ свою защиту, но подъ угрозой казни въ случаѣ неуспѣха. Положеніе незавидное; защищать миръ со Спартой значитъ защищать Спарту одному передъ толпой ея ненавистниковъ. Ему вспоминается, что у Еврипида есть такая точно сцена въ одной трагедіи. Правда, тамъ ораторъ сумѣлъ разжалобить окружающихъ своимъ нищенскимъ одѣяньемъ; хорошо бы пріобрѣсть у Еврипида этотъ костюмъ. Дикеополь отправляется къ Еврипиду, домъ котораго

ради удобства предполагается тутъ же рядомъ. Начинается препотѣшная сцена. Еврипидъ наряжаетъ Дикеополя нищимъ царемъ-скитальцемъ, причеиъ дѣло не обходится безъ язвительныхъ насмѣшекъ по адресу этого нелюбимаго Аристофаномъ трагическаго поэта. Но вотъ метаморфоза кончена; начинается рѣчь—пародія политической рѣчи—въ которой доказывается, что въ войнѣ виноваты исключительно Аѣины и ихъ демагоги, а отнюдь не Спарта. Среди ахарнянъ расколъ; одна половина дала себя убѣдить, другая упорствуетъ. Дѣло доходить до драки; упорствующіе призываютъ на помощь главнаго ревнителя войны, полководца Ламаха. Начинается споръ между Ламахомъ и Дикеополемъ о главнѣйшей темѣ комедіи—войнѣ и мирѣ; доводы Дикеополя сильнѣе, ахарняне, все переходятъ на его сторону. Ламахъ, сконфуженный, уходитъ; Дикеополь, оправданный, можетъ вернуться къ своимъ мирнымъ занятіямъ. Этимъ кончается первая половина комедіи; хоръ ахарнянъ, одинъ оставшійся на сценѣ, обращается къ зрителямъ съ такъ называемой „парабазой“—увѣщаніями отчасти серьезнаго, отчасти шутиваго характера по поводу тогдашней политики Аѣинъ.

Вторая половина посвящена описанію послѣдствій заключеннаго Дикеополемъ частнаго мира. Площадка передъ его хижиной—порто-франко для торговцевъ со всей Эллады, подъ условіемъ, однако, чтобы они продавали свой товаръ только Дикеополю, а никакъ не Ламаху, который—опять ради сценическаго удобства—предполагается его сосѣдомъ. Первымъ приходитъ торговецъ изъ Мегары, пограничнаго городка, совершенно захудалаго и разореннаго войной; за неимѣніемъ другого товара онъ собственныхъ дочекъ нарядилъ свинками и въ этомъ видѣ сбываетъ ихъ Дикеополю за пучекъ луковицъ и мѣрку соли, въ сценѣ, пересыпанной двусмысленностями самаго рискованнаго характера. За мегарцемъ—евиванецъ съ разными лакомствами, этотъ разъ уже подлинными; такъ какъ ему въ обмѣнъ нуженъ мѣстный, аѣинскій товаръ, то Дикеополь передаетъ ему случайно подвернувшася „сикофанта“ (фигуру, родственную съ нашимъ „аблакатомъ“). Тѣмъ временемъ слухъ о мирѣ Дикеополя успѣлъ разойтись: многимъ становится завидно, и они просятъ героя подѣлиться съ ними его благами. Но нашъ герой упрямъ; и посланецъ Ламаха,

и крестьянинъ воинственной партіи уходить ни съ чѣмъ; только невѣстѣ, желающей насладиться своимъ медовымъ мѣсяцемъ и не отпускать жениха на войну, онъ исполняетъ ея желаніе „за то, что она женщина и въ войнѣ не виновата“. Но вотъ одновременно являются два вѣстника, одинъ къ Ламаху, другой къ Дикеополу; Ламаха начальство отправляетъ прогнать вторгшійся въ страну беотійскій отрядъ, Дикеополя жрецъ Діониса приглашаетъ на пирушку въ складчину. Параллельно оба снаряжаются, одинъ въ походъ, другой на пиръ, взаимно огрызаясь другъ на друга; наконецъ, ушли. Послѣ антракта оба возвращаются. Ламахъ — раненый, на носилкахъ, Дикеополь — пьяный, въ очень веселой компаніи; Ламахъ стонетъ, Дикеополь смѣется; этимъ потѣшнымъ дуэтомъ кончается комедія.

III.

Если присмотрѣться ближе къ этому причудливому произведенію греческой музы, то мы будемъ прежде всего поражены полнымъ отсутствіемъ тѣхъ элементовъ, которые считаются необходимымъ достояніемъ комедій новѣйшаго репертуара — интриги и психологіи характеровъ. Никакой интриги въ Ахарняхъ нѣтъ, мотивы фабулы нанизываются одинъ на другой нескончаемой вереницей; всякій разъ по исчерпаніи даннаго мотива дѣйствіе кажется оконченнымъ, оно продолжается только благодаря произвольному введенію новаго. Въ самомъ дѣлѣ, припомнимъ развитіе дѣйствія. Тоска Дикеополя по мирѣ — первый мотивъ; онъ исчерпывается въ той сценѣ, гдѣ юродивый ему этотъ миръ приносить. Та же сцена вводитъ и новый мотивъ — враждебность ахарнянъ; но вотъ Дикеополу удастся ихъ переубѣдить — опять мотивъ исчерпанъ, мы не знаемъ, чего намъ ожидать отъ дальнѣйшихъ сценъ. Въ нихъ изображаются послѣдствія мира — приключенія Дикеополя съ мегарцемъ, оиванцемъ, крестьяниномъ, подружкой; тутъ, что ни сцена, то новый мотивъ, умирающій такъ же быстро, какъ онъ и возникъ. Наконецъ параллельное отправленіе Дикеополя съ Ламахомъ — опять особый мотивъ, комедія въ комедіи. Какъ видно, нѣтъ общаго, центрального драматическаго мотива, ко-

торый господствовалъ бы надо всей пьесой, какъ это принято въ нашей комедіи; выражаясь кратко, мы можемъ сказать, что у Аристофана мы имѣемъ нанизывающій драматизмъ, въ противоположность къ централизирующему драматизму современной комедіи. Я долженъ оговориться, что, приписывая централизирующій драматизмъ современной комедіи, я не думаю отрицать его существованіе въ комедіи древнихъ: мы находимъ его въ развитомъ видѣ у Плавта и Теренція, т.-е. у Менандра и Филемона, а его зачатки даже у Аристофана (въ *Облакахъ*, напр.). Но мы не находимъ его въ *Ахарянахъ*, а эта комедія, какъ я уже сказалъ, типична для всего древнеаттического направленія.

Не находимъ мы въ нихъ равнымъ образомъ психологіи характеровъ. Ничѣмъ не охарактеризована, прежде всего, центральная личность Дикеополя: это въ началѣ — представитель политическаго принципа, а затѣмъ — самый заурядный человѣчекъ, любящій поѣсть и попить и не выносящій походовъ съ ихъ лишеніями и невзгодами. Ярче обрисованы, правда, другіе персонажи — хвастливые ораторы-послы, юродивый, Ламахъ, Еврипидъ, обнищавшій мегарецъ и др.; но это не характеры, психологія въ ихъ обрисовкѣ вполнѣ отсутствуетъ; это даже не типы, а *карикатуры*. Карикатурность — опять отличительный признакъ древнеаттической комедіи, въ противоположность къ психологической характеристикѣ новой.

Идемъ дальше. Комизмъ ситуацій, бойкость діалога вполнѣ присущи уже и нашей комедіи; въ этомъ отношеніи дальнѣйшее развитіе состояло не въ прогрессѣ, а скорѣе въ нѣкоторомъ ослабленіи комической прити Аристофана. Онъ можетъ быть вполнѣ реалистиченъ, если захочетъ; но онъ вовсе не считаетъ своимъ долгомъ жертвовать ради реализма могучимъ полетомъ своей фантазіи. Идея сепаратнаго мира съ портофранко при всей своей несбыточности ничуть не стѣсняетъ Аристофана; въ другой пьесѣ герой, выростивъ жука-навозника чудовищныхъ размѣровъ, улетаетъ на немъ на Олимпъ къ богамъ; въ третьей онъ отправляется къ птицамъ и убѣждаетъ ихъ основать единое птичье царство съ могучей столицей Тучекукуевскомъ. Комедія Аристофана въ своей основѣ *фантастична*; этимъ она отличается отъ реалистической комедіи позднѣйшихъ временъ и нашей.

И все-таки мы не коснулись еще главной отличительной черты аристофановой комедіи — той, которая болѣе всего бросается въ глаза при ея чтеніи. Пересказу Ахарнянъ мнѣ пришлось предпослать краткое описаніе тогдашняго политическаго положенія Аѳинъ; дѣйствительно, предъ нами комедія *политическая*, ея центральная идея — идея о мирѣ со Спартой — принадлежитъ къ области политики, а не нравовъ и внѣшняго быта. Но это еще не все: проводя политическую идею, Аристофанъ не задумывается выводить на сцену своихъ недруговъ въ родѣ Ламаха въ карикатурномъ образѣ, а о другихъ открыто говорить безо всякихъ стѣсненій: его комедія — не только политическая, но и *обличительная*.

Въ другихъ его комедіяхъ эта обличительная тенденція обрисовывается еще ярче: во Всадникахъ онъ изображаетъ въ карикатурномъ видѣ могучаго демагога Клеона, въ Облакахъ — Сократа, въ которомъ онъ видѣлъ врага древнеаѳинскихъ традицій, въ Лягушкахъ — Еврипида, котораго онъ ненавидѣлъ по причинамъ родственнаго характера. Замѣчу тутъ же, что этотъ обличительный характеръ древнеаттической комедіи повелъ къ ея гибели; но объ этомъ у насъ рѣчь будетъ впереди.

Теперь мы собрали главныя черты аристофановой комедіи; можно будетъ поставить вопросъ объ ея возникновеніи. Итакъ, какъ же произошло и выросло это столь своеобразное твореніе аттической народной души — эта древнеаттическая комедія, называемая и карикатурная по своей драматической Technikъ фантастическая и обличительная по своему содержанію?

IV.

Отвѣтить на этотъ вопросъ можно двумя путями; либо путемъ болѣе внимательнаго техническаго изслѣдованія самой комедіи, которая, какъ и всякій организмъ, въ себѣ самой сохранила слѣды своего возникновенія, либо путемъ анализа тѣхъ скудныхъ свидѣтельствъ о происхожденіи комедіи, которыя намъ сохранены изъ древности. Самое надежное будетъ, конечно, комбинировать оба метода.

Начнемъ съ перваго. Мы видѣли уже, что древнеаттическая комедія любитъ нанизывать мотивы; все же въ приведен-

номъ мною образцѣ нанизанные мотивы не однородны: есть среди нихъ одинъ, занимающій среди прочихъ исключительное положеніе, это—мотивъ преслѣдованія мирносоца ахарнянами. Выдѣляется этотъ мотивъ изъ числа прочихъ тѣмъ, что вводитъ въ дѣйствіе хоръ комедіи; въ самомъ дѣлѣ, только здѣсь хоръ изъ ахарнскихъ крестьянъ принимаетъ дѣятельное участіе въ дѣйствіи, при всѣхъ дальнѣйшихъ событіяхъ онъ присутствуетъ въ качествѣ простаго зрителя, вовсе не будучи нуженъ для того, что происходитъ на сценѣ. Въ чемъ же заключается его участіе тамъ, гдѣ онъ выступаетъ дѣйствующимъ лицомъ? Во-первыхъ, онъ прибѣгаетъ на сцену съ явнымъ намѣреніемъ побить камнями виновника мира; во-вторыхъ, онъ вызываетъ защиту Дикеополя и его споръ съ Ламахомъ о войнѣ и мирѣ—споръ, которому предшествуетъ споръ обѣихъ половинъ самого хора, доходящій даже до драки; наконецъ, въ-третьихъ, онъ присуждаетъ побѣду Дикеополю и тутъ же обращается къ публикѣ съ наставленіями въ такъ называемой парабазѣ. Я должепъ прибавить, чего мой пересказъ передать не могъ, что эти три части также и по размѣру строго выдѣляются изъ прочихъ частей комедіи. Теперь полезно будетъ припомнить, что эти три части *хорической* комедіи, какъ я ее буду называть, встрѣчаются почти во всѣхъ драмахъ Аристофана—именно появленіе хора, споръ и парабазы, причемъ самой важной изъ нихъ является споръ, ведомый всегда на болѣе общія темы; здѣсь—о войнѣ и мирѣ, во Всадникахъ—о политикѣ Клеона, въ Облакахъ—о старомъ и новомъ воспитаніи и т. д. А такъ какъ мы знаемъ, что по условіямъ греческаго театра хоръ былъ первоначальнымъ и самымъ существеннымъ элементомъ драмы — недаромъ многія комедіи, въ томъ числѣ и Ахарняне, именно отъ хора получили свое наименованіе, — то мы будемъ склонны признать въ хорической комедіи ядро древнеаттической комедіи вообще.

Теперь сравнимъ съ этой хорической комедіей другія сценки, въ которыхъ хоръ присутствуетъ только какъ зритель. Мегарецъ продалъ Дикеополю своихъ дочерей, наряженныхъ свинками; сикофантъ хочетъ помѣшать торгамъ; его Дикеополь бьетъ. Беотіецъ приноситъ ему свой товаръ; опять подвергается сикофантъ; герой его связываетъ и продаетъ

беотійцу. Такихъ сценокъ у Аристофана масса, и многія изъ нихъ кончаются тѣмъ, что герой колотить кого-нибудь къ вѣчному удовольствію невзыскательной публики; мы узнаемъ здѣсь любимый мотивъ всѣхъ народныхъ фарсовъ до нашего Петрушки включительно. Итакъ, шутливыя сценки петрушечной комедіи, какъ мы позволимъ себѣ ее называть — второй элементъ въ комедіи Аристофана; въ немъ мы должны будемъ признать элементъ пришлый, такъ какъ онъ не требуетъ присутствія хора, этой исконной части аттической комедіи.

Такимъ образомъ, нашъ анализъ аристофановой комедіи научилъ насъ слѣдующему. Она произошла изъ сліянія двухъ элементовъ, одного — исконнаго и мѣстнаго, другого — пришлаго. Исконнымъ элементомъ была хорическая комедія собственно политическаго содержанія, пришлымъ — карикатурная петрушечная комедія. А теперь посмотримъ, что намъ скажутъ свидѣтельства древнихъ; къ нашему полному удовлетворенію и они говорятъ о двойномъ происхожденіи комедіи.

Одно изъ нихъ гласитъ такъ: „Комедія возникла по слѣдующей причинѣ. Крестьяне, обижаемые аѣнскими гражданами и желающіе обличить ихъ (прошу отмѣтить это слово), приходили въ городъ, около времени, когда люди ложатся спать, и, проходя по улицамъ, перечисляли обиды, которыя они терпѣли отъ нихъ, — т.-е., говоря яснѣе, кричали приблизительно слѣдующее: здѣсь живетъ челоѣкъ, поступившій такъ-то и такъ-то съ крестьянами — такъ что сосѣди, услышавъ это, на слѣдующій день рассказывали другъ другу о ночныхъ жалобахъ крестьянъ. Это было позоромъ для обидчика и нерѣдко заставляло его отказаться отъ своего образа дѣйствій. Частое повтореніе значительно сократило число обидчиковъ; тогда городскія власти нашли, что эта затѣя комиковъ полезна для государства, онѣ ихъ отыскивали и предложили имъ повторить ее въ театрѣ“. Быть можетъ, дѣло произошло не такъ просто, какъ это полагалъ самъ авторъ въ своемъ романтическомъ оптимизмѣ, но ясно, что здѣсь говорится о возникновеніи исконно аѣнской обличительной хорической комедіи.

Другія свидѣтельства заводятъ насъ далеко внѣ Аттики; намъ рассказываютъ о народныхъ увеселеніяхъ «маскированныхъ людей» въ Спартѣ, изображавшихъ накрытаго на мѣстѣ

преступленія воришку или какого-нибудь заморскаго шарлатана-врача. Очевидно, мы имѣемъ здѣсь нѣчто существенно отличное отъ только-что описанной обличительной комедіи, — насмѣшка направлена не противъ личностей, а противъ типовъ, изображаемыхъ въ карикатурномъ видѣ — и въ то же время родственное тѣмъ бытовымъ сценкамъ, которыя составляютъ второй элементъ комедіи Аристофана. Дѣйствительно, среди этихъ сценокъ мы находимъ одну, въ которой собесѣдникъ героя хочетъ украсть жертвенное мясо и за это награждается побоями, а шарлатаны — хотя и не врачи, а прорицатели, математики и т. д. — составляютъ излюбленный персоналъ этихъ сценокъ. Я. уже сказалъ, что такого рода бытовая комедіи засвидѣтельствованы для Спарты: засвидѣтельствованы онѣ также и для другихъ, преимущественно дорическихъ городовъ Греціи. Это вполне гармонируетъ съ результатомъ анализа аристофановой комедіи, который намъ доказалъ, что этотъ второй элементъ былъ элементомъ не исконно-аттическимъ, а приплытымъ.

V.

Вотъ, стало быть, каковы были оба корня древнеаттической, а слѣдовательно и нашей комедіи. О развитіи перваго изъ нихъ — обличительной комедіи — до его соединенія со вторымъ въ литературной, т. е., аттической комедіи мы не имѣемъ опредѣленныхъ свѣдѣній; въ нѣсколько лучшихъ условіяхъ находимся мы относительно второго элемента, карикатурной бытовой сценки. Она и до и послѣ своего слиянія съ обличительной комедіей на аѳинской сценѣ имѣла свое особое самостоятельное развитіе, и это развитіе стоитъ того, чтобы съ нимъ вкратцѣ ознакомиться.

Отъ обличительной комедіи бытовая сценка отличалась своей значительно большей подвижностью. Обличительная насмѣшка обиженныхъ крестьянъ не была понятна внѣ того мѣста, гдѣ жилъ обидчикъ, она была къ нему прикрѣплена: напротивъ, тѣ „маскированные“ актеры, которые изображали приключенія и разочарованія воришекъ или шарлатановъ, вездѣ могли разсчитывать на успѣхъ, гдѣ только имѣлась невзыскательная пуб-

блика, довольствующаяся обстановкой ихъ незатѣйливой сцены. И вотъ бытовая сценка разѣзжается по всему греческому міру; съ теченіемъ времени она развиваетъ свой репертуаръ и вырабатываетъ постоянныя маски, о которыхъ мы кое-что знаемъ. Была тамъ прежде всего самая любимая маска—дурака, всѣми обманываемаго, хотя подчасъ и не лишеннаго нѣкоторой дурацкой хитрости; маска балаганнаго дѣда, плюгаваго старика; маска обжоры, маска интригана и т. д. Но дерзкая бытовая сценка не довольствуется человѣческой обстановкой: она завладѣваетъ и царствомъ боговъ, пародируя и карикатурируя родныя мифы; любимаго народнаго богатыря Геракла она превращаетъ въ типъ обжоры, румянаго Вакха въ типъ трусливаго щеголя; мало того, она не останавливается даже передъ отцемъ Зевсомъ, который со своими многочисленными любовными похождениями былъ дѣйствительно благодарнымъ комическимъ типомъ. Такъ зарождается особый литературный жанръ веселой трагедіи, который современемъ, благодаря Плавту, проникъ въ галантную французскую поэзію. 17 вѣка и нашелъ свое послѣднее воплощеніе въ мифологической опереткѣ Оффенбаха.

Расцвѣтъ бытовой сценки съ мифологической пародіей включительно связанъ съ однимъ очень громкимъ именемъ—съ именемъ комическаго поэта Эпихарма, жившаго въ сицилійскомъ городѣ Сиракузахъ въ эпоху Эсхила; онъ ее облагородилъ, сдѣлавъ ее носительницей—какъ это ни кажется страннымъ—серьезныхъ философскихъ идей. Благодаря ему бытовая сценка проникла въ литературу; ею восторгались, начиная съ Платона, многіе самые серьезные греческіе писатели, отзывы которыхъ заставляютъ насъ быть высокаго мнѣнія объ этомъ раннемъ представителѣ драматургическаго искусства. Намъ было бы желательно провѣрить эти отзывы собственнымъ непосредственнымъ ознакомленіемъ съ Эпихармомъ; къ сожалѣнію, отъ него ни одной цѣльной драмы не сохранилось, отрывки же, не очень многочисленные и, что хуже, малозначительные по объему, не даютъ намъ достаточнаго представленія о немъ. Ихъ число не такъ давно обогатилось однимъ, найденнымъ въ Египтѣ на клочкѣ папируса; онъ принадлежалъ къ комедіи, озаглавленной „Одиссей-перебѣжчикъ“, и даетъ намъ нѣкоторое представленіе о построеніи фабулы въ этой комедіи. Еще гомеровская

Одиссея знаетъ объ одномъ очень смѣломъ походе героя подъ Троею, какъ онъ, переодѣвшись въ нищенское платье, отправился во вражескій городъ на развѣдки. Его тогда узнала по старой памяти Елена, но выдать не пожелала, такъ какъ она тогда и сама, по ея словамъ, стосковалась по прежнемъ супругѣ и желала вернуться къ нему. Такъ вотъ этимъ приключеніемъ воспользовался Эпихармъ; но его комическій Одиссей слишкомъ благоразуменъ для того, чтобы серьезно подвергать себя такой опасности. У него есть средство гораздо проще, чтобы и зарекомендовать себя смѣльчакомъ передъ своими, и въ то же время сохранить свою особу въ цѣлости: онъ отправится якобы въ Трою, на самомъ же дѣлѣ спрячется по пути къ какой-нибудь канавѣ, и затѣмъ, отсидѣвъ въ ней определенное время, вернется въ греческій станъ и расскажетъ о положеніи въ Троѣ, что богъ ему на душу положить. — Какъ онъ исполнилъ это доблестное намѣреніе, этого мы сказать не можемъ — нашъ отрывокъ намъ этого не говорить. Все же эта находка была для насъ, филологовъ, радостнымъ сюрпризомъ: она доказала намъ, что Эпихарма въ Египтѣ читали довольно долго; а такъ какъ находки папирусовъ въ этой странѣ продолжаютъ, то есть надежда, что когда-нибудь всплыветъ наружу болѣе или менѣе цѣльная пьеса этого древнѣшаго представителя литературной комедіи.

Съ Эпихармомъ мы встрѣчаемъ греческую комедію въ Сициліи, т.-е. въ колоніальной Греціи; но ея побѣдоносное шествіе здѣсь не остановилось, она прошла въ Италію — прежде всего, конечно, въ тамошнія греческія колоніи. И здѣсь мы встрѣчаемъ бытовую сценку вмѣстѣ съ ея разновидностью, мифологической пародіей; это касается главнымъ образомъ самаго крупнаго греческаго города въ Италіи, Тарента. А отъ грековъ она постепенно стала просачиваться и къ туземцамъ, къ италійцамъ; возникаетъ туземная комедія, перенявшая отъ греческой ея типическія маски — дурака, старика, обжору, интригана — отчасти въ ихъ греческой формѣ, отчасти въ переводѣ на туземный языкъ. Италійскій народъ отъ природы склоненъ къ шуткѣ и карикатурѣ; карикатурная сценка быстро къ нему привилась, она стала первымъ плодомъ туземнаго творчества, о которомъ мы знаемъ. И далѣе и далѣе шество-

вала эта поистинѣ народная комедія на сѣверъ, пока не попала наконецъ въ Римъ. Здѣсь она стала извѣстна подъ названіемъ *ателланской* комедіи (отъ имени кампанскаго города Ателлы, изъ котораго Римъ ее заимствовалъ); я долженъ замѣтить, что это случилось задолго до вторженія литературной комедіи, связанной съ именами Плавта и Теренція. Та существовала сама по себѣ, привлекая главнымъ образомъ образованную публику; но рядомъ съ ней незатѣйливая, часто импровизованная ателлана съ ея потѣшными типическими масками продолжала забавлять простой народъ, пониманію котораго она, благодаря своей карикатурности, была гораздо доступнѣе. Пришло время, когда литературной комедіи пришлось сойти со сцены и уступить свое мѣсто водевилю (миму) и балету (пантомимѣ)—ателлана попрежнему пользовалась милостью простонародія, которое ни за что не хотѣло жертвовать своими бессмертными масками дурака и прочихъ. Пришло время, когда и водевилъ съ балетомъ пали подъ гнетомъ проклятія христіанской церкви—ателлана, благодаря своему скромному, малозамѣтному положенію, не испытала на себѣ тяжести этого проклятія: дуракъ и обжора съ интриганомъ продолжали попрежнему смѣшивать христіанскую Италію, которая, хотя и не безъ тайныхъ угрызений совѣсти, однако не могла устоять противъ соблазна посмотрѣть на представленія отверженныхъ церковью, но любимыхъ народомъ скомороховъ и *giullari*. А когда наступили веселыя времена Возрожденія, то и старинная и бессмертная ателлана возродилась подъ именемъ *commedia dell'arte*, съ ея тоже типическими масками Панталона, Бригеллы и т. д.—масками, античное происхожденіе которыхъ не подлежитъ сомнѣнію. Столь живучей оказалась греческая бытовая сценка, перешедшая изъ настоящей Греціи въ Италію и быстро завоевавшая симпатіи владыки вселенной—Рима.

VI.

Но какъ ни было плодотворно шествіе бытовой сценки по дорическимъ государствамъ и на западъ—гораздо важнѣе для развитія комедіи было ея перенесеніе въ Аѳины. Здѣсь

ея роль была двойная. Во-первыхъ, она, какъ самостоятельная и самодовлѣющая отрасль драматической литературы, пыталась развиваться сама по себѣ, вполнѣ игнорируя тѣ зачатки комизма, которые уже существовали на аѣинской почвѣ въ видѣ описанной мною раньше народной обличительной комедіи,—и дѣйствительно, мы встрѣчаемъ на аѣинской сценѣ чисто карикатурную комедію какъ бытового, такъ и міеологическаго характера, лишенную всякаго политическаго колорита. Но, во-вторыхъ, она вступила въ союзъ съ обличительной комедіей, слилась съ ней и породила ту политическую комедію, представителемъ которой является для насъ Аристофанъ. Мы видѣли, что союзъ этотъ былъ не совсѣмъ органическимъ: комическимъ писателямъ, при всей ихъ геніальности, не удавалось, или, по крайней мѣрѣ, не всегда удавалось слить оба разнородныхъ элемента въ одно однородное цѣлое; очень часто—какъ мы это видѣли на Ахарнянахъ—дѣло пошло не дальше нѣскольکو механическаго нанизыванія комическихъ мотивовъ. При всемъ томъ политическая комедія, именно какъ политическая, чувствовала себя неизмѣримо выше своей конкуррентки: было вѣдь гораздо почетнѣе творить судъ надъ могучими демагогами въ родѣ Клеона, чѣмъ выводить на сцену проказы какого-нибудь Ивана-дурака или разочарованія голоднаго Геракла, оставленнаго безъ обѣда. А затѣмъ—обличительная комедія была для аѣинянъ роднымъ, бытовая сценка—пришлымъ элементомъ; помимо всего прочаго, и патріотическая гордость заставляла отдавать преимущество политической отрасли. И дѣйствительно, въ комедіяхъ Аристофана мы находимъ не мало презрительныхъ намековъ на его конкуррентовъ, поэтовъ карикатурной бытовой комедіи съ ея проказниками-рабами и голодными Гераклами; въ противоположность къ нимъ онъ гордится тѣмъ, что онъ—какъ сказочные богатыри, поражавшіе змѣевъ—сразился съ этимъ столь опаснымъ и гибельнымъ стоглавымъ чудовищемъ, съ Клеономъ, что онъ былъ поборникомъ не иностраннаго, а родного направленія.

Безспорно, въ устахъ Аристофана эти гордые заявленія были вполнѣ уместны. „Всадниками“ озаглавилъ онъ ту свою комедію, въ которой онъ вывелъ на сцену Клеона; здѣсь онъ поставилъ себѣ трудную задачу построить всю драму на обличіи-

тельномъ началѣ, не прибѣгая вовсе къ эпизодическимъ сценкамъ бытового характера; это у него—единственный примѣръ. Идея комедіи—та, что такая безсовѣстная личность, какъ Клеонъ, можетъ быть побѣждена только еще болѣе безсовѣстной; для ея проведенія поэтъ воспользовался слѣдующей аллегорической обстановкой. Живетъ въ Аѣинахъ дряхлый, полумный старикъ, по имени Народъ (Dêmos); есть у него рабъ-дворецкій, кожевникъ по ремеслу, который завладѣлъ всѣмъ его довѣріемъ и пользуется имъ для того, чтобы обижать другихъ рабовъ (явный намекъ на Клеона, который былъ именно кожевникомъ, или, по крайней мѣрѣ, владѣльцемъ кожевеннаго завода). Чтобы избавиться отъ него, двое обиженныхъ имъ рабовъ заручаются содѣйствіемъ нѣкоего колбасника, настоящаго fort de la halle—грязнаго, полуграмотнаго, но сильнаго и дерзкаго. Ему сочувствуетъ и содѣйствуетъ хоръ, состоящій изъ всадниковъ—членовъ аристократической корпораціи, ненавидящей Клеона и ненавидимой имъ. Въ цѣломъ рядѣ сценъ происходитъ со всевозможными варіаціями поединовъ между кожевникомъ-Клеономъ и этимъ колбасникомъ, который вездѣ остается побѣдителемъ; это въ сущности—многократное повтореніе одного и того же мотива, но поэтъ до того изобрѣтателенъ въ частностяхъ, онъ такъ хорошо умѣетъ подмѣчать и пародировать—то подъ дымкой аллегоріи, то открыто—слабья и смѣшныя стороны аѣинской политической жизни, что мы не чувствуемъ монотонности этого повторенія и вполне одобряемъ аѣинянъ, наградившихъ эту комедію первымъ призомъ.

Еще выше, съ нашей точки зрѣнія, уносится Аристофанъ въ слѣдующей по времени комедіи, въ Облакахъ, самомъ знаменитомъ изъ всѣхъ его твореній. Въ ней изображены бѣдствія нѣкоего аѣинскаго старика, Стрепсиада. Онъ изъ простыхъ, но женился на благородной, которая и ихъ сына воспитала въ атмосферѣ благородныхъ страстей и претензій; онъ сталъ лихимъ наѣздникомъ, но такъ какъ за его лошадей приходилось платить его отцу, то этотъ отецъ запутался въ долгахъ и теперь наканунѣ полнаго банкротства. Что тутъ дѣлать? Стрепсиадъ слышалъ, что поблизости живетъ умный человѣкъ, умѣющій въ процессахъ черное выставять бѣлымъ и наоборотъ; имя этому человѣку—Сократъ. Вотъ если бы у

него поучиться, можно бы выиграть процессъ съ кредиторами и освободиться отъ долговъ. Начинается ученіе; на зовъ Сократа слетаются туманныя божества новой софистической вѣры, Облака, и благословляютъ старика на трудное дѣло. Но его слабая голова не можетъ обнять всей этой новомодной премудрости, на экзаменѣ онъ торжественно проваливается, и Сократъ его прогоняетъ. Нечего дѣлать, приходится отправить въ ученіе сына. Съ тѣмъ дѣло идетъ бойчѣе: вскорѣ краснощекій и простоватый кавалеристъ превращается въ блѣднолицаго крючкодѣя-адвоката и таковымъ возвращается къ отцу. Тотъ въ восторгѣ; кредиторамъ доказывается, что ихъ требованія съ точки зрѣнія высшей юриспруденціи совершенно неосновательны, и они, сконфуженные, уходятъ. Но вскорѣ появляется и обратная сторона медали: ученый сынъ пользуется преимуществами своей эрудиціи также и противъ отца и по поводу какого-то литературнаго спора вразумляетъ его побоями, а затѣмъ хладнокровно доказываетъ ему, что онъ имѣетъ полное право бить своего отца, да заодно и мать—недаромъ его научили черное выставять бѣлымъ. Тутъ доведенный до отчаянія Стрепсиадъ зоветъ своихъ рабовъ и съ ихъ помощью сжигаетъ домъ Сократа вмѣстѣ съ его обитателями.—Въ этой комедіи насъ непріятно поражаетъ, что представителемъ безправственнаго софистическаго воспитанія выведенъ врагъ софистовъ и отецъ греческой и нашей морали, Сократъ; но иначе быть не могло. Сознательная мораль Сократа не могла не показаться опасной для традиціонной стародавней морали; въ лицѣ Аристофана старыя Аѣины отбивались отъ того, кто основалъ общечеловѣческую нравственность на развалинахъ національнаго аттическаго міросозерцанія.

Пропускаемъ второстепенныя драмы Осы и Ирину; переходимъ къ Птицамъ, этому новому, едва ли не самому блестящему проявленію смѣлой фантазіи нашего поэта. Здѣсь Аристофану пришлось бороться съ трудностями цензурнаго, такъ сказать, характера: подъ гнетомъ войны аѣиняне запретили обличительную комедію, надо было поэтамъ какъ-нибудь изворачиваться. При такихъ условіяхъ сверстники Аристофана нерѣдко переходили отъ политической комедіи къ бытовой—Аристофанъ этого не сдѣлалъ; онъ воспользовался мотивами

родныхъ сказокъ и построилъ изъ нихъ причудливую и шутиливую фабулу, пересыпавъ ее въ частностяхъ массой политическихъ намековъ. Двое афинянъ уходятъ изъ родины на поиски блаженнаго царства: указать его долженъ имъ уродъ, который по мифологіи былъ превращеннымъ въ птицу царемъ и въ качествѣ таковаго приходился сродни афинянамъ—причемъ предполагается, что онъ, именно въ качествѣ бывшаго человѣка, еще не забылъ говорить и понимать по-гречески. И дѣйствительно, онъ принимаетъ ихъ ласково; изъ разговоровъ съ нимъ выясняется, что блаженное царство недалеко, это — царство птичье. И вотъ у одного изъ афинянъ возникаетъ гениальная мысль: что, если всѣхъ птицъ организовать и основать единое, могучее птичье государство? Занимая среднее положеніе между небомъ и землею, оно несомнѣнно подчинило бы себѣ и боговъ и людей: боговъ можно бы въ случаѣ сопротивленія съ ихъ стороны морить голодомъ, не допуская къ нимъ жертвеннаго дыма черезъ воздушное пространство; что касается людей, то они, конечно, предпочтутъ поклоняться птицамъ, какъ болѣе близкимъ и могучимъ существамъ, чѣмъ далекимъ и безучастнымъ богамъ. Планъ удается; основывается птичья столица Тучекукуевскъ; боги послѣ краткаго сопротивленія принуждены сдаться, и предприимчивый афинянинъ, какъ настоящій сказочный герой, получаетъ въ жены, вмѣстѣ съ царствомъ, дочь Зевса Василию — родоначальницу всѣхъ Васились-премудрыхъ нашихъ народныхъ сказокъ.

Запрещеніе вскорѣ было снято съ обличительной комедіи: въ слѣдующей драмѣ, Лисистратѣ, мы опять встрѣчаемъ нашего поэта на политической почвѣ, и опять, какъ въ Ахарняхъ, миръ составляетъ центральную идею его пьесы. Только обстановка теперь уже другая; на мужчинъ, хотя бы даже и юродивыхъ, Аристофанъ болѣе не надѣется,—женщины берутъ дѣло мира въ свои руки, супруги и матери воиновъ всей Эллады, афинянки, спартанки, коринѣянки, еиванки; ихъ вдохновительница, разумѣется, афинянка — героиня нашей драмы, Лисистрата. Составляется тайный заговоръ представительницъ эллинскихъ городовъ—я долженъ замѣтить, что при существованіи въ Греціи исключительно женскихъ праздниковъ общій фонъ для тайныхъ заговоровъ былъ данъ какъ нельзя лучше.

Участницы даютъ страшную клятву — отказывать своимъ мужьямъ во всякой ласкѣ до тѣхъ поръ, пока они не прекратятъ войны. Не могу тутъ рассказывать всѣхъ частныхъ этой оригинальной забастовки: долженъ ограничиться замѣчаніемъ, что муза Аристофана и тутъ осталась вѣрна своей обычной откровенности и использовала всласть свою смѣлую до невозможнаго тему. Въ концѣ концовъ дѣло кончается полнымъ торжествомъ женщинъ, и Лисистратѣ поручается арбитражъ между воюющими сторонами.

Пропускаемъ опять одну пьесу; переходимъ прямо къ литературно-критической комедіи Аристофана, къ его Лягушкамъ. Она была написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ почти одновременной смерти двухъ великихъ аѳинскихъ трагиковъ, Софокла и Еврипида. Какъ приверженецъ староаѳинской культуры, Аристофанъ былъ поклонникомъ строгой трагедіи Эсхила съ ея глубокой религіозностью и непоколебимой традиціонной моралью; къ Софоклу онъ относился безразлично, но Еврипидъ съ его психологіей и софистикой страсти былъ ему прямо антипатиченъ. Теперь послѣ смерти послѣднихъ членовъ великаго тріумвирата трагической сцены настало время подвести итоги его дѣятельности; эту задачу и исполнилъ Аристофанъ въ своихъ Лягушкахъ. Основная мысль фабулы такая: богъ-покровитель аѳинской драмы, Діонисъ (Вакхъ), опечаленный оскуднѣніемъ трагедіи, рѣшаетъ отправиться въ преисподнюю, чтобы такъ или иначе извлечь оттуда своего любимца Еврипида. На пути туда онъ испытываетъ множество приключеній въ духѣ извѣстныхъ намъ уже карикатуръ бытовой комедіи: надо было позабавить зрителей, которымъ предстояло выслушать не мало серьезныхъ разсужденій въ дальнѣйшемъ ходѣ драмы. Но вотъ наконецъ цѣль достигнута, онъ у воротъ дворца царя тѣней; вдругъ изнутри доносится страшный шумъ. Что случилось? — Дѣло въ томъ, что въ подземномъ царствѣ существуетъ особаго рода академія при дворѣ Плутона; въ этой академіи трагическую каеэдру занималъ съ давнихъ поръ Эсхиль. Софоклъ ничего противъ этого не имѣлъ; но когда въ обитель мертвыхъ сошелъ Еврипидъ, то этотъ безпокойный человѣкъ тотчасъ поставилъ свою кандидатуру, и Эсхилу пришлось съ нимъ сразиться. Діонисъ, такимъ обра-

зомъ, пришелъ какъ разъ во-время: ему, какъ лицу компетентному, поручается роль судьи. И вотъ начинается диспутъ между Эсхиломъ и Еврипидомъ, диспутъ, занимающій всю вторую половину комедіи. Драмы разбираются всесторонне, начиная съ идеи и тенденціи и кончая самыми специальными техническими подробностями; читая этотъ древнѣйшій образчикъ литературно-эстетической критики, мы удивляемся умственному развитію аѳинской публики, которой можно было преподавать со сцены, и притомъ съ комической сцены, такія серьезные и пространныя критическія разсужденія. Результатъ спора, разумѣется, тотъ, что Діонисъ убѣждается въ превосходствѣ поэзіи Эсхила и его беретъ съ собою въ Аѳины, а на время его отсутствія вакантное кресло въ академіи передается Софоклу.

Лягушки — послѣдняя комедія V вѣка, но не послѣдняя комедія Аристофана вообще: отъ него сохранились еще двѣ, принадлежащія уже IV вѣку; въ нихъ однако замѣтно значительное ослабленіе обличительнаго задора. Мы займемся вскользь лишь первой изъ нихъ, озаглавленной „Женское вѣче“; онѣ интересны для насъ какъ отголосокъ тѣхъ феминистическихъ утопій, безъ которыхъ не могла обходиться умственная жизнь такого интеллигентнаго общества, какъ аѳинское. Женщины, собравшись вмѣстѣ по поводу одного женскаго праздника, приходятъ къ рѣшенію, что имъ слѣдуетъ при первой возможности отнять политическую власть у мужчинъ, какъ доказавшихъ свою полную къ ней неприспособленность. Чтобы исполнить это постановленіе, онѣ, переодѣтыя мужчинами, проникаютъ въ народное собраніе и голосуютъ въ немъ по всѣмъ формальностямъ закона: результатъ голосованія, разумѣется, тотъ, что власть передается женщинамъ; зачинащица всего плана, Праксагора, избирается „полководицей“. Она тотчасъ энергично принимается за требуемыя реформы. Общество перестраивается на коммунистическихъ началахъ, но этого мало: проблема брака и любви тоже должна быть рѣшена. Какъ она рѣшается, удобнѣе прочесть у самого Аристофана; могу только сказать, что смѣлостью ея рѣшенія Аристофанъ перещеголялъ всѣхъ утопистовъ вплоть до нашихъ дней. Нечего говорить, что заполняющія послѣднюю часть комедіи сценки бытового характера и знакомой намъ уже техники всецѣло посвящены именно этой проблемѣ.

VII.

Нельзя было не остановиться подробнѣе на политической комедіи Аристофана, этомъ самомъ оригинальномъ и смѣломъ произведеніи человѣческаго духа; какъ таковое, она была вѣрнымъ символомъ Аѳинъ въ самую самобытную эпоху ихъ существованія, во 2 половину V вѣка, когда мысль не знала предѣловъ себѣ и своему творчеству, а политическая воля считала возможнымъ перенести въ дѣйствительность всякое порожденіе мысли. Въ такія эпохи народъ живетъ не для себя: разрывая нити традиціи, воля совершаетъ ошибку за ошибкой, нагромождая этимъ запасъ опыта для потомства, но ведя постепенно къ гибели себя и своихъ носителей. Аѳинская воля довела государство до полного разгрома къ концу V вѣка; послѣ этого разгрома городъ Паллады, слабый и приниженный, убѣдился въ необходимости жить наконецъ для себя. Для этого надлежало смиренно возстановить традицію и предать анаѳемѣ слишкомъ смѣлый полетъ писательской и философской мысли; это и было сдѣлано къ началу IV в. — эпохѣ, съ которой Аѳины начинаютъ терять интересъ для насъ. Нѣкогда политическая комедія и Сократъ были врагами; теперь они оба въ одинаковой степени показались врагами благоразумной политической жизни. Приблизительно въ одно и то же время оба были обречены на гибель: Сократа заставили выпить чашу съ ядомъ, а на политическую комедію былъ наложенъ окончательный запретъ.

Вотъ чѣмъ кончилась полувѣковая борьба между политической и карикатурной комедіей: съ исчезновеніемъ первой, вторая осталась полной владычицей аѳинской сцены. Карикатурная комедія, какъ мы видѣли, въ хорѣ не нуждалась, онъ былъ для нея неорганическимъ прибавленіемъ, вызваннымъ обязательнымъ единообразіемъ общихъ сценическихъ условій; теперь, когда ея конкуррентки, обличительной *хорической* комедіи, не стало, хоръ и въ карикатурной комедіи легко могъ быть упраздненъ. Его и упразднили; этимъ былъ сдѣланъ значительный шагъ впередъ на пути къ знакомому намъ типу комедіи.

Карикатурная комедія, согласно сказанному выше, распадалась на двѣ отрасли — бытовую и миеологическую; обѣ усердно культивируются въ эпоху *среднеаттической* комедіи, какъ мы называемъ, со словъ древнихъ, аттическую комедію четвертаго вѣка. Мы знаемъ это по значительному числу заглавій и отрывковъ, которые намъ сохранились; цѣльной комедіи до насъ не дошло, но зато дошла латинская передѣлка одной комедіи этой эпохи — неизвѣстнаго автора — а именно Амфитріонъ Плавта. Какъ видно уже по заглавію, это — комедія миеологическая; а такъ какъ это — единственный сохранный намъ образчикъ этой драматургической отрасли, дающій если не исчерпывающее, то во всякомъ случаѣ довольно ясное представленіе о ней, то будетъ небезынтересно остановиться нѣсколько на его содержаніи.

Въ сущности, сюжетъ Амфитріона — сюжетъ очень серьезный; такъ, по крайней мѣрѣ, къ нему относилась вѣрующая Греція. Въ его центрѣ стоитъ мифъ о рожденіи Геракла (или Геркулеса), сына Зевса и смертной женщины Алкмены, супруги еиванскаго царя Амфитріона. Не простое любовное похищеніе одного изъ „легкоживущихъ“ олимпійскихъ боговъ видѣла вѣрующая Греція въ этомъ мифѣ: согласно древнѣйшей религіи, царству Зевса, воздвигнутому на развалинахъ царства Земли, грозила гибель отъ силъ этой приниженной и порабощенной богини; спасти его могъ только смертный божественнаго сѣмени, не связанный договоромъ боговъ и прокладывающій себѣ собственной силой свой тяжелый жизненный путь. Кто знакомъ съ Нибелунгами Вагнера, тотъ по аналогичной роли Вотана и Зигфрида можетъ себѣ составить представленіе о томъ, чѣмъ былъ для религіи Зевса мифъ о рожденіи Геракла. Именно для того, чтобы дать міру его спасителя, Зевсъ въ образѣ Амфитріона нисходитъ къ его супругѣ, цѣломудренной Алкменѣ, и дѣлаетъ ее матерью перваго богатыря среди людей. Конечно, съ приходомъ настоящаго Амфитріона обманъ обнаруживается. Алкмена въ отчаяніи — но тутъ самъ Зевсъ за нее заступается, раскрываетъ обоимъ супругамъ смыслъ происшедшаго, и Амфитріонъ смиренно и радостно преклоняется передъ нимъ, гордый въ сознаніи, что онъ удостоенъ быть пѣстуномъ Зевсова сына, намѣченнаго спасителя міра. Именно въ этомъ смиреніи

и этой гордости заключается отличительная черта серьезнаго отношенія къ мнѣу, какъ творенію народной души.—Позднѣе, въ лицѣ Еврипида, трагедія ухватилась за этотъ сюжетъ. Для нея, понятнo, интересъ заключался въ другомъ: ея вниманіе привлекала психологія Алкмены, этой цѣломудренной и все-таки фактически невѣрной супруги. Наконецъ, нашъ сюжетъ попалъ въ руки мифологической комедіи; она сдѣлала изъ него вотъ что.

Узнавъ объ отсутствіи Амфитріона, отправившагося въ походъ противъ враговъ, Зевсъ вздумалъ воспользоваться имъ для галантнаго приключенія съ его женой, царицей Алкменой. Для этого онъ принимаетъ образъ Амфитріона и, сопровождаемый своимъ постояннымъ слугой Гермесомъ (Меркуріемъ), отправляется къ ней. На бѣду настоящій Амфитріонъ выигралъ рѣшительное сраженіе и какъ разъ къ этому времени выслалъ впередъ своего раба Сосія, глупаго, трусливаго и пьяницу, достойнаго представителя типической маски дурака древнѣйшей карикатурной комедіи. Ясное дѣло, что Сосій своимъ рассказомъ погубить все дѣло: надобно поэтому не дать ему войти въ домъ. Эту роль беретъ на себя Гермесъ: принявъ образъ Сосія, онъ встрѣчаетъ настоящаго Сосія какъ самозванца, доказывая ему, что онъ-то, Гермесъ, и есть рабъ Амфитріона Сосій. Его доказательства настолько убѣдительны, что на Сосія подъ конецъ находятъ сомнѣнія, онъ ли онъ или не онъ; а такъ какъ Гермесъ не прочь подкрѣпить свои доказательства подзатыльниками, то онъ считаетъ за болѣе благоразумное удалиться. Но, конечно, этимъ забавнымъ интермеццо опасность только отсрочена; Амфитріонъ возвращается, дѣла принимаютъ трагическій оборотъ. Зевсъ не отказываетъ себѣ въ удовольствіи довести путаницу до крайнихъ размѣровъ, появляясь въ образѣ Амфитріона то Алкменѣ, то домашнимъ; подъ конецъ онъ даетъ увидѣть себя въ присутствіи самого Амфитріона, причемъ никто не можетъ разобрать, который изъ нихъ настоящій. Но вотъ приближается моментъ родовъ Алкмены: раскаты грома привѣтствуютъ рожденіе Зевсова младенца. Амфитріонъ убѣждается, что его осѣнило чудо; въ этой вѣрѣ его подкрѣпляетъ Зевсъ, являясь ему въ своемъ настоящемъ образѣ. Обманутый супругъ преклоняется передъ волей бога—

въ этомъ благоговѣйномъ заключеніи сказывается наслѣдіе древней религіозности.

Какъ извѣстно, Амфитріонъ Плавта былъ обработанъ Мольеромъ; тутъ древняя и новая комедія явно подаютъ другъ другу руку. А съ легкой руки Мольера мифологическая комедія пошла въ гору, причемъ Зевсъ или Юпитеръ, часто подъ фамиліарнымъ именемъ *Jupin*, сталъ настоящимъ типомъ влюбчиваго *grand seigneur*, а Амфитріонъ превратился въ обыкновеннаго смѣшного и жалкаго сосу. А мифологическая комедія дала новые ростки въ сравнительно недавнее время въ видѣ мифологической оперетки Оффенбаха и его сверстниковъ: тутъ опошленіе греческаго Олимпа было доведено до послѣднихъ предѣловъ, источникъ столькихъ религіозныхъ и эстетическихъ вдохновеній былъ окончательно загрязненъ и изгаженъ. Конечно, починъ этому сдѣлали сами греки въ своей мифологической комедіи; но они могли это сдѣлать безопасно, такъ какъ ихъ эпосъ и трагедія, скульптура и живопись представляли имъ въ серьезныхъ образахъ то прекрасное, которымъ была такъ богата ихъ родная вѣра. У современнаго общества такого эстетическаго противовѣса не было и нѣтъ; для него, поэтому, смѣхъ, вызываемый опереткой Оффенбаха—нездоровый смѣхъ. разрушитель красоты, источникъ душевнаго оскудѣнія и пустоты сердца. Этотъ смѣхъ, согласно закону вырожденія, вызвалъ, въ свою очередь, то бабье нытье, которымъ такъ любить пробавляться драматическая сцена нашихъ дней.

VIII.

Мы видѣли, какова была мифологическая отрасль средне-аттической комедіи; передѣлка Плавта дала намъ возможность составить себѣ о ней довольно точное представленіе. Далеко не въ столь благопріятномъ положеніи находимся мы относительно чисто бытовой отрасли: заглавій и отрывковъ сохранилось много, но всѣ они вмѣстѣ взятые не замѣняютъ намъ одной цѣльной комедіи. Одно, впрочемъ, для насъ ясно: свое вдохновеніе поэтъ черпалъ изъ жизни золотой молодежи тѣхъ временъ; пирушки богатыхъ юношей, проматывавшихъ съ

изыщными гетерами и остроумными паразитами отцовскія денежки, поставляли добрую половину темъ. Отсюда любимыя фигуры: молодой повѣса, прелестница, паразитъ, поваръ... Роль перваго болѣе пріятна, чѣмъ благодарна въ сценическомъ отношеніи; но остальные много принесли своего. Вотъ гетера, съ любовью на устахъ, съ расчетомъ въ сердцѣ... было предоставлено христіанской апологетикѣ дать ей тотъ эпитетъ, котораго она заслуживала, эпитетъ „несчастной“ — древности позволительно было беззаботно любоваться поддѣльнымъ румянцемъ ея щекъ „и дѣвы-розы пить дыханье, быть можетъ — полное чумы“. Вотъ паразитъ, балагуръ и обжора; цѣль его честолюбія — сытный обѣдъ, средство — всѣ блестины остроумія, которымъ располагало тогдашнее блестящее общество современниковъ Платона. Вотъ поваръ; его роль казалось бы самая матеріальная, но нѣтъ — пристроившись къ умнымъ людямъ, онъ отвыкъ называть ухватъ ухватомъ и сковороду сковородой и изобрѣлъ такой „драгоценный стиль“, какой не снился человѣчеству вплоть до временъ Сирано-де-Бержерака. Таковы герои и ихъ способности; а ихъ дѣянія? Ну, разумѣется, пирушки и попойки, фейерверки остроумія, веселая философія, загадки и прибаутки. — Это съ одной стороны. А съ другой — флиртъ, самый невзыскательный изъ всѣхъ, флиртъ богатыхъ юнцовъ съ гетерами, очень дешевый съ психологической, хотя и дорогой съ матеріальной точки зрѣнія, игра шальныхъ денегъ съ продажными ласками. А впрочемъ, постойте: на фонѣ этой мишурной жизни возможны и мишурныя страсти, нѣчто въ родѣ любви, нѣчто въ родѣ ревности... и ужъ совершенно не мишурныя столкновенія съ болѣе счастливыми соперниками. Говорятъ, что одному изъ поэтовъ этого направленія, Антифану, выпало на долю счастье прочесть одну изъ своихъ комедій Александрѣ Великому. Въ этомъ контрастѣ игрушечной и реальной жизни первой не посчастливилось; на Александра чтеніе нагнало скуку, но аттическій поэтъ съ благодаріемъ своихъ героевъ-паразитовъ сумѣлъ перенести свое поражение. „Меня это ничуть не удивляетъ, царь“, сказалъ онъ: „смаковать подобныя вещи можетъ только человѣкъ, самъ нерѣдко пировавшій въ складчину и изъ-за гетеръ дравшійся съ соперниками“.

Все ли этимъ сказано? Нѣтъ, не все. Въ парниковой атмосферѣ мишурной жизни, въ которой такъ любили вращаться поэты среднеаттической комедіи, были выхолены два цвѣтка, которые затѣмъ, пересаженные на вольный воздухъ, привились и окрѣпли и въ настоящее время кажутся намъ столь здоровыми дѣтьми нашего климата, что мы и не подозреваемъ ихъ искусственнаго происхожденія. Боюсь, что мое заявленіе покажется парадоксальнымъ; тѣмъ не менѣе оно соотвѣтствуетъ фактамъ: однимъ цвѣткомъ былъ *языкъ любви*, другимъ же то, что французы называютъ *esprit*, мы же очень несовершенно передаемъ словомъ „остроуміе“. Да, какъ это ни странно, какъ это ни больно — творцемъ языка любви была гетера, творцомъ остроумія (въ принятомъ нами смыслѣ) — паразитъ среднеаттической комедіи; самые нѣжные и благородные порывы нашего сердца, самыя тонкія проявленія нашего ума говорятъ языкомъ, созданнымъ продажными ремесленниками той и другой области. Знакомые съ эволюціей умственной культуры этому удивляться не будутъ: выработка всякой техники бываетъ дѣломъ ремесленниковъ, но затѣмъ эта техника дѣлается достояніемъ общества и тогда только находитъ достойное себя содержаніе. Человѣчество любило и мыслило, не зная ни языка любви, ни языка остроумія; выработать тотъ и другой было предоставлено людямъ, у которыхъ не было другого дѣла, кромѣ остроумія и любви, паразитамъ и гетерамъ; они-то и научили насъ говорить. Стыдиться этого дара намъ нечего: мы получили его не отъ нихъ непосредственно, а черезъ многія промежуточныя инстанціи, въ очищенномъ и облагороженномъ видѣ.

Начало этого облагороженія совпадаетъ — по крайней мѣрѣ для языка любви — съ тѣмъ моментомъ, когда въ описанное выше общество впервые попадаетъ *тѣгушка*, носительница и предметъ уже не мишурной, а настоящей любви. Традиція древнихъ соединяетъ этотъ моментъ съ именемъ поэта среднеаттической комедіи Анаксандрида; но такъ какъ этотъ поэтъ былъ однимъ изъ древнѣйшихъ поэтовъ этого періода — начало его дѣятельности примыкаетъ къ концу дѣятельности Аристофана — то мы не можемъ сказать, былъ ли этотъ мотивъ его характернымъ достояніемъ, или нѣтъ; возможно вѣдь, что онъ

встрѣчался вообще у поэтовъ средней комедіи, и что Анаксандридъ названъ его чиновначальникомъ именно какъ древнѣйшій изъ нихъ. Какъ бы то ни было, мотивъ какъ таковой заслуживаетъ нашего вниманія—ему суждено было имѣть длинную исторію, и его послѣднимъ отпрыскомъ была извѣстная комедія Островскаго „Безъ вины виноватые“, всецѣло на немъ построенная. Его формула гласитъ вкратцѣ такъ. Молодой человѣкъ обольщаетъ честную дѣвушку и, обольстивъ, покидаетъ ее. Дѣвушка дѣлается матерью; не будучи въ силахъ вынести позоръ, она своего ребенка подкидываетъ, оставляя ему материнское благословеніе въ видѣ какой-нибудь бездѣлушки. Всѣ теряютъ другъ друга изъ виду; затѣмъ, черезъ 15—20 лѣтъ судьба ихъ опять сводитъ, они узнаютъ другъ друга—мать своего ребенка, благодаря оставленной бездѣлушкѣ—и все кончается благополучно. Этотъ мотивъ „обольщенія и признанія“, какъ его называли древніе (*phthora kai anagnōrismos*) попалъ, повторяю, въ комедію благодаря Анаксандриду; но въ литературѣ онъ существовалъ и раньше, только какъ трагическій, а не комическій мотивъ. Мы имѣемъ его въ „Іонѣ“ Еврипида; а такъ какъ въ эпоху греческой учености Еврипидъ былъ излюбленнымъ аттическимъ трагикомъ, то она и объявила Еврипида настоящимъ вдохновителемъ позднѣйшей комедіи. Но древнѣе Іона была „Тирд“ Софокла (см. т. III, стр. 197 сл. моего перевода этого поэта), всецѣло построенная на „обольщеніи и признаніи“; ему поэтому и должна быть возвращена честь изобрѣтенія этого благодарнаго мотива.

Можетъ показаться страннымъ, какимъ это образомъ столь серьезный мотивъ, какъ нашъ, могъ найти себѣ мѣсто въ комедіи; дѣйствительно, оба поэта, стоящіе на противоположныхъ концахъ многовѣковой цѣпи—Софокль и Островскій—воспользовались имъ именно какъ серьезнымъ мотивомъ. Разгадка заключается въ слѣдующемъ. Аттическая комедія уже въ силу своего незначительнаго объема была лишена возможности представить на сценѣ и обольщеніе, и признаніе—она ограничивалась послѣднимъ, обольщеніе же предполагалось происшедшимъ уже давно, и уже вслѣдствіе своей давности не могло омрачать дѣйствія комедіи. Дѣйствіе было веселымъ, зрители съ

возрастающимъ интересомъ слѣдили за игрой прихотливой Судьбы — какъ она, нагромождая въ началѣ препятствія и затрудненія, мгновенно ихъ затѣмъ устраняла благодаря неожиданному, чудесному „признанію“... Впрочемъ, мы уже затрогиваемъ область фабулы, а о ней мы — кромѣ самаго мотива, о которомъ идетъ рѣчь, — ничего не знаемъ; все извѣстное намъ относится уже не къ средней, а къ новой аттической комедіи.

IX.

Нѣтъ строгой границы, отдѣляющей новый періодъ аттической комедіи отъ средняго; принято вообще относить первый къ эпохѣ послѣ Александра Великаго, второй — къ эпохѣ до него, но это лишь приблизительные и къ тому же произвольные термины. На межѣ между древнимъ и среднимъ періодами мы находимъ настоящія литературно-историческія событія, упраздненіе хора и запрещеніе политической насмѣшки; здѣсь ничего подобнаго — новая комедія органически вырастаетъ изъ средней. Въ виду этого послѣдняго обстоятельства нѣкоторыми новѣйшими учеными было даже предложено слить среднюю комедію съ новой въ одинъ сплошной періодъ, противопоставляемый древнему. Противъ этого однако вполнѣ справедливо былъ заявленъ протестъ: уже коли сами древніе, читавшіе цѣликомъ Анаксандрида, Антифана и др. съ одной стороны, Менандра, Филемона и пр. съ другой, относили ихъ къ двумъ качественно различнымъ періодамъ, — то не намъ, конечно, ихъ учить. Но фактъ тѣмъ не менѣе остается фактомъ: насколько *намъ* дозволено имѣть сужденіе, достоинствомъ новоаттической комедіи было лишь усовершенствованіе того, что въ зародышѣ имѣлось уже въ среднеаттической.

Учителями новоаттиковъ были въ этомъ отношеніи двое не принадлежавшіе къ ихъ цеху; это — во-первыхъ, названный уже Еврипидъ, во-вторыхъ, Аристотель и его школа.

У Еврипида было чему позаимствоваться комедіи и помимо болѣе древняго, какъ мы видѣли, мотива оболъщенія и признанія. Этотъ гениальный, но безпокойный и прихотливый трагикъ въ поискахъ за новыми путями обогатилъ трагедію

такимъ элементомъ, который ей былъ совершенно ни къ лицу — элементомъ *интриги*. Орестъ находитъ въ Тавридѣ свою сестру Ифигенію; узнавъ ее, онъ условливается съ нею о томъ, какъ бы имъ вмѣстѣ бѣжать изъ земли таврическаго царя, обманувъ его ревнивую бдительность. Гете, воспроизводя въ своей „Ифигеніи“ фабулу своего греческаго предшественника, элементъ интриги, однако, отбросилъ: у него Ифигенія *убѣждаетъ* царя, чтобы онъ отпустилъ ихъ добровольно, интригу замѣняетъ конфликтъ между эгоистической и благородной натурой царя. Дѣйствительно, насколько психологическій конфликтъ свойственъ трагедіи, настолько интрига, т.-е. торжество ума (хотя и хитраго) надъ глупостью, приличествуетъ комедіи. Еврипидъ, какъ онъ самъ позднѣе понялъ (выше стр. 159), повелъ трагедію по ложному пути, вводя въ нее интригу; но этимъ самымъ онъ сдѣлался учителемъ комедіи, которой осталось только приобщить его находку къ своему арсеналу, чтобы придать своему дѣйствию захватывающій интересъ.

Но интрига различно дѣйствуетъ на насъ, смотря по тому, кто является ея жертвой. Въ „Ревизорѣ“ и въ „Свадьбѣ Кречинскаго“ герои другъ друга стоятъ; тѣмъ не менѣе мы душевно рады успѣху интриги въ первой комедіи, между тѣмъ какъ во второй именно ея неудача вызываетъ въ насъ чувство удовлетворенія. Почему такая разница? Потому, что тамъ жертвой интриги дѣлаются люди, заслуживающіе этой участи, между тѣмъ какъ здѣсь она грозитъ бѣдой простодушнымъ, но хорошимъ людямъ. Вотъ почему развитіе интриги само собою ведетъ къ оттѣненію, къ тщательной разработкѣ характеровъ; и здѣсь-то учителями новой комедіи стали Аристотель и его школа. Особенность этого философскаго направленія заключалась въ томъ, что оно объявило предметомъ наблюденія и изученія всю окружающую насъ жизнь, не исключая и характеровъ тѣхъ, кто принимаетъ въ ней участіе; ближайшій другъ и ученикъ Аристотеля, Теофрастъ, посвятилъ этимъ характерамъ обширное изслѣдованіе, изъ котораго намъ сохранилось очень интересное извлеченіе (выше стр. 100). Конечно, такая „этологія“, дѣйствующая по методамъ зоологіи и прочихъ описательныхъ наукъ, не могла обойтись безъ извѣстнаго схематизма, а схематизмъ безъ упрощенія дѣйстви-

тельности: сложнымъ натурамъ здѣсь не мѣсто, главное вниманіе обращается на *faculté maitresse*, какъ ее называетъ Тэнъ, и на ея проявленіе въ отдѣльныхъ случаяхъ. Но комедіи именно это и было на руку—по крайней мѣрѣ тѣмъ ея представителямъ, которые сосредоточили свой интересъ на фабулѣ. Заимствованные изъ средней комедіи типы перерабатываются въ духъ характеровъ новой этологіи и соотвѣтственно дифференцируются; прибавляются новые характеры, которые уже не трудно было найти въ окружающей жизни и художественно оформить, послѣ того какъ эта самая этологія научила поэтовъ сознательно ее утилизировать. Вообще можно сказать: типы уступаютъ мѣсто характерамъ—въ этомъ заключается главное различіе между средней и новой комедіей. Давно уже было замѣчено, что гетера въ новой комедіи значительно ступшевывается передъ дѣвушкой; конечно, она встрѣчается нерѣдко, но уже не какъ главное лицо, не какъ руководительница комической интриги. Поваръ подавно оставляетъ сцену; „драгоцѣнный стиль“, такъ умѣстный въ мишурной жизни средней комедіи, уже не идетъ къ той реальной, которую стараются воспроизвести комедіи нашего періода. Паразитъ—онъ же и „сикофантъ“—побѣдоносно отстоялъ свое мѣсто также и въ новой комедіи, какъ главный носитель интриги; но и онъ преобразовался и изъ безличнаго балагура превратился въ очень ярко очерченный характеръ рыцаря легкой наживы. Но, разумѣется, это далеко не все.

Я нарочно подчеркнул, говоря только-что о характеристикахъ въ новой комедіи, то ея направленіе, которое сосредоточивало свой интересъ на фабулѣ и въ виду этого довольствовало^{сь} простыми, прямолинейными характерами; дѣйствительно, къ этому направленію принадлежало большинство представителей новой комедіи, насколько мы можемъ судить—все кромѣ Менандра. Прежде чѣмъ перейти къ этому послѣднему, одиноко царящему на недостигаемой высотѣ, охарактеризуемъ на одномъ примѣрѣ комедію фабулы, какъ ее можно вкратцѣ назвать. Возьмемъ для этого одну изъ самыхъ бойкихъ пьесъ всего репертуара—„*Epidikazomenos*“ Аполлодора Каристскаго, сохраненную намъ въ передѣлкѣ Теренція подъ заглавіемъ „Форміонъ“ и послужившую, благодаря этому косвенно образ-

цомъ для одной изъ самыхъ веселыхъ комедій Мольера— „Les fourberies de Scapin“.

Живутъ въ Аѳинахъ два брата, Хреметъ и Демофонтъ; оба они богаты, но старшій, Хреметъ, разбогатѣлъ благодаря женитьбѣ на богатой наслѣдницѣ Навсистратѣ, младшій—благодаря собственному трудолюбію и дѣловитости. Хреметъ, получивъ за женой крупныя помѣстья на островѣ Лемносѣ, часто отлучался туда по дѣламъ; тамъ онъ однажды познакомился съ одной небогатой дѣвушкой, сблизился съ нею подъ чужимъ именемъ и прижилъ съ ней дочку. Впрочемъ, онъ своей новой лемносской семьи не покинулъ, а продолжалъ содержать ее, но—и въ этомъ заключалась неловкость его положенія—за счетъ доходовъ съ жениныхъ помѣстій. Въ Аѳинахъ же у него былъ, много старше той лемносской дочки, законный сынъ отъ Навсистраты, по имени Федрій, славный малый и порядочный шелопай.—Но вотъ дочка выросла; настало время подумать о томъ, чтобы ее выдать. Да, но за кого? За чужого? Нельзя: пришлось бы открыть ему тайну и этимъ закабалить себя зятю. Онъ рѣшается довѣриться брату; у того тоже остался сынъ отъ покойной жены, Антифонтъ, тихій, скромный паренекъ; они рѣшаютъ женить Антифонта на его неузнанной двоюродной сестрѣ. Съ этой цѣлью Хреметъ отправляется на Лемносъ.

Случилось, однако, что—одновременно съ отъѣздомъ Хремета—и его брату Демофонту пришлось по дѣламъ отправиться въ далекое плаваніе: такъ-то оба юноши остались безъ надзора. Положимъ, старики приняли свои мѣры; денежки всѣ были припрятаны, а молодымъ людямъ назначенъ въ дядьки вѣрный рабъ Демофонта, Гета; но понятно, что положеніе этого послѣдняго между волей настоящего и прихотью будущаго хозяина было довольно щекотливо. Старшимъ изъ юношей былъ Федрій; воспользовавшись отсутствіемъ отца, онъ тотчасъ завелъ шашни съ одной киеаристкой, невольницей промышлявшаго ея красотой и талантомъ „ленона“—который къ слову сказать, тоже принадлежалъ къ излюбленнымъ типамъ новой, вѣроятно и средней комедіи. Шашни, впрочемъ, были довольно невиннаго характера, благодаря отсутствію денегъ съ одной и свободы съ другой стороны. Тѣмъ временемъ Антифонтъ,

присматриваясь къ приключеніямъ брата, и самъ сталъ учиться уму разуму: скоро дѣло коснулось и его.

Случай свелъ его съ одной очень красивой дѣвушкой, плакавшей у трупa матери; дѣвушка оказалась пріѣзжей, Фаніей, безо всякихъ знакомыхъ въ Аѣинахъ, кромѣ своей старой няни. Съ перваго же раза онъ влюбился въ нее безъ ума; но такъ какъ ей было не до флирта, то онъ сталъ подумывать о томъ, чтобы на ней жениться. Надеждъ было мало: правда, дѣвушка была бы не прочь выйти за хорошаго молодого человека, но зато было ясно, что отецъ никогда не согласится взять въ домъ безприданницу. — Вотъ тутъ-то и начинается роль паразита и сифофанта Форміона: зная въ совершенствѣ всѣ лазейки закона, онъ находитъ средство женить Антифонта на Фаніи противъ воли отца. А именно; законодатель, имѣя въ виду участь оставшихся безъ родителей и братьевъ дѣвушекъ-гражданокъ, опредѣлялъ, чтобы таковыхъ брали за себя ближайшіе родственники; если они этого не хотѣли, они имѣли право откупиться приличной суммой, которая составляла приданое дѣвушки. Основываясь на этомъ законѣ, Форміонъ выдаетъ себя за друга покойнаго отца Фаніи и за ея естественнаго покровителя: онъ сочиняетъ генеалогію, по которой оказывается, что Фанія — троюродная сестра Антифонта, и требуетъ, чтобы тотъ на ней женился. Антифонтъ для виду отказывается, тогда Форміонъ вчиняетъ къ нему искъ (такіе иски относительно женитьбы называются по-гречески *epidikasiai*; отсюда заглавіе комедіи). Антифонта требуютъ къ отвѣту; а такъ какъ онъ не оспариваетъ вымышленной Форміономъ генеалогіи, откупиться же деньгами не можетъ — родитель ихъ крѣпко припряталъ — то судьи заставляютъ его жениться на Фаніи. Онъ это и дѣлаетъ, якобы поневолѣ, на дѣлѣ же радостно; Фанія вступаетъ законной его супругой въ домъ Демофонта. Но счастье медовыхъ дней длится недолго — пріѣзжаетъ отецъ. — Здѣсь начинается дѣйствіе комедіи.

Смиранный юноша не въ силахъ вынести встрѣчу съ разгнѣваннымъ отцомъ; онъ поручаетъ Фанію брату и дядкѣ и бѣжить. Зато тѣ двое знаютъ свою роль хорошо. Въ чемъ же, въ сущности, провинился Антифонтъ? Какъ образованный юноша, онъ приготовилъ и заучилъ защитительную рѣчь (пред-

ставительства сторонъ афинское судопроизводство не допускало), но ему ли тягаться съ сивофантомъ! Онъ смутился, его и осудили. Дядька же и подавно ни въ чемъ не виноватъ; онъ — рабъ, судъ его участія не допускаетъ. Дѣлать нечего. Единственная надежда теперь на Форміона; пусть онъ возьметъ отступного, сколько слѣдуетъ, и уведетъ свою питомицу. Посылаютъ за Форміономъ: тотъ не прочь сразиться со старикомъ. Сраженіе происходитъ, но Форміонъ опять побѣждаетъ: „если ты посмѣешь оскорбить ее—я подамъ на тебя въ судъ жалобу, да какую!“ Демофонтъ не знаетъ, что ему и дѣлать; друзья ничего путнаго посоветовать не могутъ. Эхъ, кабы братъ скорѣе вернулся! Пока же заключается нѣчто въ родѣ перемирія.

Но пока всѣ ждутъ Хремета, дѣло осложняется по милости сына послѣдняго, Федрія. Его киваристка продана какому-то богатому любителю сихъ дѣлъ, всѣ мольбы его напрасны, ему дѣлается только одна уступка: если онъ принесетъ деньги раньше новаго покупателя, то она будетъ выдана ему. Но откуда взять эти деньги? Сердобольные товарищи общались сложиться, но это дѣло многихъ дней, а левонъ долѣе сутокъ ждать не намѣренъ: что дѣлать? Гета, къ счастью, надумалъ средство: то отступное, которое Демофонтъ, очевидно, не прочь бы выдать Форміону. Если бы можно было устроить дѣло такъ: Форміонъ эти деньги получить съ обязательствомъ взять Фанію за себя и выдать ихъ Федрію, но, разумѣется, съ исполненіемъ обязательства торопиться не будетъ: тѣмъ временемъ друзья Федрія возвратятъ ему полученную сумму, которую онъ и отнесетъ Демофонту съ извиненіями—жениться, дескать, не могу, боги не велятъ.

Вотъ однако пріѣзжаетъ въ Аѣны Хреметъ; Демофонтъ его встрѣчаетъ: „Что же, привезъ съ собой дочь?“ Нѣтъ, не привезъ: она не дождалась его прибытія и вмѣстѣ съ матерью отправилась къ нему въ Аѣны. Это — первая неудача; вторая—женитьба Антифонта, лишающая его надежды пристроить дочь за нимъ. Къ счастью, приближается спаситель въ образѣ Геты: онъ рассказываетъ о мнимомъ своемъ разговорѣ съ Форміономъ; оказывается, послѣдній согласенъ принять отступное и расторгнуть бракъ Антифонта съ Фаніей—правда онъ требуетъ ужъ чересчуръ крупной суммы. Демофонтъ возмущается, но

Хреметъ, обрадованный вновь мелькнувшей надеждой на исполненіе завѣтной мысли, его уговариваетъ. Оба брата складываются, и Демофонтъ идетъ выдать требуемое Форміону: Федрій и его киеаристка спасены. Спасенъ и Хреметъ; но чтобы осуществить свой планъ, ему нужно предварительно найти вторую жену и дочь. Случай ему помогаетъ: на встрѣчу ему выбѣгаетъ старушка, въ которой онъ узнаетъ няню своей дочери... Читатель, конечно, уже догадался, что эта дочь — не кто иная, какъ Фанія; въ аттической комедіи прихотямъ Судьбы отведено очень почетное мѣсто, какъ мы могли убѣдиться уже раньше, по поводу мотива „обольщенія и признанія“. Итакъ, то, къ чему онъ такъ страстно стремился, исполнилось само собой безъ его участія: Антифонъ женатъ на его дочери, той самой, которую онъ хотѣлъ за него выдать. Онъ идетъ къ ней, въ домъ своего брата, происходитъ трогательная сцена свиданія—внезапно онъ вспоминаетъ о днягахъ, о томъ несчастномъ отступномъ, которое они рѣшили выдать Форміону. Эхъ, кабы можно было захватить Демофонта! Но уже поздно: деньги въ рукахъ у хитраго паразита: Гета, быстро пронюхавъ въ чемъ дѣло, сообщилъ ему важную новость, что Фанія оказалась дочерью Хремета, и старикъ теперь уже ни за что не согласится на расторженіе ея брака. Теперь Форміонъ хозяинъ положенія: съ миной глубоко честнаго человека онъ идетъ къ Демофонту и требуетъ Фанію себѣ въ жены. Деньгами де онъ распорядился по уговору, удовлетворилъ кредиторовъ, купилъ что нужно для обстановки — все готово, можно приступить къ свадьбѣ. Дѣло ясно: махнуть рукой на деньги и отвязаться отъ Форміона. Но стариковъ одолѣла жадность: они требуютъ отъ Форміона обратно денегъ, велятъ его схватить—тогда Форміонъ рѣшается на отчаянный шагъ. Своимъ зычнымъ голосомъ онъ вызываетъ изъ сосѣдняго дома Навсистрату, супругу Хремета. Та является: въ чемъ дѣло? Хреметъ чуетъ недоброе; Форміонъ злорадствуетъ; со сладкимъ сознаніемъ того зла, которое онъ дѣлаетъ, онъ рассказываетъ Навсистратѣ все, что узналъ отъ Геты о второмъ бракѣ ея супруга и, убивъ его окончательно, заключаетъ признаніемъ о любви ея сына къ киеаристкѣ. Моментъ выбранъ удачно; правда, Хреметъ не прочь по-отечески пожурить сына,

но Навсистрата ему затыкаетъ ротъ: „что же тутъ страннаго, что твой молодой сынъ завелъ одну любовницу, когда ты завелъ двухъ женъ?“ Приходится покориться: Федрію обезпечена его любовь, а Форміону — даровой столъ у обоихъ его молодыхъ друзей.

Таково содержаніе нашей комедіи; пришлось передать его нѣсколько пространнѣе, чтобы читатель могъ самъ убѣдиться, какъ замысловато здѣсь построена фабула. Какъ далеки мы тутъ отъ безыскусности той прежней, нанизывающей техники, при которой мотивы безконечной вереницей выростали одинъ изъ другого, ничѣмъ не связанные, кромѣ личности героя! Тутъ дѣйствіе строго централизовано; правда, интрига не простая, а двойная — къ той, которая вызвана любовью Антифонта, прибавляется другая, имѣющая свой корень въ приключеніяхъ Федрія, — но обѣ онѣ ловко сплетены одна съ другой и имѣютъ общую развязку. Положительно, по продуманности фабула не заставляетъ желать лучшаго: нѣтъ ничего лишняго, всѣ сцены держатся одна за другую; нѣтъ равнымъ образомъ ничего неправдоподобнаго, если не считать прихотливой игры Судьбы. Но о ней самой въ тѣ безпокойныя времена думали иначе, чѣмъ теперь, въ нашъ вѣкъ паспортовъ и телеграфовъ. Неожиданность царила въ жизни людей; поэту было позволительно изъ множества бессмысленныхъ случайностей, которыми онъ былъ окруженъ, выбирать для своихъ пьесъ тѣ, въ которыхъ сказывалось подобіе разумнаго плана и доброжелательной воли.

X.

Правда, именно по этой причинѣ въ нашъ вѣкъ паспортовъ и телеграфовъ замысловатостью фабулы перестали интересоваться; пусть ею восхищаются дѣти, для которыхъ ни того, ни другого не существуетъ, — мы взрослые, къ ней относимся свысока. Намъ нужны характеристики — характеристики индивидуальныя, или, еще лучше, характеристики массы или среды. Съ этой точки зрѣнія Аполлодоръ и всѣ прочіе поступаютъ, пожалуй, очень разумно, что спятъ безмятежнымъ, вѣчнымъ сномъ; но столь же разумно поступаетъ ихъ кори-

фей, „свѣтило новоаттической комедіи“, *Менандръ*, обнаруживающій именно теперь признаки пробужденія. Дѣйствительно, онъ въ послѣднее время часто заставлялъ говорить о себѣ: то и дѣло изслѣдователи-филологи находятъ, преимущественно на египетскихъ папирусахъ, сцены изъ его комедій; такія славныя въ древности комедіи, какъ „Видѣніе“, „Отрѣзанная коса“, „Третейскій судъ“, перестали быть для насъ пустыми именами—онѣ облакаются въ плоть и кровь. Конечно, Менандръ и раньше былъ намъ болѣе или менѣе извѣстенъ — Теренцій передѣлалъ по-латыни четыре его пьесы, „Андріанку“, „Евнуха“: „Самоистязателя“ и „Братьевъ“, но передѣлалъ вольно, сшивая ради осложненія фабулы по двѣ комедіи своего оригинала вмѣстѣ; кромѣ того онъ, за невозможностью передать по-латыни „аттическую соль“ Менандра, нерѣдко жертвовалъ отгѣнками въ характеристикахъ — однимъ словомъ, онъ старался приблизить его къ уровню прочихъ комиковъ, вмѣсто того, чтобы уловить то, чѣмъ онъ возвышался надъ ними. Это мы могли подозрѣвать и раньше—недаромъ еще Цезарь, умѣвшій цѣнить и аттическую и всякую другую соль, называлъ Теренція „полуменандромъ“ — но только послѣднія находки дали намъ возможность дополнить до нѣкоторой степени ту половину Менандра, которую Теренцій оказался не въ силахъ воспроизвести.

Въ чемъ состоятъ эта половина—объ этомъ читателю не трудно догадаться послѣ сказаннаго выше; говорить объ этомъ не приходится, такъ какъ это завело бы насъ за предѣлы нашей темы. Наша тема — происхожденіе комедіи, комедіи новой Европы, происходящей по прямой линіи отъ комедіи античной. Менандръ принадлежитъ сюда лишь постольку, поскольку онъ былъ воспроизведенъ римской комедіей, представителя которой сохранились и могли поэтому дѣйствовать и вліять на комедію нашихъ временъ. А объ этой части его естества—искусной фабулѣ при простыхъ характерахъ — уже была рѣчь выше; ею Менандръ мало отличается отъ Аполлодора, Филемона и прочихъ, ею онъ не оправдываетъ пародоксальнаго возгласа Аристофана Византійскаго: „о Менандръ и жизнь, кто изъ васъ кому подражалъ?“

Но то былъ филологъ, цѣнитель и знатокъ; что же ка-

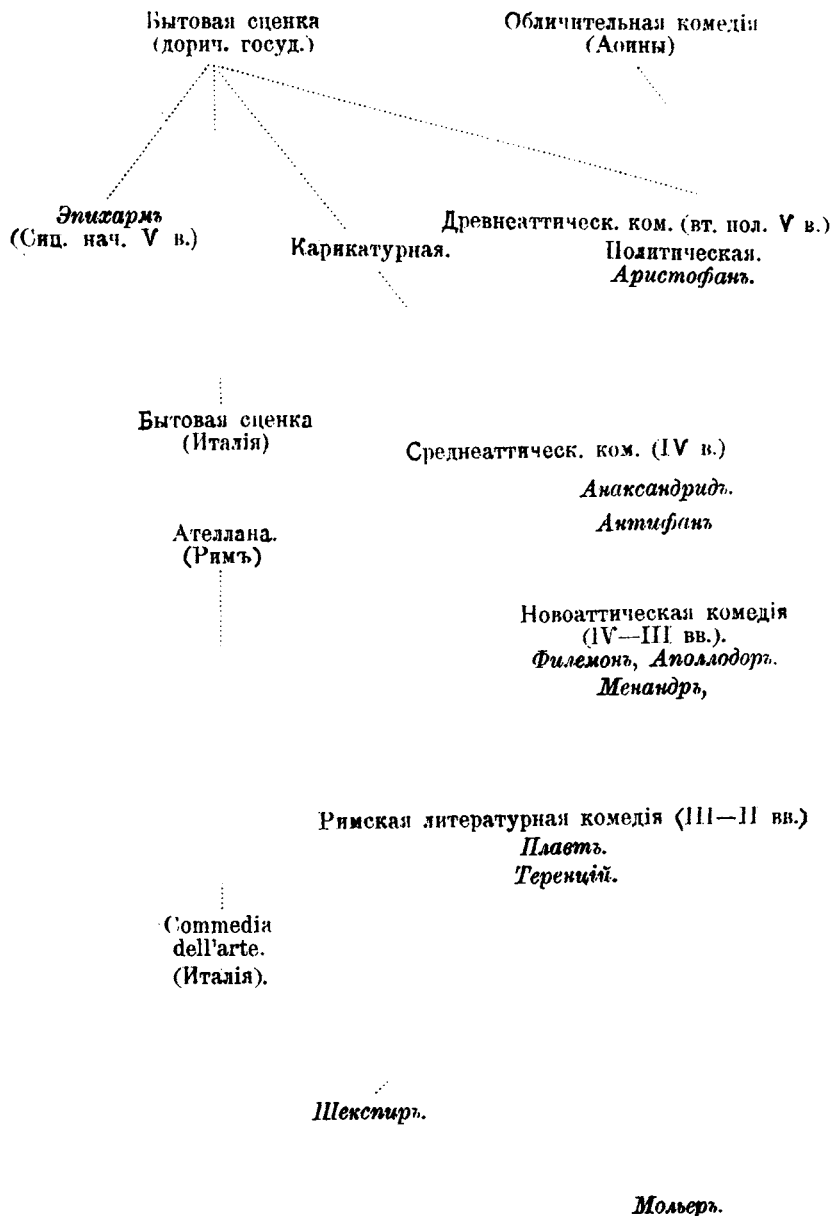
сается современниковъ Менандра, то они отнесли къ нему довольно холодно—побѣдъ онъ одержалъ мало, гораздо меньше, чѣмъ его соперникъ Филемонъ. Онъ остался въ сторонѣ отъ общаго движенія, одинокимъ, какъ было сказано выше, на недостигаемой высотѣ. Комедія же его сверстниковъ—комедія мудреной фабулы и прямолинейныхъ характеристикъ—черезъ два-три поколѣнія исчерпала свои сюжеты и выдохлась; конечно, и послѣ середины третьяго вѣка были въ Аѳинахъ комики и комедіи, но именъ между ними уже не было.

Зато это было какъ разъ время, когда комедія перешла въ Римъ. Ателлана уже раньше нашла тамъ убѣжище; теперь очередь дошла и до литературной комедіи. Сначала римляне пробовали-было перенести на свою почву веселую трагедію ближайшаго къ нимъ центра эллинизма, Тарента—отпрыскъ великой вѣтви дорической комедіи; это случилось именно около середины третьяго вѣка. Но вскорѣ они открыли аттическую комедію, — комедію средняго и новаго періодовъ, — и передъ нею Тарентъ ступевался окончательно. Въ лицѣ римскихъ комиковъ третьяго и второго вѣковъ—мы ограничиваемся именами Плавта и Теренція, такъ какъ только ихъ комедіи сохранены — комедія еще разъ возродилась, но возродилась не надолго; достойныхъ преемниковъ Теренцій не имѣлъ. Весь республиканскій Римъ увлекался ихъ твореніями, или, говоря правильнѣе, ихъ передѣлками греческихъ твореній; что же касается имперіи, то она серьезной комедіей не интересовалась, водевилъ и балетъ привлекали вниманіе любителей сценическаго искусства. Затѣмъ настали средніе вѣка; ихъ смѣнило Возрожденіе, призвавшее въ новой жизни также и спасенныхъ римскихъ комиковъ — ихъ и читали и ставили на сценѣ, въ оригиналѣ и въ переводахъ; такъ-то съ ними познакомились отцы новой литературной комедіи, Шекспиръ и Мольеръ.

Таково генеалогическое древо комедіи; для удобства читателей прилагаемъ его схему тутъ же. И пусть онъ не думаетъ, что времена измѣнили ее до неузнаваемости: конечно, неопытному взгляду трудно будетъ открыть родственныя черты въ представительницахъ ея различныхъ поколѣній—но только на первыхъ порахъ. А впрочемъ, кое-что и на первыхъ порахъ

совершенно ясно. О мотивѣ «обольщенія и признанія» уже была рѣчь выше; конечно, это не единственный образчикъ. Всѣмъ знакома шустрая служаночка Таня изъ „Плодовъ просвѣщенія“; но многіе ли знаютъ, что они имѣютъ передъ собой перелицеванную на русскій ладъ Лизетту Мольера, которая въ свою очередь, черезъ посредство Плавта и Теренція, восходитъ къ Доридамъ и Пиніадамъ аттической комедіи? И такъ во многихъ случаяхъ; конечно, филогеническая эволюція происходитъ и здѣсь, но гораздо медленнѣе, чѣмъ это склоненъ думать онтогенически эволюционирующій духъ отдѣльнаго индивидуума.

Генеалогія комедіи.



МОТИВЪ РАЗЛУКИ.

Овидій — Шекспиръ — Пушкинъ.

(1903).

I.

Подъ „мотивомъ разлуки“ мы будемъ разумѣть поэтическую обработку той развязки любовной драмы, когда по почину—добровольному или вынужденному, все равно—одного изъ участвующихъ въ ней лицъ союзъ расторгается и счастьемъ другого наносится рѣшительный ударъ. Конечно, понятый такъ, нашъ мотивъ допускаетъ много варіацій; однимъ изъ главныхъ критеріевъ дальнѣйшаго дробленія будетъ вопросъ, имѣлъ ли союзъ между любящими своимъ основаніемъ полное обладаніе. или же дѣло ограничивалось тою любовью, которой присвоено нелѣпое наименованіе „платонической“. Мы позволимъ себѣ оставить въ сторонѣ этотъ послѣдній случай, какъ болѣе поздній и, такъ сказать, производный, и вездѣ предполагать тотъ максимумъ любовнаго увлеченія, который одинъ только во всѣ времена считался достаточной мотивировкой трагической катастрофы. А затѣмъ, само собой разумѣется, что при такихъ условіяхъ починъ разрыва можетъ исходить только отъ мужчины; со стороны женщины онъ былъ бы самъ по себѣ,—то есть, безъ воздѣйствія совершенно исключительныхъ, постороннихъ обстоятельствъ—неестественъ, въ силу той ко-

ренной особенности женской природы, которую имѣетъ въ виду Гёте въ своихъ прекрасныхъ стихахъ:

Wir tragen die Kinder
Unter dem Herzen. und so tragen die Treue wir auch ¹⁾.

При такой постановкѣ ясно, что „мотивъ разлуки“ не могъ принадлежать къ исконнымъ мотивамъ поэзіи; такъ какъ его героемъ является обязательно женщина, то и интересъ къ нему могъ проснуться лишь тогда, когда женщина вообще стала равноправнымъ, то-есть, преимущественнымъ объектомъ поэзіи. И дѣйствительно,—чтобы сосредоточиться на *нашей* поэзіи — мы въ ея древнѣйшемъ памятникѣ, въ гомеровскомъ эпосѣ, мотива разлуки не встрѣчаемъ. Въ Иліадѣ Ахиллъ передаетъ свою плѣнницу Брисиду посланцамъ царя Агамемнона и этимъ разрываетъ свой союзъ съ нею, хотя онъ и называлъ ее раньше, передъ тѣмъ же царемъ, своею женой: и что же? „Неохотно поспѣдовала за ними женщина“ — вотъ все, что пѣвецъ сообщаетъ намъ о чувствахъ покинутой. „Она любила мужа“, — поясняетъ намъ древній толкователь, — „и считаетъ эту разлуку какъ бы вторымъ плѣномъ для себя: такъ-то поэтъ посредствомъ одного этого слова даетъ намъ понять всю натуру дѣйствующаго лица“. Дѣйствительно, это очень многозначительное слово; въ немъ мы должны признать зародышъ всего мотива разлуки. Одиссея ничего не даетъ; разлуки въ ней встрѣчаются, но покинутыя — Цирцея, Калипсо — легко мирятся со своею участью: на то онѣ богини. Затѣмъ слѣдуетъ огромное поле, покрытое развалинами, — это послѣ-гомеровскій эпосъ и лирика, сохранившіеся представители которыхъ ничего насъ здѣсь интересующаго не содержатъ; съ Эсхила начинается аттическая драма. Но и отъ Эсхила намъ ожидать нечего: „никто не можетъ сказать, чтобы я изобразилъ когда-либо влюбленную женщину“, — говоритъ онъ у Аристофана, а безъ влюбленной женщины и мотивъ разлуки невозможенъ. Впрочемъ, намъ нѣтъ надобности теряться въ догадкахъ: первая подробная разработка мотива разлуки намъ сохранена, это — „Ме-

¹⁾ „Мы носимъ подъ сердцемъ дѣтей — и поэтому носимъ мы и вѣрность“.

дея“ Еврипида (431 г.). Что поэтъ тутъ дѣйствительно ввелъ нѣчто новое въ поэзію, это онъ намъ говоритъ самъ устами своего хора, въ той глубокомысленной пѣснѣ, которая знаменательно начинается словами: „Вверхъ потекли волны священныхъ рѣкъ...“. „Наступила пора чести для женскаго племени; перестали мы быть достояніемъ оскорбительной молвы. Замолкнеть пѣснь древнихъ пѣвцовъ, поносившая нашу неврность; что-жъ, вдохновитель Фебъ не внушилъ нашему уму вѣщаго звука лиры, а то мы бы спѣли другую пѣснь въ отвѣтъ на пѣсни мужчинъ“. Конечно, мрачная ревнивица Медея была не единственной носительницей новой идеи: въ ней много спеціального—наличность соперницы, неблагодарность Ясона, спасеннаго вѣкогда Медеей, и др.; были возможны и другія разновидности, которыя, вмѣстѣ взятыя, — разъ рѣчь идетъ о трагедіи—даютъ намъ мотивъ разлуки на подкладкѣ героическаго характера.

Наслѣдницей Еврипида, хотя и не по прямой линіи, была аттическая комедія IV-го и III-го вѣка; она заимствуетъ у него, между прочимъ, и мотивъ разлуки, но переноситъ его изъ героической въ человѣческую обстановку. Дѣло въ томъ, что излюбленной сферой, изъ которой эта комедія брала свои сюжеты, была аѳинская „жизнь богемы“, а при такихъ обстоятельствахъ и мотивъ разлуки, какъ почти неминуемой развязки этой жизни, встрѣчался нерѣдко. Тогда-то и былъ выработанъ тотъ эротизмъ, который съ тѣхъ поръ считается преобладающимъ элементомъ поэзіи, а съ нимъ и его необходимая форма, языкъ любви. Наслѣдницей комедіи была александрійская элегія: она опять вернулась къ богамъ и героямъ, но для того, чтобы низвести ихъ въ человѣческую среду; обѣ эти отрасли греческой поэзіи дали намъ, такимъ образомъ, нашъ мотивъ на подкладкѣ уже не героическаго, а просто женскаго характера.

Конечно, за потерей почти всѣхъ относящихся сюда трагедій Еврипида и всѣхъ безусловно памятниковъ ново-аттической комедіи и александрійской элегіи, мы на греческой почвѣ сравненія произвести не можемъ; зато римская поэзія эпохи Августа представляетъ намъ для этого всѣ необходимые матеріалы. Тогда классическое направленіе боролось съ александ-

рійскимъ. Виргилій былъ представителемъ перваго, Овидій — втораго. Виргилій въ своемъ знаменитомъ эпосѣ отвелъ нашему мотиву разлуки очень почетное мѣсто: вся IV пѣснь Энеиды посвящена страданіямъ Дидоны, покидаемой и покинутой Энеемъ. Овидій сочинилъ цѣлый сборникъ „посланій героинь“ (*epistulae s. heroides*), изъ коихъ большинство вызвано боязнью или увѣренностью писавшихъ, что онѣ покинуты; среди нихъ находится одно, написанное отъ имени Дидоны (ер. 7). Такимъ образомъ, мы на одномъ и томъ же сюжетѣ можемъ прослѣдить стиль и характеръ обоихъ направлений, тѣмъ болѣе, что Виргилій былъ единственнымъ источникомъ своего младшаго современника, и всѣ уклоненія послѣдняго, поэтому, нужно будетъ объяснить кореннымъ различіемъ во взглядахъ на поэзію и ея задачи.

II.

Оба поэта имѣли огромное вліяніе на поэзію новыхъ временъ; но такъ какъ источникомъ Шекспира былъ — какъ я это постараюсь доказать — рассказъ о Дидонѣ въ обработкѣ именно Овидія, то мы на немъ только остановимся подробнѣе, Виргилія же привлечемъ только для сравненія и оттѣненія особенностей его соперника. Извѣстными предполагаются слѣдующія черты преданія, общія для обоихъ поэтовъ. Дидона, или, какъ она первоначально называлась Элисса (имя финикійское; сравн. еврейское Елиса-вета), была дочерью тирскаго царя и супругою тирскаго же вельможи Сихея; когда этотъ послѣдній палъ жертвою алчности ея брата, она со своей сестрой Анной, съ отборной дружиной и казною бѣжала въ сѣверную Африку, гдѣ и основала городъ Кареагенъ. Приблизительно въ то же время была разрушена Троя: спасся, между прочими, троянскій князь Эней, сынъ Анхиса и Венеры, вмѣстѣ съ отцомъ и малолѣтнимъ сыномъ Іуломъ, между тѣмъ какъ его супруга Креуса погибла въ пламени; онъ же вынесъ изъ пылающаго города его главную святыню, загадочныхъ „троянскихъ боговъ“, залогъ возрожденія Трои, и, собравъ вокругъ себя спасенныхъ товарищей, отправился странствовать, отыскивая обѣщанную ему рокомъ землю для основанія

новой Трои — Италію. На седьмомъ году онъ заѣхалъ и въ Кароагенъ и сталъ тамъ гостемъ и возлюбленнымъ царицы Дидоны; но послѣ кратковременнаго счастливаго сожителства съ нею боги послали ему вѣщій сонъ, чтобы заставить его исполнить поставленную ему рокомъ задачу. Видя, что ей предстоитъ вѣчная разлука, Дидона пишетъ ему, по Овидію, слѣдующее посланіе ¹⁾:

Такъ у Меандровыхъ волнъ, умирая въ травѣ обгащенной,
Передъ кончиной своей бѣлая лебедь поетъ.
Ужъ не надѣюсь я болѣ молюбой тебя тронуть своею:
Знаю, жестокимъ богамъ рѣчь ненавистна моя;
Но, потерявъ и заслуги, и честь, и стыдливую душу,
Ужъ не считаю грѣхомъ нѣсколько словъ потерять.

Такъ-то ты ѣхалъ рѣшилъ и несчастную бросить Дидону?
Та же волна унесетъ судно—и вѣрность твою?
Тотъ же топоръ разсѣчетъ и канатъ корабля—и союзъ нашъ?
Ѣдешь въ Италію ты, въ дальній, невѣдомый край?
Ни Кароагенъ тебя новый, ни наши растущія стѣны
Не веселятъ, ни народъ, власти врученный твоей?
Нѣтъ; отъ успѣха къ задачѣ рѣшилъ ты бѣжать, отъ готовой
Родины къ той, что во мглѣ кроетъ заморская даль!
Пусть ты отыщешь страну; но какъ она станетъ твоею?
Кто незнакомому въ даръ нивы родныя отдастъ?
Новая, видно, любовь тамъ и новая будетъ Дидона,
Вѣрности новый залогъ... новыхъ зародышъ измѣнъ!
Скоро-ль воздвигнешь ты городъ, красой Кароагену подобный?
Скоро-ль на выступъ кремля выйдешь народъ свой смотрѣть?
Пусть ты успѣешь во всемъ и поборешь преграды, но гдѣ же,
Гдѣ та жена, что тебя такъ же полюбитъ, какъ я?

Нѣтъ, я ошиблась въ тебѣ: не Венеры родился ты сыномъ:
Ласковый матери нравъ не воплотился въ тебѣ.
Скалы родили тебя, или дикія чащи лѣсныя,
Иль безжалостный звѣрь, житель пустыни нѣмой,
Или пучина... подобная той, что вздымается нынѣ,
Той, что навстрѣчу вѣтрамъ манитъ къ побѣгу тебя.
Что ты спѣшишь? На дворѣ ураганъ! Пусть хоть онъ мнѣ поможетъ:
Слышишь, какъ буря въ отвѣтъ валъ разъяренный реветъ?

¹⁾ Считаю долгомъ замѣтить, что я здѣсь сократилъ это посланіе, пропуская менѣе важныя для моей темы детали. Въ полномъ видѣ читатель можетъ его прочесть въ моемъ переводѣ „Балладъ-посланій“ Овидія (стр. 107 сл.).

Дай. чтобы, вмѣсто тебя, я хоть бурѣ сказала спасибо:

Вѣтеръ и волны—души все-жъ справедливыя твоей.

Ненависть, вижу, свою сверхъ мѣры ты дорого цѣнишь:

Жизнью готовъ заплатить, лишь бы уйти отъ меня!

Скоро улягутся вѣтеръ и волны; но влажной лазури

Снова, какъ прежде, Тритонъ рѣзвыхъ погонитъ коней...

Ахъ, еслибъ съ вѣтромъ-волной и душа измѣнилась Энея!

Иль ужъ тверже, Эней, жѣсткаго дуба ты сталъ?

А вѣдъ не разъ испыталъ ты бурливаго моря причуды;

Что-жъ тебя снова къ себѣ тянетъ обманчивый валъ?

Ясной, бываетъ, порою пловецъ свое судно отвяжеть —

Все-жъ и ему океанъ лютой бѣдою грозитъ.

Да и опасно, съ грѣхомъ на душѣ, довѣрять себя морю:

Эта стихія всегда мститъ за предательство вамъ,

Боль-жъ всего—за измѣну въ любви; вѣдъ и мать Эротовъ

Близъ киперейскихъ береговъ моремъ была рождена.

Страшно мнѣ, какъ бы, погибши, тебя не вовлечь въ свою гибель.

Какъ бы морская тебя не поглотила волна!

Милый, живи; ужъ лучше пусть такъ и тебя потеряю,

Лучше пусть смерти моей будешь виновникомъ ты.

Чтѣ, если яростный шквалъ (да забудутъ слова мои боги!)

Судно настигнетъ твое; чтѣ тебѣ скажетъ душа?

Тотчасъ припиомятся устъ вѣроломныхъ облыжныя клятвы,

И какъ Дидону лишилъ жизни фригійскій обманъ;

Будетъ витать предъ тобою покинутой призракъ супруги,

Грустный, съ кровавой струей на расплетенной косѣ,

Будешь молить: „пощади, я виновенъ!“ и каждого грома,

Молніи каждой ударъ карой своею считать.

Нѣтъ, погоди; дай улечься жестокости волнъ—и Энея;

Краткой отсрочки цѣной путь безопасный купи.

Не за тебя я дрожу: малолѣтняго жаль мнѣ Іула;

Мало-ль того, что моимъ ты палачемъ прослылешь?

Чѣмъ провинился твой сынъ, чѣмъ боги троянской отчизны?

Иль ты ихъ спасъ отъ огня, чтобы въ волнахъ схоронить?

Впрочемъ... не спасъ ты ихъ вовсе. Не вѣрю твоей похвальбѣ я;

Ты-ль на смиренныхъ плечахъ вынесъ отца и боговъ?

Все ты солгалъ. Не на мнѣ же ты сталъ вѣроломству учиться;

Льстивыхъ обѣтовъ твоихъ жертва не первая я.

Если кто спроситъ тебя, гдѣ мать молодого Іула—

„Мужемъ забытая, смерть въ бурномъ огнѣ обрѣла“.

Такъ ты и мнѣ говорилъ; меня тронули жалкія рѣчи —

Что-жъ, я виновна; вина кару смягчаетъ мою.

Да; но виновенъ и ты, и твои тебя боги караютъ.

Взадъ и впередъ по волнамъ гонитъ седьмая зима.

Море извергло тебя; я дала тебѣ тихую пристань,
 Я, лишь ты имя назвала, царство вручила тебѣ.
 Ахъ, еслибъ этимъ однимъ, господинъ мой, тебѣ я служила...
 Горе! про тайный союзъ шепчетъ глухая молва.
 Помнишь тотъ день, когда насъ подъ сѣнь одинокаго грота
 Синюю мглою своей ливень внезапный загналъ?
 Чей-то я слышала голосъ. Я думала, нимфы рѣзвятся —
 Нѣтъ, то про близкую смерть пѣли Эриніи мнѣ.
 Требуя возмездья, забытая честь; о призракъ Сихея!
 Съ краской стыда на лицѣ скоро къ тебѣ низойду...

Въ мраморномъ капищѣ мною кумиръ былъ воздвигнутъ Сихей:
 Зеленью свѣжей деревъ чтила всегда я его.
 Голосъ оттуда знакомый коснулся ушей моихъ; трижды
 Шопотомъ тихимъ кумиръ молвилъ: „Элисса, я жду!“
 Ждать ужъ недолго, иду; ты покорную встрѣтишь супругу;
 Только сознанье вины мой замедляетъ уходъ.
 Я согрѣшила; прости. Я не неизменной страстью пылала:
 Тотъ, кто внушилъ мнѣ любовь, можетъ мой грѣхъ оправдать.
 Матерь-богиня и старецъ-отецъ, своимъ сыномъ спасенный,
 Все мнѣ сулило любви честный и вѣчный союзъ...

Прочь! Не касайся боговъ; ихъ десница твоя оскверняетъ.
 Прочь! Нечестивой рукѣ грѣхъ небожителей чтить.
 Если пожаръ пощадилъ ихъ, чтобъ ты ихъ жрепомъ назывался —
 Вѣрь мнѣ, жалѣютъ они, что ихъ пожаръ пощадилъ.
 Думалъ ли ты, что, быть можетъ, ты матерью бросишь Дидону,
 Что твой младенецъ, злодѣй, въ тѣлѣ трепещетъ моемъ?
 Жалкую матери долю несчастный малютка раздѣлитъ,
 И нерожденной души будешь убійцею ты.
 Вмѣстѣ со мной ты на казнь посылаешь Лулова брата;
 Жизнь и мою, и его—кара похититъ одна.

„Богъ мнѣ уйти повелѣлъ“. Ужъ бы лучше прійти не дозволялъ,
 Лучше-бъ пунійской земли ноги не знали троянъ!
 „Богъ“, говоришь ты. Не тотъ ли, что злой тебя бурей гонитъ.
 Тотъ, что на дикпхъ моряхъ жизнь истошаетъ твою?
 Даже могучій Цергамъ, какимъ его Гекторъ прославилъ, —
 Даже могучій Цергамъ столькож не стоилъ трудовъ.
 Ни Симоента родного, а Тибровы ждутъ тебя волны;
 Пусть ты найдешь ихъ,—всегда будешь чужимъ ты для нихъ.

Сжался надъ домомъ, молю, что твоей поручилъ себя власти:
 Самъ ты вѣдь знаешь: любовь — вотъ мой единственный
 грѣхъ,

Я не во Фтіи увидѣла свѣтъ, не въ великихъ Микенахъ;
 Ни мой отецъ, ни мой мужъ, не воевали съ тобой.

Стыдно супруги тебѣ? Называй не женой, а подругой:

Имя любое мнѣ дай, лишь бы твоею мнѣ быть.

Слушай: за царство, за... все, чѣмъ еще я тебѣ угодила,

Я ужъ не брака, о нѣтъ, -- краткой отсрочки прошу,

Чтобъ успокоилось море... и сердце мое, чтобы время

Стойко съ разбитой душой жить научило меня.

Если же нѣтъ — я сумѣю съ постылою жизнью разстаться;

Долго жестокимъ ко мнѣ быть ты не можешь, повѣрь.

Ты-бъ посмотрѣлъ, въ какомъ видѣ твоя тебѣ пишетъ Дидона;

Пишетъ она — а твой даръ, мечъ, на колѣняхъ у ней;

Слезы съ горящихъ ланитъ на булатъ обнаженный стекаютъ;

Скоро, взаимнѣ этихъ слезъ, кровью окрасится онъ.

Видишь, какъ къ долѣ моей твой удачно подобранъ подарокъ:

Онъ облегчаетъ мнѣ путь къ мрачной могилѣ моей.

Да и не первый ударъ онъ несчастному сердцу готовить:

Рана жестокой любви мучить давно ужъ его.

Анна, сестра моя Анна, ваны соучастница нашей,

Скоро ты бѣдный мой прахъ даромъ послѣднимъ почтишь.

Все-жъ не пиши на плитѣ, что Элисса, вдова, я Сихей;

Мраморъ надгробный мой пусть надпись такую хранить:

„Прахъ здѣсь Дидоны лежитъ — отъ своей она пала десницы —

Поводъ ко смерти и мечъ далъ ей троянецъ Эней“.

III.

Такова Дидона Овидія. Кто сравнить ея посланіе съ описаніемъ другого римскаго поэта, который былъ его источникомъ, тому бросится въ глаза первымъ дѣломъ тѣсная и — какъ сказали бы нынѣ — рабская зависимость отъ него Овидія. Не только фабула вся у него заимствована — заимствованы и такіе мотивы, которые по нашимъ понятіямъ должны принадлежать къ оригинальному творчеству поэта — такъ угроза бурей и собственнымъ появленіемъ послѣ смерти, голоса нимфъ во время рокового свиданія въ гротѣ, шопотъ статуи Сихей и др. И тѣмъ не менѣе Овидій остался глубоко оригиналенъ: его Дидона — другая, чѣмъ Дидона его предшественника.

Та — героиня. Ея любовь къ Энею — любовь роковая, внушенная богами. Но вотъ она узнаетъ, что Эней ее покидаетъ; гордость царицы борется со страстью женщины; она

снисходить до просьбъ — Эней отвѣчаетъ ласково, но твердо, не проливая ни единой слезы. Тогда женская слабость оставляетъ Дидону; сознание перенесенной обиды удваиваетъ ея ярость. „Иди“, — говоритъ она Энею, — „ищи свое царство по волнамъ моря! Но когда волны выбросятъ тебя на голыя скалы,—а это будетъ, если только благочестіе имѣетъ какую-нибудь силу,—то ты часто въ своихъ мученіяхъ будешь призывать Дидону. Мое проклятіе послѣдуетъ за тобою, и моя тѣнь возрадуется, узнавъ въ преисподней о твоѣй карѣ“. Съ этихъ поръ она уже не доказывается Энею на глаза; онъ бѣжитъ ночью изъ опасенія, что она пошлетъ свою рать противъ него. Эта боязнь основательна; Дидона умираетъ, чтобы не пережить своего униженія, но она умираетъ со словами: *exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor*; ея послѣднія мысли—мысли о мести.—Стоитъ ли говорить, что Овидіева Дидона не имѣетъ и слѣда этой героической черты? Правда, и она грозитъ Энею своею тѣнью; но чтобы въ насъ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія относительно смысла этой угрозы, она сама прибавляетъ: „да забудутъ слова мои боги!“ Она хочетъ только напугать Энея и этимъ побудить его остаться. У Виргилія Дидона въ послѣднюю минуту молить Эриній, чтобы Эней, ужъ если ему суждено достигнуть Италіи, былъ изгнанъ изъ своего царства, разлученъ съ сыномъ, и чтобы онъ палъ не доживъ до старости; увѣренность, что такъ это и будетъ, наполняетъ ея сердце радостью. У Овидія, напротивъ Дидона боится, какъ бы ея гибель не стала причиной его гибели; „милый, живи! ужъ лучше пусть такъ я тебя потеряю, лучше пусть смерти моей будешь виновникомъ ты“. Гордость царицы пропала, осталась простая любящая puella.

Таково различіе между Дидонами обоихъ поэтовъ; согласно сказанному выше, оно стоитъ въ связи съ различіемъ между обоими направленіями въ развитіи мотива разлуки—трагедіей съ одной, комедіей и элегіей — съ другой стороны. Дидона Виргилія—трагическая героиня, наслѣдіе Еврипида и трагедіи вообще, Дидона Овидія — послѣднее воплощеніе той нѣжной, мягкой дѣвушки, которую любила аттическая комедія и по ея примѣру научилась изображать александрійская элегія. Чтобы въ этомъ не оставалось никакого сомнѣнія, сопоставимъ еще

по одному мотиву въ душевной драмѣ обѣихъ женщинъ; возьмемъ для этого мотивъ самый потрясающій, самый захватывающій — назовемъ его кратко „мотивомъ ребенка“.

Мы нарочно взяли нашу тему во всей ея рѣзкости; разлука именно потому и разрушаетъ счастье женщины, что является развязкой любовной драмы, имѣвшей въ своемъ основаніи полное обладаніе. Обладаніе же при нормальныхъ условіяхъ создаетъ возможность роковыхъ послѣдствій; какъ же отнесется покидаемая къ этимъ роковымъ послѣдствіямъ? Вотъ тутъ-то различіе, о которомъ идетъ рѣчь, и выступаетъ во всей своей яркости: говоря кратко, — женщинѣ-героинѣ мысль о нихъ облегчаетъ горе разлуки, между тѣмъ какъ женщинѣ обыкновенной разлука при такихъ условіяхъ кажется вдвойнѣ тяжелой, преступной, немыслимой. У Виргилія Дидона говорить Энею въ своей первой, сравнительно мягкой рѣчи:

Еслибъ предъ бѣгствомъ своимъ ты хотъ матерью сдѣлалъ Дидону.
Еслибъ малютка-Эней передъ теремомъ нашимъ рѣзвился,
Чтобы при видѣ его я тебя, о мой гость, вспоминала
Все-жъ бы не такъ одинокой и жалкой себѣ я казалась!

Дидонѣ Овидія, напротивъ, именно при мысли о немъ Эней кажется полнымъ нечестивцемъ, прикосновеніе котораго оскверняетъ спасенныхъ троянскихъ боговъ:

Думалъ ли ты, что, быть можетъ, ты матерью бросишь Дидону,
Что твой младенецъ, злодѣй, въ тѣлѣ трепещетъ моемъ?

Эта — черта рѣшительная; въ ней сказывается весь характеръ изображаемаго лица.

Достаточно, однако, сказаннаго для сравненія и оттъненія; сосредоточимся теперь на Дидонѣ Овидія, интересной для насъ во многихъ отношеніяхъ. Отъ читателя не ускользнула ея крайняя нервность, обнаруживающаяся въ ея рѣзкихъ переходахъ отъ одной мысли къ другой, но отъ всѣхъ — къ той, которая владѣетъ ею въ эту минуту, къ мысли: „не уѣзжай, дай хоть морю успокоиться“. Такъ, думая о жестокости Энея, она находитъ невѣроятнымъ, чтобы его матерью могла быть ласковая Венера; нѣтъ, его родила безчувственная стихія, скалы или море... но произнесенное слово „море“ напоми-

наетъ ей о томъ морѣ, по которому корабли Энея улетятъ въскорѣ на сѣверъ, и она продолжаетъ:

Или пучина, — подобная той, что вздымается нынѣ.

Реальный міръ не существуетъ для нея; она видитъ не предметы, а призраки предметовъ, созидаемые ея взволнованной фантазіей. Она не вѣритъ, чтобы Венера была матерью Энея, но только на минуту, — дальше она уже забыла о своихъ сомнѣніяхъ. Она не вѣритъ, чтобы Эней спасъ боговъ изъ пламени Трои; немного далѣе — запрещаетъ ему касаться спасенныхъ имъ боговъ — и вслѣдъ за тѣмъ обвиняетъ этихъ самыхъ боговъ въ недоброжелательствѣ къ нему. Ея Эней — то образецъ благочестія, этимъ самымъ оправдывающій ея любовь и грѣхъ; то — богоненавистный нечестивецъ. Характерна также и ея рѣчь — не столько, впрочемъ, для нея самой, сколько для Овидія. Особенно бросается въ глаза неожиданное и эффектное соединеніе двухъ разнородныхъ понятій: „та же волна унесетъ судно — и вѣрность твою“; „тотъ же топоръ разсѣчетъ и канатъ корабля — и союзъ нашъ“; „дай улечься жестокости волнъ — и Энея“; „чтобъ успокоилось море — и сердце мое“. Сюда же относится и антитеза, которая въ подлинникѣ еще ярче и дѣйствительнѣе, вслѣдствіе неподражаемой краткости латинской рѣчи: „отъ успѣха къ задачѣ рѣшилъ ты бѣжать“ (*facta fugis, facienda petis*); „какъ бы, погибши, тебя не вовлечь въ свою гибель“ (*perdita ne perdam timeo posceamve poscenti*); „или ты ихъ спасъ отъ огня, чтобы въ волнахъ схоронить“? Но въ анализъ частныхъ можно не пускаться; каждый съ перваго взгляда убѣдится, что наше посланіе написано тѣмъ блестящимъ, „пуантированнымъ“ стилемъ, который былъ любимымъ стилемъ „азіанскихъ“ учителей Овидія и его самого и опять сталъ таковымъ въ ту эпоху, когда писалъ Шекспиръ.

IV.

Изъ трагедій Шекспира одна представляетъ по своей фабулѣ и внѣшней обстановкѣ поразительное сходство съ преданіемъ о Дидонѣ — это его „Антоній и Клеопатра“. И здѣсь

и тамъ героиня — самодержавная царица, могущая наградить своего избранника не только любовью, но и царствомъ; и здѣсь и тамъ этотъ избранникъ — пришелецъ, прибывшій къ героинѣ во главѣ своего войска; можно даже сказать, имѣя въ виду происхожденіе Дидоны и данное Энею обѣщаніе: въ обоихъ случаяхъ, это — римлянинъ, гостящій у восточной царицы. Въ обоихъ случаяхъ за чарами любви слѣдуетъ пробужденіе — у обоихъ героевъ есть задача, зовущая ихъ къ себѣ, задача великая и роковая; пребываніе у героини является помѣхой для выполненія этой задачи — все чаще, повелительныя слышится голоса, зовущій героя на подвигъ и, слѣдовательно, отзывающій его отъ возлюбленной; наконецъ, герой повинутся — часъ разлуки насталь.

У Шекспира этотъ голосъ воплощенъ въ гонцѣ, принесшемъ Антонію извѣстіе о смерти его римской супруги Фульвіи и о вызванныхъ ею послѣдними дѣйствіями затрудненіяхъ, требующихъ его личнаго вмѣшательства. Для Клеопатры это — вѣстникъ *отъ* Фульвіи; она думаетъ, что Фульвія зоветъ Антонія обратно, и боится, что эта разлука будетъ окончательною.

Дѣйствительно, основанія для этой боязни есть: никакія законныя узы не связываютъ съ нею Антонія; стоитъ политикъ и Фульвіи втянуть его въ свои сѣти, его, человека уже немолодого, — и сомнительно, чтобы онъ когда-либо вернулся. Итакъ, мы имѣемъ здѣсь нашъ мотивъ разлуки во всей его чистотѣ. Какъ извѣстно, источникомъ Шекспира для нашей трагедіи былъ вообще Плутархъ; всѣ это признаютъ, но всѣ въ то же время полагаютъ, что сцена разлуки — его оригинальное твореніе. Ничуть не оспаривая этой оригинальности, я думаю въ то же время, что его образцомъ, — поскольку о такомъ можно говорить по отношенію къ поэту съ творческой силой Шекспира — было сообщенное выше посланіе Овидія. Въ доказательство позволю себѣ привести въ точномъ прозаическомъ переводѣ сцену, о которой идетъ рѣчь.

Клеопатра посылаетъ за Антоніемъ; пока это порученіе исполняется, ея наперсница Хармія (Charmion) читаетъ ей наставленія о томъ, какъ она должна съ нимъ обращаться:

— Если ты любишь его отъ души, то ты не избрала правильного пути добиться съ его стороны взаимности.

Клеопатра. Что же я упускаю изъ того, что я по-твоему должна бы дѣлать?

Хармія. Ты должна бы во всемъ предоставлять ему свободу, ни въ чемъ ему не перечить.

Клеопатра. Ты учинишь, какъ дурочка; это—именно путь, чтобы потерять его.

Хармія. Не слишкомъ сильно его испытывай; прошу тебя, перестань. Со временемъ мы ненавидимъ то, чего мы часто боимся.

Толкователи Шекспира восхваляютъ тутъ его тонкое психологическое чутье; быть можетъ, они и правы, но самую мысль уже предвосхитилъ Овидій въ своей „Наука любви“ (III 579 и сл.):

Легкій успѣхъ не надолго любовное пламя поддержитъ:

Должно отказомъ порой радости чувствъ приправлять...

Сладость намъ приторна; что-жъ, пусть пыланный отваръ подкрѣпитъ насъ;

Вѣтеръ попутный не разъ утлую залилъ ладью.

Но это мимоходомъ.—Является Антоній.

Клеопатра. Помоги мнѣ уйти, дорогая Хармія, у меня ноги подкашиваются. Долго такъ дѣло идти не можетъ, природа не выдержитъ.

Антоній. Итакъ, дорогая царица моя—

Клеопатра. Прошу тебя, не приближайся!

Антоній. Что случилось?

Клеопатра. Вижу по этимъ твоимъ глазамъ, что ты приносишь хорошія вѣсти. Что говоритъ твоя законная супруга?—„Ты долженъ уйти“. О, если бы она никогда не дозволила тебѣ приходить! Пусть она не говоритъ, что это я задерживаю тебя здѣсь; у меня нѣтъ власти надъ тобою, ты—ей.

Антоній. Боги поистинѣ знаютъ—

Клеопатра. О, никогда еще царица не была такъ страшно обманута. Впрочемъ, съ самаго начала я должна была видѣть, какъ насаждалось предательство.

Антоній. Клеопатра—

Клеопатра. Какъ могла я думать, что ты будешь моимъ и вѣрнымъ, хотя бы ты своими клятвами потрясъ возсѣдающихъ на престолахъ боговъ,—когда ты уже измѣнилъ Фульвію? Что за безуміе—дать себя обольстить этимъ клятвамъ, сочиненнымъ языкомъ, которыя сами себя нарушаютъ во время своего произнесенія!

Антоній. Моя сладкая царица—

Клеопатра. Нѣтъ, прошу тебя, не ищи прикрасъ для своего ухода — скажи „прощай“ и уйди. Когда ты умолялъ меня, чтобы тебѣ оставаться, тогда было время для словъ. Объ уходѣ и рѣчи не было—вѣчность была на нашихъ устахъ и во взорѣ, роскошь на нашихъ бровяхъ, и ни одна часть наша не была такъ бѣдна, чтобы не быть небеснаго происхожденія. Такъ дѣло обстоитъ и понинѣ — или ты, величайшій вонитель въ мірѣ, превратился въ величайшаго лжеца!

Антоній прерываетъ потокъ ея жалобъ и угрозъ; онъ описываетъ ей положеніе Италіи, сообщаетъ также извѣстіе о смерти Фульвіи, давая ей понять, что для нея это—извѣстіе радостное. Клеопатра не вѣритъ: „развѣ Фульвія можетъ умереть?“ Антоній представляетъ ей доказательства; тогда она мѣняетъ тонъ.

Клеопатра. О лживая любовь! Гдѣ тѣ священные фіалы, которые ты долженъ былъ наполнять слезами скорби? Теперь я вижу, вижу по смерти Фульвіи, какъ ты примешь извѣстіе о моей.

Антоній. Не упрекай меня болѣе, будь готова услышать мои рѣшенія: они исполнятся или падутъ согласно твоему совѣту. Клянусь огнемъ, оживляющимъ иль Нила: я ухажу отсюда твоимъ воиномъ, твоимъ слугою, творю войну и миръ по твоему желанію...

Клеопатра. Хармія, разстегни мнѣ поясъ... нѣтъ, оставь. Мнѣ то душно, то опять хорошо—такъ и Антоній любитъ.

Антоній. Дорогая царца, перестань; прими вѣрное доказательство его любви: она выдержитъ всякое почетное испытаніе.

Клеопатра. Такъ мнѣ и Фульвія говорила. Прощу тебя, отойди въ сторону, пролей нѣсколько слезъ по ней; а затѣмъ простись со мною и скажи, что эти слезы — дакъ египетской царницѣ. Пожалуйста, разыграй сцену превосходнаго притворства, и пусть она покажется полнѣйшею честностью.

Антоній. Ты разгорячишь мою кровь; перестань!

Клеопатра. Ты умѣешь и лучше (играть); а впрочемъ, и это недурно.

Антоній. Клянусь моимъ мечомъ—

Клеопатра. И щитомъ—вотъ это ужъ лучше, но все еще не самое лучшее. Посмотри, прошу тебя, Хармія, какъ этотъ римскій Геркулесъ все быстрѣе и быстрѣе разгоняетъ свой гнѣвъ!

Антоній. Я оставляю тебя, сударыня.

Клеопатра. Постой, учтивый сударь, одно слово. Государь мой, мы должны разстаться... но это не то. Государь мой, мы любили другъ друга... но это не то. Это ты хорошо знаешь: что то я хотѣла тебѣ сказать... о, мое забвеніе—подлинный Антоній, и я совсѣмъ забыта.

Антоній. Если бы неразуміе не было подданнымъ твоего величества—я сказалъ бы, что ты—само неразуміе.

Клеопатра. Тяжелый трудъ носить такое неразуміе такъ близко къ сердцу, какъ Клеопатра—это... Однако, государь мой, прости меня: вѣдъ мое поведеніе убиваетъ меня, если оно тебѣ не нравится. Твоя честь зоветъ тебя отсюда—будь же глухъ къ моему неразумію, котораго никто не жалѣетъ, и да сопутствуютъ тебѣ всѣ боги. Пусть увѣнчанная лаврами Побѣда вѣтаетъ надъ твоимъ мечомъ, и пріятный успѣхъ покрываетъ твой путь.

Антоній. Идемъ. Наша разлука и длится и убѣгаетъ такъ, что ты, оставаясь здѣсь, все же идешь со мною, а я, уходя отсюда, все же остаюсь съ тобой. Идемъ!

V.

Опредѣленіе зависимости бываетъ особенно труднымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда оно касается не поэта-подражателя, а творца, въ самомъ себѣ перерабатывающаго воспринятое имъ и возсоздающаго его какъ плодъ собственнаго генія съ полной печатью своей личности. Поэтому, прежде чѣмъ говорить о зависимости Шекспира отъ Овидія въ приведенной сценѣ, полезно будетъ установить фактъ, что онъ отдавалъ себѣ отчетъ въ сходствѣ этой своей четы — т.-е. Антонія и Клеопатры — съ той, о которой говорится у римскаго поэта. Это признаніе мы находимъ въ 12 сценѣ IV дѣйствія, въ предсмертномъ монологѣ Антонія. „Я иду, моя царица“, — говоритъ онъ, обращаясь къ Клеопатрѣ, которую считаетъ умершей — „жди меня! Тамъ, гдѣ души покоятся на цвѣтахъ, мы будемъ шествовать рука объ руку, и наше радостное шествіе возбудитъ удивленіе духовъ; *Дидону и Энея покинетъ ихъ свита*, и всѣ поспѣшатъ къ намъ“. А затѣмъ вернемся къ нашей сценѣ.

Клеопатра Шекспира по характеру не тождественна съ Дидоной Овидія; та была просто любящей женщиной, болѣе всего боящейся потерять Энея, — у Клеопатры любовь къ Антонію приправлена доброй долей расчетливости, въ силу которой она выступаетъ передъ нами ученицей того же Овидія, но уже его „науки любви“. Мы знаемъ, что она нарочно выводитъ Антонія изъ себя, согласно своему уговору съ Харміей, — эту часть сцены придется поэтому оставить въ сторонѣ. Равнымъ образомъ и рѣчь Клеопатры и вообще шекспировскихъ героевъ и героинь, будучи въ сущности тѣмъ же „азіаниз-

момъ“, имѣеть однако одну своеобразную черту, которой у Овидія нѣтъ; это—ея гиперболичность, сказывающаяся въ оборотахъ въ родѣ: „вѣчность была на нашихъ устахъ и во взорѣ, роскошь — на бровяхъ; ни одна наша часть не была такъ бѣдна, чтобы не быть небеснаго происхожденія“—такіе обороты, обязательно неуклюжіе въ переводѣ, тоже не въ духѣ Овидія. Оставимъ все это въ сторонѣ и сосредоточимся на прочемъ.

Объ упрекають своихъ избранныхъ во лживости, и притомъ объ безо всякаго права, но это само по себѣ вполне естественно; посмотримъ, какъ эта мысль проводится въ частности. „По участи Креусы, которой ты измѣнилъ раньше, я должна была догадаться о томъ, что будетъ со мною“—такъ приблизительно говорить Дидона; то же самое, если вмѣсто Креусы вставить Фульвію, говорить Клеопатра. „Такъ ты и мнѣ говорилъ“, заключаетъ Дидона: „такъ и Фульвія мнѣ говорила“, читаемъ мы у Шекспира. „И я повѣрила измышленнымъ клятвамъ“, жалуется Клеопатра; „меня тронули жалкія рѣчи“, упрекаетъ себя Дидона. Нервность, сказывающаяся во внезапныхъ переходахъ къ господствующей мысли, у обѣихъ одинаковая. Вспомнимъ Овидіево... „или пучина, подобная той, что вздымается нынѣ“—въ томъ же родѣ у Шекспира: „мнѣ то дурно, то опять хорошо—такъ и Антоній любитъ“. Та же нервность проглядываетъ и въ томъ, какъ обѣ героини относятся къ реальному міру: обѣ обращаются съ нимъ одинаково прихотливо, обѣ видятъ не предметы, а призраки предметовъ. Выше я привелъ въ видѣ примѣра различныя мнѣнія Дидоны о спасенныхъ Энеемъ троянскихъ богахъ; прошу сравнить съ ними отклики Клеопатры на извѣстіе о смерти Фульвія: 1) не вѣрю твоимъ словамъ; развѣ Фульвія можетъ умереть? 2) Да, она умерла, и ты къ ея смерти равнодушенъ: отсюда я вижу, какъ ты отнесешься и къ моей смерти! 3) Да, она умерла и ея-то смерть и огорчаетъ тебя, а вовсе не разлука со мною, какъ ты хочешь меня увѣрить. Не стѣсняйся, плачь, а мнѣ скажи, что ты плачешь по мнѣ.—Ничего тутъ реальнаго нѣтъ, кромѣ чувства горечи, которое въ оправданіе себя создаетъ картину реальнаго міра, изображая его не такимъ, какимъ онъ есть, а какимъ онъ долженъ бы быть для того,

чтобы это чувство горечи показалось основательнымъ; въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ проявленіе психической потребности „избавленія кажимостью“ (*Erlösung durch den Schein*), въ которой Нитцше видитъ чудотворную силу, призвавшую къ жизни трагедію.

Но самое разительное — это буквальное воспроизведеніе одного, очень спеціального мотива. Я уже сказалъ, что роль бога, отзывающаго Энея отъ Дидоны, играетъ у Шекспира вѣстникъ Фүльвіи. Теперь прошу сравнить одно мѣсто изъ только-что приведенной сцены: „Что говорить твоя законная супруга?— „Ты долженъ уйти“?— „О, если бы она никогда не дозволила тебѣ прийти!“

What says the married woman?—„You may go?“
Would she had never given you leave to come!

—съ соответственными словами Дидоны у Овидія:

„Богъ мнѣ уйти повелѣлъ“.—Ужъ бы лучше прийти не дозволилъ!
„Sed jubet ire deus“—Vellem vetuisset adire!

(Въ подлинникѣ совпаденіе еще точнѣе—лат. *vellem*, англійское—*would*). Тутъ несомнѣнно поэтъ-подражатель—и притомъ, думается мнѣ, вполнѣ сознательно — себя выдалъ. А при такихъ условіяхъ можно сказать, что другое мѣсто Шекспира, нѣсколько темнѣе, объясняется при помощи соответственнаго мѣста Овидія. Что хочетъ сказать Клеопатра словами: „долго такъ дѣло идти не можетъ — природа не выдержать?“—

It cannot be thus long, the sides of nature
Will not sustain it.

Скорѣе всего—то же, что и Дидона, когда она говоритъ:

Долго жестокимъ ко мнѣ быть ты не можешь, повѣрь.

Угроза смертью—здѣсь и тамъ. Мимоходомъ замѣчу, что другое мѣсто нашего посланія было использовано Шекспиromъ, въ другой трагедіи, появившейся незадолго до нашей; патетическія слова Дидоны:

Самъ ты вѣдь знаешь: любовь—вотъ мой единственный грѣхъ...
 Quod crimen dices praeter amasse meum?

—воспроизведены въ предсмертныхъ словахъ Дездемоны, тамъ, гдѣ она на приказаніе Отелло: „подумай о своихъ грѣхахъ!“—отвѣчаетъ: „это—моя любовь къ тебѣ!“

Think on thy sins—They are loves I bear to you.

Но это не такъ важно; главное *мотивъ ребенка*. Мы видѣли, какъ различно его провели Виргилій и Овидій, стоя одинъ—на героической, другой—на общеженской почвѣ; чего намъ ожидать отъ Шекспира—ясно, коли онъ, какъ мы тоже убѣдились, имѣлъ своимъ образцомъ Дидону Овидія. А впрочемъ, прежде чѣмъ отвѣтить на вопросъ, какъ воспользовался Шекспиръ этимъ мотивомъ, слѣдуетъ посмотрѣть, воспользовался ли онъ имъ вообще; дѣло въ томъ, что толкователи этого обстоятельства не примѣтили, и я, допуская его, ввожу нѣчто новое въ интерпретацію Шекспира.

VI.

Прежде всего замѣчу, что было бы довольно странно, еслибы онъ имъ не воспользовался. Союзъ Антонія и Клеопатры не остался безъ послѣдствій, и она уже въ его отсутствіе родила ему двоихъ дѣтей-близнецовъ, Александра-Солнце и Клеопатру-Луну. Шекспиръ знаетъ объ этихъ дѣтяхъ и говоритъ о нихъ въ III-мъ актѣ. Итакъ, Клеопатра носила подъ сердцемъ плодъ своей любви къ Антонію, когда прощалась съ нимъ, и Шекспиръ, очень заботливо отнесшійся къ хронологіи событій въ этой трагедіи, не могъ не принять этого въ соображеніе. Кстати: объ этой хронологической заботливости свидѣтельствуетъ одна мелкая, но интересная черта, которую я тоже позволю себѣ объяснить, такъ какъ она, подобно всѣмъ, указаннымъ здѣсь, ускользнула отъ вниманія толкователей. Дѣло происходитъ въ самомъ началѣ трагедіи (д. I сц. 2); шаловливая Хармія обращается къ прорицателю съ просьбой на-пророчить ей самую фантастическую судьбу: „дай, чтобы я

въ одно и то же утро вышла замужъ за трехъ царей и осталась вдовой послѣ ихъ всѣхъ; дай, чтобы я въ пятьдесятъ лѣтъ родила младенца, къ которому Иродъ Іудейскій пожелаетъ прійти на поклоненіе“. Говоритъ это она въ 41 г. до Р. Х.; Клеопатрѣ было тогда немногимъ болѣе 20 лѣтъ, естественно допустить, что Хармія, которую она сама называетъ „египетской куколкой“, была на нѣсколько лѣтъ моложе ея; а если такъ, то она родилась немногимъ ранѣе 50 г. до Р. Х. Въ такомъ случаѣ ясно, кто тотъ младенецъ, къ которому царь Иродъ іудейскій пожелаетъ прійти на поклоненіе. Это свое намѣреніе Иродъ высказалъ, хотя и притворно, тронимъ волхвамъ: „егда же обрящете, возвѣстите ми, яко да и азъ шедъ поклонюся Ему“ (Матѣ. 2, 8). Волхвы же называются на западѣ „святыми тремя царями“; отсюда ясно, что это за три царя, за которыхъ Хармія желаетъ выйти замужъ въ одно и то же утро, съ тѣмъ чтобы похоронить ихъ всѣхъ. Итакъ, ея скромныя желанія сводятся къ тому, чтобы ей быть супругой всѣхъ трехъ царей-волхвовъ и въ то же время богородицей, да кромѣ того, какъ видно изъ дальнѣйшаго, римской императрицей.

Это мѣсто я привелъ не ради одной только хронологіи: оно интересно и своей темнотой. Его толкованіе таково, что никто, разъ его вниманіе на него направлено, ужъ не можетъ отъ него отказаться; а между тѣмъ, фактъ тотъ, что никому изъ толкователей,—поскольку они по крайней мѣрѣ мнѣ стали извѣстны,—это толкованіе не пришло въ голову. Отчего Шекспиръ выражается такъ темно, догадаться нетрудно: фантазіи Хармія при болѣе ясной формулировкѣ легко могли бы показаться богохульственными. — Такого же рода соображенія могли на него подѣйствовать и здѣсь. Скажутъ: въ половой сферѣ Шекспиръ стѣснялся не привыкъ. Отвѣчу: и да, и нѣтъ. Нужно тутъ различать стили, высокій и „подлый“, какъ его раньше у насъ называли, — не считая посредствующихъ. Въ „подломъ“ стилѣ у него возможны самыя невозможныя вещи; въ высокомъ не то, — а наша сцена сплошь написана въ высокомъ стилѣ. Особенно стыдливо выражается онъ о томъ положеніи, о которомъ у насъ идетъ рѣчь здѣсь: тутъ онъ допускаетъ недомолвки и тропы, не разъ смущавшіе его тол-

кователей и переводчиковъ, не исключая, какъ мы увидимъ тотчасъ, и русскихъ. Такъ, въ „Периклъ“ (д. I сд. 1) мысль: „когда ея мать была еще тяжела ею“, выражена такъ: „когда еще (надъ ней) властвовала Люцина“ (till Lucina reign'd). Надобно знать, что Люцина—богиня беременности и родовъ; не зная этого, очевидно, русскій переводчикъ, передавшій наше мѣсто такъ: „когда еще жива была Люцина“.

Итакъ, мы знаемъ, въ какомъ положеніи находилась Клеопатра, прощаясь съ Антоніемъ, и съ трудомъ, поэтому, повѣримъ, чтобы такой тонкій знатокъ человѣческой и специально женской природы, какъ Шекспиръ, не воспользовался этимъ мотивомъ именно теперь, когда Клеопатра напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы сохранить свою власть надъ своимъ возлюбленнымъ; но мы знаемъ также, что открытаго признанія мы ожидать не должны. А теперь вернемся къ нашей сценѣ. Клеопатра сама посылала за Антоніемъ; все же, когда онъ является, она хочетъ уйти, ей дурно, она боится, что ея природа этого не выдержитъ. Она зоветъ наперсницу: „разстегни меня... впрочемъ нѣтъ, оставь. Мнѣ то дурно, то опять хорошо“. Она выводитъ Антонія изъ себя своими несправедливыми упреками и насмѣшками; когда онъ хочетъ уйти, она его останавливаетъ: „учтивый сударь, одно слово“. Теперь мы подготовлены—конечно, не непременно къ тому, о чемъ я здѣсь говорю, но во всякомъ случаѣ къ чему-нибудь рѣшительному; въ чемъ же состоитъ то „одно слово“, изъ-за котораго Клеопатра остановила Антонія? Послушаемъ ее: „Государь мой, мы должны разстаться... но это не то; государь мой, мы любили другъ друга... но это не то; это ты хорошо знаешь: что-то я хотѣла тебѣ сказать... О, мое забвеніе—подлинный Антоній; и я совсѣмъ забыта“.

Courteous lord, one word.

Sir, you and I must part,—but that's not it;

Sir, you and I have loved—but there's not it;

That you know well: something it is I would—

O, my oblivion is a very Antony

And I am all forgotten.

Что это значитъ? Переводчики, конечно, переводятъ эти слова такъ или иначе, благо отъ нихъ никто объясненій не требуетъ; но толкователи смущены. Особенно всѣхъ озадачила

фраза: „о мое забвеніе — подлинный Антоній!“ какъ явно бессмысленная. Кто считаетъ слово „забвеніе“ опиской вмѣсто „память“, — каковое слово и предлагается вставить въ текстъ; другіе воздерживаются отъ измѣненій, но требуютъ, чтобы слово „забвеніе“ понимали въ смыслѣ „память“ — „моя память такъ же неположительна, какъ и самъ Антоній, оттого-то я и забываю все“¹⁾. Нечего говорить, что это — натяжка; но чтò же мы отъ нея выигрываемъ? Въ чемъ же заключается то „одно слово“, которое Клеопатра намѣревалась сказать Антонію? „Да она его забыла“, — объясняютъ толкователи. Нѣтъ, воля ваша: дразнить слушателя или читателя тайной, которая такъ и остается до конца подъ покровомъ „молчанія“ — это продуктъ самой современной декадентщины; съ драматургической техникой Шекспира этотъ приѣмъ несогласуемъ. Я полагаю, что если Клеопатра задержала Антонія для „одного слова“, то она ему это слово и сказала; а если толкователи его намъ указать не могутъ, то это значить, что они ея не поняли. Клеопатра, конечно, ничего не забыла, но она притворяется, что забыла; а то, что она будто бы забыла — это тотъ плодъ ея любви къ Антонію, тотъ маленькій Антоній, котораго она чувствуетъ подъ сердцемъ, — оттого-то она и говоритъ: „о, мое забвеніе — подлинный Антоній!“ Такъ вѣдь и Виргиліева Дидона говоритъ про свою надежду: „еслибъ малютка-Эней (parvus Aeneas) передъ теремомъ нашимъ рѣзвился!“ — А впрочемъ, намекъ былъ дѣйствительно мало вразумителенъ; Антоній самъ его не понималъ, слова подруги ему кажутся вздорными; онъ даетъ ей это понять изысканнымъ оборотомъ въ духѣ тогдашняго драгоцѣннаго стиля: „если бы неразуміе не было подданнымъ твоего величества (которымъ ты, стало быть, распоряжаешься по своему усмотрѣнію), я сказалъ бы что ты — само неразуміе“.

¹⁾ Дѣйствительно, нѣкоторые толкователи, и въ томъ числѣ Деліусъ, полагаютъ, что *I am all forgotten* имѣетъ здѣсь не страдательный, а дѣйствительный смыслъ (*to be forgotten* — *vergessen haben*). Для нашего вопроса этотъ споръ не имѣетъ значенія; все же я считаю болѣе естественнымъ обычное объясненіе: „я, вотъ, забыла, да и сама забыта“. Это — анти-теза въ родѣ вышеприведенныхъ Овидіевыхъ: *perdita ne perdam, timeo, ne nocuisse nocenti*.

But that your royalty
Holds idleness your subject, I should take you
For idleness itself.

Другими словами: „я счелъ бы тебя неразумной, если бы не зналъ навѣрное, что ты только притворяешься таковой“. — Клеопатра съ горечью подхватываетъ слово „неразуміе“ и отвѣчаетъ: „Тяжелый трудъ носить *такое* неразуміе *такъ* близко къ сердцу, какъ Клеопатра — это“.

'T is sweating labour
To bear such idleness se near the heart.
As Cleopatra this.

Этотъ намекъ уже ясенъ — все равно, подчеркнула ли его Клеопатра выразительнымъ движеніемъ, или нѣтъ. Антоній понималъ, что у Клеопатры дремлетъ „такъ близко къ сердцу“, и Клеопатра видитъ, что онъ это понималъ. Теперь она мѣняетъ тонъ: она его смѣло отпускаетъ и благословляетъ на бой, зная, что никакія заботы уже не вырвутъ изъ его сердца того жала, которое она въ немъ оставила. И Антоній, прощаясь съ нею, даетъ ей понять, что онъ ее понималъ; поддѣливаясь подъ ея двусмысленную рѣчь, онъ говоритъ ей: „даже уходя отсюда, я (въ лицѣ того „подлиннаго Антонія“) все же остаюсь съ тобой“ — и затѣмъ уходитъ. Таково то „одно слово“, которое Клеопатра желала сказать Антонію.

VII.

Толкователь-филологъ, при объясненіи поэтическихъ произведеній, подвергается постоянной опасности, что его ученость, методъ и прочія орудія его интерпретаціи окажутся несоизмѣримыми величинами въ сравненіи съ той силой, которая создала означенныя произведенія — съ таинственной силой поэтического творчества. Съ этой опасностью долженъ былъ считаться и я, предлагая новое объясненіе Шекспировой сцены разлуки. Тѣмъ успокоительнѣе для меня сознаніе, что въ этомъ объясненіи я схожусь съ первостепеннымъ поэтомъ; дѣйствительно, чего не понималъ ни одинъ изъ толкователей Шекспира,

то сразу уловилъ, руководясь однимъ своимъ поэтическимъ чутьемъ, нашъ Пушкинъ.

Конечно, не будучи специалистомъ въ касающихся Пушкина вопросахъ, я не могу сказать, когда и какъ онъ ознакомился съ „Антоніемъ и Клеопатрой“ Шекспира; быть можетъ, на это имѣются и опредѣленные указанія. Пусть ихъ приводятъ другіе, — для насъ довольно того несомнѣннаго факта, что авторъ „Египетскихъ ночей“ не могъ не знать Клеопатры того поэта, драматической техники котораго онъ подражалъ въ своемъ „Борисѣ Годуновѣ“, — того поэта, драму котораго, сравнительно посредственную, онъ обработалъ въ своемъ „Анджело“. Принимая это знакомство за неподлежащій сомнѣнію фактъ, я прямо перехожу къ пушкинской обработкѣ нашего мотива разлуки.

Эта обработка—первая сцена „Русалки“. Не стану напоминать ея содержанія и хода; перехожу прямо къ тому мѣсту, въ которомъ Пушкинъ, какъ мнѣ думается, явно подражалъ Шекспиру. А для этого позволю себѣ еще разъ привести тѣ слова Шекспира, которые были его образцомъ.

Антоній. Я оставляю тебя, сударыня.

Клеопатра. Учтивый сударь, одно слово. Государь мой, мы должны разстаться... но это не то, Государь мой, мы любили другъ друга... но это не то... Это ты хорошо знаешь, что-то я хотѣла тебѣ сказать... о, мое забвеніе—подлинный Антоній.

Съ этими словами прошу сравнить слѣдующее мѣсто изъ „Русалки“.

Прощай!

Князь.

Она.

Постой, тебѣ сказать должна я —
Не помню, что.

Князь.

Припомни.

Она.

Для тебя

Я все готова... Нѣтъ, не то... Постой...
Нельзя, чтобы навѣки, въ самомъ дѣлѣ,

Меня ты могъ покинуть... Все не то...

Да, вспомнила: сегодня у меня

Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся.

Прибавить къ этому я ничего не имѣю; дѣло такъ ясно, что всякія объясненія его бы только затемнили. А если мы правы, то возстановлена почти двадцативѣковая цѣпь, соединяющая Овидія съ Шекспиромъ и Шекспира съ Пушкинымъ въ обработкѣ одного и того же мотива — „мотива разлуки“, какъ мы его назвали.—Конечно, эти три примѣра далеко не единственны; мотивъ нашъ такъ благодаренъ, что всякая поэзія, особенно романтическая и сентиментальная, его такъ или иначе къ себѣ приобщила. Но мы и не задавались цѣлью прослѣдить его на всемъ протяженіи его развитія; наша задача исполнена съ возстановленіемъ означенной идеальной цѣпи, соединяющей три великихъ имени всемірной литературы.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ.

(1900).

I.

Темная ночь. Многотысячная толпа высыпала на правый берег Неккара и тѣснится подъ его каштанами, наполняя собою всю длинную набережную по обѣ стороны Старого моста; всѣ напряженно смотрять на противоположный берегъ рѣки. Тутъ внизу горять огни города, ютящагося на узкой полосѣ между рѣкой и подножіемъ горъ; вверху — міриады звѣздъ, заливающихъ своимъ свѣтомъ глубокую синеву лѣтняго неба; вся середина — если не считать немногихъ освѣщенныхъ пунктовъ — образуетъ одну сплошную, темную стѣну. Эта стѣна — возвышающаяся надъ городомъ цѣпь горъ, и въ ней привычный взглядъ обывателей уже намѣтилъ то мѣсто, которое будетъ центромъ всеобщаго вниманія. „Вы не такъ стали, здѣсь вамъ дерево будетъ мѣшать; лучше отойдите на нѣсколько шаговъ и смотрите вотъ туда, на лѣво отъ моста. Видите это темное пятно, вотъ подъ тѣмъ огонькомъ? Это и есть Schlossberg“.

Но событіе заставляетъ себя ждать, вниманіе отвлекается рѣкой и тѣмъ, что на ней происходитъ. Она вся кипитъ яликами всевозможныхъ формъ и размѣровъ; ярко освѣщенные бѣлыми лампіонами, они снуютъ взадъ и впередъ по рѣкѣ, не безъ труда преодолевая ея быстрое, стремительное теченіе. Впрочемъ, ни усилій гребцовъ, ни даже ихъ самихъ не видно:

передъ нами только рой бѣлыхъ огней, со всѣхъ сторонъ окружающихъ свою матку—большую барку, тоже увѣшанную лампіонами. На ней играетъ музыка, раздается смѣхъ и шумный говоръ, поются пѣсни—знакомыя веселыя пѣсни: „O alte Burschenherrlichkeit“, „Stosst an! Heidelberg lebe!“, „Gau-deamus. Нѣтъ сомнѣнія, это—гейдельбергскіе студенты справляютъ свою венеціанскую ночь въ ожиданіи общаго событія на Замковой горѣ. При свѣтѣ лампіоновъ мелькаютъ ихъ бѣлыя фуражки, развѣвается ихъ бѣло-зелено-черное знамя; это—„саксоторуссы“, самая значительная корпорація въ столицѣ „веселаго Палатината“.

II.

Но вотъ раздался пушечный выстрѣлъ. Мгновенно воцаряется глубокая тишина; умолкла музыка; умолкъ говоръ, ничего не слышно, кромѣ теченія Неккара, сердито бурлящаго подъ каменными сводами Старого моста. И вдругъ то темное пятно, на которое намъ велѣно было смотрѣть, озаряется багровымъ свѣтомъ. Передъ нами вырисовывается точно красный призракъ среди черной ночи, вся величавая развалина замка съ его полуразрушенными башнями и узорчатыми фронтонами. Различаемъ все до мельчайшихъ подробностей, даже плющъ, обвивающій окна дворца пфальцграфа Фридриха, даже кустарники, выросшіе изъ расщелинъ „восьмиугольной башни“.

Въ то же время оживилась и бѣлая барка на Неккарѣ: грянула музыка, и—подхваченная сотней молодыхъ голосовъ—раздалась любимая пѣсня гейдельбергскихъ студентовъ, пѣсня въ честь ихъ прекрасной и привѣтливой *alma mater*:

Alt Heidelberg, du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein andre kommt dir gleich

И мы стоимъ, среди многотысячной толпы, на берегу этого самаго Неккара и внимаемъ сливающимся съ его журчаніемъ торжественнымъ и веселымъ аккордамъ студенческой пѣсни;

въ листьѣ каштана шумить ночной вѣтеръ, принося намъ душистую прохладу съ лѣсистыхъ высотъ Святой горы; а тамъ, передъ нами, высоко надъ рѣкой, высоко надъ городомъ горить и дымится въ багровомъ сіяніи старинный замокъ, точно повисшій въ воздухѣ миражъ, точно пылающая Вальгалла изъ „Гибели боговъ“.

III.

„Это“, скажутъ, „игра и болѣе ничего; праздная забава безо всякаго дѣльнаго, серьезнаго содержанія“.

Разумѣтся. И разумѣтся, не ради забавы гостилъ я около мѣсяца въ Гейдельбергѣ. Меня привлекала своими сокровищами библіотека гейдельбергскаго университета, знаменитая Palatina, столь же часто опустошаемая, какъ и ея собратъ на Замковой горѣ, и все же, подобно ему, неисчерпаемо богатая и поучительная. Работы предстояло не мало, время было расчитано въ обрѣзъ; но, какъ ни старался я использовать каждый часъ—„забава“ преслѣдовала меня повсюду. Разъ выхожу я послѣ закрытія библіотеки на улицу, вижу—на всей Hauptstrasse толпится народъ. Очевидно, кого-то ждуть; но кого?—императора? великаго герцога? шаха персидскаго?—Нѣтъ: тѣ же „саксоторуссы“ празднуютъ какую-то свою годовщину. И дѣйствительно: бѣло-зелено-черные флаги свѣшиваются во множествѣ съ фасадовъ домовъ чаравнѣ съ желто-красными—баденскими и черно-бѣло-красными—имперскими. Вскорѣ начинается торжественный выѣздъ: впереди группа студентовъ верхами въ своихъ историческихъ костюмахъ, среди нихъ знаменосецъ—красивый, статный юноша; далѣе—десятка два музыкантовъ, наряженныхъ трубачами XVIII вѣка; тоже верхами; затѣмъ—нескончаемая вереница колясокъ, въ каждой по три человѣка: одинъ изъ числа хозяевъ и двое почетныхъ гостей, либо изъ своихъ бывшихъ членовъ, либо изъ представителей другихъ корпорацій. Особенно милое зрѣлище представляли коляски съ этими послѣдними: двѣ пунцовыя фуражки и одна бѣлая, двѣ зеленыя и одна бѣлая, двѣ желтыя и одна бѣлая и т. д. Не отсутствовали и корпораціонные псы (Corpschunde), чинно сидѣвшіе въ своей коляскѣ подъ

присмотромъ бравого „фукса“. Само собою разумѣется, что все это отправлялось за городъ въ одну изъ многочисленныхъ пригородныхъ кнейпъ, и что вечеръ будетъ проведенъ довольно шумно; а затѣмъ — чрезъ день или два вы встрѣтите тѣ же бѣлыя, зеленыя, желтыя фуражки на университетскомъ дворѣ входящими и выходящими черезъ узкія двери стариннаго, мрачнаго университетскаго зданія. И наполненныя аудиторіи, частые экзамены и „промоціи“, усердныя засѣданія студенческихъ ученыхъ обществъ докажутъ вамъ, что университетская молодежь такъ же хорошо учится, какъ и веселится, что, несмотря на все, первую роль играетъ здѣсь дѣло, а не забава.

IV.

Забава, дѣло... Поживите съ недѣлю въ Гейдельбергѣ, и вы усумнитесь въ правильности этого разграниченія. Забава перестаетъ быть забавой тамъ, гдѣ она окружаетъ весь бытъ человѣка своей живительной, бодрящей атмосферой; тутъ она является радостью, является красотой. Есть много городовъ праздной красоты — Ницца, Неаполь, Ялта; Гейдельбергъ и назвалъ бы городомъ красоты трудящейся. Здѣсь челоѣкъ вкушаетъ красоту между дѣломъ, въ тѣ необходимыя паузы, которыя обусловливаются разстояніемъ, временемъ дня или утомленіемъ. Вы призадумались надъ книгой — вашъ взоръ скользитъ поверхъ густой листвы каштановъ, упирается въ зеленую стѣну Святой горы, вы ясно различаете дорожку, ведущую на ея вершину, такъ называемый Philosophenweg. Что это были за философы, давшіе имя этой восхитительной дорожки? Этого мнѣ въ Гейдельбергѣ сказать не сумѣли, но ясно одно: пессимистами они быть не могли. Наступилъ полдень, пора домой обѣдать... я допускаю, что вы ради лѣтняго времени поселились за городомъ, скажемъ, у такъ называемаго „Волчьяго родника“ (Wolfsbrunnen), въ прохладномъ ущельѣ Königstuhl'я надъ Нейкаромъ. Оставивъ библіотеку, вы уже черезъ нѣсколько минутъ очутились въ лѣсной глуши, подъ зелеными сводами буковъ, осѣняющихъ горную тропинку Wolfsbrunnenweg. Вы идете дальше, вдыхая душистую лѣсную

прохладу, а слѣва то и дѣло открываются виды на долину Неккара и на Оденвальдъ. Вотъ Святая гора съ уединенной церковкой на ея вершинѣ, вотъ, нѣсколько ниже, живописный монастырь Нейбургъ съ его бѣлыми стѣнами, эффектно выдѣляющимися на зеленомъ фонѣ горы, вотъ подальше, точно на ладони, вся романтическая долина Mausbachtal съ ея полями и хуторами, а еще дальше — необозримое море лѣсистыхъ высотъ, прославленный въ нѣмецкой сагѣ „Лѣсъ Одина“ (Odenwald). Быстро проходитъ время, вскорѣ вы дома, подъ раскидистыми липами „Волчьяго родника“, вамъ приносятъ обѣдъ — вкусный, сытный, дешевый — приносятъ кружку прохладнаго пфальцскаго вина. По воскресеньямъ здѣсь довольно шумно, но въ будни никто васъ не тревожитъ, только птицы съ сосѣднихъ деревьевъ слетаются подбирать крохи съ вашего стола... Не воробьи, какъ у насъ, а настоящія лѣсные пташки: зяблики, овсянки, горихвостки. Эта довѣрчивость имѣетъ свою особую причину: въ Гейдельбергѣ есть „общество охраны птицъ“, а „Волчій родникъ“ — одна изъ учрежденныхъ имъ Futterstellen. И вотъ, благодарные питомцы и съ своей стороны содѣйствуютъ распространенію радости и красоты, услаждая прелестью своего легкаго существованія полуденный отдыхъ гостя, наравнѣ съ горнымъ вѣтромъ, шумящимъ въ листвѣ вѣковыхъ липъ, наравнѣ съ журчаніемъ родника, стекающаго изъ пасти бронзоваго волка въ каменный бассейнъ.

V.

Кстати объ этомъ родникѣ: „Волчьимъ“ онъ названъ не с проста. Вдумчивая и поэтическая Греція создала множество мнѳовъ ради выясненія „причины“ какого-нибудь обряда, обычая, названія и т. д.; такіе „причинные“ мнѳы у специалистовъ называются „этіологическими“. Нашъ Волчій родникъ тоже имѣетъ свой этіологическій мнѳъ, и при томъ довольно оригинальный. Рассказываютъ, что въ былыя времена, когда замка еще не было, на позднѣйшей Замковой горѣ жила прекрасная чародѣйка Гетта. Своими чарами она подчинила себѣ всѣхъ дикихъ звѣрей Оденвальда; но они не могли охранить

ее отъ болѣе могущественныхъ чаръ любви. Она назначила своему милому свиданіе у родника въ дикомъ ущельѣ своей горы; спалъ волшебный плащъ съ плечъ дѣвы, отошла отъ нея ея чудодѣйственная сила. Вдругъ огромный волкъ выбѣжалъ изъ лѣсной чащи; юноша спасся бѣгствомъ, Гетта же, не зная объ исчезновеніи своей силы, осталась на мѣстѣ и была растерзана звѣремъ. И вотъ, на память объ этомъ событіи родникъ и понынь называется „Волчьимъ“.

Я привелъ это преданіе скорѣе какъ образчикъ: вся атмосфера Гейдельберга насыщена, если можно такъ выразиться, элементомъ саги — и въ этомъ, на мой взглядъ, состоитъ значительная часть прелести этого единственного въ своемъ родѣ города. Недаромъ онъ расположенъ на древней, исторической почвѣ — тамъ, гдѣ сооруженная римлянами дорога, соединявшая Аргенторатъ (Страсбургъ) съ Могунціакомъ (Майнцомъ), пересѣкала Неккаръ. Соприкосновеніе съ римской культурой повело, такъ сказать, къ кристаллизаціи саги. Такъ окружающіи Гейдельбергъ лѣсистыя горы стали „лѣсомъ Одина“, театромъ событій, прославленныхъ въ древнегерманскомъ эпосѣ о Нибелунгахъ: здѣсь былъ убитъ Зигфридъ, намѣченный рокомъ спаситель царства Одина и его боговъ; здѣсь стоялъ замокъ короля Гунтера и прекрасной Кримгилды. Что же касается самого Одина, то онъ, при всемъ томъ, не погибъ. Будучи вынужденъ отступить передъ христіанствомъ, онъ скрылся въ своемъ лѣсу, гдѣ живетъ и понынь подъ именемъ „дикаго охотника“. Когда, весною, южный вѣтеръ, спустившись съ альпійскихъ ледниковъ, бушуетъ на высотахъ Оденвальда, срывая деревья и запружая горные потоки, — это „дикій охотникъ“ гарцуетъ на черномъ конѣ во главѣ своей вѣрной дружины.

VI.

Со своимъ богатствомъ природныхъ и культурныхъ красотъ, со своимъ волшебнымъ покровомъ преданій, сотканныхъ исторіей и сагой, со своей наукой и — своимъ виномъ, Гейдельбергъ издавна просился подъ перо поэта; онъ нашелъ его въ лицѣ не такъ давно скончавшагося I. В. Шеффеля. Имя

Шеффеля почти неизвѣстно внѣ Германіи, и читатель будетъ, вѣроятно, не мало удивленъ, узнавъ, что ему не только поставленъ памятникъ въ Гейдельбергѣ (кому ихъ не ставить!), но что существуетъ общество, въ честь его издающее посвященный культу его поэзіи ежегодникъ, и что его имя произносится многими съ такимъ же благоговѣніемъ — если не съ большимъ — какъ и имя Гёте. Причина этой различной оцѣнки заключается въ томъ, что Шеффель — специально нѣмецкій поэтъ; юморъ, составляющій главную прелесть его стихотвореній, непонятенъ большинству иностранцевъ, даже свободно владѣющихъ нѣмецкимъ языкомъ. Онъ замѣчателенъ не столько объемомъ, сколько силой своего таланта; избравъ себѣ довольно узкую и даже, если хотите, не особенно возвышенную область, онъ воздѣлалъ ее такъ оригинально и мило, какъ никто до него. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ всѣхъ чертъ, составляющихъ фizioномію Гейдельберга, первую роль у Шеффеля играетъ та, которой я въ началѣ этого отрывка отвелъ послѣднее мѣсто — вино: съ полною сознательнымъ, а потому и обезоруживающимъ критика юморомъ, онъ и исторію, и міеологію, и геологію и юриспруденцію и всю вообще природу и культуру преломляетъ въ кружкѣ хорошаго пфальцскаго вина. Не избѣгъ общей участи и грозный владыка Оденвальда. Уже въ народныхъ повѣріяхъ „дикій охотникъ“ отождествлялся то съ тѣмъ, то съ другимъ великимъ грѣшникомъ, осужденнымъ послѣ смерти на вѣчное скитаніе; Шеффель его воспѣлъ какъ безпокойнаго рыцаря фонъ-Роденштейна, нѣкогда владѣльца трехъ деревень въ Оденвальдѣ. Двѣ изъ нихъ онъ благополучно пропилъ, третьей не успѣлъ; умирая, онъ завѣщаетъ свою жажду „господамъ студентамъ“. Но сознаніе недовершеннаго дѣла не даетъ ему покоя и въ могилѣ, и вотъ онъ развѣзжаетъ по ночамъ со своимъ отрядомъ, опустошая попадающіеся на его пути винные погреба. Иною смертью почилъ его счастливый соперникъ, карликъ Перкео... а впрочемъ, для выясненія этой личности требуется маленькое отступленіе. Дѣло въ томъ, что въ гейдельбергскомъ замкѣ хранится понынѣ, если позволительно такъ выразиться, „царь-бочка“, воздвигнутая во времена оны какимъ-то безпутнымъ пфальцграфомъ, конкретный символъ „веселаго Палатината“ (fröhlich Pfalz); тутъ же стоитъ и

деревянное изображеніе придворнаго шута, карлика Перкео, съ бокаломъ вина въ рукахъ. Фантазія поэта было предоставлено привести эти два предмета въ драматическую связь между собой; вышло вотъ что. Перкео былъ издавна поклонникомъ извѣстнаго принципа *in vino veritas*; когда же исполинская бочка была наполнена виномъ, то его призваніе, какъ иска-теля истины, стало для него вполне яснымъ: онъ задался цѣлью выпить ее до дна. Пятнадцать лѣтъ трудился онъ, но въ концѣ концовъ настоялъ на своемъ: бочка была осушена, и онъ умеръ въ гордомъ сознаніи, что онъ, будучи малъ, какъ Давидъ, сподобился сразить громаднаго Голиафа—жажду.

VII.

„Забава! — скажутъ опять: — „праздная забава!“ — Забава, да; но не праздная. Посмотрите, какимъ почетомъ пользуется память Шеффеля въ Гейдельбергѣ. О памятникѣ въ честь его уже было упомянуто: онъ стоитъ на террасѣ замковаго парка и изображаетъ поэта какъ странника, въ ботфортахъ и съ сумкой черезъ плечо, согласно его девизу: *nicht rasten und nicht rosten*. Но этотъ памятникъ не болѣе, какъ ключевой камень въ триумфальной аркѣ его славы. Не очень важно и то, что двѣ самыя посѣщаемыя въ Гейдельбергѣ кнейпы названы, одна — *zum Rodensteiner*, другая — *zum Perkeo*, а третья (гдѣ, якобы, тоже подвизался неисправимый оденвальдскій кутила) въ честь самого поэта именуется *Scheffelhaus*. Важно то, что каждый нѣмецкій студентъ знаетъ наизусть всѣ его лучшія стихотворенія; эффектно положенныя на музыку, они вошли въ составъ всѣхъ коммершбуховъ и поются на всѣхъ попойкахъ наравнѣ съ самыми популярными изъ прежнихъ. Что же касается той пѣсни въ честь Гейдельберга, первая строфа которой выписана выше — я забылъ сказать, что и она сочинена Шеффелемъ — то она преподносится вамъ въ Гейдельбергѣ на каждомъ шагѣ: ее играютъ окрестры, ее поютъ студенты, ее насвистываютъ уличные мальчишки, ее печатаютъ, вырѣзаютъ, малюютъ чутъ ли не на всѣхъ гейдельбергскихъ

сувенирахъ — если не всю, то хоть первую строфу или первый стихъ. Таково взаимоотношеніе между городомъ и его поэтомъ.

Основательна ли эта популярность?

Объ этомъ думаютъ различно, и, конечно, не современникамъ произнести окончательное сужденіе. Все же мы, полагая, не слишкомъ удалимся отъ правды, предлагая слѣдующее рѣшеніе.

Шеффель прежде всего — поэтъ студентовъ. Они его самые горячіе поклонники; за ними — тѣ, которые и въ дальнѣйшей жизни сохранили свое молодое, студенческое сердце, или, по крайней мѣрѣ (что, быть можетъ, еще лучше) способность воскрешать его въ данномъ случаѣ, при данной обстановкѣ. А время студенчества (я знаю, что даю идеальное опредѣленіе) это — время труда, окрыляемаго радостью и красотой. Трудъ, радость и красота — это и есть то здоровое, мощное трехзвучіе, которое одинаково гармонируетъ и со студенчествомъ, и съ его любимымъ городомъ, и съ его любимымъ поэтомъ.

Когда-нибудь, быть можетъ, психологія разъяснитъ намъ значеніе этого трехзвучія для личной жизни человѣка; за нею поплетется и гигиена, а тамъ, Богъ дастъ, и политическая экономія раздвинетъ свои не въ мѣру узкія рамки и признаетъ имя и значеніе экономическихъ силъ за тѣми невѣсомыми, которыя, по ея формулѣ, не должны имѣть вліянія на судьбу народовъ, и тѣмъ не менѣе, проклятыя, имѣютъ его на каждомъ шагѣ. Пока же приходится ограничиваться предположеніями.

И вотъ я предполагаю, что Гейдельбергъ въ силу всѣхъ тѣхъ условій, о которыхъ рѣчь была выше, и которыя могли показаться маловажными „серьезному“ читателю, долженъ быть признанъ однимъ изъ величайшихъ благодѣтелей Германіи — говорю „Германіи“, такъ какъ, увы, только о ней и приходится говорить. Полагаю, что учащемуся въ Гейдельбергѣ студенту легче, чѣмъ какому бы то ни было другому, застраховать себя отъ губительныхъ вліяній дальнѣйшей, посвященной одному лишь „дѣлу“ жизни — отъ пошлаго самодовольства, отъ завистливой хандры, отъ склонности къ отрицанію и нытью. Недаромъ онъ въ теченіе мѣсяцевъ между дѣломъ вдыхалъ

всѣми порами радость и красоту; придетъ критическая минута — воскреснетъ образъ Замковой горы, повѣетъ душистой прохладой съ Волчьяго родника, проснется веселый напѣвъ гейдельбергской пѣсни — и его сердце, вмѣсто стона, откликнется тѣмъ мощнымъ, торжественнымъ трехзвучіемъ, зовущимъ къ бодрости и дѣлу.

Вотъ чему насъ учить Гейдельбергъ.

ЗЕМЛЯ И ВОЙНА.

(1915).

Изъ глубокой древности намъ сохранилось замѣчательное по своей прозорливости свидѣтельство о причинахъ, вызвавшихъ самую знаменитую и кровопролитную изъ „доисторическихъ“ войнъ—троянскую. Мы находимъ его не у Гомера и вообще ни въ одномъ изъ удѣлѣвшихъ сочиненій; это—отрывокъ изъ потеряннаго эпоса, возникшаго въ VII вѣкѣ среди греческихъ колонистовъ острова Кипра и носившаго поэтому его имя — „Кипріи“. Вотъ этотъ отрывокъ:

Въ оныя дни тмы смертныхъ, толпясь по великому тѣлу
Широкогрудой Земли, изнуряли праматери силу.
Видя мученія ея, пожалѣлъ ее Зевсъ; порѣшилъ онъ
Въ разумѣ крѣпкомъ своемъ облегчить всекормилицы ношу,
Пламень великой войны иліонской въ народахъ разжегши,
Дабы обузу расхитила смерть. И у стѣнъ Іліона
Племя героевъ погубило—свершилася Зевсова воля.

Въ частности дѣло описывалось такъ:

Сама Земля жаловалась владыкѣ вселенной на все возрастающую тяжесть своей человѣческой ноши. Зевсъ совѣщается со своей сопрестольницей Ѡмидой о томъ, какъ ему исполнить справедливое требованіе праматери: истребить ли ему огнемъ перуна досаждающій ей излишекъ населенія, или наслать на него новый потопъ. Но его сомнѣнія разрѣшаетъ непрощенный гость олимпійскаго совѣта, Мефистофель антич-

ной религіи—Момъ (Mômos), духъ хулы и отрицанія. Къ чему насиліе? Развѣ у челоѣка есть другой, болѣе яростный и гибельный врагъ, кромѣ—человѣка? Пусть же Зевсъ сдѣлаетъ прекраснѣйшую изъ смертныхъ женъ, Леду, матерью еще болѣе прекрасной дочери, носительницы божественной красоты среди людей; пусть онъ затѣмъ наградитъ доблестнѣйшаго изъ смертныхъ витязей, Пелея, любовью богини Оетиды и сдѣлаетъ его отцомъ еще болѣе доблестнаго сына. Елена и Ахиллъ, сверхчеловѣческая красота и сверхчеловѣческая доблесть, сами собою сдѣлаютъ свое дѣло; разгорится распря въ долинѣ Скамандра—

и у стѣнъ Иліона

Шлемъ героевъ погибнетъ: свершится Зевесова воля.

* * *

Счастливые люди жили тогда. Для нихъ отвлеченная истина сама собою облекалась въ наглядный, прекрасный символъ, нагая исторія выступала нарядной притчей, еще раньше подкупающей нашъ взоръ, чѣмъ ее успѣетъ одобрить нашъ разумъ. И несчастное племя живетъ теперь. Правда, оно гордится своимъ стремленіемъ къ нагой истинѣ, но въ томъ то и состоитъ его заблужденіе, что ея божественная нагота недоступна смертному взору, и что оно принимаетъ за таковую то, что на дѣлѣ—лишь другая оболочка богини, менѣе прекрасная, но не болѣе истинная, чѣмъ та прежняя—отвлеченность и дискурсивное мышленіе.

Ну, что же, переоблачимъ нарядную истину кипрскаго пѣвца.

Въ оныя дни населеніе Эллады, возрастая съ каждымъ новымъ поколѣніемъ, стало, наконецъ, слишкомъ многочисленнымъ; оно не могло болѣе кормиться плодами своей родной земли. По ту сторону моря было могучее царство, плѣнявшее его всѣми красотами сказочнаго Востока. Правда, его силы не уступали его богатству; побѣда надъ нимъ не представлялась легкимъ дѣломъ. Но нужда выросила и храбрость; рать за ратью двинулась въ долину Скамандра; сотни, тысячи полегли подъ стѣнами Трои; облегченная, вздохнула свободнѣе эллинская земля.

* * *

Когда мы были еще учениками, наша западная сосѣдка послѣ побѣдоносной войны съ Франціей насчитывала 45 милліоновъ жителей и считалась густо населенной страной. Всего на одно только поколѣніе передвинулась стрѣлка міровыхъ часовъ, наши сыновья теперь тамъ, гдѣ мы были тогда, и уже это население доросло до 70 милліоновъ. Чего только не предпринимали умные руководители его судебъ, чтобы прокормить этотъ огромный излишекъ! Налегли на промышленность, усилили торговлю, чтобы залучить къ себѣ золотой потокъ мірового капитала; завели колоніи на всѣхъ материкахъ, чтобы дать сравнительно безобидный исходъ набухшей жизни, задыхающейся въ слишкомъ тѣсныхъ предѣлахъ родной земли... Но всѣ эти мѣры давали лишь временное облегченіе, и послѣднимъ, крайнимъ средствомъ все-таки осталось то, которое уже три тысячелѣтія назадъ предусмотрѣлъ лукавый умъ греческаго Мефистофеля, духа хулы и отрицанія.

И, кажется, оно помогаетъ. Лишь семь съ небольшимъ мѣсяцевъ успѣло пройти со времени начала войны, и уже, говорятъ, свыше двухъ милліоновъ особей изъ того набухшаго населенія вернуло изнуренной землѣ отнятые у нея элементы плоти. Нарушенное равновѣсіе мало-по-малу восстанавливается—равновѣсіе между питающими и питаемыми частицами міровой субстанции. Растутъ и растутъ безчисленныя „братскія могилы“, обитель смрада и тлѣна для нынѣ живущихъ, обильный перегной жизни для будущихъ поколѣній. И это пока—дѣло зимы. Уже наступаетъ весна, недалеко и лѣто; быстрее и быстрее пойдетъ дѣло истребленія, война призоветъ себѣ на помощь свою давнишнюю испытанную союзницу—чуму, какъ ее называетъ народъ, сводя къ одному представленію все разнообразіе медицинской терминологіи. Сойдутъ въ братскія и одиночныя могилы третій, пятый, десятый милліоны, равновѣсіе восстановится, свободнѣе вздохнетъ мать-черна земля.

Таково оправданіе войны — да, также и этой войны — блѣдными устами стариннаго Мома... Много ли оно хуже другихъ?

УРАЛЬСКІЯ ВПЕЧАТЛѢНІЯ.

(1915).

I.

Златоустъ.

Босфоръ закупоренъ, Кавказъ, по слухамъ, болѣе прежняго кишить прїѣзжими; итакъ, ѣдемъ на Уралъ.

Петроградъ—Рыбинскъ—Волга—Кама—Бѣлая... это далеко не кратчайшій, но несомнѣнно прекраснѣйшій путь. Именно для Россіи характерна эта длительность рѣчного плаванія, такъ успокоительно дѣйствующая на истрепанные нервы горожанина, это долгое хожденіе по палубѣ парохода при медленной смѣнѣ береговыхъ картинъ. Милыя, знакомыя картины, много разъ описанныя; но вотъ что ново. Подъѣзжаемъ къ пристани—а тамъ нагорныя лужайки пестрятъ отъ выспавшаго крестьянскаго населенія, и вой—громкій протяжный вой стоитъ надъ ними. Забираемъ новобранцевъ. Жутко.

Бѣлая нынче необыкновенно половодна: береговой ивнякъ изъ воды вырастаетъ, и мы быстро ѣдемъ, не замедляя хода на перекатахъ. Для насъ это—плохая примѣта: „на Уралѣ дожди“.

Затѣмъ Уфа—привѣтливая аксаковская Уфа, утопающая въ зелени своихъ роскошныхъ садовъ. Оттуда идетъ уже желѣзная дорога: великій сибирскій путь. Въ обычное время это для путешественниковъ второе раздолье, но нынче не то: движеніе сокращено, плацкартъ нѣтъ, въ отдѣленіяхъ по девяти человѣкъ, приходится и постоять. Вспоминаемъ о воѣ на рѣчныхъ пристаняхъ и не ропщемъ.

Вотъ и Уралъ; точнѣе, его предгорья: Воробьиныя горы, Высовашка. Далѣе опять равнина. Внезапно, точно сонъ, мелькнуло ущелье Юрюзани, которое поѣздъ пересѣкъ по мосту, съ его каменными кручами, нависшими надъ потокомъ—и снова равнина. Вообще отличительный признакъ Урала для привыкшаго къ западно-европейскимъ горамъ туриста—это отсутствіе сплоченности. Тамъ горы, разъ начавшись, уже не покидаютъ тебя до самаго предѣла своей области. Здѣсь не то: такъ и кажется, будто привыкшая къ ровности земля неохотно вздымается и послѣ cadaго напряженія гористости чувствуетъ потребность отдохнуть широкой равниной.

А та примѣта, увы, оказалась вѣрной. Нѣтъ солнца, нѣтъ и красокъ; пасмурно и дождливо. Чѣмъ далѣе, тѣмъ сырѣе; при проливномъ дождѣ вѣзжаемъ въ столицу южнаго Урала—Златоустъ.

Мокнемъ, но восхищаемся: что за прекрасное соединеніе трехъ выспихъ природныхъ красотъ—горъ, лѣса и водной поверхности! Здѣсь уже равнина забыта; кругомъ горы, стоящія восхожденія—Таганай, Александровская сопка. А самый городъ прильнулъ къ широкой груди Косотура и съ нея смотрится въ зеркальную гладь Айскаго озера. Положительно, Златоустъ созданъ для того, чтобы стать центромъ южно-уральскаго туризма. Это—уральскій Зальцбургъ, съ которымъ онъ впрочемъ раздѣляетъ еще одну особенность: ту, которая доставила ему почетное наименованіе „самаго мокраго мѣста Европы“.

Восхищаемся, но мокнемъ; и подъ охлаждающемъ душемъ непрестаннаго дождя мало-по-малу пробивается сознаніе, что путь отъ станціи до города, въ сущности, могъ бы быть и менѣе безконечнымъ. Потомъ мы узнали, что виною этому необузданная алчность златоустовцевъ, потребовавшихъ отъ казны совсѣмъ неподобной суммы за землю подъ подгородную станцію.

Наконецъ доѣхали и помѣстились въ новенькихъ и чистенькихъ „Уральскихъ номерахъ“ на Большой Славянской (ci-devant: „Нѣмецкой“) улицѣ; но наши надежды на обѣдъ были жестоко обмануты. Въ номерахъ обѣдъ готовится только по заблаговременному заказу и подается не позже 4-хъ. Обратились по совѣту содержателя въ „клубъ“; но на мѣстѣ

узнали, что и „клубъ“ съ наступленіемъ трезвыхъ временъ потерялъ для златоустовцевъ всякую привлекательность и страпня въ немъ прекратилась. Пришлось искать спасенія въ трактирчикѣ, закуренномъ, грязненькомъ, и тамъ подъ стукъ кіевъ игравшихъ на билліардѣ рабочихъ утолить свой голодъ ухой изъ окуней—впрочемъ, и не по голоду вкусной.

Обозрѣнію города былъ посвященъ слѣдующій день. Его главные достопримѣчательности съ точки зрѣнія промышленности — знаменитый заводъ и „Ермоловская“ домна. Заводъ изготовляетъ снаряды; для публики онъ по вполнѣ понятной причинѣ закрытъ, и безусловная разумность этого запрета не позволяетъ просить о томъ, чтобы для насъ было сдѣлано исключеніе. Туристическій же интересъ самого города сосредоточивается на обоихъ возвышающихся надъ нимъ холмахъ. Оба по красивому обычаю древнехристіанскихъ странъ украшены часовнями, къ которымъ въ опредѣленные праздники направляются крестные ходы; съ нихъ открываются широкіе виды и на самый городъ, и на его окрестности, одинъ роскошнѣе другого. И тутъ чѣмъ дажѣ, тѣмъ болѣе приковываетъ наши взоры царственный Таганай: какъ ни сердито небо, не разъ вспрыснувшее насъ также и въ этотъ день — не сдѣлать ли попытки взобраться на него? Собственно, всѣ разумныя соображенія говорили противъ: даже если допустить очень невѣроятное улучшеніе погоды, то стекавшіе съ Таганая ручьи, притоки Тесьмы, благодаря обилію предыдущихъ дождей должны были разлиться и образовать рядъ почти непроходимыхъ естественныхъ преградъ. Все это такъ, но съ другой стороны — кто, разъ побывавшій въ горахъ, не знаетъ притягательной, почти магнетической силы горныхъ вершинъ?

Рѣшили спросить мнѣнія проводника и для этого пригласили того, котораго нашъ хозяинъ рекомендовалъ намъ какъ самаго надежнаго. Онъ призналъ идею исполнимой, и притомъ въ теченіе одного дня: собравшись не позже 5 утра, на лошадяхъ доѣхать до подножія горы, оттуда пѣшкомъ на одну изъ вершинъ (ихъ всѣхъ четыре) и затѣмъ обратно. Велика была радость, особенно у молодежи: будемъ, значитъ, на Таганай! Проводникъ обѣщалъ позаботиться о лошадяхъ и въ тотъ же вечеръ доложить мнѣ о результатахъ своихъ ста-

раній: въ виду этого я, отпустивъ молодежь на прогулку, самъ остался въ номерѣ.

* * *

Самая наличность проводника навела меня на болѣе утѣшительныя мысли относительно возможности уральскаго туризма. Дѣйствительно, въ настоящее время путешественника по Уралу тамошніе интеллигентные люди встрѣчаютъ вопросомъ, не пришелъ ли онъ посѣтить заводы; на отрицательный отвѣтъ слѣдуетъ дальнѣйшій вопросъ, не собираетъ ли онъ минералогическую коллекцію. Безкорыстная любознательность туриста здѣсь мало понятна. Конечно, при случаѣ заглянемъ и въ одинъ изъ нашихъ историческихъ заводовъ; при случаѣ, полюбуемся и на минералогическую коллекцію; но все это—не цѣль, а средство. Средство—къ чему?—Чтобы отдохнуть отъ зимней работы по специальности, ничего общаго не имѣющей ни съ инженернымъ дѣломъ, ни съ минералогіей.—Отдохнуть! Да развѣ такъ отдыхаютъ?

У насъ лѣтомъ отдыхаютъ на дачѣ; и иностранному слову „туристъ“ соотвѣтствуетъ русское слово „дачникъ“. И въ этомъ—наше великое зло.

Туризмъ и дачная жизнь—двѣ различныя формы, въ которыя выливается естественная и законная потребность интеллигента въ лѣтнемъ отдыхѣ отъ зимней умственной работы. Различіе же заключается въ томъ, что туризмъ—это отдыхъ дѣятельный, а дачная жизнь—отдыхъ бездѣятельный. Признаніемъ законности дачной жизни въ обывателѣ поддерживается мнѣніе, будто онъ имѣетъ право въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ ничего не дѣлать. А мнѣніе это—ложь: такого права никто никогда не имѣетъ.

Я не говорю, конечно, о семьяхъ, выращивающихъ малыхъ дѣтей, какъ не говорю о больныхъ и престарѣлыхъ. Но жизнь здороваго человѣка въ расцвѣтѣ его силъ допускаетъ только два состоянія—состояніе дѣятельнаго труда и состояніе дѣятельнаго отдыха. А туризмъ—одна изъ разновидностей послѣдняго, наиболѣе доступная тѣмъ многимъ, которые не могутъ заниматься охотой или сельскимъ хозяйствомъ въ благоустроенномъ имѣніи.

Это — психологическая сторона дѣла; есть въ немъ, однако, и социальная. Вы читали „Дачниковъ“ Горькаго? Не говорю: смотрѣли, такъ какъ эта слишкомъ справедливая и суровая критика нашихъ нравовъ слишкомъ быстро сошла со сцены. А жаль. Авторъ со свойственнымъ ему прямодушіемъ обнажилъ тутъ одну изъ язвъ нашей современности. Это демонстративное, вызывающее бездѣлье, къ которому сводится наша дачная жизнь, представляетъ собою не болѣе и не менѣе какъ социальное преступленіе.

Поневолѣ сокращаю свои мысли; онѣ привели меня вполне послѣдовательно къ школьному вопросу, въ которомъ эта язва обрѣла свое самое законное мѣсто — къ нашему учебному году „не менѣе 32 недѣль“ съ его лѣтними каникулами „не болѣе 2½ мѣсяцевъ“, — ко всей этой семиклассной школѣ бездѣлья, съ помощью которой мы рассчитываемъ восторжествовать надъ девятиклассной школой труда нашихъ сосѣдей — ко всей этой девальвациі русской культуры, залогу будущихъ грозныхъ поражений.

Туризмъ уже тѣмъ хорошъ, что его на 2½ мѣсяца не растянешь. Но это — достоинство отрицательное; надо ли перечислять положительныя? „Ознакомленіе нашей интеллигенціи съ нашей родиной“... кажется, на эту тему можно бы сказать немало хорошихъ словъ. Есть, однако, и обратная: „ознакомленіе нашей родины съ нашей интеллигенціей“, воздѣйствіе послѣдней на первую въ видахъ внесенія въ нее извѣстныхъ культурныхъ потребностей, если не въ смыслѣ комфорта, то хоть въ смыслѣ чистоплотности и минимальныхъ удобствъ въ пропитаніи, передвиженіи и ночлегѣ, этихъ первичныхъ элементахъ всякаго туризма. А впрочемъ, вотъ еще одно соображеніе, совершенно неопровержимое. Русскій туризмъ есть, но подвизается онъ за границей; хотите вы оставить его тамъ или вернуть его на родину? Хотя бы ради тѣхъ капиталовъ, которые онъ теперь тратитъ на чужбинѣ — рѣшится сдѣлать послѣднее. Именно теперь за это слѣдуетъ приняться, когда „заграница“ для него заперта.

Піонеры нашего туризма — это наши экскурсанты. Какъ разъ передо мной отчетъ одной такой экскурсіи — „экскурсіи на Уралъ“ учениковъ Харьковскаго коммерческаго училища

въ 1914 г., которую, за неимѣніемъ у насъ даже путевода-теля по Уралу, пришлось приобщить къ дорожной библиотечкѣ. Положительно умиляешься, читая о походеженіяхъ этихъ мо-лодыхъ людей; мокнуть они, сердечные, подъ обильными да-рами уральскаго неба, сохнуть и опять мокнуть; ночуютъ въ какой-нибудь „заброшенной землянкѣ лѣсниковъ“; питаются порой какимъ-то варевомъ изъ воды, пшена и топленаго масла, о которомъ даже сами проголодавшіеся сотрапезники соглашаются, что они „болѣе сѣвернаго и безвкуснаго никогда въ своей жизни не ѣли“—а вѣдь не въ Асторіи же они при-выкли столоваться. И при всемъ томъ—радостны и дѣятельны.

Да, но для этого надо, чтобы человѣку было около 20 лѣтъ: намъ такая жизнь уже не по силамъ. И вотъ я мысленно созидаю условія для болѣе широкаго туризма. Тамъ подъ вер-шиной Таганая должно стоять скромное убѣжище для ночлега, съ тюфиками, сухое и чистое. Вести къ нему и на всѣ вер-шины должны тропинки, причемъ направленіе обозначается красными пятнами масляной краски на деревьяхъ и скалахъ. Черезъ потоки и промоины должны быть проложены прими-тивныя мостики. Зажиточные туристы будутъ и впредь брать проводниковъ, но надо привлечь и людей со скромными сред-ствами. А такъ какъ для всѣхъ этихъ сооружений и присмотра за ними нужны деньги, то надо...

Испросить субсидію у правительства? Земства? Города?

Упаси Богъ; надо основать туристическое общество съ членскими взносами. И притомъ не въ одномъ только Зла-тоустѣ, хотя было бы недурно, если бы онъ взялъ на себя починъ. И даже не въ однихъ только уральскихъ центрахъ. Вѣдь пользоваться благами новооткрытаго дѣятельнаго отдыха будутъ жители равнины, не исключая и столицъ; пусть же они и пораждѣютъ въ его пользу. Я представляю себѣ обшир-ное и развѣтвленное „всероссійское горное общество“ съ сек-ціями въ главныхъ пунктахъ какъ горной, такъ и равнинной Россіи; равнина приноситъ горѣ справедливую матеріальную помощь и взаменъ этого беретъ у горы то, чѣмъ гора такъ богата—ея энергію, ея жизнерадостность, ея умѣніе во всѣхъ смыслахъ смотрѣть свысока на надоедливыя мелочи быта.

Опять съ тоской смотрю въ сторону царственнаго Таганая:

доживу ли я до того времени, когда подъ его „Отельнымъ Камнемъ“ будетъ стоять „Петроградское убѣжище“, основанное и поддерживаемое нашей „Петроградской секціей всероссійскаго горнаго общества“?

* * *

Увы! Мечтою оказалось не только это всероссійское общество съ его Петроградскимъ убѣжищемъ, но и ближайшая, скромная цѣль—поѣздка на Таганай. Проводникъ не показывался весь вечеръ; ночь провели въ полной неизвѣстности; на слѣдующее утро довольно поздно получилъ отъ него записку съ извиненіемъ: встрѣчалъ, молъ, знакомыхъ, поѣздъ опоздалъ. Вотъ те и „самый надежный проводникъ“. А вѣдь мы именно ради этой надежды и остались лишній день въ Златоустѣ. Приуныла моя молодежь; нечего дѣлать, говорю — ѣдемъ въ Тургоякъ.

II.

Тургоякъ.

Долженъ сознаться, что о Тургоякѣ, этой „жемчужинѣ Урала“, я слышалъ впервые въ Златоустѣ; даже посвященный Уралу V томъ „Россіи“, вышедшій всего въ 1913 г., не упоминаетъ его ни единымъ словомъ. Полагаю, что и вообще въ Петроградѣ онъ неизвѣстенъ. На мѣстѣ мнѣ рассказывали, что одинъ нашъ знаменитый петроградскій медикъ провелъ на Тургоякскомъ озерѣ цѣлое лѣто и вылѣчился отъ какой-то болѣзни, благодаря радиоактивности его воды; но рассказывали именно какъ объ исключительномъ случаѣ.

Зато въ Златоустѣ вы о Тургоякѣ наслышитесь вдоволь, какъ объ одной изъ первыхъ достопримѣчательностей окрестныхъ мѣстъ—объ его прозрачномъ озерѣ, покоящемся въ лонѣ горъ, съ его шумнымъ прибоемъ, „производящимъ иллюзію моря“, и прибережными скалами, гулко отражающими человеческій голосъ.

Отстоятъ онъ отъ Златоуста верстъ на 40 по прямому пути. Златоустовцы обыкновенно пользуются желѣзной дорогой до Міасса, откуда на лошадахъ уже только 20 верстъ; но такъ какъ удобнаго поѣзда не было, то мы путь на Міассъ приберегли для дальнѣйшаго слѣдованія, а туда рѣшили ѣхать прямо, на земскихъ. Дали намъ лихую тройку съ коробкомъ—крытаго тарантаса не было—и приходилось рассчитывать на милость неба. Правда, особаго довѣрія оно и въ этотъ день не внушало; но намъ было сказано, что въ отношеніи погоды Златоустъ Тургоряку не указъ. Онъ—по ту сторону предѣльнаго хребта, уже въ Азіи. Иной разъ въ Златоустѣ дождь, а тамъ голубое небо; ѣдетъ путникъ съ горы и, оглядываясь, видитъ туманную завѣсу, скрывающую „самое мокрое мѣсто Европы“.

Впрочемъ, на первыхъ порахъ небо мало отвлекало наше вниманіе; оно всецѣло было поглощено дорогой. Грязной ее назвать нельзя; грязная дорога все-таки дорога. Здѣсь не то. Берегъ справа, берегъ слѣва; а между этими двумя берегами зловѣще дремлетъ непролазная черная жижа, скрывая рытвины, ямы, камни и ухабы невидимой дороги. Дремлетъ и ямщикъ на козлахъ; его искусство здѣсь ни къ чему, лошади сами должны нащупывать свой путь, то опускаясь по животъ въ грязную ванну, то вылѣзая почти что на поверхность.

И добро бы равнина; но вѣдь это—горная дорога, мы переваливаемъ черезъ позвоночный столбъ стараго міра, отдѣляющій Европу отъ Азіи. Совсѣмъ незамѣтно; плетемся мы тайгой, черезъ рѣдкіе просвѣты мелькаютъ Таганай, Юрма, а по ту сторону выглядываютъ и Ильменскія горы, но все это вдали. Наконецъ, ямщикъ проснулся, тройка помчалась рысью—значить, перевалили: мы въ Азіи.

На качествѣ дороги это, впрочемъ, не отразилось. Съ уныніемъ всматриваясь въ нее, продолжаю мои вчерашнія размышленія: удастся ли когда-либо приспособить ее къ требованіямъ современнаго туризма? Что сталъ бы здѣсь дѣлать, скажемъ, автомобиль? Вспоминаю путешествіе князя Сципіона Боргезе „Изъ Пекина въ Парижъ“; его сибирскія впечатлѣнія сводятся почти исключительно къ тому, какъ его „Итала“ то и дѣло вязла въ бездонной грязи тамошнихъ дорогъ, и какъ

ее приходилось освобождать, запрягая въ нее цѣлое стадо воловъ. Есть ли человѣческая сила, способная измѣнить эти условія?

„Тургоякъ“! И въ мигъ повеселѣло на душѣ. Да, вотъ она разливается, наполняя лоно горъ, эта свѣтлая хрустальная купель. Вотъ и село; какъ и всѣ села этой мѣстности, расплзлось оно широко, нѣсколькими улицами. На главной изъ нихъ, самой грязной, находится волостное управленіе, издали видное по высокому набату, а также и земская квартира. Наши опасенія насчетъ ночлега быстро разсѣлились; ласковая хозяйка предоставила въ наше распоряженіе красную горницу, — просторную, чистую, радующую взоръ и сердце всѣми принадлежностями крестьянскаго уюта. Есть тамъ и кровать, правда только одна. Остальнымъ придется спать на „кошмахъ“; предвижу безпокойную ночь. Спѣшу прибавить, что и это опасеніе было напрасно; все оказалось удобнымъ, опрятнымъ и „необитаемымъ“, да и здоровая усталость сдѣлала свое.

Такъ какъ четырехъ часовъ еще не было, — про этотъ предѣльный часъ мы знали по златоустовскому опыту, — то возможность пообѣдать не была исключена; накормили насъ въ сосѣдней „столовой“, вообще обслуживающей потребности тѣхъ дачниковъ, которые не живутъ собственнымъ хозяйствомъ. Накормили домашнимъ обѣдомъ — сытнымъ, вкуснымъ и дешевымъ.

А теперь на озеро. Налѣво тянется сосновый боръ, черезъ темную зелень котораго виднѣются дачи; направо — отвѣсныя, голыя скалы, такъ называемые Крутики. Между тѣмъ и другими — широкій плоскій берегъ. Сюда западный вѣтеръ и въ тихую погоду гонить волны колышущагося озера, онѣ бросаются на гладкій песокъ, разливаются, скатываются обратно, сталкиваясь съ надвигающимися, и шумятъ, шумятъ, поистинѣ создавая иллюзію моря.

Пойдемъ на тотъ правый скалистый берегъ; оттуда виднѣе. Передъ намъ — широкая гладь, свѣтлая, прозрачная, мѣстами съ зеленоватымъ отливомъ. Кругомъ — горы, довольно высокія, и притомъ не одинъ рядъ, а два и больше. Какъ всегда на горныхъ озерахъ, кажется, что до другого берега рукой подать; а на дѣлѣ туда далеко, — говорятъ, верстъ восемь. Въ общемъ, Тургоякское озеро производитъ впечатлѣніе предаль-

пійскихъ—верхнебаварскихъ, напрімѣръ, или савойскихъ. Его красота и въ окружающемъ вѣнцѣ темнозеленыхъ горъ, и въ чистой прозрачности его блѣднозеленой воды.

Есть на немъ и острова; одинъ отчетливо виденъ среди зеркальной глади, другой сливается съ зеленью противоположнаго берега. Имя одному — островъ „Чайчій“, другому — островъ „Св. Вѣры“. Въ объясненіе послѣдняго приводится, что здѣсь спасалась нѣкогда старовѣрка-уголница этого имени; ея келья и повынѣ, говорятъ, сохранена и посѣщается окрестными жителями—кѣмъ съ благоговѣніемъ, кѣмъ съ любопытствомъ. Есть здѣсь, впрочемъ, поблизости и живой отшельникъ; и онъ слыветъ достопримѣчательностью и привлекаетъ посѣтителей.

Гуляемъ по „Крутикамъ“; жаль что небо сѣрое, краски не тѣ. Впрочемъ, и время дня не благопріятствуетъ; близокъ закатъ, а тотъ берегъ западный. Близокъ закатъ, и крѣпнетъ вѣтеръ; вотъ внезапнымъ порывомъ сдуло соломенную шляпу съ легкомысленной головы нашего гимназиста и отнесло далеко, на выступъ скалы; не скоро онъ до нея докарабкается. Кстати и усталость чувствуется: встали мы рано, а послѣ сорока верстъ въ коробѣ кости не на мѣстѣ. Крѣпнетъ вѣтеръ и крѣпнетъ прибой; шумно разбивается отступающая волна о твердую грудь надвигающейся—точно въ самомъ дѣлѣ море омываетъ подножіе нашей скалы. А для меня море—всегда одно...

* * *

Все потемнѣло, поглубѣло кругомъ—и небо, и волны, но особенно волны. И еще ослѣпительнѣе стала ихъ бѣлая пѣна, жидкимъ серебромъ разливающаяся по ихъ темной синевѣ; такъ онѣ синѣютъ и пѣнятся тамъ далеко, гдѣ колыбель моей вѣры и любви—на пескахъ Фалера, у подножія богозданныхъ Аѳинъ. Такъ онѣ поютъ и тамъ—поютъ свою вѣчную пѣснь иллюзіи, внушая человѣку, будто онъ въ самомъ дѣлѣ образъ и подобіе божества.

А тамъ, напротивъ—это не мягкіе ли холмы Саламина вырисовываются на мрачномъ фонѣ суровыхъ эгинскихъ высотъ?

Волны, безсмертныя волны—къ чему эта жестокая игра со слабымъ сознаніемъ смертныхъ? Къ чему имъ было вну-

шать то, чего нѣтъ — внушать, будто они то, чѣмъ имъ никогда не быть?

Не вами ли созданъ этотъ дивный холмъ-святыня—тамъ поодаль, въ вѣнцѣ голубѣющихъ горъ—тотъ холмъ, на которомъ впервые прозвучало слово „человѣчность“ въ смыслѣ близкомъ къ божественности? Не вы ли своей лъстивой пѣснью усыпили въ насъ изначальнаго звѣря — усыпили, но не умертвили?

Волны, безсмертныя волны — я, смертный, требую васъ къ отвѣту. Кто далъ вамъ право создавать такія иллюзіи? Кто далъ вамъ право внушать намъ, что слово обѣта, прозвучавшее подъ вашъ священный шумъ, стоитъ такъ же прочно, какъ и холмъ вашей богини—тамъ, въ вѣнцѣ голубѣющихъ горъ?

Вы помните? Какъ торжественно радостно было на нашемъ святомъ берегу! Ото всѣхъ народовъ всѣхъ материковъ сошли тогда послы съ данью благодарности вашей богинѣ — благодарности за то, что она укротила въ нихъ изначальнаго звѣря, что она въ человѣка вселила человѣчность. И въ вашъ таинственный шумъ врывались ликующія рѣчи о всеобщемъ братствѣ, во имя науки, красоты, человѣколюбія. Давно ли это было?—Всего три года назадъ. Тогда звѣрь уже готовилъ свое пробужденіе; а вы заставляли насъ вѣрить, что онъ не проснется никогда.

О всеобщее братство — о лъстивая пѣснь волнъ! Не для того ли создаете вы намъ святыни, чтобы доставить звѣрю звѣриную радость ихъ разрушенія?

Вы, сирены, напѣвали Одиссею свою лъстивую пѣснь о томъ, что будетъ на кормилицѣ-землѣ. Но онъ, хитроумный, не повѣрилъ вамъ, и чѣмъ громче звучали ваши напѣвы, тѣмъ крѣпче привязывалъ онъ себя къ сѣрой дѣйствительности, и ваша голубая сказка расплылась въ голубомъ морѣ.

Вы, nereidy, плѣнили простодушнаго Пелея, давъ ему прекраснѣйшую изъ вашей среды, и онъ повѣрилъ вамъ; и супруга-мечта родила ему сына мечту, того, кто сталъ богочеловѣкомъ среди людей. Но годы прошли, и непрочными оказались дары пѣвучихъ волнъ. И долго сидѣлъ состарившійся Пелей на пустынномъ берегу, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ

нѣкогда обрѣлъ супругу-мечту, — горюя о разбитой сказкѣ своей жизни. И горькой насмѣшкой звучалъ ему вашъ голосъ, нагѣвавшій ему все ту же предвѣчную, лстивую, несбыточную пѣсню.

Волны, безсмертныя волны! Какой отвѣтъ дадите вы мнѣ?

„Долго сидѣлъ престарѣлый витязь на пустынномъ берегу, безмолвно вперяя свой потухшій взоръ въ вѣчную обитель сказки. Но вотъ однажды разверзлось ея голубое лоно; къ нему вышла, сіяя нетлѣнной юностью, его супруга-мечта, протянула ему свою серебристую руку и увела его съ собою въ свой подводный чертогъ. Сомкнулась надъ ними морская пучина, и снова раздалась изъ нея ваша пѣснь — пѣснь о томъ, чего нѣтъ, но что будетъ — пѣснь бодрящей надежды.

„Блаженъ тотъ, кто вѣровалъ до конца — и презрѣніе тому, кто измѣнилъ сказкѣ“...

* * *

На слѣдующее утро тучи сошли съ неба, подъ лучами торжествующаго солнца все преобразилось. Запестрѣли тѣнями и оттѣнками окружающія горы. Сама поверхность озера озабилась тонкими переливами всевозможныхъ ступеней яснозеленаго цвѣта. Но изучить и исчувствовать водное пространство съ одного берега невозможно, а наемныхъ лодокъ въ Тургоякѣ не имѣется. Рѣшивъ, что излишняя застѣнчивость туристамъ не къ лицу, и располагая маленькой, очень косвенной рекомендаціей, я обратился къ мѣстной дачевладѣльцѣ, В. В. К—ой, и благодаря ея любезности быстро получилъ желаемое. Наличность молодежи здѣсь и тамъ еще болѣе способствовала знакомству; вскорѣ мы всѣ — и хозяева и гости — сидѣли въ солидной лодкѣ, и изученіе озера, — если не всего, то хоть ближнихъ его красотъ — могло начаться.

Красоты эти, впрочемъ, ничего чрезвычайнаго не представляютъ. Проѣхали мимо Крутиковъ, вызывая на всѣ лады живущее въ нихъ эхо. Заѣхали въ красивый заливъ, отдѣленный отъ прочаго озера каменнымъ мысомъ, продолжающимся бѣлой каменной полосой и подъ прозрачной водой; причалили къ „бѣлымъ пескамъ“ съ ихъ роскошнымъ пляжемъ; наконецъ, поднялись на „Янышку“. Это все же довольно замѣчательное

явленіе: идешь довольно круто вверхъ—и тутъ, послѣ нѣкотораго времени, открывается видъ на другое, небольшое озеро, значительно выше главнаго. Это и есть—„Янышка“. Оно совершенно пустынное; дачная молодежь устроила нѣчто вродѣ первобытнаго волока, чтобы втаскивать лодки по склону на это верхнее озеро, и остатки костровъ свидѣлствуютъ, что это—излюбленное мѣсто для пикниковъ.

Все это быстро рассказывается, но на дѣлѣ потребовало не одного часа. Настало время думать о возвращеніи. Поплыли обратно, простились съ любезной хозяйкой и отправились домой. Тамъ предстояла возня съ лошадьми; земскихъ не было, пришлось обратиться къ одному изъ крестьянъ. Опять тройка и коробокъ, этотъ разъ еще болѣе примитивный, съ очень расплывчатымъ сидѣніемъ, импровизованнымъ изъ соломы и кошмы. Для расчета еще разъ заглянули на земскую квартиру; у печки сидитъ старушка, мать хозяйки, въ рукахъ у нея прялка съ веретенкомъ, а ногой укачиваетъ она лежащаго въ висячей люлькѣ внука-пеленашку. Такой уютной стариной повѣяло отъ этой картины!

Да, хозяйство теперь женское: и сынъ и зять на войнѣ...

Простились, уѣхали на Миассъ, чтобы поспѣть къ поѣзду въ Челябинскъ. Чего намъ ждать отъ самой поѣздки, это мы по вчерашнему опыту прекрасно себѣ представляли, и здѣсь остается только сказать, что дѣйствительность ни въ чемъ не осталась позади нашихъ ожиданій.

III.

Кунгурская пещера.

Чудо природы, которымъ облагодѣтельствованъ уѣздный городъ Кунгуръ, стало много доступнѣе со времени постройки новой желѣзной дороги между Екатеринбургъ и Пермью: ѣдущимъ по этой дорогѣ въ западномъ направленіи очень удобно, пріѣхавъ съ ночнымъ поѣздомъ въ Кунгуръ, прервать путешествіе съ тѣмъ, чтобы продолжать его съ полуденнымъ

поѣздомъ, который къ вечеру и доставить его въ Пермь. Такъ мы и сдѣлали

Правда, въ Кунгуръ пріѣзжаешь очень рано—около 4-хъ часовъ по мѣстному времени. Но это даже не неудобство. Вокзалъ уже живетъ,—новый, чистый, красивый вокзалъ, котораго не постыдился бы и любой губернской городъ. Можно умыться и выпить кофе; а затѣмъ въ путь. Путь ведетъ по лугамъ, вдоль телефонныхъ столбовъ, къ переправѣ черезъ рѣку Сылву, около получаса неторопливаго хожденія. Тутъ на берегу рѣки село Банное, въ кругозорѣ котораго и находится знаменитая пещера.

Постучались къ арендатору; такъ какъ ему пришлось сходить въ лавку за свѣчками, то онъ пригласилъ насъ подождать у самаго входа въ пещеру. По его указаніямъ мы нашли ее безъ особаго труда: въ стѣнѣ прибрежной горы зіяющая дыра, заколоченная досчатой дверью отъ непрошенныхъ посѣтителей—въ ихъ собственныхъ интересахъ, какъ читатель увидитъ. Надъ дырой крупная надпись, гласящая, что пещеру тогда-то удостоилъ своимъ посѣщеніемъ его превосходительство пермскій губернаторъ такой-то. Внемли, гора, и благоговѣйте, нѣдра земли.

Въ этой безвкусицѣ, впрочемъ, нынѣшній арендаторъ, г. Хлѣбниковъ, не повиненъ. Это случилось до него. Самъ же онъ, повидимому, человекъ и знающій и дѣятельный; уроженецъ здѣшнихъ мѣстъ, но потолкавшійся по бѣлу свѣту, бывавшій даже въ Америкѣ. Онъ обладаетъ достаточнымъ опытомъ и достаточной энергіей, чтобы исполнить то, что отъ него требуется. Свою пещеру—или, какъ здѣсь говорятъ, пещору—онъ любитъ съ отеческой нѣжностью и мечтаетъ о томъ, чтобы совсѣмъ переселиться къ ней.

Вскорѣ онъ къ намъ присоединился, и тогда начался спускъ. Намъ пришлось надѣть поверхъ нлатя парусиновые костюмы горнорабочихъ съ капюшонами и взять по свѣчкѣ; дверь была открыта, и дыра приняла насъ въ свою сырую, холодную атмосферу. Пещора не льститъ и не обманываетъ, она сразу показываетъ намъ свою самую непривѣтливую, самую отпугивающую сторону. Извольте ползать на четверенькахъ, спускаясь все ниже и ниже по камнямъ, то острымъ, то гладкимъ, но вездѣ

покрытымъ липкою грязью. Не старайтесь выпрямиться или даже поднять голову, вы рискуете расшибить ее о нависшій выступъ низкаго свода. Вотъ широкій, плоскій, покатый камень: съ него удобнѣ всего кубаремъ скатиться въ кромѣшную тьму. Вотъ какъ будто тупикъ; ничего, подъ вами дыра. Пока проваливайтесь, а тамъ видно будетъ. Не очень видно, впрочемъ: тусклый свѣтъ огарковъ съ трудомъ борется съ тяжелой сыростью пещернаго воздуха. Точно тѣни скользятъ при этомъ свѣтѣ какіе-то гномы въ потѣшныхъ капюшонахъ; это наша компанія.

Кабы не удовольствіе—ни за какія деньги бы не пошелъ, сказалъ какой-то мудрецъ. Но вотъ послѣ 5—10 минутъ невѣроятнаго ползанія стѣны раздвигаются и вверхъ и въ ширь, внезапно мы изъ грозной обители окаянныхъ попадаемъ въ волшебное царство ослѣпительнаго блеска. Объ этомъ „бриллиантовомъ гротѣ“ я слышалъ и раньше, видѣлъ даже его изображеніе, но никакое описаніе, никакая картина не сравнится съ дѣйствительностью. Это дворецъ Зимы: потолокъ, стѣны, столбы обросли снѣговымъ мхомъ; въ безмолвной, безвѣтряной тишинѣ подземной пропасти медленно расцвѣтала эта роскошная флора кристалловъ, и теперь она вся передъ нами въ своемъ непотревоженномъ, нетронутомъ совершенствѣ, то преломляя, то отражая нахлынувшій искусственный свѣтъ; вездѣ радуги, вездѣ сверканія, алмазы и самоцвѣтные камни. А тамъ въ тѣни—тамъ престолъ Зимы; царитъ она надъ застывшимъ водопадомъ, нѣсколькими уступами низвергающимся въ пропасть. Если бы не безмолвіе, не сразу бы повѣрили, что это ледъ, а не живая вода: все, вплоть до тонкихъ боковыхъ струекъ, создаетъ иллюзію жизни.

И этого уже человѣку не испортить. Раньше, думая о нашей пещерѣ, я вспоминалъ печальную участь Адельсбергскаго грота... или, говоря по-славянски, Постоянной Ямы близъ Любляны; отъ постоянныхъ посѣщеній съ дымящимися факелами и свѣчками закоптѣли ея сталактиты, и теперь проведенное электричество только ярче освѣщаетъ грязную работу посѣтителей. Здѣсь этого не будетъ: каждую зиму нарастаетъ кристалловый уборъ, теремъ нашей Снѣгурочки будетъ вѣчно чистъ и свѣтелъ.

При вспышкѣ магніа еще разъ всѣ вмѣстѣ загораются волшебные разноцвѣтные огни этого терема; а затѣмъ пора и дальше. Дальше опять узкая кишка, очень неправильно называемая „переходомъ“: какая тутъ ходьба! Мы все еще въ ледяной полосѣ; стѣны покрыты льдомъ, мѣстами встрѣчаются, какъ бы выростая изъ земли, длинные ледяные столбы, точно свалившіеся весною изъ какой-то гигантской водосточной трубы. Да вотъ и трубы, хотя и не водосточныя; на добрый десятокъ саженъ тянутся онѣ вверхъ, но неба черезъ нихъ все-таки не видно.

Пріятно быть геологомъ, чтобы объяснить себѣ происхожденіе всѣхъ этихъ причудливыхъ явленій; я, туристъ, только замѣчаю и люблюсь. Вотъ нашъ проводникъ остановился. Чтò тамъ? Опять дыра? Мало ли ихъ тутъ! Дыра то дыра, да такихъ-то, все-таки, немного: это — блаженство малолѣтнихъ; взрослому черезъ нее не пролѣзть, а пролѣзть стоитъ. Нашъ гимназистъ въ другое время не согласился бы записаться въ малолѣтніе, но этотъ разъ соблазнъ былъ слишкомъ великъ. Понатужившись, пролѣзъ, и вскорѣ мы услышали его ликующіе крики. Онъ очутился въ ледяномъ гротѣ: ледяной сводъ покоится на ледяныхъ колоннахъ, кругомъ ледяныя стѣны, подъ нимъ — ледяной полъ, налѣво спускающійся въ какую-то бездну. Если довѣриться ему, можно, точно по ледяной горкѣ, но только на животѣ, докатиться до того мѣста, гдѣ стояли мы. Восторгъ гимназиста возбудилъ зависть другого члена нашей компаніи; онъ попробовалъ-было послѣдовать за нимъ, черезъ ту же дыру, но застрялъ, и намъ пришлось за ноги втащить его обратно.

Дальше ледяная полоса прекращается; проникаешь глубже въ нѣдра земли. Воздухъ становится теплѣе и какъ будто суше. Говорю „какъ будто“, такъ какъ кругомъ и подъ нами все та же липкая грязь.

Пещера за пещерой; въ одной изъ нихъ точно развалины каменной кельи — здѣсь „въ эпоху гоненій“ жилъ какой то благочестивый старовѣръ. Дальше показываютъ цѣлое маленькое кладбище, тоже старовѣрское. Своего рода катакомбы, значитъ. И какъ-то трагически просто звучитъ это „въ эпоху гоненій“; гоненій — за что?

Да, многому научить пещора; а впрочемъ, долженъ сознаться, что тогда я болѣе думалъ о другомъ. Иной разъ, очутившись подъ высокимъ сводомъ, я спрашивалъ себя: а гдѣ же продолженіе пути? Очевидно, тамъ, гдѣ виднѣется черная дыра... Вотъ именно не тамъ, а въ другомъ мѣстѣ, гдѣ изъ-за наваленныхъ камней и дыры не видно. При такихъ условіяхъ и заблудиться не трудно, если идешь безъ проводника—и притомъ очень знающаго проводника. Оказывается, такіе случаи бывали. Намъ рассказали про одну компанію дамъ и мужчинъ, испытавшую это удовольствіе: мужчины понадѣялись на себя и проводника не взяли. На слѣдующій день хватились исчезнувшихъ; крестьяне со свѣчками пошли ихъ отыскивать и наконецъ нашли въ какомъ-то тупикѣ вокругъ послѣдняго огарка, уже махнувшихъ рукою на жизнь. Да, будутъ помнить пещору: вѣдь заблудиться въ подземныхъ пропастяхъ—это не то, что въ лѣсу или горахъ.

Съ нами, конечно, этого не будетъ; но можетъ быть другое. Здѣсь повсемѣстно лежатъ каменные глыбы, побольше и поменьше; свалились онѣ сверху со сводовъ: что было потолкомъ, то стало поломъ, пещера медленно поднимается. Но вѣдь стоитъ одной такой глыбѣ свалиться именно теперь въ одномъ изъ этихъ безконечныхъ „переходовъ“, черезъ которые и такъ съ трудомъ протискиваешься—что тогда? Я знаю одну такую исторію, приключившуюся на моей памяти въ пещерѣ, именуемой Луэгеръ-Лохъ, въ Штиріи—исторію болѣе чѣмъ страшную. Но рассказывать ее теперь не буду; лучше даже и не думать.

Думать, впрочемъ, и не приходится: трудности „переходовъ“ поглощаютъ все вниманіе. Какъ-никакъ, а хочется предохранить колѣни, локти и особенно голову отъ лишнихъ шишекъ и ссадинъ. Намъ проводникъ съ большимъ психологическимъ тактомъ говоритъ каждый разъ передъ проваломъ въ новую дыру: „а тутъ еще одинъ переходецъ“—такимъ невиннымъ тономъ, что невольно отъ себя добавляешь: „и, конечно, послѣдній“. И такъ все дальше и дальше,—изъ перехода въ пещеру, изъ пещеры въ переходъ.

Но вотъ, дѣйствительно, послѣдній переходъ и послѣдняя пещера—самая просторная и высокая изъ всѣхъ. Ея задняя

половина вся занята озеромъ, настоящимъ подземнымъ озеромъ, широкимъ и глубокимъ. Нашъ арендаторъ-проводникъ для всесторонняго его изслѣдованія сколотилъ примитивный плотъ; съ его помощью онъ на другомъ его берегу, недоступномъ для пѣшехода, открылъ новую дыру и дальнѣйшее продолженіе безконечнаго подземнаго пути, которое и прослѣдилъ еще на три слишкомъ версты. Тамъ, говоритъ онъ, и переходы шире, и пещеры выше; но съ насъ было довольно и тѣхъ полутора верстъ, которыя мы прошли, а болѣе проползли до этого мѣста: душа просилась на свѣтъ дня.

Но озеро все-таки привлекало вниманіе. Проводникъ спустился на свой плотъ, чтобы одному отправиться въ тотъ конецъ и оттуда освѣтить пещеру, но нашъ гимназистъ непремѣнно пожелалъ его сопровождать и, несмотря на его оживленные протесты, вполне оправданные видомъ его болѣе чѣмъ утлой ладьи, настоялъ на своемъ. Я не препятствовалъ. Это была очень своеобразная картина—какъ они медленно удалялись въ безконечный мракъ, слабо освѣщаемый мерцающимъ пламенемъ обѣихъ свѣчекъ, подъ слабый плескъ единственнаго весла. Вспомнились древнія сказанія объ озерѣ преисподней: это какъ будто перевозчикъ Харонъ, тихо увозящій душу въ „обитель утомленныхъ“. Вспомнился грустный призывъ:

Кому на вѣчный отдыхъ отъ трудовъ и зноя?

Кому въ поля молчанья и въ забвенія долъ?..

Очарованье было полное; его не нарушила даже внезапная вспышка магніа, озарившая заднюю половину пещеры и удвоившая ея высокіе своды яснымъ отраженіемъ на зеркальной поверхности водъ. Тамъ—теремъ Плутона; тамъ—благочестивыя души вкушаютъ вѣчное блаженство на свѣтозарномъ лугу...

* * *

Не буду описывать обратнаго пути по тѣмъ же переходамъ и пещерамъ. Утомилъ онъ насъ изрядно, хотя и показался значительно короче спуска. Но зато съ какимъ наслажденіемъ бросились мы на облитую солнечными лучами мураву зеленого холма! И съ какимъ наслажденіемъ осушили принесенную хозяйкой арендатора кринку молока!

* * *

Таково это чудо уральской природы. Оно здѣсь далеко не единственное въ своемъ родѣ и, быть можетъ, даже не самое замѣчательное: въ Екатеринбургѣ, по крайней мѣрѣ, я слышалъ восторженный отзывъ о сталактитовой пещерѣ съ большимъ подземнымъ озеромъ, находящейся въ Соликамскомъ уѣздѣ, близъ Александровскаго завода: повидимому, это та самая, о которой кратко упоминается въ V томѣ „Россіи“ на стр. 392. Пока все это — сокровищницы будущаго.

Не то на западѣ: тамъ „пещерный спортъ“ — общепризнанная разновидность тоже общепризнаннаго туризма. О „Постоянной Ямѣ“ я уже говорилъ: но это — салонная пещера, не представляющая для посѣтителей никакихъ трудностей. Скорѣе я привлекъ бы къ сравненію длинную серію пещеръ рѣки Реки у св. Канціана близъ Дивачи... тамъ, гдѣ нынѣ стоятъ итальянскія войска. Онѣ были открыты — точнѣе, постепенно открываемы — на моей памяти, и это было цѣлымъ событіемъ въ жизни альпинизма: отчеты печатались не только въ альпинистскихъ журналахъ, но и въ ежедневной печати, имена Маринича и его собратьевъ мелькали повсюду, и рѣдкій туристъ отказывалъ себѣ въ удовольствіи поклониться св. Канціану. А у насъ? Кто знаетъ о скромной подземной работѣ Хлѣбникова и его помощника-крестьянина, производимой ими безо всякой посторонней помощи, на собственныя болѣе чѣмъ скромныя средства? Тамъ, въ Альпахъ, станціи желѣзныхъ дорогъ увѣшаны эффектными плакатами, изображающими главные красоты размытыхъ Рекой пещеръ. — А у насъ? Чего бы стоило какому-нибудь молодому художнику посвятить такой же плакатъ и чудесамъ Кунгура, а начальникамъ станцій украсить имъ скучныя стѣны своихъ буфетовъ?

Да, спросать, но чего ради? Вотъ вы проползали цѣлыхъ три версты, не жалѣя своихъ немолодыхъ костей — и чего ради? Неужели только для того, чтобы убѣдиться, какъ хорошо подъ солнцемъ на зеленой муравѣ холма?

А хотя бы только для этого — право, я бы не пожалѣлъ своихъ трудовъ: ужъ очень славно было на душѣ. Но нѣтъ:

это чувство лучше меня знают тѣ, для которыхъ его условіе— не спортъ, а жестокая нужда. Нѣтъ, тутъ много другого, много положительнаго. А что именно—это я, насколько могъ, постарался описать въ предыдущемъ, но могъ-то лишь очень несовершеннымъ образомъ. Есть много неисповѣдимаго въ томъ, что мать-Земля довѣряетъ паломнику, навѣщающему ее во мракѣ ея заповѣдныхъ глубинъ. Спуститесь туда, и вы согласитесь со мной.

ЗОЛОТОЙ ВѢКЪ.

(Святки 1902/г.).

I.

Въ эти дни вездѣ, гдѣ только дана возможность, стоятъ въ домахъ обывателей рождественскія елки, горятъ рождественскіе огни. Ихъ свѣтъ золотымъ сіяніемъ разливается по темнымъ вѣтвямъ дерева, золотымъ туманомъ проникаетъ въ укромныя его уголки, гдѣ искусно скрытыя умѣлой рукой румяныя яблоки и золотистыя апельсины заманчиво мелькаютъ изъ-подъ зеленой сѣни; онъ преломляется золотымъ бисеромъ въ граненомъ хрусталѣ прозрачныхъ бездѣлушекъ, отражается золотыми искрами въ волшебныхъ нитяхъ свѣтлаго „дожда“ и—въ радостно влажныхъ, смѣющихся глазкахъ дѣтей. Тамъ, на дворѣ, зимній вѣтеръ хлещетъ прохожихъ въ лицо холодными иглами жесткаго, колючаго снѣга; но здѣсь, подъ сѣнью елки — золотое царство. Намъ, взрослымъ, докучливыя думы отравляютъ праздничный покой; но здѣсь, въ этихъ дѣтскихъ головкахъ, ненарушимо царитъ золотой вѣкъ.

Пріятно бываетъ, страхнувъ докучливыя думы, смотрѣть на эту игру золотыхъ огней, скользить взоромъ по одной изъ этихъ искрящихся нитей съ вѣтки на вѣтку, вплоть до того мѣста, гдѣ она теряется въ зеленомъ полумракѣ; пріятно бываетъ также, объявъ его въ его цѣльности, этотъ золотой сонъ многострадальнаго людскаго рода, прослѣдить его судьбу отъ поколѣнія къ поколѣнію, вплоть до того момента, гдѣ его нить

теряется въ глубѣ вѣковъ. Это вовсе не будетъ несерьезнымъ занятіемъ; если вамъ нуженъ ученый терминъ — мы можемъ назвать его предметъ „филогеніей иллюзіи“. Но лучше оставимъ на этотъ разъ ученость — намъ съ вами теперь не до нея; лучше позвольте попросту, въ угоду святочному времени, рассказать вамъ волшебную сказку про золотой вѣкъ.

II.

Это было очень давно. Христіанства, въ честь Основателя котораго учрежденъ нашъ праздникъ, тогда и въ поминѣ не было. Юпитера Капитолійскаго, кажется, тоже еще не было, а если онъ и былъ, то на него мало кто обращалъ вниманіе. Мыслящее человѣчество ютилось въ мудреномъ лабиринтѣ островковъ и побережій, окружающихъ голубое — тогда еще довольно грозное—Эгейское море, тамъ сыны Земли трудились и боролись, думали и мечтали подъ всевидящимъ окомъ Олимпійскаго Зевса. Нельзя сказать, чтобы люди были особенно довольны его царствомъ. Правда, его заслуга была очень велика: „онъ“, по словамъ позднѣйшаго поэта, „повелъ человѣка по стезѣ сознанія, онъ повелѣлъ имѣть силу слову: *страданіемъ учись!*“; но иначе судилъ объ этой заслугѣ поэтъ-мудрецъ, съ высоты смотрѣвшій на жизнь, иначе—бѣдный труженникъ, своимъ собственнымъ страданіемъ обогащавшій сокровищницу человѣческой науки. Съ завистью смотрѣлъ онъ на звѣря лѣснаго, на птицу небесную: они, вотъ, не папугъ и не сѣютъ, а все же для каждаго приготовлены и пища и кровь заботами матери-Земли; чѣмъ же мы-то прогнѣвили свою родительницу? Или, можетъ быть, ее прогнѣвилъ нашъ вождь и богъ, Зевсъ Олимпійскій?.. И вотъ фантазіи открывается просторъ: хорошо, вѣрно, было время, когда Зевса еще не было, міромъ же управлялъ его отецъ Кроносъ (онъ же и Сатурнъ); тогда еще не знали заповѣди *страданіемъ учись*: ни страданій, ни ученія не требовалось, всякое знаніе доставалось даромъ...

Жили боговъ они жизнью, не вѣдая въ сердцахъ печали,
Горькихъ не зная трудовъ; не грозила имъ старости немощь.
Вѣчно цвѣтущіе крѣпостью рукъ и колѣнъ быстротою,

Смертные въ вѣчныхъ пирахъ беззаботно свой вѣкъ проживали,
 А умирали, что сномъ побѣжденные; всякаго вдоволь
 Было добра; отъ себя имъ рождала кормилица-нива
 Хлѣбъ въ изобиліи; они же, спокойствіе въ сердцѣ вкушая,
 Жили въ своихъ деревняхъ, окруженные счастья избыткомъ.

Таковъ былъ „золотой вѣкъ“ — такъ его и называетъ древній поэтъ Гесіодъ, у котораго мы позаимствовали выписанные стихи.

III.

Но эти стихи даютъ намъ только внѣшніе контуры картины; дописать частности было предоставлено позднѣйшимъ временамъ, когда лучи поэзіи и просвѣщенія, исходившіе отъ различныхъ очаговъ греческой культуры, сосредоточились въ Аѳинахъ. И что это было за письмо! Какая странная смѣсь идеальныхъ и матеріальныхъ, серьезныхъ и комическихъ элементовъ! Нашъ взоръ теряется въ этихъ причудливыхъ арабескахъ, мы готовы признать весь рисунокъ капризомъ ребенка или бредомъ безумца, — но вотъ мы замѣчаемъ, что всѣ эти потѣшныя узоры группируются, точно фигуры калейдоскопа, вокругъ общаго центра, общей идеи, настолько серьезной, что мы удивленно смотримъ въ лицо веселому краснобаю: да ты что же, собственно, хочешь сказать? И тутъ только мы различаемъ таинственный голубой огонекъ въ его смѣющихся глазахъ. Да, конечно, это не былъ, а сказка; но въ сказкѣ утопія, а въ утопіи — пророчество. Что *было*, того не было; но чего не было, то *будетъ*.

Много стало хуже съ тѣхъ поръ, какъ Кроносъ-Сатурнъ былъ сверженъ Зевсомъ, и золотое племя поглотила Земля; боги удалились въ свою небесную обитель, послѣднюю дѣва-Правда покинула людей. Итакъ, при Сатурнѣ дѣва-Правда жила между нами; каково-то было людямъ тогда? Одно ясно: если была Правда, то ни насилія, ни рабства быть не могло; всѣ были равноправными дѣтьми одинаково всѣхъ любящей матери-Земли. А если и безъ рабства жилось хорошо, то, значить, природа сама брала на себя весь людской трудъ...

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что эта веселая наука читалась людямъ съ подмостковъ сцены въ праздники веселаго бога Діониса; фантазія учителей-поэтовъ свободно могла разгуливать по всей области невозможнаго. И вотъ какъ у одного изъ нихъ Сатурнъ (или родственное ему лицо) описывалъ прелести золотого царства (перевожу размѣромъ подлинника):

Вы послушайте, люди, про радость житья,
искони мною данную смертнымъ!
Тамъ покоемъ дышала природа кругомъ;
постоянной онъ былъ ей стихіей.
Тамъ не страхъ, не болѣзни рождала Земля;
добровольно давала, что нужно.
Тамъ въ канавахъ златое струилось вино;
съ калачами тамъ сайки дралися,
Умоляя тебя: „что-жъ ты губы надулъ?
знай, бери изъ насъ ту, что бѣлѣе!“.
Захотѣлось—и рыба валила къ вамъ въ домъ
и, поджаривъ другъ дружку румяно,
Къ вамъ взбиралась на столъ: „хлѣбъ да соль, господа!
вотъ, покушайте насъ на здоровье!“
А близъ стульевъ потоки похлебки неслись,
съ ними глыбы варенаго мяса;
Тутъ же съ трубъ водосточныхъ подливка текла:
всырынешь кусъ свой—и вдвое вкуснѣе!..
А съ нагорныхъ деревъ, листопада порой,
сами колбасы козы валились,
Да стерлядушки жирныя—любо глядѣть!
да поджаренныхъ дроздинокъ кучи.

Да, конечно, все это мало серьезно; но надо всѣми этими балаганными шутками, порожденными неукротимымъ аппетитомъ и разгульной фантазіей, носился чудный, неземной аккордъ:

Ни раба тамъ міръ не видѣлъ,
Ни рабыни никогда...

IV.

Пропустимъ еще нѣсколько вѣковъ: мы въ Римѣ, столицѣ міра, подъ сѣнью могучей десницы Юпитера Капитолійскаго. Объединеніе народовъ стало дѣйствительностью, и хотя нельзя

сказать, чтобы тамъ „покоемъ дышала природа кругомъ“, все же до этого возжелѣннаго времени, повидимому, недалеко. Но дѣва-Правда попрежнему пребываетъ среди небесныхъ свѣтилъ и грустно, со своимъ колосомъ въ рукѣ, смотритъ на людскія дѣла: шире распространилось рабство, круче стали его условія; днемъ на работѣ, ночью въ подземельѣ, и такъ изо-дня-въ-день, изъ-года-въ-годъ... Пусть солнце ежегодно „вступаетъ въ знакъ Дѣвы“; земля, видно, въ этотъ знакъ не вступить никогда.

Только одинъ разъ въ годъ эта картина мѣняется — въ декабрѣ мѣсяцѣ, отъ 17 до 23 числа. Эти дни были посвящены Сатурну; сближеніе Рима съ Греціей повело къ тому, что сказка про золотой вѣкъ стала популярна и (подъ вліяніемъ многихъ условий, о которыхъ можно и не распространяться) явилось желаніе превратить ее по мѣрѣ возможности въ дѣйствительность — хотя бы только на коротенькое время *Сатурналій*. Самой характерной чертой было то, что рабы на это время объявлялись свободными: „при Сатурнѣ вѣдь рабовъ не было“, поясняютъ наши авторы. Угощеніе полагалось общее; господа, кліенты, рабы—всѣ пировали за однимъ и тѣмъ же столомъ. Наказаній не должно было быть, вольное слово сходило даромъ,—такъ требовала установленная предками *libertas Decembris*. Конечно, чудесную щедрость Земли, даромъ все дарившей, возсоздать было невозможно; какъ слабое подражаніе ей былъ заведенъ обычай *подарковъ*. Дарили всякую снѣдь, преимущественно орѣхи, которыми можно было и лакомиться и играть; затѣмъ также и тѣ предметы, которые стали нужными вслѣдствіе развитія культуры, начиная необходимой утварью и кончая произведеніями художниковъ; но особую важность — очевидно символическую — имѣли два рода подарковъ: во-первыхъ, *восковыя свѣчки*, во-вторыхъ, *дѣтскія игрушки*, особенно—куклы. Полагаютъ, что восковая свѣча имѣла касательство къ зимнему солнцеповороту, съ которымъ совпадали Сатурналіи, что „сатурвальскіе огни“ должны были распространять повсюду пріятную вѣсть о наступившемъ періодѣ возрастанія дня; полагаютъ, затѣмъ, что куклы были первоначальнымъ жертвоприношеніемъ Сатурну со стороны хозяина, который ими какъ бы выкупалъ у зимняго бога себя

и своихъ. Толкованія эти гадательны, но фактъ несомнѣненъ. Игрушки продавались въ теченіе всей недѣли и долѣе на одной изъ улицъ Рима, которая отъ нихъ получила свое названіе; такъ-то Сатурналіи были преимущественно праздникомъ рабовъ и праздникомъ дѣтей.

V.

Популярность Сатурналій росла за все время процвѣтанія римской республики: первоначально однодневныя, онѣ въ первому вѣку до Р. Х. успѣли уже занять цѣлую недѣлю; проникая изъ центра римской жизни въ провинціи, онѣ повсюду распространяли иллюзію сказочнаго царства Сатурна и золотого вѣка. Этимъ онѣ способствовали возникновенію легенды — одной изъ самыхъ чудесныхъ, о которыхъ знаетъ исторія.

Подъ влияніемъ съ одной стороны—таинственныхъ хронологическихъ вычисленій, съ другой—страшныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ катастрофъ, въ Римѣ перваго вѣка до Р. Х. чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе развивалась и крѣпла вѣра, что онъ доживаетъ свои послѣдніе дни, что не сегодня-завтра наступитъ нѣчто въ родѣ „свѣтопреставленія“. Несомнѣннымъ казалось, что великій періодъ времени истекаетъ; но будетъ ли его конецъ дѣйствительно окончательнымъ, или за нимъ послѣдуетъ новое начало — это было неясно. Въ первое время преобладало болѣе мрачное настроеніе; когда вскорѣ послѣ убійства Цезаря произошло затменіе солнца, испуганный народъ былъ убѣжденъ, что это вѣчная ночь настала. Но молодому и счастливому преемнику Цезаря удалось разогнать эти страхи; возникло мнѣніе, что по исходѣ послѣдняго изъ періодовъ постепеннаго ухудшенія человѣческаго рода опять должно воцариться то положеніе вещей, которое было въ началѣ—т.-е. новое царство Сатурна, царство правды и счастья, новый золотой вѣкъ. Основателемъ этого новаго міра будетъ не Августъ—онъ еще принадлежалъ старому,—а первый его потомокъ по крови. Привѣтствуя его ожидавшееся рожденіе, пѣвецъ этой эпохи, Вергилій, сосредоточиваетъ на немъ всѣ

надежды, которыя народъ возлагалъ на предстоящую перемѣну;
знамениты его пророческія слова:

Вотъ ужъ послѣднее время настало Сивилиной пѣсни,
Новое зиждя начало великой вѣковъ веренищъ;
Вскорѣ вернется и Дѣва, вернется Сатурново царство,
Вскорѣ съ небесныхъ высотъ снизойдетъ вождельннй Младенецъ.

Его рожденіе будетъ гранью между старымъ и новымъ
міромъ.

Онъ, вѣдь, положитъ конецъ ненавистному вѣку желѣза,
Онъ до предѣловъ вселенной намъ племя взроститъ золотое.

Счастье этого новаго племени поэтъ нарочно описываетъ
идиллическими красками, приноровляясь къ наивно-матеріали-
стической фантазіи народа, создавшей и выростившей сказку
про золотой вѣкъ:

Козочки сами домой понесутъ отягченное вымя...

Сами, т.-е. безъ помощи пастуховъ-рабовъ, трудъ которыхъ
станеть, такимъ образомъ, ненуженъ.

Будутъ на львовъ-исполиновъ безъ страха коровы дивиться...

Вотъ онъ, тотъ „покой“, которымъ „дышитъ природа кру-
гомъ“...

Колосъ межъ тѣмъ золотистый унылую степь украшаетъ,
Сочная гроздь винограда средь терній колючихъ алѣетъ,
Меда янтарнаго влага съ суроваго дуба стекаетъ.

Краски умѣреннѣе, — идилліи не пристала шаловливая воль-
ность комедіи, — но содержаніе то же, что и въ выписанныхъ
выше стихахъ греческаго краснорѣчія.

Броситъ торговецъ ладью, перестанетъ обмѣну товаровъ
Судно служить: повсемѣстно сама ихъ Земля производитъ.
Почвы не рѣжетъ соха, ужъ не рѣжетъ лозы виноградарь,
Снялъ ужъ и пахарь ярмо съ изстрадавшейся выи бычачьей...

Вѣчный миръ, вѣчное веселье, однимъ словомъ,—вѣчныя Сатурналіи предстоятъ міру. И онъ это знаетъ:

Видишь? Отъ тверди небесной до дна безпредѣльнаго моря
Сладкая дрожь пробѣжала по тѣлу великому міра.
Видишь? Природа ликуетъ, грядущее счастье почуя.

VI.

Младенецъ, рожденіе котораго было предвѣщено народамъ Виргиліемъ, не появился на свѣтъ; зато появился другой, гораздо болѣе чудесный младенецъ,—далеко на Востокъ, на берегахъ Іордана. Когда христіанство стало господствующей религіей на всемъ протяженіи Римскаго государства, пророчество римскаго поэта было отнесено къ его Основателю; Виргилій сталъ настоящимъ „пророкомъ язычников“, тѣмъ, который среди нихъ первый далъ свидѣтельство о Христѣ; Христосъ же сдѣлался „царемъ Сатурналіи“, тѣмъ, отъ котораго человѣчество стало ожидать осуществленія сказки про золотой вѣкъ, возвращенія дѣвы-Правды, водворенія свободы и мира на всѣ времена... Кстати: Рождество Христово было приурочено ко времени зимняго солнцеповорота; древнія Сатурналіи могли передать христіанскому празднику добрую часть своей обрядности—и угощеніе прислуги, и одареніе дѣтей, и лакомства, и игры, и даже восковые свѣчи.

Да, пріятно бываетъ при свѣтѣ рождественскихъ огней слѣдить за золотой нитью легенды, тянущейся черезъ всѣ безъ малаго тридцать вѣковъ исторіи европейскаго человѣчества. Какая любовь къ нравственной идеѣ этого золотого сна, какая вѣра въ его осуществимость, какая стойкая, неукоснительная надежда! Вотъ что значить символъ: пусть многіе передаютъ его другъ другу, не понимая его значенія,—все же оно тлѣетъ въ немъ, какъ искра подъ золой; дайте его коснуться духу,—и тотчасъ оно вспыхнетъ яркимъ, золотымъ пламенемъ.

Такой именно символъ—рождественская елка; зажигая ее, мы воскрешаемъ на краткое время святочной недѣли древнѣйшія надежды многострадальнаго человѣческаго рода, его волшебную

сказку про золотой вѣкъ, про свободу, правду и миръ. И хотя бы мы сами и извѣрили въ осуществимости этого золотого сна,—все же вѣра въ него будетъ горѣть для тѣхъ, чьи сердца еще согрѣваются полною, не отравленною сомнѣніями радостью, въ чьихъ головкахъ уже зарождаются свѣтлыя, не подрѣзанныя неудачами надежды. Пусть же они теперь всею душою наслаждаются святочнымъ весельемъ; и пусть они нѣкогда въ жизненной борьбѣ тверже насъ держать знамя золотого вѣка!



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
I. Идея нравственнаго оправданія .	1
II. Ифигенія.	45
III. Воскресшіе поэты	53
1. Вакхилидъ, его оды и баллады ¹⁾ .	53
2. Геродъ и его бытовыя сценки	96
3. Царица - прислужница (новонайденная „Ипсипила“ Еврипида).	127
IV. Антигона	177
V. Первое свѣтопреставленіе .	185
VI. Про нечистую силу	237
VII. Античная Ленора	247
VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ	273
IX. Новый памятникъ древне-римскаго быта .	281
X. Остракологія	318
XI. Рабочая пѣсенка	326
XII. Еврипидъ въ переводѣ И. Ѳ. Анненскаго (Алкеста и Медея).	342
XIII. Происхожденіе комедіи	360
XIV. Мотивъ разлуки (Овидій—Шекспиръ—Пушкинъ).	399
XV. Гейдельбергъ	423
XVI. Земля и война	433
XVII. Уральскія впечатлѣнія .	436
1. Златоустъ	436
2. Тургоакъ	442
3. Кунгурская пещера	448
XVIII. Золотой вѣкъ.	456

¹⁾ Уже послѣ отпечатанія этой статьи попала въ мои руки главная филологическая новинка 1915 г.—т. XI Оксиринхскихъ папирусовъ, содержащій м. пр. два сравнительно крупныхъ отрывка изъ застольныхъ пѣсенъ („сколій“) Вакхилида. Къ сожалѣнію, они мало намъ даютъ; все же первому мы обязаны болѣе полнымъ и исправнымъ текстомъ введеннаго мною на стр. 54 (внизу) отрывка, а также и именемъ того, кому пѣсня была посвящена: это былъ извѣстный изъ Геродота Александръ Филеллинъ, царь македонскій.



ИЗЪ ЖИЗНИ ИДЕЙ.

О. Зѣлинскаго.

РЕВНІЙ МІРЪ И МЫ. ИЗДАНІЕ ТРЕТІЕ.

ИЗЪ ЖИЗНИ ИДЕЙ.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ө. ЗЪДИНСКАГО

ТОМЪ ВТОРОЙ

ДРЕВНІЙ МІРЪ И МЫ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 л., 28

1911

ДРЕВНІЙ МІРЪ

И

М Ы.

ЛЕКЦІИ

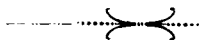
ЧИТАННЫЯ УЧЕНИКАМЪ ВЫПУСКНЫХЪ КЛАССОВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ
ГИМНАЗІЙ И РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЕСНОЮ 1903 г.

ПРОФЕССОРОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ө. ЗЪЛИНСКИМЪ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28

1911



ПРЕДИСЛОВІЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Лекціи о древнемъ мірѣ, составляющія ядро настоящей книги, были мною прочитаны, по приглашенію начальства С.-Петербургскаго учебнаго округа, ученикамъ выпускныхъ классовъ С.-Петербургскихъ гимназій и реальныхъ училищъ весной 1903 г.; въ теченіе лѣта того же года онѣ были напечатаны въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, а осенью появились и отдѣльнымъ изданіемъ. Несмотря на тяжелыя времена, наступившія вскорѣ затѣмъ для всей Россіи, несмотря на крайне враждебное отношеніе къ моей книгѣ, съ одной стороны, большинства органовъ печати, а съ другой—Ученаго Комитета, признавшаго ее не заслуживающей допущенія въ бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній:—несмотря на всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, книга въ теченіе года почти разошлась. Этимъ было доказано, что общество вовсе не такъ несочувственно относится къ тому, что было ея руководящей идеей; я счелъ, поэтому, своимъ долгомъ позаботиться о новомъ ея изданіи.

Въ этомъ второмъ изданіи книга назначена уже непосредственно для общества. Форма обращенія къ выпускнымъ учени-

камъ, правда, удержана; она никому не мѣшаетъ, и мнѣ не хотѣлось, разрушая ее, разрушить память о часахъ, которые я причисляю къ лучшимъ въ моей жизни. Но при всемъ томъ я повторяю: книга назначается для общества. Я глубоко убѣжденъ, что *возрожденіе русской классической школы, необходимое въ интересахъ русской культуры, наступитъ тогда, когда само общество убѣдится въ его необходимости*. Близокъ ли этотъ часъ? Я не знаю. Но этотъ вопросъ и его возможное рѣшеніе не могли и не должны были вліять на мое отношеніе къ моей задачѣ. Возвращеніе общества къ классической школѣ будетъ результатомъ пробужденія истины; а ея пробужденію нельзя содѣйствовать расчетами политики, тѣми самыми, которыми она была погружена въ сонъ. Въ противоположность къ нимъ я рѣшилъ неукоснительно слѣдовать истинѣ, нисколько не заботясь объ успѣхѣхъ моей книги въ цѣломъ или въ частяхъ.

Семь экскурсовъ, которыми я дополнилъ настоящее второе изданіе—очень разнородные по формѣ и содержанію—отчасти уже были раньше мною напечатаны, а именно:

- эвск. IV—въ „Сѣверномъ Курьерѣ“ 26 нб. 1900 г.,
- „ V—въ „Филологическомъ Обзорѣніи“ VII (1894),
- „ VI—въ „Трудахъ Высочайше учрежденной Коммиссіи по вопросу объ улучшеніяхъ въ средней общеобразовательной школѣ“ VI.

Относительно пятого (о чтеніи судебныхъ рѣчей Цицерона въ гимназіи) замѣчу, что онъ имѣетъ значеніе лишь образца—образца того, какъ слѣдуетъ одухотворять чтеніе авторовъ въ гимназіи сообразно со сказаннымъ на стр. 64 сл. объ универсализмѣ занятій античностью. Принципы, развитые мною въ этомъ экскурсѣ въ области чтенія судебныхъ рѣчей, я примѣнилъ на дѣлѣ въ своемъ изданіи „рѣчи Цицерона за Верреса“ (5 кн.), появившемся въ собраніи Л. А. Георгіевскаго и

С. А. Манштейна (2-е изд. 1896). Ту же цѣль, въ области чтенія историковъ и трагиковъ, преслѣдуютъ мои изданія 21-й книги Ливія (4-е изд. 1904), „Царя Эдипа“ (2-е изд. 1896) и „Трахинянокъ“ Софокла (1898 тамъ же). Вмѣстѣ взятые, эти четыре изданія составляютъ мой посильный вкладъ въ то, что я называю въ своихъ лекціяхъ „школьною античностью“; могу ли я надѣяться, что тѣ, которые отнеслись скептически къ моимъ разсужденіямъ объ универсализмѣ этой школьной античности, сочтутъ своимъ долгомъ хоть самымъ поверхностнымъ образомъ ознакомиться съ этими изданіями?

Первые три экскурса, объединенные своей полемической формой, составляютъ и по содержанію одно цѣлое; особенно это касается второго и третьяго. Только вмѣстѣ взятые они, подобно парнымъ стереоскопическимъ снимкамъ, даютъ правильное и выпуклое представленіе о воззрѣніяхъ автора — о той „серединной тропѣ“ правды и разума, которой онъ по мѣрѣ своихъ силъ старается слѣдовать. Смѣю, однако, увѣрить, что ихъ полемическая форма является именно только формой; по содержанію они столь же положительны, какъ и всѣ прочія составныя части настоящей книги.

Особнякомъ стоитъ седьмой и послѣдній экскурсъ: я хотѣлъ въ немъ представить синтезъ того, что я, какъ истолкователь древняго міра, имѣю передать тѣмъ, для кого я работаю. Я хотѣлъ его первоначально озаглавить „моимъ друзьямъ“, разумѣя подъ послѣдними не однихъ только моихъ личныхъ друзей, но и всѣхъ тѣхъ, кто, подобно мнѣ, признаетъ обязательнымъ для себя „кодексъ чести мыслителя“ (см. стр. 91). Послѣ нѣсколькихъ метаморфозъ онъ вылился, въ силу художественныхъ соображеній, въ настоящую свою форму. Такъ-то я лишній разъ убѣдился, что отъ автора зачастую зависитъ только рѣшеніе, писать ли книгу или не писать ее; разъ рѣшеніе принято — она пишется сама и принимаетъ ту форму,

которую должна принять по внутренней необходимости. Въ этомъ — особый смыслъ известной поговорки *habent sua fata libelli*; и, пожалуй, самый глубокий и „роковой“ ея смыслъ.

Со всѣмъ тѣмъ, я сознаю, что этотъ эскурсъ — для очень немногихъ; но эти немногіе — въ то же время тѣ, которые мнѣ дороже всѣхъ. Знаю я, кто они и гдѣ они — я бы имъ прямо послалъ его, „на правахъ рукописи“; но нѣтъ — мнѣ приходится искать ихъ между многими. Прошу, поэтому, остальныхъ поступить съ нимъ точно такъ же, какъ они поступаютъ съ письмами, не имъ написанными и случайно и ненарокомъ попавшими къ нимъ въ руки: т.-е., убѣдившись въ непринадлежности, прекратить чтеніе и забыть о содержаніи прочитаннаго. Для того этотъ эскурсъ и напечатанъ послѣднимъ, съ нечетной страницы, чтобы его можно было отрѣзать, не портя книги.

Впрочемъ, сказанное только-что объ этомъ эскурсѣ — что онъ долженъ искать своихъ читателей — относится въ значительной степени и ко всей книгѣ. Скажу напрямикъ: моя книга — книга ищущая. Я знаю, она найдетъ тѣхъ, кого ищетъ; въ этомъ меня убѣждаетъ неожиданный успѣхъ ея перваго изданія. Но гдѣ она ихъ найдетъ? Одно ясно: не среди направленцевъ, не среди готовыхъ и непереубѣдимыхъ, не среди тѣхъ, къ которымъ направленская ливрея прилипла, какъ Нессовъ плащъ: о, нѣтъ — на нихъ я давно махнулъ рукой, какъ и они на меня. Но гдѣ же? Отвѣчу: среди тѣхъ, которые ищутъ сами; моя книга — книга для ищущихъ.

Θ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ, Апрель 1905.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНІЮ.

Въ настоящемъ изданіи коренная статья „Древній міръ и мы“ перепечатана безо всякихъ измѣненій. Истекшее шестилѣтіе принесло ей немало хорошаго: помимо продолжающагося сочувствія русской публики, она была переведена на пять иностранныхъ языковъ — нѣмецкій, французскій, англійскій, чешскій и итальянскій, причемъ первый изъ этихъ переводовъ успѣлъ уже появиться третьимъ изданіемъ ¹⁾.

Главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ этого ряда успѣховъ я рѣшилъ пропустить въ настоящемъ изданіи всѣ экскурсы (кромѣ послѣдняго), которыми было дополнено второе. Ихъ ядромъ были второй и третій, полемическіе по формѣ, хотя и положительные по содержанію. Они были обращены противъ противниковъ слѣва и справа, изъ коихъ первый, къ сожалѣнію, выбылъ изъ ряда живыхъ, второй вообще никогда въ немъ не состоялъ и былъ мною прихваченъ скорѣе по стереоскопическимъ соображеніямъ. Но главное, повторяю — мое желаніе избѣгнуть въ этомъ изданіи всякой полемики. А впрочемъ, я

¹⁾ Die Antike und wir. Deutsch von Schoeler (Leipzig 1905. 3-те Aufl. 1911). — Le monde antique et nous. Trad. par E. Derume (Bruxelles 1909). — Our debt to antiquity. Transl. by H. A. Strong and Hugh Stewart (London 1909). — Starý svět a my. Prel. Fr. Novotný (Praha 1910). — L'Antico e noi (Firenze 1910).

отъ сказаннаго ни въ одномъ пунктѣ не отрекаюсь; второе изданіе съ его экскурсами не сметено съ лица земли, и я по прежнему думаю, что ихъ съ пользою для себя прочтутъ и начинающіе педагоги, и среднихъ лѣтъ публицисты, и бюрократы генеральскаго чина и возраста.

Я даже охотно освободилъ бы и коренную статью отъ тѣхъ немногихъ полемическихъ мѣстъ, которыя въ ней имѣются; но для этого пришлось бы произвести слишкомъ крупныя измѣненія. Прошу поэтому читателя помнить, что она была написана въ 1903 году.

Взамѣнъ устранившихся экскурсовъ я, идя на встрѣчу высказаннымъ критикой пожеланіямъ, дополнилъ коренную статью другими, появившимися раньше въ разныхъ журналахъ, но не включенными въ другіе томы моего сборника. Это слѣдующія:

1) Вильгельмъ Вундтъ и психологія языка („Вопросы философіи и психологіи“ 1902, январь—мартъ).

2) Художественная проза и ея судьба („Вѣстникъ Европы“ 1898 ноябрь).

3) Уголовный процессъ двадцать вѣковъ назадъ („Право“ 1901 № 7 и 8).

4) Характеръ античной религіи въ сравненіи съ христіанствомъ („Русская Мысль“ 1908 февраль).

5) Памяти И. Ѳ. Анненскаго („Аполлонъ“ 1910 январь).

Ѳ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ, январь 1911.

ЛЕКЦІЯ ПЕРВАЯ.

Введеніе: Постановка задачи.—Три антитезы.—*Yox populi—vox Dei.*—Большое и малое «я» общества.—Общественное мнѣніе и соціологическій подборъ.—*Первая антитеза:* образовательное значеніе античности.—Данныя историческаго опыта.—Защѣпки.—Гетерогенія цѣлей.—Эволюція классическаго образованія.—Критеріи образовательной силы предметовъ: психологія и психологическое наукоедѣніе.—Смыслъ сочетанія: «образовательное значеніе».—Принципъ профессиональный и принципъ образовательный.—Назначеніе средней образовательной школы.

Моя задача—выяснить вамъ, насколько это позволять время и силы, значеніе той области знанія, представителемъ которой я состою при нашемъ университетѣ и которую я, ради краткости, буду просто называть *античностью*. Задачу эту можно рѣшить въ троякомъ направленіи, соотвѣтственно троякому значенію самой античности. Она, во-первыхъ, является предметомъ науки, которую принято—несовсѣмъ правильно—называть классической филологіей; она, во-вторыхъ, представляетъ собою элементъ умственной и нравственной культуры современнаго европейскаго общества; она, въ-третьихъ—я это ея значеніе для васъ самое близкое—входитъ въ составъ учебныхъ предметовъ привилегированнаго типа средней школы, такъ называемой классической гимназіи. Каждая изъ этихъ трехъ точекъ зрѣнія открываетъ намъ новую сторону античности; но по отношенію къ каждой изъ нихъ посвященный въ дѣло человекъ бываетъ вынужденъ отстаивать мнѣніе, діаметрально противоположное тому, которое стало ходячей

монетой въ современномъ и специально въ русскомъ интеллигентномъ обществѣ. Дѣйствительно, о классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предъидущихъ поколѣній была лишь подготовительной, была лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ возводить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, манящія къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагѣ нашего научнаго поприща. Затѣмъ, по отношенію къ античности, какъ элементу современной культуры, общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ ней ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь. Наконецъ, по отношенію къ античности, какъ элементу образованія, большинство общества склонно полагать, что это—какой-то странный пережитокъ, неизвѣстно почему и какимъ образомъ сохраненный въ современной школѣ и подлежащій скорѣйшему и окончательному упраздненію; знатокъ же дѣла, опять-таки, вамъ скажетъ, что античность по самому существу своему, въ силу условій какъ историческаго, такъ и психологическаго характера, является органическимъ элементомъ образованія европейскаго общества, и что окончательно упразднена она будетъ не иначе, какъ съ упраздненіемъ всей современной европейской культуры.

Таковы наши три антитезы; согласитесь, что болѣе рѣзкихъ и представить себѣ нельзя. И я боюсь, что именно наличность этихъ антитезъ можетъ васъ смутить и возбудить ваше недовѣріе къ тому, что я имѣю вамъ сказать; а такъ какъ предвзятое недовѣріе аудиторіи къ лектору заранѣе уничтожаетъ возможное дѣйствіе его словъ, то позвольте мнѣ сдѣлать попытку устранить его, поскольку оно вообще устранимо воздѣйствіемъ разума. Въ самомъ дѣлѣ, я представляю себѣ съ вашей стороны возраженіе въ родѣ слѣдующаго: „да

развѣ уже изъ самаго состава борющихся сторонъ не ясно, кто правъ и кто виноватъ? развѣ можетъ быть правъ вопреки мнѣнію совокупности общества тотъ единоличный «знатокъ дѣла», о которомъ вы говорите и подъ которымъ вы, вѣроятно, разумѣете самого себя, г. лекторъ? Оставимъ въ сторонѣ классическую филологію: она для общества неинтересна, и оно имѣетъ поэтому право ея не знать; но античность, какъ элементъ культуры, античность, какъ факторъ образованія—развѣ можно допустить, чтобы общество ошибалось въ рѣшеніи такихъ насущныхъ, такъ близко его касающихся вопросовъ? Не даромъ же и въ пословицѣ сказано: *vox populi—vox Dei!*“

Тутъ я могъ бы сдѣлать оговорку—и довольно существенную—по отношенію къ этой «совокупности общества», о которой намъ такъ много говорятъ; но это не такъ важно. Пусть будетъ по-вашему: я все-таки не могу согласиться, чтобы вы къ этой дѣйствительной или мнимой совокупности примѣняли пословицу о *vox populi*, такъ какъ противъ этого примѣненія громогласно протестуетъ исторія всѣхъ временъ. Вспомните о томъ, какъ римское общество требовало на арену первыхъ христіанъ, вспомните объ остервенѣніи общества противъ еретиковъ въ Испаніи или противъ вѣдьмъ въ Германіи, вспомните о той единодушной поддержкѣ, которую долгое время находили въ обществѣ такіе институты, какъ рабство негровъ въ Америкѣ или крѣпостное право у насъ—и вы согласитесь, что очень часто *vox populi* бываетъ поистинѣ *vox diaboli*, а не *Dei*. Мы въ настоящее время не только осуждаемъ такія проявленія общественной воли,—мы, что также не худо, безстрастно ихъ объясняемъ, обнаруживая причины, которыя во всѣхъ указанныхъ случаяхъ заставляли общество неправильно судить о своихъ собственныхъ потребностяхъ. И здѣсь возможно то же самое, и здѣсь мы можемъ—и это войдетъ, если дозволить время, въ составъ моей послѣдней лекціи—анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное и непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана. Теперь моя цѣль другая: я вѣдь хотѣлъ только расшатать въ васъ увѣренность—если таковая есть—въ непогрѣшимости

общественнаго мнѣнія, хотѣлъ протестовать противъ злоупотребленія поговоркой *vox populi—vox Dei*.

А каковъ правильный смыслъ этой поговорки, это я разовью вамъ тотчасъ. Не въ оглушительномъ крикѣ, который такъ часто бываетъ выраженіемъ взбудораженныхъ страстей, должны мы признать гласъ Божій, а въ томъ тихомъ и безстрастно повелительномъ голосѣ таинственной воли, который указываетъ челоуѣчеству пути его культурнаго развитія. Съ незапамятныхъ временъ, когда фізіологіи пищеваенія и органической химіи еще и въ поминѣ не было, этотъ голосъ указалъ челоуѣку на хлѣбъ, какъ на ту пищу, пользуясь которой онъ можетъ достигнуть наивысшаго возможнаго для него совершенства. Въ этомъ голосѣ древніе греки, умѣвшіе удивляться тому, что поистинѣ удивительно, признали взаправду голосъ Божій — голосъ своей богини Деметры; современная біологія, не признающая метафізики... или, правильнѣе говоря, вводящая вмѣсто прежней, теологической метафізики, свою собственную, біологическую — видитъ въ немъ дѣйствіе открытаго ею *закона подбора*, совершенно аналогичнаго тому, который и всякой скотинѣ указалъ наиболѣе свойственную ей пищу. Да, господа, законъ подбора — подбора естественнаго, который тамъ, гдѣ его субъектомъ является челоуѣческое общество, носитъ названіе соціологическаго подбора — вотъ настоящая *vox populi, vox Dei*.

Теперь спросимъ себя: каково же отношеніе этого подбора къ интересующему насъ вопросу — вопросу о роли античности въ образованіи молодежи, или, короче говоря, къ тому, что мы называемъ классическимъ образованіемъ? — А таково это отношеніе, что вотъ теперь, черезъ полторы почти тысячи лѣтъ послѣ паденія Рима и болѣе чѣмъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ паденія Греціи, мы все еще споримъ о томъ, должны ли ихъ языки занимать центральное мѣсто въ образованіи молодежи или нѣтъ. Согласитесь, господа, что это единодушное свидѣтельство вѣковъ — гораздо болѣе знаменательный фактъ, чѣмъ эфемерный вердиктъ современнаго намъ общества, даже если бы его единодушіе было менѣе фиктивно, чѣмъ оно есть. Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дуетъ роковой для насъ югозападный вѣтеръ: волны совершенно

явственно направлены на востокъ, кажется, что рѣка вспять потекла, обратно къ Ладожскому озеру — и тѣмъ не менѣе вы знаете, что каждая капля этого озера въ силу незримаго, но очень реальнаго естественнаго теченія рѣки попадетъ въ Финскій заливъ, и что единственнымъ результатомъ того встрѣчнаго теченія, вызваннаго вѣтромъ, будетъ кратковременное наводненіе въ Галерной гавани. То же самое и въ обществѣ и общественномъ мнѣніи: и въ немъ вы имѣете не одно теченіе, а два. Одно—это то, въ которомъ оно отдаетъ себѣ отчетъ, бурное, крикливое, капризное, производящее всякаго рода наводненія и другія бѣдствія; другое—то, существованія котораго оно не подозрѣваетъ—тихое, безмолвное и повелительное. Два теченія—или, если хотите, двѣ души, два я; и къ обществу можно примѣнить то разграниченіе, которое Фр. Ницше остроумно установилъ для отдѣльныхъ его единицъ, различая ихъ «малое я», сознательное и сравнительно легковѣсное, отъ ихъ подсознательнаго, но властно управляющаго ихъ развитіемъ «большого я». Тотъ неблагопріятный для классическаго образованія вердиктъ современнаго общества, который вы склонны противопоставить моему якобы единоличному мнѣнію—онъ вынесенъ не имъ, этимъ обществомъ, а только его малымъ я; конечно, мнѣ, какъ единицѣ, это малое я можетъ причинить, и дѣйствительно причиняетъ, не мало непріятностей; но для меня, какъ мыслителя, историка, оно никакого авторитета не имѣетъ. Какъ таковой, я обязанъ прислушиваться не къ его голосу, а къ голосу того таинственнаго большаго я, которое управляетъ его судьбой. И вотъ тутъ-то я слышу нѣчто совершенно другое. Малое я современнаго общества твердитъ на всѣ лады: „долой классическое образованіе!“; большое я, напротивъ, говоритъ намъ: „берегите его пуще зѣнцы ока!“ Или, вѣрнѣе, оно намъ этого даже и не говоритъ: оно само его бережетъ, вотъ уже 15—20 вѣковъ, несмотря на постоянные протесты своего собственнаго малаго я, и сбережетъ его, будьте въ этомъ увѣрены, и впредь.

Впрочемъ, этотъ благопріятный для античности результатъ получился у насъ лишь мимоходомъ, его придется подробнѣе обосновать въ дальнѣйшемъ; не придавайте ему пока значенія и замѣйте лишь то, что я сказалъ вамъ о двухъ теченіяхъ

общественной жизни и объ ихъ сравнительной цѣнности. А теперь приблизимся къ темѣ. Я выставилъ съ первыхъ словъ положеніе о тройкомъ значеніи античности: чисто научномъ, культурномъ и образовательномъ; въ нашей бесѣдѣ, однако, порядокъ будетъ иной; мы начнемъ съ того, что касается васъ всѣхъ, и кончимъ тѣмъ, что непосредственно касается или, вѣрнѣе, коснется лишь немногихъ изъ васъ. Итакъ, *съ чемъ заключается образовательное значеніе античности?*

Допустимъ, прежде всего, что на этотъ вопросъ мнѣ пришлось бы отвѣтить: „не знаю“ — или что мой отвѣтъ васъ не удовлетворить; что бы отсюда слѣдовало?

Еще раньше, развивая вамъ смыслъ закона соціологическаго подбора, я, ради иллюстраціи, указалъ на то замѣчательное его проявленіе, въ силу котораго хлѣбъ сталъ основной пищей культурнаго человѣка; теперь позвольте мнѣ воспользоваться этой иллюстраціей для одной картины или притчи, которая, впрочемъ, уже разъ сослужила мнѣ службу въ сходномъ случаѣ. Представимъ себѣ, что въ тѣ времена, когда склонны были относиться къ организму человѣческаго тѣла, какъ къ механизму, въ эпоху Гельвеція и Ламеттри, была бы создана комиссія съ цѣлью реформы физическаго питанія человѣка. Ораторы-противники традиціонной системы питанія нарисовали бы, первымъ дѣломъ, мрачную картину физическаго состоянія современнаго человѣка: живетъ онъ много-много 60—70 лѣтъ, между тѣмъ какъ природа положила ему жить 200 лѣтъ (таково было, къ слову сказать, позднѣе мнѣніе Гюфеланда), да и это незначительное число лѣтъ — какъ онъ ихъ живетъ? Онъ бываетъ слабъ, некрасивъ, быстро старится; а сколько больныхъ, этихъ «неудачниковъ» физической жизни! и т. д. Отчего все это? Оттого, что онъ нераціонально питается. Пища должна обновлять человѣческое тѣло; а между тѣмъ въ составъ нашей пищи входятъ большею частію вещества, ненужныя тѣлу и потому имъ, какъ вполнѣ бесполезныя, снова выдѣляемыя. Тѣлу нужны: мясо, кровь, жиры, кости, мозгъ и т. д.; между тѣмъ, мы даемъ ему почти исключительно растительную пищу, въ которой главную роль играетъ хлѣбъ. Вредъ хлѣба заключается уже въ томъ, что онъ совершенно заслоняетъ другія, дѣйствительно питательныя вещества; а

чтобы убѣдиться въ его бесполезности, достаточно взглянуть на человеческое тѣло. Развѣ изъ тѣста состоятъ наши руки, ноги, голова, легкія и т. д.? Нѣтъ. А изъ чего же? Изъ крови, мяса, жилъ, костей и т. д. Итакъ, дайте намъ реальное питаніе, которое соотвѣтствовало бы составу нашего тѣла; дайте намъ единую общепитательную пищу, содержащую въ гармонической, уравновѣшенной смѣси все нужное для обновленія нашего физическаго я,—кровь, мясо, кости, жилы и т. д. Тогда не будетъ неудачниковъ физической жизни; тогда человѣкъ будетъ жить двѣсти лѣтъ, оставаясь молодымъ долѣе, чѣмъ онъ нынѣ вообще живетъ и т. д.

Что могъ бы возразить противъ этой рѣчи защитникъ традиціонной системы питанія? Что могъ бы онъ отвѣтить, если бы отъ него потребовали, чтобы онъ доказалъ питательное значеніе хлѣба?—Въ настоящее время, разумѣется, возможенъ отвѣтъ, вполнѣ удовлетворительно разрѣшающій всѣ затрудненія: съ одной стороны, фізіологія выяснила процессъ пищеваренія во всѣхъ его подробностяхъ; съ другой,—органическая химія анализировала потребляемую нами пищу во всѣхъ ея составныхъ частяхъ. При помощи химіи мы можемъ доказать, что хлѣбъ содержитъ всѣ или почти всѣ нужныя для обновленія нашего тѣла вещества; при помощи фізіологіи мы показываемъ, какимъ образомъ нашъ организмъ ихъ ассимилируетъ. Но вѣдь мы предполагаемъ эпоху, когда процессъ пищеваренія былъ извѣстенъ лишь очень несовершенно, органическая же химія вовсе не была извѣстна; итакъ, повторяю, что могъ бы отвѣтить защитникъ традиціонной системы питанія представителю діететическаго авантюризма?—Я думаю, вотъ что. „Вы спрашиваете, въ чемъ состоитъ питательное значеніе хлѣба и растительной пищи вообще; я этого не знаю. Но фактъ тотъ, что принявшіе нашу систему питанія народы суть вмѣстѣ съ тѣмъ и народы-носители цивилизаціи, между тѣмъ какъ по вашей теоріи питаются только самые грубые изъ дикарей; фактъ тотъ, далѣе, что цивилизованные народы все размножаются и расширяютъ свои владѣнія, между тѣмъ какъ живущіе мясной пищей дикари численно уменьшаются и отступаютъ; фактъ тотъ, затѣмъ, что цивилизованный человѣкъ, вынужденный вѣшними условіями отказаться отъ хлѣба и

овощей и перейти на исключительно мясную пищу, хирѣть и гибнетъ; фактъ тотъ, наконецъ, что вы, изобразивъ вообще правильно недостатки нашей физической жизни, не доказали, однако, ихъ зависимости именно отъ системы питанія и не желаете даже принять въ расчетъ того обстоятельства, что питающіеся по-вашему люди не оказываются ни долговѣчнѣе, ни сильнѣе, ни красивѣе, ни здоровѣе насъ, что является уже прямой насмѣшкой надъ эмпирическимъ методомъ“.

Такъ, полагаю я, отвѣтилъ бы защитникъ традиціонной системы питанія, и его выводъ былъ бы, разумѣется, неоспоримъ; теперь перехожу къ себѣ. Вы требуете, чтобы я указалъ вамъ, въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности: я же, первымъ дѣломъ, отвѣчу вопросомъ, обнаружила ли психологія во всѣхъ его деталяхъ процессъ умственного пищеваренія, и существуетъ ли такая органическая химія, которая была бы примѣнима къ умственной пищѣ, допуская ея качественный и количественный анализъ? Если же вы знаете, что науки, которыя я имѣю въ виду, суть науки будущаго, извѣстныя намъ въ настоящее время лишь въ своихъ началахъ, то вы этимъ самымъ даете мнѣ право отвѣтить вамъ слѣдующее: „Въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности—этого я не знаю; но фактъ тотъ, что классическая система воспитанія существуетъ испоконъ вѣка, что за время своего существованія она охватила всѣ народы такъ называемой европейской культуры, которые лишь со времени ея принятія и сдѣлались цивилизованными народами; фактъ тотъ, далѣе, что если изобразить, какъ это дѣлаютъ метеорологи, кривою линіей колебанія классической системы образованія въ различныхъ государствахъ за весь періодъ ихъ существованія, то эта кривая будетъ выражать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и колебанія умственной культуры въ тѣхъ же государствахъ, ясно доказывая этимъ тѣсную зависимость общей культурности страны отъ уровня ея классическаго образованія; фактъ тотъ, въ-третьихъ, что и въ настоящее время культурная сила народа тѣмъ значительнѣе, чѣмъ серьезнѣе въ немъ поставлено классическое образованіе, между тѣмъ какъ народы, лишенные его (напр., испанцы), не играютъ никакой роли въ мірѣ идей, несмотря на свою численность и славу своего прошлаго; фактъ тотъ, затѣмъ, что и

у насъ въ Россіи ударъ, нанесенный классическому образованію въ гимназіяхъ реформою 1890 г., имѣлъ послѣдствіемъ общее паденіе уровня образованія кончающей гимназію молодежи, удостовѣренное отзывами самихъ противниковъ классической системы; фактъ тотъ, наконецъ, что тѣ, кто рисуетъ такую мрачную картину недостатковъ нашей гимназій, не доказали, однако, зависимости этихъ недостатковъ отъ классическаго образованія и упорно отказываются принять въ расчетъ то обстоятельство, что воспитывающіеся въ неклассической средней школѣ ученики оказываются страдающими тѣми же недостатками“.

Выводъ отсюда неоспоримый: въ интересахъ умственной культуры русскаго народа мы должны желать возможно высокаго уровня классическаго образованія въ нашихъ гимназіяхъ, независимо отъ того, удастся ли намъ дать удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ объ образовательномъ значеніи античности или нѣтъ.

А теперь, прежде чѣмъ идти дальше, оглянемся назадъ. На основаніи культурно-историческихъ соображеній мы вывели заключеніе, что античность представляетъ изъ себя нормальную пищу развивающихся поколѣній. Это заключеніе я назвалъ неоспоримымъ; дѣйствительно, человѣкъ, привыкшій взвѣшивать то, что онъ говоритъ, и подчинять въ научныхъ вопросахъ (а съ таковымъ мы имѣемъ дѣло и здѣсь) свои чувства своему разуму, обязательно признаетъ его таковымъ. Но, къ сожалѣнію, такіе люди составляютъ рѣдкость; люди обыкновеннаго типа, наоборотъ, свой разумъ подчиняютъ своимъ чувствамъ: если то, что имъ доказываютъ, имъ не нравится, они стараются отыскать въ вашихъ словахъ какую-нибудь зацѣпку для возраженія, и если имъ удалось сказать нѣчто, имѣющее хоть внѣшнее подобіе логическаго разсужденія, то они говорятъ, а часто и воображаютъ сами, что они васъ опровергли. Такія опроверженія, конечно, предусмотрѣть невозможно: путь истины вездѣ одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество. Все же, будучи знакомъ со многимъ изъ того, что писалось по вопросу о средней школѣ, я могу себѣ представить, что въ моихъ словахъ противники найдутъ двѣ зацѣпки.

Первая зацѣпка. Я только-что сказалъ: „въ интересахъ умственной культуры русскаго народа...“, принимая за несо-

мнѣнное, что выводы, добытые на основаніи культурныхъ колебаній во всей Европѣ, примѣнимы также и къ Россіи. Правильно ли это? Въ числѣ моихъ противниковъ не мало такихъ которые этого сближенія не признаютъ: „классическая школа“, говорятъ они, „не имѣетъ опоры въ исторіи Россіи“. Упразднивъ на этомъ основаніи классическую школу, они затѣмъ предлагаютъ проекты собственной школы, относительно которой они, однако, исправно забываютъ ставить вопросъ, имѣетъ ли она опору въ исторіи Россіи или нѣтъ. Въ дѣйствительности же дѣло обстоитъ такъ: классическая школа имѣетъ, быть можетъ, и не очень сильную опору въ исторіи Россіи; но всѣ остальные типы школъ, существующіе и предполагаемые, не имѣютъ никакой. Но для насъ вовсе не это важно, а вотъ что: Россія долгое время не имѣла классической школы — но за все это время она и не была культурной страной; она стала таковой лишь съ тѣхъ поръ, какъ завела у себя классическую школу. Это фактъ, и притомъ фактъ, вполне подтверждающій нашъ выводъ.

Второе возраженіе параллельно первому, относясь къ нему, какъ время къ пространству: противники этого лагеря стараются создать для современности такое же исключительное положеніе, какъ тѣ для Россіи. Античность, говорятъ они, прежде дѣйствительно составляла важный предметъ обученія, такъ какъ было чему у нея поучиться; но теперь мы ее настолько опередили, что учиться намъ у нея болѣе нечему. Этихъ противниковъ очень легко опровергнуть: для этого имъ стоитъ задать вопросъ, когда приблизительно мы, по ихъ мнѣнію, опередили античность — этого они не знаютъ. Дѣло же обстоитъ слѣдующимъ образомъ. Классическое образованіе, какъ мы уже видѣли, есть дѣло социологическаго подбора; дѣйствіе же этого подбора опредѣляется такъ называемой *«гетерогеніей цѣлей»*, т.-е. несоотвѣтствіемъ дѣйствительной, несознаваемой цѣли — кажущейся и сознаваемой. Такъ, кажущаяся и сознаваемая пчелой цѣль, заманивающая ее во внутреннюю часть цвѣтка — это возможность полакомиться его сладкимъ сокомъ; дѣйствительная же и несознаваемая ею цѣль — растормошить тычинки цвѣтка и этимъ произвести его оплодотвореніе. То же самое и здѣсь. Дѣйствительная цѣль социологическаго подбора (вы, ко-

нечно, понимаете, что я употребляю слово «цѣль» здѣсь въ томъ условномъ смыслѣ, въ которомъ его вообще признаетъ современная біологія) — итакъ, его дѣйствительная цѣль при сохраненіи классическаго образованія была во всѣ времена одна и та же: умственное и нравственное совершенствованіе чело-вѣчества; кажущіяся же и сознаваемые обществомъ цѣли были другія, въ различныя времена различныя, при чемъ интересно прослѣдить: 1) какъ каждый разъ съ отживаніемъ, такъ ска-зать, одной кажущейся цѣли выдвигается на ея мѣсто другая, и 2) какъ тѣ народы, которые, принимая кажущуюся цѣль за дѣйствительную, стремились къ ней не по тому пути, который имъ предначерталъ законъ подбора, а по другому, болѣе краткому и удобному, — были за это умничанье жестоко наказаны исторіей, точно такъ же, какъ это наблюдается и въ біологіи. — Прежде всего, еще въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ кажу-щейся цѣлью классическаго образованія было усвоеніе Священ-наго Писанія и литургіи, затѣмъ твореній отцовъ церкви и житій святыхъ и т. д. Конечно, для этого былъ другой спо-собъ, болѣе простой и удобный — переводъ всего этого на род-ной языкъ; такъ поступили народы христіанскаго востока, и послѣдствіемъ было то, что они остались въ сторонѣ отъ куль-турнаго движенія. Затѣмъ, во вторую половину средневѣковья эта цѣль отошла на задній планъ, выдвинулась вторая: усвоеніе античной науки, изложенной, разумѣется, на древнихъ языкахъ. И здѣсь къ услугамъ желающихъ былъ другой путь, болѣе краткій и удобный: перевести научныя сочиненія древнихъ на свой родной языкъ. Этимъ путемъ воспользовались арабы, и результатомъ было, послѣ краткаго расцвѣта, быстрое и окон-чательное уничтоженіе мусульманской культуры — вполне есте-ственно, такъ какъ арабы пересадили къ себѣ одни только цвѣты античности, оторвавъ ихъ отъ ихъ корней, древнихъ языковъ. Далѣе, къ исходу среднихъ вѣковъ и эта цѣль отошла на задній планъ: усвоивъ античную науку, новая Европа ее превзошла... Дѣйствительно, на поставленный выше вопросъ, когда мы опередили античность въ области науки, придется отвѣтить: отчасти уже въ средніе вѣка; тогда были усовер-шенствованы мало извѣстныя древнимъ науки, какъ алгебра, тригонометрія, химія и др., а болѣе извѣстныя были подняты

на еще болѣе высокую ступень. Казалось бы, можно съ античностью и покончить; и дѣйствительно, классическое образованіе стало въ XIV вѣкѣ приходить въ упадокъ. Но именно въ этомъ вѣкѣ оно быстро и ярко расцвѣло вновь — наступилъ періодъ Возрожденія. Было открыто античное искусство, не только изобразительное (архитектура, ваяніе, живопись), но и искусство рѣчи; латинскому языку стали учиться ради его формальныхъ красотъ, стали ихъ воспроизводить и въ прозѣ, и въ стихахъ; это — такъ называемое старогуманистическое направленіе. Вторично латинскій языкъ сталъ языкомъ-воспитателемъ языковъ новой Европы; результатомъ этого воспитанія были современные языки съ ихъ гибкостью и силой, съ ихъ художественной прозой и художественной поэзіей. Но вотъ этотъ результатъ былъ достигнутъ; казалось бы, можно сдать античность въ архивъ. Но нѣтъ: едва только эта цѣль стала отступать на задній планъ, какъ на смѣну ей явилась новая, числомъ четвертая, преходящая цѣль. Былъ открытъ интеллектуалистическій характеръ древней литературы, въ концѣ котораго была древняя философія: какъ раньше учились по-латыни, чтобы хорошо говорить и писать, такъ теперь стали ей учиться, чтобы хорошо мыслить и разсуждать, pour bien raisonner. Таковъ былъ девизъ «просвѣтительной» эпохи, начавшейся въ Англіи 17 в., продолжавшейся во Франціи 18 в. и отразившейся на культурѣ прочей Европы того времени, эпохи Ньютона, Вольтера, Фридриха Великаго и Екатерины. Но уже въ томъ же XVIII в. односторонній интеллектуализмъ просвѣтительной эпохи вызвалъ реакцію, начавшуюся въ Англіи и Франціи (Руссо) и достигшую особенной силы въ Германіи Винкельмана и Гёте; лозунгомъ стало гармоническое развитіе человѣка въ указанномъ природой направленіи — и средствомъ къ достиженію этого идеала стала опять античность, за изученіе которой въ гимназіяхъ принялись съ особенной силой. Это было неогуманистическое направленіе; тогда впервые греческій языкъ и греческая литература заняли мѣсто наравнѣ съ латинскими, такъ какъ дѣятели этой эпохи совершенно основательно полагали, что къ ихъ идеалу греческая жизнь стоитъ ближе, чѣмъ римская. — Теперь опять настало переходное время, и уже ясно обрисовывается новая точка зрѣнія, которая обусловитъ изу-

ченіе античности въ наступающемъ столѣтіи: развитіе естественныхъ наукъ выдвинуло принципъ эволюціонизма, античность стала намъ вдвойнѣ дорога, какъ родоначальница всѣхъ безъ исключенія идей, которыми мы живемъ понынѣ. И вотъ мы видимъ, какъ и въ вопросахъ классическаго образованія гуманизмъ борется съ историзмомъ, причемъ послѣдній, повидимому, беретъ верхъ. Конечно, мы къ этой въ высшей степени важной точкѣ зрѣнія еще вернемся; теперь же достаточно будетъ удостовѣрить, что это—числомъ уже шестая сознаваемая точка зрѣнія на важность изученія античности, явившаяся какъ разъ во-время на смѣну пятой, неогуманистической.

И любопытно прослѣдить, какъ съ измѣненіемъ взгляда на цѣль изученія античности происходитъ измѣненіе также и метода ея изученія; я этого подробно развить не могу, ограничусь указаніемъ на самую осязательную метаморфозу,—на первенствующихъ въ каждомъ данномъ случаѣ авторовъ. Первый періодъ — изученія латыни ради спасенія душъ и — естественно ставилъ въ центръ преподаванія христіанскія сочиненія; второй, научный, такъ сказать, періодъ—соотвѣтственные руководства, латинскаго Аристотеля и такъ называемыя artes, т.-е. учебники математики, астрономіи, затѣмъ медицины, права и т. д.; третій, старогуманистическій—Цицерона, какъ мастера латинской рѣчи; четвертый, просвѣтительный, тоже Цицерона, но уже Цицерона-философа; пятый, неогуманистическій—Гомера, трагиковъ, Горація. Его традиціями мы живемъ и понынѣ, но уже нарождается потребность создать такую выборку изъ античной литературы, которая представила бы ученикамъ античность именно какъ родоначальницу нашихъ идей; не такъ давно въ Германіи Вилламовицъ попытался удовлетворить этой потребности составленіемъ греческой «книги для чтенія», въ высшей степени заинтересовавшей тамъ весь педагогическій міръ. Нѣтъ сомнѣнія, что современемъ это движеніе коснется и насъ; очень вѣроятно, что о немъ была бы рѣчь уже теперь, если бы не школьная смута, въ которой мы живемъ.

Какъ бы то ни было, таково чередованіе преходящихъ точекъ зрѣнія на античность въ различные періоды исторіи нашей культуры; и таковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашъ отвѣтъ на невѣжественное возраженіе, будто теперь намъ у античности

учиться нечему, такъ какъ мы ее опередили,—и на не менѣе невѣжественный упрекъ, будто классическая школа неподвижна и не прогрессируетъ со временемъ. Но, повторяю, то были все преходящія цѣли,—такія, которыя сознавались обществомъ въ каждую изъ упомянутыхъ эпохъ,—такія, въ которыхъ общество отдавало отчетъ себѣ и намъ; несознаваемой и въ то же время наиболѣе важной цѣлью была та, которая вообще преслѣдуется всякимъ подборомъ: совершенствованіе. —въ данномъ случаѣ, конечно, культурное, т.-е. умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества... Спѣшу тутъ оговориться, чтобы не подать повода къ недоразумѣніямъ; дѣйствительно, можетъ показаться страннымъ, что я, указывая вамъ цѣль классическаго образованія, называю эту цѣль въ то же время «несознаваемой»; да развѣ можно сознать несознаваемое? Нѣтъ, конечно; но знать несознаваемое можно—этому учитъ методъ современной біологіи, который одинаково примѣнимъ и къ жизни единицъ, и къ жизни народовъ и человѣчества—и къ онтогеніи, и къ филогеніи.

Но, спрашивается, какимъ же образомъ достигается умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества путемъ классическаго образованія? Этотъ вопросъ самъ собою сводится къ другому вопросу: въ чемъ же заключается образовательное значеніе античности? Егѡ мы поставили еще раньше, и прежде чѣмъ отвѣтить на него, я вамъ доказалъ, что каковъ бы ни былъ нашъ отвѣтъ — удачный или неудачный — самый фактъ образовательнаго значенія античности остается фактомъ, будучи добытъ совершенно независимо отъ этого отвѣта, путемъ культурно-историческихъ соображеній. Эту оговорку я прошу васъ твердо запомнить— я придаю ей огромное значеніе; такъ точно вѣдь и фактъ питательнаго значенія хлѣба былъ фактомъ много раньше, чѣмъ фізіологія и органическая химія доказали его намъ вполне нагляднымъ образомъ. Что такое фізіологія въ данномъ случаѣ? Анализъ воспринимающаго организма. А что такое химія? Анализъ воспринимаемаго вещества. Переходимъ отъ тѣла къ душѣ, отъ питанія къ образованію, отъ хлѣба къ античности; существуютъ ли здѣсь науки, параллельныя фізіологіи и органической химіи, т.-е. учащія насъ про-

изводить анализъ и воспринимающему организму, и воспринимаемому веществу? Посмотримъ.

Воспринимающій организмъ — это, въ данномъ случаѣ, чело-
вѣческій умъ; анализъ ума составляетъ содержаніе *психологии*,
а эта наука существуетъ еще только въ зародышевомъ видѣ.
Она не можетъ еще отвѣтить на всѣ вопросы, съ которыми
къ ней обращаются... положимъ, и фізіологія этого не мо-
жетъ, все же она гораздо болѣе изслѣдована, много старше и
годами, и опытомъ, чѣмъ та. Затѣмъ — анализъ воспринимае-
маго вещества, т.-е. античности; самъ по себѣ онъ не очень
труденъ, но вѣдь здѣсь требуется изученіе ея элементовъ въ
ихъ дѣйствіи на психическую натуру челоука, т.-е. своего
рода *психологическое науковѣдѣніе*... тутъ уже самое сочетаніе
словъ вамъ доказываетъ, что соотвѣтственной науки еще не
существуетъ. Итакъ, господа, не будьте слишкомъ требова-
тельны. Я обѣщаль дать вамъ отвѣтъ на поставленный во-
просъ и дамъ его, поскольку этотъ отвѣтъ возможенъ по ны-
нѣшнему состоянію психологическихъ наукъ; — хотя это, по-
вторяю, науки будущаго, все же кое-что въ нихъ установлено
довольно прочно, методъ опредѣляется все точнѣе и точнѣе,
и мы видимъ, по крайней мѣрѣ, какъ и въ какомъ направ-
леніи искать отвѣтовъ на тревожащіе насъ вопросы. Кое-что
я смогу вамъ сказать — да; но при всемъ томъ прошу васъ
помнить, что это будетъ лишь предварительный отвѣтъ, и что
наши потомки дадутъ его въ гораздо болѣе полной и убѣди-
тельной формѣ. Но, прежде чѣмъ исполнить это свое обѣщаніе,
я долженъ васъ просить выслушать нѣсколько замѣчаній, ка-
сающихся самаго смысла слова «образовательное значеніе». Я
не желаю, чтобы вы принимали отъ меня что бы то ни было
безъ надлежащаго, такъ сказать, таможеннаго осмотра; онъ
насъ задержать на нѣсколько минутъ, но зато потомъ до-
вѣрія будетъ больше.

Итакъ, ставлю вопросъ; какъ понимать слово «образова-
тельное значеніе»?

Начнемъ съ самаго конкретнаго. У отца, столяра, есть
сынъ; онъ хочетъ обучить его своему, столярному, ремеслу.
Тутъ дѣло обстоитъ просто, для всѣхъ понятно: школа непо-
средственно „готовить къ жизни“, всѣ приемы, усвоиваемые

мальчиномъ, пригодятся ему именно въ этомъ видѣ въ его будущей дѣятельности. Мы можемъ себѣ прекрасно представить столярную школу — это будетъ одна изъ такъ называемыхъ профессиональныхъ школъ. Имѣетъ ли она право на существованіе? Безусловно да, если допустить, что столь раннее опредѣленіе призванія мальчика вообще возможно или желательно. Но возможно ли распространеніе принципа *профессиональнаго утилитаризма* также и на область умственного труда? Отчасти да, какъ это вамъ доказываютъ духовныя семинаріи, военныя училища и нѣкоторые другіе такіе же типы среднихъ школъ; но именно только отчасти. Для большинства относящихся сюда профессій такихъ школъ не существуетъ, да и только-что упомянутыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе стремятся оставить свой узко-профессиональный характеръ и усилить на его счетъ свой характеръ какъ общеобразовательныхъ заведеній, и вообще замѣчается потребность въ такихъ школахъ, которыя не предрѣшали бы будущей профессіи учениковъ. Но какъ такія школы устроить съ тѣмъ, чтобы онѣ, тѣмъ не менѣе, «готовили къ жизни», т.-е. къ будущей профессіи учениковъ? — Вотъ это-то и есть та педагогическая квадратура круга, надъ рѣшеніемъ которой современное общество бьется съ такимъ же успѣхомъ, какъ раньше надъ знаменитой геометрической.

Укажу вамъ нѣкоторые изъ путей къ ея рѣшенію, представляющихся уму неподготовленнаго человѣка.

Первый путь. Требуется школа, которая готовила бы будущихъ юристовъ, медиковъ, натуралистовъ, математиковъ, техниковъ, филологовъ и т. д. Прекрасно; пусть же въ ея программу войдутъ тѣ предметы, которые являются общими для всѣхъ этихъ областей дѣятельности. — Неправильность этого рѣшенія очевидна: вѣдь въ томъ-то и дѣло, что такихъ предметовъ нѣтъ или почти нѣтъ. Сравните обозрѣніе преподаванія на юридическомъ и на естественномъ факультетахъ, въ историко-филологическомъ и въ технологическомъ институтахъ — и вы въ этомъ убѣдитесь.

Второй путь. Возьмите по равной порціи изъ числа юридическихъ, медицинскихъ, физико-математическихъ, историко-филологическихъ и другихъ предметовъ и составьте изъ нихъ программу средней школы. — Нѣкоторые, дѣйствительно, такъ

полагаютъ; тѣмъ не менѣе, это явная несообразность. Во-первыхъ, получится ошеломляющая и притупляющая многопредметность; а во-вторыхъ, принципъ утилитаризма все-таки не будетъ соблюденъ, такъ какъ каждому ученику въ отдѣльности такая школа дастъ не болѣе $\frac{1}{10}$ того, что ему нужно. Теперь спрашивается: какая же это школа, которая на $\frac{1}{10}$ полезнаго учебнаго матеріала содержитъ $\frac{9}{10}$ балласта?

Третій путь. Въ виду несостоятельности первыхъ двухъ рѣшеній предлагается оставить въ сторонѣ будущую дѣятельность питомцевъ средней школы и требовать отъ послѣдней только того, чтобы она выпускала образованныхъ людей. Это значитъ: *устраняется профессионально-утилитарный принципъ, сводится принципъ образовательный*. Прекрасно; но что же это такое: образованный человѣкъ? Опредѣлить это можно: вѣдь есть же образованные люди. Итакъ, что нужно знать для того, чтобы быть образованнымъ человѣкомъ? Одинъ изъ публицистовъ, подвизающихся на педагогическомъ поприщѣ, предложилъ для рѣшенія этого вопроса радикальную мѣру. А именно: путемъ опроса (т.-е. экзамена) образованныхъ людей установить уровень знаній, необходимыхъ для образованнаго человѣка, и эти-то знанія сдѣлать предметомъ школьнаго преподаванія. — Эту мѣру стоило бы осуществить: выводъ получился бы утѣшительный. Вы, разумѣется, понимаете, что по этому рецепту тѣ знанія, которыми обладаетъ одинъ образованный человѣкъ, все-таки не попадутъ въ общеобразовательную программу, коль скоро есть другой образованный человѣкъ, который ими не обладаетъ, — такъ какъ это доказываетъ, что можно, и не обладая ими, быть образованнымъ человѣкомъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, если бы оказалось, что иной чуждакъ можетъ назвать 30 патагонскихъ деревень, то это его личное дѣло; въ программу мы включили бы только то, что все образованное общество, или его большинство знаетъ о Патагоніи — т.-е. ничего. И такъ по всѣмъ предметамъ; въ результатѣ бы вышло: по ариметикѣ — четыре дѣйствія надъ цѣлыми числами съ общимъ понятіемъ о дробяхъ, по геометріи — общія представленія о фигурахъ и тѣлахъ, по алгебрѣ — ничего, по тригонометріи ничего и т. д.; въ общей сложности — программа,

для усвоения которой вполне достаточно одного или двух гимназических классовъ.

Очевидно, и этотъ путь не ведетъ къ цѣли. Въ чемъ же заключается наша ошибка? Въ томъ, что мы *образование ставимъ въ зависимость отъ наличности знаній*. Знанія забываются, но образованность не утрачивается — образованный человѣкъ, даже забывъ все, чему онъ учился, остается образованнымъ человѣкомъ. Этимъ я вовсе не намѣренъ умалить значеніе знаній; совершенно напротивъ — человѣкъ постольку годенъ, поскольку онъ что-нибудь знаетъ. Но, господа, различнымъ людямъ нужны различныя знанія; это и теперь такъ, это и подавно будетъ такъ въ будущемъ — знанія, вѣдь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе специализируются. Объемъ одинаково нужныхъ всѣмъ людямъ, или даже всѣмъ интеллигентнымъ людямъ знаній и теперь ужъ очень невеликъ, и будетъ еще уменьшаться съ каждымъ поколѣніемъ, соотвѣтственно росту и, стало быть, специализаціи самихъ знаній; на немъ, значить, строить программу средней школы нельзя. А между тѣмъ, средняя школа — какъ школа для всѣхъ будущихъ интеллигентовъ — должна дать имъ именно то, что одинаково пригодится имъ всѣмъ; въ этомъ весь ея смыслъ. Что же это будетъ? Это будетъ, разумѣется, *такая подготовка ума, которая приспособитъ его съ наименьшей затратой силъ и времени и съ наибольшей пользой воспринимать тѣ знанія, которыя ему понадобятся впоследствии*. Истина старая, избитая, если хотите, но никѣмъ не опровергнутая и неопровержимая.

Если бы моей задачей было составлять программу средней школы, то я, на основаніи сказаннаго, постарался бы вамъ объяснить, что она должна обнимать: 1) предметы общаго знанія и 2) предметы общаго образованія, съ преобладаніемъ, разумѣется, послѣдней группы, и что къ этой группѣ должны принадлежать науки математическія, физическія и филологическія — соотвѣтственно тремъ методамъ человѣческаго мышленія: дедуктивному, индуктивно-экспериментальному и индуктивно-наблюдательному. Но, какъ я сказалъ вначалѣ, моя задача уже: я намѣренъ говорить объ образовательномъ значеніи только моего предмета, т.-е. античности. Впрочемъ, и тутъ я долженъ принять мѣры къ тому, чтобы вы не взвалили на

меня большей отвѣтственности, чѣмъ ту, какую я хочу и могу на себя взять. Я знаю, многіе ораторы и публицисты доказываютъ вамъ, что вы совершенно напрасно потеряли то время, которое у васъ пошло на изученіе древнихъ языковъ, и вы имъ рукоплещете; я, со своей стороны, намѣренъ вамъ доказать, что вы этого времени не потеряли даромъ; даже рискуя сказать вамъ этимъ непріятное. Но, господа, довольно съ меня одного этого риска; за весь тотъ кругъ представленій и чувствъ, который вы, вѣроятно, соединяете съ понятіями «классицизмъ» и «классическая школа», я отвѣтственности на себя брать не хочу. Я прекрасно знаю, что наша классическая школа страдаетъ многими недостатками—эти недостатки мѣстами больше, мѣстами меньше, въ зависимости отъ состава учащихся и учащихся (а этотъ элементъ гораздо важнѣ всякихъ программъ и инструкцій); но я знаю также, что если въ Турціи санитарное дѣло плохо поставлено, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы медицина никуда не годилась. Итакъ, моя задача—выяснить вамъ не превосходство той или другой гимназіи, или даже гимназіи вообще, а, согласно сказанному, образовательное значеніе античности при такой постановкѣ ея преподаванія, которую я считаю желательной и, на основаніи собственнаго и чужого опыта, возможной.

Къ рѣшенію этой задачи я и приступаю теперь; все сказанное до сихъ поръ имѣло цѣлью лишь выясненіе ея смысла и расчистку почвы. Возможно, что я на это употребилъ слишкомъ много времени, слишкомъ мало полагался на ваше собственное вниманіе, сообразительность и безпристрастіе. Въ этомъ случаѣ прошу меня простить; я проученъ горькимъ опытомъ, притомъ на людяхъ, отъ которыхъ съ гораздо большимъ правомъ можно бы было требовать всѣхъ этихъ прекрасныхъ качествъ, чѣмъ отъ васъ.

ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

Первая антитеза: продолженіе. — Составъ школьной античности. — Древніе языки какъ таковыя. — Ассоціаціонный и апперцепціонный методы усвоенія языковъ. — Относительная цѣнность чужого языка какъ дополненія къ родному. — Абсолютная его цѣнность какъ пищи для ума. — Прозрачность правописанія. — Прозрачность флексій. — Исключенія. — Закономѣрность лингвистическихъ явленій.

Древній міръ — какъ показываетъ самое слово — представляетъ изъ себя въ высшей степени широкую, богатую и разнообразную область знаній; это дѣйствительно — своеобразный и законченный въ себѣ «міръ», но притомъ такой, съ которымъ нашъ современный міръ соединенъ тысячью, большею частью несознаваемыхъ, нитей. Изслѣдованіе этого міра, использование его идей для обогащенія умственной и нравственной культуры современности — а первое безъ послѣдняго бесполезно — составляетъ завидную задачу той семьи ученыхъ, къ которой я имѣю честь и счастье принадлежать; ученикамъ гимназій онъ дѣлается извѣстнымъ лишь въ очень небольшой своей части, путемъ тѣхъ своихъ элементовъ, которые входятъ въ составъ такъ называемаго классическаго образованія. Эти элементы суть слѣдующіе: во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей (*vulgo* «слова») и синтаксисомъ; во-вторыхъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ, читаемыя и толкуемыя въ подлинникъ; въ-третьихъ, ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія

древней исторіи, а также и чтенія образцовъ въ переводѣ, рассказовъ о жизни древнихъ, маленькихъ вступительныхъ лекцій о древней философіи, литературѣ, государственномъ и уголовномъ правѣ, объясненія памятниковъ искусства, рекомендаціи хорошихъ новѣйшихъ романовъ изъ жизни древнихъ, а гдѣ возможно — и курзорнаго чтенія цѣлыхъ произведеній на дому и т. д. Съ этихъ трехъ элементовъ мы и должны начать — или, вѣрнѣе, съ первыхъ двухъ, такъ какъ третій войдетъ во вторую часть моего курса, посвященную культурному значенію античности.

Итакъ, во-первыхъ: въ чемъ состоитъ *образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ?*

Прежде всего, въ методѣ ихъ усвоенія. Есть, вообще говоря, два метода усвоенія языка, и эти два метода соотвѣтствуютъ обѣмъ кореннымъ функціямъ нашего ума... я васъ предупреждалъ, господа, въ прошлой лекціи, что наука объ умственномъ, такъ сказать, пищевареніи, которая одна только и можетъ намъ отвѣтить на вопросъ объ образовательномъ значеніи того или другого предмета, называется психологіей; естественно, поэтому, что теперь мы прибѣгаемъ къ ея услугамъ. Тѣ двѣ коренныя функціи, о которыхъ я говорю, называются въ современной психологіи, одна — ассоціаціей, другая — апперцепціей; обѣ имѣютъ цѣлью восприниманіе и воспроизведеніе умственнымъ организмомъ предлагаемой ему пищи, но одна сопровождается большимъ, другая меньшимъ участіемъ вниманія. Если какое-нибудь слово, невольно услышанное мною при извѣстной обстановкѣ, само собою возникаетъ въ моей памяти при повтореніи самой обстановки, то мы приписываемъ это дѣйствию ассоціаціи; если же въ обоихъ случаяхъ — и при запоминаніи, и при воспроизведеніи — потребовалось усиліе вниманія, то мы соотвѣтственную функцію нашего ума называемъ апперцепціей. Теперь приложимъ сказанное къ изученію языковъ. Ассоціаціоннымъ путемъ, т.-е. при пассивномъ состояніи вниманія, усваивается прежде всего родной языкъ; достигается этимъ чисто ремесленная, такъ сказать, сноровка, въ силу которой человѣкъ легко владѣетъ и распоряжается всѣми этимологическими, семасіологическими и синтактическими сокровищами языка, не будучи, однако, въ состояніи отдать

себѣ отчетъ въ причинѣ, почему онъ ими распоряжается именно такъ, — не зная организма своего языка. Всѣ новые языки усваиваются ассоціаціоннымъ путемъ тѣми, для которыхъ они — родные; а въ виду легкости и пригодности этого метода для быстрого овладѣванія языкомъ, ему слѣдуютъ по возможности и иностранцы. Въ послѣднее время ассоціаціонный методъ преподаванія иностранныхъ языковъ проникаетъ и въ школу, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подъ какимъ бы то ни было именемъ, овладѣетъ ею со временемъ вполне — за вычетомъ, конечно, тѣхъ увлеченій, которыми онъ пока еще грѣшитъ.

Противоположность къ ассоціаціонному методу составляетъ апперцепціонный. Тутъ мы первымъ дѣломъ изучаемъ организмъ языка, вполне сознательно усваивая его этимологию, семасіологию, синтаксисъ, — шагъ за шагомъ учась понимать и образовывать сначала простыя предложенія, затѣмъ все болѣе и болѣе сложныя, наконецъ, періоды и соединенія таковыхъ. Достигается этимъ путемъ не ремесленная сноровка, а научное пониманіе языка: человѣкъ раньше усвоить, напримѣръ, правило о чередованіи временъ, чѣмъ станетъ бѣгло и безошибочно употреблять въ каждомъ данномъ случаѣ требуемое время. А если такъ, то понятно, что все, что намъ говорить о пользѣ изученія языка, относится только къ апперцепціонному методу: нагляднымъ примѣромъ бесполезности (для умственного развитія) ассоціаціоннаго метода являются кельнера иностранныхъ отелей, бѣгло говорящіе на нѣсколькихъ языкахъ, которые они усвоили именно ассоціаціоннымъ путемъ. — Теперь мы видѣли, что родной языкъ усваивается исключительно путемъ ассоціаціи — для него апперцепціонный методъ прямо невозможенъ, такъ какъ онъ усваивается въ такомъ возрастѣ, когда умъ еще мало приспособленъ къ апперцепціонному изученію чего бы то ни было. Мы видѣли далѣе, что новые иностранные языки, для которыхъ апперцепціонный методъ самъ по себѣ возможенъ, тѣмъ не менѣе, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе отходятъ въ область ассоціаціоннаго метода, которому они со временемъ подпадутъ цѣликомъ. Этого движенія намъ никоимъ образомъ не задержать, такъ какъ главная цѣль изученія новыхъ иностранныхъ языковъ, — умѣніе бѣгло говорить или хотя

читать на нихъ, — несомнѣнно быстрѣе и легче достигается при помощи ассоціаціоннаго метода. Такимъ образомъ все, что намъ говорится о пользѣ изученія языковъ, относится исключительно къ изученію языковъ древнихъ.

Прежде чѣмъ идти дальше, установимъ объемъ того, что пока доказано. Доказана польза, для умственнаго развитія, изученія древнихъ языковъ вообще; не доказано, что этими языками должны быть именно греческій и латинскій; недоказано, что оба они, а не какой-нибудь одинъ. Но первое возраженіе не заслуживаетъ вниманія, хотя слышать его приходится, къ сожалѣнію, нерѣдко: кто рекомендуетъ для введенія въ гимназіи вмѣсто греческаго и латинскаго языка — древнееврейскій или санскритскій, тотъ доказываетъ этимъ, во-первыхъ, что онъ ни о томъ, ни о другомъ не имѣетъ никакого представленія, а во-вторыхъ — слабость такого рода суррогатовъ состоитъ именно въ томъ, что каждый изъ нихъ оказывается до извѣстной степени пригоднымъ лишь по одному изъ тѣхъ пунктовъ, по которымъ мы рассматриваемъ пользу античныхъ языковъ, такъ что если всѣ суррогаты сложить вмѣстѣ, чтобы создать эквивалентъ по всѣмъ пунктамъ, то эта сумма окажется и много труднѣе, чѣмъ античные языки, и дающей, вмѣсто гармоническаго цѣлаго, беспорядочный хаосъ разрозненныхъ, не служащихъ поддержкой другъ другу знаній. — Второе возраженіе, что сказаннымъ пока не доказана необходимость изученія обоихъ древнихъ языковъ, справедливо, — но именно только пока.

Теперь идемъ дальше. Само собою разумѣется, что наиболѣе плодотворными и благодарными для апперцепціоннаго усвоенія должны считаться тѣ языки, которые 1) въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму, и 2) *по своимъ психологическимъ свойствамъ являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ родному языку*. Начнемъ со второй стороны...

Опять-таки повторяю, господа, вы предупреждены: фізіологіи въ области умственности соответствуетъ психологія, органической же химіи — то, что я назвалъ выше психологическимъ науковѣдѣніемъ; съ помощью этихъ двухъ наукъ намъ удастся когда-нибудь анализировать вполне точно то, что я непоэтично, но правильно назвалъ умственнымъ пищевареніемъ. Образчикъ психологіи въ примѣненіи къ нашей темѣ я привелъ вамъ

выше, говоря вамъ объ ассоціаціи и апперцепціи; теперь и долженъ привести образчикъ психологическаго науковѣдѣнія въ примѣненіи къ лингвистикѣ. Мы различаемъ въ языкахъ двоякаго рода элементы: во-первыхъ, элементы, выражающіе видимость и вообще предметы непосредственныхъ ощущеній; во-вторыхъ, элементы, выражающіе результаты рефлексіи. Первые мы называемъ сенсуалистическими, вторые—интеллектуалистическими элементами; это различіемъ, какъ вы увидите, соприкасается съ различіемъ между вещественными и отвлеченными элементами, но не вполне съ ними совпадаетъ. Смотри по преобладанію тѣхъ или другихъ элементовъ въ языкахъ мы и языки разбиваемъ на тѣ же группы, т.-е. одни языки называемъ сенсуалистическими, а другіе интеллектуалистическими. Если теперь, сообразуясь съ этой точкой зрѣнія, составить таблицу близкихъ намъ языковъ въ видѣ прогрессіи, въ которой первымъ членомъ былъ бы языкъ наиболѣе интеллектуалистическій и наименѣе сенсуалистическій, а послѣднимъ — языкъ наименѣе интеллектуалистическій и наиболѣе сенсуалистическій, то на обоихъ концахъ этой прогрессіи оказались бы—языки латинскій на одномъ и русскій на другомъ. Особенно разительно это различіе сказалось на системѣ спряженія. Дѣйствительно, наиболѣе яркимъ выразителемъ сенсуалистическаго характера языка является такъ называемый видъ глагола, передающій непосредственное впечатлѣніе, воспринимаемое органами внѣшнихъ чувствъ; напротивъ, выразителями интеллектуалистическаго характера языка будутъ съ одной стороны времена, съ другой — наклоненія. Времена — порожденія сортирующей памяти и рефлексіи; память хранитъ образы событій въ ихъ правильной исторической перспективѣ, проицируя ихъ не на одинъ общій фонъ, а на разные, въ соотвѣтствіи съ ихъ послѣдовательностью; рефлексія создаетъ такія же, такъ сказать, кулисы и для ожидаемыхъ событій въ будущемъ. Вспомните, если кому приходилось переводить полатыни предложенія въ родѣ слѣдующаго: „когда ты ко мнѣ придеши, мы погуляемъ“: вѣдь „придеши“ по-латыни „venies“—такъ и хочется русскому человѣку поставить „cum ad me venies, ambulabimus“, а это будетъ неправильно. Приходь, вѣдь, предшествуетъ прогулкѣ, это два различныхъ фона

въ будущемъ; вы должны, беря *futurum exactum*, сказать: „*cum ad me veneris, ambulabimus*“. Это различіе — порожденіе рефлексіи; русскій языкъ его не выражаетъ, сливая всѣ фоны послѣдовательности на общемъ экранѣ будущности, латинскій же языкъ ихъ выражаетъ и требуетъ отъ васъ, чтобы вы, пользуясь имъ, прибѣгали къ этой рефлексіи. — Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи наклоненія. Они — порожденія той же рефлексіи, не довольствующейся установленіемъ одной только дѣйствительности, засвидѣтельствованной органами вѣншихъ чувствъ, а тщательно отличающей различные углы «наклона» къ дѣйствительности даннаго дѣйствія, начиная съ его полного совпаденія съ ней, продолжая ожидаемостью, затѣмъ простой возможностью и кончая недѣйствительностью. Времена и наклоненія особенно развиты въ древнихъ языкахъ, притомъ времена въ латинскомъ, наклоненія въ греческомъ — напротивъ, виды въ нихъ слабѣе представлены, особенно въ латинскомъ. Въ русскомъ языкѣ, наоборотъ, времена едва намѣчены, наклоненія вполнѣ отсутствуютъ, — напротивъ, виды получили такое развитіе, каковаго они не имѣютъ ни въ одномъ другомъ языкѣ. Итакъ, древніе языки — языки преимущественно интеллектуалистическіе; въ качествѣ таковыхъ они являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку.

Тутъ интереснѣе всего то, что наши противники, получивъ нѣкоторое представленіе объ указанномъ здѣсь различіи, эксплуатируютъ его въ свою пользу: „латинскій языкъ“, говорятъ они, „по своему строю совершенно различенъ отъ русскаго; стало быть, онъ намъ русскимъ и не нуженъ“. Неосновательность этого силлогизма станетъ очевидна, если перенести его на болѣе матеріальную почву. Представьте себѣ экономиста, который сталъ бы разсуждать такъ: „Россія — преимущественно земледѣльческая страна; стало быть, ввозить въ нее продукты промышленности нечего, слѣдуетъ ввозить хлѣбъ; напротивъ, Англія — страна преимущественно промышленная: она нуждается, поэтому, во ввозѣ мануфактурныхъ издѣлій, а хлѣба ей не нужно“. Въ данномъ случаѣ, впрочемъ, исторія приходитъ на помощь теоріи, подтверждая ея выводъ: для всѣхъ новыхъ языковъ латинскій языкъ былъ языкомъ-воспитателемъ; съ по-

мощью котораго они были интеллектуализованы; съ его же помощью они, къ слову сказать, послѣ этой первой школы интеллектуализаціи, прошли, какъ мы видѣли, и вторую, доставившую имъ художественность. Творцомъ нѣмецкой художественной прозы былъ Лессингъ, французской — скорѣе всего Бальзакъ старшій, итальянской — Боккаччо; всѣ трое вполне сознательно подражали латинскимъ образцамъ, особенно Цицерону.

Перейдемъ, однако, къ первой сторонѣ интересующаго насъ здѣсь пункта. Я утверждаю, что древніе языки потому должны считаться наиболѣе плодотворнымъ и благодарнымъ матеріаломъ для апперцепціоннаго усвоенія, что они *въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму.*

Чтобы доказать это, намъ нужно взглянуть нѣсколько внимательнѣе на эту «безплодную степь древнихъ языковъ», какъ ее называютъ наши противники. Начинаемъ съ начала. Съ перваго же урока ученикъ испытываетъ то удовольствіе, что чтеніе не представляетъ ему никакихъ затрудненій, благодаря строгому, почти полному соотвѣтствію произношенія начертанію, звуковъ буквамъ. Ни въ одномъ новомъ языкѣ это соотвѣтствіе не бываетъ столь полнымъ: уже съ этой одной точки зрѣнія латинскій языкъ заслуживаетъ быть первымъ иностраннымъ языкомъ, преподносимымъ мальчику. Вѣдь гораздо естественнѣе, полагаю я, слово *est* сначала произносить «эстъ», а затѣмъ уже, при прохожденіи французскаго языка, усвоить позднѣйшее, истершееся произношеніе «э», — чѣмъ съ самаго начала учить, что одно и то же слово произносится «э», но пишется, по непонятнымъ для ученика причинамъ, *est*.

Прежде, однако, чѣмъ идти дальше, спросимъ себя, какую пользу намъ принесла эта прозрачность латинскаго языка, сказывающаяся въ соотвѣтствіи произношенія начертанію. Ту ли только, что на усвоеніе произношенія не потребовалось никакого труда? Нѣтъ. Я еще намѣренъ въ одной изъ слѣдующихъ лекцій побесѣдовать съ вами о модномъ нынѣ вопросѣ «облегченія» школьнаго труда и указать вамъ на тѣ серьезныя опасности соціальнаго характера — да, господа, соціальнаго — которыя принесетъ съ собой это облегченіе. Но школьный трудъ бываетъ двухъ родовъ — трудъ образовательный

и трудъ необразовательный. Подъ образовательнымъ трудомъ я разумѣю такой, который заставляетъ васъ пускать въ ходъ свою сообразительность, подводя частный случай подъ общее правило; такой трудъ будетъ въ то же время и нравственнымъ, такъ какъ онъ учитъ васъ чувствовать надъ собою власть закона, а не произвола, и ничего не принимать на вѣру безъ достаточнаго основанія. Теперь вспомните тотъ трудъ, котораго вамъ стоило заучиваніе французскаго правописанія въ отличіе отъ произношенія; можно ли его назвать образовательнымъ и нравственнымъ? Почему слово, произносимое какъ «э», пишется то *et*, то *est*, то *ait* и т. д.? Съ какой стати въ *doigt* «палецъ» появилась эта произносимая и ненужная буква *g*? Отчего *honneur*, *labeur* пишутся безъ *e* послѣ *r*, а *demeure*, *heure* черезъ *e*? На все это отвѣта нѣтъ; единственное достаточное основаніе, которое ученикъ можетъ всему этому привести, это: „такъ сказалъ учитель“ или „такъ стоитъ въ учебникѣ“. Положимъ, на дѣлѣ всему этому достаточное основаніе есть—но, господа, это основаніе заключается именно въ латинскомъ языкѣ: правописаніе *et*, *est* и *ait* вполне понятно тому, кто знаетъ, что эти слова восходятъ къ латинскимъ *et*, *est*, *habeat*; сверхштатная согласная *g* въ *doigt* не смутитъ того, кто знаетъ, что это слово произошло отъ *digitus*; въ правописаніи перечисленныхъ словъ на *eur(e)* не ошибется тотъ, кто знаетъ, что и въ латинскомъ языкѣ первая категорія имѣетъ основы на согласную (*honor*, *labor*), а вторая—на гласную (*moга*, *hoга*). Все это такъ, и я вовсе не имѣлъ въ виду принизить сказаннымъ французскій языкъ. Но вѣдь мы имѣемъ въ виду ученика, который учится по-французски, не зная латыни; такой, разумѣется, никакого закона надъ собою не чувствуетъ, чувствуетъ одинъ только произволъ. И мнѣ жалъ каждаго часа, потраченнаго на такое ученіе: оно не развиваетъ, не освобождаетъ духа, а напротивъ, закрѣпощаетъ его, заглушаетъ въ немъ исконное стремленіе доискиваться въ каждомъ случаѣ закона и разумнаго основанія. И вотъ почему я ставлю латинскому языку — а равно и греческому — въ великую заслугу то, что онъ съ первыхъ же уроковъ освобождаетъ учениковъ отъ этого крѣпостного труда.

Ту же прозрачность строя, облегчающую столь важное для развитія ума установленіе причинности, мы встрѣчаемъ и въ дальнѣйшемъ, начиная съ этимологіи. Проходятся пять склоненій; почему ихъ именно пять? Я предлагаю ученику образовать во всѣхъ пяти родительные падежи множественнаго числа: *mensarum, hortorum, turrium, statuum, dierum*; затѣмъ творительные падежи единственнаго; *mensa, horto, turri, statu, die*—вездѣ тѣ же пять гласныхъ, по одной на каждое склоненіе. Теперь ему ясно, почему въ латинскомъ языкѣ пять склоненій: потому что и гласныхъ пять. Но кромѣ гласныхъ, бываютъ еще и согласные; дѣйствительно, мы имѣемъ родительные падежи *reg-um, capit-um, dolor-um*; оказывается, склоненіе такихъ словъ совпадаетъ со склоненіями словъ на *i*, образуя съ ними вмѣстѣ такъ называемое третье склоненіе. Теперь ему понятно, почему въ этомъ третьемъ склоненіи иныя слова имѣютъ въ извѣстныхъ падежахъ *i, ium, ia*, а другія—*e, um, a*.—Затѣмъ естественный вопросъ: „а у насъ какъ?“ Учитель скажетъ: и у насъ, въ сущности, то же самое; только вы этого не замѣчаете, потому что у насъ окончанія поистерлись. А когда будете учиться церковнославянскому языку, то вы увидите, что и у насъ склоненія зависятъ отъ заключительной гласной основы, что и у насъ есть основы на *a, o, i, u* (только на *e* нѣтъ), что и у насъ основы на согласные отчасти соединились съ основами на *i*.

Въ системѣ спряженій то же явленіе: *amare, docere, statuere, finire*; согласные примкнули къ основамъ на *u*: *reg-ere, scrib-ere* спрягаются такъ же, какъ и *statu-ere*. Но почему нѣтъ основъ на *o*? Потому что рядомъ съ основами на *a* онѣ излишни: глаголѣ *firmare* общій и для *firmus* и для *firma*.—Все это еще не научная историческая грамматика, а только осмысленная школьная; путемъ этого осмысленія я внушаю ученику убѣжденіе, что языкъ есть царство законности, а не произвола, что каждое явленіе въ языкѣ имѣетъ свое разумное основаніе. Попробуйте теперь добиться тѣхъ же результатовъ съ помощью нѣмецкой системы склоненій, этихъ безсмысленныхъ *starke, schwache und gemischte Declination*, или французской системы спряженій съ ихъ не менѣе безсмысленными и произвольными окончаніями *er, ir, oir* и *re*! Въдѣ для

того, чтобы внести нѣкоторый смыслъ въ французскій языкъ, я долженъ опять-таки воспользоваться помощью того же латинскаго, долженъ свести французскіе глаголы, *aimer, finir devoir и vendre* къ ихъ латинскимъ первообразамъ *amare, finire, debere и vendere*! Не даромъ же глубокий знатокъ французскаго языка и французской литературы, Vinet, сказалъ, что *le latin c'est la raison du français*: этимъ самымъ онъ призналъ, что французскій языкъ самъ по себѣ *raison* не имѣетъ и, какъ языкъ, пищи уму дать не можетъ. Вотъ почему вдвойнѣ хорошо, что французскій языкъ, какъ и вообще новые языки, усваивается ассоціаціоннымъ путемъ, апперцепціоннымъ же путемъ только тѣ, которые по своему организму этого стоятъ.

А исключенія? спросите вы. Да, конечно; имѣй мы латинскій языкъ въ своей власти, мы бы его устроили такъ, чтобы исключеній въ немъ не было; но такъ какъ это не въ нашей власти, то будемъ же радоваться хоть тому, что ихъ такъ немного. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ, что въ самомъ легкомъ изъ русскихъ склоненій (женскихъ на *а*) совершенно схожія по формѣ и ударенію слова *толпа, звѣзда, вода* представляютъ изъ себя, однако, три различныхъ, различно склоняемыхъ типа (I. *толпа, толпу, толпы*; II. *звѣзда, звѣзду, звѣзды*; III. *вода, воду, воды*); что въ тоже нетрудномъ склоненіи мужскихъ на *з* односложныя слова распадаются даже на четыре типа (I. *споръ, спора, споры, споровъ*; II. *зубъ, зуба, зубы, зубовъ*; III. *полъ, пола, полы, половъ*; IV. *столъ, стола, столы, столовъ*); возведемъ, какъ это необходимо при апперцепціонномъ усвоеніи, одинъ изъ этихъ типовъ въ правило — и мы увидимъ, какія у насъ получатся безконечныя вереницы исключеній. Вспомнимъ, затѣмъ, объ опредѣленіи рода французскихъ и особенно нѣмецкихъ существительныхъ — и мы легко согласимся, что въ латинскомъ языкѣ исключеній, сравнительно, очень немного.

Но при всемъ томъ они есть и, поскольку они есть, затрудняютъ апперцепціонное усвоеніе языка; что же дѣлаетъ съ ними классическая школа? Какъ школа серьезная, она требуетъ отъ своихъ питомцевъ умственной работы — но лишь постольку, поскольку эта работа образовательна и плодотворна; считая усвоеніе исключеній необходимымъ въ виду своихъ

дальнѣйшихъ цѣлей, но не плодотворнымъ въ смыслѣ развитія ума, она облегчила его до послѣдней возможности. Книга знаменитаго экономиста Bücher'a «Arbeit und Rhythmus», въ которой авторъ развиваетъ экономическое значеніе ритма, какъ облегчающаго работу средства, и узнаетъ въ первоначально бессмысленной и только ритмической рабочей пѣсенкѣ одинъ изъ главныхъ корней (онъ говоритъ даже: единственный корень) поэзіи — эта книга въ ту эпоху, о которой я говорю, еще не была написана; все же фактъ, который Бюхеромъ впервые былъ тщательно изслѣдованъ, сознавался уже тогда. Затѣмъ, школа понимала, что имѣеть дѣло не съ взрослыми, а съ 9—11-лѣтними мальчиками, для которыхъ заучиваніе бессмысленнаго, но ритмическаго набора словъ составляетъ физическую потребность: достаточно, вѣдь, вспомнить, что это — тотъ самый возрастъ, когда дѣти при своихъ играхъ такъ любятъ «считаться», какъ они это называютъ, при чемъ они пользуются какой-нибудь тарабарщиной, лишенной всякаго смысла, но въ ритмической формѣ. Опираясь на указанные психологическіе факты — 1) облегчающую, специально мнемоническую силу ритма и 2) склонность дѣтей къ заучиванію ритмическаго набора словъ — классическая школа нашла выходъ изъ затруднительнаго положенія, въ которое она была поставлена наличностью исключеній: желая по возможности облегчить своимъ питомцамъ ихъ усвоеніе, она составила тѣ знаменитыя стихотворныя правила, которыми насъ постоянно попрекаютъ наши противники. Послѣдующія времена, измѣнивъ цѣли преподаванія, дали возможность значительно сократить эти стишки; но въ этой сокращенной формѣ они являются и понынѣ лучшимъ средствомъ для усвоенія требуемаго матеріала. Я самъ ими пользовался, когда былъ преподавателемъ въ первомъ классѣ: помню, какъ вычурныя сочетанія мудреныхъ словъ и потѣшныя рѣшмы вызывали здоровый дѣтскій смѣхъ моихъ учениковъ, особенно когда я заставлялъ ихъ, къ концу урока, хоромъ повторять рѣшмованныя правила; а такъ какъ я признавалъ здоровый юморъ очень полезнымъ «вегикуломъ» (какъ говорятъ врачи) при преподаваніи въ младшихъ классахъ, то эти финалы уроковъ обращались въ своего рода веселую игру; и если бы послѣ такихъ уроковъ школьный врачъ соблагово-

лилъ циркулемъ измѣрить притупленность нервовъ у моихъ мальчиковъ, то онъ остался бы, полагаю я, вполне доволенъ.

Такова латинская этимологія; скажу теперь нѣсколько словъ и о греческой. Она довершаетъ лингвистическое зданіе прибавленіемъ къ нему важнаго отдѣла — фонетики. Только греческій языкъ даетъ достаточно полную систему звуковъ; только на немъ можно ознакомиться съ такими важными лингвистическими явленіями, какъ стяженія гласныхъ и комбинаціи согласныхъ, благодаря чему организмъ языка дѣлается еще прозрачнѣе и понятнѣе. Настоящимъ торжествомъ такого освѣщенія языка представляется система спряженія, которую только въ греческомъ языкѣ и можно пройти синтетически. Я даю ученику не формы, а ихъ составные элементы: говорю ему, что корень вообще не измѣняется, но что къ нему прибавляются разнаго рода частицы, выражающія время (такъ называемая «примѣта времени»), наклоненіе (такъ называемая «тематическая гласная»), лицо и число («окончаніе»); учу его обращаться съ этими элементами, предупреждаю его, что принадлежность дѣйствія прошлому подчеркивается прибавленіемъ такъ называемаго приращенія, а его совершенность выражается удвоеніемъ — и мой ученикъ уже самъ, рѣдко прибѣгая къ моей помощи, образуетъ мнѣ всю систему глагола. И разумѣется, не одинъ только греческій языкъ сталъ ему понятенъ этимъ путемъ — такое разложеніе формъ на ихъ элементы освѣщаетъ заодно и строй каждаго языка, строй языка вообще. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что латинская этимологія раскрыла ученику анатомію, а греческая — химію языка вообще; вмѣстѣ взятыя онѣ выясняютъ ему происхожденіе и образованіе языка, который теперь уже не будетъ ему казаться наборомъ чисто условныхъ и произвольныхъ правилъ, а напротивъ — закономернымъ и величественнымъ въ своей закономерности явленіемъ природы. А насколько важенъ такой взглядъ, въ этомъ легко убѣдится всякій. Вспомнимъ, что языкъ — та природа, которой мы дѣйствительно окружены вездѣ и всегда; выясняя ученику закономерность этой природы, приучая его къ наблюденіямъ въ этой области, мы поддерживаемъ въ немъ тотъ духъ научности, который приспособляетъ человека ко всякаго рода научному труду. Не могу останавли-

ваться здѣсь на этой мысли; сошлюсь, однако, на «Введеніе въ философію» Фр. Паульсена, который доказываетъ, что даже эволюціонная теорія, которой такъ гордится естествознаніе нашихъ временъ, была, прежде всего, установлена на латинскомъ языкѣ В. Гумбольдтомъ, а затѣмъ уже перенесена на явленія матеріальной природы. Эта книга, къ слову сказать, можетъ быть горячо рекомендована тѣмъ, которые раздѣляютъ неправильное мнѣніе, будто методъ научнаго изслѣдованія неразрывно связанъ со своимъ матеріаломъ; впрочемъ, неправильность этого мнѣнія ясна всѣмъ, кто когда-либо изучалъ исторію какой-нибудь науки, или самъ не чуждъ научнаго творчества.

Довольно, однако, на сегодня. Область, со значеніемъ которой я успѣлъ васъ познакомить, занимаетъ небольшое мѣсто не только въ античности вообще, т.-е. въ системѣ наукъ о древнемъ мірѣ, но даже и въ томъ, что можно назвать школьной античностью. Но, съ одной стороны, это—первая область, съ которой имѣетъ дѣло человѣкъ, вступающій въ предѣлы античности; здѣсь, поэтому, насъ встрѣтила масса принципиальныхъ вопросовъ, которые пришлось, такъ или иначе, выяснить. А съ другой стороны—это въ то же время наиболѣе поруганная область: всѣ противники классическаго образованія попрекаютъ насъ главнымъ образомъ грамматикой обоихъ древнихъ языковъ, этой «безплодной степью», какъ они ее называютъ. Я старался вамъ показать, что эта мнимая степь приноситъ свои плоды, — притомъ плоды, если не всегда сладкіе, то зато здоровые и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи. На этомъ я сегодня заканчиваю; на слѣдующихъ лекціяхъ предполагаю нѣсколько ускорить темпъ — это можно будетъ сдѣлать безъ ущерба для дѣла, такъ какъ онѣ будутъ посвящены болѣе привлекательнымъ — также и съ внѣшней стороны — частямъ античности.

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

Первая антитеза: продолженіе. — Лексическій составъ древнихъ языковъ. — «Языкъ—исповѣдь народа». — Отраженіе народной души въ словахъ языка. — Отраженіе въ нихъ народнаго быта. — Синтаксисъ. — Эманципація мысли. — Сравнительная неграмматичность русскаго языка. — Стилистическая цѣнность языковъ. — Античный «періодъ» какъ школа стиля. — Опасность оскуднѣнія и борьба съ нимъ.

Начиная свою третью лекцію объ образовательномъ значеніи античности, считаю полезнымъ напомнить вамъ въ немногихъ словахъ содержаніе первыхъ двухъ, которыя вы прослушали двѣ недѣли назадъ. Мы видѣли, прежде всего, что враждебное отношеніе къ античности значительной части общества не должно имѣть для насъ рѣшающаго значенія, такъ какъ этотъ сознательный, неблагопріятный вердиктъ, плодъ заблужденія и обмана, не можетъ идти въ сравненіе съ безсознательнымъ благопріятнымъ вердиктомъ того же общества, которое бережетъ классическое образованіе вотъ уже 15—20 вѣковъ, «большое я» важнѣе «малаго». Мы видѣли, затѣмъ, что образовательное значеніе античности должно быть признано фактомъ на основаніи данныхъ опыта, независимо отъ того, удастся ли намъ удовлетворительно выяснить, въ чемъ оно состоитъ—точно такъ же какъ питательное значеніе хлѣба считалось фактомъ на основаніи данныхъ того же опыта много раньше, чѣмъ физиологія пищеваренія и органическая химія намъ его доказали аналитически. Обсудивъ затѣмъ бѣгло и нѣсколько другихъ принципиальныхъ вопросовъ, мы перешли

къ темѣ, т.-е. къ усиленному выясненію образовательнаго значенія античности; установивъ, что элементовъ классическаго образованія въ гимназій три, а именно—система обоихъ древнихъ языковъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ и ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія древней исторіи и т. д.—мы сосредоточились на первомъ изъ нихъ, на системѣ древнихъ языковъ, съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей и синтаксисомъ. И старался вамъ доказать, что образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ заключается прежде всего въ апперцепціонномъ (а не ассоціаціонномъ) методѣ ихъ усвоенія, пригодномъ для древнихъ и непригодномъ для новыхъ языковъ; затѣмъ въ томъ, что древніе языки по своимъ психологическимъ свойствамъ, какъ языки интеллектуалистическіе, являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку; наконецъ въ томъ, что они въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму. Эту питательность, такъ сказать, древнихъ языковъ мы установили прежде всего на этимологій; мы видѣли, что оба языка почти свободны отъ той неудобоваримой и лишь засоряющей память примѣси, которая обуславливается несоотвѣтствіемъ правописанія произношенію; что латинская этимологія, благодаря своей сравнительной прозрачности, выясняетъ ученику анатомію языка вообще, приучая его этимъ смотрѣть на языкъ какъ на закономѣрное явленіе природы—между тѣмъ какъ вносящія пертурбацію въ дѣтскій умъ изсключенія въ латинской этимологій сравнительно немногочисленны, и усвоеніе ихъ можетъ быть облегчено до послѣдней степени; что, равнымъ образомъ, греческая этимологія, благодаря своей еще болышей прозрачности, даетъ возможность расчленивъ языкъ на его простѣйшіе составные элементы—это то, что я называю лингвистической химіей. Здѣсь мы остановились; характеристику обоихъ остальныхъ частей системы древнихъ языковъ—семасіологій и синтаксиса—пришлось за недостаткомъ времени отложить до слѣдующей лекціи, т.-е. до сегодняшней.

Но, господа, прежде чѣмъ перейти къ ея темѣ, считаю умѣстнымъ подѣлиться съ вами нѣкоторыми соображеніями, вызванными отношеніемъ нѣкоторыхъ моихъ слушателей къ

моимъ первымъ лекціямъ. Моей задачей была и есть характеристика античности въ ея образовательномъ значеніи—именно характеристика, а не защита: апологетическаго элемента я отъ себя вносить не хотѣлъ. Такой, однако, получился и получается самъ собой въ силу естественныхъ условій: тамъ, гдѣ какое-нибудь общественное явленіе подвергается несправедливымъ нападеніямъ, всякая правильная его характеристика невольно принимаетъ видъ апологіи. Отсюда дальнѣйшее неудобство: обидчикъ склоненъ считать всякій протестъ противъ его обиды—обидой, наносимой ему. Возьму примѣръ: натуралистъ (т.-е. разумѣется одинъ изъ натуралистовъ) говоритъ, что античность никуда не годится; я ему возражаю и доказываю, что античность годится на то-то и то-то. Стало быть, говоритъ мой противникъ, по-вашему естественныя науки никуда не годятся? Нѣтъ, г. натуралистъ, это будетъ вовсе не по-моему, совершенно напротивъ: разница между вами и мною состоитъ именно въ томъ, что я и понимаю, и уважаю вашу науку, между тѣмъ какъ вы, повидимому, не въ состояніи уважать, т.-е. понимать мою.

Повторяю, я въ своихъ лекціяхъ стараюсь только характеризовать мою область; иногда я, въ силу необходимости, защищаю ее и себя, но никогда ни на кого и ни на что не нападаю. Выразусь яснѣе: я не только не имѣлъ въ виду обидѣть кого бы то ни было — я никого не обидѣлъ; это заявленіе я въ правѣ сдѣлать, такъ какъ каждое слово моихъ лекцій было мною обдуманно именно съ этой точки зрѣнія. Если же кто тѣмъ не менѣе считаетъ себя обиженнымъ, то я позволю себѣ ему замѣтить, что эта его обиженность—плодъ неправильнаго толкованія имъ моихъ словъ, въ которомъ я неповиненъ. Предусмотрѣть такое неправильное толкованіе не было въ моихъ силахъ: путь истины, повторяю, одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество.—А затѣмъ перехожу къ темѣ.

Объ образовательномъ значеніи этимологіи обоихъ языковъ было сказано въ прошлой лекціи—конечно, очень бѣгло, но въѣдъ недостатокъ времени не позволяетъ намъ идти дальше самыхъ общихъ контурныхъ эскизовъ; теперь на очереди семасіологія, сводящаяся въ гимназіи къ заучиванію «словъ»

того и другого языка. Это заучиваніе тянется черезъ весь гимназическій курсъ, такъ какъ оно сопровождается чтеніе каждого автора; спрашивается, какая отъ него польза? Отвѣчаю: польза очень большая и разнообразная; но такъ какъ я здѣсь имѣю въ виду только общеобразовательное значеніе античныхъ языковъ, то я не буду говорить о важности знанія лексическаго ихъ состава для сознательнаго отношенія къ живущимъ понятиѣ въ новыхъ языкахъ латинскимъ и греческимъ словамъ, особенно для научной терминологіи, а равно и о важности этого знанія для облегченія и осмысленія изученія романскихъ языковъ, особенно французскаго. Между тѣмъ, то общеобразовательное значеніе болѣе всего оспаривается. Что за польза, говорятъ, въ томъ, что я могу назвать собаку латыни *canis*, а по-гречески *κύων*? Развѣ мое представленіе о собакѣ благодаря этому обогащается хоть на одну черту?— Когда я слышу подобнаго рода разсужденія—а слышу я ихъ часто—я испытываю такое же чувство, какое испытываетъ химикъ, когда ему въ числѣ элементовъ называютъ воду, или астрономъ, когда ему говорятъ о вращеніи солнца вокругъ земли: на меня вѣсть чѣмъ-то затхлымъ и старымъ, я убѣждаюсь, что вся повѣйшая эволюція лингвистической науки прошла для разсуждающаго безслѣдно. Еще В. Гумбольдтъ вполне справедливо сказалъ: *die Sprache ist durchaus kein blosses Verständigungsmittel, sondern der Abdruck des Geistes und der Weltanschauung des Redenden*; и ту же мысль выразилъ у насъ кн. Вяземскій въ своихъ стихахъ:

Языкъ есть исповѣдь народа:
Въ немъ слышится его природа,
Его душа и быть родной.

Возьмемъ примѣръ: то слово, которое люди говорятъ другъ другу при прощаніи: *χαίρε*, *vale*, *adieu*, *farewell*, *leb wohl*—тутъ, что ни языкъ, то новое представленіе, новая частица народной исповѣди. Но, возражать, чѣмъ же тутъ древніе языки лучше новыхъ? Отвѣчаю: *во-первыхъ*, тѣмъ, что они усваиваются аинерценціонно, согласно сказанному раньше, такъ что тутъ семасіологическое различіе проникаетъ въ знаніе, между тѣмъ какъ въ новыхъ языкахъ при ассоціаціон-

номъ усвоеніи оно въ сознаніе не проникаетъ. Говорящій по-французски русскій такъ же мало задумывается надъ тысячу разъ произносимымъ adieu, какъ и надъ своимъ русскимъ „прощай“; напротивъ, по-гречески онъ обязательно учить: χαῖρε — собственно „радуйся“, затѣмъ „прощай“, по-латыни обязательно: vale — собственно „будь здоровъ“, затѣмъ „прощай“ — и тутъ-то повѣсть на него хоть слегка жизнерадостнымъ духомъ Греціи, трезвымъ и бодрымъ — Рима; и самъ собою, точно рикошетомъ, явится вопросъ: „а у насъ какъ?“ И онъ призадумается надъ тѣмъ, чтò это значитъ, когда мы, разставаясь, говоримъ другъ другу: „прости“, „прощай“; и этотъ клочокъ народной исповѣди пробудить въ немъ сознаніе, что его родной языкъ — языкъ дѣйствительно прекрасный и полный чувства и души. Это — разъ, или, вѣрнѣе, разъ и два, такъ какъ постоянно вызываемую охоту къ сравненію съ роднымъ языкомъ я тоже считаю достоинствомъ изученія античной семасіологіи; но это не все.

Третье достоинство — ея прозрачность. Среди вокабуловъ третьяго склоненія встрѣчается cor cordis «сердце». „Было у насъ“, спрашиваю, „слово того же корня?“ Да, было: concordia. — „Итакъ, чтò значитъ concordia собственно?“ — Совмѣстность сердецъ (ученикъ скажетъ, конечно: „когда сердца вмѣстѣ“, и это, пожалуй, даже лучше). Итакъ, происхождение отвлеченныхъ понятій изъ конкретныхъ выяснено на примѣрѣ; но вслѣдъ затѣмъ рикошетомъ является вопросъ: „а у насъ какъ?“ И ученикъ въ первый разъ задумается надъ словомъ „согласіе“ и скоро рѣшить, что оно означаетъ, собственно, „совмѣстность голосовъ“ — причемъ ему придетъ въ голову и то, что въ данномъ случаѣ латинскій языкъ, пожалуй, обнаружилъ больше глубины и чувства. Попробуйте достигнуть тѣхъ же результатовъ съ французскимъ concorde, въ которомъ ученикъ и не узнаетъ слова соеиг, или съ нѣмецкимъ Eintracht, котораго онъ никогда не пойметъ, даже если ему объяснить, что — tracht происходитъ отъ tragen.

Четвертое достоинство заключается въ томъ, что слова князя Вяземскаго о языкѣ дѣйствительно болѣе всего примѣнимы къ древнимъ языкамъ, болѣе всего потому, что они — особенно греческій — выросли самобытно, не испытавъ вліянія

другихъ языковъ. Подчеркиваю этотъ пунктъ: греческій языкъ для насъ незамѣнимъ именно какъ языкъ-самородокъ. Это не значитъ, разумѣется, чтобы въ немъ не было вовсе негреческихъ словъ: таковыя, особенно финикійскаго происхожденія, имѣются, но ихъ не только очень немного, — они касаются только вѣшнiаго міра и ничуть не затрагиваютъ народной души. Да я здѣсь и не говорю вовсе объ иностранныхъ словахъ — они носятъ отпечатокъ своего иностраннаго происхожденія, болѣе или менѣе легко узнаваемый, и никого, поэтому, въ заблужденіе не введутъ; нѣтъ, я говорю о словахъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка и, стало быть, вѣшнимъ образомъ проникшихъ въ языкъ, а не выработанныхъ народной совѣстью; вы легко поймете, что чѣмъ больше процентъ такихъ словъ, тѣмъ менѣе языкъ народа служить выразителемъ народной совѣсти. Такъ вотъ именно такихъ переводныхъ словъ въ греческомъ языкѣ нѣтъ; благодаря этому онъ весь, какъ онъ есть, явился отпечаткомъ греческой народной души, такъ что мы, даже если бы вся греческая литература погибла, на основаніи одного греческаго словаря могли бы возстановить эту душу. Напротивъ, новыя языки, и въ томъ числѣ русскій, вамъ этой возможности не даютъ; специально въ русскомъ языкѣ такихъ переводныхъ словъ такъ много, что безъ нихъ не только мы, люди культурные, но даже самые неграмотные крестьяне не были бы въ состояніи поговорить другъ съ другомъ по совѣсти. Для примѣра возьмемъ то самое слово, которое занимаетъ насъ теперь — слово «совѣсть»; можемъ ли мы, можетъ ли народъ безъ него обойтись? Нѣтъ, очевидно. А между тѣмъ, можно ли сказать, что это слово — плодъ русской народной совѣсти, частица исповѣди русскаго народа? Нѣтъ, господа: въ русскомъ народномъ сознаніи это слово корней не имѣетъ. Что такое «совѣсть»? Расчленимъ его: «вѣсть отъ вѣдаю», «совѣсть» отъ со-вѣдаю... у насъ такого слова или оборота нѣтъ; мы говоримъ: „я не вѣдаю грѣха за собой“, а не „съ собой“. Какъ же появилось у насъ это слово? Чисто книжнымъ путемъ, посредствомъ перевода греческаго *συνείδησις* (лат. *con-scientia*), не развѣ истрѣбающагося въ Новомъ Заветѣ. А *συνείδησις* — чисто греческое слово и понятіе; по-гречески дѣйствительно говорятъ

οὐνοῖα ἐμαυτῷ κακόν τι ποιῆσαι, „я знаю вмѣстѣ съ собою, совершившимъ дурное дѣяніе“. Понимаете ли вы, что это значить? Это значить вотъ что. Ты совершилъ дурное дѣяніе, со всѣми предосторожностями, тайно отъ всѣхъ людей, и даже, быть можетъ, отъ боговъ. Тѣмъ не менѣе не утѣшай себя мыслью, что у тебя нѣтъ свидѣтелей. Есть нѣкто, «знающій это дѣяніе вмѣстѣ съ тобой», и этотъ нѣкто — ты самъ, божественное начало твоей души, и отъ этого свидѣтеля тебѣ никогда не отдѣлаться, пока ты живъ. И вотъ — продолжаю словами Эсхила — „ночью вмѣсто сна памятливая забота стучится въ окно твоего сердца, и противъ твоей воли ты учишься быть добродѣтельнымъ“. Итакъ, душа человѣка двоятся: одна часть, земная, оскверняетъ себя грѣхомъ, — другая, божественная, становится строгой свидѣтельницей и судьей первой; эта вторая часть, „вѣдающая вмѣстѣ съ нами“ — наша совѣсть. Вотъ вамъ опять частица народной исповѣди; да, но эта исповѣдь — исповѣдь *греческаго* народа, составляющая одно цѣлое съ ученіемъ Эсхила и Платона, а не русскаго, который приобщилъ наше слово путемъ буквального перевода съ греческаго. И такихъ «переводныхъ» словъ у насъ много, и знать ихъ нужно для того, чтобы не приписывать русской народной душѣ того, что ей чуждо. Выводъ отсюда ясенъ: какъ это ни звучитъ парадоксально, но знать по-гречески нужно, чтобы знать русскій языкъ. Кто требуетъ упраздненія греческаго языка и усиленія на его счетъ русскаго, тотъ этимъ требованіемъ доказываетъ, что онъ самъ не знаетъ русскаго языка, его просяго, его души.

Впрочемъ, эта важность греческаго языка для пониманія языка русскаго получилась у насъ лишь въ видѣ попутнаго результата; наша тема здѣсь другая — исключительное значеніе античныхъ языковъ какъ полныхъ и цѣльныхъ отпечатковъ народной души. Но кн. Вяземскій говорилъ не только о душѣ: „его душа и быть родной“, гласитъ послѣдній изъ приведенныхъ мною стиховъ. Вы могли спросить: при чемъ тутъ быть родной? Выясню и это на примѣрѣ.

Вамъ всѣмъ извѣстно слово *rivalis*, перешедшее также и во французскій языкъ; его значеніе — «соперникъ». Но задумывались ли вы надъ его происхожденіемъ? Указать его

можетъ любой гимназистъ даже младшихъ классовъ: *socialis* отъ *socius*, *rivalis* отъ *rivus*. Да, конечно; но *rivus* означаетъ «ручей» — какимъ же образомъ его производное *rivalis* получило значеніе «соперникъ»? А вотъ какимъ образомъ. Въ Италіи, гдѣ дожди въ жаркое время рѣдкость, уже въ древности практиковалась система искусственныхъ орошеній: вода отъ рѣки или ключа отводилась съ помощью канала, *rivus*; къ этому каналу примыкали канавы, прорѣзывавшія подлежащіе орошенію поля и луга. Черезъ приподнятый шлюзъ вода въ нихъ вводилась изъ главнаго канала; если земля была достаточно пропитана влагой, шлюзъ опускался — *claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt*, говоритъ у Виргилія пастухъ. Теперь вы легко поймете, что въ засуху эта вода каналовъ цѣнилась очень дорого: при слишкомъ обильномъ орошеніи у верхняго сосѣда — нижній сосѣдъ могъ остаться безъ воды. Отсюда частые споры между «сосѣдами по каналу», между *rivales* — таково первоначальное значеніе нашего слова; въ этомъ значеніи оно употребляется римскими юристами. Не всегда, однако, эти споры, это соперничество между *rivales* оставалось на почвѣ гражданско-правовыхъ сношеній; бывали случаи много серьезнѣе. Отъ обильныхъ дождей питаемый горными ключами каналъ вздулся и разсвирѣпѣлъ; бурной струей текутъ его волны между сдерживающими ихъ плотинами, еще немного — и онѣ поравняются съ краемъ плотины нашего крестьянина или прорвутъ ее, зальютъ его поля, разрушатъ его хижину, разорятъ его..., если только онѣ не прорвутся раньше въ поля его сосѣда по ту сторону канала и не погубятъ его. *Tua mors — mea vita*. И вотъ онъ ночью, вооруженный заступомъ, прокрадывается къ плотинѣ сосѣда, чтобы ее раскопать и направить разрушительный потокъ на его луга, сады, строенія. Но и сосѣдъ не дремлетъ: едва раздались первые удары заступа, какъ сбѣгается челядь, пускается въ ходъ дубье, камни, ножи, происходитъ кровопролитная драка... между кѣмъ? Между *rivales*. Понятенъ вамъ теперь переходъ значенія въ этомъ словѣ? Такъ на лексической сокровищницѣ языка отражается «быть родной» создавашаго его народа.

Вернемся, однако, къ его душѣ; затронутый здѣсь вопросъ настолько интересенъ и важенъ, что мнѣ хотѣлось бы пояс-

нить его еще нѣсколькими примѣрами. Что такое potens?— «мощный»; а impotens?—изрѣдка «немошный», но чаще «страстный»—вотъ вамъ исповѣдъ народа, который въ разумѣ видѣлъ силу, неразумную же страсть отождествлялъ съ безсиліемъ. Далѣе: πρᾶσσω—«поступаю»; εὖ πρᾶσσω—«поступаю хорошо», а затѣмъ «я счастливъ». Вотъ та ячейка народнаго сознанія эллиновъ, изъ которой потомъ органически выросла нравственная философія Сократа, видѣвшая въ добродѣтели, т.-е. въ хорошихъ поступкахъ, необходимое условіе счастья, а затѣмъ—стоическая этика, учившая, что добродѣтель сама по себѣ дѣлаетъ человѣка счастливымъ. Далѣе: γινώσκω—«познаю, понимаю»; συγγινώσκω—собственно «понимаю вмѣстѣ», затѣмъ «прощаю»; что это значитъ? Это значитъ—tout comprendre c'est tout pardonner: гуманное правило, которымъ прославилась г-жа de Staël, давно уже имѣлось въ исповѣди греческаго народа. Но если христіанинъ молить Бога о прощеніи ему грѣховъ, то онъ не можетъ сказать Ему: „пойми ихъ вмѣстѣ со мной“; въ молитвѣ Господней сказано поэтому не συγγνωθι, а ἄφες, dimitte nobis peccata nostra—«отпусти»; dimitte не удержалось, но его замѣнило равнозначущее perdona, «подари мнѣ сверхъ заслуги», которое и понынѣ живетъ въ романскихъ языкахъ. Я привелъ это послѣднее обстоятельство въ виду *пятаго* достоинства древней семасіологии: оно состоитъ въ томъ, что, благодаря ей, мы получаемъ возможность на небольшихъ областяхъ проводить историческія перспективы, которыя и сами по себѣ интересны и цѣнны, и поддерживаютъ въ учащихся духъ историзма—эту сигнатуру современной науки, давшую истекшему XIX вѣку названіе saeculum historicum.

Вмѣстѣ же взятыя указанныя достоинства таковы, что благодаря имъ съ лихвой окупается затрачиваемое на усвоеніе античной семасіологии время; я, по крайней мѣрѣ, знаю по собственному опыту, что этимъ путемъ можно произвести на учащихся самое глубокое впечатлѣніе, пробуждая въ нихъ не только мысли, но и чувства.

Теперь два района «безплодной степи древнихъ языковъ» благополучно пройдены; остался третій—*синтаксисъ*. Это

вмѣстѣ съ тѣмъ для многихъ самый страшный районъ; къ нему преимущественно относится выраженіе «гимнастика ума», которое наши противники избрали главною мишенью для своихъ насмѣшекъ, замѣняющихъ у нихъ доказательства. Позвольте противопоставить имъ сужденіе человѣка, который, какъ мыслитель, имѣлъ представленіе о процессѣ мышленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ отецъ современной психологіи, не можетъ не имѣть авторитета въ интересующихъ насъ здѣсь психологическихъ вопросахъ — именно Шопенгауера. „При переводѣ на латинскій языкъ“, говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи *Über Sprache und Worte* § 299, „приходится совершенно освободить мысль отъ тѣхъ словъ, которыя въ подлинникѣ ее выражаютъ, чтобы она стояла въ нашемъ сознаніи нагой, какъ духъ безъ тѣла; а затѣмъ слѣдуетъ дать ей совершенно другое, новое тѣло при помощи латинскихъ словъ, которыя передаютъ ее въ совершенно другой формѣ, такъ что, напр., существительныя подлинника теперь выражены глаголами и т. д. Производство подобной метемпсихозы развиваетъ настоящее мышленіе. Здѣсь мы имѣемъ то же явленіе, которое въ химіи называется *status nascens*: простое вещество (*Stoff*), оставляющее одно соединеніе, чтобы вступить въ другое, обнаруживаетъ, во время своего перехода, особую и исключительную силу и дѣятельность. То же самое относится и къ обнаженной отъ словъ мысли при ея переходѣ изъ одного языка въ другой. Вотъ, стало быть, почему древніе языки непосредственно развиваютъ и укрѣпляютъ духъ“. И вотъ, прибавлю, почему Фулье могъ справедливо сказать: *chaque leçon de latin est une leçon de logique*; разумѣлъ онъ при этомъ, преимущественно, урокъ латинскаго синтаксиса, къ которому онъ смѣло могъ прибавить и греческій.

Къ положенію Шопенгауера мы еще вернемся; здѣсь пока отмѣтимъ, что оно касается лишь одной стороны дѣла; вторая, тоже важная, состоитъ въ томъ, что каждый урокъ латинскаго или греческаго синтаксиса есть въ то же время и урокъ русскаго языка. Возьмемъ примѣръ: проходя съ учениками греческій синтаксисъ, я предлагаю имъ для перевода по-гречески слѣдующія двѣ фразы: „чтобы его считали благочестивымъ, онъ часто молился“, и „чтобъ сердце гнѣвной матери Господь

смягчилъ, молюсь“. Конструкціи вполнѣ одинаковыя — два очевидныхъ предложенія цѣли, „молиться, чтобы“. Тѣмъ не менѣе по-гречески онѣ переводятся различно: въ первомъ случаѣ слѣдуетъ взять союзъ *ὅνα* съ сослагательнымъ наклоненіемъ, во второмъ — простое неопредѣленное наклоненіе. Почему такое различіе? Потому, что его требуетъ также и логика: вѣдь въ первомъ случаѣ „чтобы его считали благочестивымъ“ есть *только* цѣль молитвы, во второмъ же случаѣ „чтобы сердце гнѣвной матери Господь смягчилъ“ — не только цѣль, но и содержаніе; Некрасовскій крестьянинъ дѣйствительно молился: „Господи, смягчи сердце гнѣвной матери“, между тѣмъ какъ содержаніе молитвъ того ханжи неизвѣстно, да и не важно. Какъ же вамъ кажется: одному ли только греческому синтаксису научилъ я своихъ учениковъ, или же заставилъ ихъ относиться сознательно и къ синтактическимъ явленіямъ русскаго языка? Но, возразятъ намъ, той же цѣли можно достигнуть и безъ греческаго синтаксиса: проходите съ ними русскій синтаксисъ систематически, выясняйте на удачно подобранныхъ примѣрахъ различныя логическія категоріи, совмѣщаемыя въ одинаковыхъ категоріяхъ грамматическихъ — и дѣло будетъ сдѣлано. Отвѣчу: нѣтъ, этимъ путемъ дѣло не будетъ сдѣлано. Ученику нѣтъ надобности знать такія тонкости русскаго синтаксиса, чтобы понимать Некрасова, который и самъ врядъ ли ихъ зналъ; но ему необходимо ихъ знать для правильнаго перевода указаннаго рода фразъ по-латыни или по-гречески. Между тѣмъ, самый дѣйствительный педагогическій приѣмъ состоитъ въ слѣдующемъ: если цѣль, которую вы поставили ученикамъ, не самоинтересна, то вы достигнете ее не иначе, какъ превращая ее въ средство къ достиженію другой цѣли.

Вообще синтаксисъ, да и прочую грамматику, слѣдуетъ проходить именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и вотъ почему.

Первая причина та, что она развилась и выросла именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и потому сидитъ на русскомъ языкѣ точно краденое пальто. Какъ удобопримѣнныя грамматическія категоріи къ латинской фразѣ *mihi resumpta deest*, и какъ не примѣнны онѣ къ равнозначущей

русской фразѣ „у меня нѣтъ денегъ!“ Какъ объясните вы мальчику, гдѣ здѣсь подлежащее и гдѣ сказуемое? У римлянина *grando laedit segetem*, у русскаго „градомъ побиваетъ (кто?) посѣвъ“; римлянинъ хочетъ спать, русскому хочется спать; вездѣ видна разница между интеллектуалистическимъ характеромъ древнихъ языковъ и сенсуалистическимъ — русскаго. Да и всякій, полагаю я, знаетъ, что за бесплодное занятіе эти синтактическіе разборы (или анализы) русскихъ предложений вслѣдствіе постоянныхъ уклоненій живой рѣчи отъ грамматическихъ схемъ.

Да, господа, русскій языкъ сравнительно весьма неграмматиченъ; не будь древнихъ языковъ, изъ которыхъ была заимствована русская грамматика—онъ, вѣроятно, такъ и остался бы безъ нея. Быть можетъ, многіе изъ васъ не увидѣли бы въ этомъ большого ущерба: грамматика не пользуется особыми симпатіями молодежи. Но дѣло не въ симпатіяхъ: никто не можетъ отрицать, что грамматика — первый опытъ логики, примѣненной къ явленіямъ языка, и что въ этомъ заключается ея образовательное значеніе. Дѣйствительно, русскій языкъ въ своемъ синтаксисѣ гораздо менѣе логиченъ, чѣмъ древніе, по той же причинѣ, по какой онъ въ своей этимологической части менѣе интеллектуалистиченъ: его легче оцѣнить съ психологической, чѣмъ съ логической точки зрѣнія. Кто знаетъ, будь русскій языкъ предоставленъ самому себѣ, — мы имѣли бы, вмѣсто нынѣшней логической — психологическую его грамматику, и при синтактическихъ разборахъ, вмѣсто терминовъ «подлежащее, сказуемое, главное предложеніе и т. д.», употребляли бы термины: «господствующее представленіе—отступающее представленіе—замкнутая структура—открытая структура — ассоціативный элементъ и т. д.»... Понятно, что въ частностяхъ это себѣ представить трудно, такъ какъ психологія синтаксиса только нарождается. Она общаетъ быть интересной наукой, но по образовательному значенію она все-таки не можетъ сравниться съ испытаннымъ логическимъ синтаксисомъ, и школа имѣетъ полное основаніе дорожить этой не очень вкусной, но очень здоровой пищей, — а стало быть и древними языками, изъ которыхъ она, согласно сказанному, естественнѣе всего добывается.

Итакъ, преимущественная грамматичность древнихъ языковъ — вотъ первая причина, почему проходить грамматику и въ частности синтаксисъ слѣдуетъ именно на нихъ.

Вторая и, пожалуй, главная причина — это полная безцѣльность грамматики при ассоціаціонномъ усвоеніи языка. Ученикъ вѣдь прекрасно сознаетъ, что, производя этимологиическій или синтактиическій разборъ заданнаго отрывка, онъ ни на іоту не понимаетъ его лучше, чѣмъ понималъ раньше; а потому эти упражненія и не оставляютъ слѣда въ его умственномъ развитіи. Напротивъ, при переводѣ каждой почти фразы древняго языка на русскій приходится спрашивать себя, гдѣ здѣсь подлежащее, гдѣ сказуемое, что здѣсь выражаетъ *ut*, — слѣдствіе или цѣль — и т. д.; здѣсь грамматическій анализъ является дѣйствительно средствомъ къ пониманію текста, а не цѣлью самъ по себѣ; здѣсь онъ, поэтому, и разуменъ и продотворенъ.

А затѣмъ, прежде чѣмъ кончить съ синтаксисомъ и грамматикой вообще, я долженъ заявить, что по моему мнѣнію, наши руководства грамматики обоихъ древнихъ языковъ нуждаются въ реформѣ. Объ этой реформѣ говорятъ здѣсь не мѣсто; ограничусь, поэтому, замѣчаніемъ, что цѣлью этой реформы должно быть не столько ихъ сокращеніе, ихъ освобожденіе отъ такъ называемаго балласта, сколько ихъ приспособленіе къ образовательной цѣли изученія древнихъ языковъ. Слѣдуетъ выдвинуть и развить ту часть грамматическаго матеріала, которая цѣнна въ логическомъ и психологическомъ отношеніяхъ; слѣдуетъ по возможности облегчить усвоеніе той части, которая, не имѣя цѣнности сама по себѣ, тѣмъ не менѣе необходима для пониманія греческихъ и латинскихъ текстовъ; и слѣдуетъ пропустить ту, которая ни съ той, ни съ другой точки зрѣнія не нужна.

Теперь продолжаю.

Къ синтаксису примыкаетъ стилистика; не являясь сама по себѣ предметомъ преподаванія, она тѣмъ не менѣе косвенно проходится, хотя и не систематически, при переводахъ съ древнихъ языковъ на русскій и наоборотъ; она стоитъ, такимъ образомъ, на рубежѣ между грамматикой и чтеніемъ авторовъ. Что сказать о ней? Вышеприведенныя слова Шопенгауера при-

мѣнимы къ ней въ такой же мѣрѣ, если не въ большей еще, чѣмъ къ синтаксису. Когда я латинскую фразу *Hannibalem conspecta moenia ab oppugnanda Neapoli deterruerunt* перевожу по-русски „видѣ стѣнъ удержалъ Аннибала отъ осады Неаполя“, то я называю этотъ переводъ «литературнымъ» въ противоположность буквальному, но невозможному по-русски переводу „увидѣнный стѣны удержали Аннибала отъ имѣющаго быть осажденнымъ Неаполя“; при этомъ я, во-первыхъ, убѣждаюсь, что выше существительныхъ и глаголовъ стоятъ понятія, которыя сами по себѣ не являются ни тѣми, ни другими, и лишь вслѣдствіе стилистическихъ условій языка, на которомъ мы говоримъ, выражаются либо тѣми, либо другими; говоря иначе, я учусь эманципировать понятія отъ словъ, которыми они выражаются, а это — необходимая подготовка къ философскому мышленію, къ разсужденію, такъ какъ, по мѣткому выраженію Фр. Ницше, „всякое слово есть предразсудокъ“. Во-вторыхъ же, я на такихъ примѣрахъ изучаю именно тѣ стилистическія условія, о которыхъ было упомянуто только что, узнаю на опытѣ, что свойственно и что несвойственно и латинской, и русской рѣчи. А что латинскій языкъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно незамѣнимъ — въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, если онъ потрудится перевести предложенный мною примѣръ на любой изъ новыхъ языковъ: *l'aspect des murs* — *der Anblick der Mauern* — вездѣ существительныя, какъ и по-русски, латинскій языкъ со своими глаголами стоитъ особнякомъ; даже грекъ скажетъ τῆς πολιορκίας вмѣсто *oppugnanda*. И не думайте, что это странное предпочтеніе, отдаваемое глаголамъ, есть свойство одной только грамматики латинскаго языка — оно стоитъ въ связи съ самымъ процессомъ римскаго мышленія, которое было именно актуальнымъ, а не субстанціальнымъ, и нашло себѣ высшее выраженіе въ римской религіи: римская религія, поскольку она была римской, основывалась на обоготвореніи актовъ, была религіей актуальной, а не субстанціальной. Кто бы могъ думать, что существуетъ такая интимная связь между столь разнородными предметами, какъ грамматика — и религія? А между тѣмъ она есть, и своимъ существованіемъ лишній разъ доказываетъ правильность много разъ приведеннаго слова: „языкъ есть исповѣдь народа“.

Это разъ. Но если въ этомъ отношеніи латинскій языкъ (съ греческимъ) является средствомъ для *теоретическаго* познания языка и языковъ, то въ другомъ отношеніи онъ справедливо можетъ быть названъ школой для *практическаго* усовершенствованія стили. И долженъ подчеркнуть фактъ, что мы стоимъ здѣсь на вполне твердой почвѣ историческаго опыта; какъ я уже замѣтилъ выше, народы запада выработали свою художественную прозу именно на латинскомъ языкѣ, путемъ старательнаго его изученія и сознательнаго ему подражанія. Да и у насъ художественная проза, поскольку мы ею обладаемъ, результатъ той строгой школы, которую нашъ языкъ прошелъ въ такъ называемый ложно-классическій періодъ; обладаемъ же мы ею еще только въ слабой степени, и можно по праву утверждать, что русскій языкъ еще далеко не вполне развернулся, не нашелъ той художественной формы, которая бы соответствовала его природной силѣ и гибкости. Но вы можете меня спросить, благодаря какимъ же своимъ качествамъ латинскій языкъ былъ и еще можетъ быть воспитателемъ стили для насъ; постараюсь дать и здѣсь по возможности ясный и краткій отвѣтъ, а для этого выберу изъ многихъ сюда относящихся сторонъ латинской стилистики одну, особенно яркую — *періодъ*.

Попрошу тутъ прежде всего оставить въ сторонѣ одинъ предразсудокъ: если вы думаете, что періодъ выражаетъ собой лишь пышность стили, что это какой-то торжественный трезвонъ, громкій для слуха и безсодержательный для мысли, то вы глубоко заблуждаетесь. Для мыслителя, вслѣдствіе сложности взаимнаго тяготѣнія частей и частицъ занимающей его въ каждомъ данномъ случаѣ мысли, *періодъ* — этотъ живой организмъ съ его столь опредѣленно выраженнымъ подчиненіемъ второстепенныхъ предложеній главнымъ, а третьестепенныхъ второстепеннымъ, — является необходимой крупной единицей разсужденія, безъ которой построеніе доказательства было бы такъ же затруднено, какъ сложныя алгебраическія вычисленія безъ заключенныхъ въ скобки полиномовъ. Но для того, чтобы служить этой цѣли, періодъ долженъ быть вполне удобообозримъ; удобообозримость же достигается разнообразіемъ подчиненности. Степеней подчиненности три: есть предложенія главные, придаточныя полныя

и придаточныя сокращенныя. Первыя двѣ общи всѣмъ культурнымъ языкамъ; совершенство языка въ смыслѣ періодизаціи зависитъ отъ наличности и распространенія въ немъ третьей степени — сокращеннаго придаточнаго предложенія. Въ этомъ отношеніи изъ близкихъ намъ языковъ ниже всѣхъ стоитъ языкъ нѣмецкій; это — языкъ двустепенный, сокращеніе придаточныхъ предложений въ немъ почти не допускается. „Человѣкъ, никогда не учившійся“, вы не можете передать сокращеннымъ относительнымъ предложениемъ: „ein Mensch nie gelernt habender“ — вы должны взять полное относительное предложение: „ein Mensch, der nie gelernt hat“. Выше стоятъ романскіе языки; они допускаютъ сокращеніе нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложений путемъ главнымъ образомъ дѣепричастныхъ конструкций (ayant appris... и т. д.), но не относительныхъ и не дополнительныхъ. Еще выше стоитъ языкъ русскій: въ немъ возможны сокращенія и нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложений путемъ дѣепричастныхъ, и, относительныхъ путемъ причастныхъ конструкций, хотя и съ ограниченіями; сокращеніе дополнительныхъ предложений, однако, невозможно и здѣсь. Наибольшей степени совершенства достигли языки древніе: они сокращаютъ и обстоятельственныя предложенія (притомъ греческій — всѣ, латинскій — лишь нѣкоторые), и относительныя (притомъ не только при тѣхъ же подлежащихъ, но, благодаря такъ называемымъ *ablativus* или *genitivus absolutus*, и при различныхъ), и дополнительные (благодаря *accusativus cum infinitivo*). Итакъ, древніе языки, какъ вполне трехстепенные, наиболѣе совершенны въ смыслѣ періодизаціи; изъ новыхъ же языковъ къ нимъ наиболѣе приближается языкъ русскій.

Но тѣ достоинства, которыми сама природа надѣлила русскій языкъ, остаются большею частью втунѣ. Къ сожалѣнію, непосредственно воспитательной роли древніе языки по отношенію къ русскому въ *новыя времена* не играли; въ древнія времена русской исторіи греческій языкъ дѣйствительно, какъ мы видѣли, былъ воспитателемъ русскаго, и за это спасибо ему: тогда именно и сложились природныя стилистическія силы этого послѣдняго. Нѣтъ, я говорю о новыхъ временахъ, когда вырабатывалась наша художественная проза, вплоть до нашихъ дней. Посмотрите, какой огромный процентъ въ нашей лите-

ратурѣ (въ широкомъ смыслѣ) составляетъ литература переводная; можете ли вы допустить, что эта литература останея безъ вліянія на языкъ? А между тѣмъ переводятъ у насъ почти исключительно съ французскаго, нѣмецкаго, англійскаго, т.-е. съ такихъ языковъ, которые, какъ двустепенные, въ стилистическомъ отношеніи стоятъ ниже русскаго (въ другихъ отношеніяхъ они выше, по это насъ здѣсь не касается). Переводчики, а съ ними и ихъ читатели, приучаются не пускать въ ходъ всѣхъ стилистическихъ силъ родного языка, пизводитъ его до уровня тѣхъ, съ которыхъ они переводятъ; результатъ — оскудѣніе русскаго языка. Въ одномъ направленіи съ этими переводами дѣйствуетъ и другая разрушительная сила: нездоровое стремленіе приблизить литературный языкъ къ естественно небрежной разговорной рѣчи; а съ тѣхъ поръ, какъ литературная русская рѣчь изъ рукъ писателей перешла въ руки публицистовъ, опасность оскудѣнія стала еще сильнѣе.

И прошу васъ, господа, серьезно взвѣсить тѣ соображенія, которыя я привожу вамъ здѣсь — не сомнѣваюсь, что многіе изъ васъ ихъ слышатъ впервые — и не брать на вѣру утѣшительныхъ моихъ противниковъ, которые то, что я называю здѣсь оскудѣніемъ, выдаютъ за естественность и говорятъ вамъ о прелести простоты. Что касается естественности, то мы давно отказались отъ плодотворнаго въ свое время заблужденія Руссо, который естественность смѣшивалъ съ примитивностью, и вернулись къ опредѣленію Аристотеля, что естественность заключается въ совершенствѣ, а не въ зародышѣ: для русскаго языка, трехстепеннаго по своей природѣ, естествененъ богатый періодъ, а не убогая стилизація западныхъ языковъ и разговорной рѣчи. Что же касается прелести простоты, то если вы ею такъ увлекаетесь, — что же, отбросьте въ музыкѣ хроматику, вернитесь къ семиструнной, а то и къ четырехструнной лирѣ; отбросьте и аккорды, объявите верхомъ музыкальной прелести исполняемаго однимъ пальцемъ «чижика». Отбросьте, равнымъ образомъ, роскошную палитру Рафаэлей и Рубенсовъ, или нашихъ Рѣпиныхъ и Васнецовыхъ, вернитесь — какъ это, впрочемъ, и дѣлаютъ нѣкоторые художники-декаденты — къ живописи четырьмя красками безъ оттепковъ; все это — прелесть простоты... Итъ, господа: въ рукахъ вашихъ и вашихъ сверст-

никовъ будущее вашего родного языка. Помните, что въ Аѳинахъ считалось долгомъ чести каждаго гражданина, чтобы онъ унаслѣдованное отъ отцовъ достояніе передалъ сыну не уменьшеннымъ, а скорѣе увеличеннымъ; кто этого не дѣлалъ, про того говорили на картинномъ языкѣ тѣхъ временъ, что онъ «сѣлъ отцовское добро», τὰ πατρὶα κατεδάμωκεν, и подвергали его атиміи. Вспомните строгій судъ теперешней Франціи въ лицѣ Тэна надъ французской академіей XVII в. за то, что она, увлекаясь стремленіемъ къ простотѣ, допустила (лексическое) оскудѣніе роскошнаго языка Рабелэ; берегитесь, какъ бы и про васъ потомки не сказали, что вы въ области языка «сѣли отцовское добро».

Конечно, вы изъ моихъ словъ не выведете заключенія, что я приглашаю васъ вездѣ и всегда говорить и писать трехстепенными періодами; вѣдь если я совѣтую вамъ развивать свои физическія силы, то это не значить, что вы, чтобы передать сосѣду чашку кофе, должны пускать въ ходъ обѣ руки и упираться всѣмъ корпусомъ. Нѣтъ: мое утвержденіе сводится къ тому, что образованный русскій долженъ *умѣть* строить сложные и въ то же время удобообозримые періоды тамъ, гдѣ этого требуетъ мысль, гдѣ это нужно для логической или психологической полноты разсужденія или изложенія. И вотъ въ этомъ отношеніи классическая школа, при руководствѣ знающихъ свое дѣло преподавателей, можетъ оказать русскому языку существенную услугу. Нѣмецкая и французская проза, вслѣдствіе своего еще меньшаго совершенства, для насъ вполнѣ бесполезны; только античная проза, принуждая насъ при переводѣ пускать въ ходъ всѣ стилистическія достоинства нашего языка, можетъ служить школой для нашихъ стилистовъ и спасти русскую рѣчь отъ угрожающихъ ей серьезныхъ и невозвратимыхъ утратъ.

Тутъ я предвижу, однако, слѣдующаго рода возраженіе: можно ли ожидать пользы для русскаго языка отъ классической прозы, когда вы сами, господа классики, портите его своими стилистическими перлами? Не вами ли избрѣтено «онъ нанесъ войну», «онъ былъ отсѣченъ относительно головы» и т. п.?

Возраженіе это въ значительной степени устарѣло: конечно,

въ тѣ времена, когда преподаваніе классическихъ языковъ было поручаемо лицамъ, плохо знавшимъ русскій языкъ, другого и ожидать нельзя было. За вычетомъ же этихъ ненормальностей остается въ силѣ вотъ что: мы, классики, дѣйствительно иногда, съ педагогической цѣлью, прибѣгаемъ къ переводу дословному, который я называю «рабочимъ переводомъ» (по аналогіи термина «рабочая гипотеза»); такъ, напримѣръ, я не могу объяснить ученику *учащемуся* только по-латыни, а не вполнѣ владѣющему ею, стилистическое различіе между *Hannibalem conspecta moenia ab oppugnanda Neapoli deteruerunt* и «*видѣ стѣны удержалъ Аннибала отъ осады Неаполя*»—иначе какъ сопоставляя съ этимъ послѣднимъ «литературнымъ переводомъ» также и рабочій переводъ „Аннибала *увидѣнныя* стѣны удержали отъ *имѣющаго быть* осажденнымъ Неаполя“. (Иногда учитель потребуетъ отъ ученика рабочаго перевода для того, чтобы убѣдиться, что онъ работалъ самостоятельно: но это уже скорѣе педагогически-полицейская, чѣмъ педагогически-образовательная мѣра). Но во всѣхъ такихъ случаяхъ рабочій переводъ—не болѣе какъ переходная ступень, соотвѣтствующая такой же переходной ступени въ работѣ самой мысли; бываетъ, что человѣкъ останавливается на немъ, но это—плодъ лѣности или небрежности, который терпимъ быть не долженъ. Рабочій переводъ—то же, что негативъ для фотографа: онъ такъ же необходимъ, какъ переходная ступень, и такъ же недопустимъ, какъ окончательная цѣль и окончательный результатъ нашего труда.

Но, отвѣтять, называйте это негативомъ или какъ вамъ угодно будетъ, а все-таки эти безобразные «рабочіе переводы» существуютъ, ученикъ ихъ слышитъ, они безсознательно отзываются на его стилѣ, искажая и извращая его.—Нѣтъ, отвѣчу, они не отзываются на немъ; если вы другого мнѣнія, то я прошу васъ указать мнѣ одинъ примѣръ такой порчи русскаго языка, которой мы были бы обязаны вліянію античной рѣчи. Вы его не найдете; уже таковъ характеръ этой послѣдней что языкъ-ученикъ воспринимаетъ изъ нея одно только здоровое, ведущее къ интеллектуальному и художественному совершенствованію, и безсознательно выдѣляетъ все то, что заставило бы его уклониться отъ этой восходящей колені. Мо-

жемъ ли мы сказать то же самое и про новыя языки? Спросите ревнителей чистоты русскаго языка, насколько они довольны тѣмъ симбіозомъ русскаго языка съ французскимъ, осязательнымъ результатомъ котораго явился пресловутый францужско-нижегородскій жаргонъ. Я не говорю здѣсь о такихъ позорныхъ проявленіяхъ лингвистическаго недомыслия, какъ идиотская поговорка „онъ не въ своей тарелкѣ“, заклеименная еще Пушкинымъ и все еще не вышедшая изъ употребленія — поговорка, доказывающая, что ея творецъ никакого другого значенія французскаго *assiette*, кромѣ гастрономическаго, не зналъ. Нѣтъ, оставимъ это; но что скажете вы объ оборотахъ вроде „это происшествіе имѣло мѣсто тогда-то“, „это меня устраиваетъ“, „кровавая баня“, „государственный ударъ“ и т. д.? Античнаго они происхожденія? Нѣтъ. Скорѣе можно сказать, что школа античности учить насъ, — въ силу той усиленной сознательности, которую она сообщаетъ своимъ ученикамъ въ области лингвистическихъ явленій — замѣчать ихъ несвойственность и избѣгать ихъ.

Довольно, однако, о стилистикѣ и о языкахъ вообще. Все ли я вамъ высказалъ и развилъ? Нѣтъ, далеко не все. Я не говорилъ вамъ о томъ важномъ фактѣ, что мы только на древнихъ языкахъ можемъ прослѣдить, такъ сказать, *исторію* воплощенія мысли въ словахъ; переходя отъ Гомера къ Геродоту, далѣе въ Фукидиду, Ксенофонту, Платону, отъ нихъ къ Демосфену и заканчивая Цицерономъ, мы видимъ, какъ духъ борется съ матеріей рѣчи, какъ онъ путемъ послѣдовательныхъ интеграцій разрозненныхъ ея частей вводитъ въ нее порядокъ и градацію подчиненія и изъ самостоятельныхъ предложеній такъ называемаго «нанизывающаго стиля» (*λέξις εἰρομένη*) создаетъ объединенный и централизованный періодъ, приблизительно такъ же, какъ изъ самостоятельныхъ и самодовлѣющихъ общинъ создается объединенное и централизованное государство. Это, да и много другого, я долженъ пропустить; я и такъ боюсь, что утомилъ ваше вниманіе, такъ долго останавливаясь на языкѣ. Но, господа, эта обстоятельность не была несоразмѣрной: вѣдь и вы, ученики гимназій, употребили много времени на усвоеніе обоихъ древнихъ языковъ и тоже, можетъ быть, склонны думать, что этого вре-

мни было слишкомъ много. Я же взялся доказать вамъ, вопреки мнѣнію многихъ, что время, употребленное вами на изученіе античности, не было истрачено безъ пользы; не могъ я въ виду этого не остановиться на той пользѣ, которую вамъ принесло изученіе системы древнихъ языковъ, какъ таковыхъ.

Но, разумѣется, не ради этой только пользы заставляли васъ учиться по-латыни и по-гречески: главное значеніе древнихъ языковъ—то, что они открываютъ намъ непосредственно доступъ къ античной литературѣ и, косвенно, къ античной культурѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Моя ближайшая тема поэтому — выяснить вамъ образовательное значеніе *античной литературы*; ее я намѣтилъ для слѣдующей же, второй сегодняшней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Первая антитеза: окончаніе.—Чтеніе памятниковъ.—Подлинники и переводы.—Переводимое и непереваемое.—Учебно-нравственная точка зрѣнія.—Моральные, аморальные и имморальные предметы.—Переубѣдимость —Учебно-интеллектуальная точка зрѣнія.—Интеллектуализмъ и универсализмъ.—Историческая перспектива.—Оптимизмъ.—Чувство правды: его два требованія.—Заключеніе.

Переходя отъ древнихъ языковъ къ античной литературѣ, я испытываю пріятное ощущеніе чловѣка, который изъ изгоя общественнаго мнѣнія превращается въ гражданина, если не полноправнаго, то, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторыми правами. Значительная часть современнаго общества, даже у насъ въ Россіи, признаетъ важность изученія античной литературы, особенно греческой; полагаютъ только, что для этого изученія нѣтъ надобности обращаться къ подлинникамъ — можно удовольствоваться переводами.

Когда въ комиссіи по реформѣ средней школы, членомъ которой я имѣлъ честь состоять, обсуждали вопросъ о желательныхъ улучшеніяхъ въ учебномъ планѣ реальныхъ училищъ, то просвѣщенные ревнители этого столь важнаго и необходимаго у насъ типа образовательной школы высказывали пожеланіе, чтобы въ его программу было введено изученіе также и античной литературы — но, конечно, въ переводахъ. Если эта идея осуществится, то различіе между классической и реальной школой по интересующему насъ здѣсь вопросу сведется, главнымъ образомъ, къ тому, что классическая школа будетъ знакомить своихъ питомцевъ съ подлинниками тѣхъ

произведеній, которыя питомцы реальной школы будутъ читать въ переводахъ. Слѣдуетъ ли въ этомъ различіи признать преимущество классической школы, и если да, то почему? Другими словами: могутъ ли переводы замѣнить подлинники, и если нѣтъ, то въ чемъ состоитъ ихъ недостаточность? Вотъ вопросъ, котораго я не могу обойти молчаніемъ; не опасайтесь, однако, что онъ отвлечетъ насъ отъ нашей темы. Нѣтъ; по моему убѣжденію, въ правильности котораго я надѣюсь убѣдить и васъ, сокровища античной литературы распадаются на такія, которыя можно перенести также и въ переводы, и такія, которыя неразрывно связаны съ формой подлинника; такимъ образомъ, отвѣтъ на поставленный только-что вопросъ будетъ въ то же время и характеристикой античной литературы.

Какъ видите изъ этихъ моихъ словъ, я не принадлежу къ безусловнымъ противникамъ переводовъ. Я самъ выступалъ въ роли переводчика и издалъ очень крупный по объему томъ, который, смѣю надѣяться, займетъ не послѣднее мѣсто въ нашей переводной литературѣ; но именно поэтому я знаю, что можетъ передать переводъ и чего нѣтъ. Кто приглашаетъ васъ довольствоваться переводомъ вмѣсто подлинника, тотъ разсуждаетъ точно такъ же, какъ если бы онъ вамъ говорилъ: къ чему вамъ ходить въ консерваторію слушать симфоніи Бетховена или Чайковскаго, когда вы можете съ гораздо большимъ удобствомъ ознакомиться съ ними на дому по переложеніямъ для фортепіано. Вы знаете, между тѣмъ, что это и такъ и не такъ: переложеніе даетъ вамъ кое-что, но не все, и чѣмъ художественнѣе, чѣмъ глубокомысленнѣе симфоническое произведеніе, тѣмъ менѣе можетъ его замѣнить фортепіанное переложеніе, такъ какъ тонкость мысли и формы достигается именно умѣлымъ пользованіемъ характерными особенностями каждаго инструмента, которыхъ рояль воспроизвести не можетъ. То же самое и здѣсь. Возьмите начало Цезаря: *Gallia est omnis divisa in partes tres*, „вся Галлія раздѣлена на три части“ — переводъ вполнѣ передаетъ подлинникъ, ничего въ немъ не пропущено. Возьмите возгласъ Θетиды у Гомера, когда она узнаетъ о постигшемъ ея сына, Ахилла, несчастіи: ὦ μοῖρα δούραιστοτόκεα, „о я, на горе себѣ родившая лучшаго въ мірѣ героя“ — и здѣсь все передано, только для этой полной

передачи мнѣ пришлось вмѣсто одного слова подлинника взять въ переводѣ цѣлыхъ восемь; а какъ отъ такого разбавленія страдаетъ сила выраженія, это вы легко поймете. Возьмите, наконецъ, характеристику аѳинянъ у Фукидида въ надгробной рѣчи Перикла: φιλοκαλοῦμεν μὲν εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας — тутъ уже у переводчика руки опускаются. Конечно, онъ пойметъ, что здѣсь идетъ рѣчь о народѣ-художникѣ, отдѣлившемъ художественную красоту формы отъ притязательной пышности матеріала, о народѣ-мыслителѣ, сѹмѣвшемъ избѣгнуть разлагающаго вліянія силы мысли на силу воли, — но втиснуть эти два сужденія въ форму той краткой, звонкой и мѣткой антитезы, которую они имѣютъ у Фукидида, представится ему по справедливости неисполнимой задачей.

Итакъ, не будемъ пренебрегать переводами, но не будемъ также считать ихъ достаточной замѣной подлинника. Шопенгауеръ сказалъ, что они относятся къ подлиннику (онъ имѣетъ въ виду античную литературу), какъ цикорій къ кофе; кто-то другой сказалъ, что они передаютъ лишь изнанку ковра. Это, пожалуй, несправедливо; скорѣе можно будетъ сказать, что при своеобразныхъ условіяхъ древней рѣчи каждый переводъ древняго произведенія на одинъ изъ новыхъ языковъ будетъ относиться къ подлиннику приблизительно такъ же, какъ деревянные модели человѣческаго тѣла, которыми пользуются при прохожденіи анатоміи, къ дѣйствительному человѣческому тѣлу: они даютъ общее понятіе о структурѣ и содержаніи подлинника, но его тонкостей въ нихъ не ищите. Но и эти модели бываютъ различны: есть между ними дѣйствительно художественныя, приносящія несомнѣнную пользу; есть и грубыя, аляповатыя, дающія совершенно превратное представленіе объ оригиналѣ. Наши переводы древнихъ авторовъ относятся, къ сожалѣнію, въ громаднѣмъ большинствѣ случаевъ къ этой послѣдней категоріи; очень мало такихъ, въ которыхъ мы могли бы найти хоть намекъ на художественность. Что-жъ! будемъ желать и стараться, чтобъ ихъ было больше; другого ничего не остается. Но какъ бы они ни были совершенны — все-таки остается въ силѣ правило, что толковать античность, всесторонне разбирать ее можно только на подлинникахъ, точно такъ же, какъ изучать структуру тканей

человѣческаго тѣла можно только въ натурѣ, а не на деревянныхъ моделяхъ.

Но именно этотъ методъ толкованія не всѣми признается полезнымъ. Не лучше ли, въ самомъ дѣлѣ, прочесть десять книгъ Ливія въ переводѣ, чѣмъ одну въ подлинникѣ? Вы понимаете, что я говорю здѣсь о такъ называемомъ старинномъ чтеніи древнихъ авторовъ въ гимназіи. Есть ли отъ него польза, и если да, то въ чемъ состоитъ она?

Тутъ, господа, я долженъ первымъ дѣломъ выдвинуть ту точку зрѣнія, которую я называю учебно-нравственной... Я долго колебался, слѣдуетъ ли мнѣ о ней говорить передъ вами; люди, мнѣнію которыхъ я придаю значеніе, совѣтовали мнѣ не дѣлать этого, да и самъ я сознаю, что это было бы благоразуміе. Но служеніе истинѣ не всегда совмѣстимо съ благоразуміемъ, и я все-таки рѣшился сообщить вамъ свои взгляды на этотъ счетъ, такъ какъ я имъ придаю очень большое значеніе, и надѣюсь, что вы поймете и оцѣните ихъ лучше, чѣмъ нѣкоторые изъ тѣхъ, которые слышали ихъ отъ меня раньше. Все же я прошу васъ отнестись къ тому, что я имѣю вамъ сказать, съ особеннымъ вниманіемъ.

Что это такое, прежде всего, учебно-нравственная точка зрѣнія?

Ни наука, ни ученіе непосредственно нравственныхъ цѣлей не преслѣдуютъ. Ихъ объектъ—истина; обладаніе же истиной само по себѣ не дѣлаетъ человѣка нравственнымъ. Нѣтъ, не обладаніе истиной, а тотъ путь, которымъ она намъ досталась, то усиліе, которое мы сдѣлали надъ собой, чтобъ ее признать—вотъ въ чемъ заключается нравственный элементъ науки и ученія. Въ томъ, что вы признаете вращеніе земли вокругъ солнца, еще ничего нравственнаго нѣтъ; но если вы вначалѣ усвоили противоположное мнѣніе и затѣмъ, ознакомившись съ доводами вашихъ противниковъ, преклонились передъ истиной—вотъ это былъ нравственный подвигъ: изъ столкновенія истины съ человѣческимъ умомъ произошло нравственное качество послѣдняго—правдивость. „Вначалѣ я спорилъ съ вами, но теперь вижу, что былъ неправъ“—вотъ девизъ правдивости, и то ученіе, которое даетъ поводъ къ нему, я называю нравственнымъ. Такова учебно-нравственная точка зрѣнія; теперь

примѣнимъ ее къ предметамъ гимназическаго преподаванія. Предупреждаю васъ, что отношеніе каждаго предмета вообще къ нравственности бываетъ троякимъ: благопріятнымъ, неблагопріятнымъ и безразличнымъ. Благопріятно дѣйствующій на нравственность предметъ мы называемъ моральнымъ; неблагопріятно дѣйствующій—имморальнымъ; безразличный—аморальнымъ (очень некрасивое слово, которое я употребляю лишь скрѣпя сердце, но обойтись безъ него нельзя). Такъ какъ я объяснилъ, въ какомъ значеніи я здѣсь понимаю слово «нравственность», то я надѣюсь, что оно никакихъ недоразумѣній не вызоветъ; своихъ противниковъ—если бы таковые оказались въ этой аудиторіи—я прошу твердо запомнить это мое объясненіе и воздерживаться отъ всякихъ каламбуровъ по поводу нашего слова, какъ бы они ни были соблазнительны.

Итакъ, каково отношеніе къ этой учебной нравственности—учебныхъ предметовъ?

Начнемъ съ античной литературы, изучаемой въ подлинникѣ—съ того, что принято называть «чтеніемъ авторовъ». Представляю себя въ роли учителя; передо мной текстъ, который я долженъ объяснить, но—такой же текстъ находится и передъ каждымъ изъ учениковъ. Поясню вамъ, что это значитъ. Давая ученику въ руки текстъ, я даю ему этимъ самымъ общее поле для наблюденій и изслѣдованій; на этомъ полѣ я буду его руководителемъ, но не болѣе: онъ имѣетъ и право и возможность контроля, и надъ нами обоими властвуетъ высшая инстанція—истина. Беру примѣръ изъ Горація:

Scribendi recte sapere est et principium et fons.

Между мною и ученикомъ возникаетъ споръ о томъ, куда отнести *recte*. Онъ отнесъ его къ *scribendi* и перевелъ „быть умнымъ”—вотъ начало и источникъ того, чтобы правильно писать“. Мнѣ почему-то показалось, что *recte* слѣдуетъ отнести къ *sapere*, и что переводить надо „правильно мыслить—вотъ начало и источникъ писательства“. Ученикъ не сдается: „цезура, говоритъ онъ, стоитъ между *recte* и *sapere*, разъединяя ихъ, такъ что уже по этой причинѣ удобнѣе соединять *recte* со *scribendi*: того же требуетъ и смыслъ, такъ какъ умъ—источникъ не всякаго писательства, а только хорошаго, пра-

вильнаго; можно вѣдь писать и вовсе безъ ума“. — „Это вѣрно“, отвѣчаю, „но цезура часто разъединяетъ соединенныя смысломъ слова (привожу примѣры), такъ что это соображеніе имѣетъ только вспомогательное значеніе; что же касается вашего второго соображенія, то о неправильномъ писательствѣ поэтъ и говорить не станетъ“, — „Все-таки“, говоритъ ученикъ, „оказывается, что мое толкованіе имѣетъ больше основанія“. — „Нѣтъ“, отвѣчаю, „такъ какъ при вашемъ толкованіи слово *sapere* останется безъ опредѣленія, въ которомъ оно, однако, нуждается: это—слово безразличное, его первоначальное значеніе—«имѣть извѣстный вкусъ» (отсюда—*sapor*, франц. *saveur*), а затѣмъ «имѣть извѣстныя умственные свойства». Для того, чтобы получить значеніе «быть умнымъ», оно нуждается въ опредѣленіи, въ этомъ самомъ *recte*, которое вы отъ него отнимаете“, — „Почему же“, спрашиваетъ ученикъ, „вѣдь отъ *sapere* происходитъ причастіе *sapiens*, а его значеніе—положительное «умный», а не безразличное «имѣющій извѣстныя умственные свойства»“. — „Это не доказательство“, отвѣчаю, „такъ какъ причастія отъ безразличныхъ глаголовъ, превращаясь въ прилагательныя, часто получаютъ положительное значеніе; такъ отъ безразличнаго *pati* «переносить» вы образуете *patiens* «хорошо переносящій, терпѣливый». А вы найдете мнѣ примѣръ, чтобы самый глаголъ *sapere* безъ опредѣленія имѣлъ положительное значеніе «быть умнымъ»?“ — Ученикъ пока умолкаетъ, а на слѣдующемъ урокѣ преподноситъ мнѣ изъ того же Горация примѣръ *sapere aude*—«рѣшись быть умнымъ». — „Да, это вѣрно“, говорю я ему, „я былъ неправъ“. — Привожу этотъ примѣръ, такъ какъ это—случай изъ моей собственной, хотя и давнишней практики начинающаго преподавателя, а также и потому, что я Оскаръ Іегеръ, извѣстный нѣмецкій педагогъ, рассказываетъ, не сообщая частныхъ, нѣчто подобное изъ воспоминаній своего отрочества; „тутъ мы почувствовали, говорить онъ, что есть сила, выше и учителя и насъ—истина“.

Таково учебно-нравственное значеніе древнихъ авторовъ; какъ видите, оно даетъ намъ полное право признать этотъ предметъ моральнымъ. Теперь возьмемъ для сравненія два другихъ предмета..., при чемъ я прошу васъ помнить, что я опять

излагаю вамъ главу изъ будущаго «психологическаго науковѣдѣнія», и не приписывать мнѣ желанія обидѣть или принизить какой бы то ни было предметъ. Противъ этого предположенія я протестую самымъ энергическимъ образомъ. Я уже разъ заявлялъ, что именно моя спеціальность научила меня уважать всѣ науки, входящія въ составъ грандіознаго общенаучнаго зданія; какъ это случилось, объ этомъ я еще скажу. Но, господа, мы имѣемъ право сказать, сравнивая коня съ орломъ, что у орла крылья есть, а у коня ихъ нѣтъ, и это не будетъ значить, что мы умаляемъ значеніе коня — у него есть за то другія достоинства, которыхъ нѣтъ у орла. Равнымъ образомъ и здѣсь, признавая не только огромную важность математики, но и ея огромную образовательную силу, я тѣмъ не менѣе имѣю право сказать что того учебно-нравственнаго значенія, о которомъ я здѣсь говорю, за ней признать нельзя. И она, конечно, преслѣдуетъ истину, но какъ? путемъ строгихъ, опредѣленныхъ дедукцій, не дающихъ никакого простора для научныхъ споровъ; несогласное съ истиной мнѣніе не можетъ, конечно, удержаться, но оно не можетъ и возникнуть сколько-нибудь разумнымъ образомъ — по крайней мѣрѣ въ той математикѣ, которая входитъ въ предѣлы гимназическаго курса. Это доказывается и ея исторіей; конечно, было время, когда не знали, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ, или что сумма двухъ чиселъ, помноженная на ихъ разность, равна разности квадратовъ; но разъ эти истины были найдены — никакихъ споровъ относительно ихъ не было. Итакъ, математика не учитъ васъ отказываться отъ прежняго мнѣнія вслѣдствіе большой убѣдительности доводовъ противника; того важнаго и плодотворнаго усилія надъ собой, результатомъ котораго является признаніе: „я вначалѣ спорилъ съ вами, но теперь вижу, что вы были правы“ — она отъ васъ не потребуетъ. И вотъ почему мы имѣемъ право причислить ее къ безразличнымъ относительно нравственности — къ аморальнымъ предметамъ.

Другая крайность — новые языки, включая русскій. Конечно, ихъ знаніе необходимо; но вѣдь мы говоримъ здѣсь не о знаніи, а о томъ, какъ знаніе пріобрѣтается. А какъ оно пріобрѣтается, это вы знаете: вы выразились такъ-то — васъ

поправляютъ: „такъ не говорить“. Конечно, это вамъ заявляютъ люди знающіе, и благо вамъ, если вы примете ихъ поправки къ свѣдѣнію—тѣмъ скорѣе пріобрѣтете вы тѣ знанія, которыхъ ищете. Но развѣ вы уступили доводамъ, преклонились передъ силой науки, истины? Нѣтъ; наукѣ и истинѣ здѣсь не мѣсто; вы преклонились передъ авторитетомъ лица, въ которомъ предполагали, вполне основательно, наличность тѣхъ знаній, которыхъ ищете сами. Возникаетъ споръ—его рѣшаетъ тотъ же авторитетъ—противъ приговора „такъ говорить“ или „не говорить“ спорить и доказывать напрасно. Теперь представьте себѣ, что это преклоненіе передъ приговоромъ „такъ говорить“ вошло вамъ въ плоть и кровь; каково будетъ ваше отношеніе къ вопросамъ, которые ждутъ васъ въ жизни? Ваша чисто служебная роль заранѣе рѣшена: нѣтъ такого сомнѣнія, для котораго не нашлось бы панацеи въ этомъ спасительномъ „такъ говорить“. „Такъ говорить“—кто? Это ужъ совсѣмъ все равно: начальство, общество, партія, товарищи, печать — вся разница только въ цвѣтѣ ливреи. И вотъ почему я тотъ методъ достиженія знаній, о которомъ идетъ рѣчь здѣсь, называю неблагоприятнымъ въ отношеніи учебной нравственности, называю immoralнымъ. И если преподаваніе новыхъ языковъ будетъ усилено въ гимназіи на счетъ преподаванія языковъ древнихъ, то результатомъ будетъ лишь усиленіе той непереубѣдимости и нетерпимости, которой и теперь уже такъ страдаетъ наше общество.

Такова эта точка зрѣнія учебной нравственности — новая страница изъ ненаписанной еще книги о психологическомъ науковѣдѣніи. Она показываетъ намъ, что тотъ методъ филологической интерпретаціи, который примѣняется при статарномъ чтеніи древнихъ авторовъ—методъ въ высокой степени учебно-нравственный, такъ какъ онъ, допуская возникновеніе споровъ, рѣшаетъ ихъ авторитетомъ науки. Методъ нашъ, помимо всего прочаго, драгоцѣненъ уже тѣмъ, что имъ въ чловѣкѣ развивается переубѣдимость, способность принять къ свѣдѣнію и признать въ ихъ доказательности новые преподносимые ему факты. А между тѣмъ именно эта переубѣдимость—условіе плодотворной борьбы и разумнаго мира.

Я подчеркнулъ только-что научно-нравственную сторону

метода филологической интерпретаціи; есть въ немъ, однако, и научно-интеллектуальная сторона. Въ самомъ дѣлѣ, что было въ вышеуказанномъ примѣрѣ источникомъ моей ошибки? Недостаточность наблюденія. Что было причиной того, что я измѣнилъ свое мнѣніе? Пополненіе матеріала наблюденія. Итакъ, если мы спросимъ себя, какъ назвать методъ филологической интерпретаціи, то придется отвѣтить методомъ эмпирически-наблюдательнымъ, въ противоположность, съ одной стороны, методу дедуктивному математики, съ другой—методу экспериментальному физики и родственныхъ наукъ. Съ этой точки зрѣнія на ряду съ филологической интерпретаціей могутъ быть поставлены только естественныя науки въ тѣсномъ смыслѣ—но подъ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы поле наблюденій было предоставлено ученику во всей его неприкосновенности. Я отправляю мальчика въ ивнякъ съ порученіемъ опредѣлить, какое дерево ива, однодомное или двудомное; тутъ наблюденіе будетъ имѣть цѣну, такъ какъ при множествѣ деревьевъ будетъ дана возможность и ошибки, и ея исправленія. Но вы легко поймете, что мы не можемъ этотъ ивнякъ перенести въ школу; нѣтъ, въ школѣ единственнымъ матеріаломъ для эмпирически-наблюдательнаго метода можетъ быть филологическая интерпретація, такъ какъ только она можетъ предоставить въ распоряженіе ученика все поле наблюденія—именно текстъ. А воспитанный такимъ образомъ умъ ученика будетъ не только—вслѣдствіе родственности метода—приспособленъ къ работѣ на поприщѣ естественныхъ наукъ, но и на поприщѣ жизни; въ жизни дедукція играетъ небольшую роль, экспериментъ—еще меньшую, житейская же опытность достигается почти единственно путемъ наблюденія и правильныхъ надъ нимъ операцій.

Таковы обѣ методологическія стороны; переходя затѣмъ къ матеріальной сторонѣ чтенія, я долженъ прежде всего подчеркнуть *интеллектуалистическій характеръ также и древней литературы*. Я говорилъ уже выше объ интеллектуалистическомъ характерѣ древнихъ языковъ, противопоставляя ему сенсуалистическій характеръ языковъ новыхъ; древняя литература, какъ порожденіе языка, носить тотъ же отпечатокъ. Признаніе верховныхъ правъ разума проходить черезъ нее на всемъ ея

протяженіи; какъ по-гречески одинъ и тотъ же глаголь — *παίθωμαι* — означаетъ и „я даю себя убѣдить“, и „я повинуюсь“, такъ и въ греческой литературѣ и ся ученицѣ—римской повсюду, точно общая атмосфера, разлита увѣренность, что разумъ управляетъ волей. Правда, отъ людей, считающихъ себя знатоками древняго міра, часто можно услышать мнѣніе, будто онъ преклонялся предъ рокомъ. Но для того, чтобы судить объ античности, требуется очень много знанія; древній міръ былъ (чтобы употребить удачное выраженіе Вл. Соловьева) не однодумъ, а многодумъ. Съ точки зрѣнія отношенія разума къ волѣ эволюція литературы человѣчества можетъ быть уподоблена баллистической кривой, возвращающейся къ плоскости своего исхода. Ея начало—древнѣйшія литературы, въ которыхъ дѣйствія человѣка объясняются вселеніемъ въ него добрыхъ или злыхъ духовъ; у Гомера мы еще находимъ пережитки этого представленія, но онъ уже дѣлаетъ попытки къ освобожденію, а Эсхилъ побѣдоносно выставляетъ принципъ полной свободы подвижной разумомъ воли. На немъ построена вся дальнѣйшая философія и литература древнихъ: она справедливо можетъ счѣтаться стоящей въ зенитѣ нашей кривой. Съ выступленіемъ на арену новыхъ народовъ эмоціальное начало возобладало надъ интеллектуальнымъ; классицизмъ вступилъ въ борьбу съ романтизмомъ и его потомками, носившими различныя имена, но одну общую сигнатуру: неподчиненность воли разуму. Дальше всего пошла въ этомъ отношеніи новая русская литература, особенно Достоевскій; это—пока предѣльная точка: кривая вернулась къ плоскости своего отправленія, прежніе добрые и злые духи вновь стали управлять людьми подъ именемъ страстей и внушеній. Это въ своемъ родѣ совершенство, но не съ образовательной точки зрѣнія: развивающемуся еще человѣку полезно признавать силу разума, даже если бы въ послѣдующей жизни ему пришлось узнать, что не разумъ и убѣжденіе, а страсть и похоть управляютъ его средой.

Продолжаю. Древніе писатели были не только людьми очень заботливыми въ стилистическомъ отношеніи—они были также на высотѣ культуры своей эпохи и могли бы смѣло примѣнить къ себѣ гордое заявленіе Ф. Лассалля: „Я пишу

каждое свое слово во всеоружіи образованія моего времени". Образование это, будучи въ смыслѣ спеціальныхъ знаній много меньше теперешняго, было однако гораздо многостороннѣе въ умѣ отдѣльныхъ своихъ представителей; съ этимъ обстоятельствомъ должна считаться и интерпретація древнихъ авторовъ. Вотъ почему можно не безъ основанія сказать, что наука объ античности не есть спеціальность на ряду съ другими спеціальностями, замкнутыми въ себѣ и самодовлѣющими; это — предметъ энциклопедическій, постоянно сближающій своего представителя съ другими областями знанія, поддерживающій въ немъ сознаніе единства науки и уваженіе къ отдѣльнымъ ея отраслямъ и всѣмъ этимъ сообщающій ему такую широту горизонта, какой не можетъ сообщить никакая спеціальная наука. „Филологу все пригодится“ (ein Philologe kann alles brauchen) было любимымъ изреченіемъ моего учителя, нынѣ покойнаго Риббека, который и самъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Преподаватель-филологъ долженъ сплошь и рядомъ обращаться за помощью то къ юриспруденціи, то къ военному и морскому дѣлу, то къ политическимъ и социальнымъ наукамъ, то къ психологіи и эстетикѣ, то къ естествознанію и антропологіи, то, наконецъ — и чаще всего — къ житейскому опыту. Понятно, что именно такой преподаватель скорѣе всего можетъ быть *учителемъ* своихъ учениковъ, такъ какъ именно онъ можетъ дѣйствовать на весь ихъ умъ, именно онъ можетъ, самъ будучи цѣльнымъ человѣкомъ, воспитывать человѣка въ томъ его возрастѣ, когда его умъ еще цѣленъ, еще не ушелъ въ спеціальность. Отсюда видно, какъ мало знаютъ классическую школу тѣ, которые обвиняютъ ее въ томъ, что она предрѣшаетъ выборъ спеціальности еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Совершенно наоборотъ: именно она его не предрѣшаетъ до старшаго класса включительно. Въ подтвержденіе сказаннаго позволю себѣ привести нѣсколько примѣровъ — желающій увеличить ихъ число найдетъ богатую жатву въ прекрасной книгѣ Sauer'a «Palaestra vitae». Въ «Царѣ Эдипѣ» Софокла (ст. 1137) время питанія стадъ подножнымъ кормомъ опредѣляется словами „отъ весны до Арктура“. Опредѣленія совершенно непонятны: моя научная совѣсть не позволить мнѣ удовлетво-

ваться этимъ буквальныймъ переводомъ. Я прежде всего удостовѣрюсь, знаетъ ли ученикъ, что такое Арктуруъ... или, вѣрнѣе, удостовѣрюсь, что онъ никакого представленія о немъ не имѣетъ. А это жаль; позорно видѣть въ звѣздномъ небѣ одинъ только наборъ свѣтящихся точекъ. Я покажу ему эту прекрасную, яркую звѣзду на картѣ, научу его отыскивать ее въ дѣйствительности; но этого мало. Что значить „до Арктура“? Я долженъ объяснить ему, что такое утренній восходъ звѣзды или созвѣздія... а для этого предварительно понять это самъ. И это еще не все; отчего поэтъ прибѣгаетъ къ такому сложному опредѣленію времени? Разъ утренній восходъ Арктура совпадаетъ приблизительно съ 10 сентября — почему онъ не говорить „до сентября“, или, пожалуй (такъ какъ онъ былъ аѳиняниномъ) „до боэдроміона?“ Я долженъ объяснить, что въ тѣ времена каждая греческая община имѣла свой календарь, что еслибы софокловскій персонажъ, будучи коринѳяниномъ, сталъ употреблять терминъ аттическаго календаря, то это было бы смѣшно, а если бы онъ выразился по-коринѳски, то его бы не поняли; поневолѣ пришлось поэтому прибѣгнуть къ общеэллинскому и общечеловѣческому, къ астрономическому календарю... А впрочемъ, подлинно ли поневолѣ? Нѣтъ, и по охотѣ. Я постараюсь изобразить ученикамъ прелесть того времени, когда звѣздное небо еще такъ много говорило смертнымъ, когда они замѣчали всѣ его перемѣны, опредѣляя по нимъ и время годовыхъ работъ, и время почныхъ смѣнъ, направляя по его свѣтиламъ бѣгъ своего корабля, — когда познаніе этого вѣкового порядка возвышало ихъ умы до чаянія той предвѣчной Причины, которая въ немъ проявляется.

Другой примѣръ — изъ «Электры» того же поэта. Клитемистра-мужеубійца увидѣла страшный сонъ; для Электры, ея дочери, и для ея подругъ ясно, что этотъ сонъ былъ на нее навѣянъ гнѣвною тѣнью ея убитаго мужа, Агамемнона, и что часъ мести недалекъ. „Мужайся, дитя“, говорятъ онѣ ей, „не дремлетъ, видно, твой родитель, владыка эллиновъ, — не дремлетъ и та старинная, обоюдоострая сѣкира, которая столь позорно его тогда убила“ (ст. 483). Что это, „піитическій вольности“? Нѣтъ, мы погружаемся въ представленія и вѣрованія глубокой старины; одна только антропологія можетъ намъ

выяснить то міровоззрѣніе, изъ котораго потекли эти образы и чувства. Духъ убитаго царя, опечаленный среди тѣней преисподней и взывающій о мщеніи — это не плодъ поэтической фантазіи, это реальный предметъ народной вѣры. Онъ посылаетъ зловѣщій сонъ невѣрной женѣ; онъ и могъ это сдѣлать, такъ какъ та обитель мрака, куда она преждевременно его отправила, считалась въ то же время и обителью сновъ: здѣсь они пребываютъ днемъ, точно летучія мыши подъ сводомъ пещеры, отсюда они вылетаютъ съ приближеніемъ ночи. Но особенно характерно представленіе о сѣкирѣ: какъ видно, и она одушевлена, и она принимаетъ участіе въ происходящемъ, и она горитъ желаніемъ искупить свое первое, неправоe убійство—вторымъ, справедливымъ и необходимымъ; только тогда успокоится тотъ духъ проклятія, который въ нее вселился. Передъ нами образчикъ такъ называемой предметной души, пережитокъ древнѣйшаго анимизма; это представленіе вызвало въ старину даже судъ надъ предметомъ, оно и теперь еще не совсѣмъ исчезло... Но на что намъ погружаться въ эту первобытную, грубую старину? Во-первыхъ, для того, чтобы не находить ее грубой, не раздѣлять не-сноснаго высокоумія «современныхъ» людей; но главнымъ образомъ потому, что тогда зародились многія изъ тѣхъ нравственныхъ и правовыхъ понятій, которыми мы живемъ и понынѣ.

Возьму еще одинъ примѣръ—особенно поучительный тѣмъ, что онъ даетъ матеріалъ для сравненія древней поэзіи съ новѣйшей. Въ десятой пѣснѣ Одиссеи описывается мѣстность по ту сторону океана, преддверіе царства тѣней. Картина унылая (ст. 510):

ἐνθ' ἀκτὴ τε λάχεια καὶ ἄλσος Περσεφονείης,
μακραί τε αἰγέροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίνχαρποι.

„Тамъ низменный берегъ и рощи Персефоны (перевожу буквально) *теряющіе* (или *убыющіе*) свои плоды высокіе тополи и ивы“. Отчего тополямъ и ивамъ данъ этотъ странный на первый взглядъ эпитетъ, — который, кстати сказать, въ подлинникѣ выходитъ много поэтичнѣе уже вслѣдствіе того, что тамъ онъ выражается однимъ только словомъ? Дѣло вотъ въ

чемъ. Какъ тополь, такъ и ива принадлежатъ къ такъ называемымъ двудомнымъ деревьямъ, т.-е. одни его экземпляры даютъ только мужскіе (тычинковые), другіе — только женскіе (плодниковые) цвѣты, а не тѣ и другіе вмѣстѣ, подобно дубу и большинству другихъ деревьевъ, которыя поэтому и называются однодомными. Если поэтому ивы и тополи стоятъ одиноко или группами экземпляровъ одного только пола, то они не могутъ оплодотворяться, они „теряютъ свои плоды“. Конечно процессъ оплодотворенія растений не былъ извѣстенъ Гомеру — оттого-то онъ и употребилъ здѣсь слово „плоды“ вмѣсто „неоплодотворенные цвѣты“; но само явленіе терянія „плодовъ“ было замѣчено и имъ, и его слушателями, и вотъ причина, почему онъ неплодное царство тѣней украсилъ именно ивами и тополями: и самый предметъ, и его красивый эпитетъ имѣютъ здѣсь глубокое символическое и, стало быть, поэтическое значеніе.—Теперь позвольте сопоставить съ царемъ греческихъ поэтовъ царя новой, русской поэзіи, Пушкина. Напомню вамъ его прекрасное стихотвореніе, въ которомъ онъ описываетъ впечатлѣніе, произведенное на него его родиной послѣ долгой разлуки: „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли“ и т. д. Тутъ, между прочимъ, встрѣчается слѣдующее мѣсто:

На границѣ

Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ гору поднимается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоять: одна поодаль, двѣ другія
Другъ къ другѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо
Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ
Меня привѣтствовалъ.—По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять: онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый уху шорохъ,
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вокругъ него
Попржежнему все пусто.

Съ поэтической точки зрѣнія картина безукоризненна; да и впрочемъ все обстояло бы благополучно, если бы только поэтъ вмѣсто сосенъ представилъ намъ, какъ Гомеръ, ивы или тополи. Но сосна — дерево однодомное, сосенъ-холостяковъ не бываетъ; тотъ процессъ, который здѣсь нарисовала фантазія поэта, дѣйствительности не соответствуетъ. ...Значить ли это, что мы желаемъ принизить Пушкина, какъ поэта? Нѣтъ, конечно: поэтъ не обязанъ быть всевѣдущимъ, незнаніе ботаники не мѣшаетъ ему исполнить свою главную задачу — „чувства добрыя въ людяхъ пробуждать“. Но фактъ остается фактомъ: поэзія Гомера и древнихъ вообще выигрываетъ, если на нихъ смотрѣть глазами натуралиста, — поэзія Пушкина и новѣйшая вообще при тѣхъ же условіяхъ теряетъ. ...Но не грѣшно ли, можете вы меня спросить, портить себѣ впечатлѣніе прекраснаго поэтическаго отрывка мелочной ботанической придиркой? Да, грѣшно; съ этимъ я совершенно согласенъ. Т.-е., другими словами, новѣйшей поэзіей пользоваться для стараннаго чтенія грѣшно — этимъ лишній разъ доказывается правильность словъ Вундта объ обязательно мелочномъ характерѣ филологическаго изученія произведеній новѣйшей литературы ¹⁾. Древнюю поэзію часто сравнивали съ природою; сравненіе это во многихъ отношеніяхъ справедливо, — между прочимъ, и въ нашемъ. Подобно природѣ, она цѣльна и отвѣтственности не боится; другое дѣло — поэзія новѣйшая. Есть у васъ кольцо прекрасной ювелирной работы — ну и любуйтесь на него, сколько хотите, но только невооруженнымъ глазомъ; иначе вы найдете въ немъ столько изъяновъ, что вамъ непріятно будетъ на него смотрѣть. А лепестокъ розы, крылышко бабочки сколько угодно разсматривайте въ микроскопъ: каждое новое изученіе раскроетъ вамъ новыя интересныя и поучительныя подробности.

Я нарочно выбралъ мѣста, для объясненія которыхъ филологу приходится обращаться за помощью къ наукамъ, сравнительно далеко отъ него отстоящимъ; послѣ нихъ вы легко представите себѣ, сколь интересный и разнообразный матеріалъ

¹⁾ ...daher der philologische Betrieb moderner Autoren bekanntlich leicht ins Kleinliche ausartet (Logik, II, 2, 314).

представляет статарное чтеніе древнихъ авторовъ по болѣе близкимъ и родственнымъ наукамъ—особенно исторіи и эстетикѣ. Замѣчу теперь же, что тутъ во всѣхъ почти отношеніяхъ греческая литература превосходитъ римскую, какъ сами греческіе писатели, читаемые въ гимназіяхъ, стоятъ выше римскихъ. Если, поэтому, тѣ защитники классической школы, которые видятъ центръ тяжести въ изученіи самихъ древнихъ *языковъ*, и могутъ до нѣкоторой степени примириться съ оставленіемъ въ ней одной латыни, — то тѣ, которые особенно высоко ставятъ образовательное значеніе древнихъ *литературъ*, естественно должны дорожить сохраненіемъ въ ней также и греческаго языка... предполагая, конечно, что они даютъ себѣ отчетъ въ томъ, чего они собственно хотятъ. — Затѣмъ: всѣ согласятся, полагаю я, что реальныя объясненія, въ родѣ предложенныхъ мною выше, будутъ умѣстны лишь въ томъ случаѣ, если читаемый отрывокъ не будетъ представлять собою затрудненій по части формы; если я вынужденъ, путемъ совмѣстной работы съ ученикомъ, устанавливать, что за форма *ἄλσεια*, отъ какого глагола происходитъ *ὄλεσιν* *αἰσάρποι* и т. д., то для болѣе глубокаго и интереснаго толкованія, пожалуй, не останется и времени. Кто, поэтому, предлагаетъ отсрочить начало прохожденія *языковъ*, какъ таковыхъ, до среднихъ классовъ, тотъ этимъ самымъ переноситъ грамматическій курсъ изъ среднихъ классовъ, гдѣ онъ нынѣ заканчивается, въ высшій, и заставляетъ насъ жертвовать именно тѣми элементами классическаго образованія, которые онъ самъ, однако, не задумается признать наиболѣе желательными и полезными. Когда отъ меня требуютъ, чтобы я умѣстилъ апельсинъ въ меньшемъ противъ его величины сосудѣ, то я, конечно, могу это сдѣлать — для этого нужно его сжать, при чемъ сокъ вытечетъ, а древесина останется.

Возвращаюсь, однако, къ темѣ. Въ предыдущихъ лекціяхъ уже было указано, какъ на важную въ образовательномъ отношеніи сторону античности, на тотъ духъ *историзма*, который она сообщаетъ изучающимъ ее; я коснулся этой стороны и сегодня, по поводу семасіологии, но она еще болѣе даетъ себя знать при чтеніи самихъ образцовъ. Гомеровская община, — греческія государства въ эпоху персидскихъ войнъ у Геродота, —

Аѳины въ эпоху Демосеена, — развитіе римской республики у Ливія, — ея паденіе у Цицерона, — расцвѣтъ принципата у Горация — таковъ государственный фонъ, который проходитъ передъ глазами ученика, и на который постоянно приходится указывать при чтеніи. Уже здѣсь можетъ быть схваченъ и выясненъ принципъ эволюціи, въ которой участвуютъ и нѣкоторые культурные и нравственные элементы, между тѣмъ какъ другіе побѣдоносно выносятъ ея натискъ и остаются неизблѣмы отъ начала до конца: гомеровская община пала, но любовь Гектора къ Андромахѣ изъ-за этого не стала анахронизмомъ.

И все же, вмѣстѣ взятыя, всѣ эпохи античности образуютъ общій, почти одинаково отстоящій фонъ для нашего времени; изучая его, мы получаемъ общую плоскость отправленія для всѣхъ идей, которыми мы живемъ теперь. При этомъ нравственная оцѣнка встрѣчаемыхъ явленій и идей, при всей своей важности, не имѣетъ вліянія на оцѣнку ихъ значенія. Рабство, конечно, неприглядное явленіе; но оно вѣдь пало, и пало подъ натискомъ античныхъ же идей объ единствѣ человѣческой природы; судъ общественной совѣсти, напротивъ, симпатичное, свѣтлое явленіе — зато онъ и возродился вновь, послѣ долгаго затмѣнія, подъ вліяніемъ тѣхъ же античныхъ идей. И такъ вездѣ: дурное оказывается нежизнеспособнымъ и гибнетъ; хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ. Въ этомъ, полагаю я, заключается причина того оптимизма и идеализма, того здороваго, добраго настроенія, которое намъ внушаетъ изученіе античности; самый фактъ замѣченъ давно, и еще нѣмецкій писатель начала прошлаго вѣка, Ж. П. Рихтеръ, сказалъ: „современное человѣчество опустилось бы въ бездонную пропасть, если бы юношество на пути къ ярмаркѣ жизни не проходило черезъ тихій храмъ великой классической старины“ (Levana).

Съ затронутымъ здѣсь мотивомъ близко соприкасается другой, относящійся къ самому смыслу интерпретаціи. Каждый писатель, заслуживающій этого имени, пишетъ такъ, чтобы взрослые и образованные его современники могли понимать его безъ помощи толкователя; толкованіе вступаетъ въ свои права лишь тогда, когда историческій фонъ, на которомъ данное произведеніе было само по себѣ понятно, измѣнился —

чѣмъ болѣе онъ измѣнился, тѣмъ благодарнѣе задача толкователя. Вотъ почему она такъ благодарна по отношенію къ античной литературѣ, между тѣмъ какъ школьная интерпретація новѣйшихъ писателей, согласно вышеприведенному замѣчанію Вундта, всегда грѣшитъ мелочностью; вотъ также одна изъ причинъ — не единственная, — почему мы должны признать правильнымъ мнѣніе Гете, выраженное имъ въ бесѣдѣ съ Эккерманномъ (т. III, 99): „изучайте не своихъ сверстниковъ и сподвижниковъ, а великихъ мужей старины, сочиненія которыхъ въ теченіе столѣтій сохранили одинаковую цѣнность, одинаковый авторитетъ... изучайте Мольера, изучайте Шекспира, но прежде всего и всегда — древнихъ грековъ“.

Теперь коснусь еще одного, послѣдняго пункта. Есть одно драгоценное для каждаго человѣка чувство, которое только школа можетъ въ немъ воспитать: это — *чувство правды* въ широкомъ значеніи слова. Въ узкомъ значеніи оно совпадаетъ съ требованіемъ, чтобы человѣкъ не измѣнялъ произвольно въ словахъ того образа, который внѣшнія чувства или рефлексія оставили въ его памяти, т.-е. не лгалъ; но въ широкомъ оно обнимаетъ и требованіе, чтобы этотъ образъ, по мѣрѣ возможности соотвѣтствовалъ дѣйствительности. Первое безъ второго почти бесполезно; что пользы въ томъ, что фотографъ не ретушируетъ своихъ фотографій, если у него аппаратъ такой недостаточный, что всякій портретъ выходитъ карикатурой? Вотъ это-то второе, главное чувство правды и должна развить школа, такъ какъ семья развить его не можетъ. Въ семьѣ мальчикъ слышитъ сплошь и рядомъ скороспѣлыя сужденія, внушенныя симпатіей или антипатіей, и самъ пріучается вырабатывать свои сужденія тѣмъ же удобнымъ путемъ; только школа можетъ его научить, какъ слѣдуетъ работать для того, чтобы его сужденія соотвѣтствовали истинѣ. Въ этомъ отношеніи высшее требованіе — чтобы человѣкъ черпалъ свои свѣдѣнія не изъ третьихъ и десятыхъ, а изъ первыхъ рукъ. И тутъ главная роль принадлежитъ нашему статарному чтенію. Всѣ другія свѣдѣнія мальчикъ черпаетъ изъ третьихъ и десятыхъ рукъ — одну только древнюю культуру онъ изучаетъ по первоисточникамъ; читая Геродота и Ливія, онъ читаетъ въ то же время первоисточники греческой и римской исторіи,

тѣ самыя, по которымъ работали Гротъ и Моммзенъ. — Не трудно понять, насколько воспитательное значеніе античности потеряло бы, если бы подлинники замѣнить переводами. Не говорю здѣсь о томъ, что я приучаю ученика довольствоваться свѣдѣніями изъ вторыхъ рукъ, заслоняя ему первоисточники, — уже одно это нехорошо, но это далеко не все. Знаменитый юристъ Іерингъ вывелъ совершенно превратное заключеніе о мнимомъ многоженствѣ героической эпохи изъ одного мѣста Софокла, которымъ онъ пользовался въ переводѣ, между тѣмъ какъ подлинникъ спасъ бы его отъ этой ошибки: филологическая критика ему этого не спустила, справедливо усматривая въ этомъ нарушеніе своего девиза «*ad fontes!*»

И пусть мнѣ не говорятъ, что классическая школа все равно не можетъ дать питомцамъ достаточныхъ познаній для того, чтобы читать первоисточники; какъ бы ни были недостаточны эти познанія — ихъ хватаетъ на то, чтобы человекъ, поставленный въ необходимость заглянуть въ какого-нибудь древняго автора (а въ эту необходимость въ нашъ историческій вѣкъ можетъ быть поставленъ всякій изслѣдователь и писатель), могъ провѣрить переводъ по подлиннику. И мнѣ вспоминается жалоба величайшаго гения русскаго народа, который былъ лишенъ даже этой возможности, который — когда его поэтическая миссія навела его на изученіе первообразовъ поэзій, — долженъ былъ изучать ихъ по новѣйшимъ переводамъ, недостаточность которыхъ такъ вѣрно сознавала его чуткая душа: „какъ рву я на себѣ волосы часто, что у меня нѣтъ классическаго образованія!“ — вотъ слова Пушкина Погодину ¹⁾).

Этимъ позвольте закончить сегодня. Сказанное мною не исчерпываетъ, конечно, характеристики античной литературы: многое пришлось пропустить, кое-что можно будетъ еще добавить въ связи съ прочими элементами умственной культуры древнихъ — ихъ религіей, философіей, искусствомъ. Но это уже придется оставить до слѣдующихъ лекцій.

¹⁾ *Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, т. III, 59.*

ЛЕКЦІЯ ПЯТАЯ.

Вторая антитеза: культурное значеніе античности. — Девизъ: не норма, а сѣмья. — Античность какъ общая родина народовъ европейской культуры. — Античная религія; христіанство и язычество. — Античная мифологія: переживаніе мифологическихъ образовъ. — Античная литература, какъ основаніе теоріи словесности. — Духъ античной исторіографіи: «истина—око исторіи». — Особая важность этого принципа въ настоящее время. — Готтентотизмъ и школа.

До сихъ поръ мы вращались въ тѣсномъ кругу того, что я назвалъ школьною античностью; я старался выяснитъ образовательное значеніе тѣхъ занятій, которыя въ классическихъ гимназіяхъ заполняютъ часы, назначенные для изученія такъ называемыхъ «древнихъ языковъ». Это были, какъ помните— во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ какъ таковыхъ, проходимая въ своихъ трехъ составныхъ частяхъ, этимологіи, семасіологіи, синтаксисъ; а во-вторыхъ, литература обоихъ народовъ, проходимая на подлинникахъ при такъ называемомъ классномъ чтеніи авторовъ. Но роль античности и ея значеніе для современнаго общества не ограничиваются школьною ея частью: какъ я уже сказалъ въ первой лекціи, я вижу въ античности одну изъ главныхъ силъ, дѣйствующихъ въ культурѣ европейскаго человечества. Установитъ и выяснитъ это культурное значеніе античности — такова задача, къ рѣшенію которой мы переходимъ теперь.

Прежде, однако, чѣмъ взяться за нее, бросимъ послѣдній взглядъ на школу и школьную античность. Все ли мною сказано и развито? Разумѣется, нѣтъ. Мое разсужденіе не пре-

тендовало и не претендуетъ на полноту. Я хотѣлъ только обратить вниманіе на главныя стороны дѣла или, выражаясь осторожно, на тѣ, которыя мнѣ кажутся главными; долгъ совѣсти требуетъ, чтобы я хоть вкратцѣ оговорилъ тѣ стороны, которыя иному могутъ показаться главными и которыхъ я намѣренно не касался. Ихъ двѣ: подчеркивая интеллектуальное значеніе античности, я оставилъ въ сторонѣ ея нравственное значеніе; равнымъ образомъ, сосредоточиваясь на образовательномъ значеніи античности, я почти совершенно забылъ о сопутствующемъ ему утилитарномъ элементѣ. Наверстать это теперь ужъ не время; позвольте мнѣ только яснѣе формулировать эти двѣ оговорки.

Я пропустилъ *непосредственно-нравственное значеніе античности* въ дѣлѣ воспитанія; другіе, быть можетъ, именно его постарались бы выдвинуть. Они указали бы вамъ на то, что античность оставила намъ безсмертные образцы *нравственного величія и гражданской доблести*, въ лицѣ ли ея историческихъ героевъ — Леонида и Аристиды, Фабриція и Регула, и прежде всего и главнымъ образомъ Сократа, — или въ лицѣ созданій творческой фантазіи поэтовъ — Ахилла и Антигоны, Эдипа и Ифигеніи. Мнѣ думается, я чувствую это не менѣе кого бы то ни было; но говорить объ этомъ мнѣ не хотѣлось и не хочется. Я нарочно оставался въ области интеллектуализма; и здѣсь предлагались намъ задачи не легкія, но все же разрѣшимыя. Процессъ же нравственного воздѣйствія для меня пока загадоченъ, и я не вижу еще направленія, въ которомъ мы могли бы искать его обнаруженія. Конечно, психологическое науковѣдѣніе со временемъ постарается выяснить и эту сторону дѣла; но до этого еще очень далеко. Итакъ, если я пропустилъ всѣ относящіеся сюда вопросы, то не потому, чтобы не придавалъ имъ значенія, а потому, что сознавалъ свое безсиліе передъ ними.

Другое дѣло — *утилитарное значеніе античности*; этотъ пунктъ я потому оставилъ въ сторонѣ, что признавалъ за нимъ лишь второстепенное значеніе. Знаю, что многіе со мною въ этомъ не согласятся; всякій, кто ставитъ вопросъ въ такой формѣ: „да на что мнѣ пригодится въ жизни латинскій или греческій языкъ?“ разумѣетъ прежде всего и исключительно

ихъ утилитарное значеніе. И таковое они, конечно, тоже имѣютъ, и его хватило бы по меньшей мѣрѣ на цѣлую лекцію; но мы временемъ дорожимъ, утилитарную точку зрѣнія мы должны оставить въ сторонѣ. Все же, чтобы она не считала себя обойденной, постараемся вкратцѣ, не входя въ подробности, формулировать относящіеся сюда положенія. Итакъ, во-первыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо для сознательнаго усвоенія французскаго языка и вообще романскихъ, которое онъ и облегчаетъ, и осмысляетъ. Во-вторыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо юристу, въ виду той важной роли, которую римское право играло и продолжаетъ играть и въ развитіи современнаго права, и въ университетскомъ преподаваніи юридическихъ наукъ. Въ третьихъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для пониманія того ихъ лексическаго состава, который вошелъ во всѣ новѣйшіе культурные языки, особенно же—для усвоенія научной терминологіи, которое оно и облегчаетъ, и осмысляетъ; эта сторона дѣла особенно ощутительна для медиковъ и натуралистовъ. Въ-четвертыхъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для будущихъ историковъ и филологовъ, кои въ свою очередь необходимы странѣ. Наконецъ, въ силу культурныхъ условій, которыхъ я уже отчасти коснулся, знаніе греческаго языка особенно необходимо Россіи, культура которой пошла отъ Византіи; не знающій по-гречески русскій словесникъ и историкъ, какъ самостоятельный ученый, прямо не мыслимъ. Таковы соображенія утилитарнаго характера въ пользу классическаго образованія; ихъ можно бы развить, обосновать, иллюстрировать гораздо подробнѣе, — и это было бы вовсе нетрудно и вышло бы очень убѣдительно. Но, во-первыхъ, повторяю, у насъ нѣтъ для этого времени; во-вторыхъ, именно вслѣдствіе своей сравнительной легкости эта задача скорѣе всего можетъ быть предоставлена сообразительности каждаго; наконецъ, въ-третьихъ, мы уже имѣли случай убѣдиться, что утилитарный принципъ можетъ играть въ школѣ лишь вспомогательную, служебную роль.

А теперь оставимъ школу и ея задачи; ея питомцы, гимназисты и реалисты, вышли изъ школы въ жизнь, разбились по специальностямъ и теперь, вооруженные каждый своими знаніями, умѣніями, опытомъ, составляютъ интеллигентное обще-

ство. Среди этого общества, при участіи всѣхъ его членовъ, совершается обмѣнъ культурныхъ благъ; результатъ этого обмѣна — *умственная и нравственная культура* общества въ данную эпоху. Теперь спрашивается: входитъ ли античность въ качествѣ составного элемента въ эту культуру, и если да, то каково ея значеніе въ ней?

Собираясь отвѣтить на этотъ вопросъ, считаю полезнымъ напомнить камъ соотвѣтствующую антитезу, вторую изъ трехъ, съ установленія которыхъ я началъ свои лекціи. „По отношенію къ античности, какъ элементу новѣйшей культуры“, сказалъ я тогда, „общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ немъ ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь“. Тогда же я замѣтилъ, что существованіе перваго изъ обоихъ этихъ мнѣній — плодъ недоразумѣнія; выясню теперь, въ чемъ это недоразумѣніе состоитъ.

Дѣло въ томъ, что многіе не въ состояніи представить себѣ другого вліянія античности на современную культуру, чѣмъ такое, которое имѣло бы основаніемъ признаніе античности *нормой* для современности. Затѣмъ они ставятъ вопросъ: въ чемъ именно можетъ сказаться это нормативное значеніе античности для нашей культуры, и не безъ основанія отвѣчаютъ: ни въ чемъ. Дѣйствительно, можетъ ли античная, языческая религія служить нормой и образцомъ для нашей, христіанской? Конечно, нѣтъ. Можемъ ли мы свои государства устроить на подобіе античныхъ, будь то аѳинская республика или римская имперія? Опять-таки нѣтъ. Можетъ ли наше знаніе о природѣ и человѣкѣ обогатиться съ приобщеніемъ извѣстныхъ древнему міру и неизвѣстныхъ намъ данныхъ? Нѣтъ, или почти что нѣтъ. Должны ли мы свою поэзію, архитектуру, живопись заключать въ рамки античной техники этихъ трехъ искусствъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Итакъ, чѣмъ же можетъ быть античность для современной культуры?

Очень и очень многимъ. Дѣло въ томъ, что нормативная

точка зрѣнія а ргіогі неправильна не только по отношенію къ античности, но и по отношенію къ чему бы то ни было. Мы всѣ, работающіе на почвѣ античности съ сознаніемъ важности и плодотворности нашей работы для нашихъ современниковъ и потомковъ — мы всѣ въ одинъ голосъ протестуемъ противъ этой точки зрѣнія, которую намъ навязываютъ... иногда не по разуму усердные союзники, чаще же невѣжественные или злонамѣренные противники. Нѣтъ, господа; мы не намѣрены васъ вернуть къ тому, что было; наши взоры устремлены впередъ, а не назадъ. Если дубъ глубоко пускаетъ свои корни въ почву, на которой онъ растетъ, то не потому, чтобы ему хотѣлось обратно вростать въ землю, а потому, что онъ изъ этой почвы черпаетъ силу, которая даетъ ему возможность, подниматься къ небесамъ, переростая всѣ живущіе одною только поверхностью кусты и злаки. Античность должна быть не нормой, а *живительной силой* современной культуры.

И вотъ съ этой-то точки зрѣнія дѣлается понятнымъ положеніе, что никогда еще человѣческій умъ такъ не былъ приспособленъ къ тому, чтобы понимать и воспринимать античность, какъ именно теперь. Правда, оно нуждается въ соотвѣтственномъ дополненіи: „никогда еще античность не была такъ приспособлена къ тому, чтобы быть понимаемой и воспринимемой человѣкомъ, какъ именно теперь“ — но это дополненіе касается уже не самой античности, а науки о ней, а эту науку мы, согласно нашей программѣ, должны оставить напоследокъ. — Было время, когда люди не знали исторіи своего отечества и не интересовались ею; „вы все найдете въ древней исторіи“, говорилъ еще Мабли, дѣятель эпохи, предшествовавшей французской революціи, „нѣтъ надобности изучать новую, въ которой все равно ничего не найдешь, кромѣ глупостей и грубостей“. Тогда именно люди искали въ прошломъ нормы для настоящаго. Но вотъ проснулся духъ историзма; изученіе родной исторіи, правда, нѣсколько отвлекло умы отъ изученія исторіи древней, но зато придало этой послѣдней совершенно новое, неизвѣстное до тѣхъ поръ значеніе. Оказалось, что культурная исторія каждаго изъ новыхъ народовъ была маленькимъ ручейкомъ до тѣхъ поръ, пока въ нее не влилась широкая рѣка античности, принеся съ собою

всѣ идеи, которыми нашъ умъ живетъ въ настоящее время, съ христіанствомъ включительно: такъ-то, исторически рассуждая, выходитъ, что у каждаго изъ насъ есть двѣ родины: одна—это страна, по имени которой мы называемъ себя, другая—это античность. Чтобы выразить это въ краткой формулѣ, позвольте прибѣгнуть къ ученію греческихъ богослововъ, которые въ естествѣ человѣка различали три составныя части—плоть, душу и духъ (σῶμα, ψυχή, πνεῦμα),—и сказать: наша родина по плоти и душѣ—это Россія для русскихъ, Германія для нѣмцевъ, Франція для французовъ; наша родина по духу—это античность для всѣхъ насъ; то, что сплочиваетъ воедино европейскіе народы, несмотря на ихъ не только національное, но и племенное различіе—это одинаковое происхожденіе отъ античности. *Мы мыслимъ одинаково*—вотъ почему мы понимаемъ другъ друга, между тѣмъ какъ народы неевропейской культуры, будь они цивилизованы или нѣтъ, не понимаютъ ни другъ друга, ни насъ.

И этотъ фактъ уже проникъ въ сознаніе народовъ, хотя далеко еще не въ достаточной мѣрѣ; они смотрятъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, на древній міръ, какъ на свою общую родину. Италія и Греція—это для насъ всѣхъ почти что святыя земли; культурные народы Европы, каждый по мѣрѣ своихъ силъ, стараются заручиться въ нихъ тѣмъ или другимъ клочкомъ земли для изслѣдованій и раскопокъ; каждое болѣе или менѣе важное открытіе въ области древнихъ литературъ и искусствъ возбуждаетъ интересъ всего цивилизованнаго міра, между тѣмъ какъ такія же открытія въ предѣлахъ новыхъ литературъ и искусствъ рѣдко волнуютъ умы внѣ предѣловъ тѣхъ государствъ, которыхъ они непосредственно касаются. Да, общая античная родина—основаніе единства европейской цивилизаціи; вотъ почему и наоборотъ, центростремительныя силы въ европейскомъ человѣчествѣ прямо или косвенно служатъ на пользу занятіямъ античностью. Это положеніе дѣлъ важно для отношенія къ античности обѣихъ партій, на которыя распадается общество въ государствахъ европейской культуры, націоналистовъ и «европеистовъ», или, какъ ихъ у насъ называютъ, славянофиловъ и западниковъ. Если націоналистъ отрицательно относится къ античности, то это невѣжество простое:

онъ не знаетъ или забываетъ, что античность съ давнихъ поръ входитъ въ составъ культуры его родного народа, что, стало быть, гнушаясь античности, онъ обрекаетъ себя на незнание того, что онъ желалъ бы знать. Но если западникъ дѣлаетъ то же самое, то это уже сугубое невѣжество: онъ прямо, можно сказать, рубить тотъ сукъ, на которомъ сидитъ.

Итакъ, развитіе культурной исторіи современныхъ народовъ выяснило намъ ту громадную роль, которую античная родина сыграла въ сложеніи ихъ умственного, духовнаго естества; все ли этимъ сказано? Нѣтъ, не все. Вѣдь, противъ этого имѣлось бы очень простое возраженіе: да на что оно намъ вообще, наше прошлое? живите настоящимъ! Да, конечно; но тутъ на помощь исторіи являются естественныя науки, является біологія, опровергая легковѣсную мудрость: „что было, того нѣтъ“. Нѣтъ, господа, — что было, то есть; мы не можемъ отдѣлаться отъ нашего прошлаго, такъ какъ оно живетъ въ насъ самихъ, точно такъ же, какъ въ столѣтнемъ дубѣ живетъ все его прошлое, начиная съ того времени, когда онъ былъ еще годовалымъ росткомъ. Это вѣрно по отношенію къ каждому индивидууму и тѣмъ болѣе по отношенію къ обществамъ или народамъ. Мы должны изучать наше прошлое для того чтобы познать самихъ себя, такъ какъ мы—результатъ этого прошлаго. А знать самихъ себя мы должны для того, чтобы разумно управлять своей судьбою, а не жить безотчетно, подобно бессловесной скотинѣ. Этой науки школа не учитъ — она вырабатывается въ теченіе всей жизни, будучи результатомъ того обмѣна культурныхъ благъ, о которомъ была рѣчь вначалѣ.

Перейдемъ, однако, къ частностямъ—къ тѣмъ элементамъ культуры, которые намъ завѣщала древность, и которыми мы пользуемся, какъ живительными соками для нашей собственной культуры. Тутъ первое мѣсто занимаетъ, разумѣется, *религія*.

Древность завѣщала намъ, однако, не одну религію, а двѣ: христіанскую и языческую (античную въ тѣсномъ смыслѣ). Дѣйствительно, отдѣлать христіанство отъ античности нельзя; во-первыхъ (хотя и не главнымъ образомъ) потому, что греческій языкъ есть въ то же время языкъ древнѣйшей христіанской письменности, а языкъ, какъ мы видѣли, есть испо-

вѣдъ народа. Да, христіанство въ томъ видѣ, въ какомъ мы его получили, было вскормлено греческимъ народомъ; оно носить понинѣ его неизгладимую печать. Мы не можемъ понимать христіанство иначе, чѣмъ изучая его греческіе памятники; возьмемъ, хотя бы, столь знаменитое у насъ ученіе о непротивленіи злу. Подлинно ли училъ Спаситель не сопротивляться *злу*... или только не сопротивляться *зломъ*? Не мое дѣло рѣшить этотъ споръ; но я обращаю ваше вниманіе на то, что для его рѣшенія вы должны исходить не изъ славянскаго или русскаго перевода, а, разумѣется, изъ греческаго подлинника, — а онъ, дѣйствительно, нѣсколько двусмыслененъ: въ фразѣ $\mu\eta\ \alpha\upsilon\tau\iota\sigma\tau\eta\nu\alpha\iota\ \tau\omicron\phi\ \tau\omicron\upsilon\omega\eta\rho\acute{\alpha}\nu$ послѣднее слово можетъ означать и «злу» и «зломъ». Вспомните, если кто читалъ, Лѣсковскаго «Колыванскаго мужа» и то великое богословское открытіе, которое дядя-баронъ сообщилъ герою — а именно, что въ молитвѣ Господней слѣдуетъ читать не «хлѣбъ нашъ насущный», а «надсущный», т.-е. духовный: таково, молъ, значеніе греческаго $\epsilon\pi\iota\omicron\upsilon\sigma\iota\omicron\varsigma$. Бѣдняга растерялся, не находя что отвѣтить; а знай онъ по-гречески — онъ легко опровергъ бы ересь своего собесѣдника указаніемъ на то, что «надсущный» было бы по-гречески $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\rho\omicron\upsilon\sigma\iota\varsigma$ (вѣрнѣе: $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\rho\omicron\upsilon\sigma\iota\alpha\chi\omicron\varsigma$), а никакъ не $\epsilon\pi\iota\omicron\upsilon\sigma\iota\omicron\varsigma$. Отсюда вы видите, что такое для образованнаго христіанина греческій языкъ; но это лишь мимоходомъ, наша тема здѣсь другая. Я включилъ христіанство въ античность, во-первыхъ, на томъ основаніи, что греческій языкъ былъ роднымъ языкомъ первоначальнаго христіанства; но главное потому, что оно связано съ античностью общностью развитія и настроенія. Христіанство было, конечно, исполненіемъ еврейскаго закона и ветхо-завѣтныхъ пророчествъ; но оно по крайней мѣрѣ въ такой же степени было исполненіемъ вѣковыхъ стремленій и чаяній античныхъ народовъ. Этого раньше не знали и считали, поэтому, ту вторую, въ тѣсномъ смыслѣ античную религію бесполезной и даже вредной для насъ; теперь же это достаточно извѣстно и изслѣдовано. Мы преклоняемся передъ грандіозными концепціями этой языческой античной религіи; мы съ истиннымъ благоговѣніемъ читаемъ Эсхилову молитву Зевсу, — я привелъ въ прошлой лекціи изъ нея отрывокъ — гдѣ онъ воздаетъ своему Богу, „кто бы онъ ни былъ“, благодар-

ность за то, что онъ „направиль челоуѣка на путь сознанія, давъ силу слову «страданьемъ учись!»» И вотъ ночью вмѣсто сна памятливая забота частой каплей гложетъ наше сердце, и противъ воли мы учимся быть добродѣтельными. Такова благодать (χάρις) челоуѣку отъ бога, мощно возсѣдающаго у святого кормила вселенной!“

Какъ видите, я отличаю античную религію отъ античной *миѳологіи*, съ которой ее раньше отождествляли; конечно, нѣкоторые миѳы являются также носителями и религіозныхъ ученій, но къ большинству изъ нихъ для насъ, какъ и для древнихъ, возможно только эстетическое или этическое отношеніе. Что же сказать о ней, этой античной или, правильнѣе, греческой миѳологіи? Хотѣлось бы обладать стихомъ нашего поэта, чтобы живо и вѣрно описать этотъ сказочный міръ античности, этотъ шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ древнѣйшемъ святилищѣ эллиновъ, въ бурной Додонѣ; какихъ только образовъ тамъ нѣтъ! Тамъ гнѣвный Ахиллъ съ замираніемъ сердца смотреть, какъ въ искупленіе нанесенной ему обиды пылаютъ корабли его народа; тамъ царственный старецъ Пріамъ, чтобы выкупить трупъ сына, смиренно цѣлуетъ руку его убійцы; тамъ многострадальный странникъ Одиссей подъ ласкою богини тоскуетъ по своей далекой родинѣ; тамъ бодрый Ясонъ созываетъ богатырей для чудеснаго плаванія въ золотую Колхиду; тамъ вѣрный Орфей нисходитъ въ обитель смерти, чтобы выпросить у царицы тѣней свою Евридику; тамъ гордая праведница Антигона цѣною жизни покупаетъ свое право исполнить долгъ любви къ умершему брату; тамъ кроткая Ифигенія добровольно принимаетъ смерть ради славы своего отца; тамъ ревнивая Медея въ изступленіи мести убиваетъ своихъ дѣтей; тамъ каменное подобіе благословенной нѣкогда Ніобеи плачетъ надъ своимъ разрушеннымъ счастьемъ. — Эти образы не умирали никогда; они плѣняли лучшіе умы древняго міра, пока текла его жизнь, а послѣ его смерти перешли въ средніе вѣка, чтобы жить тамъ новою жизнью, отчасти подъ тѣми же, отчасти подъ другими именами. Красавица Венера увлекаетъ рыцарей въ свой таинственный гротъ; дерзновенный пловецъ Одиссей плыветъ черезъ океанъ, пока его судно не разбивается объ отвѣсную

гору чистилища; волшебница Цирцея подъ именемъ Арменды удерживаетъ крестоносцевъ отъ святого подвига; Елена промѣняла греческихъ витязей на богатыря мысли Фауста. И выше и выше плетется вѣнокъ поэзіи надъ главами героевъ греческихъ былинъ; каждая эпоха новыхъ временъ дала для него свои цвѣты. Ахиллъ и Эдипъ, Антигона и Медея — это уже не греческіе образы: любовь всего человѣчества ихъ усыновила.

Таковыми они дошли до насъ: теперь они наши — самое прекрасное наслѣдіе нашей духовной родины. И мы роднимъ ихъ со своею душой и видимъ въ этомъ и наслажденіе, и поученіе себѣ: прошедши черезъ горнило всемірной исторіи, эти образы потеряли то случайное и условное, то земное, можно сказать, которое имъ было свойственно вначалѣ; теперь это — чистыя воплощенія идей, неоцѣнимыя для поэта-мыслителя. И не только для него; я уже сказалъ, что, сочетавшись съ твореніями новыхъ временъ, эти образы продолжаютъ жить у насъ подъ чужими именами. Несчастный Орестъ, раздавленный долгомъ кровавой мести, повинѣ живетъ на нашей сценѣ подъ именемъ датскаго принца Гамлета; но это только меньшая часть. Сколько великодушныхъ подвижницъ создала Антигона, сколько мрачныхъ ревнивицъ — Медея! Не признаютъ этого даже ихъ поэты; имъ кажется, что они внимаютъ голосу собственной души, а того они не знаютъ, что этотъ голосъ — все тотъ же шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ рощѣ пелазгическаго Зевса въ бурной Додонѣ...

Мифологія естественно приводитъ насъ отъ религіи къ *литературѣ* античности, являясь содержаніемъ значительной части ея поэтическихъ памятниковъ; но античная литература важна для насъ не только своимъ содержаніемъ — она важна своей формой и, главнымъ образомъ, своимъ духомъ. Относительно формы прошу васъ вспомнить, что античность создала всѣ литературныя типы, которыми наша литература живетъ — дѣйствительно создала, такъ какъ раньше они не существовали — и притомъ создала не вдругъ, а одинъ за другимъ въ органическомъ процессѣ своего развитія.

И тутъ мнѣ хотѣлось бы спросить всякаго, интересующагося литературой, — а интересуется ею теперь всякій — что ощущаетъ онъ въ присутствіи этихъ завѣщанныхъ неизвѣстно кѣмъ ли-

тературныхъ типовъ, съ которыми онъ встрѣчается въ своей жизни? почему у насъ имѣются именно они, эта трагедія, комедія, романъ, повѣсть, лирика, эпиграмма и т. д., а не другіе? почему для нѣкоторыхъ литературныхъ типовъ обязательна риема и размѣръ, для другихъ — только размѣръ, для третьихъ — ни тотъ, ни другая? Что, повторяю, ощущаетъ интересующійся литературой человѣкъ въ виду этихъ фактовъ? — Ну, я думаю, большинство, если отвѣчать по совѣсти, отвѣтитъ: ровно ничего. Дѣйствительно, кто живетъ одною современностью, тотъ быстро отвѣкаетъ мыслить — вѣдь мыслить значитъ связывать слѣдствіе съ причиной, причина же современности лежитъ въ прошломъ. Но возьмемъ человѣка вдумчиваго: онъ, вѣроятно, за объясненіемъ причины обратится къ наукѣ о литературѣ, къ теоріи словесности — и быстро разочаруется. Теорія словесности, какъ наука, дѣло будущаго; пока она скорѣе классифицируетъ и иллюстрируетъ, чѣмъ объясняетъ. Нѣтъ, теперь для вдумчиваго человѣка путь одинъ: на вопросъ о смыслѣ литературныхъ типовъ отвѣчаетъ только исторія ихъ возникновенія, т.-е. античная литература.

Тутъ мы видимъ своими глазами, какъ изъ первобытной лирико-эпической ячейки прежде всего развивается эпическая поэзія; при отсутствіи письменности единственнымъ хранилищемъ того, что слѣдовало знать, была память, а памяти нужно было придти на помощь размѣромъ и напѣвомъ. Итакъ, эпосъ сталъ вмѣщать въ себѣ все, что слѣдовало знать; дѣянія боговъ и предковъ, пророчества, законы, наставленія къ жизни и къ работамъ; отсюда его раздѣленіе на былевую и дидактическую вѣтви. — Развѣтіе музыки повело къ осложненію размѣровъ: изъ эпоса развивается лирика въ своихъ различныхъ разновидностяхъ, какъ элегія, баллада, пѣсня, ода; чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расширяетъ она свой кругозоръ, поглощаетъ, наконецъ, эпосъ и съ нимъ вмѣстѣ даетъ драму — трагедію и комедію. — Но тѣмъ временемъ и письменность все шире и шире распространяется; зарождается проза; проза конкурируетъ съ поэзіей, какъ хранилище того, что слѣдовало знать, но все-таки чувствуется, что поэзія обладаетъ такими достоинствами, какихъ у прозы нѣтъ — ея размѣръ болѣе соотвѣтствуетъ возбужденному состоянію души, чѣмъ гладкое теченіе прозы,

она продолжаетъ быть выразителемъ страстнаго, эмоціального элемента человѣческаго естества, предоставляя прозѣ элементъ интеллектуальный. Эпосъ умираетъ, его замѣняетъ историческая и философская проза. А жизнь все развивается и развивается, страсти кипятъ въ народныхъ собраніяхъ, кипятъ въ судахъ; создается особый родъ прозы, вмѣщающій въ себѣ страсть—краснорѣчіе. Элементъ страсти сближаетъ краснорѣчіе съ поэзіей, оно принимаетъ въ себя вѣчто въ родѣ размѣра, подъ именемъ прозаическаго ритма, обращаетъ вниманіе на равномерное дѣленіе частей періода и иногда, для большей вразумительности, подчеркиваетъ это дѣленіе римой. — Съ этимъ лирическимъ элементомъ риторическая проза грозитъ гибелью поэзіи; эта гибель отсрочивается благодаря той любви къ прошлому, которая охватила грековъ послѣ потери политической самостоятельности. Рождается романтическая поэзія такъ называемаго александрійскаго періода; эта поэзія воскрешаетъ прежніе поэтическіе типы и прибавляетъ къ нимъ новый, настоящій выразитель романтическаго настроенія—идиллію. — Затѣмъ литература переносится въ Римъ; это также ведетъ къ воскрешенію поэтическихъ типовъ, но уже на латинскомъ языкѣ, и опять къ созданію новаго типа, естественнаго продукта столкновенія наносной культуры съ туземной грубостью, римской сатиры. — Все же побѣда прозы надъ поэзіей этимъ только отсрочивается; чувствуя свои силы, она вторгается изъ міра дѣйствительности въ царство фантазіи, предоставленное до тѣхъ поръ поэзіи, создается романъ, создается повѣсть—эти послѣдыши античной литературы. — Торжеству прозы содѣйствуетъ тоже и то обстоятельство, что характерный для античныхъ языковъ элементъ количества, на которомъ построена вся античная метрика, въ эпоху по Р. Хр. сталъ теряться; когда поэтому потребовалась новая народная поэзія, что случилось между прочимъ подъ вліяніемъ христіанства, то ея форма была заимствована лишь отчасти изъ старинной поэзіи, главнымъ же образомъ изъ ритмической прозы; характерная особенность послѣдней—равномерное дѣленіе періодовъ, подчеркнутое римой—стало характерной особенностью также и новой поэзіи. Такъ возникла поздняя античная поэзія, прошедшая черезъ все средневѣковье: *stabat mater dolorosa juxta*

guscem lacrimosa, и все остальное. А между тѣмъ, это и есть та поэтическая форма, которая завоевала всѣ народы европейской культуры, всюду вытѣсняя грубыя и неспособныя къ развитію туземныя формы; мы всѣ, народы новой Европы, живемъ этимъ наслѣдіемъ, не исключая и нашей народной поэзіи. — Правда, дѣлались попытки замѣнить эти античныя формы другими, заимствованными изъ поэзіи другихъ неантичныхъ народовъ — индійской, арабской, — но эти попытки не имѣли успѣха. Мало того: нашимъ сосѣдямъ, нѣмцамъ, не удалось даже снова призвать къ жизни своей исконной поэтической формы, аллитерирующаго стиха. Его воспроизводили иногда очень удачно, всѣхъ удачнѣе Вагнеръ въ своей знаменитой трилогіи — *Helle Wehr, Heilige Waffe, Hilf meinem ewigen Eide!*—но его горизонтъ, тѣмъ не менѣе, очень узокъ. Въ «Кольца Нибелунга» онъ невозможенъ; ни Фаустъ, ни Орлеанская дѣва не могли имъ быть написаны.

Итакъ, по части литературныхъ типовъ и формъ мы и понынѣ живемъ античностью; новыя времена ихъ отчасти упростили, отчасти разнообразили, но ничего принципиально новаго къ нимъ не прибавили. Но я говорилъ также о *духѣ* античной литературы, и вы, вѣроятно, сами уже подозреваете, что въ этомъ духѣ — самое важное наслѣдіе античности. Да, конечно; но здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я долженъ быть кратокъ, даже рискуя пропустить очень серьезныя стороны моей темы. Ограничусь двумя примѣрами: духомъ античной исторіи и духомъ античной философіи, — конечно, смотря на ту и другую, какъ на литературные типы.

Исторію мы имѣемъ не у однихъ античныхъ народовъ: она была у народовъ Востока, была и у евреевъ. Но у народовъ Востока ея цѣль была совершенно особая: прославленіе дѣяній царей, ихъ побѣдъ, сооруженій и т. д.; о пораженіяхъ и безславіи царей не писали. Другую точку зрѣнія выдвинулъ Израиль: его исторія свидѣтельствовала ему о постоянной опекѣ Бога Саваоа, Который и награждалъ избранный Имъ народъ за повиновеніе Его закону, и каралъ за ослушаніе; его исторіографія имѣла поэтому цѣлью обнаружить, гдѣ только можно было, этотъ перстъ Божій. Впервые у древнихъ грековъ находимъ мы понятіе, которое, просто какъ такое, показалось бы

безсмысленнымъ исторіографамъ Востока, съ Израилемъ включительно: понятіе *исторической истины*. Для чего пишетъ свою исторію Геродотъ? „Для того, чтобы не пропала отъ времени память о дѣяніяхъ людей, и чтобы великія и удивительныя дѣла, совершенныя какъ эллинами, такъ и варварами, не лишились своей славы“. Замѣтите: какъ эллинами, такъ и варварами. Историкъ стоитъ выше національностей; великое дѣло какъ таковое его интересуетъ, оно требуетъ отъ него награды и получаетъ ее, безотносительно къ имени совершившаго. Конечно, у Геродота не все достоверно; онъ благодушно воспроизводитъ легенду, но безъ всякаго злого умысла: что дѣлать, въ его эпоху историческая критика еще только зарождалась. — Историческая критика... тутъ мы коснулись второй стороны дѣла. Въ прошлой лекціи, говоря о чувствѣ правды, я указалъ на то, что оно заключаетъ въ себѣ не одно, а два требованія — первое: „пустъ твои слова соотвѣтствуютъ твоему сужденію“, т.-е. „не лги“; второе: „пустъ твое сужденіе соотвѣтствуетъ дѣйствительности“, т.-е. „не заблуждайся“. Первому изъ этихъ требованій удовлетворилъ Геродотъ; удовлетворить второму было предоставлено его преемнику Фукидиду. Онъ не довольствуется уже правдивой передачей того, что слышалъ; онъ всячески старается провѣрить услышанное, сравниваетъ показанія аѳинянъ съ показаніями спартанцевъ, коринѳянъ и т. д., чтобы такимъ путемъ добраться до исторической истины. Такъ относится онъ къ установленію фактовъ; но это сравнительно легкая задача: историкъ не только докладчикъ, но и судья. Какъ же творить Фукидидъ историческій судъ? Такъ, какъ мы этого только и можемъ желать: гдѣ передъ нимъ двѣ противоположныя и непримиримыя точки зрѣнія, тамъ онъ послѣдовательно развиваетъ ту и другую въ формѣ состязательныхъ рѣчей представителей обѣихъ сторонъ. Рѣчи встрѣчались уже у Геродота, но у него онѣ только пріятно разнообразили рассказъ, — у Фукидида онѣ служатъ главной цѣли его труда, раскрытію исторической истины. Не всѣ, конечно, послѣдовали его примѣру: въ IV вѣкѣ встрѣчаются попытки подчинить историческую истину патріотизму, а затѣмъ и интересности рассказа; но въ серьезной исторіографіи его авторитетъ остался непоколебимъ. Во II вѣкѣ историкъ

Полибій произноситъ замѣчательныя слова, которымъ и слѣдуетъ на дѣлѣ: „истина—око исторіи“ (I, 14). Въ I вѣкѣ до Р. Хр. Цицеронъ хорошо формулируетъ главныя требованія къ исторіи въ слѣдующихъ словахъ: „ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia“, — словахъ, которыя и понынѣ красуются, какъ девизъ, на заглавномъ листѣ самаго серьезнаго изъ историческихъ журналовъ, французской *Revue historique*. Въ I—II вѣкѣ по Р. Хр. Тацитъ высказываетъ приблизительно то же требованіе въ своемъ знаменитомъ *sine ira et studio*.

Таковъ духъ античной исторіографіи. Что же, будемъ мы ее теперь упрекать въ томъ, что она въ томъ или другомъ отношеніи кажется намъ отсталой, слишкомъ много вниманія удѣляетъ установленію фактовъ внѣшней политики, слишкомъ мало интересуется экономическими и соціальными вопросами? Эти упреки были бы умѣстны, если бы мы, филологи, рекомендовали вамъ античную исторіографію, какъ норму для современной; но я уже разъ протестовалъ противъ этой инсинуаціи, и протестую противъ нея и теперь. Нѣтъ; античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ; мы должны принять его въ себя, это сѣмя исторической правдивости, чтобы изъ него выросло дерево правдивой современной исторіографіи. Съ этой-то точки зрѣнія и величайшій изъ историковъ новыхъ временъ, Ранке, называлъ себя ученикомъ Оукидида.

И мнѣ думается, что мы никогда еще въ этомъ сѣмени такъ не нуждались, какъ именно теперь. Именно теперь исторической истинѣ, этому оку исторіи, какъ его называетъ Полибій, угрожаетъ сильнѣйшая опасность со стороны ея двухъ исконныхъ враговъ: націонализма и партійности; а что это значить — это понять нетрудно. Не знаю, извѣстно ли вамъ, что нѣкоторые писатели разумѣютъ подъ готтентотской моралью? Этотъ терминъ имѣетъ своимъ источникомъ анекдотъ, вѣроятно, не очень достовѣрный, — будто одинъ готтентотъ на вопросъ миссіонера, что такое добро и зло, отвѣтилъ: „если мой сосѣдъ уведетъ у меня мою жену, то это зло, а если я уведу у него его жену, то это добро“. Теперь вы поймете, что этотъ готтентотскій принципъ проявляется не только на почвѣ

частныхъ сношеній — тамъ онъ намъ не опасенъ, мы надъ нимъ смѣемся, — онъ гораздо вреднѣе въ области національныхъ и партійныхъ интересовъ. Когда, скажемъ, испанецъ съ жаромъ заступаетъ за притѣсняемыхъ въ Португаліи испанцевъ, но возмущается противъ такого же заступничества Португаліи за обижаемыхъ въ Испаніи португальцевъ; когда тотъ же испанецъ, будучи республиканцемъ, горячо одобряетъ правительство за то, что оно запретило карлистскую демонстрацію, а на слѣдующій день бранить то же правительство за запрещенную республиканскую демонстрацію — то ему кажется, что онъ во всѣхъ этихъ случаяхъ разсуждаетъ вполне послѣдовательно и здраво. Мнѣ же думается, что онъ обнаруживаетъ въ первомъ случаѣ національный, а во второмъ — партійный готтентотизмъ, и больше ничего.

И все же я скажу: пока этотъ готтентотизмъ царитъ только у взрослыхъ людей въ ихъ національныхъ и партійныхъ расприхъ, то это еще поль-бѣды: говорить, безъ этого нельзя — не буду спорить. Но вѣдь наши испанцы этимъ не довольствуются; они требуютъ, чтобы вся исторія, поскольку она пишется испанцами и для испанцевъ, носила соотвѣтственный характеръ, чтобы видно было, что ее написалъ испанецъ, а не португалецъ. Тутъ мнѣ съ грустью вспоминается Фукидидъ; онъ начинаетъ свое сочиненіе словами: „Фукидидъ аѳинянинъ написалъ эту исторію войны пелопоннесцевъ съ аѳинянами“ — и хорошо, что онъ это дѣлаетъ, такъ какъ безъ этихъ словъ, по характеру и тенденціи его труда, никто не могъ бы догадаться, кто его написалъ: аѳинянинъ, спартанецъ или коринѳянинъ? Но что же дѣлать; видно придется исторіи, чтобы выдѣржать свой испанскій характеръ, закрыть свое «око» на протяженіи всѣхъ новыхъ временъ; будемъ утѣшаться тѣмъ, что истина найдетъ себѣ убѣжище хоть въ древней исторіи, такъ какъ древнюю-то исторію съ испанской точки зрѣнія не напишешь. И дѣйствительно, тутъ есть чему радоваться. Я никогда не подпишусь подъ вышеприведеннымъ изреченіемъ Мабли о новой и древней исторіи; несомнѣнно однако, что по нынѣшнимъ временамъ изученіе древней исторіи имѣетъ особенное нравственное значеніе. Здѣсь мы судимъ не на основаніи предвзятыхъ симпатій; мы одобряемъ добрыхъ мужей и добрыхъ

дѣла, возмущаемся по поводу дурныхъ, безотносительно къ національности того или тѣхъ, о комъ идетъ рѣчь. Здѣсь готтентотизмъ не имѣетъ почвы: вникая въ древнюю исторію, мы учимся быть справедливыми. Но именно это не на руку нашимъ испанцамъ; они требуютъ изгнанія древней исторіи изъ школы, или, по крайней мѣрѣ, ея сокращенія въ пользу новой, особенно же испанской исторіи... Впрочемъ, господа, вы, конечно, давно поняли, что я говорю здѣсь объ испанцахъ только потому, что они живутъ далеко, никогда не узнаютъ, что я о нихъ говорилъ, и поэтому не обидятся; а я уже столькожъ «обидѣлъ» въ своихъ предыдущихъ лекціяхъ, что будетъ съ меня. Нѣтъ, вернемся домой. Чего только ни требуютъ отъ школьнаго преподаванія исторіи! Оно должно насадить духъ патріотизма, духъ..... другой, третій, четвертый. Боюсь, однако, что изъ всѣхъ этихъ древнонасажденій ничего путнаго не выйдетъ, «око» же исторіи окажется при этомъ окончательно вышибленнымъ. Нѣтъ; если бы дѣло зависѣло отъ меня, я, какъ выросшій на античности человѣкъ, сказалъ бы скромно, но рѣшительно: „преподаваніе исторіи должно насаждать духъ правдивости и справедливости“ — а затѣмъ.... поставилъ бы точку.

ЛЕКЦІЯ ШЕСТАЯ.

Вторая антитеза: продолженіе. — Духъ античной философской литературы: переубѣдимость. — Кодексъ чести мыслителя. — Античная философія: ея универсализмъ. — Античная этика. — Этика досократовская, сократовская и христіанская. — Ихъ важность для этики будущаго. — Античное право. — Юристы-ремесленники и юристы-мыслители. — Античная политика. — Античность и оптимизмъ.

Предыдущую лекцію я закончилъ анализомъ и характеристикой того, что я назвалъ духомъ античной исторіографіи; перехожу къ духу античной *философіи*, предупреждая васъ, однако, и здѣсь, что пока мы ее разсматриваемъ не какъ таковую, а только какъ литературный типъ, параллельно съ исторіографіей.

Допустимъ на минуту, что все содержаніе философіи Платона не только невѣрно, но и нелѣпо, что оно не имѣетъ для насъ никакой цѣнности; можно ли будетъ сдать его діалоги въ архивъ? Нѣтъ; ихъ значеніе, какъ литературныхъ произведеній, независимо отъ того, что является ихъ философскимъ результатомъ. То, что въ нихъ болѣе всего поражаетъ мало мальски вдумчиваго читателя, это вовсе не ихъ выводы, а тотъ методъ, посредствомъ котораго таковыя достигаются. Сравнимъ для ясности и здѣсь греческую философскую письменность съ тѣмъ, что ей соотвѣтствуетъ у нетронутыхъ греческой цивилизаціей народовъ, у индійцевъ, у народовъ такъ называемаго классическаго востока, у евреевъ. И тамъ вы встрѣтите очень глубоко-мысленныя наставленія: никто не можетъ относиться свысока къ проповѣди Будды или къ ветхозавѣтнымъ пророкамъ. Но

у грековъ есть нѣчто ими впервые введенное въ работу нашей мысли, — а именно, всюду разлитое убѣжденіе, что каждое наше положеніе постольку вѣрно, поскольку оно *доказано*. Мало того; предполагается, что эта доказанность или недоказанность — единственное, что приходится имѣть въ виду мыслителю, и что эта доказанность, разъ она налицо, должна оградить его отъ всѣхъ антипатій общества. „Какъ! ты утверждаешь то-то и то-то?“ — говорить Сократу его собесѣдникъ, возмущенный его выводами. О, нѣтъ, отвѣчаетъ Сократъ, это утверждаю не я, а Logos, орудіемъ котораго я здѣсь являюсь. Нравится тебѣ то, что Logos доказываетъ моими устами — тѣмъ лучше; не нравится — вини не меня, а Logos'a, или еще лучше — самого себя.

А это отношеніе къ дѣлу имѣетъ своимъ послѣдствіемъ требованіе, чтобы человѣкъ былъ *убѣдимымъ и переубѣдимымъ*. Logos ставитъ намъ серьезныя, подчасъ тяжелыя условія. Ты *долженъ* признать самое неприятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты *долженъ* отказаться отъ самаго дорогого тебѣ убѣжденія, разъ оно опровергнуто, — вотъ кодексъ чести мыслителя. Не хочешь — ты будешь бараномъ изъ стада, работою подъ властью господина, а не свободнымъ гражданиномъ общины духа. А потому — опровергай, доказывай, но не жалуйся, не злословь, не приходи въ азартъ. И хорошенько присматривай за своими доказательствами и опроверженіями, чтобы они были дѣйствительно доказательны: очень часто симпатія и антипатія извращаетъ наше сужденіе, склоняя его признать доказательными самыя легкомысленныя соображенія — этого быть не должно. Недоказательное соображеніе, внушенное симпатіей, въ спорѣ — то же, что неправильный ударъ въ поединкѣ; кто къ нимъ прибѣгаетъ, тотъ нарушаетъ кодексъ чести.

Да, *переубѣдимость* — вотъ то сѣмя, которое заключаетъ въ себѣ античная философія, и только она; и это сѣмя должно взойти въ каждомъ изъ насъ, если онъ хочетъ относиться сознательно къ явленіямъ жизни, хочетъ выйти изъ мрака предрасудковъ. Къ сожалѣнію, почва для этого сѣмени у современнаго человѣка очень неблагоприятна. Мы всѣ болѣе или менѣе, въ силу наслѣдственности, волунтаристы; интеллектуализмъ — лишь тонкій наносный слой чернозема въ складѣ нашего

ума. Насъ можно настроить и перенастроить, на насъ вліяетъ стихійнымъ образомъ среда и обстановка нашей жизни; но вѣдь все это — прямая противоположность интеллектуальной переубѣдимости.

И теперь, бесѣдуя съ вами объ этой послѣдней, я болѣе всего боюсь, какъ бы вы не перевели моихъ словъ на волунтаристическій языкъ и не смѣшали переубѣдимости съ тѣмъ, что я позволилъ бы себѣ назвать перенастраиваемостью, этимъ вѣрнымъ признакомъ нравственной или умственной слабости. Не въ томъ важность, чтобы человѣкъ былъ въ состояніи мѣнять свои убѣжденія; это — явленіе до того обычное, что и говорить о немъ не стоитъ. Сплошь и рядомъ онъ, переходя изъ одной среды въ другую, мѣняетъ свои убѣжденія — не вдругъ, разумѣется, а исподволь; въ особенности это касается убѣжденій политическихъ. Тутъ такого рода метаморфозы происходятъ съ регулярностью, немногимъ уступающей извѣстной метаморфозѣ насѣкомыхъ: сплошь и рядомъ изъ самыхъ радикальныхъ личинокъ вылупливаются самые великолѣпные ретроградные папиллоны. Надѣюсь, вы не заподозрите меня, что я подъ переубѣдимостью рекомендую подобнаго рода метаморфозу; совершенно напротивъ, она — прямой ея врагъ. Да, но не единственный; другой ея врагъ — то, что на волунтаристическомъ языкѣ принято нарекать почетнымъ именемъ стойкости убѣжденій, между тѣмъ какъ на нашемъ интеллектуалистическомъ языкѣ имя этому качеству — косность и умственная слѣпоты. Съ нашей точки зрѣнія одинаково заслуживаетъ осужденія какъ тотъ, кто отказывается отъ своихъ убѣжденій, не имѣя на это логическаго основанія, такъ и тотъ, кто при наличности этого основанія отъ нихъ не отказывается; оба они — враги и ослушники Logos'a, того «слова-разума», которое, по глубокомысленному изреченію четвертаго евангелиста, было въ самомъ началѣ бытія — и впервые объявилось въ античной философіи.

Простите, что я настаиваю на этомъ соображеніи; но оно намъ теперь ближе, чѣмъ когда-либо. Въ эту самую минуту надъ всѣми нами — и надо мною, лекторомъ, и надъ вами, моими слушателями — витаетъ Logos; то, что я вамъ говорю, рассчитано не на то, чтобы такъ или иначе васъ настроить,

а на то, чтобы васъ убѣдить. Что это задача трудная, что мои рѣчи вызовутъ много критики и неудовольствія—это я и самъ сознавалъ и вамъ заявилъ съ самаго начала: трудно убѣждать и переубѣждать тамъ, гдѣ имѣешь дѣло съ накопившимся въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, переданнымъ средою и чуть-ли не по наслѣдственности *предубѣжденіемъ*. Но я полагаю, если для меня важно сообщить вамъ ту истину, которою я обладаю, то для васъ не менѣе важно воспринять ее... поскольку она истина. А чтобы въ этомъ убѣдиться, для этого средство одно — тотъ кодексъ чести мыслителя, о которомъ я говорилъ только-что: „ты долженъ признать самое непріятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто“. Между тѣмъ современный читатель и слушатель въ числѣ другихъ качествъ, которыми онъ отличается отъ античнаго, обладаетъ и слѣдующимъ: когда ему доказываешь что-нибудь, онъ пропускаетъ ходъ доказательства мимо ушей или глазъ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на результатѣ; нравится ему этотъ результатъ — хвала автору, хотя бы само доказательство было построено по силлогизму «чижики въ лодочкѣ»; не нравится ему результатъ—анаѰема. Вотъ противъ этого-то отношенія къ дѣлу и хотѣлъ бы васъ вооружить, пока еще пора, пока я еще предъ вами.

Да, еще разъ повторяю: переубѣдимость, этотъ залогъ умственной свободы и умственного прогресса—вотъ самое драгоценное намъ наслѣдіе античной философіи, какъ литературнаго произведенія. Ея соотвѣтственная форма—діалогъ; и вотъ причина, почему Платонъ свои сочиненія написалъ въ діалогической формѣ, при чемъ убѣжденіе и переубѣжденіе происходитъ на нашихъ глазахъ.

Вы, конечно, понимаете, что я по необходимости пропускаю много сторонъ, драгоценныхъ въ античности, въ античной литературѣ, въ античной философской литературѣ—я могу вамъ представить только образчики, а при ихъ выборѣ нѣкоторый субъективизмъ неизбѣженъ. Я говорю о томъ, что мнѣ кажется наиболѣе цѣннымъ изъ того, чему меня научила античность: другой, быть можетъ, подчеркнулъ бы другія стороны, болѣе близкія его сердцу, и былъ бы точно также

правъ. Теперь, прежде чѣмъ проститься съ античной литературой, мнѣ хотѣлось бы еще разъ указать на ея огромное культурно-историческое значеніе.

Если бы античность была только создательницей тѣхъ литературныхъ типовъ, которыми живемъ и мы, только плоскостью отправленія для эволюціи новѣйшей литературы, то и тогда ея значеніе было бы очень велико: вѣдь всякій вопросъ о причинѣ явленій всемірной литературы, другими словами, всякое сознательное къ ней отношеніе неизбѣжно завело бы насъ въ область античности. Но вѣдь этимъ ея значеніе не исчерпывается: античность не только дала толчокъ новѣйшимъ литературамъ, она и сопровождаетъ ихъ на всемъ пути ихъ развитія, оказывая болѣе или менѣе сильное вліяніе на нихъ. Очень вѣрно сказалъ въ свое время Монтескье: „новѣйшія сочиненія написаны для читателей, античныя—для писателей“, всегда, и особенно въ лучшіе періоды всемірной литературы, античность была главной пищей поэтовъ и прозаиковъ, и только тотъ правильно пойметъ также и новѣйшую литературу, кто очень добросовѣстно изучилъ эту ея пищу. Прежде это требованіе не такъ еще сознавалось: пока главную задачу историка литературы видѣли либо въ собираніи фактовъ изъ вѣйшей жизни писателей, либо въ морально-эстетическихъ разглагольствованіяхъ объ ихъ сочиненіяхъ, можно было обходиться безъ знанія античной литературы; но съ тѣхъ поръ какъ исторія литературы была поставлена на научную почву, съ тѣхъ поръ какъ мы стали ставить къ ея исторіи требованіе обнаружить тѣ силы, которыя придали данному литературному произведенію именно данный, а не другой характеръ—знаніе античной литературы стало непремѣнной обязанностью этого историка: какъ вы объясните возникновеніе литературнаго явленія, если вы не знаете тѣхъ силъ, которыя его произвели? Такимъ образомъ и тутъ оправдывается сказанное мною выше: важность античности стала не меньше, а больше, чѣмъ она была раньше.

Но здѣсь для насъ важно не это, а вотъ что. Вы не забыли той антитезы, въ которой я вижу девизъ разумнаго поборника античности въ современной жизни: «не норма, а сѣмья». Были въ исторіи всемірной литературы періоды, когда

античность считалась нормой для современности; были и другіе, когда она... быть может не считалась, но дѣйствительно была сѣменемъ. Первые мы называемъ подражательными: подражали тому, что понимали, понимали же не очень много, гораздо менѣе, чѣмъ мы теперь; въ результатъ получался не классицизмъ, а псевдоклассицизмъ. Все же и эти періоды были необходимы: они вышколили новѣйшую литературу, сообщая ей типамъ и средствамъ изложенія то техническое совершенство, въ которомъ они нуждались для того, чтобы служить болѣе высокимъ цѣлямъ; къ сожалѣнію, недостатокъ времени не позволялъ развить вамъ этотъ въ высшей степени интересный и важный пунктъ. Но какъ бы тамъ ни было, дѣйствительно творческими періодами всемірной литературы мы считаемъ тѣ, когда античность была не столько нормой, сколько сѣменемъ... все равно, признавалась ли она таковымъ или нѣтъ. Мы справедливо ставимъ Шекспира и Гете, для которыхъ античность была сѣменемъ, выше Расина, для котораго она была нормой, не говоря уже о другихъ, болѣе рабскихъ подражателяхъ. Но вы согласитесь, что процессъ развитія сѣмени сложнѣе и прослѣдить его труднѣе, чѣмъ процессъ воспроизведенія нормы; гораздо легче обнаружить вліяніе античности на Расина, чѣмъ на Шекспира и Гете. Да, конечно; но задача не упраздняется съ установленіемъ трудности ея исполненія. Исторія литературы, какъ наука, еще только нарождается. Ее мощно двинулъ впередъ знаменитый Тэнъ своимъ требованіемъ, чтобы литература разсматривалась, какъ продуктъ общества, изъ котораго и для котораго она создавалась; не менѣе важно, однако, требованіе, чтобы, кромѣ этихъ внѣшнихъ силъ, было прослѣжено и вліяніе той внутренней силы, которая въ ней жила и живетъ, т.-е. античности. „Новѣйшія сочиненія“ — повторяю слова Монтескье — „написаны для читателей, античныя — для писателей“, а слѣдовательно, прибавимъ мы, и для того, кто изучаетъ этихъ писателей и судить о нихъ.

Оглянемся теперь немного назадъ. Въ своемъ обзорѣ античнаго міра мы начали, какъ это было естественно, съ религіи: религія привела насъ къ міеологіи, міеологія къ литературѣ, литература къ философіи. Мы охарактеризовали ее пока только какъ литературный типъ: переходимъ теперь къ

ея самостоятельному значенію именно какъ философіи. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо бросается въ глаза, до какой степени греческій народъ былъ (повторяя выраженіе Вл. Соловьева) многоразумомъ. Изъ обоихъ наиболѣе творческихъ въ области философіи народовъ современности, англійскаго и нѣмецкаго, первый всегда былъ склоненъ къ эмпиризму, второй къ раціонализму; про грековъ трудно сказать, которое изъ обоихъ этихъ направленій лежало ближе къ ихъ душѣ. Греція создала раціоналиста Платона, но она же и эмпирика Демокрита; въ Аристотелѣ обѣ струи соединяются, но затѣмъ опять отдѣляются одна отъ другой—направленіе Платона воскресаетъ въ стоикахъ, направленіе Демокрита въ Эпикурѣ. Эту спасительную двойственность Греція завѣщала и новому міру; отнынѣ отупляющая односторонность стала уже невозможной. Попеременно то Платонъ, то Эпикуръ оплодотворяли и оживляли новѣйшую философію. Раціонализмъ Платона соприкасается съ религіей, эмпиризмъ Эпикура—съ наукой; первый родствененъ съ идеализмомъ, второй съ матеріализмомъ; первый ведетъ къ совершенствованію человѣка какъ такового, второй—къ его власти надъ природой. Оба направленія намъ необходимы, но самое необходимое, это—борьба между ними, та плодотворная борьба, результатомъ которой является культурный прогрессъ. Не дай Богъ, чтобы которое-нибудь изъ этихъ двухъ направленій у насъ заглохло, чтобы разумъ человѣческій забрелъ либо въ бесплодную пустыню спекуляцій, либо въ грязный омутъ исключительно матеріальныхъ интересовъ; а чтобы этого не случилось, для этого античная философія должна оставаться всегда близкой нашему сердцу—именно античная философія съ ея здоровымъ универсализмомъ, одинаково обзрѣвающая своимъ яснымъ взоромъ небо и землю... Но это, пожалуй, матерія слишкомъ трудная; вы знаете уже, что мы не можемъ исчерпать своей темы—что я могу привести вамъ только образчики. Приведу таковой и для античной философіи; изъ многихъ ея сторонъ выберу одну, а именно нравственную.

Это—вопросъ вѣсѣмъ одинаково близкій. Всякое общество живетъ нравственностью; нравственность нашего времени есть нравственность христіанская—ее признають даже тѣ, которые относятся болѣе или менѣе безучастно къ религіознымъ исти-

намъ христіанства. Замѣчательно, однако, что первые христіане-мыслители, знакомясь съ античною философіею, были поражены ея величіемъ и чѣстотой; относясь къ этому явленію съ религіозностію христіанъ и съ честностію мыслителей, они придумали для него слѣдующее объясненіе: „Господь Богъ“, говорили они, „въ своемъ попеченіи о человѣческомъ родѣ, до пришествія Христа, далъ евреямъ законъ, а эллинамъ философію“. Замѣьте это сопоставленіе: евреямъ — законъ, эллинамъ — философію. Законъ говорить: „ты долженъ, ты не долженъ“ — и только; философія ставитъ вездѣ вопросъ «зачѣмъ» и «для чего». Итакъ, отношеніе Творца къ обоимъ народамъ-избраннымъ было различно: евреямъ онъ приказывалъ, съ эллинами — разсуждалъ... Такой, по крайней мѣрѣ на мой взглядъ, естественный, логическій выводъ изъ приведеннаго положенія святыхъ отцевъ; не буду, однако, его развивать, не желая впасть въ ересь, — сосредоточусь на эллинахъ.

И у нихъ нравственность не съ самаго начала носила философскій характеръ; были и у нихъ законы и заповѣди, авторомъ которыхъ считали перваго учителя нравственности, воспитателя Ахилла и другихъ героев, Хирона. Первая: „воздавай честь Зевсу и прочимъ богамъ“; вторая: „уважай родителей“; третья: „не обижай гостя-чужестранца“ — таковы три великія заповѣди Хирона (Χείρωνος ὑποθήκαι), нарушеніе которыхъ было смертнымъ грѣхомъ, наказуемымъ вѣчными карами на томъ свѣтѣ. Но, конечно, это было не все: цѣлое нравственное міросозерцаніе прикрывало себя этой высшей санкціей откровенія, тѣ „эпирородные законы“, какъ ихъ называетъ Софокль, „отецъ которыхъ — одинъ Олимпъ; не человѣческая природа ихъ родила, не будутъ они поэтому похоронены подъ покровомъ забвенія“. Пиндаръ, Эсхиль, Геродотъ, Софокль — вотъ для насъ главные источники этихъ законовъ, этой законнической древней нравственности. Какъ же мы къ нимъ отнесемся? Мы въ Хирона и Олимпъ вѣрить не обязаны; возражая великому греческому поэту, мы скажемъ, что именно человѣческая природа ихъ родила, — тотъ законъ подбора, который одинаково силенъ какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ мірѣ; закономъ подбора создается, какъ бессо-

знательный результат вѣкового опыта поколѣній, тотъ кругъ нравственныхъ нормъ, который обезпечиваютъ обществу наилучшія условія для его развитія.

Конечно, рассматриваемая только съ этой точки зрѣнія, древне-греческая инстинктивная нравственность стоитъ не выше, чѣмъ инстинктивная нравственность любого другого культурнаго или дикаго племени: всѣ онѣ одинаково опредѣляются тѣмъ же непреодолимымъ закономъ подбора. То, что придаетъ ей исключительное значеніе,—это то, что греческая культура, перешедшая въ Римъ, а изъ Рима къ новымъ народамъ, есть единственная въ исторіи человѣчества культура, побѣдившая и побѣждающая, между тѣмъ какъ всѣ другія культуры, не включая и самыхъ живучихъ (мусульманской и буддійской), суть культуры побѣжденные или побѣждаемыя. Тутъ мы стоимъ на вполнѣ твердой біологической почвѣ: инстинктивная нравственность греческаго народа есть самая здоровая изъ всѣхъ—потому самая здоровая, что она создала единственную въ мірѣ выживающую культуру. Значить ли это, что она должна быть для насъ нормой? Нѣтъ, конечно; мы уже видѣли, что нормъ въ античности мы вообще искать не должны. Но если какая-нибудь инстинктивная нравственность заслуживаетъ вниманія современности, то несомнѣнно она; и это вниманіе ей досталось и достается въ полной мѣрѣ съ тѣхъ поръ, какъ ея проповѣдникомъ сталъ среди насъ Фр. Ницше...

Но я здѣсь не о ней хотѣлъ говорить, а о той сознательной, философской нравственности, которая возникла на ея почвѣ послѣ одной изъ величайшихъ реформъ, которая переживало человѣчество въ этой области; эта реформа связана съ именемъ Сократа. Сократъ именно тѣмъ и произвелъ переворотъ въ Аѳинахъ, что по поводу каждаго нравственнаго принципа или закона ставилъ вопросъ «зачѣмъ» и «для чего». Въ этомъ отношеніи онъ, а съ нимъ и пошедшая отъ него нравственная философія, стоитъ особнякомъ; другого такого примѣра исторія человѣчества не знаетъ. Если до-сократовская инстинктивная нравственность возбуждала нашъ интересъ какъ *самая чинная* изъ инстинктивныхъ же нравственностей, то сократовская сознательная нравственность заслуживаетъ нашего вниманія какъ *единственная*. И Сократъ—вы это знаете—дорого поплатился

за свой починъ. Современники ужаснулись этихъ его «зачѣмъ» и «для чего», на которыя они не знали отвѣта; не зналъ на нихъ отвѣта и онъ самъ. Вы помните его грустные слова: „они всѣ ничего не знаютъ, да и я не умнѣе ихъ; я только знаю, что ничего не знаю, а они даже этого не знаютъ“. Инстинктивная нравственность перестала удовлетворять людей мыслящихъ, а новой, сознательной еще не было; афинское общество почувствовало себя въ положеніи людей, отвалившихъ отъ одного берега и не видящихъ другого. Не будемъ строго относиться къ ихъ протесту противъ человѣка, который отнялъ у нихъ то, чѣмъ они жили до тѣхъ поръ; но не будемъ отказывать въ удивленіи смѣлому пловцу, который рѣшительно отчалилъ отъ берега въ поискахъ новаго, лучшаго міра. На поставленные Сократомъ вопросы отвѣтили позднѣйшіе философы, особенно стойки; результатомъ ихъ отвѣтовъ была нравственная философія, создательница единственной въ мірѣ такъ называемой автономной морали, сознательно выводящей нравственный долгъ человѣка изъ его правильно понятой природы.

Но, могутъ меня спросить, на что намъ эта автономная мораль, когда у насъ есть мораль христіанская?—Во-первыхъ, я уже разъ протестовалъ противъ этого выдѣленія христіанства изъ античности, которое не имѣетъ другого основанія, кромѣ чисто внѣшняго—а именно, что античность всегда проходила и проходитъ на философскомъ, а христіанство на богословскомъ факультетѣ. Какъ можно отдѣлять отъ античности культурную силу, которая зародилась и окрѣпла въ предѣлахъ Римской имперіи въ эпоху первыхъ римскихъ императоровъ и явилась отвѣтомъ на вѣковые запросы античнаго общества? Да и всякій, изучавшій исторію христіанства и христіанской морали, знаетъ, какъ эта послѣдняя питалась соками античной философіи, которая, по словамъ самихъ христіанскихъ учителей, была дана эллинамъ Господомъ еще до пришествія Христа. Но сила вовсе не въ этомъ аргументѣ; вы можете его разбить указаніемъ на то, что христіанская мораль по своему принципу отличается отъ до-сократовской и отъ сократовской: тамъ мы имѣли нравственность инстинктивную и нравственность сознательную, здѣсь же нравственность богооткровенную. Не буду спорить; поставлю только вопросъ:

желательно ли, чтобы откровение было единственной санкціей нравственного долга? Знаю, многіе склонны будутъ отвѣтить: «да». Опять не буду спорить въ принципѣ; сошлюсь только на факты.

Религіозный скептицизмъ—фактъ, и притомъ фактъ далеко не такой страшный, какимъ многіе его представляютъ; его можно даже въ извѣстныхъ предѣлахъ разсматривать, какъ явленіе біологическое. Бываетъ въ жизни человѣка возрастъ,—это именно вашъ возрастъ, господа—когда подъ вліяніемъ, съ одной стороны, могучаго прилива жизненныхъ силъ въ здоровомъ организмѣ, а съ другой — отрывающагося передъ молодыми глазами все болѣе и болѣе широкаго горизонта, у его души точно крылья вырастаютъ. Онъ смотритъ взоромъ побѣдителя на тотъ просторъ, который открылся передъ нимъ, онъ чувствуетъ себя его господиномъ, если не настоящимъ, то будущимъ, и на всѣ рѣчи про стѣснительную высшую санкцію склоненъ отвѣчать; „я вѣрю въ себя и свою силу!“ Позднѣе, когда вешнія воды вошли въ свое нормальное русло, онъ отрезвляется, соразмѣряетъ свои силы съ своей задачей, учится съ уваженіемъ относиться къ тѣмъ санкціямъ, которыя нѣкогда отвергалъ... Эта метаморфоза не имѣетъ ничего общаго съ той, на которую я намекнулъ раньше (стр. 92); она честна и безкорыстна, и я даже сожалѣю о томъ человѣкѣ, который „смолоду не былъ молодъ“; мнѣ вспоминаются слова Петrarки: „не приноситъ осенью плодовъ то дерево, что весной не цвѣло“ (*non fructificat autumnus arbor, quae vere non floruit*). Иногда и цѣлыя общества переживаютъ такіе періоды кипучей жизни и смѣлости мысли. Въ одинъ изъ такихъ періодовъ—періодъ Локка и Вольтера—и было открыто значеніе автономной морали школы Сократа; а на нашихъ глазахъ, въ силу такого же молодого порыва, была приобщена къ сознанію современнаго общества и до-сократовская инстинктивная мораль, показателемъ и символомъ которой ея возродитель избралъ античнаго бога весны и приливающихъ силъ—Діониса. Такія явленія имѣютъ далеко не одно только преходящее значеніе; конечно, всякое увлеченіе проходитъ: прошло вольтерьянство, пройдетъ и ницшеанство — не пройдетъ только борьба, это единственное и необходимое средство совершенствованія.

Такая борьба предстоит и намъ — быть можетъ самая серьезная изъ всѣхъ, какія когда-либо волновали человѣчество. А въ такія эпохи усиленной борьбы не годится замыкаться въ предѣлы одной какой-нибудь, хотя бы даже и христіанской морали. Назрѣваютъ новыя общественныя группировки, а съ ними и новыя задачи индивидуальной и соціальной этики; для ихъ рѣшенія нельзя довольствоваться тѣми нормами, которыя мы получили въ наслѣдіе отъ отцовъ и дѣдовъ. Мы должны провѣрить ихъ право на существованіе, мы должны черезъ этотъ наносный слой ходячей морали проникнуть къ дѣйствительной нравственности, къ той, которая держится на незыблемомъ устоѣ человѣческой природы... и не просто «человѣческой» природы (въ этомъ заключалась ошибка просвѣтительной эпохи), а нашей европейской природы, корни которой лежатъ въ нашей духовной родинѣ, въ античности. И вотъ почему мы должны отъ нашей морали обратиться и къ до-христіанской, сократовской, и къ до-сократовской, инстинктивной; не для того, чтобы возсоздать ихъ, упаси Богъ,—а для того, чтобы изъ ихъ борьбы съ ходячей моралью родилось то новое, въ которомъ мы нуждаемся.

Такова потребность времени; по многимъ примѣтамъ видно, что мы идемъ навстрѣчу новому расцвѣту занятій античностью, которая будетъ и глубже понята и сильнѣе повліяетъ на людей. Фридрихъ Ницше — только одинъ примѣръ, одинъ симптомъ; огромный, хотя и медленный успѣхъ этого пророка античности—и притомъ самой античной, до-сократовской античности—ясно показываетъ намъ, въ какую сторону направлены запросы современности и гдѣ средство къ ихъ удовлетворенію. У насъ въ Россіи общество всегда было особенно чутко къ нравственнымъ вопросамъ и запросамъ; у насъ его сознаніе менѣе стѣснено традиціонными рамками, болѣе рвется на просторъ, отъ условнаго и преходящаго къ дѣйствительному, природному, вѣчному. У насъ, поэтому, и интересъ къ античности долженъ бы быть сильнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. И когда я слышу эту проповѣдь ненависти и пренебреженія къ античности въ нашемъ обществѣ, мнѣ кажется, что я имѣю дѣло съ какимъ-то колоссальнымъ и позорнымъ недоразумѣніемъ. Мнѣ хотѣлось бы крикнуть обществу: „Да что вы дѣлаете!

Передъ вами чаша съ самымъ искристымъ, самымъ вкуснымъ, самымъ питательнымъ напиткомъ, но края этой чаши смазаны полынью—и вы плаксиво, точно дѣти, отъ нея отвращиваетесь? “...

Довольно, однако, объ античной философіи; ея характеристика сама собою насъ привела къ социальнымъ и государственнымъ формациямъ въ древнемъ мірѣ, къ практикѣ и теоріи *античнаго государства*. Да, къ практикѣ и теоріи; сопоставляя эти два понятія, мы уже указываемъ то, въ чемъ состоитъ отличительная черта античной политики. Всѣ народы древняго и новаго міра жили той или другой общественной и государственной жизнью; но только античные народы мыслили, разсуждали и писали о ней, да изъ новыхъ народовъ тѣ, которыхъ этому научила античность.

Правда, одна область этой жизни у всѣхъ культурныхъ народовъ требовала сознательнаго къ себѣ отношенія—область *правовая*; чтобы регулировать отношенія между гражданами (и полугражданами) и хоть до нѣкоторой степени обуздать произволь фактической силы, требовалось опредѣленное законодательство, состоящее изъ ряда опредѣленныхъ рецептовъ: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то“. Такихъ законодательствъ намъ извѣстно довольно много; самое древнее изъ нихъ, вавилонское, — «кодексъ Гаммураби», — относящееся къ третьему тысячелѣтію до Р. Х., было найдено не такъ давно, и эта находка возбудила интересъ всего цивилизованнаго міра. Дѣйствительно, этотъ «кодексъ» очень интересенъ — между прочимъ и въ томъ отношеніи, что мы изъ него узнаемъ, какъ долго человѣчество жило одними ремесленными рецептами по образцу: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то“, и сколь великъ, стало быть, подвигъ народа, который одинъ сумѣлъ отъ этихъ рецептовъ перейти къ научному правовѣдѣнію, имѣющему въ своемъ основаніи точныя опредѣленія правовыхъ понятій, а въ своемъ корпусѣ—операцию надъ ними; это—такой же подвигъ мысли, какъ и переходъ отъ знахарскихъ практикъ къ научной медицинѣ, имѣющей въ своемъ основаніи изученіе свойствъ организмовъ и веществъ. Переходъ этотъ въ области права осуществили отчасти греки, но особенно римляне; и въ этомъ заключается причина, почему рим-

ское право было, есть и будетъ воспитателемъ новѣйшей юриспруденціи.

Знаю, что это положеніе часто оспаривается... не столько, впрочемъ, юристами *qua* юристами (дѣлаю эту юридическую оговорку въ виду того, что и юристы бываютъ часто людьми партіи: *qua* люди партіи они говорятъ, разумѣется, то, что велитъ говорить партія), сколько неюристами и полуюристами. „Къ чему изучать римское право?“ спрашиваютъ они: „наши понятія о бракѣ, семьѣ и т. д. другія, чѣмъ римскія; на что же могутъ намъ пригодиться нормы римскаго права?“ Замѣтите: нормы. Вездѣ одно и то же заблужденіе: норма непримѣнима — значить и изучать нечего. Намъ кажется смѣшнымъ анекдотическій солдатъ, который отказался рѣшить ариѳметическую задачу — „если я далъ тебѣ 5 р., а 3 р. ты послалъ женѣ, то сколько осталось?“ — отказался на томъ основаніи, что никто ему 5 р. не давалъ, да и жены у него нѣтъ; но вѣдь въ сущности эти квази-юристы, разсужденіе которыхъ я привелъ только что, ничуть не умнѣе того солдата. Не нормы римскаго права намъ нужны; намъ нужны правовыя понятія, которыя съ удивительною точностью и цѣлесообразностью установилъ этотъ народъ-избранникъ Оеимиды — всѣ эти *justum* и *aequum*, *dolus* и *culpa*, *possessio* и *dominium*, *hereditas* и *legatum*, *fideicommissum*, *ususfructus*, *servitus*, *obligatio* и масса другихъ; намъ нужно умѣніе оперировать этими понятіями, узнавать ихъ въ данныхъ правовыхъ отношеніяхъ и этимъ сводить запутанные отдѣльные случаи жизненной практики къ сравнительно простымъ формуламъ; нуженъ весь этотъ тонкій и умный юридическій анализъ, мастерами котораго были римскіе правовѣды. „Но зачѣмъ же?“ — спрашиваютъ эти люди; „вѣдь эти понятія и операціи, поскольку они нужны, приняты въ современное право“. А въ современномъ правѣ, переспрошу я, они перестали быть римскими? Вы замѣнили слово *ususfructus* словомъ «пользовладѣніе» — и воображаете, что у васъ, благодаря этой простой манипуляціи, вмѣсто римскаго права получилось русское? Вы содрали этикетъ съ амфоры благороднаго фалернскаго вина, налѣпили русскій ярлыкъ — и тѣшите себя мыслью, что пьете отечественное вино? Эта близорукая современница

вредна уже однимъ тѣмъ, что ведетъ къ такимъ безсовѣстнымъ фальсификаціямъ и плагіатамъ.

Но вѣдь это только одна сторона дѣла. Я а priori устраняю нормативность античности и нормативный принципъ въ ея оцѣнѣ; все же кое-гдѣ и кое въ чемъ можно у нея и въ этомъ отношеніи поучиться, и притомъ въ области римскаго права болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой; но и это не все. Какъ бы ни относиться къ непосредственному, актуальному значенію римскаго права—то значеніе, какое оно *имѣло* для насъ, какъ источникъ нашего права и воспитатель нашего правовѣдѣнія, никоимъ образомъ у него не можетъ быть отнято: *habere eripi potest, habuisse non potest*, прекрасно сказалъ Сенека. Мы не можемъ изучать исторію нашего права, не изучая права римскаго; и не можемъ не изучать этой исторіи, если хотимъ сколько-нибудь сознательно относиться къ тому, чѣмъ мы живемъ. Отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ правовыхъ институтовъ даетъ намъ ихъ возникновеніе; отвѣтъ на вопросъ объ ихъ возникновеніи—ихъ исторія, т.-е., согласно сказанному, римское право. Кто его не знаетъ, тотъ никогда не будетъ юристомъ-мыслителемъ; а такіе намъ никогда не были такъ нужны, какъ именно теперь, когда происходитъ, можно сказать, разложеніе уголовного права и процесса, когда мятущаяся совѣсть человѣчества въ лицѣ Толстого, Ницше, Геккеля ставить все новые и новые запросы правовѣдѣнію и съ мучительнымъ напряженіемъ ждетъ отвѣта на нихъ.

Но право и правовѣдѣніе—только одна сторона того, что можно назвать античной «политикой» въ античномъ смыслѣ этого слова; въ ней много другихъ—столько, что намъ нельзя помышлять даже о схематической полнотѣ. Всѣ другія государства древности имѣютъ въ своемъ основаніи либо военную идею, либо финансовую; въ одной только Греціи явилась мысль, что государство есть средство къ нравственному воспитанію и совершенствованію человѣка, что политика есть завершеніе этики. У Гомера ея еще нѣтъ—въ гомеровской общинѣ много привлекательнаго, но она дѣйствуетъ на насъ, какъ сама природа со своей грубой и матеріальной наивностью. Но вотъ Дельфы, самая крупная умственная и нравственная сила Греціи вплоть до V-го вѣка, берутъ на себя грандіозную задачу

политически воспитать Грецію въ духѣ религіи и нравственности Аполлона. Греческій народъ распадался тогда на мелкія самодовлѣющія общины въ нѣсколько тысячъ душъ каждая; эти *πόλεις* были въ высшей степени удобнымъ матеріаломъ для важныхъ и поучительныхъ экспериментовъ (нужно много и долго искать въ исторіи новыхъ временъ, чтобы найти нѣчто подобное, — напримѣръ Женеву въ эпоху Кальвина). Эксперименты дѣлались съ помощью различныхъ средствъ и съ перемѣннымъ успѣхомъ: въ иныхъ общинахъ Дельфамъ удалось прибрать къ рукамъ правительство (въ Спартѣ напр.), въ другихъ имъ содѣйствовали могущественныя партіи (какъ въ Аѳинахъ), въ третьихъ ихъ орудіемъ былъ вліятельный орфическій орденъ (въ южно-италійскихъ колоніяхъ); въ иныхъ они побѣдили, въ другихъ были побѣждены — для насъ всѣ эти зрѣлища одинаково интересны. Другого рода экспериментъ затѣяли въ противовѣсъ Дельфамъ аѳинскіе политики V вѣка; но созданная ими безземельная община воиновъ и чиновниковъ терпитъ крушеніе въ пелопоннесскую войну. Опытами практики пользуется теорія IV в. — Платонъ въ своемъ «Государствѣ» — но опять-таки лишь для того, чтобы поскорѣе перейти къ практикѣ.

Такъ-то Греція завѣщала намъ и въ теоретическихъ изложеніяхъ и въ практическихъ примѣненіяхъ принципы политики въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; какимъ образомъ устроить государство такъ, чтобы обезпечить личности возможность наибольшаго нравственнаго совершенствованія? — вотъ вопросъ, проходящій красною нитью черезъ всѣ эти попытки и построенія. Это — вопросъ въ высшей степени интересный. Уже одно то, что его ставили въ этой формѣ, было громаднымъ прогрессомъ: „какимъ образомъ устроить государство такъ“... значитъ, государство не есть нѣчто стихійное; отъ насъ зависитъ устроить и перестроить его соотвѣтственно той цѣли, которую мы признаемъ за лучшую. Такъ вѣровали древніе; такъ отъ нихъ научились вѣровать и мы. Эта вѣра была одно время источникомъ крайнихъ увлеченій и заблужденій: преувеличивая (въ просвѣтительную эпоху) могущество разумной воли, люди стали думать, что съ помощью хорошо обдуманыхъ конституцій можно сразу перевоспитать народъ и

создать новую породу людей. Кровавая исторія французской революціи съ ея мертворожденными конституціями и дикимъ произволомъ научила насъ болѣе трезво относиться къ этому дѣлу и не пренебрегать тѣмъ стихійнымъ элементомъ, который заключается въ характерѣ даннаго общества; но самая сущность идеи политическаго прогресса, которую намъ завѣщала античность, этимъ затронута не была.—Это разъ; вторымъ шагомъ впередъ была концепція нравственнаго значенія государства, обусловленнаго отношеніемъ его къ личности. Въ ней даны элементы борьбы между двумя идеями, одинаково цѣнными, одинаково важными для культурнаго прогресса: идеей государственности и идеей индивидуальной свободы. Дельфы напирали на первую, подчиняя личность государству; Аѳины старались эманципировать личность, насколько это возможно безъ ущерба для силы государства — эту тенденцію аѳинской государственности ясно подчеркиваетъ Перикль въ надгробной рѣчи у Фукидида. Такъ-то античность внесла въ міръ эту плодотворную политическую антитезу, антагонизмъ между социалистическимъ и индивидуалистическимъ началами; и всегда наиболѣе сознательные поборники того и другого принципа въ новѣйшемъ обществѣ сознавали себя учениками античности и высоко цѣнили ея значеніе. Отецъ современнаго социализма Фердинандъ Лассаль видѣлъ въ классическомъ образованіи „счастливый противовѣсъ буржуазному міровоззрѣнію“ тогдашней Германіи и считалъ его „несокрушимымъ устоемъ германскаго духа“; его антиподъ, пророкъ крайняго индивидуализма Фр. Ницше, у античности заимствовалъ тѣ принципы, которые онъ такъ краснорѣчиво и такъ успѣшно проводитъ въ своей проповѣди. Оба были правы, такъ какъ оба были настолько образованы, что считали античность не нормой, а сѣменемъ современной цивилизаціи.

Но и здѣсь мы рядомъ съ огромнымъ теоретическимъ значеніемъ античной политики должны признать ея огромное историческое значеніе — причѣмъ я прошу васъ это послѣднее слово понимать не въ смыслѣ отчужденности отъ современной дѣйствительности, а въ смыслѣ очень близкаго отношенія къ ней. Я уже раньше сказалъ, что наше прошлое не есть прошлое въ собственномъ смыслѣ слова: оно живетъ въ

насъ и мы живемъ имъ. Изучая прошлое, мы изучаемъ нашу дѣйствительность въ томъ, что въ ней есть самаго прочнаго, самаго живучаго. Попробуйте посмотрѣть на настоящее такъ, какъ будто вы сегодня родились, безъ всякаго знанія даже о вчерашнемъ днѣ: все окружающее васъ покажется вамъ одинаково цѣннымъ, необходимымъ и вѣчнымъ, институтъ высокихъ галстуковъ или плоскихъ дамскихъ шляпокъ окажется на одной линіи съ институтомъ твердаго или мягкаго знака или буквы *ъ*, съ институтомъ воинской повинности или суда присяжныхъ, съ институтомъ брака и дружбы. Что же поможетъ вамъ отличить тутъ преходящее отъ постояннаго, капризъ отъ потребности, нужное отъ ненужнаго? Точное знаніе человѣка? Это—наука будущаго, и даже далекаго будущаго; пока нашимъ единственнымъ руководителемъ является прошлое. И если мы, филологи, погружаемся нашими мыслями въ далекое прошлое нашей культуры, то не для того, чтобы отвлечься отъ современности, а для того, чтобы легче и лучше ее понять, чтобы отъ условнаго и преходящаго перейти къ безусловному и вѣчному... или по крайней мѣрѣ долговѣчному, чтобы имѣть возможность произвести правильную оцѣнку окружающимъ насъ явленіямъ, отличить наносную почву, которую унесетъ завтрашняя волна, отъ гранитнаго кряжа, на которомъ покоится наша культура. Ея исторія начинается для насъ тамъ, гдѣ начинается исторія Греціи... объ исторіи Востока говорить не приходится, такъ какъ неизвѣстно, поскольку исторія Греціи можетъ считаться ея продолженіемъ. Изучая это начало и сравнивая его съ современностью, мы учимся познавать тотъ путь, по которому шествуетъ человѣчество, ведомое своимъ строгимъ воспитателемъ, закономъ соціологическаго подбора.

И—какъ я уже замѣтилъ выше—изученіе этого пути даетъ намъ не одно только умственное знаніе, но и душевную бодрость и отвагу, внушаемая отраднымъ совпаденіемъ биологической и нравственной оцѣнокъ. Дѣйствительно, только здѣсь, на этомъ огромномъ пути культурной жизни общества, эти двѣ оцѣнки совпадаютъ—на краткомъ разстояніи жизни индивидуума онѣ то сходятся, то расходятся, сбивая насъ съ толку своими комбинаціями. Мнѣ вспоминается полунасмѣшливое, полусерьезное четверостишіе одного русскаго эпиграмматиста:

Кто въ сорокъ лѣтъ не пессимистъ,
 А въ пятьдесятъ не мизантропъ,
 Тотъ сердцемъ, можетъ быть, и чистъ,
 Но идіотомъ ляжетъ въ гробъ.

Да, идіотомъ въ родѣ Каратаева, Акима или того, котораго намъ изобразилъ Достоевскій... Дѣйствительно, на протяженіи жизни одного поколѣнія сплошь и рядомъ сила торжествуетъ надъ правомъ, а подлость надъ обоими; и это даже не самое худшее. Конечно, грустно видѣть столько разбиваемыхъ прекрасныхъ жизней при торжествѣ самодовольной пошлости и низости; но еще грустнѣе видѣть побитыя высокія идеи, видѣть трупы зарѣзанной правды на столбахъ газетъ и прочихъ органовъ общественнаго мнѣнія. Дѣлать нечего; на протяженіи одной человѣческой жизни вы знакомитесь только съ малымъ «я» окружающаго васъ общества, а оно не очень утѣшительно; если вы хотите узнать его большее «я»,—то, которымъ управляетъ законъ соціологическаго подбора—вы должны спуститься въ прошлое и съ самыхъ раннихъ началъ изучить путь человѣческой культуры. И тутъ вы замѣтите то, что я называлъ выше совпаденіемъ біологической и нравственной оцѣнки; его сущность можно выразить въ словахъ: „дурное оказывается нежизнеспособнымъ и гибнетъ; хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ или возрождается“. Вы исполнитесь свѣтлой надежды на то таинственное будущее, куда ведетъ насъ неисповѣдимая Воля; вы одобрите въ примѣненіи къ человѣческой природѣ прекрасныя слова Николая Ленау:

Люби же природу: правдива, вѣрна,
 Къ свободѣ и счастью стремится она

ЛЕКЦІЯ СЕДЬМАЯ.

Вторая антитеза: окончаніе. — Классицизмъ и античность. — Архитектура и принципъ конструктивной честности. — Скульптура и живопись: принципъ естественности и принципъ идеализма. — Художественная промышленность: принципъ одушевленности. — Облагораживаніе новѣйшей культуры античностью. — *Третья антитеза:* наука объ античности. — Ея задачи въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. — Возрастаніе ея интереса по мѣрѣ ея изслѣдованности. — Ея универсализмъ.

Объ предыдущія лекціи, посвященныя культурному значенію античности, имѣли довольно разнообразное содержаніе: пришлось говорить и о религіи, и о міеологіи, и о литературѣ, и о философіи, и о правѣ, и о политикѣ. Объединялись онѣ, помимо общей принадлежности къ области античности, еще и общимъ угломъ зрѣнія: вездѣ я старался вамъ доказать, что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ. Этой въ высшей степени важной оговоркой мы сразу ставимъ античность выше всѣхъ партій, не только политическихъ, но и всякихъ другихъ; покажу вамъ на примѣрѣ, что это значить. Вы, быть можетъ, замѣтили, что я въ своихъ лекціяхъ старательно избѣгалъ слова «классицизмъ»; дѣлалъ я это не потому, что это слово рѣжетъ ухо многимъ членамъ нашего общества — меня въ робости по этой части, надѣюсь, никто не упрекнетъ — а потому, что самое понятіе, которому это слово соответствуетъ, не сходится съ тѣмъ, что я считаю полезнымъ и плодотворнымъ для настоящей минуты. Подъ классицизмомъ мы разумѣемъ направленіе въ литературѣ и искусствѣ, вида-

щее въ литературѣ и искусствѣ античности (и даже не всей, а лишь выдающейся ея части) именно *норму* для подражанія: въ этомъ смыслѣ классицизмъ противопоставляется, съ одной стороны, романтизму, съ другой—натурализму. Направление это равноправно обоимъ только-что названнымъ; но именно только равноправно. Мы же ищемъ въ античности того, что одинаково можетъ пригодиться какъ классикамъ, такъ и романтикамъ и натуралистамъ—ищемъ, согласно много разъ сказанному, не нормы, а сѣмени.

Это слѣдуетъ имѣть въ виду также и въ той области античности, къ которой мы переходимъ теперь, чтобы ею закончить свой обзоръ—въ области искусства. Искусство въ данномъ случаѣ — это главнымъ образомъ архитектура, ваяніе, живопись; понятіе это, однако, простирается также и на домашнюю и прочую утварь, поскольку она носить художественный характеръ.

Начнемъ съ *архитектуры*.

Ея основныя данныя въ античности очень простыя — греческая колонна съ прямымъ антаблементомъ и (преимущественно) римская арка; стоитъ, однако, вдуматься въ структурную идею, которая здѣсь воплощена. Два столба и перекладина — такова первоначальная схема греческой архитектуры: тяжесть давить исключительно сверху внизъ — ее выдерживаетъ колонна, силы которой направлены поэтому исключительно снизу вверхъ; интересно видѣть, какъ вся колонна представляется какъ бы оживленной этой дѣйствующей снизу вверхъ силой. Но здѣсь насъ интересуетъ другое: глубокая *честность*, такъ сказать, греческой архитектуры; внѣшнее подобіе зданія цѣликомъ выражаетъ его структурную идею, вы можете выстроить греческій храмъ безо всякихъ искусственныхъ средствъ скрѣпленія, безъ цемента и желѣзныхъ закрѣпъ — и онъ будетъ держаться. Затрудненіе было только въ одномъ: при мало-мальски значительномъ промежуткѣ между колоннами трудно было найти достаточно длинныя каменные перекладины. Для устраненія этой трудности была изобрѣтена арка, принципъ которой — клинообразное сѣченіе камней. Такимъ образомъ получилась возможность съ помощью небольшихъ по объему камней или кирпичей преодолевать очень

значительные промежутки между колоннами. Честной была также и эта архитектура арки (а слѣдовательно, и свода, съ куполомъ включительно): вы можете изъ клинчатыхъ кирпичей построить арку безъ цемента и искусственныхъ закрѣпъ, и эта арка будетъ не только сама держаться, но и поддерживать верхнюю часть зданія: чѣмъ болѣе будетъ ее давить эта тяжесть, тѣмъ сплоченнѣе и крѣпче будетъ сама арка.

Но, устраняя одно затрудненіе, арка внесла другое, которому римская архитектура вполне удовлетворительнаго рѣшенія не нашла. При системѣ прямого антаблемента тяжесть давила, какъ мы видѣли, только сверху внизъ, въ вертикальномъ направленіи; при системѣ арокъ она давить также и отъ центра въ обѣ стороны, въ направленіи горизонтальномъ. Попробуйте построить арку изъ клинчатыхъ кирпичей надъ двумя колоннами — ее станетъ распирать, колонны рухнуть. Итакъ, требовался новый архитектурный элементъ, который шель бы навстрѣчу также и этому горизонтальному давленію — его римская архитектура не нашла, указанное затрудненіе она скорѣе обходила, чѣмъ рѣшала. Но прямымъ продолженіемъ римской архитектуры была романская ранняго средневѣковья, прямымъ продолженіемъ романской — готическая поздняго средневѣковья; и вотъ эта послѣдняя, наконецъ, нашла вполне удовлетворительный архитектурный отвѣтъ на поставленный римской аркой вопросъ. Такъ какъ тяжесть зданія давила въ двухъ направленіяхъ, вертикальномъ и горизонтальномъ, но преимущественно въ первомъ, то ея схематическимъ выраженіемъ была косая линія, діагональ того параллелограмма силъ; для преодоленія ея требовался, поэтому, элементъ, который равнымъ образомъ шель бы ей на встрѣчу не прямо снизу вверхъ, а въ косомъ направленіи, — т.-е. контрефорсъ. Этотъ контрефорсъ (послѣ несовершенныхъ попытокъ романской архитектуры) былъ принятъ въ систему архитектуры готической, какъ необходимая составная часть; она его развила и украсила, создавая и контрефорсный столбъ и контрефорсную арку, а съ его приобщеніемъ была восстановлена та архитектурная честность, которая была слегка нарушена введеніемъ римской арки — та архитектурная честность, которая требуетъ,

чтобы внѣшнее подобіе зданія было точнымъ выраженіемъ живущей въ немъ структивной идеи.

Исторія архитектуры знаетъ только два примѣра этой абсолютной честности—стиль греческій и стиль готическій. Намъ говорятъ: эти два стиля были прямо противоположны другъ другу. Да, конечно; они относятся другъ къ другу какъ вертикаль къ горизонтали. Несомнѣнно, что *нормы* греческаго стиля были оставлены готическимъ стилемъ; но столь же несомнѣнно, что готическій стиль былъ лишь расцвѣтомъ античнаго *стѣмени*. Это *сѣмя*—архитектурная честность. Что это значить—это мы увидимъ тотчасъ.

Одинъ структивный принципъ не создаетъ архитектурнаго стиля; въ таковомъ всегда болѣе или менѣе участвуетъ принципъ орнаментальный. Его вы имѣете также и въ греческомъ стилѣ; если вы спросите себя, каково тамъ его отношеніе къ структивному, то вы увидите, что это отношеніе было иллюстраціей поговорки: дѣло время, а забавѣ часъ. Дѣло—это несеніе тяжести: этимъ дѣломъ занята прежде всего колонна и ему она отдается всецѣло; весь видъ ея строгаго, стройнаго ствола выражаетъ эту идею, для орнамента, т.-е. для забавы, у нея времени нѣтъ. Но вотъ, наконецъ, достигнуть архитравъ. Здѣсь тяжесть и подпора, сила, давящая сверху, и сила, выдерживающая ея напоръ, какъ бы нейтрализируются; здѣсь какъ бы минута отдыха—и вотъ забава, т.-е. орнаментъ, вступаетъ въ свои права, іонійскія волюты, коринѣскіе листья обвиваютъ капитель колонны. Но и у архитрава своя работа: въ немъ лежитъ тяжесть всего верхняго антаблемента, которая давить его (въ дорическомъ стилѣ) посредствомъ строгихъ триглифовъ—зато прямоугольные промежутки между триглифами свободны отъ труда, и вотъ здѣсь-то—на такъ называемыхъ метопахъ—фантазія художника опять разыгрывается, метопы украшаются скульптурными изображеніями. Антаблементъ поддерживаетъ кровлю, которая выходитъ на фасадъ плоскимъ равнобедреннымъ треугольникомъ, такъ называемымъ фронтономъ; пространство внутри треугольника опять представляетъ изъ себя нейтральное поле отдыха—здѣсь, поэтому, вы опять встрѣчаете скульптурныя украшенія. Такимъ образомъ, та же архитектурная честность, которая характеризуетъ структивную

часть греческаго стиля, опредѣляетъ и ея отношенія въ части орнаментальной: роль послѣдней чисто второстепенна, она никогда не затемняетъ структивной идеи.

Напротивъ, сильнѣйшее отрицаніе этого принципа архитектурной честности представляютъ, прежде всего, восточные стили, а затѣмъ и вырожденія античнаго подъ вліяніемъ отчасти этихъ послѣднихъ. Общій имъ всѣмъ элементъ — фантастичность; подчиненіе структивнаго принципа орнаментальному, превращеніе структивныхъ элементовъ въ узоры, скрываніе структивной идеи за такими архитектурными формами, которыя сами по себѣ невозможны — вотъ особенности этихъ стилей. Возьмите особенно близкій намъ стиль византійскій, представляющій, по счастливому выраженію Щиговскаго, «Грецію въ объятіяхъ Востока»; обратите вниманіе на его изогнутую острую арку. Построенная изъ клинчатыхъ кирпичей, такая арка не только не въ состояніи что-либо поддерживать, но даже держаться сама: ея внѣшнее подобіе не соотвѣтствуетъ структивной идеѣ, она возможна только благодаря штукатуркѣ, цементу и искусственнымъ закрѣпкамъ. Возьмите византійскую колонну: эта главная часть греческой архитектуры здѣсь обречена на полное бездѣйствіе, она выступаетъ гдѣ-нибудь изъ угла и входитъ въ уголъ, ничего не поддерживая, что не держалось бы и такъ — другими словами, она превратилась въ чистый орнаментъ. — Возьмите арабскую архитектуру, Альгамбру съ ея сталактитовыми сводами — эти сталактитовые своды въ структивномъ отношеніи такъ же невозможны, какъ и византійская арка; опять фантазія орнаментадора съ помощью штукатурки и т. п. затаила лежащій въ основѣ его творенія структивный элементъ — римскій сводъ. — Возьмите русскій стиль и его характерную особенность, луковичный куполъ — и онъ представляетъ изъ себя структивный абсурдъ, возможный лишь благодаря искусственнымъ подпоркамъ, скрытымъ внутри купола; стало быть, то, чѣмъ онъ держится, старательно скрывается отъ взора наблюдателя, показывается же его взору то, что само по себѣ удержаться не можетъ — вы согласитесь, что это принципъ, прямо противоположный вышеозначенному принципу архитектурной честности, требующему, чтобы внѣшнее подобіе зданія соотвѣтствовало

его конструктивной идеѣ. Теперь у насъ русскій стиль въ модѣ, но только потому, что онъ русскій; я не могу вѣрить, чтобы его успѣхъ былъ прочнымъ. Обыкновенно въ исторіи архитектуры послѣ такого увлеченія антиструктивными формами слѣдовало возрожденіе античности съ ея трезвостью и честностью; думаю, что то же будетъ и у насъ — но не съ тѣмъ, разумѣется, чтобы намъ водворить *нормы* греческой и римской архитектуры на мѣстѣ теперешнихъ. Нѣтъ: если художники-архитекторы будущихъ поколѣній позаимствуютъ у античной архитектуры ея сѣмя, архитектурную честность, и сочетаютъ его съ формами русской орнаментики — вотъ это и будетъ ожидаемый и требуемый русскій стиль. О частностяхъ, разумѣется, догадываться преждевременно.

Сказанное относилось исключительно къ античной архитектурѣ; бросимъ бѣглый взглядъ и на прочія искусства, специально на *ваяніе* и *живопись*. Въ противоположность къ архитектурѣ, эти два искусства подражательны; здѣсь, помимо условій самой техники, стиль искусства опредѣляется вопросами: кому или чему подражать и какъ подражать? Отвѣтомъ на эти вопросы устанавливается особый характеръ античнаго, т.-е. опять-таки греческаго подражательнаго искусства. Чтобы понять это, будемъ и здѣсь исходить изъ возможно элементарной, упрощенной донельзя схемы.

Представимъ себѣ, прежде всего, первобытнаго художника, который впервые, не имѣя предшественника, берется за изображеніе какого-нибудь предмета — скажемъ, человѣка. Само собою разумѣется, что получившееся при такихъ условіяхъ изображеніе будетъ носить совершенно случайный характеръ, въ зависимости отъ того, какъ смотритъ художникъ на свой объектъ, и какъ его рука повинуется его глазамъ. — Затѣмъ, представимъ себѣ, что вслѣдъ за этимъ первымъ художникомъ второй ставитъ себѣ такую же точно задачу; отношеніе этого второго художника къ первому можетъ уже быть троякимъ. Во-первыхъ, онъ его можетъ игнорировать; тогда, конечно, его изображеніе будетъ такимъ же случайнымъ, какъ и первое; представляя себѣ и въ дальнѣйшемъ такое же отношеніе преемника къ предшественнику, вы получите искусство случайное, безо всякаго опредѣленнаго стиля. Во-вторыхъ, онъ

можетъ, наоборотъ, весь подчиниться своему предшественнику, стараться воспроизводить всю его манеру: если тотъ изображалъ человѣческое туловище въ видѣ трапеціи, покоящейся на прямоугольникѣ, то и онъ прибѣгнетъ къ тому же способу; благодаря такому взгляду на дѣло мы получимъ искусство условное, съ очень строгимъ, опредѣленнымъ стилемъ, но прогрессирующее лишь въ смыслѣ все большаго и большаго подчеркиванія условныхъ элементовъ. Наконецъ, въ-третьихъ, второй художникъ можетъ раздѣлить свое вниманіе между художникомъ-предшественникомъ и изображаемымъ предметомъ; онъ тщательно изучитъ предшественника, чтобы овладѣть всей его техникой, а затѣмъ углубится въ свой объектъ, постарается отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ несовершенствахъ, которыя были свойственны манерѣ предшественника, и сдѣлаетъ попытку ближе подойти къ природѣ, чѣмъ это могъ сдѣлать онъ. При такомъ отношеніи къ дѣлу вы получите искусство, тоже обладающее извѣстнымъ стилемъ, поскольку каждый художникъ находится въ технической зависимости отъ своего предшественника—но прогрессирующее въ смыслѣ освобожденія отъ условности и приближенія къ природѣ. — Таковы три возможные схемы. Вы знаете, однако, что въ дѣйствительности схемы никогда не встрѣчаются въ своей отвлеченной, математической чистотѣ; съ этой оговоркой можно сказать, что первое, случайное искусство мы встрѣчаемъ у дикихъ народовъ; второе, условное искусство, у народовъ ближняго и дальняго Востока; наконецъ, третье, естественное искусство, нашли въ древности исключительно греки, а въ новое время, подъ вліяніемъ греческаго искусства, мы, народы европейской культуры. *Свобода и естественность*—такова первая, характерная черта античнаго искусства.

Что это такъ—въ этомъ убѣдиться не трудно. Спеціально нашъ С.-Петербургскій Эрмитажъ обладаетъ для этого прекраснымъ пособіемъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ еще не использованнымъ; это—тѣ памятники древне-греческой живописи, которые извѣстны подъ названіемъ «расписныхъ вазъ» и занимаютъ нѣсколько большихъ залъ въ нижнемъ этажѣ. Здѣсь вы—въ отличіе отъ болѣе или менѣе случайнаго состава скульптурной галлерей—можете наблюдать полный и закончен-

ный кругъ эволюціи. Древнѣйшія изображенія человѣческаго тѣла на бурыхъ архаическихъ вазахъ стоятъ немного выше пресловутой дѣтской трапеціи на прямоугольникѣ; затѣмъ слѣдуютъ такъ называемыя чернофигурныя вазы съ гораздо уже болѣе естественными, хотя все еще очень угловатыми и условными изображеніями. Далѣе вы имѣете вазы краснофигурныя, тоже различныхъ стилей—строгаго, прекраснаго, вольнаго, причемъ на вапихъ глазахъ одна условность за другой отпадаетъ и требованіе естественности все въ большей и большей мѣрѣ удовлетворяется. Далѣе напряженіе ослабѣваетъ, воцаряется пышность, небрежность, наступаетъ упадокъ и вырожденіе. Врядъ ли гдѣ-либо можно эту столь поучительную эволюцію прослѣдить такъ наглядно, какъ именно въ вазовомъ отдѣленіи нашего Эрмитажа; и больно видѣть, какъ это прекрасное отдѣленіе почти всегда пустуетъ, и его сокровища остаются мертвымъ капиталомъ. Помочь бѣдѣ можетъ въ значительной мѣрѣ администрація Эрмитажа; отъ нея зависитъ прійти на помощь любознательной публики и дать ей въ руки, вмѣсто теперешняго сухого и невразумительнаго каталога, другой, болѣе выдвигающій эволюціонное и художественное значеніе нашей роскошной коллекціи.

Свобода съ естественностью—одна изъ характерныхъ припѣтъ античнаго искусства; замѣчу тутъ же, что главнымъ образомъ благодаря ей оно стало воспитателемъ искусства новѣйшаго. Его возрожденіе всегда имѣло то значеніе, что, благодаря ему, художники учились опять видѣть и узнавать природу, освобождаясь отъ условностей своей эпохи; и въ этой области античность въ лучшія эпохи новѣйшаго искусства была не нормой, а сѣменемъ. Но этимъ еще не все сказано: помимо свободы и естественности, античное искусство обладаетъ еще другой чертой, тоже очень важной; эту черту мы называемъ *идеализмомъ*. Это слово требуетъ, однако, объясненія; оно далеко не такъ понятно, какъ это кажется на первый взглядъ. Идеализмъ античнаго искусства проявляется не въ томъ, что оно преимущественно изображало боговъ и богинь, а не обыкновенныхъ смертныхъ, и красоту предпочтительно передъ уродствомъ или вульгарностью—это было послѣдствіемъ внѣшнихъ условій, въ силу которыхъ кумиры

Аполлона или Геракла скорѣе находили себѣ событіе, чѣмъ изваянія рыбака или пьяной бабы. Нѣтъ; идеализмъ проходить черезъ всю область античнаго художества, не исключая и этихъ двухъ послѣднихъ сюжетовъ. Мы даже легче поймемъ и оцѣнимъ его здѣсь, чѣмъ тамъ.

Возьмемъ художника, задавашагося цѣлью изобразить рыбака; такъ какъ онъ, согласно сказанному раньше, художникъ-реалистъ, то онъ будетъ искать его, прежде всего, въ натурѣ. Но натура не даетъ ему рыбака просто или даже греческаго рыбака просто: она даетъ ему рыбака Фриниха или Комія, т.-е. фигуру, черты которой характеризуютъ ее не только какъ рыбака, но и какъ Фриниха и Комія. А между тѣмъ послѣднія интересны только для ихъ личныхъ знакомыхъ; первыя — для всѣхъ, кто вообще интересуется типомъ рыбака. И вотъ художникъ спрашиваетъ себя: что въ этой совокупности примѣтъ, которыя я вижу передъ собой, характеризуютъ ихъ носителя именно какъ рыбака? въ чемъ, другими словами, сказывается идея рыбака? — и соотвѣтственно своему рѣшенію этого вопроса создаетъ свою фигуру; его цѣль — собрать по возможности всѣ примѣты, характерныя для рыбака, какъ для такового и по возможности устранить всѣ примѣты случайныя, характерныя только для этого, случайно ему попавшагося индивидуя. Конечно, умѣніе находить эти примѣты далось грекамъ не вдругъ; было время, когда они желая изобразить рыбака, могли изобразить только человѣка просто (или, въ лучшемъ случаѣ, вульгарнаго человѣка) и для вразумительности давали ему въ руки удочку или пойманную рыбу. Все же это умѣніе было современемъ достигнуто, и въ немъ — въ умѣніи отличать видовыя примѣты отъ родовыхъ съ одной стороны, отъ индивидуальныхъ съ другой — несомнѣнно сказывается характеръ народа-интеллектуалиста, создавшаго логику и философію вообще.

Таковъ идеализмъ античнаго искусства; его сущность, какъ видите, заключается въ требованіи, чтобы изображеніе соотвѣтствовало идеѣ воспроизводимаго предмета. Конечно, наивысшее торжество этого идеализма наблюдается въ сферѣ сверхчеловѣческой, въ сферѣ боговъ и героевъ. Тутъ грекамъ принадлежитъ уже не первое, а единственное, обособленное отъ

всѣхъ другихъ народовъ мѣсто. Многіе народы чувствовали потребность изображать своихъ боговъ, причѣмъ они понимали, что божественность для художника сводится къ сверхчеловѣчности; но между тѣмъ, какъ всѣ другіе народы эту сверхчеловѣчность понимали въ смыслѣ уродства — одни только греки понимали ее въ смыслѣ красоты. Сверхчеловѣческая красота — созданіе античнаго генія; у него и мы научились ее понимать и воспроизводить. Но не въ этомъ одномъ заключается воспитательная роль античнаго искусства въ разсматриваемой нами здѣсь области — это только одна изъ сторонъ античнаго идеализма, который весь намъ былъ нуженъ въ различныя эпохи развитія нашего художества и будетъ нуженъ, пока наше художество будетъ развиваться, т.-е., надѣмся, всегда. И этотъ идеализмъ нетрудно связать съ той первой чертой, подмѣченной мною въ античномъ искусствѣ — съ его жаждой естественности и свободы. Въ сущности, величайшей идеалисткой въ принятомъ нами смыслѣ является сама природа въ ея стремленіи къ выдѣленію и обособленію породъ; античный художникъ лишь предваряетъ или продолжаетъ дѣло природы, творя по тому же закону подбора, который обязателенъ также и для нея...

Но это, пожалуй, слишкомъ сложная и трудная мысль; недостатокъ времени не позволяетъ намъ заняться ею здѣсь. Прежде, однако, чѣмъ проститься съ искусствомъ, а заодно и съ культурнымъ значеніемъ античности вообще, мнѣ хотѣлось бы указать на одну черту античной, такъ называемой, *художественной промышленности*, особенно важной и интересной для нашей эпохи, въ виду родственныхъ стремленій въ современномъ развитіи этой области человѣческаго труда.

Эта черта — *одушевленность*. Для античнаго человѣка предметы потребленія и орудія труда — не просто они сами, а воплощенія или олицетворенія дѣйствующихъ на нихъ силъ или исполняемыхъ ими функцій. Я уже сказалъ, говоря о колоннѣ, что она представлялась античному человѣку воплощеніемъ дѣйствующей снизу вверхъ и поддерживающей зданіе силы; выраженіемъ этой силы была легкая, но очень замѣтная «пучина» (ἔντασις) колонны, вслѣдствіе которой ея профиль имеетъ не прямую, а слегка выпуклую линію. То же мы можемъ

слѣдить и вездѣ. Возьмите античный кувшинъ (hydria). Его ставятъ, онъ какъ бы вырастаетъ изъ земли, его создаютъ исходящія изъ земли силы — онъ имѣетъ поэтому форму надуваемаго снизу мыльнаго пузыря, сверху онъ шире, чѣмъ внизу. Напротивъ, гиря свѣшивается, въ ней сила дѣйствуетъ сверху внизъ — ея форма поэтому форма висящаго мѣха съ водой или пескомъ, она внизу шире, чѣмъ сверху. Возьмите кочергу; ея дѣло, такъ сказать, ковырять въ угляхъ жаровни — ея концу дается форма человѣческаго пальца. Возьмите столъ — его ножкамъ дается форма звѣриной ноги съ когтями, прочно вбивающейся въ полъ. Возьмите таранъ, которымъ при осадѣ разбивали стѣны; его работа производила впечатлѣнїе боданїя — и вотъ его оконечности дается форма бараньей головы. Все это, конечно, мелочи; но въ этихъ мелочахъ отражается великая метафизическая идея — идея міровой Воли, развитъ которую предстояло лишь философіи послѣднихъ временъ.

А затѣмъ мой бѣглый очеркъ культурнаго значенїя античности конченъ; разумѣется, я не высказалъ и десятой части того, что можно было сказать по этому поводу, но вѣдь полнота изложенїя и не входитъ въ мою задачу. Я хотѣлъ вамъ представить лишь образцы; если вы освоились съ основной идеей моего очерка — что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ — то вы легко поймете и важнѣйшій выводъ изъ нея, а именно, что культурное значенїе античности не прекратится для насъ никогда, и наша съ нею связь будетъ тѣснѣе и интимнѣе съ каждымъ столѣтїемъ. Изъ этого сѣмени произошла наша современная культура; въ ней нѣтъ ни одной сколько-нибудь существенной идеи, органическое развитїе которой изъ него не могло бы быть доказано вполне наглядно. Имъ мы много разъ оплодотворяли и еще будемъ оплодотворять питомники своей культуры, спасая ихъ отъ истощенїя и вырожденїя — въ родѣ того, какъ мы своему вырождающемуся винограду и другимъ растенїямъ приходимъ на помощь ввозомъ оригинальныхъ сѣмянъ и лозъ.

И странное дѣло! Между тѣмъ какъ каждое такое приобщенїе античнаго сѣмени вело къ облагороженію нашей культуры и создавало безсмертныя творенїя, служившія въ свою очередь образцами для потомства — приобщенїе сѣмянъ чуже-

родныхъ намъ культуръ давало только ублюдковъ, неспособныхъ къ дальнѣйшему размноженію. Еще въ эпоху Гёте имѣли мы арабоманію, которой онъ и самъ подчинился въ своемъ «западно-восточномъ диванѣ»; затѣмъ пошла индоманія, расцвѣтомъ которой была философія Шопенгауера—не вся, къ счастью, а лишь самая неплодотворная ея часть, пессимизмъ, неорганически связанный со здоровымъ и плодотворнымъ платонизмомъ; теперь вошла въ моду японщина, облагодѣтельствовавшая насъ многими уродливостями такъ называемаго декадентскаго искусства и осужденная на безслѣдное исчезновеніе, если не считать безобиднаго и несущественнаго обогащенія нашей орнаментики. Все это — замѣчательныя явленія, подтверждающія біологическій взглядъ на исторію культуры: такъ вѣдь и животныя породы облагораживаются путемъ скрещиванія не съ другими видами, какъ бы они ни были совершенны, — такія скрещиванія производятъ лишь неспособныхъ къ размноженію ублюдковъ,—а съ выдающимися особями своего вида, съ тѣми, въ которыхъ характерныя примѣты достигли наивысшей степени совершенства.

И вотъ почему мы должны держать дверь къ античности открытой — она намъ можетъ пригодиться и теперь, и еще больше. современемъ. Для этого вовсе не нужно, чтобы всѣ члены даннаго общества прошли черезъ горнило классическаго воспитанія — если кто понялъ мои первыя лекціи въ этомъ смыслѣ, то онъ ошибался. Нужно только, чтобы въ каждомъ обществѣ былъ извѣстный процентъ людей съ классическимъ образованіемъ, а среди нихъ опять небольшая сравнительно кучка людей, посвятившихъ свою жизнь изученію античности и ея приспособленію къ требованіямъ современности. Эти люди будутъ заняты, такъ сказать, добываніемъ сѣмянъ; воспринимать эти сѣмена будетъ тотъ болѣе широкій кругъ классически образованныхъ людей съ тѣмъ, чтобы мѣняться ихъ плодами съ людьми реальнаго и прикладнаго образованія—это и будетъ тотъ обмѣнъ культурныхъ благъ, который я имѣлъ въ виду выше (стр. 76). Какъ видите отсюда, общество нуждается не въ одной только классической гимназіи, а въ нѣсколькихъ типахъ средней школы соотвѣтственно сложности своего организма и разнородности человѣческихъ дарованій; и само собою разумѣется

что я, какъ претендующій на культурность человѣкъ, ни къ одному изъ этихъ типовъ не отношусь враждебно. Вражду питаю я, и при томъ непримиримую, лишь къ той «единой школѣ», которая намъ угрожала одно время, этому мертворожденному дѣтищу педагогическаго авантюризма, подгоняющему всѣ дарованія подъ одинъ общій для всѣхъ шаблонъ.

* * *

Теперь послѣдовательность требуетъ, чтобы, развѣвъ вамъ двѣ части нашей программы, а именно 1) образовательное и 2) культурное значеніе античности—я перешелъ къ третьей и охарактеризовалъ вамъ ея *научное* значеніе; другими словами, выяснилъ вамъ, въ чемъ заключается сущность науки объ античности, т.-е., какъ ее принято называть, классической филологіи. Къ сожалѣнію, для этой третьей части у насъ осталось очень мало времени; утѣшаю себя мыслью, что тѣ изъ васъ, коихъ она интересуесть болѣе или менѣе непосредственнымъ образомъ, т.-е. будущіе историки и филологи, будутъ имѣть возможность прослужать мой университетскій курсъ филологической энциклопедіи, Посвященный именно этому вопросу—остальнымъ, если бы кто поинтересовался имъ, могу указать только свою статью «Филологія», помѣщенную въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона. Конечно, эта статья написана съ той сухостью, какая принята для помѣщаемыхъ въ словаряхъ статей; въ видѣ противовѣса этой сухости позволю себѣ здѣсь лишь бѣглую характеристику, посвященную главнымъ образомъ развитію относящейся сюда третьей изъ антитезъ, съ которыхъ я началъ свои лекціи. Эта антитеза гласила такъ: „О классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука, вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатоки же дѣла вамъ скажутъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предыдущихъ поколѣній была лишь подготовительной, лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ строить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, маяція къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагу нашего научнаго поприща“.

Дѣйствительно, первая часть этой антитезы правильно выражаетъ собой мнѣніе общества—и не одного только такъ называемаго «общества», но часто и людей, ближе стоящихъ къ дѣлу. Одинъ мой слушатель, человѣкъ способный и живой, попавшій волею судьбы въ восточную обстановку, пристрастился къ исторіи Востока и съ жаромъ неофита писалъ, что „исторія Востока гораздо интереснѣе, чѣмъ исторія Греціи, такъ какъ она гораздо менѣе изслѣдована“. На меня эти строки навели раздумье: исторія Востока потому гораздо интереснѣе, что она гораздо менѣе изслѣдована; значить, когда она будетъ изслѣдована, она перестанетъ быть интересной? значить, задача изслѣдователя состоятъ въ томъ, чтобы интересныя науки превращать въ неинтересныя? Стоитъ задуматься надъ этимъ вопросомъ; въ самомъ дѣлѣ, чтò такое для насъ наука, въ чемъ признаемъ мы ея цѣнность? — я говорю, разумѣется, не о такъ называемой прикладной наукѣ, а о чистой, часть которой составляетъ и классическая филологія. Будемъ ли мы видѣть въ наукѣ лишь огромную головоломку, на подобіе тѣхъ игрушекъ для дѣтей и взрослыхъ, задача которыхъ (извлечь кольцо изъ креста и т. д.) тѣшить насъ только до тѣхъ поръ, пока мы не нашли ея рѣшенія? Или же въ ней есть нѣчто другое, абсолютно цѣнное, и мы, ея представители, работаемъ не для своего только удовольствія, чтобы разогнать скуку, но и на пользу человѣчества?

Очевидно, послѣдній отвѣтъ болѣе согласуется съ общественнымъ убѣжденіемъ; иначе не для чего было бы содержать университеты, академіи, бібліотеки и кормить на счетъ народа людей, единственное призваніе которыхъ—изслѣдованіе науки и рѣшеніе ея задачъ. А если наука какъ таковая интересна и цѣнна, то понятно, что ея интересъ возрастаетъ, а не уменьшается съ ея изслѣдованностью, и я имѣю полное право сказать своему слушателю: вы ошибаетесь—греческая исторія гораздо интереснѣе восточной, именно потому, что она гораздо болѣе изслѣдована. Та черная работа, результаты которой цѣнны не сами по себѣ, а потому, что они являются предположеніями или орудіями для другихъ, дѣйствительно цѣнныхъ результатовъ—эта черная работа въ классической филологіи въ значительной степени уже сдѣлана; это-то и было задачей минув-

шихъ поколѣній, за честное и безкорыстное рѣшеніе которой мы должны быть имъ благодарны.

Вы спросите, что это за черная работа? Отвѣчу—прежде всего *собираніе памятниковъ*. Въ филологіи памятникъ—первичный элементъ научной работы, какъ въ ариѳметикѣ число, какъ въ естественной исторіи особь, какъ въ физикѣ явленіе. Памятники классической филологіи бываютъ различныхъ родовъ: памятникомъ является, прежде всего, сама страна, бывшая театромъ исторіи классическихъ народовъ какъ въ своей вѣвшей фізіономіи, такъ въ своихъ геологическихъ, ботаническихъ, метеорологическихъ и другихъ условіяхъ; памятникомъ является ихъ устная традиція или обычай, дошедшій при непрерывной преемственности поколѣній до нынѣшнихъ жителей ихъ странъ; памятникомъ является непосредственное произведеніе ихъ рукъ, уцѣлѣвшее, хотя бы и въ испорченномъ видѣ, до нашихъ дней, будь это развалины зданія, или статуя, или ваза, или надпись; памятникомъ, наконецъ, является текстъ того или другого писателя, сохраненный намъ хотя бы и въ поздней, средневѣковой рукописи; мы различаемъ географическіе, этнологическіе, археологическіе и филологическіе въ тѣсномъ смыслѣ памятники. Вотъ ихъ-то собираніе составляло и составляетъ первую необходимость для плодотворной филологической работы—но не одно только собираніе: за тѣ 1½—2 тысячелѣтія, которыя отдѣляютъ насъ отъ древняго міра, они подверглись крупнымъ измѣненіямъ (профиль береговъ и теченіе рѣкъ стали иными, народная сказка при передачѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе была искажена, статуя или надпись уцѣлѣли въ фрагментарномъ видѣ, тексты авторовъ пострадали отъ невѣжества или неумѣстнаго остроумія переписчиковъ)—необходимо возстановить ихъ по возможности въ первоначальномъ видѣ, подвергнувъ ихъ такъ называемой *филологической критикѣ*.

Все это—черная работа; я уже сказалъ, что она составляла главную задачу предыдущихъ поколѣній, которымъ мы обязаны существующими прекрасными сборниками—историческими атласами, такъ называемыми корпусами надписей, барельефовъ, монетъ и т. д. Эти сборники даютъ намъ возможность пріятно и плодотворно работать въ области науки,

изслѣдуя и освѣщая самыя интересныя и интимныя стороны жизни древняго міра; тѣмъ не менѣ нельзя сказать, чтобы относящаяся къ собиранію памятниковъ работа была кончена — ея хватитъ еще надолго. Раскопки въ Греціи, Италіи и т. д. (между прочимъ и у насъ, въ территоріи греческихъ колоній на югѣ Россіи) не прекращались никогда, обогащая нашу сокровищницу особенно археологическими памятниками; сигнатурой послѣднихъ десятилѣтій являются неожиданныя и подчасъ прямо чудесныя находки египетскихъ папирусовъ съ текстами авторовъ, считавшихся потерянными. Такъ были найдены — трактатъ Аристотеля объ аѳинскомъ государствѣ, прелестныя бытовыя сценки Герода, рѣчи Гиперида, современника Демосоена, оды и баллады Вакхилида, соперника Пиндара, «номосъ» Тимофея, и еще недавно — цѣлыя сцены изъ новой трагедіи Еврипида и ряда комедій Менандра. И, конечно это не все — вѣрные пески Египта содержатъ еще много сокровищъ, и мы съ каждымъ днемъ можемъ ждать извѣстія, что найденъ какой-нибудь новый перлъ античной литературы... Наши отцы этого чувства не знали — въ ихъ времена пробѣлы античной литературы считались чѣмъ-то окончательнымъ и безповоротнымъ рѣшеннымъ. Повторяю: никогда еще классическая филологія не была такъ интересна, какъ теперь.

Но, разумѣется, ея интересъ заключается не только въ томъ, что ея матеріалъ постоянно увеличивается новыми находками; главное — то, что, благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній, мы можемъ обращаться къ нашей наукѣ съ гораздо болѣе важными вопросами, чѣмъ наши предшественники. Благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній — да, о ней слѣдуетъ всегда вспоминать съ признательностью, такъ какъ это была очень утомительная и самоотверженная работа. Прежде всего они изслѣдовали языкъ древнихъ народовъ въ его грамматическомъ и лексическомъ составѣ такъ тщательно и полно, какъ ни одинъ языкъ въ мірѣ; результатомъ этихъ трудовъ были пространныя руководства и словари... не тѣ, разумѣется, которые извѣстны вамъ изъ гимназическаго курса, а огромные своды, матеріалъ которыхъ почерпнуть изъ всей области античныхъ литературъ; достаточно будетъ сказать, что *Thesaurus linguae Graecae* Стефана (т.-е. Estienne'a, французскаго фило-

лога 17 в.) въ новомъ изданіи состоитъ изъ 9 исполинскихъ томовъ in folio, а соотвѣтственный Thesaurus linguae Latinae, надъ которымъ теперь работаетъ почти вся филологическая Германія, обѣщаетъ быть еще болѣе внушительнымъ. Такъ-то мы имѣемъ возможность, изучая исторію какого-нибудь слова, проникнуть въ самую душу античности — вы вѣдь помните: языкъ есть исповѣдь народа.

Но это, быть можетъ, васъ не очень соблазнить; что же, будемъ довольны, что относящаяся сюда работа въ значительной мѣрѣ уже сдѣлана. Другой, тоже очень важной работой были объяснительныя изданія авторовъ — опять-таки не тѣ, которыя вы знаете, а другія, цѣлю которыхъ было связать идейной цѣпью или сѣтью всѣ памятники античной литературы между собой и съ соотвѣтствующими памятниками археологическими и другими; благодаря этой работѣ, я имѣю возможность, обладая однимъ свидѣтельствомъ, быстро отыскать всѣ остальные — а насколько это удобство нахожденія матеріаловъ облегчаетъ научную работу, это вы легко можете себѣ представить. — Третьей работой было составленіе сухихъ, но очень содержательныхъ руководствъ по различнымъ отраслямъ филологической науки: политической исторіи, исторіи литературы, міеологии, права, государственнаго управленія и т. д. — съ приведеніемъ всѣхъ свидѣтельствъ какъ изъ литературы, такъ и изъ надписей и прочихъ памятниковъ.

Вотъ это-то все, вмѣстѣ взятое, и образуетъ тотъ фундаментъ, о которомъ я говорилъ выше и на которомъ мы теперь только начинаемъ строить зданіе нашей науки. Конечно, и фундаментъ не вполне еще готовъ; новыя находки постоянно его укрѣпляютъ новыми квадратами, и такъ будетъ еще долго; все же онъ достаточно уже крѣпокъ, чтобы вынести означенное зданіе. А что это за зданіе — это вы легко поймете, если я вамъ скажу, что у насъ еще нѣтъ исторіи античной религіи, нѣтъ даже міеологии въ генетическомъ развитіи; нѣтъ исторіи античной нравственности и міросозерцанія, нѣтъ исторіи умственной, общественной и даже матеріальной культуръ античныхъ народовъ, нѣтъ осмысленной исторіи античныхъ литературъ, нѣтъ исторіи экономическихъ и соціальныхъ явленій даже въ ихъ главныхъ факторахъ (исторіи землевладѣнія,

исторіи капитализма)—и такъ далѣе; если я вамъ скажу, что знаменитый Іерингъ въ послѣдніе дни своей жизни носился съ идеей исторіи римскаго права, въ которой онъ предполагалъ дать настольную книгу не только для юриста, но и для всякаго образованнаго человѣка, и эта задача такъ и осталась неисполненной...

Для всякаго образованнаго человѣка, да; наша наука дѣйствительно обращается ко всему образованному міру, безъ различія спеціальностей,—но она и состоитъ съ нимъ въ такъ называемомъ мутуализмѣ, заимствуясь изъ всей области науки. Наши противники часто твердятъ намъ, что наша наука не самодовлѣюща, и считаютъ это укоризной по нашему адресу; я же думаю, что въ этихъ словахъ заключается величайшая похвала. Да, наша наука не довлѣетъ себѣ. Мы сплошь и рядомъ должны обращаться за совѣтами и за свѣдѣніями къ представителямъ другихъ наукъ, даже въ сравнительно узкомъ районѣ школьнаго чтенія авторовъ — какъ я имѣлъ случай вамъ выяснить въ четвертой лекціи; это потому, что наука о древнемъ мірѣ есть наука о *мірѣ*. Она объединяетъ всѣ науки на почвѣ явленій, точно такъ же какъ философія ихъ объединяетъ на почвѣ принциповъ. Математикъ, химикъ, даже лингвистъ можетъ весь свой вѣкъ провести взаперти, внутри тѣхъ четырехъ стѣнъ, которыя окружаютъ избранную имъ спеціальность; филологъ этого не можетъ, если только онъ хочетъ быть ученымъ, а не ремесленникомъ. А результатомъ этого постоянного общенія съ другими науками является широкій кругозоръ, сознаніе единства общенаучнаго зданія и уваженіе къ отдѣльнымъ его частямъ...

Впрочемъ, вы это уже знаете; здѣсь я долженъ отвѣтить на другой вашъ вопросъ. Я назвалъ вамъ цѣлый рядъ задачъ, которыя предстоятъ рѣшить филологіи нашихъ дней и ближайшаго будущаго: исторію античной религіи, умственной культуры и т. д. Ну, а когда вы эти задачи рѣшите—можете вы спросить—что станете вы дѣлать?—Я думаю, когда это время наступитъ, оно само предъявитъ новые запросы, о которыхъ теперь и думать праздно; вѣдь и тѣ задачи, которыя я вамъ назвалъ, не ставились лѣтъ сто назадъ. Но одна задача всегда будетъ на насъ лежать, какъ она лежала до сихъ поръ: за-

дача использовать сокровищницу античности сообразно съ нуждами современности, задача посредничества между нашимъ обществомъ и античностью. Не для себя вѣдь мы работаемъ и не для одной только нашей науки — послѣдняя внѣ человѣчества, которымъ и для котораго она создается, не имѣетъ ни почвы для существованія, ни права на таковое. Мы работаемъ для васъ, для вашихъ сверстниковъ и потомковъ — однимъ словомъ, для общества.

Даже въ томъ случаѣ, спросите вы, если общество и знать не хочетъ васъ и вашей работы?—Да, господа, даже въ этомъ случаѣ. А впрочемъ, вѣрно ли это, и, поскольку вѣрно, почему и по чьей милости—объ этомъ нѣсколько словъ въ слѣдующей, послѣдней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМАЯ.

Заключеніе.—Современное общество и античность.—Обманъ и недоразумѣніе.—«Античность не нужна».—«Античность трудна».—«Античность ретроградна».—Вопросъ о неудачникахъ.—Соціологическое значеніе средней школы.—Легкая школа—соціальное преступленіе.—Идеаль школьной организаціи.—Античность, какъ орудіе прогресса.—Притча о прогрессѣ.

Наши бесѣды вернулись къ точкѣ своего отправленія. Мы начали съ установленія коренного разногласія между мнѣніемъ общества и знатоковъ дѣла относительно образовательнаго, культурнаго и научнаго значенія античности; уже тогда я далъ вамъ понять, что это мнѣніе общества, поскольку оно выражается въ сознательномъ пренебреженіи къ античности, по своей авторитетности не можетъ идти въ сравненіе съ тѣмъ безсознательнымъ уваженіемъ къ ней того же общества, въ силу котораго ея вліяніе на него сохраняется въ теченіе столькихъ вѣковъ послѣ паденія самого античнаго міра.

Тѣмъ не менѣе это сознательное пренебреженіе—положимъ, не всего современнаго общества, но все-таки значительной его части—остается фактомъ и какъ таковой требуетъ объясненія; какъ оно объясняется, это я тоже далъ вамъ понять съ первыхъ же моихъ словъ къ вамъ. „Мы можемъ“, сказалъ я тогда, „анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное, непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана“ (стр. 3). Я началъ, однако, не съ этой отрица-

тельной, а съ положительной части; я показалъ вамъ, въ чемъ состоитъ и образовательное, и культурное, и научное значеніе античности. Если Logos былъ милостивъ и къ вамъ и ко мнѣ, если дѣло убѣжденія, которое собрало насъ сюда, не потерпѣло неудачи,—то вы знаете теперь, что то мнѣніе знатоковъ, о которомъ я говорилъ выше, есть мнѣніе справедливое, и что, стало быть, несогласное съ нимъ мнѣніе значительной части современнаго общества только и можетъ быть объяснено либо недоразумѣніемъ, либо обманомъ. Все же, чтобы въ этомъ не оставалось никакого сомнѣнія, я приведу вамъ самостоятельныя и независимыя доказательства также и для этой отрицательной части моего разсужденія; съ ихъ приведеніемъ я сочту свою задачу исполненной.

„Либо обманъ, либо недоразумѣніе“... Въ сущности и то и другое одинаково противно тому чувству правды, которое въ насъ насаждаетъ изученіе античности—вы помните, что оно ставить къ намъ не одно, а два требованія: 1) не лги и 2) не заблуждайся—тамъ, разумѣется, гдѣ дана возможность не заблуждаться, гдѣ есть люди и данныя, направляющіе насъ на путь истины. Все же нравственная оцѣнка этихъ двухъ прегрѣшеній противъ правды различна. Бываетъ пріятно указывать заблуждающемуся правильный путь, но непріятно, очень непріятно обличать обманщиковъ. Позвольте начать съ этой второй, непріятной части нашей задачи, чтобы скорѣй сбыть ее съ рукъ.

Прежде всего слѣдуетъ помнить, что этотъ обманъ не есть первичная причина того недоброжелательства, о которомъ я говорю—напротивъ, онъ имѣетъ его своимъ предположеніемъ. Обманъ не нашелъ бы себѣ вѣры и, стало быть, не имѣлъ бы успѣха, еслибы не попадалъ въ сердца, подготовленныя къ его воспріятію; но это, разумѣется, не только не оправдываетъ его, но и не доказываетъ его безвредности. Недоразумѣніе создаетъ лишь вѣкторый туманъ неясности, который могъ бы еще разсѣять свѣточъ правды; но дымъ сознательнаго обмана его сгущаетъ и превращаетъ, наконецъ, въ ту безпросвѣтную мглу, которая насъ душитъ и доводитъ до отчаянія. Исторія всѣхъ массовыхъ движеній полна примѣровъ этому. Дѣло начинается съ того, что какое-нибудь лицо, учрежденіе или идея

теряетъ популярность — иногда по заслугамъ, иногда нѣтъ — и тотчасъ являются добровольцы, которые, чтобы возвысить собственное вліяніе, нагромождаютъ всякія небылицы про то, что попало обществу на зубокъ; это называлось у римлянъ: *suscere ex aliquo*. Успѣхъ такой клеветѣ обезпеченъ: всякій взоръ находитъ себѣ вѣру, клеветникъ дѣлается всеобщимъ любимцемъ, и горе тому неблагоразумному радѣтелю истины, который вздумалъ бы его опровергать.

Но спросите вы: гдѣ же въ данномъ случаѣ обманъ и обманщики? Отвѣчу: тамъ, гдѣ выступаютъ на арену самозванные руководители общественнаго мнѣнія, на столбцахъ газетъ и на страницахъ журналовъ, вообще въ современной публицистикѣ. — Но какъ же намъ ихъ тамъ прослѣдить? Собрать всю ложь и клевету, которая въ органахъ нашей публицистики разводится по всей Россіи? Этого мало: нужно ее уличить, нужно показать, какъ въ одномъ случаѣ она замалчиваетъ факты, въ другомъ ихъ злонамѣренно толкуетъ, въ третьемъ ихъ подтасовываетъ, передергиваетъ, измышляетъ... но, господа, гдѣ намъ теперь найти время для всего этого? А между тѣмъ, я долженъ обратить ваше вниманіе на этотъ обманъ, чтобы внушить вамъ благоразумное недовѣріе къ этимъ недобросовѣстнымъ руководителямъ вашего мнѣнія. — Къ счастью, для этого есть другой путь, болѣе краткій и не менѣе доказательный: я укажу вамъ обманъ тамъ, гдѣ вы по всѣмъ внѣшнимъ и внутреннимъ условіямъ менѣе всего могли бы его ожидать, а затѣмъ предоставляю вамъ сдѣлать соответственное заключеніе: „если съ зеленѣющимъ деревомъ это творится, то съ сухимъ что будетъ?“ Вы поймете, что при такой обстановкѣ мои слова будутъ въ такой же мѣрѣ данью уваженія тому лицу, которое я вамъ назову, въ какой и упрекомъ: именно тѣмъ, что я называю его предпочтительно передъ другими, я признаю его зеленѣющимъ деревомъ. А затѣмъ позвольте прочесть вамъ то мѣсто, которое я имѣю въ виду. Вотъ оно (говорится о филологическихъ экзаменахъ):

„...Между тѣмъ знаніе всѣхъ этихъ толстыхъ курсовъ требуется отчетливое во всѣхъ мелочахъ. Идетъ, напримеръ, рѣчь о какомъ-нибудь литературномъ памятникѣ древняго міра, и въ курсѣ лекцій отводятся двѣ-три стра-

ницы убористаго письма указаніямъ, подъ чьей редакціей, въ какомъ году и гдѣ—въ Венеціи, въ Амстердамѣ, Римѣ, Парижѣ—въ теченіе двухъ тысячъ (sic) лѣтъ этотъ памятникъ издавался. Все это требуется обязательно знать. Ошибается студентъ въ годѣ изданія, или въ имени редактора, и профессоръ съ отчаяніемъ хватается за голову:

„Помидуйте! Что вы говорите? Да какъ же, не зная этого, можно считать себя образованнымъ человѣкомъ?“

„Мудрено ли, послѣ этого, что наша учащаяся молодежь въ общемъ страшно не развита“ и т. д.

Это мѣсто я взялъ изъ одной довольно распространенной книжки, выдержавшей въ короткое время (1903) три изданія—«Школа и жизнь» священника о. Г. С. Петрова. Что сказать о немъ?

Мнѣ думается, прежде всего, что человѣку, пишущему и печатающему книги, приличествовало бы знать, въ какомъ году... или, если авторъ такъ не любитъ точныхъ данныхъ, то въ какомъ, приблизительно, столѣтіи было изобрѣтено книгопечатаніе, и не рассказывать намъ про изданія древнихъ авторовъ съ Венеціей и Амстердамомъ, годомъ появленія и именемъ „редактора“ за двѣ тысячи лѣтъ. Но это для насъ не существенно. Рѣчь идетъ, повторяю, о филологическихъ экзаменахъ; авторъ не говоритъ, откуда онъ черпаетъ свои свѣдѣнія, но это все равно—я могу по праву утверждать, что никто здѣсь въ Петербургѣ не знаетъ этого дѣла лучше меня, такъ какъ я не только произвожу эти экзамены въ нашемъ Петербургскомъ университетѣ, но за послѣднія 10—12 лѣтъ ежегодно бывалъ председателемъ филологическихъ испытательныхъ комиссій въ какомъ-нибудь изъ провинціальныхъ университетовъ. Позвольте же вамъ заявить, на основаніи этого довольно широкаго опыта, что рассказъ о. Петрова о филологическихъ экзаменахъ—чистѣйшій вымыселъ, безо всякаго, даже внѣшняго, сходства съ истиной; такъ, какъ онъ вамъ представляетъ дѣло, никто въ Россіи не экзаменуется. Конечно, своды изданій древнихъ авторовъ имѣются въ такъ называемыхъ bibliothecae scriptorum—хотя, разумѣется, не за двѣ тысячи лѣтъ, а за четыреста съ небольшимъ; это для насъ, филологовъ, очень полезный справочный матеріалъ, втораго, однако, никто изъ насъ и не ду-

масть вбивать себѣ въ голову, а тѣмъ болѣе—требовать отъ студентовъ. Бываютъ затѣмъ, не спору, на экзаменахъ такіе отвѣты, при которыхъ профессора съ отчаяніемъ хватаются за голову, но они никогда не касаются года или мѣста изданія автора.—А между тѣмъ, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы такія небывлицы, какъ приведенная мною,—не говоря уже о ихъ нравственной предосудительности—были практически безвредны. Не такъ давно, въ мою бытность предсѣдателемъ испытательной комиссіи, одинъ изъ моихъ испытуемыхъ мнѣ жаловался, что совершенно аналогичныя розказни заставили его потерять годъ жизни. Онъ былъ филологомъ по призванію; но записаться на историко-филологическій факультетъ не рѣшился, такъ какъ въ томъ провинціальномъ городѣ, гдѣ онъ кончилъ курсъ, ему говорили, что на этомъ факультетѣ только и дѣлаютъ, что пишутъ сочиненія по-гречески и по-латыни. Онъ поступилъ въ медики и только черезъ годъ, присмотрѣвшись къ занятіямъ на историко-филологическомъ факультетѣ и убѣдившись въ нелѣпости тѣхъ розказовъ, могъ вернуться къ своей любимой спеціальности.—И кто знаетъ, быть можетъ, именно теперь тотъ или другой провинціальный юноша, читая въ книжкѣ о. Петрова о прелестяхъ филологическихъ экзаменовъ и не подозревая обмана, даетъ зарокъ ни за что не поступать на историко-филологическій факультетъ, несмотря на свои способности и охоту къ историко-филологическимъ занятіямъ—и въ результатѣ окажется выбитымъ изъ колеи не на годъ, а на цѣлую жизнь.

Конечно, господа, вы поймете, что приведенное мною—лишь образчикъ, флакончикъ изъ того ушата клеветы, изъ котораго насъ обливаютъ въ современной публицистикѣ. Онъ интересенъ, во-первыхъ, потому, что носить на ярлыкѣ довольно видное и почтенное имя, а во-вторыхъ, тѣмъ, что здѣсь можно было поймать клевету, такъ сказать, съ поличнымъ. Не вездѣ это такъ же легко. Все же объ одномъ я прошу васъ помнить: когда будете читать въ газетахъ или гдѣ бы то ни было обвиненіе противъ античности въ ея образовательномъ, культурномъ или научномъ значеніи—знайте, что васъ обманываютъ; особенно это слѣдуетъ помнить тамъ, гдѣ авторъ не имѣетъ даже мужества назвать свою фамилію и трусливо прячется подъ ма-

ской анонимности или псевдонимности. Равнымъ образомъ вы, надѣюсь, поймете, что я лично ничего не имѣю противъ о. Петрова, который мнѣ самъ по себѣ гораздо болѣе симпатиченъ, чѣмъ его враги. Совершенно напротивъ: я уважаю его проповѣдническую дѣятельность и желаю ему успѣха въ ней; пусть она сѣетъ сѣмена добра и правды, пусть учитъ людей соблюдать заповѣди Господни, но пусть соблюдаетъ ихъ и самъ — всѣ, не исключая и девятой.

Оставимъ, однако, въ сторонѣ обманъ; перейдемъ къ другому, менѣе непріятному источнику нерасположенія общества къ античности, къ недоразумѣнію. Здѣсь мы должны различать античность, какъ образовательный предметъ, и античность, какъ элементъ культуры — о третьемъ, научномъ значеніи античности здѣсь говорить не приходится. Конечно, при распространенномъ въ нашемъ обществѣ и особенно въ нашей печати пустосмѣшествѣ ей достается и въ этомъ третьемъ видѣ; но если говорить серьезно, то ни одинъ мыслящій человѣкъ не оспариваетъ права на существованіе науки объ античности наравнѣ съ санскритологіей, египтологіей и другими, столь же безобидными науками. — Впрочемъ, и о второй сторонѣ можно не говорить; нашъ девизъ «не норма, а сѣмя» достаточно разъясняетъ, въ чемъ состоитъ недоразумѣніе на этотъ счетъ. Мы остановимся, поэтому, на первой сторонѣ, а именно на предубѣжденіи общества противъ школьной античности. Ей вѣняется въ вину — и у насъ, и на Западѣ — во-первыхъ, что она ненужна, во-вторыхъ, что она трудна; къ этимъ двумъ упрекамъ, общимъ для насъ съ Европой, у насъ прибавляется третій, который составляетъ нашу національную особенность: античность, изволите видѣть, ретроградна. Сюда относятся клички: классическій обскурантизмъ, классическіе намордники и т. д. Ихъ мы прибережемъ напоследокъ: дѣлу — время, а забавѣ — часъ.

Къ дѣлу относится первый упрекъ: школьная античность *ненужна*. Я, конечно, привелъ его здѣсь не къ тому, чтобы его опровергать — на что нужна школьная античность, это я пытался объяснить вамъ, насколько это позволяло время, въ первыхъ четырехъ лекціяхъ. Здѣсь моя задача другая: анализировать общественное мнѣніе, показать вамъ, какъ могло и

должно было возникнуть предубѣжденіе противъ античности. Въ данномъ случаѣ дѣло совершенно ясно: при опредѣленіи цѣнности знаній непосвященный въ дѣло человѣкъ склоненъ становиться на узко-утилитарную точку зрѣнія, ставя цѣнность знаній въ зависимость отъ непосредственной ихъ примѣнимости къ жизни и ея работѣ; чѣмъ косвеннѣе эта примѣнимость, тѣмъ труднѣе будетъ ему ее оцѣнить. Возьмемъ для примѣра готовое платье — тутъ всякій дикарь пойметъ, что это вещь полезная, такъ какъ защищаетъ отъ зноя и холода. Покажите этому дикарю швейную машину — онъ руками разведетъ, не понимая, на что такая штука можетъ пригодиться; но ему можно будетъ наглядно показать, какъ съ помощью этой штуки дѣлается платье, и онъ, ничего не понимая, признаетъ ея пользу. — Но, вѣдь, эти швейныя машины въ свою очередь какъ-нибудь производятся, для чего существуютъ особые заводы; въ этихъ заводахъ при оглушительномъ шумѣ машинъ приготавливаются стержни, шестерни, винты, гайки и т. д.; возьмемъ любую изъ этихъ машинъ — тутъ уже человѣкъ безъ техническаго образованія совсѣмъ въ толкъ не возьметъ, какая отъ нея можетъ быть польза. — То же самое и здѣсь. Непосредственно полезная для общества умственная работа производится умомъ — эта и есть наша швейная машина. Но вѣдь и умъ долженъ быть какъ-нибудь производимъ и приспособляемъ къ тому, чтобы полезно работать; одна изъ производящихъ его машинъ — это и есть школьная античность. Но понять это можетъ только человѣкъ, обладающій соответственнымъ техническимъ знаніемъ; у кого такого нѣтъ, тотъ всегда будетъ склоненъ допустить, что ея изученіе — бесполезная трата времени и труда.

И труда... да, и это слово приводитъ насъ ко второму упреку по адресу школьной античности. Тутъ недоразумѣніе заключается, разумѣется, не въ самомъ фактѣ — школьная античность *трудна*, если ее изучать добросовѣстно, объ этомъ и говорить нечего. Недоразумѣніе заключается въ выводѣ, который дѣлаютъ изъ этого факта. Она трудна, говорятъ, и поэтому долой ее; она трудна, отвѣчу я, и это лишній разъ ее рекомендуетъ. Прошу васъ, господа, отнестись къ этому пункту съ особеннымъ вниманіемъ; здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я вы-

нужденъ буду опираться на кодексъ чести мыслителя. Мнѣ придется васъ предостерегать отъ увлеченія однимъ очень благороднымъ и симпатичнымъ чувствомъ — именно чувствомъ гуманности. Я давно уже чувствую одно ваше возраженіе противъ всего, что я говорилъ вамъ на первыхъ лекціяхъ, — оно гласитъ такъ: „Было насъ пятьдесятъ, когда мы поступили въ первый классъ, а кончаетъ всего тридцать. Остальнымъ гимназическій курсъ оказался непосильнымъ, причемъ для большинства камнемъ преткновенія были древніе языки“. Отсюда понятно ихъ ожесточеніе противъ древнихъ языковъ — ихъ, ихъ родителей и близкихъ, а также, по чувству товарищества, и ваше.

Упрекъ этотъ я могъ бы очень легко обойти. Когда въ той комиссіи по реформѣ средней школы, о которой я говорилъ выше, разбирали вопросъ о «неудачникахъ», — людьми, близко стоящими къ дѣлу, были приведены статистическія данныя для обоихъ главныхъ типовъ средней школы, причемъ процентъ неудачниковъ и въ гимназіяхъ, и въ реальныхъ училищахъ оказался тѣмъ же — именно 40⁰/. Уже это одно доказываетъ вамъ, что въ неудачникахъ виноваты не древніе языки, а нѣчто другое, общее обоимъ типамъ средней школы; что — это я могу вамъ сказать теперь же: *законъ подбора*. Но тогда мысли собранія приняли другое направленіе; большая его часть стала органомъ общественнаго негодованія противъ школы, производящей неудачниковъ; я помню произнесенныя въ великодушномъ увлеченіи слова одного извѣстнаго своей гуманностью дѣятеля средней школы: „если школа принимаетъ сто учениковъ, она сто же учениковъ должна выпустить“. Итакъ, сказала я себѣ, поступленіе въ школу гарантируетъ полученіе диплома; ну, а что же гарантируетъ поступленіе? Единственный возможный отвѣтъ: протекція или взятка... Но мы къ этому еще вернемся.

Я не хочу обходить упрека въ трудности, который дѣлаютъ школьной античности; я уже сказалъ, что эта трудность ее лишній разъ рекомендуетъ. Я прошу васъ сосредоточить ваше вниманіе на томъ, что я называю *соціологическимъ значеніемъ школы*; вотъ краткій его схема.

Разумѣется, организація нашего общества еще весьма не-

совершенна; одна изъ главныхъ причинъ этого несовершенства заключается въ томъ, что въ немъ все еще слишкомъ много дармоѣдовъ, т.-е. людей, способныхъ къ труду, но предпочитающихъ жить на счетъ другихъ. Мы обрекаемъ, однако, этотъ типъ на полное исчезновеніе и требуемъ, чтобы каждая копѣйка въ карманѣ обывателя была копѣйкой трудовой; согласно нашему идеалу, общество—это армія труда. Ну, а въ каждой арміи есть рядовые и офицеры, нижніе и высшіе чины; грань между ними не особенно рѣзка и въ вооруженной арміи, а въ арміи труда опредѣленной грани даже совсѣмъ нѣтъ по все же можно и должно различать и здѣсь верхъ и низъ общественной пирамиды. — Кто же такіе эти офицеры? Разумѣется, не одни только чиновники, а всякій, кто болѣе командуетъ, чѣмъ повинуется, кто служитъ обществу скорѣе умственнымъ, чѣмъ физическимъ трудомъ, и притомъ умственнымъ трудомъ большей, а не меньшей цѣнности: директора и мастера заводовъ, управляющіе коммерческими предприятиями, землевладѣльцы или инспектора полевыхъ работъ, доктора, художники и т. д. — впрочемъ, въ различныя времена и составъ этой «элиты» общества бывалъ различенъ. Они пользуются при нормальныхъ условіяхъ и бѣльшимъ достаткомъ въ сравненіи съ рядовыми, живутъ въ чистыхъ, свѣтлыхъ квартирахъ, а не въ конурахъ, углахъ и ночлежныхъ пріютахъ. — Какъ же попадаютъ люди на эти офицерскія мѣста? Вотъ въ этомъ и заключается характерное различіе между эпохами. Всегда критеріемъ, отличающимъ кандидата въ офицеры отъ кандидата въ рядовые, былъ цензъ; только цензъ этотъ былъ въ различныя времена различенъ. Первобытнымъ цензомъ былъ вѣроятно цензъ грубой физической силы; въ культурныя эпохи мы видимъ вначалѣ цензъ происхожденія—мѣста у верхушки общественной пирамиды переходятъ по наслѣдству отъ благороднаго отца къ благородному сыну. Затѣмъ цензъ происхожденія смѣняется имущественнымъ цензомъ или скрещивается съ нимъ; въ настоящее время преобладающимъ является образовательный цензъ, и ему, очевидно, принадлежитъ будущее. Кандидаты въ офицеры арміи труда—это вы, кончающіе ученики средней школы.

Теперь, господа, мнѣ хотѣлось бы вызвать передъ вами

призракъ — призракъ грозный, внушительный, и, увы, даже черезчуръ реальный. Это — юноша вашихъ лѣтъ; только одѣтъ онъ не въ чистую тужурку, а въ грязныя, вонючія лохмотья, и на головѣ у него, вмѣсто вашей опрятной фуражки, засаленный картузь, на лицѣ — отпечатки лишений и пороковъ, сонувствующихъ жизни «на дѣлѣ» общественной пирамиды. Вы представляетесь другъ другу: „я“, говорите вы, „Божьей милостью кандидатъ въ офицеры“; „а я“, отвѣчаетъ вамъ призракъ, „Божимъ гнѣвомъ пролетарій“ — и затѣмъ, вперяя въ васъ злобный взглядъ, спрашиваетъ: „а за что это ты, баринъ, попадаешь въ офицеры, а я нѣтъ?“ — На этотъ вопросъ возможны два отвѣта, одинъ — очень скверный, другой — очень хорошій. Первый гласитъ такъ: „За то, что мой отецъ — чловѣкъ сравнительно зажиточный, который платилъ за меня семь или восемь лѣтъ подъ рядъ въ среднюю школу и за это время давалъ мнѣ досугъ для занятій, а твой отецъ, буде таковой у тебя есть, — бѣднякъ, который кормилъ и воспитывалъ тебя на мѣдные гроши и въ то же время эксплуатировалъ твой трудъ“. Да, въ этомъ отвѣтѣ будетъ, къ сожалѣнію, большая доля правды: но, я думаю, у каждаго изъ васъ отъ него совѣсть сковырнется. — Другой отвѣтъ, безупречный, гласитъ такъ: „За то, что я преодолѣлъ такую массу умственного труда, какая тебѣ не по силамъ; ты только подумай — пятьдесятъ насъ поступило въ гимназію, а кончаютъ только тридцать“.

А теперь позвольте васъ спросить: съ которымъ изъ этихъ двухъ отвѣтовъ вяжется идея легкой школы, выпускающей столько же учениковъ, сколько она приняла? Ужъ, конечно, не со вторымъ, а только съ первымъ, т.-е. съ такимъ, который вы и произнести не рѣшитесь, — языкъ не повернется. Теперь представьте себѣ, что эта идея легкой школы осуществлена; надпись «трудолюбію и способностямъ» окончательно сорвана со школьныхъ дверей и замѣнена надписью: „милости просимъ — всѣмъ дипломъ обезпеченъ!“ Что будетъ послѣдствіемъ? — Да, милости просимъ! школа можетъ принять только пятьдесятъ, а желающихъ пятьсотъ... Или вы думаете, что ихъ столько не будетъ? Да вѣдь уже и теперь, когда трудность школы многихъ отпугиваетъ, желающихъ бываетъ вдвое и втрое больше, чѣмъ вакансій; что же будетъ тогда, когда легкость

курса и обезпеченность диплома послужать лишней приманкой? вѣдь каждый отецъ пожелаетъ видѣть сына на офицерскомъ мѣстѣ. — Нѣтъ, ужъ, конечно, не менѣе пятисотъ; какъ же выбрать изъ нихъ пятьдесятъ счастливецъ? Одно средство — соотвѣтственно повысить школьную плату... т.-е. упрочить и узаконить имущественный цензъ, самый вредный и подлый изъ всѣхъ, давъ ему въ довершеніе подлости прикрываться маской ценза образовательнаго. Другое средство — строгій вступительный экзаменъ, т.-е. перенесеніе борьбы и неудачничества изъ школьнаго возраста въ дѣтскій, причемъ, вопреки природѣ и наперекоръ разуму, за труднымъ до изнуренія дѣтствомъ послѣдуетъ легкое отрочество. — Нѣтъ, конечно; ни то, ни другое средство не годится, а будетъ примѣнено третье, тѣмъ болѣе что оно имѣетъ у насъ очень прочный историческій и бытовой фундаментъ: это средство — протекція или взятка. Это будетъ тоже своего рода подборъ, но уже не подборъ естественный, ведущій къ совершенствованію, а коррупціонный, имѣющій послѣдствіемъ вырожденіе. — Впрочемъ, долго ему торжествовать не придется: не допустить этого тотъ призракъ, который я уже вызывалъ передъ вами, и о существованіи котораго забывать не годится. Примѣръ 18-го вѣка во Франціи знаменателенъ: если привилегированный классъ вздумаетъ упразднить или облегчить ту сумму труда, которая одна только и оправдываетъ его привилегіи, то онъ будетъ сметенъ революціей. Ради Бога, не требуйте и не вводите легкой школы; легкая школа — это социальное преступленіе.

И вотъ почему я, какъ это ни было больно, предостерегалъ васъ отъ увлеченія чувствомъ гуманности и состраданія къ товарищамъ-неудачникамъ; эта гуманность — близорукая, кастовая, буржуазная гуманность. Вамъ жалъ тѣхъ товарищей, которые, поступивъ вмѣстѣ съ вами въ гимназію, вслѣдствіе недостатка трудолюбія или способностей не кончаютъ ее вмѣстѣ съ вами; и мнѣ ихъ жалъ — но мнѣ гораздо болѣе жалъ тѣхъ вашихъ сверстниковъ, которые, несмотря на свое трудолюбіе и способности, въ силу внѣшнихъ условій остались за дверьми средней школы. Ихъ неудача гораздо прискорбнѣе неудачи тѣхъ первыхъ, такъ какъ отъ нея страдаетъ само общество, межъ тѣмъ какъ отъ неудачи тѣхъ первыхъ страдаютъ только

они сами; неудача способныхъ — тормазъ прогресса; неудача неспособныхъ — орудіе прогресса.

Вотъ почему идеаломъ школьной организаціи будетъ такая постановка дѣла, при которой неудачи трудолюбивыхъ и способныхъ учениковъ будутъ невозможны, хотя бы для этого и пришлось увеличить процентъ неудачъ нерадивыхъ и неспособныхъ; этотъ идеалъ будетъ достигнутъ, какъ и вообще всякій идеалъ, дѣйствіемъ обоихъ могучихъ рычаговъ прогресса, дифференціаціи и интеграціи. Требованіе дифференціаціи — возможное разнообразіе типовъ средней школы: есть у насъ школы классическія, реальныя, профессиональныя разныхъ категорій — и прекрасно; чѣмъ больше будетъ этихъ типовъ, тѣмъ больше шансовъ, что всякій способный мальчикъ найдетъ тотъ, который будетъ соотвѣтствовать его способностямъ. Требованіе интеграціи — соединеніе всѣхъ типовъ низшихъ, среднихъ и высшихъ школъ въ одинъ организмъ, одно величественное дерево. Корнями этого дерева будутъ низшія школы, городскія и сельскія; глубоко проникая въ народъ, онѣ должны отыскивать способныхъ къ умственному труду людей и доводитъ ихъ, по мѣрѣ ихъ способностей, до ствола, вѣтвей и верхушки дерева. Такая школа будетъ истинно народной — т.-е. по мысли поэта той, „что выводитъ изъ народа столько добрыхъ...“ — чего пока про нашу школу сказать еще нельзя, а про проектируемую нѣкоторыми легкую школу никогда нельзя будетъ сказать. Легкая школа — это школа для барчуковъ, какое-то нелѣпое и оскорбительное возрожденіе крѣпостного права на капиталистической подкладкѣ.

И когда мы приблизимся къ тому идеалу, который я вамъ изображаю, тогда и вопросъ о неудачникахъ получитъ свое, хотя и не вполне насъ удовлетворяющее, но все же нормальное разрѣшеніе. Ты не успѣваешь въ классической школѣ? попытай счастья въ реальной. Не выносишь реальной? переходи въ классическую. Ни здѣсь, ни тамъ не находишь себѣ мѣста? выбирай профессиональную по своему вкусу. Ты въ этихъ поискахъ потеряешь годъ-два своей жизни; что дѣлать, пеняя на себя или на своихъ родителей, что они не сразу нашли ту школу, для которой ты годишься. Или, можетъ быть, такой и нѣтъ вовсе? Ты неспособенъ къ умственному труду? Пере-

ходи въ мастерскую, поступай юнгой во флотъ, вернись къ матери-землѣ; не будешь офицеромъ, будешь рядовымъ въ арміи труда. Ты и къ физическому труду неспособенъ? ты слабъ, тщедушенъ, увѣченъ — или, можетъ быть, непреодолимо влѣтъ и лѣнливъ? Тогда, бѣдняга... мнѣ страшно сказать, что тогда, но вы понимаете сами, какъ за меня отвѣтить въ этомъ случаѣ законъ подбора: „тогда—умри...“

Должны, можемъ ли мы съ этимъ закономъ мириться?

Господа, мы затронули тутъ очень важный вопросъ; между тѣмъ времени у насъ осталось мало, а намъ предстоитъ обсудить еще одинъ упрекъ по адресу античности—а именно, что она *ретроградна*. Но, быть можетъ, вы уволите меня отъ обстоятельнаго обсужденія этого пункта и отъ обязанности доказывать вамъ, что античность, этотъ источникъ всѣхъ освободительныхъ идей, которыми живетъ наша цивилизація, никакъ не можетъ быть названа ретроградной. Да я думаю, это достаточно уже доказано въ предыдущихъ моихъ лекціяхъ; много ли вы нашли въ нихъ ретрограднаго?—Но, спросите вы, какъ же могло возникнуть это мнѣніе? Прежде всего, я думаю, какой-нибудь чиновникъ, не видѣвшій свѣта изъ-за своего зеленого стола, могъ возымѣть геніальную идею, что съ помощью перфектовъ и супиновъ можно противодѣйствовать революціоннымъ наклонностямъ общества; такъ точно, вѣдь, и въ средніе вѣка, когда право на существованіе наукъ видѣли въ ихъ религіозно-правственномъ воздѣйствіи, ариметикѣ ставилось въ заслугу то, что она отвлекаетъ умы людей отъ грѣшныхъ мыслей. А затѣмъ армія суетливыхъ публицистовъ, испугавшихся за либерализмъ своихъ будущихъ читателей, стала винить за эту идею ни въ чемъ неповинную античность. Который изъ нихъ былъ умнѣе, не знаю; но правъ, пожалуй, Цицеронъ, сказавшій въ схожемъ случаѣ: „Если согласно извѣстному изреченію самый мудрый человѣкъ тотъ, кто самъ можетъ придумать, что надо, а ближе всѣхъ къ нему по мудрости тотъ, кто повинуется мудрымъ совѣтамъ другого—то въ противоположномъ качествѣ дѣло обстоитъ наоборотъ: менѣе глупъ тотъ, кто ничего путнаго придумать не можетъ, чѣмъ тотъ, кто одобряетъ придуманную другимъ нелѣпость“. А что въ данномъ случаѣ дѣйствительно рѣчь идетъ о противоположномъ мудрости

качествѣ, это вы можете заключить изъ того, что это обвиненіе античности въ ретроградствѣ раздается только у насъ въ Россіи; я думаю, если бы перфектамъ и супинамъ дѣйствительно была свойственна та чудодѣйственная консервативная сила, которую имѣетъ въ виду лубочная психологія этихъ господъ, то хитроумный западъ врядъ ли предоставилъ бы имъ честь этого открытія.

А затѣмъ позвольте сдать всю эту нелѣпость въ архивъ и вернуться къ затронутому только-что интересному и важному вопросу.

Рѣчь шла у насъ о социологическомъ значеніи средней школы вообще и классической школы въ частности; это значеніе заключается, какъ мы видѣли, въ выдѣленіи «кандидатовъ въ офицеры арміи труда», т.-е. въ выдѣленіи способныхъ къ умственному труду изъ числа всѣхъ призванныхъ или желающихъ. Для этого школа должна быть болѣе или менѣе трудной — легкая школа предполагаетъ и легкій трудъ, а изобрѣсть таковой предоставляется тому, кто изобрѣтетъ также и прохладный огонь и теплый свѣтъ: трудъ, поскольку онъ *трудъ*, всегда будетъ *труденъ*. — На меня нападали за эту социологическую роль, которую я, будто бы, навязываю школѣ; значитъ, спрашивали, школа по-вашему должна быть рѣшетомъ? Я ничего не имѣю противъ того, чтобы склонные къ пустосмѣшеству люди представляли себѣ мою школу хотя бы подъ символомъ рѣшета: требую, однако, чтобы они то же рѣшето возвели въ символъ также и всей жизни, всей природы. Вездѣ, гдѣ только есть жизнь, ведется борьба за нее, причемъ жизнеспособные организмы выживаютъ, нежизнеспособные вымираютъ; школа, если она хочетъ быть живой, не можетъ уклониться отъ общаго закона жизни. Но я протестую противъ мысли, что я навязываю школѣ эту роль, какъ такую, которую она должна исполнять непосредственно и сознательно. Нѣтъ, господа; эта мысль основана на непониманіи той *гетерогеніи цѣлей*, о которой я говорилъ вамъ въ первой лекціи, которая сказывается вездѣ тамъ, гдѣ дѣйствуетъ законъ подбора, и состоитъ, какъ помните, въ несоотвѣтствіи сознательной и непосредственной цѣли—цѣли бессознательной и косвенной. Сознательно и непосредственно школа должна стремиться лишь къ одному—къ

образованію своихъ питомцевъ; о другомъ ей и думать нечего. Но именно этимъ самымъ, ведя своихъ питомцевъ къ извѣстному уровню образованія и, стало быть, отпуская тѣхъ, для коихъ этотъ уровень не достижимъ—этимъ самымъ она, сама того не сознавая, служитъ и цѣлямъ подбора. И горе ей, если она, придя къ сознанию этого своего невольнаго, косвеннаго назначенія вздумаетъ отказаться отъ него и соотвѣтственно измѣнить свою прямую, образовательную цѣль: такая школа будетъ неминуемо сметена съ арены другой школой, болѣе серьезно относящейся къ своимъ обязанностямъ. Да, мы имѣемъ передъ собой рѣзкую, но несокрушимую дилемму: школа будетъ либо орудіемъ подбора, либо его жертвой.

Но что же мы, въ концѣ концовъ, будемъ дѣлать съ нашимъ неудачникомъ? Мы пробовали его пристроить въ различнаго рода школахъ, подъ конецъ и къ физическому труду—вездѣ онъ оказался неспособнымъ. Что же, подпишемъ мы суровый приговоръ ему закона подбора—приговоръ: „умри“?

Нѣтъ; нашъ законъ нуждается въ дополненіи. Конечно, на всемъ пространствѣ живого міра царствуетъ борьба за существованіе и ея послѣдствіе, выживаніе жизнеспособныхъ, естественный подборъ; въ одномъ только человѣческомъ обществѣ этотъ законъ скрещивается съ другимъ, важнымъ и могучимъ принципомъ—съ принципомъ любви. Это, конечно, не исключеніе—такого законъ подбора не допускаетъ,—а наивысшее развитіе: любовь снизошла на землю не для того, чтобы нарушить нашъ законъ, но для того, чтобы исполнить его. Законъ подбора ведетъ человѣчество къ совершенствованію; совершенствованіе же бываетъ не только физическое и умственное, но и нравственное. Какъ въ дрожавшемъ съ усиливающейся быстротой стержнѣ по достиженіи извѣстнаго предѣла быстроты зарождается новая сила, и онъ начинаетъ свѣтиться,—такъ точно и въ человѣческомъ обществѣ по достиженіи извѣстной степени культурнаго прогресса возжигается нѣчто новое и чудесное—нравственный законъ, который велитъ человѣку любить своего ближняго, не толкать падающаго, чтобы самому было вольнѣе, а напротивъ, протянуть руку помощи, подѣлиться съ нимъ своимъ избыткомъ. Пусть первобытныя общества убиваютъ неспособныхъ къ физическому труду стариковъ, какъ лишнюю

обузу, повинуюсь одному только закону борьбы за существование—мы, культурное общество, дѣлимся со своими стариками своимъ трудовымъ хлѣбомъ, потому что любимъ ихъ. И когда намъ говорятъ: „зачѣмъ вы это дѣлаете? Чтѣ падаетъ, то слѣдуетъ толкать — въ видахъ достиженія еще большаго физическаго и умственнаго совершенства; поступая иначе, вы осуждаете себя на вырожденіе!“ — мы отвѣчаемъ: „нѣтъ! мы не желаемъ такого физическаго и умственнаго совершенствованія, которое окупается цѣною нравственнаго вырожденія“. Такъ же поступаемъ мы и съ нашими неудачниками; мы ихъ не истребляемъ, а заботимся о нихъ. Мы строимъ больницы для неудачниковъ физической жизни — больныхъ; убѣжища для неудачниковъ умственной жизни — идіотовъ и умалишенныхъ; тюрьмы для неудачниковъ нравственной жизни — преступниковъ; мы стараемся, чтобы имъ тамъ жилось сносно. Такъ-то внутри главной части нашего общества, живущаго по трудовой системѣ, прозябаетъ болѣе или менѣе значительное число людей, не участвующихъ въ общемъ трудѣ, людей, существованіе которыхъ оправдывается и нормируется такъ называемой каритативной системой; это — обозъ арміи труда. Мы дѣлимся съ ними своимъ избыткомъ, но не болѣе: нельзя допустить, чтобы жизненные соки здоровыхъ, трудоспособныхъ организмовъ шли на неудачниковъ — тогда дѣйствительно наступило бы то вырожденіе, которымъ насъ пугаютъ. Мы должны болѣе или менѣе искусно лавировать между двумя вырожденіями—вырожденіемъ нравственнымъ при чрезмѣрно крутомъ проведеніи закона борьбы за существованіе и пренебреженія къ закону любви, и вырожденіемъ физическимъ и умственнымъ при увлеченіи этимъ послѣднимъ закономъ.

Теперь нашъ отвѣтъ готовъ. Мы не подпишемъ того суроваго приговора „умри“, который законъ подбора произнесъ нашему неудачнику; мы скажемъ ему: „ступай въ обозъ; тамъ ты получишь средства къ болѣе или менѣе сносному прозябанію — но, конечно, не болѣе“. Разумѣется, отраднаго тутъ мало; что дѣлать, мы при всемъ желаніи не можемъ устранить мрачныхъ сторонъ нашей жизни. И то будетъ хорошо, если намъ удастся въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ осуществить тотъ идеаль, о которомъ говорится здѣсь — идеаль ра-

зумной школьной организаціи при послѣдовательномъ и полномъ проведеніи какъ дифференціаціоннаго, такъ и интеграціоннаго принциповъ, съ обезпеченіемъ всѣмъ способнымъ и трудолюбивымъ людямъ соотвѣтственнаго ихъ пригодности мѣста въ арміи труда; и это будетъ огромнымъ прогрессомъ въ сравненіи съ тѣмъ, что было и что есть.

Прогрессомъ, да; это слово — настоящий заключительный аккордъ въ той симфоніи мыслей и чувствъ, которую я хотѣлъ вызвать въ васъ. Прогрессъ — лозунгъ той культуры, которая коренится въ античности; къ нему сводится вся та игра идей, которая намъ завѣщала античность, или на которая она натолкнула насъ во время нашего полуторатысячелѣтнаго симбіоза съ ней; ему же служить и школа, имѣющая въ своемъ центрѣ античность, не только прямо, какъ разсадникъ прогрессивныхъ идей, но и косвенно, какъ орудіе соціологическаго подбора. Долго, очень долго одинъ только Западъ былъ носителемъ прогрессивныхъ идей — тотъ западъ, который одинъ и воспринималъ античность, какъ главную движущую силу своей культуры. На Востокъ мы имѣли и имѣемъ не то — странную жизнь, тоже культурную, но основанную на предположеніи необходимости сходства завтрашняго дня съ сегодняшнимъ и вчерашнимъ. Удивительное впечатлѣніе производитъ въ сравненіи съ вѣчно мечущейся, вѣчно безпокойной мыслью Запада это величавое спокойствіе Востока, это бессознательное убѣжденіе, что все достижимое уже достигнуто, что стремиться дальше праздно, неразумно, грѣшно. — Россія поставлена исторіей какъ разъ на грани между Западомъ и Востокомъ; здѣсь сталкиваются оба идеала. Россія — единственная изъ странъ европейской культуры, гдѣ оспаривался прогрессъ и его необходимость, оспаривался законъ подбора и его цѣль, оспаривалась трудовая система общественной организаціи, оспаривались науки и искусства; гдѣ на тревожный вопросъ „да вѣдь это ведетъ къ вырожденію, къ вымиранію!“ слѣдовало спокойно-величавый отвѣтъ: „Такъ что же? И будемъ вырождаться и вымирать!“ Противъ этой точки зрѣнія я безсиленъ; всѣ мои доводы въ пользу античности имѣли основаніемъ вѣру въ прогрессъ, въ его возможность и необходимость. Рѣшитесь отрицать прогрессъ — и все, что я сказалъ, будетъ опровергнуто.

Что же, начать намъ новое разсужденіе на новую, все-объемлющую тему? Нѣтъ; надо когда-нибудь и перестать. Всякая мысль, будучи додумана до конца, поднимаетъ вереницу новыхъ мыслей; если то же самое произойдетъ и здѣсь, съ вами, то это будетъ только хорошо для васъ. Я уже приглашалъ васъ видѣть въ античности не норму, а сѣмя; само собою разумѣется, что я и для своихъ лекцій объ античности не могу требовать большаго. Пусть и онѣ будутъ сѣменемъ мысли для васъ; надѣюсь, когда-нибудь, если и не это сѣмя плоды... быть можетъ, уже забудете о томъ, что было предметомъ нашихъ бесѣдъ, вы будете радоваться взошедшему житю, будете считать его своей полной собственностью—и вы будете правы: то, что человѣкъ въ себѣ переработалъ, изъ себя выработалъ, составляетъ его неотъемлемую собственность, другой умственной собственности и не бываетъ.—И все же мнѣ не хотѣлось бы оборвать свои лекціи на вопросительномъ знакѣ; но такъ какъ вы утомились, да и я утомился, то я послѣдую примѣру моего любимца Платона и заключу разсужденіе на затронутую только что тему въ рамку «миѳа» — т.-е., по-нашему, притчи. Итакъ, вотъ вамъ, на прощаніе и на добрую память, моя притча о прогрессѣ.

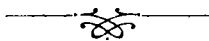
Когда совершилось грѣхопаденіе ангеловъ, и дерзновенный замыселъ понесъ заслуженную кару, то двое изъ падшихъ — то были Оріенцій и Окциденцій, —будучи менѣе виновны, были признаны достойными пощады. Они не были отвержены навѣки; имъ было дозволено искупить свой грѣхъ тяжелымъ подвигомъ съ тѣмъ, чтобы по его исполненіи вернуться въ небесную обитель. Подвигъ же состоялъ въ томъ, чтобы пройти пѣшкомъ, съ посохомъ въ рукѣ, путь во много милліоновъ миль. Когда этотъ приговоръ былъ имъ объявленъ, то старшій изъ нихъ, Оріенцій, взмолился къ Творцу и сказалъ: „Господи, окажи мнѣ еще одну милость: дай, чтобы мой путь былъ прямъ и ровенъ, чтобы никакія горы и доли не затрудняли меня, и чтобы я видѣлъ передъ собою конечную цѣль, къ которой направляюсь!“—„Твоя просьба будетъ исполнена“, сказалъ ему Творецъ; затѣмъ, обратясь къ другому, спросилъ его: „А ты, Окциденцій, ничего не желаешь?“ Тотъ отвѣтилъ: „Нѣтъ, ни-

чего“. Съ тѣмъ ихъ и отпустили. Тутъ мракъ забытья ихъ окуталъ; когда они пришли въ себя, они очутились каждый на томъ мѣстѣ, съ котораго имъ слѣдовало начать свое странствіе.

Оріенцій всталъ и оглянулся: недалеко отъ него лежалъ посохъ, кругомъ тянулась, точно сонное море, необозримая, плоская и гладкая равнина, надъ ней—голубое небо, безпредѣльное и однообразно-безоблачное; только въ одномъ мѣстѣ, далеко, на самомъ краю горизонта, свѣтилась бѣлая заря. Онъ понялъ, что это и есть то мѣсто, куда ему должно направлять свои шаги; схватилъ посохъ, пошелъ впередъ, пространствовалъ день-другой, затѣмъ опять оглянулся кругомъ—ему показалось, что разстояніе, отдѣлявшее его отъ его цѣли, не уменьшилось ни на шагъ, что онъ все еще стоитъ на томъ же мѣстѣ, что его окружаетъ все та же необозримая равнина, что и раньше. „Нѣтъ“, сказалъ онъ уныло, „этого разстоянія мнѣ вѣкъ не пройти“. Съ этими словами онъ бросилъ посохъ, опустился безнадежно на землю и заснулъ. Заснулъ онъ надолго—вплоть до нашихъ дней.

Въ одно время со старшимъ братомъ проснулся и Окциденцій. Всталъ, оглянулся—за нимъ море, передъ нимъ оврагъ, за оврагомъ лѣсокъ, за лѣскомъ холмикъ, на холмикѣ точно бѣлая заря горитъ. „Только то!“ воскликнулъ онъ весело, „да тамъ я до вечера буду!“ Схватилъ лежавшій у его ногъ посохъ, отправился въ путь; дѣйствительно, вершины холмика онъ достигъ еще до вечера, но тамъ онъ увидѣлъ, что ошибался. Это ему только издали такъ показалось, что заря горитъ на холмикѣ, на самомъ же дѣлѣ на немъ ничего не было, кромѣ нѣсколькихъ яблонь, плодами которыхъ онъ утолилъ голодъ и жажду; а по ту сторону былъ спускъ, внизу текла рѣчка, за рѣчкой подымалась горка, а на горкѣ сіяла все та же бѣлая заря. „Ну, что же“, сказалъ Окциденцій, „отдохну, а затѣмъ въ путь; дня черезъ два буду тамъ, и тогда—прямо въ рай“. Опять расчетъ оказался вѣрнымъ, только рая онъ опять не нашелъ: за горкой была новая, широкая долина, за долиной болѣе высокая гора, вершину которой вѣнчало сіяніе знакомой зари. Конечно, нашъ странникъ почувствовалъ нѣкоторую досаду, но не надолго: гора неотра-

зимо манила къ себѣ, тамъ-то ужъ навѣрно были ворота въ рай. И такъ все дальше и дальше, день за днемъ, недѣля за недѣлей, мѣсяць за мѣсяцемъ, годъ за годомъ, вѣкъ за вѣкомъ; надежда смѣняется разочарованіемъ, изъ разочарованія вырастаетъ новая надежда. Онъ шествуетъ и понынѣ; овраги, рѣки, скалы, непроходимыя болота затрудняютъ его путь; много разъ онъ заблуждался, теряя путеводное сіяніе, совершалъ обходы, возвращался назадъ, пока ему не удавалось вновь примѣтить отблеска вождедѣнной зари. И теперь онъ бодро, со своимъ вѣрнымъ посохомъ въ рукѣ, взбирается на высокую гору; имя ей—«соціальный вопросъ». Гора крутая и утесистая, много ему приходится преодолевать промоины и чащи, отвѣсныхъ стѣнъ и пропастей, но онъ не отчаивается: онъ видитъ передъ собою сіяніе зари и твердо увѣренъ, что стоитъ ему добраться до вершины — и ворота рая откроются передъ нимъ.



ПРИЛОЖЕНІЯ.

Вильгельм Вундт и психологія языка.

(1901).

I.

Вундт какъ ученый.— Психоматеріалисты и фізіоматеріалисты.—Принципъ актуальности и принципъ самобытности психической причинности.—Народная психологія, какъ продолженіе психологіи индивидуальной.—Возникновеніе и программа народной психологіи: Лацарусъ и Штейнталь.—Критика этой программы: Пауль.—Реабилитація народной психологіи.—Ея области: языкъ, религіи, нравы.

Условія индивидуальной научной работы, если ставить къ ней одновременно требованія и самостоятельности и цѣльности, въ настоящее время менѣе благопріятны, чѣмъ когда-либо. Матеріальное обогащеніе сокровищницы знаній съ одной стороны, развитіе методовъ изслѣдованія съ другой—все это повело къ спеціализаціи ученаго труда, той роковой спеціализаціи, которая насъ душитъ, но освободиться отъ которой мы не въ состояніи, если не желаемъ жертвовать своею самостоятельностью, а съ нею и своими правами собственности на облюбованный нами клочокъ научной территоріи. Какъ городскіе обыватели нашихъ дней, вмѣсто домовъ, въ которыхъ жили ихъ предки, вынуждены ютиться въ квартирахъ и квартиркахъ огромныхъ каменныхъ сооружений, точно такъ же и дѣятели науки средней руки работаютъ каждый въ своей болѣе или менѣе узкой спеціальности, часто даже не зная жильцовъ смежныхъ квартиръ общаго научнаго зданія.

Съ этимъ положеніемъ дѣль приходится мириться — оно неизбѣжно; а разъ примирившись, можно утѣшать себя мыслью

о его неоспоримой пользѣ для науки вообще и, слѣдовательно, для человѣчества, и сверхъ того — если мы оптимисты — устраивать себѣ по мѣрѣ своихъ силъ свое «счастіе въ уголокѣ». Но чѣмъ болѣе человѣческая натура склонна къ этому послѣднему исходу, тѣмъ прекраснѣе и величественнѣе представляется намъ зрѣлище тѣхъ немногихъ «непримиримыхъ» избранниковъ науки, которые, нигдѣ не жертвуя своей творческой самобытностью, силою своей мысли сумѣли восторжествовать надъ специализаціей; ихъ творенія производятъ впечатлѣніе барскихъ хоромъ между каменными муравейниками обывателей средней руки.

Къ этимъ избранникамъ принадлежитъ и Лейпцигскій профессоръ Вильгельмъ Вундтъ; изъ философовъ нашего времени онъ и Гербертъ Спенсеръ — единственные, которые, задавшись идеей цѣльной, объединяющей всѣ науки философской системы, сумѣли или почти что сумѣли довести свою задачу до конца. Конечно, это „почти что“ звучитъ угрожающей ноткой, когда рѣчь идетъ о семидесятилѣтнемъ старцѣ: между тѣмъ какъ зданіе «синтетической философіи» достроено, въ системѣ Вундта не хватаетъ еще нѣсколькихъ существенныхъ частей. Все же его поразительное трудолюбіе позволяетъ намъ надѣяться, что и онъ не оставитъ своего творенія неоконченнымъ; а съ другой стороны не слѣдуетъ забывать, что уже и теперь трудъ жизни Вундта, благодаря завершенію столькихъ капитальныхъ отдѣловъ, представляетъ изъ себя довольно определенную научную величину, а съ выпускомъ въ свѣтъ перваго тома его «народной психологіи», имѣющаго содержаніемъ „языкъ“, начата постройкой и послѣдняя часть, долженствующая увѣнчать все зданіе.

Этотъ трудъ о языкѣ, появившійся всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, ¹⁾ и подалъ поводъ къ настоящей статьѣ. Но такъ какъ самый терминъ «народная психологія» представляется спорнымъ, и не сразу понятно, какое отношеніе наука о языкѣ можетъ имѣть къ философіи, то будетъ не лишне начать съ характеристики общей системы Вундта.

¹⁾ Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte von Wilhelm Wundt. Erster Band: die Sprache въ двухъ частяхъ: 627+644 стр.) Leipzig. Engelmann 1900. (2-е изд. 1904)

Я только что сопоставилъ Вундта со Спенсеромъ; это сопоставленіе оправдывается также и тѣмъ, что и Вундтъ, подобно Спенсеру, кладетъ опытъ въ основу познанія. Этимъ онъ существенно отличается отъ традиціоннаго въ его отечествѣ пути философскаго мышленія; все же было бы несправедливо видѣть въ этомъ основномъ его направленіи уступку англійской философіи: оно было естественнымъ послѣдствіемъ развитія, съ одной стороны, Вундта, какъ ученаго, а съ другой — тѣхъ наукъ, съ изученія которыхъ онъ началъ свою научную карьеру. Онъ былъ первоначально медикомъ; изъ его учителей наибольшее вліяніе оказалъ на него знаменитый берлинскій біологъ Іоганъ Мюллеръ, во всеобъемлющемъ умѣ котораго впервые блеснула мысль о распространеніи физиологическаго, экспериментальнаго метода изслѣдованія также и на психическія явленія. Конечно, это распространеніе коснулось прежде всего смежной съ физиологіей области психологіи — теоріи ощущеній. Мысль эта стала рѣшающей для всей дальнѣйшей научной дѣятельности Вундта: развивая ее послѣдовательно, онъ сталъ основателемъ *экспериментальной психологіи*. Эта область — центральная въ его умственной территоріи. Правда, онъ не ограничился изслѣдованіями психологическаго характера — всѣмъ извѣстна его обширная трехтомная «логика», небезызвѣстна и его «этика», а также и его метафизическая теорія, вошедшая въ составъ его «системы» философіи. Но для всѣхъ этихъ трудовъ психологія была точкой отправленія, она же наложила на нихъ свою печать: какъ въ логикѣ главнымъ предметомъ вниманія Вундта былъ субъективный процессъ мышленія, такъ точно и его метафизика была плодомъ его размышленій о психологической причинности въ ея соотношеніи съ физической; что же касается его этики, то изученіе *совершающаюся* въ области психики само собою наводило на размышленіе о допустимости или недопустимости, рядомъ съ нимъ, также и *долженствующаго совершаться*, вопросъ, разрѣшенный Вундтомъ въ положительную сторону.

Итакъ, психологія — центральная область въ философіи Вундта; какъ психологъ, онъ занимаетъ среднее мѣсто между матеріалистами обѣихъ крайнихъ категорій — психоматеріалистами и физіоматеріалистами, какъ мы ихъ можемъ назвать.

Первые видятъ въ психологіи науку, изучающую функціи единаго, хотя и невещественнаго субъекта, души — подобно тому, какъ фізіологія изучаетъ функціи тѣла; по мнѣнію Вундта, напротивъ, душа, какъ объектъ психологіи, сводится къ связи явленій сознанія, и параллелизмъ между психологіей и фізіологіей страдаетъ неполнотой: между тѣмъ какъ фізіологія имѣетъ дѣло и съ функціями, и съ ихъ субстратомъ (и поэтому основана на обоихъ принципахъ *субстанціальности и актуальности*) — психологія имѣетъ своимъ объектомъ однѣ только функціи, своей основой — одинъ только принципъ актуальности. — Вторые, напротивъ, отказываются признать психическую причинность рядомъ съ физической. По ихъ мнѣнію психическія явленія — не что иное, какъ отраженія явленій фізіологическихъ, неразрывно связанныя съ этими послѣдними *и поэтому* не связанныя другъ съ другомъ — иначе пришлось бы признать двойную обусловленность психическихъ явленій, что невозможно. Въ отлічіе отъ нихъ Вундтъ признаетъ самобытность психической причинности рядомъ съ фізіологической. — Нетрудно убѣдиться, что въ обоихъ случаяхъ Вундтъ имѣетъ какъ будто здравый смыслъ противъ себя; „невозможность функцій безъ субстрата“, „невозможность двойной обусловленности“ — это возраженія, сразу подсказываемыя разсудкомъ, и Вундту нерѣдко приходилось ихъ выслушивать изъ устъ своихъ противниковъ того и другого лагеря. Но онъ остался вѣренъ тому методу, который онъ первый сознательно и послѣдовательно ввелъ въ психологическую науку — методу эвпериментальному, не допуская раціонализма въ подвластной опыту области. Опытъ въ психологіи обнаруживаетъ только явленія, только функціи, а не какой бы то ни было субстратъ таковыхъ; тотъ же опытъ доказываетъ и существованіе психической причинности, какъ таковой, хотя, и въ извѣстной связи съ причинностью фізіологической. Съ этимъ приходится считаться; если же эти результаты противорѣчатъ тому, что мы называемъ здравымъ смысломъ, то примиренія слѣдуетъ искать въ той области философіи, которая одинаково властвуетъ и надъ психологіей и надъ всѣми науками внѣшняго міра — въ метафизикѣ.

Этими двумя положеніями Вундтъ проложилъ себѣ дорогу

къ *народной психологіи*, какъ къ продолженію и дополненію психологіи *индивидуальной*; можно смѣло сказать, что только съ его точки зрѣнія «народная психологія», какъ наука, оказывается возможной. Но для того, чтобы обосновать это положеніе, мы должны сначала спросить себя, чѣмъ была народная психологія во мнѣніи тѣхъ, которымъ эта область знанія обязана своимъ происхожденіемъ и развитіемъ.

Это были, какъ извѣстно — Лацарусъ и Штейнталь; въ первомъ томѣ издаваемого ими журнала «*Zeitschrift für Völkerpsychologie*» они начертали обширную программу своей новой науки. Согласно общему опредѣленію этого понятія, «народная психологія» должна относиться къ отдѣльнымъ народамъ и къ человѣчеству въ его совокупности такъ же, какъ психологія, обыкновенно такъ называемая, относится къ отдѣльному человѣку; она распадается поѣтому на двѣ отдѣльныя науки: во-первыхъ, на науку объ условіяхъ духовной жизни общества, во-вторыхъ, на науку объ особенностяхъ духовнаго характера отдѣльныхъ народовъ.—Журналъ обоихъ только что названныхъ ученыхъ быстро приобрѣлъ симпатіи ученаго міра и занялъ прочное положеніе въ наукѣ; со всѣмъ тѣмъ нельзя было не признать, что его программа грѣшила отсутствіемъ выдержанности. Въ критикахъ, поѣтому, недостатка не было. образцомъ этихъ критикъ можетъ служить хорошо извѣстное и у насъ сочиненіе мюнхенскаго германиста Пауля «*Prinzipien der Sprachwissenschaft*». Пауль указываетъ прежде всего на принципиальную разнородность обѣихъ наукъ, которыя Лацарусъ и Штейнталь соединяють подъ общимъ именемъ народной психологіи; дѣйствительно, если дѣлить науки на науки о законахъ («*номологическія*») и науки о явленіяхъ («*феноменологическія*») то окажется, что изъ обѣихъ частей народной психологіи первая относится къ первому, а вторая ко второму разряду. Это бы еще не бѣда; хуже то, что ни та, ни другая не можетъ быть поставлена въ разумное отношеніе къ индивидуальной психологіи. О второй это доказать не трудно: „характеристика отдѣльныхъ народовъ,—говоритъ Пауль,—можетъ соответствовать только характеристикѣ отдѣльныхъ индивидуумовъ, а эту послѣднюю не принято называть психологіей“. Это — безусловно справедливо: съ этимъ согласенъ и Вундтъ. „Спеці-

альная психологія народовъ въ *этомъ* смыслѣ,—говоритъ онъ въ своемъ новомъ сочиненіи (I, 3),—пытается создать для этнологическихъ типовъ то же, что общая характерологія (лучше *этологія*) для индивидуальныхъ разновидностей духовной природы человѣка—и замѣчаетъ вполне основательно, что эту науку слѣдуетъ вернуть этнологіи, къ которой она относится, какъ часть къ цѣлому. Итакъ, остается только первая часть опредѣленія Лапаруса и Штейнтала—«наука объ условіяхъ (лучше: законахъ) духовной жизни общества»; но и ея критика не пощадила. Основатели народной психологіи по долгу распространялись о „духѣ совокупности (въ абсолютномъ смыслѣ), отличномъ отъ духа всѣхъ составляющихъ эту совокупность индивидуевъ“, о „духѣ народа, какъ источникѣ всѣхъ явленій, которыя входятъ въ народную психологію“ и т. д. Противъ этого возражали и понынѣ возражаютъ очень многіе; „это значитъ,—говоритъ Пауль,—затемнять настоящую суть явленій олицетвореніемъ цѣлаго ряда абстракцій. Всѣ психологическія явленія совершаются исключительно въ душѣ индивидуевъ; ни народный духъ, ни его элементы не имѣютъ конкретнаго бытія. Устранимъ, поэтому, всѣ эти абстракціи!“ Съ ихъ устраненіемъ устраняется, по мнѣнію Пауля и многихъ другихъ, и самое понятіе «народная психологія»; но съ этимъ послѣднимъ результатомъ Вундтъ не согласенъ—и читатель тотчасъ увидитъ, что именно та точка зрѣнія, на которой онъ стоитъ въ индивидуальной психологіи, позволяетъ ему отстаивать и понятіе народной психологіи, какъ таковой.

Противники народной психологіи оспариваютъ ея родство съ индивидуальной психологіей на томъ основаніи, что «народная душа», функціями которой могли бы быть народно-психологическія явленія, не существуетъ, что она не болѣе какъ абстракція, ипостась, миѳъ. Это возраженіе допустимо только со стороны психоматеріалистовъ, признающихъ, какъ мы видѣли, особый субстрактъ душевныхъ явленій въ индивидуальной психологіи; но именно противъ этой точки зрѣнія и возстаетъ Вундтъ. „Очевидно, говоритъ онъ (I, 8), что авторы приведенныхъ возраженій сами не свободны отъ той миеологической формы мышленія, которая, какъ они воображаютъ, скрывается за словомъ «народная душа». Понятіе

«душа» и у нихъ такъ неразрывно связано съ представленіемъ о матеріальномъ, надѣленномъ особымъ тѣломъ существѣ, что они считаютъ непозволительнымъ его употребленіе въ такомъ значеніи, которое исключаетъ эту связь; между тѣмъ для эмпирической психологіи душа никогда не можетъ быть чѣмъ-либо инымъ, кромѣ непосредственно данной связи психическихъ явленій "... Само собою разумѣется, что и народная психологія можетъ пользоваться понятіемъ «душа» только въ этомъ эмпирическомъ значеніи, и ясно, что въ этомъ смыслѣ понятіе «народная душа» имѣетъ такое же реальное значеніе какого для себя требуетъ «индивидуальная душа». Такимъ образомъ, опредѣленнымъ въ спорѣ съ психоматериалистами понятіемъ «душа» спасено существованіе народной психологіи; точно также самобытность психологической причинности, оспариваемая фізіоматериалистами, гарантируетъ ей независимость ея научныхъ методовъ—и дѣйствительно Вундту не разъ приходилось въ своей народной психологіи и доказывать эту самобытность, и ссылаться на нее (особенно блестяще по вопросу о происхожденіи словъ I 491 сл., см. ниже, гл. 7).

Итакъ, народная психологія доказала свое право на существованіе, какъ наука; теперь требуется намѣтить вопросы, которые входятъ въ ея область, и заодно опредѣлить ея отношеніе къ индивидуальной психологіи. Обѣ эти задачи находятся въ связи одна съ другой. Въ качествѣ *народной* психологіи наша наука должна обнимать тѣ психологическія явленія, которыя представляются результатами совмѣстнаго существованія и взаимодѣйствія людей; но въ то же время она не можетъ захватывать тѣхъ областей, въ которыхъ сказывается преобладающее вліяніе личностей. Вотъ почему литература, искусство и т. д. остаются за рубежомъ народной психологіи, продолжая, однако, оставаться «областями примѣненія» (Anwendungsgebiete) психологіи вообще. За вычетомъ этихъ областей мы получаемъ слѣдующіе три естественныхъ и неотъемлемыхъ объекта народной психологіи: *языкъ*, *миръ* (съ началами религіи) и *нравы*. Эта тройственность не случайна: Вундтъ усматриваетъ органическую связь между намѣченными имъ областями народной психологіи и тремя категоріями, на которыя онъ, подобно Канту, раздѣляетъ явленія индивидуальной психологіи; эти три

категоріи—*ощущенія* (какъ первичные элементы представленій), *чувства* (какъ первичные элементы аффектовъ) и *волевые акты*. Есть несомнѣнная связь между представленіями и языкомъ—ихъ лучшимъ выраженіемъ; между аффектами и первобытной религіей, внушенной удивленіемъ, страхомъ, любовью; между волей и нравами, этимъ продуктомъ коллективной воли народа. Все же эта связь не столь исключительна, чтобы давать намъ право выводить напр. языкъ только изъ ощущеній и представленій—самъ Вундтъ въ объясненіи явленій языка въ достаточной мѣрѣ прибѣгаетъ къ содѣйствію и чувствъ, и воли, и нѣтъ сомнѣнія, что и при толкованіи міѳологіи и нравовъ, которое будетъ содержаніемъ дальнѣйшихъ томовъ капитальнаго труда, будетъ избѣгнута всякая доктринерская односторонность. Но объ этомъ говорить преждевременно; пока предъ нами только два объемистыхъ тома, посвященные психологіи языка. На нихъ мы и постараемся сосредоточиться.

II.

Вопросъ о языкѣ.—Философія языка и грамматика.—Вильгельмъ Гумбольдтъ и эволюціонный принципъ.—Біологическая теорія.—Ея критика.—Психологическая теорія.—Лингвисты-психологи и психологи-лингвисты.—Вундтъ, какъ психологъ-лингвистъ.—Возможность дальнѣйшаго прогресса.—Народно-психологическая точка зрѣнія въ противоположность къ индивидуально-психологической.

Вопросъ о языкѣ принадлежитъ къ самымъ стариннымъ проблемамъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ трудится человѣческій умъ. Родоначальники нашей науки, философы и ученые древней Греціи, отвели ему одно изъ первыхъ мѣстъ среди предметовъ общечеловѣческаго интереса; при этомъ они,—въ силу своей замѣчательной способности строить свои научные мосты сразу съ обоихъ концовъ, метафизическаго и эмпирическаго,—занились и гипотезами о происхожденіи языка какъ таковаго, и сортировкой словъ и оборотовъ въ своемъ родномъ греческомъ языкѣ. Усилія перваго разряда дали въ результатъ величавую, хотя и туманную «философію языка», усилія второго—смирненную и сухую, но зато вполне конкретную греческую грамматику, передавшую современемъ свой схематизмъ

латинской, а черезъ нее—и грамматикамъ новыхъ языковъ. При этомъ заслуживаетъ особаго вниманія устоячивость, обнаруженная обѣими частями лингвистической науки въ теченіе тысячелѣтій: какъ грамматическія категоріи Діонисія Θракійца — тѣ же, которымъ учатъ въ школѣ и нашихъ дѣтей, точно такъ же и древнегреческая постановка вопроса о происхожденіи языка—естественномъ или условномъ, *physei* или *thesei*—оставалась неизмѣнной вплоть до истекшаго XIX вѣка. Итакъ, съ одной стороны спекуляціи о возникновеніи языка, таившемся во мракѣ тысячелѣтій; съ другой,—каталогизація явленій развитыхъ языковъ—вотъ въ чемъ состояла наука о языкѣ въ ея высшей и низшей формѣ.

Впервые Вильгельмъ Гумбольдтъ понялъ, что между началомъ и концомъ стоитъ середина, и что въ этой серединѣ заключается, пожалуй, самая интересная проблема лингвистической науки; имъ впервые *эволюціонный принципъ* былъ примѣненъ къ объясненію явленій въ области языка, задолго до его перенесенія въ область біологическихъ наукъ. Начавшееся вскорѣ послѣ того быстрое развитіе сравнительнаго языковѣдѣнія дало этому принципу новую богатую пищу; а когда къ началу шестидесятыхъ годовъ эволюціонизмъ завоевалъ всю область естественной исторіи, то біологическая теорія развитія языка, въ лицѣ своего главнаго представителя Шлейхера, заняла прочное и, казалось, непоколебимое положеніе въ наукѣ. Согласно этой теоріи и языкъ какъ цѣлое и каждое его слово разсматривались какъ реально существующіе, самобытно развивающіеся организмы, законы развитія которыхъ надлежало опредѣлить; опредѣлялись же они на основаніи матеріала, доставляемаго самой лингвистикой, которая была, такимъ образомъ, самодовлѣющей наукой. Мы всѣ, люди нынѣшней эпохи, поднимающагося поколѣнія, выросли подъ болѣе или менѣе сознаваемымъ вліяніемъ этой теоріи; вслѣдствіе этой субъективной причины, но еще болѣе вслѣдствіе своей связи съ господствующимъ въ біологическихъ наукахъ теченіемъ, она кажется намъ вполне естественной, и многіе даже не подозреваютъ, чтобы противъ нея возможны были возраженія.

А между тѣмъ эти возраженія не только возможны—они таковы, что, разъ услышавъ о нихъ, человѣкъ удивляется, какъ

это они ему самому не пришли въ голову. Возможно ли, въ самомъ дѣлѣ, сравнивать языкъ или слово съ организмъ? Вѣдь организмъ—реально и независимо отъ насъ существующій предметъ, между тѣмъ какъ слово—порожденіе секунды, прекращающее свое существованіе, какъ только улеглись звуковыя волны, въ движеніи которыхъ состояла вся его жизнь. То, что біологическая теорія называла жизнью слова, есть собственно постоянное и многократное его *воспроизведеніе* говорящими; законы той жизни сводятся, поэтому, къ законамъ этого воспроизведенія; это законы отчасти фізіологическіе, отчасти психологическіе. Эта точка зрѣнія возобладала къ концу семидесятыхъ годовъ; она господствуетъ и понынѣ въ т. наз. неограмматической школы. А такъ какъ изъ обѣихъ категорій законовъ рѣчи, фізіологической и психологической, вторая естественно получила перевѣсъ надъ первой—фізіологическія условія произношенія словъ уже вслѣдствіе своего относительнаго постоянства не могли содѣйствовать объясненію *развитія* языка—то новая теорія лингвистики, въ противоположность къ старой, біологической, носить названіе *теоріи психологической*. Подъ ея господствомъ лингвистика перестала быть самодовлѣющей наукой; ея представители—Бругманъ, Остгесъ, Пауль и др.—сплошь и рядомъ обращаются къ содѣйствію психологіи для объясненія явленій языка; чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе лингвистика превращается въ удѣлъ психологіи. И это произошло—на что слѣдуетъ обратить вниманіе—безъ всякихъ маломальски активныхъ завоевательныхъ попытокъ со стороны психологіи; сама лингвистическая наука въ силу внутреннихъ условій своего развитія обращалась къ психологіи съ предложеніемъ владѣть ею. До сихъ поръ психологія туго отделикалась на ея предложенія; сами лингвисты должны были, чтобы оставаться хозяевами своей науки, запасаться необходимыми психологическими свѣдѣніями, что было въ сущности, въ виду разрозненности и неустойчивости возникающихъ психологическихъ теорій, и нелегкимъ и рискованнымъ дѣломъ.

При такихъ условіяхъ значеніе новаго труда Вундта станетъ еще очевиднѣе: въ его лицѣ впервые психологія и притомъ психологія экспериментальная, т. е. самая прочная и богатая надеждами психологическая система, пошла навстрѣчу

лингвистикѣ. Важна тутъ однако не столько сама мысль, какъ она ни существенна, сколько способъ ея исполненія. Кто знаетъ Вундта, тотъ заранѣе будетъ увѣренъ, что каждая строка его труда окажется написанной въ сознаніи той огромной отвѣтственности, которая въ глазахъ добросовѣстныхъ людей является неотъемлемой спутницей огромнаго авторитета. Позволимъ себѣ въ третій разъ сопоставить Вундта со Спенсеромъ. Я ничуть не намѣренъ умалять ни капитальныхъ заслугъ, ни исполинскаго трудолюбія этого послѣдняго; но лингвисты знаютъ, какъ легкомысленно онъ воспользовался явленіями языка, чтобы въ нихъ прослѣдить свои принципы дифференціаціи и интеграціи. Ничего подобнаго нельзя сказать про Вундта. Его разсужденія покоятся на самомъ широкомъ и прочномъ лингвистическомъ базисѣ; можно съ увѣренностью сказать, что многіе, называющіе себя лингвистами, не обладаютъ и десятой долей тѣхъ знаній, которыя сосредоточены въ его трудѣ о языкѣ. А каковъ этотъ базисъ—это станетъ ясно, если вспомнить, что Вундтъ въ силу самаго характера своей задачи не могъ ограничиться одной какой-нибудь группой языковъ; его матеріалы заимствованы не только изъ индоевропейскихъ и семитскихъ языковъ, не только изъ языковъ ближняго и дальняго Востока—имъ привлечены всѣ говоры африканскихъ, американскихъ и полинезійскихъ дикарей, поскольку они могли иллюстрировать ту или другую психологически важную сторону образованія или измѣненія словъ. И притомъ эти матеріалы заимствованы не только изъ болѣе или менѣе удобныхъ сводовъ, вродѣ извѣстныхъ руководствъ Бругмана или Фридриха Мюллера—авторомъ изученъ цѣлый длинный рядъ монографій по тѣмъ или другимъ языкамъ, сами имена которыхъ не каждому лингвисту извѣстны; мало того, въ особенно интересныхъ случаяхъ онъ обращался съ запросами къ миссіонерамъ, прося ихъ изслѣдовать на мѣстѣ какое-нибудь явленіе въ языкѣ ихъ чернокожей паствы. Я не распространяюсь здѣсь о логической выдержанности труда, о замѣчательной силѣ мысли, господствующей надъ огромнымъ матеріаломъ и облегчающей этимъ чтеніе объемистой (и, скажемъ между скобоекъ, довольно-таки сухо написанной) книги: эти качества и такъ уже извѣстны всѣмъ, кто только имѣетъ понятіе о томъ, что такое Вундтъ. Въ ре-

зультатѣ получилось сочиненіе, при изученіи котораго читатель проникается и уваженіемъ, и прямо благоговѣніемъ къ автору: здѣсь, чувствуется ему, достигнуть предѣлъ человѣческой энергіи въ области научнаго труда.

При такихъ условіяхъ и задача критика мѣняется; не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы подмѣчать какія-нибудь частичныя погрѣшности новой книги. Конечно, безъ такихъ дѣло обойтись не могло: Бругманъ, которому авторъ далъ прочесть свой трудъ въ листахъ, указалъ ему рядъ мелкихъ погрѣшностей, что и было имъ принято къ свѣдѣнію; кое-что и я подмѣтилъ по своей наукѣ, да и любой специалистъ можетъ въ томъ или другомъ усумниться; но только говорить объ этомъ не приходится, если не желаешь подражать сапожнику предъ картиной Апелла. Точно такъ же было бы безцѣльно пускаться въ критическую оцѣнку психологической системы Вундта; само собою разумѣется, что эта система та же, что и въ «основаніяхъ физиологической психологіи», и въ «руководствѣ психологіи», такъ что критика, умѣстная быть можетъ въ эпоху появленія этихъ двухъ трудовъ, оказалась бы запоздалой теперь. Нѣтъ, критикъ такихъ первостатейныхъ сочиненій, какъ это, долженъ уподобиться человѣку, котораго искусный и опытный пловецъ повезъ черезъ невѣдомое море въ архипелагъ нетронутыхъ человѣческой стопой острововъ: онъ опишетъ увидѣнное имъ на пути, но опишетъ также и открывшійся ему съ послѣдняго, предѣльнаго пункта горизонтъ. Такъ и я намѣренъ поступить въ настоящей статьѣ. Съ послѣдняго достигнутаго Вундтомъ пункта мнѣ открылся новый горизонтъ пониманія лингвистическихъ явленій. Быть можетъ, другіе объявятъ его воздушнымъ маревомъ; разсудить насъ будущее, пока же я опишу то, что видѣлъ.

Думаю даже, въ видахъ ясности, именно съ этого описанія и начать. Дѣло въ томъ, что Вундтъ, строго отличающій народную психологію отъ индивидуальной и относящій явленія языка къ первой изъ нихъ, на самомъ дѣлѣ въ ихъ объясненіи нигдѣ дальше индивидуальной психологіи не пошелъ. Съ точки зрѣнія психолога-эксперименталиста такое отношеніе къ дѣлу вполне понятно: только въ области индивидуальной психологіи возможенъ экспериментъ, народная психологія его не

допускаетъ. Въ результатъ выходитъ, что объясненія *намичности* явленій языка у Вундта сводятся къ объясненію ихъ *возникновенія*: возникновеніе, дѣйствительно, подвержено законамъ одной только индивидуальной психологіи. На самомъ же дѣлѣ одного только возникновенія лингвистическихъ фактовъ недостаточно для образованія языка; подъ языкомъ мы разумѣемъ совокупность лингвистическихъ явленій не только возникшихъ гдѣ-либо внутри опредѣленной среды, но и *удержавшихся* внутри ея. А между тѣмъ условія утвержденія какого-нибудь явленія въ области языка не совпадаютъ съ условіями его возникновенія: принципъ цѣлесообразности, недопустимый во второмъ случаѣ (какъ это много разъ въ полемикѣ съ цѣлымъ рядомъ крупныхъ лингвистовъ доказываетъ Вундтъ), вполне допустимъ въ первомъ. Теперь вспомнимъ, что утвержденіе лингвистическаго явленія, какъ результатъ коллективной воли совокупности, составляетъ непосредственный предметъ народной психологіи — и мы въ правѣ будемъ сказать, что принципъ цѣлесообразности имѣетъ свое законное мѣсто въ лингвистикѣ, какъ отдѣлъ именно народной психологіи. Возраженіе, что со введеніемъ этого принципа воскрешается устарѣвшее телеологическое толкованіе языка неосновательно: то толкованіе было ошибочно тѣмъ, что вводило принципъ цѣлесообразности въ самый актъ возникновенія, чѣмъ и впадало въ противорѣчіе съ законами индивидуальной психологіи. — Ограничиваюсь пока общей формулировкой, открывающей, думается мнѣ, возможность прогресса психологіи языка въ томъ самомъ направленіи, по которому ее повелъ Вундтъ; для болѣе основательнаго ея поясненія необходимъ фактическій матеріалъ, который мы и получимъ, слѣдуя за нашимъ авторомъ по нелегкому пути его изысканій.

III.

Содержаніе труда Вундта о языкѣ.—Выразительныя движенія.—Анализъ полного комплекса выразительныхъ движеній: движенія внутреннія, мимическія и пантомимическія.—Анализъ аффекта: чувства и представленія—Классификація чувствъ.—Чувства количественныя и качественныя.—Параллелизмъ составныхъ частей аффектовъ и выразительныхъ движеній.—Вопросъ о возникновеніи выразительныхъ движеній.—Физиологическая теорія Спенсера и Дарвина.—Психофизическая теорія Вундта.—Сопутствующія движенія.—Ощущеніе выразительнаго движенія и его роль въ усиленіи и замѣнѣ первичнаго аффекта.

Вотъ, прежде всего, перечень девяти главъ, на которыя распадается трудъ Вундта: 1. Выразительныя движенія; 2. Языкѣ жестовъ; 3. Выразительныя звуки; 4. Измѣненіе звуковъ; 5. Образованіе словъ; 6. Форма словъ; 7. Соединеніе словъ; 8. Измѣненіе значенія; 9. Происхожденіе языка. Въ послѣдней изъ нихъ читатель безъ труда узнаетъ прежнюю «философію языка». Въ четвертой по восьмой нашли себѣ обработку вопросы современной науки о языкѣ, выросшей изъ древней грамматики; авторъ, повидимому, сознательно избѣгалъ извѣстныхъ изъ грамматическихъ руководствъ и поэтому нѣсколько истрепавшихся терминовъ, иначе онъ смѣло могъ бы своей четвертой главѣ дать названіе «фонетики», шестой—«морфологии», седьмой—«синтаксиса» и восьмой «семантики» (или семасіологии). Что же касается первыхъ трехъ, то ихъ прибавилъ психологъ-лингвистъ; въ нихъ доказана и развита главная идея Вундта, та идея, которая и во всемъ дальнѣйшемъ трудѣ сдѣлала возможнымъ новое освѣщеніе послѣдовательно нарождающихся вопросовъ. Охотно вѣримъ, что другія главы стоили автору болѣе усиленнаго труда; но первыя три—самыя оригинальныя; онѣ заслуживаютъ особаго вниманія съ нашей стороны.

Терминъ «выразительныя движенія», не совсѣмъ изящно передающій нѣмецкое *Ausdrucksbewegungen*, долженъ быть понимаемъ въ самомъ широкомъ значеніи; подъ нимъ мы разумѣемъ всѣ измѣненія нормальнаго состоянія тѣла, въ которыхъ себѣ находятъ «выраженіе» какой-нибудь аффектъ. Представимъ себѣ человѣка, одержимаго аффектомъ—гнѣвомъ, напримѣръ: его пульсъ бьется, онъ дышитъ порывисто, его глаза широко

раскрыты, мускулы губъ судорожно сжимаются, руки угрожающе подняты, точно онъ хочетъ поразить вызвавшего его гнѣвъ противника, и т. д. — всѣ эти явленія мы будемъ называть «выразительными движеніями» въ принятомъ нами смыслѣ. Присматриваясь ближе къ этому довольно сложному комплексу, мы различимъ въ немъ три отдѣльныхъ группы. Во-первыхъ, движенія *внутреннія*, т.-е. измѣненія въ органахъ дыханія и кровообращенія; во-вторыхъ, движенія *мимическія*, производимыя мускулами лица; наконецъ, движенія *пантомимическія*, органами которыхъ служатъ главнымъ образомъ руки, но въ извѣстной степени также и ноги и прочее тѣло. Конечно, внутреннія движенія тоже отражаются на лицѣ человѣка: вслѣдствіе прилива крови къ головѣ лицо краснѣетъ, глаза наливаются кровью, на лбу выступаетъ «жила гнѣва»; тѣмъ не менѣе эти движенія строго отличаются отъ мимическихъ, въ которыхъ участвуютъ только мускулы лица, отличаются между прочимъ и гораздо меньшей своей произвольностью.

И весь этотъ сложный комплексъ движеній вызванъ однимъ только аффектомъ—въ данномъ случаѣ, гнѣвомъ. Понять это нетрудно—дѣло въ томъ, что и аффекты представляютъ изъ себя довольно сложное психологическое цѣлое. Анализъ аффекта даетъ, прежде всего, двѣ разрозненныя группы элементовъ—группу *чувствъ* и группу *представленій*. Займемся сначала первыми.

Читателю уже извѣстно, что психологія отличаетъ чувства отъ ощущеній. Капля сиропу, попадая на вашъ языкъ, вызываетъ прежде всего ощущеніе—ощущеніе сладости; это ощущеніе сопровождается чувствомъ—чувствомъ удовольствія. Ощущеніе какъ таковое безразлично; его цѣнность зависитъ отъ сопровождающаго его чувства, которое можетъ измѣняться независимо отъ измѣненія ощущенія. Пусть за первой каплей сиропа послѣдуетъ вторая, третья, десятая и т. д.—сладость останется сладостью, но удовольствіе современемъ перейдетъ въ неудовольствіе. Удовольствіе и неудовольствіе образуютъ оба полюса въ извѣстномъ измѣреніи чувствъ. Вундтъ признаетъ еще двѣ группы: группу возбуждающихъ и удручающихъ чувствъ съ одной стороны, напрягающихъ и разрѣшающихъ съ другой; вмѣстѣ взятыя эти три группы образуютъ три измѣренія въ области чувствъ.

Все же эти три измѣренія неравностепенны. Двѣ изъ названныхъ группъ опредѣляютъ *качество* испытываемаго сложнаго чувства: это послѣднее будетъ пріятнымъ или непріятнымъ чувствомъ напряженія, пріятнымъ или непріятнымъ чувствомъ разрѣшенія—сравните радостное ожиданіе, счастье, страхъ, горе. Напротивъ, возбужденіе или удрученіе опредѣляетъ собою не качество, а *силу* или степень чувства. Мать встрѣчаетъ любимаго сына—чѣмъ долѣе она его ждала, чѣмъ болѣе она его любитъ, тѣмъ сильнѣе будетъ ея радость; при ожиданіи и встрѣчѣ, она будетъ, съ большимъ или меньшимъ возбужденіемъ, испытывать чувство пріятнаго напряженія и разрѣшенія. Но пусть это будетъ сынъ, котораго она считала умершимъ, пусть онъ предстанетъ передъ нею внезапно—она упадетъ въ обморокъ, она, быть можетъ, тутъ же испуститъ духъ. „Радость ее убила“,—скажутъ люди, „возбуждающій аффектъ, достигши своего крайняго предѣла, перешелъ въ удручающій“, скажетъ психологъ. И такъ со всѣми аффектами; всегда возбужденность, по достиженіи извѣстной степени роста, переходитъ въ удрученность, могущую, въ извѣстныхъ случаяхъ, повести къ полному прекращенію жизни. Одного убиваетъ радость, другого—страхъ, третьяго—отчаяніе.

Итакъ, въ чувственной сторонѣ аффекта мы различаемъ количественныя и качественныя чувства; но, кромѣ чувствъ, аффектъ всегда сопровождается и извѣстными *представленіями*. Эти представленія—продолжающіяся или воспроизводимыя ощущенія факта, вызвавшаго аффектъ, будь это человѣкъ, или вещь, или событіе, а равно и факта, могущаго быть его послѣдствіемъ; его сознаніемъ поддерживается самый аффектъ, съ его исчезновеніемъ и самый аффектъ долженъ улетѣть, какъ волненіе моря послѣ прекращенія вѣтра.

Теперь, если мы эти три части аффекта—количественныя чувства, качественныя чувства и представленія—сравнимъ съ тремя категоріями движеній, въ которыхъ выражается аффектъ, то мы найдемъ, что эти двѣ тріады вполне соотвѣтствуютъ одна другой: количественныя чувства находятъ себѣ выраженіе во внутреннихъ движеніяхъ, качественныя—въ мимическихъ, наконецъ, представленія—въ пантомимическихъ. При каждомъ аффектѣ возбужденіе выражается выступленіемъ краски на

лицѣ, учащеннымъ біеніемъ пульса, усиленнымъ дыханіемъ, удрученіе — блѣдностью, замедленіемъ или пріостановленіемъ пульса и дыханія. По однимъ этимъ симптомамъ нельзя узнать, какимъ именно аффектомъ одержимъ человѣкъ; для этого слѣдуетъ взглянуть на его лицо, которое съ этой точки зрѣнія правильно названо зеркаломъ души. Тутъ каждому аффекту соотвѣтствуетъ особое движеніе мускуловъ, особое «выраженіе» лица, по которому мы безошибочно узнаемъ, веселъ ли человѣкъ, или счастливъ, или озабоченъ, или разгнѣванъ, или огорченъ. Съ нѣскольکو меньшей опредѣленностью и преслѣдующее человѣка въ минуту аффекта представленіе найдетъ выраженіе въ движеніи тѣла, особенно рукъ: если мать при мысли о радостномъ свиданіи съ сыномъ радостно простираетъ руки, точно готовясь прижать его къ сердцу, если разгнѣванный человѣкъ поднимаетъ кулакъ, точно собираясь поразить кого-то, если мучимая совѣстью леди Макбетъ инстинктивно и механически умываетъ свои руки — то мы по этимъ движеніямъ догадываемся о представленіяхъ, которыми сопровождаются эти аффекты. Конечно, эти движенія мало опредѣленны; но не забудемъ, что ихъ авторы вовсе не имѣютъ намѣренія *сообщить* намъ свои представленія. Пусть у нихъ явится это намѣреніе — и, слѣдуя по намѣченному природой пути, они достигнутъ гораздо большей опредѣленности. Такимъ образомъ изъ произвольныхъ «выразительныхъ движеній» развился произвольный и сознательный «языкъ жестовъ»; но прежде чѣмъ прослѣдить это развитіе мы должны разъяснить нѣкоторые вопросы, относящіеся къ выразительнымъ движеніямъ, какъ къ таковымъ.

Мы до сихъ поръ обозрѣвали одни факты, не входя въ обсужденіе причинъ; но наука не только описываетъ и классифицируетъ, она и объясняетъ. Откуда взялись выразительныя движенія? И почему именно внутреннія соотвѣтствуютъ количественнымъ чувствамъ, именно мимическія — качественнымъ именно пантомимическія — представленіямъ?

Первый вопросъ заводитъ насъ въ самую спорную область психологіи — въ ту, гдѣ антагонизмъ между фізіоматеріалистами и психоматеріалистами особенно силенъ. Что касается первыхъ, то по Г. Спенсеру вся психологическая жизнь сосредоточена

въ нервной системѣ; аффектъ—это токъ, исходящій отъ центра и распространяемый въ видѣ «разсѣяннаго возбужденія» по тѣлу; понятно, что именно самые тонкіе мускулы,—а таковы мускулы лица—прежде всего охватываются этимъ токомъ, чѣмъ и объясняется преобладающая роль мимическихъ движеній. Съ другой стороны среди множества случайныхъ движеній, вызванныхъ аффектомъ, должны были оказаться и такія, которыя доставляли аффекту удовлетвореніе (напр. среди движеній гнѣвнаго возбужденія—движенія, разрушающія предметъ гнѣва); эти «полезныя движенія» стали поэтому, чѣмъ далѣе тѣмъ болѣе, ассоціироваться съ самими аффектами. Продолжая разсужденіе Спенсера, Дарвинъ, путемъ его комбинаціи со своимъ принципомъ естественнаго подбора, выработалъ, для объясненія выразительныхъ движеній теорію «цѣлесообразно ассоціированныхъ привычекъ». — Что касается Вундта, то онъ, признавая огромную заслугу особенно Дарвина въ области наблюденія фактовъ и полемизируя противъ нѣкоторыхъ увлеченій особенно Спенсера (по части «легкихъ мускуловъ»), указываетъ однако на то, что въ сущности ни тотъ, ни другой не обходятся безъ психологіи. Итакъ, принципъ выразительныхъ движеній—принципъ не чисто-фізіологическій (и подавно, разумѣется, не чисто-психологическій) а психофізическій; въ началѣ развитія стоитъ не механическое (автоматическое), но и не произвольное движеніе, а посредствующее между обоими движеніе инстинктивное (*Triebbewegung*), давшее современемъ и произвольное (путемъ развитія сознательности), и автоматическое (путемъ механизации, т.-е. выключенія такъ называемыхъ высшихъ нервныхъ центровъ).

Удовлетворено ли наше любопытство этимъ объясненіемъ? Я думаю, врядъ ли многимъ понравится эта психофізическая монада, сидящая на начальной ступени эволюціонной лѣстницы; большинство признаетъ полнымъ только такое объясненіе, которое сумѣетъ вывести психическія явленія цѣликомъ изъ физическихъ путемъ какого-нибудь «хемотропизма» въ духѣ Геккеля и его единомышленниковъ. Вундтъ, однако, ни на шагъ не идетъ навстрѣчу этому стремленію; какъ строгій и добросовѣстный мыслитель, онъ ясно сознаетъ, что всякое объясненіе, выводящее психическій міръ изъ физическаго, въ

скрытомъ видѣ допускаетъ чудо въ числѣ звеньевъ эволюціоннаго процесса, болѣе или менѣе удачно маскируя его. „Объяснить, какъ возникли первоначальныя инстинкты, другими словами, какъ произошли ощущенія и чувства одушевленныхъ существъ—это, какъ и вообще выясненіе первоначальныхъ элементовъ опыта, выходитъ за предѣлы нашего изслѣдованія. Основные психическіе факты мы должны предполагать данными точно такъ же, какъ и существованіе первичныхъ элементовъ матеріальнаго міра, обнаруживаемые анализомъ элементовъ природы“ (I, 36).

Съ этимъ признаніемъ отпадаетъ надобность объясненія такихъ элементарныхъ выразительныхъ движеній, какъ «внутреннія», служація мѣриломъ только интенсивности аффекта безъ всякой качественной дифференціаціи; другое дѣло—движенія мимическія и пантомимическія. Но для полнаго ихъ пониманія требуется выясненіе одного различія внутри одной изъ трехъ категорій движеній вообще—а именно движеній автоматическихъ. Эта категорія распадается на два подгруппы: движенія рефлекторныя и движенія *сопутствующія*. Первые вызываются непосредственнымъ раздраженіемъ сенсорныхъ нервовъ; вторыя, напротивъ, въ силу т. наз. координаціи движеній—автоматически сопровождаютъ какое-нибудь другое движеніе, которое въ свою очередь можетъ принадлежать къ любой изъ трехъ категорій. Теорія сопутствующихъ движеній (*Mitbewegungen*) играетъ большую роль въ излагаемой нами психологіи языка, и намъ еще придется къ ней вернуться; здѣсь ея важность заключается въ томъ, что она даетъ намъ возможность разложить весь комплексъ выразительныхъ движеній, соответствующихъ какому-нибудь чувству или представленію, на движеніе центральное, непосредственно его выражающее, и цѣлый рядъ движеній сопутствующихъ, вызванныхъ центральнымъ. Представимъ себѣ выраженіе лица человека, отвѣдавашаго какой-нибудь вкусной пищи: въ его центрѣ мы найдемъ движеніе мускуловъ, имѣющее цѣлью подолѣе удержать и пошире распространить пріятное раздраженіе вкусовыхъ нервовъ, а кругомъ—цѣлый рядъ сопутствующихъ движеній мускуловъ лица, вслѣдствіе котораго все лицо получаетъ выраженіе, которое мы въ силу ассоціаціи называемъ

выраженіемъ удовольствія. Представимъ себѣ, наоборотъ, раздраженіе непріятное — движенія непосредственно заинтересованныхъ мускуловъ будутъ имѣть цѣлью его ограниченіе и скорѣйшее прекращеніе, а сопровождающія ихъ движенія прочихъ мускуловъ придадутъ лицу выраженіе болѣе или менѣе сильнаго отвращенія. И въ этомъ заключается причина, почему именно мимическія движенія являются выраженіями качественныхъ чувствъ: мускулы — органы этихъ движеній — находятся въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ органами вкуса и обонянія, зрѣнія и слуха, отъ нихъ зависитъ усилить или ослабить раздраженіе. — Такой же анализъ можетъ быть произведенъ, разумѣется, и въ области пантомимическихъ движеній, органы которыхъ, какъ наиболѣе близкіе къ внѣшнему міру, были наиболѣе приспособлены къ тому, чтобы служить выразителями представленій — какъ мы это увидимъ тотчасъ.

Еще одинъ пунктъ требуетъ разъясненія, какъ одинъ изъ элементовъ дальнѣйшихъ построеній. Выразительныя движенія не только выражаютъ аффектъ — они также усиливаютъ его и могутъ даже въ извѣстныхъ случаяхъ его породить. Дѣло въ томъ, что всякое движеніе соединено съ ощущеніемъ; если какое-нибудь движеніе служитъ обыкновенно выраженіемъ опредѣленнаго чувства, то, въ силу ассоціаціи, это чувство вызывается также и ощущеніемъ самаго движенія. Мы можемъ, такимъ образомъ, различать первичныя и производныя чувства: первичное чувство вызываетъ движеніе, ощущеніе котораго въ свою очередь вызываетъ производное чувство, однородное съ первичнымъ и поэтому усиливающее его. Но можетъ выйти и такъ: человѣкъ безъ первичнаго чувства произвольно продѣлываетъ движеніе, служащее обыкновенно его выраженіемъ; ощущеніе этого движенія рождаетъ, въ силу ассоціаціи, производное чувство, которое отнынѣ занимаетъ мѣсто отсутствующаго первичнаго чувства. Напомню читателю извѣстную сцену — расправу съ Верещагинымъ («Война и миръ» III, 25). „Руби, — прошепталъ офицеръ драгунамъ, и одинъ изъ солдатъ вдругъ съ *искаженнымъ отъ злобы лицомъ* ударилъ Верещагина тупымъ палашикомъ по головѣ“. Чѣмъ была вызвана эта злоба? Верещагину ничего солдату не сдѣлалъ. Нѣтъ; но солдатъ по чужому

приказанію произвелъ движеніе, служащее обыкновенно выраженіемъ злобы, и это движеніе породило въ немъ, въ видѣ производнаго аффекта, ту злобу, которая исказила его лицо.

Таковы психофизическія основанія теоріи выразительныхъ движеній.

IV.

Языкъ жестовъ.—Его происхождение изъ выразительныхъ движеній.—Классификація жестовъ.—Грамматическія категоріи въ языкѣ жестовъ.—Вспомогательные жесты.—Синтаксисъ жестовъ.—Психологическая теорія Вундта.—Ея критика.—Двойной источникъ языка жестовъ.

Къ выразительнымъ движеніямъ непосредственно примыкаетъ *языкъ жестовъ*. Принципіальная разница между той и другой категоріей заключается въ томъ, что языкъ жестовъ имѣетъ своею цѣлью *сообщеніе* какого-нибудь факта другому человѣку, между тѣмъ какъ въ выразительныхъ движеніяхъ эта цѣль совершенно отсутствуетъ. Одинокій человѣкъ будетъ производить въ совершенствѣ всѣ разновидности выразительныхъ движеній, но языка жестовъ онъ знать не будетъ.

Это различіе имѣетъ послѣдствіемъ и другія. Когда человѣкъ находится въ состояніи аффекта, онъ не испытываетъ желанія сообщить что-либо другимъ; наоборотъ появленіе этого желанія предполагаетъ прекращеніе или ослабленіе самого аффекта, какъ комплекса чувствъ. Вотъ почему чувственный элементъ, преобладающій въ выразительныхъ движеніяхъ, отступаетъ на задній планъ въ языкѣ жестовъ. Здѣсь главное — представленія, которыя сообщаются въ состояніи либо отсутствія, либо слабости аффекта; въ языкѣ жестовъ поэтому внутреннія движенія не играютъ никакой роли, мимическія — чисто вспомогательную, между тѣмъ какъ первое мѣсто принадлежитъ движеніямъ *пантомимическимъ*, какъ выразителямъ именно представленій. Но при всей важности происшедшаго измѣненія смысла и перемѣщенія центра тяжести, языкъ жестовъ, какъ было сказано только что, примыкаетъ къ выразительнымъ движеніямъ: разъ возникло желаніе сообщить другому человѣку какое-нибудь представленіе, самымъ естественнымъ

было прибѣгнуть къ тому самому жесту, который въ состояніи аффекта служить его выраженіемъ.

Всматриваясь въ выразительныя движенія пантомимическаго характера, мы замѣтимъ, что они распадаются на двѣ категоріи. Если вызвавшее аффектъ явленіе налицо, человѣкъ невольно простираетъ къ нему руку: это движеніе *указательное*. Если его налицо нѣтъ, онъ также невольно воспроизводитъ путемъ жестикуляціи его или свое представляемое отношеніе къ нему: это—движеніе *подражательное*. Тѣ же двѣ категоріи мы находимъ и въ языкѣ жестовъ; только, благодаря его значительно большей сознательности, обусловливаемой его цѣлью, категорія подражательныхъ жестовъ получила въ немъ гораздо болѣе широкое развитіе—такое широкое, что самый терминъ «подражательныя движенія» оказывается слишкомъ узкимъ и его приходится замѣнить терминомъ «движеніе изобразительное» или правильнѣе «жестъ изобразительный». Изобразительныя жесты по своему внѣшнему виду распадаются на *графическіе* и *пластическіе*: желая на языкѣ жестовъ передать представленіе «домъ», я могу или нарисовать пальцемъ въ воздухѣ главные контуры дома, или сложить ладони рукъ подъ острымъ угломъ, изображая подобіе кровли; первое будетъ *графическимъ*, второе *пластическимъ* жестомъ. Съ точки же зрѣнія смысла изобразительныя жесты раздѣляются на три категоріи—жесты *уподобительные*, *соозначительные* и *символическіе*. Примѣръ первой категоріи: желая изобразить домъ, я рисую его контуры въ воздухѣ. Примѣръ второй категоріи: чтобы передать представленіе «осель», я изображаю (графически или пластически, все равно) ослиную голову съ ея характерными ушами; этотъ жестъ будетъ «соозначать» представленіе «осель». Примѣръ третьей категоріи: чтобы передать понятіе «ложь», я провожу пальцемъ *косую* линію отъ рта внизъ налѣво. Отсюда видно, что одинъ и тотъ же жестъ можетъ, смотря по обстановкѣ, быть и уподобительнымъ и соозначительнымъ, и символическимъ; такъ, пантомимическое изображеніе ослиной головы будетъ уподобительнымъ жестомъ для понятія «ослиная голова», соозначительнымъ для понятія «осель» и символическимъ для понятія «дуракъ» или «глупость». Рядомъ съ богатымъ классомъ изобразительныхъ жестовъ *ука-*

затѣльные не отличаются обиліемъ значеній: за ними осталось только обозначеніе участвующихъ въ бесѣдѣ лицъ и обозначеніе мѣста и времени.

Другими словами: указательные жесты соотвѣтствуютъ тому, что въ языкѣ выражается мѣстоименіями (и мѣстоименными нарѣчіями); въ противоположность къ нимъ изобразительные соотвѣтствуютъ всѣмъ словамъ, выражающимъ опредѣленные понятія, т.-е. существительнымъ, прилагательнымъ и глаголамъ. Возможно ли еще болѣе точное разграниченіе этихъ категорій? А priori могло бы показаться, что пластическіе жесты, какъ устойчивые, должны соотвѣтствовать наименованіямъ предметовъ, графическіе—наименованіямъ дѣйствій; и дѣйствительно, нѣкоторый параллелизмъ тутъ наблюдается. Сплошь и рядомъ пластическій жестъ получаетъ значеніе глагола путемъ присоединенія къ нему жеста графическаго; такъ сложенная на подобіе стакана рука означаетъ уподобительно «стаканъ» и соозначительно «вода», но, если сдѣлать ею нѣсколько движеній по направленію ко рту, то получится значеніе «пить». Интересно обозначеніе прилагательныхъ. Прикосновеніе къ зубу можетъ выражать понятіе «зубъ», но также и понятіе «бѣлый» или «твердый». Если требуется понятіе «бѣлый», то говорящій сопровождаетъ свой жестъ выпучиваньемъ глазъ, давая этимъ понять, что онъ имѣетъ въ виду зрительное впечатлѣніе; если «твердый», то нужно ударить нѣсколько разъ ногтемъ о зубъ, чѣмъ подчеркивается осязательность впечатлѣнія. Такъ-то въ многихъ случаяхъ такіе «вспомогательные жесты» переводятъ главные жесты изъ рубрики существительныхъ въ рубрики прилагательныхъ и глаголовъ; они то, по мнѣнію Вундта, составляютъ формальный элементъ въ языкѣ жестовъ (I, 189). Эта ихъ роль, однако, чисто случайная: мы встрѣчаемъ вспомогательные жесты и въ совершенно другомъ значеніи. Такъ, чтобы выразить понятіе «сонъ» или «спать», надо, закрывъ глаза, склонить голову на руку; но если при этомъ сдѣлать другой рукой указательный жестъ по направленію къ землѣ, то получится смыслъ «смерть» (или «умереть» или «мертвый»). Отсюда видно, что вспомогательные жесты имѣютъ не столько грамматически-формальный, сколько синонимически опредѣлительный характеръ: они употребляются

исключительно съ практической цѣлью во избѣжаніе недоразумѣній.—Можно даже идти дальше и оспаривать вообще формальный характеръ вспомогательныхъ жестовъ. Развѣ между «вода» и «пить» разница только формальная? Нѣтъ, исключительно формальными мы можемъ признать только такія различія, какъ между «плавать» и «плаваніе», «красный», «краснота» и «краснѣть»—а эти различія въ языкѣ жестовъ никогда не соблюдаются. А если такъ, то правильнѣе будетъ сказать, что языкъ жестовъ грамматики—по крайней мѣрѣ ея этимологической части—не знаетъ.

Но зато онъ знаетъ, повидимому, синтаксисъ. И долженъ упомянуть, что Вундтъ изучилъ языкъ жестовъ въ его самыхъ различныхъ видахъ—и какъ интернаціональный языкъ американскихъ дикарей, и какъ языкъ глухонѣмыхъ, и какъ условное средство общѣна мыслей у монаховъ-молчальниковъ, и наконецъ, какъ средство оживленія рѣчи у народовъ классической древности, существующее и понынѣ, въ качествѣ пережитка, у неаполитанцевъ. Такъ вотъ во всѣхъ этихъ разновидностяхъ наблюдается опредѣленный синтаксисъ; части простого предложенія (другихъ языковъ жестовъ не знаетъ) располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: подлежащее—опредѣленіе—дополненіе—сказуемое. Другими словами, соблюдаются слѣдующія три правила: 1) подлежащее предшествуетъ сказуемому 2) опредѣляемое предшествуетъ опредѣленію, 3) дополненіе предшествуетъ сказуемому. Эти три правила сводятся въ свою очередь къ слѣдующему: непосредственно представимое понятіе предшествуетъ тому, которое само по себѣ непредставимо. Мы говоримъ: „бѣлый человѣкъ строить домъ“, соблюдая только первое изъ трехъ названныхъ правилъ; на языкѣ жестовъ слѣдуетъ сказать такъ: „человѣкъ бѣлый—домъ строить“. Почему? Потому что понятія «человѣкъ» и «домъ» представимы непосредственно; напротивъ, понятія «бѣлый» и «строить» непредставимы безъ своихъ субстратовъ, блага предмета съ одной стороны и строящаго и строимаго—съ другой.

Остановимся на этомъ явленіи; здѣсь впервые сталкиваются оба принципа, о которыхъ я говорилъ во второй главѣ—тотъ, который послѣдовательно проводится Вундтомъ въ его разсужденіяхъ, и тотъ, который, по моему мнѣнію, обуславливаетъ

возможность дальнѣйшаго прогресса въ наукѣ о языкѣ. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, объяснить возникновеніе этого синтаксиса въ языкѣ жестовъ? Выражаясь точнѣе: соответствуетъ ли онъ интересамъ говорящаго или того, съ кѣмъ говорятъ? Представленія, говоритъ Вундтъ, сообщаются въ порядкѣ своей временной и мѣстной зависимости. Не трудно, однако, убѣдиться, что это нѣсколько туманное опредѣленіе ничего не объясняетъ. Я вижу человѣческій образъ; подойдя ближе, я убѣждаюсь, что это — человѣкъ бѣлый, а не индѣецъ. Прекрасно; въ данномъ случаѣ порядокъ «человѣкъ бѣлый» будетъ оправданъ. Но чаще я вижу прежде всего что-то бѣлое, и только подойдя ближе, убѣждаюсь, что это — овца, а не камень. Мало того — это даже нормальный порядокъ воспріятія ощущений: вѣдь по примѣтамъ же узнается предметъ, а не независимо отъ нихъ. Но это не все, и даже не главное; можно сказать, что, подчеркивая порядокъ воспріятія ощущений, Вундтъ попадаетъ въ противорѣчіе съ однимъ изъ главныхъ положеній своей собственной психологіи языка. Согласно этому положенію психологической единицей рѣчи является единое, но сложное представленіе, соответствующее предложенію; дѣятельность говорящаго по отношенію къ этому представленію — аналитическая: онъ расчленяетъ его на его составныя части, выражая каждую въ формѣ одного слова. Въ противоположность къ нему дѣятельность слушающаго (или, въ нашемъ случаѣ, смотрящаго) синтетическая: онъ долженъ изъ сообщенныхъ составныхъ частей воспроизвести сложное представленіе. Теперь спросимъ себя, въ чьихъ интересахъ постоянный порядокъ «человѣкъ бѣлый» и т. д.? Говорящаго? Нѣтъ; такъ какъ въ его умѣ существуетъ цѣльное представленіе, то для него порядокъ частей безразличенъ. Мало того — самъ Вундтъ считаетъ въ другомъ мѣстѣ (II, 354) наиболѣе естественнымъ, съ точки зрѣнія говорящаго, тотъ порядокъ, который возможенъ въ однихъ только классическихъ языкахъ (напр. *magna dis immortalibus habenda est gratia*), при которомъ подлежащее и начинается, и оканчиваетъ предложеніе, прекрасно выражая этимъ единство и цѣльность сложнаго представленія; согласно этому порядокъ „бѣлый строить домъ человѣкъ“ болѣе всего соответствовалъ бы интересамъ говорящаго. Если же

соблюдается правило, чтобы самопредставимое понятіе предшествовало несамопредставимому, то ясно, что при этомъ соблюдаются интересы не говорящаго, а смотрящаго. Если я, передавая вамъ привезенную въ ящикѣ посуду, постоянно соблюдаю такой порядокъ, чтобы передать миску раньше крышки, блюдечко раньше чашки — то ясно, что я имѣю въ виду ваши удобства; дѣйствительно, при иномъ порядкѣ вамъ въ ожиданіи миски некуда было бы дѣвать крышку.

Къ тому же результату приводитъ насъ анализъ вспомогательныхъ жестовъ, о которыхъ рѣчь была выше — особенно тотъ фактъ, что они обыкновенно слѣдуютъ за главными. Мы уже видѣли, что они употребляются въ случаѣ многозначительности главнаго жеста, во избѣжаніе недоразумѣній; по своимъ происхожденіемъ они очевидно обязаны не могущему возникнуть, а уже возникшему недоразумѣнію. По выраженію лица собесѣдника говорящій замѣчалъ, что его жестъ не былъ понятъ; онъ быстро прибавлялъ вспомогательный жестъ, которымъ опредѣлялось и пояснялось значеніе перваго — вотъ почему вспомогательный жестъ не предшествуетъ главному, а слѣдуетъ за нимъ.

Итакъ, языкъ жестовъ будетъ для насъ понятенъ только тогда, когда мы признаемъ его двойное происхожденіе и при его объясненіи будемъ примѣнять двойной принципъ, психологическій и логическій. Съ *психологической* стороны языкъ жестовъ соприкасается, какъ мы видѣли, съ выразительными жестами пантомимическаго характера: указательные жесты непосредственно примыкаютъ къ указательнымъ движеніямъ, уподобительные жесты развились изъ изобразительныхъ движеній, а изъ уподобительныхъ произошли въ свою очередь, путемъ естественной ассоціаціи по смежности и по сходству, жесты соозначительные и символическіе. Но съ признаніемъ *логической* стороны вводится принципъ цѣлесообразности: къ объясненію «потому что» присоединяется и объясненіе «для того, чтобы». Конечно, если мы спросимъ себя, какъ эта цѣлесообразность возникла, то возможно, что и здѣсь дѣйствовалъ извѣстный подборъ: того, кто соблюдалъ правила порядка рѣчи, легче понимали, чѣмъ того, кто его не соблюдалъ; онъ считался лучшимъ ораторомъ и этимъ самымъ вызывалъ подражаніе. И здѣсь, такимъ обра-

зомъ, логическій принципъ сводится къ психологическому; только его область уже не индивидуальная психологія, а та, которая имѣетъ своимъ содержаніемъ душевныя явленія, обусловленные взаимодействіемъ индивидуа и среды, т.-е. согласно принятой терминологіи, психологія народная.

V.

Языкъ звуковъ и языкъ жестовъ.—Выразительные звуки у звѣрей.—Въѣдѣніе тона и артикуляція звука.—Языкъ дѣтей: крикъ, лепетъ, языкъ-эко, сознательная рѣчь.—Выразительные звуки въ развитой рѣчи: междометія, звукоподражанія, звуковые образы, звуковыя метафоры.—Ихъ общій знаменатель: звуковой жестъ.—Критика этой теоріи.—Чувства и представленія въ языкѣ.—Сопутствующія движенія, какъ источникъ языка представленій.—Сравнительная древность языка жестовъ и языка звуковъ.

Подобно языку жестовъ и языкъ звуковъ примыкаетъ къ выразительнымъ движеніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разложить на ихъ составныя части тѣ звуки, изъ которыхъ состоятъ наши слова, то мы получимъ два элемента: модуляцію *тона* и артикуляцію *звука* ¹⁾. Модуляція тона производится стремительнымъ прохождомъ воздуха черезъ гортань, приводящимъ въ сотрясеніе голосовыя связки; ее слѣдуетъ, поѣтому, причислить къ внутреннимъ движеніямъ. Артикуляція звука производится мускулами лица и рта, главнымъ образомъ языкомъ; она, такимъ образомъ, принадлежитъ къ мимическимъ движеніямъ. Итакъ, языкъ звуковъ, — прямой коррелятъ къ языку жестовъ; какъ послѣдній развился изъ пантомимическихъ движеній, такъ точно языкъ имѣетъ своимъ источникомъ движенія внутреннія и мимическія. Между тѣмъ мы видѣли (гл. 3), что пантомимическія движенія служатъ выраженіемъ представленій, такъ же какъ внутреннія и мимическія — чувствъ; отсюда слѣдуетъ, что первоначально въ основѣ языка жестовъ лежатъ представленія, въ

¹⁾ Подобно многимъ терминамъ нашей рѣчи слово «звукъ» грѣшитъ неопредѣленностью: оно то употребляется въ смыслѣ акустическаго явленія, выражаемаго оптиически *нотой* (=нѣм. Klang), то — въ смыслѣ акустическаго явленія, выражаемаго оптически *буквой* (=нѣм. Laut). Въ настоящей статьѣ его употребленіе ограничено вторымъ значеніемъ, въ первомъ же оно замѣняется словомъ «тонъ».

основѣ языка звуковъ — чувства. — Я долженъ замѣтить, что этого параллелизма самъ Вундтъ не проводитъ; но онъ — естественный выводъ изъ его теоріи, и выводъ, думается мнѣ, не безынтересный и не маловажный.

Это, пока, теорія; область опыта имѣемъ мы вездѣ тамъ, гдѣ звуки языка сохраняютъ значеніе выразительныхъ звуковъ. Сюда принадлежатъ, во-первыхъ, явленія въ жизни звѣрей и первобытнаго человѣка; во-вторыхъ, языкъ младенцевъ; наконецъ, въ третьихъ, и нѣкоторыя явленія развитой рѣчи.

Ближе всего къ природѣ стоимъ мы, конечно, въ первой изъ названныхъ трехъ областей; выразительные звуки звѣрей, однако, представляютъ изъ себя довольно разнообразную смѣсь акустическихъ явленій, въ которой мы можемъ различать три категоріи, соотвѣтствующія тремъ ступенямъ развитія. На первой ступени животное знаетъ только тонъ, какъ выраженіе интенсивности аффекта; а такъ какъ самые сильные аффекты — аффекты неудовольствія, то въ началѣ эволюціонной цѣпи мы имѣемъ *крикъ* — крикъ боли и крикъ ярости. На второй ступени находятъ себѣ выраженіе и умѣренные аффекты въ смыслѣ и удовольствія и неудовольствія; къ интенсивнымъ движеніямъ присоединяются и качественные, вслѣдствіе чего тонъ отдѣняется артикуляціей звука; а такъ какъ умѣренные аффекты продолжительнѣе острыхъ, то и ихъ выраженіе — вслѣдствіе протяжности или повторенія — занимаетъ больше времени. Сюда относятся крики большинства домашнихъ животныхъ, какъ четвероногихъ, такъ и птицъ. Наконецъ, третья ступень характеризуется тѣмъ, что на ней развиваются двѣ различныя группы выразительныхъ звуковъ: одна для интенсивныхъ, другая для умѣренныхъ аффектовъ, при чемъ эта послѣдняя допускаетъ значительное разнообразіе и по отношенію къ отдѣльнымъ аффектамъ и по отношенію къ отдѣльнымъ индивидуумамъ. Сюда принадлежатъ собаки, обезьяны и особенно пѣвчія птицы.

Такимъ образомъ, артикуляція звука по своему происхожденію позднѣе простого тона и его модуляціи. Въ жизни человѣка оба эти выраженія чувствъ пошли своей дорогой; изъ модуляціи тона развилось пѣніе, изъ артикуляціи звука — языкъ (при чемъ мы въ обоихъ случаяхъ, разумѣется, имѣемъ въ виду лишь *преобладаніе* одного элемента надъ другимъ). Это, ко-

нечно, пока только теоретическая конструкция; вопросъ о происхожденіи пѣнія у человѣка еще не разрѣшенъ. Загадкой былъ онъ и для Дарвина, который долженъ былъ прибѣгнуть къ гипотезѣ о начальной роли пѣнія, какъ средства любовнаго состязанія, по аналогіи съ соответствующими явленіями въ жизни пѣвчихъ птицъ. Вундтъ считаетъ эту гипотезу неправдоподобной, ссылаясь на отсутствіе полового различія въ приспособленности къ пѣнію у людей; самъ онъ присоединяется къ мнѣнію Бюхера о преобладающей роли работы въ развитіи пѣнія ¹⁾. Но это не такъ важно; главное — это артикуляція звука, породившая языкъ. Согласно сказанному выше, она первоначально выражала только *чувства*, а именно ихъ качества въ противоположность къ тону, выражавшему ихъ интенсивность; между тѣмъ несомнѣнно, что въ человѣческой рѣчи она выражаетъ именно *представленія*, тогда какъ выразителемъ чувствъ во всемъ ихъ объемѣ является «голосъ», т.-е. модуляція тона. Какъ произошла эта перемѣна, превратившая простые «выразительные звуки» въ настоящій языкъ? На этотъ вопросъ первая область — какъ это и понятно — отвѣта не даетъ.

Обратимся ко второй — къ языку дѣтей. Извѣстно, какія надежды возлагались многими на его изслѣдованіе: полагали, что онъ дастъ намъ возможность воочію, такъ сказать, прослѣдить возникновеніе языка; какъ ребенокъ мало-по-малу усваиваетъ языкъ, переходя отъ крика къ лепету, отъ лепета къ членораздѣльной и осмысленной рѣчи, такъ точно и родъ человѣческой произвелъ свой языкъ. Когда же былъ открытъ Геккелемъ знаменитый «біогенетическій законъ», то всѣ сомнѣнія, казалось, должны были исчезнуть: «онтогенія» рѣчи въ устахъ любого младенца была объявлена вѣрнымъ, хотя и сокращеннымъ воспроизведеніемъ ея «филогеніи» во всѣхъ первобытныхъ эпохахъ развитія человѣческаго рода. Вундтъ относится очень скептически ко всѣмъ этимъ увлеченіямъ. Вполнѣ резонно подчеркиваетъ онъ громадную принципиальную разницу, заключающуюся въ томъ, что ребенокъ усваиваетъ готовую уже рѣчь, преподносимую ему старшими, между тѣмъ какъ человѣчеству приходилось постепенно вырабатывать несущую

¹⁾ Сравни мою статью «Рабочая пѣсенка» (Изъ жизни идей т. I).

ществовавшій раньше языкъ. А между тѣмъ, ясно, что психологическіе процессы въ томъ и другомъ случаѣ совершенно различны. Вначалѣ мы, дѣйствительно, и у ребенка имѣемъ «крикъ», какъ выраженіе интенсивныхъ, исключительно непріятныхъ чувствъ, голода или боли—тутъ онтогенія совпадаетъ съ филогеніей и, пожалуй, еще немного далѣе. Спустя нѣкоторое время ребенокъ начинаетъ (какъ говорятъ наши няньки) «гулить», т.-е. выражать также и веселое настроеніе рядомъ сначала слабо, затѣмъ все опредѣленнѣе артикулированныхъ звуковъ. Тутъ-то и видно, что выразительные звуки параллельны мимическимъ движеніямъ: «гуленье» ребенка является настоящей акустической улыбкой. Затѣмъ сама артикуляція дѣлается предметомъ игры: ребенокъ тѣшитъ себя повтореніемъ ряда слоговъ, не связывая съ ними, однако, никакого представленія. Этотъ періодъ очень важенъ, какъ подготовительный періодъ къ усвоенію языка: имъ создаются правильныя ассоціаціи между осязательнымъ ощущеніемъ звуковой артикуляціи и слуховымъ ощущеніемъ соответствующаго звука. По достаточномъ упражненіи въ этой простой ассоціаціи является возможнымъ такъ наз. «языкъ-эхо»: ребенокъ воспроизводитъ, не соединяя съ нимъ никакого предметнаго представленія, услышанное отъ матери слово, пользуясь средствами своего собственнаго репертуара слоговъ;—мать: „Сапа“; дитя: „Сяся“. При этомъ происходитъ двойная ассоціація: 1) слуховое ощущеніе «Сапа» вызываетъ схожее слуховое же ощущеніе «Сяся» (ассимиляціонная ассоціація); 2) слуховое ощущеніе «Сяся» вызываетъ осязательное ощущеніе артикуляціи этого слова (компликаціонная ассоціація). И вотъ, наконецъ, по достаточномъ упражненіи въ языкѣ-эхо, является вторженіе представленія въ слово: благодаря повтореннымъ указаніямъ матери ребенокъ начинаетъ соединять со словомъ «Сяся» представленіе о своемъ старшемъ братцѣ. Къ обѣимъ ассоціаціямъ языка-эхо присоединяется третья (компликаціонная): ассоціація оптического ощущенія фигуры мальчика, именуемаго Сашей ¹⁾. Такова

¹⁾ Въ этомъ разсужденіи я нѣсколько развилъ и дополнилъ мысль Вундта, который въ языкѣ-эхо признаетъ только простую, а не двойную ассоціацію.

онтогенія рѣчи; ясно, что мы въ филогеніи, пользуясь ея схематизмомъ, дальше «гуленья» не пойдемъ.

Противъ этого яснаго анализа ни якобы изобрѣтаемыя дѣтскими слова, ни такъ называемый дѣтскій языкъ ничего не доказываютъ. Что касается первыхъ, то Вундтъ — располагающій богатымъ сводомъ какъ чужихъ, такъ и собственныхъ наблюденій — совершенно оспариваетъ самый феноменъ изобрѣтенія дѣтскими словъ; всѣ приводимые примѣры оказываются, при болѣе тщательномъ изслѣдованіи, явленіями языка-эхо, по случайной ассоціаціи невпопадъ примѣненными. (Примѣръ: ребенокъ называетъ свою любимую игрушку, огромное деревянное яйцо краснаго цвѣта, «Сяся»; причина: когда ему впервые представляли Сашу, на послѣднемъ была красная блуза). Дѣтскій же языкъ — изобрѣтеніе не дѣтей, а взрослыхъ, которые съ цѣлью облегченія усвоенія рѣчи, выключаютъ одну изъ трехъ названныхъ ассоціацій — либо ассимиляціонную (тѣмъ, что пользуются дѣтскими же репертуаромъ словъ, напр. «пруа» — «гулять»), либо вторую, компликаціонную (тѣмъ, что замѣняютъ оптическое ощущеніе слуховымъ, напр. «му» — «корова»).

Итакъ, языкъ дѣтей не выясняетъ спорнаго вопроса; обратимся къ третьей области — къ развитой рѣчи, и посмотримъ, не содержитъ ли она элементовъ, указывающихъ на родство языка съ выразительными звуками. Тутъ первыми нами припоминаются такъ наз. «природные звуки», среди которыхъ первое мѣсто занимаютъ междометія, эти пережитки первобытнаго «крика» въ развитой рѣчи; но ихъ число слишкомъ ограничено и ихъ роль въ словообразованіи («охъ» — «охать») совершенно ничтожна. Но къ природнымъ звукамъ примыкаютъ «звукоподражанія» различныхъ родовъ («куковать», «громъ», «шарахнуть», «тараторить» и т. д.), рубрика которыхъ такъ легко увеличивается путемъ новообразованій, а къ нимъ опять — интересная группа словъ, которыя Вундтъ называетъ «звуковыми образами» (Lautbilder). Подъ ними онъ разумѣетъ такіе слова, которыя — какъ нѣмецкія *tummeln*, *torkeln*, *wimmeln* и др. — выражаютъ не слуховыя, а зрительныя или другія представленія, но выражаетъ ихъ такъ, что мы чувствуемъ нѣкоторое сходство между самымъ акустическимъ подборомъ звуковъ и соотвѣтствующимъ представленіемъ; по-русски сюда

можно бы отнести такія слова, какъ «байбакъ», «балаболка», «каракули», «тилиснуть», «схлиздить» и т. д., большею частью нелитературныя и тоже умножимыя *ad libitum*. По мнѣнію Вундта звукоподражанія и звуковые образы составляютъ вмѣстѣ взятые одну категорію и по отношенію къ ней онъ развиваетъ особую оригинальную и любопытную теорію.

Мы уже знаемъ, въ чемъ состоитъ ощущеніе артикуляціи произносимаго слова, отличное отъ его слухового впечатлѣнія: вся важность для ребенка его бессмысленнаго лепета состоитъ въ томъ, что онъ даетъ ему затвердить ассоціацію между слуховымъ и артикуляціоннымъ ощущеніемъ одного и того же комплекса звуковъ, а на непосредственности этой ассоціаціи основывается способность гортани воспроизводить услышанное нами слово. Эта способность такъ окрѣпла, что мы при представленіи о словѣ совсѣмъ не думаемъ о его артикуляціи; а между тѣмъ она — непосредственный результатъ иннерваціи моторныхъ нервовъ, звуковая же фізіономія слова является лишь послѣдствіемъ его артикуляціи. Это артикуляціонное движеніе языка и губъ принадлежитъ несомнѣнно къ движеніямъ мимическимъ; какъ изъ мимическихъ движеній вообще развивается мимическій жестъ, такъ спеціально изъ артикуляціонныхъ движеній развивается *звуковой жестъ*. Теперь намъ легко будетъ привести къ одному знаменателю и звукоподражанія и звуковые образы: всѣ они принадлежать къ подражаніямъ, но органомъ подражанія будетъ не непосредственно звукъ, а «уподобительный» звуковой жестъ.

Съ принятіемъ этой теоріи область выразительныхъ звуковъ и ихъ потомства въ языкѣ значительно расширяется; еще болѣе расширяется она съ приобщеніемъ родственныхъ явленій, которыя Вундтъ называетъ «звуковыми метафорами». Подъ ними онъ разумѣетъ такія отношенія внутри пары или группы словъ, которыя могутъ быть объяснены уподобительнымъ измѣненіемъ звукового жеста. Сюда относятся такіе коррелаты, какъ «крикнуть» и «крикнуть», но не въ нихъ сила: есть интереснѣе. Давно было замѣчено, что въ громадномъ большинствѣ языковъ имена «отецъ» и «мать» образуютъ коррелаты, при чемъ твердо, эксплозивному звуку въ имени отца (t, p и родственные) соотвѣтствуетъ мягкій, носовой звукъ въ имени матери (n, m)

Такого же рода уподобительное измѣненіе звукового жеста наблюдается въ мѣстныхъ нарѣчіяхъ близкаго и далекаго разстоянія: «тутъ» и «тамъ» и т. д.; сюда же относятся и измѣненія гласныхъ въ связи съ измѣненіемъ вида глаголовъ, наблюдаемое особенно въ еврейскомъ языкѣ, но также и въ индоевропейскихъ: ср. греческое *eleíron*, *elíron*, русское «оставлялъ», «оставилъ» (первое—для продолжающагося, второе—для однократнаго дѣйствія). А при такихъ условіяхъ наша область становится очень значительной; является возможность представить себѣ языкъ (или рядъ языковъ), состоящій исключительно изъ звуковыхъ образовъ или звуковыхъ метафоръ, которыя будутъ соответствовать уподобительнымъ и символическимъ жестамъ развитаго выше оптическаго языка; происхожденіе же изъ этого языка (или этихъ языковъ) тѣхъ, которые намъ извѣстны, станетъ понятнымъ, если принять во вниманіе условія *измѣненія звуковъ*, о которыхъ говорится далѣе—условія, кореннымъ образомъ извратившія первоначальныя слова и затемнившія ихъ первоначально ясный психологическій характеръ.

Такова теорія Вундта; развивъ ее, какъ мнѣ кажется, достаточнымъ образомъ, я считаю позволительнымъ подѣлиться съ читателемъ и тѣми сомнѣніями, которыя она возбуждаетъ во мнѣ.

Два возможныхъ возраженія намѣтилъ самъ авторъ: они заключаются, во-первыхъ, въ сравнительной новизнѣ тѣхъ образованій, которыя онъ относитъ къ звукоподражаніямъ и звуковымъ образамъ, и, во-вторыхъ, въ ихъ сравнительной малочисленности. Первое возраженіе значенія не имѣетъ; пусть слова вроде «шарахнуть», «тилснуть» принадлежатъ къ новѣйшимъ наслоеніямъ языка, въ иныхъ случаяхъ даже къ плодамъ личнаго творчества, не получившимъ общественной санкціи—все же условія, создающія ихъ теперь, существовали всегда и всегда приводили къ созиданію этого рода словъ, которыя, измѣняясь въ своемъ звуковомъ составѣ, теряли со временемъ свой характеръ звукоподражаній и образовъ и вызвали этимъ появленіе новыхъ болѣе характерныхъ словъ; съ другой стороны, именно новизна нашихъ образованій, эта непосредственная ихъ близость къ нашей душѣ и даетъ намъ

возможность прослѣдить психологическій процессъ, призвавшій ихъ къ жизни—мы уже видѣли, что психологическая теорія, въ противоположность къ біологической, особенно дорожитъ явленіями живыхъ, въ полномъ смыслѣ слова, языковъ. То же приблизительно можно отвѣтить и на второе возраженіе: малочисленность образованій, въ которыхъ чувствуется связь между звуковымъ составомъ и представленіемъ, тоже легко объясняется, если принять во вниманіе дѣйствіе измѣненія звуковъ. Возьмемъ коралловую вѣтвь: какъ незначителенъ объемъ ея живыхъ кончиковъ въ отношеніи къ окаменѣлому ея корпусу! Между тѣмъ именно эти живые кончики и объясняютъ намъ ея происхожденіе. А съ другой стороны, „слѣдуетъ принять во вниманіе, что мы другихъ мотивовъ соотвѣтствія между звуковымъ составомъ и значеніемъ, которые позволяли бы намъ уразумѣть этотъ составъ, какъ непосредственно понятное выраженіе представленія, — совсѣмъ не знаемъ. Совершенно же произвольная или случайная ассоціація между звукомъ и значеніемъ могла бы быть признана хотя и возможнымъ, но уже никакъ не естественнымъ и соотвѣтствующимъ выраженію опредѣленнаго душевнаго явленія отношеніемъ“ (I, 344).

Не думаю, однако, чтобы орудія критики были исчерпаны обоими приведенными авторомъ возраженіями. Прежде всего онъ, думается мнѣ, врядъ-ли многихъ убѣдитъ въ томъ, что въ звукоподражаніяхъ средствомъ подражанія является не звукъ, а артикуляціонное движеніе. Когда въ 1848 году группа друзей рѣшила основать въ Берлинѣ антиправительственный юмористическій журналъ, выборъ подходящаго названія причинилъ имъ немало затрудненій. Въ самый разгаръ спора объ этомъ изъ сосѣдней комнаты послышался грохотъ разбиваемой посуды; этотъ грохотъ вызвалъ у одного изъ друзей совершенно инстинктивное восклицаніе «Kladderadatsch», каковое и было принято какъ названіе новаго журнала съ его «разрушительными» тенденціями. Что же должны мы допустить: что ощущеніе грохота вызвало у нашего берлинца непосредственное представленіе соотвѣтствующаго ему приблизительно звукового комплекса, каковой и былъ тотчасъ воспроизведенъ въ силу давно затверженной ассоціаціи между слуховымъ и артикуляціоннымъ ощущеніемъ, — или, согласно Вундту, что

услышанный грохотъ вызвалъ прежде всего представленіе о падающей и разбивающейся посудѣ, это послѣднее — «уподобительный жестъ» въ видѣ болтающагося между верхней и нижней челюстью языка, каковой жестъ и произвелъ слово Kladderadatsch? Мнѣ кажется, звукоподражанія должны быть отдѣлены отъ звуковыхъ образовъ и отпесены къ явленіямъ языка-эхо, о которомъ рѣчь была выше: слово Kladderadatsch относится къ дѣйствительному грохоту разбивающейся посуды точно такъ же, какъ младенческое «Сся» къ настоящему «Саха», — въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ стремленіе передать услышанный звукъ съ помощью несовершеннаго звукового аппарата говорящаго лица.

Остаются звуковые образы и родственныя имъ звуковыя метафоры; по отношенію къ нимъ теорія Вундта нуждается, какъ мнѣ кажется, только въ одной — правда, довольно существенной — поправкѣ. Какъ видно изъ приведенной выше фразы, Вундтъ при ихъ объясненіи исходитъ изъ *представленій*, результатомъ которыхъ является слово. Это объясненіе не является однако съ его собственнымъ анализомъ выразительныхъ движеній, согласно которому мимическія движенія — а къ нимъ принадлежатъ и звуковыя жесты — выражаютъ непосредственно не представленія, а *чувства*. Правда, Вундтъ не забываетъ и о возможной роли чувствъ въ возникновеніи звуковыхъ метафоръ (I, 340), но только этихъ послѣднихъ и только вскользь; послѣдовательность требовала, чтобы чувства были исходной точкой при объясненіи интересующихъ насъ явленій. „Какъ тилисну (ее) по горлу ножомъ“, говоритъ у Достоевскаго каторжникъ (Зап. изъ М. д., II, гл. 4); есть ли сходство между артикуляціоннымъ движеніемъ слова «тилиснуть» и движеніемъ скользящаго по человѣческому тѣлу и врѣзывающагося въ него ножа? Нѣтъ; но за то это артикуляціонное движеніе какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ тому положенію лицевыхъ мускуловъ, которое инстинктивно вызывается особымъ чувствомъ нервной боли, испытываемой нами при представленіи о скользящемъ по кожѣ (а не вонзаемомъ въ тѣло) ножѣ: губы судорожно вытягиваются, горло щемить, зубы стиснуты — только и есть возможность произнести гласный *и* и языковыя согласныя *т*, *л*, *с*, при чемъ въ выборѣ именно ихъ, а не гром-

кихъ *д*, *р*, *з* сказался и нѣкоторый звукоподражательный элементъ. То же касается и другихъ звуковыхъ образовъ: всѣ они непосредственно родственны не съ представленіями, которыя они вызываютъ, а съ чувствами, которыя въ насъ возбуждаютъ эти представленія; мы тогда ихъ признаемъ удачными, когда они гармонируютъ со всей мимикой лица, выражающей эти чувства, и своимъ звуковымъ составомъ способствуютъ (именно только *способствуютъ* — большаго мы требовать не можемъ) появленію той же мимики и у слушающаго, а съ нею — согласно сказанному въ третьей главѣ—и усиленію самаго чувства. Итакъ, мы можемъ согласиться съ теоріей Вундта, поскольку она беретъ за точку отправленія не акустическое впечатлѣніе слова, а произведшее его артикуляціонное движеніе; но мы отвергнемъ его гипотезу «уподобительныхъ звуковыхъ жестовъ», какъ неправильно вносящую пантомимическіе термины въ область чистой мимики, и опредѣлимъ «звуковые образы» какъ „слова, артикуляція которыхъ соответствуетъ общей мимикѣ лица, выражающей вызываемое ими чувство“.

И эта область простирается гораздо шире, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Читатель не забылъ о «сопутствующихъ движеніяхъ», играющихъ такую роль въ общей мимикѣ и пантомимикѣ человѣческаго тѣла: сплошь и рядомъ мимическія движенія понятны только какъ сопутствующія пантомимическимъ, въ каковомъ случаѣ они выражаютъ уже не чувства, а представленія. Здѣсь, дѣйствительно, можетъ быть рѣчь о предложенномъ Спенсеромъ «разсѣянномъ возбужденіи», слѣдующемъ за иннерваціей непосредственно заинтересованныхъ органовъ и охватывающемъ прежде всего самые подвижные мускулы. Что артикуляціонные мускулы не отстаютъ отъ другихъ—ясно само собой; вспомнимъ ради иллюстраціи о переписывающемъ Акакіи Акакіевичѣ, какъ онъ „и подсмѣивалъ, и подмигивалъ, и помогалъ губами“. Положимъ, у него это движеніе не производитъ словъ — его работа нѣмая. Но въ иныхъ случаяхъ именно работа можетъ вызвать громкую артикуляцію и, слѣдовательно, появленіе «словъ-междометій» и «словъ-сигналовъ», какъ ихъ называетъ Бюхеръ. Мы знаемъ уже, что Вундтъ сочувственно относится къ теоріи Бюхера; тѣмъ естественнѣе было вспомнить о его «словахъ-сигналахъ»

и отвести имъ мѣсто рядомъ съ «звуковыми образами» въ изслѣдованіи о выразительныхъ звукахъ. Но и слова-сигналы не исчерпываютъ всего матеріала: основываясь на теоріи сопутствующихъ движеній, мы должны признать, что всякій пантомимическій жестъ сопровождается тѣмъ или другимъ измѣненіемъ въ положеніи артикуляціонныхъ мускуловъ, различнымъ у различныхъ человѣческихъ расъ и даже индивидуевъ — и стало быть способствуетъ возникновенію того или другого слова. Это — результатъ очень важный: онъ объясняетъ намъ *проникновеніе представленій* изъ языка жестовъ въ языкъ словъ. Понятно, что родство возникшаго такимъ образомъ слова съ вызвавшимъ его косвенно представленіемъ будетъ совершенно неуловимо, тѣмъ не менѣе мы будемъ имѣть дѣло не со „случайной“ или произвольной ассоціаціей“, а съ вполне естественной и неизбежной.

Вмѣстѣ съ тѣмъ нашъ результатъ поможетъ намъ отвѣтить на другой вопросъ, вскользь только затронутый Вундтомъ въ его второй главѣ (I, 131 и сл.) и оставленный имъ безъ отвѣта — вопросъ о временномъ отношеніи языка жестовъ къ языку звуковъ. Согласно сказанному, этотъ вопросъ сводится къ другому вопросу — о сравнительномъ приоритетѣ чувствъ и представленій; а такъ какъ внутри развитія человѣческаго рода о приоритетѣ той или другой области душевныхъ явленій не можетъ быть и рѣчи, то придется признать, что оба соответствующихъ имъ языка съ самаго начала существовали рядомъ, звуки — для выраженія и сообщенія чувствъ, жесты — для представленій. Но вопросъ получаетъ другой характеръ, если ограничить его областью представленій, если предложить его въ такой формѣ: который изъ двухъ языковъ, языкъ жестовъ или языкъ звуковъ, былъ первоначальнымъ выразителемъ представленій? Тутъ отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: первенство безспорно принадлежитъ языку жестовъ. Въ жестѣ было непосредственно выражено представленіе; звукъ, какъ невольное порожденіе сопутствующихъ движеній, былъ вначалѣ лишь малозамѣтной придачей къ жесту. Но, по мѣрѣ развитія артикуляціи, его значеніе стало расти: представленіе въ силу ассоціаціи стало переходить отъ жеста къ слову, пока они не помѣнялись ролями: жестъ сталъ маловажною прида-

чей къ слову. Со временемъ онъ отпалъ совершенно: *слово убило жестъ*. На нашихъ глазахъ совершается эволюція обратнаго характера: какъ раньше акустическій образъ представленія, слово, вытѣснилъ оптический, такъ теперь онъ въ свою очередь уступаетъ свое мѣсто оптическому знаку, письму. Письмо чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе вторгается въ область слова; ужъ теперь самыя важныя событія въ политической и культурной исторіи производятся не произносимой, а письменной рѣчью: *письмо убиваетъ слово*. Оптика вновь завоевываетъ отнятую у нея акустикой область; нетрудно, однако, понять, что этимъ она насъ не приближаетъ къ природѣ, а еще болѣе удаляетъ отъ нея.

VI.

Предложеніе, какъ психологическая единица рѣчи.—Его опредѣленіе.—Психологическій процессъ его возникновенія. Послѣдовательное раздвоеніе, какъ апперцепціонный элементъ предложенія.—Ассоціаціонный элементъ предложенія.—Замкнутыя и открытыя структуры.—Естественный и условный порядокъ частей предложенія.—Причина возникновенія условнаго порядка.—Выраженіе единства основнаго представленія.—Свобода въ языкахъ, какъ критерій ихъ цѣнности.—Особое положеніе славянскихъ языковъ.

Какъ уже было сказано выше, четвертая по восьмую главы труда Вундта посвящены вопросамъ, входящимъ въ составъ научной грамматики: фонетикѣ, словообразованію, морфологіи, синтаксису, семантикѣ; повидимому, этимъ сознаніемъ внушенъ и порядокъ самаго изложенія. Дѣйствительно, этотъ порядокъ приблизительно тотъ, въ которомъ названные отдѣлы слѣдуютъ другъ за другомъ въ грамматическихъ руководствахъ. Для *психолога-лингвиста* былъ бы естествененъ другой порядокъ: мы видѣли уже, что психологической единицей рѣчи должно считаться не слово — и подавно не звукъ, — а предложеніе; съ него поэтому было бы правильнѣе начать. Результатами анализа предложенія явились бы прежде всего слова, разборъ которыхъ въ ихъ корневомъ, морфологическомъ и семантическомъ составѣ далъ бы тему для слѣдующихъ трехъ главъ; для послѣдней остались бы послѣдніе элементы анализа, звуки и ихъ измѣненія. Другими словами, нынѣшнія 4—8 главы Вундта должны бы были слѣдовать одна за другой вотъ въ какомъ порядкѣ: 7, 5,

6, 8, 4; въ его естественности мы еще болѣе убѣждаемся при чтеніи — дѣйствительно, глава о звукахъ предполагаетъ извѣстнымъ составъ словъ, глава о словахъ — анализъ предложенія. Конечно, въ такомъ объемистомъ сочиненіи, какъ наше, въ которомъ каждая глава образуетъ какъ бы отдѣльное самодовлѣющее цѣлое, неудобство ея помѣщенія мало даетъ себя чувствовать; но именно поэтому мы въ своей краткой характеристикѣ не можемъ послѣдовать примѣру автора и должны держаться психологически-раціональнаго порядка. Итакъ, мы начнемъ съ предложенія.

Что такое предложеніе? Этотъ вопросъ ближайшимъ образомъ интересуется грамматикѣ, которая рѣшаетъ его отчасти своими силами, отчасти прибѣгая къ помощи логики и психологіи — если только она не предпочитаетъ оставить его безъ рѣшенія, вслѣдствіе чего получается то, что Вундтъ не безъ прони называетъ „отрицательнымъ синтаксисомъ“. Съ точки зрѣнія чистой грамматики предложеніе есть „соединеніе словъ, подчиненныхъ общему сказуемому въ видѣ законченной глагольной формы“ (при чемъ для языковъ, вродѣ русскаго, пришлось бы прибавить „или именной“) съ точки зрѣнія логики — „соединеніе словъ, являющихся выраженіемъ мысли; съ точки зрѣнія психологіи — „выраженное въ словахъ соединеніе представлений“. Въ нашихъ школьныхъ граматикахъ преобладаетъ логическое опредѣленіе — и это вполнѣ разумно, такъ какъ въ школѣ языкъ долженъ быть не столько предметомъ познанія, сколько орудіемъ образованія; но сочиненіе, имѣющее предметомъ психологію языка, должно брать за исходную точку психологическое опредѣленіе. — Да, конечно, не только не то, которое мы привели. Понятіе «соединеніе представлений» прямо противоположно дѣйствительному психологическому процессу, результатомъ котораго является предложеніе. Оно заставляетъ насъ предполагать, что «соединенныя представленія» до соединенія существовали въ сознаніи порознь; а между тѣмъ дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ. Когда я говорю „крестьянинъ косить траву“ — мой слушатель, конечно, долженъ путемъ соединенія этихъ трехъ единичныхъ представленій составить себѣ картину, которую я имѣю въ виду; но въ моемъ сознаніи — все равно, вижу ли я косящаго крестьянина, или вызываю его образъ

въ своей памяти—эта картина существуетъ одновременно. Итакъ, въ чемъ же состоитъ психологическій процессъ въ моемъ сознаніи? Прежде всего отдѣльные, но одновременныя ощущенія—зеленая трава, пестрые цвѣты, человѣкъ, коса, солнце, небо, облака и т. д.—складываются въ общую картину; при этомъ воля не участвуетъ, это актъ ассоціаціонный. Затѣмъ я рамкой вниманія выдѣляю изъ этой общей картины ту, которая меня интересуетъ—косящаго крестьянина: это уже актъ волевой, такъ наз. апперцепціи. Затѣмъ я путемъ анализа разлагаю это совокупное представленіе на его три составныя части; этотъ анализъ, разумѣется, тоже апперцепціонный актъ. Законченъ ли этимъ психологическій процессъ? Нѣтъ: иначе я бы сказалъ „крестьянинъ косить трава“, а не „косить траву“. Итакъ, четвертымъ актомъ будетъ установленіе отношенія между тѣми частичными представленіями, которыя обнаружены анализомъ. А затѣмъ, путемъ послѣдовательныхъ компликаціонныхъ ассоціацій, представленіе понятія вызоветъ представленіе слова, представленіе слова—представленіе его артикуляціи, и психологическій процессъ перейдетъ въ фізіологическій.

Итакъ, еще разъ: что такое предложеніе? Мы отвѣтимъ по Вундту (II, 240) „выраженное средствами языка произвольное расчлененіе совокупнаго представленія на его составныя части, поставленныя въ логическое отношеніе другъ къ другу“, при чемъ слово „произвольное“ придется принимать, разумѣется, не въ нравственномъ, а въ психологическомъ значеніи. Дѣйствительно, по мнѣнію Вундта, этотъ анализъ характеризуетъ человѣческое сознаніе въ противоположность къ сознанію животныхъ; въ сравненіи съ нимъ даже членораздѣльная рѣчь составляетъ пріобрѣтеніе второстепеннаго характера.

Опредѣливъ понятіе предложенія, Вундтъ переходитъ къ отдѣльнымъ его разновидностямъ; онъ различаетъ восклицательныя, изъявительныя, вопросительныя предложенія съ ихъ подраздѣленіями, обсуждаетъ затѣмъ составныя части каждаго предложенія, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, именно мѣстоименія и нарѣчія, служатъ поводомъ къ переходу отъ простаго къ сложному предложенію, отъ координаціи къ субординаціи. Все это дѣлается, разумѣется, не съ грамматической, а съ психологической точки зрѣнія; все же мы въ эти частности пускаться

не будемъ, а прослѣдимъ въ ея происхожденіи и развитіи одну любопытную мысль, въ которой Вундтъ усматриваетъ важный критерій для психологіи культурной рѣчи въ противоположность въ первобытной.

Апперцепціонные акты, какъ совершающіеся съ участіемъ вниманія, могутъ быть только послѣдовательны, а не одновременны; анализъ совокупнаго представленія, поэтому, тоже придется разбить на послѣдовательные акты, каждый изъ которыхъ будетъ *раздвоеніемъ* предшествующаго сложнаго представленія. Такъ во взятомъ выше примѣрѣ совокупная картина разбивается прежде всего на двѣ составныя части, центральную личность и ея дѣйствіе: „крестьянинъ—косить“; затѣмъ дѣйствіе—на его актъ и его предметъ: „косить—траву“; затѣмъ если это нужно подчеркнуть—на актъ и орудіе „косить—косой“; наконецъ, каждое изъ названныхъ частичныхъ представленій—на самый предметъ и его свойство: „молодой—крестьянинъ“, „быстро—косить“, „зеленую—траву“, „острой—косой“. Нетрудно, однако, убѣдиться, что этотъ послѣдній анализъ существенно отличается отъ первыхъ: насколько первые непосредственно вытекали изъ основного представленія и не допускали ни измѣненія, ни прибавленія, настолько послѣдній волея и неопредѣленъ. Я не скажу, на примѣръ, „крестьянинъ и баринъ“, „косить и поеть“, или „траву и камышъ“—если барина, пѣнія и камыша не было въ основномъ представленіи; но я свободно, ничуть не измѣняя этого представленія, могу разнообразить данныя послѣдняго анализа: „молодой и сильный крестьянинъ“, „быстро и размахисто косить“, „зеленую, сочную траву“, „острой, желѣзной косой“. Или вотъ еще проба: двое лицъ, видѣвшія одновременно картину, о которой идетъ рѣчь, вполне согласно передадутъ представленія перваго разряда, но подберутъ каждый по-своему тѣ, которыя относятся ко второму разряду.

На этомъ различіи Вундтъ строитъ свою теорію *замкнутыхъ* и *открытыхъ структуръ*. Замкнутыя структуры, получающіяся путемъ послѣдовательныхъ раздвоеній совокупнаго представленія, являются результатомъ апперцепціи: наоборотъ, открытыя—продуктъ вольной ассоціаціи. Первые заключены въ основномъ представленіи, вторыя рождаются сами собою во время

произношенія основного предложенія, будучи вызваны той или другой его частью, вокруг которой они и «кристаллизуются». „Грамматически замкнутыя структуры соотвѣтствуютъ предикативнымъ, открытыя—аттрибутивнымъ конструкціямъ; преобладаніе тѣхъ или другихъ обуславливаетъ характеръ рѣчи. Въ первобытныхъ языкахъ господствуетъ ассоціація, а слѣдовательно—открытыя структуры, аттрибутивныя предложенія: видѣнія нескончаемой вереницей чередуются на узкомъ полѣ сознанія говорящаго, одно вызываетъ другое, другое—третье и т. д. У насъ вполне ассоціативная рѣчь—явленіе патологическое, признакъ крайняго аффекта или помѣшательства; но ея преобладаніе, умѣло сдерживаемое апперцепціей, даетъ поэтический слогъ. Напротивъ, чѣмъ болѣе расширяется поле сознанія у человѣка, тѣмъ болѣе въ его рѣчи господствуетъ апперцепція; увеличивается способность анализировать сложныя представленія, является потребность во все большемъ и большемъ числѣ выраженій подчиненности, возникаетъ, другими словами, періодизація рѣчи. Выше всѣхъ языковъ въ мірѣ стоятъ въ этомъ отношеніи оба языка античности, греческій и латинскій; въ нихъ интеллектъ нашелъ себѣ самое совершенное орудіе.

Не могу долѣе останавливаться на этой интересной теоріи; мнѣ она кажется столь же новой, сколько и важной, и я думаю, что рано или поздно она станетъ краеугольнымъ камнемъ въ каждой психологіи стили, развитіе которой—какъ это замѣчаетъ и нашъ авторъ,—лежало внѣ предѣловъ его задачи. Но рядомъ съ господствомъ открытой или замкнутой структуры, еще другой, однородный критерій помогаетъ намъ разобраться въ разнообразіи языковъ и стилей; это *порядокъ частей предложенія*.

Части предложенія—это, согласно грамматикѣ, подлежащее, связуемое, и т. д. Грамматика выработала эти термины при помощи логики, благодаря естественному отождествленію грамматическаго предложенія съ логическимъ сужденіемъ—говору „естественному“, такъ какъ оно состоялось на почвѣ избранныхъ языковъ интеллекта, греческаго и латинскаго. Психологія ихъ признать не можетъ; для нея каждая пара представленій, получившихся при каждомъ раздвоеніи, будетъ состоять изъ одного господствующаго и одного отступающаго. Господствующ-

щее первое привлекаетъ наше вниманіе; естественно, что оно первымъ ищетъ себѣ выраженія въ рѣчи. Если бы наше сознаніе было «пунктуально узкимъ», то всѣ эти представленія вылились бы въ рѣчи въ порядкѣ своего старшинства; но въ томъ-то и дѣло, что оно не пунктуально узкое. Рядомъ съ частичными представленіями существуетъ и совокупное—про того, у кого оно исчезло, мы говоримъ, что онъ «потерялъ нить». Это совокупное представленіе тоже требуетъ себѣ выраженія, какъ таковое; выраженіемъ его единства служить раздѣленіе господствующаго представленія между началомъ и концомъ предложенія: *magna dis immortalibus habenda est gratia*. Опять одни только древніе языки удовлетворяютъ обоимъ требованіямъ развитого и расширеннаго сознанія. Что касается остальныхъ, то они болѣе или менѣе всѣ пожертвовали выраженіемъ единства основного представленія; но многіе пожертвовали также и психологическимъ порядкомъ частей предложенія, этимъ чуднымъ ритмомъ рѣчи, такъ естественно и вѣрно передающимъ волненіе возбужденнаго сознанія: состоялась такъ наз. *стабилизациа* порядка словъ—ее мы имѣемъ въ нѣмецкомъ языкѣ, во французскомъ, во многихъ другихъ. Какъ объяснить это странное антипсихологическое явленіе?

Вундтъ, говоря правду, не объясняетъ его вовсе. Случайныя, неопредѣлимые условія дали перевѣсъ одному какому-нибудь порядку словъ; остальное—дѣло ассоціаціи, естественно предпочитающей наиболѣе проторенную тропу. Но даже если оставить въ сторонѣ недостаточность этого объясненія—оно имѣетъ основаніемъ предположеніе, что вольный порядокъ словъ первоначаленъ въ сравненіи съ постояннымъ; правильно ли это? Въ классическихъ языкахъ мы имѣемъ вольный порядокъ, въ санскритскомъ—постоянный; что же, нужно предположить, что классическіе языки представляютъ въ этомъ отношеніи болѣе древнюю ступень развитія? Пусть такъ; но Вундтъ забываетъ, что постоянный порядокъ имѣется также въ языкѣ жестовъ, а между тѣмъ мы видѣли, что въ дѣлѣ передачи представленій языкъ жестовъ древнѣе языка словъ. Итакъ, понятія «естественный» и «первоначальный» въ данномъ случаѣ не совпадаютъ: постоянный порядокъ, будучи условнымъ, все-таки первоначальнѣе вольнаго. Какъ это объяснить?

На основаніи сказаннаго выше объясненіе затрудненій не представляет. Стремленіе выразить въ рѣчи какъ единство совокупнаго представленія, такъ и естественный порядокъ частичныхъ существовало всегда, но пока въ языкѣ—языкѣ жестовъ—недоставало формальнаго элемента, ему противодействовало стремленіе быть понятнымъ. Языкъ жестовъ не можетъ выразить различія между „отецъ сына убилъ“ и „отца сынъ убилъ“: устраните обязательность условнаго порядка словъ—„отецъ сынъ убить“ въ первомъ, „сынъ отецъ убить“ во второмъ случаѣ—и съ нимъ будетъ устранена всякая возможность выяснить, кто кого убилъ. Когда возникъ языкъ словъ, онъ тоже долгое время былъ (какъ понинѣ языки дальняго востока и другіе) лишенъ формальнаго элемента; понятно, что условный порядокъ словъ сталъ обязателенъ и для него. Но вотъ, наконецъ, явился формальный элементъ; съ нимъ явилась возможность дать волю стремленію къ естественности рѣчи, не жертвуя ей понятностью. Почему только классическіе народы ею воспользовались? Очевидно по той же причинѣ, почему они одни также въ другихъ областяхъ умственности открыли свободу и естественность. Это—вопросъ темный, затрагивающій не одну только психологію языка; но зато ясно, что ослабленіе и потеря формальнаго элемента должны были повести также къ потерѣ вольнаго порядка словъ. Вундтъ оживленно полемизируетъ съ этимъ послѣднимъ объясненіемъ, вносящимъ телеологію въ лингвистическія явленія; мы уже знакомы съ этой его исключительностью, да и ниже еще придется имѣть съ нею дѣло.

Неохотно разстаюсъ съ этой темой; на мой взглядъ такое одухотвореніе психологіей лингвистическихъ явленій, которыя многимъ казались чѣмъ-то сухимъ и мертвымъ—положительно красивое зрѣлище. Учившіеся по-латыни знаютъ, что такое «гипербатъ»; сочетанія въ родѣ вышеприведеннаго *magna dis immortalibus habenda est gratia* подводятся грамматиками подъ понятіе гипербата—и дѣло съ концомъ. Теперь мы знаемъ, какъ объяснить это явленіе: „гипербатъ—выраженіе въ рѣчи единства совокупнаго представленія“. — Древніе риторы не могли этого выяснить—для этого ихъ психологическая теорія была недостаточно развита; они инстинктивно чувствовали важ-

ность отмѣченнаго явленія и отвели ему мѣсто среди «изяществъ» рѣчи. Позднѣйшія времена за ними слѣпо послѣдовали вплоть до XIX вѣка, который, гордый своею сознательностью, презрительно отвергъ сухую и непонятную риторическую рухлядь. Отвергнуть непонятное—это одинъ исходъ, не всегда лучший; предпочтительнѣе—понять его. Современная психологія языка даетъ намъ къ этому средства; можно теперь же предсказать, что съ помощью этихъ средствъ вся древняя риторика, раздавленная подъ бременемъ незаслуженнаго презрѣнія, будетъ восстановлена въ своихъ правахъ, но въ то же время, перенесенная на психологическую почву, превратится въ науку положительную, интересную и важную.

Еще позволю себѣ нѣсколько словъ относительно славянскихъ языковъ. Изъ всѣхъ языковъ цивилизованной Европы только они обладаютъ полной свободой въ чередованіи словъ—предложеніе „отецъ убилъ сына“ по-французски можетъ быть выражено только на одинъ ладъ, по-нѣмецки на два или, если прибѣгнуть къ мѣстоименію *es*, на четыре, только въ славянскихъ языкахъ, какъ и въ обоихъ классическихъ, возможны всѣ шесть; несомнѣнно, что эта свобода стоитъ въ связи съ богатствомъ формальнаго элемента, которымъ славянскіе языки превосходятъ всѣ остальные. Но вмѣстѣ съ этимъ богатствомъ дана возможность полной психологической свободы языка, дана возможность выразить также и единство совокупныхъ и господствующихъ представленій; и мы дѣйствительно встречаемъ ее въ польскомъ, но не въ русскомъ языкѣ. Откуда такое различіе? Оттого, что польская рѣчь выросла и развилась подъ постояннымъ вліяніемъ латинской; это вліяніе въ данномъ случаѣ не внесло въ нее чуждыхъ элементовъ, а заставило только открыть и примѣнить свои врожденные способности. Надъ этимъ стоитъ призадуматься.

VII.

Слово, какъ результатъ анализа предложенія. — Физиоматериалистическая теорія говоренія; ея недостатки. — Психологическая теорія. — Психологическій составъ слова. — Неравныя ассоціаціи элементовъ слова и ихъ роль въ процессѣ говоренія. — Основные и формальные элементы слова. — Значеніе формальныхъ элементовъ. — «Безформенные языки». — Отношенія, выражаемыя формальными элементами. — Основные элементы, какъ носители смысла словъ. — Отношеніе значенія къ звуковому составу словъ. — Психологическіе факторы измѣненія смысла: перемѣна господствующей примѣты и новыя ассоціаціи. — Критика теоріи Вундта. — Метонимическія и метафорическія измѣненія. — Измѣненія общія и частичныя. — Психологія метафоры.

Какъ совокупному представленію соотвѣтствуетъ предложеніе, такъ частичному соотвѣтствуетъ *слово*; какъ частичныя представленія возникаютъ въ нашемъ сознаніи путемъ расчлененія совокупнаго, такъ точно и слово получается путемъ расчлененія предложенія. Это, пока, конечно, только психологическій процессъ на почвѣ нашей обыденной рѣчи; вопросъ о возникновеніи словъ такъ просто не рѣшается. Но мы заранѣе будемъ расположены отдать предпочтеніе такому объясненію историческаго процесса возникновенія словъ, которое будетъ соотвѣтствовать психологическому процессу ихъ ежедневнаго возникновенія въ нашемъ сознаніи. Такое объясненіе можно найти; слѣдуетъ только приобщить результаты нашей предъидущей главы къ тому, что было установлено въ пятой. Тамъ мы видѣли, какимъ образомъ представленія нашли себѣ выраженіе въ языкѣ звуковъ; теперь мы должны прибавить, что эти представленія были совокупными представленіями — что и понятно — и что, слѣдовательно, соотвѣтствующіе имъ комплексы звуковъ были предложеніями, а не отдѣльными словами. Они могли быть очень разнообразны; все же сознаніе подобія совокупныхъ представлений, обусловленнаго участіемъ однихъ и тѣхъ же частичныхъ представлений, должно было чисто ассоціаціоннымъ путемъ повести и къ уподобленію ихъ звуковыхъ выраженій; а дальнѣйшимъ послѣдствіемъ было то, что схожіе звуковыя элементы стали сознаться какъ выраженія частичныхъ представлений, т.-е. какъ «слова» въ нашемъ смыслѣ. — Я не поручусь, что Вундтъ именно такъ представляетъ себѣ

процессъ возникновенія словъ — онъ его нигдѣ не выясняетъ, — но полагаю, что данное объясненіе болѣе всего соотвѣтствуетъ его теоріи (см. I, 565).

Полученное такимъ образомъ слово представляетъ изъ себя несомнѣнно психофизическое явленіе — правда, несомнѣнно только по теоріи Вундта, которую онъ энергично и, думается мнѣ, побѣдоносно отстаиваетъ отъ нападеній фізіоматеріалистовъ, допускающихъ одну только фізіологическую причинность. Главной опорой фізіоматеріалистовъ былъ открытый Брокъ словомоторный центръ въ одной извилинѣ головного мозга, поврежденіе котораго лишало человѣка возможности говорить («афазія»), оставляя ему однако способность мыслить, слышать, помнить и писать слова — тѣмъ болѣе, когда это открытіе было дополнено открытіемъ соотвѣтственнаго сенсорнаго (акустическаго) центра, обуславливающаго способность слышать и запоминать услышанное. Остальное было уже дѣломъ гипотезы; стали допускать также существованіе особыхъ сенсорно-оптического и моторно-графическаго центровъ, пораженіе которыхъ вредно отзывается на способности читать и писать, а также и центра понятій, благодаря которому мы мыслимъ; клѣтки мозга обратились въ склады представленій — однимъ словомъ, пресловутая френологія Галла возникла въ новомъ видѣ. Вотъ противъ этой-то френологіи и ратуетъ Вундтъ; ничуть не оспаривая несомнѣнной фізіологической обусловленности говоренія, онъ настаиваетъ, однако, на влияніи также и чисто психологическихъ условий. Дѣйствительно, фізіологическая теорія сама по себѣ недостаточна: во-первыхъ, она не объясняетъ нѣкоторыхъ особыхъ, относящихся сюда патологическихъ явленій и, съ другой стороны, ведетъ къ конструкціи такихъ, которыя никогда не встрѣчаются; а, во-вторыхъ, въ этихъ явленіяхъ наблюдаются такіа чисто психологическія детали, которыхъ ни одна фізіологическая теорія не можетъ даже попытаться объяснить, не впадая въ абсурдъ. Такъ было замѣчено, что при неполной амнесіи (т.-е. неспособности помнить слова) сначала исчезаютъ имена собственные, затѣмъ существительныя конкретныя и долѣе всѣхъ держатся отвлеченныя; что-жъ, неужели мы должны допустить, что представленія распределены въ нашихъ клѣткахъ по грамматическимъ категоріямъ,

и что онѣ поражаются неизмѣнно въ одномъ и томъ же порядкѣ?

Напротивъ, всѣ трудности исчезаютъ, если отнестись къ словамъ также и съ психологической точки зрѣнія. Что же представляетъ изъ себя слово, психологически рассуждая?

Оно представляетъ довольно сложное явленіе. Возьмемъ любое слово — «дерево», напри^мѣръ; для насъ съ вами это слово «дерево» слагается изъ шести отдѣльныхъ психическихъ элементовъ: 1) *зрительнаго* представленія настоящаго дерева съ его стволомъ, вѣтвями и листвою; 2) того особаго чувства пріятной свѣжести, которымъ сопровождается это представленіе; 3) *слухового* представленія произнесеннаго слова «дерево» какъ комплекса *звуковъ* д, е, р, е и т. д.; 4) *моторнаго* представленія артикуляціи этого слова мускулами *рта*; 5) *зрительнаго* представленія написаннаго или напечатаннаго слова «дерево» въ составѣ его *буквъ* д, е, р и т. д.; 6) *моторнаго* представленія изображенія этого слова мускулами *руки*.—Говорю „для насъ съ вами“, т.-е. для всѣхъ нормальныхъ грамотныхъ людей; но кромѣ того у каждаго изъ насъ могутъ быть и побочные элементы, связанные съ представленіемъ нашего слова. Такъ, если я подъ деревомъ простился съ дорогимъ человѣкомъ, то представленіе этого прощанія можетъ возникнуть самопроизвольно при представленіи самого дерева, оттѣняя и сопровождающее его чувство чувствомъ грусти.

Теперь мы должны имѣть въ виду, что всѣ эти элементы связаны между собою ассоціаціями, но—и это очень важно—не одинаковой силы. Такъ, № 5 естественно вызываетъ № 1, для этого онъ, вѣдь, и существуетъ, — но не наоборотъ: не всегда я могу прочесть слово «дерево», не думая при этомъ о дѣйствительномъ деревѣ, но, наоборотъ, отлично могу представить себѣ дерево, не думая при томъ, какъ соотвѣтственное слово пишется. Мало того: сравнительное значеніе обоихъ главныхъ элементовъ этого комплекса—№ 1 и 3—не одинаково для различныхъ словъ; такъ, если у меня есть братъ Владиміръ, то въ моемъ воображеніи будетъ господствовать элементъ № 1, т.-е. онъ самъ въ составѣ своихъ физическихъ и психическихъ особенностей; я буду представлять его себѣ, какъ личность, въ большинствѣ случаевъ и не думая о томъ,

что его зовутъ Владиміромъ. Иначе обстоитъ дѣло со словомъ «дерево»: тутъ очень часто представленіе слова можетъ замѣнить представленіе самаго предмета. Что же касается такихъ словъ, какъ «справедливость», то вслѣдствіе различнаго вида подходящихъ подъ это понятіе дѣйствій представленіе слова получаетъ полное господство надъ представленіемъ самой вещи. Итакъ, въ процессѣ молчаливаго мышленія, всегда предшествующаго процессу говоренія и могущему происходить независимо отъ него, представленіе слова «Владиміръ» будетъ отсутствовать вовсе, будучи замѣщено представленіемъ чело-вѣка, этимъ именемъ нареченнаго; представленіе слова «дерево» будетъ встрѣчаться попеременно съ представленіемъ предмета; представленіе же слова «справедливость» будетъ возникать всякій разъ, когда мнѣ понадобится соотвѣтствующее понятіе. Другими словами: представленіе слова «справедливость», какъ необходимое, окажется лучше всего затверженнымъ, вслѣдъ за нимъ представленіе слова «дерево» и хуже всего — представленіе слова «Владиміръ». Вотъ почему лица, страдающія прогрессирующей амнезіей, начинаютъ съ того, что Владиміра зовутъ Василемъ, Дмитріемъ или „какъ тамъ тебя“, продолжаютъ тѣмъ, что дерево называютъ шестомъ, тычинкой или „тѣмъ, что растетъ“, и до самаго конца удерживаютъ въ своей памяти справедливость и однородныя съ нею слова.

Точно такъ же теорія неравныхъ ассоціацій слова помогаетъ намъ объяснить и другія патологическія поврежденія способности словопредставленія; ими мы, однако, заниматься не будемъ и перейдемъ къ другимъ вопросамъ, входящимъ въ область психологіи слова. Тотъ же процессъ, который ведетъ къ расчлененію предложенія на слова, распространяется также и на слова и ведетъ къ установленію въ нихъ двоякаго рода элементовъ—*основныхъ* и *формальныхъ*. Такъ, въ фразѣ „крестьянинъ коситъ траву“ мы легко сознаемъ, что самое представленіе кошенія какъ такового ассоциируется только съ частью *кос-*, между тѣмъ какъ часть *-итъ* опредѣляетъ только отношеніе этого дѣйствія къ крестьянину, какъ его подлежащему. Итакъ, *кос-* будетъ основнымъ, а *-итъ*—формальнымъ элементомъ слова *коситъ*; различіе это — совершенно другое, чѣмъ извѣстное изъ грамматики различіе понятій корень, суффиксъ,

основа, окончаніе и т. д.; послѣднія принадлежатъ къ области грамматики и психологіи не интересуютъ. Психологія не касается того, что для сознанія неощутимо; пусть тысячу разъ корнемъ слова «память» будетъ *теп* — для сознанія этотъ корень неощутимъ и психологія съ нимъ не считается. — Разсмотримъ же по порядку — сначала формальные, а затѣмъ основные элементы словъ.

Роль формальныхъ элементовъ двоякая; они опредѣляютъ взаимное отношеніе словъ въ предложеніи, но они же обусловливаютъ и грамматическую категорію каждаго отдѣльнаго слова. *Коса, косы; косой, косая; коситъ, косятъ* — только формальные элементы даютъ намъ право относить первую пару словъ къ существительнымъ, вторую къ прилагательнымъ, третью къ глаголамъ. Теперь спрашивается, какъ быть съ тѣми языками, которые не знаютъ формальнаго элемента. Можно ли будетъ сказать про нихъ, что они обладаютъ существительными, прилагательными, глаголами? Полагаю, что нѣтъ; въ нихъ будутъ, конечно, обозначенія предметовъ, качествъ, состояній, но что эти логическія категоріи не совпадаютъ съ грамматическими, видно изъ такихъ примѣровъ, какъ «толщина», «синѣть», «движеніе» и т. д. Съ этой точки зрѣнія и споръ о томъ, какой элементъ языка древнѣе, имя или глаголъ, теряетъ значительную долю своего интереса; Вундтъ, въ противоположность къ старымъ лингвистамъ, рѣшаетъ его въ пользу имени, но его главное доказательство — что предметъ самопредставимъ, состояніе же нѣтъ — мало убѣдительно. Наименованія вызываются интересомъ, который окружающіе предметы имѣютъ для человѣка, ихъ службой его потребностямъ; первоначальныя потребности — ѣсть, пить — прежде всего должны были вызывать наименованія; а соотвѣтствовали ли эти наименованія нашимъ глаголамъ или именамъ (пища, питье) — этого намъ не рѣшить. Подобно философу Анаксимандру и я бы поставилъ въ началѣ развитія словъ то неопредѣленное *ареіон*, изъ котораго со временемъ развились стихіи языка.

На этомъ основаніи старые лингвисты и называли такіе языки «безформенными» (*formlos*); Вундтъ не допускаетъ такого обозначенія, указывая на то, что взаимное отношеніе словъ въ предложеніи, не опредѣляемое отсутствующимъ фор-

мальнымъ элементомъ, передается установленнымъ порядкомъ словъ. Съ этой точки зрѣнія онъ различаетъ «внѣшнюю» и «внутреннюю» форму; но врядъ ли эта терминологія удачна: сочетаніе «внутренняя форма» звучитъ противорѣчіемъ. Правильнѣе было бы, оставляя терминъ «безформенный» въ силѣ, говорить о (жалкихъ и недостаточныхъ) суррогатахъ формальнаго элемента въ тѣхъ языкахъ, которымъ нашъ авторъ приписываетъ «внутреннюю форму». Но это не такъ важно; сосредоточимся на формальномъ элементѣ и на тѣхъ языкахъ, которые имъ обладаютъ. Какого рода отношенія выражаетъ онъ?

Ихъ много: родъ, число, падежъ, степень, залогъ и т. д. И Вундтъ добросовѣстно ихъ разбираетъ одно за другимъ. Разборъ этотъ ведется на обширномъ лингвистическомъ основаніи: привлекаются языки, имѣющіе вмѣсто родовъ категоріи сравнительной цѣнности, языки, имѣющіе вмѣсто обоихъ нашихъ чиселъ еще не только двойственное, но и тройственное, языки, имѣющіе безъ малаго сотню падежей и добрую дюжину залоговъ и т. д. Понятно, что всѣ эти различія даютъ богатый матеріалъ для психологическихъ объясненій; все же мы за авторомъ въ эти дебри не послѣдуемъ. Ограничимся интереснымъ результатомъ, что первыми въ области глаголовъ возникаютъ залого (съ видами включительно), вторыми по времени—наклоненія и послѣдними—времена; другими словами, первой появляется потребность выразить внѣшнюю окраску представляемаго дѣйствія, второй—его отношеніе къ говорящему, и послѣдней—его приуроченіе къ той или другой временной ступени.

Переходимъ къ основному элементу. Онъ—носитель представленія, того «значенія», которое мы приписываемъ слову. Въ какомъ отношеніи однако находится значеніе къ своему носителю?

Возьмемъ, чтобы выяснитъ себѣ этотъ вопросъ, возможно конкретный и прозрачный случай. Передъ моими глазами мелькнула птичка, возбудившая мое вниманіе яркимъ цвѣтомъ своихъ перьевъ; ей готово имя—синица. Что же, въ сущности произошло? Въ нашей птичкѣ много различныхъ примѣтъ, какъ постоянныхъ (такой-то клювъ, такія-то ножки и т. д.), такъ и переменныхъ (она то порхаетъ, то летаетъ, то ще-

бечеть, то ловить мушекъ и т. д.), но поводомъ къ наименованію послужила только одна изъ нихъ; почему? Потому что въ данную минуту эта примѣта была «господствующей». Это обстоятельство находится въ связи съ двумя свойствами нашей умственной природы, которыя Вундтъ называетъ «единствомъ» апперцепціи и ея «узостью». Въ силу единства апперцепціи выдѣленный рамкой вниманія предметъ всегда ощущается какъ нѣчто цѣльное и единое, требующее единого наименованія; въ силу ея узости изъ всѣхъ примѣтъ предмета только одна дѣлается непосредственнымъ объектомъ вниманія, почему наименование и дается исключительно по ней. Если теперь обозначить постоянныя свойства предмета буквой А, а переменныя буквой Х, то формула $A+X$ будетъ обозначеніемъ всего предмета, какъ единого объекта нашей апперцепціи; но его наименование не ассоціируется непосредственно съ $A+X$, а съ господствующей примѣтой d , которая у синицы принадлежитъ къ постояннымъ: формулой наименованія (n) будетъ $nd (A+X)$, причемъ скобки означаютъ, что совокупность прочихъ примѣтъ отступаетъ въ сознаніи передъ господствующей. — Но разъ наименование дано—оно относится безразлично ко всѣмъ примѣтамъ птицы; я говорю о клювѣ синицы, объ остовѣ синицы, о пѣніи синицы, совершенно не думая о ея синемъ цвѣтѣ. Господствующая примѣта d (синій цвѣтъ) отходитъ въ число прочихъ примѣтъ $A+X$ и съ ними ступевывается, а вмѣсто нея выдѣляется каждый разъ новая господствующая примѣта d_1 (клювъ), d_2 (остовъ), d_3 (голосъ) Теперь ясно, что каждая изъ этихъ новыхъ господствующихъ примѣтъ можетъ подать поводъ къ новой ассоціаціи; и дѣйствительно, мы въ настоящее время обнимаемъ общимъ наименованіемъ синицы многихъ птицъ, имѣющихъ съ первоначальной синицей («лазоревкой») общее построеніе тѣла, но не цвѣтъ; мало того, синицей преимущественно мы называемъ черноголовку (какъ самую распространенную), на которой нѣтъ ни одного синяго пера. Это доказываетъ, что первоначальная господствующая примѣта d окончательно отошла въ группу примѣтъ $A+X$ и затерялась въ ней, между тѣмъ какъ изъ этой группы выдвинулась новая примѣта d_1 , которая стала господствующей и дала поводъ къ новымъ ассоціаціямъ.

Вотъ, стало быть, двойная психологическая основа измѣненія значенія словъ: измѣненіе господствующей примѣты и вызванная имъ новая ассоціація. А разъ это такъ, то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ рождаются вопросы: 1) чѣмъ вызвано измѣненіе господствующей примѣты? 2) каковъ характеръ новой ассоціаціи? Смотри по различнымъ отвѣтамъ на эти вопросы, получаются различные процессы измѣненія значенія словъ; но прежде чѣмъ представить ихъ читателю, я долженъ указать на одинъ—какъ мнѣ думается—ошибочный элементъ въ построеніи Вундта, которому мы слѣдовали до сихъ поръ.

Вундтъ дѣлитъ процессъ измѣненія смысла словъ на двѣ крупныя категоріи—измѣненія общія и частичныя; примѣромъ онъ беретъ два родственныя по значенію слова, *rescupia* и *moneta*. Первое, по своему первоначальному значенію—«скотъ»; а такъ какъ въ первобытномъ обществѣ скотъ служилъ орудіемъ обмѣна, каковая роль впослѣдствіи перешла къ деньгамъ, то и самое слово *rescupia* со временемъ стало обозначать «деньги». Такой постепенный переходъ значенія словъ, вызванный измѣненіемъ культурныхъ условій, Вундтъ называетъ «общимъ измѣненіемъ смысла» (*regulärer Bedeutungswandel*). Напротивъ, слово *moneta* было первоначально эпитетомъ богини Юноны («Внушительница», отъ *moneo*); затѣмъ оно стало обозначать монетный дворъ, находившійся въ Римѣ у храма этой богини, и, наконецъ—монету. Такой внезапный, какъ онъ думаетъ, переходъ значенія, вызванный случайными мѣстными условіями, Вундтъ называетъ «измѣненіемъ частичнымъ» (*singulärer Bedeutungswandel*). Мнѣ кажется, однако, что разница заключается здѣсь не въ условіяхъ, а самомъ способѣ этого измѣненія. Въ *rescupia* этотъ способъ такой же какъ и въ «синица»: вмѣсто (неизвѣстнаго намъ) первоначальнаго господствующаго представленія *d*, стало выдвигаться другое *d*₁ («орудіе обмѣна»), въ силу чего *rescupia* стало означать всякое орудіе обмѣна, м. пр. деньги, и затѣмъ—только деньги. Въ *moneta* мы, напротивъ, не имѣемъ никакого измѣненія господствующаго представленія; здѣсь дѣйствовала не ассоціація по сходству (т.-е. по общности господствующей примѣты), а по смежности: монетный дворъ находился *рядомъ* съ храмомъ Монеты и поѣтому унаслѣдовалъ ея

названіе. Такія измѣненія я предложилъ бы выдѣлить въ особый классъ и назвать *метонимическими*, въ противоположность къ занимавшимъ насъ до сихъ поръ *метафорическими*. Возьмемъ другой, болѣе родственный намъ и болѣе выразительный примѣръ—слово *борода*. Его первоначальное значеніе, какъ показываютъ другіе индоевропейскіе языки (*Bart, barba*)—то, въ которомъ мы его употребляемъ нынѣ: волосы, покрывающіе нижнюю часть лица. По-нѣмцки оно обозначаетъ также и плоскую часть ключа («бородку»), очевидно въ силу ассоціаціи по сходству и метафорическаго перехода: новое господствующее представленіе — плоскій наростъ на закругленномъ предметѣ. Но въ польскомъ языкѣ *broda* употребляется также въ значеніи «подбородокъ» — тутъ произошла ассоціація по смежности и метонимическое измѣненіе значенія.

Возвращаясь къ метафорическимъ измѣненіямъ, мы, дѣйствительно, можемъ найти въ нихъ категорію общаго и категорію частичнаго перехода смысла, и эти категоріи будутъ соответствовать тѣмъ категоріямъ общаго и частичнаго измѣненія звука, о которыхъ рѣчь будетъ въ слѣдующей главѣ; какъ тамъ, такъ и здѣсь измѣненія общаго характера происходятъ независимо, измѣненія частичнаго характера—подъ вліяніемъ какихъ-нибудь другихъ предметовъ или словъ. Законъ, обуславливающій общія измѣненія, гласитъ такъ: съ теченіемъ времени болѣе яркія примѣты, какъ господствующія, уступаютъ свое мѣсто болѣе существеннымъ. Такъ въ нашемъ первомъ примѣрѣ — синицѣ — мѣсто первоначальной яркой примѣты, синяго цвѣта, заняла болѣе существенная, построеніе тѣла; такъ въ понятіи «государство» представленіе государя смѣнилось представленіемъ политической самостоятельности; такъ въ понятіи «деревня» подавшая поводъ къ этому наименованію примѣта стушевалась передъ болѣе существенной, крестьянской общины; въ силу всѣхъ этихъ переходовъ мы называемъ черноголовку синицей, Францію—государствомъ, Ватерлоо — деревней, хотя они подъ первоначальное значеніе этихъ наименованій вовсе не подходятъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ причина измѣненія находится въ самихъ измѣняющихъ свое значеніе словахъ независимо

отъ какихъ бы то ни было постороннихъ предметовъ или словъ; въ совершенно другомъ положеніи оказываются *частичныя* измѣненія. Они происходятъ подъ вліяніемъ постороннихъ представленій; эти представленія, въ свою очередь, могутъ либо находиться въ томъ же предложеніи, либо не находиться въ немъ. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣйствіе вблизи, во второмъ — дѣйствіе издали; такъ какъ по гречески слово «близко» гласитъ *anchi*, а слово «далеко» *têle* то мы измѣненія первой категоріи будемъ называть анхипатическими, а второй — телепатическими. Возьмемъ сопоставленія «государство и провинція», «государство и личность», «государство и церковь» — нѣтъ сомнѣній, что мы въ каждомъ случаѣ связываемъ со словомъ «государство» другое господствующее представленіе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти частичныя представленія заключаются въ общемъ понятіи «государство» и лишь выдѣляются изъ него путемъ анализа; такъ-то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ анхипатическое дѣйствіе ведетъ къ *суженію* понятія. Теперь представимъ себѣ, что въ силу какихъ-нибудь условій одно изъ перечисленныхъ сопоставленій получить перевѣсъ надъ остальными — результатомъ будетъ окончательное суженіе понятія. Телепатическое дѣйствіе мы наблюдаемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда или нововозникшій предметъ требуетъ себѣ наименованія, или какое-нибудь слово дѣлается неупотребительнымъ: результатъ въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же, какое-нибудь родственное слово «переносится» на нововозникшій или оставшійся безъ наименованія предметъ. Возьмемъ и здѣсь примѣры. Съ изобрѣтеніемъ ключей отдѣльныя ихъ части потребовали себѣ наименованій; такъ возникло слово *Bart* («бородка») для обозначенія части ключа. Слово „ходить“ по латыни гласило *ire*; со временемъ эта форма стала неупотребительной, ее замѣнилъ родственный глаголъ *ambulare* (собств. «ходить кругомъ», «гулять»), который и перешелъ во французскій языкъ, (*ambulare*—*aller*). Психологически дѣло объясняется тѣмъ, что въ словахъ *Bart* и *ambulare* первоначальное господствующее значеніе ступевалось и уступило мѣсто другому, болѣе общему; но эта уступка произошла подъ вліяніемъ не естественнаго ихъ развитія, а постороннихъ представленій, требовавшихъ включенія въ нихъ.

Включеніе это было однако актомъ синтетическимъ, и результатомъ телепатическихъ воздѣйствій оказалось *расширеніе* первоначальнаго понятія.

Вотъ какъ я бы отвѣтилъ на первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ—на вопросъ о причинѣ, вызывающей измѣненіе господствующей примѣты; этотъ отвѣтъ существенно отличается отъ даннаго Вундтомъ, но онъ покоится на его изслѣдованіяхъ и, думается мнѣ, совершенно въ духѣ его теоріи. Что касается второго вопроса, вопроса о характерѣ новыхъ ассоціацій, совершающихся послѣ измѣненія господствующей примѣты, то на него вполне исчерпывающимъ образомъ отвѣтилъ самъ Вундтъ (II, 487 сл.). Онъ различаетъ ассоціаціи представленій и ассоціаціи чувствъ; первыя въ свою очередь распадаются на ассимиляціи, т.-е. ассоціаціи внутри той же области представленій (зрительной, напримѣръ), и на компликаціи, т.-е. ассоціаціи между различными областями представленій (зрительной и слуховой, напримѣръ). Такъ «ножка стола» будетъ ассимиляціонной ассоціаціей, такъ какъ и нога человѣка и ножка стола относятся къ одной и той же зрительной области; «теплые цвѣта»—компликаціонная ассоціація, вызванная общимъ представленіемъ солнечныхъ лучей, въ ихъ оптическомъ и теплородномъ дѣйствіи; наконецъ, «розовые мечты», «сѣрая дѣйствительность», «черная печаль» и т. д.—ассоціаціи чувствъ. Особенно заслуживаютъ вниманія эти послѣднія ассоціаціи и ихъ обработка Вундтомъ: ими объясняются психологически и оправдываются нѣкоторые явленія въ новѣйшей (т. наз. декадентской) поэзіи, хотя, разумѣется, не то чрезмѣрное увлеченіе ими, которое дискредитировало ее.

Я здѣсь намѣтилъ только главные рубрики въ классификаціи Вундта; въ частности, а также въ психологической разборъ каждой изъ нихъ, произведенный имъ съ обычной тщательностью, я входить не буду. Но не могу оставить безъ вниманія одинъ вопросъ общинтереснаго характера, пространно обсужденный Вундтомъ и рѣшенный имъ, какъ мнѣ кажется, не вполне правильно.

Извѣстно, какую роль въ образованіи языка старинная лингвистика приписывала *метафорѣ*; согласно нѣкоторымъ, весь нашъ языкъ представляетъ изъ себя «словарь поbledшихъ

метафоръ». При такомъ широкомъ пониманіи слово «метафора» терлеть всякую цѣнность для насъ; попытки его ограниченія заслуживаютъ, поэтому, всякаго одобренія. Критеріемъ такого ограниченія является, по Вундту, сознательность говорящаго; если нѣтъ сознательности, то нѣтъ и метафоры. „Когда мы говоримъ о *ножкахъ стола*, называемъ нужду *горькой*, печаль *тяжелой* и т. д., то мы сознаемъ эти слова не какъ переносныя, а какъ адекватныя наименованія самихъ предметовъ и настроеній, и нѣтъ причины допускать, что дѣло обстоитъ иначе, когда всѣ эти выраженія возникали. И тогда ножки стола принимались за дѣйствительныя ноги“ и т. д. (II, 553). Итакъ, одно—общее измѣненіе значенія, другое—метафора; первое имѣетъ своимъ психологическимъ основаніемъ одновременную (*simultane*), вторая—последовательную (*successive*) ассоціацію.

Я отчасти уже опровергъ это разсужденіе Вундта тѣмъ, что перевелъ его по-русски; дѣйствительно, уже одно то, что *die Füße des Tisches* у насъ называются не ногами, а ножками стола (ср. схожія употребленія словъ *ручка*, *бородка*, *очко*, *рыльце*, *корешокъ* и т. д.), доказываетъ, что первый, употребившій это слово, сознавалъ разницу между ними и настоящими ногами. Но вообще я не думаю, чтобы различіе симультанной и сукцессивной ассоціаціи имѣло какую-нибудь цѣнность въ нашей области. Конечно, психологическое значеніе симультанной ассоціаціи неоспоримо, и Вундтъ, установившій это понятіе путемъ т. наз. тахистоскопическихъ опытовъ (ср. I, 525, гдѣ приводятся преинтересныя заключенія на основаніи необнародованнаго еще матеріала), имѣетъ право настаивать на немъ; но специально въ нашемъ случаѣ оно врядъ ли можетъ сослужить какую-нибудь службу. Сущность симультанной ассоціаціи состоитъ въ томъ, что новое представленіе при самомъ своемъ возникновеніи ассоциируется съ элементами нашихъ воспоминаній; если же оно успѣло проникнуть въ наше сознание, и мы лишь затѣмъ находимъ сходство между нимъ и другимъ представленіемъ, сохранившимся въ нашей памяти, то это будетъ сукцессивная ассоціація. Теперь нетрудно убѣдиться, что въ языкѣ не могло сохраниться никакихъ слѣдовъ того или другого возникновенія. Возьмемъ

любую метафору, хотя бы изъ Гл. Успенскаго («Богъ грѣхамъ терпитъ», сцена драки), „вышибай, ребята, изъ купчины днище!“ — очевидно, слово «днище» употреблено здѣсь не въ обычномъ значеніи; какъ это объяснить? Если парень былъ родомъ изъ деревни, промышляющей рыболовствомъ, то болѣе чѣмъ вѣроятно, что при первомъ взглядѣ на объемистый животъ купца у него возникло представленіе опрокинутой лодки; такимъ образомъ мы имѣемъ ассоціацію симультанную. Но возможно, что это представленіе вовсе не было у него привычнымъ, и что только желаніе найти игривое уподобленіе его ему подсказало; тогда ассоціація была сукцессивной. И такъ вездѣ: данное тропическое выраженіе у одного будетъ результатомъ симультанной ассоціаціи, у другого — сукцессивной, у третьяго — ни той, ни другой, а повтореніемъ слышаннаго отъ другихъ оборота. А если такъ, то ясно, что характеръ процесса ассоціаціи критеріемъ служить не можетъ, а только характеръ ассоціаціи какъ таковой (по сходству или по смежности, путемъ ассимиляціи или компливаціи и т. д.).

Итакъ, спросать, нѣтъ никакой разницы между метафорой и простымъ переходомъ значенія? Нѣтъ, есть; но критеріемъ долженъ служить характеръ умственного процесса не у автора даннаго оборота, а у насъ самихъ, которыми языкъ живетъ и поддерживается. Для насъ «днище» въ значеніи «животъ» — выраженіе метафорическое, такъ какъ оно вызываетъ у насъ болѣе или менѣе ясно представленіе опрокинутой лодки или бочки; это — слово-аккордъ. Напротивъ, слово «животъ» никакого другого представленія, кромѣ именно этого, не вызываетъ, это — слово-тонъ; только исторія языка указываетъ намъ, что и оно получило свое настоящее значеніе путемъ измѣненія смысла. И опять мы коснулись коренной односторонности метода Вундта — его стремленія объяснять всѣ явленія языка психологическимъ анализомъ умственного процесса при ихъ *возникновеніи*, оставляя въ сторонѣ тотъ другой, не менѣе важный процессъ, благодаря которому эти явленія въ языкѣ *удержались*, другими словами, его индивидуально-психологической, а не народно-психологической точки зрѣнія. Но и здѣсь мы только подчеркиваемъ эту особенность, предоставляя себѣ вернуться къ ней въ заключительной главѣ.

VIII.

Звукъ, какъ послѣдній элементъ рѣчи.—Психологія измѣненія звуковъ.—Просторъ нормальной артикуляціи.—Ассоціація звуковъ, какъ причина ихъ измѣненія.—Классификація измѣненій звуковъ.—Измѣненія общія и частичныя.—Недостатки метода экспериментальной психологіи.—Необходимость дополненія теоріи Вундта.

И вотъ, наконецъ, мы дошли до послѣднихъ элементовъ рѣчи—*звуковъ*. Отъ ихъ подбора зависитъ внѣшняя фізіономія, такъ сказать, языка; они прежде всего обращаютъ на себя наше вниманіе, когда мы начинаемъ знакомиться съ чужой рѣчью; всякое измѣненіе внѣшняго облика языка, совершающееся въ теченіе столѣтій его жизни, есть прежде всего измѣненіе его звукового состава. Чѣмъ же вызывается оно? Какъ объяснить психологически феноменъ измѣненія звуковъ?

И здѣсь народная психологія прибѣгаетъ къ помощи психологіи индивидуальной; она имѣетъ полное основаніе это дѣлать, такъ какъ всѣ факты, утвердившіеся въ языкѣ совокупности, возникали въ психофизическомъ естествѣ индивидуевъ. А разъ на сцену является индивиду—экспериментъ вступаетъ въ свои права. Что же обнаруживаетъ экспериментъ относительно измѣненій въ звуковомъ составѣ словъ, происходящихъ при ихъ воспроизведеніи индивидуемъ?

Его результаты довольно любопытны. Прежде всего оказываются маленькія, чуть замѣтныя колебанія въ произношеніи звуковъ, объяснимыя тѣмъ, что всякая нормальная артикуляція допускаетъ для говорящаго нѣкоторый просторъ. Одинъ говоритъ *дверь*, *первый*, *любовь*, другой *дверь*, *первыи*, *любовь*, при чемъ между этими двумя крайними артикуляціями звуковъ *д*, *р*, *в* встрѣчается масса посредствующихъ оттѣнковъ, неувимыхъ для уха, установленіе которыхъ было бы возможно только при помощи особыхъ микрометрическихъ измѣреній. Но кромѣ этого простора нормальной артикуляціи экспериментъ обнаруживаетъ также крупныя несоотвѣтствія, принадлежащія къ области «абберраціонныхъ явленій»; эти звуковыя абберраціи съ нѣкоторыхъ поръ обратили на себя вниманіе какъ медиковъ (Куссмауля, напр.), такъ и психологовъ и лингвистовъ, которые раздѣлили ихъ на три категоріи: дислаліи (неволь-

наго затрудненія артикуляціи, напр. заиканія), паралалии (вставки, пропуска или перемѣщенія звуковъ, напр., «сосредоточенный», «баушка», «фершалъ», или „знакъ лицомое, а гдѣ васъ помнилъ, не увижу“, какъ говоритъ у Лѣскова пьяный Препотенскій) и ономатомиксіи (путанія словъ, напр. «протомонетъ» — прошу замѣтить, что рѣчь идетъ объ *индивидуальныхъ* абберраціяхъ). Психологически всѣ эти явленія сводятся къ одному — къ ассоціаціи звуковъ.

Таковы данныя индивидуальной психологіи. Разсмотримъ теперь данныя народной психологіи, т.-е. звуковыя измѣненія въ собственно такъ называемыхъ языкахъ; а затѣмъ умѣстно будетъ поставить вопросъ, насколько послѣднія могутъ быть объяснены при помощи первыхъ. Конечно, никто не требуетъ отъ психолога, чтобы онъ исчерпалъ весь безконечный лингвистическій матеріалъ сюда относящійся — для него достаточно отмѣтить важнѣйшіе типы звуковыхъ измѣненій; главное — это психологическіе законы ими управляющіе.

Первые два типа, на которые распадается звуковыя измѣненія — это измѣненія *общія* (I) и *частичныя* (II). Подъ общими мы разумѣемъ тѣ, которымъ подверглись всѣ однородные звуки даннаго языка, независимо отъ ихъ отношенія къ другимъ звукамъ: сюда относится исчезновеніе въ большинствѣ индоевропейскихъ языковъ такъ называемыхъ *mediae aspiratae* (т.-е. bh, dh, gh), законъ Гримма о «передвиженіи звуковъ» въ германскихъ языкахъ (ср. измѣненія *b* и *d* въ слѣдующихъ прогрессіяхъ: лат. *lub-gicus*, гот. *sliupan*, нѣм. *schlүpfen*, лат. *duo*, англ. *two*, нѣм. *zwei*), а равно и явленія славянскаго полногласія и краткогласія. Сложнѣе явленія частичныя, т.-е. измѣненія однихъ звуковъ подъ вліяніемъ другихъ: такъ, напр., ясно, что въ *плету*, *плести* переходъ звука *т* въ *с* состоялся подъ вліяніемъ слѣдующаго *т* — гдѣ его нѣтъ, тамъ онъ остается неизмѣненнымъ (плетень, плетка и т. д.). Такимъ образомъ мы въ относящихся сюда явленіяхъ должны различать два рода звуковъ — звукъ оказывающій вліяніе и звукъ претерпѣвающій его — «индуцирующій» и «индуцируемый», по терминологіи Вундта; въ нашемъ случаѣ первое, коренное *т* будетъ индуцируемымъ, второе — индуцирующимъ звукомъ. Теперь возможны два случая.

(II А) Во-первыхъ, оба звука, индуцируемый и индуцирующій, могутъ принадлежать къ одному и тому же слову, какъ это было во взятомъ нами примѣрѣ; получается «дѣйствіе вблизи», которое Вундтъ называетъ *Contactwirkung*, мы же опять будемъ называть «анхипатическимъ». При этомъ дѣйствіе можетъ заключаться въ уподобленіи различныхъ звуковъ (тверское *рдинный* вм. *родной*) или наоборотъ въ расподобленіи одинаковыхъ (*плести* вмѣсто *плетти*). Въ обоихъ случаяхъ индуцирующій звукъ можетъ или предшествовать индуцируемому или слѣдовать за нимъ; такъ греческое *ор-та* («глазъ») дало въ аттическомъ говорѣ *отта*, но въ эоійскомъ *орра*. Комбинируя эти возможности, мы получаемъ четыре разновидности анхипатическаго дѣйствія: прогрессивную и регрессивную ассимиляцію, прогрессивную и регрессивную диссимиляцію. Замѣтимъ тутъ же, что регрессивныя дѣйствія значительно преобладаютъ надъ прогрессивными.

(II В) Во-вторыхъ, индуцирующій и индуцируемый звуки могутъ принадлежать къ различнымъ словамъ; получается «дѣйствіе издали», которое Вундтъ называетъ *Fernewirkung*, мы же будемъ называть «телепатическимъ». Такъ, чтобы сразу взять примѣръ, ясно, что въ солдатскомъ *потонный мостъ* (вм. *понтонный*) исчезновеніе звука *н* вызвано не слѣдующимъ *т*—этотъ звукъ всегда сохраняетъ, а не разрушаетъ предшествующій носовой—а смутно мелькнувшимъ въ сознаніи говорящаго глаголомъ *потонуть*. Индуцирующее слово можетъ возникнуть въ сознаніи или благодаря формальному родству съ индуцируемымъ, или благодаря реальному; въ первомъ случаѣ оно произведетъ дѣйствіе только на формальные элементы индуцируемаго слова, но во второмъ также и на основные. Такимъ образомъ, вся категорія телепатическихъ дѣйствій будетъ состоять изъ трехъ типовъ уподобленій (несомнѣнныхъ расподобленій при данныхъ условіяхъ не бываетъ).

(II В₁) Первый типъ: уподобленія грамматическія. Мы спрягаемъ: *дамъ, дадутъ, дано*: въ народѣ существуетъ вмѣсто *дано* форма *дадено*, очевидно подъ вліяніемъ удвоенія въ *дадутъ*. Мы склоняемъ *тѣло, тѣла* (мн. ч.), въ старину склоняли *тѣло, тѣлеса*; какъ же *тѣлеса* перешли въ *тѣла*? Очевидно подъ вліяніемъ словъ въ родѣ *дѣло*, которое и въ старину давало

дѣла; здѣсь измѣненіе состоялось въ силу пропорціи *дѣло: дѣла, = тѣло: х*. Какъ видитъ читатель, оба случая не одинаковы: въ первомъ индуцирующее слово *дадутъ* принадлежитъ къ тому же глаголу, какъ и индуцируемое *дано*, во второмъ индуцирующее *дѣла*—форма другого, хотя и грамматически однороднаго существительнаго, чѣмъ индуцируемое *тѣла*; въ первомъ мы имѣемъ внутреннее, во второмъ—внѣшнее грамматическое уподобленіе ¹⁾.

(II В₂) Второй типъ: уподобленія реальныя съ воздѣйствіемъ на формальныя элементы слова. Индуцирующее слово возникаетъ въ сознаніи вслѣдствіе своего реальнаго родства (по сходству смысла или же по контрасту), съ индуцируемымъ и оказываетъ вліяніе на его окончаніе (или суффиксъ). Это типъ довольно рѣдкій; такъ въ простонародномъ *обуѣжа* (= обувь) фонетически неправильное *ѣжа* возникло несомнѣнно по аналогіи со словомъ *одеѣжа*, схожимъ съ нимъ по смыслу.

(II В₃) Третій типъ: уподобленія реальныя съ воздѣйствіемъ на основныя элементы слова. Это многочисленная категорія т. наз. народныхъ этимологій; сюда относится приведенный выше *потонный мостъ* и *Облаканскія горы, долбица умноженія и мелкоскопъ* и т. д.

Таковъ въ самыхъ общихъ и грубыхъ чертахъ схематизмъ звуковыхъ измѣненій; посмотримъ теперь, согласно намѣченной выше программѣ, насколько подведенныя подъ него явленія языка могутъ быть объяснены результатами экспериментальной, т.-е. индивидуальной, психологіи. Одна рубрика всецѣло ими покрывается; это—послѣдняя изъ разсмотрѣнныхъ нами, рубрика народныхъ этимологій (II В₃), вполне соответствующая указаннымъ выше явленіямъ ономастикіи. Но это вмѣстѣ съ тѣмъ самая прозрачная и наименѣе цѣнная для лингвиста ру-

¹⁾ Самъ Вундтъ, однако, правильно замѣчаетъ, что разграничить оба случая нельзя, что при внутреннемъ уподобленіи часто и внѣшнее можетъ сыграть вспомогательную роль и наоборотъ. Такъ мы въ первомъ случаѣ можемъ сказать, что на образованіе формы *дано* не осталась безъ вліянія пропорція *найдутъ: найдено, = дадутъ: х*, и во второмъ случаѣ, что сходство съ именительнымъ единственнаго числа *тѣло* посодѣйствовало упороченію множественнаго числа *тѣла*.

брика; что же касается остальныхъ, то съ ними затрудненій гораздо больше.

Прежде всего ясно, что явленія общаго измѣненія звуковъ находятся въ связи съ удостовѣреннымъ индивидуальной психологіей просторомъ нормальной артикуляціи: звуки *d, t, z*, произносятся однимъ и тѣмъ же органомъ; мы можемъ себѣ представить безконечное множество посредствующихъ звуковъ между ними, а стало быть при посредствѣ множества поколѣній и вполне незамѣтный переходъ отъ одного къ другому. Все же одинаковое *направленіе* этого перехода остается необъясненнымъ; что могло быть его причиной? Географическія условія? На нихъ указывали многіе; но можно безъ труда доказать призрачность этой теоріи, какъ ведущей къ непримиримымъ противорѣчіямъ. Или смѣшеніе народовъ, вліяніе чужой расы? Но опытъ доказываетъ, что именно звуковой составъ языка менѣе всего поддается чужому вліянію. Вундтъ склоненъ признать культурныя условія причиной общихъ звуковыхъ измѣненій; дѣйствительно, прямо или косвенно они только и могли быть ихъ причиной. Но спеціальныя примѣненія этого принципа—такъ явленія Гриммова «передвиженія звуковъ» онъ старается объяснить постепенно усиливающейся быстротой артикуляціи—врядъ ли многимъ покажутся убѣдительными; въ главной своей части загадка осталась загадкой, и приводимому Вундтомъ психологическому принципу еще рано присуждать побѣду надъ фізіологическимъ.

А между тѣмъ осталась еще огромная категорія анхипатическихъ и телепатическихъ дѣйствій, обнимающая громадное большинство всѣхъ измѣненій въ языкахъ; нетрудно убѣдиться, что для ихъ объясненія вышеприведенныя данныя экспериментальной психологіи—явленія дислаліи и паралаліи—никакого значенія имѣть не могутъ. Тѣ явленія сплошь и рядомъ наблюдаются при исключительной, ненормальной обстановкѣ: или говорящій самъ—ненормальный человѣкъ (заика и т. п.), или ему приходится воспроизводить мудренныя или иностранныя слова, затрудняющія ассоціацію между смысломъ и формой, или, наконецъ, замѣченное явленіе—единичное, котораго и самъ говорящій уже не повторить; напротивъ, языкъ создается и воспроизводится людьми нормальными, переходя отъ

одного поколѣнія въ другому при самыхъ удобныхъ условіяхъ усвоенія и укрѣпляется въ своихъ носителяхъ путемъ многократнаго воспроизведенія. Да и самъ Вундтъ, повидимому, не очень дорожитъ дислаліей и паралаліей; онъ только полемизируетъ противъ всякаго телеологическаго объясненія (въ смыслѣ «стремленія къ удобопроизносимости» или «стремленія къ сохраненію характерныхъ примѣтъ») и настаиваетъ на необходимости исключающаго всякую сознательность психологическаго обоснованія. При такихъ условіяхъ единственнымъ орудіемъ объясненія остается *ассоціація*; ею и пользуется Вундтъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Присмотримся къ его разсужденіямъ.

Одна рубрика, дѣйствительно, прямо напрашивается на такое объясненіе; это рубрика телепатическихъ дѣйствій (II, В). Она во всѣ времена, лишь только было признано ея существованіе, объяснялась именно путемъ ассоціаціи, и Вундтъ вноситъ только одну небольшую поправку — правда, психологически довольно существенную — въ ходячій методъ (I, 458 сл.). Ходячій методъ сводитъ телепатическое дѣйствіе къ «послѣдовательной ассоціаціи словъ»: сначала въ моемъ воображеніи возникаетъ имѣющее быть произнесеннымъ *тѣlesa* какъ множественное къ *тѣло*; оно по грамматическому сходству вызываетъ параллельную группу *дѣла* *дѣло*, послѣдствіемъ чего является новообразование *тѣла*. Это представленіе неправильно: если бы у меня *тѣlesa* ассоціировалось съ *дѣла*, то я произнесъ бы не *тѣла*, а *дѣла*; слѣдовательно, ассоціація происходитъ не между словами, а только между элементами, участвующими въ индукціи; а эти элементы въ обособленномъ видѣ не существуютъ. Индуцирующимъ является, такимъ образомъ, не *тѣла* и даже не *ла*, а оставшаяся во мнѣ — вслѣдствіе многократнаго произношенія множественнаго числа отъ словъ типа *дѣло*: *дѣла* — «диспозиція» образовать множественное число словъ на — *о* прямо на — *а*. Итакъ, мы имѣемъ не послѣдовательную (сукцессивную) ассоціацію словъ, а «одновременную» (симультанную) ассоціацію элементовъ таковыхъ.

Не такъ легко подчиняются принципу ассоціаціи анхипатическія дѣйствія. Только одна ихъ группа уже съ давнихъ сравнительно поръ подъ нее подводилась — т. наз. регрессивныя

ассимиляціи; дѣйствительно, артикуляція каждаго звука возникаетъ въ нашемъ представленіи прежде, чѣмъ она производится соотвѣтствующимъ органомъ рѣчи: такимъ образомъ въ *родной, родненькій* артикуляція звука *д*, производимая при одновременномъ существованіи въ представленіи артикуляціи слѣдующаго *н*, ассоціируется съ ней и даетъ въ результатѣ *ронной, ронненькій* тверскихъ крестьянъ. Конечно, причиной этой ассоціаціи является фонетическое родство обоихъ звуковъ *д* и *н*; при *трибной*, напр., она была бы невозможна. Итакъ, регрессивная ассимиляція сводится къ одновременной ассоціаціи—это признавалось уже Штейнталемъ; но что же сказать объ остальныхъ анхипатическихъ дѣйствіяхъ? Прогрессивную ассимиляцію, напр., Штейнталь объяснялъ не психологически, а фізіологически; органы рѣчи, произнесшіе одинъ звукъ, остаются по инерціи въ томъ же положеніи и при произнесеніи слѣдующаго, послѣдствіемъ чего является одинаковое произношеніе также и его: изъ *орта* золецъ дѣлаетъ *орра*. По Вундту нѣтъ надобности и здѣсь измѣнять психологическому принципу: артикуляція звука продолжаетъ существовать въ нашемъ представленіи и послѣ его произнесенія и можетъ поэтому, ассоціироваться со слѣдующимъ произносимымъ звукомъ. Пусть такъ; но что же мы будемъ дѣлать съ диссимиляціей? „Точно такъ же,—говоритъ нашъ авторъ (I, 433),—и диссимиляція заставляетъ предполагать аналогичныя психологическія условія; ихъ дѣйствіе отличается только тѣмъ, что оно происходитъ не въ уподобляющемъ, а въ дифференцирующемъ смыслѣ“. Но вѣдь въ этомъ вся суть; на мой взглядъ явленія диссимиляціи Вундту такъ и не удалось объяснить. Это не значитъ, разумѣется, что его теорія неправильна; это значитъ только, что она нуждается въ дополненіи. Дополнить же ее слѣдуетъ—и тутъ я опять возвращаюсь къ затронутому въ началѣ моего изложенія коренному вопросу—при помощи того принципа, который я назвалъ «народно-психологическимъ».

IX.

Индивидуально-психологическая и народно-психологическая точка зрѣнія въ лингвистику.—Принципъ социологическаго подбора.—«Стремленіе къ ясности» и «стремленіе къ удобству».—Полемика Вундта.—Полная постановка вопроса: вопросъ о возникновеніи и вопросъ о сохраненіи.—Дуалистическая теорія, какъ синтезъ біологической и психологической.—Табель цѣнности языковъ.—Лингвистика и біологическія науки.—Заключеніе.

Само собою разумѣется, что этотъ принципъ, какъ таковой, не могъ ускользнуть отъ вниманія такого тщательнаго изслѣдователя, какъ Вундтъ. „Всѣ явленія, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ (I, 361), — относящаяся къ области народно-психологическаго наблюденія, показываютъ намъ индивидуа въ постоянномъ взаимодействіи со средой; это относится естественно и къ измѣненію звуковъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, всякое уклоненіе отъ нормы должно было возникнуть прежде всего у какихъ-нибудь индивидуевъ; но *общее* значеніе такое уклоненіе могло получить лишь въ томъ случаѣ, если ему шли навстрѣчу благопріятныя условія, которымъ были подчинены также и другіе члены лингвистической общины“. Еще яснѣе выражается онъ стр. 391; тутъ онъ говоритъ объ „особыхъ социологическихъ условіяхъ, которыя заключаютъ въ себѣ уклоненія въ извѣстные предѣлы и доставляютъ преимущество нѣкоторымъ. На первомъ планѣ тутъ стоитъ выключеніе слишкомъ сильныхъ отклоненій отъ даннаго состоянія языка — законъ, имѣющій общее значеніе для отношенія индивидуальных измѣненій къ соотвѣтствующимъ генерическимъ, который мы можемъ назвать коротко *принципомъ социологическаго подбора*. Благодаря этому подбору особенно первые два рода общихъ ошибокъ въ произношеніи, вставка и пропускъ звуковъ, въ своемъ распространеніи стѣснены предѣлами, внутри которыхъ они въ то же время обуславливаютъ фізіологическое облегченіе артикуляціи“. Вотъ это и есть тотъ горизонтъ, который открывается читателю Вундта съ предѣльнаго пункта его изложенія; этотъ принципъ социологическаго подбора, которому здѣсь приписывается такое значеніе въ образованіи языка, нигдѣ далѣе у автора не встрѣчается; зато встрѣчается очень часто полемика съ лингвистами, методъ которыхъ сводится въ сущности къ примѣненію этого прин-

ципа. Старая школа лингвистовъ — Г. Курціусъ, Шлейхеръ, Максъ Мюллеръ и др. — при объясненіи лингвистическихъ явленій прибѣгали главнымъ образомъ къ двумъ мотивамъ: 1) предполагаемому стремленію къ удобству и 2) стремленію къ сохраненію характерныхъ звуковъ. Такъ, напр., странное на первый взглядъ несоотвѣтствіе *веду: вести* — *иду: идти* они объяснили бы дѣйствіемъ обоихъ этихъ мотивовъ: въ *веду: вести* сказался мотивъ удобства, такъ какъ *вести* несомнѣнно легче для произношенія, чѣмъ *ведти* или даже *ветти*, а въ *иду: идти* — мотивъ сохраненія характерныхъ звуковъ, такъ какъ при *идти* устранился бы именно характерный для глагола *иду* эксплозивный звукъ. Приблизительно тѣ же два мотива имѣетъ въ виду и извѣстный синологъ Габеленцъ, когда онъ говоритъ, что языкъ движется по діагонали между обоими принципами ясности и удобства — вѣдь принципъ ясности и ведетъ къ сохраненію характерныхъ для даннаго слова звуковъ. Вотъ противъ этихъ то «телеологическихъ» теорій полемизируетъ Вундтъ; онъ отрицаетъ, чтобы принципъ ясности и удобства, вообще какой бы то ни было принципъ, заключающій въ себѣ намекъ на цѣлесообразность, могъ быть мотивомъ, имѣвшимъ вліяніе на образованіе языка; въ этой роли онъ допускаетъ только психологическіе или психофизическіе мотивы, дѣйствующіе независимо отъ какого-нибудь сознанія цѣли. Это стремленіе проходитъ красной нитью черезъ всю книгу: мы его отмѣчали попутно должнымъ образомъ и указывали на пробѣлы, получающіеся отъ односторонняго его проведенія. Теперь постараемся дать полную постановку вопроса, со включеніемъ тѣхъ элементовъ, которые оказались необходимыми при послѣдовательномъ разборѣ теоріи нашего автора.

Прежде всего остается въ силѣ фактъ, что всякое лингвистическое явленіе возникло у нѣкоторыхъ индивидуумовъ и должно быть объяснено при помощи законовъ индивидуальной психологіи, какъ это и дѣлаетъ Вундтъ. Но это объясненіе не будетъ еще объясненіемъ лингвистическаго явленія какъ такового, т.-е. какъ явленія, *вошедшаго въ составъ языка*. Дѣйствительно, чтобы ограничиться областью звуковъ, руководящія ихъ психологическіе и психофизическіе принципы до того растяжимы, что нельзя указать ни одного не только дѣйствительнаго, но

даже мыслимаго явленія, котораго бы они не объяснили. Уже одинъ «просторъ нормальной артикуляціи» выясняетъ очень многое; не хватаетъ его—къ нашимъ услугамъ неизмѣримая область ассоціацій, съ помощью которыхъ изъ всего можно сдѣлать все. Итакъ, ясно, что наша теорія недостаточна; да она и не объясняетъ того, что собственно требуетъ объясненія. Когда я спрашиваю, какимъ образомъ изъ *плет-ти* получается *плес-ти*—отвѣтъ «благодаря простору нормальной артикуляціи» меня вовсе не удовлетворяетъ. Я вовсе не хочу знать, какимъ образомъ эта форма получилась у тѣхъ индивидуевъ, которые впервые ее употребили—какъ принадлежность этихъ индивидуевъ она равноправна съ *плети*, *плетти*, *тлепи*, *тепли*, *квеки* и т. п. единичными образованіями, которыя и теперь можно слышать отъ дѣтей или лицъ, у которыхъ языкъ заплетается—нѣтъ, я хочу знать, какимъ образомъ она *удержалась* въ языкѣ и стала для меня обязательной.

А разъ вопросъ поставленъ такъ—точка зрѣнія мѣняется. Изъ души автора даннаго слова я долженъ перенестись въ души тѣхъ, которые его отъ него переняли, т. е. отдали ему предпочтеніе передъ приведенными выше вариантами. Именно „отдали предпочтеніе“; значитъ, происходилъ выборъ, всѣ прочія формы были послѣдовательно забракованы, только одна принята. На какомъ основаніи? Чѣмъ *плести* для воспроизводящаго лучше *тлепи* и прочихъ? Тѣмъ, что она для него понятна; вѣдь всѣ приведенныя искаженія понятны только для говорящаго, у котораго они вызваны существовавшимъ раньше представленіемъ, а не для слушающаго, которому они должны передать искомое представленіе. Итакъ, здѣсь «соціологическій подборъ» руководился «мотивомъ ясности»; но почему же, все-таки, вышло не *плетти*, а *плести*? Потому что мотивъ ясности скрещивался съ «мотивомъ удобства». Просторъ нормальной артикуляціи допускалъ цѣлый рядъ формъ, посредствующихъ между *плетти* и *плести*; окончательное торжество послѣдней формы имѣло своей причиной несомнѣнно ея сравнительно наибольшую удобопроизносимость.

Итакъ, по отношенію къ каждому лингвистическому явленію вопросъ объ его происхожденіи распадается на два вопроса, именно:

I. Какимъ образомъ это явленіе могло *возникнуть*?

(Отвѣтъ: по причинамъ *индивидуально-психологическаго* или *психофизическаго* характера, сводящимся

1) къ простору нормальной артикуляціи, или

2) къ ассоціаціи съ такимъ-то другимъ психологическимъ явленіемъ.)

II. Какимъ образомъ могло оно *удержаться*, т.-е. быть воспроизведеннымъ?

(Отвѣтъ: благодаря принципу *соціологическаго* подбора, обусловленнаго

1) мотивомъ ясности, или

2) мотивомъ удобства.)

Конечно, предложенная схема, какъ она ни проста и убѣдительно по существу, допускаетъ придирки по отношенію къ выбраннымъ терминамъ. Правильно ли противопоставлять индивидуально-психологическіе мотивы соціологическимъ? Вѣдь и воспроизведеніе лингвистическихъ явленій въ сущности дѣло индивидуальное, и оно, стало быть, подчинено законамъ индивидуально-психологическаго характера. Но, во-первыхъ, такое возраженіе, совершенно устраняющее самое понятіе народной психологіи, со стороны Вундта и раздѣляющихъ его принципы ученыхъ невозможно; а, во-вторыхъ, даже со стороны отрицающихъ народную психологію лингвистовъ оно сводится къ протесту противъ употребленія словъ, не затрогивая сущности дѣла. Какъ бы мы ни выражались—всегда условія воспроизведенія лингвистическаго явленія будутъ существенно отличаться отъ условій его первичнаго произведенія.

Стоять, однако, бросить взглядъ на послѣдствія установленнаго здѣсь дуализма въ этиологіи лингвистическихъ явленій. Мы видѣли выше, что біологическая теорія должна была въ лингвистикѣ уступить свое мѣсто теоріи психологической, которая теперь въ ней царствуетъ единовластно. Если высказанныя мною соображенія правильны, то этому единовластью близится конецъ; мѣсто исключительно психологической теоріи должна занять теорія дуалистическая, опирающаяся съ одинаковой силой и на психологическій, и на біологическій корни. Принципъ соціологическаго подбора,—несомнѣнно біологическій принципъ: съ его принятіемъ біологія отвоевываетъ обратно

часть той области, которая раньше принадлежала ей вся. Представленія «языкъ-растеніе», „слово-растеніе», усердно изгоняемы лингвистами-психологами, снова получаютъ право научнаго гражданства; а съ ними водворяется обратно и та разумная стройность, которой лингвистическія руководства и сочиненія старой школы—говоря правду—такъ выгодно отличались отъ большинства новыхъ. Но это еще не все.

Вліяніе среды имѣетъ воспитывающее вліяніе и на индивидуевъ, производя на нихъ извѣстное ассимиляціонное дѣйствіе. Въ нашей области это ведетъ къ тому, что такія словообразованія, которыя въ случаѣ своего возникновенія подверглись бы неминуемому забракванію путемъ соціологическаго подбора, возникаютъ все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ. Творческая сила индивидуевъ, не расточаемая на нежизнеспособные продукты, энергичнѣе дѣйствуетъ въ соответствующемъ народному духу направленіи, языкъ развивается. Развитие совершается параллельно съ развитіемъ самой народной души; языкъ дѣлается зеркаломъ этой послѣдней, раздѣляя ея цѣнность. И вотъ *принципъ цѣнности*, несуществующій въ начальныхъ грубыхъ стадіяхъ языка, требуетъ себѣ признанія на дальнѣйшихъ ступеняхъ его развитія. Въ этомъ признаніи ему отказывала психологическая теорія,—что было съ ея стороны вполнѣ послѣдовательно; но оно стало опять возможнымъ на почвѣ дуалистической теоріи, какъ было возможно въ біологическую эпоху. Орудіями примѣненія нашего принципа будутъ тѣ же мотивы ясности и удобства, только въ своемъ развитомъ, усовершенствованномъ видѣ: изъ мотива ясности могутъ развиться мотивы сенсуалистической наглядности, интеллектуалистической разумности и эмоціоналистической силы; изъ мотива удобства естественно развивается мотивъ красоты. Отсюда видно, что языки съ точки зрѣнія цѣнности не могутъ быть распределены въ линейномъ порядкѣ, начиная наименѣе и кончая наиболѣе цѣнными: одинъ языкъ можетъ оказаться наиболѣе цѣннымъ съ сенсуалистической, другой съ интеллектуалистической точки зрѣнія. Но за то станетъ ясно, какой языкъ для какого народа можетъ быть, такъ сказать, дополнительнымъ: такъ, если мой родной языкъ стоитъ особенно высоко какъ языкъ сенсуалистическій, или эмоціоналисти-

ческий, то въ интересахъ своего самоусовершенствованія я сочту наиболѣе цѣннымъ для себя усвоеніе преимущественно интеллектуалистическаго языка, и т. д. Все это должно опять стать задачей будущаго, какъ было задачей прошлаго.

И все же, повторяю, дуалистическая теорія, именно какъ таковая, не будетъ повтореніемъ біологической; она будетъ возведена одинаково на работахъ какъ лингвистовъ-психологовъ, такъ и лингвистовъ-біологовъ. Это будетъ, равнымъ образомъ, не то, что мы видѣли въ эпоху перехода отъ старой школы къ новой, когда инныя явленія объяснялись при помощи біологической, другія—при помощи психологической теоріи; нашъ дуализмъ предполагаетъ одинаковое примѣненіе обѣихъ теорій къ каждому лингвистическому явленію, какъ это показываетъ вышеприведенная схема вопросовъ. И именно вслѣдствіе того, что она допускаетъ этотъ дуализмъ, какъ сочетаніе двухъ одинаково намъ доступныхъ принциповъ объясненія, лингвистика общается сдѣлаться самой цѣнной изъ всѣхъ наукъ, связанныхъ между собою нитью общей біологической причинности. Въ самомъ дѣлѣ, обратитесь къ любой изъ частныхъ біологическихъ наукъ—вездѣ вы встрѣтите только второй изъ вышеприведенныхъ принциповъ объясненія, принципъ подбора, что же касается перваго, тѣхъ интимныхъ психологическихъ принциповъ, которые въ области языка объясняютъ возникновеніе явленій и которые, при всей кажущейся произвольности и причудливости своихъ результатовъ, такъ близки намъ—близки потому, что они познаются той же самой душой, которая ими руководится—то имъ ничто въ области біологическихъ наукъ не соотвѣтствуетъ. Не соотвѣтствуетъ и не можетъ соотвѣтствовать: мы можемъ познать силу, создавшую лингвистическія явленія, такъ какъ эта сила—въ насъ самихъ, но какъ назвать ту силу, которая создала явленія внѣшняго міра, подчиненныя закону біологическаго подбора?.. „Экономъ“, отвѣчалъ нѣкогда Гераклитъ.—А что такое Эонъ? — „Шаловливое дитя, играющее въ шашки“, объяснялъ философъ-провидецъ полусказочной старины.

Художественная проза и ея судьба.

(1898).

I.

Теперь у насъ не принято придавать особое значеніе вопросамъ, касающимся художественности прозаическаго изложенія. Съ тѣхъ поръ, какъ Мольеровскій буржуа сдѣлалъ открытіе, что и онъ умѣетъ *faire de la prose*, и притомъ такъ, что никакія ухищренія его учителя не въ состояніи исправить ее хотя бы на іоту,—убѣжденіе въ бесполезности выработки прозаическаго стиля стало распространяться все шире и шире. Ему пришло на помощь неогуманистическое движеніе конца минувшаго вѣка, съ его культомъ естественности и пренебрежительнымъ отношеніемъ ко всему искусственному: всѣмъ извѣстны и памятны пламенные слова объ этомъ молодого Гёте въ первыхъ сценахъ «Фауста». У насъ же дуновение неогуманизма попало на твердую еще кору (псевдо-)классицизма, не успѣвшую размякнуть и растаять подъ лучами «просвѣщенія», какъ это было повсемѣстно въ западной Европѣ. Его дѣйствіе было, поэтому, прямо разрушительно: нигдѣ, какъ у насъ, поворотъ не былъ такъ крутъ, нигдѣ кумиры отцовъ не были сожжены такъ быстро и истреблены такъ безслѣдно, какъ среди нашей интеллигенціи, отважной въ сознаніи своей молодой силы и совсѣмъ почти не отягченной бременемъ традиціи. Это не значитъ, чтобы художественная проза на практикѣ подверглась загону: совершенно напротивъ,—именно теперь начинается ея расцвѣтъ, такъ какъ только къ этому времени взопли брошенные отцами сѣ-

мена формальной красоты, а совершенное, подѣ влияніемъ неогуманистическихъ идей, возвращеніе къ природѣ дало возможность надѣлать прекрасную форму достойнымъ содержаніемъ. Нѣтъ, непосредственно пострадала не практика, а теорія: можно было и даже слѣдовало писать хорошо, т.-е. художественно, но не слѣдовало давать себѣ и другимъ отчетъ въ этой художественности, не слѣдовало сознательно къ ней стремиться путемъ ученія, упражненія и подражанія; всѣ попытки въ этомъ направленіи пахли риторикой, а риторика—это самая квинтъ-эссенція псевдо-классицизма, это самый уродливый изъ благополучно сожженныхъ и истребленныхъ кумировъ. Недавно только у насъ возникъ союзъ среди интеллигенціи, цѣли котораго по своей природѣ близки къ затронутому здѣсь вопросу; этому союзу можно бы было пожелать всякаго благополучія, еслибы въ его программѣ не красовалась на главномъ мѣстѣ въ высшей степени странная задача—содѣйствовать словомъ и дѣломъ (и, повидимому, дѣйствительно «словомъ и дѣломъ») изгнанію изъ русской рѣчи иностранныхъ словъ. Къ чести славянскаго гостепріимства слѣдуетъ сказать, что эта мысль сама по себѣ не внутренняго производства: она—порожденіе ультра-націоналистическаго убожества, появившагося у нашихъ сосѣдей въ качествѣ оборотной стороны вычеканенной въ 1870 г. медали. Все же ея проникновеніе къ намъ доказываетъ, до какой степени намъ трудно соединиться для одной только созидательной, а не разрушительной работы подѣ великодушнымъ лозунгомъ Парини: *Viva la libertà—e morte a nessuno*.

А между тѣмъ сговориться относительно «художественной прозы», оставаясь въ то же время вѣрными завѣтамъ неогуманизма,—для насъ гораздо легче, чѣмъ для народовъ западной Европы: самый геній русскаго языка приходитъ намъ тутъ на помощь. Нельзя произнести слова *Kunst*, *l'art*, не ощущая того особаго, не для всѣхъ пріятнаго привкуса, который эти слова получили вслѣдствіе своего этимологическаго родства съ *künstlich*, *artificiel*, и не ставя ихъ этимъ въ противоположность къ великой богинѣ неогуманистовъ—Природѣ; никто не бываетъ вполне свободенъ отъ предубѣжденій, заключающихся въ самой философіи родной рѣчи, и внимательный русскій читатель съумѣетъ найти у нѣмецкихъ и французскихъ мысли-

телей не мало невольныхъ софизмовъ, основанныхъ на мнимомъ антагонизмѣ понятій *Kunst und Natur*, *l'art et la nature*. У насъ этой опасности не существуетъ; одно—искусственность, другое—художественность, и если намъ трудно смотрѣть пристально на *Kunstprosa* такъ, чтобы, зажуривъ глаза, не увидѣть, какъ особаго рода дополнительный цвѣтъ къ ней, призрака *Naturprosa*, то слова: «художественная проза» никакихъ неудобствъ въ этомъ направленіи не представляютъ.

Сговориться, повторю, можно; пути для этого два—теоретическій и историческій. Для перваго время, кажется, еще не наступило. Метафизическая эстетика потеряла кредитъ; мы справедливо отказываемъ въ довѣріи методу, доказывающему необходимость эстетическихъ постулатовъ съ такою же точно убѣдительною, съ какою онъ нѣкогда доказывалъ необходимость семипланетной системы. Въ наше время только *эмпирическая* эстетика можетъ рассчитывать на интересъ образованныхъ людей, притомъ, какъ это и понятно, основанная на *экспериментѣ* эстетика—въ большей мѣрѣ, чѣмъ основанная на простомъ *наблюденіи*. Но именно экспериментальная эстетика представляется еще пока невозможной; пока не будетъ построено зданіе экспериментальной психологіи, она представляетъ изъ себя не науку, а лишь пустопорожнее мѣсто, отдаваемое подъ построеніе науки. Возможна лишь эстетика, основанная на наблюденіи; а такая будетъ по преимуществу носить историческій характеръ, такъ какъ сводъ наблюденій за жизнью минувшихъ поколѣній—это и есть то, что мы называемъ исторіей. Исторія развитія художественной прозы покажетъ намъ, имѣетъ ли она право на существованіе, и если да, то въ какой степени.

Понятно, чтоистики словесности не оставляютъ безъ вниманія этой области своей науки; но одинъ изъ самыхъ значительныхъ шаговъ впередъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ недавно нѣмецкимъ филологомъ Эд. Норденомъ въ его книгѣ: *Die antike Kunstprosa, vom VI Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance* (Leipzig, 1898, ¹). Дѣйстви-

¹) Появилась вторымъ, неизмѣненнымъ изданіемъ (съ дополненіемъ) въ 1909 г.

тельно, развитіе новѣйшей прозы отъ Бальзака Старшаго, приблизительно, представлялось намъ и раньше въ довольно ясномъ свѣтѣ; гораздо темнѣе была предшествовавшая эпоха, обнимавшая болѣе двухъ тысячъ лѣтъ. Ей-то и посвящено названное только-что объемистое двутомное сочиненіе. Пользуясь чрезвычайно богатымъ матеріаломъ, собраннымъ имъ съ замѣчательнымъ трудолюбіемъ, авторъ во многихъ мѣстахъ влилъ свѣтъ и смыслъ въ скрытую до него связь литературно-историческихъ явленій. Читая его (а было это, скажу между скобокъ, дѣломъ не легкимъ, такъ какъ ученѣйшая книга Нордена соединяетъ въ себѣ всѣ достоинства, кромѣ одного—удобочитаемости) и углубляясь въ приведенный авторомъ матеріалъ, я чувствовалъ, какъ ощущавшіеся мною раньше въ исторіи развитія прозы пробѣлы сами собою заполнялись, узлы распутывались; продолжая думать надъ затронутыми авторомъ вопросами, для которыхъ онъ зачастую давалъ одинъ только сырой матеріалъ, безъ выводовъ, безъ надлежащаго освѣщенія культурно-историческими соображеніями,—я получилъ, въ концѣ концовъ, стройный очеркъ развитія художественной прозы, которымъ и хочу подѣлиться съ читателями въ нижеслѣдующихъ главахъ.

II.

Античность—общая колыбель нашихъ культурныхъ силъ—была, разумѣется, также и колыбелью художественной прозы. Время ея зарожденія—понимая это слово съ необходимыми, во избѣжаніе недѣлности, ограниченіями—извѣстно намъ съ рѣдкою въ подобныхъ случаяхъ опредѣленностью: это былъ 427-ой годъ до Р. Х. По случаю одной изъ безчисленныхъ кантональных войнъ, волновавшихъ древне-греческій міръ во все время его существованія, былъ отправленъ въ Аѣины своимъ роднымъ городомъ извѣстный софистъ Горгій просить помощи противъ неугомонныхъ сосѣдей. Въ народномъ собраніи онъ произнесъ рѣчь о необходимости заключенія союза и привелъ ея въ восторгъ своихъ впечатлительныхъ слушателей; союзъ былъ заключенъ—правда, это не важно, такъ какъ изъ него все равно ничего не вышло, но важно было то, что рѣчь Горгія вызвала сильнѣйшее, долго не унимавшееся броженіе, результатомъ котораго была именно художественная проза.

Что же произошло? Чѣмъ это такъ плѣнилъ Горгіи свою аудиторію? Проще всего было бы обратиться къ самой рѣчи софиста; но такъ какъ она не сохранена, то ее долженъ замѣнить рассказъ нашего свидѣтеля. Свидѣтель этотъ говоритъ вотъ что: „Онъ (Горгіи) поразилъ аѳинянъ своеобразиемъ своихъ ораторскихъ приемовъ, такъ какъ они сами были хорошо одарены природою и любили краснорѣчіе: онъ впервые пустилъ въ ходъ особыя искусныя фигуры рѣчи, антитезы, исколы, созвучія, риторическія рѣзмы (homoeoteleuta) и еще нѣкоторыя въ томъ же родѣ, которыя тогда, вслѣдствіе своей необычайности, нашли благодарныхъ слушателей, но теперь считаются мелочными, и—вслѣдствіе того, что ими пользовались не въ мѣру—кажутся смѣшными“. Повидимому, выгодно для памяти Горгіи, что его рѣчь не сохранена; если такъ о ней судитъ нашъ свидѣтель—его землякъ, къ слову сказать,—историкъ Діодоръ Сицилійскій, то насъ и подавно постигло бы разочарованіе. Но мы здѣсь не наслажденія ищемъ, а пониманія: послѣ ясныхъ и опредѣленныхъ словъ Діодора рассказанный имъ фактъ представляется намъ еще менѣе понятнымъ, чѣмъ прежде, когда мы могли приписать рѣчи Горгіи какія угодно достоинства.

Нѣтъ, она просто была «фигуральна», и въ этомъ заключалась причина ея успѣха. Фигуры же, если прибавить къ нимъ тропы, составляютъ заповѣдную рухлядь риторики, которая въ свою очередь неразрывно связана съ псевдо-классицизмомъ, а псевдо-классицизмъ прямо противоположенъ природѣ, которая въ области слова совпадаетъ съ народностью. При такомъ положеніи дѣла тотъ фактъ, что Горгіи фигуральностью своей рѣчи плѣнилъ именно народъ,—представляется сущимъ парадоксомъ. Очевидно, тутъ что-то не такъ; но что именно? При столкновеніи факта съ мнѣніемъ долженъ торжествовать фактъ—это ясно; ошибка заключается въ мнѣніи, въ томъ сплѣненіи понятій, которое мы начали словомъ «фигуральность», а кончили словомъ «народность». Правда ли, что эти два понятія несовмѣстимы? Самое полное, самое яркое выраженіе народности въ области слова—это народная пѣсня: беремъ для провѣрки народную пѣсню—и на первомъ мѣстѣ встрѣчаемъ въ ней фигуральность:

Будо-бъ тоби, ой ты моя маты,
 Тихъ бривъ не даваты;
 Будо-бъ тоби, ой ты моя маты,
 Счастье-долю даты!

Въ этой краткой строфѣ мы имѣемъ (если не считать со-
 звучія) всѣ фигуры, которыя Діодоръ находилъ у Горгія, и
 кромѣ нихъ еще нѣсколько другихъ, и всѣ онѣ естественны;
 мы чувствуемъ, что не ихъ наличность, а ихъ отсутствіе было бы
 противно природѣ. Пѣвецъ сознаетъ себя несчастнымъ; это
 основное чувство той пѣсенки, чувство слишкомъ неопредѣлен-
 ное пока, такъ сказать непластичное, чтобы вылиться сразу
 въ опредѣленную мысль. И вотъ, духъ его ищетъ опоры и
 находитъ ее въ контрастѣ между своей несчастной долей и
 физической красотой, единственномъ и увы, бесполезномъ на-
 слѣдіи матери. Да, *контрастъ*; это — самая естественная, са-
 мая законная форма, которую только можетъ найти чувство,
 стремящееся воплотиться въ мысли. Мысль же въ свою очередь
 стремится воплотиться въ словахъ: выраженіе въ словахъ кон-
 траста—это и есть то, что мы называемъ антитезой. Такъ-то
 и получается главная, коренная «фигура» пѣсенки; всѣ осталь-
 ныя служатъ лишь къ тому, чтобы сдѣлать ее ярче, вырази-
 тельнѣе. Сюда относится равномѣрность обоихъ членовъ анти-
 тезы—это и есть то, что Діодоръ разумѣетъ подъ «исоколомъ»,
 затѣмъ, повтореніе тѣхъ же словъ въ началѣ обоихъ членовъ
 («анафора», здѣсь особенно развитая); затѣмъ, одинаковое окон-
 чаніе обоихъ членовъ, такъ называемая риторическая рима ¹⁾.
 Теорія слова, та разумная и интересная наука будущаго, ко-
 торая, выросши изъ экспериментальной психологіи, замѣнитъ
 современемъ нашу обветшалую риторику, сѣумѣетъ доказать,
 что добрая часть изъ такъ называемыхъ фигуръ и троповъ,
 надъ которыми теперь принято смѣяться, является самымъ есте-
 ственнымъ и законнымъ выраженіемъ нашихъ аффектовъ, осталь-
 ныя же имѣютъ интеллектуальное основаніе, какъ средство
 сдѣлать нашу рѣчь болѣе понятной и болѣе легкой для запо-

¹⁾ Риторическія римы—одинаковыя окончанія одинаковыхъ флексій
 (напр., дать—брать); напротивъ, поэтическія римы—одинаковыя окончанія
 различныхъ флексій (напр., дать—мать). Послѣднія считаются нечуждыми
 въ прозѣ, первыя—въ поэзіи.

минанія; слѣдовательно, не фигуральная, а та сѣрая и безцвѣтная рѣчь, которую теперь незаслуженно называютъ «дѣльной» и «серьезной», должна считаться противоестественной и неосмысленной.

Такимъ образомъ, указанный выше узелъ благополучно распутывается, но зато мы получаемъ другое, не менѣе значительное затрудненіе. Выходить, что рѣчь сицилійскаго софиста со всей своей фигуральностью была вполнѣ естественна; а между тѣмъ намъ говорить, что онъ поразилъ свою аудиторию именно *необычайностью* своихъ ораторскихъ приемовъ. Какъ же это согласовать? Неужели придется допустить, что до Горгія естественность рѣчи была въ загонѣ? Дѣйствительно, это—единственный исходъ; при болѣе близкомъ ознакомленіи съ дѣломъ онъ потеряетъ свою странность. Необходимо, замѣчу, отнестись съ особеннымъ вниманіемъ къ этому пункту; здѣсь сталкиваются, взаимно отгнѣвая другъ друга, понятія: «естественность», «художественность» и «искусственность»; здѣсь находится ключъ къ выясненію самаго термина: «художественная проза».

Аффектъ самъ по себѣ—явленіе, въ области сознанія, доступное одному лишь самонаблюденію; чужому наблюденію доступны только *выраженія* аффектовъ въ движеніяхъ и словахъ. Изъ этихъ выраженій мы одни называемъ естественными, другія—дѣланнми, искусственными, неестественными; чѣмъ руководимся мы, давая имъ то или другое наименованіе? Скажутъ: наблюденіемъ. Да; но только отчасти. Человѣкъ, получившій внезапно горестное извѣстіе, опредѣленнымъ образомъ хватается руками за голову; человѣкъ, поставленный въ тупикъ, опредѣленнымъ образомъ разводитъ руками;—эти движенія кажутся намъ естественными выраженіями соотвѣтствующихъ аффектовъ. А между тѣмъ, наблюденіе въ девяти случаяхъ изъ десяти не подтвердитъ этого предположенія: многіе, при всей живости аффекта, совершенно воздержатся отъ всякаго крупнаго движенія—что дѣлать! неудобство нашей одежды мало-по-малу отучаетъ насъ отъ жестикуляціи; другіе исполнять его, смотря по своему тѣлосложенію или темпераменту, слишкомъ рѣзко или слишкомъ неуклюже, слишкомъ вяло или слишкомъ топорливо, и этимъ разрушать впечатлѣніе естественности. Оче-

видно, одного наблюденія мало: мы руководимся, кромѣ него, еще другимъ актомъ, неизмѣнно въ большей или меньшей степени сопровождающимъ всякое наблюденіе — *абстракціей*. Съ помощью ея, мы — часто безсознательно — устраняемъ вліяніе случайностей тѣлосложенія или темперамента, исправляемъ недостатки, дополняемъ невыдержанное или недосказанное, отбрасываемъ преувеличенное и излишнее — и такимъ образомъ, изъ массы болѣе или менѣе неудачныхъ выраженій извлекаемъ выраженіе удачное, чистое, идеальное. Его мы въ дѣйствительности можемъ встрѣтить рѣдко, можемъ и не встрѣтить никогда; какъ бы то ни было — человѣкъ, который (въ силу ли природнаго дарованія, или сознательной рефлексіи — это все равно; мы этого непосредственно знать не можемъ, а потому и не разбираемъ), — человѣкъ, повторяю, который осуществить на дѣлѣ это удачное чистое, идеальное выраженіе, будетъ для насъ художникомъ въ его области. Художественность, такимъ образомъ, есть та же естественность, но естественность полученная путемъ абстракціи изъ ряда единичныхъ, въ одинаковой степени конкретно-естественныхъ случаевъ.

Это — первый пунктъ; и мнѣ кажется, что уже онъ даетъ намъ возможность понять указанное выше явленіе. Придется только допустить, что именно Горгій былъ такимъ художникомъ, и что онъ плѣнилъ афинянъ именно тѣмъ, что возвелъ въ степень художественности знакомую имъ до тѣхъ поръ лишь по неполнымъ своимъ осуществленіямъ естественность. Но это еще не все; есть и второй пунктъ, и онъ едва ли не важнѣе перваго.

Данное только-что опредѣленіе правильно выражаетъ *качественное* различіе между художественностью, какъ отвлеченной естественностью, и естественностью конкретной; мы можемъ, однако, установить и другое различіе — различіе *количественное*. Каждый нормальный человѣкъ бываетъ одаренъ умѣреннымъ огнемъ чувства, способнымъ объять умѣренную задачу въ области чисто личныхъ, житейскихъ отношеній; возложите на него болѣе значительную задачу — и этотъ огонь ослабнетъ, и вмѣсто пламени получится дымъ и чадъ. Тотъ самый человѣкъ, который художественно изобразить простое чувство или событіе въ формѣ коротенькой пѣсни или разсказа, не съумѣетъ спра-

виться съ болѣе сложной задачей: полюбятся однообразныя, скучныя фразы; скачки и недомолвки съ одной стороны, повторенія и водянистость—съ другой, путаница—вездѣ. Вотъ почему мы имѣемъ прекрасныя народныя пѣсни и сказки, но пѣть и не можетъ быть ни народнаго эпоса (это окончательно установлено), ни народной драмы, ни народнаго романа. А между тѣмъ, жизнь ставитъ свои задачи: человѣку приходится въ рѣчи отстаивать свои притязанія передъ судомъ, приходится, если онъ гражданинъ свободной общины, въ рѣчи же развивать свои мысли о необходимыхъ для ея блага мѣропріятіяхъ. Такъ, мы знаемъ, что въ древнѣйшемъ афинскомъ судѣ, ареопагѣ, было запрещено сторонамъ всякое воздѣйствіе на судей путемъ «аффектовъ», другими словами, всякое поползновеніе на художественность рѣчи. Этотъ запретъ, безъ сомнѣнія, лишь освятилъ то, что въ старину само собою разумѣлось: тогда говорили сухо не потому, чтобы не хотѣли или не должны были, а потому, что не умѣли говорить иначе.

Нуженъ былъ огонь гораздо большій, чѣмъ тотъ, который природа вложила въ грудь обыкновеннаго человѣка, для того, чтобы создать рѣчь высокаго стиля, рѣчь судебную, рѣчь политическую, историческое повѣствованіе, философское разсужденіе; если Горцій дѣйствительно сдумалъ впервые это сдѣлать, то онъ былъ по истинѣ великимъ художникомъ прозы. Разсказъ о немъ при этихъ условіяхъ вдвойнѣ понятенъ; онъ поразилъ слушателей своимъ новшествомъ, такъ какъ имъ до тѣхъ поръ съ политической трибуны преподносились лишь сухія, безыскусныя рѣчи; и въ то же время онъ ихъ увлекъ, такъ какъ въ его ораторскихъ приѣмахъ они сразу признали тѣ самыя средства, которыя ихъ плѣняли въ болѣе близкой ихъ сердцу сферѣ личныхъ отношеній,—рисунокъ былъ тотъ же, только масштабъ былъ увеличенъ до грандіознаго. Какъ же это ему удалось,—допуская, что это ему дѣйствительно удалось? Не иначе, какъ и всякое увеличеніе масштаба,—путемъ аналогіи. Художественная проза должна быть проникнута аффектомъ, выраженіемъ котораго является, какъ мы видѣли, *фигуральность*; передачей выраженія передается и выражаемое, т.-е. аффектъ. Такая проза должна быть *образна*, такъ какъ образъ непосредственнѣе воспринимается духомъ и глубже за-

печатлѣвается, чѣмъ то отвлеченное представленіе или отношеніе, символомъ котораго онъ служитъ. Она должна отличаться старательнымъ *подборомъ словъ*, если она разсчитана на то, чтобы долѣе оставаться въ памяти слушателей: мы охотно пропускаемъ мимо ушей то или другое неловкое выраженіе въ обыденномъ разсказѣ, довольствуясь уловленною мыслью, но любимъ углубляться въ тѣ остатки художественной рѣчи, которые память намъ воспроизводитъ, и бываемъ благодарны автору за скрытыя красоты его языка. Она должна отличаться архитектурной *стройностью* въ своемъ дѣленіи и въ соотношеніи своихъ частей: при сложности матеріи слушатель легко потеряетъ нить и перестанетъ понимать насъ, если мы всѣми силами не позаботимся о сохраненіи перспективы во всѣхъ направленіяхъ. Она—и это стоитъ въ связи съ только-что затронутымъ требованіемъ—должна быть старательно *периодизована*, такъ какъ вслѣдствіе сложности взаимнаго тяготѣнія частей и частицъ темы, періодъ—этотъ живой организмъ съ его столь опредѣленно выраженнымъ подчиненіемъ второстепенныхъ мыслей главнымъ—является необходимой крупной единицей разсужденія, безъ которой построеніе доказательства, или повѣствованія было бы такъ же затруднено, какъ сложныя алгебраическія вычисленія безъ заключенныхъ въ скобки полиномовъ. Она, наконецъ, должна быть *ритмична*; ударенія, опусканія голоса и паузы должны быть разставлены такъ, чтобы ни голосъ говорящаго, ни ухо слушающаго отъ этого не страдали. Не трудно убѣдиться, что всѣ эти шесть элементовъ художественной прозы, хотя и въ гораздо меньшемъ масштабѣ, даны уже народной словесностью; первый художникъ прозы (прошу позволенія пока считаться съ этой миѳической личностью) извлекъ ихъ оттуда, возвелъ на болѣе высокую ступень и, путемъ аналогіи, приспособилъ къ своей сравнительно болѣе трудной задачѣ.

Итакъ, наблюденіе, абстракція, аналогія—вотъ три силы, съ помощью которыхъ создается художественная проза. Ясно, однако, что послѣдняя изъ нихъ, по способу своего дѣйствія, существенно отличается отъ первыхъ; вопросъ о *сознательности*, оставленный нами прежде въ состояніи безразличнаго равновѣсія, здѣсь безъ всякаго колебанія долженъ быть рѣшенъ утвердительно. Описанныя только-что шесть дѣйствій худож-

ника прозы высшаго стиля немислимы безъ глубокой и сильной рефлексіи. Народная пѣсня или сказка можетъ быть актомъ безсознательнаго творчества; но рѣчь, повѣствованіе, разсужденіе—постольку сознательны, поскольку и художественны.

Вотъ тѣ два соображенія, на основаніи которыхъ намъ дѣлается вполне понятнымъ разсказъ о Горгіи и дѣйствиі его краснорѣчія на его „хорошо одаренныхъ природой и расположенныхъ къ рѣчамъ“ слушателей,—допуская, что онъ дѣйствительно былъ тѣмъ истиннымъ художникомъ прозы, какимъ мы, ради удобства, его до сихъ поръ считали. Но въ томъ-то и дѣло, что все извѣстное намъ о немъ заставляетъ насъ видѣть въ немъ не *волшебника*, а *кудесника* рѣчи; и прежде чѣмъ продолжать нашъ историческій очеркъ, мы должны нѣсколько остановиться на этомъ третьемъ и послѣднемъ предварительномъ пунктѣ.

Художественная рѣчь должна быть проникнута аффектомъ; художественная рѣчь должна быть сознательна. Согласуемы ли эти два требованія? Повидимому, нѣтъ; мы привыкли разумѣть подъ аффектомъ непосредственное, предшествующее сознательности и, слѣдовательно, безсознательное движеніе души. Дѣйствительно, указанная антиномія вызвала много споровъ въ ту эпоху, когда занятія человѣческой рѣчью и ея теоріей не считались еще «пустяками», т.-е. въ эпоху древности; тогда же она и была благополучно разрѣшена. Рѣшеніе мы, своими словами, можемъ формулировать такъ: вдохновителемъ художественной рѣчи долженъ быть не первичный, а *сознательно воспроизведенный аффектъ*. Въ возможности такого сознательнаго воспроизведенія аффекта никто сомнѣваться не станетъ, кромѣ тѣхъ, которые никогда за собой не наблюдали. Отъ меня зависитъ дать моей фантазіи такое направленіе, чтобы передо мной воскресали, при самомъ яркомъ освѣщеніи, всѣ подробности когда-то поразившаго меня событія. При этомъ воскресаетъ и самый аффектъ; я чувствую физическіе его симптомы: и учащенное сердцебіеніе, и приливъ крови къ лицу, и все прочее; но въ то же время сознательность не прерывается, умъ продолжаетъ работать, память запоминаетъ слова и обороты, которые мнѣ подсказываетъ гнѣвъ, и сочиненная при такихъ условіяхъ рѣчь будетъ въ то же время и проникнута

аффектомъ, и сознательна. Таковъ исходъ изъ указанной антиноміи; это — исходъ единственный. Но — и тутъ мы приближаемся къ роковому пункту — онъ же содержитъ въ себѣ и величайшую для художника рѣчи опасность. Очень узка межа, отдѣляющая сознательное воспроизведеніе дѣйствительнаго аффекта отъ того, что у насъ называютъ «самовзвинчиваніемъ», и требуется не мало такта и выдержки для того, чтобы ея не переходить. Самовзвинчиваніе можетъ быть качественнымъ или количественнымъ, смотря по тому, вносимъ ли мы аффектъ туда, гдѣ ему съ точки зрѣнія нормальнаго человѣка быть не должно, или раздуваемъ умѣренный и здоровый аффектъ до крайнихъ и болѣзненныхъ размѣровъ; въ обоихъ случаяхъ теряется естественность рѣчи, а слѣдовательно и ея художественность; мы имѣемъ передъ собой прозу не художественную, а *искусственную*.

Разумѣется, искусственность заключается не въ одномъ этомъ: она можетъ касаться каждаго изъ вышеозначенныхъ шести элементовъ художественной прозы. Все же этотъ пунктъ самый существенный: остальное — болѣе и менѣе касается внѣшности, здѣсь же зараза проникаетъ въ самое сердце рѣчи. При этомъ надобно твердо помнить два факта. Первый — къ указанному самовзвинчиванію болѣе всего бываютъ склонны люди молодые, одаренные впечатлительнымъ сердцемъ и пылкой фантазіей. Второй — у здоровыхъ людей эта склонность проходитъ съ годами, не оставляя дурныхъ слѣдовъ на правдивости характера человѣка и давая въ результатъ немаловажную прибавку — быстрый полетъ мысли и гибкость языка.

Судя по всему, что намъ извѣстно, Горгій, отецъ греческой художественной прозы, самъ говорилъ и писалъ не художественной, а именно искусственной прозой. Правда, та его рѣчь, которая произвела сильный переворотъ въ аѳинскомъ краснорѣчьи, намъ не сохранена; за то сохранены другія, болѣе мелкія, и онѣ вполне подтверждаютъ сужденіе серьезныхъ писателей древности, упрекавшихъ его въ «манерности» (*κακοζήλια*). Объ этой манерности переводъ можетъ дать лишь очень неполное представленіе, уже потому, что онъ не въ состояніи передать той особой, свойственной однимъ только древнимъ языкамъ, ритмичности, рассчитанной на очень своеобраз-

ное, пѣвучее произношеніе; все же будетъ небезполезно привести хоть одинъ образчикъ, — заключительную фразу изъ рѣчи въ честь павшихъ въ бою воиновъ. Перечисливъ ихъ достоинства, ораторъ заключаетъ: „Свидѣтелями этого они воздвигли трофеи надъ врагами, Зевсу на украшеніе, себѣ же на прославленіе; они не были незнакомы ни съ дарованной имъ отъ природы доблестью, ни съ дозволенной отъ закона любовью, ни съ браннымъ споромъ, ни съ яснымъ миромъ, были благочестивы передъ богами своей праведностью и почтительны передъ родителями своей преданностью, справедливы передъ согражданами своей скромностью и честны передъ друзьями своей вѣрностью; вотъ почему, когда они погибли, любовь къ нимъ не погибла съ ними, а, бессмертная въ безплотныхъ тѣлахъ, она и теперь живетъ надъ неживущими“. Прошу читателя, не долго останавливаясь на содержаніи, вникнуть немного въ построение этой фразы, въ ея строго проведенную антитетичность: эти попарно соединенные члены, состоящіе изъ одинаковаго числа словъ (isokolon), при чемъ симметричность подчеркивается и риторическими приемами въ окончаніи каждаго члена (homoeoteleuta), и тѣмъ, что стоящіе на соответствующихъ мѣстахъ слова по возможности состоятъ изъ равнаго числа слоговъ, — эти члены, повторяю, сами собою напрашиваются на приподнятое и въ то же время модулированное произношеніе и поэтому очень ощутительны для слуха. Они-то, главнымъ образомъ и сдѣлали имя Горгія популярнымъ среди тогдашнихъ аѳинянъ; аѳиняне, какъ „люди, прекрасно одаренные отъ природы и друзья рѣчи“ — такъ ихъ аттестуетъ Діодоръ — стали пламенными поклонниками искусственной рѣчи сицилійскаго софиста. Гладкія антитезы («бритыя», какъ ихъ насмѣшливо называла тогдашняя комедія) стали необходимой приправой всякаго претендующаго на бонтонность стиля: онѣ проникаютъ и въ политическое, и въ судебное краснорѣчіе, и въ серьезную исторію, и въ еще болѣе серьезную философію, и даже въ трагедію; только суровыя ступени ареопага остаются по прежнему недоступными для всякой попытки дать искусству мѣсто въ области правосудія. И насъ не удивляетъ этотъ молодой энтузіазмъ самаго даровитаго изъ всѣхъ народовъ въ мірѣ: онъ иллюстрируетъ собою *первый* изъ обоихъ законовъ, касающихся соотно-

шенія между искусственной и художественной рѣчью. Иллюстрацію же ко *второму* дала дальнѣйшая судьба художественной прозы на греческой почвѣ.

III.

Нашъ краткій очеркъ не можетъ касаться всѣхъ подробностей процесса, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь; интересуясь однѣми лишь руководящими идеями, мы поневолѣ оставляемъ въ сторонѣ болѣе или менѣе случайныя ихъ пертурбаціи, какую бы важность онѣ ни имѣли въ глазахъ историка словесности. Мы обошли молчаніемъ предшественниковъ Горгія, хотя для всякаго ясно, что такое крупное направленіе, какъ введенное имъ краснорѣчіе, не могло возникнуть внезапно и безъ подготовительныхъ явленій; равнымъ образомъ мы поневолѣ выставили Горгія единственнымъ установителемъ искусства прозы въ Аѣинахъ, между тѣмъ какъ на дѣлѣ это было иначе. Въ этой неточности большой бѣды нѣтъ: пусть не всѣ шесть элементовъ художественной прозы восходятъ къ Горгію, пусть его славу, если только слава тутъ есть, съ нимъ раздѣляютъ его сверстники, имена которыхъ извѣстны специалистамъ, — если сама древность видѣла въ немъ начало и воплощеніе всего направленія, о которомъ мы говоримъ, то и намъ это можетъ быть дозволено.

Самъ Горгій былъ въ Аѣинахъ довольно рѣдкимъ гостемъ; но его направленіе свило себѣ тамъ довольно прочное гнѣздо. Вся молодежь была на его сторонѣ и толпилась вокругъ него въ тѣ дни, когда онъ навѣщалъ ея родину. Она-то и не давала поблѣкнуть его славы; всякій разъ, когда изъ устъ боготворимаго учителя вылетала какая-нибудь мѣткая антитеза или смѣлая метафора, — когда онъ, говоря о персидскомъ царѣ, построившемъ для своего пѣшаго войска мостъ черезъ Геллеспонтъ и прорывшемъ для кораблей каналъ черезъ Аѣонъ, отчеканивалъ фразу, что *этотъ царь велъ сухопутную войну на морѣ и морскую на материкъ*; или когда онъ, говоря о коршунахъ, называлъ ихъ *живыми могилами людей* — она неистово ему хлопала, и онъ могъ быть увѣренъ, что его фраза обойдетъ всю аѣинскую интеллигенцію и долго не будетъ забыта... Оно

въ дѣйствительности такъ и вышло: оба только-что приведенныя выраженія Горгія нашли себѣ многочисленныхъ подражателей чуть ли не въ каждомъ столѣтіи позднѣйшей греко-римской литературы, а *живыя модели* даже пережили ее и перешли къ Шекспиру, который отвелъ имъ очень эффектное мѣсто въ одномъ монологѣ своего Макбета. Правда, то была молодежь: что касается старшихъ, то объ ихъ настроеніи мы можемъ судить по пренебрежительному отношенію ареопага къ новому роду краснорѣчія, равно какъ и по насмѣшкамъ комедіи, этого всегдашняго вѣрнаго органа староаѳинской партіи. Съ однимъ, впрочемъ, трудно было не согласиться: пусть рѣчь Горгія искусственна, дѣланна, неискренна, пусть его муза—блудница (какъ ее позднѣе не разъ называли), и слова ея—пустой звонъ бубенчиковъ, все же его техника была громадна, и эта *техническая* сторона его краснорѣчія могла имѣть большое воспитательное значеніе. Сколько въ народѣ истиннаго, горячаго чувства, способнаго, кажется, двинуть горы,—но его носителю не дано средство выразить его, приходится безпомощно его заглушать въ своей груди! А тутъ предлагаютъ самое средство, предлагаютъ форму, алчущую содержанія; неужели отказаться народу отъ этого дара? И вотъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше вкореняется убѣжденіе, что Горгіеву краснорѣчію мѣсто въ *школахъ*, что будетъ очень недурно, если подростоющая молодежь научится, благодаря его технике, легко и изящно пользоваться словомъ, если она извѣздитъ вдоль и поперекъ всю область мысли на полозьяхъ его антитезы; современемъ жизнь возьметъ свое, и когда послѣ легковѣснаго хвороста школьныхъ темъ дѣло дойдетъ до солиднаго дерева дѣйствительности, то и бурное, трескучее и искрометное пламя краснорѣчія само собой прекратится и дастъ тихій, ровный и надежный жаръ. Были ли правы поборники этого оптимистическаго взгляда на риторикѣ? У нихъ были и противники, сильные если не количествомъ, то качествомъ—не забудемъ, что къ нимъ принадлежалъ Сократъ, — и они съ тревогой указывали на соблазнъ, заключающійся въ неограниченной власти надъ словомъ; устоитъ ли неокрѣпшій еще въ добрѣ умъ юноши, когда ему дадутъ въ руки средство, одинаково пригодное для дурныхъ, какъ и для хорошихъ цѣлей? Вы предлагаете ему

форму, алчущую содержанія, не спрашивая его о томъ, какимъ содержаніемъ ему угодно будетъ ее наполнить; а что, если это будетъ содержаніе дурное, опасное для свободы и добрыхъ правовъ родины? На это, однако, оптимисты отвѣчали: „Это—другое дѣло! Вѣдь вы заботитесь же о развитіи физическихъ силъ своихъ сыновей, обучаете ихъ и борьбѣ, и кулачному бою—но вѣдь и тутъ учитель передаетъ имъ только технику, не спрашивая ихъ, какой цѣли они посвящаютъ приобрѣтенныя ими ловкость и силу. А что, если это будетъ дурная цѣль, если обученный боксу юноша воспользуется своимъ умѣньемъ для того, чтобы прибить отца и мать? Вы вѣдь не будете пенять на учителя гимнастики и на его искусство, а сочтете виновными самихъ себя, за то, что не дали своему сыну болѣе нравственнаго направленія. То же самое и здѣсь“.

Таковъ былъ отвѣтъ приверженцевъ новой школьной дисциплины, съ которыми мы можемъ согласиться тѣмъ смѣлѣе, что насъ здѣсь интересуетъ только эстетическая, а не нравственная сторона вопроса. «Софистическое» краснорѣчіе основалось въ школѣ и завоевало себѣ въ ней даже первое мѣсто; начиная съ эпохи Горгія, оно было тѣмъ родникомъ, который орошалъ ниву аѳинскаго, а вскорѣ и обще-греческаго слова на всемъ ея протяженіи. И смотря по большому или меньшему обилію орошающей влаги, возникаютъ—ниже приподнятой «школьной» витіеватости съ ея дѣланымъ паѳосомъ, но выше ползучей гражданской рѣчи съ ея отсутствіемъ всякаго аффекта—различныя направленія художественной—и на этотъ разъ дѣйствительно художественной—прозы. Въ V-мъ вѣкѣ до Р. Х., видѣвшемъ расцвѣтъ поэзіи, идеалъ прозы достигнутъ еще не былъ. Правда, мы встрѣчаемъ въ немъ могучую личность историка Фукидида; но Фукидидъ интересенъ для насъ именно тѣмъ, что онъ, какъ художникъ стиля, олицетворяетъ собой борьбу, броженіе, а не спокойное обладаніе достигнутымъ идеаломъ. То онъ подчиняется манерѣ Горгія,—и мы встрѣчаемъ у него такія же выточенные фразы, какъ приведенныя выше изъ надгробной рѣчи послѣдняго; то у него мелькаетъ мысль, что частичнымъ нарушеніемъ симметріи можно сильнѣе оттѣнить понятія, чѣмъ черезчуръ строгою уравновѣшенностью членовъ предложенія. Онъ сознаетъ, что греческій языкъ, съ его оби-

ліемъ союзовъ, съ его множествомъ причастныхъ и другихъ конструкцій, такъ и напрашивается на стройную періодизацію; но его попытки въ этомъ направленіи еще несовершенны, его періоды зачастую лишены перспективы, и даже древніе сознавали, что въ нихъ разбираться не легко. Конечно, его очень любили, и онъ въ высокой степени стоитъ этой любви и понинѣ: нѣтъ писателя, болѣе приспособленнаго къ такому, такъ сказать, перемежающемуся чтенію, при которомъ читатель, прочитавъ нѣсколько фразъ, останавливается и невольно задумывается—а мы справедливо ставимъ въ счетъ своимъ собесѣдникамъ тѣ хорошія мысли, на которыя они насъ наводятъ. И если мы говоримъ, что стиль Оувидида тяжелъ, то мы должны помнить, что онъ тяжелъ отъ бремени *мысли*.

Къ тому же, это—историкъ; стиль же долженъ былъ выработаться прежде всего въ области краснорѣчія, такъ какъ только въ ней бываетъ на лицо требуемое разнообразіе сюжетовъ при единствѣ темы; только здѣсь творчество является полнымъ, обнимая и сочиненіе и произнесеніе, только здѣсь, наконецъ, при взаимодействіи между говорящимъ и его слушателями, дѣлается возможнымъ контроль ораторской техники при помощи живой дѣйствительности. И вотъ, при умѣренномъ еще орошеніи нивы слова родникомъ софистической техники, расцвѣтаетъ первый скромный цвѣтокъ аттического краснорѣчія—*строгий* стиль оратора Лисія. Этотъ стиль немногимъ, повидимому, отличался отъ того, который былъ допускаемъ передъ судомъ ареопага; мы находимъ въ немъ всѣ элементы художественной рѣчи, но находимъ ихъ въ сравнительно слабой мѣрѣ: ораторъ больше стремится къ отчетливости рисунка, чѣмъ къ яркости колорита. Чтобы избѣгнуть пышности, онъ не даетъ разгорѣться аффекту; чтобы избѣгнуть темноты, онъ не строитъ сложныхъ періодовъ. Старательно приспособивъ свою задачу къ своимъ силамъ, онъ справился съ нею вполне и достигъ въ своемъ родѣ совершенства, какъ достигли его и родственные ему по направленію итальянскіе художники XV вѣка, предшественники Рафаэля, цѣломудренная красота которыхъ насъ плѣняетъ до тѣхъ поръ, пока мы не вспомнимъ о «станцахъ» Ватикана и о сивиллахъ сикстинской капеллы. Въ обоихъ случаяхъ, однако, искусство двинулось впередъ, къ другимъ

идеямъ, достиженіе которыхъ стало возможнымъ лишь при усиленномъ дѣйствіи того родника, который, въ обоихъ случаяхъ, орошалъ обрабатываемую художникомъ ниву—при усиленномъ дѣйствіи школы.

Представителемъ школы краснорѣчія въ Аѣинахъ IV вѣка былъ Исократъ; его имя не можетъ быть пропущено ни въ одномъ очеркѣ развитія художественной прозы. Онъ былъ ученикомъ Горгія и у него позаимствовалъ технику рѣчи. Будучи природнымъ аѣиняниномъ, онъ имѣлъ полное право принимать непосредственное участіе въ политической жизни своей родины, но физическій недостатокъ не позволялъ ему выступать публично ораторомъ, и онъ посвятилъ себя школѣ. Все же его краснорѣчіе стояло ближе къ жизни и было менѣе искусственнымъ, чѣмъ краснорѣчіе его учителя; онъ отказался отъ многихъ внѣшнихъ средствъ, которыми такъ любилъ пользоваться Горгій, зато—и въ этомъ его главная заслуга передъ потомствомъ—онъ сосредоточилъ свое вниманіе на періодизаціи. Лишь благодаря его трудамъ въ этомъ направленіи, греческій языкъ выказалъ все свое богатство, все разнообразіе своихъ конструцій; обдуманно группируя второстепенные элементы рѣчи вокругъ главныхъ, онъ создалъ для своихъ слушателей цѣлыя вереницы періодовъ, легкихъ, просторныхъ и ясныхъ отъ одного края до другого, подобно колоннадамъ тѣхъ портиковъ, которые окружали площадь ихъ родного города. Теперь только было создано орудіе, котораго не доставало строгому стилю Лисія и его современниковъ; форма рѣчи достигла своего совершенства и нуждалась только въ содержаніи для того, чтобы осуществить новый идеалъ красоты. Содержаніе это было недалеко, его могла дать политическая жизнь аѣинянъ, всѣми силами старавшихся тогда возстановить свое утерянное главенство среди греческихъ государствъ; но не Исократу, представителю школы, было дано совершить требуемое сліяніе искусства и жизни. Это было дѣломъ послѣднихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ лучшихъ изъ политическихъ ораторовъ свободныхъ Аѣинъ—Демосѣена и Эсхина. Намъ, конечно, трудно становиться на точку зрѣнія чистаго искусства по отношенію къ людямъ, игравшимъ столь важную и столь роковую роль въ исторіи гибели своей родины; тѣмъ не менѣе такое огра-

ниченіе горизонта здѣсь необходимо. Для историка художественной прозы, Демосеенъ и Эсхинъ, эти два непримиримыхъ врага, стоятъ рядомъ, — первый, какъ представитель *сильнаго*, второй — какъ представитель *красиваго* стиля въ искусствѣ рѣчи, и сравненіе съ Діоскурами итальянской живописи напрашивается само собой.

Аѣины никогда не могли оправиться отъ удара, нанесеннаго имъ Филиппомъ; никакая призрачная самостоятельность не могла дать имъ политической жизни, а стало быть и ихъ краснорѣчію — того содержанія, которымъ были такъ богаты оба предыдущихъ столѣтія. Объ остальныхъ греческихъ государствахъ и говорить нечего; таковъ уже былъ характеръ античныхъ народовъ, что только политическая независимость и республиканское равноправіе могли служить надежной, живительной атмосферой для талантовъ. Особенно же это касается художественной прозы: ея главнымъ органомъ была живая рѣчь, рѣчь оратора, свободно говорящаго передъ свободными согражданами въ народномъ собраніи, или въ засѣданіи суда; она была поэтому неразрывно связана съ политическою жизнью, въ которой примѣнялось и провѣрялось приобрѣтенное въ школѣ умѣнье.

Теперь жизнь отошла, а школа осталась. Чтò было дѣлать ученику, усердно изучившему подъ руководствомъ своего учителя техническую сторону краснорѣчія, основательно овладѣвшему этой «формой, алчущей содержанія», но не находившему въ жизни содержанія для нея? Если онъ не хотѣлъ замолкнуть — а къ этому эллины теперь уже были неспособны — ему оставалось только одно: — продолжать въ жизни то, чтò онъ дѣлалъ въ школѣ, сосредоточиться на формѣ, выработать ее до виртуозности, а затѣмъ — собирать вокругъ себя аудиторію досужихъ людей не для того, чтобы передать имъ какое-нибудь серьезное поученіе или вынудить у нихъ то или другое рѣшеніе, а только для того, чтобы служить предметомъ ихъ восторженнаго удивленія. Такъ оно и случилось. Параллелью и тутъ можетъ служить исторія живописи, манеризмъ XVII вѣка, но пожалуй еще лучше — вслѣдствіе своей бôльшей близости къ намъ — развитіе инструментальной музыки послѣ Шумана и Шопена. Въ этихъ двухъ геніяхъ инструментальная музыка

досказала то, что она имѣла сказать нашей душѣ: отнынѣ она обращается къ нашему уху. Virtuозы выступаютъ публично, въ концертахъ, и стараются поразить насъ своей техникой; и мы идемъ слушать ихъ, не справившись даже предварительно, что они будутъ намъ играть—до такой степени намъ стало безразлично содержаніе. Попробуйте сказать, что вамъ содержательная вещь стараго репертуара въ исполненіи даже какой-нибудь почтенной посредственности интереснѣе, чѣмъ виртуозно-исполненная современная дребедень—и васъ сочтутъ выходящемъ съ другой планеты. Быть можетъ, это и хорошо; быть можетъ, это увлеченіе техникой—необходимое условіе для какого-нибудь возрожденія музыки, которое намъ готовитъ двадцатый вѣкъ; во всякомъ случаѣ, переживаемый нами нынѣ періодъ музыкальной риторики поможетъ читателю разобраться въ совершенно аналогичномъ риторическомъ краснорѣчіи, распространившемся по всей Греціи въ III вѣкѣ до Р. X.

Краснорѣчіе это мы называемъ *азіанизмомъ*; названіе это было ему дано потому, что его представители были большею частью родомъ изъ Малой Азіи. Характеризовать его нѣтъ надобности послѣ того, что было сказано выше; читатель уже знаетъ, что имѣетъ здѣсь дѣло не съ художественной, а съ искусственной прозой. Впрочемъ, уже древніе различали въ немъ не одинъ, а два различныхъ стиля; слѣдуя ихъ указаніямъ,—а мы вынуждены это сдѣлать, такъ какъ ни одинъ изъ представителей азіанизма намъ не сохраненъ—и мы можемъ назвать одинъ изъ нихъ *игривымъ*, а другой *пышнымъ* стилемъ. Игривый стиль тѣсно примыкаетъ къ манерѣ Горція: тѣ же краткіе члены, состоящіе изъ двухъ или трехъ словъ, съ очень замѣтнымъ ритмомъ. Пышный стиль, напротивъ, примыкаетъ къ Исократу; онъ отдаетъ предпочтеніе длиннымъ, сложнымъ періодамъ. Общимъ признакомъ ихъ была безсодержательность и фальшивый пафосъ, одинаково свойственный и слащавой граціи перваго, и ходульной высокопарности втораго стиля; все же, если сравнивать между собой обѣ манеры въ отношеніи ихъ воспитательнаго значенія, то предпочтеніе придется отдать второму. Пышный стиль былъ хорошъ хотя бы тѣмъ, что сохранилъ всѣ выработанныя предыдущими поколѣніями техническія пре-

имущества, между тѣмъ какъ игривый носилъ на себѣ явные признаки вырожденія.

Задавшись цѣлью прослѣдить главнос теченіе исторіи греческой художественной прозы, мы по неволѣ, какъ было замѣчено выше, должны оставить въ сторонѣ ея побочные каналы. Но одинъ изъ нихъ заслуживаетъ хоть краткаго упоминенія. Политическая жизнь, постепенно умиравшая на греческомъ материкѣ, сохранилась, однако, на островѣ Родосѣ; родосская республика крѣпла и развивалась и приобрѣла въ послѣдствіи могущество, напоминающее нѣсколько могущество Венеціи въ средніе вѣка. Здѣсь, стало быть, было открыто убѣжище художественному краснорѣчію; и дѣйствительно, мы знаемъ, что Эсхинъ, послѣ своего паденія въ Афинахъ, перешелъ туда и сталъ тамъ учителемъ родосской молодежи, которая, такимъ образомъ, познакомилась съ его «красивымъ» стилемъ. Много объ его послѣдователяхъ говорить не приходится; но необходимо помнить, что пока азіанизмъ торжествуетъ во всемъ греческомъ мірѣ, художественное краснорѣчіе красиваго стиля продолжаетъ существовать въ Родосѣ.

Реакція противъ азіанизма наступила въ I-мъ вѣкѣ; ея возникновеніе находится въ связи съ успѣхами греческой филологіи. Долгое время греческая муза беззаботно творила, счастливая въ сознаніи богатства своей творческой силы; теперь же эта сила стала убывать, и муза озабоченно оглядывается назадъ, чтобы собрать тѣ дары, которые она раньше легкомысленно расточала повсюду. Основываются бібліотеки, начинается изученіе сокровищъ, стекавшихся въ ихъ широкія хранилища. Изученіе коснулось, что и понятно, прежде всего поэтическихъ памятниковъ, какъ наиболѣе трудныхъ и цѣнныхъ; но вскорѣ очередь дошла и до прозаиковъ. Прошло нѣсколько десятилѣтій, и старательное изученіе вызвало потребность подражанія. Въ этомъ ясно формулированномъ требованіи, — а именно, чтобы позднѣйшая проза признала образцомъ для себя художественную прозу давнопрошедшихъ временъ, — заключалась означенная реакція противъ азіанизма, который только теперь получилъ эту презрительную кличку; а такъ какъ образцами были объявлены — и относительно этого не могло быть колебанія — аттические писатели IV вѣка, то и

новое направлѣніе было названо *аттицизмомъ*. Его возникновеніе имѣло рѣшающее вліяніе на дальнѣйшую судьбу греческой прозы: *все ея развитіе было обусловлено борьбою аттицизма съ азианизмомъ*.

Которая же изъ этихъ двухъ борющихся сторонъ болѣе заслуживаетъ симпатій? На первый взглядъ, отвѣтъ не представляется сомнительнымъ. Съ одной стороны—стиль строгій, стиль сильный, стиль красивый, съ другой—выборъ между двумя болѣзненными манерами, игривой и пышной; съ одной стороны—художественность, основанная на естественности, съ другой—искусственность. Все же, при болѣе близкомъ ознакомленіи съ характеромъ новаго направленія, симпатіи къ нему должны сильно охлаждаться. Причины такого охлажденія три.

Первая—принципіальнаго характера и стоитъ въ ближайшей связи съ самой идеей прогресса. Есть два предразсудка, которые, будучи противоположны другъ другу, одинаково гибельно вліяютъ на умственный прогрессъ: одинъ состоитъ въ томъ, что идеаль прошлаго объявляется чѣмъ-то отжившимъ и несомѣстимымъ съ живою дѣятельностью, требующею будто бы, для своего благополучія возможно скорого и полного отреченія отъ него; другой—въ томъ, что этотъ идеаль объявляется, наоборотъ, нормой, въ рамкѣ котораго должна укладываться дѣйствительность. Среднее между этими предразсудками мѣсто занимаетъ истина, гласящая, что идеаль прошлаго не долженъ быть забытъ, что онъ долженъ вліять на современную намъ дѣйствительность, *но не какъ норма, а лишь какъ сѣмя*, для того, чтобы ей оплодотворяться имъ. Древности, въ лицѣ ея лучшихъ представителей, эта истина не была безызвѣстна; но именно аттицисты ея не знали. Ихъ лозунгомъ было *подражаніе*: вы будете—думали они—тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе сѣмьете приблизиться къ великимъ образцамъ прошлаго. Но только приблизиться; что же касается того, чтобы достигнуть ихъ, то объ этомъ и думать было нечего, это было совершенно невозможно,—и въ этомъ отношеніи они были, разумѣется, правы. Итакъ, первымъ недостаткомъ новаго направленія было то, что оно заранѣе дѣлало невозможной всякую оригинальность въ области художественной прозы.

Второй недостатокъ носилъ на себѣ болѣе практическій

характеръ. Однимъ изъ важнѣйшихъ элементовъ художественной прозы былъ, какъ мы видѣли, подборъ словъ, — оно и понятно. Художникъ прозы долженъ отдавать себѣ отчетъ въ характеръ употребляемыхъ имъ словъ, въ ихъ вѣсъ и, если можно такъ выразиться, въ ихъ тембръ, т.-е. въ характеръ возбуждаемыхъ ими побочныхъ представлений и чувствъ. Эти побочныя представленія въ умѣ чуткаго слушателя невольно сливаются съ главнымъ; у художника рѣчи — что слово, то аккордъ, и слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы аккордъ этотъ не звучалъ диссонансомъ. Съ этой точки зрѣнія забота о старательномъ подборѣ словъ вполнѣ разумна; трудно подыскать и въ воспитательномъ отношеніи болѣе развивающее упражненіе. Но не такъ отнеслись къ этому вопросу аттицисты. Въ ихъ глазахъ важно было прежде всего, чтобы не допускалось въ художественную рѣчь ни одно слово, которое не могло бы быть узаконено ссылкой на аттические образцы. Чтобы понять всю стѣснительность этого запрета, нужно припомнить, что между этими образцами и современностью аттицистовъ лежалъ промежутокъ въ три столѣтія, во время которыхъ аттический языкъ успѣлъ сдѣлаться обще-греческимъ, а греческій — мировымъ. Понятно, что языкъ этотъ не могъ не измѣниться самымъ существеннымъ образомъ: тотъ говоръ, который въ IV-мъ вѣкѣ былъ еще живымъ, теперь сталъ книжнымъ. Но вотъ онъ подвергается серьезному, усиленному изученію; создаются словари, въ которыхъ аттическія слова сопоставляются съ соответствующими имъ по значенію «эллинскими», т.-е. общегреческими; появляются виртуозы памяти, видящіе свою гордость въ томъ, чтобы экспромтомъ отвѣчать на заданный имъ вопросъ, встрѣчается ли данное слово у аттического писателя, и если да, то гдѣ именно. Нѣтъ спора, что въ этомъ была и своя хорошая сторона. Аттический языкъ обладалъ многими достоинствами, которыхъ общегреческій не сохранилъ; онъ былъ самобытнѣе, поэтичнѣе, глубокомысленнѣе, въ немъ геній эллинской рѣчи слышался яснѣе и внятнѣе. Все это вполнѣ оправдывало бы его старательное изученіе, но аттицисты этимъ не удовольствовались; они воздвигли произвольную стѣну между художественной прозой своихъ послѣдователей и языкомъ живой дѣйствительности, и этимъ осудили

первую на вѣчное прозябаніе въ холодномъ полумракѣ искусственности.

Третій недостатокъ обусловливался самимъ реакціоннымъ характеромъ аттицизма. Разъ азіанизмъ былъ преданъ анаѳемѣ— было дано, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мѣрило для сравнительной оцѣнки самихъ образцовыхъ писателей,—мѣрило простое и радикальное: они были тѣмъ лучше и тѣмъ образцовѣе, чѣмъ менѣе они были похожи на азіанцевъ и наоборотъ— Съ этой точки зрѣнія Эсхинъ и даже Демосѳенъ казались не совсѣмъ благонадежными; наиболѣе восторгались строгимъ стилемъ Лисія, и особаго рода иронія судьбы заключалась въ томъ, что этотъ человѣкъ, не бывшій даже по происхожденію аѳиняниномъ, былъ объявленъ прямымъ воплощеніемъ духа аттической рѣчи. Конечно, эти «прерафаэлиты» аттицизма, если можно такъ выразиться, составляли крайнее крыло партіи; ядро ея образовали люди разумные, умѣренные, находившіе хорошимъ все, что носило печать аттического духа, и по общему характеру своему аттицизмъ, если допускать иллюстрацію изъ исторіи живописи, можетъ быть скорѣе всего сопоставленъ съ болонской школой Карраччи и прочихъ эклектиковъ; какъ эта послѣдняя, вооружаясь противъ манерности своего вѣка, рекомендовала старательное изученіе великихъ мастеровъ Возрожденія, такъ и аттицизмъ съ его призывомъ къ подражанію ораторамъ IV-го вѣка былъ протестомъ противъ излишествъ азіанизма, грозившаго изгнать правдивость и серьезность изъ греческой прозы.

IV.

Азіанизмъ и аттицизмъ были охарактеризованы нами въ предыдущей главѣ сами по себѣ, съ точки зрѣнія того значенія, которое они имѣли для своей среды и своего времени. Но не въ этомъ ихъ единственное значеніе: разгаръ борьбы этихъ двухъ направленій совпалъ съ тѣмъ временемъ, когда грубый до тѣхъ поръ, но сильный и жаждущій образованія Римъ сталъ все ближе и ближе знакомиться съ греческимъ духовнымъ міромъ и готовится къ своей памятной роли посредника между древней и новой цивилизаціей. Уже въ пер-

вомъ столѣтіи до Р. Х. Римъ, по словамъ одного изъ главныхъ представителей аттицизма, Діонисія Галикарнасскаго, *заставлялъ весь городъ обращать на него свои взоры*; каково бы ни было, само по себѣ, то или другое направленіе въ тогдашней Греціи, его міровое значеніе зависѣло отъ вліянія, которое оно способно было оказать на тогдашній Римъ.

При этомъ слѣдуетъ прежде всего сознаться, что матеріальныя преимущества были на сторонѣ азіанизма. Онъ былъ на цѣлыхъ два столѣтія старше; знакомство Рима съ Греціей началось въ эпоху пуническихъ войнъ, когда аттицизма еще не было. Такимъ образомъ, азіанизмъ могъ пользоваться всеми выгодами, которыя даетъ инерція; но главное было то, что азіанизмъ былъ силенъ техникой, а аттицизмъ—образцами. Техника—это сводъ правилъ, выработанныхъ съ замѣчательной тщательностью многими поколѣніями юристовъ, философовъ и риторовъ; о ней было написано много томовъ, но она же, упрощенная до крайности для потребностей школы, удобно умѣщалась въ небольшой брошюркѣ, которую можно было безъ особаго труда перевести и на другой языкъ. Напротивъ, образцы—это Лисій, Демосѣенъ, Эсхинъ, перевести которыхъ по-латыни было нелегко, да и бесполезно, такъ какъ они при этомъ переводѣ потеряли бы тотъ свой ароматъ, которымъ болѣе всего дорожили аттицисты. Другими словами: азіанизмъ былъ возможенъ и въ переводѣ на латинскій языкъ; аттицизмъ былъ прикрѣпленъ къ землѣ, къ родной ему почвѣ греческаго языка.

Казалось бы, что при этихъ условіяхъ побѣда азіанизма въ Римѣ была обезпечена; тѣмъ не менѣе вышло иначе, хотя и не такъ скоро.

Тутъ впервые вступаетъ въ силу то, что мы можемъ теперь назвать *западной* точкой зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры. Дѣйствительно, культура—мы говоримъ здѣсь о культурѣ умственной—есть прежде всего содержаніе и интересуется насъ именно какъ таковое; но, будучи содержаніемъ, она тѣмъ не менѣе болѣе или менѣе тѣсно связана съ формой, въ которую она влита въ данную минуту. Во взглядахъ на важность этой *связи* и усматривается разница между востокомъ и западомъ. Западъ проникнутъ уваженіемъ къ ней; ему нужно содержаніе вмѣстѣ съ формой, т.-е. съ языкомъ того народа, отъ

котораго онъ получаетъ культуру. Востокъ же говоритъ своему народу-учителю:—дай мнѣ содержаніе, переливъ его предварительно въ мою форму, а свою оставь себѣ—она мнѣ не нужна.

Римъ потребовалъ содержанія вмѣстѣ съ формой, и случилось это слѣдующимъ образомъ.

Въ началѣ идея культурнаго воздѣйствія Греціи на Римъ встрѣтила въ этомъ послѣднемъ столько же сопротивленія, сколько и сочувствія: Сципіоны съ жадностью воспринимали сѣмена греческой цивилизаціи, но зато вождь староримской партіи, Катонъ Старшій, безразлично ея чуждался и ничего хорошаго отъ ея прививки къ Риму не ожидалъ.—*„Дай только этому народу передать намъ свою литературу,“*—говорилъ онъ пророчески своему сыну, *—и онъ въ корень насъ растлитъ“*. Природа и исторія надѣляли самобытный языкъ Рима неподражаемой силой и выразительностью, чѣмъ и приспособили его на всѣ времена быть языкомъ девизовъ и эпитафій; эти качества, столь ярко сказывающіяся въ языкѣ законовъ XII таблицъ, выступали еще ярче при сравненіи съ рѣчью словоохотливой Греціи. Контрастъ былъ поразителенъ; греческіе толмачи должны были прибѣгать къ цѣлымъ предложеніямъ для передачи того, что Катонъ выражалъ однимъ словомъ; *„это происходитъ отъ того,“*—гордо пояснялъ онъ, *—что у насъ слова вытекаютъ изъ сердца, а у васъ—изъ устъ“*. Но время брало свое, и время было живое; великія дѣла рѣшались въ сенатѣ и въ народномъ собраніи, и рѣшались при помощи краснорѣчія. Можно было обойтись безъ теоретическихъ разсужденій тамъ, гдѣ ежедневный опытъ указывалъ вѣрный путь; а какого рода былъ этотъ опытъ—видно изъ того, что подъ-конецъ самъ Катонъ сталъ *„сочинять“* и слѣдовать въ своихъ рѣчахъ указаніямъ древнихъ. Такимъ образомъ достигъ того, что съ

его имени начинается исторія римскаго краснорѣчія, какъ и римской художественности вообще; понятно, однако, что здѣсь слово художественность должно быть понимаемо въ очень условномъ смыслѣ. Его рѣчи—намъ отъ нихъ сохранилось довольно много отрывковъ—представляютъ изъ себя замѣчательную смѣсь зрѣлаго и дѣтскаго содержанія съ ученической формой. Такъ (чтобы дать представленіе о послѣдней) онъ основательно затвердилъ правило, что понятіе выигрываетъ въ силѣ,

если его передать не однимъ, а двумя (или тремя) родственными по содержанію словами; но онъ примѣняетъ его иногда слѣдующимъ образомъ: „я знаю, что у большинства людей, подъ вліяніемъ счастья, успѣха и благополучія, духъ окрыляется и ихъ гордость и высокомеріе увеличивается и растетъ“...

Все же Катонъ староримская плотина была окончательно прорвана; греческое краснорѣчіе вливается въ столицу міра — и на первыхъ порахъ именно краснорѣчіе азіанское. Конечно, въ Римѣ республиканской эпохи азіанизмъ не могъ быть той чисто-технической виртуозностью, какою онъ былъ въ тогдашней Греціи: сама жизнь наполняла его содержаніемъ. Мы знаемъ, что знаменитый Гай Гракхъ имѣлъ учителемъ азіанца, и сохранившіеся отрывки его рѣчей вполне доказываютъ азіанскій характеръ его краснорѣчія; все же несчастный трибунъ, въ моментъ разрушенія всѣхъ надеждъ его жизни, такъ взываетъ ко измѣняющему ему народу: „Куда мнѣ обратиться, гдѣ искать убѣжища? Въ Капитоліи? Онъ обогрѣнъ кровью моего брата. Или дома? Чтобы видѣть въ слезахъ и горѣ мою несчастную мать?“ Въ этомъ воззваніи пріобрѣтенная долгимъ навыкомъ техника участвовала въ такой же мѣрѣ, какъ и истинное чувство.

Но Гай Гракхъ еще учился у грека — это значитъ, что онъ, предварительно овладѣвъ греческимъ языкомъ въ совершенствѣ, долгое время, параллельно съ изученіемъ теоріи, упражнялся подъ руководствомъ своего учителя въ «декламаціяхъ», т.-е. школьныхъ рѣчахъ на вымышленныя темы. Ту же школу прошелъ и глава слѣдующаго поколѣнія римскихъ ораторовъ, Крассъ. Школа эта, несмотря на азіанскую закваску, была серьезна и плодотворна; разъ ознакомившись основательно съ греческимъ языкомъ, молодой ораторъ открывалъ себѣ доступъ и къ греческой литературѣ, въ которой онъ находилъ, и помимо образцовъ краснорѣчія, массу образовательнаго матеріала. Такъ, мы знаемъ о Крассѣ, что онъ, вышедши изъ азіанской школы, тѣмъ не менѣе былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени и, что еще важнѣе, признавалъ и проповѣдовалъ необходимость общаго образованія также и для оратора. Но уже при его жизни доступъ къ краснорѣчію былъ римлянамъ значительно облегченъ. Мы видѣли, что сила азіанизма

заклучалась именно въ легкости, съ которой онъ могъ быть перелить въ языкъ другого народа; при все увеличивающемся спросѣ на краснорѣчіе въ Римѣ было бы удивительно, если бы онъ этой своей силой не воспользовался. Греческіе отпущенники (т.-е. первоначально рабы греческаго происхожденія, въ совершенствѣ изучившіе латинскій языкъ въ домѣ своихъ римскихъ господъ, а затѣмъ отпущенные ими на волю), были естественными посредниками между греческимъ и римскимъ культурнымъ міромъ; и вотъ въ Римѣ возникаетъ и, при благосклонномъ къ нему отношеніи публики, все увеличивается классъ такъ-называемыхъ латинскихъ раторовъ. Они учили по-латыни и могли, поэтому, принимать всякаго; въ основаніе своего обученія они клали тощій учебникъ, переведенный ими съ греческаго; тамъ ученики находили правила риторической техники и примѣры къ нимъ—последніе, впрочемъ, иногда были сочинены самими учителями, что и заявлялось тогда съ подобающимъ анпломомъ. Такъ явилось «содержаніе безъ формы», ученіе безъ создавшаго его языка; въ виду чисто технического характера этого содержанія, его можно, съ другой точки зрѣнія, назвать также формой безъ содержанія; но мы здѣсь говоримъ не о томъ. Это содержаніе безъ формы предлагалось Риму на самыхъ сходныхъ условіяхъ; можно ли было ожидать, что онъ его отвергнетъ?

И все-таки онъ его отвергъ—отвергъ эдиктомъ своихъ цензоровъ 91 года, однимъ изъ которыхъ былъ вышеназванный ораторъ Крассъ. Эдиктъ этотъ столь своеобразенъ и интересенъ, что его не лишне будетъ привести полностью; вотъ онъ: *„Намъ докладываютъ, что появились распространители новаго рода образованія, созывающіе молодежь къ себѣ въ школу; они называютъ себя латинскими раторами и держатъ у себя молодежь по цѣлымъ днямъ. Наши предки указали и предметы обученія для своихъ дѣтей, и школы, какія имъ слѣдуетъ посѣщать; эти нововведенія, противныя нашимъ обычаямъ и завѣтамъ предковъ, не заслуживаютъ одобренія и представляются неправильными. Поэтому мы сочли нужнымъ объявить наше мнѣніе и содержателямъ этихъ школъ, и ихъ посѣтителемъ—именно что мы этого дѣла не одобряемъ“*... Не подлежитъ сомнѣнію, что Крассомъ и его коллегой руководили отчасти и

соображенія политическаго характера. Краснорѣчіе было политической силой; прикрѣпляя ее къ греческому языку, они отнимали ее у демократовъ, или во всякомъ случаѣ сосредоточивали въ рукахъ аристократической партіи. Но все, что мы знаемъ о Крассѣ и его взглядахъ на образованіе, доказываетъ намъ, что на первомъ планѣ у него стояли именно вышеуказанныя мысли: «латинскіе риторы» были невѣждами и воспитывали невѣждъ; только дѣйствительно образованному чело-вѣку можно было безъ опасеній ввѣрить оружіе краснорѣчія, и только знаніе греческаго языка открывало доступъ къ образованію. Такъ объясняется это едва ли не единственное въ своемъ родѣ событіе: въ 91 г. Римъ закрылъ у себя всѣ латинскія школы краснорѣчія, оставляя однѣ только греческія. Пришлось воспитанникамъ латинскихъ школъ искать себѣ другихъ учителей; это было очень важно, такъ какъ въ ихъ числѣ былъ и Цицеронъ.

Этимъ былъ положенъ предѣлъ исключительному вліянію азіанизма; но самъ онъ не былъ еще свергнутъ, его только стало убывать. Нѣкоторое время онъ, однако, держался; подобно Крассу и его ближайшій преемникъ, «царь судовъ», Гортензій, былъ азіанцемъ; азіанцемъ былъ еще и Цицеронъ въ началѣ своей судебной дѣятельности. Повидимому, онъ имѣлъ охоту остаться таковымъ, когда онъ, послѣ первыхъ шаговъ въ Римѣ, отправился въ Грецію кончать свое высшее образованіе: главной цѣлью его поѣздки была Малая Азія; главные учителя, лекціи которыхъ онъ посѣщалъ, были наиболѣе знаменитые представители азіанизма того времени. Но онъ навѣстилъ также и сосѣдній съ Азіей Родосъ; а тамъ, какъ мы видѣли выше, еще существовало, одинаково свободное и отъ азіанской манерности, и отъ аттической сухости, живое продолженіе «красиваго» стиля Эскина, носившее названіе «родосскаго стиля». Къ нему-то и пристрастился Цицеронъ; когда онъ вернулся въ Римъ, онъ, по собственному признанію, былъ другимъ чело-вѣкомъ. Школа азіанизма, при всѣхъ своихъ излишествахъ, не осталась, впрочемъ, безъ хорошаго вліянія на него: согласно развитому выше закону, эта усиленная умственная школа доставила ему быстрый полетъ мысли и замѣчательную гибкость языка; но его идеалами были отнынѣ великіе аѳинскіе мастера IV вѣка, особенно по-

слѣдніе по времени изъ нихъ, давно примиренные между собою враги, Демосеенъ и Эсхинъ. Ихъ онъ старательно изучалъ, но не такъ, какъ ихъ изучали аттицисты; они были для него не нормой, а сѣменемъ, которымъ онъ оплодотворялъ свой духъ, чтобъ создать *художественную прозу латинской рѣчи*.

Отнынѣ азіанизмъ умолкаетъ въ Римѣ на цѣлое столѣтіе; царствуетъ въ лицѣ Цицерона «красивый» стиль. Аттицизмъ почувствовалъ, что эта эволюція ему на руку, и въ свою очередь пустилъ корни въ Римѣ. Разумѣется, это былъ пока аттицизмъ умѣренный; главное отличіе крайняго аттицизма, обращеніе ко всѣмъ не-аттическимъ словамъ, не имѣло смысла для людей, которымъ предстояло говорить не по-гречески, а по-латыни. Все же и въ этой умѣренной формѣ онъ довольно рѣзко отличался не только отъ азіанизма, — объ этомъ и говорить нечего, — но и отъ воплощеннаго въ цидероновскомъ краснорѣчii идеала. Здѣсь сѣмя, тамъ норма; къ тому же — въ силу реакціоннаго характера аттицизма, о которомъ была рѣчь выше, — нормой были объявлены не современные, а ранніе писатели IV-го вѣка, не Демосеенъ съ Эсхиномъ, а Лисій съ его строгимъ стилемъ; нашлись даже оригиналы, вздумавшіе подражать Ѳукидиду. Борьба съ аттицистами, — къ которымъ принадлежали, напримѣръ, Цезарь и Брутъ, — заняла послѣдніе годы жизни Цицерона, поскольку они были посвящены литературѣ. Когда его не стало, аттицизмъ почувствовалъ себя побѣдителемъ въ Римѣ и гордо заявилъ устами своего главного теоретика, Діонисія Галикарнасскаго, свое удовольствіе по поводу окончательнаго изгнанія азіанской «блудницы».

Его торжество, однако, было преждевременнымъ; азіанизмъ не замедлилъ появиться вновь, и все дальнѣйшее развитіе греко-римской художественной прозы состоялось подъ вліяніемъ борьбы обоихъ направленій, азіанизма и аттицизма. Дѣйствительно, результатомъ умственной жизни Рима въ I в. до Р. Х., однимъ изъ симптомовъ которой былъ вышеупомянутый эдиктъ Красса, было полное проникновеніе эллинизма въ римскій духовный міръ: греческій и латинскій языки стали оба національными языками римской имперіи. Постараемся вкратцѣ охарактеризовать дальнѣйшее развитіе художественной прозы обѣихъ литературъ, поскольку оно обуславливалось борьбой вышеназванныхъ направленій.

Съ установленіемъ монархическаго принципа краснорѣчіе перестало быть двигательной силой въ Римѣ; для художественной прозы наступили условія, совершенно аналогичныя съ тѣми, которыя мы встрѣчаемъ въ Греціи послѣ Александра Великаго. Неудивительно, поэтому, что и послѣдствія здѣсь и тамъ были одинаковы: когда трибуна потеряла свое руководящее значеніе, ея мѣсто заняла школа и книга. Школа въ Греціи породила азіанизмъ, книга — аттицизмъ; и школу, и книгу мы находимъ въ Римѣ. Школа была современною, книга — старинною, и представители школьнаго краснорѣчія охотно называли себя «новыми» (неотеристами), а представители книжнаго краснорѣчія — «старыми» (архаистами).

Школа была одинаковою въ обѣихъ половинахъ римской имперіи; правда, въ западной много говорили по-латыни (запретъ, наложенный Крассомъ на латинскую риторическую школу, давно уже былъ снятъ), но это разницы не составляло, такъ какъ духъ былъ одинаковъ. Другое дѣло — книга; въ эпоху Цицерона римскіе архаисты, подобно греческимъ, старались подражать (хотя, разумѣется, на латинскомъ языкѣ) аттическимъ писателемъ IV вѣка, почему мы и имѣемъ полное право называть и ихъ аттицистами; но къ эпохѣ имперіи у римлянъ была уже своя старинная литература, греческіе образцы можно было замѣнить латинскими. Такъ изъ римскаго аттицизма развивается родственное національное направленіе, къ которому терминъ «аттицизмъ» уже не подходитъ; мы имъ, поэтому, болѣе пользоваться не будемъ и замѣнимъ его терминомъ «классицизмъ», распространяя послѣдній также и на греческій аттицизмъ, къ которому онъ одинаково подходитъ. Займемся прежде всего судьбой греко-римскаго классицизма.

Судьба его несложна; разъ подражаніе было объявлено правиломъ, весь вопросъ состоялъ въ томъ, кому подражать; и съ обѣихъ точекъ зрѣнія мы встрѣчаемъ классицистовъ крайнихъ и классицистовъ умѣренныхъ. Первые подражали не просто стариннымъ писателямъ, а наиболѣе раннимъ между ними, и подражали имъ рабски; они не признавали образцовыми ни Демосоена, ни Цицерона, а старались воскресить еще болѣе древнюю старину, Лисія и Катона, старательно избѣгая словъ, которыхъ не было у нихъ, и, съ другой стороны, вводя въ

литературу по возможности всё встрѣчающіяся у нихъ слова, даже совершенно отжившія и никому непонятныя. Этотъ крайній классицизмъ—архаизмъ—былъ по временамъ въ модѣ, но именно только въ модѣ; будучи лишень всёхъ жизненныхъ элементовъ, онъ ничего жизнеспособнаго въ литературу не внесъ. Другое дѣло—классицисты умѣренные, родоначальникомъ которыхъ былъ на римской почвѣ знаменитый Квинтиліанъ; дѣлая разумныя уступки современности, особенно въ области языка, они были настоящими представителями классической художественной прозы въ обѣихъ литературахъ. Но именно вслѣдствіе этихъ уступокъ они не очень рѣзко отличаются отъ умѣренныхъ второго, азіанскаго направленія; такъ одинъ изъ самыхъ симпатичныхъ представителей римской прозы II вѣка, Плиній Младшій, самъ съ гордостью называетъ себя подражателемъ Цицерона, какимъ онъ и долженъ былъ быть, имѣя учителемъ Квинтиліана; но въ то же время онъ насмѣшливо отзывался о „благонамѣренныхъ“ (euzēloi), т.-е. классицистахъ строгаго толка, и въ своей прозѣ часто отдаетъ азіанизмомъ. На римской почвѣ такая неопредѣленность была тѣмъ скорѣе возможна, что главный образецъ умѣренныхъ классицистовъ, Цицеронъ, самъ въ молодости былъ азіанцемъ, да и позднѣе, какъ это и естественно, не могъ вполне отрѣшиться отъ своей азіанской закваски; строже можно провести грань на греческой почвѣ. И справедливость требуетъ признать, что самые серьезные греческіе писатели императорской эпохи принадлежатъ именно къ лагерю умѣренныхъ классицистовъ—Плутархъ, Арріанъ, Кассій Діонъ; только Лукіанъ колеблется между обоими лагерями, какъ это и подобало его неустойчивому и легкому, хотя и блестящему таланту. Они съ честью поддерживали знамя аттицизма, пока не передали его въ руки христіанскихъ писателей—какъ мы это увидимъ ниже.

Все же для насъ интереснѣе, какъ историко-литературный симптомъ, *азіанская* муза. Отъ нанесеннаго ей въ I-мъ вѣкѣ до Р. Х. пораженія она скоро оправилась; императорская эпоха была второй эпохой расцвѣта азіанизма. И надобно сознаться: этотъ второй успѣхъ не былъ вполне незаслуженнымъ; если азіанская муза плѣнила публику, то потому, что она дѣйствительно была плѣнительна. Разумѣется, мы должны и тутъ оста-

вить въ сторонѣ крайнихъ представителей партіи, ораторовъ, пѣвшихъ и плясавшихъ на амвонѣ и потерявшихъ всякую способность отличать дѣйствительность отъ своихъ фантазій. „Зачѣмъ ты такъ мрачно на меня смотришь, Северъ?“—взывалъ однажды, въ роли защитника, слишкомъ быстро перенесенный въ зданіе суда питомецъ риторической школы; „и не думалъ“,—преспокойно отвѣчалъ ему тотъ,—„а впрочемъ, если у тебя въ тетрадѣ такъ стоитъ, изволь“,—и при дружномъ хохотѣ публики онъ взглянулъ на него со всей свирѣпостью, на какую только былъ способенъ. Объ этихъ фанатикахъ азіанизма говорить не стоитъ; ограничимся тѣми, которые наложили свою печать на свое время—и не на свое только время.

«Азіанскихъ» стилей, какъ мы видѣли, было два: игривый и пышный; второй, съ его торжественными періодами, рекомендовался для панегириковъ, изъ которыхъ мы его и знаемъ. Интереснѣе первый. Со временъ Горгія онъ замѣчательно возросъ и окрѣпъ; не прошла для него безслѣдно и философія, хотя азіанизмъ въ принципѣ ея и чуждался; изъ ребяческихъ иногда антитезъ и исколовъ сицилійскаго софиста и первыхъ азіанцевъ выросла блестящая и не всегда поддѣльная жемчужина стиля—«сентенція». Сентенція—я нарочно оставляю это непереводимое слово—не должна была быть непременно общаго содержанія; требовалось, чтобы она своей краткостью, мѣткостью и неожиданностью (славились *breves vibrantesque sententiae*) поражала слушателя. „Человѣкъ этотъ ничѣмъ не грѣшитъ—развѣ только тѣмъ, что онъ ничѣмъ не грѣшитъ“; жестокій рабовладѣлецъ изъ отпущенниковъ „слишкомъ мало, или, правильнѣе, слишкомъ хорошо помнитъ, что онъ самъ былъ рабомъ“. Въ «сентенціи» старались уместить какъ можно болѣе содержанія, употребляя при этомъ какъ можно менѣе словъ; вслѣдствіе этого именно лучшія сентенціи непереводимы; не угодно ли передать по-русски: *portum igno-ranti nullus ventus suus* и т. п. Въ настоящее время мастеръ сентенціи—Фр. Нитцше; такіе его обороты, какъ: *ja, ich habe die Ehe gebrochen; aber zuerst brach die Ehe mich*; или *einst zog ich diesen Schluss; nun aber zieht er mich*—скорѣе всего могутъ дать читателю представленіе о томъ, чѣмъ была сентенція азіанскаго краснорѣчія.

Другимъ средствомъ была такъ-называемая «экфраза», т.-е. описаніе какой-нибудь мѣстности, картины, красавицы и т. д. Тутъ главнымъ была гармонія между тономъ описанія и описываемымъ предметомъ. И этотъ элементъ имѣлъ передъ собой широкую будущность: тѣ описанія природы, которыя такъ плѣняютъ насъ у Тургенева, происходятъ по прямой линіи отъ экфразъ азіанской риторики. Всѣхъ прочихъ ея уловокъ я перечислять не буду: замѣчу только, что сама постановка темы была рассчитана на то, чтобы сильнѣйшимъ образомъ вліять на фантазію. Объ этомъ нѣсколько словъ.

Чѣмъ было для художественной прозы дѣйствительное краснорѣчіе, политическое и судебное, тѣмъ было для искусственной прозы азіанизма краснорѣчіе фиктивное: ораторъ переносился въ вымышленную обстановку, проникался особенностями своего фантастическаго положенія, и по этому поводу произносилъ мнимо-совѣщательную или мнимо-судебную рѣчь. Обстановка выбиралась, разумѣется, самая благодарная, т.-е. самая эффектная, самая богатая всякаго рода конфликтами. Послѣ гибельнаго отступленія афинскаго войска изъ-подъ Сиракузъ, раненый, неспособный продолжать путь солдатъ молить полководца, чтобы онъ прикончилъ его: „*ради бога, Никій* *боже, сынъ мой!* *Такъ да увидишь ты Афины*“! (последняя фраза въ подлинникѣ вразумительнѣе). Безрукій богатырь, убѣдившись въ измѣнѣ своей жены, требуетъ отъ сына ея смерти, и хочетъ отречься отъ него, когда онъ отказываетъ ему; сынъ защищается. Все это напоминаетъ сцену изъ «*Les Misérables*» В. Гюго, гдѣ герой, бывший каторжникъ, а потомъ всѣми уважаемый мэръ, размышляетъ о томъ, не слѣдуетъ ли ему, разрушая все свое счастье и счастье многихъ другихъ, раскрыть окружающую его тайну, когда за совершенное имъ когда-то преступленіе другой попадаетъ на скамью подсудимыхъ; или—изъ «*Le coupable*» Фр. Коппе—сцену, гдѣ прокуроръ отецъ долженъ произнести обвинительную рѣчь противъ подсудимаго, въ которомъ онъ узналъ своего сына. Все это—настоящіе цвѣтки азіанскаго краснорѣчія II вѣка по Р. Х.

Дѣйствительно, азіанизмъ—и въ этомъ едва ли не наибольшая его заслуга—породилъ романъ; всѣ греческіе и латинскіе романисты были азіанцами. А нашъ современный романъ, какъ

онъ ни измѣнился въ смыслѣ художественности и серьезности,— прямой потомокъ древне-греческаго; родословная можетъ безъ труда быть восстановлена во всѣхъ подробностяхъ. Да и измѣнился онъ только за послѣднее полстолѣтія.

Вотъ каковъ былъ общій характеръ азіанизма императорской эпохи. Его высшая судьба тоже была разнообразіе, чѣмъ судьба классицизма. Въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. онъ даетъ римской литературѣ богатыря въ лицѣ Сенеки-философа, неподражаемаго мастера сентенцій; къ концу вѣка его нѣсколько оттѣсняетъ Квинтиліанъ, что не помѣшало ему, однако, имѣть сильнѣйшее вліяніе на обоихъ учениковъ послѣдняго. Плинія Младшаго и особенно Тацита. Во второмъ вѣкѣ онъ снова отступаетъ, на этотъ разъ передъ архаистами эпохи Антониновъ, но въ третьемъ—онъ опять овладѣваетъ римской литературой: появляется такъ-называемая африканская латынь, съ ея главнымъ представителемъ Апулеемъ. Африканская латынь—это вырожденіе азіанизма на римской почвѣ, второе дѣтство азіанской прозы; опять появляются попарно соединенные члены съ риторическими римами и равнымъ количествомъ словъ и даже слоговъ; но всѣ эти красоты нагромождаются безъ всякаго чувства мѣры, съ какимъ-то ребяческимъ пристрастіемъ ко всему фокусному и уродливому. *„Женщина сварливая, спесивая, жеманная, бездѣльная, бойкая, стойкая, въ интимныхъ стяжаніяхъ жадная, на подлѣхъ затраты повадная“*, и далѣе, и далѣе, страница за страницей, все въ томъ же стилѣ. Африканская латынь была, однако, ясно оформленнымъ, а потому и импонирующимъ явленіемъ; Апулей—послѣдняя оригинальная личность въ языческой римской литературѣ, и его вліяніе на дальнѣйшее развитіе прозы было не совсѣмъ незначительнымъ.

V.

Главнымъ результатомъ развитія античной прозы за описанныя въ предыдущихъ главахъ эпохи было раздѣляемое всѣми одинаковое убѣжденіе, что писать какъ случится—нельзя; что во всякомъ писательствѣ необходимъ стиль, выборъ котораго зависитъ отчасти отъ замышляемаго произведенія,

отчасти отъ личныхъ наклонностей автора; еслибы Мольеровскій буржуа жилъ въ то время—онъ быстро разочаровался бы въ своемъ умѣнѣй faire de la prose. Возникло это убѣжденіе въ Греціи; но такъ велико было обаяніе выдержаннаго стиля, что оно покорило Римъ, и выработанныя греками для грековъ правила были приспособлены къ римской рѣчи: одно и то же выраженіе аффектовъ, одна и та же періодизація, одинъ и тотъ же ритмъ были признаны законными для обоихъ языковъ. Можно ли было сомнѣваться въ естественности художественной прозы, если она, разъ возникши, не только не встрѣтила никакихъ сопротивленій со стороны того народа, среди котораго она возникла, но и подчинила себѣ рѣчь другого, чуждаго народа? И все-таки, это первое испытаніе не было еще рѣшающимъ. Теперь предстояло второе, гораздо болѣе серьезное, со стороны новой культурной силы—*христианства*.

Могло ли христианство признать за художественной прозой какую-либо важность? Могло ли оно считать желательнымъ или даже допустимымъ обученіе ея законамъ своихъ молодыхъ послѣдователей? На первый взглядъ, никакой другой отвѣтъ, кромѣ отрицательнаго, не представляется возможнымъ. Противъ нея говорилъ, прежде всего, самый яркій и самый обязательный для христианина *примѣръ*—языкъ священныхъ книгъ Новаго Завѣта. Но при этомъ необходимо отказаться отъ того мнѣнія, которое каждый составилъ себѣ объ ихъ стилѣ по новѣйшимъ переводамъ,—конечно, болѣе или менѣе литературнымъ: подлинникъ въ этомъ отношеніи носитъ совершенно другой характеръ. Появившись среди простого народа и даже по происхожденію негреческаго, онъ былъ написанъ языкомъ, который образованными людьми той эпохи, будь они азіанцы или классицисты, не могъ быть признанъ, не только литературнымъ, но даже и строго грамотнымъ: множество неправильныхъ, съ точки зрѣнія грамматики, формъ; множество неупотребительныхъ, съ точки зрѣнія лексикографіи, словъ; введеніе недопустимыхъ, съ точки зрѣнія пуризма, латинскихъ и арамейскихъ выраженій—это по части языка; крайняя бѣдность періодизаціи, отсутствіе всякой диспозиціи, скачки и недомолвки, полная неритмичность—это по части стиля. И что же? Эта книга, при всемъ томъ, побѣждаетъ міръ, завое-

вывааетъ недоступный для Платона и Цицерона сердца; каково же, послѣ этого, значеніе художественной прозы?

Языкъ священныхъ книгъ давалъ примѣръ ясный и, казалось бы, обязательный для христіанина. Но кромѣ того у него было и не менѣе ясное и недвусмысленное указаніе въ словахъ: „не заботьтесь, какъ или что сказать, ибо въ томъ что дано вамъ будетъ, что сказать; ибо не вы будете говорить, но духъ Отца вашего будетъ говорить въ васъ“ (Ев. отъ Мато., гл. X 19). Не подlezжитъ, поэтому, сомнѣнію, что съ чисто христіанской точки зрѣнія художественная проза была въ теоріи осуждена. Она была бы осуждена и въ дѣйствительности, еслибы не тотъ фактъ, что греческіе и римскіе отцы церкви были только одной половиной своего естества христіанами, другой же половиной—греками и римлянами, а потому, оставаясь подъ вліяніемъ вѣковой традиціи, чувствовали такое стихійное влеченіе къ художественной обработкѣ стили, что никакія преграды противъ него устоять не могли. Пришлось пойти на компромиссы, чтобы совмѣстить несомнѣстимое, спасти художественность рѣчи, не переставая быть вѣрными примѣру и завѣтамъ Учителя. Для этого открывались три пути—и отцы церкви воспользовались всѣми тремя.

Первый былъ самымъ радикальнымъ. — „Напрасно язычники кичатся художественностью своихъ книгъ и воображаютъ, что наши книги сѣ лишены; наша художественность столь же несомнѣнна, только она другого рода, чѣмъ та, къ которой привыкли они“. Эта странная на первый взглядъ теорія была подготовлена уже Амвросіемъ Медіоланскимъ, у котораго мы читаемъ (посл. VIII) слѣдующія интересныя слова: „*Большинство людей отрицаетъ, что наши писатели писали согласно искусству (secundum artem—т.-е. сознательно-художественно); и мы не споримъ: дѣйствительно, они писали не согласно искусству, а согласно благодати (secundum gratiam—т.-е. безсознательно-художественно), которая выше всякаго искусства; они писали то, что ихъ заставляло писать Духъ. Все же тѣ, которые писали объ искусствѣ (т.-е. о теоріи прозы), нашли его въ ихъ сочиненіяхъ, и такимъ образомъ создали руководства и учебники искусства*“. Амвросій разумѣетъ здѣсь, конечно, книги Ветхаго Завѣта, согласно своей излюбленной

идеѣ, что вся эллинская мудрость потекла изъ еврейской. Его ученикъ, великій Августинъ, привелъ эту теорію въ систему въ двухъ объемистыхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ одно (*De doctrina Christiana*) намъ сохранено, другое, еще болѣе специальное (*De modis locutionum*)—не уцѣлѣло. Въ первомъ — онъ желаетъ *„отвѣтитъ неучамъ, которые считаютъ себя въ правѣ пренебрежительно относиться къ нашимъ писателямъ, не потому, чтобы у нихъ не было той художественности рѣчи (eloquentia), которой эти люди не въ мѣру преданы, а потому, что они не выставляютъ ея на показъ“*, — и въ доказательство того онъ анализируетъ не только мѣста изъ Ветхаго Завѣта, но и періоды ап. Павла. Во второмъ же — онъ, по свидѣтельству Кассіодора, развилъ и *„фигуры языческой рѣчи, и много другихъ оборотовъ, свойственныхъ одному только Писанію и не перешедшихъ въ языческую прозу, озабочиваясь, какъ бы читатели не были смущены непривычнымъ для нихъ способомъ изложенія; въ то же время нашъ незабвенный учитель хотѣлъ доказать, что общепризнанные обороты, т. е. грамматическія и риторическія фигуры, потекли изъ Писанія, и что въ немъ все-таки осталось много такого, чему до сихъ поръ никто изъ язычниковъ подражать не сумѣлъ“*. Съ такимъ взглядомъ на стиль Писанія Августинъ, понятно, не счелъ нужнымъ обуздывать стремленія къ художественности формы, которое было привито ему самымъ основательнымъ и неизгладимымъ образомъ въ риторической школѣ; онъ даже написалъ руководство риторики для христіанъ. А при авторитетѣ, которымъ онъ пользовался въ западной церкви, его починъ имѣлъ рѣшающее значеніе.

Теорія Амвросія и Августина сослужила свою службу въ дѣлѣ спасенія художественности рѣчи; но съ точки зрѣнія теоретической истины она не выдерживаетъ критики. Гораздо серьезнѣе былъ въ этомъ отношеніи *второй* компромиссъ: онъ состоялъ въ слѣдующемъ. Прежде всего, простота и безыскусственность Писанія, и главнымъ образомъ Новаго Завѣта, не оспаривались; напротивъ, въ виду блистательныхъ побѣдъ христіанства, именно эта безыскусственность могла служить доказательствомъ его божественности. Если бы, — говорить Оригенъ, возражая противъ обвиненія Кельса, что Евангеліе на-

писано языкомъ рыбаковъ, — еслибы ученики Господа пользовались діалектическими и риторическими уловками эллиновъ — можно бы было подумать, что Иисусъ выступаетъ основателемъ новой школы философовъ. Но нѣтъ — они говорили прямо отъ сердца, какъ имъ внушалъ Духъ: тутъ люди удивленно спрашивали другъ друга: откуда у этихъ людей эта сила убѣжденія? это вѣдь не та, которой обладаютъ всѣ другіе. И потому они стали думать, что ихъ устами говорить высшее существо“. Того же мнѣнія Златоустъ, Осодоритъ, Исидоръ Пелусійскій на востокѣ, Ариовій, Лактанцій, Иеропимъ на западѣ. Но — и здѣсь былъ рѣшающій пунктъ — отсюда не выводили заключенія, что стиль первыхъ учителей христіанства былъ обязателенъ и для ихъ послѣдователей. Тотъ же Исидоръ Пелусійскій, который съ такимъ жаромъ отстаивать безыскусственность языка апостоловъ, не колеблется принять краснорѣчіе въ число слугъ истины (посл. V). „У божественной мудрости, — говоритъ онъ, — языкъ низмененъ, мысль же паритъ въ небесахъ; а у той другой — изложеніе блестящее, но содержаніе низкое. Итакъ, еслибы кто могъ у одной позаимствовать мысль, а у другой изложеніе, мы по праву назвали бы его мудрѣйшимъ; краснорѣчіе можетъ быть орудіемъ надземной мудрости, если оно будетъ повиноваться ей, какъ тѣло — душѣ, или лира — пѣснѣ сопровождающаго себя на ней, объясняя ея небесныя мысли, но никакихъ нововведеній не внося отъ себя; если же оно пожелало бы превратить это отношеніе въ противоположное, еслибы оно, долженствующее быть рабомъ, сочло себя способнымъ быть вождемъ, правильнѣе — тираномъ мысли, тогда оно было бы достойнымъ изгнанія“. Еще педвуслышеннѣе выразился Григорій Богословъ: отвѣчая, въ качествѣ константинопольскаго епископа, на упреки противника, что онъ, вмѣсто того, чтобы слѣдовать примѣру евангельскихъ «рыбаковъ», вноситъ въ церковь эллинскую риторiku, — онъ сказалъ: „я послѣдовалъ бы примѣру рыбаковъ, если бы имѣлъ силу творить чудеса подобно имъ; но такъ какъ моя единственная сила заключается въ моей рѣчи, то я ее и посвящаю службѣ добродѣли“.

То же твердили на западѣ Иларій Пиктавійскій, ученикъ восточныхъ богослововъ, Павлинъ Ноланскій и другіе; они

требовали, чтобы искусство слога, столь долго служившее приманкой въ рукахъ живой мудрости, теперь содѣйствовало распространенію истины.

Съ этимъ вторымъ компромиссомъ можно легче всего примириться; онъ менѣе перваго грѣшитъ натяжкой, и въ немъ, въ то же время, сказывается несомнѣнное стремленіе сознательно выяснитъ себѣ свое отношеніе къ самому орудію христіанской пропаганды. Въ не менѣе интересномъ *третьемъ* компромиссѣ замѣтно отсутствіе не столько искренности и доброй воли, сколько именно сознательности. Безыскусственность языка Писанія и первыхъ христіанскихъ учителей открыто признавалась, такъ же, какъ и во второмъ компромиссѣ. Обязательность этого примѣра, въ противоположность къ послѣднему, тоже признавалась. „Мы,—пишетъ Василій Великій учителю краснорѣчія, Ливанію,—„стоимъ на сторонѣ Моисея, Іліи и подобныхъ имъ блаженныхъ мужей, которые говорили намъ о своихъ дѣяніяхъ на варварскомъ языкѣ; такъ же, какъ онъ, говоримъ и мы, держась смысла истиннаго, но слога неученаго. Вѣдь если мы и научились чему-либо у васъ, то мы успѣли это позабыть“. Равнымъ образомъ, Сульпицій Северъ, приступая къ описанію жизни св. Мартина, проситъ читателей извинить его, „если ихъ уши будутъ оскорблены неправильностью языка, такъ какъ царство Божіе — не въ краснорѣчіи, а въ вѣрѣ; надо помнить, что спасеніе было возвѣщено міру не ораторами, а рыбаками“. Въ теоріи, такимъ образомъ, послѣдовательность соблюдена вполне; но на практикѣ тѣ же писатели отказываются отъ своихъ собственныхъ обязательствъ. И Василій Великій, и Сульпицій Северъ въ своихъ сочиненіяхъ явно стремятся къ красотѣ и художественности слога: Северъ среди римлянъ заслужилъ почетное имя христіанскаго Саллюстія, Василій же былъ среди грековъ рядомъ со Златоустомъ самымъ могучимъ христіанскимъ витіемъ. Такъ-то, вопреки всѣмъ выводамъ теоріи, природа предъявляла свои права: греки и римляне могли принять христіанство, но новая религія не могла заставить ихъ забыть о своемъ происхожденіи.

Результатомъ всей этой борьбы было *полное торжество художественной прозы* во всей древнехристіанской словесности,

какъ греческой, такъ и римской. Но мы видѣли, что развитіе художественной прозы въ императорскую эпоху обуславливалось борьбой двухъ ея направленій, классицизма и азіанизма; которое же изъ нихъ наложило свою печать на художественную прозу христіанской литературы?

Прежде всего ясно, что мы не можемъ ожидать отъ христіанскихъ писателей никакихъ теоретическихъ указаній на этотъ счетъ. Уже сама защита художественной прозы стала у нихъ возможной лишь благодаря сдѣлкѣ съ собственной совѣстью; нельзя было требовать, чтобы проповѣдники небесной мудрости вступали еще между собой въ препирательства относительно превосходства того или другого стиля. *Открытая борьба, поэтому, на христіанской почвѣ прекращается*—но именно только открытая борьба, съ полемическими рѣчами и статьями съ той и другой стороны; а впрочемъ оба направленія продолжаютъ существовать и тихо вербуютъ себѣ сторонниковъ среди представителей молодой христіанской литературы.

И надобно сознаться, что положеніе азіанизма было опять несравненно выгоднѣе. Не слѣдуетъ, при этомъ, смущаться выраженіями: «игривый стиль» и «пышный стиль», предложенными мною выше для обѣихъ манеръ этого направленія, считая первый несомнѣстимымъ со святостью, а второй—съ простотой и цѣломудріемъ евангельскихъ истинъ; термины эти имѣли въ виду только форму и могли уживаться со всякимъ содержаніемъ. Рѣшающимъ было и здѣсь то обстоятельство, что азіанизмъ былъ силенъ техникой, классицизмъ—образцами. Христіанство же могло разрѣшить своимъ adeptамъ изученіе техники рѣчи—ея правила никакого отношенія къ той или другой религіи не имѣли, а примѣры можно было подобрать либо безразличные, либо даже христіанскіе; но могло ли оно такъ же благодушно отнестись къ чтенію языческихъ *образцовъ*, насквозь пропитанныхъ ненавистной «лживой мудростью»? Конечно, эти образцы читались,—надо же было откуда-нибудь почерпнуть образованіе,—и христіанскіе учителя смотрѣли на это снисходительно; но отъ простого чтенія еще далеко до того любовнаго изученія, при которомъ человѣкъ усваиваетъ сознательно стиль, а незамѣтно—и манеру мыслить своего образца. Отсюда слѣдуетъ, что азіанизмъ скорѣе могъ рассчитывать на

снисхождение въ христiанской средѣ, чѣмъ классицизмъ. Этотъ ясный выводъ теорiи вполне подтверждается практикой.

Что касается, прежде всего, греческой христiанской литературы, то надо сознаться, что крайнихъ азіанцевъ мы находимъ только среди еретиковъ; христiанство дѣйствовало смягчающе на форму изложенія и игриваго краснорѣчія не допускало. Азіанизмъ мы встрѣчаемъ только въ его умѣренномъ видѣ; но зато къ этому умѣренному азіанизму принадлежать всѣ болѣе или менѣе выдающіеся христiанскіе проповѣдники. Особенно характеренъ въ этомъ отношеніи IV-й вѣкъ, когда краснорѣчіе восточной церкви достигло своего апогея въ лицѣ знаменитаго тріумвирата: Григорія Богослова, Василия Великаго и Іоанна Златоуста. Оба первые имѣли учителемъ краснорѣчія крайняго азіанца Имерія, Іоаннъ—крайняго классициста Ливанія; тѣмъ не менѣе всѣ они значительно умѣрили манеру своихъ учителей. И въ легкомъ стилѣ Григорія, и въ пышномъ Василия замѣтно чувство такта, не дающее имъ переходить извѣстные предѣлы. Мы здѣсь вторично встрѣчаемся съ тѣмъ явленіемъ, которое уже выше обратило на себя наше вниманіе; какъ тамъ римская государственность, такъ здѣсь христiанская религіозность была тѣмъ ядромъ жизни, которое, сплотивая вокругъ себя разрѣженную подъ тропическимъ солнцемъ фантазіи атмосферу азіанскаго краснорѣчія, давало ему болѣе оформленности и силы. Таково же было и отношеніе Златоуста къ классицизму: жизнь не давала старательно полоть лексическій огородъ и смотрѣть за тѣмъ, чтобы въ немъ не водилось не-аттическихъ словъ и оборотовъ; она не давала подгонять непосредственно возникавшій аффектъ къ мѣркѣ Лисія или даже Демосѣена. Такъ-то стиль Златоуста, несмотря на противоположную точку исхода, не очень отличается отъ пышнаго стиля Василия; казалось, что въ лицѣ этихъ трехъ великихъ проповѣдниковъ христiанство хотѣло примирить между собою оба главныя направленія художественной прозы, столь долго враждовавшія между собой.

Этимъ миромъ мы и закончимъ обзоръ развитія греческой прозы. Конечно, оно на немъ не остановилось; но, въ силу той *восточной* точки зрѣнія, о которой рѣчь была выше, его дальнѣйшіе шаги не имѣли большого вліянія на другіе на-

роды. Византинизмъ—затонъ на великой рѣкѣ всеобщей словесности; можно пріятно отдыхать на дремлющей поверхности его водъ, подъ тихій шелестъ его камыша, но слѣдуетъ помнить, что пловцу тамъ пути нѣтъ; если вы жаждете жизни, движенія, силы, то вамъ нужно повернуть челнокъ и отдаться главному теченію рѣки; а оно выноситъ васъ, черезъ Римъ, на дѣвственные берега едва охристіанивагося Запада.

Въ Римѣ о заключеніи мира и рѣчи не было, но война и тутъ велась подъ землею. Азіанизмъ и тутъ въ началѣ торжествуетъ; Тертуліанъ весь поддается влиянію той его разновидности, которую мы называемъ африканской латынью, и его знаменитое „*credo quia absurdum*“—не чтò иное какъ «сентенція» въ духѣ азіанской риторики. Но онъ былъ не подражателемъ, а творцомъ; въ его лицѣ азіанизмъ вступилъ въ новый фазисъ: никогда еще легкость формы не была соединена съ такой страстностью содержанія. Онъ безпрестанно жонглируетъ, не хуже Апулея, но не мячиками, какъ тотъ, а мечами и факелами. Но великій Августинъ? Кто знаетъ технику и образцы, тотъ безъ труда сдумѣетъ выдѣлить ихъ роль въ знаменитыхъ самобичеваніяхъ его «Исповѣди»—этихъ чисто азіанскихъ *colores*. Если этотъ послѣдній неудобно-объяснимый терминъ мало понятенъ, то мы попросимъ вникнуть въ слѣдующее мѣсто изъ одной его проповѣди, помня, что это—одно изъ очень многихъ (говорится о праведномъ и окаянномъ): „Этотъ бодрствуетъ, чтобы хвалить врача—освобожденный; тотъ бодрствуетъ, чтобы хулить судью—приговоренный; этотъ бодрствуетъ, умами ¹⁾ благими трепеща и сіяя; тотъ бодрствуетъ, зубами своими скрежеща и изнывая; этому доброты, тому неправота, этому христіанская бодрость, тому бѣсовская подлость не дають въ многолюдіи заснуть“. Таковы образцы азіанской прозы въ христіанской духовной литературѣ.

Классицизму служило главной помѣхой, какъ было сказано выше, требованіе старательнаго изученія образцовъ, безъ котораго онъ былъ невозможенъ; но разъ путь къ компромиссамъ былъ облегченъ признаніемъ допустимости художествен-

¹⁾ Въ подлинникѣ та же «катахреза» ради приемы: *vigilat iste mentibus piis fervens et lucescens, vigilat ille dentibus suis frendens et tabescens*.

ной прозы вообще, то и это препятствіе долго устоять не могло. Конецъ III-го вѣка далъ христіанской литературѣ своего Цицерона въ лицѣ Лактанція, этого если не наиболѣе славнаго, то наиболѣе любимаго христіанскаго писателя, красота души котораго соперничала съ красотой его стиля. Къ сожалѣнію, онъ слишкомъ мало говоритъ о себѣ и лишаетъ насъ этимъ возможности судить о той душевной борьбѣ, которой ему стоило его пристрастіе къ своему языческому образцу; зато объ этой борьбѣ пространно говорить другой «цицеронианецъ» изъ отцовъ церкви, Іеронимъ. Самъ онъ рассказываетъ о ниспосланномъ ему въ назиданіе видѣніи, послѣ котораго онъ далъ—увы! неисполнимый для него—обѣтъ: никогда болѣе не читать ни Цицерона, ни другого представителя лживой языческой мудрости!

Былъ ли этотъ классицизмъ дѣйствительно только книжнымъ, дѣланымъ, безжизненнымъ? Уже оба только-что названныхъ писателя должны бы, кажется, убѣдить насъ въ противномъ; но пришло время, когда только этотъ стиль сталъ способнымъ выражать одинъ живой и жгучій аффектъ. Римъ палъ подъ натискомъ варваровъ, дикое племя готовъ завладѣло «святою» почвой Италіи; тогда и христіане изъ римлянъ стали со скорбью вспоминать о минувшемъ величіи развѣнчанной царицы міра, и естественнымъ выразителемъ этой скорби сталъ языкъ великой старины, языкъ архаистическій. Имъ писалъ Боэтій, приближенный и жертва Теодерика; его «Утѣшеніе» — послѣдній памятникъ художественной римской прозы, величавый и грустный, подобно древнимъ гробницамъ пустынной Аппіевой дороги.

VI.

Римъ палъ,—и на первый взглядъ представляется непонятнымъ, какъ его художественная проза могла пережить его паденіе. Намъ не удивляетъ ея переходъ изъ Греціи въ Римъ—общность религіи, культурная эллинизация римской интеллигенціи подготовили этотъ переходъ. Мы понимаемъ также ея обращеніе въ христіанство — общность расы и языка навели новыхъ христіанъ на компромиссы, сдѣлавшіе возможнымъ это

обращеніе. Но теперь предстояло *третье* испытаніе: посетителями христіанства дѣлаются люди, никакимъ племеннымъ родствомъ не связанные съ тѣми, которые произвели и вырастили художественность рѣчи; чѣмъ могло быть для нихъ это чуждое имъ во всѣхъ отношеніяхъ дѣтище? Пусть Іеронимъ, Оригенъ и другіе стремятся къ художественной отдѣлкѣ своей рѣчи—на то они греки и римляне; но къ чему было Алкуину и Эггингарду слѣдовать ихъ примѣру?

Вотъ тутъ-то и слѣдуетъ подчеркнуть рѣшающее значеніе того, что мы выше назвали западной точкой зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры; заимствуя у Рима христіанство, варварскій западъ заимствовалъ за-одно съ нимъ и латинскій языкъ. Папизмъ здѣсь ровно не причеиъ: ирландскія и англійскія миссіи учениковъ Колумбана были независимы отъ епископальной власти Рима, и въ то же время—такія же латинскія, какъ и остальные, даже болѣе. Правда, была сдѣлана попытка націонализировать христіанство: готы перевели писаніе на свой языкъ, но, къ счастью для Запада, эта попытка не удалась. Не будемъ разрушать величія культурно-историческихъ моментовъ мелочными и поверхностными мотивировками; лучше признать таинственность той инстинктивной силы, которая указывала Западу единственный путь къ его будущей славѣ. Латинскій языкъ сдѣлался интернаціональнымъ, правильнѣе говоря—супра-національнымъ языкомъ христіанскаго Запада; этимъ самымъ христіанину былъ врученъ ключъ, который, современемъ, открылъ ему сокровищницу древняго образованія.

Первый шагъ былъ сдѣланъ,—но оттуда до усвоенія художественной прозы было еще далеко. Благодаря монастырямъ съ ихъ разнообразными обитателями, благодаря правовымъ и другимъ условіямъ, о которыхъ говорить здѣсь не мѣсто, латинскій языкъ сдѣлался настоящимъ живымъ языкомъ средне-вѣковой интеллигенціи, или тѣхъ, кто занималъ ея мѣсто; на немъ говорили такъ же бойко, какъ на родномъ. Что же могло помѣшать этимъ людямъ писать такъ же, какъ они говорили? Очевидно, ничто и никто: Самъ папа Григорій Великій подалъ этому примѣръ. „Я нисколько не забочусь о томъ,—пишетъ онъ,—чтобы слѣдить за окончаніями падежей и соблю-

дать правила относительно предлоговъ; я считаю въ высшей степени недостойнымъ подчинять слова божественной рѣчи законамъ грамматика Доната“. Много вѣковъ спустя, на констанцскомъ соборѣ, императору Сигизмунду, попытавшемуся провозвести своей императорской властью *neutrum* въ *femininum* (*hanc schisma*), былъ данъ классическій отвѣтъ: „*ne Caesar supra grammaticos*“,—то было время зарождающагося гуманизма. Между обоими этими изреченіями лежатъ всѣ средніе вѣка, во время которыхъ беззаботный латинскій стиль жилъ и развивался, пока не достигъ наконецъ знаменитой схоластической латыни Дунса Скота и Томы Аквинскаго. Честь и слава ей за все то, что она сдѣлала для развитія средневѣковой мысли, но намъ этимъ заниматься не приходится. Художественности же въ ней не было никакой; не было даже и стремленія къ ней.

И все-таки художественность появилась, и ея появленіе было послѣдствіемъ, хотя и не прямымъ, прививки латинскаго языка христіанскому Западу. Слѣдующія условія содѣйствовали тому.

За послѣднее время существованія древне-римской интеллигенціи ея дѣятельность напоминаетъ поведеніе экипажа при кораблекрушеніи: стараются связать въ одинъ по возможности негромоздкій узелокъ все самое необходимое для перваго пропитанія. Къ этому самому необходимому принадлежали прежде всего предметы школьнаго преподаванія—извѣстныя съ давнихъ поръ семь «*artes*». Онѣ были языческаго происхожденія; неудивительно, поэтому, что среди нихъ, на ряду съ грамматикой, логикой, арифметикой, геометрией, астрономіей и музыкой, находилась и риторика. Христіанство противъ этой организаціи не протестовало, что, въ виду состоявшихся компромиссовъ, тоже особеннаго удивленія не возбуждаетъ. Такимъ образомъ, изученіе риторики, т.-е. техники художественной рѣчи, дѣлается обязательнымъ въ христіанскихъ школахъ и, со временемъ, въ христіанскихъ университетахъ Запада. Но кто же изучаетъ теорію, не чувствуя потребности примѣнять ее на практикѣ? Какова ни была грубость новыхъ адептовъ цивилизаціи, но постоянно внушаемое имъ убѣжденіе, что есть нѣкоторое достоинство въ томъ, чтобы слова слѣдовали

одно за другимъ именно въ такомъ порядкѣ, а не въ другомъ—не могло не ввести въ ихъ сознаніе новый факторъ—факторъ красоты прозаической рѣчи. Это тѣмъ болѣе естественно, что техника краснорѣчія была, какъ мы видѣли въ самомъ началѣ, лишь развитіемъ тѣхъ художественныхъ нормъ, которыя въ зачаточномъ видѣ существуютъ въ природной рѣчи каждаго народа.

Итакъ, интеллигенція Запада почувствовала потребность писать по-своему художественно; она называла это: *dictare*—интересное слово, давнее происхожденіе нѣмецкому «*dichten*». Конечно, еслибы теорія, которою тогда вдохновлялись, была раціональна, то это имъ, пожалуй, и удалось бы; но могла ли она быть раціональна? Такая задача и нашему времени оказалась непосильной; древняя же риторика—даже въ лучшихъ своихъ представителяхъ—требовала отъ учениковъ лингвистическаго чутья для контроля ея законовъ; подъ рукою же позднѣйшихъ компиляторовъ она потеряла послѣдніе остатки раціональности, и ее давали въ руки людямъ, для которыхъ латинскій языкъ былъ чуждымъ по природѣ. Нечего говорить, что она стала источникомъ самыхъ крупныхъ недоразумѣній. Возьмемъ для примѣра явленіе, называемое «гипербатомъ», т.-е. нарушеніе естественнаго порядка словъ въ предложеніи. Мы объясняемъ его столкновеніемъ логическаго принципа съ психологическимъ и ритмическимъ, и знаемъ предѣлы, въ которыхъ оно допускается; эти предѣлы, различные въ различныхъ языкахъ, служатъ намъ интересными данными для психологіи народовъ. Но никто, конечно, не станетъ требовать такого раціональнаго отношенія къ дѣлу отъ средневѣковой риторики,—она просто отвела «гипербату» мѣсто въ числѣ «троповъ»—какъ «украшенію» рѣчи. И вотъ монахи вообразили, что ихъ рѣчь будетъ тѣмъ красивѣе, чѣмъ болѣе они перепутаютъ порядокъ словъ; что получится особаго рода изящество, если принадлежащее къ главному предложенію слово перебросить въ придаточное, или наоборотъ: нѣкій британскій грамотей удивилъ свою братію открытіемъ, что прелесть настоящаго «гесперическаго», т.-е. латинскаго слога (*famina hesperica*) достигается въ томъ случаѣ, если глаголъ ставить по-срединѣ и вокругъ него группировать остальные части предло-

женія, старательно отдѣляя при этомъ опредѣленіе отъ опредѣляемаго, примѣрно такъ: „Лучезарное влажную лобзасть свѣтило землю; въ зеленой голосистыя славословятъ дубравѣ пернатая“ и т. п. Другіе точно такъ же злоупотребляютъ риторическими приемами.

Таковы были средневѣковыя «dictamina». Ихъ авторы извлекали свои нелѣпыя теоріи слога, какъ мы видѣли, ихъ своихъ учебниковъ риторики; но откуда же брали они свои вычурныя выраженія, о которыхъ мы постарались дать представленіе приведенными только-что образчиками? Тутъ казалось бы, пужны образцы. Да но за образцами ходить было недалеко, ими служили тѣ же «artes». Особенно популярна была въ средніе вѣка нынѣ забытая энциклопедія Марціана Капеллы, одного изъ упомянутыхъ въ началѣ этой главы спасителей культурнаго ручного багажа передъ кораблекрушеніемъ; она сплошь была написана той африканской латынью, которую мы знаемъ изъ Апулея. Результатъ интересный: выходитъ, что стиль средневѣковыхъ «dictamina» — прямое продолженіе древняго азіанизма; мы тѣмъ болѣе имѣемъ право такъ его называть, что и онъ, подобно своему древнему родоначальнику, находился подъ ближайшимъ вліяніемъ теоріи.

Подобно ему, затѣмъ, и онъ не стоялъ на мѣстѣ, а развивался—или, по крайней мѣрѣ, измѣнялся. Не всѣ «диктаторы» были похожи на вышеуказанныхъ; были между ними и умѣренные. И вотъ въ ихъ-то манерѣ стали различать нѣсколько отдѣльных «стилей». Такихъ стилей Данте насчитываетъ четыре; „первый,—говоритъ онъ,—стиль безвкусный, свойственный неучамъ, въ родѣ: «Петръ очень любитъ госпожу Бертю»; второй—просто умственный (sapidus—затрудняюсь переводомъ), свойственный строгимъ схоларамъ и магистрамъ, въ родѣ: «я недоволенъ своими согражданами, но еще болѣе сожалею о тѣхъ, которые, изнывая въ изгнаніи, лишь во снѣ навѣщаютъ свою родину»; есть, затѣмъ, умственно-изящный стиль, свойственный людямъ, поверхностно ознакомившимся съ риторикой, въ родѣ: «достохвальная скромность графа д’Эсте и его всѣмъ доступная щедрость дѣлаютъ его предметомъ всеобщей любви»; есть, наконецъ, умственно-изящно-возвышенный, свойственный знаменитымъ «дикторамъ», въ родѣ: «исторгнувъ столько

цвѣтовъ изъ твоего лона, Флоренція, поздній Тотила напрасно посѣтитъ Тринакрию . Этотъ стиль мы называемъ превосходнымъ; его ищемъ мы, когда стремимся къ наивысшему "...

Тотила — древній король итальянскихъ готвъ; здѣсь иносказательно обозначается Карлъ Валуа; а Тринакрия — мнѣологическое имя Сициліи. Необходимо знать исторію и мнѣологию, если хочешь понимать красоты возвышеннаго стиля!

Вспоминая о древнемъ азіанизмѣ, мы безъ труда признаемъ въ изицпомъ стилѣ Данте «игривую», а въ его возвышенномъ стилѣ — «пышную» манеру азіанскихъ риторовъ; но, какова бы ни была справедливость этого послѣдняго сближенія — фактъ тотъ, что, благодаря допущенію въ средневѣковое образованіе «artes» и ихъ учителей, средневѣковое человѣчество пошло художественность прозы.

Это, скажутъ, не художественность, а искусственность. Согласны, — но, во всякомъ случаѣ, эта искусственность могла подготовить почву для настоящей художественности. Artes были только первымъ изъ намѣченныхъ выше условий ея появленія; вторымъ были сохранившіеся *авторы* и ихъ изученіе. Но съ ними дѣло обстоило гораздо менѣе благополучно.

Artes въ средніе вѣка пользовались неизмѣннымъ покровительствомъ церкви; требовалось только, чтобы человѣкъ изучалъ ихъ не ради нихъ самихъ, а какъ орудіе къ лучшему пониманію богословія. Подъ этимъ условіемъ онѣ всѣ были допустимы, начиная съ грамматики; да и можно ли было сомнѣваться въ благонадежности грамматики? Сколько въ сприяженіи лицъ? — три, столько же, сколько и въ св. Троицѣ, — и ужь, конечно, не по какой-либо иной причинѣ. По какому склоненію склоняется homo? — по третьему; это значитъ, что человѣкъ долженъ склоняться, т.-е. смиряться трижды — передъ Богомъ, передъ ближнимъ и передъ самимъ собою. Таково было религіозно-нравственное значеніе законовъ Допата, но можно ли было сказать то же про авторовъ? Конечно, нѣтъ, если не считать Virgilіа, предсказавшаго, будто бы, въ одной эклогѣ пришествіе Спасителя и описавшаго въ Энеидѣ иносказательно мытарства души на пути къ спасенію, — за что этотъ поэтъ едва не попалъ въ свѣтые. Но Virgilій былъ поэтомъ, и потому насъ здѣсь не интересуетъ; остальные же auctores

были въ загонѣ. Страшное видѣніе Іеронима, подвергшагося бичеванію за свой «цицероніанизмъ», было памятно всѣмъ и повторялось нерѣдко — при склонности средневѣкового аскетизма къ экзальтаціи, мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ истинѣ того, что намъ объ этомъ говорится. И вотъ церковь, взявъ подъ свое покровительство «artes», отказываетъ въ немъ «авторамъ», объявляя ихъ излишними и даже вредными; мы часто читаемъ о запретахъ, налагаемыхъ на занятія въ языческихъ половинахъ монастырскихъ библіотекъ. И все-таки эти авторы дошли до насъ, — съ рѣдкими исключеніями, въ копіяхъ средневѣковыхъ монаховъ. Чѣмъ это объяснить?

Говоря правду — прочностью средневѣковой бумаги. Даже противники проклятыхъ «авторовъ» не были непременно вандалами, которые стали бы намѣренно разрушать имѣющіеся въ монастыряхъ сокровища языческой литературы — ихъ просто оставляли въ покоѣ, давали имъ покрываться пылью и паутиной, — въ крайнемъ случаѣ, за недостаткомъ помѣщенія, бросали ихъ въ какой-нибудь смрадный и темный чуланъ. Тамъ они и лежали въ продолженіе одного, двухъ, трехъ поколѣній, пока монастырь не получалъ какого-нибудь болѣе просвѣщеннаго игумена. Тогда о нихъ вновь вспоминали; конечно, того, что было съѣдено крысами, вернуть нельзя было; зато остальное приводилось въ порядокъ, очищалось, переписывалось. Мало того, посылали за оригиналами въ другіе монастыри, — съ тѣмъ, разумѣется, чтобы, по взятіи копій, вернуть ихъ по принадлежности... если требованія будутъ очень настойчивы. Такимъ образомъ, положительное отношеніе къ «авторамъ» приносило болѣе пользы, чѣмъ отрицательное — вреда; насъ же эти рѣдкіе покровители древней литературы интересуютъ тѣмъ болѣе, что они были въ то же время ревнителями новой художественности латинской прозы въ средніе вѣка — художественности, основанной на сознательномъ подражаніи древнимъ авторамъ. Ее мы, по самой природѣ вещей, можемъ назвать классицизмомъ; въ противоположность къ школьному краснорѣчію «диктаторовъ» и въ точномъ соотвѣтствіи съ древнимъ классицизмомъ, этотъ стиль зарождается въ библіотекахъ; своимъ возникновеніемъ онъ обязанъ книгѣ и ея усердному изученію.

Такъ-то въ средніе вѣка возобновляется старинная борьба между азіанизмомъ и классицизмомъ; она возникла изъ борьбы между «artes» и «auctores». Въ обстоятельной характеристикѣ классицизмъ не нуждается, такъ какъ онъ никакихъ новыхъ идеаловъ не создалъ; требовалось возможно-близкое воспроизведеніе стиля образцовыхъ писателей древности, и прежде всего — Цицерона, имя котораго не потеряло своего блеска и въ средніе вѣка, даже въ глазахъ тѣхъ, которые воображали, что Туллій и Цицеронъ — это два различныхъ автора. Такъ писали при Карлѣ Великомъ — Эгингардъ, при Карлѣ Лысомъ — Серватъ Лупъ, при первыхъ Капетингахъ — Гербертъ (онъ же и папа Сильвестръ II), въ эпоху схоластики — Иоаннъ Саксбургскій. При послѣднемъ борьба между «artes» и «auctores» велась самымъ ожесточеннымъ образомъ; твердыней первыхъ былъ Парижъ, твердыней вторыхъ — Шартръ. Нечего говорить, что при такомъ положеніи дѣлъ авторитетъ первыхъ былъ несравненно выше, и пренебреженіе, съ которымъ ихъ представители относились къ покровителямъ «авторовъ» и ревнителямъ чистой художественной рѣчи, внушило одному изъ учениковъ шартрской школы, только-что названному Иоанну, дѣйствительно краснорѣчивые стихи, о которыхъ мы желали бы дать сильное представленіе въ нижеслѣдующемъ переводѣ:

Если ты «авторовъ» любишь, охотно ихъ книги читаешь,
 Съ тѣмъ, чтобы изнестца путь, слѣдуя имъ, обрѣсти, —
 Крикъ подымается всюду: На что этотъ «дренній осель» намъ?
 Что онъ намъ древнихъ слова, древнихъ дѣянья твердить!
 Мудры своимъ мы умомъ; молодежь научили мы нашу:
 Догматы древнихъ твоихъ наша откинула рать.

 Бѣдный безумецъ! Зачѣмъ подгоняешь ты къ времени время.
 Вяжешь надежъ съ надежомъ, числа подводишь къ числу?
 Трудъ кропотливый тутъ нуженъ, и средствъ облегчить сго нѣту;
 День утекаетъ за днемъ, жизнь пропадаетъ твоя.
 Можешь безъ лишнихъ усилій быть многимъ рѣчицею, другъ мой,
 Тѣхъ, что подъ ветхій законъ выю покорную гнуть:
 Все, что взбредетъ на языкъ, говори и отважно, и гордо:
 Эту теорію (ars) знай: дѣлаетъ хватомъ она.

Невесело было настроеніе у человѣка, писавшаго эти стихи,

и дѣйствительно, могущество схоластиковъ было таково, что защитникамъ «авторовъ» ихъ дѣло должно было казаться заранее проиграннымъ. Все же шартрская школа стойко держала знамя художественности рѣчи въ XII вѣкѣ; въ XIII вѣкѣ оно переходитъ къ орлеанской школѣ. „Схоляры, — говорятъ намъ, — учатся семи «artes» въ Парижѣ; «авторамъ» — въ Орлеанѣ; законовѣдѣнію — въ Болоньѣ; врачеванію — въ Салерно; чернокнижію — въ Толедо; а добрымъ правамъ — нигдѣ“. Но и тогда роль «авторовъ» была очень скромна, и Генрихъ д'Андели, одинъ изъ тогдашнихъ «труверовъ», изобразившій въ комическомъ стихотвореніи войну между парижскими «artes» и орлеанскими «авторами», кончаетъ ее побѣдой первыхъ. Самъ онъ, однако, сочувствуетъ вторымъ; „торжество тѣхъ «artes», — говоритъ онъ, — продлится еще лѣтъ тридцать; но когда вступить на арену новое поколѣніе, то нынѣшняя побѣдительница будетъ побѣждена“...

Пророчество это исполнилось, хотя и нѣсколько позже; въ эпоху Возрожденія борьба между «auctores» и «artes» возобновилась съ новой силой и кончилась полной побѣдой первыхъ, а съ ними и классицизма, т.-е. художественной прозы въ духѣ древнихъ. Само собою разумѣется, что не къ этому сводится важность Возрожденія; его дѣятели служили и многимъ другимъ, несравненно болѣе высокимъ цѣлямъ, часто сами того не сознавая; но наиболѣе сознательно, наиболѣе усердно преслѣдуемую цѣлью было у нихъ — *воскрешеніе древней художественной рѣчи*. Въ Италіи они легко побѣдили; болѣе серьезное сопротивленіе оказалъ сѣверъ. Въ Парижѣ, Кельнѣ и другихъ университетахъ почтенные *magistri nostri* были возмущены подувшимъ съ юга вѣтромъ; „чего хотятъ они со своей новой латынью?“ — сердито говорили они, тщетно стараясь предать осмѣянію «*grossa vocabula*», — какъ они ихъ называли, — своихъ враговъ. Но осмѣянію подверглись они сами; безсмертныя «*epistolae obscurorum virorum*» схоронили подъ гнетомъ всеобщаго презрѣнія кельнскихъ магистровъ и бакалавровъ съ ихъ схоластикой, кухонной латынью, *dictamina* — и всѣмъ прочимъ.

Какъ видно отсюда, побѣда классицизма въ эпоху Воз-

рожденія была двойная: и надъ варварскимъ азіанизмомъ упомянутыхъ „dictamina“, и надъ беззаботнымъ обиходнымъ языкомъ латинской схоластики. О первомъ жалѣть было нечего, — но второй?..

За побѣдой послѣдовалъ, какъ это было естественно, расколъ въ лагерѣ побѣдителей. Первые гуманисты стремились къ подражанію, — но не къ подражанію рабскому; любили прежде всего Цицерона, а затѣмъ и другихъ, стараясь брать прекрасное всюду, гдѣ оно было. Но вотъ возникаютъ фанатики пуризма, не допускающіе ни одного слова, ни одного оборота, котораго бы нельзя было узаконить ссылкой на Цицерона; подобно большинству фанатиковъ, это были посредственности, старавшіяся возмѣстить недостатокъ таланта строгостью подчиненія «регулѣ». Называли они себя «цицероніанцами», не понимая того, что ихъ кумиръ первый отвергъ бы ихъ не по разуму усердную службу; это *они* называли соколовъ орлами, на томъ основаніи, что слово *falso* случайно у Цицерона не встрѣчается, и приглашали верховнаго жреца, т.-е. папу, уповать на помощь безсмертныхъ боговъ, намѣстникомъ которыхъ онъ состоитъ на землѣ. Разумные люди не раздѣляли ихъ увлеченія, и глава сѣвернаго гуманизма, Эразмъ, осмѣялъ ихъ въ своемъ бойкомъ и ѣдкомъ діалогѣ «*Ciceronianus*». Такъ-то мы уже въ сравнительно раннее время встрѣчаемъ умѣренныхъ и крайнихъ классицистовъ. Но умы были возбуждены, и этимъ дѣло не кончилось. Ужъ если подражать, то почему непременно Цицерону? Чѣмъ плохъ былъ Сенека, мастеръ и глубокой, и хлѣсткой «сентенціи»? И онъ находитъ себѣ почитателей, къ которымъ принадлежалъ, между прочимъ, знаменитый Липсій; другими словами азіанизмъ, недавно лишь похороненный въ лицѣ средневѣковыхъ «диктаторовъ», вновь водворяется на расчищенной почвѣ классической рѣчи. Но и этого было мало; колесо, разъ приведенное въ движеніе, не могло остановиться на Сенекѣ. Вотъ — Апулей съ его африканской латынью; почему бы не писать какъ онъ? Появляются апулеянцы, одинаково ненавистные обѣимъ партіямъ, и классицистамъ, которымъ они рѣзали уши, и азіанцамъ, которыхъ они компрометтировали. На бѣду, главное сочиненіе Апулея носило заглавіе: «Оселъ»; можно себѣ

представить остроты, которыя посыпались на его поклонниковъ. Теперь комплектъ былъ полнымъ; мы имѣемъ крайнихъ классицистовъ, умѣренныхъ классицистовъ, умѣренныхъ азіанцевъ, крайнихъ азіанцевъ; могла быть дана генеральная битва. И она была дана. Съ одной стороны, предавалась анаѣмъ «ересь пицероніанцевъ»; съ другой стороны — осмѣивались люди, которымъ пріятнѣе было «ревѣть» съ Апулеемъ, чѣмъ говорить съ Цицерономъ. Все болѣе и болѣе разгорался бой; онъ перешелъ изъ XVI вѣка въ XVII-й и все еще не обѣщаль конца; но воюющіе не замѣтили въ пылу сраженія, что они мало-по-малу оставили землю и поднялись въ поднебесное пространство, между тѣмъ какъ землю, изъ-за которой они сражались, мирно подѣлили между собою ихъ общіе враги — природные языки новыхъ европейскихъ народовъ.

II вотъ какъ это случилось.

VII.

Антагонизмъ между латинскимъ языкомъ и новыми языками начинается въ одно и то же время, какъ и самый гуманизмъ; мы встрѣчаемъ его уже у Петрарки. Съ точки зрѣнія гуманистовъ, германскіе языки были варварскими, романскіе — искаженной латынью. Въ средніе вѣка отношенія были лучше; внимательный изслѣдователь безъ труда убѣдится, что условіемъ такихъ хорошихъ отношеній было явленіе, называемое въ физикѣ «осмосомъ» — взаимный обмѣнъ матеріаловъ. То же самое мы видимъ и въ политической жизни народовъ: со-сѣднія государства живутъ въ мирѣ между собой, пока ввозъ и вывозъ продуктовъ происходитъ взаимно на равныхъ условіяхъ; но отношенія тотчасъ обостряются, если одно изъ нихъ вздумаетъ воспрепятствовать ввозу продуктовъ своего сосѣда.

Въ средніе вѣка, повторяю, осмозъ былъ обоюднымъ; чтобы понять это и вмѣстѣ съ тѣмъ оцѣнить всю пользу, которую извлекали новые языки изъ своего, такъ сказать, сожителства съ латинскимъ, слѣдуетъ представить себѣ особенность «продуктовъ» той и другой области. Особенностью

новыхъ языковъ была вѣрная и мѣткая передача самыхъ разнообразныхъ объектовъ *внѣшнихъ ощущеній*; только на новыхъ языкахъ можно было дать имена отдѣльнымъ предметамъ домашней утвари, составнымъ частямъ лошадиной сбруи, корабельнымъ снастямъ и т. д. Конечно, у древнихъ римлянъ эти предметы, поскольку они не были изобрѣтеніями новыхъ народовъ, тоже имѣли свои названія; но, во-первыхъ, эта категорія изобрѣтеній была довольно значительна и съ каждымъ столѣтіемъ дѣлалась значительнѣе; во-вторыхъ, извлеченіе древне-римскихъ названій требовало особаго филологическаго труда; а въ-третьихъ, оно часто было совершенно бесполезно: что пользы въ томъ, что мы изъ Горация, Ювенала, Марціала можемъ составить довольно полный списокъ словъ, передающихъ различныя разновидности общаго понятія слова: «чаша», когда мы не знаемъ, какая разновидность какимъ словомъ обозначается? Поступали, поэтому, проще — брали требуемое слово прямо изъ новаго языка; надо было явиться гуманизму и Раблѣ для того, чтобы „reddite nobis clochas nostras“ показалось смѣшнымъ. Это проникновеніе новыхъ словъ въ латинскій языкъ создало то, что позднѣе стали называть «кухонною латынью». — Гораздо серьезнѣе выгода, полученная новыми языками благодаря ввозу съ латинскаго. Въ противоположность къ послѣднему, новые языки были почти лишены *интеллектуалистическихъ* элементовъ; не было или почти не было словъ для выраженія объектовъ внутренняго познаванія, равно какъ не было средствъ для передачи отвлеченныхъ отношеній между наблюдаемыми — хотя бы и внѣшними чувствами — явленіями. Новые языки — первоначально языки видимости; человѣкъ какъ бы видитъ то, что онъ говорить о предметахъ, и говорить о нихъ такъ, какъ онъ видитъ, выражая только послѣдовательность, но не связь. Отсюда крайняя бѣдность временъ, почти полное отсутствіе наклоненій, отчаянная скудость союзовъ: во всемъ этомъ варваръ по складу своего ума не нуждался. Но вотъ варвара стали учить по-латыни: весь внутренній міръ, не существовавшій для него до тѣхъ поръ, открылся ему. Мало-по-малу онъ съ нимъ освоился и уже обойтись безъ него не могъ. И вотъ онъ исподволь сталъ приспособлять и

свою родную рѣчь къ выраженію этого внутренняго міра, то заимствуя латинскія слова, то развивая и измѣняя, по аналогіи латинскихъ словъ, формы или значенія родныхъ, то стараясь подражать въ родной рѣчи оборотамъ латинской. Такъ-то латинскій языкъ, благодаря богатству своего *интеллектуалистическаго* фактора, сдѣлался не только необходимымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическимъ новымъ языкамъ, но и ихъ учителемъ; школа была продолжительна и серьезна, но зато и въ высшей степени плодотворна: къ концу средневѣковаго періода новые языки были уже *почти* культурными языками, и въ такомъ качествѣ *почти* уже могли замѣнить латинскій языкъ во всѣхъ его отправленіяхъ.

Такова была цивилизаторская миссія латинскаго языка на Западѣ; правильность «западной» точки зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры была блистательно подтверждена.

Дважды употребленнымъ только-что словомъ «почти» я имѣлъ въ виду количественные недочеты новыхъ языковъ въ сравненіи съ латинскимъ, восполнимые съ теченіемъ времени и теперь давно уже восполненные; но кромѣ нихъ слѣдуетъ указать на два принципиальныхъ ихъ недостатка. Во-первыхъ, они были понятны каждый лишь у себя дома, между тѣмъ какъ латинскій языкъ былъ интернаціональнымъ; во-вторыхъ, *они не знали художественной прозы*. Это второе обстоятельство — единственное, которое интересуетъ насъ здѣсь.

Художественной прозы новые языки знать не могли, потому, что ея не знали и тотъ латинскій языкъ, подъ вліяніемъ котораго они находились; а была это, какъ мы видѣли въ прошлой главѣ, латынь *схоластическая*. Отъ красоты «dictamina» хорошаго воздѣйствія нельзя было и требовать; представителей же дѣйствительно художественной, классической латыни было слишкомъ мало. Нужно было, чтобы западный міръ сначала на латинскомъ языкѣ почувствовалъ всю красоту художественной прозы, а затѣмъ перенесъ ее на чуждую ей первоначально почву новыхъ языковъ; вторично латинскій языкъ сдѣлался учителемъ этихъ послѣднихъ, и это второе

ученіе было такъ же плодотворно, какъ и первое. Съ этой точки зрѣнія, и борьба за превосходство того или другого стиля въ латинской рѣчи теряетъ свой характеръ мелочности и получаетъ особое историческое значеніе: латинскій языкъ былъ въ этомъ случаѣ лишь матеріей для опытовъ, результаты которыхъ должны были имѣть рѣшающее значеніе для всей художественной прозы вообще.

Уже Боккаччіо писалъ свои безсмертныя новеллы съ явнымъ стремленіемъ воспроизвести на итальянскомъ языкѣ роскошную періодизацію Цицерона. Нельзя сказать, чтобы это ему вполне удалось, и многимъ, безъ сомнѣнія, безыскусственный и безпритязательный стиль его предшественниковъ покажется болѣе пріятнымъ; тѣмъ не менѣе, итальянцы считаютъ справедливо именно Боккаччіо основателемъ своей художественной прозы—хотя онъ увлекся и перешелъ мѣру; дѣломъ его послѣдователей было къ этой мѣрѣ вернуться. Къ тому же, онъ былъ только предвѣстникомъ; латинская художественная проза была возсоздана лишь въ XV-мъ вѣкѣ, а между тѣмъ ясно, что сначала она должна была окрѣпнуть и развернуться, а затѣмъ уже передать свою красоту идущимъ по ея стопамъ новымъ языкамъ. Случилось это въ XVI-мъ вѣкѣ; да и тутъ новые языки еще сильно отстаютъ. Какъ хороши, съ точки зрѣнія стиля, латинскія сочиненія Гуттена, и какъ неудобочитаемы его же произведенія, написанныя по-нѣмецки! Последнія, положимъ, болѣе прославляются въ настоящее время патріотами изъ его эпигоновъ—ихъ счастье, что ихъ самихъ не заставляютъ ихъ читать.

Подражаніе было тутъ вполне сознательнымъ. Гуманисты не особенно рекомендовали употребленіе новыхъ языковъ, но все же иногда его допускали и только совѣтовали развивать ихъ по образцу латинскаго; такъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ дѣятелей XVI-го вѣка, испанецъ Вивесъ, требуетъ, чтобы ученики особенно старательно знакомились съ латинскимъ языкомъ, „какъ для того“,—говоритъ онъ,—„чтобы хорошенько понимать его и черезъ него всю науку, такъ и для того, чтобы, пользуясь имъ, очищать и обогащать свою родную рѣчь, точно отведенной отъ источника водой“. Одновременно съ нимъ французъ дю-Беллѣ, стоявшій вообще на про-

тивоположной точкѣ зрѣнія, — предлагая отдать предпочтеніе французскому языку передъ латинскимъ — требуетъ, однако, чтобы писатели обогащали этотъ языкъ путемъ подражанія древнимъ авторамъ. То же требованіе выставилъ къ концу вѣка и знаменитый законодатель французскаго стиля, предвѣстникъ французскаго классицизма, Ронсаръ.

Такимъ образомъ, вліяніе латинской художественной прозы на художественную прозу новыхъ языковъ не только было фактомъ, но и признавалось законнымъ; въ виду этого, вопросъ о томъ, кому будетъ присуждена побѣда въ борьбѣ за цicerоніанизмъ, былъ довольно существеннымъ. Кто заглядывалъ въ произведенія тогдашнихъ цicerоніанцевъ и ихъ противниковъ, тотъ знаетъ, сколько тѣми и другими было въ ней обнаружено стилистическаго чутія; безспорно, эти люди могли многому научить своихъ современниковъ. Самымъ благодарнымъ для ученія возрастомъ былъ возрастъ школьный, поэтому намъ небезынтересно знать, за которой изъ враждующихъ партій осталась побѣда въ школахъ, а именно, — такъ какъ художественную прозу на новыхъ языкахъ создала романская Европа, — въ школахъ католическихъ, т.-е. іезуитскихъ. Педагогика іезуитовъ намъ теперь извѣстна въ точности; мы знаемъ, что въ ихъ школахъ процвѣталъ цicerоніанизмъ. „Мы желаемъ, — читаемъ мы въ «Memoriale» іезуита О. Бузея (1609 г.), чтобы занимающіеся наукой, и учителя, и ученики, держались въ богословіи св. Оомы, въ философіи — Аристотеля, а въ humaniога слѣдовали и подражали Цicerону“. Такъ-то Цicerонъ, создавшій художественную прозу въ древнемъ Римѣ, создалъ ее вторично для языковъ новой Европы: прозаическая литература романскихъ языковъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше подчиняется его вліянію. Особенно замѣтно это на писателѣ, котораго можно считать завершителемъ классической прозы французовъ, Бальзакъ Старшемъ (первой пол. XVII вѣка); онъ и въ теоріи былъ цicerоніанцемъ — болѣе позднихъ авторовъ онъ сравнивалъ съ Икаромъ и Фаэтонтомъ — и на практикѣ счумѣлъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь до него, воспроизвести во французской рѣчи величавость и грацію цicerоновскихъ періодовъ.

Но цicerоніанизмъ, т.-е., согласно сказанному выше,

классицизмъ,—не былъ единственнымъ теченіемъ въ художественной прозѣ новѣйшихъ народовъ, какъ онъ не былъ единственнымъ теченіемъ въ художественной прозѣ современнаго имъ латинскаго языка. Мы видѣли, какую роль игралъ въ этой послѣдней азіанизмъ, какъ въ его крайнихъ, такъ и въ его умѣренныхъ представителяхъ; если принять во вниманіе плѣнительность, свойственную ему именно въ глазахъ молодого общества, то его отсутствіе въ Европѣ XVI-го и XVII-го вѣковъ покажется а priori невѣроятнымъ. Къ счастью, онъ существовалъ, и его наличность еще разъ подтверждаетъ и безъ того уже несомнѣнный фактъ, что художественная проза новыхъ народовъ образовалась подъ непосредственнымъ вліяніемъ художественной прозы гуманистической латыни.

«Антитеза» была первымъ конькомъ азіанскаго краснорѣчія: вторымъ—была позднѣе развившаяся «сентенція». Само собою разумѣется, что азіанскій характеръ сказывается только въ злоупотребленіи той и другой; совсѣмъ безъ нихъ не обходится ни одинъ художественный стиль, какъ не обходится безъ нихъ и первообразъ художественной рѣчи, языкъ естественный, народный. И то, и другое злоупотребленіе мы встрѣчаемъ въ художественной прозѣ тогдашней Европы, притомъ не злоупотребленіе случайное, безсознательное и невольное, а систематическое, сознательное и намѣренное, возведенное въ норму и давшее опредѣленную окраску стилю: построенный на «сентенціи» стиль назывался «драгоцѣннымъ стилемъ» (*style précieux*), а построенный на «антитезѣ»—извѣстенъ подъ именемъ «юфуизма» (*euphuism*).

О «драгоцѣнномъ» стилѣ у насъ теперь опять стало возможнымъ говорить, не рискуя остаться непонятымъ: послѣдній французскій поэтъ, Ростанъ, снова его сдѣлалъ популярнымъ во Франціи и, по крайней мѣрѣ, извѣстнымъ у насъ. На вопросъ, что такое «драгоцѣнный» стиль, можно дать краткій отвѣтъ: это—Сирано де-Бержеракъ. Мы затруднились выше русскимъ переводомъ слова *sententia*; по-французски переводъ возможенъ самый точный и выразительный: сентенція, это—*pointe*. «Драгоцѣнный» стиль весь построенъ на немъ; ошеломите своего слушателя фейерверкомъ непрерывныхъ *pointes*, какъ это дѣлаетъ Сирано, говоря о своемъ носѣ,—

это будетъ стиль *rhébus*; прибавьте къ нимъ паюса и сентиментализма, какъ это дѣлаетъ Сирано, объясняясь въ любви,—вы получите *style alambiqué*; затемните ихъ совершенно намеками на самые разнородные предметы такъ, чтобы каждое слово требовало комментарія, и въ то же время нагромождайте ихъ такъ, чтобы слушатель не имѣлъ времени подумать и не вынесъ изъ вашей рѣчи ровно ничего, кромѣ безграничнаго благоговѣнія предъ вашей эрудиціей и вашимъ *esprit*—чего Сирано, впрочемъ, не дѣлаетъ,—и вы будете владѣть самымъ возвышеннымъ изъ «драгоцѣнныхъ» стилей—*style galimatias*.

Теперь всѣ эти разновидности «драгоцѣннаго» стиля, кромѣ послѣдней, стяжавшей себѣ печальное безсмертіе, давно забыты; но въ свое время онѣ надѣлали много шума. Въ Испаніи, главнымъ представителемъ «*style précieux*» былъ Гонгора, давшій ему имя «гонгоризмъ»; въ Италіи его пропагандировалъ Вирджиліо Мальвецци; въ Англіи онъ вызвалъ полемику Роджера Ашама и Филиппа Сиднэ; въ Германіи имъ прониклась вся т.-наз. вторая силезійская школа. Но откуда же онъ взялся? Тогдашніе теоретики знали это отлично: въ диалогѣ Бонпура: «*La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit*» (1649), поклонникъ «драгоцѣннаго» стиля открыто называетъ свои образцы: это—Веллей, Сенека, Тацитъ, представители, какъ мы видѣли выше, азіанизма въ римской словесности. Недаромъ въ одномъ изъ произведеній новаго стиля самъ Сенека выставленъ его первообразомъ: передъ своей смертью римскій философъ обращается къ своему кинжалу съ такими *pensées alambiquées*, что мы проникаемся живѣйшей симпатіей къ Нерону. А когда Бальзакъ за свой ципероніанизмъ подвергся нападеніямъ современныхъ ему *précieux*, то защитникъ Бальзака, Ожье, ставя имъ въ вину ихъ «*fausses subtilités*», или «*sottises étudiées*», извиняетъ ихъ до нѣкоторой степени тѣмъ—„*qu'en cela ils ont imité les Anciens*“, а именно, какъ онъ прибавляетъ ниже (называя, конечно, только косвенные образцы), Горгія, Каллисѳена, Клитарха, Гегесія, т.-е. азіанцевъ и ихъ родоначальника. Такова была борьба между архаизмомъ и азіанизмомъ на почвѣ новыхъ языковъ.

Впрочемъ, «драгоцѣнный» стиль былъ только одной отраслью новѣйшаго азіанизма; другой былъ, какъ было сказано выше, «юфуизмъ». Своимъ названіемъ онъ обязанъ, какъ извѣстно, появившемуся въ 1579 г. роману Джона Лили подъ заглавіемъ: «*Euphues, the anatomy of wit*»; стиль этого романа весь построенъ на антитезѣ, но антитезѣ чисто внѣшней, формальной, подчеркнутой созвучіемъ соответствующихъ другъ другу словъ, какъ въ вышеприведенныхъ примѣрахъ изъ Горгія, Апулея и Августина. Вотъ образчики: „Господа, если я могъ быть заподозрѣнъ вами въ недомысліи, выслушивая ваши рассказы, то теперь я могу быть уличенъ вами въ легкомысліи, отвѣчая на такой вздоръ; конечно, насколько вы заставили краснѣть мои уши исторіей вашей любви, настолько вы ожесточили мое сердце воспоминаніемъ о вашемъ безразсудствѣ“. Этотъ стиль, пріобрѣвшій всемірное значеніе своимъ вліяніемъ на Шекспира, не былъ оригинальнымъ открытіемъ Лили: онъ заимствовалъ его у испанца Гевары, автора знаменитаго въ тѣ времена романа о Маркѣ Авреліи; Гевара въ свою очередь почерпнулъ свою страсть къ антитезамъ у Исократы; нѣкоторыя рѣчи послѣдняго какъ разъ въ это время, шесть лѣтъ до появленія только-что упомянутаго романа, были Вивесомъ переведены по-испански. Это родство между Геварой и Исократомъ, замѣченное еще современникомъ Лили, Джорджемъ Петтенгэмомъ, еще разъ уполномочиваетъ насъ отнести и юфуизмъ, наравнѣ съ драгоцѣннымъ стилемъ, къ возрожденному въ новой Европѣ азіанизму.

Только теперь мы въ состояніи исполнѣть значеніе литературной борьбы, кипѣвшей въ западной Европѣ въ продолженіе XVI и XVII вѣковъ. Усиліями гуманистовъ латинской прозѣ возвращается художественность, которая ей была свойственна въ древнія времена—и тотчасъ на почвѣ художественной латинской рѣчи возобновляется борьба между классическимъ стилемъ—съ одной и азіанскимъ—съ другой стороны. Но новые языки, привыкшіе орошать свою ниву неисчерпаемымъ родникомъ латинской рѣчи, вскорѣ и сами явились на арену; имъ нужно было только добыть себѣ дворянскую грамоту, т. е. художественность, для того, чтобы принять участіе въ турнирѣ. И въ ихъ рядахъ мы находимъ классицистовъ и

азіанцевъ; и нужно ли доказывать, что эта борьба все еще не прекращается? Отпадаютъ лишь крайности, но классицизмъ, какъ классицизмъ, продолжаетъ жить, и азіанизмъ подъ различными масками — сентиментализма, романтизма, неоромантизма, модернизма — постоянно воскресаетъ и собираетъ вокругъ себя своихъ поклонниковъ. И нѣтъ причины желать, чтобъ эта борьба прекратилась: классицизмъ и азіанизмъ по природѣ своей вѣчны, какъ вѣчны оба источника всякой художественной прозы: разумъ и фантазія.

Зато вторая борьба, повидимому, кончилась; это — борьба между латинской художественной прозой и художественной прозой новыхъ языковъ за преобладаніе въ литературѣ. Страніемъ гуманистовъ — латинскому языку была возвращена его художественность; зато была принесена въ жертву обоюдность осмоза между нимъ и новыми языками; было устранено все то, что латинскій языкъ принялъ въ себя въ теченіе всего средневѣковаго періода, и что сдѣлало его способнымъ выражать мысли современныхъ людей. Это — разъ. Во вторыхъ, новая латынь гуманистовъ была гораздо труднѣе схоластической, именно потому, что была художественной; если прежняя была желѣзомъ, ковать которое могъ любой кузнецъ, то новая была золотомъ, обращаться съ которымъ могъ только ювелиръ. Вступало въ силу возраженіе парижскаго артиста противъ классической латыни:

Трудъ кропотливый тутъ нуженъ, и средствъ облегчить его нѣту:
День утекаетъ за днемъ, жизнь пропадаетъ твоя.

Положимъ, средства облегчить этотъ трудъ были возможны, и сами гуманисты позаботились о томъ, чтобы ихъ добыть, — куда легче и пріятнѣе было учиться латинскому языку по colloquia Эразма, чѣмъ по чудовищному доктриналу Александра de Villa Dei, — но интеллигенція не хотѣла ждать. Такимъ образомъ, гуманизмъ, возвращая латинской прозѣ ея художественность, противъ своей воли содѣйствовалъ ея паденію: съ одной стороны, онъ сдѣлалъ ее самоѣ и непрактичнѣе, и труднѣе; съ другой стороны, онъ ту же художественность доставилъ и новымъ языкамъ, которые, почувствовавъ свою красоту, требовали для себя первенствующей и вскорѣ исключительной роли въ литературной жизни.

Этому принято радоваться; оно и понятно. Каждый человекъ принадлежит къ какому-нибудь народу и по одному этому съ удовольствіемъ привѣтствуетъ возвышеніе національной прозы; а оно обусловливалось паденіемъ латинской прозы, мѣсто которой національная и заняла. Не слѣдуетъ, однако, забывать и о жертвахъ, которыми было искуплено это возвышеніе. Былъ утерянъ, прежде всего, международный языкъ, а съ нимъ не только неопѣнимое орудіе для научныхъ, дипломатическихъ, судебныхъ и торговыхъ сношеній, — даже и торговыхъ: не забудемъ, что и двойная бухгалтерія, по мнѣнію Нибура, была извѣстна римлянамъ, — но и живой символъ международного мира. А затѣмъ, — съ націонализаціей литературы и науки, европейскіе народы вступили въ тотъ фазисъ своего развитія, которому въ экономической ихъ жизни соответствуетъ капитализмъ. Эразмъ былъ голландецъ, Рейхлинъ — нѣмецъ; пока они оба писали по-латыни, ихъ сочиненія находили себѣ одинаковый сбытъ во всей цивилизованной Европѣ. Но заставьте каждого писать на своемъ національномъ языкѣ — и публика перваго уменьшится болѣе чѣмъ вдесятеро противъ публики втораго, а публика — это капиталъ писателя. Допустите націонализацію литературы и науки — и Рейхлинъ окажется въ такихъ же точно условіяхъ по отношенію къ Эразму, въ какихъ находится заводчикъ по отношенію къ ремесленнику. А націонализація школы и вызванная ею борьба, въ которой всѣ удары сыплются на безвинныя головы мальчиковъ и дѣвочекъ! сочтены ли слезы, которыхъ она стоила уже теперь? опредѣлено ли психологами, какой ядъ гибельнѣе для дѣтскихъ душъ: ожесточеніе ли побѣжденныхъ, или злорадство побѣдителей?

Націонализмъ и капитализмъ — одинаково необходимые факторы нашей культуры въ настоящемъ фазисѣ ея развитія; насколько они необходимы и въ будущемъ — рѣшить потомство. Нашъ очеркъ — историческій; а чѣмъ ближе человекъ знакомится съ исторіей, тѣмъ болѣе онъ дѣлается склоннымъ ограничивать область безапелляціонныхъ ея приговоровъ.



Уголовный процессъ XX вѣковъ назадъ.

(1901).

Современный глава нѣмецкаго матерьялизма, Эрнстъ Геккель, въ своихъ надѣлавшихъ столько шума «Міровыхъ загадкахъ», самодовольно озираясь на головокружительный прогрессъ естественныхъ наукъ за истекшее столѣтіе, съ пренебреженіемъ отзывается о настоящемъ положеніи другихъ наукъ и спеціально юриспруденціи, обвиняя ихъ въ отсталости и неспособности считаться съ требованіями времени. Мнѣ неизвѣстно, какъ отнеслись къ этому упреку своего соотечественника нѣмецкіе юристы; но какъ человѣкъ, не впервые интересующійся юридическими вопросами, я могу себѣ представить причину того въ чемъ извѣстный біологъ усмотрѣлъ признаки отсталости, и надѣюсь, что мое объясненіе окажется не очень далекимъ отъ истины. Естественныя науки, не исключая и антропологіи, имѣютъ своею цѣлью обнаруженіе правды, находящейся вѣ насъ; вотъ почему ихъ начала такъ скромны и ихъ прогрессъ, при наличности научнаго интереса, такъ ошеломительно быстръ. Юриспруденція, напротивъ, видитъ свою задачу въ обнаруженіи и осуществленіи той правды, которая живетъ *въ насъ самихъ*, будучи результатомъ совокупности культурныхъ условій, въ которыхъ мы находимся; вотъ почему, съ одной стороны, общество съ самыми дикими представленіями о внѣшнемъ мірѣ и о физическомъ организмѣ человѣка — можетъ въ то же время имѣть очень правильныя воззрѣнія на

житейскую правду и на способы ея осуществленія; вотъ, съ другой стороны, почему и прогрессъ въ области права, имѣющій своимъ условіемъ общекультурный прогрессъ, не можетъ не быть медленнымъ и постепеннымъ.

Эта органическая связь юриспруденціи (въ широкомъ смыслѣ слова) съ умственной культурой общества, въ которомъ она живетъ и дѣйствуетъ, несомнѣнно составляетъ ея наиболѣе выгодную, наиболѣе привлекательную для молодыхъ талантовъ сторону; но, сверхъ того, она же придаетъ и особый интересъ изученію правовыхъ институтовъ отдаленныхъ эпохъ, и преимущественно тѣхъ, которыя оказали болѣе или менѣе значительное вліяніе на нашу культуру. Искключительное положеніе, съ этой точки зрѣнія, римскаго права признано юриспруденціей и въ теоріи и на практикѣ; и если представленіе о непосредственно *нормативномъ* характерѣ этого права, существовавшее нѣкогда, уже утратило свое обаяніе, то его историческая важность, за то, чѣмъ далѣе тѣмъ болѣе сознается. Эта историческая важность остается и за тою его областью, которая, по внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ, лишь въ слабой мѣрѣ была окружаема ореоломъ нормативности: за римскимъ *уголовнымъ* правомъ и процессомъ.

Его систематическое изложеніе дали многіе, и лучше всѣхъ Моммзенъ въ своемъ недавно появившемся капитальномъ руководствѣ (*Römisches Strafrecht* 1899); моя задача здѣсь другая. Мнѣ хотѣлось бы, — вмѣсто того, чтобы описывать по частямъ римскую (если можно такъ выразиться) уголовно-судебную машину — изобразить ея *дѣйствіе* на одномъ конкретномъ, по возможности полномъ примѣрѣ. Въ такихъ примѣрахъ недостатка нѣтъ: начиная съ легендарнаго процесса сестроубійцы Горація, римская литература изобилуетъ болѣе или менѣе подробными описаніями уголовныхъ дѣлъ; но только-что подчеркнутое стремленіе къ полнотѣ заставило меня ограничить поле выбора тѣми случаями, для которыхъ сохранена подлинная судебная рѣчь по крайней мѣрѣ одной изъ сторонъ — т.-е. тѣми, въ которыхъ ораторомъ выступалъ Цицеронъ. Такихъ не мало — всего, включая экстраординарное дѣло Катилинарцевъ, 19; но для нашей цѣли требовалось дѣло, по своему существу представляющее наиболѣе сходства съ тѣми, которыя и у насъ

разбираются передъ судьями-присяжными, и въ то же время ни по характеру преступленія, ни по характеру замѣшанныхъ въ немъ лицъ не заставляющее отступать на задній планъ *юридическій* интересъ передъ интересомъ *политическимъ*. При такихъ условіяхъ выборъ не могъ быть сомнительнымъ: изъ всѣхъ дѣлъ Цицерона только одно имъ отвѣчало, но зато отвѣчало какъ нельзя лучше: это—дѣло римскаго всадника *Клуенція*, обвинявшагося въ 66 г. до Р. Х. въ томъ, что онъ въ 74 г., подкупивъ голоса присяжныхъ, добился осужденія уголовнымъ судомъ своего вотчина *Оптіаника*, а затѣмъ и отравилъ его. Правда, политическій элементъ не вполне отсутствуетъ и въ этомъ дѣлѣ—по характеру той бурной эпохи, когда сами суды были предметомъ политической агитаціи, онъ не могъ вполне отсутствовать ни въ одномъ мало-мальски интересномъ дѣлѣ. Но зато онъ игралъ въ немъ довольно скромную роль; а съ другой стороны наше дѣло показываетъ намъ весь аппаратъ уголовно-судебной обстановки въ такой полнотѣ, какой мы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не встрѣчаемъ. Тутъ самыя разнообразныя категоріи уголовныхъ судовъ, начиная съ домашняго суда надъ провинившимися рабами—продолжая тріумвиральнымъ надъ пойманными съ поличнымъ и сознавшимися преступниками,—далѣе, судомъ присяжныхъ при различныхъ формахъ сословнаго представительства, притомъ прямымъ и косвеннымъ (объ этомъ странномъ терминѣ потомъ),—далѣе, цензорскимъ квазисудомъ, столь характернымъ для Рима,—и кончая народнымъ судомъ съ трибуномъ въ роли и обвинителя и предсѣдателя. Тутъ, затѣмъ, очень полный подборъ постороннихъ, вліяющихъ на убѣжденіе о виновности подсудимаго факторовъ, какъ *res judicatae*, цензорскія и сенатскія постановленія преюдиціальнаго характера и даже частные приговоры, выраженные въ формѣ духовныхъ завѣщаній. Тутъ, далѣе, очень тонкія и щекотливыя соображенія адвокатской этики, естественно вызванныя тѣмъ обстоятельствомъ, что защитнику подсудимаго пришлось отстаивать убѣжденіе противоположное тому, которое онъ раньше не только раздѣлялъ, но и выражалъ передъ судомъ. Тутъ, наконецъ, защитительная рѣчь Цицерона, охватывающая всѣ пункты обвиненія, и притомъ едва ли не самая блестящая изъ всѣхъ судебныхъ его рѣчей;

по крайней мѣрѣ онъ самъ приводитъ ее какъ примѣръ рѣчи «разнообразной», т.-е. пользующейся всею клавиатурой аффектовъ, а одинъ изъ позднѣйшихъ римскихъ писателей заявляетъ, что въ остальныхъ рѣчахъ Цицеронъ побѣждалъ другихъ, въ этой же самъ себя побѣдилъ.

Приступимъ, однако, къ изложенію дѣла; изложеніе это я рѣшилъ дать по возможности словами самого оратора. Конечно, я не скрываю отъ себя неудобства, заключающагося въ томъ обстоятельстве, что мы должны возстановлять дѣло Клуенція, пользуясь при этомъ свидѣтельствами одной только стороны; но, во-первыхъ, это зло непоправимое, а во-вторыхъ, оно для интересующихъ насъ вопросовъ и не особенно значительно. Былъ ли Клуенцій на самомъ дѣлѣ невиновенъ? Если пѣтъ, то тѣмъ хуже для него и, пожалуй, для его защитника, но не для насъ; наши представленія о ходѣ и характерѣ уголовного процесса въ его эпоху ничуть не пострадали бы отъ отрицательнаго отвѣта на этотъ вопросъ.

I.

Кровавая исторія, приведшая Клуенція на скамью подсудимыхъ, началась не въ Римѣ, а въ самнитскомъ городѣ Ларинѣ, немного лишь лѣтъ назадъ получившемъ римское гражданство.

Въ ней замѣшано довольно много лицъ, которыхъ я, чтобы не запутывать дѣла, перечислять не буду; все же ея главными героями были трое: римскій всадникъ Клуенцій, его мать Сассія и мужъ послѣдней, вогчимъ Клуенція, Оппіаникъ. Съ бытовой точки зрѣнія наибольшій интересъ возбуждаетъ Сассія, одна изъ тѣхъ великолѣпныхъ тигрицъ, которыми такъ богатъ былъ Римъ во всѣ времена своей исторіи; но я могу лишь бѣгло указать на это ея значеніе, такъ какъ у насъ на первомъ планѣ стоитъ юридическій интересъ этой ларинской трагедіи.

Разладъ между Клуенціемъ и его матерью Сассіей начался еще рано—лѣтъ за двадцать до самого процесса; что было его причиною—объ этомъ послушаемъ самого оратора (§§ 11—14).

„Клуенцій, отецъ подсудимаго, и по своимъ личнымъ качествамъ, и по всеобщему къ нему уваженію, и по своей знатности принадлежалъ къ первымъ людямъ не только въ своемъ родномъ муниципіи Ларинѣ, но и по сосѣдству и вообще во всей той мѣстности. Онъ умеръ въ консульство Суллы и Помпея (88 г.), оставивъ пятнадцатилѣтняго сына—того, о которомъ идетъ рѣчь,—и взрослую дочь-невѣсту, вышедшую вскорѣ послѣ смерти отца за своего двоюроднаго брата А. Аврія Мелина. Мелинъ считался тогда однимъ изъ лучшихъ молодыхъ людей въ тѣхъ краяхъ не только по происхожденію, но и по нравственной жизни; свадьба была отпразднована съ блескомъ, молодые жили въ полномъ согласіи — но вотъ въ одной разнузданной женщинѣ вспыхиваетъ нечестивая страсть, и семья не только покрылась позоромъ, но и была запятнана преступленіемъ. Этой женщиной была Сассія, мать нашего Клуенція,—да, судьи, *мать*; во всей своей рѣчи я буду называть ее матерью того человѣка, къ которому она относится съ ненавистью и жестокостью врага, и слушая рассказъ о своихъ безчеловѣчныхъ злодѣяніяхъ, она каждый разъ услышитъ заодно и то имя, которое дала ей природа...

„Такъ вотъ эта мать нашего Клуенція воспылала безбожною страстью къ своему зятю, молодому Мелину... Воспользовавшись слабостью неопытнаго и неокрѣпшаго еще духомъ юноши и пустивъ въ ходъ всѣ средства, которыя дѣйствуютъ на людей его возраста, она сумѣла его опутать. Ея дочь, которая не только была оскорблена въ своихъ женскихъ чувствахъ такою невѣрностью мужа, но и терзалась при невыносимой мысли, что разлучницей была ея собственная нечестивая мать,—скрывала свое глубокое горе отъ другихъ и изнывала въ объятіяхъ нѣжно-любящаго ее брата, лишь въ его присутствіи давая волю слезамъ. Но вотъ любовники внезапно рѣшаютъ кончить дѣло разводомъ; этимъ, казалось, было найдено исцѣленіе отъ всѣхъ страданій. Клуенція оставляетъ домъ Мелина... Такимъ образомъ теща вышла замужъ за зятя, безъ благословенія религіи, безъ согласія родныхъ, напутствуемая всеобщими проклятіями“.

Въ такомъ положеніи находились дѣла въ 85 г., двадцатью годами раньше нашего процесса; недолго, однако, Мелину при-

шлось быть супругомъ своей бывшей тещи. Плодомъ ихъ брака была дочь Аврія, которой было суждено сыграть позднѣе въ самомъ процессѣ нѣкоторую, хотя и пассивную роль; но вскорѣ затѣмъ самъ Мелинъ погибъ, павъ жертвой мстительности второго главнаго героя трагедіи *Оппіаника*. Дебютъ этого страшнаго человѣка состоялся слѣдующимъ образомъ.

Въ ларинской муниципальной аристократіи тѣхъ временъ не послѣднее мѣсто занимала нѣкая *Диней*, мать многочисленныхъ дѣтей, прижитыхъ ею въ двухъ послѣдовательныхъ бракахъ и носившихъ поэтому два различныхъ родовыхъ имени — Авріевъ и Магіевъ; переживъ обоихъ своихъ мужей, она была владѣлицей или узурпаторшей громаднаго состоянія, которое со временемъ должно было достаться ея дѣтямъ. На одной изъ ея дочерей былъ женатъ нашъ Оппіаникъ; правда, этотъ бракъ не былъ продолжительнымъ, все же онъ далъ жизнь ребенку мужского пола — Оппіанику Младшему, который въ качествѣ родного внука Диней могъ сдѣлаться наслѣдникомъ ея богатствъ, если бы ея прочія дѣти умерли, не оставивъ потомства. И вотъ Оппіаникъ направляетъ всѣ свои помыслы къ осуществленію этой мечты. Отчасти, впрочемъ, сама судьба шла на встрѣчу его планамъ: одинъ изъ его шурьевъ умеръ бездѣтнымъ естественной смертью, вслѣдъ за нимъ — другой. Къ несчастію, этотъ послѣдній, умирая, оставилъ свою жену беременной; это было тѣмъ досаднѣе, что онъ достаточно зналъ нравственные принципы своего зятя и распорядился соотвѣтствующимъ образомъ, но... предоставимъ тутъ опять слово оратору (§ 33—35).

„Гнѣй Магій, будучи тяжело боленъ и намѣреваясь назначить наслѣдникомъ своего племянника Оппіаника Младшаго, созвалъ совѣтъ друзей и въ присутствіи своей матери, Диней, спросилъ свою жену, чувствуетъ ли она себя беременной; когда она отвѣчала утвердительно, онъ наказалъ ей, чтобы она послѣ его смерти до самыхъ родовъ жила у Диней, своей свекрови, и всячески старалась беречь свой плодъ и благополучно разрѣшиться отъ бремени. Мало того, онъ отказываетъ ей въ завѣщаніи крупный легатъ отъ имени ребенка, еслибы таковой родился, и ничего не отказываетъ отъ имени второго наслѣдника. Вы видите, чего онъ ожидалъ отъ Оппіаника въ будущемъ.

„Теперь дайте рассказать вамъ о дѣяніяхъ Оппіаника; вы увидите, что близость смерти не сдѣлала ясновидящимъ того Магія. Тѣ деньги, которыя онъ завѣщалъ женѣ въ видѣ легата отъ имени ожидаемаго сына, Оппіаникъ уплатилъ ей тотчасъ отъ себя, — если только эта операція можетъ быть названа «уплатой легата», а не наградой за вытравленіе плода; получивъ эту сумму и еще много подарковъ, списокъ которыхъ былъ въ свое время прочитанъ суду на основаніи записей самого Оппіаника, эта женщина уступила своей алчности и продала преступнымъ вожделѣніямъ Оппіаника свою надежду, которую она зачала отъ мужа и носила въ своемъ лонѣ. — Казалось бы, этимъ достигнуть предѣлъ человѣческой порочности; но послушайте, чѣмъ дѣло кончилось. Эта женщина, которая, по настоятельной просьбѣ мужа, въ теченіе слѣдующихъ 10 мѣсяцевъ не должна была знать другого дома, кромѣ дома своей свекрови — она на пятый мѣсяцъ послѣ смерти мужа выходитъ замужъ за самого Оппіаника. Правда, этотъ бракъ былъ непродолжителенъ: онъ сплочивался не обоюднымъ достоинствомъ, а участиемъ въ одномъ и томъ же преступленіи“.

При всемъ томъ, Оппіаникъ могъ считать себя побѣдителемъ: смерть сдѣлала свое дѣло, вскорѣ изъ богатаго нѣкогда потомства Динеи никого не осталось въ живыхъ, кромѣ ея внука, а этотъ внукъ былъ роднымъ сыномъ Оппіаника. Но вотъ случилось нѣчто неожиданное.

Я уже сказалъ, что городъ Ларинъ лишь немного лѣтъ назадъ сдѣлался римскимъ муниципіемъ, а именно въ 89 г., вмѣстѣ съ другими самнитскими городами. Было это результатомъ такъ наз. италійской (или союзнической) войны, которую вели противъ Рима его бывшіе италійскіе союзники. Приписывали участіе въ этой войнѣ также и ларинаты; и, конечно, Авріи, какъ наиболѣе видные среди нихъ, не могли не находиться среди сражающихся. Когда война кончилась, одного изъ нихъ, а именно Марка, старшаго сына Динеи, не досчитались: среди убитыхъ его не нашли, при возвращеніи плѣнныхъ его не оказалось — однимъ словомъ, онъ пропалъ безъ вѣсти. Такъ прошло около шести лѣтъ; „но вотъ“, рассказываетъ ораторъ (§ 21—23):

„Динея получаетъ извѣстіе довольно точное и достовѣрное,

что ея сынъ М. Аврій живъ и служить рабомъ въ Галльской области. Когда такимъ образомъ этой женщинѣ въ ея сиротствѣ представилась надежда получить обратно хоть одного изъ своихъ сыновей, она созвала всѣхъ своихъ родственниковъ, всѣхъ друзей своего сына и со слезами стала ихъ молить, чтобы они взяли на себя трудъ отыскать юношу, чтобы они вернули ей сына, единственного, котораго судьбоу угодно было сохранить ей изъ столькихъ ея дѣтей.

„Едва успѣвъ дать ходъ этому дѣлу, она слегла въ постель; тогда она составила завѣщаніе, въ которомъ сдѣлала главнымъ наслѣдникомъ того же своего внука Оппіаника Младшаго, отказавъ однако легать въ 400000 сестерціевъ своему сыну; нѣсколько дней спустя она скончалась. Все же тѣ родственники, вѣрные своему слову, которое они дали Диней при ея жизни, вскорѣ послѣ ея смерти отправились на поиски М. Аврія въ Галльскую область, взявъ съ собой того самаго молодого чело-вѣка, который привезъ извѣстіе о томъ, что онъ живъ.

„Тутъ-то Оппіаникъ и проявилъ всю силу своей преступной отваги. Первымъ дѣломъ онъ черезъ одного своего близкаго знакомаго, жившаго въ Галльской области, подкупилъ вѣстника; затѣмъ онъ путемъ ничтожной затраты устранилъ и самого М. Аврія, распорядившись, чтобы его убили. Тѣмъ временемъ тѣ, которые отправились на поиски своего родственника, посылаютъ письмо въ Ларинъ къ Авріямъ съ извѣстіемъ, что дѣло съ поисками осложняется, и что причиною тому, какъ они догадываются, подкупъ Оппіаникомъ вѣстника. Получивъ это письмо, А. Аврій (Мелннъ), ближайшій родственникъ того М. Аврія, отправляется на площадь и тамъ публично, — въ присутствіи большой толпы народа, среди которой находился и Оппіаникъ, — читаетъ его, послѣ чего громогласно заявляетъ, что если онъ узнаетъ объ убійствѣ М. Аврія, онъ привлечетъ Оппіаника къ отвѣтственности“.

Тутъ впервые вокругъ Оппіаника повѣяло судебной атмосферой; но онъ сумѣлъ себя помочь. Времена были жестокія: Сулла какъ разъ возвращался въ занятый маріанцами Римъ, предстояли ужасы проскрипцій; при такихъ обстоятельствахъ люди съ желѣзной волей и мѣднымъ лбомъ находятъ себя цѣнителей. И вотъ мы видимъ Оппіаника въ лагерѣ Суллан-

цевъ; вскорѣ затѣмъ его ларинскіе враги, мстители-добровольцы за смерть несчастнаго Марка Аврія, попадаютъ въ проскрипціонные списки; еще немного — и Оппіаникъ получаетъ отъ побѣдителя отрядъ вооруженныхъ, съ нимъ вторгается въ свой родной городъ Ларинъ и лично приводитъ въ исполненіе имъ же продиктованный приговоръ. Среди его жертвъ находился, какъ этого и слѣдовало ожидать, и Мелинъ, тотъ самый, который раньше былъ женатъ на молодой Клуенціи, а затѣмъ — на ея матери Сассіи; такимъ образомъ, эта послѣдняя вторично стала вдовой.

Но кромѣ того она стала также владѣлицей довольно крупнаго состоянія, унаслѣдованнаго отъ обоихъ ея мужей: размѣрами этого состоянія опредѣлялась ея цѣнность въ глазахъ Оппіаника. Онъ былъ уже однимъ изъ первыхъ ларинскихъ богачей, получивъ въ свое владѣніе какъ богатство своего собственнаго рода (это — довольно темная исторія, которой я счелъ за лучшее не касаться), такъ и огромное имущество Диней и ея дѣтей; теперь онъ, ободренный успѣхами и безнаказанностью, сталъ простираť свои взоры и на состояніе Сассіи. Самымъ простымъ средствомъ для завладѣнія имъ былъ бракъ; и вотъ Оппіаникъ дѣлаетъ Сассіи предложеніе, той самой Сассіи, у которой онъ убилъ мужа... Не буду тутъ приводить тѣхъ характерныхъ подробностей, которыми сопровождались переговоры по этому вопросу; результатъ былъ тотъ, что Оппіаникъ сталъ третьимъ мужемъ Сассіи, а Сассія — пятой женой Оппіаника.

Теперь семейное положеніе обоихъ героевъ было слѣдующее: у Оппіаника былъ единственный сынъ, Оппіаникъ Младшій, прямой наслѣдникъ состоянія Диней и ея покойныхъ дѣтей; у Сассіи была отъ второго брака малолѣтняя дочь Аврія, которую можно было современемъ выдать за Оппіаника Младшаго; но, къ несчастью, у нея были также и дѣти отъ перваго брака, сынъ-юноша Клуенцій и взрослая дочь Клуенція. О послѣдней что-то не слышно: повидимому, она не долго оставалась въ живыхъ послѣ своего горестнаго развода съ Мелиномъ, ставшимъ изъ мужа ея вѣточкомъ. Но Клуенцій былъ серьезнымъ препятствіемъ для осуществленія завѣтной мечты Оппіаника — концентраціи ларинскихъ капиталовъ въ

своихъ рукахъ; его во что бы то ни стало нужно было устранить. Для этого, однако, требовалась осторожность. Проскрипціонный терроръ кончился, законность опять водворилась въ римскомъ государствѣ; а съ другой стороны тѣ, которые въ свое время извлекли пользу для себя изъ этого террора, были предметомъ всеобщей ненависти. Ихъ нельзя было преслѣдовать судомъ за ихъ преступленія, совершенныя подъ стѣнью режима Суллы; но за ними зорко слѣдили, и они могли быть увѣрены, что при первомъ уголовномъ процессѣ, который бы возникъ по какому-нибудь новому съ ихъ стороны преступленію, ихъ участіе въ проскрипціяхъ негласно дастъ перевѣсъ роковой для нихъ чашкѣ вѣсовъ Фемиды.—Нѣтъ, дѣло требовало осторожности; надобно было дѣйствовать черезъ другихъ, самому оставаясь въ тѣни.

И надобно ему отдать справедливость: въ своемъ *конфликтѣ съ Клауенціемъ* Оппіаникъ соблюлъ крайнюю осторожность.

II.

Благопріятная минута для рѣшительныхъ дѣйствій наступила тогда, когда оба врага сошлись въ Римѣ по поводу одного дѣла, близко затрогивавшаго интересы ихъ общей родины. Судьба и здѣсь пошла на встрѣчу планамъ Оппіаника: *Клауенцій заболѣлъ*; его жизнь зависѣла отъ искусства и добросовѣстности пользовавшаго его врача, грека Клеофанта.

Въ тѣ времена жилъ въ Римѣ человекъ, носившій очень славное въ римскихъ лѣтописяхъ имя, но по своимъ нравамъ ничуть не похожій на своего знаменитаго родича — нѣкто *Г. Фабрицій*; родомъ онъ былъ изъ муниципія Алетрія, находившагося въ странѣ вольсковъ, недалеко отъ родины Цицерона Арпина — это послѣднее обстоятельство необходимо удержатъ въ памяти. Будучи человекомъ ловкимъ, жаднымъ и беззащѣтнымъ, онъ, какъ нельзя лучше, годился въ орудіе Оппіанику, который, дѣйствительно, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ находился съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ. У этого Фабриція было, въ свою очередь, лицо вѣрное и преданное — и тутъ мы касаемся очень характернаго для римскаго общества явленія —

его бывший рабъ и тогдашній отпущенникъ *Скамандръ*... Я называю это явленіе характернымъ для Рима; дѣйствительно, оно было источникомъ совершенно особой морали, которая, не будучи признаваема закономъ, должна была повести къ тяжкимъ, трагическимъ конфликтамъ. Вся нравственность рабовъ была сосредоточена въ ихъ первой и единственной заповѣди: „слушайся господина, рабъ, и въ справедливомъ и въ несправедливомъ дѣлѣ“ (*δοῦλε, δεσποτῶν ἄκουε καὶ δίχαια κἀδίκαια*); эта мораль безграничной преданности естественно удерживалась рабомъ и послѣ полученія свободы, которая, вѣдь, большею частью была подаркомъ именно за твердость въ морали рабства; и дѣйствительно, отношенія отпущенниковъ къ своимъ патронамъ принадлежать къ самымъ трогательнымъ, о которыхъ знаетъ исторія. Но право этой морали не признаетъ: для него отпущенникъ—свободный гражданинъ, вполне отвѣтственный за всѣ свои дѣйствія. — Читатель догадывается объ остальномъ. Стоитъ сомкнуться этой роковой цѣпи, оба крайнихъ звена которыхъ образуютъ оба врага, Клуенцій и Опіанникъ, а средніе—Фабрицій, Скамандръ и Клеофантъ,—и результатомъ будетъ искра преступленія.

И она сомкнулась. По странной случайности нашему Фабрицію пришлось очутиться совершенно въ такой же обстановкѣ, какъ и та, которая покрыла такой славой имя его знаменитаго родича. Тому врачъ его врага Пирра предложилъ отравить своего больного повелителя, и Фабрицій не только отвергъ его предложеніе, но и написалъ о немъ Пирру въ краткомъ и внушительномъ письмѣ; здѣсь, напротивъ, отъ Фабриція исходитъ преступное предложеніе, и честность врача съ его персоналомъ служить препятствіемъ къ его исполненію.

Скамандръ по порученію Фабриція заводитъ знакомство съ рабомъ врача Клеофанта, Діогеномъ; достаточно подготовивъ почву, онъ дѣлаетъ ему предложеніе, за крупную сумму денегъ подсыпать Клуенцію въ лекарство ядъ. Діогенъ съ виду соглашается; они сговариваются о днѣ окончательнаго свиданія для врученія Скамандромъ Діогену денегъ за приготовленный Діогеномъ ядъ. Въ ожиданіи этого дня Діогенъ рассказываетъ обо всемъ Клеофанту, Клеофантъ—Клуенцію; тотъ принимаетъ мѣры предосторожности, Скамандру въ день свиданія устраи-

вается засада, его схватываютъ—и въ его рукахъ оказываются и деньги, и ядъ. Все же онъ не признаетъ себя пойманнымъ съ поличнымъ; ему удастся найти объясненіе и тому и другому компрометирующему обстоятельству; дѣло переносится въ судъ.

Да, въ судъ; но въ какой? Въ тѣ времена, о которыхъ мы говоримъ, уголовныя дѣла давно уже были достояніемъ суда присяжныхъ, предсѣдателемъ котораго былъ либо одинъ изъ преторовъ даннаго года, либо—за недостаткомъ таковыхъ—т. наз. слѣдователь (*quaesitor*) изъ числа бывшихъ эдиловъ. Особенностью этого римскаго суда присяжныхъ было, во-первыхъ, то, что для каждаго рода преступленій существовала особая т. наз. постоянная слѣдственная коммиссія (*quaestio perpetua*), засѣдавшая круглый годъ; во-вторыхъ, то, что составъ присяжныхъ опредѣлялся ихъ принадлежностью къ тому или другому сословію. Такъ въ нашу эпоху реакціи Суллы присяжными могли быть исключительно сенаторы, между тѣмъ какъ до Суллы ими были только представители второго привилегированнаго сословія, всадниковъ (т.-е. финансовой аристократіи). Но эти сенаторскіе суды подвергались ожесточеннымъ нападкамъ со стороны демократіи — и дѣйствительно, нельзя сказать, чтобы они были на высотѣ своей задачи. Суллѣ пришлось удвоить численность сенаторовъ, чтобы найти достаточное количество присяжныхъ для всѣхъ уголовныхъ комиссій; со свойственной ему неразборчивостью онъ принялъ въ число сенаторовъ много сомнительныхъ по части нравственности лицъ, которыя пользовались своимъ положеніемъ для личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей и этимъ глубоко роняли въ глазахъ народа престижъ своей корпораціи. Вскорѣ пришлось уступить давленію демократической партіи и издать новый законъ—*Lex Aurelia iudiciaria*—открывшій доступъ въ уголовныя комиссіи всѣмъ тремъ сословіямъ, изъ которыхъ состоялъ римскій народъ; съ изданіемъ этого закона судебное дѣло было наконецъ умиротворено.

Но это случилось лишь четыре года спустя (70 г.); процессъ же Скамандра состоялся въ 74 г., когда присяжными были одни только сенаторы. По нашимъ понятіямъ передъ судомъ должны бы были предстать трое подсудимыхъ: Скамандръ,

какъ непосредственный исполнитель, Фабрицій, какъ ближайшій зачинщикъ, и Опііаникъ, какъ первый вдохновитель преступленія... допуская, что мы вообще назвали бы преступленіемъ попытку, заглушенную въ своемъ зародышѣ; но римскія понятія были въ этомъ отношеніи иныя. Отравленіе было (какъ его кто-то называлъ) національнымъ преступленіемъ въ Италіи. Сулла, учреждая особую уголовную комиссію для разбирательства относящихся сюда дѣлъ (*quaestio de veneficiis*), опредѣлилъ одну и ту же кару для всякаго, кто съ цѣлью убійства челоуѣка „изготовитъ, продастъ, купитъ, станетъ держать у себя или поднесетъ кому ядъ (*quiscumque fecerit vendiderit emerit habuerit dederit*, ср. Моммзенъ, R. Strafrecht 636; это обстоятельство обыкновенно забывается издателями и критиками рѣчи за Клуенція). Но съ другой стороны обвиненіе каждаго причастнаго къ преступленію лица должно было быть ведено особо, и прямой обвинительный приговоръ первому подсудимому былъ лишь косвеннымъ приговоромъ остальнымъ, нравственно убійственнымъ, но юридически и практически пока недѣйствительнымъ.

Итакъ, дѣло переносится въ судъ, т.-е. въ *quaestio de veneficiis*, предсѣдателемъ которой былъ бывшій эдилъ и кандидатъ въ преторы Г. Юній, а членами — тридцать два сенатора. Объ обвинителѣ — за неимѣніемъ у римлянъ института государственной прокуратуры, — пришлось позаботиться самому потерпѣвшему; Клуенцій обратился къ молодому и талантливому повѣренному, Каппуцію. Пришлось и обвиняемому — или, вѣрнѣе, его патрону Фабрицію, — подумать о защитникѣ... но тутъ произошла столь характерная для Рима и Италіи всѣхъ временъ исторія, что было бы несправедливо не передать ея словами самого оратора. Напомню только, 1) что солидарность всѣхъ гражданъ одного и того же городка въ ущербъ даже общегосударственнымъ интересамъ составляетъ и понынѣ отличительную особенность итальянской жизни, то, что итальянцы называютъ «политикой (родной) колокольной» (*politica del campanile*); 2) что латинское слово *officium* означало не только «нравственный долгъ», но и обязанность оказывать услуги своимъ согражданамъ въ предѣлахъ нравственной возможности — а эти предѣлы были, въ силу господствовавшего квазипарла-

ментскаго режима, довольно широкими; 3) и въ особенности, что *officium* спеціально повѣреннаго, при всей растяжимости этого понятія, оставалось на нѣкоторой нравственной высотѣ, благодаря своей *абсолютной безвозмездности*. А теперь пусть говоритъ Цицеронъ: (§ 49—53).

„Тутъ Гай Фабрицій, сознававшій, что осужденіе отпущенника грозитъ такою же опасностью и ему самому, вспомнилъ, что его земляки алетринаты — мои сосѣди и большею частью мои добрые знакомые, и привелъ большое ихъ число ко мнѣ. Тѣ, конечно, были о немъ такого мнѣнія, какого онъ заслуживалъ; все же они полагали, что ихъ достоинство требуетъ отъ нихъ, чтобы они по мѣрѣ возможности защищали чело-вѣка, происходившаго изъ одного муниципія съ ними; поэтому они попросили и меня поступить такъ же, т. е. взять на себя веденіе дѣла Скамандра, отъ исхода котораго зависѣла участь самого Фабриція. Что касается меня, то съ одной стороны у меня не хватило духу огорчить отказомъ этихъ столь достойныхъ и столь преданныхъ мнѣ людей; съ другой стороны, ни я, ни они, которые тогда рекомендовали мнѣ это дѣло, не имѣли понятія о томъ, что виновность обвиняемаго была такъ велика и такъ очевидна; поэтому я обѣщалъ имъ исполнить ихъ желаніе.

„Началось разбирательство дѣла; былъ вызванъ въ качествѣ обвиняемаго Скамандръ; обвинителемъ былъ Каннуцій, чрезвычайно остроумный чело-вѣкъ и опытный ораторъ. Къ Скамандру относились только три слова обвинительной рѣчи: *былъ захваченъ ядомъ*; остальные стрѣлы всѣ попадали въ Оппіаника. Обвинитель разоблачилъ причину покушенія на жизнь Клуенція, упомянулъ о близкомъ знакомствѣ Оппіаника съ Фабриціемъ, описалъ его жизнь, охарактеризовалъ его отвагу, однимъ словомъ — живо и убѣдительно доказалъ виновность Оппіаника и заключилъ фактомъ, что Скамандръ былъ пойманъ съ поличнымъ, т.-е. съ ядомъ.

„За нимъ пришлось говорить мнѣ; боги безсмертные! съ какой тревогой всталъ я, съ какимъ смущеньемъ, съ какимъ страхомъ! Правда, я всегда волнуясь, начиная свою рѣчь; всякій разъ мнѣ кажется, что будутъ судить меня, и не только мой талантъ, но мою честность и добросовѣстность, обвиняя

меня въ отсутствіи стыда, если я буду утверждать то, чего не въ состояніи доказать, и въ небрежности и вѣроломствѣ, если я не дойду до предѣловъ возможнаго. Но тогда я былъ до того смущенъ, что боялся всего: боялся молчать, чтобы не прослыть неспособнымъ, боялся въ такого рода дѣлѣ дать волю словамъ, чтобы не прослыть безсовѣстнымъ. Насилу собрался я съ духомъ и рѣшилъ отважно взяться за дѣло, сказавъ себѣ, что меня въ моемъ тогдашнемъ возрастѣ (32 года) скорѣе похвалятъ за то, что я не оставилъ человѣка даже въ отчаянномъ дѣлѣ. Такъ я и сдѣлалъ. И такъ ожесточенно боролся, такъ напрягалъ свои силы, такъ неутомимо отыскивалъ всѣ закоулки, всѣ лазейки, какія только могъ, что достигъ одного: никто — выражусь скромно, — не могъ жаловаться на недостаточность защиты. Но за какое оружіе ни хватался я, — тотчасъ же обвинитель вырывалъ его у меня изъ рукъ.

„Если я спрашивалъ, какую же вражду питалъ Скамандръ къ Клуенцію, — онъ отвѣчалъ, что никакой, но что *Оппіаникъ*, орудіемъ котораго былъ подсудимый, былъ злѣйшимъ врагомъ Клуенція и остался таковымъ понынѣ; если я замѣчалъ, что смерть Клуенція не сулила Скамандру никакой выгоды, — онъ соглашался, но напоминалъ, что въ случаѣ его смерти его состояніе доставалось женѣ *Оппіаника*, мастера въ истребленіи своихъ женъ; если я въ пользу Скамандра приводилъ то соображеніе, которое всегда считается выгоднымъ для обвиняемыхъ отпущенниковъ, — именно, что онъ пользуется полнымъ довѣріемъ своего патрона, — онъ опять соглашался, но спрашивалъ, чьимъ же довѣріемъ пользуется самъ патронъ; если я съ особенной любовью отстаивалъ мысль, что Діогенъ устроилъ Скамандру западню, что они сговорились по другому дѣлу, что Скамандръ поручилъ Діогену принести ему лѣкарство, а не ядъ, что въ такую ловушку попалъ бы всякій — онъ спрашивалъ, къ чему было выбирать такое укромное мѣсто, къ чему было приходить одному, къ чему было являться съ запечатанными деньгами“.

Не всѣ подробности этого дѣла для насъ ясны — такъ насъ озадачиваетъ вопросъ, какимъ образомъ ядъ могъ очутиться въ рукахъ Скамандра, между тѣмъ какъ и изготовить его, и поднести Клуенцію могъ только Діогенъ; но это слѣдуетъ, вѣ-

роятно, приписать нашему неполному знакомству съ римской жизнью. Судьямъ-присяжнымъ, во всякомъ случаѣ, дѣло показалось достаточно яснымъ: большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного *Скамандръ былъ признанъ виновнымъ*.

Справедливость требуетъ, чтобы мы, указывая на торжество правосудія въ дѣлѣ Скамандра, не забыли того несчастнаго, который своимъ самоотверженіемъ ему способствовалъ, хотя ораторъ и упоминаетъ о немъ только вскользь. Виновность подсудимаго была доказана также и свидѣтелями, дававшими свои показанія, какъ это полагается и у насъ, подъ присягой. Но они могли рассказать только о заключительныхъ сценахъ преступной интриги; объ ея началѣ могъ знать только одинъ человѣкъ, которому и принадлежало, стало быть, первое мѣсто среди свидѣтелей: это былъ *рабъ Діогенъ*, устоявшій противъ посуловъ Скамандра и спасшій своею честностью жизнь Клуенцію. А рабовъ къ присягѣ не подводили: они свои показанія должны были давать *подъ пыткой*. Очевидно, эту предстоящую пытку и имѣлъ въ виду Цидеронъ, говоря намъ, что Клуенцій, по совѣту своихъ друзей, купилъ Діогена у Клеофанта: было справедливо оградить честнаго врача Клеофанта отъ матеріальнаго ущерба, который могъ быть ему причиненъ изувѣченіемъ его раба. Но наше сердце возстановленіемъ этой матеріальной справедливости не довольствуется; равнымъ образомъ мы остаемся глухи и къ тому соображенію, что при наличности вышеуказанной рабской морали подведеніе рабовъ къ присягѣ не имѣло бы никакого смысла, и что тѣлесная боль, лишаящая человѣка возможности измышлять и комбинировать, оставалась единственной гарантіей правдивости показанія. Но, какъ ни основательно наше отвращеніе къ этому институту пытки рабовъ — было бы несправедливо изъ-за него осуждать античность, которая, вѣдь, не создала его, а только не успѣла упразднить. Скорѣе ее слѣдуетъ благодарить за то, что она горжественно упразднила этотъ отвратительный судебный институтъ для гражданъ: признавая несовмѣстимость понятій «гражданинъ» и «пытка», она этимъ самымъ обезпечила неприкосновенность тѣла и всему человѣчеству съ того дня, когда гражданами будутъ признаны всѣ люди.

III.

Осужденіе Скамандра было косвенно обвинительнымъ приговоромъ и нравственнымъ виновникамъ преступленія, Фабрицію и Опіанику; оставалось обратиться этотъ косвенный приговоръ въ прямой, т.-е. обвинить послѣдовательно обоихъ въ той же уголовной комиссіи *de veneficiis*. Римскій уголовный процессъ, не допуская совмѣстнаго обвиненія нѣсколькихъ подсудимыхъ, допускалъ однако въ случаяхъ совмѣстнаго преступленія процессуальную льготу для обвинителя: добившись осужденія перваго обвиняемаго, онъ могъ для остальныхъ требовать разбирательства внѣ очереди, т.-е. тотчасъ же, при томъ же составѣ комиссіи. Обычай еще болѣе шелъ на встрѣчу интересамъ обвинителя, придавая состоявшемуся уже «косвенному приговору» (*praejudicium*) почти что значеніе такъ-называемой *res judicata* и сводя дальнѣйшіе процессы почти что къ простой, хотя и неизбѣжной формальности.

При этихъ обстоятельствахъ исходъ дѣла Фабриція, второго въ ряду подсудимыхъ, не представлялся сомнительнымъ; все же юмористическій рассказъ о немъ Цицерона представляетъ нѣкоторый интересъ какъ съ точки зрѣнія адвокатской этики по отношенію къ преюдиціямъ, такъ и съ точки зрѣнія процессуальныхъ формъ. Что касается послѣднихъ, то слѣдуетъ помнить, что въ Римѣ судимость въ обыкновенныхъ случаяхъ не сопровождалась содержаніемъ подъ стражей: рядомъ съ подсудимымъ не было жандарма съ мечомъ, и ничто не мѣшало ему уйти въ любой моментъ, если онъ не боялся вліянія этого его ухода на настроеніе присяжныхъ. Въ остальномъ же рассказъ Цицерона о дѣлѣ Фабриція вполне удобопонятенъ (§ 56—59).

„Тутъ Фабрицій не только не приводилъ ко мнѣ тѣхъ алетрилатовъ, моихъ сосѣдей и друзей, но даже въ нихъ самихъ не могъ найти ни защитниковъ, ни хвалителей—мы считали требованіемъ гуманности вступить за не чуждаго намъ человѣка хотя бы и въ подозрительномъ дѣлѣ, пока это дѣло не было еще рѣшено, но сочли бы безсовѣстной всякую попытку про-

тиводѣйствовать предрѣшенному уже его осужденію. Въ этомъ безпомощномъ и безвыходномъ положеніи, въ которомъ онъ очутился благодаря неопытности своего дѣла, онъ вынужденъ былъ обратиться къ братьямъ Цепазіямъ, извѣстнымъ хлопотупамъ, жадно хватавшимся за каждую возможность выступить ораторами, какъ за честь и благодѣяніе для себя. Вообще наша жизнь въ этомъ отношеніи какъ-то несуразно устроена: во время болѣзни мы приглашаемъ тѣмъ болѣе знаменитаго и свѣдущаго врача, чѣмъ сильнѣе опасность; напротивъ, если человѣкъ состоитъ подъ уголовнымъ судомъ, онъ именно въ самыхъ отчаянныхъ случаяхъ обращается къ самому дурному и темному адвокату. Впрочемъ, это дѣлается, быть можетъ, не безъ причины: отъ врача мы ничего не требуемъ, кромѣ его искусства, но защитникъ поддерживаетъ насъ также и своимъ авторитетомъ.

„Итакъ, обвиняемый вызывается въ судъ; Каннуцій, считая дѣло рѣшеннымъ, ограничивается краткой обвинительной рѣчью; ему отвѣчаетъ Цепазій Старшій, начиная издалека очень длиннымъ вступленіемъ. Въ первое время всѣ внимательно его слушали; Оппіаникъ, который былъ уже близокъ къ отчаянію, сталъ видимо бодрѣе; самъ Фабрицій ликовалъ, не понимая, что судьи поражены не краснорѣчіемъ, а развязностью защитника. Но когда тотъ приступилъ къ главной части рѣчи, подсудимый получилъ отъ него только новыя раны къ тѣмъ, которыя ему нанесъ разборъ самого дѣла; несмотря на его несомнѣнную добрую волю, казалось иногда, что онъ не защищаетъ своего кліента, а дѣйствуетъ заодно съ обвиненіемъ. И вотъ, въ то время какъ онъ былъ высокаго мнѣнія о своемъ лукавствѣ и произносилъ трогательныя фразы, принадлежащія къ самому секретному аппарату его искусства: «Взгляните, судьи: вотъ она, жизнь человѣка! взгляните: вотъ она, измѣнчивая и прихотливая игра счастья! взгляните на старика Фабриція! нѣсколько разъ, украшенія ради, повторяя это слово «взгляните» — ему вздумалось «взглянуть» самому. Но было поздно: Г. Фабрицій, махнувъ рукой, уже всталъ со скамьи подсудимыхъ и ушелъ домой. Тутъ судьи стали хохотать; защитникъ разгорячился, негодуя, что ему испортили всю защиту, не давъ досказать конца его фразы «взгляните, судьи!»; казалось, онъ

готовъ былъ пуститься въ догонку за подсудимымъ и, схвативъ его за шиворотъ, привести обратно къ его скамьѣ, чтобы затѣмъ произнести заключеніе своей рѣчи.

„Такъ-то Фабрицій былъ осужденъ вдвойнѣ: сначала судомъ собственной совѣсти, что самое главное, а затѣмъ—силою закона и вердиктомъ судей“.

Наконецъ, все въ томъ же 74 г., по осужденіи обоихъ своихъ сообщниковъ самъ зачинщикъ всего дѣла, Оппіаникъ, предсталъ передъ судьями; накоплявшаяся въ теченіе десяти лѣтъ вражда между обоими ларинскими царями нашла себѣ почву для окончательнаго, рѣшительнаго дѣйствія. Съ одной стороны—Клуенцій, кровный аристократъ, членъ древнѣйшаго рода, который Виргилій позднѣе производилъ отъ троянца Клоанеа, спутника Энея—рода, даваго италійцамъ полководца въ ихъ войнѣ съ Римомъ и Суллой; съ другой стороны—Оппіаникъ, не столь блестящаго происхожденія, по сдѣла ли не болѣе еще богатый, поглотившій огромныя наслѣдства и Оппіаниковъ, и Авріевъ, и Магіевъ, и теперь простершій свою жадную руку и на состояніе Клуенціевъ. Не человѣкъ съ человѣкомъ столкнулись, а мошна съ мошной; а при такого рода столкновеніяхъ дѣло рѣдко обходится безъ грѣха.

Присмотримся нѣсколько ближе къ *составу присяжныхъ*; ихъ было, какъ уже сказано, 32, всѣ изъ первенствующаго въ Римѣ сословія сенаторовъ.. Да, но это были члены удвоеннаго Суллой сената, чистка котораго (цензорами 70 г.) тогда еще только предстояла; по теоріи вѣроятности 16 человѣкъ должны были быть «сулланцами», а этотъ терминъ тогда имѣлъ очень дурной привкусъ. Это съ одной стороны; а съ другой припомнимъ, что вольному положенію подсудимаго въ Римѣ соотвѣтствовало столь же вольное положеніе присяжныхъ. Тѣ мѣры крайней предосторожности, съ которой нынѣ присяжные охраняются отъ всякаго воздѣйствія на нихъ внѣшняго міра, тогда еще не были въ ходу: присяжныхъ не только на ночь не запирали въ особое помѣщеніе—они и днемъ могли дѣлать, что имъ угодно было, приходивъ въ засѣданіе, уходить, отсутствовать не только на преніяхъ и слѣдствіи, но—если не было протестовъ со стороны обвинителя и защитника—и при окончательномъ голосованіи. Все это нужно принять во вниманіе—

богатство обоихъ противниковъ, сомнительный нравственный цѣнзъ многихъ среди присяжныхъ, наконецъ, отсутствіе всякаго контроля за ихъ дѣйствіями—и разыгравшаяся въ этомъ *judicium Junianum* трагикомедія покажется вполне естественной.

Станнымъ можетъ показаться уже одно то обстоятельство, что защитникомъ Оппіаника рѣшился выступить народный трибунъ того года, Л. Квинкцій. Скамандра защищаль Цицеронъ, тогда еще мало извѣстный молодой человѣкъ; Фабриція—даже совсѣмъ неизвѣстный Цепазій; а тутъ, въ третьемъ процессѣ, подсудимаго поддерживаетъ своимъ авторитетомъ магистратъ, и притомъ—въслѣдствіе демократическаго, антиреакціоннаго теченія той эпохи—популярнѣйшій и вліятельнѣйшій магистратъ! Но было бы несправедливо видѣть въ этомъ пунктѣ вліяніе чьихъ-либо денегъ: Цицеронъ, очень невыгодно отзывающійся о Квинкціи, не позволяетъ себѣ даже малѣйшаго намека въ этомъ направленіи. Нѣтъ, Квинкціемъ руководилъ лишь агитаторскій интересъ: пусть Оппіаникъ самъ былъ, какъ мы видѣли, сулланцемъ—въ этомъ случаѣ его судилъ учрежденный Суллою судъ, и было очень заманчиво для демократа-трибуна присмотрѣться, въ качествѣ защитника, къ махинаціямъ этого суда, съ тѣмъ, чтобы позднѣе ихъ обличить.

И дѣйствительно, зрѣлище было интересное.

Едва открылось засѣданіе суда, какъ стало твориться нѣчто странное: сначала тихо, затѣмъ все громче и громче раздавался звонъ золота надъ злополучной коллегіей, наполняя сердца зрителей все усиливающимся страхомъ за судьбу правосудія: тысячи сестерціевъ, десятки тысячъ, сотни тысячъ—повсюду носилась пѣснь золота, еще болѣе страшная тѣмъ, что никто не могъ разобратъся, *откуда* она исходила. Мало-по-малу въ этомъ золотомъ туманѣ стала вырисовываться, въ видѣ центральной личности, фигура одного изъ присяжныхъ—нѣкоего Стаіена; онъ, очевидно, былъ главнымъ орудіемъ подкупа, онъ и себя далъ подкупить, и взялся подкупить остальныхъ; его прошлое вполне подтверждало это подозрѣніе. Но чѣмъ же интересамъ служилъ Стаіенъ? Оппіаника ли? или Клуенція? или, быть можетъ—обоихъ? Люди терялись въ догадкахъ и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за всѣми перипетіями процесса. Къ его послѣдней стадіи нѣсколько

присяжныхъ вышло (по государственной надобности) изъ состава, пришлось произвести дополнительную жеребьевку. Позднѣе нашли страннымъ, что предсѣдатель Юній произвелъ жеребьевку не по тому списку, который былъ составленъ городскимъ преторомъ; но такъ какъ городскимъ преторомъ былъ тогда пресловутый Веррестъ, то этотъ темный пунктъ такъ и остался невыясненнымъ. Только окончательное голосованіе присяжныхъ могло, казалось, пролить свѣтъ на творившееся, указать источникъ золотого ручья; я долженъ тутъ напомнить, 1) что въ Римѣ присяжному разрѣшался, кромѣ положительнаго и отрицательнаго отвѣтовъ, еще третій — *non liquet*, который былъ равносильнъ требованію вторичнаго разбирательства, и 2) что по требованію защиты голосованіе должно было производиться открыто, въ опредѣленномъ жребіемъ порядкѣ.

И вотъ слѣдствіе объявляется законченнымъ; моментъ разгадки, казалось, наступилъ. Всѣ напряженно ищутъ Стаіена, главное орудіе подкупа; на бѣду его не оказывается налицо. Обвинитель—все тотъ же Канпуцій—ничего не имѣетъ противъ его отсутствія; очевидно, онъ не имѣлъ основанія рассчитывать на его голосъ. Другое дѣло—защитникъ: будучи въ то же время народнымъ трибуномъ (очень неудобное совмѣстительство, какъ видно отсюда), онъ приказываетъ предсѣдателю послать за Стаіеномъ, подъ конецъ самъ за нимъ отправляется... къ чему такая заботливость? въ интересахъ ли правосудія, или только въ интересахъ подсудимаго?—Но вотъ, наконецъ, Стаіена приводятъ; начинается голосованіе—по требованію защиты, открытое. Среди первыхъ приходится подавать голосъ Стаіену—всеобщее напряженіе достигаетъ крайнихъ предѣловъ... Его приговоръ: *condemno*. Всѣ точно громомъ поражены: какъ, Стаіенъ, на головѣ котораго сосредоточены были всѣ подозрѣнія о подкупѣ, подаль голосъ противъ Оппіаника? Но кто же тогда его подкупилъ? Неужели Клуенцій? Но почему же тогда именно защита требовала его присутствія?.. Среди всеобщихъ криковъ голосованіе продолжается; его результатъ: 17 голосовъ противъ подсудимаго, пять — за него, 10 — въ пользу вторичнаго разбирательства. Итакъ, большинствомъ 17 голосовъ изъ 32 подсудимый былъ осужденъ, т.-е. минимальнымъ законнымъ числомъ; будь противъ подсудимаго

однимъ голосомъ меньше—осужденіе состояться бы не могло. Неужели въ этомъ знаменательномъ численномъ отношеніи виновата случайность, а не разумная и расчетливая воля человека?—Стали присматриваться къ составу той группы, которая, со Стаіеномъ во главѣ, обвинила Оппіаника: всѣ присяжные съ сомнительной репутаціей оказались въ ней. Тутъ казалось, всѣ сомнѣнія были устранены. *Подкупленный судъ обвинилъ Оппіаника—значитъ, онъ былъ подкупленъ Клуенціемъ*; противъ этого яснаго, простого, логическаго вывода никакія возраженія не казались возможными.

IV.

Скапдальный исходъ суда надъ Оппіаникомъ въ Юніевой комиссіи сыгралъ роль искры, брошенной въ складъ пороха. Сенаторскіе суды, какъ мы уже видѣли, не пользовались расположеніемъ народа; агитація противъ этого дѣтища суллиной реакціи велась довольно дѣятельно, и Квинкцій въ качествѣ народнаго трибуна былъ призваннымъ главой демократической оппозиціи. А тутъ къ политическому мотиву присоединялся и личный: Квинкцій былъ разбитъ въ лицѣ своего кліента, и былъ разбитъ—этого онъ скрывать отъ себя не могъ—благодаря своему собственному чрезмѣрному усердію: оставъ онъ тогда Стаіена,—обвиненіе не получило бы требуемаго большинства голосовъ. Теперь его роль какъ защитника была сыграна: но народнымъ трибуномъ онъ оставался и имѣлъ въ качествѣ такового полную возможность перенести дѣло изъ суда въ народную сходку. Конечно, спасти Оппіаника онъ этимъ не могъ (въ Римѣ приговоры суда присяжныхъ ни обжалованію, ни кассациі не подлежали), но онъ могъ разжечь до огромныхъ размѣровъ пламя ненависти противъ сенаторскихъ судовъ—и онъ это сдѣлалъ. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ «Юніевъ судъ» былъ центромъ всеобщаго вниманія; это была настоящая римская дрейфусіада, прекратить которую удалось не иначе, какъ пожертвовавъ сенаторскими судами вообще.

Вотъ прежде всего какъ состоялось—по словамъ Цицерона—перенесеніе этой дрейфусіады на политическую почву (§§ 77—79):

„Лишь только Оппіаникъ былъ осужденъ, Л. Квинкцій, одинъ изъ первыхъ тогдашнихъ демагоговъ, прекрасно умѣвшій пользоваться толками людей и подлаживаться подъ настроеніе собиравшейся въ сходкахъ толпы, рѣшилъ, что ему представился прекрасный случай увеличить свою популярность на счетъ сенаторскихъ судовъ, которые, какъ онъ замѣчалъ, перестали пользоваться довѣріемъ народа. Состоялась сходка, бурная и внушительная, за ней другая, затѣмъ еще нѣсколько; народный трибунъ громко утверждалъ, что судьи дали себя подкупить, чтобы произнести невинному человѣку обвинительный приговоръ, говорилъ, что отнынѣ никто не обезпеченъ, что нѣтъ болѣе правосудія, что нѣтъ возможности жить въ безопасности тому, у кого есть богатый врагъ. Его слушатели, не имѣвшіе понятія о самомъ дѣлѣ, никогда не выдавшіе Оппіаника, подумали, что и взаправду прекрасный и добродѣтельный человѣкъ былъ погубленъ путемъ подкупа; ихъ подозрительность разыгралась, и они стали требовать, чтобы дѣло было предоставлено имъ, чтобы всѣ участвовавшіе въ немъ были преданы ихъ суду. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условий—неизвѣстности, которой до тѣхъ поръ была покрыта для народа не только жизнь, но и имя Оппіаника; возмутительнаго подозрѣнія, что за деньги былъ осужденъ невинный; безнравственности Стаіена и подлости нѣкоторыхъ другихъ похожихъ на него судей, служившей подтвержденіемъ тому подозрѣнію; наконецъ, дѣятельнаго участія, которое принималъ въ этомъ дѣлѣ Л. Квинкцій, обладавшій, помимо своей высокой власти, и всѣми личными качествами, которыя дѣйствуютъ на настроеніе толпы—подъ вліяніемъ, повторяю, всѣхъ этихъ условий бурное пламя народной ненависти и позора окружило тотъ судъ. Я помню, какъ въ самый разгаръ этого пламени въ него былъ брошенъ Г. Юній, предсѣдатель того суда, и какъ этотъ человѣкъ, занимавшій раньше должность эдила, всѣми считавшійся почти что преторомъ, вынужденъ былъ уступить не убѣжденіямъ, а крику своихъ противниковъ и покинуть не только форумъ, но и государство“.

Этотъ Юній, предсѣдатель продажнаго суда, сдѣлался естественно первой жертвой народной ненависти; судимъ онъ былъ, однако, не въ уголовной комиссіи, а по дореформеннымъ по-

рядкамъ въ *народномъ судѣ* подѣ председательствомъ народнаго трибуна, того же Квинкція, который былъ такимъ образомъ и обвинителемъ и предсѣдателемъ суда. Этотъ народный трибунскій судъ фактически вышелъ изъ употребленія со времени реформы уголовного судопроизводства, поведшей къ учрежденію комиссій присяжныхъ; но юридически онъ отмѣненъ не былъ, и иронія исторіи заключалась въ томъ, что въ нашемъ 74 г. этотъ дореформенный, покоящійся на *розыскомномъ* началѣ трибунскій судъ показался демократической партіи болѣе надежнымъ блюстителемъ правосудія, чѣмъ построенный на *состязательномъ* принципѣ судъ присяжныхъ.

Обвинялся Юній фактически во взяточничествѣ; но такъ какъ его непосредственно въ этомъ уличить нельзя было, то формальное обвиненіе было построено на двухъ формальныхъ прегрѣшеніяхъ Юнія: 1) что онъ уклонился отъ присяги (это — темный для насъ и повидимому маловажный пунктъ) и 2) что онъ неправильно произвелъ дополнительную жеребьевку. Второе — главное. Среди попавшихъ путемъ дополнительной жеребьевки въ составъ присяжныхъ находился и нѣкій сенаторъ *Фалькула*; онъ, такимъ образомъ, прослушалъ только конецъ слѣдствія и имѣлъ поэтому полное основаніе, при постановленіи приговора, присоединить свой голосъ къ тѣмъ, которые требовали вторичнаго разбирательства («*non liquet*»). Ко всеобщему удивленію онъ подсудимаго обвинилъ. Поинтересовались подробностями жеребьевки, двинувшей Фалькулу въ составъ присяжныхъ; потребовали отъ городского претора предъявленія общаго списка присяжныхъ — а городскимъ преторомъ былъ тогда Верресь — и вотъ, въ томъ списокѣ имени *Фалькулы* не оказалось. — Это послѣднее открытіе подтвердило всѣ имѣвшіяся противъ Юнія подозрѣнія: очевидно онъ нарочно, путемъ подтасовки, провелъ въ присяжные этого продажнаго субъекта Фалькулу, чтобы заручиться лишнимъ обвинительнымъ голосомъ. — Я долженъ прибавить, что имя Верреса было тогда еще незапятнаннымъ: заклеившій его навѣки процессъ состоялся лишь 4 года спустя. Подозрѣніе, что Верресь попросту *стеръ* въ своемъ общемъ списокѣ имя Фалькулы, не могло поэтому возникнуть; во всемъ виноватымъ показался Юній, онъ и былъ осужденъ. Мало того: въ виду размѣровъ, которые приняла

агитація Квинкція, сенатъ счелъ своимъ долгомъ вмѣшаться: чтобы хоть нѣсколько успокоить народъ, онъ уполномочилъ консуловъ внести въ народное собраніе проектъ чрезвычайной слѣдственной коммисіи, „буде найдутся люди, причастные подкупу уголовного суда“.

Шумъ, поднятый процессомъ Юнія, совершенно почти заглушилъ другой, состоявшійся одновременно съ нимъ процессъ—процессъ гражданскій, въ которомъ истцомъ былъ только что осужденный Оппіаникъ, отвѣтчикомъ—Стаіенъ, а предметомъ иска—640.000 сестерціевъ, полученныхъ Стаіеномъ отъ Оппіаника для того, чтобы... чтобы *примирить* съ нимъ Клуенція, какъ значилось официально. Доблестный Стаіенъ не прочь былъ бы отпереться отъ полученія этой суммы, но его уличили съ помощью ловко устроенной засады, и ему пришлось ее выдать. Многихъ, впрочемъ, уже тогда поразила странность этой цифры—640.000: почему не круглая сумма, не 600.000 или 700.000? почему именно сумма въ шестьсотъ *сорокъ* тысячъ, съ ея соблазнительно легкой дѣлимостью на 16, т.-е. на требовавшійся для оправданія минимумъ голосовъ?—Но Юнію и его суду этотъ эпизодъ не помогъ: его мало кто замѣтилъ, а кто замѣтилъ, тотъ большого значенія ему не приписалъ. Что-жъ значить, Стаіенъ получилъ взятку и отъ Оппіаника и отъ Клуенція; съ него станется. На этой точкѣ зрѣнія стоялъ м. пр. и Цицеронъ еще въ 70 г.

Такъ-то среди всеобщаго волненія кончился 74 г.; наступилъ годъ ужасовъ—73. Надобно знать, что по таинственнымъ вычисленіямъ астрологовъ и вѣщателей роковымъ для Рима долженъ было сдѣлаться тотъ годъ, которымъ кончился 10-й «вѣкъ» (saeculum, по 110 лѣтъ каждый) послѣ паденія Трои (1183 г.) т.-е. 83 г.; когда въ этомъ году дѣйствительно въ междоусобной войнѣ между Суллой и маріанцами сгорѣлъ капитолійскій храмъ, то въ этомъ уничтоженіи главной святыни государства увидѣли подтвержденіе грознаго предвѣщанія и доказательство предстоящей гибели; когда же 83 г. миновалъ, то было рѣшено, что гибель наступитъ не вдругъ, а въ три послѣдовательныхъ удара съ десятилѣтними промежутками. Такъ вотъ теперь насталъ годъ второго удара—ждать его пришлось недолго. Очагомъ Рима былъ храмъ Весты съ его священнымъ

неугасимымъ огнемъ, охраняемымъ чистыми дѣвственницами Весталками; и вотъ въ этомъ 73 г. этотъ священный огонь потухъ. Стали доискиваться причины; очевидно, богиня разгнѣвалась; очевидно, ея жрицами былъ нарушенъ обѣтъ цѣломудрія. Этому имѣлись и другія улики; состоялся судъ надъ заподозрѣнными Весталками. Уличеніе въ «инцестъ» грозило Весталкамъ страшной карой: чтобы умиловитъ гнѣвъ оскорбленной богини, онѣ должны были заживо быть зарыты въ землю. Но Весталки были дочерьми знатнѣйшихъ родовъ, судъ былъ свой, понтификальный—обвиненныя были оправданы. Это значило, что богинѣ Вестѣ было отказано въ требуемомъ ею удовлетвореніи,—а стало быть, что ея гнѣвъ съ удвоенной силой тяготѣлъ надъ городомъ. Увѣренность въ этомъ увеличила бодрость домашнихъ враговъ Рима—рабовъ; отвѣтомъ на оправданіе Весталокъ было *возстаніе Спартака*.

Всѣ эти ужасы отвлекли на время вниманіе народа отъ Юніева суда: консулы 73 г. нашли возможнымъ не вносить въ народное собраніе того сенатскаго проекта слѣдственной коммиссіи по дѣлу о Юніевомъ судѣ, о которомъ рѣчь была выше. Но это было не успокоеніемъ, а только временнымъ заглушеніемъ боли; когда годъ ужасовъ прошелъ, она опять дала знать о себѣ: по настоянію демократической оппозиціи, консулы 72 г., наконецъ, внесли сенатскій проектъ. Предполагалось учредить чрезвычайную слѣдственную *коммиссію для разбора всего дѣла о подкупѣ Юніева суда*; въ ея составъ должны были безъ сомнѣнія, войти кромѣ сенаторовъ и представители другихъ сословій. Первой ея жертвой оказался бы, разумѣется, предсѣдатель, Г. Юній. Положимъ, онъ былъ уже осужденъ; но, во-первыхъ, послѣдствіемъ того осужденія былъ только штрафъ, а главное—онъ былъ осужденъ не за взяточничество, а за нарушеніе процессуальныхъ формъ, такъ что правило не *bis in idem* не находило себѣ здѣсь примѣненія. Тѣмъ не менѣе нельзя было не признать, что эта дистинкція была чисто юридическая; по существу все-таки выходило, что учреждается судъ надъ осужденнымъ уже человѣкомъ. Когда поэтому проектъ былъ внесенъ, разыгралась чисто римская сцена. Явился самъ Г. Юній, съ неостриженными волосами, съ оттощенной бородой и въ нарядѣ скорбящаго, со своимъ малолѣтнимъ сыномъ на рукахъ;

мальчикъ со слезами взмолился въ народу, прося о пощадѣ для своего и безъ того уже несчастнаго отца. Народъ расчувствовался и — какъ говоритъ Цицеронъ — „съ громкими криками, окруживъ безпорядочной толпой кресло магистрата, потребовалъ, чтобы о предполагаемой комиссіи и касающемся ея законопредложеніи не было болѣе рѣчи“.

Это было для демократической оппозиціи пораженіемъ, и нинто въ этомъ пораженіи не былъ такъ виноватъ, какъ Квинкцій: не поторопись онъ въ 74 г. судомъ надъ Юніемъ — онъ получилъ бы теперь просторъ для гораздо болѣе дѣйствительнаго суда. Дѣло впрочемъ еще не было испорчено: народъ вѣдь не оправдалъ Юніа, а только пожалѣлъ его, такъ что преюдиціального въ этомъ его состраданіи не было ничего; можно было смѣло, не смущаясь крушеніемъ сенатскаго проекта, продолжать начатое въ 74 г. дѣло противъ «юніанцевъ». Ближайшимъ объектомъ, послѣ самого Юніа, былъ *Фалькула*: Юній оттого и былъ осужденъ, что онъ путемъ неправильной жеребьевки ввелъ въ комиссію Фалькулу съ цѣлью обвиненія Оппіаника: естественнымъ продолженіемъ было привлеченіе къ отвѣтственности самого Фалькулы. Онъ и былъ привлеченъ, но не передъ народомъ — Квинкція въ числѣ трибуновъ давно уже не было — а въ уголовной комиссіи: обвиненіе касалось, какъ и въ судѣ надъ Юніемъ, формальнаго прегрѣшенія — что онъ былъ присяжнымъ не въ очередь. Доказательствомъ и здѣсь долженъ былъ служить составленный Верресомъ общій списокъ присяжныхъ, но къ этому времени честность Верреса успѣла стать подозрительной — стали извѣстны его многочисленныя злоупотребленія за годъ его городской претуры (74 г.), да и его хозяйничанье въ Сициліи (въ 73 г.) было таково, что сенатъ счелъ нужнымъ отправить ему туда преемника, котораго только война со Спартаксомъ задержала въ Италіи. Судьи не рѣшились осудить челоуѣка на основаніи столь ненадежнаго документа; Фалькула былъ оправданъ. — Тогда враги Юніева суда обвинили его вторично, въ другой комиссіи и по другому преступленію — а именно въ полученіи взятки въ 50.000 сест. съ цѣлью осужденія обвиняемаго. Но и эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ: Фалькула былъ вторично оправданъ.

Это было худо; оправданіе Фалькулы было преюдиціемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ такого же рода судовъ, отъ которыхъ слѣдовало такимъ образомъ воздержаться. Но нѣтъ худа безъ добра: оправдали вѣдь Фалькулу сенаторскіе суды, тѣ же, которые раньше осудили Оппіаника; это оправданіе можно было, поэтому, прекрасно эксплуатировать противъ сенаторскихъ судовъ вообще, между тѣмъ какъ въ невиновности Фалькулы оно никого не убѣдило. Онъ продолжалъ ходить замаранный подозрѣніемъ, что онъ за 50.000 сест. продалъ свою совѣсть и жизнь невиннаго человѣка; это сказалось между прочимъ въ 69 г. въ гражданскомъ процессѣ нѣкоего А. Цедины, — интересномъ для насъ тѣмъ, что въ немъ повѣреннымъ истца выступалъ Цицеронъ. Дѣло ничего общаго не имѣло съ дѣломъ юніанцевъ, кромѣ одного случайнаго обстоятельства, что въ числѣ свидѣтелей противной стороны находился нашъ Фалькула. Цицерону необходимо было замарать этого свидѣтеля, и онъ сдѣлалъ это слѣдующимъ манеромъ... не знаю, насколько допустимымъ съ *этической* точки зрѣнія, но съ *эстетической* точки зрѣнія — блистательнымъ. Дѣло касалось одного спорнаго имѣнія; и вотъ, когда Фалькула представился суду въ качествѣ сосѣда отвѣтника, Цицеронъ предложилъ ему естественный и на видъ безобидный вопросъ, сколько тысячъ шаговъ (*milia passuum*) его имѣніе отстоитъ отъ Рима. Фалькула, не подозрѣвая коварства, отвѣтилъ: „безъ малаго пятьдесятъ тысячъ“. Но едва успѣлъ онъ произнести роковую цифру, какъ въ публикѣ раздался смѣхъ и ехидные крики „нѣтъ, полностью!“ — и свидѣтельство Фалькулы было заранѣе потоплено.

Вернемся, однако, къ непосредственнымъ послѣдствіямъ процессовъ Фалькулы. Обвинять его сообщниковъ прямо во взяточничествѣ было безцѣльно — объективныя улики противъ нихъ были еще слабѣе, чѣмъ противъ него. Но можно было околѣнымъ путемъ достигнуть того же дѣйствія. Я уже сказалъ, что среди осудившихъ Оппіаника юніанцевъ находились субъекты довольно сомнительной репутаціи, провинившіеся кто въ одномъ, кто въ другомъ проступкѣ; вотъ въ этихъ-то проступкахъ ихъ можно было обвинить, при чемъ — въ силу римскаго обычая подробно развѣшивать въ обвинительныхъ рѣчахъ такъ наз. *probabile ex vita* — обвинитель получилъ бы полный

просторъ говорить о судѣ надъ Оппіаникомъ и о полученной отъ Клуенція взяткѣ, а въ случаѣ осужденія подсудимаго, очень вѣроятнаго, получилось бы впечатлѣніе, что осудили его между прочимъ, если не главнымъ образомъ, за эту взятку. — Такъ и было сдѣлано. Одинъ за другимъ были привлечены къ отвѣтственности и осуждены — Стаіенъ, Бульбъ, Гутта, Попилій, Септимій... кто за подстрекательство къ мятежу, кто за грабежи въ провинціи, кто за незаконные маневры при соисканіи должности; но каждый разъ судьямъ и публикѣ расписывалась потрясающая картина проданнаго за взятку Оппіаника. каждый разъ обвинительные вердикты присяжныхъ косвенно подтверждали въ глазахъ народа правильность этой картины. Благодаря этому искусному маневру создалась противъ юніанцевъ цѣлая сѣть если не юридическихъ, то нравственныхъ преюдицій; когда судился Септимій, эта сѣть была уже такъ густа, что судьи, опредѣляя размѣръ причитающагося съ подсудимаго штрафа (при такъ наз. *litis aestimatio*), допустили также и статью, гласившую «за полученную въ должности судьи взятку» — создавая такимъ образомъ уже почти что юридическое *praejudicium*.

Это случилось еще въ 72 г.; о событіяхъ 71 г. мы свѣдѣній не имѣемъ — вѣроятно, онъ былъ заполненъ агитаціей противъ сенаторскихъ судовъ; несомнѣнно, что въ этой агитаціи одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежало обстоятельному разбору постыдныхъ дѣяній юніанцевъ.

Наконецъ, наступилъ годъ искупленія — 70. Ужасы домашнихъ войнъ прекратились; оба спасителя Рима, Помпей и Крассъ, заняли консульскія кресла; дѣло о грабительѣ Сициліи, Верресѣ, кончилось его добровольнымъ удаленіемъ въ изгнаніе; впервые послѣ Суллы было избрано двое цензоровъ, чтобы очистить общину и сенатъ и вновь поручить ихъ милости богамъ; наконецъ — и это было главное — сенаторскіе суды были упразднены и замѣнены судами всесловными, допускавшими въ составъ присяжныхъ по одинаковому числу представителей всѣхъ трехъ сословій. Этимъ судебный вопросъ былъ, казалось, рѣшенъ: правда, мелкія поправки дѣлались и впослѣдствіи, но пока въ Римѣ существовалъ вообще судъ присяжныхъ, этимъ судомъ былъ всесловный судъ 70 г. На-

родъ относился къ нему съ полнымъ довѣріемъ; когда отецъ поэта Горация, родившагося около того времени, хотѣлъ указать своему сыну хорошаго человѣка, онъ указывалъ ему на одного изъ присяжныхъ всесловнаго суда.

При такихъ обстоятельствахъ дѣлу юніанцевъ предвидѣлся скорый конецъ. Правда, Цицеронъ въ своихъ рѣчахъ противъ Верреса мѣстами еще ссылается на него: „я объясню римскому народу—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ (Actio I, 38)—почему, когда сенаторъ Септимій былъ осужденъ, съ него взыскали штрафъ также и за полученную имъ въ должности судьи взятку;—почему въ процессѣ Атілія Бульба... было доказано, что онъ, будучи членомъ той комиссіи, торговалъ своей совѣстью; почему нашлись сенаторы, вынимавшіе въ городскую претуру Верреса жребій съ тѣмъ, чтобы осудить человѣка, съ дѣломъ котораго они не были знакомы (намекъ на Фалькулу); почему отыскался сенаторъ, который, какъ судья, получилъ въ одномъ и томъ же процессѣ деньги и отъ подсудимаго съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ между судьями, и отъ обвинителя съ тѣмъ, чтобы вынести обвинительный приговоръ“ (намекъ на Стаіена). Но дѣло Верреса слушалось еще въ сенаторскомъ судѣ, въ качествѣ одного изъ послѣднихъ; съ установленіемъ новыхъ судовъ и дѣло юніанцевъ должно было потерять эту сторону своего интереса.

Равнымъ образомъ мы и въ цензорскихъ приговорахъ, состоявшихся въ 70 и 69 гг., можемъ видѣть только желаніе покончить съ прошлымъ. Набранный Суллой сенатъ сильно нуждался въ очисткѣ, да и вообще законъ предоставлялъ цензорамъ право клеймить, кого они считали этого заслуживающимъ, причемъ, однако, это ихъ клеймо никакихъ другихъ послѣдствій для заклеяменнаго не имѣло. Они воспользовались этимъ правомъ между прочимъ и по отношенію къ нѣкоторымъ юніанцамъ, мотивируя свой приговоръ тѣмъ, что они получили взятку ради осужденія невиннаго; состоявшіеся по дѣлу юніанцевъ нравственные преюдиціи давали имъ на это, казалось, нравственное же право, а въ другомъ они при исполненіи своей безотвѣтственной должности не нуждались.

Еще можно упомянуть, хотя и скорѣе въ видѣ курьеза, о томъ, что отецъ одного изъ юніанцевъ, обходя наслѣдствомъ

этого своего нелюбимаго сына, мотивировалъ въ завѣщаніи свое рѣшеніе тѣмъ, что этотъ послѣдній далъ себя подкупить въ должности судьи. Характеръ курьеза это завѣщаніе получило благодаря тому, что составившій его строгій отецъ самъ былъ исключенъ изъ сената цензорами 70 г.; все же оно лишній разъ доказывало безславіе, тяготѣвшее надъ юніанцами.

А затѣмъ ихъ дѣлу оставалось только сойти съ арены. Его роль была сыграна, и сыграна успѣшно: сенаторскіе суды пали главнымъ образомъ подъ гнетомъ позора, которымъ ихъ покрылъ процессъ Оппіаника. Теперь новый, всесловный судъ былъ введенъ, демократія торжествовала побѣду надъ сулліной реакціей. Назрѣвали новыя задачи: надлежало отбить море у пиратовъ, востокъ у Митридата; слава Помпея была въ своемъ зенитѣ — право, пора было предать забвенію злополучную ссору Клуенція съ Оппіаникомъ. Забылъ о ней Квинкцій, нашедшій въ пурпуровой тогѣ эдила утѣшеніе за нанесенный ему въ его бытность трибуномъ афронтъ; забылъ о ней Клуенцій, весь погружившійся въ свои муниципальныя дѣла; забылъ о ней и самъ Оппіаникъ, вкусившій могильный покой вскорѣ послѣ своего осужденія. Одна только не забыла о ней мать Клуенція — ларинская тигрица Сассія; и вотъ въ то время, когда форумъ оглашали имена Помпея и пиратовъ, Лукулла и Митридата — дѣло Оппіаника вновь всплываетъ на поверхность.

V.

Мы оставили нашихъ ларинскихъ героевъ тотчасъ послѣ осужденія Оппіаника, когда центръ интереса быстро перемѣстился, и бывшіе судьи превратились въ подсудимыхъ. Можетъ показаться страннымъ, что во всей бурѣ, которая поднялась въ Римѣ къ исходу семидесятихъ годовъ, особа Клуенція не была ни разу затронута: Юній, Фалькула, Стаіенъ, столько другихъ обвинялось въ полученіи отъ Клуенція взятки, цѣлая коммиссія учреждалась для разбора дѣла о ларинскихъ милліонахъ, а предполагаемаго источника всего этого золотого ручья никто не думалъ касаться. Этотъ странный фактъ имѣлъ

свою еще болѣе странную, на нашъ взглядъ, причину: дѣло въ томъ, что проступокъ, въ которомъ только и можно было обвинить Клуенція, никакому суду подсуднымъ не былъ. Обвинить его можно было лишь въ томъ, что онъ предложилъ взятку семнадцати юніанцамъ, чтобы добиться отъ нихъ обвинительнаго вердикта; это было очень скверно, но преслѣдованію по закону не подлежало, такъ какъ... Клуенцій былъ не сенаторомъ, а всадникомъ. Римлянамъ не легко было отрѣшиться отъ принципа, что всякое даяніе есть благо; исключенія они допускали лишь медленно и исподволь, для кандидатовъ, для магистратовъ, для сенаторовъ; до всадниковъ тогда очередь еще не дошла. И вотъ, въ то время какъ сенаторы-юніанцы дрожали предъ страшилищемъ уголовного обвиненія, Клуенцій могъ спокойно, закутавшись въ свой всадническій плащъ, заниматься своими ларинскими дѣлами. Правда, этотъ плащъ спасалъ его только отъ суда, а не отъ цензорскаго приговора; цензоры 70 г., не связанные никакими законными кляузами, обратили вниманіе и на Клуенція и не обошли его своей *nota*. Но эта *nota*, какъ мы уже видѣли, никакихъ практическихъ послѣдствій не имѣла.

Нѣтъ, Клуенцій долго бы наслаждался невозмутимымъ покоемъ, если бы не его родная мать Сассія.

Эта замѣчательная женщина не покинула своего третьяго мужа въ его несчастіи; сопровождаемый ею и нѣкимъ своимъ отпущенникомъ, С. Альбіемъ, Оппіаникъ нашелъ пристанище въ Фалернской области, у одного своего друга, Г. Квинкція (быть можетъ, родственника своего бывшего защитника). Новѣйшіе толкователи Цицерона нашли странной эту вѣрность Сассіи: какъ это она, такъ легко позабывшая своего молодого, любимаго мужа Мелина и даже подарившая свою руку его убійцѣ, рѣшилась дѣлить невзгоды изгнанія съ пожилымъ уже Оппіаникомъ, женившимся на ней ради ея денегъ! Полагаютъ поэтому, что Цицеронъ значительно сгустилъ краски, рисуя портретъ Сассіи. Не берусь рѣшить этого вопроса, который къ тому же насъ прямо и не касается; но мнѣ вспоминается съ другой стороны, что по отзыву знатоковъ уголовная атмосфера — *l'odeur du baigne* — не лишена привлекательности для такихъ тигрицъ, какъ Сассія. Какъ бы то ни было, но Сассія живетъ

въ имѣніи Квинкція со своимъ пожилымъ, хворымъ мужемъ, Оппианикомъ, а тутъ же — молодой, здоровый отпущенникъ С. Альбій. Вѣрный рабъ Никостратъ доноситъ своему господину Оппианику, что между его госпожей и Альбіемъ творится что-то неладное; вслѣдъ затѣмъ Оппианикъ оставляетъ Фалернское имѣніе и отправляется подъ Римъ, гдѣ у него была снята дача; здѣсь его болѣзнь ухушается — кто говоритъ, отъ паденія съ лошади, кто — послѣ съѣденнаго куска хлѣба, поданнаго ему его другомъ Азелліемъ; нѣсколько дней спустя онъ умираетъ. Все это случилось еще въ 72 г.

О дальнѣйшемъ послушаемъ Цицерона (§ 176—178). Его описаніе интересно и съ юридической точки зрѣнія: оно рисуетъ намъ положеніе дознанія и предварительнаго слѣдствія въ ту эпоху, когда оно не лежало еще на обязанности государства, а было областью частной и, пожалуй, общественной инициативы.

„Какъ видите, судьи, обстановка его смерти никакихъ уликъ не содержитъ; а если и содержитъ, то всё онѣ касаются семейнаго преступленія, о которомъ знаютъ лишь внутренніе покои дома. Но не успѣлъ онъ умереть, какъ его нечестивая жена уже начала строить козни своему сыну.

„Она рѣшила произвести домашнее слѣдствіе о смерти своего мужа. Она купила у врача А. Рупилія, который пользовалъ Оппианика, нѣкоего раба Стратона — казалось, она брала при- тѣръ съ Клуенція, купившаго съ тою же цѣлью Діогена. Купивъ его, она объявила, что будетъ допрашивать этого Стратона, а затѣмъ и своего раба, какого-то Асклу; сверхъ того она у молодого Оппианика потребовала на пытку того раба Никострата, за его чрезмѣрную, по ея мнѣнію, болтливость и преданность своему господину. Такъ какъ Оппианикъ былъ въ то время почти мальчикомъ, и ему говорили, что допросъ долженъ обнаружить виновника смерти его отца, то онъ не осмѣлился перечить мачихѣ, хотя и считалъ того раба вѣрнымъ слугою своего покойнаго отца и своимъ. Затѣмъ Сассія приглашаетъ многихъ друзей и кунаковъ своего покойнаго мужа и своихъ, людей честныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ почтенныхъ; самыя жестокія орудія пытки пускаются въ ходъ; но какъ ни старалась Сассія склонить рабовъ къ показаніямъ, то обнадеживаніемъ, то запугиваніемъ — благодаря участію столь

достойныхъ людей они остались на почвѣ истины и сказали, что ничто не знаютъ; на этомъ-то и пришлось, по требованію друзей, прекратить допросъ въ тотъ день.

„По прошествіи довольно продолжительнаго времени она созываетъ ихъ вновь; допросъ возобновляется; рабовъ подвергаютъ самымъ мучительнымъ истязаніямъ, какія только можно было придумать; понятые стали протестовать, едва будучи въ силахъ выносить это зрѣлище, но безчеловѣчная женщина продолжала свирѣпствовать, взбѣшенная тѣмъ, что задуманная ею тактика не давала ожидаемыхъ результатовъ. Наконецъ, когда и палачъ былъ уже утомленъ, да и самыя орудія пытки перестали служить, а она все еще не хотѣла уgomониться, одинъ изъ понятыхъ, возвеличенный народомъ и украшенный многими добродѣтелями мужъ, заявилъ, что по его убѣжденію допросъ производится не съ тѣмъ, чтобы обнаружить истину, а съ тѣмъ, чтобы заставить допрашиваемыхъ дать лживыя показанія. Остальные къ этому мнѣнію присоединились; съ общаго согласія было рѣшено допросъ прекратить. Никостратъ былъ возвращенъ Оппіанику, сама же Сассія со своими рабами отправилась въ Ларинъ, огорченная мыслью, что теперь уже ничто не можетъ повредить ея сыну, когда противъ него нельзя было добыть не только достовѣрнаго доказательства, но даже призрачной улики, когда онъ избѣгъ не только открытыхъ покушеній своихъ враговъ, но даже тайныхъ козней своей матери.

Таковъ былъ допросъ 72 г.; результатовъ онъ не далъ никакихъ. Было это, какъ мы видѣли выше, непосредственно послѣ года ужасовъ; за нимъ послѣдовали менѣе тревожные годы, во время которыхъ дѣло юніанцевъ и, стало быть, имя Клуенція были въ устахъ у всѣхъ; наконецъ наступила цензора 70 г. съ ея строгими мѣрами противъ юніанцевъ, отъ которыхъ пострадалъ, какъ мы видѣли, и самъ Клуенцій; можно было надѣяться, что, подкрѣпленное этимъ вѣскимъ цензорскимъ приговоромъ, и уголовное обвиненіе будетъ имѣть успѣхъ. Да, но какое? въ подкупѣ суда? Въ немъ всѣ были убѣждены, но Клуенція, какъ мы видѣли, спасало его всадническое званіе: ни одинъ предсѣдатель уголовной комиссіи не далъ бы хода такой жалобѣ, какъ лишенной всякаго законнаго основанія. Нѣтъ, формально нужно было обвинить Клуенція въ другомъ

преступленія, хотя бы и слабо обоснованномъ: предсѣдатель, вѣдь, въ разборъ дѣла по существу не входитъ, а спрашиваетъ лишь о формальной допустимости жалобы. А разъ ей данъ будетъ ходъ, остальное будетъ дѣломъ обвинителя: онъ слегка, для приличія, коснется содержанія формальнаго обвиненія, а затѣмъ весь нравственный центръ тяжести перенесетъ на вопросъ о подкупѣ Юніева суда, въ фактичности котораго были убѣждены всѣ... Конечно, при нашей практикѣ судоговоренія съ ея опредѣленными вопросами присяжнымъ такой маневръ ни къ чему не повелъ: вопроса о подкупѣ юніанцевъ предсѣдатель, въ виду его формальной недопустимости, не поставилъ бы, а на формально допустимый вопросъ пришлось бы поневолѣ отвѣтить отрицательно. Но въ Римѣ этихъ опредѣленныхъ вопросовъ не полагалось; присяжный отвѣчалъ оглуомъ на все содержаніе обвиненія своимъ *condemno*, *absolvo* или *non liquet*, и такое сочетаніе реально сильнаго, но формально слабаго обвиненія съ формально сильнымъ, но реально слабымъ общало хорошіе плоды.

Но для этого нужно было подыскать предлогъ для формально сильнаго обвиненія. Существовало подозрѣніе, что Оппіаникъ не естественною смертію умеръ, а былъ отравленъ ядомъ, изготовленнымъ Стратономъ, бывшимъ рабомъ врача Рупилія, и поднесеннымъ Оппіанику въ кускъ хлѣба его другомъ Азелліемъ; къ сожалѣнію, домашнее слѣдствіе пикакихъ данныхъ, подтверждающихъ это подозрѣніе, не обнаружило. Тѣмъ временемъ Оппіаникъ Младшій, естественный мститель за смерть своего отца, возмужалъ; Сассія, согласно программѣ покойника, выдала за него свою дочь и будущую наслѣдницу, молоденькую Аврію. Вскорѣ же—въ 69 г.—представился и случай подвергнуть раба Стратона новому и болѣе плодотворному допросу.

Этотъ Стратонъ, эксплуатируя свои медицинскія познанія, открылъ въ Ларинѣ на средства своей новой госпожи аптеку: понятно, однако, что онъ особой привязанности къ этой своей мучительницѣ не чувствовалъ и былъ не прочь стать на собственные ноги, хотя бы и цѣною преступленія. И вотъ, въ то время какъ Сассія устраивала счастье молодой четы—продолжаю словами Цицерона (§ 179):

„нашъ медикъ Стратонъ произвелъ у нея кражу съ убій-

ствомъ; дѣло произошло такъ. Въ ся домѣ находился шкафъ, содержавшій, какъ ему было извѣстно, добрую сумму денегъ и не мало золотыхъ сосудовъ. Однажды ночью онъ убилъ двухъ товарищей-рабовъ, воспользовавшись ихъ сномъ, и бросилъ ихъ трупы въ рыбный садокъ, а затѣмъ взломалъ шкафъ и унесъ... (*цифра пропала*) сестерціевъ и пять фунтовъ золота; его сообщникомъ былъ рабъ-подростокъ. На слѣдующій день кража обнаружилась: подозрѣніе пало на исчезнувшихъ рабовъ.

„Но вотъ люди обратили вниманіе на взломанный шкафъ; стали строить догадки, какъ могъ быть произведенъ взломъ: одинъ изъ друзей Сассія вспомнилъ, что онъ видѣлъ недавно на какомъ-то аукціонѣ среди мелкой утвари маленькую серповидную пилу съ зубцами на обѣ стороны, посредствомъ которой легко могъ быть выпиленъ кусокъ стѣны шкафа. Обратились съ запросомъ къ аукціоннымъ агентамъ; оказалось, что пилу купилъ Стратонъ. Когда такимъ образомъ попали на слѣдъ преступленія и открыто былъ заподозрѣнъ Стратонъ, тотъ мальчикъ, его сообщникъ, оробѣлъ и во всѣмъ признался своей госпожѣ. Трупы въ рыбномъ садкѣ были найдены, Стратона арестовали и въ его лавкѣ нашли краденныя деньги, хотя и далеко не всѣ.

„Начинается слѣдствіе... о воровствѣ, конечно: другого подозрѣнія, вѣдь, не было. Или вы скажете, что послѣ взлома шкафа, послѣ похищенія денегъ, послѣ обнаруженія одной лишь ихъ части, послѣ убійства рабовъ начато было слѣдствіе о смерти Оппіаника? Да кто же вамъ повѣритъ? Да развѣ можно сочинить нѣчто менѣе правдоподобное? Вѣдь не говоря объ остальномъ: со времени смерти Оппіаника прошло уже три года!.. Такъ нѣтъ же: было назначено слѣдствіе о смерти Оппіаника, причемъ злопамятная женщина безъ всякаго разумнаго повода снова потребовала къ допросу того самаго Никострата. Молодой Оппіаникъ сначала не соглашался; но она пригрозила ему, что уведетъ свою дочь и лишитъ его наслѣдства, и въ концѣ концовъ онъ выдалъ жестокой женщинѣ своего преданнѣйшаго раба не для допроса, а на вѣрную мучительную казнь“.

Этотъ разъ Сассія была благоразумнѣе: въ понятые были приглашены не именитые, почтенные люди, какъ въ прошлый

разъ, а толпа подневольныхъ кліентовъ, въ родѣ названнаго уже отпущенника и фаворита С. Альбія. Что въ дѣйствительности показали Стратонъ и Никостратъ, такъ и осталось неизвѣстнымъ; но протоколъ допроса, подписанный Альбіемъ и остальными, содержалъ вполнѣ откровенное признаніе въ изготвленіи, по наущенію Клуенція, яда для Оппіаника. Позднѣе люди дивились странной прямолинейности протокола; какъ это Стратонъ, допрашиваемый о воровствѣ, отвѣтилъ такъ неожиданно показаніями объ отравленіи? Но пособить дѣлу было уже невозможно: Никостратъ пропалъ безъ вѣсти; что же касается Стратона, то ларинская тигрица съ этимъ своимъ рабомъ поступила по-своему: она, говоритъ Цицеронъ (§ 187)

„своего раба Стратона велѣла распять, предварительно вырѣзавъ ему языкъ. Всѣ въ Ларинѣ объ этомъ знаютъ; обезумѣвшая женщина боялась не своей совѣсти, не ненависти своихъ земляковъ, не повсемѣстной дурной молвы, имѣть, — какъ бы не создавая, что всѣ будутъ свидѣтелями ея злодѣянія, она боялась обвинительнаго приговора изъ устъ своего умирающаго раба!“

Ихъ присутствіе не требовалось болѣе — напротивъ, было скорѣе стѣснительно: имѣлся протоколъ, содержавшій ихъ показанія. Такимъ образомъ, все нужное для формально-сильнаго обвиненія было налицо. Данные для т. наз. *probabile ex vita* добыть было нетрудно: лицо вліятельное, какимъ былъ Клуенцій, не могло не имѣть завистниковъ и враговъ, готовыхъ вредить ему своими правильными или лживыми показаніями. Конечно, для формы всѣмъ долженъ былъ руководить молодой Оппіаникъ: его роль какъ мстителя за отца была самая благодарная. Теперь оставалось пригласить обвинителя изъ опытныхъ ораторовъ того времени: Оппіаникъ обратился къ молодому и дѣльному Т. Аттію. Все же эти переговоры и приготовленія заняли еще два года съ лишнимъ: только въ 66 г. могъ состояться послѣдній актъ ларинской драмы — *processus Клуенція*.

VI.

Но и противная сторона не оставалась въ бездѣйствіи: пока его мать Сассія готовилась нанести ему рѣшительный ударъ — Клуенцій заручился надежнымъ оплотомъ въ лицѣ тогдашняго претора, уже знаменитаго въ тѣ времена оратора Цицерона.

Это можетъ показаться страннымъ. Въ процессѣ Скамандра, открывшемъ собою всю нескончаемую серію уголовныхъ дѣлъ, которая прошла передъ нами — Цицеронъ былъ защитникомъ обвиняемаго, т.-е. противникомъ Клуенція; защита эта была неудачна, и читатель помптитъ, съ какимъ юморомъ Цицеронъ сумѣлъ отнестись къ этому легкому удару, нанесенному его репутаціи. Съ тѣхъ поръ онъ держалъ себя въ сторонѣ отъ дальнѣйшей уголовной эпопеи, но раздѣлялъ общее мнѣніе относительно Юніева суда. Это мнѣніе ему было на руку: будучи по всему своему прошлому противникомъ сулиной реакціи, онъ и самъ работалъ въ пользу упраздненія сенаторскихъ судовъ и введенія всесловпаго суда 70 г. Поэтому онъ и не стѣснялся, какъ мы видѣли, эксплуатировать безславіе юніанцевъ: доставалось отъ него осужденнымъ Стаіену и Бульбу, доставалось и оправданному Фалькульт.

Слѣдуетъ ли въ этомъ признать безповоротное, обязательное для него убѣжденіе?—Мы любимъ людей, которые на подобные вопросы отвѣчаютъ „да“, будь они публицисты, адвокаты или простые смертные; Цицеронъ, однако, отвѣтилъ „нѣтъ“. Ниже я приведу его собственную мотивировку этого отвѣта: это мѣсто въ высшей степени интересно для исторіи адвокатской этики. Онъ былъ преторомъ; консулатъ былъ впереди; его слава все росла, но росла благодаря его собственной неутомимой дѣятельности. Отдыхать было нельзя: предложеніе Клуенція было соблазнительно не своей матеріальной стороной—я уже сказалъ, что дѣятельность повѣренныхъ, *patroni*, была безвозмездной, Цицеронъ же даже по отзыву его враговъ стоялъ выше всякаго подозрѣнія въ любостыжаніи—а всякаго рода выгодами болѣе идеальнаго характера. Съ одной стороны, за Клуенціемъ стоялъ весь его муниципій Ларинъ — мы уже

знакомы съ этой «политикой родной колокольни»: всѣ ларинаты въ лицѣ Клуенція предлагали себя Цицерону въ «кліенты», а расширеніе кліентель было для государственнаго дѣятеля самымъ вѣрнымъ средствомъ пріобрѣсть влияние—особенно для человѣка небогатаго, каковымъ былъ Цицеронъ, и не могущаго добиваться популярности съ помощью такъ наз. «щедротъ» (*largitiones*). Съ другой стороны, оратору представлялся случай разъ на всегда покончить со скандальными слухами, ходившими относительно Юніева суда, съ этой «римской дрейфусіадой», какъ я назвалъ ее выше. Правда, заступаясь за виновнаго, Цицеронъ рисковалъ нанести сильный ударъ своей славы; но былъ ли Клуенцій виновенъ? До сихъ поръ убѣдительныхъ уликъ противъ него представлено не было; его дѣломъ всѣ занимались скорѣе мимоходомъ, эксплуатируя народныя слухи и руководствуясь поговоркой «вѣтъ дыма безъ огня». Болѣе внимательное изученіе дѣла убѣдило Цицерона — быть можетъ, въ полной невинности Клуенція, и во всякомъ случаѣ въ томъ, что честный ораторъ могъ, не рискуя уронить себя, взять его подъ свою защиту.

Итакъ, противъ Т. Аттія, представителя обвиненія, выступилъ защитникомъ обвиняемаго Цицеронъ.

Теперь постараемся представить себѣ съ возможной жизненностью движеніе Клуенціева дѣла. Опять засѣдаетъ, какъ и въ дѣлѣ Оппіаника, уголовная коммиссія по дѣламъ объ отравленіи, *quaestio perpetua de veneficiis*; опять ея предсѣдатель — *quaesitor* изъ бывшихъ эдиловъ, нѣкто Кв. Воконій Назонъ; но члены коммиссіи уже другіе. Тогда ими были 32 сенатора; теперь, послѣ судебной реформы 70 года, мы имѣемъ присяжныхъ-представителей всѣхъ трехъ сословій, по двадцати пяти изъ cadaго—сенаторскаго, всадническаго и третьяго.

Дѣло происходитъ на форумѣ, подъ открытымъ небомъ. Присяжные сидятъ на своихъ скамьяхъ; впереди всѣхъ на особыхъ креслахъ предсѣдатель суда, рядомъ съ нимъ — приглашенные имъ лично его совѣтники-юристы (не забудемъ, что самъ предсѣдатель юристомъ не былъ и поэтому безъ совѣта людей свѣдущихъ обойтись не могъ). Тамъ же, вѣроятно, и многіе другіе магистраты и сенаторы, поскольку они пришли

вообще изъ интереса къ дѣлу и не намѣрены своимъ присутствіемъ поддерживать ту или другую сторону. Тамъ же и секретарь (*scriba*) съ огромной кучей всякаго рода документовъ, среди которыхъ не трудно различить, по множеству покрывающихъ ихъ печатей, оба протокола домашняго допроса Сасціи; тамъ же и судебные пристава (*praesones*) и нѣсколько служителей, сторожей и курьеровъ. Затѣмъ, съ одной стороны «скамы обвиненія»; тутъ мы легко различаемъ самого обвинителя, молодого Оппіаника, быть можетъ—его мачиху Сассію, но во всякомъ случаѣ—его повѣреннаго Т. Аттія; тамъ же изрядное число сенаторовъ и всадниковъ, пришедшихъ своимъ присутствіемъ поддержать обвиненіе (*advocati*); среди нихъ одинъ или нѣсколько юрисконсультовъ, явившихся по просьбѣ Аттія помогать ему своей юридической опытностью—онъ, вѣдь, хотя и повѣренный, но не юристъ, а ораторъ (это въ Римѣ—двѣ различныя вещи); тамъ же, хотя и нѣсколько поодаль, свидѣтели обвиненія, причемъ судебные пристава зорко наблюдаютъ, чтобы они не вступали въ сношенія съ обвинителемъ. Затѣмъ съ другой стороны—«скамы защиты»; тутъ на первомъ планѣ самъ Клуенцій, котораго легко узнать по сго—предписанному для подсудимыхъ—*squalor*, т.-е. небритой и нестриженной головѣ, блѣдности и нищенскомъ одѣяніи; съ нимъ рядомъ, ободряя его, его защитникъ Цицеронъ, красивый сорокалѣтній мужчина съ большимъ умнымъ лбомъ, съ живыми глазами, съ тонкими, дышащими пропіей губамъ; тутъ же и «адвокаты» защиты, а затѣмъ—оригинальная группа людей, такъ наз. «хвалители» (*laudatores*), пришедшіе дать лестное свидѣтельство о жизни подсудимаго. Среди нихъ выдаются депутаты отъ ларинской думы, затѣмъ—депутаты отъ сосѣднихъ муниципіевъ, Теана, Луцеріи, Бовіана и т. д.; ихъ хвалебные отзывы падаются у секретаря и будутъ имъ же прочитаны въ свое время, при чемъ сами они только вставаніемъ засвидѣлствуютъ свое авторство; пока же они дѣйствуютъ на публику однимъ только своимъ внушительнымъ присутствіемъ. За адвокатами и хвалителями сидятъ, тоже нѣсколько поодаль, свидѣтели защиты. Наконецъ, все это собраніе со всѣхъ сторонъ окружено многочисленной толпой (*corona*); это—*populus Romanus Quirites*. Она сама нѣкогда судила Юнія; теперь она

пришла, зная, что будутъ судить этотъ ея судъ; настроеніе по отношенію къ защитѣ, поэтому, неособенно дружественное. Но среди римской рѣчи слышится также и оживленный осскій (самнитскій) говоръ: среди присутствующихъ — масса ларинатовъ, и они всѣ за Клуенція. Если бы дѣло дошло до скандала — «очистить мѣсто засѣданія» было бы невозможно: пришлось бы самому суду удалиться. Отъ ораторовъ потребуется, поэтому, кромѣ умѣнія, еще и тактъ. Впрочемъ, скандалъ не въ интересахъ публики: она рада послушать рѣчи ораторовъ, которые въ ту пору были ея первыми и лучшими учителями и знали это.

Открывъ засѣданіе, предсѣдатель Воконій убѣждается, прежде всего, въ наличности, какъ обвинителя Аттія (до Оппіаника ему, какъ предсѣдателю, нѣтъ дѣла) такъ и подсудимаго и его защитника; затѣмъ онъ производитъ переключку присяжнымъ, чтобы убѣдиться, что они присутствуютъ въ достаточномъ числѣ — присутствія полного состава не требовалось. Такъ какъ отводъ присяжныхъ по требованію сторонъ состоялся уже раньше, то за переключкой слѣдуетъ присяга. Это очень торжественный моментъ: присяжные окружаютъ трибуну (*rostra*), обращаются лицомъ къ форуму и его святынямъ и клятвенно обѣщаютъ судить нелицепріятно, по тщательномъ выслушаніи всѣхъ свидѣтелей, а въ случаѣ закрытой подачи голосовъ не выдавать ни своего, ни чужого голоса. Затѣмъ они вновь занимаютъ свои мѣста; послѣ маленькой паузы, предсѣдатель предоставляетъ слово обвинителю Т. Аттію.

Въ этомъ, дѣйствительно, заключалась особенность римскихъ порядковъ: на окончательномъ производствѣ пренія предшествовали слѣдствію, такъ что обоимъ противникамъ приходилось пользоваться еще нерасчищеннымъ матеріаломъ. Это разъ; а затѣмъ важно и слѣдующее. Чтенія обвинительнаго акта не полагалось: какъ присяжные, такъ и публика впервые изъ устъ обвинителя узнаютъ, въ чемъ дѣло. Обвинитель же этотъ — представитель не государства, а стороны: онъ не связанъ, подобно нашему прокурору, тѣми стѣснительными условіями, въ которыя ставитъ человѣка сознаніе его роли какъ государственнаго дѣятеля. — Рѣчь Аттія, поэтому, страстна и безпощадна. Клуенцій, прежде всего, виновенъ въ томъ, что под-

купилъ членовъ Юніева суда, чтобы заставить ихъ осудить невиновнаго Оппіаника. Въ этомъ и безъ того убѣждены всѣ; рассказавъ, какъ произошло дѣло, обвинитель приводитъ отдѣльные случаи, въ которыхъ сказалось это всеобщее убѣжденіе, начиная съ народнаго суда надъ самимъ Юніемъ, продолжая осужденіями отдѣльныхъ юніанцевъ, Стаіена, Бульба, Гутты, остальныхъ, коихъ имена давно стали бранными словами... и сенатъ, вѣдь, присоединился ко всеобщему убѣжденію въ своемъ проектѣ чрезвычайной слѣдственной комиссіи, и цензоры — въ своихъ приговорахъ, и частныя лица — въ своихъ духовныхъ завѣщаніяхъ, и что всего пикантнѣе, самъ Цицеронъ... Да, нынѣшній защитникъ Клуенція, тогда самъ публично заявлялъ, что Клуенцій подкупилъ Юніевъ судъ; можно себя представить, съ какимъ наслажденіемъ. Т. Аттій остановился на одномъ мѣстѣ изъ рѣчи противъ Верреса (Actio I § 38): „Я объясню римскому народу, почему, когда сенаторъ Септимій былъ осужденъ по обвиненію въ вымогательствѣ, съ него взыскали штрафъ также и за то, что онъ будучи судьей, далъ подкупить себя; почему въ процессѣ Бульба, который былъ осужденъ по обвиненію въ превышеніи власти, было доказано, что подсудимый, будучи членомъ уголовной комиссіи, торговалъ своею совѣстью; почему нашлись сенаторы, вынимавшіе жребій при городскомъ преторѣ Верресѣ съ тѣмъ, чтобы осудить человѣка, съ дѣломъ котораго они не были знакомы (Фалькула); почему явился сенаторъ, который, какъ судья, получилъ въ одномъ и томъ же процессѣ деньги и отъ подсудимаго съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ между судьями, и отъ обвинителя, чтобы вынести подсудимому обвинительный приговоръ (Стаіенъ)“. Хватить ли послѣ этого у защитника смѣлости утверждать, что Клуенцій не виновенъ въ подкупѣ суда? Врядъ ли; онъ воспользуется, скорѣе всего, удобной лазейкой, которую ему открываетъ законъ, и станетъ вамъ доказывать, что Клуенцій не можетъ быть преслѣдуемъ за подкупъ присяжныхъ, такъ какъ онъ — всадникъ, а не сенаторъ. Что жъ, судьи, вашимъ дѣломъ будетъ рѣшить, желаете ли вы, чтобы и впредь богачи-всадники пользовались пробѣломъ нашего уголовного законодательства для совершенія гнусностей, а пока перейдемъ ко второму пункту.

Клуенцій не удовольствовался неправымъ осужденіемъ своего вотчима; ему нужна была его смерть. Вотъ, прежде всего, случаи изъ его жизни, доказывающіе, что онъ—склонный къ насилиямъ и неразборчивый въ своихъ средствахъ человекъ—въ ихъ достовѣрности вы убѣдитесь въ свое время, когда будутъ допрошены свидѣтели. Вотъ—другіе случаи, доказывающіе, что онъ и съ ядомъ обращаться умѣетъ: между прочимъ онъ пытался отравить нынѣшняго обвинителя Опціяника Младшаго, на его свадебномъ пиршествѣ, но случайно стаканъ былъ перехваченъ другимъ, который и скончался отъ него. Отсюда видно, что Клуенцій былъ *способенъ* отравить своего вотчима; что онъ это въ дѣйствительности сдѣлалъ, видно и изъ обстоятельствъ его смерти, и изъ показаній свидѣтелей-рабовъ, протоколъ которыхъ съ законнымъ числомъ печатей приложенъ къ дѣлу.

Таковъ краткій эскизъ рѣчи обвинителя; прежде чѣмъ перейти къ допросу свидѣтелей, нужно было дать слово защитнику для отвѣтной рѣчи. Быть можетъ, это случилось не въ тотъ же день; судя по объему сохранившейся защитительной рѣчи, мы легко можемъ допустить, что рѣчь обвинителя съ чтеніемъ письменныхъ доказательствъ, съ перерывами, наконецъ — со вступительными формальностями заняла все первое засѣданіе, и что Цицерону пришлось отвѣчать лишь въ слѣдующій присутственный день. Его задача была не изъ легкихъ: противникъ не только раздавилъ подсудимаго подъ тяжестью позора Юніева суда, память о которомъ онъ такъ живо воскресилъ—онъ заранѣе подорвалъ довѣріе къ его защитнику, сославшись на его собственное прежнее отношеніе къ этому суду. Цицеронъ понялъ, что ему прежде всего слѣдуетъ побороть это враждебное къ нему настроеніе судей и публики; отказавшись отъ обычнаго, спокойнаго типа вступленій, онъ выбралъ ту его форму, которая у древнихъ называлась *insinuatio*; онъ началъ такъ:

„Рѣчь обвинителя, судьи, распадается на двѣ части: первая, въ которой онъ обнаруживаетъ наиболѣе самонадѣянности, имѣетъ основаніемъ враждебное настроеніе народа противъ Юніева суда, съ давнихъ уже поръ существующее; во второй онъ лишь ради формы робко и неувѣренно касается вопроса

объ отравленіи, благо настоящая комиссія учреждена законодателемъ именно для этого рода преступленій. Въ виду этого я рѣшилъ сохранить то же дѣленіе и въ своей защитительной рѣчи, посвящая одну ея часть тому враждебному настроенію, а другую—обвинительнымъ пунктамъ, обрабатывая каждую изъ нихъ такъ тщательно, чтобы никто не могъ заподозрить меня въ желаніи уклониться отъ обсужденія невыгоднаго обстоятельства путемъ замалчиванія, или въ стремленіи затопить его значеніе потокомъ фразъ.

„Размышляя, однако, о суммѣ труда, которой потребуетъ отъ меня та и другая часть, я нахожу, что одна—именно та, которая собственно подлежитъ вашему суду, имѣя содержаніемъ преступленіе, предусмотрѣнное законодателемъ при учрежденіи «комиссіи объ отравленіяхъ» — не потребуетъ ни продолжительнаго времени, ни особеннаго съ моей стороны напряженія; другая, напротивъ, предметъ которой ничего общаго съ правосудіемъ не имѣетъ, а скорѣе можетъ служить темой для рѣчи въ народной ссѣлкѣ, созданной какимъ-нибудь мутителемъ толпы, чѣмъ для преній предъ спокойнымъ и безстрастнымъ судомъ,—представляетъ много неудобствъ для оратора, много трудностей. Но въ этомъ неудобствѣ, судьи, меня утѣшаетъ мысль, что вы строго относитесь лишь къ той части рѣчи защитника, которая касается собственно обвиненія: тутъ дѣйствительно обязанность привести оправдательные доводы лежитъ всецѣло на защитникѣ, и вы не считаете нужнымъ предоставлять подсудимому другія средства къ спасенію, кромѣ тѣхъ ораторскихъ, которыми располагаетъ его защитникъ для опроверженія взводимыхъ на него обвиненій и доказательствъ его невиновности. Но разъ рѣчь зашла о враждебномъ настроеніи толпы — вы должны принимать во вниманіе не одно только то, что я говорю, но и то, что мнѣ слѣдовало бы сказать. Въ самомъ дѣлѣ, обвиненіе грозитъ опасностью одному лишь А. Клуенцію, враждебное настроеніе, напротивъ, представляетъ собою общественное зло. Поэтому я въ той части буду опираться на доказательства, въ этой—на просьбы; въ той постараюсь лишь заручиться вашимъ вниманіемъ, въ этой долженъ взывать къ вашему милосердію, такъ какъ безъ заступничества вашего и подобныхъ вамъ людей никто изъ насъ не можетъ бороться

съ враждебнымъ настроеніемъ толпы. Дѣйствительно, представленный одному себѣ, я не буду знать, что мнѣ и дѣлать: могу ли я оспаривать существованіе дурной молвы о запятнавшемъ себя взяточничествомъ судѣ? Могу ли я отрицать, что это дѣло было предметомъ рѣчей въ народныхъ сходкахъ, предметомъ преній въ судѣ, предметомъ докладовъ въ сенатѣ? Могу ли я вырвать изъ сознанія людей это столь позорящее, столь вкоренившееся, столь старинное убѣжденіе? На это у меня таланта не хватитъ; дѣло вашего человѣколюбія, судьи, придти на помощь этому невинному челоѣку и спасти его отъ этого бѣдственнаго безславія, которымъ онъ окруженъ, точно разрушительнымъ пламенемъ, точно гибельнымъ для всѣхъ насъ пожаромъ. Пусть въ другихъ мѣстахъ хирѣетъ и гибнетъ истина; здѣсь, передъ вашимъ судилищемъ, безсильной должна быть народная молва, коль скоро она несправедлива; пусть она подымаетъ голову въ народныхъ сходкахъ, но лежить смиренно въ судѣ; пусть, наконецъ, сохраняетъ свое значеніе то требованіе, которое наши предки ставили правому суду — поражать вину даже при отсутствіи молвы, но заставлять молчать молву при отсутствіи вины.

„Вотъ почему я, судьи, въ этой вступительной части своей рѣчи прежде всего обратился бы къ вамъ съ требованіемъ, чтобы вы слушали меня безо всякаго предубѣжденія; но допуская, что вы уже прониклись какимъ-нибудь убѣжденіемъ, я прошу васъ, чтобы вы не слишкомъ упорно отстаивали его, видя, что оно поколеблено доводами разума, распатано моею рѣчью, что истина, наконецъ, вырываетъ его изъ вашей души — нѣтъ, прошу васъ, чтобы вы въ этомъ случаѣ пожертвовали имъ, если не охотно, то, по крайней мѣрѣ, спокойно. А затѣмъ, прошу васъ, чтобы вы, прислушиваясь къ ходу моего разсужденія и къ отдѣльнымъ пунктамъ моей защиты, не сразу вызывали у себя въ умѣ противорѣчащія ей соображенія, а ждали моего послѣдняго слова, дозволяя мнѣ сохранить планъ моей рѣчи, а затѣмъ уже ставили вопросъ, не пропущено ли мною что.

„Я прекрасно понимаю, судьи, что выступилъ защитникомъ челоѣка, о которомъ вотъ уже восемь лѣтъ подрядъ люди до вѣрчиво слушаютъ рѣчи нашихъ противниковъ, челоѣка, почти

ужь осужденнаго молчаливымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія; но если только боги дозволятъ, чтобы вы выслушали меня благосклонно, вы увидите, что, насколько дурная молва для человѣка самое страшное изъ всѣхъ золъ, настолько справедливый судъ представляется для безвинно оговореннаго самымъ желательнымъ изъ всѣхъ исходовъ, такъ какъ только онъ можетъ положить предѣлъ лживымъ толкамъ, позорящимъ его имя. Вотъ почему я не отказываюсь отъ надежды, что если только мнѣ удастся надлежащимъ образомъ развить въ своей рѣчи всѣ стороны этого дѣла, то ваше судилище, въ которомъ наши противники думали найти грозу и гибель для А. Клуенція, окажется, напротивъ, его гаванью, его убѣжищемъ отъ преслѣдующей его злой доли“.

Приступая затѣмъ къ самому дѣлу, онъ на первомъ мѣстѣ противопоставляетъ заявленію обвинителя, что *Клуенцій подкупилъ Юніевъ судъ*, свое категорическое отрицаніе. Нѣтъ, онъ его не подкупилъ — прежде всего потому, что не имѣлъ никакой надобности въ этомъ. Преступленіе, въ которомъ обвинялся Оппіаникъ, было несомнѣнно имъ совершено; это доказывается: 1) всею жизнью Оппіаника, истребителя собственной семьи, истребителя рода Динеи, мужа безчеловѣчной матери Клуенція, Сассии; это доказывается 2) и обстоятельствами самого покушенія противъ Клуенція, которыя всѣ указываютъ на виновность Оппіаника. Но кромѣ этого нравственнаго принужденія, судьи Оппіаника находились подъ гнетомъ также и процессуальнаго принужденія, такъ какъ они уже осудили обоихъ сообщниковъ Оппіаника, Скамандра и Фабриція: нѣтъ, Юніевъ судъ не могъ не вынести Оппіанику обвинительнаго вердикта, а если такъ, то значить, Клуенцію не было надобности его подкупать.

Все это вполне убѣдительно; но вотъ мы наталкиваемся на серьезное затрудненіе. Подкупъ Юніева суда никоимъ образомъ не можетъ быть объявленъ фикціей; а между тѣмъ, этотъ судъ обвинилъ Оппіаника. Кѣмъ же былъ онъ подкупленъ, если не Клуенціемъ?

— *Оппіаникомъ*, — отвѣчаетъ Цицеронъ.

— Да вѣдь онъ же Оппіаника обвинилъ! — говорятъ противники.

— Пойдите; прежде всего мы установимъ фактъ, что Опіаникъ дѣйствительно далъ судѣ Стаіену 640.000 (§§ 65, 84—87).

„Кто можетъ оспаривать это? скажи, Опіаникъ! Скажи Т. Атій! Вы оба оплакиваете осужденіе того человѣка, одинъ—въ своей пламенной обвинительной рѣчи, другой—въ тихой грусти своего любящаго сыновняго сердца; рѣшитесь же оспаривать утверждаемый мною фактъ, что Опіаникъ далъ деньги судѣ Стаіену; рѣшитесь, повторяю, оспаривать его теперь же, обрывая меня... Что же вы молчите?—Понимаю: вы не можете отрицать того факта, на основаніи котораго вы въ свое время предъявили искъ, произнесли рѣчь, получили исполнительный листъ. Но откуда же берете вы смѣлость заявлять о подкупѣ суда, если вы сами признаете, что съ вашей стороны деньги были и даны судѣ до приговора, и отняты у него послѣ приговора? «Но» возражаютъ намъ, «Опіаникъ не для того давалъ Стаіену деньги, чтобы тотъ подкупилъ судъ, а для того, чтобы онъ примирилъ его съ Клуенціемъ». Съ трудомъ вѣрится, Атій, что это утверждаешь ты, такой умный, опытный и знающій людей человѣкъ! Если, согласно извѣстному изреченію, самый мудрый человѣкъ тотъ, кто самъ можетъ придумать, что надо, а ближе всѣхъ къ нему по мудрости тотъ, кто повинуется мудрымъ совѣтамъ другого, то въ противоположномъ качествѣ дѣло обстоитъ наоборотъ: менѣе неразуменъ тотъ, кто ничего придумать не можетъ, чѣмъ тотъ, кто одобряетъ придуманную другимъ нелѣпость. Вѣдь эта басня о примиреніи была импровизаціей прижатого къ стѣнѣ Стаіена!.. Но одно—тогдашнее положеніе Стаіена, другое—теперешнее твое положеніе, Атій. Для него въ виду невозможности бороться съ фактами всякое другое объясненіе было благовиднѣе того, которое соответствовало истинѣ; но я не понимаю, какъ можешь ты теперь возвращаться къ этой нелѣпости, которая въ свое время была встрѣчена со смѣхомъ и недоувѣріемъ. Да могъ ли Клуенцій думать о примиреніи съ Опіаникомъ? Могъ ли онъ думать о примиреніи съ матерью? Имена обвинителя и обвиняемаго были окончательно внесены въ обвинительный актъ; Фабриціи были осуждены; такимъ образомъ, съ одной стороны замѣщеніе

Клуенція другимъ обвинителемъ не помогло бы Оппіанику избѣгнуть осужденія, съ другой стороны Клуенцій не могъ отказаться отъ обвиненія, не навлекая на себя подозрѣнія въ гнусной ябедѣ. А впрочемъ, зачѣмъ я такъ долго объ этомъ толкую, точно о какомъ-то неясномъ вопросѣ, когда самая цифра данныхъ Стаіену денегъ указываетъ намъ не только количество этихъ денегъ, но также и ихъ назначеніе? Я сказалъ уже, что для оправданія Оппіаника нужно было подкупить 16 судей; къ Стаіену же было отнесено 640.000 сестерціевъ. Если цѣлью этой уплаты было, какъ ты говоришь, примиреніе съ Клуенціемъ, то какой смыслъ имѣтъ эта задача въ 40.000? Если же, какъ утверждаемъ мы, Оппіаникъ хотѣлъ, чтобы каждый изъ 16 судей получилъ по 40.000 сест., то самъ Архимедъ не могъ бы сосчитать лучше.

Итакъ, Стаіенъ былъ подкупленъ Оппіаникомъ; это фактъ. Съ этимъ фактомъ прекрасно вьжется то обстоятельство, котораго противники объяснить не могутъ—что когда на окончательномъ голосованіи Стаіена не оказалось, то обвинитель Оппіаника ничего не имѣлъ противъ его отсутствія, но за то защитникъ его, Квинкцій, протестовалъ и силою привелъ его обратно къ скамьямъ присяжныхъ—значить, на него рассчитывала защита, а не обвиненіе, Оппіаникъ, а не Клуенцій.

Но какъ же объяснить, что онъ обвинилъ Оппіаника, и вмѣстѣ съ нимъ другіе продажные субъекты? — Вотъ какъ (§ 69—72):

„Видя отчаянное положеніе Оппіаника, раздавленнаго двумя преюдиціями, Стаіенъ обращается къ нему съ обѣщаніями, совѣтуя не предаваться унынію и не отчаиваться въ своей судьбѣ; Оппіаникъ же сталъ его молить, чтобы онъ указалъ ему возможность подкупить судей. Тогда Стаіенъ—какъ это впоследствии подтвердилъ самъ Оппіаникъ—отвѣтилъ, что никто во всемъ государствѣ не можетъ ему устроить этого, кромѣ него, но тутъ же на первыхъ порахъ сталъ отнѣкиваться, говоря, что онъ выступаетъ кандидатомъ въ эдилы, что его конкуррентами будутъ очень вліятельные люди, что онъ боится попасть на зубокъ и потерпѣть неудачу. Затѣмъ онъ далъ упротить себя, но потребовалъ сперва неслыханныхъ денегъ; наконецъ они доторговались до сходной суммы, и Стаіенъ по-

ставиль условіемъ, чтобы къ нему на домъ отнесли 640.000 се-стерціевъ.

„Лишь только деньги были у него на дому, нашъ злодѣй тотчасъ началъ сосредоточивать всѣ силы своего ума на той мысли, что для него выгодыѣ всего добитися осужденія Оппіаника; дѣйствительно, по его оправданіи пришлось бы ту сумму или раздать судьямъ, или вернуть ему—напротивъ, въ случаѣ его осужденія нельзя было ожидать, чтобы кто либо потребо-валъ ее обратно. Итакъ, онъ придумываетъ нѣчто замѣчатель-ное. Планъ его состоялъ въ томъ, чтобы посулить взятку нѣ-которымъ менѣе щепетильнымъ судьямъ и затѣмъ обмануть ихъ надежды; онъ рассчитывалъ, что честные люди и такъ от-несутся къ подсудимому строго, а продажные будутъ озлоблены противъ него за его мнимое вѣроломство. Будучи, однако, страннымъ въ своихъ вкусахъ и эксцентричнымъ человѣкомъ, онъ началъ свое угощеніе съ Бульба (Цыбульки); видя, что онъ хандрить и скучаетъ, давно уже не получивъ никакой взятки, онъ подходитъ къ нему и, легонько хлопнувъ его по плечу, говорить: «скажи-ка, Бульбъ, готовъ ты помочь мнѣ, чтобы намъ не даромъ служить отечеству?» Тотъ, едва услы-шавъ слово «не даромъ», отвѣтилъ: «я весь къ твоимъ услугамъ, но въ чемъ дѣло?» Стаіенъ обѣщаетъ дать ему 40.000 сест. въ случаѣ, если Оппіаникъ будетъ оправданъ, и проситъ его обратиться съ такимъ же предложеніемъ и къ другимъ, кого онъ знаетъ поближе; а затѣмъ онъ самъ, какъ кухмистеръ всего этого дѣла, приправилъ Бульба Гуттой (Цыбулку—Со-усомъ), такъ что его блюдо не могло не показаться вкуснымъ тѣмъ, чей аппетитъ онъ возбудилъ своими словами.

„Проходитъ, однако, день, два, нѣсколько—дѣло стало со-мнительнымъ: ни секвестръ, ни поручитель не показывался. Тутъ Бульбъ съ ласковой улыбкой обращается къ Стаіену, стараясь придать своему голосу какъ можно болѣе мягкости: «Скажи-ка, другъ, какъ же насчетъ того дѣла, о которомъ мы недавно говорили? Всѣ желаютъ узнать отъ меня, у кого эти деньги». Тутъ нашъ безсовѣстный проходимецъ насупилъ брови—вы помните его фizioномію, его напускную важность? Онъ сталъ жаловаться, что Оппіаникъ обманулъ его, и какъ человѣкъ, весь сотканный изъ лжи и обмана и умѣишій при-

правлять свою природную гнусность особой техникой мошенничества, которую онъ выработалъ путемъ долгихъ упражненій,—онъ съ большимъ апломбомъ развиваетъ этотъ пунктъ и для большей убѣдительности присовокупляетъ, что при открытѣ голосованіи подастъ голосъ противъ Оппіаника.

„Какъ извѣстно, привыкшіе получать взятки избиратели бывають особенно озлоблены противъ тѣхъ кандидатовъ, которыхъ они подозрѣвають въ удержаніи обѣщанныхъ имъ денегъ; точно такъ же и продажные судьи были тогда озлоблены противъ подсудимаго. А тутъ какъ нарочно жребій опредѣляетъ подавать голосъ въ числѣ первыхъ—Бульбу, Стаіену и Гуттѣ. Всѣ съ крайнимъ напряженіемъ ждутъ, за кого выскажутся эти безчестные, продажные судьи,—а они всѣ, безъ малѣйшаго колебанія, объявляютъ: *да, виновенъ*. Всѣ были озадачены, чтó бы это могло значить? И вотъ нѣкоторые разсудительные люди старой школы, не считая возможнымъ оправдать завѣдомо виновнаго человѣка, но и не желая сразу и до болѣе точныхъ свѣдѣній осудить того, который, казалось, былъ жертвой подкупа,—потребовали вторичнаго разбора; нѣкоторые, впрочемъ, какъ люди строгіе, считавшіе главнымъ въ каждомъ поступкѣ внутреннее побужденіе человѣка, были того мнѣнія, что если другіе постановили правильный приговоръ подъ вліяніемъ взятки, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы они сами имѣли право отказываться отъ своихъ прежнихъ рѣшеній; въ виду этого они объявили подсудимаго виновнымъ. Вообще нашлось только пять человѣкъ, рѣшившихся оправдать этого вашего «невиннаго» Оппіаника“.

«Откуда узналъ Цицеронъ объ этомъ разговорѣ?», спрашиваютъ наивные люди. Нечего и говорить, что это — гипотеза, долженствующая объяснить несомнѣнный фактъ обвиненія Оппіаника Стаіеномъ и остальными при столь же несомнѣнномъ фактѣ полученія имъ отъ Оппіаника взятки,—т.-е. то, что древніе теоретики называютъ *солог*. Такъ какъ эта гипотеза съ одной стороны вполне объясняетъ требующіе объясненія факты, съ другой — вполне согласуется съ характеромъ замѣшанныхъ въ дѣлѣ лицъ, то ее можно будетъ признать весьма правдоподобной.

Итакъ: необходимость подкупа для Оппіаника доказана,

для Клуенція нѣтъ; фактъ подкупа для Оппіаника непосредственно доказанъ, для Клуенція — нѣтъ. Дѣйствительно, нѣтъ ни одного слѣда, который бы указывалъ на предложеніе хотя бы одного сестерція Клуенціемъ судѣ... Зато, говорятъ противники, косвенныя доказательства имѣются. Какія? Преюдиціи. Разсмотримъ эти преюдиціи; въ чемъ же онѣ состоятъ? Во-первыхъ, въ осужденіи Юнія народнымъ судомъ; но это — вспышка политическихъ страстей, а не судъ. Во-вторыхъ, въ осужденіи юніанцевъ. Неправда: тѣ изъ нихъ, которые были осуждены, обвинялись не въ полученіи взятки отъ Клуенція, тѣ же, которые обвинялись въ послѣднемъ, осуждены не были. Въ третьихъ, въ оштрафованіи Септимія; но *litis aestimatio* не имѣетъ преюдиціального характера. Въ четвертыхъ, въ приговорахъ цензоровъ, сената и т. под.; но и они не могутъ считаться преюдиціями. Все это доказывается подробно, ясно и убѣдительно. Положимъ, при нашей системѣ вольной оцѣнки судебныхъ доказательствъ этотъ споръ о паличности или отсутствіи преюдиціального характера въ данномъ приговорѣ насъ мало интересуетъ; но не забудемъ, что эта система вольной оцѣнки доказательствъ еще только вырабатывалась, причемъ — спѣшу эго замѣтить — однимъ изъ наиболѣе ревностныхъ ея приверженцевъ былъ именно Цицеронъ. Особенно же важнымъ моментомъ въ оцѣнкѣ доказательствъ, въ силу законченія римскаго уголовного процесса изъ гражданскаго, считались *res judicatae*: Цицерону необходимо было устранить мнѣніе, будто въ дѣлѣ имѣется хоть одна *res judicata* противъ Клуенція.

И вотъ наконецъ мы подошли къ самому пикантному мѣсту всей защиты (§ 138—142).

„Есть еще одинъ преважный авторитетъ, котораго я, стыдно сказать, чуть не пропустилъ; это — *мой собственный*. Аттій прочиталъ вамъ выдержку изъ одной рѣчи, — моей, какъ онъ не преминулъ подчеркнуть — содержащую обращеніе къ судьямъ, чтобы они творили судъ честно, и перечень нѣкоторыхъ дурныхъ судовъ, между которыми былъ названъ и Юніевъ судъ. Но развѣ я не призналъ въ самомъ началѣ своей защитительной рѣчи, что этотъ судъ пользовался дурной славой? Развѣ я могъ, рассуждая о безславіи судовъ, пропустить самый гром-

кій въ тѣ времена примѣръ? Допуская, что я и сказалъ нѣчто въ этомъ родѣ—вѣдь я говорилъ не какъ знакомый съ дѣломъ человѣкъ и не какъ свидѣтель; моими устами говорила сто-ропа, а не мое личное убѣжденіе, не мой личный авторитетъ. Я былъ обвинителемъ: моей задачей было въ началѣ рѣчи — возбудить вниманіе слушающаго народа и судей; съ этой цѣлью я сталъ перечислять прегрѣшенія судовъ, руководствуясь не своимъ личнымъ мнѣніемъ, а тѣмъ, что говорили люди; не могъ я при такихъ обстоятельствахъ пропустить дѣло, которое благодаря усердной агитаціи получило такую всенародную огласку. *Грубо ошибается тотъ, кто наши судебныя рѣчи считаетъ сводами нашихъ личныхъ убѣжденій*; всѣ онѣ — органы обстоя-тельствъ дѣла и сторонъ, а не самихъ повѣренныхъ, какъ лю-дей. Если бы стороны могли сами говорить за себя, никто бы не приглашалъ оратора; если же насъ приглашаютъ, то ко-нечно не для того, чтобы мы излагали наши собственные воз-зрѣнія, а для того, чтобы мы высказывали то, чего требуютъ самое дѣло и интересы стороны.

„Умный ораторъ М. Антоній не разъ говаривалъ, что онъ для того никогда не издалъ ни одной рѣчи, чтобы ему легче было, въ случаѣ надобности, отказаться отъ своихъ собствен-ныхъ словъ; какъ будто наши слова не запечатлѣваются въ памяти людей и безо всякихъ записей съ нашей стороны! Нѣтъ, я въ этомъ пунктѣ скорѣе соглашаюсь съ другими ораторами, главнымъ образомъ съ краснорѣчивѣйшимъ и мудрѣйшимъ изъ нихъ, Л. Крассомъ. Однажды онъ защищалъ Гн. Планка; обвинителемъ былъ М. Брутъ, пылкій и хитрый ораторъ. Этотъ Брутъ представилъ суду двоихъ чтецовъ и велѣлъ имъ читать по главѣ изъ двухъ рѣчей Красса, въ которыхъ развивались мнѣнія, противорѣчащія другъ другу: въ одной рѣчи, произне-сенной противъ законопредложенія объ упраздненіи колоній Нарбона, авторитетъ сената умаялся до предѣловъ возмож-наго; другая, напротивъ, произнесенная за Сервиліевъ законъ, содержала блистательный панегирикъ сенату. Крассу, очевидно, была непріятна эта критика его политическихъ рѣчей, въ ко-торыхъ мы, дѣйствительно, скорѣе вправѣ требовать отъ ора-тора постоянства въ развиваемыхъ имъ мнѣніяхъ. Что же ка-сается меня, то чтеніе Аттія меня ничуть не смущаетъ. Моя

тогдашняя рѣчь вполне соответствовала обстоятельствамъ дѣла, по которому она была произнесена, и точкѣ зрѣнія, на которой я стоялъ, какъ представитель стороны; она не налагала на меня никакихъ обязательствъ, которыя мѣшали бы мнѣ честно и свободно въ настоящемъ дѣлѣ защищать Клуенція. А затѣмъ — если я сознаюсь, что только теперь изслѣдовалъ его дѣло, а тогда раздѣлялъ общее о немъ мнѣніе, что же тутъ дурного? Вѣдь я и къ вамъ, судьи, справедливо могу предъявить требованіе, которое я выразилъ уже въ началѣ рѣчи и теперь повторяю — чтобы тѣ изъ васъ, которые явились сюда съ неблагоприятнымъ мнѣніемъ о судѣ Юнія, отказались отъ него, узнавъ отъ меня подробности дѣла и истинный ходъ событій“.

Я уже раньше сказалъ, что это мѣсто — интересная данная для исторіи адвокатской этики; это значеніе за нимъ и останется, все равно какъ бы мы ни рѣшили — теперь, въ началѣ двадцатаго вѣка — поставленный Цицерономъ вопросъ. Его рѣшеніе выходитъ изъ предѣловъ и моей задачи и моей компетенціи; какъ филологъ я долженъ, однако, во избѣжаніе недоразумѣнія, замѣтить слѣдующее. Если бы вопросъ былъ поставленъ такъ: „имѣетъ ли адвокатъ право, въ интересахъ стороны, выдавать за правду то, что по его убѣжденію неправда?“, то я не думаю, чтобы Цицеронъ рѣшился отвѣтить на него утвердительно. Конечно, на практикѣ встрѣчаются случаи, когда въ сердцѣ слушающаго судебную рѣчь невольно закрадывается подозрѣніе, что говорящій разрѣшилъ себѣ такую вольность; но отъ допущенія неправды на практикѣ до ея узаконенія въ теоріи — громаднѣйшій шагъ. Нѣтъ; здѣсь дѣло касается только обширной области сомнительнаго. Вопросъ поставленъ такъ: имѣетъ ли адвокатъ право, въ интересахъ стороны выдавать за правду такое построеніе, которое нигдѣ не приходитъ въ столкновеніе съ удостовѣренными фактами и ни въ чемъ, поэтому, не противорѣчитъ его убѣжденіямъ? Не считаю нужнымъ скрывать, что, поинтересовавшись рѣшеніемъ этого вопроса у современныхъ теоретиковъ (Фридмана, Шалля и Богера, Варги, Пикара Владимірова и др.), я нашелъ, что и они рѣшаютъ его въ утвердительномъ смыслѣ. Но, какъ я уже сказалъ, это меня здѣсь не касается; Цицеронъ во всякомъ случаѣ отвѣтилъ на него утвердительно.

Изъ всего этого слѣдуетъ выводъ: виновность Клуенція въ подкупѣ суда ничѣмъ не доказана, ни прямо, ни косвенно, между тѣмъ какъ виновность Оппіаника несомнѣнна. Обвинитель, такимъ образомъ, ошибался, когда утверждалъ, что защита, за невозможностью обѣлить Клуенція въ дѣлѣ подкупа суда, станетъ на почву закона, не допускающаго преслѣдованія за такое дѣло римскаго всадника. Нѣтъ: отпоръ данъ обвиненію на почвѣ фактовъ, а не права; а впрочемъ, разъ этотъ отпоръ данъ, позволительно вспомнить и о томъ законѣ. Если законъ дуренъ—что-жъ, отмѣните его законодательнымъ путемъ; но, пока онъ существуетъ, ему слѣдуетъ повиноваться.

Первая часть обвиненія, такимъ образомъ, опровергнута: обвинять Клуенція въ подкупѣ Юніева суда ни съ точки зрѣнія фактовъ, ни съ точки зрѣнія права нельзя. *Слѣдуетъ вторая* часть: обвиненіе въ отравленіи имъ его вотчима, Оппіаника Старшаго, подкрѣпленное приведеніемъ болѣе или менѣе родственныхъ фактовъ изъ его прочей жизни. Послѣдніе—всѣ легковѣсны и маловажны; да и обвиненіе въ отравленіи Оппіаника не лучше обосновано. Въ самомъ дѣлѣ, обстоятельства смерти стараго злодѣя никакихъ уликъ не содержатъ; что же касается допросовъ рабовъ, Стратона и Никострата, то они были простой жестокой забавой Сассія: первый протоколъ, подписанный почтенными личностями, никакихъ показаній противъ Клуенція не содержитъ; что же касается второго, содержащаго якобы полное сознаніе, то подписавшіяся подъ нимъ лица никакого довѣрія не заслуживаютъ, провѣрить же его нѣтъ возможности, такъ какъ Сассія съ Оппіаникомъ устранили тѣхъ, кто были предметомъ допроса.

Покончивъ такъ съ обѣими частями обвиненія, указавъ—по римскому обычаю—на авторитетъ пришедшихъ поддержать Клуенція хвалителей, ораторъ слѣдующими словами заканчиваетъ свою рѣчь (§ 199—202):

„И вотъ противъ ихъ сочувствія, ихъ заботливости, ихъ усердія, противъ моего трудолюбія—которое я доказалъ вамъ тѣмъ, что по старинному обычаю взялъ на себя всю защиту подсудимаго,—противъ вашего правосудія и челоуѣколюбія ратуетъ одна лишь эта мать. Но что это за мать! Ослѣпленная жестокостью и преступной отвагой, неспособная, въ угожденіи

своимъ страстямъ, остановиться передъ какой бы то ни было гнусностью, она своею нравственной испорченностью исказила и опорочила всѣ понятія общечеловѣческаго права: едва заслуживая своимъ умственнымъ развитіемъ имени человѣка, она слишкомъ необузданна, чтобы называться женщиной, слишкомъ жестока, чтобы называться матерью. И не довольствуясь извращеніемъ имени и права, которымъ надѣлила ее природа, она пожелала представить въ своей особѣ смѣшеніе всевозможныхъ степеней родства, ставъ женой своего зятя, мачехой своего сына, разлучницей своей дочери; она довела себя до того, что, кромѣ своей наружности, не оставила себѣ ничего, что бы сближало ее съ человѣческимъ родомъ!

„Въ виду всего этого, судьи, прошу васъ, если въ васъ сильна ненависть къ преступленію, преградите матери доступъ къ крови ея дѣтища, пронзите сердце родительницы небывалой еще печалью, даруя жизнь и побѣду ея сыну, не дайте матери возрадоваться своей осиротѣлости—пусть лучше уйдетъ она отсюда, побѣжденная вашимъ правосудіемъ. Если же въ васъ, какъ этого и требуетъ ваша природа, сильнѣе любовь въ чести, къ правдѣ, добру,—то облегчите, наконецъ, судьи, участь этого вашего просителя, который столько уже лѣтъ живетъ окруженный незаслуженнымъ безславіемъ и опасностями, который теперь впервые послѣ той бури, поднятой чужими дѣянiями, чужой неправотой, начинаетъ дышать нѣсколько бодрѣе и свободнѣе, забывая свой страхъ въ надеждѣ на ваше правосудіе, который въ васъ видитъ вершителей своей судьбы, котораго столь многіе желаютъ видѣть спасеннымъ, но спасти можете одни вы. Клуенцій умоляетъ васъ, судьи, съ плачемъ закликаетъ васъ, чтобы вы его не выдали ненависти толпы, которой не мѣсто въ судѣ, не выдали—его матери, обѣты и молитвы которой могутъ внушать вамъ одно отращеніе, не выдали—Оппіанику, этому нечестивцу, котораго уже постигли осужденіе и смерть. Если на него, несмотря на его невинность, обрушится бѣдствіе на этомъ судѣ—о, какъ будетъ онъ жалѣть, несчастный, если только онъ преодолѣетъ себя и останется живъ, какъ часто и глубоко будетъ онъ жалѣть о томъ, что обнаружилъ нѣкогда тотъ ядъ, который ему подносилъ Фабрицій: не будь онъ тогда предостереженъ—этотъ ядъ былъ бы

для этого страдальца не ядомъ, а исцѣленіемъ отъ многихъ скорбей: тогда, быть можетъ, сама мать пошла бы провожать его прахъ и притворилась бы горюющей о смерти своего сына. Теперь же въ чемъ будетъ заключаться его облегченіе? Ужъ не въ томъ ли, что его жизнь, вырванная изъ самой пучины гибели, будетъ обречена постоянной печали, а въ смерти онъ будетъ лишень утѣшенія почить въ гробницѣ своихъ отцовъ?.. Но нѣтъ: довольно томился онъ, судьи, достаточное число лѣтъ преслѣдовала его молва; нѣтъ у него, если не считать матери, такого ненавистника, душа котораго не была бы уже утолена. Вы, которые справедливы ко всѣмъ, вы, которые тѣмъ ласковѣе принимаете человѣка, чѣмъ ожесточеннѣе его притѣсняютъ — пощадите Клуенція; верните его невредимымъ его родинѣ, возвратите его этимъ его друзьямъ, сосѣдямъ, гостепріимцамъ, любовь которыхъ вы видите, сдѣлайте его навѣки должникомъ вашимъ и вашихъ дѣтей; это будетъ достойно васъ, судьи, достойно вашего званія, вашей кротости. Мы вправѣ требовать отъ васъ, чтобы вы освободили наконецъ отъ бѣдствій человѣка добраго, невиннаго, дорогого такому множеству людей, и чтобы вы этимъ дали всѣмъ понять, что слѣпая ненависть можетъ бушевать въ народныхъ сходкахъ, но что въ судахъ должна царствовать правда“.

VII.

Для насъ послѣднія слова оратора — послѣднее, что мы узнаемъ о дѣлѣ Клуенція вообще. Конечно, аналогіи другихъ процессовъ доказываютъ намъ, что когда, послѣ заключительныхъ словъ защитника, судебный приставъ по приказанію предсѣдателя своимъ *dixerunt* объявилъ пренія законченными, то начался допросъ свидѣтелей, занявшій, повидимому, не одно засѣданіе. Но мы специально объ этомъ допросѣ ничего не знаемъ; не знаемъ даже навѣрно, чѣмъ кончился процессъ; хотя, съ другой стороны, охотность, съ которой Цицеронъ вспоминалъ объ этой своей рѣчи, слава, которой она пользовалась у позднѣйшихъ, невольно заставляютъ насъ думать, что его защита была не безуспѣшна.

Это, въ сущности, для насъ и не такъ важно. Важно для насъ то дыханіе жизни, которое мы чувствуемъ, перечитывая теперь, спустя двѣ тысячи лѣтъ послѣ дѣла Клуенція, произнесенную за него рѣчь Цицерона; то дыханіе жизни, которое манитъ насъ къ этому дѣлу, точно къ развитому организму, заставляя насъ всматриваться въ функціи его отдѣльныхъ частей и воспроизвести его въ нашемъ воображеніи какъ нѣчто цѣльное, жизнеспособное и живое. Не устоялъ противъ этого соблазна и я; работа была не изъ легкихъ, и мнѣ приходилось не разъ ошибаться и поправлять свои ошибки, прежде чѣмъ мнѣ удалось уразумѣть и изобразить связь между отдѣльными частями изучаемаго организма; надѣюсь, что мой трудъ былъ не безплоденъ, и что люди, непосредственно знакомые съ жизнью уголовныхъ процессовъ, найдутъ дѣло Клуенція въ моемъ изображеніи, по крайней мѣрѣ, жизнеспособнымъ.



Характеръ античной религіи въ сравненіи съ христіанствомъ.

(1908).

Оцѣнка античной религіи въ сознаніи христіанскаго общества за все время существованія послѣдняго пережила очень интересную и характерную эволюцію, обусловленную отчасти его собственнымъ культурнымъ уровнемъ, отчасти большею или меньшею близостью къ нему образовъ античной религіи и внушаемыми ими симпатіей и антипатіей, отчасти, наконецъ, и измѣненіемъ взглядовъ на само христіанство. Прослѣдить эту эволюцію необходимо для того, чтобы понять послѣдній ея фазисъ—тотъ, которому суждено опредѣлить на будущее время отношеніе вдумчиваго христіанина къ античной религіи и навсегда, думается мнѣ, укрѣпить ея цѣнность.

I.

При обзорѣ этой эволюціи естественнѣе всего начать съ самой эпохи *возникновенія христіанскихъ общинъ* въ средѣ античнаго общества и, какъ его послѣдствія, возникновенія антагонизма между христіанствомъ и язычествомъ; напедшаго себѣ выраженіе въ полемическихъ сочиненіяхъ христіанскихъ писателей, такъ называемыхъ апологетовъ, противъ окружающей и угнетающей ихъ религіи. Я этимъ не хочу преувеличивать оригинальности доводовъ, которые мы встрѣчаемъ у этихъ пи-

сателей: теперь можетъ считаться удостовѣреннымъ, что христіанская апологетика пошла по стопамъ іудейской, точно такъ же, впрочемъ, какъ эта послѣдняя усвоила соображенія самой античной философіи, преимущественно эпикуреизма, противъ античной религіи. Но при всей заимствованности отдѣльныхъ аргументовъ, общій аспектъ античной религіи былъ для той эпохи чѣмъ-то поразительно новымъ. Зарождающееся новое христіанское общество въ огромномъ большинствѣ своихъ представителей не думало оспаривать *реальность* образовъ античной религіи, будь то ясные и пластичные боги греческаго Олимпа, или туманныя въ своей отвлеченности божества римскихъ понтификальных книгъ, или, наконецъ, расплывающіеся въ безграничности мірозданія приплесы съ азіатско-египетскаго Востока. Нѣтъ, всѣ они дѣйствительно были—и Зевсъ, и Квиринъ, и Исида; но только это были не боги, а враги единаго Бога, демоны. Но кто же они такіе, эти демоны? На это отвѣтить можно было различно. Одинъ отвѣтъ подсказывала Книга Бытія: это были падшіе ангелы, возставшіе противъ Творца, низвергнутые за это въ преисподнюю и старающіеся съ тѣхъ поръ завлечь съ собою туда же и весь родъ людской. Другой отвѣтъ напрашивался самъ собою для лицъ, знакомыхъ съ религіозно-философскою теоріей нѣкоторыхъ ученыхъ язычниковъ, такъ называемыхъ евгемеристовъ. Согласно этой теоріи, боги были первоначально людьми, возведенные послѣ смерти въ санъ боговъ за свои заслуги. Это можно было принять, за исключеніемъ, конечно, заслугъ. Да, всѣ они—Юпитеръ, Меркурій, Венера,—были нѣкогда людьми, но людьми силы—злыми, хитрыми, развратными... къ сожалѣнію, греко-римскіе миѳы въ соблазнительномъ пересказѣ Овидія и другихъ давали черезчуръ даже обильный матеріалъ для этого утвержденія. Теперь ихъ души живутъ среди отверженныхъ, но успокоиться онѣ не могутъ: онѣ блуждаютъ среди людей, стараясь найти среди нихъ приверженцевъ и поклонниковъ себѣ, стараясь и ихъ сдѣлать такими же злыми, хитрыми, развратными, какими были нѣкогда они. Въ тогдашнемъ римскомъ обществѣ христіане находили блестящее подтвержденіе своей теоріи: да, эти боги были достойными представителями и показателями тогдашняго злого, хитраго, развратнаго Рима. Но именно поэтому хри-

стіанинъ долженъ чуждаться ихъ; именно поэтому «идолопоклонство» было не неразуміемъ, каковымъ оно представлялось атеистической философіи эпикурейцевъ, а нечестіемъ.

Повторяю, для христіанъ послѣднихъ вѣковъ античности языческіе боги были реальными существами, такъ же какъ и для своихъ приверженцевъ. Одно объясняетъ другое: психологически невозможно было не допускать реальности того, чему столь многіе столь усердно поклонялись. Но эта причина была преходяща: когда послѣдній языческій кумиръ палъ подъ ударами христіанскаго молота, когда послѣдній жертвенникъ былъ разрушенъ и истоптанъ, тогда, казалось, и языческіе боги, а съ ними и вся античная религія должна была отойти въ область небытія.

Случилось ли это? Чтобы убѣдиться въ этомъ, посмотримъ, каково было представленіе объ античной религіи въ эпоху *среднихъ вѣковъ*.

Само собой разумѣется, прежде всего, что для подавляющаго большинства христіанскаго населенія Европы отвѣтъ будетъ чисто отрицательнымъ: тѣ обитатели кельтскихъ, германскихъ, славянскихъ лѣсовъ, которые приняли христіанство изъ устъ свв. Колумбана, Вонифатія или Кирилла и Меѳодія, ничего не знали о Зевсѣ, Меркуріи или Исидѣ. Здѣсь рѣчь идетъ только объ интеллигенціи духовнаго или полудуховнаго покроя, но затѣмъ и о тѣхъ, которые находились подъ ея ближайшимъ воздѣйствіемъ; такъ вотъ благодаря ей, этой интеллигенціи, и образы античной религіи ожили вновь или, быть можетъ, не успѣли умереть. Дѣйствительно, въ эпоху средневѣковья вѣра въ реальность античныхъ боговъ еще не утратилась: конечно, они уже не чувствовались въ непосредственной близости, какъ нѣкогда въ эпоху зарожденія христіанства, такъ какъ не было кругомъ поклоняющихся имъ людей; но и въ томъ отдаленіи, въ которомъ они пребывали, они не переставали внушать безпокойство. Причины этому были различны. Съ одной стороны, средневѣковая христіанская школа приняла наслѣдство античной школы и продолжала воспитывать своихъ питомцевъ на твореніяхъ древнихъ римскихъ поэтовъ, особенно Виргилія, а молодому уму трудно свыкнуться съ мыслью о полной нереальности того, во что такъ пламенно вѣруетъ усердно читаемый и по-

читаемый авторъ. Съ другой стороны, въ составъ богословскаго чтенія входила и древне-христіанская апологетика, а эта послѣдняя, какъ мы знаемъ, признавала реальность античныхъ боговъ или, какъ она ихъ называла, демоновъ. Наконецъ, сокровенной наукой позднѣйшаго средневѣковья была алхимія, чернокнижіе, старинная наука Гермеса-Меркурія, которая теперь, послѣ долгаго обхода черезъ еврейскія и арабскія руки, вернулась въ Европу. Конечно, этотъ обходъ не прошелъ для нея безслѣдно, и она, благодаря ему, обогатилась обильнымъ персоналомъ семитической демонологіи, причемъ печать Соломона едва не вытѣснила волшебнаго жезла первоначальнаго покровителя «герметическаго» искусства; но все же въ пестрой компаніи восточной каббалистики и магіи продолжали встрѣчаться и античные боги. Все это вмѣстѣ взятое не могло не содѣйствовать оживленію вѣры въ реальность образовъ античной религіи какъ силы, враждебной Богу и опасной для человѣка. Красивымъ символомъ этой силы была прелестница Венера, Frau Venus или Frau Minne, богиня трубадуровъ и миннезингеровъ, личность не менѣе реальная для средневѣковаго человѣка, какъ и сама Богородица, противницей которой она была. Она живетъ здѣсь же, среди людей, въ подземномъ гротѣ и иногда чарующимъ пѣніемъ своихъ дѣвъ привлекаетъ къ себѣ христіанъ. Тогда двери живого міра закрываются для поддавшихся соблазну, и для нихъ начинается «долгая пляска», долгій волшебный сонъ — вплоть до ужаснаго пробужденія въ пламени геенны.

Во всемъ этомъ было одно неразрѣшенное противорѣчіе, одна двусмысленность: ею была роль языческой римской поэзіи, въ которой эта враждебная христіанству сила была описана въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ. Церковь была поэтому очень недовольна этимъ наслѣдіемъ античности, которое какъ-то само собою въ силу традиціи держалось въ ея школахъ, и стремилась — чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе — замѣнить языческіе факторы своего воспитанія христіанскими. *Эпоха Возрожденія* положила конецъ ея усиліямъ; но такъ какъ дѣятели этой эпохи, гуманисты, не имѣли въ виду бороться съ христіанствомъ, а напротивъ, считали себя правовѣрными католиками, то имъ пришлось какъ-нибудь доказать безобидность, съ точки

зрѣнія вѣры, той античной поэзіи, которую они такъ любили. Это имъ удалось блистательно; но спасая античную религію для поэзіи, они этимъ самымъ уничтожили вѣру въ реальность ея образовъ. Иначе и быть не могло. Если Юпитеръ, Венера и всѣ прочіе имѣли свое реальное существованіе въ видѣ враждебныхъ Богу и опасныхъ для человѣческой души демоновъ-дьяволовъ, то роднить съ ними эту самую душу, да еще въ самомъ нѣжномъ періодѣ ея развитія, было прямо грѣшно; противъ этого возражать было трудно. Другое дѣло, если ихъ въ дѣйствительности нѣтъ и никогда не было. Но если Юпитеръ съ Венерой — не боги и не дьяволы, то что же они такое? Съ одной стороны, олицетвореніе природныхъ или нравственныхъ силъ: многіе античные мифы получаютъ прекрасное и глубокомысленное содержаніе, если ихъ подвергнуть аллегорическому толкованію. А съ другой стороны — многіе рассказы о богахъ представляютъ собою праздные, если угодно, но красивые вымыслы поэтовъ, къ которымъ и слѣдуетъ относиться исключительно съ поэтической точки зрѣнія. Эти разсужденія, къ слову сказать, не были новостью; то теперь только этотъ голосъ, звучавшій нѣкогда среди многихъ и заглушаемый голосами преданной и гнѣвной вѣры — сталъ звучать одиноко и побѣдоносно.

Благодаря его побѣдѣ, образы античной религіи были окончательно и безповоротно изъяты изъ области вѣры и подѣлены между областью науки и областью поэзіи. Наукѣ надлежало систематизировать и объяснять античную религію или, вѣрнѣе, единственный ея остатокъ — античную мифологію; поэзіи предоставлялось пересказывать ея вымыслы въ полномъ сознаніи ихъ вымышленности, прибѣгая при этомъ къ помощи родственныхъ ей изобразительныхъ искусствъ. Наука, пока что, туго отзывалась на этотъ призывъ, но поэзія съ живописью и скульптурой послѣдовали ему очень охотно: эпоха гуманистовъ, но еще болѣе классицизмъ XVII вѣка были настоящимъ расцвѣтомъ античной мифологіи. До какой степени были къ тому времени позабыты прежнія войны между античной религіей и христіанствомъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ лучше всего одно изъ характернѣйшихъ сочиненій XVII вѣка, нѣкогда общезнѣвшая, теперь почти забытая книга «Приключенія Теле-

маха». Идея этой книги—воспитаніе молодого героя въ духѣ добродѣтели и труда подъ руководствомъ Минервы, сопровождающей его подъ видомъ мудраго старца Ментора, и въ противодѣйствіи кознямъ Венеры, старающейся опутать его сѣтями своихъ любовныхъ чаръ. Тутъ характернѣй всего то, что эта вполне языческая по своей обстановкѣ книга имѣетъ авторомъ одного изъ первыхъ представителей христіанской церкви того времени—камбрейскаго архіепископа Фенелона.

Такъ-то между античной религіей и христіанствомъ въ Европѣ XVII в. воцарился глубокій миръ, по крайней мѣрѣ, въ католической. Не былъ онъ нарушенъ и въ первую половину XVIII в., когда само христіанство подверглось усиленнымъ нападеніямъ со стороны вольнодумствующей науки, въ такъ называемую *просвѣтительную эпоху*. Для нея античная религія не представляла особеннаго интереса: увѣренная заранѣе въ ея полной несостоятельности, какъ и вообще несостоятельности какой бы то ни было религіи, просвѣтительная мысль если и занималась ея бреднями, то для того только, чтобъ выставить ихъ намѣреннымъ обманомъ хищныхъ и коварныхъ жрецовъ.

II.

Переломъ и здѣсь наступилъ во вторую половину XVIII вѣка, эпоху возникновенія *неогуманизма* и родственныхъ ему идей. Была открыта народная поэзія; съ этой новой точки зрѣнія и давно извѣстный, но до тѣхъ поръ непонятый Гомеръ пріобрѣлъ новый интересъ. А съ Гомеромъ возвысилась и та народная греческая религія, пророкомъ которой онъ былъ. Началось столь знаменательное для новаго времени «вчувствованіе» въ античную религію; открытіе трудами Винкельмана истинной греческой скульптуры оказало могучее содѣйствіе такому направленію. Стали свыкаться съ представленіемъ объ античной религіи, какъ о дѣйствительной религіи; стали смотрѣть глазами вѣрующихъ на ея образы въ твореніяхъ Гомера и Фидія. Дѣйствіе новыхъ откровеній было на первыхъ порахъ ошеломляющимъ: благодаря помощи, которую оказывала дружелюбно настроенная фантазія, древне-эллинскіе боги предстали

передъ глазами неогуманистовъ въ такомъ ослѣпительномъ свѣтѣ, что рядомъ съ ними поблекли отвлеченности христіанской догматики. Кульминаціоннымъ пунктомъ этого движенія было знаменитое и по сіе время стихотвореніе Шиллера «Боги Эллады», въ которомъ провозглашалось превосходство античной эллинской религіи передъ христіанской и прославлялось счастье человѣчества въ ту прекрасную, наивную пору,

Какъ вѣнчали храмъ твой, Афродита,
Ликъ твой, Амагузія!

Все же это была пока поэзія; дать сильное представленіе о томъ, чѣмъ въ дѣйствительности была античная религія, какъ сама по себѣ, такъ и въ ея отношеніи къ христіанству, могла только наука, въ данномъ случаѣ—филологическая наука. Не сразу поняла она свою задачу. У ея перваго представителя изъ неогуманистовъ, Хр. Гейне, была еще настолько сильна просвѣтительная заковка, что онъ допускалъ происхожденіе міѳа изъ аллегоріи, послѣдствіемъ чего было отрицаніе настоящей вѣры въ религіозные образы, по крайней мѣрѣ, у самихъ творцовъ міѳа. Но время требовало своего, и вскорѣ аллегорическое толкованіе стало лицомъ къ лицу съ другимъ, болѣе вытекающимъ изъ современныхъ условій—съ символическимъ.

Эти современные условія тогда наилучшимъ образомъ шли навстрѣчу всему таинственному, сокровенному, чудесному. Съ одной стороны—мистицизмъ Сведенборга, подкрѣпленный къ концу столѣтія чудесничествомъ Кальостро, съ другой стороны—масонство съ его своеобразнымъ сочетаніемъ вольнодумства и оккультизма,—все это направило умы по стезѣ сверхъестественнаго и приспособило ихъ къ воспріятію откровеній изъ надземнаго міра. И масонство, и Кальостро указывали на Востокъ, какъ на источникъ своихъ тайнствъ; настоящимъ же Востокомъ Востока и колыбелью человѣческой культуры считали Индію. Когда съ начала XIX вѣка литература и философія Индіи стали извѣстными въ Европѣ, случилось нѣчто противоположное тому, что послѣдовало за открытіемъ Гомеровской поэзіи: теперь ясные образы гомеровскаго Олимпа поблекли передъ призраками, показавшимися изъ-за священ-

наго полумрака индійскихъ пещеръ. Для любителей античности явилась естественная потребность приобщить и свою область къ той, которая пользовалась такимъ расположеніемъ публики, доказать, что Греція — тотъ же Востокъ, что и здѣсь мудрое жречество восточнаго происхожденія въ символической формѣ распространяло глубокомысленное ученіе о природѣ мірозданія и души. Взялись за исполненіе этой задачи многіе, но главными ея исполнителями были двое: Сентъ-Круа во Франціи и Крейцеръ въ Германіи. Въ наукѣ имъ не посчастливилось: я уже сказалъ, что въ ней, при всемъ ея неогуманистическомъ характерѣ, была сильна просвѣтительная закваска. Противникомъ Крейцера выступилъ Фоссъ со своей «Антисимволикой», противникомъ Сентъ-Круа — Лобекъ со своимъ еще болѣе знаменитымъ «Аглаофамомъ». Трезвая, насмѣшливая, чуждая всякой фантастичности, но и всякой фантазіи критика обоихъ ученыхъ надолго уронила престижъ символизма — безъ малаго на цѣлое столѣтіе.

Наука пошла по другому пути. Съ одной стороны, изученіе міеологіи другихъ народовъ подало надежду, что путемъ сравненія міеовъ удастся опредѣлить ихъ древнѣйшій составъ и выяснить ихъ значеніе; съ другой стороны, изслѣдованіе самихъ античныхъ источниковъ, запасъ которыхъ постоянно возрасталъ (особенно въ области живописи), дало возможность внутри самой античности установить послѣдовательность въ развитіи міеовъ. Явились «сравнительная» и «историческая» міеологіи. Тамъ беззаботно привлекали для сравненія позднѣйшія формы міеовъ на-ряду съ древнѣйшими, стараясь главнымъ образомъ найти единый принципъ объясненія ихъ всѣхъ. Таковымъ было либо солнце съ луною и звѣздами (солярная теорія), либо земная влага, либо добытіе небесной влаги изъ тучи, либо происхожденіе жертвеннаго огня, либо душа умершаго и ея культъ. Разрѣшеніе удавалось прекрасно; но именно, то, что оно удавалось одинаково прекрасно при всѣхъ перечисленныхъ принципахъ, не могло не подорвать вѣры въ правильность метода. Здѣсь, наоборотъ, въ «исторической» міеологіи, задача объясненія мало беспокоила умы, и это, пожалуй, было хорошо; зато изслѣдованія источниковъ давали очень цѣнные результаты, какъ подготовительная работа, и достаточно

указать на такой монументальный объединяющій трудъ, какъ миеологическій словарь Рошера, чтобы вполне понять и оправдать гордость представителей этой школы.

Правда, съ другой стороны, что при этой работѣ то религиозное вчувствованіе, которое создало великодушное увлеченіе античной религіей въ эпоху Шиллера и символизма начала XIX в., совершенно прекратилось; само понятіе античной религіи потеряло право на существованіе. Убѣжденіе, что нужно самому быть до нѣкоторой степени художникомъ для того, чтобы понять античное искусство, мало-по-малу распространялось, вытѣсняя прежній антикварный методъ; но другое, параллельное ему убѣжденіе, *что только религіозно настроенный человекъ можетъ понять также и античную религію*—даже и не появлялось среди ученыхъ.

III.

Соотвѣтственно этому и *сравненіе съ христіанствомъ*—въ какомъ бы то ни было смыслѣ—либо отсутствовало вовсе, либо производилось съ предвзятой точки зрѣнія. Способствовало этому немало и столь же необходимое, сколь и вредное раздѣленіе факультетовъ. Античная религія (или то, что отъ нея сохранилось) проходила на философскомъ или филологическомъ факультетѣ; христіанская религія, разумѣется, на богословскомъ. Филологи благоразумно сторонились всякихъ захватовъ въ область своихъ сосѣдей; богословы довольствовались тѣмъ, что, согласно традиціи, выводили христіанство изъ іудейства, Новый Заветъ изъ Ветхаго, античной же религіи они отводили мѣсто среди религій языческихъ, такъ называемыхъ религій низшаго порядка.

Справедливость требуетъ признать, что движеніе, измѣнившее этотъ порядокъ вещей, возникло все-таки на богословскихъ факультетахъ. Изученіе раннихъ періодовъ христіанской церкви обратило вниманіе изслѣдователей на цѣлый рядъ религіозныхъ образованій, посредствующихъ между христіанской религіей и античными—образованій, которымъ нынѣ присвоено мѣткое имя попытокъ «острой эллинизациі христіанства». Ко-

нечно, тутъ дѣло касалось теченій, которыя господствующей церковью были признаны еретическими; все же одинъ тотъ фактъ, что эти теченія, будучи античными, считали себя христіанскими, не могъ не подвергнуть сомнѣнію взгляда на античную религію, какъ на религію низшаго порядка. Но пытливость изслѣдователей не остановилась на полпути: она подвергла анализу и то христіанство, которое, явившись результатомъ борьбы съ ересями III в., стало признаннымъ ученіемъ христіанской церкви—и результатъ этого анализа былъ такой, что значеніе античной религіи, какъ непосредственной предшественницы христіанской—стало вполне несомнѣннымъ. Нѣтъ надобности соглашаться съ парадоксальнымъ мнѣніемъ Гарнака, который видитъ въ христіанствѣ, по крайней мѣрѣ восточной церкви, античную религію съ христіанскимъ утѣмъ: уже одно то, что ученій съ его именемъ и знаніями могъ дойти до такого парадокса, свидѣтельствуетъ о важности происшедшей здѣсь перемѣны.

Прежде чѣмъ идти дальше, посмотримъ внимательнѣе то мѣсто нашего пути, къ которому мы пришли. Мы говоримъ о христіанствѣ христіанской церкви III и IV в., отличая его этимъ какъ будто отъ христіанства Христа; а между тѣмъ есть не только богословскія школы, но и цѣлыя церкви, которыя этой разницы не признаютъ. Конечно, онѣ могутъ ошибаться, и аналитическое изслѣдованіе можетъ обнаружить эту ошибку; но не ляжетъ ли необходимость этого изслѣдованія грузной заставой поперекъ нашего пути?

Думаю, что нѣтъ; думаю, что есть діалектическая тропинка, которая можетъ помочь намъ обойти эту заставу. Но прежде чѣмъ указать ее, мнѣ хотѣлось бы отмѣтить другую тропинку, которая тоже ведетъ въ обходъ заставы, но грозитъ повести насъ въ еще худшія дебри.

Эта опасная тропинка сводится къ слѣдующему ходу мыслей. Допустимъ, что церковное христіанство есть именно ученіе Христа; кто же мѣшаетъ намъ поставить вопросъ о зависимости этого послѣдняго отъ античной религіи? Палестина была тогда не только окружена, но и пропитана эллинизмомъ; спеціально Галилея кипѣла греками; всюду греческія имена, греческая рѣчь; не естественно ли допустить, что ученіе, явив-

шееся протестомъ галилеянъ противъ іудейскаго закона, возникло именно подъ вліяніемъ античныхъ идей? Дѣйствительно, были ученые, не убоившіеся этой тропинки; другіе озабоченно или негодующе смотрѣли на ихъ попытки, опасаясь, какъ бы ихъ результатомъ не явилось устраненіе самаго драгоценнаго элемента христіанства — его богооткровенности. О неосновательности этихъ опасеній еще будетъ рѣчь; я же въ данномъ случаѣ руководствуюсь не ими, а, какъ было замѣчено выше, наличностью другой, гораздо болѣе надежной тропинки.

На нее насъ наводитъ неоспоримый фактъ, что христіанизация Европы состоялась на той же почвѣ, которая испытала на себѣ также всю эволюцію античной религіи. Для іудейства христіанство было маловажнымъ эпизодомъ не только временнаго, но и мѣстнаго характера; мало того: кто сравнитъ іудейскую вѣтвь христіанства съ прочими, тому она съ самаго начала покажется чѣмъ-то хилымъ и половинчатымъ, не обѣщающимъ никакой жизни, никакого развитія въ будущемъ. Итакъ, несомнѣнно, что языческій міръ былъ гораздо лучше подготовленъ къ воспріятію христіанства, чѣмъ іудейство; это культурно-историческій фактъ такой огромной важности, что рядомъ съ нимъ вопросъ объ отношеніяхъ Христа къ іудеямъ теряетъ свою жгучесть. А этотъ неоспоримый фактъ въ свою очередь наводитъ насъ на правильную постановку того вопроса, о которомъ у насъ идетъ рѣчь. Мы не будемъ говорить о зависимости христіанства отъ античной религіи; вопросъ нашъ поставленъ такъ: какіе элементы античной религіи подготовили античный міръ къ воспріятію христіанства?

Именно въ этой постановкѣ вопроса заключается новый взглядъ на античную религію; отвѣтъ же на поставленный такимъ образомъ вопросъ будетъ таковъ, что, благодаря ему, мы получимъ возможность принять вышеупомянутый парадоксъ Гарнака въ болѣе полной мѣрѣ и въ болѣе серьезномъ значеніи, чѣмъ полагалъ онъ самъ. Да, христіанство было античной религіей, и притомъ не только восточное, а все; но, называя его такъ, мы не унижаемъ христіанства, а, наоборотъ, возвышаемъ античную религію.

IV.

Глубокій знатокъ исторіи религій вообще и религій древняго Востока въ особенности, недавно скончавшійся голландскій профессоръ Тиле, усмотрѣлъ характернѣйшую разницу между индо-европейскими и семитическими религіями въ личности или отсутствіи того, что можно выразить однимъ словомъ: Богочеловѣчность.

Въ представленіи семита неизмѣримая пропасть отдѣляетъ божество отъ созданнаго имъ рода человѣческаго: оно властвуетъ надъ нимъ, но не роднится съ нимъ, не допускаетъ ни перехода своей силы въ брѣнную оболочку человѣческой плоти, ни тѣмъ паче возвышенія человѣка до него. Религіи этого порядка Тиле называетъ «теократическими»; повторяю, что онѣ характерны для семитскаго Востока.

Иначе представляли себѣ свои божества индо-европейцы. Потому ли, что убѣжденіе въ сотвореніи ими міра держалось у нихъ не особенно крѣпко и имѣло противъ себя вѣру въ ихъ происхожденіе наравнѣ съ людьми изъ предвѣчнаго міра или Земли, только пропасть между богами и людьми не казалась имъ безнадежной. Съ одной стороны, смертные люди за свои заслуги награждались безсмертіемъ и этимъ самымъ переходили въ сонмъ боговъ; съ другой стороны, и боги спускались къ смертнымъ, вступали съ ними въ общеніе и отъ смертныхъ женщинъ рожали себѣ сыновей неземной силы или дочерей неземной красоты—какихъ-нибудь Геракла или Елену. Эти послѣдніе занимали посредствующее мѣсто между богами и человѣческимъ родомъ,—самое слово: «богочеловѣкъ», *anêr theos*, впервые встрѣчается у Софокла въ примѣненіи къ одному изъ нихъ, къ только-что названному Гераклу. Такъ вотъ религіи этого порядка, признающія богочеловѣчность, мы по примѣру вышеназваннаго ученаго называемъ «теантропическими». Теантропизмъ характеренъ для индо-европейскихъ религій, семитамъ онъ чуждъ. Положимъ, мы встрѣчаемъ въ «Книгѣ Бытія» загадочное слово о томъ, какъ „сыны Божіи увидѣли дочерей человѣческихъ, что онѣ красивы, и брали ихъ себѣ

въ жены, какую кто избралъ“ (гл. 6, 2); но вѣдь извѣстно также, что это слово, различно истолкованное и различно толкуемое повинѣ, было *carut mortuum* въ религіи древняго Израиля, пока оно не нашло себѣ своеобразнаго объясненія и развитія въ ученіи черноокнижниковъ позднѣйшаго времени и не породило обширной алхимистической демонологіи.

Для античной религіи, напротивъ, богочеловѣчность не была *carut mortuum*: какъ одинъ изъ центральныхъ и непосредственно понятныхъ ея догматовъ, она господствовала надъ религіознымъ сознаніемъ античнаго человѣка и была способна къ богатому развитію. И я думаю, мы имѣемъ право сказать, что и христіанство находилось на линіи этого развитія; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что если справедливо указанное дѣленіе религій на теократическія и теантропическія и приуроченіе ихъ къ семитическимъ и индо-европейскимъ племенамъ — а я не вижу возможности оспаривать его — то одинъ признакъ богочеловѣчности воздвигаетъ нерушимую стѣну между христіанствомъ и іудействомъ, заставляя признать первое индо-европейской, а слѣдовательно античной религіей.

Тутъ, однако, напрашивается возраженіе: допустимо ли это сопоставленіе античной и христіанской богочеловѣчности? Охотно дѣлаю себѣ это возраженіе, чтобы выяснитъ одну сторону обсуждаемаго нами вопроса, о которой я просилъ бы помнить при чтеніи всей настоящей статьи. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ по возможности конкретный примѣръ — изъ разсказа Одиссея о томъ, что онъ видѣлъ въ обители Аида (Одиссея, XI, ст. 235, перев. Жуковского).

Прежде другихъ подошла благороднорожденная Тиро,
Дочь Салмонеева, славная въ мірѣ супруга Креея,
Сына Эолова; все о себѣ мнѣ она разсказала.

Сердце свое Энидеемъ, потокомъ божественно-свѣтлымъ,
Между рѣками земными прекраснѣйшимъ, Тиро плѣнила.
Часто она посѣщала прекрасный потокъ Энипея.
Въ образъ облекся его Посидонъ земледержецъ, чтобы съ нею
Въ устьѣ волнистокипучемъ рѣки сочетаться любовью.
Воды пурпурныя встали горой и, слившись прозрачнымъ
Сводомъ надъ ними, сокрыли отъ взоровъ и бога, и дѣву.
Дѣвственный поясъ ея развязалъ онъ, ей очи смеживши
Сномъ; и когда, распаленный, свое утолилъ вождѣлѣнье,

За руку взялъ, и по имени назвалъ ее, и сказалъ ей:

„Радуйся богомъ любимая! Прежде чѣмъ полный свершится
Годъ, у тебя два прекрасные сына родятся—безплоденъ
Съ богомъ союзъ не бываетъ—и ихъ воспитаи ты съ любовью.
Но возвратяся къ домашнимъ, мое называть имъ страшися
Имя; тебѣ же откроюсь: я—богъ Посидонъ земледержецъ“.

Полагаю, никто не останется нечувствительнымъ къ поэтической красотѣ этого мѣста, къ этой сценѣ любви бога и дѣвы, въ прозрачномъ терему водъ. Всякій, затѣмъ, охотно признаетъ здоровую естественность послѣднихъ словъ Посидона, поздравляющаго свою избранницу съ ея грядущимъ счастьемъ—прекрасными близнецами божественнаго сѣмени. Но при всемъ томъ возможно ли сравнить съ ними наше христіанское Благовѣщеніе? Отвѣчу: сравненіе не есть приравненіе. Отъ языческаго привѣта съ его наивной чувственностью христіанское Благовѣщеніе отличается такъ же, какъ духъ отличается отъ плоти; но при всемъ томъ я могу сказать, что этотъ духовный цвѣтъ выросъ изъ того тѣлеснаго корня. Я могу себѣ представить, что народъ, въ своемъ младенчествѣ воспринявшій понятіе богочеловѣчности въ той наивной, тѣлесной, чувственной формѣ—современемъ, возмужавъ, обученный философіей, все болѣе и болѣе ее одухотворить и обезплотить, пока не дойдетъ, наконецъ, до исполнѣ духовной, христіанской формы (эта эволюція, сопровождающая послѣдовательное обезплоченіе самого божества, совершающееся отъ Гомера до Платона—будетъ исполнѣ естественной, необходимой эволюціей). Но я рѣшительно не вижу возможности для народа, ни въ какомъ видѣ не допускающаго богочеловѣчности и происхожденія челоѣка отъ брака бога и смертной—не допускаю для него возможности дойти до пониманія той сценѣ, съ которой начинается повѣствованіе о земной жизни Христа. Насколько наше Благовѣщеніе было вѣнцомъ въ развитіи античной богочеловѣчности, настолько оно шло вразрѣзъ со всѣмъ теократическимъ характеромъ іудейской религіи. Тамъ завершеніе, здѣсь противорѣчіе: таковъ выводъ логики,—и исторія, какъ извѣстно, только подтвердила этотъ выводъ.

Конечно, этимъ еще далеко не все сказано. Кромѣ чувственной оболочки гомеровскаго міа, еще другая его особен-

ность не позволяет его сопоставленія съ сокровеннѣйшимъ таинствомъ христіанской христологіи. Тамъ отъ брака бога съ смертной произошли два богатыря и царя; положимъ, это были могучіе богатыри, богатые цари, но вѣдь и только.

Ну, а у насъ рѣчь идетъ не болѣе и не менѣе какъ о Спасителѣ рода человѣческаго!

Разница огромная, не спорю. Все же и тутъ античная религія намѣтила тотъ идеалъ, который ей по исполненіи времени принесло христіанство.

V

Въ древнѣйшую достижимую для насъ эпоху греческой жизни господствующей религіей была религія Зевса въ ея первобытной, чистой формѣ. Эта религія была основана на дуализмѣ: высшими религіозными единицами были двое: Зевсъ и Земля. Зевсъ основалъ свое царство, побѣдивъ Землю и ея силы, Титановъ; но съ тѣхъ поръ надъ нимъ тяготѣтъ проклятье Земли, и ему грозитъ гибель въ неравномъ бою съ ея сынами, Гигантами. Эта предстоящая «гигантомахія» — настоящія «сумерки боговъ» античной религіи. Залогъ его спасенія извѣстенъ ей одной — предвѣчной, вѣщей Землѣ. Было бы долго рассказывать, какимъ образомъ Зевсу удалось вывѣдать ея тайну; тайна же состояла въ томъ, что только человѣкъ, но человѣкъ божественнаго сѣмени, богочеловѣкъ можетъ спасти Зевса и его царство въ предстоящей роковой битвѣ. И вотъ Зевсъ задается мыслью осуществить это дѣло спасенія своего царства; онъ —

Новую думу задумалъ въ душѣ своей, чтобъ и безсмертнымъ
И земнороднымъ создать отвратителя злого проклятья.

Такъ описываетъ его намѣреніе одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ поэтовъ, Гесіодъ. Спускается онъ съ этой цѣлью къ смертной женщинѣ Алкменѣ, женѣ царя Амфитріона. Было дѣломъ позднѣйшей комедіи — отъ поэтовъ V в. до Р. Х., до Мольера и Клейста — представить это похождение Зевса въ смѣшномъ видѣ и дать имени Амфитріона то значеніе, которое

за нимъ понинѣ удержалъ французскій бульварный жаргонъ; насколько серьезно смотрѣла на него древнѣйшая греческая поэзія, видно по слѣдамъ этого настроенія въ аттической трагедіи, по той благоговѣйной смѣси смиренія и гордости, съ которой этотъ Амфитріонъ, наприим., въ «Неистовомъ Гераклѣ» Еврипида называетъ себя «соложникомъ» Зевса.

Дѣйствительно, дѣло было великое. Смертные тогда отождествили свою участь съ участью своего божественнаго вождя: тяготѣвшее надъ нимъ проклятіе угрожало и имъ, его гибель была и ихъ гибелью, а потому и ожидаемый спаситель царства боговъ былъ спасителемъ также и человѣческаго рода,—такъ называлъ его и Гесіодъ.

Итакъ, вотъ какой величественный и возвышающій человѣка догматъ создала античная религія уже въ первыя столѣтія своего существованія: ту задачу спасенія міра, которая непосильна высшему богу,—ее долженъ исполнить его божественный, но смертный и смертной рожденный сынъ.

Конечно, въ частностяхъ мы и здѣсь на земной, чувственной почвѣ: рожденіе намѣченного спасителя древнѣйшая Эллада не можетъ себѣ представить иначе, какъ по естественнымъ законамъ плоти, хотя и при исключительныхъ, чудесныхъ условіяхъ. Высшій богъ спускается къ своей избранницѣ въ образѣ смертнаго, въ образѣ ея мужа Амфитріона: это — для того, чтобы намѣченная мать спасителя чувствовала себя вѣрной, цѣломудренной женой, чтобы великое дѣло созданія «боготвора» не было осквернено прелюбодѣянiемъ. Онъ остается съ ней въ продолженіе «долгой ночи», продленной запретомъ Солнцу взойти раньше трехсуточного срока; такъ объясняла наивная мудрость древнѣйшей Эллады сверхчеловѣческую силу «боготвора». Да, это сознаемъ мы всѣ; но не сознаемъ ли мы также, что это — грубо-чувственные оболочки идеи, должныя пасть современемъ, когда мышленіе и чувствованіе людей возвысится до пониманія чистой духовности, и обнаружатъ скрывающееся въ нихъ глубокое таинство — «Таинство Отца и Сына» — и ихъ общее дѣло спасенія свѣтлаго царства и самаго рода человѣческаго?

VI.

Намѣченный спаситель Зевса и его царства ничѣмъ не долженъ былъ быть обязанъ своему божественному отцу, — этотъ выводъ непосредственно вытекалъ изъ основного догмата объ его миссіи. Будучи обязанъ ему, онъ былъ бы зависимъ отъ него; зависимость же есть слабость сравнительно съ тѣмъ, отъ кого зависишь. Самобытность и самодовлѣніе поэтому — исконныя, природныя черты нашего спасителя, Геракла. Онъ не царь, онъ даже не собственникъ, у него нѣтъ ни пяди земли. Его оружіе — та булава, которую онъ себѣ добылъ въ лѣсу; его одежда — шкура того льва, котораго онъ поборолъ. Бездомнымъ скитальцемъ бродитъ онъ по землѣ, всюду побѣждая дикія чудовища и беззаконныхъ людей, въ ожиданіи того дня, когда онъ на колесницѣ своего отца сразится съ гигантами въ послѣдней, роковой битвѣ за небесное царство.

Эта жизнь Геракла, какъ бездомнаго скитальца, глубоко врѣзалась въ сознаніе историческихъ грековъ.

Съ одной стороны, она сыграла немаловажную роль въ сословной жизни и въ сословной борьбѣ позднѣйшихъ временъ. Увѣренность, что этотъ прославленный на всѣ времена сынъ Зевса былъ бѣднякомъ, скитальцемъ, даже рабомъ — дѣйствительно, преданіе не остановилось даже передъ этимъ выводомъ — утѣшающе и возвышающе дѣйствовала на тѣхъ, которые были принижены и обременены на землѣ, и прежде всего, разумѣется, на рабовъ. Уже у Эсхила царица утѣшаетъ свою новую рабу (Агам. 1040).

Самъ сынъ Алкмены, говорятъ, былъ проданъ
И рабскаго отвѣдать принужденъ
Былъ хлѣба...

Его поэтому рабы считали своимъ заступникомъ и покровителемъ; его праздники были излюбленными праздниками рабовъ и вообще маленькихъ людей.

Второе значеніе нашего догмата было нравственное. Примѣръ Геракла показалъ людямъ, какъ мало человѣку нужно

для жизни, и главное, насколько онъ можетъ быть свободенъ и независимъ отъ окружающей и подавляющей обыкновеннаго человѣка обстановки. И вотъ явилась школа или, вѣрнѣе, орденъ людей, поставившихъ себѣ задачей слѣдовать примѣру Геракла и, какъ они выражались, «жить по-геракловски» (*hêrakleîôs zên*). Это были такъ наз. киники, послѣдователи Антисхоена и знаменитаго Діогена: они называли себя философами, но брали изъ философіи то, что было непосредственно примѣнимо къ жизни и въ то же время было доступно пониманію всѣхъ маленькихъ людей. Кто поступалъ въ ихъ орденъ, тотъ этимъ самымъ отрекался отъ всѣхъ земныхъ благъ; свое имущество онъ раздавалъ бѣднымъ, надѣвалъ на плечо суму—суму Діогена, какъ ее называли,—и отправлялся странствовать, чтобы служить ближнимъ и словомъ и дѣломъ. Таковъ былъ тотъ Кратетъ «добрый демонъ», какъ его прозвали люди, другъ и помощникъ огорченныхъ, до того любимый маленькими людьми, что они даже на дверяхъ своихъ хижинъ писали: «войди, Кратетъ, нашъ добрый демонъ!»

Такъ позднѣе, къ исходу среднихъ вѣковъ, явился вдохновенный учитель, поставившій цѣлью своей жизни слѣдованіе Христу въ Его бѣдности и лишеніяхъ; онъ увлекъ за собою многочисленную толпу приверженцевъ и сталъ основателемъ монашескаго ордена проповѣдниковъ, друзей и заступниковъ бѣдноты. «Поясъ св. Франциска» (*la corda di S. Francesco*) и сума Діогена (*hê Diogenus rêga*)—поразительно схожія явленія; а сходство послѣдствій подкрѣпляетъ и подтверждаетъ и сходство тѣхъ основныхъ идей, которыя въ нихъ проявились.

Третье значеніе, если можно такъ выразиться, эстетическое. Контрастъ между высокимъ призваніемъ спасителя рода человѣческаго и низменной обстановкой его земной жизни напрашивался на поэтическую обработку. Первое отношеніе къ нему было, какъ и слѣдуетъ ожидать въ серьезную эпоху греческой религіи, отношеніе трагическое; и дѣйствительно, не глубокимъ ли трагизмомъ проникнуты слова, которыя отъ него слышитъ Одиссей на томъ свѣтѣ: (Од. XI 620).

Сыномъ Зевеса я былъ Олимпійца, но трудъ непожѣрный
 Былъ мнѣ удѣломъ земнымъ...

Мы опять не приравниваемъ, но не родственнымъ ли трагизмомъ дышать и слова нашего Спасителя (Лука 9, гл. 58): „лисицы имѣютъ норы и птицы небесныя гнѣзда, а Сынъ Человѣческій не имѣеть, гдѣ преклонить голову?“

За эпосомъ пошла и трагедія; это вполне естественно. Но въ V—IV вѣкахъ Геракломъ занялась и комедія; она прямо съ наслажденіемъ набросилась на низменные черты въ земной жизни героя, любимца рабовъ и маленькихъ людей; ея грубоватому, хотя и добродушному юмору мы обязаны типомъ комическаго Геракла-Геркулеса... Ужъ здѣсь, казалось бы, сравненіе невозможно? Увы: средневѣковая мистерія не оказалась ни благочестивѣе, ни почтительнѣе своей древне-греческой родоначальницы, и различныя детали, которыми она разукрасила евангельскія повѣствованія, съ точки зрѣнія болѣе строгой религіи пришлось бы признать сплошнымъ кощунствомъ. Но идемъ дальше. За трагедіей и комедіей пришлось сказать свое слово и идилліи; она сказала его устами своего лучшаго представителя Теоокрита. Убогая обстановка жизни Геракла переносится на его отчій домъ: Алкмена укладываетъ спать малютку Геракла въ щитъ его пріемнаго отца, Амфитріона, служащемъ ему колыбелью; она тихо укачиваетъ его: „Счастливо засни, счастливо проснись на зарѣ!“ а затѣмъ и сама ложится спать со своимъ мужемъ. Вотъ настоящая «святая семья» греческой религіи; нужно ли вспоминать о художникахъ Возрожденія и ихъ любовной, реалистической обработкѣ всей обстановки жизни младенца Іисуса въ домѣ Его пріемнаго отца, плотника Іосифа, и Его матери Маріи?

VII.

Все же въ описанномъ до сихъ поръ «Таинствѣ Отца и Сына» роль послѣдняго заключалась въ спасеніи того царства, которое было основано Его Отцомъ; какъ себѣ конкретно представлять это основаніе царства, т.-е. какъ себѣ представлять мірозданіе до и послѣ титаномахіи, на это трудно дать опредѣленный отвѣтъ. Современемъ религіозно-космогоническая спекуляція коснулась и этого вопроса. Догматъ о предвѣчной Землѣ и рожденномъ во времени Зевсѣ тѣмъ болѣе терялъ свою

убѣдительность для людей, чѣмъ болѣе самъ Зевсъ претворялся въ бога-Духа и этимъ возвышался надъ обязательно матеріальной Землей. Возникло мнѣніе о происхожденіи самой Земли изъ предвѣчной матеріи, Хаоса; а разъ это было такъ, то для той силы, которая заставила безпорядочный Хаосъ превратиться въ стройное мірозданіе, самъ собою обозначился пробѣлъ. Все же Зевсъ этого пробѣла заполнить не могъ; древнѣйшая религія не знала его какъ творца или устроителя мірозданія, и позднѣйшая, хотя все еще древняя спекуляція не дерзнула обогатить его образъ этой новой чертой. Были придуманы другіе, болѣе или менѣе глубокомысленные исходы. Въ Беотіи, гдѣ особымъ культомъ пользовался Эротъ, этотъ послѣдній былъ признанъ устроителемъ міра, и позднѣйшая философія подхватила эту мысль, превращая Эрота въ символъ центростремительныхъ силъ въ природѣ. Въ Аркадіи эта роль была предоставлена родному богу страны, Гермесу, сыну Зевса; и этотъ ростокъ оказался наиболѣе могучимъ и плодотворнымъ. Вначалѣ этотъ Гермесъ представлялся сыномъ Зевса во плоти, какъ плодъ его брака съ Маей (матерью); но современемъ, когда Зевсъ сталъ духомъ, то рожденіе имъ сына во плоти показалось неубѣдительнымъ. Гермесъ представлялся людямъ не рожденнымъ, а только исходящимъ отъ него. А Гермесъ въ космогоническій міръ велъ и своего сына, аркадскаго бога Пана—«Великаго Пана».

Это странное божество именно своей странной наружностью получеловѣка-полукозла напрашивалось на символическое толкованіе: эту наружность признали смѣшеніемъ двухъ природъ, высшей и низменной. А такъ какъ Гермесъ, отецъ Пана, считался—и это было очень древнее представленіе—владыкою и дарователемъ слова, то его двуобразный сынъ былъ принятъ за символическое выраженіе этого послѣдняго съ его двумя натурами, возвышенной и низменной. Такъ обстояло дѣло въ эпоху Платона. Но расцвѣтъ религіи Гермеса и всей «герметической» спекуляціи принадлежитъ болѣе поздней эпохѣ: когда Зевсъ претворился въ высшій разумъ, а его сынъ Гермесъ въ его духовное излученіе, тогда и двуобразный сынъ Гермеса былъ нареченъ, вмѣсто символическаго, своимъ настоящимъ именемъ, какъ олицетворенное Слово, какъ Логосъ. Этотъ

фазисъ герметической религіи былъ намъ раскрытъ однимъ религіозно-историческимъ памятникомъ чрезвычайной важности, найденной лишь недавно въ Египтѣ такъ наз. «страсбургской космогоніей».

Еще позднѣе—я долженъ замѣтить, что мы можемъ прослѣдить это развитіе по этапамъ—Гермесь мифологическій, имя котораго стояло между отвлеченными именами высшаго Разума и Логоса, самъ превратился въ отвлеченную силу: онъ сталъ Разумомъ-Творцомъ (Деміургомъ), его же мифологическое имя было дано предполагаемому пророку герметической религіи.

Такъ-то получилась *троица*: Высшій Разумъ, Разумъ-Творецъ и Логось, причемъ второй представленъ исходящимъ отъ перваго, а третій—отъ втораго. Порядокъ исхожденія при сходствѣ естествъ не могъ быть соблюденъ тщательно: появились толки, согласно которымъ Логось непосредственно исходилъ отъ Высшаго Разума, а Разумъ-Творецъ, исполнивъ свое дѣло, воссоединился съ нимъ, будучи единосущенъ ему. Такъ-то Логось сталъ сыномъ высшаго бога,—а его участникомъ въ дѣлѣ сотворенія міра онъ былъ еще ранѣе.

Но другіе и этимъ не удовольствовались; троицѣ первоначальнаго герметическаго ученія они противопоставляли единство творческой силы, «монаду». Мнѣнія колебались: гдѣ одни видѣли троицу, другіе—усматривали единство. Религіозныя мнѣнія живучи, особенно если о нихъ спорять; были ли споръ рѣшенъ на почвѣ герметизма, мы не знаемъ, но ясно одно: единственнымъ его рѣшеніемъ, которое удовлетворило бы обѣ спорящія стороны, было бы соединеніе спорныхъ мнѣній въ примиряющій догматъ о единой троицѣ, о тріединомъ Богѣ...

Надо ли намъ здѣсь производить сравненіе? Нѣтъ, не надо. Его за насъ произвелъ древній христіанскій писатель Лактанцій: „не знаю, какъ это произошло, — говоритъ онъ, — но только Гермесь предугадалъ всю истину“.

Впрочемъ, одно уже давно было замѣчено: происхожденіе того Логоса, воплощеніемъ котораго Іоаннъ призналъ Иисуса Христа, отъ античнаго Логоса. Не мало ученыхъ изслѣдованій было посвящено выясненію этого замѣчательнаго факта; одно изъ лучшихъ принадлежитъ покойному профессору Московскаго университета, кн. С. Трубецкому. Всѣ они, однако, выводятъ

античнаго Логоса изъ философской, специально стоической спекуляціи,—и винить ихъ за это нельзя. Тогда еще не была найдена страсбургская «космогонія», показавшая, что образъ Логоса былъ еще раньше созданъ античной религіей, и что стоическая философія его лишь заимствовала оттуда.

VIII.

Но все же Иисусъ Христосъ, а съ нимъ и христіанство родились въ Палестинѣ. Безспорно; но чѣмъ болѣе христіанство забывалось въ Палестинѣ и прививалось къ собственно античному міру, тѣмъ болѣе терялись мессіанскія черты въ образѣ Христа и подчеркивалось его тождество съ античнымъ богочеловѣкомъ и античнымъ Логосомъ. И какъ умы христіанъ II и III вв. были въ чередованіи поколѣній біологическимъ продолженіемъ языческихъ умовъ I в., такъ точно ихъ христіанство, то самое, которое исповѣдуемъ и мы, было продолженіемъ античной религіи—продолженіемъ и, согласно сказанному, завершеніемъ. На вопросъ, почему христіанство, отверженное іудействомъ, привилось къ античному міру, мы даемъ единственно возможный для научно-настроеннаго человѣка отвѣтъ: потому, что оно по своей природѣ было столь же родственно античной религіи, сколь чуждо іудейской.

Но пусть это будетъ единственнымъ отвѣтомъ для научно-настроеннаго человѣка; дозволенъ ли онъ христіанину? Полагаю, что да. Еще древніе отцы—Климентъ Александрійскій и др.—пораженные чистотой и величіемъ античной нравственной философіи, возвысились до замѣчательнаго, столь же христіанскаго, сколь и гуманнаго сужденія: „Господь Богъ въ своемъ попеченіи о человѣческомъ родѣ до пришествія Христа далъ евреямъ законъ, а эллинамъ философію“. И мы лишь незначительно измѣняемъ идею христіанскаго мыслителя, прибавляя къ античной философіи ея родоначальницу и вдохновительницу—античную религію.

Античная религія—настоящій Ветхій Заветъ нашего христіанства.



Памяти И. Θ. Анненскаго.

(1909).

I.

Внезапно, со всею непреоборимостью абсурда, смерть похитила у насъ дѣятеля, которому по всѣмъ человѣческимъ разсчетахъ мѣсто еще надолго было въ нашихъ рядахъ. Думаешь объ этой смерти — и невольно хватаешься за послѣдній день предшествовавшей ей жизни, за этотъ образъ здороваго, цвѣтущаго и смѣющагося И. Θ., точно желая воротить его съ мѣста рокового крушенія и направить по другой, безопасной для него и безболѣзной для его друзей колеѣ.

Это было въ понедѣльникъ 30 ноября, на Высшихъ Историко-литературныхъ курсахъ Н. П. Раева, гдѣ покойный въ теченіе послѣднихъ полутора лѣтъ читалъ античную словесность, и гдѣ мы съ нимъ исправно встрѣчались по понедѣльникамъ въ 12 ч., во время перерыва между его парой лекцій и моей. Мыѣ рассказывали потомъ, что онъ читалъ въ этотъ день особенно бодро и воодушевленно и потомъ весело бесѣдовалъ со слушательницами, приглашавшими его придти вечеромъ на ихъ концертъ и балъ. Да и мыѣ онъ показался тѣмъ И. Θ., какимъ я его зналъ въ лучшіе моменты его жизни; говорили мы съ нимъ объ его курсѣ, объ Еврипидѣ и въ отдѣльности объ его рефератѣ, который ему предстояло прочесть въ тотъ же вечеръ въ «Обществѣ классической филологіи» о «Таврической жрицѣ»

Еврипида. Затѣмъ—моя лекція, а слѣдовательно и прощаніе. Говорю ему машинально обычное „до свиданія“, уже погруженный въ свой курсъ. — „Сегодня вечеромъ—не правда ли?“ — „Да конечно“, отвѣчаю, — не подозрѣвая, какое это будетъ свиданіе.

Къ 8 часамъ въ помѣщеніи Общества собралось большее противъ обыкновеннаго число членовъ—сообщенія И. Θ. всегда служили особенно лакомой приманкой для обремененныхъ своимъ дѣломъ и стѣсненныхъ во времени педагоговъ. Среди гостей было и нѣсколько «райчекъ», отчасти въ балльных нарядахъ въ виду предстоящаго, послѣ серьезнаго засѣданія, веселаго праздника въ Благородномъ собраніи; было бы и больше, кабы не совпаденіе съ этимъ самымъ праздникомъ. Но гдѣ же самъ референтъ? Ждемъ четверть часа, затѣмъ еще четверть; живетъ онъ въ Царскомъ Селѣ—ужь не къ поѣзду ли опоздалъ?.. Предоставляемъ слову второму референту, въ надеждѣ, что во время его коротенькаго доклада первый подоспѣетъ... Нѣтъ, онъ все не показывается; за то во время чтенія сторожъ вызываетъ секретаря къ телефону, секретарь подаетъ предсѣдателью какую то записку; все это дѣлается тихо и по возможности незамѣтно, чтобы не мѣшать докладчику, но, разумѣется, все это тѣмъ не менѣе замѣчается и усиливаетъ напряженность ожиданія. Докладъ конченъ; предсѣдатель читаетъ доставленную ему записку:

„Въ Царскосельскомъ вокзалѣ внезапно скончался неизвѣстный господинъ, который, будучи доставленъ въ Обуховскую больницу, былъ опознанъ, какъ И. Θ. Анненскій. Ошибка возможна, но мало вѣроятна“.

Засѣданіе закрывается.

Быстрыя, полусознательныя прощанія; въ головѣ какой то тупой протестъ, безконечно повторяемое „невозможно, невозможно!“; давленіе абсурда, усугубляемое тяжелымъ морозомъ петербургской зимней ночи; и больше ничего, на всемъ длинномъ пути, кромѣ этой внутренней и внѣшней тяжести, этого внутренняго и внѣшняго холода. И вотъ оно, наконецъ, это мрачное зданіе Обуховской больницы, тяжелое и холодное, какъ и все прочее. Голая стѣны пріемнаго покоя, деревянные скамьи; и на одной изъ нихъ... нѣтъ, теперь ошибка уже невозможна.

Но что это за чудное, ласковое, одухотворенное лицо! какъ оно приковываетъ взоръ, какъ побѣждаетъ тяжесть и холодъ всей обстановки этого унылаго участка смерти! Не вѣрится, что онъ умеръ; онъ какъ бы спитъ, и притомъ здоровымъ, спокойнымъ сномъ. Такъ и видно, что послѣдняя минута этой прекрасной жизни была безболыной, что врагъ человѣчества побоялся слишкомъ грубымъ прикосновеніемъ нарушить гармонію этихъ тонкихъ, прекрасныхъ чертъ. „Сіяющая недвижность“ чела, окаймленного черными, молодыми волосами; глаза, какъ бы нарочно закрытые, чтобы заслонить завѣсою вѣкъ внутреннюю работу мысли отъ вторженія дѣйствительности; мягкое выраженіе какъ бы готовыхъ улыбнуться губъ...

Вспоминается античная *euthanasia*; вспоминается желаніе еврипидовой героини *euschēmôs thanein*, „благообразно умереть“. Конечно, это не можетъ насъ примирить съ абсурдомъ смерти — тутъ никакое примиреніе немислимо — но можетъ заставить хоть на минуту о немъ забыть.

II.

Да простить мнѣ читатель эти строки, навѣянные личными воспоминаніями. Я написалъ ихъ не для него и не для себя; я написалъ ихъ для покойнаго, думая, что ему было бы пріятно ихъ прочесть, если бы... Ахъ, это „если бы!“; наше чувство все еще движется по старинной, младенческой колесѣ — до того ему противны отвѣты сухой и жестокой возмужалости нашего культурнаго бытія!

Но фактъ тотъ, что послѣдній день жизни И. Θ. дѣйствительно удачно сосредоточилъ въ себѣ его дѣятельность какъ филолога-классика. Вѣдь въ чемъ состояла эта дѣятельность? Это были, во первыхъ, его лекціи по античной словесности на Раевскихъ курсахъ; во вторыхъ, его доклады въ ученыхъ обществахъ; въ третьихъ и главнымъ образомъ — русскій Еврипидъ, это его великое и живучее дѣло.

Говоря прежде всего объ его лекціяхъ, нельзя не указать на то, что самыя условія университетскаго чтенія требовали отъ И. Θ. жертвы, для большинства лекторовъ совершенно

неощутительной. Въ своей статьѣ о Бальмонтѣ онъ сочувственно цитируетъ одно стихотвореніе этого поэта, въ которомъ тотъ называетъ себя художникомъ „русской медлительной рѣчи“. Сочувствіе понятное; дѣло въ томъ, что эти слова какъ нельзя лучше примѣнимы къ самому И. Θ. Мало сказать, что онъ былъ чрезвычайно тонкимъ и чуткимъ стилистомъ: онъ былъ стилистомъ именно произносимаго, а не читаемаго слова; онъ заботился о тщательномъ подборѣ выраженій не только со стороны смысла, но и со стороны звука. А между тѣмъ старательность этого подбора требовала извѣстной подготовки; требовала предварительной записи—она несовмѣстима съ импровизаціоннымъ или полумимпровизаціоннымъ характеромъ академическаго чтенія. Университетскій лекторъ, читающій „съ тетрадки“, лишаетъ себя самаго драгоцѣннаго, что можетъ дать лекція—живого общенія съ аудиторіей, того неуволнимаго и все же несомнѣннаго магнетическаго тока симпатіи, который при свободномъ чтеніи устанавливается между ею и имъ.

И. Θ. понялъ своеобразныя условія своей новой дѣятельности (говоря „новой“, такъ какъ онъ приступилъ къ ней только съ осени 1908 г.), и сумѣлъ приноровиться къ нимъ. Когда совѣтъ профессоровъ Высшихъ Женскихъ Историко-литературныхъ курсовъ пригласилъ его въ свою среду читать античную (сначала греческую, а затѣмъ и римскую) словесность,—онъ отнесся, прежде всего, съ полнымъ пониманіемъ и полной серьезностью къ той задачѣ, которую онъ взялъ на себя. Дѣйствительно, въ силу историческихъ условій все античное должно у насъ еще завоевывать себѣ положеніе; правда, борьба уже не такъ тяжела, какъ лѣтъ 20 тому назадъ, но все же она необходима—и мы на это не жалуемся. Если профессоръ новой исторіи сухо или водянисто излагаетъ свой предметъ, то аудиторія говоритъ: „лекторъ неинтересно читаетъ“; но если то же самое дѣлаетъ профессоръ античной словесности, то она говоритъ: „античная словесность неинтересна“. Такимъ образомъ этотъ послѣдній несетъ двойную отвѣтственность—и за себя и за свой предметъ; и всякій, берущій на себя эту задачу, долженъ это помнить.

И. Θ. это помнилъ. Не желая повторять того же курса изъ года въ годъ, онъ раздѣлил его на нѣсколько частей и

на первый академическій годъ избралъ наиболѣе близкую ему область греческой драмы; за ней послѣдовалъ во второмъ году, до конца котораго ему не суждено было дожить, греческій эпосъ. Съ теченіемъ времени онъ, вѣроятно, расширилъ бы рамки своихъ курсовъ; пока же онъ рѣшилъ этого не дѣлать, чтобы имѣть возможность сообщить больше подробностей, дать болѣе тщательный анализъ разбираемыхъ произведеній и вообще углубить свой предметъ.

Составивъ заранѣе тщательный планъ своего курса и, въ частности, предстоящихъ лекцій, онъ, однако, ничего писаннаго съ собою на кафедру не бралъ; явившись въ свою аудиторию — курсистки не преминули отмѣтить въ которую торжественность и эффектность его появленія — онъ говорилъ вполнѣ свободно, сознательно отдаваясь теченію своихъ мыслей, безсознательно опредѣляемому безмолвными вопросами сотенъ пытливыхъ глазъ, устремленныхъ на него. И это теченіе было подчасъ таково, что его лекція принимала совершенно иное направленіе, чѣмъ то, которое имъ было заранѣе намѣчено; въ этихъ случаяхъ онъ долженъ былъ отказывать слушательницамъ, „составлявшимъ“ его лекціи (знакомые съ академическимъ дѣломъ поймутъ эту абракадабру) и просившимъ у него его конспекта, — конспектъ, молъ, не соответствовалъ тому, что было дѣйствительно прочитано въ данный часъ.

И все же художникъ „медлительной рѣчи“ сказался и здѣсь. Слушательницамъ памяты были тѣ моменты, когда краснорѣчивый только что лекторъ внезапно умолкалъ; наступала пауза, иногда довольно длинная. Это значило, что лекторъ набрелъ на мысль, которой онъ особенно дорожилъ. Ея онъ не хотѣлъ выразить первыми встрѣчными словами: онъ надумывалъ обороты, подбиралъ термины, старался найти требуемую формулировку. Онъ при этомъ не торопился, не обнаруживалъ той растерянности, которая бываетъ свойственна неопытнымъ лекторамъ, потерявшимъ нить своихъ разсужденій; увѣренный въ себя, онъ спокойно искалъ — и продолжалъ свою рѣчь лишь послѣ того, какъ искомое было найдено.

Аудитория, тѣмъ временемъ, терпѣливо ждала. Она знала, что лекторъ не терялъ своего времени — что за свое терпѣніе она будетъ вознаграждена особенно мѣткой и красивой фразой —

такой, которую можно будет именно въ этомъ видѣ запомнить, такъ какъ въ ней ни одного слова не окажется лишнимъ или употребленнымъ невпопадъ.

Но, разумеется, къ этой манерѣ нужно было привыкнуть; она слишкомъ была своеобразна, слишкомъ отличалась отъ того, что обыкновенно слышалось съ кафедры какъ отъ хорошихъ, такъ и отъ посредственныхъ лекторовъ. Та толпа слушательницъ, которая собралась на первыя лекціи И. Θ., со временемъ стала рѣдѣть, находя, что чтеніе лектора утомляетъ ея вниманіе. Но этотъ отливъ былъ не продолжителенъ. Глубокая проникновенность И. Θ., его добросовѣстное отношеніе къ своей задачѣ, содержательность его лекцій дѣлали свое дѣло. Мало по малу аудиторія наполнилась вновь, И. Θ. сталъ занимать прочное мѣсто среди самыхъ любимыхъ профессоровъ. И если бы кто могъ въ этомъ сомнѣваться при жизни покойнаго — его похороны окончательно бы его въ этомъ убѣдили. Всѣмъ присутствовавшимъ на нихъ памятны эти „волны“ женской молодежи, хлынувшія въ этотъ день — непривѣтливый зимній день — въ Царское Село и направившіяся отъ вокзала на квартиру покойнаго, изъ квартиры въ гимназическую церковь, изъ церкви на далекое кладбище; это были «раички», пришедшія отдать послѣднюю дань праху своего любимаго профессора.

И въ то время, какъ я пишу эту характеристику И. Θ., какъ лектора, со словъ одной изъ его самыхъ ревностныхъ слушательницъ, — я чувствую сугубую тоску по немъ, сугубую злобу противъ того жестокаго абсурда, жертвою котораго онъ палъ. Подумать, что этотъ прирожденный проповѣдникъ античности только теперь, только на 52-омъ году своей жизни сталъ на тотъ путь, для котораго онъ былъ созданъ; что эта жизнь въ теченіе безъ малаго тридцати лѣтъ трепала его по разнаго рода административнымъ должностямъ, претившимъ всему складу его тонкой и изящной природы; что едва ставъ на свою естественную колею, онъ рѣшительно и окончательно былъ выбитъ изъ нея безсмысленнымъ и грубымъ ударомъ той безотвѣтственной силы, которой подвластенъ нашъ міръ...

III.

Вкратцѣ упомяну о докладахъ И. Θ. Здѣсь художникъ медлительной рѣчи былъ вполне въ своей стихіи; предварительная записка, недопустимая въ лекціи, здѣсь не только не исключалась, но даже была вполне въ порядкѣ вещей. Всѣ достоинства, которыми авторъ могъ надѣлать свой литературный трудъ, тщательно подбирая слова и прилаживая ихъ другъ къ другу, выступали здѣсь въ полномъ блескѣ. Все же это были достоинства для немногихъ—для тѣхъ, кто были въ состояніи оцѣнить музыку рѣчи и оригинальность оборота и отвести должное мѣсто тѣмъ парадоксамъ, на которые не скупилась богатая, но прихотливая фантазія автора.

Для большинства эта задача была не по плечу; успѣха въ большой публикѣ И. Θ. не имѣлъ, даже когда читалъ на интересныя также и для большой публики темы. Никогда не забуду огорченія, которое причинилъ ему неуспѣхъ его лекціи о Бальмонтѣ, прочитанной именно передъ многими. Особенно возмутилъ слушателей тотъ стихъ поэта-виртуоза, въ которомъ онъ объявлялъ, что передъ нимъ всѣ прежніе поэты—предтечи. Докладчику не трудно бы было прикрыть ироніей—добродушной или язвительной—наивную похвальбу самозваннаго мессіи русской поэзіи. Но у него не хватило духу отречься отъ любимаго поэта даже въ этомъ щекотливомъ вопросѣ; онъ ратовалъ за него до конца и за него и съ нимъ вмѣстѣ пострадалъ.

Тѣмъ больше было его удовлетвореніе, когда онъ отъ многихъ уходилъ къ немногимъ, къ своимъ друзьямъ и товарищамъ; особенно желаннымъ гостемъ былъ онъ въ «Обществѣ классической филологіи и педагогики», томъ самомъ, гдѣ онъ долженъ былъ читать въ день своей смерти.

Говоря правду, блестящимъ лекторомъ И. Θ. не былъ. Его лекціи не доставало разнообразія въ модуляціи; его пріятный, слегка бархатный голосъ держался преимущественно въ среднихъ регистрахъ, и если не производилъ впечатлѣнія однообразія, то потому только, что содержаніе читаемаго сосредоточивало на себѣ вниманіе слушателя. Все же и это содержаніе

страдало иногда отъ того, что тембръ лектора не вездѣ поспѣвалъ за извилинами и скачками его подчасъ шаловливой мысли, и эта послѣдняя постоянно какъ бы опекалась его всегда корректнымъ и джентльменскимъ голосомъ.

Особенно памятнымъ осталось у меня одно изъ посвященныхъ Еврипиду засѣданій. Лекторъ развивалъ нѣкоторые пункты изъ области своей излюбленной драматической эстетики. Понадобилось ему сравненіе; — и вотъ онъ сталъ насъ увѣрять, что мы всѣ, любяся на упражненія акробата, втайнѣ желаемъ, чтобы онъ полетѣлъ внизъ со своего каната и сломалъ себѣ шею. Мы всѣ испуганно переглянулись; никто вѣдь не сомнѣвался въ томъ, что, случись такое несчастье на дѣлѣ, добрыйшій И. Θ. былъ бы имъ болѣе пораженъ, чѣмъ кто либо другой. Но эти слова были произнесены тѣмъ же ровнымъ, приятнымъ голосомъ, какъ и все прочее, безо всякой мефистофельской нотки — и оставалось только благодарить судьбу за то, что ихъ слышали мы, а не большая публика. Я, по крайней мѣрѣ, былъ — за автора — этому очень радъ.

Кромѣ докладовъ, И. Θ. любилъ также читать намъ свои переводы изъ Еврипида — либо въ томъ же Обществѣ, либо у себя дома. Последнее имѣло свои неудобства — гостямъ приходилось ѣхать въ Царское Село — но зато доставляло лектору возможность читать свои произведенія аудиторіи, имъ же подобранной, и въ привычной для него обстановкѣ. Въ этой обстановкѣ — изящной, какъ и все, что исходило отъ И. Θ. и соприкасалось съ нимъ — болѣе всего бросались въ глаза экзотическіе цвѣты на письменномъ столѣ, за которымъ, повернувшись къ публикѣ, занималъ мѣсто лекторъ, и они удивительно шли другъ къ другу, этотъ лекторъ и его произведеніе, и эти цвѣты, поддерживая и усиливая созданную фантазіей слушателей иллюзію.

...Хотѣлось по мѣрѣ силъ запечатлѣть эти, быть можетъ, маловажныя подробности, относящіяся къ живому слову И. Θ. Нынѣ это слово уже замолкло; кто въ будущемъ станетъ заводить знакомство съ покойнымъ, для того онъ сольется со своими печатными произведеніями — и прежде всего съ русскимъ переводомъ того автора, котораго онъ болѣе другихъ зналъ и любилъ.

IV.

Есть филологи только (по нѣмецки ихъ называютъ *Nurphilologen*), и есть филологи, окрашенные въ своемъ научномъ естествѣ еще какой нибудь другой, научной или художественной предилекціей.

И. Θ. не относился пренебрежительно къ первой категоріи, но самъ онъ принадлежить ко второй. Будь онъ филологомъ только—онъ сталъ бы таковымъ на лингвистической закваскѣ. Къ этой области относились его первыя научныя работы; ее же онъ дѣлалъ и предметомъ своихъ курсовъ въ тѣ довольно давнія времена, когда онъ солидно, но безъ особеннаго успѣха, читалъ на (Бестужевскихъ) Высшихъ Женскихъ Курсахъ. Но занятія лингвистикой взростили въ немъ любовь къ слову; а любовь къ слову сблизила его съ источниками художественнаго слова (понимая художественность безотносительно къ сознательности)—со старинной русской литературой и—что рѣдко употребляется вмѣстѣ—съ поэзіей запада. Особенно близка была ему въ этой послѣдней области та поэзія, которая практиковала, если можно такъ выразиться, культъ слова; такъ то естественная необходимость, вытекавшая изъ всей его филологической натуры, заставила И. Θ. отдаться модернизму.

Филологъ-классикъ и поэтъ-модернистъ—только очень наивные люди могутъ удивляться этому совмѣстительству; на дѣлѣ же оно совершенно естественно и подтверждается многими примѣрами и въ Россіи—и еще болѣе за границей. Только у каждого къ нему своя дорога; я описалъ ту, которую избрала подвижная, рвавшаяся отъ изученія къ творчеству душа И. Θ. И это совмѣстительство отозвалось роковымъ образомъ на всей его работѣ. Онъ не могъ распредѣлить себя, такъ сказать, по вѣдомствамъ—да и можетъ ли это вообще дѣйствительно живой человѣкъ? Онъ всегда былъ въ предѣлахъ возможности, своимъ полнымъ я, всегда былъ и классикомъ, и модернистомъ, такъ какъ всегда былъ одинаково живъ.

Очень вѣроятно, что именно эта потребность сблизила его съ Еврипидомъ, этимъ модернистомъ среди греческихъ поэтовъ;

русскій Еврипидъ—это и есть тотъ нерукотворный памятникъ, который себѣ воздвигъ И. О. Замѣчу тутъ же, что этотъ памятникъ законченъ — что судьба хоть въ этомъ отношеніи была милостива и къ нему и къ намъ. Правда, въ ту минуту, когда я пишу эти строки, только первый томъ (шесть драмъ) имѣется въ печати. Но въ рукописи готовъ весь переводъ, готовы и вступительныя статьи; они вмѣстѣ заполняютъ еще два тома, и наслѣдникъ его правъ и имени, надѣмся, сдѣлаетъ все отъ него зависящее, чтобы эти два тома увидѣли свѣтъ и въ наиболѣе скоромъ времени, и при наилучшихъ условіяхъ. Конечно, отсутствіе авторской корректуры дастъ знать о себѣ; И. О., вообще творившій быстро, предполагалъ еще разъ просмотрѣть свои переводы, особенно старыя, сличить ихъ съ подлинникомъ, выровнять ихъ съ точки зрѣнія стиля. „Съ декабря мѣсяца я иду въ затворъ“ шутливо говаривалъ покойный, когда къ нему приставали по поводу продолженія его Еврипида. Это значило, что переводчикъ намѣренъ уединиться со своимъ авторомъ: его письменный столъ покроеся его любимыми бѣлыми цвѣтами, и онъ будетъ черпать двойное вдохновеніе отъ аромата туберозъ и аромата еврипидовой поэзій... Обидно думать, какъ былъ понятъ и исполненъ судьбою этотъ шутливый обѣтъ.

Сосредоточимся, однако, на томъ, что у насъ въ рукахъ. Давъ тотчасъ по выходѣ перваго тома его подробную оцѣнку ¹⁾, я здѣсь не намѣренъ повторяться. Но одного предупрежденія нельзя не повторить. То, что намъ далъ И. О.—это не просто русскій Еврипидъ, а именно русскій Еврипидъ И. О. Анненскаго, запечатлѣнный всѣми особенностями его индивидуальности. Мы можемъ сколько угодно отмѣчать его несогласіе съ подлиннымъ Еврипидомъ; но если бы мы пожелали — и смогли — передать послѣдняго по своему, то все таки вышелъ бы именно нашъ Еврипидъ, а не Еврипидъ просто. Специально И. О. очень дорожилъ индивидуальными особенностями своего перевода и сдавался только передъ очевидностью. Помнится, я въ одной статьѣ процитировалъ одну выдержку изъ Еврипида въ

¹⁾ Въ (нынѣ тоже покойномъ) журналѣ „Переваль“ 1907 г., кн. XI и XII; повторено въ моемъ сборникѣ «Изъ жизни идей» I т. (2-ое изд.) стр. 321 сл.

его переводѣ. Я въ такихъ случаяхъ слѣдую совѣту Берне въ его прекрасной статьѣ о «критическомъ лаконизмѣ»: если замѣчаю явную ошибку, то исправляю ее молча. Встрѣтивъ, однако, И. Θ. въ «Обществѣ», вижу по его лицу, что ему моя корректура не понравилась. Такъ какъ онъ сидѣлъ далеко, то я посылаю ему записку: „отчего Вы не въ духѣ?“. Отвѣчаетъ: „отчего Вы измѣнили стихъ (такой-то) моего перевода?“ Отвѣчаю: „оттого, что въ немъ шесть стошъ“, — и слѣжу за эффектомъ своей записки. Первый эффектъ—недоумѣніе; второй—счетъ по пальцамъ; третій—кивокъ и примирительная улыбка.—Такъ и теперь, характеризуя Еврипида И. Θ. Анненскаго, я отмѣчаю его различія отъ моего Еврипида. А убѣдила ли бы моя критика покойнаго—это еще вопросъ.

Разсудочный характеръ античной поэзіи ведетъ къ тому, что ея мысли сдѣланы между собою либо взаимной подчиненностью, либо всякаго рода союзами и частицами. Это для переводчика одинъ изъ главныхъ камней преткновенія. Русская поэзія періодизаціи не терпитъ и бѣдна союзами; приходится сплошь и рядомъ нанизывать тамъ, гдѣ античный поэтъ сдѣлалъ, разбивая его цѣпи на ихъ отдѣльныя звенья. Возьмемъ, для примѣра, нѣсколько стиховъ изъ монолога Медее тотчасъ по удаленіи обманутаго ею Креонта (ст. 371 сл.). Въ точномъ прозаическомъ переводѣ они гласятъ такъ: „Онъ же дошелъ до такого неразумія, что, имѣя возможность, изгнать меня изъ земли, этимъ (заранѣе) уничтожить мои замыслы—разрѣшилъ мнѣ остаться этотъ день, въ теченіе котораго я обращаю въ трупы троихъ моихъ враговъ—отца, дочь и моего мужа“. Нечего говорить, что въ поэзіи этотъ переводъ невозможенъ; у И. Θ. мы находимъ:

О, слѣпецъ!

Въ рукахъ держать рѣшенье—и оставить

Намъ цѣлый день... Довольно за глаза,

Чтобы отца и дочь и мужа съ нею

Мы въ трупы обратили... ненавистныхъ.

Полезно сравнить его переводъ шагъ за шагомъ — такъ ясна здѣсь расчленяющая работа переводчика, заставившая его даже, ради эффектности антитезы, пожертвовать частью содержанія второго стиха. Въ этомъ можно видѣть недостатокъ

перевода; но переводчикъ намъ отвѣтитъ, что иначе пришлось бы пожертвовать поэзіей—и будетъ правъ.

Правъ—въ данномъ случаѣ; но не всегда. Не разъ соблазнъ расчлененія и нанизыванія доводитъ переводчика до того, что онъ имъ не облегчаетъ, а затрудняетъ пониманіе своего автора. Возьмемъ опять примѣръ — знаменитый монологъ Федры въ первомъ дѣйствіи. Его разсудочность вырастаетъ изъ самого характера героини; она такъ естественна, что съ ея устраненіемъ пропадаетъ и поэзія. Вотъ точный прозаическій переводъ начала (ст. 374 сл.): „Уже и раньше въ долгіе часы ночи я размышляла о томъ, что именно разрушаетъ человѣческую жизнь. И я рѣшила, что не по природѣ своего разума люди поступаютъ дурно—благоразуміе вѣдъ свойственно многимъ—нѣтъ, но вотъ, какъ должно смотрѣть на дѣло. Мы и знаемъ и распознаемъ благо; но мы его не осуществляемъ, одни изъ вялости, другіе потому, что они вмѣсто блага признали другую отраду жизни“. У И. Θ. мы читаемъ:

Уже давно въ безмолвіи ночей
Я думаю томилась: въ жизни смертныхъ
Откуда жъ эта язва? Иль ума
Природа виновата въ заблужденьяхъ?...
Нѣтъ—разсужденья мало—дѣло въ томъ,
Что къ доброму мы не стремимся вовсе,
Не въ томъ, что мы его не знаемъ. Да,
Однимъ мѣшаетъ лѣньность, а другой
Не знаетъ даже вкуса въ наслажденьѣ
Исполненнаго долга.

Бѣдная Федра, такъ гордящаяся безпощадной послѣдовательностью своего разсужденія, въ этомъ случаѣ, думается мнѣ, имѣла бы право слегка попенять на своего переводчика.

Этотъ „соблазнъ расчлененія“, какъ я его назвалъ, можетъ быть изобличенъ еще одной, чисто внѣшней примѣтой. Какъ издатель античныхъ текстовъ, я люблю пользоваться всѣми знаками современнаго препинанія, включая и многоточіе. И тутъ я убѣдился, какъ рѣдко удается вставить этотъ знакъ въ текстъ подлинной греческой трагедіи; повидимому, такія мѣста сознавались и авторомъ и его публикой, какъ мѣста сильнаго драматическаго эффекта. У переводчика, напротивъ, это одинъ

изъ наиболѣе встрѣчаемыхъ знаковъ; въ одномъ монологѣ Медеи, изъ котораго я привелъ выше выдержку, онъ встрѣчается 19 разъ, занимая мѣсто непосредственно послѣ запятой (32 раза). Отсюда видно, что дикціонная фізіономія Еврипида, если можно такъ выразиться, у его переводчика должна была сильно измѣниться. И это вѣдь—только примѣръ.

Но тутъ уже ничего не подѣлаешь. „Всякій переводъ есть метемпсихоза“, сказалъ геніальный філологъ и переводчикъ, У. ф. Вилимовицъ; будемъ же довольны хоть тѣмъ, что въ данномъ случаѣ Еврипидъ претворился въ такой тонкой и интересной душѣ.—Зато по другому пункту я не сомнѣваюсь, что авторъ самъ исправилъ бы свои первоначальные переводы. Какъ человекъ талантливый, но прихотливый, онъ творилъ неровно, въ зависимости отъ своего настроенія; рядомъ съ изящными, поэтическими оборотами у него встрѣчаются вульгарные прозаизмы. Въ этомъ фактѣ ему пришлось самому убѣдиться не такъ давно при постановкѣ «Ифигеніи-жертвы» («Авлидской») въ его переводѣ. Въ немъ были такіа мѣста какъ:

Но Эллада, царь, Эллада! *Ей за что же достается?*

или:

А за деньги власть купивши, промахнешься, *толстосумъ!*—

въ обращеніи Менелая къ Агамемнону. Актеръ, исполнявшій роль Менелая, отказался произнести подчеркнутыя слова—и былъ, разумѣется, вполне правъ. Онъ помогъ себѣ тѣмъ, что попросту пропустилъ ихъ—публика, дескать не замѣтитъ. Но читатель не можетъ не замѣтить зіянія въ поэтическомъ текстѣ. И можно только желать, чтобы въ экземплярѣ покойнаго, по которому будутъ печататься невошедшія въ I томъ трагедіи, эти и имъ подобныя мѣста оказались исправленными. Особенно въ этомъ нуждаются «Вакханки», что и не удивительно: это былъ его первый трудъ.

Мы говорили до сихъ поръ объ однихъ переводахъ, но было бы несправедливо обойти молчаніемъ его вводныя статьи къ отдѣльнымъ трагедіямъ, которыя онъ издавалъ какъ предисловія и послѣсловія къ своимъ переводамъ. Чаше всего это были сравнительные анализы: И. Θ. бралъ одну или нѣсколько

обработокъ Еврипидовыхъ сюжетовъ и сопоставлялъ съ ними оригинальную трагедію, удачно отѣняя послѣднюю при помощи первыхъ. Его широкая начитанность, его тонкое пониманіе художественности выступали при этомъ въ полномъ блескѣ, и достаточно сравнить съ его разсужденіями убогія характеристики напр. Веклейна, въ его распространенныхъ нѣмецкихъ изданіяхъ Еврипида, чтобы убѣдиться въ громадномъ превосходствѣ русскаго толкователя. Конечно, и эти вводныя статьи будутъ изданы вмѣстѣ съ переводами; и когда это будетъ сдѣлано — русская интеллигенція будетъ имѣть въ «Театрѣ Еврипида» И. Θ. Анненскаго завидное по своей полнотѣ руководство для изученія греческаго трагика — руководство, къ которому она, надѣмся, будетъ обращаться не разъ.

V.

Античность далеко еще не сказала намъ своего послѣдняго слова.

Еще лѣтъ десять назадъ такое заявленіе было бы сочтено парадоксомъ въ рядахъ нашей интеллигенціи; теперь оно можетъ уже не опасаться серьезныхъ возраженій.

Не разъ бесѣдовали мы съ покойнымъ на эту тему, не разъ рисовали себѣ картину грядущаго «славянскаго возрожденія», какъ третьяго въ ряду великихъ ренессансовъ послѣ романскаго — XIV-го и германскаго — XVIII-го вѣковъ. Когда оно наступитъ? На первыхъ порахъ — это было, когда мы вмѣстѣ засѣдали въ комиссіи покойнаго Н. П. Боголѣпова — настроеніе въ виду окружающей мглы было довольно унылое, и не помню ужъ, который изъ насъ варіировалъ по этому поводу мессіанскій вздохъ адріановой эпохи: „Трава будетъ расти изъ нашихъ челюстей, дорогой другъ, а обѣтованнаго Возрожденца все еще не будетъ“. Но съ годами дѣло шло все лучше и лучше.

А впрочемъ — исходъ не въ нашей власти. Въ нашей власти только одно — работать и работать. И. Θ. работалъ, сколько могъ. И мы увѣрены: когда ожидаемое возрожденіе наступитъ — имя И. Θ., какъ одного изъ его предтечъ, озарится новымъ

блескомъ. О немъ вспомнить, какъ объ одномъ изъ немногихъ, которые въ трудную минуту нашей культурной жизни не бросали товарищей, не бѣжали съ поля, не предавались мало-душію. А его «Еврипидъ» займетъ почетное мѣсто въ литературѣ «новаго возрожденія», какъ книга-дѣло, какъ книга-знамя. Она и при жизни своего автора вербовала сердца для новаго направленія; она съ неменьшей энергіей будетъ это дѣлать послѣ его смерти.

Таково культурное значеніе сошедшаго въ раннюю могилу дѣятеля.



Vince, Sol!

Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива,
подруга моя? Зачѣмъ въ твоѣмъ сердцѣ
столько отрицанія — столько отреченія?
И зачѣмъ такъ мало рока въ твоѣмъ
взорѣ?

Смотри: новую скрижалъ водружаю
я надъ тобой...

Ницше.

...Тотъ волшебникъ рѣчи, словами котораго я привѣтствовалъ тебя, мало тебя зналъ; нѣсколько отрывочныхъ сказаній, которыя ты въ вѣщемъ забытѣ повѣдала міру на непонятномъ для него языкѣ — вотъ все, что до него дошло отъ тебя. Но онъ вперилъ въ тебя свой орлиный, всепроницающій взоръ — и его взоръ угасъ въ вѣщей глубинѣ твоей души. И онъ крикнулъ своимъ: Берегите ее! „Она единственная, которая еще можетъ обѣщать“.

Все на землѣ опредѣлилось; мы знаемъ, кто богатъ и кто бѣденъ; знаемъ, чѣмъ кто богатъ; знаемъ и того, кто, будучи нищимъ, богато живетъ, воровски черпая изъ чужихъ запасовъ. Но о тебѣ никто ничего не знаетъ: живой загадкой, живымъ залогомъ будущаго бродишь ты между людей.

Я вижу ликъ солнца на твоѣмъ ясномъ челѣ; но его окружили черныя тучи, и оно борется съ нимъ, отчаянно напрягая весь жаръ своихъ лучей; и я молюсь, чтобы разсѣялись черныя тучи, чтобы побѣдило солнце. Тогда только ты скажешь то слово, котораго народы ждутъ отъ тебя — третье слово свободы, слово славянскаго возрожденія.

Молюсь—но зачѣмъ? Ты знаешь, зачѣмъ; знаешь, что я люблю тебя—люблю загадочный блескъ твоихъ общающихся глазъ, люблю кроткую усмѣшку твоихъ сомкнутыхъ устъ.

Ты научила меня твоему языку, и я полюбилъ его—этотъ роскошный и тонкій, могучій и нѣжный языкъ. Мнѣ любо ощущать въ немъ порывы твоей страстной, самоотверженной души; любо мечтать подъ мѣрный рокотъ его чарующихъ волнъ.

Я много бывалъ въ чужихъ странахъ, среди чужихъ народовъ; я заставлялъ себя жить ихъ жизнью, заставлялъ ихъ повѣрять мнѣ самыя сокровенныя тайны своей души. И все, что я услышалъ и извѣдалъ, я принесъ тебѣ.

Я пробилъ себѣ путь къ матерямъ всего сущаго—въ ту туманную ихъ обитель, гдѣ великія тѣни прошлаго лелѣютъ дремлющіе зародыши будущаго. Я принесъ тебѣ ихъ скрижали; онѣ должны стать твоими, чтобы ты могла произнести общающее слово рока—третье слово свободы, слово славянскаго возрожденія.

Я говорю тебѣ о нихъ на твоемъ языкѣ—но, увы! не твоимъ языкомъ. Ты удивленно смотришь на меня, и я рѣдко вижу искру узнаванія въ твоихъ глазахъ. „Странно“, отвѣчаешь ты; „такъ еще никто со мною не говорилъ“.

И кто-то шепчетъ тебѣ: „Не вѣрь ему! Зачѣмъ онъ здѣсь? Онъ для тебя—чужой“. Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ шепотъ лжетъ“.

Да, этотъ черный шепотъ лжетъ. Наши предки когда-то рубились между собой, но мы, ихъ потомки, этой враждой не связаны. То была честная вражда, ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ; мы будемъ вспоминать о ней и съ ясной улыбкой смотрѣть въ глаза другъ другу. „Для того терпѣли вы бѣдствія“, скажемъ мы словами древняго баяна, „чтобы была пѣсня среди людей“. Эта пѣсня есть; мы будемъ внимать ей, склонясь другъ къ другу, и чѣмъ грознѣе ея напѣвы, тѣмъ нѣжнѣе будутъ пожатія нашихъ рукъ.

Ясный булатный звонъ—ясная улыбка весенней дружбы... нѣтъ, это не все. Есть другое—ближе, грустнѣе, тяжелее.

Помнишь? Васъ было двѣ сестры... О, не сверкай на меня гнѣвной обидой твоихъ пугливыхъ, заплаканныхъ глазъ: я

знаю вѣдь, то была не ты. Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ.

Такъ про васъ въ сказкѣ говорится: васъ было двѣ сестры, и вы вмѣстѣ пошли въ лѣсъ... по малину. Славянская сказка ее любить, этотъ кроткій даръ славянскихъ лѣсовъ: „Кто больше малины соберетъ, тотъ унаслѣдуетъ землю“. Когда солнце стало садиться, его багровый лучъ освѣтилъ лишь одну; багровая капля повисла надъ ея черной бровью—это былъ не малиновый сокъ... Нѣтъ, нѣтъ, то была не ты; твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ малиновыхъ устъ.

Когда солнце взошло, его блѣдный лучъ освѣтилъ могилу; черная кровь гнѣвно кипѣла и дымилась въ ея черной, рыхлой землѣ. И этотъ дымъ черной тучей заволакивалъ блѣдное небо холоднаго утра; солнце боролось съ нею, но черная туча побѣждала.

Нѣтъ, то была не ты: я знаю про тебя другую сказку. Верхомъ на конѣ, въ своихъ царственныхъ парчахъ слѣдовала ты въ свой новый стольный градъ; твоя черная прислужница шла за тобой. День былъ знойный, и полуденное солнце безпощадно палило, изсушая твое молодое тѣло. Тебя соблазнилъ родникъ, журчавшій у твоего пути; твоя черная прислужница помогла тебѣ сойти, а затѣмъ, сорвавъ парчевый нарядъ съ твоихъ плечъ, вскочила на твоего коня и велѣла тебѣ ей служить. И ты, царственная смиренница, послѣдовала за ней.

И каждый день, замученная раба, выходила ты за ворота своего стольнаго града, съ грустной улыбкой на твоихъ кроткихъ устахъ, со щемящей обидой въ твоемъ кроткомъ сердцѣ. Ты поднимала свой влажный взоръ къ холодному, облачному небу: „О солнце, пламя обличенья! когда же ты выплывешь изъ-за тучъ? Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!“

Такой позналъ я тебя. Мы протянули руки другъ другу черезъ черную могилу; и могила покрылась зеленью, и гнѣвная кровь заснула, и ея черный дымъ разсѣялся въ голубыхъ мечтаніяхъ весенняго неба.

Такой позналъ и полюбилъ я тебя, славянка; и мнѣ больно, что не всѣ тебя знаютъ такой, не всѣ тебя любятъ. Другая присвоила себѣ твое имя и твою власть,—ты ее знаешь, свою

черную прислужницу? Багровая капля повисла надъ ея черной бровью; о солнце, пламя обличенія! ты знаешь, чья эта кровь?

О ради Бога, не позволяй ей приближаться къ могилѣ! Ея проклятая поступь нарушить голубой сонъ дремлющей крови; молодая зелень поблекнетъ, сожженная жаромъ вскипѣвшей струи. Опять черный дымъ поднимется къ небесамъ: тщетна будетъ борьба солнца съ его мракомъ — мракъ побѣдитъ, и багровое пламя мести сверкнетъ изъ-за черныхъ тучъ...

Иль ты не можешь ее оттолкнуть? Она тебѣ повелѣваетъ, а ты смиренно ей служишь, царственная раба?

Но зачѣмъ,—зачѣмъ?

Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива, — подруга моя?

* * *

Я знаю зачѣмъ.

Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ; только бы они чаще смѣялись, эти кроткія уста! Но я вижу: твои губы вздрагиваютъ при каждой усмѣшкѣ, и эта дрожь говорить: „я виновата — я не должна смѣяться“. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Смотри: могила покрылась зеленью, и расцвѣтшая липа летѣть тихую дрему на ея кровь. Божья птичка вѣется надъ ней и поетъ долгую колыбельную пѣсню горю и злобѣ. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

А когда-то ты умѣла смѣяться. Ты, рѣзвясь, бросала свой звонкій смѣхъ въ голубое небо — и онъ, ниспадая, застывалъ въ веселыхъ переливахъ твоихъ удалыхъ пѣсень. Ты бросала его въ небо — и онъ застывалъ въ веселыхъ узорахъ твоихъ церквей и хоромъ. По этимъ пѣснямъ, по этимъ узорамъ народы узнали, чѣмъ былъ когда-то звонкій смѣхъ волшебницы-славянки; а тебѣ кто сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Я знаю — это тебѣ онъ сказалъ.

Я его вижу: онъ съ молоткомъ стоитъ у твоего окна, выслѣживая каждое движеніе твоего лица. Чуть затеплится лучъ радости въ твоихъ очахъ — стукъ, стукъ. Чуть заиграетъ легкая зыбъ веселья на твоихъ устахъ — стукъ, стукъ. Это „стукъ, стукъ“ говорить: ты не должна смѣяться — смѣяться грѣшно.

Онъ — пасѣчникъ. Его пчелы летаютъ по всѣмъ днамъ

скорбныхъ долинъ твоего царства, вездѣ, гдѣ растутъ блѣдныя, ядовитыя цвѣты горя и злобы. Онѣ собираютъ ихъ ядъ—всѣ ихъ яды, отъ бѣшеннаго крика отчаянія до тихаго вздоха раздавленной надежды; всѣ ихъ яды онѣ несутъ тебѣ; въ улей страданій обратили онѣ твое сердце.

Онъ—душеводитель. Такъ нѣкогда Богородицу водили по мукамъ; она прошла всю обитель окаянныхъ, пережила всѣ ихъ мученія своей любящей душой; а когда ее привели обратно къ воротамъ скорбнаго града—передъ ней поблѣкъ ея голубой рай, и она захотѣла навѣки остаться среди замученныхъ. Такъ и тебя онъ водить по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства.

Онъ—вампиръ. Я видѣлъ его, какъ онъ черною ночью, сълонясь надъ твоимъ бѣднымъ, дрожащимъ тѣломъ, нашептывалъ тебѣ свои внушенія, чтобы ты ненавидѣла радость, чтобы не смѣялась никогда. Я видѣлъ его: страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи, освѣщая мучительныя судороги твоего бѣднаго тѣла; я тебя звалъ, но ты не слышала меня.

Онъ шепотомъ тебя спрашивалъ: „что видишь ты?“ И ты отвѣчала ему влажнымъ, замученнымъ голосомъ: „Я вижу черную землю и черное небо: свинцовыя тучи заволокли солнце; только въ одномъ мѣстѣ черезъ густой покровъ прорывается его блѣдный, плачущій лучъ; но и онъ, не достигши земли, замираетъ въ черной мглѣ“.

Онъ спрашивалъ тебя: „чего хочешь ты?“ И ты отвѣчала: „Хочу опять видѣть зеленую землю и голубое небо. Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!“

Онъ наполовину прикрылъ своей красной рукой сомкнутые глаза твои и опять спросилъ: „что видишь ты?“ Ты глухо застонала; затѣмъ твой стонъ сталъ словомъ, и ты сказала: „Красный свѣтъ озарилъ черную землю; я вижу унылую мерзлую поляну; на ней лежитъ тысяча мертвыхъ, нагихъ тѣлъ. Нѣтъ! они не мертвыя: они ползаютъ, копошатся, жмутся другъ къ другу. Они всѣ посинѣли отъ стужи. Одни дышатъ себѣ на руки, чтобы ихъ согрѣть, но влага замерзаетъ на ихъ пальцахъ. Другіе хотятъ содрать ногтями поверхность земли, чтобы укрыться подъ мерзлой корой; но ихъ ногти разбиваются

объ ея ледъ, кровь сочится съ ихъ израненныхъ пальцевъ и замерзаетъ на нихъ. Они плачутъ отъ холода и отъ боли, но ихъ слезы замерзаютъ, не успѣвъ скатиться съ ихъ глазъ“.

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?“—и ты отвѣтила: „Ничего не хочу“.

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свой плащъ на тысячу лоскутовъ и дать имъ по лоскуту. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу стужъ, а тогда будешь терпѣть только одну“. И ты глухо простонала въ отвѣтъ.

Онъ еще глубже надвинулъ тебѣ на глаза свою красную руку, совсѣмъ ихъ покрывая, и въ третій разъ тебя спросилъ: „что видишь ты?“ И въ отвѣтъ ему послышался страшный, предсмертный хрипъ, въ которомъ я не узналъ тебя; и все-таки это была ты. И хрипъ сталъ словомъ и отвѣтилъ ему: „Земля разверзлась и открыла пропасть: въ пропасти, озаренное краснымъ пламенемъ, извивается чудовище. Въ немъ тысяча тѣлъ; нѣтъ! не тѣлъ, а головъ; нѣтъ! не головъ, а пастей. Ничего не вижу, кромѣ тысячи пастей; ничего не слышу, кромѣ ихъ протяжнаго, голоднаго воя. Онѣ впѣпились зубами другъ въ друга, какъ бы желая другъ друга пожрать; кровь течетъ изъ ихъ ранъ, и ихъ языкъ жадно лижетъ эту кровь, не разбирая, чужая ли это или своя...“

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?“—и ты отвѣтила: „хочу, чтобы угасъ этотъ блѣдный, плачущій лучъ, говорящій мнѣ, что есть гдѣ-то солнце, Сдвиньтесь, черныя тучи; навѣки побѣди, свинцовый мракъ!“

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свое тѣло на тысячу кусковъ и дать имъ по куску. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу голодовъ, а тогда не будешь терпѣть ни одного“. И страшный, предсмертный хрипъ былъ ему отвѣтомъ.

И долго, склонившись, висѣлъ онъ надъ тобою, озаряя краснымъ пламенемъ своего взора судороги твоего бѣднаго тѣла, нашептывая тебѣ свои внушенія, повѣряя тебѣ всѣ тайны и желанія своего злобнаго, мстительнаго сердца: чтобы ты ненавидѣла радость, чтобы не смѣялась никогда. И страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи.

Одного только не повѣрилъ онъ тебѣ: что онъ — родной

сынъ твоей черной прислужницы и ею приставленъ для того, чтобы ты обезсилѣла и опустилась и навѣки осталась закрѣпощенной ей.

Зачѣмъ ты вѣришь ему? Зачѣмъ даешь ему убивать своимъ молоткомъ всякую Божью птичку, посланную тебѣ солнцемъ и весной? Зачѣмъ даешь ему наполнять видѣніями ужаса молодой, свѣжій сонъ твоихъ очей? Зачѣмъ общаешь ему отрекаться отъ радости и отрицать солнце?

Зачѣмъ ты вѣришь ему, что тупое, бесплодное уныніе—твой долгъ передъ голодными и нагими?

Уныніе бесплодно, зиждательна радость. Семью смѣхами создалъ Творецъ весь живой міръ. Только при седьмомъ смѣхѣ ему взгрустнулось, и онъ пролил слезу; тогда возникла чело-вѣческая душа—твоя душа, царевна Несмѣяна.

Уныніе бесплодно, зиждательна радость. О, если бъ ты могла, какъ въ былые дни, бросить свой звонкій смѣхъ въ голубое небо—онъ ниспалъ бы мягкой волной и прикрылъ бы тысячу нагихъ, продрогшихъ тѣлъ; онъ ниспалъ бы небесной манной и накормилъ бы тысячу голодныхъ ртовъ. И изъ тысячи устъ раздалось бы благодарственное слово: спасибо, волшебница! твоимъ смѣхомъ намъ жизнь красна.

Жизнь, еще разъ! Ради смѣха волшебницы-славянки—еще разъ, жизнь!

Подруга моя! Зачѣмъ ты этого не хочешь—не можешь?

Зачѣмъ въ твоемъ сердцѣ столько отрицанія—столько отреченія—подруга моя?

* * *

Какъ здѣсь все ровно кругомъ—какъ плоско, какъ низко! Необозримой гладью тянется равнина; единственное возвышеніе на ней—могила. Странно! За рубежомъ говорятъ, что смерть равняетъ людей; у насъ ихъ равняетъ жизнь, жизнь втаптываетъ ихъ въ ровную почву, и лишь смерть насыпаетъ имъ въ утѣшеніе холмъ, именуемый могилой.

Горе тому, кто у насъ при жизни пожелаетъ возвыситься надъ равниной. Тысячи цѣпкихъ рукъ хватаютъ его, тысячи завистливыхъ голосовъ вричатъ; „Отдай! Отдай ту силу, кото-

рая возносить тебя: эту силу ты взял у насъ!“ — Безумцы! дайте же ему подняться, помогите ему. Онъ отдастъ вамъ сто-рицей, что онъ у васъ взялъ: тѣмъ выше взлетитъ водометъ, тѣмъ шире будетъ пространство, которое онъ своими брызгами ороситъ. — Но нѣтъ, я знаю васъ и вашу зависть: „наша равнина теперь просто равнина; она станетъ низменностью, когда ты вознесешься“.

Прости меня, я ученый; это ихъ чувство я называю «боязнью вертикали». А вертикаль—это рокъ жизни; ты этого не знала? Зато ты знаешь теперь, отчего такъ мало жизни было въ твоей жизни. У насъ жизнь ползетъ по равнинѣ, и только смерть насыпаетъ намъ возвышеніе, именуемое могилой; эта могила—послѣдній вздохъ жизни по утраченной вертикали.

Ты стоишь на могилѣ: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Ты удивленно смотришь: забыла!

Оставь могилу, съ нея ты того слова не скажешь. Пойдемъ туда: тамъ далеко, гдѣ равнина соприкасается съ моремъ, стоитъ одинокая гора. Правда, и эта гора лишь могила: равнина, умирая въ морѣ, насыпала себѣ ее въ утѣшеніе, какъ свой курганъ; она—ея предсмертный вздохъ по утраченной вертикали. Но что дѣлать! другихъ горъ у тебя нѣтъ.

Когда-то онѣ у тебя были. Ты помнишь, какимъ дружнымъ, могучимъ раскатомъ онѣ отвѣтили примчавшейся изъ-за моря грозѣ? Помнишь, какъ полились веселые водопады съ утесовъ Казбека и Чатыръ-дага? Ты удивленно смотришь на меня: „да развѣ это мои горы?“ Нѣтъ, теперь онѣ—не твои; онѣ вновь станутъ твоими, когда ты вспомнишь о своемъ обѣщанномъ словѣ.

Но эта—пока твоя; взойдемъ на нее. Видишь? Твой красивый мучитель отсталъ отъ тебя. Онъ водилъ тебя по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства, но горъ онъ не любить: здѣсь нѣтъ тѣхъ блѣдныхъ цвѣтовъ, ядомъ которыхъ онъ кормилъ тебя. Другіе цвѣты здѣсь растутъ—теплые и яркіе, какъ это весеннее солнце, ласкающее насъ своими лучами; свѣжіе и бодрящіе, какъ этотъ вѣтерокъ, подувшій на насъ со студенаго моря.

Мы на вершинѣ; смотри, какая ширь кругомъ! Впереди

насъ—голубой смѣхъ безпредѣльнаго моря; позади насъ—зеленый смѣхъ безпредѣльной равнины.

Взгляни пристальнѣе на эту вѣчно движущуюся, вѣчно безпокойную, голубую поверхность. Между волнами—синій мракъ; но каждая верхушка загорается, искрится, превращается на мгновение въ ослѣпительный огнеметь. Волну тянетъ къ солнцу; смѣхъ волны—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Взгляни пристальнѣе на ту навѣки застывшую, навѣки спокойную зеленую поверхность позади тебя. Когда ты смотрѣла на нее снизу, блѣдные и грязные стебли былинъ и травъ пятнали свѣжую, сочную мураву: теперь ты смотришь на нее взоромъ солнца — и видишь однѣ зеленые, озаренныя верхушки. Теперь ты познаешь, что смѣхъ муравы—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Да, вертикаль — рокъ жизни: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ просвѣтленныхъ очахъ; вѣрь мнѣ, подруга моя, смѣхъ твоихъ глазъ—ихъ отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Ты бредила подъ гнетомъ красной руки твоего мучителя — и бредящія внимали твоему бреду и повторили его: „Слушайте всѣ! раздалось слово волшебницы-славянки“. Да, твой стонъ сталъ словомъ, и твой хрипъ сталъ словомъ; когда же твой смѣхъ станетъ словомъ?

Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ очахъ — и потухъ; отчего онъ потухъ? Оттого ли, что черная туча стала заволакивать солнце? Не теряй надежды; молись со мною, чтобы эта туча разсѣялась, чтобы солнце побѣдило.

Тебя тянетъ обратно — въ равнину — зачѣмъ? Ты потупляешь взоръ, ты шепчешь мнѣ въ отвѣтъ одно слово: „отдать!“

Отдать? да что же ты отдашь теперь, когда у тебя ничего еще нѣтъ? Ты изрѣжешь на тысячу лоскутовъ свой плащъ, и не согрѣешь нагихъ; ты велишь изрѣзать на тысячу кусковъ свое тѣло, и не утолишь голодныхъ. Нѣтъ, не предавайся тщетнымъ мечтамъ: теперь тебѣ еще нечего отдавать.

Отдать! Ты отдашь, когда скажешь свое слово; сказать его — твой рокъ. Его ты съ равнины не скажешь; его ты скажешь съ горы. Не покидай горы; равнина поглотитъ тебя. Ты развѣ не видишь, кто поджидаетъ тебя у подножія горы?

Огонь общанія заигралъ въ твоихъ очахъ — и потухъ. Подруга моя! Отчего такъ пугливъ поцѣлуй солнца въ твоихъ очахъ?

Отчего такъ мало рока въ твоемъ взорѣ, — подруга моя?

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта первая скрижаль — скрижаль Зевса.

Ты знаешь, кто такое Зевсъ? Это — тотъ богъ которому служили на вершинахъ горъ. Эта — та сила, которая тебя тянетъ на встрѣчу поцѣлую солнца. Это — духъ вертикали.

Ты помнишь? То было ночью. Была равнина и была влага; и влага стала возноситься надъ равниной. Но равнина ей крикнула: „отдай!“, она ухватила за нее тысячью цѣпкихъ рукъ — и влага разостлалась сѣрымъ, свинцовымъ туманомъ по равнинѣ, и стала душить ея травы и цвѣты и живыя твари... Ты хочешь отдать, подруга моя? хочешь лечь гнетущимъ туманомъ на твою родную землю?

Но вотъ сверкнуло въ горнихъ око Зевса, и влагу потянуло вверхъ, на встрѣчу его поцѣлую. Она собралась въ горнихъ дождевой тучей; тогда грозный смѣхъ Зевса заигралъ на ней, тысячью живительныхъ струй полилась она обратно на свою родную равнину, освѣжая ея травы и цвѣты и живыя твари. Такъ она отдала ей то, что взяла у ней — но отдала весельемъ и жизнью, а не болѣзнию и смертью.

Спроси влагу, думала ли она объ отдачѣ, когда возносилась къ нему, къ возлюбленному своей души. Она скажетъ: „нѣтъ“. Она думала о немъ и о грозномъ веселіи его смѣха; а отдача совершилась сама собой, по предвѣчнымъ законамъ міра. Кто думаетъ объ отдачѣ, тотъ отъ тумана, а не отъ грозы.

Но ты боишься грозы. Тебѣ сердце щемитъ, когда огненная змѣя Зевса скользитъ по склонамъ тучи, когда все поднебесье весело содрогается отъ раскатовъ его смѣха; „молнія убиваетъ“, говоришь ты. Да, конечно; молнія убиваетъ. А туманъ — о нѣтъ, онъ не убиваетъ. Онъ только отнимаетъ у насъ свѣтъ и веселіе и медленно, незамѣтно впитываетъ въ

насъ ядъ своей гнетущей хвори, отъ котораго мы потомъ — сами умираемъ.

Молнія убиваетъ, да. И тотъ народъ, который поклонялся Зевсу на вершинахъ горъ, воздавалъ почести тѣмъ, кого убивала его молнія, видя въ нихъ его избранниковъ и святыхъ. И онъ обводилъ изгородью тѣ мѣста равнины, которыя были убиты молніей Зевса, называя ихъ «энелисіями» и ублажая ихъ молитвами и приношеніями. А жертвы тумана — кого она заботитъ, эта безвѣстная проказа больной земли!

О ясная, могучая смерть! о ясная, святая скорбь! Жалокъ тотъ, у кого нѣтъ энелисія въ сердцѣ... Глаза твои блеснули влагою, подруга моя; я вижу, духъ горы тебя проникъ — ты понимаешь меня.

Посмотри... нѣтъ, не смотри; съ горы не увидишь. Но припомни, какъ точно и тщательно они раздѣлили равнину на участки, чтобы всѣмъ одинаково въ нихъ задыхаться. Горе вамъ, богатыри! карлики писали законы для васъ. Ничего, говорятъ они, вымирайте, коли не можете приспособиться; мы, карлики, приспособились. А будетъ тѣсно и намъ — предоставимъ поле карликамъ карликовъ, и такъ далѣе, пока миллионо-милліонная тля не заполонитъ земли. Да здравствуетъ равенство и приспособляемость! да здравствуетъ земной рай — царство всепобѣждающей, непреборимой плѣсени.

А пока — уважайте участки и раздѣляющія ихъ канавы: тотъ грѣшникъ, тотъ преступникъ, кто преступаетъ канаву.

Смотри, подруга моя: солнце клонится къ закату, и наши тѣни призрачными исполинами скользятъ по замечтавшейся равнинѣ. Какъ ты думаешь, сколько канавъ ежесекундно преступаютъ наши исполинскія тѣни? И они этого не чувствуютъ, и нѣтъ грѣха въ дѣяніяхъ нашихъ. Да, красиво и вѣрно говорятъ жители горъ: „на горѣ нѣтъ грѣха“.

У насъ, дѣтей Зевса, законъ одинъ — стремленіе къ нему, на встрѣчу его поцѣлюю. И этотъ законъ — нашъ рокъ. Ты вѣдь знаешь: вертикаль — это рокъ жизни; ты не думаешь отрицать жизнь? Слѣдуй этому року — а отдача совершится сама собою, по предвѣчнымъ законамъ живой природы.

Понятна тебѣ скрижаль Зевса? Да, здѣсь она понятна; вѣдь Зевсъ — это тотъ, кому служили на вершинахъ горъ.

...Что слышу? Ты и сама хотѣла бы принести ему благодарственную жертву—здѣсь же, на его горѣ? Но какъ это сдѣлать? Кругомъ все пусто; здѣсь нѣтъ ни тельца, ни барана... Ты смѣешься; да, я понялъ тебя. Принесемъ ему въ жертву—вампира.

Но гдѣ онъ, твой вампиръ? Онъ спрятался у подножія горы, поджидая тебя, а теперь... смотри, что за чудо! Подѣлуя солнца коснулся его, и онъ заметался въ предсмертныхъ судорогахъ. Теперь только видно, какъ онъ весь гадокъ: отвратительный волдырь, налитый краснымъ гноемъ,—чудовищная красная мокрица съ крыльями нетопыря. Но солнце побѣдносно довершаетъ свое дѣло: онъ кипитъ, дымится, все его тѣло возносится краснымъ паромъ въ вечерній воздухъ. Рѣзвыя нимфы нашей горы весело треплутъ и рвутъ на части его призрачную плоть: всѣ очертанія слились, теперь онъ—не болѣе, какъ рядъ причудливыхъ красныхъ облачковъ, стремительно уносимыхъ въ море.

Въ добрый часъ! Оставаясь надъ равниной, онъ бы за ночь паль ядовитой ржой на молодой хлѣбъ.

Жертвоприношеніе совершилось. Богъ принялъ его—ты слышишь веселый рокотъ удаляющейся тучи? Она повисла надъ сѣвернымъ небосклономъ, оставляя неприкосновеннымъ лучезарное око Зевса. Подруга моя! этотъ рокотъ предвѣщаетъ намъ тихую ночь и ясный, безоблачный день.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта вторая скрижаль—скрижаль Паллады.

Она—первородная дочь Зевса, духъ державнаго разума и подвижной разумомъ воли; ей служили въ бѣломраморныхъ храмахъ, вѣнчавшихъ кремни свободныхъ и благоустроенныхъ родовъ.

Теперь эти храмы въ развалинахъ; неразумная стихійная сила разбросала стройныя колонны и разбила строгую красоту ясныхъ фронтоновъ. Нѣкогда око Паллады сіяло въ нихъ; теперь оно померкло, и лишь одинокій путникъ любитъ нѣмыми

остатками минувшаго величія и чуетъ близость богини въ ея поверженномъ твореньи.

Что было въ началѣ, то стало вновь; а знаешь ты, что было въ началѣ?

Въ началѣ была мгла и душа мглы—уродливая Горгона. Она жила въ сумрачной пещерѣ самой ядовитой долины первобытнаго міра. И у нея была своя скрижаль, и на скрижали стояли слова, которыя ты знаешь: „Науки храмъ, ея друзьямъ недостижимый вѣчно,—открыть тому, кто врагъ уму: онъ въ немъ царить безопасно“.

Отсюда, изъ этой сумрачной пещеры, выпускала она своихъ гадовъ распространять слова ея скрижали среди людей. И каждому давала она, въ придачу къ нимъ, особое наставленіе.

Первому она велѣла говорить: „Ѣшь, пей и размножайся, остальное — суета и спѣсъ“. Второму: „кто не за тебя, тотъ противъ тебя“. Третьему: „кто противъ тебя, тотъ глушь или подлѣ“. Четвертому: „Простота—залогъ истины“. Пятому: „Не довѣрай тому, кто ясными доводами пытается переубѣдить тебя, и не выпускай крота твоего убѣжденія изъ его норы“. Шестому: „Во всякомъ дѣяніи ищи себялюбиваго побужденія“. Седьмому: „Истина открывается коллективной волѣ толпы, а не единоличному мышленію выдающихся мужей: vox populi—vox Dei“.

Таковы были гады, посылаемые Горгоной во всѣ углы вселенной; и люди внимали ихъ ученію и слѣдовали ему, и царство мглы распространялось по землѣ.

И мгла стала грозить небу и его свѣтиламъ. „Не торжествуй, солнце!“ говорила она, „вскорѣ твой блескъ померкнетъ, затуманенный моимъ дыханіемъ, и старшій изъ моихъ гадовъ поглотитъ твой сіяющій ликъ“.

Многіе отправлялись въ пещеру Горгоны, чтобы сразить ее и спасти царство свѣта; но никто не могъ вынести ея пустаго, мертвеннаго взора. Кровь леденѣла у бойцовъ, и они застывали каменными глыбами у порога пещеры.

Но вотъ, ведомый Палладой, Солнце-богатырь переступилъ этотъ порогъ. Онъ отразилъ своимъ яснымъ щитомъ каменный взоръ чудовища и отсѣкъ ему его уродливую голову. И Паллада прикрѣпила голову Горгоны къ своей эгидѣ и окружила ее тѣми семью гадами, которые распространяли ея науку по землѣ.

И когда мгла пошла походомъ противъ свѣта, стремясь поглотить небо съ его свѣтилами, и солнце уже стало меркнуть, окутанное ея ядовитымъ дыханіемъ — Паллада вышла ей навстрѣчу, высоко держа эгиду въ своей побѣдоносной рукѣ.

Страшно смотрѣлъ съ высоты блѣдный ликъ чудовища своимъ пустымъ, мертвеннымъ взоромъ: широкою щелью зіялъ подъ сплюснутымъ носомъ его безобразный ротъ, точно высмѣивая своей безсмысленной улыбкой безсмысленное послушаніе тѣхъ, кто прицѣлялъ его науку.

И мгла познала себя въ зіяющей пустотѣ этого мертвого лика; она выпустила небо изъ своихъ цѣпкихъ рукъ и скрылась, пораженная, въ ядовитыя пещеры и пропасти земли. Солнце побѣдило, и скрижаль Паллады возсіяла надъ міромъ.

Ты знаешь скрижаль Паллады — скрижаль державнаго разума? Да, подруга моя, теперь ты знаешь ее. Она открывается только тѣмъ, кто сразилъ Горгону, а ты ее сразила. Видишь, какъ рѣзвые волны голубого моря треплютъ и заливаютъ красныя ключья ея тѣла?

Нѣтъ даровыхъ истинъ: только то — твое честное убѣжденіе, что ты честно продумала въ горнилѣ твоего сознанія. И только тотъ имѣетъ право согласиться съ тобой, кто закалилъ твою мысль въ огнѣ собственнаго разума.

Не все обозрѣваетъ огненный взоръ свѣтлоокой богини; есть область, надолго, ...быть можетъ, навсегда ей недоступная, — ее вѣдаетъ Деметра. Но того, что для тебя отвоевала Паллада, ты не должна уступать Горгонѣ и ея гадамъ.

Посмотри на богиню: какъ весело пылаетъ ясная гроза ея очей, какъ весело смѣется ея ясный племъ, возвращая солнцу его поцѣлуй! Какъ она горитъ жаждой боя за державный разумъ и его права! И что это будетъ за веселый, славный бой — ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ!

„Ты долженъ признать самое горькое для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогаго для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто“ — вотъ завѣтъ Паллады ея бойцамъ. Ея око съ одинаковою любовью свѣтитъ и побѣдителямъ и побѣжденнымъ, если они соблюдаютъ этотъ завѣтъ, данный ею смертнымъ на всѣ времена.

А на груди ея — чешуйчатая эгида съ головой сраженнаго

страшилища: пусть знаютъ смертныя, кому они себя отдаютъ, отрицая свѣтлоокую богиню и ея завѣтъ, отвергая ясную грозу ея битвъ!

Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнья; кто сторонится ова Паллады, надъ тѣмъ нависнетъ зіяющій взоръ Горгоны— тотъ взоръ, отъ котораго каменѣетъ плоть и леденѣетъ жизнь.

Хочешь ты, чтобы поля твоей равнины огласились яснымъ булатнымъ звономъ Палладиныхъ битвъ? Хочешь, чтобы ея бѣломраморныя храмы вѣнчали кремни твоихъ городовъ?

Но кто-то шепчетъ тебѣ: „Не хоти. Зачѣмъ ей быть здѣсь? Она для тебя—чужая“. Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ черный шепотъ лжетъ“.

Онъ лжетъ, да; но его ложъ простительна. Эта черная тѣнь навѣки бы разсѣялась, если бы ее озарило око Паллады съ высоты ея бѣломраморнаго храма въ кремль твоего стольнаго града.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта третья скрижаль—скрижаль Геракла.

Онъ—сынъ Зевса и любимецъ своей сестры Паллады; но его мать была смертная, и долей смертнаго была его доля на нашей землѣ.

Ему улыбнулась Жизнь, когда онъ былъ въ колыбели, и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ свободенъ: надъ тобой не будетъ закона, кромѣ твоей силы и твоей воли“. И малютка вздохнулъ ей въ отвѣтъ.

Она вторично улыбнулась и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ славенъ: твой отецъ Зевсъ приобщитъ тебя къ сонму небожителей, и ты будешь вкушать вѣчное блаженство за его трапезой, рядомъ со златокудрой Гебой“. И малютка взглянулъ на нее, и огонь ея взора потухъ во влагѣ его очей.

Она въ третій разъ улыбнулась и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ свѣтелъ: я исполню всѣ желанія твоего сердца“. И тутъ только малютка отвѣтилъ ей улыбкой.

Ставъ отрокомъ, онъ отправился въ путь. Онъ проходилъ мимо скалистой Немен; пастухи окружили его и взмолились къ нему: „Сжался надъ нами, герой! дикій левъ разоряетъ наши стада“. Вслѣдъ затѣмъ они разбѣжались: рычанье льва слышалось съ вершины ближайшей скалы. Гераклъ остался; немного спустя шкура косматого звѣря уже свѣшивалась съ его плечъ.

Онъ прошелъ дальше; на зеленомъ лугу стояла Жизнь съ пучкомъ голубыхъ цвѣтовъ въ рукѣ. Она спросила его: „Не правда ли, ты думалъ о трапезѣ Зевса и ради нея совершилъ свой подвигъ, помогая слабымъ и обиженнымъ?“ Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ льва, потому что онъ мнѣ встрѣтился на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу его поборотъ; мой трудъ былъ радостенъ и награды не ждетъ.

„А теперь ты мнѣ встрѣтилась на моемъ пути: дай же мнѣ одинъ изъ цвѣтовъ, которые у тебя въ рукѣ. Онъ тинетъ меня къ себѣ своимъ сладкимъ, веселящимъ запахомъ: если ты въ моемъ подвигѣ видишь заслугу, пусть твой цвѣтокъ мнѣ будетъ наградой за него“.

Она сказала: „на что тебѣ этотъ цвѣтокъ? Мужайся и трудись: тебя ждетъ твое мѣсто за трапезой Зевса и ласка прекраснокудрой Гебы. А цвѣты мои не для тебя“. И она, смѣясь, протянула ихъ проходившему мимо молодому пастуху; тотъ поигралъ ими и бросилъ ихъ въ протекавшій мимо ручей.

Онъ спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?“ Она отвѣтила: „Я не обѣщала исполнить это желаніе теперь“. — „Будь благословенна!“ сказалъ онъ и продолжалъ свой путь.

Минули годы; Гераклъ сталъ юношей. Онъ проходилъ мимо болотистой Лерны; крестьяне обступили его и взмолились къ нему: „Сжался надъ нами, герой! Стоглавая гидра заняла единственный родникъ, дававшій намъ чистую, студеную воду“. Вскорѣ затѣмъ изъ сосѣдней чащи слышалось шипѣніе гада. Гераклъ вышелъ ему навстрѣчу; послѣ долгой, упорной борьбы онъ отрѣзалъ и прижегъ головы чудовища и омочилъ свои стрѣлы въ его ядовитой крови.

Онъ прошелъ дальше; у родника его встрѣтила Жизнь съ вѣнкомъ изъ голубыхъ цвѣтовъ на русыхъ кудряхъ и съ золо-

той чашей въ правой рукѣ. Она сказала ему: „Я все время любовалась на тебя и на твой славный бой; ты, видно, пожалѣлъ бѣдныхъ крестьянъ, лишенныхъ своего единственного родника?“ Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ гидру, потому что она мнѣ встрѣтилась на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу ее побороть; это былъ радостный трудъ. А если ты любовалась на мой подвигъ, то теперь награди меня“.

Она сказала: „Я затѣмъ и встрѣтила тебя, герой, чтобы тебя наградить. Я дамъ тебѣ цвѣтокъ изъ моего вѣнка; онъ — такой же, какъ и тѣ, которые нѣкогда такъ нравились тебѣ“. Онъ отвѣтилъ: „Его запахъ приторенъ, и его видъ не плѣняетъ болѣе моихъ глазъ; но меня тянетъ къ той чашѣ, что у тебя въ правой рукѣ. Какъ весело искрится ея золото въ лучахъ солнца! какъ весело играетъ ея свѣтлая, живительная влага! Дай мнѣ одинъ глотокъ, и я бодро буду продолжать свой путь“.

Она сказала: „На что тебѣ моя чаша? Трудись и сражайся: тебя ждетъ вѣчная благодарность спасеннаго тобой человѣчества. А отъ чаши Жизни подальше: она не для тебя“. И она, смѣясь, протянула ее проходившему мимо крестьянину; тотъ, отпивъ нѣсколько капель, бросилъ остатокъ вмѣстѣ съ самой чашей въ глубь родника.

Онъ вздохнулъ и спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?“ Она отвѣтила: „Ты пожелалъ имѣть мой цвѣтокъ, и я тебѣ его принесла; но я не обѣщала исполнить это желаніе теперь“. — „Будь благословенна!“ сказалъ онъ и грустно пошелъ дальше.

Возмужавъ, онъ поборолъ дикую рать кентавровъ; и опять его встрѣтила Жизнь подъ сѣнью раскидистой яблони. Она предложила ему напиться изъ ея чаши; но ея блескъ уже не веселилъ утомленныхъ глазъ героя, и ея влага показалась ему прѣсной и вялой. А тѣхъ яблокъ, что алѣли на краю вѣтви, она ему не позволила сорвать.

На исходѣ цвѣтущихъ лѣтъ онъ поборолъ Кербера, свирѣпаго стража преисподней; выйдя на свѣтъ, онъ опять увидѣлъ Жизнь, которая ждала его у подножія горы. Она улыбнулась и протянула ему три яблока; онъ равнодушно ихъ принялъ, равнодушно заложилъ руку за спину и въ грустномъ раздумьи опустилъ чело.

Поднявъ глаза, онъ встрѣтилъ ея загадочный, дѣтски веселый и дѣтски жестокий взоръ. Онъ сказалъ: „За что ты обманываешь меня? За каждый послѣдній мой подвигъ ты исполняла мое предпослѣднее, давно уже выдохшееся желаніе; ужели всегда такъ будетъ?“ — „Нѣтъ“, шепнула она, „есть одно желаніе, которое я исполню немедля, какъ послѣднее—чтобы ты не могъ сказать, что я исполняла не всѣ желанія твоего сердца“.

„Такъ вотъ оно“, сказалъ онъ, „я тебя хочу—тебя самое; хочу, чтобы ты была моей—вотъ мое послѣднее желаніе, за которымъ уже не будетъ мѣста для другихъ!“ Съ этими словами онъ поднялъ руку по направленію къ ней. „Къ чему?“ спросила она съ дѣтскимъ удивленіемъ во взорѣ. „Къ чему это теперь? Будь терпѣливъ, и я сама къ тебѣ приду, когда ты будешь старцемъ, чтобы вѣнкомъ изъ розъ увѣнчать твою сѣдину“.

Онъ сказалъ: „Я давно тебя люблю, жестокая, люблю тебя любовью столь же безумной, какъ и ты сама. И я хочу тебя теперь же, а не тогда, когда крылья моего желанія, разбитыя, повиснутъ. Ты сама сказала, что нѣтъ надо мной закона, кромѣ моей силы и воли; покорись же моей силѣ и волѣ!“

Онъ опустилъ ей руку на плечо. Она быстро отшатнулась отъ него—и онъ почувствовалъ, какъ адское пламя окружило его тѣло. Точно весь ядъ гидры проникъ его плащъ и, впиваясь въ него самого, сталъ пожирать всѣ живые покровы его костей. Тщетно пытался онъ сбросить его: плащъ прилипъ къ его кожѣ, и онъ, отрывая его, раздиралъ свою собственную плоть. И всѣ страданія, перенесенныя имъ въ жизни, показались ему блаженствомъ въ сравненіи съ этой нестерпимой болью.

Онъ сказалъ ей: „Прекрати мою муку!“ Она грустно улыбнулась и отвѣтила: „Да, я ее прекращу; это и есть то твое желаніе, которое я могу исполнить немедля, какъ послѣднее“.

Она повела его на вершину горы; тамъ ореады воздвигли для него высокій костеръ. Опираясь на ея руку, онъ взошелъ на него. „Будь благословенна!“ шепнулъ онъ ей; и его шепоть замеръ въ бурѣ пламени, охватившаго и костеръ и его.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта четвертая скрижаль—скрижаль Деметры.

Деметра—старшая сестра Зевса, кроткая богиня тайнъ о синемъ покровѣ. Она—духъ сонной равнины; ей служили въ прохладныхъ рощахъ, въ синемъ сумракѣ густолиственныхъ тополей.

Ты видишь: солнце повисло надъ краемъ западнаго моря, и волны стыдливо зардѣлись, готовыя принять въ свой теремъ божественнаго жениха. А тамъ, съ востока, Деметра все шире и шире простираетъ свой синій покровъ надъ утомленной равниной. Ты слышишь шепотъ ея предвѣстника, вечерняго вѣтерка? Онъ шепчетъ землѣ: „Засни, утомленная; засни—до утра“.

Утро — начало міра, вечеръ — его конецъ. Все, что началось, должно кончиться: всякому міру предстоить его вечеръ. Зевсъ вздрогнулъ, постигши силу этого слова; онъ взглянулъ на сестру—и нашелъ успокоеніе въ синей тайнѣ ея кроткихъ очей. „Да“, сказала она, „придетъ время—и твой вечеръ наступитъ, и мой покровъ покроетъ и тебя. Ты заснешь, утомленный; заснешь—до утра.

„Вы раздѣлили между собою всѣ міры видимости и мысли; мнѣ остались лишь синія междумірія чаянія и тайны.

„Ты помнишь? Была весна; твои птички весело пѣли надъ моею равниной, и твое лучезарное око мирно улыбалось невинному, зеленому смѣху ея травъ. Онѣ стремились вверхъ на встрѣчу твоему поцѣлюю; но пришло лѣто—стремленіе остановилось, колосъ зацвѣлъ; пришла осень—налившійся колосъ уныло отвернулся отъ тебя и опустилъ голову въ мрачномъ раздумьи: что же теперь?

„Что теперь?“ рывкнула Горгона; „теперь—конецъ, теперь—смерть! Горе вамъ, былинки и пташки: васъ ждетъ смерть! Горе вашимъ пѣснямъ, вашему смѣху: они застынутъ въ безмолвіи смерти! Горе вашему стремленію: его скуетъ смерть. А, вы не знали, для чего васъ вызвали изъ нѣдръ небытія? Такъ узнайте же: для того, чтобы вы медленно и полно вкусили горести смерти!“

„И она вышла изъ своей мрачной пещеры и показала равнинѣ свою уродливую голову съ ея пустымъ, зіяющимъ взоромъ. И равнина въ ужасѣ заколыхалась: спаси насъ, Зевсъ! спаси насъ, Паллада! мы всѣ васъ любили и къ вамъ стремились: не выдавайте насъ смерти!

„Но ты безучастно смотрѣлъ въ голубую даль, и твоя дочь грустно склонилась на свое копье. Гулъ отчаянія пронесся по пожелтѣвшей нивѣ; зерна выпали изъ своихъ колосьевъ: смерть торжествовала.

„Тогда я приблизилась къ бѣднымъ дѣтямъ моей равнины; я покрыла ихъ своимъ синимъ покровомъ и шепнула имъ: засните, утомленные; засните—до утра.

„Я поборола смерть. Я послала свою единственную дочь къ царю преисподней въ нѣдра земли; она принесла людямъ вѣсть, что смерти нѣтъ, что есть только синій сонъ утомленнымъ—сонъ до утра.

„Медленнымъ, тяжелымъ шагомъ достигаетъ усталый путникъ вечерняго берега жизни. Онъ готовъ возропать, чую прикосновеніе ледящей руки; но я осѣняю его глаза своимъ покровомъ—и онъ засыпаетъ, съ кроткой улыбкой надежды на устахъ, склонивъ голову ко мнѣ на плечо. Я его бережно укладываю на мягкое дно своего челна; тихо скользитъ мой челнъ по синимъ тайнамъ рѣки междумірія. Рой духовъ безмолвнымъ полетомъ провожаетъ соннаго пловца, сплетая загадочные концы двухъ жизней, чередуя сновидѣнія воспоминаній со сновидѣніями чаяній; такъ доплываетъ онъ до утренняго берега. Здѣсь солнце свѣтитъ и трава зеленѣетъ; очнувшійся путникъ стряхиваетъ съ себя тайны междумірія и бодро стремится въ твой шумный градъ, гдѣ копье Паллады его привѣтствуетъ съ высоты бѣломраморнаго кремля.

„И люди познали благостыню моего синяго покрова; благодарные побѣдительницамъ смерти, они воздвигли мнѣ съ дочерью роскошный храмъ въ Элевсинѣ на озаренномъ пылающими свѣточами луку. Здѣсь мы пѣствуемъ имъ святые таинства; здѣсь золотая печать сковываетъ уста жрецовъ-Евмолпидовъ. Наше молчаніе—залогъ откровенія; горе тому, кто нарушитъ печать Элевсинскихъ таинствъ!

„И тысячи утомленныхъ стекаются въ Элевсинъ искать

откровенія и отрады въ синемъ сумракѣ моихъ пещеръ, въ торжественныхъ хороводахъ моего озареннаго луга. Паллада мирно взираетъ на мои тайнства, навѣки скрытыя отъ ея огненнаго взора; она знаетъ, что ей меня не побороть—мѣдное остріе ея копья разбилося бы о мягкую, но несокрушимую теань моего покрова.

„Мы не враги. Я охотно уступаю ей все, что горитъ огнемъ стремленія, все, въ чемъ кипитъ надежда и сила; она безъ зависти даетъ мнѣ затеплить синій огонекъ моей тайны для тѣхъ, для кого померело лучезарное солнце счастья.

„И ты, о Зевсъ, не касайся своимъ перуномъ моего элевсинскаго храма! Пусть въ немъ во всѣ времена ищутъ отрады тѣ, у кого повисли крылья желаній, разбитыя бурей твоей жизни. Если ты разрушишь мой храмъ—воскреснетъ Горгона и ея гады, и всѣ разбитые жизнью усилятъ ея рать; мгла снова пойдетъ на солнце, и солнце не побѣдитъ.—Или ты не знаешь, что они сдѣлали съ моей страдалицей?

„Она была молода и счастлива, и они сказали ей: Ты должна отдать твои серьги, ожерелья и запястья, должна отдать твои шелка и парчи—этого требуетъ *онъ*. Грустная улыбка скользнула по ея устамъ; она отдала имъ все и сказала: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отказаться отъ хороводовъ и вечеринокъ, должна сторониться друзей и подругъ, семьи и родныхъ: неустанный трудъ отъ зари до зари отнынѣ твой удѣлъ—этого требуетъ *онъ*. Слезы брызнули изъ ея очей; она положила себѣ на голову глиняный кувшинъ и покорно пошла за водой, говоря: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отдать *ему* на закланіе своего единственнаго малютку, завѣтное дитя твоихъ надеждъ; этого требуетъ *онъ*. Румянецъ исчезъ съ ея щекъ, и ея очи потухли; она отдала имъ своего ребенка и шепнула помертвѣвшими устами: да свершится воля *его*!

„И день за днемъ, послѣ зари и передъ зарей, ходила она за водой къ роднику съ тяжелымъ кувшиномъ на головѣ, съ тяжелой думой въ сердцѣ; она работала за прялкой и кроссами, въ огородѣ и у очага; а вечеромъ, склонивъ усталый

станъ надъ пустой колыбелью своего ребенка, она шептала: *Онъ далъ, онъ и взялъ; да свершится воля его!*

„Но вотъ однажды, у порога ея хижины, ее встрѣтила твоя свѣтлоокая дочь. Безумная! гнѣвно воскликнула она, что сдѣлала ты? Твоя жертва была напрасна: знай, *его*—нѣтъ. Они обманули тебя: есть Зевсъ, богъ радости, разума и любви, но *его*—нѣтъ.

„Она отвѣтила: зачѣмъ ты мнѣ это сказала? Они мнѣ оставили жизнь; ты меня убила. Да будетъ проклятъ безжалостный блескъ твоихъ очей, озарившій мою пустоту!

„Паллада исчезла. Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнія: изъ разверзшейся пещеры выползли, одинъ за другимъ, направляясь къ страдальцѣ, три гада. Одному имя было—Раскаяніе, другому—Отчаяніе, третьему—Уничтоженіе. Ихъ глаза зловѣще горѣли багровымъ пламенемъ; они медленно приближались къ ней, и она уже чувствовала палящее дыханіе перваго изъ нихъ.

„Тогда я, оттолкнувъ гадовъ, къ ней подошла. Я осѣнила ее своимъ синимъ покровомъ — на нее повѣяло прохладою тайны съ рѣки междумірія, и счастливая улыбка впервые заиграла на ея блѣдныхъ устахъ. Я склонила ея голову себѣ на плечо и, покрывая ее, шепнула ей: засни, утомленная; засни—до утра“.

* * *

Смотри: солнце коснулось своимъ нижнемъ краемъ верхняго края моря; настала торжественная минута разлуки дня съ міромъ. И я водружаю надъ тобой новую скрижаль: эта пятая скрижаль—скрижаль Аполлона.

Оставимъ Деметру и синій покровъ ея тайнъ: онъ тебѣ будетъ нуженъ въ грядущемъ, но не теперь. Ты молода и прекрасна: мнѣ любо смотрѣть на твое свѣжее лицо, облитое румянцемъ заходящаго дня. Такъ нѣкогда Клитія, дѣва-цвѣтокъ, глядѣла вслѣдъ своему любимцу, догоравшему на огненномъ ложѣ волнъ, и лучъ ея взора угасалъ вмѣстѣ съ нимъ.

О, проникнись лучами угасающаго бога! въ нихъ для тебя новая, вѣчная наука. Только тотъ постигъ цѣнность жизни, кому понятна Клитія и ея гордая, ликующая смерть.

„Тебѣ мой возлюбленный!“ говорила она, „приношу я вольный даръ моей души, тобою вызванной къ бытію. Я была цвѣткомъ среди цвѣтковъ; одна лишь душа породы жила во мнѣ. Я не знала, что родилась вчера, не знала, что умру завтра; ровная струя подсознательной жизни уносила меня изъ вѣчности въ вѣчность.

„Да, тихо и ровно текла струя моего бытія. Величайшая радость лишь скользила по ней едва замѣтной зыбью, которую стирало слѣдующее мгновенье; величайшее горе отзывалось въ ней лишь едва слышнымъ стономъ, замиравшимъ въ первомъ вѣтеркѣ. Чѣмъ я была, и была ли я—всего этого я не знала.

„И вдругъ твой лучъ, о мой возлюбленный, коснулся меня; твой голосъ воззвалъ ко мнѣ: познай самое себя! Я оглянулась на тѣхъ, что тѣснились кругомъ меня, и мнѣ стало ясно: все это была не я. Я посмотрѣла на себя: грань между мною и не мной опредѣлилась, душа личной жизни загорѣлась во мнѣ.

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. Хочешь ты промѣнять вѣчность подсознательнаго бытія на минуту личной жизни? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя, выбросившая меня на берегъ сознанія; мнѣ стало страшно этой безмолвной вѣчности, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. До сихъ поръ ни радость тебя не окрыляла, ни горе не бороздило твоего сердца; хочешь ты отвѣдать восторгъ упоеній, окупаемый жгучею болью, мучительными содроганіями души? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя вѣчности, покинутая мною; мнѣ стало страшно ея невозмутимой глади, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Теперь ты моя, и вотъ тебѣ мой второй завѣтъ: познавъ себя, будь тѣмъ, что ты есть! Я робко спросила тебя: о милый мой! имѣю ли я право быть тѣмъ, что я есть? Посмотри, сколько сотенъ и тысячъ тѣснятся кругомъ меня: если всѣ захотятъ быть тѣмъ, что они есть—какъ намъ ужиться другъ съ другомъ?

„Ты улыбнулся мнѣ въ отвѣтъ: мое слово, сказалъ ты, не для нихъ, мои лучи не проникаютъ въ глубину полусознательнаго бытія: ты уже была моей избранницей, когда я возжегъ въ тебѣ душу личной жизни. Не заглушай же ея въ себѣ: будь тѣмъ, что ты есть, познавъ себя!

„Это значить: будь художницей собственной жизни, собственнаго я; мой законъ — законъ гармоніи, законъ красоты: только то хорошо, что даетъ съ твоимъ я хорошее, ясное созвучье. Ты сама отнынѣ себѣ мѣрило: дѣлай все, что къ тебѣ идетъ, и другіе покорятся красотѣ и гармоніи твоего я.

„И не думай, что мое слово зоветъ тебя на стезю преступленія. Преступленіе несовмѣстимо съ тобой, потому что ты — избранница моя. И мое слово — только для тебя, моей избранницы, а не для тѣхъ сотенъ и тысячъ, что тѣснятся кругомъ тебя. Онѣ его не услышатъ; а если и услышатъ — пусть попытаются: вслѣдъ за ихъ преступленіемъ волна раскаянія опять погрузитъ ихъ въ ту струю, изъ которой имъ никогда не слѣдовало выходить.

„Онѣ будутъ оправданы своими дѣяніями; но твои дѣянія будутъ оправданы тобой. Тебѣ многое дозволено, чего другимъ нельзя.

„Такъ говорилъ ты мнѣ; и я признала себя избранницей твоей. О, какъ горѣлъ твой лучъ въ моемъ сердцѣ! какъ чувствовала я свою отвѣтственность за то святое пламя красоты, которое ты во мнѣ возжегъ!

„О милый мой! Та личная жизнь, на стезю которой ты призвалъ меня, предстала предо мною въ двойномъ, причудливомъ свѣтѣ. И часто спрашивала себя: да я ли еще я? Или я — сосудъ избранія, и чужая воля живетъ и волитъ во мнѣ? И я поняла, что въ этомъ отрѣшеніи отъ себя состоитъ высшее осуществленіе личной жизни.

„И для меня стало долгомъ все то, что во мнѣ волила эти воли. Въ началѣ они пытались навязывать мнѣ законы своей ответственности: они называли ее обязательною для всѣхъ, а, стало быть, и для меня. Я смѣялась надъ ихъ назойливостью, и они проклинали меня; я смѣялась надъ ихъ проклятіями, и они покорились мнѣ.

„Глупцы проклинали меня; безумцы мнѣ подражали. Имъ было любо слѣдовать за мною по бѣлой тесемѣ, перекинутой черезъ пропасть; но тесьма не выносила тѣхъ, кого не окрыляла твоя воля, въ комъ не горѣло пламя твоей красоты, — и они обрушивались въ вѣчный мракъ. А сотни и тысячи ликovali объ ихъ паденіи и возглашали, смѣясь: смотрите всѣ! нравственный законъ торжествуетъ.

„И мнѣ стало страшно лишь одного: какъ бы раньше меня не потухло это святое пламя въ моей груди. Я питала его всѣмъ, чѣмъ оно хотѣло—и радостями, и горемъ. Сотни и тысячи гнѣвно взывали ко мнѣ; что дѣлаешь ты? Сторонись радости: она окупается горемъ. Сторонись горя: оно сокращаетъ жизнь. А я говорила: я сторонюсь лишь покоя—онъ отрицаетъ жизнь... Ко мнѣ, красота радости! ко мнѣ, красота горя! Было бы чѣмъ помянуть жизнь—тамъ, на томъ свѣтѣ!

„И жизнь моя была свѣтла, какъ свѣтель путь твоей колесницы на небесной тверди. Про меня пѣлъ влюбленный юноша въ лѣтнюю ночь, повѣряя своей милой тайну своихъ пламенныхъ желаній; про меня баяла старушка за зимнимъ огнемъ, воскрешая предъ внучатами память минувшей весны, а предъ собою—память отцвѣтшей жизни. Я стала Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ.

„И ты, мой возлюбленный, былъ ко мнѣ милостивъ до конца. Меня освѣжалъ твой первый лучъ, еще влажный отъ ночного дыханія студенаго моря; меня ласкалъ твой послѣдній, прощальный взоръ, готовый потухнуть въ вечерней волнѣ. Твой огонь неугасимо горѣлъ въ моей груди; еще теперь онъ тлѣетъ, и я знаю: его послѣдняя, предсмертная вспышка унесетъ мою душу.

„Прости, мой лучезарный другъ! Еще мгновенье—и надъ тобой сомкнется синяя пучина моря, а надо мной—синій покровъ богини тайнъ. Я съ благодарностью возвращаю тебѣ сладкій даръ жизни, безъ сожалѣнія о радостяхъ, которыми ты ее надѣлилъ, и безъ упрека за горе, которое ты заставилъ меня испытать. Будь благословенъ, мой другъ—будь благословенъ и прости!“

Такъ говорила дѣва-цвѣтокъ, Клитія, невѣста Аполлона; угасающій лучъ солнца принялъ ея послѣдній поцѣлуй. И тебя, подруга моя, ласкаетъ прощальный взоръ заходящаго бога; но ты молода и свѣжа, и жизненный путь едва начать тобою.

Хочешь, чтобы этотъ путь былъ свѣтель, такъ же свѣтель, какъ и бѣлая тесьма ея благословенной жизни? Хочешь стать Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ?

Подумай; пока про тебя баюютъ другую сказку, и она еще не прожита. Посмотри на западъ: о солнце, пламя обличенія!

Ты знаешь, что эта за сказка? Черная тѣнь мелькнула передъ тобою: хочешь ты, чтобы это было ея послѣднее появленіе?

Какъ весело играетъ вечерній вѣтеръ твоими русыми кудрями; какъ ярко горятъ они, развѣваясь, въ багровыхъ лучахъ заходящаго солнца! Да, свѣтлый богъ, прощаясь, благословляетъ тебя на твой жизненный путь.

Подруга моя! хочешь ты быть достойной благословенія бога? Смотри: весь огненный шаръ уже погрузился, только верхній его край еще виднѣется надъ верхнимъ краемъ волнъ. Пока тебя еще ласкаетъ его прощальный лучъ, стряхни ярмо робости, кликни ему: да, хочу!

* * *

Солнце зашло: посмотри, какими чудными переливами алѣетъ надъ рубежомъ волнъ его огненное дыханіе! Скоро и оно угаснетъ; небо темнѣетъ, на его южномъ склонѣ золотой Гесперъ затеплилъ свою тихую лампаду. Гесперъ прекраснѣйшая изъ звѣздъ—Гесперъ, сопрестольникъ Афродиты—такъ называлъ его народъ-избранникъ боговъ.

Да, подруга моя; золотой лучъ любви запылалъ надъ нами на синемъ покровѣ ночного неба. И я водружаю надъ тобою новую скрижаль: эта шестая скрижаль—скрижаль Афродиты и ея тайнствъ.

Ей служили когда-то на цвѣтистыхъ лугахъ подъ прозрачною сѣнью миртовыхъ бесѣдокъ. Тутъ ея прислужницы, теплой весенней порой, созывали ея юныхъ поклонниковъ на веселый всенощный праздникъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!“ Это было давно—теплой весенней порой жизни нашей породы.

Подулъ самумъ съ востока, и поблекли цвѣты луга Афродиты; пали наземь, изсушенные зноемъ, зеленныя вѣтви ея миртовыхъ бесѣдокъ. Начался мартирологъ любви.

Другіе были изгнаны; ее взяли въ плѣнъ. Ее проклинали съ амвоновъ, ее распинали и жгли на городскихъ площадяхъ; ее волочили по домамъ разврата, гдѣ отверженцы жизни изрыгали предъ ней пьяную грязь своихъ блудныхъ похотей; ее облекали въ отвратительное рубище и привязывали къ позор-

ному столбу, восклицая: смотрите всѣ! вотъ она,—ваша прославленная любовь!

Она все выносила въ горделивомъ спокойствіи и говорила своимъ мучителямъ: на васъ мой позоръ и на дѣтей вашихъ! Я—вѣчно чиста и прекрасна; но дряблѣть стану и сохнуть рука у того, кто посягаетъ на Зевсову дочь Афродиту.

Она все вынесла; но она стала другой, чѣмъ была нѣкогда среди миртовыхъ бесѣдокъ своего цвѣтистаго луга. И тѣ, кто къ ней приближается теперь, рѣдко видятъ улыбку ласки на ея божественныхъ устахъ, рѣдко слышатъ ея упоительный зовъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!“

„А, ты хочешь любви; но кто тебѣ сказалъ, что ты имѣешь право любить?“

„Ты молодъ и силенъ; возьми этотъ камень, брось его вверхъ,—туда, вслѣдъ улетающей птицѣ. Смотри, какъ онъ по-несся къ облакамъ! какъ онъ стремительно летитъ, точно не предчувствуя близкаго паденія! Вотъ онъ остановился: здѣсь раздѣлъ между восходящей и нисходящей вѣтвью его полета; но пока я говорю, онъ успѣлъ упасть и тяжело грохнуться о землю.“

„А ты, мой другъ, что собой представляешь,—восходящую или нисходящую вѣтвь жизни? Замѣть: я дочь Зевса, духа вертикали; я только тѣмъ улыбаюсь, въ комъ вижу порывъ восходящей жизни.“

„Ты обидѣлся: я молодъ и силенъ, говоришь ты. О другъ мой! а увѣренъ ли ты, что не былъ старцемъ еще въ колыбели?“

„Твой дѣдъ былъ прекрасенъ и могучъ; въ немъ жилъ порывъ восхожденія, который бы его вознесъ къ облакамъ. Но онъ его заглушилъ въ пьяной грязи своихъ блудныхъ похотей; онъ былъ раздѣломъ между восходящей и нисходящей вѣтвью вашей породы.“

„Я—та, что «на жужжащемъ станкѣ времени ткеть живую ризу божества». Я сплетаю лучшія единицы и изъ нихъ вывожу вѣчную нить породы. Какое мнѣ дѣло до тебя? Тебя я отвергла. Ты былъ старцемъ еще въ колыбели; не для тебя—любовь. Иди—умри бездѣтнымъ, во избѣжаніе худшаго зла: не сына, проклятіе родишь ты себѣ.“

„И тебя также, о второй мой другъ, я съ болью въ сердцѣ отвергла. Твой отецъ былъ первымъ среди мудрецовъ; но ради науки онъ забылъ все въ мірѣ и сталъ раздѣломъ обихъ вѣтвей вашей породы. Тебѣ онъ передалъ свой пытливый умъ, свою безавѣтную преданность разуму. Свѣтъ Паллады сіяетъ на твоемъ челѣ, огонь Паллады горитъ въ твоихъ впалыхъ глазахъ; служи ей и впредь—она окружить тебя почетомъ и славой, но мои розы не для тебя.

„И ты тоже, о мой третій другъ, оставь мою свиту. Ваша порода давно уже нисходитъ: въ тебѣ она дала свой послѣдній отпрыскъ, нѣжный и мягкій, съ печатью неземной доброты на твоихъ тонкихъ, грустныхъ устахъ. Служи Деметрѣ; она сдѣлаетъ тебя богомъ для людей и ласково тебя осѣнитъ своимъ синимъ покровомъ, когда мятежные сны о веснѣ вашей породы придутъ тревожить осеннюю дрему твоего сердца.

„Гдѣ вы, могучіе и смѣлые,—гдѣ вы, избранники мои? Я ищу васъ глазами среди этихъ сыновъ равнины—и едва нахожу немногихъ между многими. О дряблое племя! Недаромъ вы въ теченіе вѣковъ жгли и распинали Зевсову дочь Афродиту и топтали въ грязь ея божественные дары!

„Но я слышу, вы ропщете. Знаю: вы раздѣлили свою равнину на мелкіе участки, объявивъ преступникомъ того, кто преступитъ ваши межи и канавки. Вы и любовь размежевали: одного для одной, одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ—вотъ ваша высшая справедливость. Такъ вы, не спрашиваясь меня, подѣлили мои дары!

„Вы меня распинали и жгли: я смотрѣла на хитрую сѣть вашихъ межей и канавокъ, и дикій хохотъ пробивался чрезъ боль моихъ мученій. О безумцы, безумцы! Не спросясь меня, дѣлить мои дары!

„Мое проклятіе поражало васъ въ вашихъ дѣтяхъ, и вы не хотѣли опомниться. Вы удивлялись росткамъ уродства, слабумія и преступности на столь старательно размежеванныхъ вами участкахъ; вы строили для нихъ больницы, убѣжища и тюрьмы и тщетно старались исцѣлить и обезвредить то, что слѣдовало предупредить.

„Что дѣлали ваши врачи? Отчего они не учили васъ предупреждать нисхождение породъ? Но нѣтъ: они учили васъ со-

хранять въ живыхъ ваши отверженные мною отродья и робко повторяли вашъ девизъ: одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ.

„Неправда, неправда! ни одной для одного, если онъ отверженъ мною; вотъ вамъ мое слово! А мое слово—рокъ; тотъ рокъ, что хотящихъ ведетъ, а нехотящихъ волочить.

„А, вы остолбенѣли. Вижу, вы поняли, что я сказала, и еще лучше поняли то, чего я не сказала. И сотни рукъ угрожаютъ мнѣ: сгинь, дьяволица! О да, я васъ знаю; мой мартирологъ еще не конченъ. Ваши костры горѣли когда-то для еретиковъ вѣры; они горятъ и понынѣ для еретиковъ любви.

„И все же вы мнѣ сносите тѣхъ другихъ сотенъ и тысячъ, что мнѣ радостно рукоплещутъ теперь, понявъ по-своему смыслъ моего молчанья. Какъ мнѣ противны ихъ гадкія улыбки, какъ противно любострастное морганіе ихъ слизкихъ, блудливыхъ глазъ! Подите прочь! какое мнѣ дѣло до васъ и вашихъ грязныхъ похотей?

„И какое вамъ дѣло до меня? Моя любовь—любовь красоты; моя красота—красота здоровья и силы, красота восходящей жизни. Я сплетаю своихъ избранниковъ алой тесьмой зиждительной любви.

„Зачѣмъ забыли вы слово моей пророчицы, вдохновенной Діотимы? «Любовь есть жажда рожденія въ красотѣ». А если это такъ, то что же такое красота?

„Знаете вы, что говорить жгучій взоръ страсти моего избранника, покоящійся на его милой? Онъ самъ этого не знаетъ, но этотъ взоръ говоритъ: ты—та, которой суждено родить мнѣ завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„И знаете вы смыслъ ея дѣвичьяго румянца, отвѣчающаго на взоръ его страсти? Онъ ей самой непонятенъ, но этотъ румянецъ говоритъ: ты—тотъ, отъ котораго мнѣ суждено родить завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„Какое вамъ дѣло до всего этого? Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнія. Ваша любовь—последнее издыханіе пораженной жизни, послѣдній чадъ догорающей свѣчи, послѣдній грошъ промотавшагося дармоѣда; ваша красота—чахлый пустоцвѣтъ, уродство отверженья. Подите прочь!—А вы, проклинаящіе меня, послушайте дьяволицу и запомните ея слова.

„Я сплетаю избранныя единицы и вывожу изъ нихъ вѣчную нить породы: но эти единицы я беру отовсюду. Слышите? Отовсюду, откуда мнѣ вздумается. И я смѣюсь, когда моя могучая поступь сметаешь сотни вашихъ межей, засыпаетъ сотни вашихъ канавокъ. И тщетны будутъ ваши кары моимъ избранникамъ: въ своихъ дѣтяхъ найдутъ они оправданіе свое.

„Ройте, мѣрьте; старайтесь, не спросясь меня, дѣлить между собою мои дары по близорукимъ расчетамъ вашей справедливости; въ своихъ дѣтяхъ найдете вы осужденіе свое. Ройте, мѣрьте; отъ моего слова вы все-таки не уйдете; мое слово—тотъ рокъ, что хотящихъ вести, а нехотящихъ волочить“.

Такъ говорила своимъ хулителямъ и отверженцамъ дочь Зевса; такъ рокотала ея голосъ изъ-за тучи гнѣва, нависшей надъ ея черными бровями... Ты удивлена, подруга моя? Тебѣ не вѣрится, чтобы это была она—кроткая богиня нѣги, вѣчно улыбающаяся владычица любовныхъ чаръ?

Я пересказалъ тебѣ ея грозное слово своимъ хулителямъ и отверженцамъ; но могу ли я пересказать тебѣ то, что отъ нея слышать ея избранники? Взгляни на ея предвѣстницу, золотую звѣзду на южномъ небосклонѣ; пусть ея тихое, кроткое сіяніе озаритъ твою душу. Она явственно шепчетъ тебѣ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!“

* * *

Синій покровъ молчаливой богини сомкнулся надъ нами; тысячею глазъ смотреть на насъ Тайна съ нетлѣнныхъ высотъ синяго неба. Меня смущаетъ ея строгій повелительный взоръ; я знаю, что долженъ водрузить надъ тобою еще одну новую скрижаль; эта седьмая и послѣдняя скрижаль — скрижаль Діониса.

Мое сердце горитъ при его имени, имени любимца моей души; смутное чувство, сладкое и страшное, вскипаетъ съ его глубины и тщетно ищетъ образа, чтобы воплотиться въ немъ. И все же мы не должны упускать этой минуты: теперь Діонисъ намъ ближе, чѣмъ когда-либо раньше. Онъ—духъ примиренія неба и земли; ему служили на святыхъ полянахъ горы, подъ сверкающимъ покровомъ Тайпы въ тихую весеннюю почъ.

Служили—ты знаешь, кто? Служила она, красавица юга, вождѣнная дочь голубыхъ морей; но еще раньше служили ему—сыны нашей земли. Онъ—наше родное божество; онъ къ намъ вернулся изъ купели голубыхъ морей, и мы его не узнали въ его сіяющей, божественной красотѣ. Но онъ взглянулъ на насъ глубокимъ взоромъ своихъ томныхъ очей—и чувство признанія, сладкое и страшное, наполнило наше сердце.

О могучій взоръ! Онъ манитъ мою душу изъ предѣловъ видимости въ невѣдомое, несказанное и несомнѣнное; онъ будитъ тайну сущаго бытія, дремлющую въ вѣщей глубинѣ моего сердца. Онъ разрываетъ покровъ сознанія, сдерживающій мое я въ его ясно очерченныхъ границахъ; я чувствую, какъ оно расплывается, возсоединяется съ великою Сутью, отъ которой оно отдѣлилось для кратковременной личной жизни.

Нѣтъ болѣе пространства и его границъ; нѣтъ болѣе времени и его предѣловъ. Все, что когда-либо было чуднаго въ моемъ прошломъ, всѣ чаянія будущаго счастья, весь восторгъ гордыхъ обѣщаній, собранный молодой жизнью моей породы и таящійся въ заповѣдныхъ нѣдрахъ моего естества—все это зашевелилось, пробужденное взоромъ Діониса. О упоительное мгновение, полное блаженства вѣчной цѣпи вѣковъ!

Подруга моя! ты хочешь, чтобы я повѣдалъ тебѣ тайны Діониса? Дай мнѣ руку: пусть мѣрный волнобой моей крови сообщится тебѣ; тогда ты безъ словъ поймешь то, что я хотѣлъ бы тебѣ сказать.

Смотри какъ повелительно, тысячью своихъ страстныхъ очей, смотреть на нашу гору небесная твердь. „Да проснись же, гора!“ говоритъ она ей: „тотъ навѣки заснулъ, кто не проснется теперь“.

Теплый ночной вѣтерокъ подулъ съ моря, насыщенный тайной сущаго бытія. Какъ расширяется моя грудь, вдыхая его благовонія! какъ сладко теряется образъ сознанія въ его опьяняющей нѣгѣ! Да, этотъ вѣтерокъ—дыханіе Діониса; онъ явственно шепчетъ мнѣ: „Да растворишься же, душа! тотъ навѣки оковенѣлъ, кто не растворится теперь“.

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоей руки, вижу смѣющійся блескъ твоихъ очей черезъ прозрачную дымку мерцающей ночи. Но со мной ли душа твоя, или

но знѣ—я не знаю. Да, я вижу и нашу гору: огромнымъ призракомъ выступаетъ она изъ тумана пропасти, въ которой потонули и равнина и море. Но на ней ли я, или надъ ней—я не знаю.

Сильнѣе подулъ теплый вѣтеръ съ моря, полный нѣги Діониса; мощнѣе звучитъ его страстный призывъ: „Да колыхнись же, гора! тотъ навѣки застылъ, кто не колыхнется теперь“.

Теперь, теперь... почему теперь? О да, мы забыли: сегодня — первая ночь мая, ночь свадьбы неба и земли; сегодня — праздникъ Діониса, примирителя неба и земли. Насъ осыпала ночь чудесъ, поднимающая завѣсу бытія для избранныхъ Діониса.

Во всѣ времена тянуло ихъ въ эту ночь къ святымъ полянамъ нетлѣнныхъ горъ для службы Діонису; мать-Земля, въ восторгѣ весенняго упоенія, отступалась отъ своихъ правъ на нихъ; свободные отъ ея тяги, они блаженно рѣяли въ пространствахъ подлуннаго міра, обнимаясь съ ночными вѣтрами, летучей свитой Діониса. На утро они возвращались къ своимъ очагамъ, съ загадочной улыбкой знанія на сомкнутыхъ устахъ. Слѣпая чернь ихъ сжигала изъ зависти къ ихъ знанію; но всѣ мученія казни не могли пересилить блаженства той ночи чудесъ, и они умирали съ блескомъ Діониса въ своихъ вѣщихъ очахъ...

Смотри! гора всколыхнулась... или это заволновался туманъ, окутавшій ея призрачныя очертанія? Что за странный туманъ! смотри, какъ онъ тянется къ намъ изъ глубины пропасти, въ которой потонула равнина, какъ онъ ползетъ, точно исполинскій змѣй... или это подлинный змѣй? Смотри, какъ горятъ его багровые глаза, какъ сверкаетъ его серебристая чешуя... Нѣтъ! это огни Діониса озарили святую поляну на склонѣ горы. Это его избранники, со свѣточами въ рукахъ, приближаются къ намъ, справить священныя оргіи въ его честь.

Чу! Ты слышишь ихъ пѣснь? Точно вся радость возрожденной земли стала звукомъ и разливается, ликуя, во влажной теплотѣ ночного зѳира. — Ты видишь ихъ? Что за красота! Точно вся юность возрожденной земли стала образомъ

и воплотилась въ этомъ сонмѣ избранниковъ и избранницъ Діониса.

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоихъ пылающихъ щекъ, я вижу сіяніе на твоихъ русыхъ кудряхъ... Откуда это сіяніе? Или это Сѣверный Вѣнецъ, свадебный даръ Аріадны, оставилъ сверкающую твердь и спустился къ тебѣ, чтобы увѣнчать твое юное чело? Да и та ли ты, что была прежде? Нѣтъ! Царственнымъ величіемъ дышать твои сверхземныя черты. Теперь только стала ты той, которой тебѣ суждено было быть: слава тебѣ, невѣста Діониса!

Ближе и ближе къ намъ тянется свита благословеннаго бога. Гора проснулась; тысячью свѣточей отвѣчаетъ она на огненный привѣтъ небесной тверди.

Громче и громче раздаются ликованія діонисовой пѣсни подъ глухой шумъ тимпановъ и звонкіе переливы флейтъ. Скоро они будутъ здѣсь; скоро вся гора закружится въ бѣшеной пляскѣ діонисовыхъ хороводовъ.

Ночь чудесь наступила. Я умолкаю; пусть самъ Діонисъ доскажетъ тебѣ свою скрижаль...

* * *

Ночь чудесь прошла. Мы опять на равнинѣ. Сквозь предразсвѣтный туманъ видны очертанія хижинъ; здѣсь отдыхаетъ, въ ожиданіи скорого пробужденія, вѣковой трудъ равнины и ея сыновъ.

Какъ мы спустились? Не знаю. Такъ, какъ спускается влага собравшейся въ вышнихъ тучи. Тебя давно тянуло къ равнинѣ; помнишь? Ты хотѣла отдать, когда тебѣ нечего было отдавать. Теперь ты богата: ты не забыла науки горы? Теперь ты можешь, ты должна отдать.

Востокъ зардѣлся алой зарей; нашъ сіяющій другъ посылаетъ впередъ свое огненное дыханіе возвѣстить о своемъ приближеніи. Еще часть — и царственное свѣтило побѣдоносно взойдетъ надъ землей; прерванное дѣло жизни начнется вновь.

Равнина ждетъ; и всѣ горы и доли кругомъ ждутъ вмѣстѣ съ ней. Ты не забыла, что общала утолить ихъ вѣковую жажду? Еще часъ выжидающей дремоты; а затѣмъ—

А затѣмъ — твое слово, моя царица; третье слово вождь-лѣнной свободы—слово славянскаго возрожденья!

6 марта 1905 г.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
I. Древній міръ и мы	1-150
Лекція первая	1
<i>Введеніе:</i> Постановка задачи.—Три антитезы.— <i>Vox populi—vox Dei.</i> —Большое и малое „я“ общества.—Общественное мнѣніе и соціологическій подборъ.— <i>Первая антитеза:</i> образовательное значеніе античности.—Далпыя историческаго опыта.—Зацѣпки.—Гетерогенія цѣлей.—Эволюція классическаго образованія.—Критеріи образовательной силы предметовъ: психологія и психологическое науковѣдѣніе.—Смысль сочетанія: „образовательное значеніе“.—Принципы профессиональный и принципъ образовательный.—Назначеніе средней образовательной школы.	
Лекція вторая	20
<i>Первая антитеза:</i> продолженіе.—Составъ школьной античности.—Древніе языки какъ таковыя.—Ассоціаціонный и ассоциационный методы усвоенія языковъ.—Относительная цѣнность чужого языка какъ дополненія къ родному.—Абсолютная его цѣнность какъ пищи для ума.—Прозрачность правописанія.—Прозрачность флексій.—Исключенія.—Закономѣрность лингвистическихъ явленій.	
Лекція третья	33
<i>Первая антитеза:</i> продолженіе.—Лексическій составъ древнихъ языковъ.—„Языкъ—исповѣдь народа“.—Отраженіе народной души въ словахъ языка.—Отраженіе въ нихъ народного быта.—Синтаксисъ.—Эманципация мысли.—Сравнительная неграмматичность русскаго языка.—Стилистическая цѣнность языковъ.—Античный „періодъ“ какъ школа стили.—Опасность оскудѣнія и борьба съ нимъ.	
Лекція четвертая	54
<i>Первая антитеза:</i> окончаніе.—Чтеніе памятниконъ.—Подлинники и переводы.—Переводимое и непереводиное.—Учебно-	

правствєнная точка зрѣнія.—Моральныє, аморальныє и имморальныє предметы.—Переубѣдимость.—Учебно-интеллектуальная точка зрѣнія — Интеллектуализмъ и универсализмъ.— Историческая перспектива.—Оптимизмъ.—Чувство правды: его два требованія.—Заключеніе.

Лекція пятая 73

Вторая антитеза: культурное значеніе античности.—Демонизмъ: не норма, а сѣмя.—Античность какъ общая родина народовъ европейской культуры.—Античная религія: христіанство и язычество.—Античная міеологія: переживаніе міеологическихъ образовъ.—Античная литература, какъ основаніе теоріи словесности.—Духъ античной исторіографіи: „истина — око исторіи“.—Особая важность этого принципа въ настоящее время.—Готтентотизмъ и школа.

Лекція шестая 90

Вторая антитеза: продолженіе.—Духъ античной философской литературы: переубѣдимость.—Кодексъ чести мыслителя.—Античная философія: ея универсализмъ.—Античная этика.—Этика досократовская, сократовская и христіанская.—Ихъ важность для этики будущаго.—Античное право.—Юристы-ремесленники и юристы-мыслители.—Античная политика.—Античность и оптимизмъ.

Лекція седьмая 109

Вторая антитеза: окончаніе.—Классицизмъ и античность.—Архитектура и принципъ структурной честности.—Скульптура и живопись: принципъ естественности и принципъ идеализма.—Художественная промышленность: принципъ одушевленности.—Облагораживаніе новѣйшей культуры античностью.—*Третья антитеза: наука объ античности.*—Ея задачи въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ.—Возрастаніе ея интереса по мѣрѣ ея изслѣдованности.—Ея универсализмъ.

Лекція восьмая 128

Заключеніе.—Современное общество и античность.—Обманъ и недоразумѣніе.—„Античность не нужна“.—„Античность грудна“.—„Античность ретроградна“.—Вопросъ о неудачникахъ.—Соціологическое значеніе средней школы.—Легкая школа — соціальное преступленіе.—Идея школьной организаціи.—Античность, какъ орудіе прогресса.—Притча о прогрессѣ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I. Вильгельмъ Вундтъ и психологія языка 151

I. Вундтъ какъ ученый.—Психоматериалисты и физиоматериалисты.—Принципъ актуальности и принципъ самобытности

психической причинности.—Народная психология, какъ продол-
женіе психологіи индивидуальной.—Возникновеніе и программа
народной психологіи: Лацарусъ и Штейнталь.—Критика этой
программы: Пауль.—Реабилитация народной психологіи.—Ея
область: языкъ, религія, нравы 151

II. Вопросъ о языкѣ.—Философія языка и грамматика.—
Вильгельмъ Гумбольдтъ и эволюціонный принципъ.—Біологи-
ческая теорія.—Ея критика.—Психологическая теорія.—Линг-
висты-психологи и психологи-лингвисты.—Вундтъ, какъ психо-
логъ-лингвистъ.—Возможность дальнѣйшаго прогресса.—На-
родно-психологическая точка зрѣнія въ противоположность къ
индивидуально-психологической 158

III. Содержаніе труда Вундта о языкѣ.—Выразительныя дви-
женія.—Анализъ полного комплекса выразительныхъ движеній:
движенія внутреннія, мимическія и пантомимическія.—Анализъ
аффекта: чувства и представленія.—Классификація чувствъ.—
Чувства количественныя и качественные.—Параллелизмъ со-
ставныхъ частей аффектовъ и выразительныхъ движеній.—Во-
просъ о возникновеніи выразительныхъ движеній.—Физиологи-
ческая теорія Спенсера и Дарвина.—Психофизическая теорія
Вундта.—Сопутствующія движенія.—Ощущеніе выразитель-
наго движенія и его роль въ усиленіи и замѣнѣ первичнаго
аффекта 164

IV. Языкъ жестовъ.—Его происхожденіе изъ выразитель-
ныхъ движеній.—Классификація жестовъ.—Грамматическія ка-
тегоріи въ языкѣ жестовъ.—Вспомогательные жесты.—Счита-
тельскіе жестовъ.—Психологическая теорія Вундта.—Ея кри-
тика.—Двойной источникъ языка жестовъ 171

V. Языкъ звуковъ и языкъ жестовъ.—Выразительные звуки
у звѣрей.—Модуляція тона и артикуляція звука.—Языкъ дѣтей:
крикъ, лепетъ, языкъ-эхо, сознательная рѣчь.—Выразительные
звуки въ развитой рѣчи: междометія, звукоподражанія, звуко-
вые образы, звуковыя метафоры.—Ихъ общій знаменатель: зву-
ковой жестъ.—Критика этой теоріи.—Чувства и представленія
въ языкѣ.—Сопутствующія движенія, какъ источникъ языка
представленій.—Сравнительная древность языка жестовъ и языка
звуковъ 177

VI. Предложеніе, какъ психологическая единица рѣчи.—Его
опредѣленіе.—Психологическій процессъ его возникновенія.—
Послѣдовательное раздвоеніе, какъ апперцепціонный элементъ
предложенія.—Ассоціаціонный элементъ предложенія.—Замкну-
тыя и открытыя структуры. Естественный и условный поряд-
докъ частей предложенія. Причина возникновенія условнаго
порядка.—Выраженіе единства основнаго представленія.—Сво-

бода въ языкахъ, какъ критерій ихъ цѣнности. -- Особое положе- женіе славянскихъ языковъ	188
VII. Слово, какъ результатъ анализа предложенія. -- Физио- матеріалистическая теорія говоренія; ея недостатки. -- Психоло- гическая теорія. -- Психологическій составъ слова. -- Неравныя ассоціаціи элементовъ слова и ихъ роль въ процессъ говоренія. -- Основные и формальные элементы слова. -- Значеніе фор- мальныхъ элементовъ. -- „Безформенные языки“. -- Отношенія, выражаемыя формальными элементами. -- Основные элементы, какъ носители смысла словъ. -- Отношеніе значенія къ звуко- вому составу словъ. -- Психологическіе факторы измѣненія смысла; переменна господствующей примѣты и новыя ассоціа- ціи. -- Критика теорій Вундта, -- Метонимическія и метафори- ческія измѣненія. -- Измѣненія общія и частичныя. -- Психоло- гія метафоры.	196
VIII. Звукъ, какъ послѣдній элементъ рѣчи. -- Психологія измѣненія звуковъ. -- Просторъ нормальной артикуляціи. Ассо- ціація звуковъ, какъ причина ихъ измѣненія. -- Классификація измѣненій звуковъ. -- Измѣненія общія и частичныя. Недо- статки метода экспериментальной психологіи. -- Необходимость дополненія теорій Вундта.	209
IX. Индивидуально-психологическая и народно-психологи- ческая точка зрѣнія въ лингвистикѣ. -- Принципы социологи- ческаго подбора. -- „Стремленіе къ ясности“ и „стремленіе къ удоб- ству“. -- Полемика Вундта. -- Полная постановка вопроса: во- просъ о возникновеніи и вопросъ о сохраненіи. Дуалистиче- ская теорія, какъ синтезъ біологической и психологической. -- Та- бель цѣнности языковъ. -- Лингвистика и біологическія науки. -- Заключеніе.	216
II. Художественная проза и ея судьба.	222
III. Уголовный процессъ XX вѣковъ назадъ	285
IV. Характеръ античной религіи въ сравненіи съ христіанствомъ.	342
V. Памяти И. Ѳ. Анненскаго	364
VI. VINCE, SOLI	379

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 1.V.– VIII, 1 – 465

ТОМ 2. Древний мир и мы.....V – X, 1 – 416

**ФАДДЕЙ ФРАНЦЕВИЧ
ЗЕЛИНСКИЙ**

ИЗ ЖИЗНИ ИДЕЙ

тома 1, 2

*

Художественный редактор
Е. Гаврилин

*

ЛР № 063160, от 14.12.93. г.
Подписано в печать 5.08.95. г.
Формат 60×90/16. Печ. л. 57.
Тираж 2000 экз. Зак. № 696.

*

**Научно-издательский центр «Ладомир»,
103617, Москва, К-617, кор. 1435.
При участии ТОО «ВРС».**

Отпечатано с готовых диапозитивов в
АООТ «Типография „Правда“». 191126,
С.-Петербург, Социалистическая ул., 14.



«ЛАДОМИР»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

КОРАН

Коран — главная священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных Мухаммадом (ок. 570-632) в форме «пророческих откровений» в Мекке и Медине между 610-632 годами.

Публикуемый перевод прокомментирован на основе наиболее авторитетных мусульманских тафсиров, разъясняющих в связи с чем Мухаммад произносил тот или иной аят, что он при этом имел в виду.

Известно, что в нашей стране многократно тиражировались переводы Корана, выполненные в прошлом веке Г. С. Саблуковым и в нынешнем столетии — академиком И. Ю. Крачковским. Эти переводы безнадежно устарели, содержат множество ошибок, написаны плохим литературным языком, не имеют комментариев.

Мы надеемся, что предлагаемый перевод, работа над которым велась многие годы ведущим российским арабистом М.-Н. О. Османовым и который получил одобрение авторитетнейших шейхов, удовлетворит не только русскоязычных мусульман, но и всех читателей, интересующихся историей мировых религий, культурным наследием всего человечества.

Х. аль-КИРМАНИ

УСПОКОЕНИЕ РАЗУМА

Эзотерическое сочинение «Успокоение разума», предназначенное узкому кругу посвященных и ставшее доступным только в начале XX века, является итоговым в творчестве выдающегося арабского проповедника, «шейха исмаилистских философов» Хамида ад-Дина аль-Кирмани (X-XI вв.).

Книга, отражающая в концентрированной форме исмаилистскую доктрину, состоит из семи глав. Первая, пропедевтическая, содержит обоснование двух столпов концепции поклонения: религиозного деяния и познания. Вторая посвящена проблеме непознаваемости Бога. В третьей и четвертой главах излагается метафизическое учение о Первом Разуме и его сотворенности, эманации, первоэлементах и форме. Космография изложена в пятой главе: это учение о перводвижателе тел, десяти небесных сферах, небесных телах и их влиянии на земную жизнь. В шестой главе изложено натурфилософское учение о четырех первоэлементах и образовании из них земных тел и существ. Наконец, седьмая глава излагает исмаилистскую историософию: учение о семи циклах мировой истории, Судном дне и конце мира, пути спасения человеческой души.

«Успокоение разума», ко всему прочему, очень интересно читается.

«ЛАДОМИР»
готовит к выпуску

В. В. БЫЧКОВ
ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РУССКОЙ ИКОНЫ

Победу иконопочитателей над противниками икон, свершившуюся еще в IX веке в Византии, Церковь празднует как "Триумф Православия", и это не случайно. Православному человеку икона открывает те духовные тайны, которые не поддаются словесному выражению. Иконы Иисуса Христа доказывают истинность Его воплощения, ибо первое свое изображение Иисус сделал сам, приложив матерчатый плат к своему лицу.

Иконы рассказывают нам о событиях и персонажах Священной Истории, запечатлевая их в их сущностных основаниях, в их эйдосах и ликах. Иконы не просто изображают, но и являются реальными носителями духовной энергии изображенных святых; они причастны их святости.

Иконы являют созерцающему бесконечный космос истинного духовного бытия и своей софийной красотой вселяют в его сердце любовь к этому космосу. А создается прекрасный мир икон с помощью удивительно тонко и точно разработанного художественного языка (цвета, линии, формы), в котором ясно ощущается софийность древних шедевров иконописного искусства, причастность к их созданию самой Софии Премудрости Божией, идеального предвечного Художника, вдохновителя и покровителя всякого творчества и иконописи прежде всего.

Этим и многим другим богословским, философским, эстетическим аспектам иконы (от византийских отцов Церкви через Древнюю Русь до крупнейших мыслителей русского духовного ренессанса XX века) посвящена эта книга.

Исследование будет безусловно полезно всем, кто интересуется основами православной культуры.

